# ЛЕОПАРД С ВЕРШИНЫ КИЛИМАНДЖАРО

КЛАССИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФАНТАСТИКИ

*Сканировал и создал книгу - vmakhankov*

Ольга Гарионова

# ЛЕОПАРД С ВЕРШИНЫ КИЛИМАНДЖАРО

АСТ
Издательство Terra Fantastica
Москва Санкт-Петербург
2001

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)6
Л25

Серия основана в 2001 году

*Серийное оформление А. Кудрявцева*

*В оформлении обложки использована работа, предоставленная агентством Александра Корженевского.*

Подписано в печать с готовых диапозитивов 23.08.2001.
Формат 84×108[1]/32. Бумага типографская. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 40,32. Тираж 10 100 экз. Заказ 2679.

**Ларионова О.Н.**

Л25 Леопард с вершины Килиманджаро: Роман, повести, рассказы / О.Н. Ларионова. — М.: ООО «Издательство АСТ»; СПб.: Terra Fantastica, 2001. — 766, [2] с. — (Классика отечественной фантастики).

ISBN 5-17-011162-2 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-7921-0455-7 (TF)

«Вверх по крутому склону карабкался леопард. Он был уже мертв, но он все еще полз, движимый той неукротимой волей к жизни, которой наделил его человек взамен попранного инстинкта смерти».

Как жили бы люди, знай точно дату собственной смерти?

Как?

Возможно, ТАК, как написано об этом в трагическом, горьком и безукоризненно красивом романе «Леопард с вершины Килиманджаро» — романе, по праву считающемся одной из вершин творчества Ольги Ларионовой.

Другою же вершиной стали прозрачно-поэтичные рассказы «чюрленисовского цикла»...

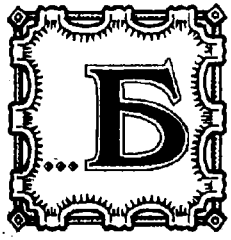
Перед вами — истинная классика отечественной фантастики.

Не пропустите!

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)6

© Текст. О.Н. Ларионова, 2001
© Оформление.
ООО «Издательство АСТ», 2001
® TERRA FANTASTICA

## Глава 1



ирюзовая маленькая ящерка — не больше моей ладони — смотрела, как я подхожу, и пугливо прижималась к шероховатой известняковой плите. Я присел на корточки — она не убегала, а только часто-часто дышала, раздувая светлое горлышко.

— Эх, ты, — сказал я, — микрокрокодил. Сколько лет уже вас не трогают? Тысячи три. А вы все боитесь.

Ящерка смотрела на меня и мигала, Я вдруг поймал себя на мысли, что вот перед одной этой тварью я не чувствовал себя виноватым. И она слушала меня внимательно и спокойно, без того снисходительного всезнайства, которое чудилось мне в каждом моем собеседнике.

— Ладно, пасись, — сказал я ей. — В древности тебя зажарили бы да съели.

Набережная была пустынна. Вымощенная чуть розоватыми плитами и обнесенная причудливым легким барьером, она тянулась от сухумских плантаций до самого Дунайского заповедника, то спускаясь до уровня моря, то поднимаясь над золотыми плешинами бесчисленных пляжей и иссиня-зеленой дремучестью субтропических рощ. Набережная не изменилась. Она была такая же, как и в годы школьных каникул. Тогда я так же любил гулять по ней в самый зной и шел по широким плитам, стараясь не наступать на трещины. А зачем? Вероятно, в детстве очень легко сказать самому себе: так нужно. И делать, хотя бы это было просто бессмысленной игрой. Так нужно — пройти от этого дерева до того

и ни разу не наступить на трещину. Наступлю — это будет плохо. Нужно пройти, не наступив.

Когда люди становятся взрослыми, у них очень много остается от этого детского «так нужно». Наверное, потому Сана и ограничилась корректным запросом о состоянии моего здоровья. Радиозапросом без обратных позывных. Так нужно. Так нужно после того, как одиннадцать лет я просыпался с одной мыслью: жива ли она?

Контуры окаменелых раковин четко проступали на шершавой поверхности камня. Слишком четко.

Как же это я в детстве не догадывался, что эти плиты — синтетические?

С каким-то ожесточением я начал громко топать по всем трещинам и стыкам этих проклятых плит. Пусть будет мне плохо. Мне и так плохо. И хуже — настолько трудно, что даже любопытно: а как это — еще хуже?

У себя на буе я читал, что когда-то очень давно люди, доведенные до моего состояния, просто плевали и резко меняли сферу своей деятельности. Вероятно, в корне такого поступка лежали древние представления о несчастиях, как о проявлениях высших сил. Стоило плюнуть — и высшие силы, озадаченные таким знаком пренебрежения к своему могуществу, меняли гнев на милость. Я оглянулся и, не заметив поблизости никого, кроме далекой детской фигурки, плюнул в самый центр изящного лилового отпечатка, напоминавшего морского ежа. Вот вам. Потом круто повернулся, подошел к первому попавшемуся щиту обслуживания и вызвал себе мóбиль.

Зачем я так рвался сюда? Ничего здесь не изменилось, только стало как-то удивительно безлюдно. Когда-то, когда я еще учился, даже в самые жаркие дни здесь шатались коричневые оравы, посасывающие суик и каждый час перекрашивающие свои пляжные костюмы. Но за это время, вероятно, медики пришли к выводу, что субтропики — далеко не идеальные климатические условия для отдыха. Обычная история. Когда-то, лет двести тому назад, зону субтропиков начали спешно расширять в обоих полушариях. Говорят, тогда уничтожили великолепные плантации веиерианского суика на Великих солончаках, а вот теперь — пожалуйста, безлюдье. Утром, правда, прилетело откуда-то несколько сотен мобилей; все они сели на воду, так что люди, не выходя на пляжи, ныряли прямо с плоскости носового крыла. Но машины вскоре умчались, и остался я один-одинешенек. Эта стремительность раздражала меня — за последние одиннадцать лет я

привык к неторопливости. Поначалу я думал, что эта самая привычка и создает для меня видимость окружающей суеты, но прошло некоторое время, и я убедился, что темп общей жизни действительно возрос по сравнению с тем, что я наблюдал перед своим несчастным отлетом. Что же, и так когда-то было. Давно только, в начале строительства коммунистического общества. Со всем энтузиазмом, присущим той героической эпохе, люди начали это делать за счет своего долголетия: дышали парами разных эфиров и кислот, ртуть использовалась чуть не в каждой лаборатории! Неужели не могли изготовить миллионы манипуляторов? Как-то трудно себе представить. Гробили себя от мала до велика — от лаборантов до академиков. И героями себя не считали, и памятников погибшим не ставили. А гибли... И атмосферу испортили — две с половиной сотни лет не могли вернуть ей прежнюю чистоту. И обошлось это в такое количество энергии, что подумать страшно, даже при современных неограниченных ее ресурсах. Хотя — «неограниченных»... — громко сказано. Помнится, Сана говорила, что для запуска «Оператора» пришлось копить энергию на околоплутониевых конденсаторах чуть ли не восемнадцать лет... Да, точно, восемнадцать. Начать эксперимент должны были вскоре после моего отлета — неудивительно, что старт маленького ремонтно-заправочного корабля остался незамеченным. А было время, когда о запуске даже самой незначительной ракетки весь мир говорил не меньше недели! Мы же улетели без шума, где-то на спасательном буе — вот ведь ирония! — потеряли корабль и людей, и только через одиннадцать лет о нас удосужились вспомнить. А может, зря спасали? Остался бы я там, все Элефантусу было бы спокойнее. А то теперь, по всей вероятности, старик себе места не находит: выхаживал, нянчился, и вот нате вам — пациент взял да из благодарности и удрал.

Мобиль давно уже повис надо мной метрах в десяти, а я и не заметил, как он появился. Раньше мобили спускались на землю и подползали к самому щитку. Тоже мне модернизация. Что тут полагается делать? Ага, вот так, наверное. Панелька со стрелкой вниз — правильно, мобиль опустился рядом. Я невольно шарахнулся, хотя должен был бы помнить, что ни один, даже самый простейший мобиль не опустится на живую органику.

Раздвинулось и тотчас же сомкнулось за мной треугольное отверстие бокового люка. Я развалился на прохладном белом сиденье. Ладно. Буду учиться быть благодарным.

В алфографе я нашел координаты Егерхауэна — северо-восточной базы Элефантуса. Набрал шифр, и мобиль помчался

сначала по прибрежному шоссе, а потом резко набрал высоту и взмыл над Крымским плоскогорьем, выбирая кратчайший и удобнейший путь.

Спустя десять минут другой мобиль поднялся всего в нескольких сотнях метров от того места, откуда взлетел я. Так как все мобили службы общего транспорта имели идентичные решающие устройства, второй мобиль полетел по той же самой трассе, что и мой, и с теми же локальными скоростями.

И прибыл он тоже в Егерхауэн.

Вероятно, Элефантусу понадобился весь такт, чтобы встретить меня с такой, я бы сказал, сдержанностью. Он качал своей птичьей головкой, глядя, как я подхожу к маленькому домику стационара, и огромные его ресницы печально подрагивали, как у засыпающего ребенка. Я подошел и остановился посредине дорожки, глядя на него сверху вниз. Он все молчал, и мне стало невмоготу.

— Спросите меня о чем-нибудь, доктор Элиа. Разве вас не интересует, где меня носило?

Элефантус поднял на меня глаза и опять опустил их.

— Меня носило на побережье. Черноморское.

Он опять промолчал. Я расставил ноги и заложил руки за спину. В детстве, когда я хотел казаться независимым, я принимал эту позу.

— Вы помните свои каникулы? Два рыжих, солнечных месяца, два месяца свободы и моря... А знаете, на что я тратил эти два благословенных месяца? Я посвящал их плитам. Тем самым, которыми выложены набережные. Я шагал по ним и старался только не наступать на линию стыка двух плит. Я твердо верил, что если я это сделаю — со мной произойдет несчастье. Такой уж уговор был между нами — между мной и этими розовыми плитами. Они были немного шире моего шага, и порой мне приходилось пускаться бегом. А сегодня они вдруг оказались для меня узки. Глубокая философия, не правда ли? К тому же, я открыл, что они...

— Потрудитесь, пожалуйста, перечислить тех людей, с которыми вы разговаривали.

— Я был один. Мобиль, набережная, мобиль.

— М-да, — сказал он и, повернувшись, засеменил к дому. Я двинулся за ним. Он остановился.

— Извините меня, — тихо сказал он, и я понял, что идти за ним не надо.

Черт возьми, похоже, что я обидел старика. Но каким образом? Что-нибудь брякнул и сам не заметил? Да, сказывается

одиннадцатилетнее пребывание в обществе автоматов. Мои «гномы» воспринимали лишь физическую сторону всякой информации, им нельзя было рассказать о теплых известняковых плитах. И вот первый человек, которому я попытался приоткрыть что-то свое, человечье, не понял меня и, вероятно, принял все за неуклюжую шутку сорокатрехлетнего верзилы.

Маленький солнечно-желтый мобиль вынырнул из-за остроконечного пика и, круто спланировав, опустился за домом Элефантуса. Я немного успокоился — значит, это не я так расстроил старика. Просто он кого-то ждал. И все.

Патери Пат вылез из домика и тяжело зашагал ко мне. Багровое лицо его было мрачно в большей степени, чем я к этому привык за те десять дней, которые провел в доме Элефантуса. Он дернул головой, что, по всей вероятности, должно было означать «Пойдем!». Я пошел за ним. Патери Пат молчал, как и Элефантус.

— Патери, дружище,— сказал я не очень уверенно,— я и без твоей мрачной рожи понимаю, что я — свинья. Зачем же это подчеркивать?

Патери Пат продолжал идти молча. Мы свернули к маленькому легкому коттеджу с площадкой для мобилей на крыше. Мой спутник медленно повернул ко мне свою массивную голову:

— Ты потерял полдня,— с расстановкой, как автомат, произнес он.

Я остановился. До меня не сразу дошел смысл. А потом я захохотал.

Мягко и стремительно, как кошка, Патери Пат повернулся ко мне. Непостижимое бешенство промелькнуло в его взгляде, в его плечах, слегка подавшихся вперед, в его шее, наклонившейся чуть больше обычного. На мгновенье мне показалось, что сейчас он бросится на меня. Но Патери Пат выпрямился, протянул руку к коттеджу и коротко сказал:

— Твой,— повернулся и быстро исчез за поворотом дорожки.

Я шел по скрипучему гравию и не переставал смеяться. Милый, нелепый мир! Он сразу стал для меня прежним. Нет, надо же — человеку, который потерял одиннадцать лет, сказать, что он потерял полдня!

У входа меня поджидал маленький серо-голубой робот. Небольшое число верхних конечностей — всего две — навело меня на мысль, что это не обычный «гном» для расчетно-механических работ. Я заложил руки за спину и критически оглядел его «с ног до головы».

— Что вам угодно? — быстро спросил он мужским голосом.

— Мне угодно знать, кто ты и зачем ты здесь?

— Робот типа ЭРО-4-ММ, — скороговоркой отрекомендовался он.

Он, вероятно, думал, что я в школе проходил все типы роботов. Ладно. Поглядим, на что ты способен.

— А ты не можешь говорить помедленнее?

— Нецелесообразно. Я должен в кратчайшее время подготовить вас на механика-энергетика простейших устройств.

— Ага, — сказал я, — теперь понятно. Яйца курицу учат.

— Не вполне корректно, — неожиданно обиделся этот тип.

— А делать замечания старшим — это корректно? — взорвался я. Со своими «гномами» я привык не церемониться.

— Извините, — кротко ответил он.

— Кстати, — пришло мне в голову, — как я должен тебя звать?

— Как вам будет удобно.

— Тогда я буду звать тебя «Педель». Не возражаешь?

— Я не возражаю. Но что это такое?

— На языке древних это означало: учитель, наставник.

— Благодарю вас. Но должен предупредить вас на будущее, что древние языки не входят в мою программу.

«Ну и черт с тобой», — подумал я, но уже не произнес этого вслух. Мне хотелось отдохнуть. Километров двадцать я все-таки сегодня пробежал, это много с непривычки.

— Ты можешь быть свободен, Педель, — сказал я.

— На какой срок? — бесстрастно осведомился он.

— На шесть часов тринадцать минут сорок шесть секунд.

Не поворачиваясь, Педель заскользил к двери.

— Постой! Ты уже познакомился с доктором Элиа?

— Да.

— Сколько ему лет?

— Сто сорок три. Уже прожито.

Забавное создание — никакого чувства юмора. Мне показалось, что если бы я спросил, сколько еще осталось прожить Элефантусу, он ответил бы так же точно и спокойно.

— Ну, проваливай.

— Кого, что?

— Ступай, говорю.

И все-таки это лучше, чем Патери Пат.

Не спалось. На Земле мне вообще не спалось. Пока я летел сюда в крошечной, с многослойной защитой ракете, какое-то специальное устройство внимательно следило за тем, чтобы я регулярно отсыпал шесть часов в сутки. Как только проходили следу-

ющие восемнадцать часов, меня начинало клонить ко сну. Непреодолимо, неестественно. Это раздражало, как всякая назойливая и непрошенная забота, но сделать я ничего не мог: за четыре месяца путешествия я так и не обнаружил этого проклятого «морфея». Позаботились бы лучше о создании элементарной гравитации: приходилось спать, пристегнувшись к скобам нижнего люка.

Я сдернул подушку и улегся прямо на ковре. Одиннадцать лет я проспал на полу — там, на буе, центральные помещения не были приспособлены для жилья. Это были склады и аккумуляторные.

Там Земля мне снилась редко. Чаще мне чудилось, что я все лечу, и лечу, и лечу неведомо куда, и всегда — один. Я жгуче мечтал, что за мной прилетят люди. А прилетели все-таки роботы. Видно, такой уж я невезучий. И снова я стал мечтать, теперь уже о том, как меня встретят... Встретили меня, мягко говоря, сугубо официально. Человек десять-двенадцать в защитных балахонах и масках, словно я был по крайней мере контейнером с каким-нибудь симпатичным изотопом. Я докладывал, а они смотрели на меня с таким видом, словно это все было им хорошо известно. Потом один из них спросил меня, не предпринимал ли я попыток спасти тех, четверых, что остались наверху. Я только пожал плечами. Нет, они не были подробно осведомлены о том, что произошло. Но тут самый низенький из них — это был Элефантус — решительно запротестовал, и меня в огромном мобиле — вероятно, с сильной защитой — привезли сюда. Мне сразу бросилась в глаза невероятная скорость, с которой мчался мобиль, так же как и то, что сами люди двигаются, разговаривают и, похоже, даже мыслят с какой-то усиленной интенсивностью. Мне не у кого было спросить о причинах этого, потому что Элефантус был всецело поглощен исследованием моего состояния, а с Патери Патом я определенно не мог сойтись характером. Десять дней он крутил меня так и этак, все искал, не стала ли моя бренная плоть аккумулятором того неведомого излучения, которому подвергся наш буй. Но бедняге не повезло. Надо было знать, с кем связываешься. Моей иевезучести всегда хватало не только на меня одного, но и на двоих-троих окружающих.

Не успел я как следует освоиться в новом жилище, как загудел входной сигнал. Видно, те, кто пришел, думали, что я сплю, и потому не воспользовались люминаторами. Я старался представить себе, кто бы это мог быть. Может, Сана?..

О, несчастный день! У двери домика застыла все та же темно-лиловая туша.

— В чем дело, Патери? И к чему эти церемонии с сигналами?

— Доктор Элиа приглашает ужинать.

— Весьма благодарен, но ты мог сообщить это по фону.

Патери Пат глянул на меня как-то искоса, как смотрят на людей, которые могли бы о чем-то догадаться.

— В твоем домике фон не работает. Завтра починят.

Я понял, что его не починят и завтра. Вернее, не подключат. Вот только почему?

— А другого сарая для меня не найдется?

— Пока нет. В соседних коттеджах размещены обезьяны и кролики, которые летели вместе с тобой.

Час от часу не легче. Четыре месяца я летал вместе с целым зверинцем и даже не подозревал об этом.

— Постой, почему же они не передохли? Кто с ними нянчился?

— «Бой».

Очень мило! Мне так не хватало элементарного комфорта, а робот для бытовых услуг был предоставлен не мне, а моим четвероногим спутникам.

— А могу я поинтересоваться, для чего была затеяна эта игра в прятки, да еще и со зверюшками, как на хорошем детском празднике?

— Проверка. Ты мог аккумулировать неизвестное излучение. А оно, в свою очередь, оказало бы необратимое влияние на другие организмы.

— К счастью, я даже в этом оказался абсолютно бездарен.

— К счастью.

— Но теперь-то вы уверены, что я могу свободно общаться с людьми?

— Отнюдь нет. Воздействие сказывается месяца через два-три. Зараженный организм как бы проходит инкубационный период. Потом — распад тканей, в первую очередь — сетчатки глаза.

— Необратимый?

— Пока — да. Мы можем пока только задержать процесс; остановить, обратить — нет.

— Постой... А откуда это тебе известно?

Патери Пат замялся. «Сейчас солжет», — безошибочно определил я.

— На трассе Венера — астероид Рапс под аналогичное излучение попал буй с контрольными обезьянами.

Мы оба понимали, что это неправда.

— Ладно. Спрошу у Элефантуса.

— Не стоит,— живо возразил Патери Пат,— не забывай, что если кто-то из нас уже заражен, то это он.

— Или ты.

— Не думаю. Я осторожнее.

Внезапно меня осенило. Багровая рожа Патери Пата явно носила следы какого-то недавнего облучения. Защитный слой! Модифицированные клетки противостоят любым лучам в несколько тысяч раз сильнее, чем обычные. Он носил как бы скафандр из собственной кожи. Тогда, до моего отлета, уже ставились такие опыты, и я читал о первых положительных результатах. Видно, за эти годы ученые сумели добиться полного защитного эффекта, но вот сопровождающий его колористический эффект... Да. Я бы предпочел остаться неосторожным.

Я тихонько глянул на Патери Пата. Он шагал вразвалку, огромные кулаки, обтянутые фиолетовой кожей, мерно качались где-то возле колен. Ничего себе монолит, ходячий символ единства физической силы и интеллекта.

— И сколько я еще буду тут торчать?

— Месяца три. Ведь четыре ты уже провел с обезьянами. И потом, как скоро ты освоишь новую профессию.

— Ну, положим, не совсем новую. Кое в чем я могу дать сто очков вперед своему Педелю.

— Кому?

— Тому субъекту цвета голубиного крыла, которому поручено превратить меня из неуча в полноправного члена вашего высокоинтеллектуального общества.

Патери Пат промолчал. Но по этому молчанию я мог догадаться, что он отнюдь не возражает против такого самоопределения, как «неуч».

— Ладно,— сказал я.— Пойдем, закусим на скорую руку, а там я примусь за науку с упорством египетского раба.

— Египетские рабы не были упорными. Их просто здорово били.

— Милый мой, а что ты со мной делаешь?

Обед в доме Элефантуса проходил мирно. Хорошо еще, что всеобщая торопливость не коснулась процесса еды. Но зато, как я понял, обеденное время стало теперь и временем отдыха. Сразу же после еды все возвращались на рабочие места. Как при такой системе Патери Пат умудрялся оставаться толстым, для меня было загадкой. Что касается меня, то бессонница и постоянное наблюдение Элефантуса и Патери Пата благотворно сказывались

на стройности моей фигуры. Я с невольной симпатией посмотрел на Элефантуса. Гибким и легким движением он принял у «боя» блюдо с жарким и, как истый хозяин дома, неторопливо разрезал великолепный кусок мяса. Натуральное вино, только земные фрукты. Олимпийское меню. А вот Патери Пат, как ни странно, вегетарианец. Между тем я нисколько бы не удивился, если бы увидел его пожирающим сырое мясо с диким чесноком. Словно разгадав мои мысли, он исподлобья глянул на меня. У, людоед: обсасывает спаржу, а сам, наверное, мечтает...

— О чем ты думаешь, Патери?

— Если метахронированная экстракция возбужденных клеток эндокринных желез...

Он был безнадежен.

— Простите меня, доктор Элиа, могу я задать вам несколько вопросов?

— Если мой опыт позволит мне ответить на них — я буду рад.

— Если я не ошибаюсь, вскоре после моего отлета был осуществлен запуск «Оператора»?

— Да, совершенно верно.

— Дал ли этот эксперимент результаты, которых от него ожидали?

Элефантус немного помолчал. Патери Пат перестал жевать и уставился на него.

— Мне трудно так сразу ответить на ваш вопрос, Рамон. Вам, несомненно, хотелось бы, чтобы за эти одиннадцать лет Земля неузнаваемо изменилась, появились бы фантастические сооружения, висячие бассейны величиной с Каспийское море или подземные сады в оливиновом поясе... Но вы ведь этого не обнаружили, не так ли, Рамон?

Я кивнул. Действительно, я был немного разочарован, увидав, как мало изменилась Земля. Космодром, и тот остался прежним.

— Не разочаровывайтесь. С тех пор как все промышленные центры, прекрасно управляемые на расстоянии, были перенесены на Марс, а Венера была отдана под плантации естественной органики, Земля несет на себе функции интеллектуального центра Солнечной. И, надо отдать ей справедливость, она прекрасно для этого приспособлена. Вы знаете, сколько веков трудились над этим люди и машины. Вряд ли будет целесообразно менять что-либо в корне, так что нам остаются лишь доделки.

Элефантус прикрыл глаза и медленно потягивал вино. Глянуть на него со стороны — идеальный земной интеллигент в идеальных для него условиях.

— Но вы вряд ли обратили внимание на другое,— продолжал он.— Мне сто сорок три. Вы знаете?

Я снова кивнул.

— Патери Пату вы дадите...

— Двадцать пять.

— Тридцать восемь! Кстати, его прадеду сто восемьдесят шесть. Я с ним связан — он директор австралийской базы подопытных животных. И прекрасный пловец.

Я чуть поморщился. Это уже начинало походить на популярную лекцию. Я задал вопрос в лоб:

— Значит, «Оператор» каким-то образом помог раскрыть секрет долголетия?

— Не совсем так. И до постановки эксперимента люди жили по сто пятьдесят — двести лет. Но лишь после возвращения «Оператора» все силы ученых были направлены на то, чтобы эти двести лет человек проживал не дряхлым старцем, а полным сил. Так что готовых рецептов мы не получили, и мое личное мнение, что это даже к лучшему. Зато мы научились по-настоящему ценить две вещи: время и здоровье. И я думаю, для этого стоило запускать транспространственный корабль.

В косом взгляде Патери Пата я отчетливо прочел: «Для человечества, может, и да, но лично тебе это большого счастья не принесет». Меня вдруг покоробило оттого, что какие-то тайны Элефантуса были открыты этому фиолетовому тюленю.

— Если эксперимент не дал ожидаемых результатов, то почему бы его не повторить?

Элефантус улыбнулся мне, как ребенку.

— Именно так и стоит вопрос: повторять ли? И, уверяю вас, за те одиннадцать лет, которые прошли с момента этого запуска, человечество так и не смогло разрешить эту проблему. К тому же есть основания полагать, что неизвестное излучение, под которое попал ваш буй, было следствием возвращения «Оператора» в наше... пространство,— Патери Пат снова вскинул на него глаза, и я понял, что Элефантус все время чего-то не договаривает.— Я в этой области не силен, но если вас этот вопрос заинтересует, я запрошу у специалистов все гипотезы относительно нового излучения.

— Пока только гипотезы?

— Боюсь, что не пока, а навсегда. Интенсивность неизвестного излучения стремительно падала. Сейчас мы уже судим о нем лишь по вторичным эффектам. А они весьма любопытны — для нас, медиков, во всяком случае. Вот, в сущности, и все, что я могу

сообщить вам для начала. Но позже мы к этому еще вернемся. Обдумайте все на досуге, но не советую вам терять на это много времени. Примите мое старческое ворчанье, как дружеский совет. И не расспрашивайте вашего робота об «Овераторе» — он ничего о нем не знает. Используйте его по назначению.

— Кстати, когда я смогу хотя бы слушать музыку?

Элефантус растерянно взглянул на Патери Пата.

— Завтра фон будет исправлен.

Педель меня изводил. С назойливой преданностью таксы он ходил за мной и бормотал, бормотал, бормотал... Я научился отключаться и не обращать внимания на его лекции, но он быстро перестроился и начал проецировать чертежи и схемы установок на стены моей комнаты. Мне не оставалось ничего, как только покориться. Сначала у меня возникала озорная мысль: доказать ему, что кое в чем я сильнее его — как-никак одиннадцать лет я только и занимался тем, что монтировал и ремонтировал установки, высасывая для них из собственного пальца энергию, из двух «гномов» делал одного, и наоборот. Но он спокойно выслушивал меня или смотрел, что я делаю, а потом бесстрастно констатировал:

— Это вы знаете. Перейдем к следующей схеме.

К концу второго месяца я не выдержал. Я наорал на него, но это не возымело никаких последствий. Он очень спокойно проинформировал меня, что курс обучения рассчитан на четыре года. Я остолбенел. Четыре года? Еще четыре года здесь?.. К чертовой бабушке! Я решительно направился к двери. Тем же бесстрастным тоном мой Педель посоветовал мне не обращаться к указанной бабушке, а продолжать занятия с ним, ибо, несмотря на мои скудные теоретические познания, он, учитывая мой богатый практический опыт, надеется закончить программу к новому году.

Это несколько примирило меня с ним. Но я буквально взял его за шиворот и велел ему исправить мой фон, который, хоть и был подключен, но ничего, кроме музыки, не передавал. Педель послушно захлопотал около аппарата и через некоторое время доложил мне, что фон абсолютно исправен. Я подсел к верньерам, включил алфограф настройки. Треск, шорохи, матовое мерцание экрана. И четкая музыка в очень узком диапазоне.

— Педель! — позвал я.

Он появился, такой голубенький и невинный, что у меня сразу же пропали все подозрения в том, что это он испортил аппарат. Шутки шутками, и дело не в его голубой шкуре — я

почувствовал волю человека, по непонятным причинам стремящегося оградить меня от всего мира. Какая-то дичь. Средневековье. Еще посадили бы меня в комнату с решетчатыми окнами!

— Педель, — сказал я спокойно, — дана задача: во-первых, выяснить, почему при абсолютной исправности фона нет связи с остальными станциями, кроме одной; во-вторых, определить, где находится станция, передающая музыку.

— Все понял. Прошу подождать.

Педель захлопотал. Он покрутился около аппарата, обнюхал стены, проворно выскользнул в соседнюю лабораторию, где у нас с ним проходили занятия по энергоснабжающей аппаратуре, и вскоре появился, нагруженный какими-то приборами. Захватив переносный фон, он молча укатил в сад. Не успел я улечься с книгой, как Педель уже вернулся.

— Над территорией Егерхауэна создан временный наведенный экран. Поле экрана непробиваемо. Радиус экрана — шестнадцать километров. Музыка транслируется станцией, находящейся в двухстах тридцати метрах на юг отсюда.

В последнем я не сомневался.

— Ознакомься с картой окрестности и найди наиболее удобное место для выноса фона за пределы действия экрана.

Ответ последовал мгновенно:

— С картой местности знаком. В радиусе шестнадцати километров — горы, вынос фона невозможен.

Придется еще раз стать неблагодарной скотиной и покинуть сей гостеприимный дом.

— Поднимись на крышу и вызови мне мобиль.

— Шифр вызова?

— Какой еще шифр?

— С двадцать седьмого августа мобили на территорию Егерхауэна вызываются только по шифру.

Я повернулся и вышел.

В кабинете Элефантуса сидел Патери Пат. Мне не очень-то хотелось разговаривать с ним, но пришлось.

— Где доктор Элиа?

— Улетел.

— Надолго?

— На четыре дня.

— Вызови мне мобиль.

— Тебе улетать нельзя.

Я стиснул кулаки и медленно пошел к нему.

Он поднял голову и посмотрел на меня с каким-то любопытством и очень спокойно.

— Ты никуда не полетишь, — повторил он. — Хватит и нас с Элефантусом.

Я разжал кулаки.

— Ты... — я не знал, как спросить, и рука моя виновато дотрагивалась до глаз. — Ты... уже чувствуешь?

— Пока — нет. Но ты не имеешь ни малейшего права подвергать риску кого-либо, кроме нас. Мы ведь пошли на это добровольно.

Патери Пат молча наблюдал за мной. Спокойствие его переходило в насмешку. Я решил откланяться, и, по возможности, наиболее корректно.

— Ты мне хочешь еще что-нибудь сказать? — спросил я его.

— Да нет, иди, работай.

— Послушай, ты, — не выдержал я. — Если ты думаешь, что твоя архиуникальная профессия дает тебе право обращаться со мной, как с подопытным шимпанзе, то мне хочется весьма примитивным образом доказать тебе обратное.

Патери Пат досадливо посмотрел на меня.

— Я теряю время, — кротко проговорил он. — Извини.

— Теряй, — сказал я, — мне не жалко. Но потрудись ответить, кто дал тебе право быть тюремщиком при таком же человеке, как ты сам? Я согласен отсидеть в карантине черт знает сколько, если я опасен для людей. Но зачем над Егерхауэном наведен этот экран?

На лице Патери Пата промелькнуло удивление. Он молчал.

— Вы отгородили меня от всего мира. Во имя чего? И кто подтвердит ваше право решать за меня, что для меня — лучше, а что — хуже?

Он встал. Подошел к столу Элефантуса, порылся в нем и достал совсем свежую пластинку радиограммы. Ага, пока я сплю, экран все-таки снимается. Помедлив какую-то долю секунды, он протянул пластинку мне.

«Милый доктор Элиа, — прочел я, — я рада, что все остается по-прежнему, как я вас просила. Не бойтесь за него — после того, что он пережил, еще два месяца пройдут незаметно. Мне труднее. Но не говорите ему обо мне. Благодарю вас за все — вы ведь знаете, что расплатиться с вами я не сумею».

Два месяца пройдут незаметно... Два месяца пройдут... Все остальное уплыло, растворилось в этом неотвратимом, реальном счастье. Патери Пат потянул пластинку из моих пальцев.

— На! — сказал я, отдавая пластинку. — И выключи свою шарманку, мне будет не до музыки. Работать надо. Два месяца.

Впервые я отчетливо увидел, как в черных до лилового блеска глазах Патери Пата промелькнула обыкновенная зависть.

— Привет, старик! — крикнул я. — Два месяца!

Черт побери, как я спал в эту ночь! Голубые ящерицы мчались по моим сновидениям, они заваливались на спину и в неистовом восторге, задирая кверху лапы, кричали; два месяца!

Глухо прогудел звуковой сигнал будящего комплекса, перед закрытыми глазами взбух и лопнул световой шар — и я увидел перед собой Педеля. Он протягивал мне на ложке комочек какого-то желе:

— Сонтораин.

Лекарство было прохладное и очень кислое. Мной овладела апатия, аналогичная той, какую я испытывал в ракете. Еще минута — и я уснул, на сей раз уже без голубых ящерок.

Между тем мое отношение к Педелю вышло из всяких границ почтительности. Я хлопал его по гулкому заду цвета голубиного крыла и, заливаясь неестественным смехом, кричал:

— Ну, что, старый хрыч, поперли к сияющим вершинам?

Он послушно возобновлял свои объяснения, но я уже ничего, решительно ничего не мог понять или запомнить, и это нисколько не пугало меня, а, наоборот, развлекало, и я решил развлекаться вовсю, и когда на другой день он попросил меня подрегулировать блок термозарядки, я умудрился миалевой полоской заземлить питание, так что бедняге приходилось каждые пять минут кататься на подзарядку. Мои потрясающе остроумные шуточки относительно расстройства его желудка не попадали в цель — он не был запрограммирован для разговоров на медицинские темы.

Иногда, словно приходя в себя, я чувствовал, что дошел уже до состояния идиотского ребячества и уже ничего не могу с собой поделать, и все смеялся над Педелем, и все ждал, когда же он сделает что-то такое, что переполнит чашу моего терпения, и я окончательно потеряю контроль над собой.

Но последней каплей оказался Патери Пат.

За ужином он довольно сухо заметил мне, что я перегружаю моего робота не входящими в его программу заданиями. Я взорвался и попросил его предоставить мне развлекаться по своему усмотрению. Выражения, употребляемые мною по адресу Патери

Пата, едва ли были мягче тех, которые приходилось выслушивать Педелю.

Я видел округлившиеся глаза Элефантуса и знал, как я сейчас жалок и страшен, и опять ничего не мог с собой поделать, и шел на Патери Пата, шатаясь и захлебываясь потоками отборнейших перлов древнего красноречия, почерпнутого мною на буе из старинных бумажных фолиантов.

Элефантус перепугался.

Он кинулся ко мне, схватил за руку и потащил к выходу. Он вел меня по саду, бормоча себе под нос: «Это надо было предвидеть... никогда себе не прощу...» Я отчетливо помню, как я упрямо сворачивал с дорожки на клумбы и дальше, к зарослям цветущего селиора, и рвал ветки, и перед самым домом упал и стал рвать траву, но потом поднялся и с огромной охапкой этого сена дотащился до своей постели и рухнул на нее, зарываясь лицом в шершавые листья. Это была Земля, это была моя Земля — вся в терпкой горечи пойманного губами стебля, в теплоте измятой, стремительно умирающей травы. Я хотел моей Земли, я хотел ее одиннадцать лет царства металла, металла и металла — и я взял ее столько, сколько смог унести.

Это была моя Земля. И где-то на ней — совсем рядом со мной — была Сана, и она думала обо мне, помнила; может быть, еще любила. Главное — была, она была на Земле.

Но почему же я, счастливый такой человек, чувствовал, что схожу с ума?..

Вероятно, мне и в самом деле было очень худо. Приходили какие-то люди, шурша, наклонялись надо мной. Однажды прикатился Педель. Я рванулся и изо всей силы ударил его.

— Не понимаю,— тихо сказал он и исчез.

Я засмеялся — вот ведь какие странные вещи иногда чудятся... и только уж если еще раз причудится — хорошо бы, чтобы вместо Педеля был Патери Пат.

А в комнату набегали люди, все больше и больше, и все они наклонялись надо мной, и лица их, ряд за рядом, высились до самого потолка, словно огромные соты, и все эти бесконечные лица мерно хлопали длинными жесткими ресницами и монотонно жужжали:

— Ты должен... Долж-ж-жен... Долж-ж-жен...

А потом делали со мной что-то легкое и непонятное — то ли гладили, то ли качали, и противными тонкими голосками припевали:

— Вот так тебе будет лучше... лучше... лучше...

Но лучше мне не становилось уже хотя бы потому, что мне было ужасно неловко оттого, что столько людей возятся со мной и думают за меня, что я должен делать, и как лежать, и как дышать, и все другое. Все они были одинаковые, одинаково незнакомые люди, как были бы неразличимы для меня сотни тюленей в одном стаде. И отвернуться от них я не мог, потому что все тело мое было настолько легкое, что не слушалось меня. Вероятно, я находился под каким-то излучением, всецело подчинившим мою нервную систему. Изредка я приходил в себя на несколько минут, искал глазами Элефантуса — и не находил, и снова погружался в тот сон, который видел каждую ночь с самого начала. Момент перехода в состояние сна я воспринимал как беспамятство, а потом во сне приходил в себя и чувствовал, что меня волокут куда-то вниз цепкими металлическими лапами, и каждый раз, как меня перетаскивали через порог очередного горизонтального уровня, мой спаситель спускал меня на пол и проделывал какие-то манипуляции, после чего раздавались тяжелый стук и низкое, натужное гуденье. Когда я понял, что это смыкаются аварийные перекрытия и включаются поля сверхмощной защиты, я заорал диким голосом и рванулся из железных объятий «гнома». Он продолжал тащить меня, не обращая внимания на мои отчаянные попытки вырваться.

— Сейчас же сними поле! — кричал я ему.— Раздвинь защитные плиты, они же не открываются снаружи!

— Невозможно,— отвечал он мне с невероятным бесстрастием.

— Там же люди, ты слышишь, там еще четыре человека!

— Нет,— невозмутимо отвечал он.

Я понял, что он вышел из строя и сейчас может натворить что угодно — ведь все «гномы» на буе были включены на особую программу, при малейшей опасности они работали исключительно на спасение людей. Они делали чудеса и спасали людей. А этот — губит.

— Брось меня и спасай тех, четверых, они же на поверхности!

— Там нет людей. Спасать нужно тебя одного.

— Да нет же, они там!

— Там нет людей. Там трупы.

Странно, как я ему поверил. Не потому, что привык, что эти существа не умеют ошибаться,— просто кругом творилось такое, что можно было верить только худшему. А остаться в этом аду в одиночестве — это и было самое худшее.

Позже я подумал, что то, что я кричал ему, он не мог выполнить, так как знал: после нескольких минут работы защитного поля, да еще включенного на максимальную мощность, на поверхности буя не могло остаться ни одной живой клетки. Я-то все равно снял бы поле и полез обратно, но он — он все взвесил и знал, что поступает наилучшим образом.

Тем временем мой «гном» опустил меня и начал давать сигналы вызова. Через несколько секунд другой, точно такой же аппарат появился откуда-то снизу и подхватил меня. Первый «гном» отдал второму какие-то приказания и исчез наверху. Второй, точно так же, как и первый, закрыл за ним защитные плиты. Первый остался там, где медленно и неуклонно пробивалось сквозь металл смертоносное излучение. Почему он ушел? Позже «гномы» объяснили мне, что он уловил в себе наведенное поле непонятной природы и, не умея постичь смысла происходящего, счел за благо оставить меня на попечение других аппаратов, а сам вернулся в зону разрушающих лучей, лишь бы не создать для меня опасности своим дополнительным излучением. Он был хороший парень, этот первый «гном», он мудро и самоотверженно тащил меня за ворот обратно к жизни — недаром его программу составляли люди, не раз попадавшие в межзвездные переделки. И он поступил, как человек, сделав все для спасения другого и сам уйдя на верную гибель. Одно меня угнетало: вся эта мудрость, вся эта энергия тратились для спасения меня одного. Бесконечно косные в своем всемогуществе, эти роботы и пальцем не шевельнули для спасения тех, остальных, как только вычислили, что плотность и жесткость излучения многократно превышает смертельные дозы.

Так было тогда, и так же отчетливо я видел все это во сие теперь. Железные неласковые лапы перетаскивали меня через пороги, опускали в холодные колодцы люков, и все ниже и ниже — туда, где еще оставалась надежда на спасение. Но я рвался из этих лап и знал, что не вырвусь, и снова рвался, и так сон за сном, до бесконечности. Так искупал я минуту отчаяния, когда разум мой, одичавший от ужаса и опустившийся до уровня этих машин, поверил в гибель тех, остальных. Я поверил, и должен был поверить, и всякий другой поверил бы на моем месте, но именно этого я и не мог себе простить.

Я чувствовал бы себя совсем хорошо, если бы не эти воспоминания. И еще я жалел, что обошелся так резко с Педелем. Если оставить в стороне, что именно ему я обязан своим состоянием, то он был неплохой парень. Почему он больше не показывается? Обиделся? С него станется. Обидчивость с незапамятных времен

отличала людей с низким интеллектом. Наверное, это правило сейчас распространилось и на роботов. А может, я его здорово покалечил? Силы у меня на это, пожалуй, хватило бы. Приоткрыв один глаз, я смотрел, как бесшумно снуют вокруг меня белые люди. Честное слово, я с радостью отдал бы их всех за одного Педеля. К нему я привык, и когда он исчез, то среди всех этих чужих торопливых людей он вспоминался мне, как кто-то родной. Я слишком много мечтал о том, чтобы вернуться к людям, а когда мне это удалось, то вдруг оказалось, что мне совсем не надо этой массы людей, мне надо их немного, но чтоб это были мои, близкие, теплокровные, черт побери, люди, а таких на Земле пока не находилось. Меня окружало по меньшей мере полсотни человек, и все это, по-видимому, были крупные специалисты, они нянчились со мной, они старались как можно скорее поставить меня на ноги, но в своей стремительности они не оставляли места для так необходимого мне человеческого тепла.

Не засыпал я уже подолгу. Однажды я проснулся и почувствовал, что могу говорить. Но тут же подумал, что раз уж мне милостиво вернули речь, то, вероятно, первое время за мною будут наблюдать.

— Дважды два, — сказал я, — будет Педель с хвостиком.

И пусть думают обо мне, что хотят.

Я не знаю, что они обо мне подумали, но вскоре раздвинулась дверь и, чуть ссутулившись, вошел Элефантус. Он сел возле меня и наклонил ко мне свои худые плечи. «Ну, вот, — подумал я, — вот теперь я живу по-настоящему. Я теперь одновременно вспоминаю тех, четверых, тоскую по Сане, маюсь от собственной неприспособленности к этой жизни, мчащейся со скоростью курьерских мобилей, скучаю по Педелю, и вот теперь снова буду беспокоиться об Элефантусе, который по моей милости, кажется, может ослепнуть. Если бы меня мучило что-нибудь одно — это было бы, как в плохом романе: «одна мысль не давала ему покоя...» Так бывает и во сне — одна мысль. А когда начинается настоящая жизнь — наваливаются сразу тридцать три повода для переживаний.

— Как вы себя чувствуете? — спросил я Элефантуса.

Всегда такой сдержанный, Элефантус позволил себе удивиться.

— Благодарю вас, но мне кажется, это меня должно волновать ваше самочувствие.

— Вы обращаетесь со мной, как с больным ребенком, доктор Элиа. А я хочу знать: могу ли я быть с людьми? Представляю ли я опасность для окружающих? Мне это нужно, необходимо знать, поймите меня...

Элефантус зашевелил ресницами:

— Мы предполагали, что так может быть. Но я уверяю вас, что все наши предосторожности были напрасны — вы не несете в себе никакого излучения, ни первичного, ни наведенного.

— Но Патери Пат специалист в этой области. И он опасается...

— В какой-то мере я тоже... специалист.

Мне стало неудобно.

— Простите меня, — продолжал Элефантус. — Теперь я могу вам признаться, что мы намеренно старались оградить вас от внешнего мира. Патери Пат считал это обязательным для вашего скорейшего приобщения к ритму жизни всего человечества. Здесь, в укромном уголке Швейцарского заповедника, вы должны были без всяких помех овладеть своей специальностью в той степени, чтобы не чувствовать себя на Земле чужим и неумелым. Мы взяли на себя право решать за другого человека, как ему жить. Мы не имели этого права. Мы ошиблись, и в первую очередь виноват перед вами я, потому что согласился с Патери Патом и... еще одним человеком.

— Не нужно, доктор Элиа, — я положил руку на его сухую ладонь. — Все будет хорошо.

Он грустно взглянул на меня:

— Может быть... Может быть, у вас и будет все хорошо. — он поднялся. — Вы здоровы, Рамон. И еще: послезавтра — Новый год. Вы помните?

— Да, да, конечно. — Не имел представления... он быстро, чуть наклонившись вперед, пошел к выходу. Он тоже все время куда-то торопился. Это не бросалось в глаза, потому что сам он был сухонький и легкий, как летучая мышь. Другое дело — Патери Пат. Его быстрота всегда удивляла, даже неприятно поражала, и даже смешила меня, как смешила бы человека легкость движений гиппопотама, попавшего на планетку с силой тяжести в десять раз меньше.

Проснувшись на следующий день, я совершенно неожиданно обнаружил, что за окном повсюду лежит снег, хотя я знал, что в Егерхауэне потолок субтропического климата устанавливался на высоту до десяти метров. Но очертания гор, которые здесь были гораздо ближе, показались мне знакомыми. До них было километра полтора-два; узкая тропинка выскальзывала из-за моего дома и, уходя в темно-голубые ели, терялась там. Я закинул руки за голову и потянулся. Ну, черта с два меня теперь здесь удержат. Я возьму лыжи и уйду туда, в сизые елки, а не будет лыж —

пойду так, и буду барахтаться в сугробах, ломая ветви, хватая губами снег, пока не заломит в висках от сухой и колкой его морозности. От таких мыслей в комнате запахло хвоей и еще чем-то горьковатым. Даже слишком сильно запахло. Я наклонился — у самой постели, на полу, лежала охапка жесткой, похожей на полосатую осоку, травы, и огромные цветы селиора, нарванные наспех, почти без листвы, стрельчатые жесткие звезды, не ярко-розовые, как в саду у Элефантуса, а нежно-сиреневые, дикие. И еще несколько густых еловых лап с толстыми иголочками-растопырками, со смоляной паутинкой на размочаленных; неумело обломанных концах. И капли теплой воды на матово-белом, словно утоптанный снег, полу.

А у двери, прислонившись к ней плечами и опустив руки, стояла Сана.

## Глава 2

Я очень удивился, хотя ждал ее каждый день с того самого мгновенья, как ступил на Землю. Я смотрел и смотрел на нее, и вдруг поймал себя на мысли, что мы молчим чересчур долго, чтобы после этого сказать именно то, что нужно. Конечно, мы должны были некоторое время просто смотреть друг на друга, но это продолжалось уже намного дольше, чем требовалось нам, чтобы увидеть друг в друге то главное, что важнее всего после долгой разлуки, — то, что позволяет мысленно или тихо-тихо произнести: «Это ты!» И вот время полетело все быстрее и быстрее, и не было предела этому бешеному ускорению, когда за минутами летят не минуты, а часы, дни, века, и всей толщей своей они отделяли меня от того мига, когда я мог просто сказать: «Сана...» И я стал думать, что могу, что должен сказать ей я — уже не юноша, как в дни наших встреч, а пожилой, умудренный опытом и одиночеством, проживший столько лет вне ее мира, столько сделавший и столько не смогший. Я должен был сказать самое главное, трудное и наболевшее, и я сказал:

— Те четверо... Они гибли рядом со мной, и я не сделал ничего, чтобы спасти их.

Наверное, это было то, что нужно, потому что через мгновенье Сана сидела на моей постели, и рука ее лежала на моих губах, и она шептала мне тихо и растерянно:

— Не надо. Не надо об этом, милый. Я же знаю. Все знаю. Ты не мог ничего сделать. И больше не вспоминай об этом. Никогда. Не теряй на это времени. Нашего времени.

Я понял, что и она говорит не то, что думает, а говорит от мучительного счастья сказать, наконец, хоть что-нибудь, и я засмеялся в ответ ее торопливой нежности, потому что она снова стала не воспоминанием, не человеком, не женщиной — никем, а только тем единственным на Земле существом, которое называется — Моя Сана.

Я даже не спросил ее, где она поселилась и скоро ли вернется ко мне, я просто лежал, закинув руки за голову, и был полон собственным дыханием, этой чертовски прекрасной штукой, совершенной в своей соразмерности вдохов и выдохов, бесконечно мудрой в своем назначении — наполнять человека тем, что ему необходимо, наполнять всего, целиком, и делать его легким и всесильным.

Я не ждал ни шагов, ни шорохов. Я знал, что все, что со мной теперь будет, — будет хорошо. И я спокойно ждал этого хорошего будущего. Тогда бесшумно раздвинулась дверь, и бронзово-коричневый «бой» вкатил столик с ужином. Я посмотрел на него с любопытством — это был первый робот, который появился у меня за время моей болезни.

Стол был сервирован на двоих — значит, Сана меня уже больше не оставит. Шесть смуглых, почти человеческих рук быстро разливали кофе, раскладывали по тарелочкам лакомства, от которых пряно пахло суиком и школьными завтраками. Мне вдруг бросилось в глаза, что мой «бой», несмотря на свою пластическую моделировку и многоконечность, значительно тяжелее обычных сервис-аппаратов и даже снабжен проектором планетарного типа.

— Кофе натуральный? — спросил я его, чтобы узнать, снабжен ли он диктодатчиком.

— Да, но могу заменить, если вы желаете.

Голос был противный — мужской, но очень высокий, с металлическими нотками.

— Не желаю. Можно ли убрать с потолка снег?

— Пожалуйста. Выполнить сейчас же?

— Через пятнадцать минут. Какое сегодня число?

— Тридцать первое декабря.

Да, я основательно провалялся.

— Что со мной было?

— Региональное расстройство сиффузорно-запоминающей канальной системы.

А откуда он это знает? Слышал? Нет, так сказать никто не мог — разве что роботехник о причине выхода из строя аппара-

та высокого класса. Значит, этот «бой» имеет собственное мнение о моей персоне. Забавно. А вдруг это...

— Чему равна масса типовых буев-резервуаров на трассах Солнечной?

— От пятисот до семисот мегатонн.

— Сколько шейных позвонков у человека?

— Семь.

— Где расположены нейтринные экстрактеры в аппарате ЗИЭТР?

— Аппарат ЗИЭТР не имеет нейтринных экстрактеров.

— Сколько мне было лет, когда я в последний раз покидал Землю?

— Тридцать два.

Все было ясно. Я ткнул его кулаком в золотистое брюхо.

— Можешь кончить этот маскарад и облачиться в свой серенький капот. Кстати, твой прежний голос мне тоже больше нравился, а то сейчас ты мне напоминаешь... М-м-да. Боюсь, что в этой области ты не силен.

— Я вас понял. В данное время заканчиваю курс сравнительной анатомии.

— Зачем?

— Должен усвоить все курсы высшей медицинской школы. Буду, в свою очередь, программировать других роботов на аккумулято-диагностику.

— Ну, работа у них будет не пыльная. Кстати, кто тебя программирует?

— Самопрограммируюсь по книгам и лентам записи.

— Но кто-то задает тебе круг определенной литературы?

— Да, Патери Пат, Сана Логе.

— При подобном перечислении женщин следует называть первыми.

— Благодарю, запомнил. Сана Логе, Патери Пат.

— Вот так-то. Перекрашивайся, все останется по-старому.

— Прошло тринадцать минут.

— Ну, ладно, проваливай.

Он выскользнул из комнаты, и вскоре я заметил, что снег постепенно исчезает — сначала с краев крыши, потом все ближе к центру здания, и вот потолок стал совсем прозрачным. Бездумные сумерки обступили меня. Темно-лиловыми стали цветы селиора в гагатовых вазах, пар над тонкими чашками казался дымком.

Пришла темнота.

— Свет, — сказал я.

Потолок замерцал, несколько искр пробежало к окну, и комната стала наполняться ровным холодным светом. Излучала вся плоскость потолка, и мне вспомнилось, что именно так освещают операционные.

— Меньше света.

Потолок стал меркнуть.

— Довольно.

В комнате царил гнусный полумрак.

— Педель! — крикнул я.

Он явился тем же блестящим франтом — вероятно, ввиду того, что его система была усложнена, он счел нецелесообразным возиться со сменой капота. Он игнорировал мой каприз, и правильно сделал.

— Пригласи сюда Сану Логе...

На мгновенье мне вдруг стало нестерпимо жутко.

— Если она здесь, — добавил я.

— Она разговаривает с доктором Элиа в его лаборатории.

— Это далеко отсюда?

— Семь километров сто тридцать метров.

— Пусть она придет.

— Пожалуйста. Выполнить сейчас же? Давнишнее раздражение шевельнулось во мне. Мне захотелось к чему-нибудь придраться.

— Кстати, это ты умудрился расставить эти симметричные веники вдоль окна?

— Нет. Цветы расставляла она сама.

— Не имей привычки говорить о Сане «она». Она тебе не «она».

— Не понял.

— Говори: «Ее величество Сана Логе».

— Что значит эта приставка?

— Это титул древних королев, не больше и не меньше.

— Понял. Запомню.

— Очень рад. Можешь выполнять.

Сана почувствовала, что я жду ее. Она появилась, не дожидаясь вызова, и столкнулась в дверях с Педелем. Я наклонил голову и с интересом стал ждать, что будет.

Педель посторонился, пропуская ее, потом обернулся ко мне и с педантичной четкостью доложил:

— Полагаю, что вызов не нужен. Ее величество Сана Логе уже здесь.

Сана должна была засмеяться, постучать пальцами по бронзовой башке моего Педеля и выгнать его; но лицо ее болезненно исказилось, она глянула на меня, как матери смотрят на детей,

если они делают что-то не то, совсем не то, что нужно, и бесконечно досадно, что вот свой, самый дорогой,— и непутевый, не такой, ах, какой не такой!.. Засмеяться пришлось мне и выгнать Педеля пришлось тоже мне, но я не сказал ему, чтобы он не называл больше Сану так. Мне-то ведь это нравилось. И потом, может быть на Земле хоть одна королева?

Я хотел встать, но Сана меня остановила. Она ходила взад и вперед вдоль прозрачной стены, к которой снаружи неслышно приклеивались огромные снежинки. Я понял, что если двое будут ходить по одной, не такой уж просторной комнате, то это будет слишком. Я устроился поудобнее на моем ложе и приготовился слушать. Сейчас она будет говорить, говорить бесконечно долго. И самое главное, она будет говорить, а не отвечать, как делали мои роботы; говорить, что ей самой вздумается, причудливо меняя пить беседы, путая фразы и не договаривая слова; говорить неправильно, нелогично, говорить, словно брести по мелкой воде, то шагом, бесшумно, стряхивая с гибкой босой ступни немногие осторожные капли, то вдруг пускаясь бегом, подымая вокруг себя нестрашную бурю игрушечных волн, пугаясь зеленых островков тины и внезапно останавливаясь, не в шутку наколовшись на острую гальку... Действительно, прошло столько минут с тех пор, как мы встретились, а я все еще не знал, как она прожила эти одиннадцать лет — как и с кем.

Ну, что же ты так долго колеблешься? Говори, хорошая моя. Я ведь еще не вспомнил как следует твоего голоса...

Сана подошла к столику с остывшим кофе и оперлась на него руками, словно это была трибуна. Я постарался не улыбнуться.

— Вскоре после твоего отлета был осуществлен запуск «Оператора»,— ровно и отчетливо произнесла она.

«Неплохое начало для автобиографии»,— подумал я.

— Я считаю нецелесообразным останавливаться подробно на физической стороне этого эксперимента, коль скоро в период, предшествовавший запуску, обо всем говорилось весьма подробно даже в начальных колледжах. К тому же скудная техническая эрудиция вряд ли позволила бы мне в достаточно популярной форме изложить этот вопрос. В основе эксперимента лежала теория Эрбера, выдвинутая около пятидесяти лет тому назад...

— Точнее — сорок шесть,— постным голосом вставил я.

— ...и устанавливающая законы перехода материальных тел в подпространство.

Я поднял голову и внимательно посмотрел на нее. Это была Сана. Это была *Моя Сана*. Но если бы два часа тому назад она

не была Моей Саной, я подумал бы сейчас, что это — прекрасно выполненный робот пластической моделировки.

Одиннадцать лет ждать этого дня, этого первого разговора — и выслушивать лекцию, которую я свободно мог бы получить от любого робота-энциклопедиуса.

— Когда-то ты интересовался моей работой,— невозмутимо продолжала Сана,— поэтому ты должен помнить, что наша группа,— тогда ею руководил Таганский,— была занята поисками человека, достаточно эрудированного для того, чтобы его мозг мог послужить образцом для создания модели электронного квазимозга.

— Ага,— сказал я, и голос мой прозвучал хрипло, так что мне пришлось откашляться.— Поиски супермена. Еще тогда я вам говорил, что это — бред сивой кобылы в темную сентябрьскую ночь.

Сана опустила уголки губ и приподняла брови. В такие моменты она становилась похожа на старинную византийскую икону, и это предвещало, что меня сейчас начнут воспитывать.

— За эти одиннадцать лет твоя речь приобрела излишнюю иллюстративность. Я понимаю, что ты разговаривал только с роботами и читал книги, написанные на забытых диалектах, в некоторых случаях опускающихся даже до уличного жаргона. Но теперь тебе всю жизнь разговаривать с людьми.

Она почему-то сделала едва уловимое ударение на слове «тебе», и от этого фраза получилась какой-то неправильной, шаткой, словно тело в положении неустойчивого равновесия. Сана и сама это заметила, снова недовольно вскинула брови и еще суше продолжала:

— Мы были связаны жесткими требованиями Эрбера. Он считал, что только схема, целиком воспроизводящая человеческий мозг, сможет управлять машиной в любых, самых неожиданных условиях. Технически выполнить эту работу было не так сложно. Взять хотя бы наши профилактические станции здоровья — наряду с такими физическими данными каждого человека, как снимки его скелета или объемные схемы кровеносной системы, они хранят периодически обновляемые биоквантовые снимки нейронных структур головного мозга. Это позволяет в случае потери памяти восстанавливать ее почти в полном объеме, как это делается сейчас по просьбе любого человека. Если ты хочешь вспомнить что-то, забытое тобой за эти одиннадцать лет,— обратись в Мамбгр, ведь именно там мы провели последние годы перед твоим отлетом...

— Я ничего не забыл, — начал я. — Помнишь, мы...

Она подняла ладонь, останавливая меня.

— Сейчас речь не о том. Так вот. Мы отобрали нескольких наиболее видных ученых и с их разрешения создали электронные копии их головного мозга.

— Нетрудно догадаться, — сказал я раздраженно, — что из этого вышло. В одном случае вы получили робота-космогеодезиста со склонностью к энтомологии и классическому стихосложению, но абсолютно несведущего во всех других вопросах; в другом — палеоботаника, слегка знакомого со структурным анализом и теорией биоквантов и опять же не смыслящего ничего в космонавтике, и так далее. Не понимаю, зачем старику Эрберу далась такая несовершенная вещь, как человеческий мозг.

— Я не буду приводить тебе сейчас доказательств преимущества человеческого мозга перед любой машиной. Все-таки и по сей день он остается непревзойденным творением Природы. Но ты прав — машина, уходящая в подпространство, должна была нести в себе более совершенный управляющий центр, чем слепо скопированный человеческий мозг. И тогда Элефантус предложил идею Фасеточного квазимозга с наложенными нейробиоквантовыми структурами.

— По моему убогому разумению, если вы хотели получить робота, совместившего в себе гениальность всех великих мира сего, то такое устройство вы должны были бы программировать до сих пор.

— Да, — возразила Сана, — так было бы, если бы мы сами этим занимались. Но мы перевели машину на самопрограммирование. И здесь мы допустили ошибку. Чем больше узнавала машина, тем яснее она «себе представляла», как недостаточны могут оказаться ее знания. Она стала ненасытной.

— Пошла в разгон.

— Вот именно. Спасло положение лишь то, что самопрограммирование шло с непредставимой быстротой, к тому же машине были обеспечены «зеленые каналы» для любых связей.

— Вам пришлось снять питание?

— Нет, мы решили предоставить ей дойти до естественного конца, то есть перебрать всех людей, живущих на Земле.

— Ух, ты! — вырвалось у меня. — Ведь это же многие миллиарды схем!

— Ну, а что — миллиарды и даже десятки миллиардов для современной машины? Даже если учесть, что каждая схема сама по себе...

— Я не о том, — я переставал злиться, так было здорово все то, о чем она сейчас мне рассказывала. В конце концов, разве не естественно, что женщина немного хвастает своими достижениями? Тем более что я просидел эти годы сиднем, как Иванушка-дурачок до совершения положенных ему подвигов. — Я о том, что сделать машину умной, как все человечество сразу — это действительно «Ух, ты!». И ты — умница. И вообще — иди сюда.

Она не шевельнулась — словно я ей ничего не говорил.

— Целью всего эксперимента, как тебе это известно, была посылка корабля на одну из ближайших звезд, — Сана легонько вздохнула, и по тому, как она переступила о ноги на ногу, как стала смотреть чуть выше меня, я понял, что говорить она собирается еще очень долго. — «Оператор» должен был совершить переход в подпространство, с тем чтобы при обратном переходе выйти в пространство в непосредственной близости от Тау Кита. Программа исследований, поставленная перед роботом-пилотом, была чрезвычайно обширна: обзор всей планетной системы, выбор планеты с оптимальными условиями для развития на ней жизни, приближение к этой планете на планетарных двигателях, и дальше — наблюдения по усмотрению самого робота-пилота. Здесь-то в наибольшей степени был необходим аналог человеческого мозга. Если на планете находились существа, хотя бы способные передвигаться, — основное внимание должно было быть сосредоточено на них. Разумны ли они — это мог решить только человеческий мозг, но не машина. При задаче — собрать максимум информации о гипотетических «таукитянах», роботу-пилоту строжайше запрещалось вступать с ними в контакт. Даже при наличии высокой цивилизации. Затем «Оператор» должен был вернуться на Землю.

Сана сделала паузу. Черт побери, это была очень эффектная пауза. И надо же было так измываться над человеком!

— «Оператор» был выведен на орбиту Инка-восемнадцатого, самого отдаленного искусственного спутника Сатурна. Оттуда был произведен запуск, и туда же он и вернулся точно спустя пятьдесят дней. Вот тогда-то, в момент возвращения «Оператора», и возник конус загадочного излучения, не затронувшего ни Инка, ни каких-либо других спутников, ни самого Сатурна. Под излучение попал только буй, на котором находился ты.

— Мы, — сказал я, — нас там было пятеро.

Сана глянула на меня и даже не поправилась. Так, словно кроме меня для нее во вселенной никого не существовало. Но тогда зачем она мне все это рассказывала?..

— «Оператор» вернулся в Солнечную, неся на борту информацию о первой звезде, до которой наконец смог долететь корабль, созданный руками человека, — слова звучали отчетливо и мерно, как шаги. Шаги, когда кто-то уходит.

Вот я улетел с Земли, и она осталась на ней, чтобы ждать. И ждала. Я вернулся, хотя и несколько позже, чем предполагал, но все-таки вернулся, и нашел ее на Земле, нашел такой же, как и оставил. Такой же?

И я увидел Сану прежней. Раньше мне это никак не удавалось. Я не мог ее вспомнить, потому что слишком хорошо знал, слишком часто видел. Если запоминаешь с одного взгляда — в памяти остается некоторый статичный образ, конкретный и отчетливый, остается вместе с местом, временем, звуками и запахами. А вот когда видишь человека сотни раз, воспоминания накладываются одно на другое, колеблются, расплываются и меркнут, не в силах создать законченного изображения. Там, на буе, у меня случайно оказался под руками простейший биоквантовый проектор, и я просиживал перед ним часами, воссоздавая образ Саны. Изображение не хотело становиться объемным, оно было плоским и тусклым, а когда я старался заставить себя припомнить какую-то отдельную черту, все лицо вдруг становилось чужим, не Саниным. Тогда я начинал тренировку: шар, куб, кристаллы различной формы, маргаритка, сосновая ветка, ящерица, моя собственная рука — лицо Саны... и все шло насмарку.

Передо мной появлялась бесформенная тень с ослепительно яркими, словно составленными из кусочков зеркала, глазами и алой полоской нечеткого рта. Волосы, светлые и тяжелые, лились, как вода — я отчетливо видел их непрестанное течение книзу. Я заставлял себя сосредоточиться — возникал овал лица и пропадали губы. Очерчивались брови — исчезали волосы. Не меркли только удивительные, нечеловеческие глаза, придуманные мною с такой силой, что настоящие, Санины, не вспомнились мне ни разу.

А теперь я вспомнил ее всю. И не такую, какой она была в день моего отлета — в этот день началась чужая, сегодняшняя Сана, — а смущенную, неуверенную, еще совсем не знакомую мне, но уже ожидающую меня. Я пытался обмануть себя, я пытался уверить себя, что и сейчас она неизменна, как древнее божество, и мне это удавалось, пока вдруг не появилась эта неумолимо прежняя Сана. Юная Сана.

Я не слышал, как праздновали на Земле чудесное возвращение «Оператора». Для меня осталось лишь горестное чудо исчезновения, растворения во времени того, что я называл в Сане «мое».

В извинение я стал смотреть на Сану широко раскрытыми глазами, и она, бедняга, радовалась, что меня так заинтересовал этот проклятый «Оператор». Голос ее стал мягче и человечнее, и она все еще наклоняла голову чуть-чуть к правому плечу, что у нее всегда означало: я сказала, а ты должен был понять, и я буду огорчена, если ты меня не понял.

— Я все понял,— сказал я и протянул к ней руку.— Ну, довольно же, Сана.

— Но я еще не кончила,— спокойно возразила она, и четкие, весомые фразы снова неумолимо последовали одна за другой.— Собственно говоря, мне остается только сообщить тебе, что содержали нити микрозаписей информирующего блока. Этот блок состоял из пятисот рамок, причем каждая рамка имела нить емкостью в сто миллиардов знаков. Все они подверглись дешифровке и дали совершенно конкретную информацию.

Я сделал вид, что меня чрезвычайно интересует то, что последует дальше.

— А дальше,— сказала Сана,— дальше всю Солнечную облетела весть: планета, выбранная «Оператором» для наблюдений, аналогична Земле, пригодна для жизни разумных существ, эти существа есть на ней, и они достигли высокой степени цивилизации.

— Бурное ликование во всей Солнечной,— вставил я.

— Все так ждали расшифровки данных с далекой звезды, что комитету «Оператора» приходилось выпускать информационные бюллетени чуть ли не каждые два часа. Вряд ли ты можешь представить нашу радость, когда стало очевидно, что первая же попытка отыскать себе братьев по разуму увенчалась таким успехом — «таукитяне», как и мы, дышали кислородом, имели четыре конечности, среднюю массу и размеры, черты лица, объем головного мозга, развитую речь — словом, все, все, как у людей.

Я снова хотел подать реплику, как вдруг заметил, что о таком феноменальном открытии мне почему-то рассказывают грустным тоном.

— Более того,— заключила Сана,— машина не только установила тождество среднего жителя Земли и среднего «таукитянина»,— она с автоматической педантичностью, используя имеющиеся у нее параметры каждого земного индивидуума, подобрала для каждого человека аналогичного «таукитянина», похожего на него, как две капли воды.

Я оторопел:

— Антимир?

Сана невесело усмехнулась:

— Проще, гораздо проще. Подозрения зародились у нас еще тогда, когда «Оператор» заявил об абсолютном тождестве планет. Но коль скоро по программе при наличии в системе Тау Кита разумных существ все внимание должно быть перенесено на них, машина не задерживалась на физическом описании самой планеты, а принялась скрупулезно доказывать в каждом частном случае, что некоему Адамсу Ару, род. Мельбурн, 2731 г., аналогичен таукитянский Адаме Ар, род. Мельбурн, 2731 — 2875 гг.; Мио Киара, род. Вышний Волочек, 2715 г., имеет космического двойника с земным именем Мио Киара и тоже род. Вышний Волочек, 2715 — 2862 гг. И так далее, для каждого из людей, которые в момент отлета «Оператора» жили на Земле.

— Так она никуда не улетала с Земли! — Ох ты, как же это они просчитались, ведь это действительно было бы чудо, и до этого чуда было рукой подать, ох, как обидно... — Так повторите, черт побери, эксперимент! Что, энергия? Соберем! Фасеточный мозг? Ерунда! Должен лететь человек — вопрос только в том, чтобы найти такое состояние человеческого организма, в котором он сможет перенести переход Эрбера...

— «Оператор» улетел, — оборвала меня Сана, — улетел и вернулся.

— Откуда? Ты же сама говорила, что он не ушел дальше Земли.

— Совершенно верно. Он совершил переход в подпространство, и координаты его обратного выхода были смещены; но не в пространстве — во времени.

Я уже ничего не говорил. Я чувствовал себя, как новорожденный младенец времен примитивной медицины, которого попеременно суют то под холодный, то под горячий душ: запуск «Оператора» — переходы Эрбера — «таукитяне» совсем как мы — ура! — бултых в холодную воду — никаких «таукитян» — машина торчала на Земле — переход Эрбера не состоялся — минуточку! — все было, и даже не в пространстве, а во времени... а куда, собственно говоря, во времени?

— Действительно, — спросил я, — а куда?..

— Вперед. Вперед примерно на сто семьдесят лет.

Ишь ты — ровно на сто семьдесят. К этому так и тянуло придраться, и я ринулся:

— Если бы ваш драгоценный «Оператор» догадался прихватить из будущего хотя бы средние годовые земных температур...

И осекся.

Сана смотрела на меня широко раскрытыми глазами, такими глазами, каких у нее никогда не бывало и какие только я мог придумать. Смотрела так, что я понял: все эти сюрпризы Фасеточного мозга — это еще ничто. А вот сейчас она скажет что-то страшное.

— «Оператор» скользил во времени. И летел он именно вперед, потому что каждому человеку, параметры которого он имел, он подобрал гипотетического «таукитянина»; и сведения об этих «таукитянах» на одну дату отличались от данных, которыми могли располагать люди.

— Что-то не заметил, — сказал я не очень уверенно.

— И мы сначала не обратили на это внимания — слишком уж это было невероятно. Так вот: для каждого «таукитянина», то есть для каждого человека, «Оператор» принес, кроме даты рождения, и год... смерти.

Я замотал головой:

— Машинный бред... Массовый гипноз... Шуточки Фасеточного мозга... — я не мог, не хотел понять того, что она мне говорила.

Но Сана не возражала мне, а лишь продолжала смотреть на меня своими холодными, лучистыми, словно составленными из осколков зеркала, глазами.

Мне нечего было сказать — я твердо решил, что все равно не поверю ей; и мне оставалось только смотреть на нее, и я стал думать, что она опять не такая, как днем, и не такая, как час назад, и что если когда-нибудь людям являлись с того света прекрасные девы, чтобы возвестить смерть, — они были именно такими. Только немного помоложе. Они говорили: «Ты умрешь» — и человек верил им и умирал. Им нельзя верить. А поверить так и тянет, потому что их явление — это чудо, а у кого не появится неудержимого стремления поверить в чудо? Нет, Сана — это чудо, в которое верить нельзя. Если я поверю — я оцепенею от страха, потому что жить, зная, что завтра ты умрешь, невозможно. Это не будет жизнь. Это будет страх.

— Черт с ним, с «Оператором», — сказал я как можно естественнее. — Поздно. Иди сюда.

Сана поняла, что я заставил себя не поверить всему тому, что слышал. Она опустила руки и посмотрела куда-то выше и дальше меня.

— Завтра наступит новый год. *Мой год.*

И тогда я поверил.

## Глава 3

Я проснулся оттого, что луна взошла и светила мне прямо в лицо. Я проснулся и не открывал глаз, а рассматривал короткие прямые полосы, которые с медлительной неумолимостью проплывали слева направо в глубине моих закрытых век. Эти полосы сначала были серебристыми, не очень тяжелыми; но мало-помалу они начали приобретать тягостную матовую огненность плавящегося металла. Вдруг они сорвались с места и понеслись, замелькали, словно пугаясь моего пристального разглядывания... Я не выдержал и открыл глаза — это был просто лунный свет, но мне вдруг вспомнилось какое-то нелепое выражение, которое я вычитал в одной старинной книге еще там, на буе, но никак не мог понять, что это значит: «кинжальный огонь». Я попробовал повторить это выражение несколько раз подряд, но от этого смысл еще дальше ушел от меня, растворился в созвучии, пронзительном и жужжащем... Я понимал, что дело не в этом неугаданном смысле двух глупых слов, а что случилось что-то непоправимое, жуткое до неправдоподобья... И словно призрачное спасенье, подымались из черного елового своего подножья снежные горы. Я вспомнил, что хотел уйти туда, и резко поднялся. И только тогда понял, что я не один.

Я даже не удивился тому, что забыл про нее. Я удивился тому, что она спала. А спала она так спокойно, на правом боку, подложив руку под щеку. Если бы я знал то, что знает она, и вдобавок был бы женщиной, я бы делал, что угодно, но только не спал. Я наклонился над Саной. Но я забыл, что спящих людей нельзя пристально разглядывать. Я давно не смотрел на спящих людей. Брови ее дрогнули, и она начала просыпаться так же медленно и тяжело, как и я сам. Тогда я испугался, что вот сейчас она проснется окончательно, и сразу вспомнит *это*... Я наклонился еще ниже и стал ждать, когда она откроет глаза. Она их открыла, и я стал целовать ее, не давая ей ни думать, ни говорить. Она тихонечко оттолкнула меня, но затем сразу же притянула обратно и заставила меня опустить голову на подушку. Потом положила мне руку на глаза и держала так, пока не почувствовала, что я опустил веки. Она хотела, чтобы я заснул, и я послушно притворился спящим. Тогда и она снова улеглась на бок, аккуратно подложив руку под щеку, и я услышал, что дыхание ее сразу же стало тихим и ровным. Она спала. Все было правильно — она спала, я был рядом и сторожил ее.

Я проснулся на рассвете, проснулся легко и быстро, проснулся спокойным и уверенным, потому что я знал теперь, что мне делать. Я должен повседневно, поминутно отдавать себя Сане. Как это сделать, это уже было все равно. Так, как она сама этого захочет. Сейчас, пока она еще спит, нужно собраться с мыслями и продумать, как прожить этот день, первый день *этого* года. И даже если их осталось совсем немного, этих дней, каждый из них должен быть по-своему мудр и прекрасен. Я невольно огляпулся па Сану — она смотрела на меня с кажущейся внимательностью, а на самом деле — куда-то сквозь меня, с той долей пристальности и рассеянности, которая появляется, если смотришь на что-нибудь долго-долго. Значит, проснулась она давно.

— С добрым утром,— сказал я.— Почему ты не позвала меня сразу же как проснулась?

— С добрым утром,— ответила она так же спокойно, как говорила вчера вечером.— Сначала ты спал, а шесть часов сна тебе необходимы. Потом ты думал — я не могла тебя отвлечь, потому что ты сейчас будешь много думать, а тратить на это дневные часы нерационально. Тебе нужно работать. Учиться работать. Учиться работать быстро. Не забудь, что к тому ритму жизни, который, несомненно, поразил тебя, мы пришли за одиннадцать лет. У тебя будет меньше времени, но я помогу тебе.

Я поперхнулся, потому что чуть было не сказал ей: «Валяй!».

Она оперлась на локоть и на какое-то мгновенье замерла, как человек, делающий над собой усилие, чтобы встать. И я вдруг понял, что все ее спокойствие, все эти правильные, сухие фразы, все это здравомыслие — лишь слабая защита от моей жалости. Внутри меня что-то неловко, больно перевернулось.

— Лежи,— сказал я ей как можно более холодным тоном, чтобы не оцарапать ее своей непрошенной заботливостью.— Я приготовлю завтрак.

Мне хотелось все делать для нее самому, своими руками. И еще мне хотелось спрашивать, спрашивать, спрашивать — я никак не мог понять главного: кто же допустил, что эти сведенья стали известны людям? Я догадывался, что делается с Саной, и у меня голова шла кругом, когда я представлял себе, что еще сотни, тысячи людей вот так же, цепенея от самого последнего человеческого страха, просыпаются в этот первый день нового года — их года.

Я не мог понять — зачем это сделали, зачем не уничтожили проклятый корабль вместе со всей массой этих ненужных и таких мучительных сведений — но я боялся, что сделаю ей больно,

напоминая о вчерашнем. Я наклонился над ней, словно желая укрыть, уберечь ее от какой-нибудь нечаянной боли, и молчал, и она улыбнулась мне прежней, юной улыбкой и принялась зачесывать кверху свои тяжелые волосы. Она подняла их высоко над головой, быстрым привычным движением намотала себе на руку и стала закалывать узкими пряжками из темно-синего металла. Я забыл обо всем на свете, и сидел, и смотрел, как она это делает, а когда она снова глянула на меня, я только слегка пожал плечами, словно прося извинить мое любопытство. Я так много думал о Сане, я тысячи раз представлял себе, как она идет, и как наклоняет голову чуть-чуть вправо, и как она одевается, и много всего еще; но я никогда не мог представить себе, как она причесывается, просто потому, что раньше она никогда этого при мне не делала. Я вообще не помнил о том, что женщины причесываются. Поэтому я и удивлялся ее движениям, чуточку механическим, бездумным, и в то же время бесконечно древним, я бы сказал даже — ритуальным, как слегка угловатые, заученные позы индийских девочек-жриц на старинных миниатюрах.

— Бой! — позвала Сана.

Педель вкатился, как ясное солнышко, бросая золотистые блики на белый пол. Сана натянула одеяло до самого подбородка.

— Доброе утро, — сказала она Педелю. — Мой завтрак и то, что закажет Рамон.

— Привет, золотко мое, — меня насмешило то, что Сана относилась к нему, как к настоящему мужчине. — Мне то же самое, плюс кусок мяса побольше, на твой вкус.

— Вкуса мяса не знаю.

— Почитай гастрономический альманах и еще что-нибудь из древних, хотя бы о пирах Лукулла. Уж если тебя приставили мне в няньки, то курс чревоугодничества тебе необходим.

— Благодарю. Запомнил.

Педель, не оборачиваясь, укатился куда-то боком. Брови у Саны отмечали низкую степень раздражения. Тоже мне шкала настроений! И надо было звать этого членисторукого, когда я собирался все сделать сам. Педель вдруг показался мне огромным золотистым крабом. Живет рядом этакое безобидное на вид чудовище, кротко выносит грубости, подает кофе, рассчитывает схемы, а потом, вопреки всем законам роботехники, в один прекрасный день раскроет свои железные клешни и...

— Сана, пошли ты его подальше. Я хочу все делать для тебя сам. Кормить. Одевать. Причесывать. На руках носить. Хочешь ко мне на руки?..

— Ты потерял бы слишком много времени. Завтрак доставляется из центрального поселка, а он расположен отсюда за семь километров.

— Все вы теперь фанатики времени. Почище Патери Пата.

Проглотив почти что наспех все, что подал нам шестирукий стюард, мы поднялись и посмотрели друг на друга..

— Ты должен... — начала Сана.

Да. Я был должен. Я всем был должен. В первую очередь — ей. И единственное, что я еще хотел — это платить мой долг той монетой, которую я сам выберу. Больше я ничего не смел хотеть...

— ...а теперь наша группа — наша, потому что ты включен в нее в качестве механика по киберустройствам — вплотную подошла к созданию сигма-кида, то есть кибер-диагностика, который определял бы степень поражения организма сигма-лучами, возникающими в момент совершения каким-либо материальным телом обратного перехода Эрбера. Кид — пока это будет, разумеется, стационарная установка — должен разработать также систему предупреждения на случай непредвиденного сигма-удара, а также предложить методику лечения, хотя этим вопросом параллельно занимаются Элефантус и Патери Пат.

Все это было очень мило, особенно если учесть, что ни один прибор не зафиксировал этих загадочных лучей и судить о них можно было только по вторичным эффектам. Но меня сейчас мало интересовали технические трудности. Я не мог понять: кому нужно повторение этого эксперимента? Насколько я понял Сану, «Овератор» принес данные только о тех людях, которые в момент его отлета жили на Земле. Значит, следующее поколенье избавлено от этих даров свихнувшейся машины. Так зачем же повторять все снова?

Надо было найти Элефантуса — с Саной я говорить обо всем этом не мог, улететь от нее, чтобы самому во всем разобраться, — и подавно...

— ...и составь список книг, лент и нитей записи, которые могут тебе понадобиться. Егерхауэн не располагает обширной библиотекой. Если тебе что-нибудь понадобится — позови меня, не трать времени на самостоятельные поиски.

— Может быть, мы все-таки будем работать вместе?

— Когда появится острая необходимость в этом. Но приучайся к тому, что меня не будет с тобой.

Как будто я привык быть с нею!

Так как у меня не было под рукой каталога, мне пришлось задавать круг интересующих меня вопросов. Я старался как можно

четче ограничить каждую тему, чтобы список требуемых пособий не получился непомерно велик. Не дай бог, попадется чересчур усердный «гном», который будет выполнять мой заказ, и решит осветить каждый вопрос чуть не от Адама. Тогда весь мой год — наш год — уйдет на одно ознакомление с литературой. Я порядком устал и начал отвлекаться. Мне то и дело приходилось отключать мой биодиктофон, чтобы он не зафиксировал не относящихся к делу мыслей. Нет, так я далеко не уеду. Может быть, обратиться в коллегию Сна и Отдыха и попросить разрешения на год без сна? Но такое разрешение давалось лишь в крайних случаях — все-таки слишком вредны были еще препараты, поддерживающие человека в состоянии постоянного бодрствования. Потом все это сказывалось. Мне-то на это было наплевать, но я не знал, как посмотрит коллегия на мое желание провести этот год с человеком, который имел право на всего меня, всего, целиком, до последней моей минуты. Ведь, наверно, таких частных случаев было немало. Я не мог ни о чем судить, потому что на Земле за время моего отсутствия произошла слишком резкая переоценка всех вещей и понятий. Если перед моим отъездом все измерялось энергией, то теперь мерой всему были годы и минуты. Так, наверное, было с теми космонавтами, которые в далекие времена покинули на Земле царство денег, а вернулись в мир, где стоимость каждой вещи уже определялась одной только затраченной энергией. С течением времени энергия начала обесцениваться, и к моему отлету лишь в таких случаях, как запуск «Оператора», поднимались разговоры о дороговизне того или иного эксперимента. С освобождением внутриэлектронной энергии, да еще и при умении ее конденсировать, эта мера стоимости изжила себя. И вот в мое отсутствие на Земле появилось новое мерило, самое постоянное и нерушимое — время. Если когда-то на золото покупались вещи, труд, энергия, то теперь время могло оценить решительно все. Даже чувства. И это была самая надежная монета, но на нее ничего нельзя было купить — ведь я готов был платить всем своим временем за мою Сану, и — не мог. Это осталось единственной сказкой, не воплощенной человеком в действительность. Так на кой черт мне были все эти ковры-самолеты и скатерти-самобранки?

— Сана! — крикнул я.— В котором часу мы обедаем?

Сана появилась на пороге. На лбу ее синела миалевая лента биодиктофона.

— Да?

— Не пора ли обедать?

— Еще двадцать минут. Не стоит делать исключения для первого дня. Пусть все будет так, как здесь заведено.

— Кем? Элефантусом?

— Да.

Значит, Патери Патом.

Между тем за дверью послышался звон посуды — наверное, Педель уже накрывал на стол. Я вдруг представил себе, как мы будем сидеть друг против друга за белоснежным столом в этой огромной, залитой ледяным светом комнате...

— Могу я видеть доктора Элиа?

— Разумеется. Тебе что-нибудь неясно?

— Да нет, но разве мы не могли бы обедать вместе, как и прежде?

— Я думала, у тебя сохранилась антипатия к Патери Пату.

— Ерунда. Он мне аппетита не портит. А разве Элефантус не прогнал его?

— Патери Пат — светлая голова. Доктор Элиа очень дорожит им.

Я пожал плечами.

— Ужинать мы будем вместе, — Сана исчезла.

Ох, уж эти мне отношения, когда тебе десять раз на дню подчеркивают, что исполняют малейшее твое желание, а на самом деле навязывают все, до последней паршивой книжонки, до мельчайшего сервис-аппарата для подбирания окурков. Даже моего Педеля изуродовали якобы мне в угоду. Я оглядел комнату. Белое с золотом. Да еще какая стилизация! — под благородный древний ампир. Который раз уже к этому возвращаются? Шестой или седьмой. Бездарь какая! Своих мыслей не хватает. И мою железную скотинку отделали под старинную бронзу, как... Как что? Я где-то совсем недавно видел этот темный тяжелый цвет. И не мог припомнить, где именно.

Между тем дверь распахнулась, и Педель, как обычно, легкий на помине, вкатил овальный обеденный столик, уставленный прозрачными коробками с едой. Он ловко вскрывал их и выкладывал содержимое на тарелки.

— Консервы? — спросил я.

Я так привык к консервам, что трудно было бы сказать, что они мне надоели.

Сана вышла в белом обеденном платье.

— Нет, — сказала она, усаживаясь. — Все свежее. Готовится в центральном поселке каждую неделю. Кстати, составь себе меню на ближайшие десять дней.

— Возьми это на себя, если тебе не трудно.

Она наклонила голову. Кажется, я доставил ей удовольствие.

— И потом, знаешь, лунный свет мне положительно мешает спать. Сотвори какое-нибудь чудо, чтобы луна исчезла.

Она посмотрела на меня почти с благодарностью.

— Я распоряжусь, чтобы на ночь потолок затемнялся. Тебя это устроит?

— Я не требую аннигиляции всей лунной массы. Для меня достаточно и локального чуда.

Ага, вот и «сезам, откройся». Теперь все будет просто.

Вторую половину дня я занимался с Педелем. Изредка мной овладевало беспокойство, я подходил к двери и поглядывал, что делает Сана. До самой темноты она просидела в глубоком кресле, не снимая со лба миалевой полоски и не отнимая руки от контактной клавиши биодиктофона. Но панелька прибора была мне не видна, и я не знал, диктует она или просто так сидит, предаваясь своим мыслям. Почему-то я был склонен предположить второе.

В конце концов я тоже уселся в кресло, попросил Педеля оставить меня в покое и надвинул на лоб миалевый контур. Вид у меня был достаточно глубокомысленный — на тот случай, если бы Сана неожиданно появилась в комнате, — так что я мог спокойно отдаться безделью. В углу бесшумно возился Педель — у него, видимо, появились какие-то соображения по поводу имитирующей схемы нашей будущей машины, и он придавал ей наиболее компактный вид. Я все смотрел на него и вспоминал, в честь чего же он окрашен в этот темный, до коричневого оттенка, бронзовый цвет. И еще мне хотелось есть.

— Педель, — сказал я, — принеси мне что-нибудь пожевать, если осталось от обеда.

— Слушаюсь. Пожевать. Сейчас принесу.

Кто знает, в котором часу мы будем теперь ужинать, а я как-то привык все время что-нибудь жевать. Собственно говоря, это было единственным разнообразием, доступным мне там, на буе. Если не считать книг, разумеется. Но книги — это что-то вроде платонической любви; как ни пытайся разнообразить их список, все равно при длительном чтении остается впечатление, что занимаешься чем-то одним и тем же, приятным, но нереальным. Другое дело — еда. Это — удовлетворяемая страсть. Я намеренно держал себя дня три-четыре на молочной или фруктовой диете, а потом устраивал пиршество с полусырым мясом, вымоченным в уксусе и вине. Ликарбовые орехи в сочетании с консервированными раками тоже оставили у меня неизгладимое впечатление. Почему,

собственно говоря, я торчу здесь? Мне надо было отправиться прямо на Венеру и стать директором-контролером на какой-нибудь фрукто-перерабатывающей станции или, если так уж необходимо было сохранить свою профессию, ремонтировал бы роботы для сбора орехов или ловли летучих тунчиков. А говорят, что есть еще на Венере кретины, которые пасут гусей. Это те, которые абсолютно неизлечимы от рождения. Вот благодать! Голубоватые луга; тонкие-тонкие, словно ледяные чешуйки, маленькие пруды под раскидистыми талами, и можно взять гибкую хворостинку и вообразить себя кудрявым голопузым мальчиком, пасущим античных гусей, трясущих жирными гузками в честь прекрасной богини. И даже если без антики и без прекрасных богинь, то самый захудалый гусенок мне сейчас был бы во сто крат милее всех многоруких и великомудрых киберов, исключая Педеля, пожалуй.

— Послушай, — спросил я, — что ты мне подсунул?

— Колбаса органическая, естественная, подвергнута прессовке под давлением в шесть атмосфер при температуре минус восемьдесят градусов по Цельсию.

— Зачем?

— По предварительным подсчетам, можете жевать от полутора до трех часов.

— Ах, ты, золотко мое! — я с восхищением уставился на него. Как мне не хватало его там, на буе! Не только его рук и головы, а вот этой заботливости, неуклюжей, но теплой, — сердца, что ли? Почему ни один из тех «гномов», которых я создал и запрограммировал сам, не был похож на Педеля? Впрочем, ответ напрашивался сам собой: именно потому, что я делал их сам и для себя. А Педеля программировали для меня другие люди. Сана. Это ее теплота, ее заботливость жила в металлической коробке многорукой машины. Вот так. О чем ни подумаю — круг замыкался и все возвращался к тому же — к Моей Сане.

Я встряхнулся, как утенок, и виновато огляделся. Нет. Даже если бы Сана и следила за мной, она была бы в уверенности, что я решаю одну из проблем кибер диагностики. А между тем я напоминаю школьника, прячущего под учебником веселую приключенческую книжонку. А сама Сана? Она ведь тоже не работает. Мне вдруг захотелось поймать ее врасплох. На цыпочках я прошел в ее кабинет и наклонился над ней. Ну да, прибор был отключен, и она не сделала никакого движения, чтобы привести его в рабочее состояние.

— Ага, — сказал я, садясь на ручку ее кресла. — Возрождение эксплуатации. Один работает, а другой погоняет.

Она посмотрела на меня с тем невозмутимым видом, которым так хорошо прикрывать свою беспомощность.

— Я редко пользуюсь биодиктофоном. То есть, я хочу сказать, что не включаю его, пока не добиваюсь четкой формулировки целого законченного отрывка. Только тогда диктую. Я знаю, ты полагаешься на стилистику автоматов, но у тебя еще много времени впереди, и те из своих заметок, что ты собираешься сохранить на будущее, ты всегда успеешь откорректировать.

Вот, получил. Не подглядывай, не лови. Уж если она делает вид, что работает, то, стало быть, так и надо принимать. Ведь только утром решил отказаться от всех этих мальчишеских штучек!

— Я не против того, чтобы ты сидела у этого ящика, — я спасал положение. — Тем более что эта голубая полоска тебе очень к лицу. Что-то похожее, кажется, носили весталки. Только не из такого современного материала, а из белого льна.

Сана слегка подняла брови — значит, снова я говорил не то, ох, до какой же степени совсем не то!

— Должна тебе заметить, что обратную связь на нашей машине ты проектируешь напрасно. Она утяжелит конструкцию, но не принесет видимой пользы. Конечно, это лишь мое мнение, и ты можешь не соглашаться с ним.

Я пристально посмотрел на нее. Мне отчетливо послышалось за этой фразой, «ведь скоро ты не будешь связан моими вкусами и капризами»...

И я не мог понять, от кого исходил этот подтекст — от ее грустных вечерних глаз или от меня самого? Черт побери, должен же я забыть, заставить себя забыть об этом, если мне это не удастся — она рано или поздно прочтет мои мысли. А это очень невеселые мысли — когда постоянно думаешь о том, что вот теряешь бесконечно дорогого, единственно дорогого человека — и ничего не можешь сделать. И снова думаешь и думаешь все об одном, и думаешь так много, что уже появляется ощущение, что ты что-то делаешь.

Сана положила два пальца на широкую клавишу ультракороткого фона. Несколько секунд просидела так, потом выключила прибор и сняла фоноклипсы.

— Нас ждут.

К моему удивлению, в мобиле оказался Педель.

— Это что — выездной лакей, или в его программу входит теперь поглощение ужинов?

Сана смутилась. Видно было, что она не может так просто говорить о Педеле в его присутствии.

— Отдохнул бы ты, милый, — сказал я ему и отключил тумблер звуковых и зрительных центров. Педель, словно огромный краб, застыл в кормовой части мобиля, только руки его слегка вздрагивали, легко касаясь стен. Вид у него был недовольный и обиженный.

— Ну, так что же? — спросил я.

— Я думала, что тебе будет приятно, если он будет нас сопровождать.

— К чертям сопровождающих, — сказал я. — Хочу быть с тобой. Только с тобой одной. К чертям всех третьих.

Она улыбнулась — благодарно и застенчиво:

— Мне просто показалось, что ты любишь его.

Я вытаращил глаза. Этого недоставало! Добро бы меня заподозрили в симпатии в породистой собаке — но к роботу... Впрочем, я всегда недолюбливал людей, которые к своим животным относились как к равным; от них, как правило, за версту несло мещанством. Но относиться к Педелю, как к человеку, это было уже не просто мещанство, а ограниченность, недопустимая даже в шутку. Я еще раз пожал плечами и вернул Педелю утраченную было полноту восприятия.

Ужинали мы уже при люминаторах, и в маленькой гостиной Элефантуса было теплей и уютней, чем в нашем еще не обжитом и слишком светлом доме.

Я отведал вина, которое пил Элефантус, — оно оказалось чересчур сладким. Патери Пат не пил — да я и не видел никогда, чтобы он это делал. Сначала поговорили о погоде — в горах ожидалась основательная буря. Элефантуса и Патери Пата это беспокоило так, словно их домики не были прикрыты одеялом из теплого воздуха десятиметровой толщины. Потом как-то нехотя разговор перешел на работу. Сана оживилась. Говорить было о чем, потому что пока у нас еще ничего не получалось. Патери Пат только что проанатомировал одну из обезьян, прибывших со мной. Он подозревал у нее возбужденное состояние биоквантовых сердечно-мозговых связей и теперь не мог себе простить, что не исследовал ее в состоянии квазианабиоза, а сразу поторопился вскрыть — это была первая обезьяна, погибшая после нашего прилета. Она уцепилась за грузовой мобиль и упала с высоты примерно трехсот метров. Я выразил свои соболезнования Патери Пату и уловил на себе его задумчивый взгляд — вероятно, он обдумывал, какие манипуляции проделать с моим телом, когда оно попадет к нему в руки. Я злорадно усмехнулся, потому

что не сомневался в том, что намного переживу его — он был настолько осторожен, что рано или поздно это должно было плохо кончиться.

Потом мы поднялись и пошли в сад; Сапа вышла с Патери Патом, с которым у нее был какой-то давнишний, сугубо принципиальный и, в силу своей принципиальности, бесконечный спор.

Я подождал, пока они отойдут подальше, и быстро направился к Элефантусу. Он смотрел, как я подхожу, и длинные ресницы его вздрагивали при каждом моем шаге.

— Вам очень тяжело? — спросил он меня, словно в его силах было сделать так, чтобы мне стало легче.

— Нет. Не то. Я просто не могу понять: зачем это сделали?

Элефантус был уже в рабочем халате. Он засунул руки в карманы и мелкими шажками двинулся по дорожке, глядя себе под ноги. Уже стемнело, и мне казалось, что он старательно перешагивает через тени.

— Видите ли, Рамон, мы получили информацию. Информацию настолько важную, что отказаться от нее, априорно заявить о ее ненужности мы не имели права. Разумеется, были ученые, которые предлагали законсервировать данные, принесенные «Оператором». Но человечество рано или поздно повторило бы этот эксперимент, поставив перед собой все тот же вопрос: нужно ли людям такое знание?

— Может быть, вы и правы, — сказал я, хотя он меня далеко еще не убедил. — Только люди, сами люди могут решить этот вопрос. Никакая машина сделать этого не смогла бы. И все-таки я думаю, что сама постановка этого вопроса была негуманна.

Элефантус сделал какое-то неуверенное движение головой — не то кивнул, не то покачал.

— Но если не сейчас, то через несколько десятилетий проблема была бы поставлена снова. Есть такие вопросы, которые, если они однажды были заданы, должны быть решены. Рано или поздно, но кто-то другой взялся бы за решение, и мы оказались бы перед этими другими просто трусами.

Я слушал его и думал, что на самом деле это было совсем не так, и скупые, официальные фразы: «мы получили информацию», «мы взялись за решение этой проблемы» — все это лишь воспоминания, а вспоминаешь всегда немножечко не так, как было на самом деле, а так, как хотелось бы сейчас; а на самом деле был неуемный, животный страх перед собственным исчезновением, и не было никаких «мы», а только бесконечное множество отдельных «я», и каждый в одиночку побеждал этот

страх; и мне все-таки хотелось знать, как же это было на самом-самом деле, и я спросил его:

— Но ведь это все-таки ужасно — узнать *свой год*...

Элефантус вдруг остановился, глянул на меня чуть-чуть снизу своими усталыми глазами старой мудрой птицы:

— Нет,— сказал он тихо,— это не страшно — узнать *свой* год. Это совсем не страшно.

Он опустил голову, слегка пожал плечами, словно не должен был мне это говорить, и теперь просил у меня прощенья.

И я тоже наклонил голову, и это было не простое согласие с его мыслями, а дань уважения тому большому и светлому страху — страху за другого, который он нес в себе и, может быть, впервые приоткрыл совсем чужому человеку.

Он пошел прочь, и вечерние тени смыкались за ним, и гравий скрипел у него под ногами: «свой-свой, свой-свой...», а потом шагов не стало слышно, и дальше он уходил уже бесшумно, словно медленно исчезал, растворялся в неестественной тишине вечно цветущих садов Егерхауэна.

## Глава 4

Сану я нашел возле площадки для мобилей. Патери Пат, приняв монументальную позу, вещал ей что-то глубоко научное.

Я быстро подошел и взял ее за руку:

— Идем.

Мне хотелось поскорее утащить ее отсюда, потому что в воздухе уже повис повод для воспоминания об *этом*.

— Прощайте, желаю вам удачи,— Сана протянула Патери руку.— Я прослушаю ваше выступление по фону. Ты знаешь, Рамон, завтра Патери вылетает в Мамбгр, он закончил целый этап...

— Идем, идем.

Сана встревоженно подняла на меня лицо.

— Не волнуйтесь, Сана,— Патери Пат оглядел меня так, как смотрят на малыша, вмешавшегося в разговор взрослых.— Это бывает с теми, кто обращается в Комитет сведений «Оверато-ра»,— а вы ведь уже обращались туда, Рамон?

Я с ненавистью оглянулся на него. Кто просил его проявлять при Сане свое любопытство? И какое ему дело до того, знаю ли я то, что знает он, или нет? И потом, мне показалось, что он не просто спрашивает меня, а зная, что я еще никуда не обращался, попросту подталкивает меня в сторону этого комитета.

Я пристально посмотрел на этого фиолетового. Ну да, он боялся. Он постоянно боялся. Хотя бояться ему было не за кого, я в этом абсолютно уверен. Он боялся за себя. И толкал меня на то же самое. Ну, ладно, встречусь я с тобой как-нибудь без лишних свидетелей. Тогда и поговорим, А сейчас я ограничился лишь высокомерно брошенной репликой:

— Я не обращался ни в какие комитеты. У меня нет времени на такие пустяки.

Хотя это тоже было порядочное детство.

Мобиль взмыл вверх и скользнул в поросшее селиграбами ущелье. Я посмотрел на Сану — она сидела, наклонив голову, и, казалось, с интересом глядела вниз, где четко обозначалась граница вечного искусственного лета и подходящей к концу неподдельной зимы. Но я знал, что она все еще думает о словах Патери Пата.

— Ну, что ты? — я постарался, чтобы мой голос звучал с предельной беззаботностью.

— Может быть, он и прав,— ответила Сана.— Тебе нужно слетать на Кипр и узнать...

— Нужно? А ты уверена, что это мне нужно?

— Разумеется, нет. Это единственное, в чем я тебе не могу даже дать совета. Каждый решает это за себя. Но мне кажется...

— Что именно?

Она помолчала.

— Нет, ничего,— сказала она наконец.— Ничего.

Я смотрел на нее и никак не мог понять: действительно ли она хочет, чтобы я стал таким же, как они, или, наоборот, неловко пытается уберечь меня от этого.

— Черт с ним, с «Оверatором»,— сказал я,— мне сейчас не до того.

Она быстро глянула на меня, и я снова не понял ее взгляда.

— Правда, не до того. Ты же понимаешь, что я не боюсь. Просто я сейчас не могу думать о себе. Сейчас — только ты.

Сана опускает голову. Мы уже прилетели. Я выхожу и подаю ей руку. За нами легко выпрыгивает Педель. Надо научить его подавать руку даме, даже если с точки зрения машины это не является необходимым и целесообразным... А, впрочем, не стоит. Не так уж много придется это делать, чтобы препоручать это другому, хотя для меня и забавно было поддерживать в Сане отношение к нему, как к человеку.

Для того хотя бы, чтобы у нее постоянно был повод отвлечься от *этого*.

— Педель! — остановил я его, дав Сане пройти вперед.

Огненно-рыжее чудовище на алом снегу: солнце садилось.

— Что я должен?

Велеть: «Стой и не шевелись!» — и он будет стоять здесь и день, и год, и когда все уже будет кончено и Сана навсегда исчезнет из этого снежного мира, он будет стоять здесь и ждать следующего приказа, и выполнит его так же точно, как и все в своем существовании, и будет продолжаться это бесконечное единство жизни и существования, но для меня останется только одно — перебирать в памяти все минуты этого последнего года.

Ну, что же, заложить в этого краба условия еще одной игры, которая начнется сегодня и кончится раньше чем через год? Кому потом он будет подавать свое гибкое бронзовое щупальце?

Он поблескивал выпуклыми гранями стрекозиных фасеточных глаз.

— Педель,— тихо спросил я его,— ты хотел бы стать человеком?

— Должен,— сказал он, но я понял, что это не ответ на мой вопрос, а какой-то заскок в его электронном мышлении.

— Могу,— сказал он после небольшой паузы и снова замолчал.

— Хотеть не умею,— это был ответ.

Я пошел прочь.

Сана вернулась.

— Что с тобой? Почему ты задержался?

— Не хочется входить в дом. Надо было пройти километра два пешком. Да и ты почти не бываешь на воздухе.

— Ты прав. Хотя воздух в нашем доме не отличается от этого.

«Теперь она будет гонять меня на прогулки»,— мелькнуло у меня в голове. Я вдруг вспомнил, что хотел уйти на лыжах в горы. Хотел. А теперь я, вероятно, буду должен это делать. Ерунда какая-то. За три секунды мой Педель прекрасно разобрался в таких вещах, как долг, желание и возможность. А я вот не могу этого. Я вдруг понял, что бесчисленное количество раз путался в этих «должен», «хочу» и «могу». Примитивные понятия. Но именно сейчас я, как никогда, не способен точно определить, что же меня заставляет совершить тот или иной поступок. Я показался себе слепым щенком, плутающим в дебрях этих трех гладкоствольных, звенящих, уходящих в полуденное небо ясных слов.

— Тебе нездоровится?

— Послушай, Сана, ты можешь сказать, почему ты здесь?

— Потому что я должна быть с тобой.

Я искренне позавидовал ей.

Мы подошли к нашему коттеджу. Я наклонил голову, входя, хотя дверь была высока. Мне нужно было спросить Сану, что еще мы будем сегодня делать, но она опередила меня:

— Мне хотелось бы еще немного поработать. Если хочешь, пройдись перед сном. Не забудь только «микки», чтобы вызвать мобиль.

Она указала на маленький овальный предмет, висевший у входа. Вероятно, в нем был смонтирован крошечный переносный фон для связи с ближайшими пунктами и сервис-станциями.

Я повертел «микки» в руках. Что я должен? Ах, да, она сказала — еще немного поработать.

— Я тоже поработаю часика два.

Я забрался в какой-то угол и, вооружившись отверткой, разобрал до последнего винтика несчастного «микки». Ничего особенного, просто элегантно оформленная игрушка. И до моего отлета таких было много.

Я провозился часа полтора, а потом откинулся на спинку кресла и стал смотреть вверх, на крупные звезды, четко вбитые в темно-синюю гуашь неба. Внезапно потолок начал заволакиваться сероватой дымкой, потом он сделался ослепительно белым и спустя некоторое время принял мягкий молочный оттенок. Я вспомнил, что за обедом жаловался Сане на слишком яркий свет луны. Значит, пора спать. Я встал и прошелся по комнате. Сейчас она меня позовет. Да, отворилась дверь, явился Педель.

— Ее величество Сана Логе приглашает вас к себе.

— Ладно. Только не надо больше этого... величества.

— Слушаюсь. Запомнил.

Сана уже лежала.

— Тебе нездоровится?

— Нет. Я привыкла ложиться рано. Уже половина седьмого. Вы свободны, Педель. Спокойной ночи.

Педель исчез. Я стоял посреди большой комнаты; белые стены, пол и потолок пересекали редкие золотые полосы. Комната казалась прозрачной, как кусок белоснежного кварца с золотыми жилами. Легкие контуры стенных шкафов, золотые замки на них, шуршащие покрывала на постелях, тоже цвета старинного золота. И белая женщина с волосами цвета... Я не мог вспомнить, что же это за тяжелый, отливающий бронзой цвет. Но я его где-то видел.

— Ночной свет, — сказал я, и потолок стал меркнуть и скоро излучал лишь едва уловимое пепельное мерцание. Все стало

кругом мягким и теплым. Исчезли пронзительные золотые полосы. Мне вдруг показалось, что я все еще там, в кибернетической моего буя. Тысячи тонн сверхтяжелого, непонятным образом сжатого металла лежат у меня над головой. Мне нужно пробиться сквозь них, выйти на поверхность и лететь на Землю, к людям. Только достигнуть Земли — а там все будет хорошо...

— Почему ты не хочешь спать?

Я хочу. Я иду и ложусь. Вот и прошел этот первый из последних наших дней. День, обязанный быть прекрасным и мудрым. День, который без остатка, до последней секунды я должен был отдать ей. И я отдавал. Да, до последней секунды мое время принадлежало ей, ее заботливости, ее нежности, глубоко запрятанной под материнской строгостью. Я честно делал все, что мог. Но этого было так мало.

Саша уже спала. Наверное, она принимала какое-нибудь снотворное, потому что стоило ей опустить голову на подушку, как я уже слышал ее ровное дыхание. Я опустил руку вниз и отыскал у изголовья кнопку. Я слегка нажал ее, и тут же в глубине комнаты засветился желтоватый прямоугольник с четкой черной надписью:

«Восемь часов пятнадцать минут по линии Териовича».

Я пожал плечами. С тех пор как были освоены Марс и Венера, на Земле, как и на тех планетах, было установлено единое в Солнечной время. Было непонятно, как это раньше люди могли в одной и той же стране жить в разных часовых поясах. Это было так же неудобно, как говорить на разных языках. Но, как ни странно, к единому языку люди пришли раньше, чем к единому времени. И до сих пор еще указывают, по какой линии определено время. Неистребимая инерция!

Квадрат потух. Вероятно, прошла минута. Я оглянулся на Сашу — она спала на редкость крепко. Я тихонько, чтобы не разбудить ее, поднялся и вышел в соседнюю комнату. Вытащил плед потеплее и отправился в энергетическую, где подзаряжался Педель.

— Доброе утро,— сказал я ему.— Принимай гостя.

Педель поднялся с горизонтального щита, на котором сидел, как курица на насесте.

— Доброй ночи,— без тени юмора отвечал он.— Что я должен делать?

— Ох, бедняга, и тебя мучает тот же вопрос — что ты должен. Ты ничего не должен. Какой дурак тебя программировал? Кто не может желать, не должен чувствовать себя обязанным.

— Программировали Сана Логе, Патери Пат. Чувствовать не умею. Термин «должен» в программу заложен не был. Слышал его в процессе работы с людьми. Значение усвоил по словарю.

— Ты знаешь, я тоже слишком часто слышу его в процессе работы с этими людьми. А теперь включи-ка мне фон и дай «последние известия».

Я уселся в кресло с ногами и укрылся потеплее. Здесь я что-то мерз — на буе температура была градусов тридцать пять — сорок. С середины фразы возник тонкий голос:

«...урожая белковых. Ошибки, допущенные при составлении программы агронавтов, указывают на необходимость расширения стационарных контрольных ретрансляторов, передающих данные о ходе посевной в Агроцентр. В связи с этим группа механиков и энергосимиляторов выразила желание вылететь на Венеру. Транспорты с киберами специального назначения уже прибыли на Венеру с Марса.

Вчера закончился промежуточный этап розыгрыша командного первенства по статисболу между "Мобилем" (Марс) и "Сенсериоиом" (координационно-вычислительный центр Месопотамии). По предварительной обработке результатов победила первая группа киберов со счетом:

тридцать пять синих — тридцать семь с половиной оранжевых. Обработка результатов продолжается».

Было слышно, как зашуршала бумага, потом что-то щелкнуло, и вот вместо человеческого голоса зазвучал автомат:

«Прослушайте прогноз погоды: в связи с интенсификацией магнитной бури...»

Я не хотел его слушать. Наслушался я их там, в преисподней космоса.

— Настрой-ка мне хороший женский голос. Что — не важно. Хоть таблицу умножения.

Педель поколдовал возле фона. Послышался чирикающий девичий голосок. Сначала я не понял, в чем дело, но скоро сообразил, что это — урок какого-то древнего языка. Я давно уже заметил, что под звуки незнакомой речи очень хорошо думается.

Значит, все на Земле оставалось по-прежнему: экспедиционная группа на Марсе потирает лапы — обыграла по статисболу месопотамцев. Возникла необходимость, и вот человек двести счастливчиков получают вожделенную командировку на Венеру. А чего, собственно говоря, я боялся? Увидеть Землю, залитую кровью безнадежных войн, и ползающих по ней ублюдков, глушащих наркотиками свой непробудный страх и рвущих у слабых кусок

пожирнее: отдай, все равно сдохнешь раньше меня... Смешно. Земля жила, жила жизнью, естественной для Людей и достойной Людей. Жила быстрее, полнее, самоотверженнее, чем прежде; но эта новая жизнь была как-то горше прежней. Стоило ли одно другого — вот в чем вопрос.

Я так и уснул, забравшись с ногами в кресло, при полном освещении.

Второй день я встретил уже без патетических планов относительно мудрости и высшей красоты его программы. Поэтому и прошел он проще и быстрее. Начала поступать литература, и я, по совету Сапы, не ограничивался простым чтением, а тут же делал «наброски», то есть диктовал Педелю те или другие свои мысли, а он с молниеносной быстротой собирал или компоновал из отдельных блоков те схемы, которые могли быть использованы нами в аппарате кибердиагностики по аккумуляции сигма-излучения.

Вся трудность заключалась в том, что мы не могли слепо скопировать аппараты аналогичного типа с имитирующей схемой. Суть этих аппаратов заключалась в том, что они создавали внутри себя макет подопытного организма и непрерывно следили за ходом болезни и выздоровления. Но каждый такой аппарат создавался на опыте тысяч аналогичных болезней. Мы же располагали лишь воспоминаниями отдельных лиц, моими в том числе, хотя сам я не был подвержен загадочному излучению. Поэтому мы могли предложить аппарату лишь некоторые предположения о методах лечения. Хотя до кодирования было далеко, как до Эстри, я уже обдумывал все особенности этого кибера, который должен иметь еще большую самостоятельность, чем аппараты с имитирующими схемами. Чертовски это трудно было даже в воображении. Меня все это чрезвычайно занимало, я делал свои бесчисленные «наброски» и поминутно обращался к Сане; но странно — ее ответы постоянно наводили меня на мысль, что она уже сталкивалась с людьми, попавшими под сигма-излучение.

Поначалу я не придавал значения своим догадкам, но потом меня стало одолевать какое-то смутное беспокойство. Ведь в самом деле: она говорила — и не просто говорила, подчеркивала — что наш корабль был единственным, пострадавшим при возвращении «Оператора». Эксперимент больше не повторялся — уж это-то я знал твердо. И потом эта фраза, как-то проскользнувшая у Патери Пата о каких-то обезьянах, нечаянно попавших под сигма-лучи... Он тогда врал, я это сразу понял, но не был ли его вымысел связан с каким-нибудь реальным фактом, о котором я не знаю?

Я не выдержал и задал Сане вопрос в лоб. Она с поразительным спокойствием — неестественным спокойствием — ответила мне, что никаких дополнительных данных о воздействии сигма-лучей на живой организм она сообщить мне не может.

И все.

Разумеется, подозрение осталось, но я не стал настаивать, потому что понял: то, чего они решили мне не говорить, — все равно останется для меня тайной, пока я не вырвусь из этого райского уголка. Я махнул рукой на все эти недомолвки, решив, что главное сейчас — это делать свое дело, а удовлетворить свое любопытство я смогу и после... после.

Раздражало меня еще и то, что все основные материалы для программирования должны были предоставить мне Элефантус и Патери Пат, хотя мне и хотелось делать все самому. Но я вовремя спохватился, что для этого мне пришлось бы усваивать курс высшего медициского колледжа. Я должен создать плоть. А дух — это их забота.

Работы становилось все больше. Иногда мне приходилось посылать свои извинения и не.являться к обеду. Зато Сана все чаще пропадала у Элефантуса. Я не имел бы ничего против, если бы не знал, что она работает там с Патери Патом. Разумеется, это была не ревность — ни в коей мере. Этот бурдюк с фиолетовыми чернилами в моих глазах не был мужчиной, и я не мог себе представить, что женщина заинтересует его настолько, чтобы он потерял ради нее хоть минуту своего драгоценного времени. Нет. Просто противно было видеть их вместе.

С тревогой стал я замечать, что работа не отвлекает Сану от каких-то своих, глубоко запрятанных от меня мыслей. Когда она возвращалась от Элефантуса, я замечал, что на первый мой вопрос, относящийся к нашей работе, она всегда отвечала не сразу, а чуть-чуть помедлив и не совсем уверенно, как человек, занятый совсем другим и с трудом возвращающийся к забытому кругу вопросов. Я делал, что мог. Пытался вытянуть ее на лыжные прогулки, разыскивал для нее в нашей фонотеке прекрасные записи старинной музыки, рисовал с нее, немножко лепил — она спокойно отклоняла все мои попытки развлечь ее, но делала это удивительно мягко, без тени досады на мою неуклюжесть. Жуткое дело — жалеешь человека, и шито это белыми нитками, и сам это понимаешь, а ничего другого не придумаешь, и приходится продолжать, лишь бы делать хоть что-нибудь. Но в отношении Саны ко мне было не меньше жалости, потому что она знала — я останусь один, совсем один, и бог весть, что я сделаю от смертной

этой тоски. Она боялась, что я снова кинусь в космос. С меня сталось бы.

Потом вдруг оказалось, что наступила весна. Я это понял потому, что на столе у Элефантуса появились первые горные фиалки.

Мне и раньше приходило в голову, что он не лишен сентиментальности, а если бы я этого и не знал, то догадался бы сейчас по тому, с какой нежностью ласкал он взором эти рахитичные первоцветы с лепестками шиворот-навыворот. Я их никогда не любил. Они напоминали мне некоторых людей, которые тоже стараются распуститься махровым цветом раньше всех других и оттого на всю жизнь остаются такими же чахлыми и вывернутыми. Я об этом думал и тоже механически разглядывал вазу. Сана подняла голову и увидела, что мы смотрим на цветы. По всей вероятности, она видела их с самого начала, но только сейчас, поймав наши взгляды, она вдруг поняла, что это — весна и зима кончилась. Навсегда. Может быть, успеет выпасть первый снег, но целой зимы уже не будет.

Сана поднялась. Такой я ее давно не видел. А может быть, и совсем никогда. Такое лицо бывает у человека, которому нестерпимо больно, но который все свои силы прикладывает к тому, чтобы на лице его и в движениях ничего не было заметно. И даже нет, не то.

Все видели, что с ней происходило, и она просила, приказывала нам не замечать. И мы слушались.

— Кстати, Рамон, — заметил Элефантус, — вас не очень затрудняет отсутствие кодируемого материала?

Вопрос был как нельзя кстати.

— Говоря откровенно, весьма затрудняет, — живо откликнулся я.

— Мне кажется, в ближайшие дни мы уже передадим вам первую половину программы. Разумеется, если Сана не откажется нам помочь.

Сана кивнула. Не поглядев на меня, она вышла.

— Я оставлю тебе Педеля, — крикнул я ей вдогонку.

Но дверь уже закрылась. Меня вдруг охватило страшное предчувствие; *это* случится сейчас. Скоро. И без меня. Сана прячется, как прячутся раненые животные. Она не работает с Элефантусом, — она скрывается у него, когда чувствует внутри себя что-то глухое, стремительно нарастающее, грозящее стать таким тяжелым, что невозможно будет ни пошевелиться, ни приоткрыть глаз. Я понимал, что это — возвращение древнего,

умершего раньше, чем человек стал человеком, инстинкта смерти. Пробуждение животных инстинктов — человек был слишком горд, чтобы сознаться в этом. Но тем не менее так было. «Оператор» принес неизмеримо больше, чем простой набор имен и дат, и неизвестно, что еще пробудит он в людях. Я был уверен, что пройдут года и обнаружатся новые следствия Знания, добытого людьми. Я один из первых усмотрел возрождение животной мудрости, объяснения которой мы не могли найти до сих пор. Так, человеческая любовь выросла из элементарного инстинкта размножения, но никакие попытки объяснить влечение одного человека к другому путем доказательства целесообразности такого акта или при помощи аналитического исследования физической и моральной красоты не давали ничего, кроме очевидного абсурда. Вот и то, что я называю инстинктом смерти, — оно не является им в прямом смысле, а выросло из него, перелилось в нечто могучее и прекрасное, дающее человеку силы побороть в себе ощущение угасания собственного «я» и жить для другого человека, передавая ему каждое свое дыхание, каждое биение пульса. Так делала Сана. А у меня вот не получалось.

Чувства мои оставались где-то внутри, а то, что могла видеть она, — было просто из рук вон...

Я медленно двинулся к выходу. Остановился на пороге. Патери Пат сопел за моей спиной:

— Если ты собираешься оставить свой мобиль Сане, то можешь взять мой, одноместный.

— Спасибо. Придется.

Он протиснулся между мной и дверью и начал колдовать над щитом обслуживания. Маленький мобиль цвета бутылочного стекла поднялся из глубины сада, стремительно перепрыгнул через деревья и мягко, словно на четыре лапки, опустился передо мной.

Патери Пат стоял и смотрел на меня, пока я усаживался. Я уже понял, что меня выпроваживают. Просто так он не стал бы терять своих драгоценных минут на соблюдение правил элементарной вежливости. Обычно он сразу после обеда старался улизнуть в свой кабинет.

Мобиль взлетел, и я видел, как Патери Пат, казавшийся коричневым сквозь зеленоватую пластмассу корпуса, провожал меня угрюмым взглядом, ссутулившись как-то по-медвежьи.

Я включил «микки»:

— Педель, Педель, говорит Рамон, ты меня слышишь?

— Слышу отчетливо.

— Я улетаю. Ты останешься в распоряжении Саны Логе. Она находится в помещении «ноль-главный-бис». Когда я закончу разговор, ты переместишься так, чтобы держать ее в поле своего зрения. Я предупреждал, что оставлю тебя. Если поступят какие-либо распоряжения от Патери Пата, постарайся их не выполнять.

— Слушаюсь. Постараюсь.

— Но держись в рамках. Не говори, естественно, что это — мой приказ. Теперь вот что: есть у тебя биофон?

— Да.

— Приставка?

— Нет. Блок вмонтирован внутрь.

— Прекрасно. Как только прилечу на место, сразу же установлю с тобой биосвязь. Будешь передавать все, что видишь, не анализируя и не вдаваясь в излишние подробности. Чистое описание. Что увидишь. Центральный объект — Сана Логе.

— Запомнил. Объект наблюдения — Сана Логе.

Когда я услышал эти слова от Педеля, они так резанули мой слух, что я чуть было не накричал на него. Но ведь он только повторил то, что перед этим сказал я. Мне пришлось сдержаться.

— В момент биотрансляции на тебе загорается индикаторная лампочка?

— Да.

— Отключи-ка ее сейчас, пока ты в мобиле.

— Исполнено.

— А теперь ступай! Связь начну минуты через три-четыре.

Мобиль вильнул, выходя из ущелья, скользнул над самыми верхушками елей так, что с них осыпался снег, и лег на брюхе у порога нашего дома.

— Назад, на место прежней стоянки в Егерхауэне, — сказал я в маленький темно-коричневый диск. — Выполнить через минуту.

Я вылез. Потоптался немного на снегу. Было прохладно. Снег, сухой и скрипучий, и не думал таять. Поземка тянулась за мной и осторожно затирала все следы. Там, где два часа тому назад Сана быстро пробежала от двери к мобилю, ничего уже не было видно.

Неожиданно, словно куропатка из-под снега, мобиль вспорхнул вверх и рванулся обратно в ущелье. Рыбкой блеснул он на фоне серых камней и исчез за скалой. Как славно было бы ловить каждый такой вот всплеск жизни, радоваться всему, кропот-

ливо измысленному человеком или одним махом сотворенному природой, радоваться просто так, непрошенной щенячьей радостью — если бы не...

Я прошел в дом, не снимая свитера, тяжело плюхнулся на пол перед постелью и вытащил из-под нее ящичек с миалевой лентой. Я надел ее на лоб, постарался сосредоточиться. И представил себе шестирукого краба, застывшего в полумраке лаборатории: «Педель... Педель... Я Рамон... Ты должен ждать моего вызова. Я Рамон. Отвечай». Я закрыл глаза и еще крепче стиснул пальцы.

«Слышу вас, Рамон. Выполняю ваше задание», — эти слова возникли у меня в голове, где-то в висках, словно я только что их слышал, звучание их умолкло, но воспоминание, не менее яркое, чем само восприятие, еще осталось в моем мозгу.

«Где ты находишься?»

«Небольшая полутемная комната в корпусе ноль-северный».

«Что ты делаешь?»

«Стою в углу за неизвестным мне аппаратом в виде усеченного конуса вдвое выше меня».

«Что еще находится в комнате?»

«Два стола, три кресла, шесть выпуклых люминаторов, восемнадцать...»

«Есть ли люди в комнате?»

«Сана Логе, Элефантус Элиа».

«Что делает Сана Логе?»

«Сидит в кресле. Изредка что-то говорит. Плохо слышу — внутри массивного аппарата, за которым я помещаюсь, все время возникают апериодические шумы низких тонов. Попробую переместиться ближе к объекту наблюдения...»

«Не надо. Что у нее в руках?»

«Ничего. Но на уровне лица на расстоянии полуметра расположен непрозрачный, матово-серый экран размером примерно 30 на 45».

«Может быть, приемник диктографа?»

«Имею приказ не анализировать. Передаю, что вижу».

«Правильно. Валяй дальше. Какая аппаратура работает?»

«Прошу прощения, вошел Патери Пат. Наклонился над Саной Логе. Резко выпрямился. Идет ко мне. Гово...»

Передача оборвалась, и как я ни пытался представить себе и Педеля, и все, что находится вокруг него, — я не мог больше принять ни одной фразы. Этот лиловокожий каким-то образом унюхал, что ведется биопередача, и отключил моего сообщника.

А может быть, он не хотел, чтобы Педель что-нибудь запомнил. До чего же мне осточертели все эти секреты — ведь все равно же через три-четыре дня я получу то, что они с такой тщательностью от меня скрывают. Не буду же я кодировать вслепую.

Я стянул с головы миалевый контур и растянулся на полу. Все тело слегка ныло, как после не очень тяжелой, но непривычной физической работы. Недаром на пользование биопередатчиками нужно получать специальное разрешение. Я свое получил больше двадцати лет назад. Было как-то муторно. Я закрыл глаза и положил руки на лоб. Но от этого не стало легче, потому что руки были горячие, а лоб — холодный.

Я сел.

— Педель!

Ах, черт, ведь он же там, я и забыл. Где, интересно, он берет для меня лыжи?

Я облазил весь дом и нашел-таки то, что искал. Мне бросилось в глаза то обстоятельство, что и лыж, и коньков, и роликов, и всего прочего здесь было припасено по две пары. Одни были точно моего размера, другие — женские. Почему же Сана упорно отказывалась сделать хотя бы небольшую прогулку на лыжах? Боялась какой-нибудь случайности? Но ведь я был бы рядом. Да и что может случиться? Вот ведь сегодня я был уверен, что неминуемо произойдет что-то непоправимое, а на деле вышло — я вел себя, как истеричная девочка. Стыдно будет посмотреть в глаза Патери Пату. Подглядывал, как они там творят. Разумеется, никакой тайны они из своей работы не делали, а просто не хотели, чтобы какой-нибудь невежда торчал у них за спиной с вечными расспросами: «А это что? А это как?». Тем более что у них не очень-то получалось. На их месте я сам прогнал бы всех посторонних.

Посторонних...

Я подпрыгнул на двух ногах. Лыжи хлопнули, словно в ладошки, и спружинили, как полагается. Палки я себе выбрал тоже по росту — я думал, что те, которые мне приносит Педель, единственные, и мирился с ними. На всякий случай, если Сана вернется раньше меня, я нажал зеленую кнопку маленького щита обслуживания и медленно продиктовал:

«Ухожу на лыжную прогулку. Вернусь часа через три-четыре. Направление — северо-восток. Надел теплый шарф».

Взяв палки, я быстро побежал к лесу, туда, где когда-то я видел легкий вьющийся лыжный след. Но с тех пор было немало метелей, след уже давно замело, а новых не появлялось.

# Глава 5

Вечерело. Солнце светило у меня за спиной, и я то въезжал в глубокую, начинавшую сереневеть, косую тень, то снова оказывался на чуть желтоватом, с рыжей искоркой, снегу. Склон был очень пологий, на нем не разгонишься, но я знал, что внизу, перед самой грядой камней, будет трамплин метра полтора в высоту, и сразу после него нужно будет круто повернуть вправо, чтобы не поломать лыж или ног. В первый раз мне даже пришлось завалиться на бок, потому что ничего умнее я не успел придумать. Пологий, безмятежный спуск усыплял бдительность, высокие кедры швыряли под ноги пятна теней, и мне казалось, что я еду по шкурке огромной морской свинки. Теперь уже скоро... Гоп-ля! Четко сделано.

Я остановился и снял лыжи. Присел на большой голый камень. Возвращаться прежней дорогой не хотелось, а «микки», чтобы вызвать мобиль, я, конечно, забыл.

Егерхауэна отсюда не было видно. Он лежал в долине между двух гор, одна из которых поднималась так высоко, что, наверное, видна и за сто километров отсюда, а слева от горы возвышался каменный гребень. Теперь, когда я смотрел на Егерхауэнскую гору, а гряда камней была у меня за спиной, справа синело ущелье, поросшее пихтами и елями в своей темной глубине, слева же, как огромный окаменелый пень, высилась скала с гладкими отвесными стенами и плоским верхом; она была невысока — не выше двухсот метров. Вокруг нее, слегка подымаясь, шел карниз шириной всего в два-три шага. Ниже карниза была осыпь, какие-то острые глыбы и еще черт знает какие неприятности, засыпанные сухим неглубоким снегом. Если по этому карнизу обогнуть каменный пень и пройти между ним и Егерхауэнской горой, то можно было бы попасть прямо к дому.

Я понимал, что этого делать не следует, что спуститься по ровному месту на лыжах — одно, а карабкаться по камням, ни разу до этого не побывав в горах,— совсем другое, но я уже лез по этому карнизу, да еще тащил на горбу свои лыжи. И хотя карниз поднимался все выше и выше, мне было ни чуточки не страшно. И с чего я взял, что мне обязательно должно быть страшно? Я считал бы себя совсем счастливым, если бы не проклятые лыжи. Я все время перекладывал их с одного плеча на другое и чертыхался, потому что надо было оставить их с самого начала. Немножко беспокоило меня то, что стена начала загибаться не туда, куда нужно. Появились какие-то глубокие трещины, наконец, тропа

стала такой неровной, что я бросил лыжи и пополз наверх, цепляясь за выступы и редкий кустарник, к счастью, не колючий.

Быстро темнело. Я дополз до верха, улегся животом на край и, запоясь ноги на ровную площадку, невольно оказался носом вниз. Бр-р-р... Почему, собственно говоря, я не должен бояться? Я первый раз лазаю по горам и имею полное право струхнуть немного, и не буду спускаться вниз, если не найду более комфортабельного спуска. Я еще раз посмотрел вниз и впервые пожалел, что не знаю того, что знают все егерхауэнцы.

До сих пор я как-то не задумывался над тем, какие преимущества может дать знание своего года. А ведь знай я его — мне сейчас было бы просто смешно смотреть вниз, на этот пепельный туман, хищно подбирающийся к самому краю того камня, на котором я лежал. Я бы плюнул вниз, поднялся во весь рост и пошел напрямик, перепрыгивая через трещины. И было бы мне чертовски легко. А ведь речь идет только об увеселительной прогулке в горах. Что же говорить о межпланетных экспедициях? Само собой разумеется, что люди, которым осталось уже немного, просто откажутся от полета. Да что там говорить о космосе! И здесь, на собственной Земле, каждый, кто задумывал начать очень большой труд, мог сопоставить время, необходимое для его завершения, с теми годами, которые оставались ему самому. Не оставалось бы неоконченных произведений искусства, брошенных на середине научных работ.

А тяжелые болезни? Насколько быстрее идет, наверное, выздоровление, если человек знает, что он поборет эту болезнь. Сколько сил он сохраняет, избавившись от мыслей о вполне вероятном трагическом исходе. Нет, положительно, если бы я был сейчас свободен — я бы рванулся на Кипр. И гулял бы после этого по всем горам и планетам Солнечной. Но я не мог позволить себе этой роскоши. Ведь кроме всего этого успокаивающего — все-таки мысль о том, что десять, двадцать, сто, двести лет, которые тебе остались, — это все равно ничтожно мало по сравнению с тем, что еще хотелось бы прожить. А это уже мысли о себе. Мысли, которые могут поглотить меня целиком — хотя бы на несколько дней. А я этого не мог. Каждый день этого года принадлежал не мне.

И сейчас я нахожусь здесь только потому, что так хочет она. Но мне пора. Я поднялся — разумеется, далеко не в полный рост — и начал пробираться туда, где, по моим представлениям, находился Егерхауэн.

Между тем то, что снизу виделось мне плоским срезом каменного пня, на деле оказалось ребристой поверхностью, где ост-

рокопечные каменные пласты громоздились один на другой, словно их кто-то поставил рядышком, а потом они постояли-постояли, да и повалились на бок. Гора, которую я ожидал увидеть прямо перед собой, переместилась вправо, а за ней выросла другая, почти такая же. Путь мне преграждала расщелина, не шире, правда, двух метров, но для меня и этого было достаточно, чтобы отказаться от мысли ее перепрыгнуть. Я решил пойти вдоль нее с тем, чтобы переправиться, как только она станет поуже. Но проклятые трещины плодились, разделяясь то надвое, а то и больше, и вместо того, чтобы перебираться через них и круто сворачивать вправо, я мирно уклонялся в совершенно противоположную сторону. Солнце село. Но я знал, что до дома не больше пяти километров по прямой, и не очень беспокоился. Плохо только, если Сана уже прилетела и ждет меня. Мне ведь надо будет еще спуститься отсюда. И как это я не захватил с собой «микки»! Уж я бы что-нибудь ей наврал. Успокоил бы.

В темноте мне показалось, что расщелина стала неглубокой, и я ногами вниз сполз в нее. Дно было где-то совсем близко. Пришлось отпустить руки, и я очутился в каменной канаве не глубже трех метров. Дно как будто подымалось, я двинулся вперед.

Резко потемнело. Я понял, что это угасли снеговые вершины. Я заторопился. Вправо. Еще вправо. Руки уже достают до края расщелины. Теперь найти только небольшую трещину в стене, чтобы опереться ногой...

Наверное, я пришел в себя сразу же, потому что небо, которое я увидел над головой, еще сохраняло пепельно-синеватый оттенок. Звезды были крупны и неподвижны. Голова основательно побаливала. Я начал двигать руками и ногами, чтобы проверить, не случилось ли чего-нибудь похуже, и тут же почувствовал, что начинаю скользить еще ниже. Я вцепился руками в землю, но она оказалась покрыта предательским тонким ледком. Тогда я уперся ногами и головой в стены расщелины и принял некоторое статическое положение.

Лед под моей рукой начал таять. На мое счастье, он оказался весьма тонок, и я решил оттаять себе площадку, чтобы подняться на ноги и дотянуться до края расщелины. Приложил ладони ко льду. Стало еще холоднее. Наконец, под руками проступил шероховатый камень. Я осторожно стал на колени. Да, дела были плохи, хотя я это и отметил совершенно спокойно. Стена, которая казалась мне прямой, на деле шла под углом, наклоняясь надо мной. Ну, что же, посмотрим дальше. Я слегка приподнялся и замер на полусогнутых ногах.

В трех метрах над моей головой извивалось что-то черное и бесшумное.

Я вжался в угол. Я был безоружен. Я находился в заповеднике, где в обилии водились и рыси, и снежные алтайские барсы, и прочая нечисть из семейства леопардов, разведенная тут для экзотики всякими досужими зоологами.

В конце концов мне надоело ждать, пока на меня набросится этот из хищного семейства. Я приподнялся и начал его рассматривать.

Он продолжал двигаться, не спускаясь ниже, словно это была голова огромной змеи, которая заглядывает ко мне и мерно раскачивается, стараясь прикинуть, с какой стороны меня приятнее кушать. Но тут я заметил, что на краю, выше этого, качающегося, что-то темнеет на фоне звезд. Скорее всего — качается хвост большого зверя, наклонившегося над расщелиной. Ну да, ведь кошки всегда бьют хвостом, когда сердятся. Даже если это и очень большие, и очень дикие кошки.

Кошка, а скорее всего, барс сидел, слегка наклонив ко мне морду, которая была много светлее, чем вся остальная его шерсть, и молотил толстым своим хвостом по стене.

Почему он не нападал? Сыт, что ли? Или лень прыгать?

У меня появилось желание подпрыгнуть и уцепиться за этот хвост.

И тут я понял, что это вовсе не барс, а просто человек, который сидит, положив подбородок на колено, и болтает другой ногой.

Я вдруг разозлился.

— Эй! — закричал я и сам вздрогнул от непривычно громкого звука. — Что вы там делаете?

Тот, наверху, вздохнул, подобрал ногу и ответил серьезным детским голосом:

— Я вас спасаю.

Я уставился вверх. Голос принадлежал девчонке лет двенадцати-четырнадцати.

Я ничего не имел против того, чтобы меня спасали, и притом попроворнее.

— Тогда почему бы тебе не кинуть мне веревку? Сверху опять послышался легкий вздох. Было похоже, что меня учили вежливости.

— Вы меня об этом еще не попросили.

— Ну, так я прошу.

— А что мне за это будет?

Я оценил создавшееся положение.

— Я древний могучий джинн,— сказал я загробным голосом.— Я сижу здесь три тысячи лет. В первую тысячу я надумал сделать самым красивым человеком на земле того, кто меня освободит. Но никто не пришел. Во вторую тысячу лет я мечтал подарить моему освободителю самую долгую жизнь, какую он пожелает. И опять никто не пришел. На исходе третьей тысячи лет я решил, что тот, кто спасет меня, займет мое место на веки веков. Кидай веревку, и в знак благодарности я спихну тебя в эту канаву.

— Идет,— сказал голос довольно равнодушно, и мне на голову шлепнулся конец толстой веревки.

Я подергал ее — довольно крепко. Вылез.

Она стояла на камне, и мы очутились нос к носу. Единственное, что я смог разглядеть в темноте, были глаза, и без того огромные, да еще обведенные черной краской, так что казалось, что на лице, кроме глаз, вообще ничего нет. Я не ошибся в возрасте — ей было лет четырнадцать, не больше.

— Ну? — сказала она.

Я пожал плечами, без особого энтузиазма сгреб ее в охапку и потащил к расщелине.

Вероятно, я сделал ей больно, когда стиснул в своих лапах, потому что страшно замерз и движения мои были резки и неловки. Но она ничего не сказала, а только замерла и закрыла глаза. То, что сначала показалось мне краской, было неправдоподобными, как у Элефантуса, ресницами.

Я почувствовал, что делаю что-то не то, и опустил ее на камень. Сам присел на корточки перед ней:

— Испугалась?

Она резко вскинула подбородок:

— На языках древнего востока «джинн» означает не только «волшебник», но и...

— Дурак,— закончил я.

— Холодно? — спросила она.

— Холодно,— я не видел смысла притворяться.

— Летим в Хижину. У меня с собой ничего нет.

— Спасатель! — сказал я.

Она не потрудилась ответить.

— А что такое Хижина?

— Наша база,— она пошла к мобилю, висящему в полуметре над камнями.

«Любопытно, что это еще за детский сад в горах?» — подумал я. И тут вспомнил, что меня ждут, что ни в какую Хижину я лететь не могу и приключения этой ночи должны окончиться.

— Послушай, — сказал я, подходя и облокачиваясь о крутой бок мобиля. — А ведь мне нужно домой.

— Мама волнуется?

— Нет, — сказал я, — не мама. Жена, — и сам удивился своим словам.

Я назвал Сану женой. Впервые назвал женой. Раньше я называл ее — Моя Сана. Но почему-то перед этой девчонкой я назвал ее — жена. Лучше бы я ничего не говорил.

Я посмотрел на свою спасительницу. Глаза стали еще больше, и уголки их испуганно приподнялись. Она быстро проскользнула внутрь мобиля.

— Вот, — она протянула мне синеватую коробочку фона. — Свяжитесь с Егерхауэном.

Я машинально взял коробку. Егерхауэн... Сейчас я прилечу туда и обо мне начнут заботиться. Сана встанет, если только она вообще ложилась в эту ночь, подымет Элефантуса и всю компанию его роботов, включая Патери Пата, и они начнут измываться надо мной, оберегая меня от всех болезней, которые я мог подхватить, гуляя ночью по горам.

— Кто это? Кто это? — голос, молодой, звенящий тревогой, голос Моей Саны наполнил маленький мобиль. — Включите экран! Кто передает?

— Это я, — разумеется, я постарался, чтобы мой голос звучал как можно веселее и спокойнее. — Я немного заблудился, но меня спасли раньше, чем я успел испугаться или замерзнуть,

— Ты уже в Хижине?

— Да, — сказал я, — не волнуйся, Я уже в Хижине. Сейчас я выпью чашку кофе и вылечу домой.

— Нет, нет, — живо возразила она. — Не вздумай лететь ночью. Жду тебя к завтраку,

— А ты не будешь волноваться?

— Теперь я за тебя спокойна. Там ведь Илль.

— Ну, тогда доброй ночи.

— Доброй ночи, милый.

Я подержал еще немного в руках коробочку, теплую от Саниного голоса, потом повернулся к моей спутнице и постарался изобразить на своем лице, что вот, я ни в чем не виноват, просто судьба мне сегодня посетить эту самую Хижину. Но выражение ее лица было печально и строго, она не принимала больше моей игры и как бы оставляла меня один на один с правом решать, что честно, а что нет.

Тогда я стал серьезным и сразу же заметил, что она вовсе не девчонка, а девушка, хотя и очень молодая. Мне захотелось спро-

сить, как ее зовут и сколько ей лет, потому что вдруг мне стало жаль, что вот сейчас мы куда-то прилетим, она сдаст меня с рук на руки каким-нибудь чужим людям, вроде тех, что лечили меня, и мы никогда больше не увидимся. Заблудиться же второй раз на том же самом месте было бы слишком пошло.

Между тем мы поднялись в воздух. Она опустилась на пол и села, вытянув ноги и прислонившись к упругой вогнутой стене. Я сел напротив нее и принял такую же позу. Тогда она подобрала ноги, обхватила колени руками и положила на них подбородок — совсем как тогда, на краю расщелины. Я стал ее рассматривать, потому что до сих пор ничего, кроме глаз, не успел заметить.

Волосы у нее были черные, пушистые, и было их столько, что не требовалось никакой шапки. Лицо было опущено, и я его опять не смог разглядеть. Кисти рук были тонки, насколько это можно было усмотреть под черным трико́м, который обтягивал ее всю от кончиков пальцев до подбородка. Поверх трика был надет только легкий серебристый колет, скорее для красоты и ради карманов, потому что трик специального назначения поддерживал необходимую температуру, и в нем можно было разгуливать и на полюсе холода.

Мне вдруг стало невыносимо тоскливо: вот сегодня за завтраком я вспомню ее — что я вспомню? Что она была одета в черное. И только. А если она сейчас спросит меня: какая она, та, которую вы назвали своей женой и потом испугались? И я отвечу: она носит белое с золотом. Вот и все. Я не умел видеть в людях того, чем они живут, а видел лишь то, что они носят. И это вовсе не из-за одиннадцатилетнего затворничества. Просто не уродился я. Робота по винтикам разобрать я мог, а вот когда дело доходило до человека... Вот сидит передо мной человек. Не очень-то мне нужно влезать в ее душу. Но мысль о том, что даже если бы мне этого и очень захотелось, я все равно ничего бы не достиг, угнетала меня, как сознание непоправимой неполноценности. Я тоже положил голову на колени и даже, кажется, замычал. Удрать бы отсюда. И что это я обрадовался возможности провести ночь в незнакомом месте? Я прилечу, и начнется суета, меня станут осматривать и обнюхивать, стараться мне чем-то помочь, и будут делать все это неуклюже, хуже роботов, и с проклятой быстротой, которую они сами перестали давно замечать. Но в этой быстроте я буду ощущать постоянный, хотя и невольный, упрек в том, что я отнимаю у них время.

Мягкий толчок — мобиль лежал на брюхе. Я вылез и молча протянул руку этой девчонке, стараясь сделать это так почтительно,

словно она была стопятидесятилетней дамой. Я приготовился было откланяться и залезть обратно в мобиль, но на долю секунды задержался, чтобы набрать побольше воздуха — мы поднялись на высоту не меньше трех с половиной километров.

Луна уже взошла. То, что я увидел, было настолько неожиданным, что я решил, что черта с два я буду думать о чьем-то времени, пока хоть бегло не осмотрю, где я нахожусь.

До вершины горы оставалось еще метров сорок. Здесь она была аккуратно обтесана со всех сторон, так что образовалась кольцевая галерея метров пяти шириной. Каменные кубы стояли на этой горизонтальной площадке так, что их прямые углы выдавались вперед одинаково ровно, насколько я мог видеть. Выше семи метров, вероятно, находился потолок этих циклопических сооружений, и там продолжалась неровная, кряжистая вершина. Каждый угол, ромбом выдающийся вперед, имел окно на правой грани и дверь на левой, причем все это было закрыто титановыми щитами. Наверное, ожидалась буря. В углублении между двумя соседними углами я заметил еще один мобиль и могучую фигуру механического робота на карауле возле него. По всей вероятности, это была ремонтно-заправочная база мобилей особого назначения.

Как-то неожиданно дверь на ближайшем углу откатилась вбок, и я получил приглашение проследовать внутрь таким изящным жестом, из которого я должен был понять, что галантное обращение не является для нее диковинкой. Я грустно усмехнулся. У нее, оказывается, есть время еще и кокетничать. Мне не хотелось объясняться, и я просто сделал жест, указывающий обратно.

Она удивилась. В удивлении этом было что-то надменное, не терпящее возражений. Конечно, ведь на возражения теряется бесценное время...

— Прошу меня извинить,— сказал я как можно корректнее,— я должен вернуться в Егерхауэн. Мое присутствие здесь не так уж необходимо, поэтому я не считаю себя вправе отнимать время у обитателей этой «Хижины».

Она наклонила голову набок и, поднеся палец к носу, быстро провела им от кончика к переносице, словно на саночках прокатилась — вжик!

— Вы любите кашу с медвежьими шкварками? — спросила она.

Я тоже наклонил голову и посмотрел на нее. Тоненькая, вся в черном, с огромной шапкой вороных кудрей, которых не засунешь ни под какую шапочку — милый головастик. Ладно. В твоем возрасте, вероятно, элементарный акт извлечения неосторож-

ного дурака из ледяной канавки кажется тебе чуть ли не подвигом. Пошли.

Дверь отворилась, и вместо ожидаемого блеска люминаторов я увидел перед собой квадратное отверстие, в котором полыхало самое настоящее пламя. Никаких других источников света в комнате не было. Я никак не мог припомнить, как называется такое приспособление. Стены потрясли меня не меньше. Они были сложены из стволов деревьев с ободранной корой и следами грубой полировки. Таков же был и потолок. На полу лежали огромные шкуры — морда к морде. Глубокие кресла, тоже из дерева, были обтянуты самой настоящей кожей. У огня стоял человек. Он был одет так же, и такой же серебристый колет был накинут поверх черного трика. Он был высок и удивительно молод, хотя это и не бросалось в глаза из-за прекрасной черной бороды, делавшей его похожим на капитана Немо, когда тот был еще принцем Даккаром. Теперь мне стало ясно, что к чему. Это был ее брат. Это и был Илль, о котором говорила Сана. Я обернулся к моей спутнице.

— Это Рамон,— сказала она,— и пожалуйста, без церемоний — он сегодня и так натерпелся.

Рядом с нами оказался еще один человек, славный толстый парень с мягкой улыбчивой рожей, на которой была написана абсолютная посредственность. В колледже мы таких звали «дворнягами».

Рамон, Егерхауэн. Она знала, кто я и откуда. Любопытно.

Первым подошел ее брат.

— Это — Туан,— представила она мне его, и я ощутил крепкое пожатие затянутой в трик руки.— Инструктор альпинистского заповедника и специалист по фоновой аппаратуре.

Значит, это не тот Илль, которого знала Сана. Действительно, что общего могло быть между нею и этим бородатым юнцом? Нет, скорее Илль — это тот, который поднимается сейчас из кресла, в черной замшевой куртке и белом воротнике, с усами и бородкой, как у кардинала Ришелье, и пепельными локонами до плеч. Этот лет на десять старше Туана. Как это я его не заметил?..

— Лакост, наш кибермеханик и прочий технический бог, также самая элегантная борода Солнечной (камешек в огород брата) и автор «Леопарда».

Я не знал, что такое «Леопард» — симфония, автопортрет или рецепт коктейля, но почему-то пожал легкую сухую ладонь с невольным уважением.

— А это — Джошуа, но мы все зовем его Джабжа, он сам это придумал. Он нас всех лечит, кормит, одевает и носы утирает.

Я так примерно и представлял его функции. Ладонь его была раза в полтора больше в ширину, чем в длину.

Я оглянулся, ожидая увидеть еще кого-нибудь, но в комнате никого больше не обнаружилось.

— Больше никого здесь и нет, — мои мысли были угаданы. — А Илль — это я.

Мы церемонно раскланялись.

— А теперь, Джабжа, царствуйте, — крикнула Илль, прыгая на шкуру к самому огню. — Мы совсем замерзли. Нам покрепче.

Она уселась, скрестив ноги и протянув ладони к огню. Меня удивляли ее движения. Они были легки и порывисты, но я не мог понять, чем же они отличаются от движений всех других людей. Наверное, так двигалось бы какое-то инопланетное существо, внешне похожее на человека, но способное делать со своим телом все что угодно, — и вот такое существо научили: руки могут сгибаться только в локте и запястье, шея — поворачиваться на девяносто градусов, и так далее. И теперь она старается не отличаться от других людей и только поэтому сидит прямо, не сделав из себя двойной узел или архимедову спираль. Почувствовав мой взгляд, она обернулась и указала мне место рядом с собой. Мне подумалось, что если бы она захотела, то смогла бы сейчас почесать носом между лопаток. Я засмеялся и сел рядом.

За низенькой решеткой по толстым поленьям сновали рыжие светящиеся ящерицы с дымчатыми хвостами. Илль глядела на огонь, широко раскрыв глаза, и мне казалось, что она ждет только какого-то зова, чтобы скользнуть в пламя печи и обратиться диковинной огненной зверюшкой.

— М-м? — спросила она, проворно оборачиваясь ко мне.

— Нет, я ничего. Вспомнил просто, что в древности люди верили в существование саламандр — духов огня, женщин-ящериц.

— Ну, я не дух, не рыжая и не питаюсь воздухом, что сейчас и собираюсь вам доказать.

Она вскочила. Позади нас появился деревянный стол. Джабжа, подвязавшись полотенцем, таскал тарелки и миски, закрытые крышками. Между тем я сам видел, что у них были свободные «гномы», которые могли бы сделать это и быстрее и привычнее. Туан откупоривал бутылку, Лакост терпеливо дожидался, присев на ручку кресла.

Илль повела носом.

— Главное уже на месте. Сели.

Она привычно заняла место хозяйки, указав мне на стул слева, справа поместились Туан и Лакост. Джабжа хлопотал

рядом со мной. Видимо, он покорно нес обязанности кухонного мужика.

Я уставился на большую керамическую миску с толстым дном и крышкой, украшенной незатейливым орнаментом. По дну стекали капли воды, и я догадался, что блюдо подогревается простейшим способом — двойное дно посуды имело полость, заполнявшуюся горячей водой. Поистине, нужно было потратить немало труда (я мысленно тут же поправился — времени), чтобы создать эскизы, построить машины и получить такую посуду по старинным образцам. Сервировка носила следы несомненного художественного вкуса, и я не мог догадаться, кто был в этом повинен: страж кухни Джабжа, капризная хозяйка или этот автор неведомого мне «Леопарда». Джабжа взял ветку, поджег ее в огне, и комната начала освещаться по мере того, как он зажигал толстые желтые свечи в большой бронзовой люстре, висевшей над столом. В этом доме положительно были помешаны на стилизации под средневековье.

Но нельзя было сказать, чтобы я имел что-нибудь против. Хорошо бы пробраться в комнату Илль и посмотреть, нет ли там клавесина и портрета прекрасного рыцаря, шитого бледными шелками. Однако мое воображение резвится сегодня более, чем обычно. На черта мне далась эта девчонка и ее комната! Посмотрим лучше, что это накладывает мне в тарелку ухмыляющийся Джабжа? Два куска почти черного мяса и гора неизвестной мне каши — у меня на буе такой в запасе не было. В глиняные бокалы с ручками и крышками полилось красное вино, пахнущее терпко и призывно. Мне до смерти хотелось водрузить локти на стол и взять вилку в кулак, как, по моим представлениям, должны были утолять свой аппетит кровожадные средневековые бароны. Но я время от времени чувствовал на себе взгляд, полный хорошо прикрытого любопытства. Это меня несколько сдерживало и не позволяло распускаться слишком поспешно, хотя я почувствовал, что обстановка к этому располагает.

Пока головы склонялись над тарелками, я бегло осмотрел всех.

Ничто так не характеризует человека, как процесс еды. Джабжа поглощал все подряд. Туан копался вилкой в тарелке. Лакост лакомился. Илль откровенно насыщалась, как человек, не садившийся за стол по крайней мере сутки. Вероятно, она была на вахте, или как это у них называется, и друзья ужинали без нее. Во всяком случае, было очевидно, что Лакост и Туан сидят за столом лишь ради общей компании и хорошего вина, которое

тоже было в стиле всего этого ужина по старинке. Наверное, эта старина обошлась им в уйму времени.

Илль подняла руку с бокалом. Полный, он был тяжел, и ей пришлось обхватить его двумя руками, черными руками с длинными тонкими пальцами.

— За джинов, которые умели благодарить своих спасителей, — сказала она мягко, без всякого вызова. Так, словно напоминала мне о чем-то очень хорошем, принадлежавшем только нам двоим.

— Объяснитесь, — по-королевски бросил Лакост.

Мне пришлось во всеуслышанье рассказать о том, как я хотел спихнуть Илль в пропасть. Я умышленно не назвал эту расщелину канавой, чтобы сгустить краски.

— Честное слово, надо было! — неожиданно перешел на мою сторону Туан. Вероятно, причуды сестры порядком ему надоели.

— Вынужден признаться, что не имел бы ничего против, — склонил голову Лакост.

— Остановка за немногим, — резюмировал Джабжа. — На дворе еще ночь, и вам остается только исправить ваш промах. Пропасть в десяти шагах.

— Не поддавайтесь, вас провоцируют! — крикнула Илль. — Сами научили меня драться, а теперь хотят продемонстрировать.

Она вскочила на кресло ногами и изогнулась, опираясь на спинку. Кем она была в этот момент — ящерицей? Кошкой? Что же это за хищный гибкий зверек, бросающийся на человека и в одно мгновенье перекусывающий ему сонную артерию? Ах, да, соболь. Вороной соболь. По-древнему — аскыр.

Я смотрел и ждал, когда она бросится на меня. Я был почти в этом уверен. Я представлял себе, как тонкие пальцы, черные пальцы захлестывают мне шею, но я отрываю ее от себя и тащу к обрыву, что окружает Хижину, — и тут я вспомнил ее, замершую на моих руках с опущенными ресницами... Я вздрогнул.

— Ага! — закричала она. — Испугались! И правильно сделали. Эти хвастуны сами не могут со мной справиться, уж разве что вдвоем. А надо было мне тогда бросить вас и не откликаться, пока бы вы не съехали под горку.

— И что тогда? — полюбопытствовал я.

— Ничего. Вы стукнулись бы ногами о противоположную стенку и спокойно выбрались бы. Глубина пропасти там не больше полутора метров.

— И вообще, — сказал я, — зачем вам было меня спасать? Ведь это не входит в ваши обязанности.

— Несколько странные представления о задачах и обязанностях персонала спасательной станции, — наклонив голову набок, задумчиво заметил Лакост.

Он, кажется, шутил.

— Спасательной? — переспросил я.

— Ну, да, — невозмутимо подтвердил он.

Это было здорово придумано. Спасательной?! Нет, вы подумайте — спасательной! Я захохотал.

— От чего же вы спасаете? Ведь каждый может узнать... Нет, молодцы, люди! Люблю здоровый юмор. Спасатели...

Все почему-то смотрели в стороны, словно тактично ждали, когда я перестану смеяться. А я не переставал. Уж очень это мне понравилось — спасать людей, которые знают, что все равно они не погибнут. Когда-то это называли «мартышкин труд».

— А вот что, ребятки, — сказал вдруг круглолицый с полотенцем, — начихаем-ка мы на законы гостеприимства, возьмем уважаемого гостя под локотки и скинем-ка его со стартовой площадки. Разбиться он, разумеется, разобьется, но что-нибудь да уцелеет. Кусочки соберем — придется мне поработать; руки-йоги заменим биоквантовыми протезами, всякие там печенки-селезенки поставим наилучшие, патентованные. Память восстановим почти полностью — это я гарантирую, запросим в профилактории снимок нейронной структуры... А?

Я уже не смеялся.

— Слух обеспечим отменный, — Джабжа перекинул салфетку через согнутую руку, наклонил голову, ухмыляясь. — Зрение — острейшее. Обоняние — высшей кондиции. Не угодно? И потом живите себе все положенные вам годы с миром, живите — поживайте, детей... — он быстро глянул в сторону Илль и осекся.

— Ладно, — сказал он, — отставить избиение младенца. Присутствующим ясно, что с горок лучше не падать. Чтобы прожить свои положенные годы, — опять свирепый взгляд в мою сторону, — по возможности с собственными конечностями. Ну, а о тех, кто по тем или иным причинам не удосужился еще обратиться в Комитет «Оператора», я даже и не говорю — для них это совершенно противопоказано, — и он снова с минимальной дружелюбностью — слишком демонстративной, однако, чтобы быть искренней, — глянул на меня.

Свирепость у него была уморительная, и это несколько примирило меня с только что преподанным уроком. Да, годы, проведенные в одиночестве, здорово сказываются на психике.

Лакост, видимо, думал о том же:

— Вы ведь тот самый механик, который просидел одиннадцать лет на каком-то буе?

Все знают. Я кивнул.

— Какого же черта вы молчите? — вдруг взорвался Джабжа. — В кои-то веки выудишь в горах интересного человека, а ему и в голову не приходит отплатить за гостеприимство. Выкладывайте, что там с вами приключилось.

Этот Джабжа распоряжался, словно он был начальником базы. Милый дворняга. Но я был ему благодарен уже потому, что носик на черноглазой рожице поехал круто вверх, чтобы никто не забывал, кто именно выудил меня, такого интересного, из ледяной могилы.

— Я думаю, что в общих чертах вы и сами все знаете, — попытался я скромно увильнуть от рассказа.

— Рассказывайте же! Ну!

Ишь, какой капризный головастик!

И вдруг светлое лицо Саны встало передо мной. «Не надо... Не вспоминай об этом... Не теряй на это времени — нашего времени...»

Эти ребята ждали от меня веселых приключений. Космический вояж с десятилетней остановкой. Тайна рокового буя и искушение святого Антония на современный лад. А для меня это были те, четверо, которые погибли в первые же минуты этих лет и продолжали оставаться со мной до сих пор. Я был виновен перед ними, и ни доводы собственного рассудка, ни воля Саны не могли заставить меня оправдаться или позабыть о них.

— Вы ведь были там не один. Как же произошло, что остальные не вернулись?

Я посмотрел на Джабжу с ненавистью. Что он лез ко мне? Какое он имел право спрашивать о том, в чем я был не виновен перед людьми? А уж то, что касалось меня самого, я никак не собирался раскрывать здесь, в каком-то случайном уголке, где мне суждено провести одну ночь.

— Мы осмотрели буй и кое-что подремонтировали, — я постарался отделаться краткой информацией. — Получили с Земли «добро» на обратный вылет и поднялись с буя. Два раза обошли вокруг него, потому что, когда мы прилетали, его сигнализационная система работала нечетко. На первом витке все было хорошо, а на втором сигналы стали гаснуть. Потом нас швырнуло обратно к поверхности... Я тогда не понял, что это происходит против воли командира корабля. Я думал, что он сознательно возвращается, чтобы устранить недоделки. Мне было

не до того — ведь система сигнализации целиком лежала на моей совести.

— Ну?.. — сказал сдержанный Лакост.

— Я занял межпланетный фон, так как на ультракоротком не смог бы связаться с киберцентром буя, и вызвал дежурных «гномов» из сектора приема и сигнализации. «Выходите первым!» — крикнул мне командир, и я, еще не снявший скафандра, выскочил из корабля и громадными прыжками бросился к появившимся из лифта «гномам». В последний момент мне показалось, что командир и механик-фоновик с отчаянными лицами что-то выколачивают из межпланетного фона. Я это вспомнил потом, когда стал все вспоминать. А тогда я бежал к роботам, и самый большой из них неожиданно схватил меня и бросился в лифт. Я закричал и стал вырываться, но вы понимаете, что этого сделать нельзя, если робот выходит из подчинения. Лифт полетел вниз с ускорением не меньше земного свободного падения, и когда он остановился на среднем горизонтальном уровне, толчок был слишком силен, и я потерял сознание.

Собственно говоря, это было все. Что я мог им еще рассказать? Как мне мерещились их крики, стуки и скрежет металла? Как я боролся с роботом, мешая ему спасать меня? Как до сих пор...

— Вы были самым молодым на корабле? — тихо спросил меня Джабжа.

— Да, — ответил я, не зная, к чему этот вопрос.

— И он приказал вам выйти первым...

Да, я должен был выйти первым и спуститься в отделение фонотронов. Я был самым молодым... И меня ждала Сана. Командир знал, как она меня ждала. Он приказал мне идти первым. Может быть, он еще что-нибудь передавал мне, но ультракороткие фоны уже молчали. А я даже не успел оглянуться и посмотреть, вышел ли кто-нибудь следом за мной или нет.

— Я думаю, что никто больше не вышел, — задумчиво сказал Лакост. — Раз начала отказывать аппаратура, то не могла работать и выходная камера корабля.

— Можно было вырезать люк изнутри, — предложил Туан, словно это сейчас имело какое-нибудь значение.

— Нет, — сказал Джабжа. — Время. Они не успели бы этого сделать.

— Почему на буе не было приспособления для мгновенного переноса корабля к ангарному лифту? — не унимался Туан.

Откуда я знал, почему его не было.

— Теперь это есть везде,— сказал Лакост,— но разве их спасло бы это?

Я кивнул:

— Ангар находился на глубине пятидесяти метров. Они не успели бы выйти из корабля, как излучение достигло бы смертельной плотности, а металл, деформируясь, расплющил бы звездолет, как он и сделал это со всем ангаром.

— Но ведь излучение проникло вглубь не мгновенно?

— Достаточно быстро. Меня спасло еще и то, что металл, уплотняясь, сам становился изолирующим слоем. Да еще защитное поле после каждого горизонтального уровня — его включал мой «гном».

— Это же смертельно для тех, кто оставался наверху! — воскликнул Лакост.

— Киберы принимают свои решения мгновенно. Боюсь, что мой непрошеный спаситель рассчитал, что те четверо мертвы, еще раньше, чем они перестали дышать. И тогда все заботы были перенесены на одного меня.

— «Непрошеный спаситель»,— передразнил меня Джабжа,— вы хоть сохранили того «гнома»?

— В нем появилось какое-то наведенное излучение, он передал меня другому роботу, а сам остался в верхнем слое.

— Его сделали хорошие люди, Рамон.

— Я знаю, Джошуа.

Мы посмотрели друг другу в глаза. Я вдруг понял, что сделал для меня этот человек.

— Все-таки остается загадкой, каким образом металл приобрел квазиалмазное кристаллическое строение, до сих пор не известное...— говорил Туан.

— В вашем «гноме» есть что-то от Леопарда...— говорил Лакост.

Илль молчала, сложив ладони лодочкой и уткнувшись в них носом. Но я видел, что она не просто слушает меня, а старается, как и все, найти тот несуществующий путь спасения тех, четверых, который стал бы моим обвинением, если бы нашелся. Я был уверен, что искали они честно и ни один не промолчал бы, если бы нашел этот путь.

— Одиннадцать лет иметь над головой эту жуткую толщу,— задумчиво сказал Джабжа,— и тех, четверых... Как вы справились с этим, Рамон?

— Заставил себя не думать. Я знал, что вырвусь. Работал. Монтировал роботов. Если бы за мной не прилетели, я все равно вышел бы на поверхность и послал весточку на Землю.

— Вам можно позавидовать.

— Не совсем, — сказал я. — Как только я вернулся сюда, все стало еще хуже.

— Сознание вины?

— Да.

— На вашем месте я ничего не мог бы сделать, — твердо сказал Джабжа.

— Я — тоже, — сказал Лакост.

Туан закусил губу и наклонил голову. Он был слишком молод, чтобы так быстро сдаться. Я знал, что он еще будет приставать к Лакосту и Джабже. Он был слишком хороший парень, чтобы этого не сделать.

Теперь молчали все, и это молчание было как отдача последних почестей тем, кто сегодня умер, чтобы больше не воскресать в моей совести. Память — дело другое. Чем светлее память, тем дольше для нее то, что для памяти называем мы вечностью.

Вечная память.

— А знаете, — сказал вдруг Туан, — лет четыреста тому назад вам поставили бы памятник. Раньше такой человек считался героем.

Мы дружно рассмеялись и поднялись из-за стола.

— Тогда они и были героями, — сказал Джабжа, положив руку на плечо Туана. — А теперь все такие. Разве ты на месте Рамона сошел бы с ума? Или повесился бы? Ты продолжал бы оставаться Человеком. Это давным-давно перестало быть героизмом, а превратилось в долг.

— Тоска, — сказал Туан.

Мы снова рассмеялись.

— Дурак, — мрачно резюмировала Илль. Внезапно раздался протяжный, мелодичный звон. Одновременно все стены вспыхнули голубоватым огнем.

— Не волнуйтесь, — сказал мне Джабжа. — Это не аварийный. Это обыкновенный вызов. Кто-нибудь сломал лыжи или уронил альпеншток.

Он вместе с Туаном исчез в левой двери. Через несколько минут вернулся позеленевший Туан.

— Семьдесят четвертый квадрат? — осведомился Лакост таким безмятежным тоном, что я понял, что тут кроется какое-то издевательство.

Туан молча пошел к выходу, надевая шапочку с очками.

— Мой глубочайший поклон прекрасным дамам! — крикнул ему вдогонку Лакост.

Туан хлопнул дверью.

Вошел Джабжа.

— Нехорошо, мальчики,— сказал он, обращаясь главным образом к Илль.— Неужели его нельзя было заменить? Ведь там самой молодой — восемьдесят лет. И они вызывают его каждый раз, когда он неосторожно подходит к фону. Ну, ладно, искупи свою черствость заботой о госте. Спокойной ночи.

Джабжа и Лакост удалились.

— В чем дело? — спросил я.

— Туан мечтает встретить в горах прекрасную незнакомку. А по нему вздыхают все престарелые красотки, посещающие заповедник. Эта группа вызывает его четвертый раз. Да, красота — тяжелое бремя.

— И все-таки он у вас хороший...

Илль посмотрела на меня удивленно. Потом медленно ответила:

— Да, он у меня хороший.

С ударением на «у меня».

— А теперь пойдемте, я ведь здесь еще и что-то вроде горничной и должна с приветливой улыбкой указать вам ваши апартаменты.

— Жаль, что сейчас не дают на чай. Ваш талант в роли горничной пропадает даром в буквальном смысле слова.

— А что бы вы мне дали?

— Две серебряные монетки. Каждая по часу.

— Как мало!

— Тогда одну золотую. Золотая — это один день.

— Это значит, двадцать четыре серебряных... Все равно мало.

— Вы маленькая вымогательница. Из вас не вышло бы хорошей горничной.

— А вы предлагаете мне пышный хвост от неубитого медведя. Ведь вы же не знаете, сколько еще золотых монет бренчит в вашей сумке.

— А вы знаете?

Она кивнула.

— И что же, вам принесло это радость?

Она пожала плечами так беззаботно, что сердце мое сжалось. Я болтал здесь с этой девчонкой, а там, в Егерхауэне, спала та, которая носила белое с золотом, но все золото, что было на ней, не могло прибавить ей и одной монетки стоимостью в один день.

— Сколько вам лет? — спросил я Илль.

Она с упреком поглядела на меня:

— Настоящая женщина скрывает не только то, сколько лет ей исполнилось, но даже и сколько ей остается.

— А все-таки?

Она тихонечко вздохнула, как там, на скале.

— Восемнадцать.

— А сколько еще осталось?

— Мне восемнадцать лет. А вы меня спрашиваете о том, что будет, у-у! И если я отвечу, то кто будет более бестактен — вы, когда спрашиваете, или я, когда отвечаю?

У нее было какое-то чутье. Она правильно сделала, что не ответила. Мне было бы слишком больно за Сану.

— Извините меня. Я и так задержал вас.

— А я не очень дорожу своими монетками. К тому же вы обокрали меня не больше чем на десять медяшек. Идите-ка спать.

— А вы?

— Я останусь здесь. Я должна быть наготове, пока Туан в отлете.

— Ну и я останусь здесь. Все равно до утра не больше трех часов. Вы не возражаете?

— В нашей Хижине закон — не мешать друг другу делать глупости.

— Благодарю.

Я растянулся перед потухающим огнем, взбил медвежью голову, как пуховую подушку, и тотчас же начал засыпать.

«Камин»... — приплыло откуда-то издалека, — это называется «камин»...

Потом надо мною наклонилась Сана и быстро-быстро зашептала: «Не надо... Не вспоминай об этом...»

Я повернулся несколько раз, и когда это лицо исчезло, я сразу же заснул — легко и спокойно.

И так же легко проснулся, когда меня разбудил Джабжа.

## Глава 6

— Илль улетела? — спросил я.

— Зачем? Прилетел Туан, они отправились спать. Если будет вызов, полечу я или Лакост.

— А форма?

— Трик? Хорош бы я был в нем. Обойдусь так. Кстати, Илль говорила, что тебе надо быть дома к завтраку.

— Действительно. А здесь мне больше не дадут?

— Знаешь что? Пошли на кухню.

Это была не сама кухня, а крошечный закуток, этакое преддверье рая. Из соседнего помещения тянуло свежим кофе и еще чем-то пряным.

— Холодного мяса, кофе и земляники, — крикнул Джабжа туда.

Тотчас же металлические руки протянули из-за двери все требуемое. Джабжа принял тарелки и поставил их передо мной.

— А ты? — спросил я.

— Мы с Лакостом только что завтракали. Ты не стесняйся. В Егерхауэне тебе не дадут медвежатины.

— А у тебя она откуда? На Венере, кажется, медведей еще не пасут.

— Поохотились, — Джабжа блаженно расплылся. — Мы ведь имеем на это право, только оружие должно быть не новее тысяча девятисотого года. В том-то и соль. Через месяц собираемся на оленя. Пошел бы с нами?

— А вы все вчетвером?

— Нет, Илль этого не любит.

— Странно. Можно подумать обратное. А ее брат?

— Какой брат?

— Туан, — сказал я не очень уверенно.

— Какой он к черту брат. Просто смазливый парень. Да они и не похожи. А стреляет он здорово, у него музейный винчестер. Так договорились?

Я кивнул.

— И вообще, переходил бы ты сюда. Мне позарез нужен еще один кибер-механик. А?

Я покачал головой.

— Нравится в Егерхауэне?

— Да, — сказал я твердо. — Мне там нравится, Джабжа.

Он посмотрел на меня и не стал больше спрашивать. Удивительно понятливый был парень.

Я взял за хвостик самую крупную земляничину и начал вертеть ее перед носом. Как все просто было в этой Хижине. Ужины при свечах, охота, винчестер вот музейный... Словно то, что потрясло все человечество, их совсем не коснулось. А может быть, они и не знают?..

— Послушай-ка, Джабжа, а все вы действительно знаете *это*?

— А как же, — он прекрасно меня понял и совсем даже не удивился.

— И кому это первому пришло в голову обнародовать такие данные? Самому Эрберу?

Теперь он посмотрел на меня несколько удивленно.

— Интересно, а как ты представляешь себе это самое: «обнародовать»? Может, ты думаешь, что на домах списки развесили или повестки разослали: «Вам надлежит явиться туда-то и тогда-то для ознакомления с датой собственной кончины...» Нет, милый. Что тогда творилось — описанию не поддается. Съезд психологов, конференция социологов, фопопленум археопсихологов, конгресс нейрологов, симпозиум невропатологов; всеземельные фопореферендумы шли косяком, как метеоритный поток. Страсти кипели, как лапша в кастрюле. И только когда абсолютное большинство высказалось против консервации пресловутых данных и за проведение опыта на строго добровольных началах — только тогда Комитет «Оператора» принял «Постановление о доступе к сведениям...» — вот такой талмуд. Читался, как фантастический роман, — сплошные предостережения типа: направо пойдешь — сон потеряешь, налево пойдешь — аппетит потеряешь, прямо пойдешь — девочки любить не будут...

— И все-таки ты пошел?

— Дочитал — и пошел.

— Ох, и легко же у тебя все,выходит... Но кто-то не пошел?

— Естественно.

— И много таких?

Джабжа слегка пожал плечами:

— Кроме тебя, в Егерхауэне трое. И все знают. У нас тут четверо. И тоже все знают. Ведь все-таки «Оператор» нес колоссальное Знание. Его надо было взять и покрутить так и эдак — посмотреть, какой из него может получиться прок.

— Эксперимент на человеке.

— Зато какой эксперимент! И ты отказался бы?

— Я поставил бы его на себе. Только на себе.

— Ага! Вот мы и дошли до истины — на себе. На деле так и оказалось — каждый решил поставить его на себе. Читал ведь, наверное, у себя на буе всякую беллетристику про Последнюю Мировую, и все такое? Помнишь: выходит командир перед строем и говорит: это нужно, но это — верная смерть. Кто? И вот выходят: первый, второй, третий, а там сразу трое, четверо, семеро, и вот все остальные делают шаг вперед — и снова перед комиссаром одна шеренга. У вас в такой шеренге — трое. У нас — четверо. Где-то, может, и никого. А где-то — тысячи, миллионы.

— Тогда надо было выбрать из них некоторых.

— Некоторых? Любопытно. Каких же это — некоторых? Кто взял бы на себя — выбрать Лакоста, а мне сказать: ты, братец, не годишься! Или наоборот. В том-то и дело, что в этом строю все

были равны, слабых не было. В истории человечества наступали моменты, когда люди, все до одного, уже что-то умели. Вот они все — абсолютно все — стали ходить на двух ногах. А вот все начали разговаривать. Все, но с переменным успехом, потопали по ступеням цивилизации. И вот наступил момент, когда все люди на Земле стали членами коммунистического общества. И дело тут не в общественной формации — изнутри человек стал другим. Словно его из нового материала делать стали. Вот и пришли мы к тому, что для эксперимента Эрбера годились все.

— Все это общие рассуждения, — прервал я его. — Я-то живу с этими тремя, мне виднее. Не говоря о том, что я не допустил бы к сведениям женщин и детей, я бы еще посмотрел и на Элефантуса, и на Патери Пата...

— Насчет женщин и детей это ты брось. Детям никто ничего не сообщает, обращаться в Комитет можно только после шестнадцати лет, это уже не детский возраст. А женщины посильнее нас с тобой. Что же касается доктора Элиа и твоего Пата, то ты, братец, хоть с ними и живешь почти под одной крышей, а смотришь на них только со своей колокольни. Ты совсем недавно узнал об «Овераторе», а для них это — давно пережитое. У них, может, пострашнее теперь заботы. Так что ты приглядись к ним, подумай.

— И все-таки это негуманно, Джабжа...

— Негуманно... — он пожевал губами: гуманно или негуманно? Слово и в самом деле удивительно годилось для пережевыванья и от многократного повторения стремительно теряло свой смысл. — Ну, ладно, совершим еще один экскурс в Последнюю Мировую. Представь себе, что человек вылезает из окопа и становится под пулеметную очередь. Это как?

— Если этого требовало...

— Ты не крути. По отношению к нему самому — это как, гуманно?

— Куда уж!

— Вот и я так думаю. А он, между прочим, из окопа все-таки вылезает и закрывает вражеский пулемет — собой. Так что давай кончим о гуманизме. Сейчас человечество оказалось перед теоремой. Дано — Знание. Требуется доказать — нужно ли это знание людям? И нет другого доказательства, как вынести все это на своих плечах. Донести до самого последнего, скинуть к чертовой матери и сказать...

— Не нужно! — крикнул я.

— Ишь как скоро. Эксперимент все еще идет. И остановить его нельзя, пока жив на Земле хоть один человек нашего поколения.

— Ты же сам сказал, что могут не все знать. Так что не все поколение.

— Нет, брат, именно поколение. Помнишь — поколение первой революции, гражданской войны, освоения космоса. И не важно, сколько там в процентах шло под красным флагом, носило шинель, летало в межпланетных кораблях. Важно, что были такие поколения. А иначе — как их различать? По годам? Отсчитал два десятка, и готовое поколение? Нет, брат. Поколения, прости ты меня за громкие слова, по подвигам отмечают. А подвиг — это попросту, по-человечески, — когда до смерти страшно и трудно, и все равно делаешь. Не знаю, как там в истории нас будут величать, но мы, по-моему, имеем право на то, чтобы считаться поколением.

Я посмотрел на него — кто его знает, может, они тут умели держать себя в руках, но как-то не вязалась его простодушная рожа со словом «подвиг».

Мы оба поднялись.

— Ну, я поехал.

Мы вышли на площадку. Два мобиля — один тяжелый, набитый роботами и всяким снаряжением, а другой желтый, одноместный дежурили у двери

Джабжа подал мне ручищу, поросшую рыжей шерстью, выдохнул мощную струю теплого воздуха и сказал;

— Вот что... Когда твое восхищение Егерхауэном дойдет до предела, вызывай Хижину, мобиль и лети сюда. Салют, Рамон.

— Салют, Джошуа.

— Джабжа, — сказал он и расплылся. — Джаб-жа.

Я забрался в машину. Мои лыжи лежали на полу. Мир был желт и чист, словно я сидел в банке с медом и смотрел из нее на оседающие подо мной горы. Хижины уже не было видно — ее скрыли облака.

— Я не опоздал? — спросил я просто потому, что ничего другого не догадался придумать, пока летел.

— Нет, — сказала она и направилась к веранде, на которую подавалась еда.

Я пошел следом, полагая, что двойной завтрак — не столь суровая расплата за беспутно проведенные полсуток.

Я старательно запихивал в себя все, что имел глупость заказать десять дней назад.

Сана пристально смотрела на меня:

— Тебе нездоровится?

— Что ты. Просто я уже перекусил там.

— Тогда не будем терять времени,— сказала она, поднимаясь.— Я ведь тоже уже позавтракала.

Я прекрасно понимал, что это неправда.

— А мне нравится,— упрямо сказал я и продолжал давиться какой-то гнусной рыбой.

Она стояла, опершись на стол, и спокойно смотрела на меня.

Великое Знание, думал я с горечью. Великое Знание, принятое на свои плечи сильными мира сего. Посмотрел бы Джабжа на эту сцену... А ведь Знание — оно действительно велико и могуче. Если бы я был сейчас свободен, я уже летел бы к Кипру, чтобы на себе испытать, что же оно дает. Я не сомневался, что дать оно может очень много. Вопрос в том — кому? Может быть, Джабжа именно поэтому и стал таким, какой он есть. И Лакост именно поэтому создал своего мифического «Леопарда». Илль и Туан не в счет — они еще дети, они еще над всем этим не задумывались. Но когда задумаются — это сделает их более сильными, цельными, настоящими. Я в этом тоже не сомневался.

Но зачем это Сане? Чтобы иметь право мучить меня своей заботливостью? Чтобы мягко напоминать мне, что я должен идти на прогулку, и повязывать мне на шею теплый шарф, и потом сходить с ума от беспокойства, и встречать так, как она сегодня встретила меня, и снова отпускать, и снова притягивать обратно...

Я сделал последнюю попытку:

— Садись и ешь. Когда на человека смотрят, у него пропадает аппетит.

Она и не подумала сесть. Я швырнул вилку и молча пошел в кибернетическую. Ее платье шелестело за моей спиной.

Вдоль стен стояли какие-то развалины внушительных размеров.

— Это еще что за сюрпризы?

— Кибер-диагностики старого образца, без имитирующих схем. Диагностики в прямом смысле — без методики лечения. Определение самого факта заболевания. Я думала, что на первых этапах они могут натолкнуть тебя на некоторые мысли.

Я был не против того, чтобы у меня появились хоть некоторые мысли. Я подошел к первому попавшемуся киберу и сделал вид, что разбираюсь в его схеме. Хорошо, что Сана была врач, а не механик. Отвертки в руках было мне достаточно, чтобы создать видимость рабочего состояния. Когда прошло минут пятнадцать, я взглянул на Сану. Она не собиралась уходить. Она подключилась к самому грандиозному из этих бронтозавров и сосредото-

ченно слушала поспешный щебет, доносившийся из фоноклипсов. Кажется, мое пожелание — работать вместе — с сегодняшнего утра будет выполняться.

Отступать было некуда, и я занялся схемой своего старика. Бог мой! Это был целый кибернетический город. Сочетание медицинского факультета с целым университетом — никчемные программы физики, математики, биологии, даже философии. Если бы не умение делать уменьшенные копии схем — такая машина заняла бы не меньше кубического километра. Пусть же ее посмотрит Педель и выберет, что нам подойдет.

— Сана, а где Педель?

— Он тебе нужен?

— Разумеется, я без него, как без головы.

— Кажется, он остался там.

— Не может быть. Я же велел ему следовать за тобой!

— Патери Пат его выключил.

Я не стал спрашивать, почему, чтобы не нарваться на нежелательные вопросы. Сана вышла послать дежурного «гнома» за Педелем.

Педель явился через десять минут. Саны не было. «Ага,— подумал я.— Роли переменились. Теперь за мной будет следить он».

Я подошел и ввернул на его брюхе лампочку биопередачи. Но она не загоралась. Это еще ничего не доказывало — он мог запоминать.

— Как прогулялся? — спросил я его.

— Не помню, был отключен. Включила только что Сана Логе.

— Послушай-ка,— я решил его спровоцировать.— Если бы какому-нибудь человеку для нормальной деятельности были необходимы ежедневные прогулки, лыжные например, и человек бы их совершал — как ты думаешь, он делал бы это оттого, что он должен, может или хочет?

— Должен,— не раздумывая, изрек он.— Человек должен поддерживать способность ежедневной активной деятельности,

— Ну, спасибо, ты меня успокоил,— я казался себе последним подлецом.— Что у тебя в программе на сегодня?

Программа его была обширной, и я велел ему заниматься делом. Бедная рыжая скотинка. Когда-то разговоры с тобой развлекали меня, хоть ты и не был для меня подобием человека, как для Саны. С тобой мне было лучше, чем с некоторыми людьми. Но вот я встретил настоящих людей, и ты стал мне не нужен. Сейчас ты просто не нужен мне, но придет день, и я почувствую,

что ты — мой враг. Ты — с ними, с Патери Патом, с Элефантусом и... с Саной. Ты их дитя. Нет. Ты их выкормыш. Ну, работай, работай, Кибервраг.

Педель кротко хлопотал над нашей схемой и вряд ли подозревал, что я объясняюсь ему в ненависти. Просто я сегодня спал всего около трех часов, надо было послать его подальше и завалиться где-нибудь в уголке. Но вдруг войдет Сана, и тогда придется объяснять, что я делал всю ночь, и пересказывать наши разговоры, а я чувствовал, что никогда этого не могу сделать. Я уселся в кресло с книгой в руках и вытянул ноги. Конечно, два механика на один заповедник — капля в море, даже при самых совершенных подсобных роботах. Какая у них должна быть система сигнализации! Подумать страшно. Как бы Джабжа не нашел себе механиков, не дождавшись того времени, когда я смогу свободно распоряжаться собой. Не могу же я сказать ему, что привязывает меня к Егерхауэну. Хотя я не думал, что смогу говорить с чужими людьми о тех, четверых, а вот смог — и словно вылечился. Джабжа... В колледже мы называли таких «дворнягами». А из них вот кто вырастает.

Вошла Сана. Я едва успел ткнуться носом в книгу. И потом так непринужденно обернулся:

— Что, обедать?

— Нет еще.

О, четыреста чертей и спаржа в майонезе, как говорили уважающие себя пираты. Да кончится ли этот день?

Я тупо смотрел на Сану, которая задавала Педелю какие-то расчеты. Через месяц — охота на оленя. Мы договорились.

Я засучил рукава и пошел работать уже по-настоящему. Месяц можно было потерпеть.

За обедом молчали. Я невольно спрашивал себя, знают ли все о моем ночном приключении? Говорить первым я не хотел, чтобы не сесть в лужу, а вдруг они не знают, и я сам напрошусь на нежелательные расспросы. Патери Пат ел быстрее обычного и не смотрел в мою сторону. Наверное, догадался о моей вчерашней попытке сделать из Педеля шпиона. Иногда обменивались беглыми фразами о погоде — теперь-то я понимал, что здесь, на территории заповедника, это не банальный разговор, а важная информация, от которой зависят многочисленные группы людей, бредущих сейчас снежными альпийскими тропами.

Меня удивляло только одно: почему этих людей, собравшихся за обеденным столом Егерхауэна, так интересовали судьбы незнакомых альпинистов? Ведь я испытал на себе, что на про-

стое человеческое участие у них не хватает времени. Традиционная тема? Пожалуй.

Я смотрел на Элефантуса, грустно шевелящего огромными ресницами. Он как раз говорил об обвалах. Обвалах, возникающих от громкого звука — выстрела, например. Как же это я согласился пойти на охоту, не умея стрелять? Запасное оружие у них, несомненно, есть; научусь я быстро, сеанса за два-три. Значит, мне нужно слетать туда и взять первый урок.

Десерт я доел с аппетитом, явно порадовавшим Сану. Мы вернулись к себе, я прогнал Педеля, крутившегося у меня под ногами, и начал тренировать схему на простейшие задачи. Как ни странно, все шло хорошо. К вечеру Сана уже беспокоилась:

— Но разве так можно? — мягко выговаривала она мне.— Все утро только делал вид, что разбираешься в схемах, зато вечер проработал с утренней интенсивностью. А прогулка?

— В конце концов, могу я сам решать, что мне делать, а что — нет?

— Я не об этом. Ты изматываешь себя...

— Мне просто не хватает времени. От ежедневных прогулок придется отказаться, в лучшем случае я смогу выходить на лыжах один-два раза в неделю, но часа на четыре.

— Разумеется. Не забывай только «микки»,

— Конечно, не забуду. Ты ведь знаешь, что я без няньки ни на шаг.

— Я плохая тебе нянька, милый...

— Плохая. Злая. Неласковая. Ворчливая. Вот.

— Как быстро дети вырастают из своих игрушек и своих нянек...

— А давай сделаем все наоборот. Я сам стану тебе нянькой. И, честное слово, я уж не отпущу тебя никуда одну. И не позволю работать невыспавшейся. И не уложу спать непрогулянной...

Она вдруг побледнела.

— Нет, нет, если можешь — пусть все останется, как есть...

И снова я не мог понять — читаю ли я ее мысли, или это моя фантазия, но мне отчетливо послышалось дальше: «Если ты будешь нянчиться со мной, носить меня на руках, баюкать меня — я буду каждую минуту чувствовать, что умираю».

— Ну, ладно,— сказал я ласково.— Все остается по-твоему. А я хочу спать, нянюшка.

Я долго гладил ее золотые волосы, гладил даже тогда, когда она уснула. Потом уснул и я. Но во сне мне явилась черная девочка, и я был не рад ее приходу. Она сидела на спине огромного

оленя, обнимала его за шею и говорила: «Он у меня хороший», и я не мог понять, как она может говорить так об олене — ведь он ей вовсе не брат...

На другой день Элефантус, Сана и Патери Пат наконец разрешились. Это, правда, была только часть того, что я должен был закодировать, даже не половина — только симптоматика, но все равно это была уже активная работа, и я вздохнул свободно.

Для Саны наступили блаженные дни — она могла кормить меня с ложечки. Я буквально не выходил из кибернетической, куда все прибывали и прибывали старые и новые машины. В основном это были кибердиагностики, или киды, по важнейшим видам облучения. Она-то знала их прекрасно, хотя где она могла с ними сталкиваться? Как-то я не выдержал и спросил ее об этом. Сначала она сделала вид, что не расслышала, а потом сказала как-то вскользь, что последние годы заведовала радиационной лабораторией Сахарского космодрома.

Работы все еще было по горло, и Сана все стояла у меня за спиной с той именно лентой, которая могла мне понадобиться в ближайшую секунду, с бутербродом или свитером, и я примирился со всем этим.

И вдруг все кончилось. Мне казалось, что остановка только за мной, а на деле выходило, что я торопился впустую, так как дальнейшая программа не составлена еще и вчерне и ожидаются материалы из Колхарана и Мамбгра.

Сана предложила мне продолжить теоретические занятия с Педелем. Я довольно резко ответил, что он слишком перегружен подсчетом всех поглощаемых мной продуктов. Сана посмотрела на меня укоризненно и заметила, что не может делать это собственноручно только потому, что не располагает достаточным математическим аппаратом.

Я облегченно вздохнул — наконец-то у Саны пробудилось чувство юмора. Я не удержался и спросил, за кем еще из ее сахарских космонавтов она ходила с бутербродами и теплыми набрюшниками. Сана опустила голову.

— Я чувствовала, что рано или поздно ты задашь мне этот вопрос, — сказала она тихо. — Эти одиннадцать лет я выполняла свой долг. И только. Я никого не любила кроме тебя, Рамон.

Я сжал кулаки. Ну что я мог сделать?

Больше у меня не появлялось желания напоминать ей о прошлом.

К концу обеда на третий день моего вынужденного отдыха я не выдержал.

— Послушай, Патери,— сказал я за обедом.— Может быть, ты передашь мне некоторые материалы, не дожидаясь тех, что должны прибыть с востока? Не беда, если там не все будет доработано — Сана исправит на месте.

Патери Пат вскинул голову. Лицо и шея его стали вишневыми, багровыми и, наконец, ослепительно алыми, как свежеободранная говядина.

— Если ты страдаешь от избытка свободного времени,— ответил он сквозь зубы,— можешь прогуляться на лыжах. У тебя это здорово получается.

Он уткнулся в тарелку и торопливо доел, шумно дыша и сминая скатерть. Быстро встал, отвесил неопределенный поклон и вышел. Его черный «бой» засеменил за ним.

По тому, как посмотрели друг на друга Сана и Элефантус, я понял, что они тоже ничего не понимали.

Не завидовал же он мне в конце концов?! А может, он так же, как и я, хотел бы сейчас не знать?..

Меня утешало то, что Патери Пат считался в какой-то степени талантом или даже гением, а таким даже положено быть немножко свихнувшимися.

Я преспокойно доел свои черешни и повернулся к Сане:

— Благими советами нужно пользоваться. Отдохнем немного, и — в горы. Только учти, что на сей раз я без тебя не пойду.

Сана беспомощно развела руками:

— Я не экипирована.

— Какая жалость! — я состроил постную рожу.— Ну, идем, мне придется поделиться с тобой одной лыжей.

Она тревожно глянула на меня. Попрощалась с Элефантусом. Молчала всю дорогу.

Дома я пропустил ее вперед, а сам задержался в маленьком холле. Педель, неизменно сопровождавший нас всюду, въехал в дом и покатился было на рабочую половину, но я его остановил:

— Педель,— сказал я тихо,— мои лыжи, палки и ботинки и еще одни лыжи, палки и ботинки, те, что поменьше, в той же кладовой.

Он стоял передо мной навытяжку.

— На складе Егерхауэп-юг-два имеется только одна пара лыж, палок, ботинок.

— Что ты врешь, милый? — удивился я.— Они лежат рядом, я сам видел. Ты просто забыл.

— Совершенно верно. Забыл.

— Так принеси обе пары.

— Не могу. Помню только об одной. Другой на складе Егерхауэн-юг-два не имеется.

Мне не хотелось лезть самому. К тому же мне хотелось переиграть того, кто хотел меня обмануть.

— Совершенно верно, — сказал я. — Ты не можешь помнить о второй паре. Ее до сих пор и не было. Я положил ее туда сегодня утром. Понял? Я положил, это мое. Ты увидишь их, запомнишь, что обе пары мои. Так вот, принеси их мне.

Через минуту Педель приволок то, что мне было нужно

— А теперь пригласи сюда Сану Логе.

Когда она вошла, я обернулся к ней с самым невинным видом:

— Посмотри-ка, что нашел Педель. Вот умница! Я уверен, что все будет тебе как раз впору.

Сана величественно повернулась к роботу:

— Ступайте, Педель, продолжайте работу.

Я чуть не фыркнул. Я думал, что она удивится, — кто же, если не она, мог приказать Педелю забыть? А она отправила его с видом герцогини, выставляющей дворецкого, чтобы устроить сцену своему дражайшему супругу по всем правилам хорошего тона — наедине.

Но она опустилась в кресло и молчала, глядя на меня спокойными жуткими глазами. Она умела смотреть так, что пол начинал качаться под ногами.

— Рамон, — сказала она, наконец. — Во имя той любви, которая была между нами десять лет назад и которая не сумела пережить этот срок, я прошу тебя: разреши мне дожить этот год только здесь и только с тобой.

Я схватился за голову. Я толкнул камень, и покатилась лавина. Я мог вынести одиннадцать лет заточения, но эта патетика на горнолыжные темы...

— Ты хочешь увести меня обратно в мир, из которого я ушла к тебе. Ведь я столько лет ждала тебя, Рамон, что не могла делить свои последние дни между собой и кем-то другим. Я хочу быть только подле тебя, и ты мне нужен сильным, полным жизни. У тебя есть все — любимая работа, уютный дом, заботливые руки и снежные горы. Живи, мой милый. Работай, забывая меня, — тогда я смогу тебе помочь. Владей этим домом, — я буду украшать и убирать его. Уходи в горы, — я стану ждать тебя, потому что уходящий и приходящий дороже во сто крат живущего рядом. Но не зови меня с собой.

Я знал, что я должен подойти к ней, театрально грохнуться на колени и, спрятав лицо в складках платья, клясться не покидать ее до последних минут...

Я сдернул со стены «микки» и, как ошпаренный, вылетел из дома. Шагов через пятьдесят опомнился и присел на камень. По фону вызвал Педеля со всеми своими палками и свитерами и в ожидании его съежился под пронзительным весенним ветром. Черт побери, до чего люди всегда умели портить все вокруг себя! Кто бы мне поверил, что после всего этого я еще продолжал ее любить. Я сам бы не поверил. Но я ее все еще любил. Я знал, что говорить ей об этом — бесполезно, потому что она примет это лишь как утешение, а выдумывать что-нибудь я сейчас просто не мог. Сил не было. Потому что я ее любил.

## Глава 7

Я мчался вперед, словно за мной по пятам гнались изголодавшиеся леопарды. Проскочил лес с такой скоростью, что за мной стоял туман осыпающегося с елей снега. Оглянулся. Нет, рано — мобиль, спускающийся сюда, будет виден из Егерхауэна. Я круто свернул влево и понесся вниз по склону. Скорость была сумасшедшей даже для такого безопасного спуска. Но я его хорошо знал. Постепенно я начал тормозить. Потом резко поставил лыжи на ребро и остановился.

«Хижина... Хижина...» — вызывал я, поднеся «микки» к самому рту, так что он стал теплым и матовым.

«Хижина слушает. Чем могу помочь?» — раздался металлический голос.

Ну, конечно, при экипаже в четыре человека дежурить у фона людям было нецелесообразно. Вероятно, роботы рассматривали все поступающие сообщения и только в крайних случаях подзывали людей.

«Прошу одноместный мобиль на пеленг, — сказал я. — Пеленг по фону».

И запустил «микки» на пеленговые сигналы.

Облаков не было, и Хижину я увидел издалека. Она стремительно неслась мне навстречу. Тонкая черная фигурка выплясывала на площадке какой-то дикий танец. Разумеется, это могли быть или Туан, или Илль. Я потянулся к щитку и поймал по фону Хижину. Из черного диска полетели восторженные вопли: «Эй, вахта, поднять сигнальные огни! На горизонте один из наших кораблей!»

Мобиль шлепнулся у самых ее ног.

— Скорее! — кричала она. — Именно сегодня вы нам нужны вот так! Ну, вылезайте, вылезайте, а то он сейчас вернется.

Именно сегодня я и не был расположен прыгать, как весенний зайчик. Мне хотелось излиться. Я хотел Джабжу. Мне нужна была его жилетка. Я вылез и начал ворчать:

— Благовоспитанная горничная не свистит в два пальца при виде гостя, словно юнга на пиратском корабле, а складывает руки под передником и вежливо осведомляется, что посетителю угодно.

— Ладно, ладно, будет вам и благовоспитанная горничная, будет даже чепчик, а сейчас ступайте вниз — нам не хватает механика.

Она схватила меня за руку и потащила в узкую щель двери.

— Скорее, скорее, — она бесцеремонно втолкнула меня в кабину грузового лифта. — Мы хотим успеть, пока не вернулся Туан...

— А чем я могу быть полезен?

— Что-то не ладится с блоком звукового восприятия.

— У чего?

— У Туана.

Я не успел переспросить, как лифт остановился, и Илль потащила меня дальше, через обширные помещения, которые, насколько я мог догадываться, были аккумуляторными, кибернетическими, кладовыми и киберремонтными. Наконец, в небольшой комнате с голубоватыми мягкими стенами я увидел остальную троицу. Лакост и Джабжа наклонились над сидящим в кресле Туаном и, кажется, причесывали его, помирая со смеху. Илль подбежала и залилась так звонко, что я сам ухмыльнулся.

Наряд Туана меня потряс. Весь в белых блестящих доспехах, особенно подчеркивающих его стройность, в белоснежных замшевых перчатках, обтягивающих кисть, которой позавидовала бы и сама Илль, он развалился в кресле, предоставив товарищам подвивать и укладывать свою роскошную бороду. Аромат восточных духов плыл по комнате. Я смотрел на него и не мог понять — на кого он больше похож: на прекрасного рыцаря-крестоносца или на не менее прекрасного сарацина?

— Подымись, детка, и приветствуй дядю, — велел Джабжа и дернул Туана за роскошный ус.

Туан выпрямился.

Я обомлел. Это был Туан и не Туан. Это был самый великолепный робот на свете, с самой конфетной, слащавой физиономией, от которой настоящему Туану захотелось бы полезть на стенку.

«Туан» отвесил сдержанный, исполненный благородства поклон. Чувствовалась дрессировка Лакоста.

— Ну? — спросила Илль.

— Выставьте его в парикмахерской, — посоветовал я.

— Жаль, нет всемирной ассоциации старых дев, — сказал Лакост.

— Он фигурировал бы на вступительных испытаниях, — подхватил Джабжа.

— Мальчики, отдайте его мне, — потребовала Илль. — Ручаюсь, что снова введу идолопоклонство.

— Это все очень весело, но он работает нечетко. Рамон, вас не затруднит покопаться в одном блоке?

И мы с Лакостом бесцеремонно влезли в белоснежное брюхо этого красавца.

С полчаса мы доводили его до блеска, изредка перекидываясь шуточками. Мальчик заработал, как хронометр. Насколько я понял, он предназначался для простейших механических работ, но основной его задачей было дублировать Туана в его инструкторской деятельности. Для этого он намотал на свой великолепный ус не только пособия и инструкции по альпинизму и горнолыжному спорту, по также архивы базы со дня ее основания и все исторические документы, относящиеся к Швейцарскому заповеднику, что на деле оказалось потрясающим перечнем трагических событий, случившихся в этих горах. Нечего говорить — это был эрудированный парень.

Мы кончили возиться с ним как раз к тому моменту, когда раздался металлический голос:

— Мобиль «хром-три» прибыл на стартовую площадку.

Мы переглянулись.

— Свистать всех наверх! — сказала Илль громким шепотом, словно с площадки нас можно было услышать.

В одно мгновенье мы были в том небольшом зале, отделанном бревнами, где я провел свою первую ночь в Хижине.

Туан вошел одновременно с нами в противоположную дверь.

— Где это вы пропадаете все хором? — подозрительно спросил он.

Было похоже, что последние дни повлияли на его характер не вполне благотворно.

— Да вот, знакомили гостя с помещением, — Джабжа растянул рот до ушей.

Туан пошел навстречу мне с протянутой рукой:

— Вот здорово! А мы вас вспоминали.

Мне стало приятно оттого, что меня вспоминали здесь.

— Новости есть? — спросил он встревоженно.

— Да, и неутешительные. Тебе придется вылететь на шестнадцатый квадрат, — тоном начальника, не терпящего возражений, проговорил Джабжа.

— А что, их завалило? — с надеждой поднял на него глаза Туан.

Теперь я понял, в чем дело. Это были все те же, не моложе восьмидесяти лет.

— Еще нет, — отвечал неумолимый Джабжа. — Но они ждут этого с минуты на минуту. Учитывая их возраст, нельзя отказать им в любезности, о которой они просят.

— Что еще?

— Ты должен провести их через перевал сам.

— Я — альпинист, а не дамский угодник, а перевал — не место для прогулок. И никаких уважаемых дам я не поведу!..

— Поведешь!

— Пари!

— Десять вылетов.

— Ха! Двадцать! И приготовь свой мобиль.

Джабжа повернулся к двери.

— Туан! — крикнул он, и дверь тут же отворилась.

Мы были подготовлены к этому зрелищу, и все-таки что-то в нас дрогнуло. На пороге стоял Туан, устремив вперед задумчивый взгляд прекрасных карих глаз. Нежнейший румянец заливал его щеки там, где они не были прикрыты бородой.

Илль высунула кончик языка.

— Туан, — сказал Джабжа, и глаза робота, мерцая золотистыми искрами, как у дикого козла, повернулись и уставились в ту точку, из которой раздался звук. — Поди сюда, ты нам нужен.

Твердыми шагами робот пересек комнату и остановился перед Джабжой. Походка его была сдержанна и легка. От каждого его движения до того несло чем-то идеальным, что невольно хотелось причмокнуть.

— Чем могу служить? — раздался голос «Туана».

У настоящего Туана отвисла челюсть.

— Вылетишь в шестнадцатый квадрат, встретишь группу альпинистов (раздался хоровой вздох), ознакомишь их с обстановкой и проведешь через перевал. Как только перейдешь границу квадрата — вернешься сюда. Что-нибудь не ясно?

— Ясно все. Какой мобиль могу взять?

— «Галлий-один». Метеосводки блестящие, получишь их в полете. Запросишь сам.

— Могу идти?

— Ни пуха, ни пера. Ступай!

Еще один безупречный поклон, и двойник Туана исчез за дверью.

— Душка! — не выдержала Илль, посылая ему вслед воздушные поцелуи. — Пупсик! Котик!

Джабжа похлопал по плечу истинного Туана:

— И приготовь свой мобиль...

Туан, пошатываясь, поднялся во весь рост и начал демонстративно выщипывать волоски из своей бороды.

— Раз, — считал Лакост, — два, три, четыре, пять, шесть...

— Больно, — сказал Туан и махнул рукой. — Сейчас сбрею.

— Туан! — взвизгнула Илль, бросаясь к нему. — Только не это!.. Вспомни о своей незнакомке. Ради нее ты обязан нести бремя своей бороды.

— Ну, будет, будет, — Джабжа поймал ее за черные пальцы. — Борода входит в инвентарь Хижины и поэтому остается неприкосновенной. А теперь нелишне было бы спросить, с чем пожаловал к нам высокий гость?

В двух словах я поведал свои опасения относительно неумения владеть огнестрельным оружием. Джабжа нахмурился.

— Все-то теперешней молодежи кажется так легко... — я был уверен, что старше его лет на пять-семь. — За один месяц ты, конечно, научишься бить бутылки, да и то, если будешь делать это ежедневно. Но на оленя я тебя с собой не возьму. А теперь пойдем, побалуемся. А ты, стриж, позаботься об ужине.

Илль вскинула ресницы и усмехнулась. Мне почему-то показалось, что если бы она захотела, она смогла бы шевелить каждой ресницей в отдельности.

Мы вышли на площадку. Я не то чтобы боялся высоты, а както не очень радовался перспективе иметь под ногами у себя метров пятьсот свободного вертикального полета. К тому же я не видел мишени, по которой можно стрелять. Разве что по облакам.

— Пошли! — крикнул Джабжа, но я понял, что это относится не ко мне. И действительно, справа и слева от нас поднялись два маленьких мобиля, между которыми была натянута веревка. На веревке раскачивалась дюжина бутылок. Мобили повисли метрах в тридцати от нас.

Должен сказать, что этот день был днем разочарования не только для Туана. Я сделал около пятидесяти выстрелов по облакам, четыре по правому мобилю, два — по левому и один — по бутылке. Зато в самое горлышко.

— М-да, — сказал Джабжа и начал объяснять мне, как нужно заряжать и разряжать пистолет.

Я быстро усвоил это и, взяв пистолет, не задумываясь выстрелил ему в ногу, руку и голову. Если бы я сделал это столько же раз, как по облакам, я непременно попал бы, тем более что стрелял почти в упор. Он еще раз все объяснил мне и стал за моей спиной. После трех безуспешных попыток самоубийства я пожал плечами и вернул ему пистолет. Он спрятал его в карман и коротко, но выразительно высказал мне свою точку зрения на то, что будут делать роботы за нас в ближайшем будущем, если мы и впредь будем так пренебрегать физическими упражнениями.

После этого мы вернулись к обществу в прекрасном расположении духа и с возросшим аппетитом.

Общество состояло из двух медвежьих шкур и Лакоста поперек них.

— Ну, как? — он поднял голову от книги.

— Я утвердился в своих пацифистских тенденциях, — сказал я, чтобы смеяться первому.

Но Лакост, по-видимому, истощил свое остроумие на Туане и теперь мирно прикрывался книгой. Я не думаю, что здесь стали бы щадить гостя. Просто на сегодня уже хватит.

Стол был накрыт. Никаких изысканных кушаний, вроде жаркого из медвежатины, не наблюдалось, но во всей сервировке чувствовалась та грациозная небрежность, которая сразу отличала этот стол от Егерхауэнского, где все готовилось и подавалось роботами.

— Уже явились? — раздался из-за двери звонкий голос Илль. — Отворите-ка поскорее, мне рук не хватает.

Я бросился к двери, толкнул ее — и остолбенел во второй раз за этот день. Илль скользнула в комнату, с трудом удерживая пять или шесть тарелок.

Но как она была одета!

Она была в длинном и шуршащем.

Она была в белоснежном переднике до полу.

Она была в чепце.

Но ни Джабжа, ни Лакост не только усом не повели, но даже не полюбопытствовали, какое впечатление произвел на меня сей маскарад.

«Не мешать друг другу делать глупости — закон этой Хижины», — вспомнились мне слова Илль.

Она глянула на меня так застенчиво, словно я был знаком с ней всего несколько минут и мог этому поверить, потом спрятала руки под передник и снова исчезла.

Мужчины двинулись к столу. Снова появилась Илль и передала им дымящийся кофейник. Присела на свое обычное место, подперла щеку обнаженной до локтя рукой. Ждали Туана.

— Благодетели! — завопил он, врываясь в комнату. — Нет, это надо видеть своими собственными глазами. Они сбились в кучу, а он перед ними жестикулирует с яростью христианского проповедника. Похоже, что он выкладывает им все трагические истории, происшедшие на этом перевале! Я бы дорого дал, чтобы услышать, что он там импровизирует.

— Бери даром, — сказал Лакост. — Мы учли твое любопытство, и на первых порах все его проповеди записываются. Нужно только подождать, когда он вернется — вот тогда будет потеха.

Как я и предполагал, на станции велись наблюдения за любым уголком заповедника. Интересно, территория Егерхауэна так же свободно просматривается? Надо будет спросить при случае.

Туан обеими руками пригладил волосы, одернул свитер — сегодня в форме был Лакост — и блаженно вытянулся в кресле. Илль подвинула ему тарелку и улыбнулась той странной, милой и застенчивой улыбкой, которую я никак не хотел принимать всерьез. Но остальные отнеслись ко всему, как к должному, и мне не оставалось ничего, как только поглощать ужин и исподтишка разглядывать ее наряд.

Розовый атласный чепец с двойным рядом старинных кружев и лентой цвета голубиного крыла совершенно скрывал волосы, зато белая легкая косынка оставляла открытой шею, обычно до самого подбородка затянутую триком.

Атласная куртка, или блуза, или жакет — бог их знает, женщин, как они это называли, — была цвета старого пива, и рукава, поднятые выше локтя, чтобы не окунуть их в какой-нибудь соусник, позволяли видеть узенькие манжеты нижней блузки, к моей досаде, закрывавшей локти. Концы косынки уходили под четырехугольный нагрудник передника, неизвестно на чем державшийся. Юбки мне не было видно, но я помнил, что она была серая и все время тихонечко поскрипывала под столом. Крошечные изящные ботинки были совершенно гладкие, без украшений. В сущности, все очень просто. Если не вспоминать о том, что в любой момент может раздаться тревога и нужно будет вылететь на место какого-то несчастного случая. Но если отвлечься от гор и пропастей, то я находил спецодежду горничных Хижины просто очаровательной.

Оказывается, играла музыка. Дремучая старина — чуть ли не Моцарт. Я не заметил, когда она возникла, так естественна она

была в этой обстановке. Тонкие руки Илль бесшумно царствовали в сиянье неподвижных язычков свечных огней. Я глядел на эти руки, и до меня медленно доходило, какой же потрясающей женщиной станет когда-нибудь эта девчонка, если уже сейчас она умеет так понять, что при всех распрекрасных дружеских отношениях в этом доме иногда тянет холодком бесконечного мальчишника; и она приносит им всю накопляющуюся в ней женственность, но мудро ограждает себя колдовской чертой неприкасаемой сказочности.

И сегодня рыцарем ее был Лакост, хотя она не выделяла его и не улыбалась ему больше, чем кому-нибудь, но что-то общее было в ее старинном костюме и его ультрасовременном трико с серебристым колетом, в подкладку которого так хорошо монтировались всевозможные датчики; может быть, несколько столетий тому назад она и выглядела бы в таком наряде, как служанка; но сейчас это была фея, и фея одного из самых высоких рангов. А Лакосту не хватало лишь ордена Золотого Руна. Разговор за столом велся вполголоса, я давно уже за ним не следил, и меня не тревожили, разрешая мне предаваться своим мыслям, и я удивлялся, как это в прошлый мой визит я мог подумать, что этот мальчик Туан имеет какое-то отношение к ней.

Ужин уже окончился, но никто не вставал; музыка не умолкала. Мы сидели за столом, но мне казалось, что все мы кружимся в медленном старинном танце, улыбаясь и кланяясь друг другу. И Илль танцует с Лакостом.

«А собственно говоря, почему меня так волнует, с кем она?» — подумал я, и в ту же секунду глухие частые удары ворвались в комнату. Казалось, отворилась дверь, за которой бьется чье-то исполинское сердце. Но удары тут же приглохли, и на их отдаленном фоне зазвучал бесстрастный голос:

«В квадрате шестьсот два обвалом засыпана группа людей в количестве семи человек. Приблизительный объем снеговой массы будет передан в мобиль. Продолжаю ориентировочные расчеты. Необходим вылет механика и врача».

Лакоста и Джабжы уже не было в комнате.

Я посмотрел на Илль. На ее лице появилось выражение грустной озабоченности. И только. Она поднялась и стала убирать со стола. Туан тоже встал и, как мне показалось, неторопливо удалился в центральные помещения.

Наверное, все шло, как полагается, ведь не в первый же раз в заповеднике случается обвал. Но мне казалось, что все до единого человека должны начать что-то делать, бегать, суетиться. А

они остались, словно ничего и не случилось. Илль унесла посуду и села у едва тлеющего камина, положив ноги на решетку.

— Сегодня много обвалов, — сказала она, кротко улыбнувшись, словно сообщала мне о том, что набрала много фиалок.

Я понял, что это — приветливость хозяйки, которой волей-неволей приходится развлекать навязчивого гостя. Я поднялся.

— Не уходите, — живо возразила она. — Вы ведь видите, меня бросили одну.

Как будто я не знал, что она одна-одинешенька лазает ночью по горам.

— Останьтесь же — солнце еще не село.

В прошлый раз я бы спросил: «А что мне за это будет?» — и остался бы. Сегодня я просто не знал, как с ней разговаривать — у меня перед глазами стояло тонкое, чуть насмешливое лицо Лакоста. Я подбирал слова для того, чтобы откланяться самым почтительным образом и тем оставить для себя возможность еще раз навестить Хижину. Но вошел Туан.

— Почти ничего не видно — «гномы» поднимают стену снега. Лакост и Джабжа висят чуть поодаль и говорят, что все хорошо.

— Почему — висят? — не удержался я.

— Они не выходят из мобилей, так как никогда нельзя забывать о возможности вторичного обвала. «Гномы» сами откопают людей и притащат их Джабже.

— А если они все-таки попадут под обвал?

— И так бывало. Тогда полечу я.

Он был уже в форме.

— А твой двойник? — напомнила Илль.

— Черт побери, из головы вылетело.

Туан повернулся и бросился обратно.

— Я уже придумала ему кличку, — сказала Илль.

— Кому?

— Двойнику. Мы будем звать его «Антуан».

Я пожал плечами. Где-то под снегом задыхались люди, а она болтала о всяких пустяках. Неужели костюм так меняет женщину?

— Не волнуйтесь, Рамон, — сказала она мягко. — Мне сначала тоже казалось, что я должна вмешиваться в каждый несчастный случай. Но я здесь уже четыре года и знаю: когда летит Лакост — волноваться нечего. Они сделают свое дело. А через несколько минут можем понадобиться и мы. Это — наша жизнь, мы привыкли. На войне — как на войне.

Я не удержался и гляпул на нее довольно выразительно. Эта горничная очень мило щебетала о войне. А сама боится ходить на охоту.

— А вы когда-нибудь держали в руках пистолет?

— Да,— просто сказала она,— я стреляю хорошо.

— А вы сами попадали под обвал?

— Несколько раз,— так же просто ответила она.— Один раз Джабжа едва разбудил меня.

Мне стало не по себе от этого детского «разбудил». Она даже не понимала как следует, что такое умереть.

— Скажите,— вдруг вырвалось у меня,— а разве не бывает здесь случаев, когда люди приходят в горы умирать? Знают, что им не избежать этого, и выбирают себе смерть на ледяной вершине, что ближе всего к небу?

— Я не совсем понимаю вас. Неужели человек, которому осталось немного, будет терять время на то, чтобы умереть в экзотической обстановке? Он лучше проживет эти последние дни, как подобает человеку, и постарается умереть так, чтобы смерть была не последним удовольствием, а последним делом.

С ней решительно нельзя было говорить на такую тему. Я продолжал лишь потому, что хотел закончить свою мысль. Может, быть, когда-нибудь, с возрастом, она вспомнит это и поймет меня.

— Мне кажется, Знание, принесенное «Овератором», гораздо обширнее, чем мы предполагаем. Вряд ли вы наблюдали за этим, но мне кажется, что у человека пробудился один из самых непонятных инстинктов — инстинкт смерти. Вы знаете, как раненое животное уползает в определенное место, чтобы умереть? Как слоны, киты, акулы, наконец, образуют огромные кладбища? Их ведет древний инстинкт, утерянный человеком. И мне кажется, что сейчас этот инстинкт не только снова вернулся к человеку, но стал чем-то более высоким и прекрасным, чем слепой двигатель животных — как случилось, например, с человеческой любовью, поднявшейся из инстинкта размножения.

Илль смотрела на меня уже без улыбки.

— А вы уверены, что есть такой инстинкт — смерти? Мне почему-то всегда казалось, что люди придумали его. Есть инстинкт жизни. Если бы я была зверем, что бы я делала, смертельно раненная? Уползла бы в одной мне известное место, чтобы отлежаться, зализать раны и выжить. Именно — выжить. Звери не хотят умирать. И если они идут, как слоны, в какое-то определенное место — я уверена, что эта область или отличается здоровым климатом, или полезной радиацией, но звери идут туда жить.

Иначе нет смысла идти. Но почему-то люди замечали лишь трупы не сумевших выжить, а про тех, кто оказался сильнее, кто смог подняться и уйти снова к жизни, люди забыли. Да это и не удивительно — ведь люди отыскали этот инстинкт и назвали его именно тогда, когда человеку и самому подчас жить не хотелось. Ну, подумайте, разве вы стали бы что-нибудь делать, чтобы умереть? Нет. И звери этого не делают, и я, и вы, и все...

Мне не хотелось продолжать разговор, я видел, что она не понимает меня, но это было уже не детское невосприятие сложного взрослого мира, а свой, вполне сложившийся взгляд на вещи, о которых я в таком возрасте еще не задумывался.

Я посмотрел на Илль сверху вниз. Как тебе легко! Вокруг тебя люди, с которыми не страшно ничто, даже *это*. Они растят тебя, позволяют баловаться маскарадами, свечами и каминами, играть в спасение людей. Они передали тебе свои знания, свое мужество и свою доброту. То, что ты сейчас говорила мне, — тоже не твое, а их. Всех их, даже этого смазливого мальчика Туана. И сейчас ты останешься с ними, а мне пора улетать, мне пора туда, где, стиснув зубы, я буду бессильно глядеть на то, как уходит и уходит, и никак не может уйти самый дорогой для меня человек. Этому человеку можно все — сводить меня с ума, заключать меня в каменный мешок проклятого Егерхауэна, потому что она любила меня и ждала — и теперь она имеет право на всего меня.

— Мне пора, — сказал я и пошел к выходу.

— До свидания, — услышал я за своей спиной обиженный детский голосок.

Что-то поднялось внутри меня — глухое, завистливое; я выскочил на стартовую площадку и плюхнулся на дно мобиля, кляня всех, кто живет так легко и красиво; живут, не зная, что они вечно что-то должны. Нет, злость моя не была завистью — я мог бы остаться с ними, — а сознанием совершенного бессилия заставить Сану прожить последний свой год так, как они.

Я шел по тяжелому весеннему снегу и мне казалось, что стоит обернуться — и я увижу сверкающую в лунном свете вершину горы, где живут эти удивительно, чертовски обыкновенные люди, которые, наверное, никогда не делали проблемы из того, чего они хотят и что они должны.

Сана, разумеется, не спала. Она ходила по комнате, и походка ее была тяжела и неуверенна. Словно на каждом шагу она хотела повернуться к двери и бежать куда-то, но сдерживалась. Мне она ничего не сказала.

Я вытянулся на постели, как человек, прошедший черт знает сколько километров. Я не притворялся — я был действительно так измотан. Чуть было не улыбнулся, вспомнив «Антуана». И уже окончательно за сегодняшний вечер разозлился на себя за то, как я держался с Илль. Бедный ребенок. Ей бы жить да радоваться, а тут лезут всякие самодеятельные философы со своими новоявленными инстинктами. А она еще, наверное, в куклы играет. Туан с ней по горам лазает, Джабжа носик вытирает, Лакост интеллектуально развивает. Ну, чем не жизнь? Потом она в одного из них влюбится, будет очень трогательно скрывать от двух других, потом совершенно нечаянно и обязательно в героической обстановке эта любовь выплывет на свет божий, и вот — свадьба на Олимпе. Я с ожесточением принялся рисовать в уме этакую лакированную картинку: невеста, по древним обычаям, вся в белом, только очень внимательный взгляд может усмотреть между высокой перчаткой и кружевом рукава черную матовую поверхность трика. Глухие сигналы тревоги нарушают торжественное звучание мендельсоновского марша, и вот уже мощный корабль уносит юную чету навстречу первой их семейной опасности. Бестр-р-ре-петной рукой снимает Илль со своей головки подвенечную фату, а Лакост...

Почему — Лакост?

Всё во мне возмутилось.

— Что ты? — спросила Сана.

— Бывает, — сказал я. — Когда долго бегаешь, потом руки и ноги иногда возьмут вдруг и дернутся...

— Да, — сказала она, — так бывает.

Я боялся, что она сейчас начнет меня еще о чем-нибудь расспрашивать, но она уже спала. Засыпала она удивительно — словно мгновенно отключалась от всех дневных мыслей и забот. И медленно, с трудом просыпалась. Я спрашивал ее, и она объясняла это тем, что работа в Егерхауэне для нее непривычна и она очень устает. Но я понимал, что утомляет ее не работа, а вечное ожидание, вечное напряжение, — я знал, что каждая ее минута полна мыслью обо мне; и день — обо мне, и ночь — обо мне, и сейчас — обо мне, и потом — обо мне, и всегда, всегда обо мне.

## Глава 8

С каждым днем Сана становилась все рассеяннее. Она забывала, что собиралась делать, иногда вдруг замирала у двери и поворачивала обратно — вероятно, не могла вспомнить, куда собиралась идти. Движения ее стали намного медленнее, чем зимой.

Кажется, она начинала понимать, как дешево стоит механическая быстрота. Но на смену быстроте действий пришла торопливость чувств, словно за эти несколько оставшихся нам месяцев она хотела передать мне всю свою нежность, ласку и еще что-то, горькое и щемящее, чему нет названия на человеческом языке. У вянущей травы это — запах. У человека — не знаю. Наверное, просто боль. И все это вместе было так жгуче и нестерпимо, что иногда мне приходило в голову: а осталось ли у меня к ней что-нибудь, кроме безграничной и бессильной жалости?

Но я твердо знал, что разлюбить можно только тогда, когда на смену одному чувству придет другое. Сейчас ни о чем другом не могло быть и речи. Существовала, правда, Хижина, но я прекрасно отдавал себе отчет, что никогда не полетел бы туда, если бы там меня привлекала женщина, а не замечательная четверка славных парней.

А отдав себе в этом полный отчет, я со спокойной совестью снова направился в Хижину.

На сей раз я застал только Джабжу и Лакоста. Последний был снова в форме и что-то набрасывал на небольшой темной досочке. Джабжа сидел по-турецки, на коленях его лежала толстенная «Методика протезирования кишечного тракта». Эту книгу я как-то видел у Педеля и запомнил по бесконечным таблицам аппетитных розовых внутренностей. Я всегда был высокого мнения о собственных нервах, но после получасового просматривания всех этих гирлянд меня замутило. Я убрал книгу подальше, чтобы она не попалась на глаза Сане, — странно, но я подчас забывал, что она — врач.

А сейчас я смотрел на блаженную физиономию Джабжы и думал; вот в силу привычки и профессионального интереса то, что мы наполнены какими-то нелепыми шлангами из естественного пластика, его не только не угнетает, а, судя по выражению лица, приводит в состояние тихого восторга. Так, может быть, и к тому, что принес «Оператор», тоже можно привыкнуть? Философски рассмотреть со всех сторон, выявить положительные факторы этого явления, и все станет на свои места, появится даже интерес... А может быть, отупение?

Тем временем меня наконец заметили.

— Ну, что? — спросил Джабжа вместо приветствия.

— На сей раз без всякого предлога, — смело заявил я.

— Отрадно.

— Наша Хижина начинает приобретать славу высокогорного курорта, — заметил Лакост, не поднимая головы от своего рисунка.

Значит, не один я здесь надоедаю. Странно еще, что я никого до сих пор не встречал.

— А вы можете задирать нос, Рамон, — сказал Джабжа, словно угадывая мои мысли. — Мы ведь далеко не каждого сюда пускаем, да еще и без предлога.

— От меня ждут реверанса?

— Да нет, оставь это Илль. У нее выйдет грациознее, хотя и у тебя что-то есть в движениях, — с этими словами Лакост протянул мне свой рисунок.

Это был набросок чаши, или пепельницы, или еще какой-нибудь лоханки вполне античной формы. На краю чаши, свесив одну ногу, сидел обнаженный сатир. Справа от него, тоже на самом краю, лежала, распластавшись, ящерица, и сатир, полуобернувшись, смотрел на нее.

— При всех своих рожках и копытцах он чересчур строен для сатира, — сказал я. — Да и композиция тоже, подстать жанровой картинке. В общем, не строго.

— Ишь ты, — сказал Джабжа. — Разбирается.

Он потянул у меня рисунок, потом засмеялся, наверное, до тех пор Лакост ему не показывал. Потом кинул досочку обратно мне.

Я посмотрел и понял, что сатир — это я.

Вот чудеса! Можно было подумать, что кто-то видел, как я тогда, еще летом, разговаривал с ящерицей на побережье. Но набережная вроде была пустынна. К тому же нужна была феноменальная память, чтобы запомнить случайного прохожего, да еще и умудриться его раздеть. И еще эти рога и копыта...

— Это еще откуда? — позволил я себе удивиться.

— А так. Просто есть подходящий кусок порфирита, серый с лиловато-коричиевым оттенком. Отдам в грубую обдирку по эскизу, а остальное закончу сам.

— И зачем?

— Илль под шпильки. Девочка страдает снобизмом — у нее каждый гребешок должен быть ручной работы.

— Забаловали ребенка.

— Все он попустительствует, — Лакост кивнул в сторону Джабжи. Тот только ухмылялся.

— А кстати, где она?

— На вызове. Случай пустяковый, справился бы и робот, да люди перетрусили, в первый раз — им человек нужен.

Я вспомнил себя, барахтавшегося на дне ледяной канавы и понял, что в моем случае тем более не требовался человек — достаточно было послать робота.

— Они сами вызвали помощь?

— Да нет, просто мы знали, что тропа вскоре оборвется, а сзади ее засыпало. А на тропе пятеро, все малыши. Илль полетела им носы вытирать.

— Значит, вы постоянно наблюдаете за каждым километром заповедника?

— Во-первых, не мы, а сигнальщики. Как только сигнальщик чует недоброе — он поднимает тревогу. Так было в прошлый твой приезд, с обвалом.

— А сигнальщики не опаздывают?

— Все, что ты тогда слышал, было передано до того, как обвал накрыл людей. Он еще двигался, а мы уже вылетали. Потому и точные координаты, и толщину снеговой массы мы узнаем уже в мобиле. Во-вторых, за каждым километром смотрят наблюдатели, они учитывают состояние дорог, ледников, массивов снега и подобную статистику. Сигнальщики же прикреплены к людям — как только человек пересекает границу заповедника, к нему приставляется сигнальщик. Это — его ангел-хранитель.

— Посмотреть бы...

— А что ж. Товар лицом.

Мы оставили Лакоста продолжать свои псевдоантичные экзерсисы и поднялись в зал наблюдения.

Он находился этажом выше и занимал всю верхушку горы, так что потолок конусом уходил вверх. Стены его представляли собой огромный экран, то распадающийся на отдельные участки, то сливающийся в единую панораму. Какие-то ящики ползали вдоль стен, то поднимаясь на тонких металлических лапках, то вообще повисая в воздухе, перебираясь один через другой и тыркаясь в самый экран. Вероятно, это и были сигнальщики.

— А вот и Илль, — сказал Джабжа, подводя меня к мутно-голубому экрану. Шесть темных фигурок двигались по совершенно гладкой стене, карниз не просматривался.

— Она идет первой?

— Нет, она сзади. Плохая видимость — граница квадратов.

— А далеко это отсюда?

Джабжа что-то сделал с ящиком, висящим перед этим экраном.

— Двести шестьдесят четыре километра, — голос, подававший тревогу, раздался откуда-то сверху. Он очень напоминал красивый баритон Джабжы. Ну, правильно, у каждого сигнальщика не может быть собственного диктодатчика, это было бы слишком сложно.

— Центр должен иметь колоссально много параллельных каналов, — сказал я полувопросительно.

— Еще бы! Недавно его сильно переоборудовали — станция ведь создавалась лет триста тому назад, многое ни к черту не годится, да и тесновато.

— Мы в детстве собирались в Гималаи, да я начал готовиться к полетам, — заметил я как-то вскользь.

Джабжа замахал руками.

— Тоже мне горы! Говорят, на Эверест от подножья до верхушки сделаны ступеньки с перильцами. Там же таких станций, как эта, штук двадцать, ей-ей. Санатории и дома радости на каждом шагу. Высокогорные театры и цирки. Не заповедник, а балаган. Он же начал осваиваться первым, когда люди потянулись из Европы и Северной Америки на необжитые пастбища. Все три столетия, пока осваивался Марс, а Европа чистилась от активных осадков и шел демонтаж всех промышленных предприятий, пока города освобождались от гари и транспорта, пока фанатики древности, вроде Лакоста, носились с реконструкцией каждого города в его собственном архитектурном стиле — Швейцарский заповедник стоял пустыня пустыней. Хорошо еще, какая-то добрая душа догадалась напустить сюда всякого зверья, по паре всех чистых и нечистых. Говорят, за это время здесь даже саблезубые тигры появились. Я их не встречал, но почти верю. А когда Европу снова «открыли», пришлось создать здесь станцию по примеру Гималаев, Килиманджаро, южноамериканского «Плата» и антарктического «Мирного». Но уже здесь — никаких излишеств и курортов. Путевые хижины с комфортом, достойным каменного века. Если уж ты мамин сынок — так и катись в Гималаи. Там одних подвесных дорог, как от Земли до Луны.

Он говорил, а я все смотрел и смотрел на шесть темных черточек, движущихся вдоль светло-серой стены. Как Джабжа узнал, которая из них Илль? Я смотрел и смотрел и все не мог угадать. Для меня они были одинаковы.

— Ну, пошли вниз, — сказал Джабжа, и мы очутились в плавно закругляющемся коридоре.

— Наша кухня, впрочем, здесь ты уже был. Святая святых. У меня шеф-повар — удивительно тонкой настройки тип. Я его три года тренировал, помимо того, что в него было заложено по программе. И Лакост с Туаном повозились с ним немало.

— Понимаю, — сказал я. — Я ведь тоже через это прошел. Вероятно, самыми тонкими гурманами были настоятели монастырей.

— Дураки, если они ими не были.

— Были, иначе делать нечего.

— А у тебя был хороший повар там, на буе?

— Никакого. Мне это в голову не приходило. Да и консервы все были свежие — мы сами же их привезли.

— Консервы! Ну, тут-то я определенно повесился бы. Ну, потопали дальше. Наша гостиная на современный лад. Ничего интересного.

Действительно, ничего интересного. И вид совсем нежилой, вероятно, это у них что-то вроде конференц-зала для официальных приемов. В следующую дверь мы не заглянули.

— Здесь мое царство — можешь не портить себе настроения. Ведь не всегда можно везти пострадавшего в Женеву — там ближайшая больница. Прекрасная, конечно, но до нее полчаса полета с самых отдаленных точек. Не всегда же можно быстро маневрировать. Но на свое оборудование я не жалуюсь. Что надо. Ну, а теперь — смотри. Только, чур, не распространяйся: веду контрабандой.

Это была мастерская скульптора. Мне не надо было говорить, что здесь все принадлежит Лакосту.

— Смотри,— сказал Джабжа почти благоговейно,— это и есть Леопард.

По наклонной скале полз вверх черный леопард. Он был мертв, он костенел, но все-таки он еще полз. Он знал, что если он доберется до вершины — он обретет жизнь. И он полз, чтобы жить, а не затем, чтобы умереть. Столько воли, отчаяния и напряжения последних сил было в этом могучем, поджаром теле, что невозможно было подумать, что он стремится к тому, чтобы умереть. Глядя на него, я понял, о чем говорила Илль.

— Камень для него тащили чуть ли не с Альдебарана. Чудовищной величины обломок — это ведь уменьшенная копия.

— А где же подлинник? — догадался спросить я.

— На вершине,— сказал Джабжа.— На вершине Килиманджаро. Я его там видел. Кстати, там я и познакомился с Лакостом и утащил его сюда. Ну, пошли, а то еще хозяин пожалует.

Дальше комнаты следовали одна за другой, образуя чуть закругленную анфиладу — вероятно, они шли вдоль наружных стен.

Огромные машины. В центре каждой из них поднималась женская фигура, выполненная из какого-то прозрачного пластика. Легкие щупальца оплетали фигуру, словно лаская ее.

— Ну, это тоже неинтересно — пошивочные машины. Здесь колдует Илль.

Я подошел поближе и понял, что машин не так уж много, а просто все стены уставлены зеркалами. Со всех сторон на меня смотрели мои отражения. Стенд с чертежной доской, перед ним — вычислительный аппарат. По всей вероятности, достаточно было набросать эскиз, а машины уже разрабатывали модель и передавали точные чертежи кибершвеям.

— Сколько же у нее костюмов?

— Вот уж не считал. Сшито, наверное, сотни две, по многое она передает в Женевский театр.

— Тоже мне мания.

— Да нет, это ей необходимо.

Ну, естественно, это было необходимо всем женщинам, начиная с каменного века, только не всегда мужчины с этим соглашались.

Мы прошли к следующей двери. Справа и слева стояли машины поменьше, и в центре на топких дисках помещались маленькие, наверное детские, ноги. Казалось, огромные пауки захватили в плен эти ножки и цепко держат их в своих металлических лапах. В полутемной мастерской было прохладно и грустно. Здесь Илль играла, наряжая самое себя. Но здесь не пахло детским весельем. Наверное, потому, что сейчас здесь не было Илль.

— А это ее студия, — и я очутился в странной комнате. Она была треугольная, очень узкая и длинная. Здесь был такой же полумрак, как и в костюмерной мастерской. В центре стояло несколько кресел, на полу валялось три подушки. В остром углу, от которого расходились обтянутые черным репсом стены, помещалась странная установка, напоминавшая пульт биопроектора в сочетании с кабиной для физиологических исследований. Противоположная стена была вогнутая и слабо мерцала.

— Не понимаешь? Ну, садись.

Я уселся в первое попавшееся кресло.

— Смотри туда. — Джабжа кивнул на мерцающую стену.

Свет погас. Странная музыка, необыкновенно мелодичная, зазвучала со всех сторон. Мне казалось, что она рождается где-то во мне. Одновременно от плоскости стены отделилась светящаяся точка и стала расти, превращаясь в трепещущее облачко. Это была юбка, или, вернее, добрый десяток юбок, сложенных вместе. Когда-то очень давно в таких одеяниях танцевали балерины. Теперь я мог уже рассмотреть руки, ноги, даже черты лица. Я удивился тому, что это была не Илль, а какая-то другая женщина. Рядом с ней появился ее партнер, весь в темном; рассмотреть его хорошенько я не смог. И в музыке все отчетливее зазвучали два человеческих голоса — мужской и женский. Постепенно они вы-

теснили все инструменты и остались вдвоем, и если бы даже не было танцовщиков, а звучали только эти голоса, я, вероятно, видел бы тот же странный, медленный танец, придуманный Джабжей. Казалось, что они танцуют, не чувствуя своей тяжести, словно плавают в воде. Танцуют, все время касаясь друг друга, словно боясь разлететься в разные стороны от одного неосторожного движения и потеряться в необъятном пространстве. И, не отрываясь, смотрят друг на друга.

Но спустя несколько минут я заметил, что между ними появилось серое плотное пространство, не просто разделяющее, а отталкивающее их друг от друга; вот они расходятся дальше и дальше — вот они уже бесконечно далеки, и бесконечность, лежащая между ними, все равно не мешает им чувствовать друг друга, и каждый продолжает танцевать так, словно он чувствует руку другого, словно он видит глаза, только что сиявшие рядом, и в свободном своем паренье они все еще опираются на руку, которой нет, но которая должна поддерживать их... Странный это был танец. Символика какая-то.

В студии зажегся свет.

— Хочешь попробовать? — спросил Джабжа.

— Да нет. Я ведь и этим пробовал заниматься. Иногда что-то выйдет, но все не то, что нужно, и как-то кусочками, мертво... Ты бы еще предложил мне попробовать стихи сочинять. Так вот рифму я тебе любую подберу, а целое стихотворение — уволь. Бездарен. А я и не подумал бы раньше, что ты ко всему еще и тхеатер.

— Ну уж! Это так, для себя. Вот Илль — это голова.

— Ты тут с ней занимаешься?

Он наклонил голову, и мне вдруг почудилась такая нежность — и во взгляде, и в выражении лица, и во всем,— как он слегка приподнял руки с широкими плоскими пальцами, словно на руках его лежало что-то нелегкое и бесценное, и как он глотнул и не ответил, а наклонил голову, и я понял, что ни Туан, ни Лакост тут ни при чем и что круглая физиономия с глуповатой улыбкой — это лицо актера, могущего стать настолько прекрасным, насколько только он сам сможет этого захотеть, и что никто, кроме Джабжи, не даст Илль того, что ей необходимо — бескрайней фантазии, воплощенной в реальные картины создаваемого им мира. Я знал, каких нечеловеческих усилий стоит создать одновременно и музыку, и фон, и движущихся, дышащих, живых людей, и не давать угаснуть ничему, и подчинять все это своей фантазии... Не всякий, кто напишет несколько рифмованных строк,— поэт. Но тот, кто создал хоть одну полную

сцену, тот уже тхеатер. В старину в таких случаях говорили — это от бога. Вот уж воистину! Можно просидеть десятки лет, тренировать себя до умопомрачения, в совершенстве создавать геометрические фигуры, машины, здания, но придумать, создать с начала до конца хоть несколько секунд человеческой жизни — это мог только настоящий талант.

А вот они, оказывается, это умели.

Джабжа — это еще ничего. Но Илль, девчонка?..

— Джабжа, — сказал я. — Покажи мне Илль.

Он быстро взглянул на меня. Плоское, флегматичное лицо его ничего не выражало. Потом одна бровь приподнялась:

— Ишь ты! Так сразу и покажи. Да если я это сделаю, ты из Хижины не улетишь.

— А ты думаешь, мне так хочется улететь? — спросил я. — Только это было бы слишком просто, если бы из-за Илль.

Джабжа молчал. Догадывался ли он, что привязывало меня к Егерхауэну, или даже знал точно — не имело значения. Он был молодчина, что молчал. А я вот сидел верхом на каком-то табурете, и все покачивался в такт музыке — светлая и удивительно ритмичная, она никак не хотела исчезать — и говорил, говорил...

— Джабжа, — говорил я, — мир вашей Хижины чертовски древен, это другая эпоха, Джабжа. Это ушедшая эпоха пространства, где все — вверх, вперед, в стороны. Ты знаешь, как развивалось человечество? Сначала оно познавало пространство — как врага, настороженно, с оглядкой. Времени тогда люди просто не замечали — оно было выше их понимания. По мере того как человек начал отходить от своего жилища, он стал завоевывать пространство. Тогда и возникло первое, такое смутное-смутное представление о времени. Не о том времени, что от еды до охоты. О Времени. Ты меня понимаешь. Но это представление открыло такую бездну, что лучше было обо всем этом и не думать. И человечество занялось пространством, благо оно покорялось довольно элементарно. И вот старик Эрбер решил закончить эпоху покорения расстояний — любой уголок вселенной должен был стать доступным для человека. Но вместо того, чтобы закончить одну эпоху, он сразу открыл новую эру.

Джабжа все молчал, наклонившись над пультом и выцарапывая на его панели какого-то жука.

— Ваша Хижина осталась в милом добром пространственном веке, — продолжал я. — В нем остались и все вы, и даже те двое, которых ты только что создал передо мной. Они были легки и наполнены светом, потому что не чувствовали каждым квадрат-

ным сантиметром своей кожи того чудовищного давления времени, которое легло на плечи всех остальных жителей Земли...

— А ты ее видел, всю Землю? — быстро спросил Джабжа.

— Видел. Я видел людей, стремительных до потери человеческого тепла.

— И по одной этой быстроте ты уже заключил, что все на Земле — психи, вроде твоих коллег, я имею в виду Элефантуса и этого... Пата.

От неожиданности я даже перестал качаться. Вот тебе и на! В свете теории о подвигах поколений именно Элефантус и Патери Пат (в меньшей степени, разумеется) казались мне героями своего времени. Они отдавали себе полный отчет о кратковременности своего пути и поэтому старались как можно больше сделать. Я ведь видел, как скупо тратили они свое время на все то, что не касалось непосредственно работы. Значит, это не героизм — отдавать всю свою жизнь науке?

— Ну, Джабжа,— я только пожал плечами,— ты, братец, необъективен. Они же работают, как каторжные.

— Знаю,— сказал Джабжа,— ну и что? Работа на полный износ организма — это не заслуга. Теперь об этом только такие мальчики, как Туан, мечтают. Да и то по глупости.

— Но если есть поколение какого-то подвига, то должны же быть и его герои!

— Вот-вот. Пара вас с Туаном. Все герои, пойми ты это. А не понимаешь — садись в мобиль и катись в любой центр, лишь бы там было много людей.

— Не сейчас, Джабжа.

Он опять промолчал.

— Вот и пойми тебя: то — «психи», то — «все герои».

— Чего тут понимать? Герои-то — люди, а люди разные бывают.

Против этого трудно было возразить.

— Да,— сказал я,— очень разные. Даже в наш век.

— Причем тут век. Вот ты тут теорию развивал, что были когда-то люди, которые не чувствовали давления времени. По скромному моему пониманию, думал ты одно, а говорил — другое. Тебе не дает покоя не Время — вообще, философски, а просто-напросто даты, принесенные «Овератором». Так?

— Так,— сознался я.

— И ты полагаешь, что люди только сейчас задумались над этим вопросом? Нет, Рамон. Узнать свой век — это с давних времен было мечтою сильных и страхом слабых. Есть такая сказка,

старая-престарая, из сказок про доброго боженьку. Был такой боженька — по доброте своей людей тысячами губил, младенцами тоже не брезговал; земли целые прахом пускал. Слыхал, наверное. Сотворил этот бог людей и довел до сведенья каждого, сколь быстро он его обратно в лоно свое приберет. Ну, возни у бога в те времена много было — целую метагалактику отгрохал, не скоро руки опять до Земли дошли. А когда дошли, совершил он инспекторскую поездку по некоторым районам Средиземноморья. И первый, кто попался ему на глаза, был здоровенный детина, который крушил вполне пригодный для эксплуатации дом. «Ах ты, сукин сын,— завопил добрый боженька,— что это ты делаешь с жилым фондом!» — «А то,— ответствовал детина,— что завтра мне помирать, а чтоб соседу моему ничего не досталось, и дом свой порушу, и овец порежу». Проклял его бог и постановил: никому смерти своей не знать. С тех пор мир был на Земле. Относительный, конечно.

Мы помолчали.

— Дикая сказка,— сказал я.— И кто ее выдумал?

— А кто знает? Торгаш какой-нибудь. Мелочь человеческая. Странно только, что на эту сказку умные люди частенько ссылались. Ну, да черт с ней. Примерно в эти же времена жил другой человек. Поэт. И писал он по-другому. Вот послушай один его стих:

«Скажи мне, господи, кончину мою, и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой...»

Сдержанная сила, какое-то непоказное бесстрашие и бесконечная искренность этих скупых слов потрясли меня.

— Подстрочник Данте?

— Да нет, подревнее. Говорят, царь Давид, только не похоже — такое бесстрашие вряд ли могло быть у человека, который слишком много терял вместе с жизнью. Скорее всего — безвестный мудрец, древние цари тоже не дураки были,— Джабжа поднялся,— умели, наверное, себе референтов подбирать.

Мы снова были в коридоре. Осталось всего четыре одинаковых двери — Джабжа прошел мимо них.

— Вот, собственно, и всё. Это наши личные апартаменты — клетушки Лакоста, Туана, моя и Илль. Да вот, кстати, и она возвращается.

Я бы не сказал, что заметил хоть какой-нибудь признак ее появления.

— Не удивляйся — мы привыкли узнавать каждый подлетающий мобиль.

— Но я не слышал ни одного.

Джабжа толкнул дверь гостиной и пропустил меня первым.

— Тем не менее за то время, пока мы осматривали эти развалины, около десятка вылетело и столько же вернулось. Центральный кибер сам распоряжается всеми механизмами и вызывает нас только в крайних случаях. Ну, ладно, экскурсия окончена. Что есть, то есть. Хочешь — бери.

— Сейчас — не могу.

— Догадываюсь. Но не отказываешься — и то хлеб.

— Очень-то я тебе нужен...

— Да так, приглянулся, знаешь.

— Вот уж не подумал бы...

И тут в комнату ворвалась Илль.

— Ага! — закричала она так, что язычки свечей испуганно шарахнулись. — Мне отпуск! На целый вечер!

Туан и Лакост, сидевшие за прекрасными агальматолитовыми шахматами, даже не подняли головы.

— Ну и пожалуйста, — буркнул Туан. — Только можно без визга? Меня и так в дрожь бросает. Нет, надо же так припереть человека!

Лакост невозмутимо поглаживал бородку двумя пальцами.

— Ну, Туан, ну, миленький, — Илль не выпускала своей жертвы, — ну, покатаемся!

— Когда выиграю.

Лакост многозначительно кашлянул.

— Ну и сохни тут! — Илль махнула на него рукой. — И сам не идет, и другого не пускает. А у Джабжи насморк. Сговорились. Ироды.

И тут она увидела меня.

Я испугался, что она сейчас повиснет на моей шее. Какое-то чудо удержало ее от этого.

— Вот, — она указала одной рукой на меня, а другой на потолок. — Есть бог на небе. Определенно.

— Есть, — отвечал я. — Определенно. И это он сегодня подсказал мне не брать с собой лыжи...

— Не выйдет, — отрезала Илль. — Лыжи в мобиле. А боги не врут, у них это строго. Чуть что — и к высшей мере, как у Вагнера.

— Из вас бы такой диктатор...

— А что, горничная — плохо?

— Мне не понравилось.

— Здорово! Как честно. А эти (большим пальцем через плечо) только и врут, только и хвалят. Ну, ладно, пошли, остатки комплиментов на свежем воздухе.

— Прекрати сопротивление,— посоветовал мне Джабжа.— Бесполезно. Теперь понимаешь, почему я тебя сманиваю. Нам всем уже вот как приходится.

Илль между тем уже выталкивала меня из комнаты. Я нечаянно оглянулся.

Черт побери, глядя на эту троицу, я готов был прозакладывать свои лыжи, что ни один из них не отказался бы быть на моем месте. Это была самая неподдельная, хорошая зависть. Так какого дьявола они отказались?

— Общий поклон,— сказал я.— Подчиняюсь грубой силе. Но за мою самоотверженную жертву потребую от вас двойной ужин. Скоро вернусь.

— Идите, идите! — Илль долбила меня в спину пальцем.— Еще упирается

Я, собственно говоря, уже и не упирался.

А в мобиле она опять сидела притихшая, и опять на полу, обхватив колени руками. А я сел верхом на сиденье, лицом к ней, и опять беззастенчиво глядел на нее во все глаза и все думал: что это я так радуюсь? И понял — это потому, что сегодня она — такая, какая есть, и я до последней ее реснички знаю, какая же она — настоящая, а когда знаешь человека так, как умудрился я узнать Илль, тогда он тебе в какой-то мере уже принадлежит.

Я знал, что когда мобиль приземлится, мне будет худо. Уж тут-то она разочтется за то, что сейчас ей приходится сидеть, прижав к груди острые коленки, и терпеть мой беззастенчивый взгляд.

Так и было. Илль выскочила первая, едва мобиль шлепнулся на снег, я кинул ей все ее снаряжение и неловко выпрыгнул сам, слегка подвернув ногу. Хорошо еще, что она не видела: я не сомневался, что такой факт послужил бы у нее поводом для насмешек, а не забот.

Склон был великолепен. Он так и располагал к тому, чтобы свернуть себе шею на бесчисленных пнях, уступах и поворотах. Да и тени были длинноваты — солнце уже садилось.

— Готовы? — крикнула Илль.— Для начала предлагаю пятнашки, вам сто метров форы. Удирайте!

— Думаете, откажусь?

Я взмахнул палками и ринулся вниз. Где-то высоко-высоко, за моей спиной раздался пронзительный птичий крик, и тут же я почувствовал, что меня догоняют. Не прошло и двух минут, как тонкая лыжная палка весьма ощутимо приложилась к моей спине, и черный проворный чертенок замелькал уже где-то впереди. Ну, ладно же, и я, вместо того чтобы обогнуть довольно неприят-

ный уступ, образующий трамплин не менее трех метров, ринулся прямо на него, рискуя врезаться в непрошенный кедр, который торчал явно не на месте. Но, оказывается, она ждала от меня именно этого, потому что, не видя меня, она вдруг резко затормозила и пропустила меня вперед, даже рукой помахала.

Нетрудно догадаться, что сквитать счет мне не удалось. Я присел на корточки и признал себя побежденным. Вид у меня был потрепанный. Извалялся я, как медвежонок, меня можно было бы и пожалеть.

Илль подпустила меня поближе. Я так и ехал на корточках, волоча палки за собой.

— Сдаюсь, — сказал я кротко, — иссяк.

Илль слегка наклонила голову и посмотрела на меня, прищурив один глаз. Одна бровь выражала у нее презрение, а другая — сострадание.

— Во́да-во́да-неотво́да, — сказала она, — поросячая порода.

У меня перехватило дыхание.

— Что? — догадался я переспросить.

— А то, что сорок тысяч поросят и все на ниточках висят!

Если бы я не сидел на корточках, я встал бы перед ней на колени. Я был, наконец, на Земле.

Илль почувствовала, что сейчас я брякну что-нибудь сентиментальное. Она подняла рукавичку:

— Только без лирики, я ее боюсь.

Я кивнул. Какая уж тут лирика! Я не имел на нее ни малейшего права.

Мы тихо и долго ехали вниз. В долине было уже темно. Снег почти везде стаял, лишь возле камня виднелись небольшие серые плешины. Мы присели на глыбу. Ее прикрывало что-то шероховатое — не то мох, не то лишайник. Я в этом не разбирался.

— Да, — констатировал я печально, — после инструктора по альпинизму кататься с таким дилетантом, как я...

Илль пожала плечами:

— Туан гоняется по горам один, как шальной козел. Ему нужна прекрасная незнакомка.

— Ну, взяли бы Лакоста.

— Он неженка, не любит холода.

— Что же он торчит на станции? Тоже ждет незнакомку?

— Это его Джабжа уговорил.

— Вот Джабжа и остается.

— Он-то обычно меня и прогуливает.

Так я и думал. Эта обманчивая внешность, эти занятия, даже комнаты рядом...

— Он ждет жену... — донеслось до меня откуда-то издалека. — Она уже два года в полете и вернется осенью.

В сердце у меня вдруг что-то булькнуло — горячее такое. Ох, и дурак же я! Вообразил невесть что. Я вспомнил образ женщины, созданный Джабжей и удививший меня тем, что это — не Илль. Умница, Джабжа, молодчина, Джабжа! Как это кстати, что ты женат! Как это здорово!

— А что? — спросила вдруг Илль.

— А ничего, — ответил я.

Ну что я мог, что имел право ей сказать? Я просто спихнул ее с камня, и она, брыкнувшись, покатилась в снег.

Бац! — я получил снежок прямо в лицо. Бац! Бац! Ах, ты, задиристый чертенок! Я прыгнул, пригнул ее к земле и ласково ткнул носом в снег. И в ту же секунду почувствовал, что совершаю какой-то абсолютно противоестественный кувырок. Заскрипели по снегу шаги, что-то темное бесшумно мелькнуло в небе.

— Илль! — крикнул я. — У меня отнялись руки и ноги!

Тишина.

Черт побери, кому это было надо — обучать ребенка всяким диким приемам, да еще на мою голову?

Я полез осматривать все камни и трещины. Минут через пятнадцать вспомнил о «микки», вызвал Хижину.

— Чем могу быть полезен? — раздался металлический голос, но в ту же минуту его заглушил смех, в котором явно не слышалось ни доброты, ни сострадания:

— Ну, что, неблагородный рыцарь со страхом и упреком, попались? Не думайте, что разрешу кому-нибудь вылететь к вам раньше, чем доем ваш двойной ужин.

— Подумаешь, не очень-то и хотелось.

— Вот и славно. Бегу за стол.

Тем не менее мобиль появился чересчур быстро — вероятно, она послала его сразу же, как только прибыла на станцию. Я погрузил все имущество и вдруг подумал, что один раз следовало бы вернуться домой вовремя. Для разнообразия.

— Вот, — злорадно повторил я, словно Илль только и делала, что дожидалась меня, — не очень-то и хотелось.

И нехотя полетел домой.

Это я здорово придумал. И хорошо, что я придумал это именно сегодня. Во всяком случае, Сана стояла у большого окна нашей комнаты, положив пальцы на стекло, и долго-долго смотрела, как

я, весь в снегу, едва передвигая ноги, приближаюсь к дому. Я махнул ей рукой, но она не ответила мне и даже не улыбнулась. Она смотрела на меня так, как можно смотреть на человека, которого сейчас вот потеряешь. И надо насмотреться на всю жизнь. Только ей надо было насмотреться не на жизнь, а на ту бесконечность, которая приходит после жизни. Я подошел и прижался лбом с другой стороны стекла. Она не шевельнулась. Мне вдруг захотелось взмахнуть руками, ударить по этому роскошному стеклу и, перешагнув через осколки, схватить ее, сделать что-нибудь, встряхнуть, сломать внутри нее что-то неподатливое, что всегда заставляло ее по-чужому выпрямляться мне навстречу. Но я знал, что она лишь отступит назад и приподнимет брови, и опять я пойму, что делаю не то, что с ней так нельзя...

Я оттолкнулся от стекла и пошел в дом, не глядя больше на Сану. Старательно переоделся. Когда я вошел в нашу комнату, она уже сидела в кресле.

— Рамон, — сказала она, — я прошу тебя об одном...

Я посмотрел на потолок. Ленивая тоска поднялась откуда-то снизу и наполнила меня всего чем-то клейким, вязким, цепенящим. Смертная тоска.

— Я прошу тебя брать в такие походы оружие.

— Хорошо, — глядя вбок, отвечал я, хотя это был заповедник, где не могло быть и речи о каком бы то ни было оружии.

Наконец-то мы получили сведения из Мамбгра, что на одном из транснептуновых буев удалось зафиксировать слабый конус сигма-лучей. Дело было в том, что спустя несколько лет после возвращения «Оператора» Высший Совет открытий и изобретений никак не давал разрешения на проведение эксперимента Эрбера даже в самых ничтожных масштабах. Когда же было получено наконец разрешение — целый гроссбух различных оговорок, поправок, ограничений, указаний и т. д. и т. п. — то оказалось, что прямой переход Эрбера не влечет за собой выброса сигма-лучей. Перепробовали все элементы таблицы Менделеева, в стартовой камере целыми граммами исчезали драгоценные «редкие земли» — эффект был нулевой. Повторять же эксперимент в том масштабе, в котором он уже был поставлен, означало бы снова подвергнуть Солнечную угрозе сигма-удара.

И вот сейчас поступило сообщение: загадочные лучи возникли, когда переходу подвергли маленькую биоквантовую схемку в состоянии активной деятельности. Специальная ракета доставит на Землю пораженных излучением мышей и кроликов. Принять

контейнер с животными должна была лаборатория на Рио-Негро, сейчас туда спешно направляли автоматику и убирали людей — исследования, разумеется, должны были быть дистанционными.

Я спешил, налаживая аппаратуру для приема микропередач.

Дела мои шли хорошо. Мешал только Педель, который совался всюду, куда его не просили, и скороговоркой сыпал мудрые советы. Я выпроваживал его, и если Сана была со мной, он оставлял меня в покое. Но если ее не было — через минуту он невозмутимо являлся и занимался чем угодно, лишь бы торчать возле меня. Я начал гонять его в Центральный поселок за каждой мелочью, но он сразу догадался препоручать это другим «боям», а сам возвращался на свой пост. Однажды я с раннего утра выгнал его и велел не показываться мне на глаза. Он исчез. Я славно проработал часа три — Сана плохо выспалась и осталась в спальне. Вдруг я поднял голову — у меня появилось ощущение, что за мной кто-то следит. Стены были непроницаемы — я это знал. Но вот дверь... Я подскочил и резко распахнул ее — этот негодяй стоял, прильнув к щели.

— Ну? — спросил я.

— Я принес вам кофе. По-турецки.

— Поставь на стол.

Он скользнул к столу и сразу же ткнулся в разобранный блок:

— Ретектор не выдержал напряжения. Какое несчастье! Хорошо еще, что осталась запасная...

— Ты свободен, Педель.

— Как вам угодно.

Рабочего настроения — как не бывало. Я с ожесточением пнул «гномика»-паяльщика так, что он отлетел к противоположной стене и приклеился к ней своими присосками. Из ниши выскочил «бой»-уборщик, смел паяльщика со стены в свою корзинку и потащил к мусоропроводу. Я подошел к стеклянной стене, стал смотреть на тающий снег. Завтра истекала неделя с моей памятной экскурсии по Хижине — значит, я имею право на очередное посещение. Я остановил «боя», вытащил у него из корзинки паяльщика и снова принялся за свои экраны.

А потом был вечер, и ночь, и утро, и весь день, и они пронеслись, чем-то переполненные и удивительно незаметные. Когда-то в детстве мне пришлось бежать через тлеющий торфяной луг. Я закрыл голову курткой, намоченной в канаве, и побежал, низко пригнувшись, а потом полоса дыма кончилась, и я пошел дальше, пошел очень медленно, дыша всей грудью и остро ощу-

щая каждый оттенок луговой травы и вообще все, чего раньше не замечал в своих прогулках. А потом снова была полоса дыма, и снова я бежал, не зная, долго ли я бегу, и что вокруг меня, и кто со мной. Я сейчас так и не мог вспомнить, кто тогда был со мной.

## Глава 9

Получилось так, что в Хижину я выбрался только к самому вечеру. Разумеется, следовало отложить эту поездку на завтра и с пользой провести там полдня, но я ждал целую неделю — и пропади все пропадом, если я был способен прождать еще двадцать четыре часа в этом раю.

Я сказал, что я — недалеко.

Но Илль опять же не оказалось на месте. Гнусно ухмыляясь, Джабжа тут же доложил мне, что она улетела в Париж, отмечаться в очереди на «Гамлета». На мое счастье, в скудной библиотеке буя классика была представлена сносно, и мне сейчас не приходилось гадать, что такое «Гамлет» — автопортрет, симфония или коктейль. Правда, до сих пор я не слышал, чтобы эта трагедия где-нибудь ставилась.

Джабжа покачивал головой в такт каким-то своим мыслям. Он был сегодня какой-то взбудораженный, беспокойный. Ждал Илль? А что ему за нее волноваться — она ведь не впервой улетала за несколько тысяч километров. А может быть, совсем и не Илль? Ведь он ждет, ждет уже несколько лет. А я по себе знал, как иногда, ни с того ни с сего, ожидание вдруг становится сильнее тебя, и начинаешь действовать и говорить так, словно ты — это уже не ты, и вообще ты никого не ждешь, и все на свете — это так, шуточки; и чем больше в таких случаях стараешься, тем меньше в тебе остается тебя самого, и если ты говоришь не с дураком, то он все это прекрасно видит.

— Ну, ладно,— сказал я, имея в виду очередь на «Гамлета»,— прождать два года — не такой уж героизм.

— Ты думаешь? — быстро спросил Джабжа, и я понял, что он говорит о своем.

Я немножко разозлился:

— А тебе не кажется, что теперь стало чертовски легко ждать? Вам тут, в Хижине, наверное, на всех вместе еще лет пятьсот отпущено. Так что же — два года для одного из вас? Когда ждешь годы, то самое страшное — каждый день начинать с мысли: а жив ли тот, кого ждешь? Вам можно позавидовать. Вы прекрасно

знаете, что куда бы ни улетел тот, другой, вы всегда увидите его если не вполне здоровым, то, во всяком случае, живым.

Джабжа невесело усмехнулся:

— Мы поначалу тоже так думали, — спокойно ответил он, не обращая внимания на мой раздраженный тон. — Но когда вернулся «Теодор Нетте»... Ты слышал о таком?

Собственно говоря, о «Теодоре Нетте» я знал только то, что всегда, с незапамятных времен, на Земле существовал такой корабль. Сначала это был пароход. Потом — универсальный мобиль. Затем — планетолет. Когда один корабль выходил из строя, создавали другой, еще более совершенный, и называли тем же именем. Это была давняя традиция, но с чем она связана — както вылетело у меня из головы.

— Так вот, — Джабжа видел, что я тщетно напрягаю свою память. — «Теодор» улетел тогда, когда ты сидел на своем буе. Ты о нем и знать не мог. Улетел на Меркурий. С людьми. Да, да, с людьми, а не с киберами, хотя и их хватало. Весь экипаж состоял из молодых, здоровенных парней, каждому из которых оставалось еще очень много... А обратно корабль привели все-таки киберы. Все люди оказались в анабиозных капсулах, куда их втащили роботы. И до сих пор не очнулся ни один...

Мы помолчали.

— Что бы там ни было, а ждать — это всегда ждать, — Джабжа тряхнул головой, словно отгоняя все эти непрошенные мысли. — Ну, мы с тобой отклонились определенно не в ту сторону. С чего мы начали? С очереди? Так вот, запись возникла сразу же, как только Сидо Перейра попросил выстроить здание для постановки «Гамлета».

— Это — режиссер?

— Тхеатер. И колоссальный.

— Ну, что же, неплохой предлог слетать раз в месяц в Париж.

— Предлог... — Джабжа даже рукой на меня махнул. — А мы-то ломали голову, как всунуть тебя в очередь.

— Премного благодарен. Обойдусь.

— Ладно, ладно, не завидуй. А кстати, Илль ведь тоже занималась «Гамлетом». Года два. Я и то перестал понимать, хорошо все это было или ни к черту. А Сидо Перейра глянул — чуть не обалдел.

— А он-то каким чудом был здесь?

— А ты думаешь — мы одного тебя пускаем?

Я бы не сказал, что мне стало особенно приятно. Великий тхеатер, видите ли.

— Он что, занимается с вами?

— Нерегулярно и только с Илль. Я, по всей вероятности, его не потряс.

А она потрясла. Это совсем меня утешило.

— А где ребята?

— Туан с Антуаном на вылете. Лакост в мастерской. Кстати, ты не будешь скучать, если я поднимусь на минутку в наш амфитеатр?

— Постараюсь.

— Подбрось дровишек в камин, белоручка.

Я подбросил. Уселся у огня. Дверь, ведущая направо, была полуотворена. Я понимал, что я негодяй, но это самоопределение не помешало мне, воровато оглянувшись, проскользнуть в коридор. Я знал, что первая дверь — в комнату Илль. Потянул ее, и она легко подалась. Я только взгляну на клавесин и портрет рыцаря, шитый бледными шелками. Я открыл дверь — в глубине комнаты увидел узкую постель, а возле нее — на полу — огромную охапку еловых веток, широкой, похожей на полосатую осоку, травы и аметистовых звезд селиора, что прижился в ледяных ущельях и круглый год цветет там, где не растет ни одно земное растение. Обыкновенные ветки, обыкновенная трава, обыкновенные цветы. Чудо заключалось в том, что это были те самые ветки, цветы и листья, которые лежали возле меня в первый день этого года.

Я захлопнул дверь.

В гостиной налетел на Джабжу.

— Ты знаешь, я ведь только на минуту... — пробормотал я, находя дверь почти ощупью.

В мобиле я плюхнулся на сиденье и схватился за голову. Кретин, ох, какой кретин! Рвался к ней, — да, черт побери, к ней! — и как врал себе, что она — хороший парень и что все они хорошие парни, а сам крутил головой, как гусь, — с кем она? И этого, оказывается мало — и она, как школьница, подглядывала за каждым моим шагом, и стеклянные стены и крыша нашего дома доверчиво открывали ей все, что было между мной и Саной... Все, с первого дня. Все, до последнего цветка.

А я-то, я — маскарады, лыжные прогулки... И на все это я тратил часы, принадлежащие Моей Сане.

От опушки до дома я несся со скоростью планетолета. Перед домом бросил все на снег и, оттолкнув вездесущего Педеля, ворвался к Сане.

— Так скоро? — спокойно спросила она.

— Хватит! — я схватил ее за плечи, повернул к себе. — Плевать мне на все твои доводы, ты должна быть со мной, понимаешь? Каждый час, каждый миг! И вовсе не потому, что это — последний год. Чушь! При миллиардных количествах данных должна быть хоть одна ошибка.

Она покачала головой.

— Замолчи! — крикнул я, хотя она ничего не сказала. — Эта ошибка — ты. Ты проживешь еще сто пятьдесят лет, и все это время я буду с тобой. Потому что я тоже собираюсь жить еще сто пятьдесят лет. А теперь — иди сюда. Будем праздновать ошибку этого идиотского «Оператора».

Она подняла руки и сделала неуверенный шаг вперед. Казалось, все, что я сказал, страшно напугало ее, и она вдруг беспомощно остановилась перед той новой жизнью, о которой я говорил. Она давно примирилась с тем, что должно было произойти в этом году, и теперь ей было бесконечно трудно перестроить свои планы на будущее, которое вдруг делалось таким далеким. Но самое главное — она поверила мне, потому что то, что было в ее глазах, руках, протянутых ко мне, беспомощно подрагивающих уголках губ, — все это не могло быть ни игрой, ни благодарностью за мое утешение. Это могла быть только вера. И поверить так можно было только в чудо. И поверить так мог только вконец измученный, исстрадавшийся человек.

И я сам протянул к ней руки, пальцы наши коснулись, но я остановил ее на расстоянии наших рук.

— Педель! — негромко позвал я, и он явился тотчас же. — Потолок и стены закрыть дымкой. И пока мы здесь, чтобы они не становились прозрачными.

— Слушаюсь.

Я видел, что где-то под кожей у Саны пробежала дрожь при словах «пока мы здесь». Лицо оставалось неподвижным, но что-то исказилось.

— И вообще я не намерен больше мерзнуть, — решительно заявил я. — Ты говорила, что южная база Элефантуса находится где-то на Рио-Негро.

— Да, но ни он, ни Патери Пат не покинут Егерхауэна. Дело в том, что...

— Да провались он к дьяволу! — меня бесила зависимость от какой-то сиреневой туши.

— Родной мой, не надо все сразу. Раз у нас появилось так много времени — позволим себе роскошь закончить работу, а

потом и переберемся. Тем более что на Рио сейчас будут работать только машины.

— Хоть в Мирный — лишь бы отсюда.

— Там будет видно, милый.

Кажется, кончался май. Кончался и никак не мог окончиться. И снова я понял, что все, решительно всё напрасно. Она превратила мои слова в игрушку для меня самого. Она теперь казалась веселой, но ее оживленная хлопотливость была лишь импровизацией на тему, которую я ей задал и которую она развивала в угоду мне. Стоило мне сказать: произошла ошибка — и она поверила, безоговорочно подхватила эту игру, в покорной слепоте своей даже не задумываясь, верю ли я в ее искренность. А я было поверил. Просто мне в голову не пришло, что можно до такой степени подчинить весь свой внутренний мир желаниям и прихотям другого человека. Если бы я ей сказал: ты умрешь завтра — назавтра она действительно умерла бы, и не бросилась бы со скалы, не подключилась бы к полю высокого напряжения. Нет, у нее просто остановилось бы и сердце и дыхание. Само собой. Когда я это понял, я дал себе слово: сойду с ума, но не сделаю больше ни одной попытки хотя бы на йоту изменить существующее положение.

У меня что-то оказалось много свободного времени — вероятно, раньше я тратил его на полеты в Хижину, — и я готовил впрок различные блоки — диктовал Педелю, и он с молниеносной быстротой собирал микросхемы. Когда-нибудь пригодится. У меня было ощущение, что рано или поздно я запущу в своего кида чем-нибудь тяжелым, и тогда мне придется все собирать заново. Когда шло программирование, у меня появились кое-какие мысли относительно конструкции, но менять что-либо было уже поздно. Я решил накидать побольше схем, чтобы потом Педель по образцу нашего кида собрал аналогичный, но более совершенный аппарат. Я не знал, насколько это было нужно, но у меня было хоть какое-то занятие. Я все ждал, когда же кончится эта весна, и единственной радостной мыслью была та, что в таком состоянии меня уже никто не видит. Естественно, под словом «никто» я подразумевал одного человека.

А Патери Пат стал смотреть на меня как-то дружелюбнее. Во всяком случае, в его взгляде проскальзывало что-то от быка, которого ведут на убой в паре с другим обреченным, и он благодарен соседу за компанию. Я давно махнул на него рукой, потеряв надежду хоть сколько-нибудь разумно объяснить его поведение.

Иногда меня так и подмывало спросить его: ну, как там тебя, сильнейший и мудрейший, ты, решившийся на эксперимент — на такой эксперимент! — над своей драгоценной особой — установил ли ты, наконец, нужно ли это человечеству? Хотя что там человечеству — тебе самому? Да, да, тебе, лиловый бегемот, краса и гордость земной аккумулятопатологии? Ну, что тебе дало *это*? Что изменило оно в твоей жизни? Ведь если бы ты и не знал ничего, ты все равно дрожал бы над каждой своей минуткой, и все равно ты торчал бы здесь, потому что только тут тебе обеспечен идеальный для здоровья климат и вполне устраивающая тебя работа. И все равно ты отравлял бы существование всем нормальным людям, и все равно тебе было бы плевать на этих остальных людей. Так зачем, зачем тебе это Знание?

Тянулся пятидесятый, шестидесятый, сотый день мая, и я с каждым днем тупел все больше и больше и радовался этому той безысходной радостью, с которой человек, пытаемый в застенке, теряет сознание. Иногда, чтобы привести себя в рабочее состояние, я говорил: рано или поздно, но Егерхауэн кончится. И что тогда? Хижина? Но я понимал, что после исчезновения Саны я не смогу прийти туда, если совесть моя не будет абсолютно чиста. Как не чиста она сейчас. Но пока еще есть время, я должен расплатиться с Саной за все, что было и что могло бы быть между нами. Ведь и сейчас мы могли бы быть с ней счастливы, мы могли бы по-прежнему любить друг друга. Виноват ли во всем проклятый «Оператор»? Первое время я был в этом уверен. Но не все ли равно, кто виноват. Главное, что любовь уходила, и если бы Сана каким-то чудом пережила этот год, не знаю, смог ли бы я остаться с ней или нет. Но я должен был ее потерять, и поэтому платил вперед за то, чего никогда уже не будет. Я запутался во всех этих рассуждениях, и подчас мне казалось, что я просто холодно отсчитываю камешки, как девочки на пляжах: я теряю этот день... и этот... и белые камешки звонко чокают, ударяясь друг о друга и по-лягушечьи упрыгивая в песок.

И просыпаясь утром, я говорил себе: чтобы уплатить долг, я обязан на этот год забыть шалопую большеглазую девчонку, которая может жить по другим законам, потому что ей всего восемнадцать лет.

И работая днем, я снова думал, что должен забыть...

И засыпая ночью, я опять вспоминал, что все еще не забыл...

Так, в днях, наполненных какой-то работой, припадками самобичевания и лаской, тоже входящей в уплату долга, пришло наконец лето.

Как-то утром я закрутился с работой. Сана, как обычно, пропадала у Патери Пата, и Педелю пришлось напомнить мне, что все уже собрались к обеду. Я давно уже не переодевался по такому поводу и, наскоро сполоснув руки под алеаровым фонтанчиком, побежал к уже дожидавшемуся меня мобилю. Педель скользил боком, держа передо мной полотенце, распяленное на тонких щупальцах.

Добравшись до Центрального поселка, я быстро прошел через полутемные комнаты обеденного павильона. Не так давно мы стали обедать на веранде, крытой, разумеется, непрозрачным пластиком. Мне достаточно было намекнуть Сане, что я побаиваюсь весеннего ультрафиолета, от которого я порядком отвык за одиннадцать лет — и к моим услугам были целые тоннели, прячущие нас от непрошеных наблюдателей.

Внезапно я услышал веселые голоса. Да ну? Я никак не мог представить, что способно было вызвать оживление за нашим унылым столом.

С веранды снова донесся смех. «Как в Хижине»... — невольно подумалось мне. Я толкнул дверь и остановился на одной ноге.

На столе царил хаос.

Сана сидела, положив оба локтя на скатерть.

Патери Пат был в белоснежной рубашке.

Рядом с Элефантусом сидела Илль.

— Посмотри-ка на него! — сказала она Элефантусу, показывая на меня рукояткой костяного ножика.

Элефантус послушно посмотрел на меня.

— Вывих нижней челюсти, — констатировала она. — Кажется, это по вашей части, Сана?

— Вы все перепутали, — весело отвечала та. — За костоправа у нас — Патери Пат. Рамон, закрой рот и садись. Вы ведь знакомы?

— Ага, — отвечала Илль.

— Что-нибудь случилось? — догадался я спросить.

— Ничего, — ответила Илль. — Добрый день. И все кругом снова засмеялись. Ничего смешного не было сказано, да, вероятно, и до этого не говорилось, но у всех появилась удивительная потребность улыбаться, радоваться все равно чему. И это была не просто потребность в общении, это был направленный процесс: все улыбки, шутки и просто реплики эпического характера относились непосредственно к Илль. Особенно истекал теплотой Элефантус. Он излучал. Он радиировал. Он возвышался слева от Илль, такой потешный рядом с ней, такой старомодный, ну, просто галантный прапрадедушка. А, может, так и есть? Они здорово похожи.

Глазища. И ресницы. И эта легкость движений. Надо будет спросить как-нибудь потактичнее, сколько раз следует употреблять эту приставку «пра...». Впрочем, теперь подобные вопросы вполне лояльны. Другое дело — осведомляться о том, сколько еще осталось, вот это уже бестактность. Я усмехнулся: как забавно — со мной нельзя быть бестактным!

Мысли мои разбегались. Так кружится голова, когда вдруг наешься после длительного воздержания. Прошло около месяца с тех пор, как я бежал от Илль, и кажется, что с тех пор я ни о чем не думал. В лучшем случае у меня появлялись некоторые соображения относительно работы. А сейчас все сразу говорили: Элефантус — о стрельбе из лука. Сана — об иммунитете триалевских клеток к сигма-лучам, Патери Пат — об английских пари, а Илль — о каком-то диком корабле, напоминающем морскую черепаху. Я сосредоточивался и вылавливал из общего гула наиболее громкую фразу, старательно таращился на Элефантуса, на Патери Пата, но ничего не мог понять. Я заставлял себя не смотреть на Илль и не слушать, о чем она говорит. Вскоре я поймал себя на том, что невольно раскачиваюсь взад-вперед. Я представил себе со стороны собственный вид и, махнув рукой на всех, уткнулся в свой бифштекс. Это прибавило мне ума, так как с момента возникновения цивилизованного человечества мясо было опорой и вдохновением всех кретинов. Я мигом уяснил, что дело все в том, что в заповедник пожаловала пара каких-то юнцов на старинном корабле, конструкция и принцип действия которого, древние, как стрельба из лука, были предметом пари обитателей Хижины. К «черепахе», возраст которой определяется несколькими сотнями лет, еще никто не успел слетать, но предполагалось, что в случае какой-нибудь аварии она может стать источником нежелательной радиации, всегда так пугавшей Сану.

В разговоре образовалась пауза, и я был рад, что могу вставить хоть какую-нибудь реплику:

— Жаль, что этот корабль — не амфибия,— с глубокомысленным видом заметил я.

— Сохранились еще внимательные собеседники,— фыркнула Илль.— Я ведь только что говорила, что это — один из первых универсальных мобилей. Ну и работнички у тебя, папа, я бы гнала таких подальше. Впрочем, ты, кажется, говорил, что все за них делают аппараты.

Положительно, сегодня был день ошеломляющих сюрпризов. Элефантус — ее папа. Это в сто сорок с лишним лет! Я до сих пор как-то полагал, что после ста лет люди уже оставляют заботы о

непосредственном продолжении рода. Еще один косвенный дар «Оператора». У меня вдруг резко поднялось настроение. Какая прелесть — теперь можно ходить в холостяках лет до ста двадцати. А если учесть все достижения медиков, которых теперь развелось на Земле несчетное число, то, может, и до ста пятидесяти.

Эта мысль так понравилась мне, что я засмеялся и открыто посмотрел на Илль. Кстати, под каким предлогом она здесь? Визит к отцу? Вполне допустимо, но почему она не делала этого раньше? Я думал об этом и разглядывал Илль — беззастенчиво, как тогда, в мобиле. В маленьком мобиле цвета осенней листвы.

Сана, говорившая с Патери Патом, обернулась ко мне и о чем-то спросила.

— Да, — сказал я, — да, разумеется. — И, кажется, невпопад.

Сана поднялась:

— Благодарю вас, доктор Элиа, и прошу меня извинить: сегодня мы ждем микропленки из Рио-Негро. До свиданья, Илль. Вы идете, Патери?

Впервые я увидел, что Патери Пат неохотно направился к двери.

Обычно он исчезал после финального блюда, не дожидаясь, пока мы все закончим обед.

— Я ведь еще увижу вас до отлета? — тише, чем этого требовала вежливость, спросил он у Илль.

— Нет, — отвечала она своим звонким голосом. — Я тороплюсь. До свиданья.

Ага, она его выставляла. Мне вдруг стало ужасно весело. Черт дернул меня, как всегда, за язык:

— Вы уже улетаете? — церемонно обратился я к Илль. — Тогда разрешите мне проводить вас до мобиля.

— Пошли, — легко сказала Илль.

Я ждал, что Патери Пат сейчас повернется и глянет на меня своим мрачным взором, напоминавшим взгляд апатичного животного, которого медленно, но верно довели до бешенства. Но вышло наоборот. Он весь как-то пригнулся, словно что-то невидимое навалилось на него, и медленно, не оборачиваясь, протиснулся следом за Саной в дверь.

Мы невольно замолчали; казалось, всего несколько шагов отделяли нас от царства времени, тяжесть которого не выдерживали даже исполинские плечи Патери Пата.

Я тревожно глянул на Илль. Я вдруг испугался, что тот ужас, который тяготел над Егерхауэном и который, подобно вихрю Дантова ада, всё быстрее и быстрее гнал его обитателей по временной

оси жизни, коснется ее, вспугнет, заставит бежать отсюда, чтобы больше никогда не вернуться. Но Илль — это была Илль. Она сморщила носик, потом надула щеки и весьма точно передразнила гнусную и унылую мину Патери Пата. Она даже и не поняла ничего. И слава богу.

Илль встала. Подошла к Элефантусу. Ярко-изумрудный костюм, обтягивающий ее, словно ежедневный рабочий трик, на изгибах отливал металлической синевой; но кисти рук и плечи были открыты, а на ногах я заметил узенькие светлые сандалии. Видимо, материал, из которого был изготовлен ее костюм, был слишком тонок и непрочен по сравнению с тем, что шел на трики специального назначения. Во всяком случае, даже при ходьбе по острым камням трик не требовал туфель. Сейчас же Илль напоминала что-то бесконечно хрупкое, тоненькое. Наверное, какое-нибудь насекомое. Ну, да, что-то вроде кузнечика. И двигалась она сегодня легко и чуть-чуть резковато. Вообще каждый раз она двигалась по-разному, и каждый раз как-то не по-человечьи. Надо будет ей это сказать... Потом. В будущем году.

Илль, как примерная девочка, чмокнула Элефантуса куда-то возле глаза. У него поднялись руки, словно он хотел обнять ее или удержать.

«Это совсем не страшно — узнать *свой* год...» — невольно всплыло в моей памяти. Вот за кого ты боишься, маленький, печальный доктор Элиа. Тебе, наверное, осталось немного, а ей всего восемнадцать, она еще совсем-совсем крошка для тебя. Тебе страшно, что она останется одна, и ты хочешь удержать ее подле себя, пока ты можешь хоть от чего-то уберечь ее.

Элефантус спрятал руки за спину. Ну, конечно, это я помешал — торчал тут рядом. И все-таки Илль — свинеиок, могла бы почаще навещать старика. А вот это я скажу ей сегодня же.

Но когда мы пошли по саду к стартовой площадке, я уже не знал, что я ей скажу; вернее, я знал, что я хочу ей сказать, но путался, как сороконожка, в тысячах «хочу», «могу» и «должен». Обессилев перед полчищами этих мохнатых, липучих слов, я махнул рукой и решил, что я уже ничего не хочу и просто буду молчать.

Ее мобиль стоял справа. Я его сразу узнал — он был медовый, с легкой сеткой кристаллов, искрящихся на видимых гранях. Он висел совсем низко над землей, дверца входного люка была сдвинута, словно Илль знала, что она пробудет здесь совсем недолго и тотчас же умчится обратно. Я молча подал ей руку, но она не оперлась на нее, а повернулась и вдруг неожиданно села на кромку входного отверстия. Мобиль слегка качнулся — как гамак.

Мы еще долго молчали бы, но вдалеке показалась исполинская фигура Патери Пата. Он только перешел через дорожку и пропал за поворотом.

Илль засмеялась:

— Совсем как зверь лесной, чудо морское: вышел из кустов, напугал присутствующих видом скверным, безобразным — и снова в кусты.

— Вы-то за что его невзлюбили?

— А так, — Илль покачала ногой, чтобы можно было наклонить голову, словно рассматривая кончик туфельки. — Он мне сказал одну вещь...

— Если бы это был не Патери Пат, я еще мог бы предположить, что́ за «одну вещь» он вам сказал.

Илль хмыкнула — не то утвердительно, не то отрицательно.

— Ну, а вы?.. — самым шутливым тоном, словно меня это не так уж и интересует.

— Я тоже ему сказала одну вещь... — голова наклонилась еще ниже. — Совсем напрасно сказала, сгоряча, я этого никому не говорю.

— Ни папе, ни маме, ни тете, ни дяде?

— Ни.

— Ну, а он?.. — я понимал, что моя назойливость переходит уже всякие границы, но ничего не мог с собой поделать.

— А он мне сказал тогда еще одну вещь...

Илль резко подняла голову, тряхнула копной волос, так что они разлетелись по плечам:

— Ну, это все неинтересно, а я вот привезла вам билет на «Гамлета».

И достала из нагрудного кармашка узкую полоску голубоватого целлюоаля.

Как же сказать ей, что я не могу, что время не принадлежит мне, что я решил до конца года не видеться с нею — и еще много такого, что можно придумать, но нельзя сказать такому человеку, как она. И я просто спросил:

— А когда?

— Послезавтра.

— Мне будет трудно улететь.

— Но вы же скажете, что́ идете на «Гамлета»!

Глупый маленький кузнечик. Это ты можешь сказать Джабже: «Я иду на «Гамлета». А у нас, у взрослых, все сложнее и хуже. Дай бог тебе этого никогда не узнать. Если ты останешься в Хижине — может, и не узнаешь.

Илль слегка покачивалась, отталкиваясь ногами от земли.

— А я должна улетать, — сказала она наконец, но не сделала никакой попытки войти в мобиль. — Меня мальчики дожидаются.

Я видел, что улетать ей не хочется, да она этого и не скрывала. И оттого, что ей хотелось остаться, она выглядела смущенной и притихшей, как всегда, когда мы оказывались одни в мобиле. Но я вдруг вспомнил, откуда она черпала все свои сведения обо мне, и не выдержал:

— Я думаю, ваши мальчики спокойны — они прекрасно видят, что вы в безопасности.

— Как видят? — спросила она самым невинным тоном.

Тут настала очередь смутиться мне. Рассказать ей о моей экскурсии в ее комнату?

Но Илль смотрела на меня спокойными огромными глазами, и я не мог говорить иначе, как только правду:

— Я думал, что вы просматриваете всю территорию Егерхауэна.

— Как же можно? Это было бы неэтично.

Не поверить было невозможно. Но как же тогда та охапка цветов и листьев? Не совпадение же?

— Илль, однажды я сунул нос в вашу комнату. И там на полу...

— А, ветки селиора — совсем такие, как я однажды нарвала вам! И как пахнут! Я с тех пор раза два в неделю летаю за ними.

— Вы нарвали мне?..

— Ну, да, конечно. Ведь вы так хотели. Я ведь часто бывала у папы, только вы не знали. Вот и тогда я случайно вышла в сад и увидела, как вы идете по дорожке и рвете полные горсти травы. Потом, когда вас перенесли в дом, отец все отобрал у вас и выбросил. Но вы ведь хотели травы и листьев. Тогда я слетала вниз и снова нарвала. И бросила на полу. Вы рассердились?

— Я не знал, что это — вы.

— И рассердились на кого-то другого?

— Я не знал, что это вы. Понимаете? Несколько месяцев назад я даже не знал, что вы есть на Земле. А цветы подобрали другие люди и расставили в вазы правильными пучками.

— Чушь какая! Дикие цветы не растут правильными рядами, и когда их рвешь, надо из них устраивать просто свалку. Иначе какой смысл?

— Попробовали бы вы объяснить это Педелю!

— Но с вами ведь были люди?

— Да, люди. Люди Егерхауэна.

— Худо вам в этой тюрьме?

— Не надо об этом, Илль. То, что привязывает меня к Егерхауэну, не подлежит ни обсуждению, ни осуждению.

— Простите меня. Но я говорю о своем отце. Я не люблю бывать здесь именно потому, что он один виноват в том, что происходит в Егерхауэне.

— По-моему, в Егерхауэне уже давно ничего не происходит.

— Здесь происходит... здесь нарушается первый закон человечества — закон добровольного труда. Ну, скажите мне честно, разве вы работаете над тем, что вы сами избрали?

Я кивнул.

— Неправда! И вам тяжело дается эта неволя. Вы прилетели на Землю для того, чтобы быть человеком, а не роботом, которому задают программу отсюда и досюда...

— Не судите так строго своего отца, Илль. Он чист перед собой и перед всеми людьми. То, что он сделал, предоставив нам свою станцию, было наилучшим выходом для меня. Ваш отец знает обо мне намного больше, чем вы, — простите меня. Он поступает правильно.

— Нет, — сказала она так твердо, что я понял — никакими словами не убедишь ее; она знает, что права.

И она действительно права.

— Мне очень жаль, Илль, что из-за меня вы изменили свое отношение к отцу. Я прошу вас — будьте добрее с ним.

Она вдруг посмотрела на меня очень внимательно. Потом засмеялась:

— Нет, вы подумайте: тысячелетиями идет борьба за предоставление человеку всех мыслимых и немыслимых благ и свобод, а когда он достигает их и начинает ими пользоваться — ему отказывают даже в какой-то охапке сена.

— Так этот парадокс и заставил вас лететь за цветами?

— Да. А разве для такого акта требовались какие-то более веские причины?

Вот и все. Все мои надежды и предположения ухнули ко всем чертям. Гордо, даже чуть заносчиво вскинут подбородок. Какой-то механик, отупевший и огрубевший за свое одиннадцатилетнее пребывание в компании роботов. И я смел... Ну, лети, лети, солнышко мое, лети к своим Джабжам, Лакостам, к великим тхеатерам. И кто еще там допускается на ваш Олимп. Я умею ждать, а тебе всего восемнадцать. Не век же я буду маленьким кибермехаником. А тогда посмотрим. Улетай, маленький кузнечик.

— А чему вы смеетесь?

— Просто представил себе, что говорил бы кузнечик, глядя на вас.

— Ну и что? Сказал бы — уродина, и коленки не в ту сторону.

— Правильно. И стрекотать не умеет.

— Неужто не умею?

— Да нет, временами получается.

— Ну, скажите папе от меня что-нибудь хорошее. Янтарный, как и все машины Хижины, мобиль рванулся вверх и растаял в вечернем небе, набухающем предгрозовой синевой. Я постоял, сцепив за спиной руки и запрокинув голову, и пошел искать Элефантуса, чтобы сказать ему что-нибудь хорошее.

## Глава 10

Я не просто думал. Я молился. Я молился всем богам, чертям, духам и ангелам. Я перебирал всех известных маленьких сошек вроде русалок и домовых. Я вспоминал всех эльфов, сильфов и альфов — подозреваю, что половину из них я придумал, надеясь, что когда-нибудь существовала и такая божественная мелюзга. Я молился с восхода солнца, когда лучи его неожиданно и тепло ткнулись в мои закрытые глаза. Я открыл их, снова зажмурился и забормотал молитву лучам восходящего солнца. Я просил так немного: пусть случается все, что угодно — но завтра. Сегодня мой день. Я давал торжественные обеты не бывать в Хижине до самого тридцать первого декабря, но сегодня я должен лететь туда. Сегодня мой день. Она меня позвала, может быть — каприза ради, но она меня позвала. В первый раз. И сегодня был мой день. Так, пожалуйста, завтра я готов на все, но только не сегодня.

Илль рвала и метала. До начала оставался час с четвертью, я был даже не одет. И дернул же меня черт вырядиться в белую рубашку! Но откуда я знал, что резкие световые пятна в зале могли помешать тхеатеру и рассеять его внимание? Меня самого поразил туалет Илль: она была в черном глухом платье, чуть ли не со шлейфом, на голове — корона из стрельчатых бледно-лиловых звезд селиора. Эти цветы — грубые, напоминающие диковинные кристаллы, — удивительно шли к ней и сами теряли свою жесткость и примитивность от прикосновения к ее волосам. Пока самый скоростной из ее стационарных киберкостюмеров дошивал мой костюм, она поносила последними словами все костюмерные мастерские мира, персоналы Хижины и Егерхауэ-

на, не смогшие присмотреть за «провинциалом», жуткую грозу; по недосмотру синоптиков превысившую все предельные мощности и задержавшую мой прилет (хотя я летел под самым ливнем), этих идиотов-старьевщиков, застрявших на своей нелепой машине и не желающих пользоваться ничьей помощью из-за своего щенячьего самолюбия, и еще многое другое, не имеющее к нашей поездке никакого отношения. В конце концов Лакост, который должен был лететь с нами, не выдержал и, заметив, что растерзание заживо никогда не было в его вкусе, оставил меня с глазу на глаз с разъяренной Илль. Надо сказать, что и у него времени оставалось только на полет до Парижа. Как успеем мы — было для меня совершенно неясно.

Но я был готов раньше, чем предполагал. Не дав мне даже взглянуть в зеркало, Илль схватила меня за руку и вытащила на площадку. Резкий ветер чуть не сбил нас с ног. Я вцепился в совсем крошечный мобиль, с трудом удерживавшийся на стартовой площадке, и помог Илль влезть в него. Надо сказать, что ее платье вряд ли было пригодно для таких видов транспорта. Я заметил, — разумеется, весьма осторожно, принимая в расчет ее далеко не миролюбивое настроение, — что тут более всего подошел бы вместительный грузовик. Она ничего не ответила, но только выдернула из моих рук край своего платья, который я пытался затолкнуть следом за ней в мобиль. Прямо скажем, внутри не хватало комфорта. Я понял, что это спортивная одноместная модель с ручным управлением, и еще я понял — по тому, как швырнуло нас назад при старте, — что детям до тридцати лет категорически нельзя позволять пользоваться неавтоматическими машинами. Мобиль шел тяжеловато, но с предельной скоростью. Не представляю себе, как Илль умудрялась им управлять. Но, по-видимому, она прекрасно знала эту трассу, потому что я только и замечал шарахающиеся в стороны обычные пассажирские корабли, которые мы со свистом обгоняли.

Как всегда, мы молчали, пока под нами сквозь янтарную покрышку корабля не начали проступать серые контуры огромного, не совсем еще заселенного древнего города.

По тому, что мы все-таки приземлились, а не разбились вдребезги, я понял, что мы еще не совсем опоздали.

Если бы я не знал, что здание театра было построено специально по просьбе Сидо Перейры, я подумал бы, что оно стоит уже многие века — так органически вписывалось оно в панораму этого причудливого и когда-то такого веселого города. Старинные часы на готической башенке, венчавшие невысокое здание театра,

показывали без нескольких минут полдень. Разумеется, и время здесь, как в древнем Париже, было местное.

Бросив свой мобиль у люка подземного ангара, мы ворвались в зал. Меня удивило, что никакого вестибюля или фойе не было; вероятно, в антрактах зрители выходили прямо на площадь, благо существовали киберсипопы, которые в такие моменты могли мигом установить райскую погоду.

Зал напоминал студию, которую я видел в Хижине: он так же расходился под острым углом от большой черной ложи к сцене, которая тут была несколько приподнята над зрительным залом, едва освещенным. По краям партера находились маленькие двухместные ложи. Илль уверенно подвела меня к одной из них.

— А где же Лакост? — спросил я для приличия.

— В одной из лож, — отвечала она тихо. — Мне удалось достать только одну ложу на сегодня и одну — на завтра, так что вам просто повезло, что Сидо Перейра предложил еще одно место в своей ложе.

Ага, каждый сверчок знай свой шесток — я здесь по милости великих мира сего.

Мы уселись, и я усмехнулся, подумав, что вряд ли буду способен воспринять что-либо, кроме едва уловимого тонкого запаха умирающих, но не увядающих цветов. И откуда-то издалека-издалека пришла, промелькнула мысль — только бы ничего не случилось там, в Егерхауэне...

Между тем у меня появилось непреодолимое желание смотреть, не отрываясь, на сцену. Она была пуста, едва освещена пепельным сумеречным светом и, казалось, уходила в бесконечность. И, как всякая бесконечность, она так и притягивала взгляд. Внезапно в зале стало совершенно темно, и в этой темноте прозвучал спокойный, рокочущий голос:

— Эльсинор...

И в тот же миг какие-то полотнища очень темного света рванулись сзади к сцене, но в следующий же миг я перестал их воспринимать, хотя еще несколько секунд чувствовал, что они все-таки реально существуют. Затем я забыл о них.

А передо мной, казалось, гораздо ближе, чем была до этого сцена, возник холодный каменный замок, возведенный на скале. Он был так реален, что я даже видел, как тонкой струйкой сыплется песок из щели между двумя плохо обтесанными камнями. И музыка, как-то одновременно и возникающая во мне — и прилетающая из той сероватой бесконечности, которая начиналась в глубине сцены, — она тоже была детищем Сидо Перейры,

потому что только человек, смогший силой своей фантазии воздвигнуть эти исполинские громады башен и выщербленных маленькими бойницами стен, смог выдохнуть этот рокот, неумолимый и монотонный, словно невидимое, но реально ощущаемое море, омывающее подножие обреченного замка.

Вдруг что-то звякнуло. Я насторожился. Как это я сразу не заметил, что справа на узкой, огражденной каменными зубцами площадке стоит человек? Гамлет,— подумал я и стал с интересом разглядывать его шлем и доспехи. Но вот показался еще один, одетый и вооруженный так же, и я вспомнил, что это — офицеры стражи и скоро появится призрак.

И вот уже этот призрак появился, он был прозрачен, и голос его звучал так, словно он говорит из расстегнутого, но неснятого скафандра. Наверное, в средние века показать призрак было проблемой, как, впрочем, и увидеть, а теперь никто бы не удивился, если бы по ходу действия на сцену выползли протоцератопсы в масштабе один к одному. Предаваясь всем этим мыслям, я больше смотрел на волосы Илль, чем на сцену, и очень удивился, когда зазвучали фанфары и я увидел перед собой уже что-то вроде тронного зала, довольно убогого, впрочем, заполненного шуршащей толпой, разодетой в тяжелые и тусклые ткани.

Пьесу я, оказывается, помнил, то есть мог угадать, кто и что сейчас скажет. Поэтому меня больше интересовали образы. Королева была начинающей полнеть чувственной бабой лет ста, а по-тогдашнему — сорока-сорока пяти; может, и красивая, с невьющимися рыжеватыми волосами; король — типичный самец в духе всех нехороших, низких и сластолюбивых королей, каким и полагалось, по моим представлениям, быть средневековому королю. Полоний и Лаэрт тоже были хороши.

Ну вот, наконец, я разглядел и самого Гамлета. Красивый парень итало-испанского типа, нисколько не похож на королеву. Уж раз играли не актеры — могло бы быть хоть отдаленное сходство. По ходу действия мои антипатии к главному герою все усиливались. Это был прямо-таки янки при дворе короля Артура — он был нашпигован всем гуманизмом и всезнайством нашего просвещенного века. Он был полон такого холодного и обоснованного презрения ко всему Эльсинору, что прямо непонятно было — как это его до сих пор там терпели и не отправили следом за прежним королем.

Мне хотелось обменяться своими впечатлениями с Илль, и я с нетерпением ждал антракта, когда вдруг заметил, что она, и так с неотрывным вниманием следящая за всем, происходящим

на сцене, вдруг подалась вперед и замерла. Потом осторожно обернулась и глянула на меня удивленно и испуганно.

С Лаэртом говорила Офелия. Трогательная, тонюсенькая девочка, чуть широкоскулая, белобрысая и, естественно, ясноглазая. Двигалась она как-то скованно, словно ее плохо научили, как это делать. Я стал вслушиваться в ее голос — он был грустный и откуда-то знакомый. Так, наверное, говорят дети, которых очень обидели, и вот обида забылась, а эта долгая грусть так и не успела уйти. В этой Офелии что-то было. Никогда не поймешь, что именно притягивает к таким девушкам, но именно таких любят, по-моему, и любят по-настоящему: безрассудно и чаще всего — несчастливо.

И я не успел на нее наглядеться, как сцена уже снова представляла собой площадки и переходы вокруг замка, и снова появился неинтересный и нестрашный призрак, и, наконец, наступил антракт, но Илль наклонилась вперед, положила руки на бархат ложи и так осталась, опустив голову на руки. Я не стал ее тревожить. Я смотрел на ее склоненную голову, обвитую, словно гигантским черным тюрбаном, пушистыми волосами, и мысли мои были далеки от классической драматургии. Вскоре зал стал наполняться людьми, вот уже все места снова были заняты, и в последний момент перед тем, как погас свет, снова мелькнула прежняя недобрая мысль: а там, в Егерхауэне... И снова почти молитва: только бы не сегодня.

Я забыл, должна ли выходить Офелия во втором акте, и напрасно прождал ее появления. Хорошо, пожалуй, было лишь то, что Гамлет потерял в какой-то мере свою принадлежность к нашему современному миру, обнаружив чисто средневековую склонность к интригам и мышеловкам. И все-таки у него еще оставалось что-то бесконечно наше, и не вообще присущее этому веку, а именно сегодняшнему дню — дню той Земли, которую я нашел по возвращении из моей тюрьмы. Но это, по-видимому, было традицией каждой эпохи — взваливать на датского принца все противоречия своего времени.

И снова — антракт, и снова Илль, как оцепеневшая, не тронулась с места. Мне показалось, что я разглядел Лакоста, и, извинившись, вышел, но не нашел его и вернулся ни с чем. Она сидела в той же позе, положив голову на руки, и не заметила, что я опустился рядом с ней. Проклятый день. Столько я мечтал, что буду с ней в театре, и вот мы были здесь, но она была не со мной. Я не смел заговорить с ней, не смел потревожить ее. И своей отрешенностью она не позволяла и мне воспринимать все то, чему

я, казалось, должен был так радоваться. После одиннадцатилетнего перерыва попасть в театр, и на такую пьесу, и в таком исполнении, и с такой спутницей — и все шло прахом, потому что я не мог думать ни о чем ином, как о том, что Илль — совсем чужая, ни капельки не моя...

И вдруг я вздрогнул. «Если бы...» — сказала Илль.

Я поднял голову. Действие уже шло. Она сказала это на весь зал, но никто не оглянулся на нее; она сидела, опершись локтем на барьер ложи и касаясь пальцами виска. Губы ее были плотно сжаты и сухи. Может быть, мне показалось? Но я явственно слышал ее голос. Между тем со сцены торопливо убегали король и его придворные, оставляя замершую у решетчатого окна Офелию. И вот оттуда, куда она с такой тревогой смотрела, тяжело, не замечая ничего кругом, вышел Гамлет.

Он заговорил тихо, но я отчетливо слышал каждое его слово. Он решал то, что уже сам знал — и тут-то я и понял, что с самого начала я назвал в нем «современным» — он знал, что — не быть. И сейчас он знал, что срок его определен. А настоящий Гамлет не мог этого знать. Этот же знал даже, что срок его краток, и поэтому нерешительность его была мне непонятна. Заметила ли Илль это противоречие? Наверное, нет. Мне вдруг так захотелось увидеть ее лицо, что я готов был взять ее голову в ладони и повернуть к себе. Но едва я наклонился к ней, как снова услышал ее голос:

*Мой принц,*
*Как поживали вы все эти дни?*

Офелия шла навстречу своему принцу, протягивая гибкие руки, такие знакомые мне, и все ее движения были скованны, неловки, словно она может сделать со своим телом все, что пожелает, но ее научили вести себя именно так, и она двигается по законам движения людей, а не тех высших существ, к которым она принадлежит. И я уже давно знал и эту походку, и эту левую руку, невольно касающуюся виска, когда не приходит на ум нужное слово, и я вспомнил, как удивленно и испуганно оглянулась на меня Илль в первом акте, едва завидев своего двойника, а я, дурак, как всегда, не видел дальше белобрысых локонов и курносого носа.

Это было чудо, принадлежащее нам двоим, и я схватил руку Илль выше запястья, и она снова обернулась ко мне, и я увидел ее глаза, смотревшие как-то сквозь меня — ей, наверное, казалось, что рядом сидит сам великий Сидо Перейра, и поэтому она не отняла

руки, и острые лепестки селиора царапали мне лицо; но мне было наплевать, за кого она меня принимает, потому что наступило то, ради чего я пошел на предательство, на проклятье этого дня, которое неминуемо настигнет меня где-нибудь на закате, но сейчас еще был день, и мы сидели рядом, просто рядом для всех, кто мог бы увидеть нас, но на самом деле мы были так близки, что между нашими глазами не было места для взгляда, между нашими губами не было места для вздоха, между нашими телами не было места для человеческого тепла...

И тогда действие замелькало, понеслось с непостижимой быстротой. Я не успевал увидеть, услышать — не успевал наглядеться, наслушаться. Но разве это можно успеть? Я вдруг понял, что Гамлету уже все равно, быть ему самому или не быть, а только бы всей силой своего ума, всей любовью своей и всей своей жестокостью оградить от гибели эту тоненькую девочку, — и он понимал, что не в силах сделать этого; и тогда, не дожидаясь, пока это сделают другие, он сам губил ее, поджигая ее крылья, и она сгорала, таяла, как Снегурочка, и мы, замирая и цепенея, видели, как, не подчиняясь уже никаким людским законам, трепещут, изгибаются ее руки, отыскивая воображаемые цветы; и она скользила по сцене бесшумно и невесомо, словно уже плыла, словно уже тонула; вот и последняя ее песня — о нем же, все о нем, и уже совсем без грусти, совсем спокойно, потому что где-то совсем близко — соединение, потому что:

*В раю да воскреснет он!*
*И все христианские души...*

И тихое, всепрощающее: «Да будет с вами бог».

Но никакого бога не было с этими людьми, а была только ненависть, и ложь, и яд, и рапиры, и справедливая месть, которая ничего не могла искупить.

И рука Илль была в моей руке.

Мы уходили, как всегда это бывает после чего-то подавляющего, медленно и молча. Лакоста уже не было — наверное, он видел нас и тактично исчез, предоставив нам возвращаться в том же крошечном одноместном кораблике.

Мы взлетели совсем спокойно. Я по-прежнему сидел сзади нее на полу — другого места в этой малютке и не было — и думал, как же она простится со мной; я ведь понимал, что нелепо и бессовестно было бы с моей стороны пользоваться тем, что потрясло ее совсем еще ребячье воображение; что будь на моем

месте Лакост или даже Туан — для нее не было бы никакой разницы.

Пусть она выбирает сама, куда мы полетим, и если захочет — пусть сама заговорит. Нам осталось совсем немного — несколько минут. А потом останется несколько месяцев. А потом мы будем вместе, и это так же верно, как тогда, когда я сидел на своем буе, не имея ни тысячного шанса на спасение — и у меня даже не возникало сомнений в том, что рано или поздно я вернусь на Землю. И теперь будет так же. Ты — моя Земля, мое счастье, и вся жизнь моя. И что мне до того, что сейчас я не нужен тебе. У нас с тобой еще всё впереди... Если только там, куда я возвращаюсь, ничего не произошло за эти несколько часов. Но ничего не могло произойти. Что — несколько часов перед целым годом? Ничего не могло произойти. Ну, вот и мои горы. Скажи мне на прощанье несколько вежливых, ничего не значащих слов. Они действительно ничего не будут значить после тех минут, когда я держал твою руку и смотрел на тебя — на вторую Илль, прячущуюся под белокурым париком датчанки. Ну, придумывай же эти слова — вот ведь и синяя долина Егерхауэна.

Наш мобиль тихо скользнул вниз и повис там, где обычно я выходил, когда возвращался после наших встреч в Хижине. Илль повернулась ко мне, тихонечко вздохнула, как тогда, в самый первый раз, и сказала:

— Больше не буду тебя выкрадывать. А сегодня не могла иначе. Я ведь люблю тебя, Рамон.

Я схватил ее за руки и замер, глядя снизу на ее губы. Сейчас она скажет, что это не так. Она перепутала. Пошутила. Сошла с ума. Но я увидел, что это — правда, но только ничего больше не будет и она не переступит того заколдованного круга, которым сама себя очертила.

— Я сказала. А теперь — иди.

— Что-о? — во мне вспыхнула какая-то веселая, буйная ярость. — Идти? Теперь?

Одной рукой я обхватил ее так, что она не могла и шевельнуться, а другой нащупал кнопку вертикального полета. Нас швырнуло об стенку, и мобиль, задирая нос кверху, полез в высоту. Четыре тысячи метров... Пять... Пять с половиной... Мы задыхались. Мобиль шел почти вертикально, и волей-неволей я ее выпустил. Она вскинула руки к пульту, и мобиль, описывая плавную дугу, помчался куда-то на юг на самой дикой скорости. Теперь мы шли вниз, и сквозь прозрачное янтарное дно я видел, как мелькают смутные контуры лесов, городов и озер; Илль

теперь тоже сидела на полу, опираясь плечами на сиденье и запрокинув голову, и мне казалось, что она уплывает от меня по стремительно мчащемуся потоку, и я вижу мельканье причудливого дна, тянущего ее к себе.

Ну же, тони, гибни, исчезай! Мы посмотрим, кто кого. Мы посмотрим, как это я позволю тебе уплыть от меня.

— Сударыня, могу я прилечь к вам на колени?

— Нет, мой принц!

— Я хотел сказать — положить голову к вам на колени...

— Нет, Рамон.

— Да, Илль! И не смотри на меня так. Я ведь все посмею. Все, чего хочу я... и чего хочешь ты. Не вырывайся. Я буду груб. Я знаю, что ты сильнее меня. К чертям всех хрупких и беззащитных. С тобой можно только так. Ты ведь сама этого хочешь.

— Откуда...

— Не спрашивай. Знаю.

— Нет.

— Скажи, что все — неправда, и я разобью мобиль.

— Я люблю тебя, Рамон. С того утра, как увидела тебя на набережной. Почти год назад. Я прилетала к отцу и видела тебя. Я только видела тебя. Не целуй меня. Мне нужно только видеть тебя.

Ее голова лежала на моих ладонях. И она хотела, чтобы я не целовал ее.

— Ты слишком близко. Я не вижу тебя.

— Это — губы. Это — руки. Это — сердце. Все.

— Нет, — прошептала она. — Это не все.

И тут я понял. Она видела меня — не одного.

— Это — все! — крикнул я. — Все! Слышишь? Эта скорлупа — и мы. И никто больше!

— Нет, ты сам знаешь, что нет.

— Тогда зачем же все это? Поверни мобиль обратно.

Рука ее приподнялась — и упала. И я вдруг понял, что от ее силы и мужества не осталось и следа. И еще я понял, что мои губы были первыми, и огромная нежность к этим тихим рукам, зацелованным мною, поднялась и переполнила меня. Я приподнял ее и прижал к себе.

— Илль, — шептал я, не отрываясь от ее губ и чувствуя, что эта нежность будет моим последним разумным, человеческим ощущением. — Моя Илль. Моя.

— Нет. Нет. Нет.

— Все равно — да или нет. Теперь уже все равно. Ты любишь меня. Я люблю тебя.

— Но этого ведь так мало...

Она еще пыталась спрятаться за шаткую ограду слов, но я закрыл ее губы своими губами и целовал их, пока хватало дыхания. Но когда его не хватило, я услышал:

— Ты знаешь, отчего умирает Сана Логе?

Наверное, я ослышался.

— Они полетели на твой буй. Пять летчиков и она — врач. Они полетели за тобой. Корабль шел до тех пор, пока не почувствовал излучения. Тогда они вернулись, и... Теперь очередь Саны.

— Почему это знаешь ты?

— Мне сказал Патери Пат.

Так вот что сказал ей Патери Пат!

— Почему этого не знаю я?

— Значит, так хочет Сана Логе. И я на ее месте не сказала бы.

— Почему?

— Не знаю. Наверное, у меня было бы ощущение, что я прошу у тебя благодарности за то, что сделала.

Я положил руки на колени и опустил на них голову. Мобиль резко накренился, помчался еще быстрее. Я не знаю, сколько мы летели. Наконец, он скользнул вниз и остановился.

— Я не должна была говорить тебе этого. Она сама никогда бы не сказала.

— Да, она не сказала бы.

— Прощай.

Я посмотрел на нее.

— Я люблю тебя, Илль.

Она кивнула.

Я неловко вылез. Мобиль рванулся вверх так, что меня отбросило в сторону. Я поднялся и пошел к дому.

Сана сидела в глубоком кресле. Я вошел и остановился. Если бы я знал, что сказать! Я стоял и разглядывал ее. Даже не ее. Платье. Она надела самое богатое. Прическу. Она выбрала самую изящную. Она всегда умела убирать свои волосы. Тяжелые, с матовым отливом, волосы. Волосы цвета... Педеля.

— Сядь, Рамон.

Хорошо. Пусть она говорит. Сегодня я буду слушать ее не так, как всегда. Как это сказала Илль — чувствовать благодарность. Я буду чувствовать благодарность. Какое хорошее слово! Оно исполнено уважения и совсем не обязывает к любви. Я наклонил голову. Мне не хотелось, чтобы она разбиралась в моей мимике. Ведь сама она не требовала от меня благодарности. И никогда не потребует.

— Мне тяжело говорить об этом, Рамон, но я не хочу, чтобы после того, как меня не станет, тебе рассказывали об этом посторонние люди. Помнишь, в день нашего расставания я дала тебе слово не улетать с Земли. Но я его не сдержала. Это случилось тогда, когда гибель вашего корабля стала очевидной, но осталась слабая надежда на то, что кто-нибудь сумел опуститься на нижние горизонты буя. Нас было шестеро. Я хочу рассказать тебе об этих людях, потому что сейчас в живых остались только двое — второй пилот и я. Ты должен знать о тех...

Я поднял голову.

— Не надо о них. Ведь ты говоришь о себе. Говори о себе.

Она не поняла. Вероятно, она приписала мои слова тому, что ее сообщение потрясло меня.

— Хорошо. Я не стану рассказывать, как мы летели. Мы ожидали самого худшего. И ожидание превратилось в уверенность, когда наши приборы начали фиксировать наведенное излучение, а кое-какая аппаратура просто вышла из строя. Тогда командир отдал приказ начать разведку на одиночных ракетах. На большом корабле остались командир, второй пилот и я.

Стены и потолок голубели — это опускались сумерки, тихие сумерки после утренней грозы.

А где-то, в непостижимом удалении от мира этих летних сумерек, стремительно неслись два корабля: один — в пространстве, другой — во времени; один, воскрешенный словами женщины в белом, принадлежал миру прошлого: другой, неотвязно преследующий меня своей ненужностью, был послан в будущее. Первый, движимый воспоминанием этой женщины, летел навстречу бесполезной гибели шести человек; вместо них должны были лететь машины, но если кто-то в опасности — на выручку ему бросаются живые люди. Так всегда было и так всегда будет на Земле. Но лучше бы они не летели.

Второй нес в себе машину, пусть мудрую, но все-таки косную в своей формальной логичности. Вместо нее должен был лететь человек. Этот корабль еще где-то впереди нас, но мы никогда не сможем связаться с ним, и не только потому, что по программе он должен был уклоняться от контакта с жителями планеты, на которую прибудет. Просто мы еще не знаем, что это такое — тело, двигающееся во времени. Мы даже представить себе этого не можем. Он летит впереди нас, и в то же время он уже вернулся одиннадцать лет тому назад, и то, что он принес, всегда было страхом слабых и мечтою сильных...

— ... Но несмотря на то, что ни один сигнал не доносился к нам с мертвого буя, меня не покидало ощущение, что ты — там, и я не согласилась бы на отлет...

Джабжа прав — слабых на Земле больше нет. Значит, все — сильные. Значит, *это* нужно всем. Машинная логика! Когда-то люди — сильные люди — мечтали иметь крылья. И что было бы, если бы эта мечта сейчас исполнилась? Я тихонечко повел плечами. Ненужная тяжесть, улиткин домик. Человек уже давно крылат, и наши машины — от могучих и многоместных мобилей-экспрессов до крошечных индивидуальных антигравиторных «икаров» — не идут в сравнение с весьма несовершенными перепончатыми придатками, нарисованными воображением древних мечтателей.

— ... Было очевидно, что дальнейшее пребывание на орбите грозит гибелью и остальным членам экипажа. Я потребовала, чтобы мы перешли на более безопасную орбиту, но командир получил указания с Земли...

Почему мысли мои неуклонно возвращаются к «Оператору»? Что движет ими — страх? Я наклонил голову, рассматривая себя то с одной стороны, то с другой. Страх... Смешно. Я давно уже понял, что бояться можно только за кого-нибудь другого. Не зная своего года, я уже боялся за Сану, боялся до такой степени, что не позволял себе узнать свой год даже под угрозой того, что окружающие сочтут это трусостью. Я не позволял себе думать ни о чем другом, кроме одного: как же заплатить ей за все то, что она для меня сделала, и за то, что она могла бы еще сделать, если бы не уходила первой. Но так бояться можно только за того человека, который бесконечно дорог тебе, и я искал в себе этот страх, и хотел найти его, и не находил. И не знал, что же было раньше: ушла ли любовь, а за нею — страх за любимую, или же я просто устал бояться... Наверное, последнее. Во всяком случае, мне было легче думать, что один проклятый «Оператор» виновен во всем.

— ...Но всю обратную дорогу меня не покидала уверенность, что мы просто не там искали, что ты жив и, может быть, находишься в самом неожиданном месте, — например, на каком-нибудь корабле, потерявшем связь, с Землей; я обратилась ко всем оповещательным центрам Солнечной...

Мне было не легче. Потому что я знал: «Оператор» здесь ни при чем. Не знай она *этого* — она все равно сочла бы себя вправе запереть меня в эту клетку, все равно она распоряжалась бы мною, как Педелем; все равно люди Егерхауэна вели бы эту каторжную жизнь, так наивно принятую мной за подвиг. Элефантус — не простивший себе просчета с Фасеточным мозгом; Сана —

чтобы иметь возможность и во время работы наблюдать за мной; Патери Пат — вот тут я только не знал, в чем дело. Просто было в его жизни что-то, потеря какая-то, и он работал, чтобы забыть. В этом я был уверен. А там, в далекой снежной Хижине — и говорить не о чем...

Сана стояла передо мной и молчала. Она молчала уже давно. И я с ужасом подумал, что должен ей что-то сказать. Вот так молчал я и в день нашей первой встречи здесь, в Егерхауэне, и так же время неслось все быстрее и быстрее, но тогда я мучительно хотел найти для нее самые нужные слова, а сейчас...

— Сана, — неожиданно сказал я, — а тебе, именно тебе, оказалось нужным Знание, принесенное «Овератором»?

Казалось, в ней сломался тот стержень, который всегда заставлял ее выпрямляться навстречу мне — она вдруг резко наклонилась надо мной, и ее глаза, ледяные лучистые глаза замерли передо мною.

— Да, — сказала она. — Да. Да. *Это* мне действительно нужно. Да. Потому что только благодаря *этому* ты — со мной. Пусть только поэтому, но ты — со мной. Ты думал — я боюсь смерти. Разве это страшно?! Для меня существовал только один страх — потерять тебя. Но *это* не позволило тебе уйти от меня. И теперь ты не уйдешь. Даже теперь. Вот почему мне нужно *это*.

— И только? — спросил я.

Она не ответила. И снова наступило молчание, и молчание это было безнадежно.

Я встал и как можно быстрее вышел.

Педель распахнул передо мной дверцу мобиля, влез следом и примостился где-то сзади. Затих. Мне казалось, что мобиль едва тащится. Гнусная аквамариновая коробка! Разве можно было сравнить его с легкой спортивной машиной Илль, сверкающей, словно капля меда?

Я приземлился у входа в сад, чтобы немного пройтись. Велел Педелю не наступать мне на пятки. Пошел по узкой аллее на тусклые огни обеденного павильона.

Неожиданно из-за поворота показалась огромная фигура. Шатаясь и мыча, она приближалась ко мне. Я прижался к дереву и замер. Это был Патери Пат, но в каком состоянии! Он был пьян. Пьян, как дикарь. Я бы с удовольствием отодвинулся подальше, но не хотел выдавать своего присутствия. И правильно сделал. Он прошел в двух шагах от меня, даже не подняв головы. Дошел до конца аллеи, но не свернул, а было слышно, как вло-

мился прямо в кусты. Проклятый день! Только этой гадости мне и недоставало.

Я быстро двинулся к дому и вспрыгнул на крыльцо. Черт побери, как это мне в голову не приходило? Ее глаза, ресницы, руки... Милый Элефантус!

Но его не было ни в первой, ни во второй комнатах. Не вспугнул ли его этот пьяный боров? Я обошел весь коттедж и пошел в его личный домик.

Элефантус сидел в кабинете. Когда я постучал, дверь распахнулась, но он не поднял головы. Его поза меня насторожила. Так держатся люди, которые вот-вот потеряют сознание. Но когда я бросился к нему, он поднял голову и остановил меня:

— Не нужно. Ничего не нужно. Илль погибла.

Я не понял. О чем это он? Он знает о нашем полете? Он полагает, что я?..

— Илль больше нет,— сказал он шепотом.

Я махнул рукой. Криво улыбнулся. Да нет, не может быть. Все он путает. Все они пьяны. Сейчас я скажу что-то такое, что сразу рассеет все подозрения. Надо только это найти... Вот сейчас...

— Нет! — крикнул я.— Ведь она бы знала...

— Она знала,— сказал Элефантус.

Я пошел прочь. Наткнулся на что-то холодное и звонкое. Отодвинул плечом. Отодвинулось. Патери Пат, шатающийся, закрывший голову руками, словно ослепший от боли, встал у меня перед глазами.

— Педель! Самый быстрый мобиль! Самый!

Казалось, мобиль повис в густой неподвижной пустоте. Ни одного огня внизу. Ни проблеска впереди. Скоро ли? Замерцали огоньки на пульте. Я машинально нажал тумблер. Голос Саны ворвался в машину:

— Рамон! Рамон! Где ты? Немедленно возвращайся! Где ты?

Я нагнулся к черному овалу:

— Лети к Элефантусу. Ему нужна помощь.

Голос умолк, а потом снова раздались вопросы, упреки, крик... Я выключил «микки». Немного подумал. Нет. Никаких разговоров. Я не поверю ни голосу, ни воображению. Поверю только своим рукам и своим губам...

— Сегодня... Именно сегодня! Неужели Илль чувствовала, что это произойдет сегодня?

— Предчувствий не существует. Факт смерти был равновероятен для любого из трехсот шестидесяти пяти дней года.

Успел-таки пробраться в мобиль!

— Помолчи, сделай милость. Что ты об этом знаешь?

— По данным Комитета «Оператора» Илль Элиа должна была погибнуть в этом году. Поэтому меня удивляет, что вы воспринимаете этот факт...

— Что ты мелешь? Откуда ты мог это знать?

— Неоднократно работал по биофону Патери Пата. Трудно работать. Он все время отвлекался. Думал об этом. Посторонние мысли мешают координированию...

— Уходи. Немедленно.

— Не имею возможности. Относительная высота мобиля составляет полтора километра. Являясь ценным и уникальным прибором, я категорически возражаю...

— Выполняй!

— Слушаюсь.

Приглушенный лязг, в кабину ворвался ветер, мобиль качнуло. Затем люк автоматически закрылся.

И прямо передо мной вспыхнул пульсирующий посадочный сигнал.

Гостиная была пуста. Я бросился в комнату Илль. Охапка травы на полу. Никого. В студии полумрак и тишина. Мастерская освещена — вероятно, свет горит с утра. Меня вдруг поразила маленькая машина в углу. На плоском диске стояли ноги. Одна на всей ступне, другая на носке. Ноги до колен. И кругом — тонкие провода кроильных и скрепляющих манипуляторов. Словно гибкие водоросли оплели эти детские ноги. Мне захотелось дотронуться до них, мне казалось, что они упруги и теплы. Я повернулся и побежал. Лифт. Ну, разумеется, все они наверху.

Я не сразу заметил Джабжу, стоявшего в углу перед экраном. На экране были какие-то странные горы, на фоне их металась черная точка.

— Хорошо, что ты прилетел, — сказал он каким-то бесцветным голосом. — Я один, а в горах полно людей.

Я остановился, глядя из-за его спины на букашку, мечущуюся по экрану.

— Что это?

— Туан.

Мобиль то кружился над одним местом, то стремительно спускался вниз по ущелью, то описывал большой круг, прижимаясь к самым горам, но все время он возвращался к огромной выемке, на дне которой медленно набиралось что-то блестящее. Вероятно,

так выглядела на ночном экране вода. И вдруг я понял, что это за место, на которое неуклонно возвращается четкая точка мобиля.

Джабжа сел и обхватил колени. Точка на экране продолжала кружить. Вероятно, так будет до утра.

— Как это случилось?

Джабжа сделал усилие, и было видно, что ни одному человеку, кроме меня, он не стал бы сейчас рассказывать этого. Но он знал, что я имею право, что мне необходимо это знать.

— Эти мальчишки застряли в ущелье. Мы неоднократно предлагали им людей и механиков, но они отвечали, что справятся сами. А сегодня в заповедник прорвалась гроза. Ты знаешь, что это была за гроза. Озеро, лежащее над ущельем, много раз давало селевые потоки огромной мощности. Когда Лакост вернулся из Парижа, было ясно, что людей нужно немедленно снимать с корабля. Я выслал силовые гравилеты, чтобы поднять их черепаху над опасной зоной. Они ответили, что поднимаются сами, и отослали наши машины. Их корабль медленно пошел вверх. Тогда-то и вернулась Илль. Лакост показал ей на экран, на котором четко виднелось озеро. Если бы эти мальчишки видели то, что там творилось, они вряд ли стали бы рисковать. Но они положились на свою развалину, и она, не поднявшись и на сто метров, снова опустилась на дно ущелья. Я приказал им немедленно покинуть корабль и выслал мобили, которые все равно уже не могли успеть. Я не заметил, как Илль вышла.

Джабжа говорил так, словно все это случилось давным-давно, и он теперь с трудом, но обстоятельно припоминает, как это произошло.

— Но это заметил Лакост. Он вылетел следом.

— Лакост?

— Да, Лакост,— ответил он, и я понял, что он этим хотел сказать.

— Но ее мобиль был одноместной спортивной машиной. Догнать его было невозможно. Когда она подлетала, поток воды уже несся по ущелью, и рев его был слышен этим... Я видел, как она выскочила и впихнула их в свой мобиль, и он с трудом поднялся. Лакост долететь не успел.

Я поднял на него глаза.

— Да,— сказал он.— Мы с Туаном это видели.

— Но разве не может...

— Это была стена воды десятиметровой высоты. Вода, крутящая глыбы камня и вырванные с корнем деревья. Корпус старого корабля треснул, как яйцо. Двигатель нейтрогенного типа работал

на холостом ходу, когда защита полетела к чертям и... можно догадаться, что там творилось. Лакост был совсем близко. Взрыв разбил его мобиль о скалы.

— Где он?

— В Женевской клинике.

— Выживет?

— Должен.

— Это — все, Джабжа?

— Это — все, Рамон.

Я вскочил.

— Сиди. Люди из Мирного должны прибыть через час. Нас сменят.

Мы сидели молча. Туан не возвращался. Легкий гул наполнял огромный конусообразный зал. Иногда на пепельных экранах проносились черные стремительные капли — это мчались мобили, посланные автоматическим командиром. И сколько бы их ни улетело, на выходе все равно стоял очередной корабль, готовый ринуться туда, где нужна помощь.

И еще сидели два человека, спокойные и безразличные с виду. Их очередь — тогда, когда бессильна будет самая совершенная, самая современная машина. Тогда один из них встанет и улетит. И, если нужно, следом полетит второй.

Но пока этой необходимости не было.

Не появилась она и тогда, когда, наконец, прибыли четверо молчаливых, сдержанных парней, одетых в рабочие трики. Джабжа говорил с ними вполголоса. Потом подошел ко мне:

— Останешься здесь?

Я покачал головой.

— В Егерхауэн?

Я, кажется, усмехнулся.

— Но только не *туда*. У твоего мобиля нет защиты.

— Не бойся. Я просто полечу... — я неопределенно махнул рукой куда-то вниз. — И потом я должен попасть на этот остров... Как его? Не имеет значения. Комитет «Оператора».

— Ты должен? — переспросил Джабжа.

— Я должен жить так, как жила она. А она знала. Если я не сделаю этого, я буду считать себя трусом.

— Ты никогда не будешь трусом, Рамон. Иначе она не любила бы тебя.

— Ты знал?..

— Я видел.

Мы вышли на площадку. Два мобиля стояли, как сторожевые псы, готовые прыгнуть в темноту.

— Тебе действительно нужно узнать *это*? — медленно, взвешивая каждое слово, проговорил Джабжа.

Я не ответил. Джабжа кивнул и направился к мобилю.

— Ты тоже летишь?

— Я к Лакосту. — Джабжа помолчал, глядя вниз. — Помнишь, ты спрашивал, зачем существует Хижина?

Еще бы я не помнил!

— Чтобы с людьми не случалось того, что с ним. Ну, прощай, Рамон.

— Прощай, Джошуа.

Он тяжело оперся на мобиль, так что машина качнулась. Потом обернулся ко мне:

— Она улетела — отсюда.

Створки люка захлопнулись, мобиль сорвался с места и исчез в темноте.

Она улетела отсюда.

Мне даже не нужно было закрывать глаза, чтобы увидеть: вот она наклоняется над экраном, вот поворачивается и идет — не бежит, а просто очень быстро идет. Идет легко и стремительно, как можно идти навстречу смерти, когда о ней совсем-совсем не думаешь, потому что главное — это успеть спасти кого-то другого. И великое Знание, принесенное «Оператором», не имеет никакого значения.

Она проходила мимо меня, и я видел — она даже не вспомнила об *этом*. Она проходила мимо меня уже в десятый, двадцатый, сотый раз, пока я не почувствовал, что частица ее легкости и стремительности передалась мне.

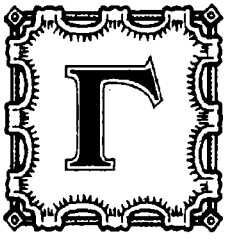
Я наклонился над алфографом. Комитет «Оператора»... «Тебе действительно нужно узнать *это*?» Нет, мне это не нужно. Я задал курс на маленькую кибернетическую станцию на берегу Байкала. Мобиль оторвался от площадки и ринулся вниз.

Я обернулся. Луна всходила как раз из-за горы, и черный силуэт склона, отсеребренный по самой кромке, стремительно уносился назад. Громады построек, опоясывающих вершину, были теперь лишь слабыми, едва заметными выступами. Контур показался мне знакомым.

Вверх по крутому склону карабкался леопард. Он был уже мертв, но он все еще полз, движимый той неукротимой волей к жизни, которой наделил его человек взамен попранного инстинкта смерти.

# СКАЗАНИЕ О РАЙГАРДАСЕ
## (Формула контакта)

### 1



ород спал дурманным, жадным сном, как можно спать только в последние мгновения перед насильственным пробуждением; спал так, как вот уже много столетий спали все города этой несчастной, едва родившейся и уже угасающей разумной жизни.

Впрочем, нет — двое уже бодрствовали. Один — вот ему бы спать да спать, благо выше его в городе никого не было, да и быть не могло; но свалилась на город напасть, хотя, может, и не напасть, а благо, только поменьше бы таких благ, с которыми не ведаешь, что и делать, — и вот не идет предрассветный сон, подымает зудящая тревога с постели наимягчайшей, гонит по закоулкам громадного Храмовища, неприступной стеной окольцевавшего всю плоскую вершину городского храма. Сойдясь к востоку, эти стены стискивали с двух сторон глухую каменную глыбу, сложенную из серого плитняка, — Закрытый Дом, обиталище жрецов, именуемых в народе Неусыпными. По торжественным церемониям их надлежало титуловать и еще пышнее — Возглашающие Волю Спящих Богов. Спали Неусыпные истово, самозабвенно, так что храп нечестивый летел через все Храмовище и достигал черных смоляных ступеней зловещей пирамиды, вписавшейся в стенное кольцо со стороны заката. Но не далее — ни звука не перелетало ни через слепые стены, ни через Уступы Молений, липкие от жертвенной копоти. И Закрытый Дом не выпускал ни стона, ни шороха — снаружи он напоминал исполинскую бочку, которую только расшатай, и покатится с пологого холма вниз, на город, круша хрупкие строения и подминая сады.

Время от времени подрагивали, натягиваясь, тугие канаты, идущие поверх стен из Храмовища вниз, в городскую чернь садов, набухших ночною влагой, — но рано еще было, хотя край неба на восходе заяснился. А вот арыкам, выбегающим из каменных жерл через равные промежутки где из-под стен, а где и из-под страшных Уступов, не было определено времени ни для сна, ни для бодрствования — журчали себе едва слышимо и днем, и ночью.

Край дальних гор, хорошо видный отсюда, из открытой галереи, затеплился золотой каемкой. Первый из идущих придержал шаг, засмотревшись, и второй тоже был вынужден остановиться в тесном проходе. Вот сейчас заблажит, зайдется — мол, рассвет проспали, и обратно же звонобой нерадивый виноват, а ведь самому лишь бы от зудящих мыслей отвлечься, на кого ни попало желчь ночную выбрызгать. И верно, завелся старец:

— Гнида подзаборная!.. Курдюк шелудивый!.. Ох, грехи наши совокупные... — через каждые три-четыре шага Восгисп останавливался, закидывал за плечи непомерно отращенную левую руку и растирал позвоночник шершавой волосатой ладонью.

В такие минуты лопатки его убирались куда-то, хотя поместиться внутри такого тщедушного тельца они никак не могли и неминуемо должны были бы выпереть наружу спереди. Выпрямившись, он доставал Уготаспу до подбородка, но когда снова сгибался, то был ему уже ниже груди, и чудовищные лопатки снова выпирали из-под наплечника, и тогда Уготаспу казалось, что верховный жрец вот-вот захлопает этими лопатками, совсем как делают это невиданные звери — угольный и золотой — в обители Нездешних Богов.

— У, выползок навозный! — голос старца сорвался на визг. — Рассвет воссиял, а он распустил брюхо над передником, точно кротовица беременная! Пшел звонить!

Уготасп и сам знал, что надо идти, но ведь без дозволения старейшего не обгонишь. А он чешется на каждом шагу. И беснуется с прошлого вечера. Вот и терпи его, пока он не скукожится совсем, что не подняться будет.

Он подтянул живот и постарался протиснуться между стеной и Восгиспом так, чтобы не задеть ни того ни другого. Не получилось — мазнул спиной по стене, благо она давным-давно не белена. Но старец улучил-таки момент, лягнул его острой пяткой в голень. Уготасп припустил по коридору иноходью, вынося вперед не только ногу, но плечо, руку и даже бок. Так вот, пританцовывая, но не от излишней резвости — куда уж там при таком брюхе! — а едино чтоб согреться, пересек храмовый двор,

весь застроенный, засаженный купами кустов плодоносных, рассеченный ребристыми трубами, несущими в себе воду арыков. Пробегая мимо водоема, успел плюнуть на водоросль и, кряхтя и печатая сырые шлепки потных с ночи косолапых ступней, вознес тучное тело по круговой лестнице на верхушку утренней звонницы. Сорок тугих крученых веревок сходились к ее островерхой крыше и, проскользнув через сорок вощеных отверстий, свисали вниз, стянутые там одним заскорузлым узлом. Узел недвижно млел над широким мелким колодцем. Уготасп опасливо приблизился к самому краю — дыра была ничем не ограждена, а края покаты — сглажены многолетним топтаньем в ожидании рассвета. Подавляя ежеутреннее томление, в котором он даже перед собой не признавал недостойного страха, толстяк подтянул к себе узел и неторопливо разобрал веревки на два почти равных пучка. Еще немного он постоял, щурясь на убегающие вдаль однообразные черепичные крыши, сбрызнутые доброй крупной росой; затем, как всегда, подивился, что изрядный кус пока еще блеклого солнца успел-таки протиснуться между темным грибом последней крыши и купой бобовых деревьев, и, зажмурившись, прыгнул в круглую дыру, разводя пучки веревок в стороны и налегая на узел грудью.

Гулкий певучий удар наполнил пробудным звоном все внутренние дворы, помещения и закоулки Храмовища, и пока он еще отдавался каркающим эхом в каменных галереях, Уготасп мягко спланировал на дно колодца, щедро устланное свежим сеном. Он разжал руки, и веревочный узел стремительно унесся в вышину, и словно в благодарность за освобождение со всех сторон разом откликнулось сорок звонких «нечестивцев» — в каждом из сорока домов первого ряда, опасливо подступивших к священным стенам, уступам и воротам необозримого храмового массива.

Если первый аккорд был единозвучен и приятен на слух, то все последующее всегда производило на Уготаспа удручающее впечатление. Услышав звон своего «нечестивца», хозяин каждого из ближайших к храму домов спешил нащупать конец веревки, свисавшей с потолка его спальни. Веревка натягивалась, громыхал колокол в следующем доме, подымая главу семьи и заставляя его спросонок ловить пустоту над кроватью слабой старческой рукой. Вот и выходило, что второй круг уже не отзывался столь дружно, как первый, и сигналы пробуждения летели все дальше вдоль улиц, разбегающихся от Закрытого Дома, становясь все беспорядочнее и неблагозвучнее. Шагах в пятистах вниз от Храмовища ютились сквернорукие гончары, ткачи, землерои, плодоносы и про-

сто таскуны — голытьба, одним словом; там вместо колокола вешалась гроздь выдолбленных пальмовых орехов, хорошо прокаленных и смазанных для звонкости белком змеиных яиц. Такая гигантская погремушка производила невероятный шум, слагающийся из щелканья, клацанья и треска.

Уготасп еще некоторое время просидел на охапке сена, дожидаясь, пока стихнет мерзкий грохот, доносящийся с окраин. Вот еще где-то запоздало треснули погремушки, и наконец-то стало тихо. Ни шагов крадущихся, ни шорохов. Грех, конечно, спать после восхода, но ведь сколь сладостно... Уготасп завалился навзничь, поерзал жирной спиной, зарываясь поглубже в душистый ворох. Прохладно было, сыровато. Он заворчал в полусне, приращивая себе шерстку подлиннее, засопел. Сны — сладкие, игривые — обступили его разом, путаясь друг с другом, переплетаясь и теснясь гораздо забавнее и прихотливее, чем это бывало ночами. Утреннее солнце, стремительно набирающее жар и силу, начало прогревать стены звонницы, и в укрытии, набитом свежим сеном, сразу стало душно. Духота сдавила горло, рождая прихотливый сонм видений, и первой в этом хороводе явилась ему горная синеухая обезьянка — предел недозволенности...

Немилосердный грохот над самым ухом заставил его вскинуться. Ну, так и есть, барабанили по дверце лаза, через который он выбирался из своего колодца. И производить сей мерзкий шум мог только Чапесп, это убожество, худородок. Благодать Спящих Богов излилась на отца и мать, когда зачинали они своего первенца, родившегося с сильными и длинными ногами, за что и даровано ему было имя, обрекающее его на почетное, но многотрудное служение богам — Уготасп, Угождающий Танцами Спящим. Родители, конечно, могли бы придумать имя и поскромнее, ибо с годами первенец разжирел непомерно, и все танцы его сводились к равномерному колыханию складок на животе. А тут еще прежний звонобой переселился в чертоги Спящих Богов, и дабы не поощрять лености и праздношатания, старейший приспособил его звонарем к храмовому «нечестивцу», благо должность сия требовала именно такой необъятной массы — иначе сорок веревок одновременно не натянешь. Сигать ежеутренне на влажное от росы сено — работа не хлопотливая, но то, что приходилось вставать раньше всех, чтобы не пропустить зари, доводило Уготаспа до исступления. В надежде передать свой пост младшему брату, Уготасп за каждой трапезой ревностно следил за тем, чтобы младшенький, неровен час, не получил куска попостнее, и нередко, скрепя сердце, перекладывал ему на ореховую скорлупу часть своей доли.

Чапесп ел покорно и безучастно, а такая еда, без чавканья, без смака, разве она пойдет впрок? Вот и бродил младшенький по храму, не толстый и не тощий, и грамоте вроде обученный, и не приспособленный ни к какому делу, ибо нарекли его, тихонько себе попискивавшего при рождении,— Чарующий Пением Спящих. Голоска тоненького и сладостного ждали. А он так на всю жизнь и остался с писком и меканьем — ничего другого сказать не мог, нем был от рождения, аки гад водяной.

И то сказать, повезло отцу с матерью, немого и к едальне приставить можно, и таскуном в хранилище. А другие уж если худородков производят, то либо с двумя головами, либо без рук, а то и вовсе без кожи — гад на линьке, да и только. И года не проходит, чтобы в храме таких сокровищ два-три не появилось. Поговаривают, правда, что ежели жену из другого семейства взять, то уж худородков точно не будет. Но чужую жену отрабатывать надо, вдвойне спину гнуть. А из собственного дома — это даром. И обычаи все знает, возиться с учением не надо. Нет, хлопотно чужую брать. Детей-то нарожать бабе — раз плюнуть. А худородка — придавить, пока не вырос.

Стук, размеренный, настойчивый, возобновился. Думал — уйдет Чапесп, решив, что нет здесь старшего. Ан нет. Не ушел. Выползай теперь, позорься.

Уготасп на четвереньках выполз через лаз, выпрямился, выбирая солому из рыжей шерсти, густо покрывшей руки. Младший смотрел укоризненно. Уготасп замахнулся, но Чапесп легко, и как всегда безучастно, отклонился, и сырой тяжелый кулак старшего просвистел мимо.

— К отцу сперва или прямо жрать? — буркнул Уготасп.

Младший неопределенно повел головой куда-то влево.

— Что, стряслось еще что-нибудь? Божий пузырь лопнул, или у Нездешних Богов рога повырастали?

Чапесп покачал головой — смиренно так, богобоязненно. Нашел кого бояться — Нездешних! Мало им поклонялись, торжественным ходом все их обиталище обошли, половину всех запасов благовоний стравили... Ноги после того шествия неделю не гнулись. И все ведь даром. Как стояла стена незыблемая, невидимая, так и осталась. Не снизошли боги. Слова не молвили.

Тогда, на первом же святожарище, когда перед Уступами Молений собрался весь город, наивысочайший Восгисп, глаз и око Спящих Богов, во всеуслышанье объявил: те, что обитают за стеной прозрачной и нерушимой, есть небесные гости. Так вот и понимай — гости. Вроде бы и Боги, но не совсем. И потом, что

есть гости? Гость — он приходящ и уходящ. Значит, надо надеяться...

Нет, что и говорить — мудр был Восгисп, наипервейший из Неусыпных. Не каждый бы так посмел. Хоть и стар до дитячьей придурковатости, хоть и брызжет слюной, как ядом, и от немощи своих лет на ветру шатается и от духа жертвенного с Уступов падает, едва ловить успевают,— да, видно, и вправду доходит до его слуха по ночам мудрый шепот Спящих Богов. Так что поутру вещает он всему народу божью волю. Неусыпным — на радость, народу подлому — на покорство. А то всколыхнулись уже, нездешних гостей завидя, нашептывать стали, сказки да предания припоминать — было-де предсказание, что явятся Боги воочью, пробудит их небесный «нечестивец», и пойдет с того новый порядок жизненный.

Только смутное это пророчество, понимай его как хочешь. Боги — но какие? Старые, Спящие, которых никто еще на земле не видал, или эти, из прозрачного пузыря? «Нечестивец» небесный — и вовсе непонятно что. А порядок новый — к добру ли? По старому порядку он вот младшенького может по ряшке съездить, чтобы вбок не косил, а тот его в ответ — ни боже мой. Хороший порядок, что менять-то? Другое дело, ежели жену можно будет без спросу и выкупа взять, а натешившись, бросить — вот это да... За такой закон он бы Нездешним Богам в ножки поклонился. Но молчат себе Нездешние, живут в божьем пузыре и уходить не собираются, оттого и беснуется наивысочайший. Ночей не спит.

Младший между тем посматривал искоса, вроде мысли прочитать тщился. У, немочь бледная, чтоб тебя посеред ночи поросячьим визгом будили! И за что его Восгисп к себе приблизил?

— Ну, пошли, убогий, чуешь — рыбой жареной пахнет?

Младшенький неопределенно кивнул, как-то боком, так что не голова наклонилась к плечу, а плечо подпрыгнуло к уху.

Уготасп поспешно сцепил руки за спиной и принялся массировать пальцы, наращивая твердые плоские ногти — чтобы ловчее косточки выбирать.

На циновках, выстланных под зеленой виноградной аркой, двумя рядами, друг напротив друга, чинно восседали Неусыпные. Кувшинчики и скорлупки с соусами и приправами, загодя развешанные над циновками, источали пряный, щекочущий ноздри аромат. Конечно, вкуснее всего пахло на правом конце, где сияла солнечным бликом плешь наивысочайшего, но сегодня стоило держаться подальше от стариков. Уготасп уже собирался

было втиснуться где-то посерединке, промеж троюродных, как вдруг до него донесся визгливый голосок старейшего, углядевшего его появление:

— Восемь мешков зерна сгноил!

Ага, продолжался вчерашний скандал, когда у него за постелью обнаружили хоронушку.

— Восемь полных мешков у себя схоронил! А как за стол, так вперед других!

Это замечание явно противоречило действительности, но никто не позволил себе ни возражения, ни усмешки.

— Девки, ему несете? Уполовиньте миску!

Рахитичная тонконожка, бросившаяся было к Уготаспу с полной посудиной, растерянно закрутилась на месте, но ее дернули за нижнюю юбку, и она, плохо соображая, вывалила три четверти золотистой жирной рыбы в миску ближайшего к Восгиспу старика, так что янтарные брызги с чешуею выметнулись снопом. Старцы брезгливо отстранились — суета, потеха нечестивому. Да и верховному жрецу негоже было столь пристально разбирать вину звонобоя. Ну, утаил мешки, украл то есть, так ведь восемь мешков. А на святожарище, бывает, наверх волокут десять по восемь, да сала, да рыбы сушеной сколько ворохов... Порченое все, ясное дело, какие ж запасы без порчи? Зато и вонь несусветная, к ночи дым от святожарища на город падет, так до рассвета гул сдавленный — кашляют, хамье, Нечестивого призывают...

— Все восемь мешков на жирном загривке подымешь, на самую вершину Уступов! — старейший подавился, его бережно похлопали по спинке между лопатками. — Потаскун синеухий...

Ага, вот оно что. Донесли-таки.

Отрыгнув рыбью косточку и отерев руки о широкий водяной лист, Восгисп выпрямился и зорким прищуренным оком обозрел сидящих — к кому бы еще половчее прицепиться. Все понимали — не с досады, не с больной спины. Надо ж было свалиться такому чуду невиданному, как эти Боги Нездешние! Вроде и не мешают, тем паче не карают и не одаривают, а беспокойно... В хамье городском непонятие растет.

А уж где непонятие, там и неблюдение. А как блюсти закон, ежели в нем про все есть, а про Нездешних — нет? Страшно. Ведь до тех пор град стоит, пока в нем ничего не меняется. Было же царство могучее — Снежным называлось, там закон не блюли, человеческим умом дела вершили... Страшно кончилось, оголодали, переели друг друга, а уцелевшие живьем замерзли. А может, и не так было, в Снежном царстве ведь никто не побывал.

## 2

Инебел приоткрыл глаза. Закрыл снова. Сон, только что покинувший его, вернулся уже воспоминанием — невероятным, сладостным, греховным. Беспомощно задрожали губы — память сна ускользала, улетучивалась из сухих трещинок. Взамен, змеясь, разбегалась малая боль. Губы надо было окунуть в освежающую прохладную воду, припасенную с вечера, — не впервой приходил этот сон, и Инебел уже знал, каково будет пробуждение. Память не хранила ни звуков, ни цвета, ни контуров — только прикосновения, от которых лицо горит и губы сводит щемящей болью, точно окунулся в озеро и попал головой в жалящие тенета придонной медузы-стрекишницы.

И руки. Они были слабы и беспомощны от всей огромной нежности и изумления, доставшихся им этой ночью, и от одной мысли, что этими руками надо дотронуться до грубой каменной чаши, натягивались раскаленные струнки от кончиков пальцев до самого сердца.

Ему впервые пришла мысль, что впереди целый день, а такими руками он не сможет не то чтобы работать — травинку сорвать. Он медленно пошевелил пальцами, усилием воли нагнетая в них силу и упругость. Они нехотя теряли ночную чуткость и становились суховатыми и проворными, обретая свое дневное естество. Теперь уже можно было с хрустом сжать их в кулаки и, бережно опершись на локоть, перегнуться со своего ложа к треножнику и окунуть губы в чашу. Но локоть соскользнул с края постели, задел чашу, и Инебел с ужасом увидел, что она наклоняется, выплескивая сонную черную воду, и вот уже падает вниз, на глиняный обожженный пол...

Он успел представить себе гулкое тяжкое кракапье раскалывающегося камня, испуганные вскрики сонных братьев и сестер, поспешное шлепанье босых родительских ног...

Холодея от запретности того, что он делает, Инебел задержал чашу у самого пола, сосредоточился, полуприкрыв глаза, и одним усилием воли поднял вверх и чашу, и пролившуюся воду. Чашу, слегка раскачав, опустил прямо в гнездо треножника, а воду еще некоторое время держал на весу, собирая в тугой, холодный шар. Он никогда не переставал удивляться, как это он чувствует пронзительную льдистость и неподатливость этого прозрачного шара, — видно, правду говорят Неусыпные, что каждый предмет на самом-то деле живет, но заворожен Богами, потому люди этой жизни и не видят. Но похоже, что не на все вещи наложено одинаково

крепкое заклятье, потому что Инебелу чудится то затрудненное дыхание вянущей на солнце травы, то едва сдерживаемая дрожь ночной воды, зябнущей в придорожном арыке...

Он бесшумно опустил послушный водяной шар на дно чаши. Благодарно потерся щекой о войлочный кружок, служивший изголовьем, — прощался на долгий день. Потом осторожно спустил ноги на пол. Нет, никого он не разбудил, все спокойно. Он молитвенно прикрыл ладонями глаза и поклонился Спящим Богам. Над постелью, на перекладине, свисавшей с потолка, голубело в предрассветном сумраке новенькое покрывало. Инебел двумя пальцами сдернул с рейки почти невесомую ткань, прикрыл ею свое ложе. Крупные алые клетки, делящие кусок ткани на восемь частей, сейчас казались совсем черными. Дневные покрывала простолюдинов просты и безыскусны, они укрывают ложе покоя, столь угодного Спящим Богам, серой или голубой пеленой, что сродни облакам, молчаливо кутающим вершины далеких гор. И лишь за усердие в уроках еженедельных, за смирение перед волею Спящих надзирающий жрец по своей милости мог одарить дом избранника почетным покрывалом, поделенным крест-накрест на четыре части. Сбегаются тогда соседи поглазеть с улицы на милость, дарованную Храмовищем от щедрот своих подземных сокровищниц, и всплескивают руками, дивясь, и подталкивают друг друга, оступаясь в арыки, и летит от двора к двору шепот завистливый. Было, было такое покрывало у отца — давно только, истлело уже, пошло малышам на одежку. И у дяди Чиру, если не хвастает, тоже было.

А за особое тщание да искусность в сотворении дара Храмовищу оделяют жрецы и шестиклеточным покрывалом, только в семье Инебела такого не бывало от веку. Потому и ахнула вся улица, когда однажды целая вереница жрецов приблизилась к дому красильщиков, вознеся над головами высшую награду — восьмиклеточный покров! Славило население низких окраин счастливую семью, светились от радости лица отца и матери, породивших великого искусника, и только сам Инебел не светел был, не радостен. Не покрова почетного ждал он себе в награду.

Тогда ему надо было совсем другое.

Тогда...

Он быстро оделся, обернув вокруг бедер кусок полосатой застиранной ткани, набросил наплечник и головной платок. Из общей спальни, которая была центральным помещением дома, можно было выбраться только через одну из многочисленных семейных клетушек, окружавших центр. Стен в доме не было — не-едальня же, в которой надо прятать низменное обжорство.

Нетолстые стволы «каменного» дерева были вкопаны в землю, образуя шестнадцатиугольную колоннаду. Между колонн висели двойные плотные циновки, поднимающиеся на день. Инебел отогнул угол одной из циновок и попал в клетушку тетушки Синь. Они всегда бегали через эту клетушку. Когда Инебел родился, тетушка уже вдовела, и притом безнадежно — из своей семьи никто в мужья ей не подошел, а из чужих семей кто бы расщедрился на выкуп за старуху, пусть даже в работе проворную и с детишками ласковую. Вот и осталась Синь одна. По правилам ее надо было бы переселить в общую спальню, где отдыхали малые да беспарные, но в дому, во-первых, пустовало несколько закутков поплоше, а главное — тетка во сне стонала, охала — по поверью, вызывала тем Нечестивого; опасались, что накличет одну из многих ночных бед на маленьких.

Вот и сейчас тетушка Синь лежала тихо, но только притворялась, что спит. Инебел знал это наверняка, и все же молитвенно прикрыл на ходу глаза, поклонился — ничего не должно быть священнее, чем почитание спящих.

И в тот же миг цепкие коготки ухватили его за локоть. Сухонькая старушечья рука была тверда и горяча — вероятно, Синь не спала уже несколько часов и, поджидая его, копила силу и цепкость.

— Не ходи к «паучьему колоколу», сынок; что про тебя, от того напьешься, а что не про тебя, от того загоришься...

Невидимый голосок шелестел, словно струйка сухого зерна. Инебел гадливо встряхнулся, пытаясь освободиться и от этого голоса, и от вцепившейся в него когтистой лапки... Не получилось. Пять костяных крючков держали его будь здоров.

Отвечать вслух он не решился, звонкость и сила собственного голоса были ему хорошо известны. Он вспомнил излюбленный прием, которым пользовался в подобных ситуациях еще совсем недавно, в уличных потасовках с соседскими ребятами: напряг мышцы на сгибе руки и заставил подкожный жир проступить через поры. И помогло — жесткие костяные крючки беспомощно заскребли, защелкали, сорвались. Он рванул на себя край наружной жесткой циновки и, перескочив через низкую завалинку, очутился во дворе.

— Не ходи... — то ли донеслось, то ли почудилось сзади, из темноты ночного дома.

Предутреннее небо было пепельно-розовым в стороне Чертога Восхода, а над лесом и ближе к горам — чернильно-лиловым. Поздно он проснулся, поздно. Инебел несколько раз присел,

нагоняя силу в икры, потом на цыпочках подобрался к воротам, чтобы гулкие удары босых пяток по обожженным плиткам не подняли кого-нибудь раньше, чем это сделает «нечестивец». На всякий случай снял со столба свою выкупную бирку и надел ее себе на шею. Выскочил на улицу.

Тонкая уличная пыль казалась теплой и ласковой; черные арыки неусыпно ворковали под бесчисленными мостками, перекинутыми от каждого двора. Под мостками шипело, пробуждаясь, придорожное несъедобное гадье. Инебел бежал легкими широкими скачками, бирка била его по ребрам, и удары упругих подошв о дорогу были бесшумны. Он бежал вдоль бесконечных глиняных оград, расписанных его дедом, и его отцом, и им самим, и если бы он пригляделся, он отличил бы собственную работу, но сейчас ему было не до того, и во всем теле пока не было ничего по-настоящему пробудившегося, кроме ритмично сгибающихся и разгибающихся горячих ног, и он думал только о них, и от этого они работали все четче, все мощнее, и он уже летел, как волна пыли и листвы во время урагана, а небо все наливалось розовым свеченьем, и он не позволял себе смотреть вперед, а только под ноги, только на розовеющую дорогу, стиснутую низкими пестрыми стенами, пока эти стены не кончились, и тогда он выбросил руки вперед, словно упираясь в невидимую стену, и замер, и вскинул голову.

И тогда проснулись его глаза, и гулко, словно серебряный «нечестивец», ударило в груди пробудившееся сердце.

Громадное и невесомое, наполненное пепельным сонным туманом, высилось перед ним обиталище Нездешних Богов.

## 3

«Первые петухи,— подумала Кшися, вглядываясь в беззвездную черноту непривычного неба.— А если — не первые?»

Она закинула руки за голову, стараясь нащупать кнопочку ночника, но костяшки пальцев дробно и больно проехались по ребристой поверхности переборки.

— М-м?..— сонно спросили из-за стены.

Она быстро юркнула обратно под одеяло, укрывшись с головой, и уже там, в тепле и уюте, принялась зализывать поцарапанную кожу. Ага, и заноза к тому же. Вот невезуха! И что это сегодня ей вздумалось спать в лоджии? То Васька бессловесный ведрами громыхал, то Магавира никак в свой колодец нацелиться не мог, свистел на малых оборотах, подзалетая и снова приса-

живаясь, невидимый и пронзительный, словно комар величиной со среднего мастодонта.

И еще будильник она оставила в комнате, на полочке возле кровати. Вот и спи теперь вполглаза, по-птичьи, чтобы успеть засветло вскочить, привести себя в порядок и быть внизу раньше Гамалея. Ну вот, ко всем ночным кошмарам еще и Гамалей! Припомнился — как дорогу перебежал. От этого имени Кшися взвилась, спрыгнула на холодный крашеный пол и босиком зашлепала в комнату. Будильник нашла по тиканью, вытащила на балкон и, забравшись снова в постель, долго пристраивала его на полу, примериваясь так, чтобы на первой же секунде звона успеть нажать выключатель. Но когда все эти предрассветные хлопоты, казалось, приблизились к своему завершению, Кшися вдруг почувствовала зудящий двухсотвольтовый укол в левую ладонь. Она взвизгнула и отчаянно затрясла рукой, стряхивая вцепившегося в нее зверя. Зверь был еще тот — исполинских размеров куриная блоха. Ну, добро бы на скотном дворе, ну, на кухне,— но здесь, на четвертом этаже... Вот напасть-то, вот навалилось!..

Она забилась под одеяло, чувствуя, как ладонь наливается горячим пульсирующим зудом. Теперь о сне нечего было и думать. Оставалось только ворочаться с боку на бок, да баюкать левую руку, постоянно подтягивая и подбирая соскальзывающее одеяло, и горестно перебирать все мелкие неудачи и разочарования ее неземного бытия. И постоянно спать хочется. И с последней почтой мама не прислала заказанный сарафан. И голубой котенок Мафусаил окончательно переселился к Макасе. И Гамалей, искоса поглядывая на ее опыты по акклиматизации бататов, только посмеивается, но указаний не дает — самостоятельность воспитывает.

И во что же выливается эта самостоятельность? Пока — в ежедневное копанье в жирной, кишащей розоватыми червяками, земле. Правда, она придумала выход: посылала бессловесного Ваську вскапывать грядку, а затем огораживала вскопанное переносным барьером и загоняла туда полтора десятка обстоятельных, неторопливых плимутроков. Сосредоточенно прижимая к бокам тяжелые куцые крылья, они делали свое дело без мелочной и склочной суеты загорских пеструшек и уж тем более без похотливых танцев, учиняемых исполинским бронзовым бентамом скорее из склонности к тунеядству, нежели из сластолюбивых соображений. Часа через полтора червяков не оставалось, и Кшися могла спокойно подравнивать в меру загаженную грядку, не опасаясь сорваться на визг. Для студентки-отличницы

сельскохозяйственного колледжа ее реакция на местную фауну была, мягко говоря, нестандартной.

Мягко говоря.

Вот эта-то неистребимая мягкость Гамалея и поражала Кшисю более всего, раздражая и сбивая с толку. Любой начальник биосектора на его месте рвал бы и метал, получив вместо опытного, матерого экспедиционника такую вот неприспособленную, едва оперившуюся дипломантку, совместными усилиями счастливой судьбы и злого рока заброшенную сюда на преддипломную практику. Всей чуткой, хотя и взмокшей, спиной, по шестнадцать часов согнутой то над грядками, то над пробирками, Кшися чувствовала скептический взгляд Гамалея и после каждого его шумного вздоха ждала неминучей фразы, обращенной к Абоянцеву: «Да уберите же наконец от меня эту белобрысую дуру!»

Но он только вздыхал, захлебываясь стоячим воздухом, некоторое время переминался с ноги на ногу, а затем безнадежно махал рукой — Кшися всей спиной чувствовала, как рассекает воздух его волосатая тяжелая лапища,— и бросал свое традиционное: «Действо невразумительное, но с непривычки сойдет».

Кшисю, стойко занимавшую на своем курсе место в первой тройке по ксенобиологии, таковая оценка несказанно возмущала, тем более что работала она строго по канонам любимой дисциплины, словно выполняла лабораторное задание.

И не только в Гамалее было дело. Коллектив экспедиции при всей своей малочисленности был удивительно пестрым — и по профессиям, и по характерам, и по внешности, и тем более по возрастам. Так и задумывалось.

Но вот быть в такой группе самой младшей — это ей показалось приятным только в первый день. Затем надоело. Все приставали с советами, предлагали непрошеную помощь, установили режим эдакой сожалительной опеки... Ох, до чего ладонь чешется! Это бентам, паршивец, блох развел, сам на здешних хлебах вымахал крупнее любого индюка, а уж блохи, те акселерируют в геометрической прогрессии. Предлагал Меткаф его съесть еще на прошлой неделе — пожалели за экстерьер. Уж очень смотрится, бездельник. Пожертвовали превосходную несушку, три рябеньких перышка Йох себе на тирольскую шляпу приспособил. Жалко рябу... Все жалко, все мерзко, домой хочется...

Осторожно цокая деревянными сандалиями, кто-то спускался по внешней винтовой лестнице. За парапетом лоджии что-то смутно означилось в темноте и тут же осело вниз, словно пенка на молоке. Ага, Макася уже встала и спускается к бассейну. Худо

быть безобразненькой, вот и купаться она ходит, пока темно, для нее Васька после первых петухов подогрев в бассейне включает. А загорать ей и вовсе некогда, она по ночам едва-едва успевает понежиться под кварцевой лампой. И когда только спит?

Все равно лучше быть безобразненькой, чем такой неприспособленной, как она. В колледже она считалась даже хорошенькой, а здесь никому и в голову не приходит посмотреть на нее, как на девушку. Работа, работа, работа. Деляпка, скотный двор, кухня. И никомушеньки она не нужна.

Обиды были все перечтены, а петухов так и не было слышно. Совсем ошалели бедные птицы с этими двадцатисемичасовыми сутками. Бентам и совсем не способен был на самостоятельные действия — только подхватывал. Плимутрок изо всех сил старался сохранять должные интервалы между припадками пенья, но сбивался, день ото дня опаздывал все больше и больше. А, вот и он. Боцманский баритон, как утверждает Йох. Бентам такой жирный и здоровый, а орет фальцетом и с каждым днем берет все выше и выше. Ну, вот уже и дошли до исступления, стараясь перекричать друг друга, словно Гамалей с Меткафом, когда сталкиваются в колодце. Когда они так неистово заводятся, это минут на пятнадцать-двадцать. Перебудят всех. Вставать надо, дежурная ведь...

Она свернулась в клубочек, подтянув коленки к самому подбородку, ловя остатки ночной дремы и теплоты. Ну, еще одну минуточку,— говорила она себе. Проходила минута, и еще, и еще. До слез не хотелось выбираться наружу, в это всеобщее прохладное снисхождение, в это равновеликое равнодушие... И главное, она даже самой себе не могла признаться, чье безразличие она хотела бы пробить в первую очередь. Между тем проходила уже по крайней мере десятая «последняя минутка», а Кшися так и не высунула даже кончика носа из-под байкового полосатого одеяла. Уж очень тоскливые мысли лезли в голову последний час — мелочные, не утренние. Такие бодрому подъему не способствуют. И вдруг... Ежки-матрешки! Да как она могла забыть?..

Она спрыгнула на пол, точно попав узенькими босыми ступнями прямо в пушистые тапочки, и заплясала по лоджии, отыскивая разбросанные где попало махровый халатик, полотенце и шапочку. Она же столько дней ждала этого — свою «Глорию Дей»! И сегодня должно было расцвести это бархатистое чайное чудо, чуть тронутое по краям ненавязчивым, едва проступающим кармином... Этот крошечный кустик стоил места под солнцем

четырем капустным кочнам, и право на его существование Кшися отвоевывала с героизмом камикадзе и настойчивостью чеховской Мерчуткиной.

Это был не просто бой за красоту, как определил эту ситуацию Абоянцев, под личную ответственность разрешивший доставку незапланированного розового кустика. На самом деле Кшисе необходимо было живое существо, принадлежащее ей и только ей. И вот сегодня огромный тугой бутон должен был раскрыться...

Между тем жемчужно-серый круг неземного неба, точно очерченный исполинским цилиндром защитного поля, замкнувшего жилище землян совокупно со всеми прилегающими бассейнами, стадионами и огородами, высветился с левой стороны. Там, за непрозрачной изнутри силовой стеной встало невидимое отсюда солнце. Кшися задрала вверх остренький лукавый подбородок, который Гамалей почему-то называл «флорентийским», и попыталась уловить шум просыпающегося города, укрытого непроницаемой дымкой. Через край защитного цилиндра высотой в добрых пятнадцать этажей вроде бы переливался какой-то гул, абсолютно варварский в своей хаотичности. Она не раз морщилась, прослушивая утреннюю какофонию сотен разносортных погремушек, записанную на пленку, но вот в натуре она ни разу не слышала этой ни с чем не сравнимой побудки. А может, она звучала раньше, чем будильник.

Кшися прищурилась, пытаясь на глаз определить, намного ли понизился за ночь уровень защиты. Нет, и этого она уловить не могла. Но раз уж начала думать о том, что лежит за пределами ее гнездышка, значит, проснулась окончательно. «Вставай, вставай, неженка», — сказала она себе.

Она присела на постели и, приподнимая одной рукой тяжеленный узел волос, полезла другой под подушку — за шпильками. При этом ладошка с неопавшей свежей опухолью больно проехалась по чему-то влажному и колючему — ах, и везет же ей сегодня с самого утра! Она резко наклонилась и чуть не ткнулась носом в большой полураспустившийся цветок, лежащий рядом с ее подушкой.

В сероватом влажном полумраке, наполнявшем лоджию, трудно было точно определить цвет, но алые края лепестков означились безошибочно и безжалостно. Получи, мол, с первыми солнечными лучами. Скандалила, с Большой Земли этот кустик полудохлый затребовала — вот и радуйся. И чем скорее, тем лучше. Срезали и принесли, как говорится, на тарелочке с голубой каемочкой — на!

Она схватилась прямо за шипы с несбыточной надеждой — а может, выдернули с корешками? Нет. И стебель еще совсем свеж на измочаленном изломе. Консервированные цветы — тюльпаны, орхидеи — доставлялись сюда не единожды, хотя бы по заказам Сирин, но кому они нужны? Отличить их от естественных, только что срезанных, было делом нехитрым, особенно для любителя. А живые цветы Кшися любила самозабвенно. Дай ей волю — все пространство вокруг Колизея засеяла бы маками и резедой. Вот и этого цветка она ждала, как ждут прихода Нового года или дня рождения... Кшися вдруг поймала себя на том, что внутренне она уже приняла случившееся, почти примирилась со всей нелепостью и жестокостью происшедшего — ну да, для всех ее затея с чахлым кустиком была забавой; чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. А она здесь именно на роли дежурного дитяти. Ребенка поместить в такие условия невозможно, вот и взяли ее, как максимально приближенную к детскому уровню. Так что если даже сейчас она разревется — это никого не напугает. Естественная детская реакция. В сочетании с хрупкой фигуркой и громадными голубыми глазами — очень даже смотрится. Сейчас ей будут носик вытирать...

Внутри словно какая-то пружинка выпрямилась, — Кшися схватила колючий стебель, вылетела на площадку внешней лестницы и помчалась вниз, искренне жалея, что на ней бесшумные тапочки, а не сандалии на деревянном ходу. И пусть вскакивают! И пусть недосыпают! Чтоб им всем!.. Чтоб их всех!..

Свой стремительный бег разгневанной валькирии она задержала невольно, услыхав внизу голоса. Говорили приглушенно, с раздражением:

— Который уже раз на этом самом месте... Отклонение от общей теории развития! А какое, собственно говоря, может быть соответствие, если развитие-то отсутствует? Мы... бр-р-р... все стараемся подогнать Та-Кемт под привычные схемы, формулировки... Все равно что обсчитывать физический процесс, проходящий под углом к нашему времени... бр-р-р... без учета этой разницы в скоростях...

— Вам, ксенологам-экспериментаторам, только бы рубить сплеча, — раздался непреклонный голос Абоянцева, — а теорию пусть создают попозже и где-нибудь подальше.

— Да не делайте из меня экстремиста, Салтан Абдикович, я ЗА, обеими руками ЗА, только не за исключение из общей теории, как разводят эту жидкую кашицу наверху, а за специальную теорию, применимую к Та-Кемту, — если хотите, теорию социостазиса... б-р-р-р...

Гамалей, в полосатых широких плавках, имитирующих древнюю набедренную повязку (красиво, но сохнет дольше), приплясывал на крупном колючем песке, растираясь махровой простыней. Когда Макася занимала бассейн, остальные тактично умывались поодаль, под душевыми грибками, расположенными на выходе со скотного двора. Сейчас, похоже, он бежал к себе на второй этаж — одеваться, но возле самой лестницы ни свет ни заря сцепился с Абоянцевым.

— Теория, голубчик, у нас одна,— примирительно и веско проговорил Абоянцев, пропуская озябшего Гамалея к лестнице.— Одна на весь белый свет. Теория старая, проверенная. Нужно только применять ее с умом. А специальных теорий развития для кемитов не существует, как нет отдельных теорий для кельтов, для туарегов или, скажем, для племени банту. Уж вы-то хоть и не просиживали себе штанов, подобно мне, на теории этногенеза, а должны были бы понимать.

Кшися начала медленно подтягивать ногу, чтобы нащупать позади себя высокую ступеньку,— нет, не по чину было ей присутствовать при таком разговоре. Тем более что она раньше и представить себе не могла, что кроткий и замкнутый, как древний лама, руководитель экспедиции Абоянцев вдруг заговорит таким раздраженным тоном.

Но коса, по-видимому, нашла на камень — тон Гамалея тоже изменился, и Кшися подумала, что так говорить можно только с абсолютно чужим человеком: роняя ледяные градинки слов с высоты своего роста на маленького Абоянцева.

— Ну, раз специальной теории у нас нет и быть не может, а мы все уже здесь и готовы действовать, то незачем тянуть все девяносто дней. У вас ведь есть право сократить подготовительный период до сколь угодно малого срока, и я это знаю.

Кшися замерла. Абоянцев, значит, это может! Они изнывают в своем проклятом колодце, зная, что там, за студенистыми непрозрачными для них степями бьется, как привязанная за лапу птица, другая жизнь, другая цивилизация,— впрочем, цивилизация ли? А они проводят день за днем в бесконечных тренировках, упражнениях, исследованиях, которые ничего уже прибавить не могут. А Абоянцев...

— Да,— сказал Абоянцев,— такое право у меня есть. На исключительный случай. И плохо, что об этом знаете вы...

Он выдержал великолепную паузу, за которой Кшися перестала восхищаться Гамалеем и поняла, что сейчас он будет отменнейшим образом поставлен на место. Но то, что она услышала,

было на порядок страшнее — просто потому, что это было уже не мнение или приказ руководителя экспедиции, а воля тех, кто, оставаясь на Большой Земле, тем не менее распоряжался судьбами всех дальнепланетчиков.

— Так вот,— продолжал Абоящев,— вы меня обязали бы в высшей степени, если бы потрудились забыть о том, что находитесь на чужой планете. Отправляясь сюда, вы прекрасно знали, что весь первый этап пройдет так и в таких условиях, как если бы это было обычным тренировочным лагерем где-нибудь в окрестностях Масепьи или Вышнего Волочка. Мы только готовимся, ТОЛЬКО! — прошу не забывать этого ни на одну минуту. Мы естественно и непринужденно проходим подготовительный период, а то, что аборигены тем временем наблюдают за нами и таким образом привыкают к нам, касается только их, но отнюдь не нас!

Он вдруг шумно вдохнул, со всхлипом, что совершенно не вязалось с его обычным бесшумным, десятилетиями натренированным дыханием, которое не могли сбить никакие тренировки и нагрузки.

— Есть у спортсменов такой опасный момент — перетренироваться,— воспользовавшись случаем, вставил Гамалей уже не так уверенно, как прежде.

— Мы не спортом здесь занимаемся, Ян. И дело даже не в нас. Неделей раньше, неделей позже мы достигнем той степени подготовки, когда защитную стену можно будет сделать прозрачной и с этой стороны — думаю, этот момент совпадет с расчетным. И сама стена медленно и неуклонно, метр за метром опустится так низко.., так, как вы об этом мечтаете. Это все распланировано давно и выполняется благополучно...— голос его зазвучал так уныло, словно он читал эпитафию.— И тем не менее Ян, я только что через «Рогнеду» выходил на связь с Большой Землей, и там сложилось мнение... Да, мнение появилось; знаете ли, у руководства всегда есть свое собственное мнение...

— Ну?..— не выдержал Гамалей.

— Что лучше уж нас отзывать прямо сейчас. Свертывать экспедицию, пока наше пребывание на Та-Кемте может отразиться только на мифотворчестве одного полиса.

— Но почему? — чуть ли не заорал Гамалей.

— И это вы знаете, Ян. Потому что мы не нашли и, скорее всего, так и не найдем ФОРМУЛЫ КОНТАКТА.

— Я вам в сотый раз повторю то же, что сказал на последнем Совете: мы найдем ее там,— до Кшиси долетела волна воздуха, рассеченного широким жестом, несомненно указующим

на непрозрачную стену, — мы найдем ее там, и только тогда, когда сами будем там!

— И я вам повторю то же, что ответил Совет: никто не позволит вам экспериментировать на живых людях.

В ответ послышалось что-то вроде нечленораздельного рявканья, снизу взметнулся средней мощности смерч, и Кшисе оставалось только радоваться, что она успела за это время бесшумно отступить на добрый десяток ступеней, стыдливо пряча за спиной непаглядную свою «Глорию». Радовалась она рано — разъяренный Гамалей, несмотря на кажущуюся тучность, одним прыжком преодолел это расстояние. Удар при столкновении с такой массой, приближающейся к размерам среднего белого медведя, был столь ощутим, что Кшися плюхнулась на ступеньку, а еще точнее — на собственную «Глорию Дей», со всеми ее шипами...

*В рассветный час*
*На плексиглас*
*Нисходят заспанные де-е-ти!..* —

великолепным баритоном на мотив немецкой рождественской песенки «О, таннебаум» пропел Гамалей, простирая мохнатые лапищи и поднимая девушку за отвороты халатика, мгновенно превратившись в прежнего добродушного Гамалея.

— Управы на вас нет, батенька, — ужаснулся снизу Абоянцев, — эдакую ахинею с утра пораньше, да во всеуслышанье!

Всем было известно, что у начальника экспедиции — абсолютный музыкальный слух и утонченное восприятие поэзии. Это уж Гамалей мог бы и запомнить.

— Поскольку, кроме присутствующих, поднялись лишь петухи, то я рискую попортить слух разве что нашему птичнику, — снисходительным тоном продолжал Гамалей. — И вообще, экспромту позволительно быть глуповатым, не так ли?

И каким это чудом у него так быстро переменилось настроение?

Такой взрыв демонстративной веселости, питаемый нерастраченной начальственной энергией, ничего доброго не сулил, и Кшися сделала слабую попытку освободиться.

Не тут-то было.

— А что это еще за тепличко-огородный орден, прелесть моя сливочная, — голос Гамалея, похоже, перебудил уже все четыре этажа Колизея, — вы носите у себя на ягодицах?

Он бесцеремонно повернул Кшисю спиной к себе и принялся выдирать остатки сплющенной «Глории» из хищных махров ут-

реннего халатика. Выдиралось с нитками, и было очевидно, что и с халатиком, как с мечтой о сарафане, придется проститься.

— Цветочек? — проговорил Гамалей с безмерным удивлением. — Стоило с базы тащить...

— Но вы же сами, — не выдержала Кшися, — вы же сами все время твердили, что мы должны быть совершенно естественными, ну, как на Большой Земле. А разве это естественно — все репа да капуста, все для кухни и ничего для души. Разве мы такие? Да что я говорю, вы ведь со мной согласились... И все не возражали... А ночью — вот. Оборвали и сунули под нос.

— Ну, это вы что-то фантазируете, — брезгливо отпарировал Гамалей, мгновенно возвращаясь к своему давешнему раздраженному тону. — Никто ваш кустик тронуть не мог — ни из наших, ни тем более Сэр Найджел или Васька Бессловесный. Ежели желаете, сейчас все спустятся вниз — мы с Салтаном Абдиковичем и спросим.

Кшися замотала головой и сделала попытку незаметно утереться распухшей ладошкой. А действительно, кто мог? Ведь не сам Гамалей. И уж не Абоянцев. Не Меткаф и не Йох. И не Самвел. И не близнецы Наташа с Алексашей. А уж из дамской половины и подавно ни у кого рука не поднялась бы.

И тем не менее. Вчера ее кто-то обрызгал во сне. Чуть-чуть, но на левой руке были непросохшие капельки, а на правой — нет. И самое странное, что это были капельки молока. А три дня назад кто-то подложил ей на столик потерянную зажигалку. Платья ее оказываются иногда примятыми, словно их кто-то перебирал в ее отсутствие. А может — все только кажется?

Она скосила глаза и посмотрела на «теплично-огородный орден», валяющийся на нижней ступеньке лестницы. Ну, да. Всё, включая измочаленный цветок, ей только показалось. И вообще, чтобы объяснить все эти вышеупомянутые ЧП, ей следует признать себя повинной в злостном сомнамбулизме.

— Пропустите меня, — сказала она смиренно. — Мне еще надо луку нащипать к завтраку.

— Лучок с кваском! — возмущенно завопил сверху Алексаша. — Пошто такой рацион, кормилица наша? Не сойти мне с этого места... ой, простите, Салтан Абдикович, не заметили... Доброе утро!

Близнецы, юные и прекрасные, как Диоскуры, сыпались вниз по наружной лестнице, в то время как Абоянцев поднимался.

— Может, кто-то из них? — вполголоса бросил Гамалей.

Кшися беспомощно подняла кверху розовые ладошки — больше, мол, претензий не имею и иметь не буду. И вообще пропади я

пропадом со всеми моими «Глориями». Вам на вашу начальственную радость. И пошла-ка я в огород.

— Она у вас, я наблюдал, все последнее время в землице копается? — словно прочитав ее мысли, неожиданно спросил Абоянцев. — Да? Так вот, голубушка, отпуск вам на три дня. С сохранением содержания. Сядьте себе тихонько на балконе и пошейте новый халатик. Вон у непосредственного начальства простынку махровую изымите, а мало будет — я свою пришлю, у меня в топ, каемочку там пристрочите, оборочку. Ну, одним словом, как вас там на уроках труда учили. Только без Сэра Найджела, а ручками, голубушка, ручками. В три дня управитесь?

— Не управлюсь, — мстительно проговорила Кшися. — У меня по труду завсегда тройка была. Мне неделя надобна.

Абоянцев послушал ее и вздохнул. Отбивалась от рук молодежь. На глазах. На глазах ведь!

— Шейте себе неделю, голубушка.

На дворовой изгороди непристойным альтом заголосил бронзовый жирный бентам.

## 4

Трапезу кончали торопливо. Восгисп молчал — видно, притомился. Но встать и разойтись по делам, обговоренным еще до завтрака, не успели — влетела девка-побегушка из незамужних, за расторопность определенная носить вести с гостевой галереи к старейшим, жрецам, ибо ни один хам переступить порог Закрытого Дома не смел под страхом сожжения ног.

— Маляр Инебел тайну принес! — крикнула она, не успев даже бухнуться на колени перед старцами. — Маляр Инебел просит Неусыпных склонить к нему ухо!

Восгисп махнул побегушке, чтоб вернулась на место, и опершся скользкими от чешуи руками на плечи сидевших рядом. Те бережно приподняли его, повлекли к арыку. В глубине храмового двора мощным фонтаном бил источник, наполняя большой, затянутый голубоватой тинкой водоем. Изредка со дна его всплывали заклятые водяные маки — цветы Спящих Богов, и тогда над поверхностью воды вставали зыбкие тени. Или только чудилось? Ведь и водяные маки каждый видел по-разному: кто серыми, кто совсем прозрачными. Из водоема стекало вниз сорок ручьев — по всем улицам, и никто — ни в лесу, ни в лугах — не волен был пить другую воду. Закон!

Наивысочайшего поднесли к самому широкому арыку, встряхнули — кисти его рук окунулись в воду. Старейший жрец

не торопился, мягчил ладони. Остальные омывались ниже по течению арыка. Уготасп сделал вид, что следует общему примеру, но на самом деле рук мыть не спешил — примеривался, как бы доесть свое, когда старцы на гостевую галерею двинутся. Так и вышло — Восгиспа, отяжелевшего после утренней трапезы, повлекли со двора под руки, и он, проводив толпу сонным взглядом, проворно обернулся к циновкам, за которыми уже пристраивались в свой черед женщины. Он хлопнул в ладоши, торопя нерадивиц, потом послюнил палец и начал подбирать с циновки крупную золотую чешую. Она таяла во рту, оставляя привкус рыбьей печенки и водяного чеснока...

Инебел сидел на земле, на самом солнцепеке, застыв в той смиренной позе, в которой низкородный хам должен разговаривать со старейшими из Неусыпных. Юные побегушки, порхавшие то и дело с крытой галереи во внутренние покои, дабы передать обитателям храма спешные новости, приносимые простыми жителями города, задерживались попарно, а то и по три, чтобы обсудить достоинства согбенного юноши, с самого начала утренней трапезы валяющегося здесь, в рыжей пыли. Высоколоб, узкобедр. Маляр, кажется? Тогда, наверное, умеет придать рукам нежность и не превышающую меры щекотливость.

Инебел шевельнулся, выпрямляя затекшие ноги, на груди брякнула и выскользнула из-под короткого наплечника глиняная выкупная бирка. Это послужило поводом для нового залпа острых словечек и колких замечаний. Ах, сколь пылкий нрав у этого юного хама — изнурять себя двойной работой, лишь бы выкупить у храма право на чужедомную невесту! А ведь невеста, поди... Здесь уже юные аристократки совершенно не стеснялись в выражениях. Хотя нет, почему же невеста обязательно должна быть во сне брыклива и храпуча — есть и среди хамочек увертливые, точно змейки, и тихие, как рыбки. Даже жалко бывает порой, когда такая вот попадает на вонючее войлочное ложе немытого маляра...

А может, выкуп и не за невесту? У хама жгучие глаза, чей взгляд подобен благословенной бесшумной молнии, убегающей от нечестивого грома. Пылкости свойственна мстительность, и вполне возможно, что маляр собирается купить у великих Спящих, коим принадлежит все живое и мертвое, жизнь своего врага? Только пусть уж это будет не собиратель яджиша, а то от них во время всесожжения такая вонь...

Солнце, прожигая платок, раскалило Инебелу темя. Он всеми силами пытался охладить кровь, которая бежала к голове, и это

удалось бы ему, если бы он мог сосредоточиться. Но он никак не мог отделаться от мысли, что рядом журчит прохладный арык, от струи которого, даже не шевельнув пальцем, он мог отделить водяной шарик размером ровно в один глоток и, если бы эти укрывающиеся в тени храмовые вестницы не удостаивали его непрерывным вниманием, мог бы незаметно перенести этот глоток воды прямо к своим губам. Но на него все время смотрят, а делать что-либо, не прикладая рук, считается греховной ленью и наказуется немедленно. Гораздо меньшим грехом было бы попросту встать и напиться из каменного лотка, по которому вода вытекает из-под храмовой ограды, чтобы затем студеным арыком прожурчать по всей улице до самого ее конца — но он не знает, кончилась ли утренняя трапеза в храме и скоро ли пожалуют призванные им Неусыпные, ибо с того момента, когда они появятся на галерее, он уже не посмеет пошевельнуться. Так что уж лучше не терять почтительнейшей позы.

Людей возле него все прибывало и прибывало. Таскуны, сбросившие свою поклажу возле наклонных катков, ведущих прямо в подземные хранилища; просители, не согласные с выделенной им долей за назначенный урок; родители, большей частью глубокие старики, пришедшие справиться о здоровье матерей с новорожденными, и просто любопытные, подслушивающие и подглядывающие возле Храмовища, чтобы разнести любую новость раньше, чем объявит об этом с Уступов Молений глас Спящих Богов. Кольцевая площадь, отделявшая Закрытый Дом от прочих строений города, шумела и пылила.

И вдруг этот шум затих — разом, словно люди остановились на полуслове с открытыми ртами. На галерею из темноты внутренних покоев величественно выплывали Неусыпные, разодетые пестро и причудливо, точно весенние бабочки. Чем старше и плешивее выглядел почтенный жрец, тем пестрее и ярче были его многочисленные платки, передники и наплечники.

— Милостью Спящих Богов низкорожденному позволяется говорить! — раздался дребезжащий голос.— Но не лукавя и не словоблудя. Кратко.

Инебел поднял голову. Перед ним в тени навеса сидел скрюченный больной старик с желтым, подергивающимся лицом. Еще никогда он так близко не видел старейшего жреца, в торжественные дни отделенного от толпы внимающих пологими ступенями святожарища.

— Наивысочайший Глас и Око Богов, именуемый Воспевающий Гимны Спящим, дозволил мне говорить! — Инебел скосил

глаза налево и направо, успокоился — начал он правильно, ничего не переврал. — Имя мое — Инеисто-Белый, что и подобает маляру, духом и телом принадлежащему Спящим. По уроку на семью и уроку за выкуп дано мне было расписывать стены картинами, повествующими о жизни посетивших нас Нездешних Богов. Рисовал я зверей невиданных, золотого и угольного, чьи пасти окаймлены роговищем острым, как у мерзостной ящерицы-гуны, передние лапы осенены опахалами, задних же нет вовсе. Чтобы выполнить выкупной урок, вставал я до рассвета и доподлинно знаю, что и звери чудные поднимались задолго до восхода утреннего светила.

Он остановился и перевел дыхание. Площадь зачарованно слушала, настороженно смотрели прямо ему в рот и жрецы.

— Для того чтобы правдиво изобразить сих нездешних тварей, я должен был постигнуть их суть и назначение. Но мне это долгое время не удавалось, и я смиренно полагал, что диковинные существа своим нелепым видом лишь веселят взор Нездешних Богов... — он вдруг спохватился, что говорит пространно и неподобающе вольно; но никто не прерывал его и не ставил на место, значит, можно было продолжать. — Но вскоре я увидел, что светлое обиталище пришельцев доступно лишь взору нашему, но не слуху, и что по видимости одной судил я о сущности и недвижного, и живого, полагая все равно беззвучным. Между тем чудные звери несомненно издают громкие звуки, ибо боги оборачиваются к ним, когда те разевают свои пасти, взлетев на возвышение подобно пчелам или стрекозам. Крик их должен быть страшен даже Богам, и я видел своими глазами, как сегодня утром одна из Богинь отшатнулась от золотого зверя и заслонила свое блистательное ухо...

Воспевающий Гимны Спящим смотрел на Инебела так пристально, что перестал даже дергать правой щекой. Что ж, пока юноша говорил только: я видел. Но сейчас он скажет: я думаю... И не дернется ли тогда бешеной гримасой желчное лицо, не махнет ли низшим жрецам, чтобы заломили руки смельчаку, чтобы вырезали язык?

Инебел облизнул деревенеющие губы и голосом, из которого он постарался изгнать страх и сомнение, закончил:

— По тому, как звучен должен быть предрассветный крик диковинных зверей, и по тому, как поднимаются после него Нездешние боги, я смею высказать то, что есть тайна, ибо этого нет в наших законах: звери нездешние, золотой и угольный, есть по сути и назначению своему живые «нечестивцы»!

Стон пронесся по толпе, всколыхнулся пестрый сонм Неусыпных. И только Восгисп остался недвижим. Никто не смел молвить слова, пока не высказался старейший, и снова склонившийся Инебел подумал, что теперь тишина затянется надолго.

Но он ошибся.

— Благо тебе, раб и вещь безгласная, принадлежащая Спящим Богам, что не утаил ты ни зерна мысли своей,— скороговоркой, подчеркнуто обыденным тоном проговорил Восгисп традиционную формулу поощрения за тайну.— Не за знание, а за послушание законам причитается награда тебе, ибо тайна твоя нам известна. Но коль скоро не провозглашено было о ней с Уступов Молений, то и тебе, рабу, надлежит впредь забыть о сказанном. А сейчас — приблизься.

Инебел смиренно, не подымая глаз, подполз к настилу галереи, но касаться его не стал, доски — уже само Храмовище, которого низкий люд может коснуться разве что перед гибелью. Замер. Ждал. За спиной глухо роптали — да и как заставишь молчать всех, кто слышал его слова? Ведь в том законе, что алыми буквами написан по всей ограде Храмовища, вроде бы говорится: «Оживут "нечестивцы", и тем кончится срок всему, что есть, и пребудет земля новая, с новым законом». Так заучено было накрепко и передавалось из рода в род, а проверить некому: буквы затейливые с каждой луной маляры подправляют, блеск наводят, только прочесть некому — обучены тому одни Неусыпные.

Что-то сухое и жесткое подсунулось Инебелу под шею, коротким ударом вскинуло подбородок вверх. Думал — дощечка, а это была нога старейшего. Инебел выпрямился. На груди легонько забрякала тонкая глиняная бирка. Сейчас последует награда. Покрывало он уже получил — почетное голубое покрывало, разделенное на восемь клеток, какого не бывало еще ни у кого в их доме. А теперь он получит подушку. Пышную подушку из глубинных несминаемых водорослей, обтянутую переливчатой тканью. Он отдаст это сокровище матери, чтобы весь день прохожие с улицы могли смотреть и завидовать, ревниво оглядывая родительское ложе, возвышающееся под свернутыми в рулон циновками, ложе простых маляров, хранящее теперь эдакое богатство...

Желтая скрюченная рука протянулась к нему, ухватила бирку и дернула. Шнурок лопнул, а шея сзади заныла, как от тупого пореза.

— Имя?! — спросил, как приказал, старейший жрец.

Инебел похолодел. Сердце его забилось так, словно при каждом ударе падало до самой земли и, отскочив, подпрыгивало до

горла. Еще недавно он ждал этого не как благостыни, а как спасения. А теперь не мог, не хотел шевельнуть губами.

— Имя!!!

И, словно выдернутое, выцарапанное откуда-то изнутри этим властным окриком — еще недавно такое желанное:

— Вью...

Сложенные щепотью желтые пальцы ударили по бирке, со скрипом вырисовывая на вощеной поверхности три непонятных значка.

## 5

На перилах лоджии, болтая ногами и прихлопывая в такт по коленям, сидели рядком Наташа, Алексаша и Самвел. Не зная слов, тянули старинную мексиканскую песню: «...ляй-ля-ри! ра, ли-ра-рус-са...» В три голоса получалось вроде бы ничего, но Кшисю не удовлетворяло:

— Трио «Лос панама дель шляп-па». Для таких песен надо иметь бабьи голоса...

— Всегда готовы! — гаркнул галантный Самвел, за что получил от Наташи острым локтем в бок.

При каждом возгласе он имел обыкновение воздевать вверх свои легкие смуглые руки, колеблющиеся, словно языки черного пламени, в неописуемой ширине рукавов его постоянной, как униформа, аспидной рубашки, но на сей раз его не лишенный театральности жест сослужил ему дурную службу. Сколько бы они все ни делали вид, что ведут себя естественно и непринужденно, болтая ногами и распевая песни всех времен и народов, никто ни на секунду не забывал про проклятую защитную стену, за которой только и начиналась их судьба — Та-Кемт. Они знали, что стена опускается, делаясь все ниже с каждым днем, с каждой минутой, и поднимая голову, каждый невольно старался угадать, уловить неприметное таянье туманного кольца; с таким же успехом можно было следить за движением часовой стрелки.

Запрокинув голову, Самвел на какой-то миг утратил равновесие и, опрокинувшись навзничь, уже исчез было за перилами, но вовремя был отловлен Диоскурами и водружен на место.

— Не следует мешать естественному течению событий, — наставительно заметила Кшися, принципиально перекусывая нитку зубами, чтобы еще раз подчеркнуть, что по труду у нее была-таки тройка. — Судьба постоянна в своей мстительности. К тому же Салтан Абдикович обожает различные демонстрации, а госпитальный отсек у нас так и не задействован.

— Но, но, накаркаешь, — предупредил Алексаша. — Кончила?

— Не-а, — не без злорадства сказала Кшися. — Но подворачивать буду завтра. А швы обметывать — послезавтра. Пусть Гамалей без меня помучается.

Нельзя сказать, чтобы она не любила рукоделышчать, скорее наоборот; но одно дело — возиться с кантиками и бантиками на уже готовом костюме, раскроенном и сшитом домашним полуавтоматом, а другое — выполнять самую грубую работу, орудуя ножницами и иглой совсем как в средние века.

— Ну, кончила, не кончила — идем вниз, постукаемся, — распорядился Алексаша.

Кшися давно уже заметила, что в абсолютно идентичной на первый взгляд паре Диоскуров распоряжается всегда именно он. А больше делает, соответственно, Наташа. Правда, последнее требовало проверки — Диоскуры были техниками по связи, и практически Кшися за работой их и не видела.

Между тем солнце давно уже перевалило за полдень, начало рыжеть и, как всегда неожиданно, провалилось в мутноватую прорву за верхней кромкой ограждения — словно и не было безоблачного тропического дня. Размытая теневая черта быстро поползла от стен здания станции к восточному сектору, занятому Кшисиными делянками. Дом этот, возведенный по особому проекту, напоминал древний Колизей — круглое сооружение в четыре этажа и без внешних стен. Жилые комнаты, лаборатории, кухня, даже зал заседаний — все это аборигены Та-Кемта могли наблюдать через защитную стену, которая извне была абсолютно прозрачна.

Девяносто дней напряженнейшего последнего этапа подготовки экспедиции были перенесены сюда, прямо на окраину одного из немногочисленных кемитских городов, и по твердому априорному убеждению Большого Совета за этот срок кемиты должны были привыкнуть к таким похожим на них пришельцам с далекой Земли.

Но они не привыкали. Они попросту перестали интересоваться ими...

Сбегая по лесенке, вьющейся вокруг внешней колонны, Кшися мысленно корила себя за радость, с которой она согласилась на три дня вольной жизни. Не до воли! Вон Самвел — нашел какой-то минерал, на Земле неизвестный; клянется, что отменное удобрение. Нужно выпросить у Самвела хотя бы горсточку и попробовать на своих грядках, и кончать с этим огородным геоцентризмом — петрушкой да морковкой, а самыми форсирован-

ными методами окультуривать тутошние корешки. С этими надвигающимися холодами кемиты просто вымрут от голода, если не научатся огородничать. Тем более что и учиться-то они не очень хотят. Поглядишь видеозаписи — так нарочно воротят носы от их станции. При такой тяге к обучению...

Воспоминание об утреннем разговоре, нечаянно подслушанном на этих самых ступеньках, укололо реальной тревогой. А ведь могут и прикрыть станцию, отозвать на Большую Землю. С Галактического Совета станется, там полным-полно перестраховщиков и обдумывальщиков с бородами, как у Черномора. Не найдено «формулы контакта» — и баста! Погасят видимость с той стороны, ночами перетащат оборудование на «Рогнеду», сам Колизей аннигилируют, и в одно прекрасное утро проснутся кемиты — и нет ничего, лужок с газонной травкой. Несколько веков будут рассказывать детишкам: «И привиделось нам диво дивное...» — и тихохонько вымирать от голодухи и неистребимых наследственных болезней.

А доблестный экипаж несостоявшейся экспедиции будет все тренироваться и тренироваться аж до посинения дна глазного яблока, а все земные Гамалеи и Абоянцевы будут заседать в поисках своей формулы...

— Что вы, Кшисенька? — скрипучим голосом осведомилась Аделаида, обгоняя девушку.

— Так. Тоска по родине.

— Ну-у-у, вот этого уж нам совсем не следует демонстрировать...— и проследовала вниз, четко вколачивая высоченные каблуки в многострадальные ступеньки и похлопывая по перильцам аккуратно завернутыми в синтериклон кроссовками.

И поделиться-то ни с кем нельзя — подслушанное не передают. Даже если услышал нечаянно. Так что прими, голубушка, вид естественный и непринужденный, и — на стадион, «стукаться». Абоянцев и так уж всех допек со своими «демонстративными» видами спорта — баскетоном, футой, ретроволейболом. А то, что она по два часа тренируется по всем видам древней борьбы — то с Алексашкой, то с Меткафом, — это не в счет. Потому как это, естественно, происходит в «колодце», то есть центральной части здания, где расположено все то, что аборигенам видеть не следует.

Так что хочешь не хочешь, а пришлось играть.

Впрочем, какая это была игра? Собралось девять человек, да и то после сурового окрика Абоянцева. Последний, кстати, лучше бы и совсем не становился — и не отчитаешь его, и не прикрикнешь в критической ситуации. Гамалей, правда, не стеснялся, но его,

как игрока экстракласса, ставили против Васьки Бессловесного, программу которого жестко ограничивали по скорости и высоте прыжков. Алексашу и Наташу приходилось разводить по разным командам, чтобы не создавать заведомого перевеса, а слабый пол ввиду низкой квалификации только увеличивал неразбериху на площадке. Короче, игра сводилась практически к поединку Васьки с Гамалеем, а если добавить, что судила матчи Макася, метавшаяся между площадкой и кухней с вечно подгорающим ужином, то ничего удивительного не было в том, что волейбол из здорового развлечения превращался в унылую повинность.

Да и Кшисино настроение, омраченное невозможностью поделиться сведеньями о надвигающейся катастрофе, необъяснимым образом передалось всем окружающим, так что за вечерний стол, заботливо накрытый Макасей (роботам не дозволялось коснуться даже краешка скатерти), уселись в неуемной тоске, словно продули не самим себе, а по крайней мере сборной Куду-Кюельского космодрома, позорно вылетевшей в этом сезоне даже из лиги «Б».

— Если Наташа с Алексашей не перестанут лаяться через сетку,— ультимативным тоном заявила Кшися,— то я вообще играть не буду.

— Это почему же? — Абоянцев на корню пересекал все антиспортивные выступления.

— Они как сцепятся, так пятнадцать минут стой и мерзни. А когда стоишь, вечно кто-то за ноги кусает. Куриные блохи, наверное.

Аргумент озадачил даже начальство.

— А почему меня не кусают? — спросил Гамалей.

Получилось глупо, Диоскуры (благо не их начальство) фыркнули.

— Инстинкт самосохранения,— шепнул Алексаша.

Йох, начисто лишенный чувства примитивного юмора, удивленно поднял белые брови. Самвел пихнул Алексашу локтем в бок — расквитался-таки за давешнее.

Абоянцев вытащил из заднего левого кармана блокнотик, сделал пометку:

— Аделаида, голубушка, придется вам провести ионную дезинфекцию.

— Не далее как две недели назад...— тощая бесцветная Аделаида имела обыкновение замолкать на половине фразы, словно экономила энергию.

Но говорила она всегда столь примитивные вещи, что ее все понимали.

— И черви передохнут, — вставила тихонечко Кшися. — В верхнем слое, по крайней мере.

— Дезинфекцию начнете завтра, сразу после завтрака. — Абоянцев вложил карандашик в книжечку, сунул ее было в задний правый карман, но спохватился — правая половина всех его карманов, как это было всем известно, предназначалась исключительно для вещей и записных книжек личного характера.

Спохватившись, переложил в левый.

— Мария Поликарповна, матушка, кого мы ждем?

— Да я ж... — спохватилась Макася.

Кухня и столовая располагались на первом этаже, разделенные прозрачной перегородкой, через которую в просветы между здешними пальмочками, угнездившимися в традиционных кадках, было видно, как кашеварит Сэр Найджел. Сначала Макасе придали Ваську Бессловесного, но Макася под угрозой забастовки вытребовала себе антропоида повышенной сложности, мотивируя это тем, что у Сэра Найджела всегда можно получить членораздельный ответ, что и когда он солил.

Надо отдать должное — готовил этот, как выражался Гамалей, «феминоантропоидный тандем», превосходно.

Сэр Найджел выкатил тележку с тарелками из кухни, степенно проследовал по голубому асфальту, окаймлявшему Колизей, и втолкнул тележку под сень пальмочек.

— Крабовый салат всем, — доложил он скрипучим голосом, — тринадцать азу, одни пельмени с капустой, по-казацки.

— Чьи пельмени? — спросил Гамалей. — Я бы поменялся.

— Между прочим, я тоже, — пробасил Йох.

— Тогда нас трое, — буркнул Меткаф.

— Пятеро! — крикнул Алексаша. — Но это в добавление к азу!

— Я бы, конечно... — протянула Аделаида.

— Едоки, чьи пельмени?

— Пельмени мои, — сказал Абоянцев. — Давно ожидал тихого бунта, но никак не думал, что это будет гастрономический бунт.

Все притихли.

— Сэр Найджел, — по-хозяйски повелел Гамалей, — соблаговолите-ка приготовить порций пятнадцать казацких пельменчиков, да поживее!

Абоянцев сердито на него покосился:

— На первый раз прощаю, но прошу заметить, батюшка, что антропоидное время дороже, нежели консервы. Поэтому прошу продумывать меню и изменения вносить, как положено, не позднее, чем за полчаса до принятия пищи.

Антропоид скрылся в холодильной камере, но аппетит, кажется, был всем попорчен: педантичное замечание начальника экспедиции подействовало, как позавчерашний соус.

— Между прочим, приближается день рождения Марии Поликарповны, — уныло, как о готовящейся ревизии, предупредила Аделаида. — Почему бы не запланировать...

Кажется, это был единственный случай, когда реплика врача вызвала восторженную сенсацию. За сравнительно короткое время было выдвинуто незафиксированное количество предложений; вполне удовлетворивших начальника экспедиционно-исследовательской группы.

Разрядка действительно была необходима, но вот сколь быстро общее уныние достигнет прежнего уровня, после того как догорит именинницкий костер, будет съеден именинницкий пирог и допит именинницкий пунш?..

Зазвонил столовский будильник — девятнадцать двадцать пять по местному времени. Пора на вечерний урок.

Непринужденной, как всегда, неторопливой вереницей подымались на третий этаж, в «диван». Поначалу это была типовая классная комната со столами и стульями, с доской и магнитофоном. И одним диваном. Но вскоре из-за мест на диване начала ежевечерне возникать упорная возня. Абоянцев хмурился, и тогда в классной комнате явочным порядком стали появляться диваны и исчезать столы. Абоянцев промолчал, потому что так и не смог понять — то ли это естественная потребность уставших за день людей, то ли микробунт.

Сирин Акао заняла свое место за единственным уцелевшим столом. Никто не знал, откуда она родом — к Сирин не очень-то подступишься с вопросами. Похожа она была на абстрактную восточную принцессу — вся в ярких шелках чистых контрастных цветов, до неправдоподобия миниатюрная во всем, кроме ресниц и узла иссиня-черных волос — они огромны или, во всяком случае, таковыми кажутся. Но это — пока она молчит. Стоит Сирин заговорить, как ее изящный яркий ротик становится квадратной пастью, из которой торчат крупные квадратные же зубы. Это выдает несомненную японскую ветвь в ее происхождении, но вынуждает девушку к молчанию и неулыбчивости. Ребята попробовали было назвать ее «мадам Баттерфляй» — не привилось.

Сирин Акао воздела крошечные ладошки, трижды хлопнула:

— Благо спящему!

— Благо спящему! — отозвались все нестройным хором, но уже по-кемитски.

— Натан, прошу вас. Вы поутру встречаете на улице своего друга... Алексей, прошу и вас. Утренний диалог, как всегда.

Это была обычная разминка — словарный запас языка Та-Кемт был заложен у каждого из них гипнопедически, но тренироваться нужно было ежедневно. Тренироваться, не зная толком, когда на Земле примут хотя бы принципиальное решение о возможности непосредственного контакта...

«Благо спящему!» — «Благо стократ». — «Почивала ли твоя семья с миром?» — «С миром и с храпом...»

— Алексей! Храп считается серьезным физическим недугом, ибо нарушает тишину. Поэтому, если угодно: «НЕ с миром, НО с храпом». Хотя о таких вещах, по-видимому, принято помалкивать. Продолжайте.

Традиционный диалог продолжался.

«Как почивали отец и мать?» — «Сон их спокоен и мудр». — «Как почивали братья и сестры?» — «Во сне они приобщались к мудрости богов». — «Был ли крепок сон дядюшек и тетушек?» — «Моей престарелой бабушке паук опустился на нос, и она от страха...»

— Алексей! В Та-Кемте пауки — милые домашние зверушки, вроде наших хомячков. Их никто не боится.

Сирин-сан начинает сердиться, и напрасно. Иначе ведь от этих усыпляющих диалогов действительно кто-нибудь уснет! И как только эти кемиты могут разводить подобную нудятину с утра пораньше! Ведь это начисто снимает всю работоспособность. Ах, да, диалог... «Моей престарелой бабушке приснилась невеста ее младшего правнука. Она, то есть невеста, а не бабушка, была бела, как сметана, и проворна, как кошка...»

— Фу! — закричали все хором, а Кшися — громче всех. Плагиат, даже на примитивном наречии Та-Кемта, здесь не поощрялся.

Приходилось поправляться. «Девушка была смугла, как грецкий орех изнутри...» — «Как звали эту девушку?» — «Ее звали Сиреневый Инкассатор» (это уже на земном).

Сирин слегка краснеет, сердится. Когда она сердится молча, она очаровательна.

— Алексей, вы отвечаете прегадко. Я поражена. Йохани, ваш сон, пожалуйста.

«Мой сон благоволящие ко мне Боги наполнили благоуханием весенних цветов, кои срывал я для увенчания костра всесожжения. Почтеннейший Неусыпный снизошел принять от меня корзину с цветами, кои вознес...»

— «Кои вознесены были». Это типичный оборот. Прошу дальше.

— «Кои вознесены были на вершину Уступов Моления... э-э... дабы они сожжены были... э-э... во ублажение... то есть во услаждение... Спящих Богов».

— Во, должно быть, вонища!..

— Прошу вас заметить, Натан, что рассказам о снах натурализм не свойствен.

— У меня такое ощущение, Сирин-сан, — проговорил Гамалей, — что сны большей частью выдумываются. Уж очень они однотипны, высоконравственны, что ли.

— ...Не исключено, — кивнул Абоянцев. — Кстати, Сирин-сан, в ночной почте две любопытные рамочки прибыли. Вы бы нам перевели их, голубушка...

— Разумеется, Салтан Абдикович.

Заела, зазвенела в магнитофоне пустая нить; все молча, выжидающе смотрели на вращающуюся рамочку.

Между тем сиреневые сумерки наполнили узкую учебную комнату, расположенную, как и все помещения Колизея, вдоль открытой лоджии. Небо было розовато-цинковым, как всегда, когда садится солнце и из-за горизонта вываливается чудовищная по своим размерам, голубоватая, испещренная царапинами и щербинами, луна. Подымается она невысоко, и для того, чтобы увидать ее, приходится забираться на верхний этаж Колизея, а еще лучше — на крышу. Сюда, в «диван», прямой свет ее не проникает никогда, и только траурное лиловое мерцание близкого неба наполняет в эти вечерние часы всю огромную чашу станции невыразимо печальным мерцанием, столь явственно ощутимым, что оно воспринимается как материально существующая, овеществленная безнадежность.

— Вы будете переводить, Кристина, прошу... — быстрый шепоток Сирин Акао и кивок-полупоклон в сторону Кшиси.

Кшися стискивает пальцы, напрягая внимание, а нежный, с придыханием, голосок, удивительно напоминающий ее собственный, тихо и певуче вырастает из серебристой чашечки магнитофона. Кшися переводит, не запинаясь — это ей дается легко, и два девичьих голоса звучат в унисон:

— «...переполнится мера тяжести вечернего неба, и пепел нашей печали упадет на город и задушит живущих в нем..»

Взахлеб, по-бабьи, вздыхает Макася. И все замирают — настолько созвучны слова эти невесть откуда взявшейся щемящей томительности. Лиловые липкие сумерки, и до утра — ни маячащего вдали костра, ни звезды на горизонте...

— Кто-нибудь там, помоложе, да включите нормальный свет! — не выдерживает Абоянцев.

Сирин приостанавливает звук, пока комната наполняется привычным золотистым светом. И снова голос — только теперь мужской, и Кшисин торопливый шепоток:

— «Нет вечера без утра, питочка моя, бусинка моя; но только нет мне и дневного солнца без вечернего взгляда твоего. Темна и росиста ночь, только без вечернего слова твоего мне ни тьмой накрыться, ни сном напиться...» — Кшися вдруг вспыхнула и беспомощно огляделась — да нужно ли, можно ли переводить такое?

Все молчали, понурясь.

— «Руки мои скоры в своем многообразии, мысли мои придумчивы в повелении рукам; согласись только — и я откуплю тебя у Закрытого Дома!» — «Не Закрытому Дому, а Спящим Богам принадлежит все сущее...» — «Когда откупал Инебел сестру твою, не Богам он платил, а жрецам, прожорливым и ненасытным». — «Блаженство есть сон, а не сытость...» — «Блаженство — это стоять в сумерках у ограды и слышать, как ты сзываешь своих младших, а они разбегаются с визгом по всему двору, и ты ловишь их, и купаешь их с плеском, и гонишь их, смеясь и припевая, в спальню, а потом все стихает, и вот уже шелестят кусты, и ветви у самой ограды раздвигаются, и руки твои ложатся на побеленные кирпичи... Разреши мне выкупить тебя!» — «Спящим Богам угодна неизменность. Инебел откупил сестрицу Вью, она собрала платья и посуду, и сложила корзину, и омылась настоем из пальмовых игл, и вот ждет она уже четыре дня, когда он придет за ней, и блаженства нет во взоре ее, и в плечах ее, и в руках ее занемевших...»

Снова тоненько поет пустая нить. Сирин Акао медлит выключить звук, словно что-то еще может добавиться, словно что-то еще может перемениться.

— А вышеупомянутый Инебел, вероятно, порядочный шалопай, — приподняв брови, констатировал Магавира.

— Зачем шалопай? — взорвался Самвел. — Сволочь он, вот кто. Таких надо...

Стремительные руки его, взметнувшиеся вверх, выразительно сомкнулись.

— Да? — сказала Кшися. — Быстрый какой! А если этот Инебел только сейчас и полюбил по-настоящему, тогда что? Между прочим, Ромео тоже бросил свою Розалинду!

— И я не слышал, чтобы кто-нибудь его за это обсволочил, — эпически заметил Гамалей.

— А чем это все кончилось? — крикнул Самвел.

— Спокойствие, молодежь, — вмешался, наконец, Абоянцев. — Между прочим, мы слышали с вами не пьесу...

Все разом притихли, словно там, за перилами лоджии, замаячил в густом ультрамариновом сумраке островок собственной судьбы.

— И то правда, — снова вздохнула Макася, — только когда мы туда, к ним-то пойдем, нас навряд ли так полюбят...

— Прошу продолжить урок, — встрепенулась Сирин. — Мария Поликарповна, ваш перевод следующий. Пожалуйста, прошу. Храмовый комплекс, внутренние личные покои. Пожалуйста.

На этот раз оба голоса были мужские, говорили отец и сын.

— «Тащи, тащи — забыл про мешки, теперь что ни ступенька, то память. А то наел себе брюхо, в любимчиках ходючи!» — «Тебе бы такая любовь, когда с утра все лягнуть норовят. Благо еще, у старейшего ноги окостенели, высоко не задрать...» — «Да чтоб он тебе все по пояс отлягал, дармоед, дорос по бабам скучать, а сам...»( Ой, дальше совсем несказуемо!) — «Так жену бы мне, отец, я бы и поворотливее стал, на колокол Чапеспа приладил бы. Ходили бы мы с тобой вместе уроки проверять, благостыней одарять...» — «Соблазняешься баб по чужим дворам щупать?» (Ох, попереводил бы хоть Йошка, мужику не так срамно.) — «Да мне бы с моим брюхом свою, собственную...»

— Дальше непечатно и непроизносимо! — заорали хором Диоскуры.

— М-м... а дальше так: «А где я тебе собственную возьму — рожу да выращу? В дому не подросли, разве что... выкупил тут один хам себе хамочку. Да не берет к себе, чешется, на Нездешнюю обитель глядючи».

— Хм... — донеслось со всех диванов одновременно.

— Чего — хым-то? На меня загляделся, не иначе, — отпарировала Макася. — Так... «По закону, отец, ежели за обе руки дней... (десять, значит) не возьмет он ее себе в дом — храму отойдет?» — «Не распускай губы-то, не храму — Богам. Боги и распорядятся. Чапеспу и то достойней — при деле он, не при звоне». — «А я, значит, чтоб меня...»

— Непечатно, непроизносимо! — рявкнули Диоскуры.

— Спасибочки, выручили. «Я, значит, мешки наверх таскаю — и не при деле?» — «А как наверх все перетащишь, в город пойдешь, хамов слушать. Костер-то не даром складывать велено, до дождя успеть надо. И не болтуна-дармоеда, как в прошлый раз, а помоложе, да из таскунов, а то так и из лесоломов. Соображай». —

«Знаю одного, мыслею рукоблудствует, но ткач». — «Невелика храму поруха — мыслею нить удержать...» Бессмыслица какая-то, а?

— Как хотите, Салтан Абдикович, а это — прямое указание на телекинез. Способности аборигенов безграничны...

— Опять вы, Гамалей, за свое. Мистика, батюшка. Телекинеза в природе не существует, одни сказки. И не прерывайте урока.

— Долго там еще? Я женщина слабая, беззащитная, чтоб часами целыми эдакое переводить. И то сказать, отцы города, а собачатся, как на рынке...

— В Та-Кемте не существует свободной торговли, — наставительно замечает Абоянцев. — А что касается лексики, то язык простолюдинов, как ни странно, богаче и поэтичнее...

Низкий звук зуммера прерывает его. Обычный вызов сверху, и басок Брюнэ: «Станция "Рогнеда" вызывает Колизей. На связи "Рогнеда". Колизей, заснули?»

— Я — в аппаратную, Сирин-сан, мое дежурство! — Наташа срывается с дивана и, приплясывая, исчезает в ребристой нише, словно просачивается сквозь стену. Аппаратная, как и многое другое, расположена внутри Колизея.

Абоянцев смотрит вслед почти что горестно — набрал себе ребятишек, ишь сколько радости с урока удрать...

Сирин Акао в который раз запускает нескончаемую рамочку.

— «Не хочешь ткача — можно подловить и змеедоя, — скороговоркой бубнит Макася, — благо в последнее время они что-то с благоговением подгоняют стада к Обиталищу Нездешних. Ежели с благоговением, то пускай себе. Пока». — «Тогда не пойму, отец...» — «А ты потужься, пока мешки таскать будешь. Я тем временем тому хаму, мазиле, новый урок дам — внешние стены размалевывать, как раз супротив Обиталища. Пусть глаза пялит, про выкуп не вспомнивает. А ежели и впрямь Богам отколется...» — «Как завтра звонить буду, так и шепну старейшему...» — «Я те шепну, хайло змеиное, я те подам голос поперед отца, блево...»

— Дальше непечатное, непроизносимое!!! — за двоих возопил Алексаша.

## 6

Гнев или милость? И гнев, и милость. Горе или благо? И горе, и благо.

Раньше такого не было. Уж если приходила беда, то горько было всей семье, бились, как могли, терли краски под вечерним солнцем, убегали белить стены с первыми лучами

светила утреннего — не ели, завтрак приносили сестры уже позднее, и съедать его приходилось на улице, прижавшись к еще не крашенному забору и прикрываясь сестриной юбкой, чтобы посторонние не увидели сраму — ненасытства окаянного. Рук отмочить не успевали, но выбивались, справлялись с уроком, и начиналась другая пора — блаженство сытости, ненатужной, размеренной работы, и главное — сладчайшего сна, с шорохом недавно выстиранного одеяла и сладким духом луговых трав в свеженабитом тюфяке. Счастье, полное и несомненное, снова поселялось в доме.

Странное дело: раньше его желания возникали только для того, чтобы быть исполненными. Хотел есть — насыщался. Хотел спать — садилось вечернее солнце, и с полной темнотой приходили сказочные грезы. Даже тогда, когда желание превышало меру обычного, он твердо знал, что справится, что снисходительные Боги вложили в его сердце несбыточное стремление лишь для того, чтобы дать работу неиссякаемой изощренности его рук. Так он пожелал себе в жены нежную светловолосую Вью — и не минул еще срок двойных уроков, как верховный глас уже освободил его от трудов дальнейшего выкупа.

Но только не нужен ему теперь дар Неусыпных...

Перевернулось все, покатилось, и теперь бы не есть, не спать — только знать, ЧЕГО хочется, да так, что утреннее солнце горше полыни, а вечернее — злее терновника.

Ведь не желает же никто и в самый жаркий из полдней надышаться студеной водой из арыка, не желает никто и в самый голодный вечер напиться туманом с лугов... Так почему же тогда тянется взор его к дивно мерцающему колоколу — Обители Нездешних Богов?..

— Инебе-ел! — тихонечко, полувопросительно окликнули его.

Он затряс головой, прогоняя неотвязные мысли. Сестренка Апль, мосластая, вытянувшаяся не по возрасту, нескладеныш в одной только нижней юбке, с неприкрытыми плечами, зябла перед ним с двумя лубяными туесками в руках.

— Много набралось?

Вместо ответа Апль присела, так что угловатые коленки оказались чуть не выше ушей, и поставила туески на землю. Каждый был наполнен до краев прозрачными застывшими наплывами пальмового сока. Инебел колупнул выпуклую корочку — сок твердел быстро, через несколько дней его будет и не разогреть, отдавай тогда точильщикам на бусы.

— В жесткий лист заверни да расколоти помельче, а на ночь закопай под теплые уголья. Да предупреди мать, чтобы не разожгла очага, не вынув смолку... Апль!

Он поймал сестренку, уже успевшую перекрутиться на пятке не меньше трех раз, и снова усадил ее перед собой на корточки. Она разом притихла и, угадывая подарок, задышала часто-часто, как ящерка.

— Сейчас, сейчас.— Инебел рылся в складках передника, отыскивая потайной карман.— Не потерял, не бойся...

Пальцы его наткнулись на острый край черепка, но, отвердевшие от постоянного толчения краски, почти не почувствовали боли. Этот черепок он подобрал, валяясь в пыли перед Храмовищем. Был он покрыт вишнево-красной глазурью — таких не делали ни в доме Аруна, ни во второй гончарне, расположенной на другом конце города, где дома стояли уже на самом подножье паучьих гор. Видно, был это горшок или кувшинчик из тех, что приносили долгие таскуны из соседнего города, дважды в год доставлявшие закрытые наглухо корзины в огромные глинобитные казематы, расположенные под Уступами Молений. Никому не положено было знать, что приносят и что уносят долгие таскуны, но по той бережливости, с которой жрец, опекающий их дом, отмерял ему белый порошок, именуемый «моль», Инебел догадывался, что это — дар соседнего города. «Моль», растворенный в яичном белке, давал чудную полупрозрачную краску, отливавшую радужными переливами, и тратить ее разрешалось только тогда, когда надобно было изобразить лики Спящих Богов.

Между тем Апль налюбовалась подарком и, подпрыгнув, словно лягушонок, повисла на шее у Инебела.

— Ты мой старшенький-беленький, ты мой беленький-лапонький, ты мой лапонький-добренький,— торопливо шептала она, немилосердно щекоча его щеку жесткими длинными ресницами,— чтоб тебе всегда мне дарить, чтоб мне никогда слез не лить, с домом не расставаться, паутиною не застилаться...

— Брысь,— сказал Инебел, стряхивая с себя девчушку. Одна рука была в смоле, другая — в толченой краске, а то в самый раз задрать бы этой пигалице юбчонку и всыпать пару звонких, чтобы не совала свой конопатый нос во взрослые дела. Слезами, видите ли, обливаются. Паутиной застилаются. Известно — кто.

А подумали, каково ему?

Он опустился на колени и с удвоенным рвением принялся тереть синюю окаменелую глину в каменной лунке. Тяжел первый день из десяти, или «левый мизинчик». В других домах легок, у красильщиков — хуже нет.

До десятого, расчетного дня надо заготовить красок, чтобы каждое утро только разводить ту или иную — по надобности.

Вот и собирается весь дом от мала до велика, трет, толчет, просеивает. Не управились до вечернего солнца — при голубом свете приходится спину гнуть, когда все в городе уже ужинают, языки чешут, по соседям разгуливают. А тут за весь день кроху малую в рот кинуть некогда, разве что под вечер кто-нибудь из женщин проберется в едальню, выкопает из-под золы вчерашние тепловатые куски и разносит, начиная с детишек, да еще и юбкой загородит, чтоб ненароком кто-нибудь с улицы не увидел такого срама — жевать у людей на виду. Старшим ничего, привыкли, а вот тем, кто поменьше, не больно-то сладко целый день не разгибаться, да еще и впроголодь. Так и хочется разогнуться, руки отмочить, но нельзя: сегодняшнее на завтра отложишь, завтрашнее — на послезавтра, так и пойдет, а оглянуться не успеешь — десятый день, жрец Неусыпный калиткой скрипит, идет проверять урок заданный. На сколько дело не доделано, на столько вся семья меньше корма получит. Так заведено. Кем? Когда?

Отец говорит — всегда так было. Спящие Боги, мол, завели, хотя только и дел у Спящих Богов — последними малярами заниматься. Есть закон для всех, вырезан он буквицами неведомыми вокруг всего Закрытого Дома, по внешней ограде. Что ни сезон, ограду белят, а углубления красной краской промазывают, словно для того, чтобы читать сподручнее было. А кому читать? Одни жрецы это и умеют, хамам же — не заведено. А жрецы и так весь закон наизусть помнят. Но что заведено, то неизменно.

Размеренно бьет окаменевшая, не чувствующая боли рука, голубое облачко пыли попыхивает при каждом ударе и тут же оседает обратно на камень. Хорошо, просеивать не придется. А еще лучше — мысли все время здесь, внутри двора, дальше он просто не позволяет им забегать. Стук-стук. Пых-пых. Готово. Он с наслаждением выпрямился, ссыпал порошок в оплетенный горшочек, прикрыл листом и замотал длинной травиной. Правая неразгибающаяся рука сильно мешала, но побоялся сперва ее отмочить — вдруг ненароком ветер дунет, вон ведь и голубое солнце взошло. Холодом с полей потянуло, змеиной сыростью. Он отнес краску отцу, молча поставил на землю, пошел за ограду, к смывному арыку. Сел на край, ногами уперся в противоположный каменный бортик, руки свесил между ног, чтобы кисти в воде были. Журчащая, стремительно обтекающая его непослушные руки вода сначала воспринималась только на слух. Теперь надо сосредоточиться на самых кончиках пальцев, представляя себе, как они становятся мягкими, теплыми, гибкими. Вот такими. Ага, появилось осязание — кольнула щепка, вынырнувшая из-

под мостка. И щекочущая прохлада. Но по мере того, как отходили, оттаивали руки, неизбывная вечерняя тоска наливалась в нем, как тяжелая нутряная боль. Так и знал, так и видел он перед собой — перескочи сейчас улицу, прижмись к полосатой ограде, что напротив, и встанет перед тобой, словно сон, словно воспоминание, заповедный нездешний колокол, наполненный мерцающим сияньем, сбереженным от ушедшего дня.

Сколько уже раз, позабыв о вечерней трапезе, мчался он вниз по улице, обгоняя стремительную воду арыков, и вырывался в поле, где уже не было дороги, и, как всегда неожиданно, натыкался на невидимую преграду — и замирал, не в силах постичь этого воплощенного единения ближайшей близости и недоступнейшей недоступности. И тогда, прислонясь горячим лбом к этой прозрачной, как дыхание, стене, он проклинал и сказочное обиталище, где бесшумно снуют друг над другом Нездешние Боги, и диковинных зверей, и свет обоих солнц, чудным образом сохраняемый в прозрачных горшках; но пуще всего, злее всего проклинал он ту, что была всех белее, всех тоньше, всех невесомее — словно перистое облако в час, когда встречаются лучи утреннего и вечернего светил.

Проклинал и давал себе слово никогда больше не приходить сюда, к обители безучастных, молчаливых Богов.

Но на следующий день снова опускался лиловый вечер, и не было силы, которая удержала бы его...

— Инебе-ел!

Цепкие ручонки обвили сзади его шею, пальцы длинные-предлинные, ласковые.

— Я посижу с тобой рядышком, старшенький-беленький, я отмою стеклушечку, я снесу ее в свою хоронушечку... Хорошо я приговариваю, складно? А-а! Тебе краски тереть, а мне складно петь. Меня, может, за песни ласковые в самый сытный дом откупили бы, да не судьба. Придет теперь конец всему, что в лесу и в дому, и пестрым змеям, и ветрам-суховеям, и небу лиловому, и стеклушку моему новому...

Инебел прикрыл глаза, убаюканный ее монотонным бормотаньем, и вдруг со щемящей отчетливостью представил себе, что рядом с ним, свесив в арык усталые узенькие ступни, сидит девушка в странной голубоватой юбке, спускающейся от самой шеи до середины ног, стройных, как стебли водяного остролиста, и Апль ластится к ней, обнимая сзади за хрупкие плечи, приговаривает: «Старшенькая-беленькая моя...»

— Апль! Да ты что?..

— Ты же сам эту тайну открыл, Инебел, теперь все только об этом и говорят, о живых «нечестивцах». Видно, судьба нам такая, чтоб при нас конец свету белому пришел.

— Да не говорил я ни о каком конце света, опомнись, Апль!

— Ты-то не говорил, да всем все равно это ведомо. Ты смотри, как отмылась черепушечка, словно уголек в очаге блестит. Пойдем к моей хоронушке, ты меня приподымешь, старшенький-беленький, и я приклею огонек этот негасимый высоко-превысоко, чтоб он прямо надо лбом моим сиял, когда меня понесут. А то хоронушка моя и до половины не убрана, сирая.

Инебел невольно вспомнил о собственной хоронушке, притулившейся в самом углу двора. Несколько кусочков разноцветной глины — простейшее, что попалось под руку. Мать не раз укоряла его за пренебрежение к обряду, но он только отмалчивался. Не все ли равно отмаявшемуся человеку, как понесут его на Поле Успения. Ничего не смыслит он, когда в длинной узкой корзине приносят его родители из подземного каземата Уступов Моленний, где полагается всем рождаться на свет, дабы крики рожениц и младенцев не нарушали священной тишины ночей. Малыша перекладывают в подвесную люльку, а корзину вкапывают стойма в углу двора, где уже высятся, как полуоткрытые часовенки, хоронушки всех членов семьи.

Корзину обмазывают глиной, и ждет она того дня, когда подросший детеныш принесет свою первую дань неистребимой и поощряемой жрецами страсти собирания. В законе ничего не сказано об обязательности этого пожизненного увлечения, просто — «так заведено».

Но «так заведено» — это не меньше, чем закон, и вот кто-то собирает лоскутки ткани, кто-то — пестрые бобы, засушенные пятилепестковые цветы, стрекозиные крылышки или рыбьи чешуйки, но нет человека, который всю жизнь с той или иной степенью прилежания не украшал бы свою хоронушку, которую после его смерти выдернут из земли, наскоро подлатают и водрузят на погребальные носилки, стараясь не обронить ни зернышка, ни чешуйки; и в этот своеобразный глиняный саркофаг, ровесник умершего, положат его хозяина, чтобы отправить их вместе в туманные Поля Успения, и снова, как и во время первого своего пути в еще новенькой ивовой плетенке, ему будет все равно...

— Ипебе-ел!..

Апль уже во дворе, она выглядывает из-за ограды, поднявшись на цыпочки и показывая ему в протянутых руках сияю-

щий вишневым бликом черепок и мокрый комочек глины — вмазать на веки вечные свое сокровище.

— Иди, — кивает он.

Она пробирается вдоль ограды в угол, где столпились замершие, как стражи, глиняные часовенки; замирая от нетерпения, оглядывается на брата. Он неторопливо, но внимательно проверяет улицу — пусто. Внутри ограды тоже никого, все собрались наконец в закутке едальни у теплого со вчерашнего вечера укрытого очага. Апль ждет, подняв руки. Тогда он мысленно обнимает ее за едва наметившуюся талию, напрягается и приподнимает над землей. Девочка закусывает губы, чтобы не вскрикнуть от этого жутковатого и в то же время необыкновенно прекрасного ощущения — свободного парения в воздухе; Инебел уже не в первый раз проделывает с ней это, но тайком от других — так ведь НЕ ЗАВЕДЕНО.

Она быстро пришлепывает комочек глины, втискивает черепок, и Инебел бережно опускает ее обратно на землю. Подросла сестренка, потяжелела. Вот и рук вроде бы не прикладывал, а плечи и шею заломило.

— Апль! — зовет он ее, готовую исчезнуть в вечернем доме, где уже с тяжелым шуршаньем опускаются первые циновки. — Спи спокойно, Апль, тебе еще долго-долго собирать свои стеклушки.

— Правда? Нет, правда, старшенький-беленький?

— Правда.

Между тем дневное солнце совсем уже село, и небо стремительно посинело, наполняя арыки глухой чернотой. На улице мало-помалу появлялись неторопливые, вполголоса переговаривающиеся горожане. Кто-то припасал воды, чтобы не плескаться ночью, кто-то искал вечерней беседы, навевающей добрые сны, кто-то просто спасался от ворчливой жены, а те, у которых нынче был расчетный день, разносили по соседям лишние припасы — в долг, чтоб не испортились. Кончится сытная «левая рука», подберется голодная «правая» — соседи, коим придет срок расчета, отдадут. Так заведено.

Справа, у соседнего дома, начали отмываться и даже, кажется, окликнули его, но Инебел не повернул головы, потому что знал: стоит только разглядеть краешек пепельного зарева, подымающийся над куполами бобовых деревьев, как ничто уже не удержит его. Но сегодня нужно поговорить с учителем, покончить с проклятыми вопросами, скребущими у него где-то под ложечкой. Хватит этой дурнотной томительности. Раскис, как гриб-пылевик. Он вскочил, так и не позволяя себе повернуть голову

направо, и решительно зашагал в гору, к высящейся в темноте громаде Закрытого Дома, заслоненного сейчас почти целиком гигантскими платформами Уступов Молений. Только одна башенка виднелась из-за них и, побеленная светом вечернего солнца, казалось, висела в темно-синем небе. Интересно, эту башенку Неусыпные белят сами или просто обвешивают ее со всех сторон чистыми новыми циновками?..

И тут сзади, за спиной, возник пронзительный крик. В первый момент Инебелу показалось, что это кричит роженица, которую не успели довести до подземного убежища Закрытого Дома. Но крик был мужской, срывающийся на жуткий вой. Так мог кричать только смертельно напуганный человек, и напугать его могло одно-единственное.

Гулкие удары босых ног приближались вместе с этим воем, и люди испуганно шарахались, уступая дорогу. Инебел перепрыгнул через арык и прижался к холодной ограде, и вовремя: мимо него по холодной, залитой беспощадным голубоватым светом дороге бежал человек. Движения его были неуклюжи, видно, не привык он бегать. А за ним, наседая, легкими длинными прыжками неслись четыре скока, поодаль — еще два. Скоки на бегу закидывали на преследуемого длинные, словно бескостные, руки с закостенелыми крючьями неразгибающихся пальцев, но тело жертвы отливало ярким блеском подкожного жира, и страшные паучьи лапы преследователей только стегали его, подгоняя, но никак не могли зацепиться — одежду и волосы он, похоже, успел скинуть с себя в самый первый момент погони. Бесшумно дыша и раскачиваясь в такт прыжкам, скоки пролетели мимо, и уже где-то впереди, в темноте, смешались темной кучей — повалили-таки. Крики затихли; придушили, значит, но не совсем, а слегка, для порядка и непарушения вечерней тишины.

На улице еще никто не шевелился, но справа послышались голоса — неторопливым прогулочным шагом приближались люди в приметных красных, а сейчас, в вечерних лучах, — темно-лиловых юбках и наплечниках. Долгие таскуны из другого города! Так неужели весь этот ужас, который многим не даст сегодня спать спокойно, был затеян только для того, чтобы рассказали они своим собственным жрецам, что-де у соседей полный порядок, рвут дурную траву, не щадя сна и тишины... А ведь раньше такого не бывало и одного раза в год. Неужто, увидев Богов Нездешних, народ до того перестал чтить собственных Спящих, что чуть минуют две руки дней — и готовь новое святожарище? Или... или теперь показуется то, чего не было в перечне проступков, преследуемых законом?

С другой стороны, скоки безграмотны, могут и ошибиться. Хотя — кто же ошибается, чтобы себе самому работы прибавить?

Между тем впереди опять послышалась возня — видно, скоки ждали, пока руки, которыми они оплели беглеца, закостенеют, чтоб не вырвался. Теперь приходилось тащить его волоком, а непривычно, не таскуны ведь. Шум медленно удалялся. Инебел потряс головой, словно воспоминание о всем виденном можно было вытрясти, как воду из ушей, и побрел по боковому лазу на соседнюю улицу, спотыкаясь о корни деревьев, неделимых на два двора, и приподымая провисшие сигнальные веревки, соединяющие соседских «нечестивцев». Перепрыгнул через чистый, наливной арык, оказался на соседней улице. Здесь было тихо — как всегда, тут и не знали, что творилось за двумя рядами домов. А и слыхали бы краем уха — виду не подали бы. Так заведено.

Надо будет знать — запылает святожарище, жрецы с Уступов все подробненько и объяснят.

Инебел вспомнил косолапого обнаженного толстяка, неумело, вперевалку удирающего вверх по дороге, и вдруг совершенно отчетливо представил себе, что напрягись хорошенько — и одного скока он остановил бы единой мыслью, рук не прилагая. И сколько кругом соседей прижималось поясницей или брюхом к похолодевшим низеньким оградам — да будь бы воля их всех, тут не только шестерку скоков, тут всех Неусыпных по рукам и ногам спеленать бы можно, и главное — безнаказанно: поди докажи, что мысль-то была твоя. Руки — вот они, у всех на виду, а мысль...

От такого предположения ему стало так жарко, что захотелось влезть в смывной арык и плюхнуться на четвереньки, чтобы охладиться по горлышко. Это ж надо! Истинно счастье, что мысль незрима. А не то бы сейчас его за таковые рассуждения... Но ведь в доме Аруна об этом говорят, не таясь. Правда, ни в каком другом, но ведь он поэтому и идет к Аруну.

Он толкнул калитку, в которую не заходил уже давно, и сразу же очутился на опрятной ровной дорожке, пестреющей темными и светлыми квадратами разноцветной глины. Листва старых смоковниц глянцевито отливала довольством, причудливо и четко рисуя свое естественное кружево в лучах вечернего светила. Узкий мохнатый плод, даже отдаленно не напоминающий смокву, свисал с ветки, распространяя острый запах чеснока. Мирно и благополучно было в этом доме, доме плотного круглоголового мужчины, которого никак не хотелось называть стариком, хотя он и был тут старейшим.

Инебел поклонился хозяину, вышедшему на скрип калитки, и смиренно проговорил:

— Благословение Спящих Богов на доме сем!

— Стократ.

— Был ли сон твой покоен и многомудр? Великие и щедрые Боги послали мне нынче видение сытой свиньи речной, что к благостыне не только моего дома, но и соседей...

Не надоело брехать-то? — спросил Аруп.— С чем пришел?

## 7

— «Рогнеда», слышишь меня? «Рогнеда», теряю связь!

— Что ты там паникуешь, Салтан? Это база отключилась по собственной инициативе. Выслушала тебя и вырубилась, дабы не затевать дискуссии через пол-Галактики. А у тебя, я смотрю, совсем нервы сдали. Хочешь, освободим по собственному желанию? Диктуй заявление.

— Шуточки у тебя, Кантемир... Какие нервы? При неврастении не разносит, как на дрожжах, а я тут в этой мышеловке прибавил уже килограмма три. А то и с половиной. Я тут либо сиднем сижу, отчеты и дневники кубометрами наговариваю, либо катаюсь, как колобок, по территории, сглаживаю, примиряю, регулирую, стимулирую... А контрольные участки между тем гробятся один за другим, это моя белейшая Кристина совершенно права. Парниковый эффект тут у нас просто чудовищный, так что работы теряют всякий смысл — мы получаем урожаи в каких-то извращенных условиях, как говорится, ни богу свечка, ни черту кочерга. Ах, да не про то я говорю...

— Про то, Салтан, про то. И подтверждаешь мою точку зрения: в зачет могут идти только результаты, полученные на резервной площадке — Вертолетной, как вы ее называете.

— Почвы там другие,— безразличным голосом констатировал Абоянцев.

— Знаю. И на базе знают. Но ваша станция заработает всерьез только тогда, когда будет снято заграждение и вы, семь пар чистых, причалите к берегу новорожденного человечества.

— Не такое уж оно и новорожденное...

— Поправка принимается. Тем более что по всем нашим автоматическим зондирующим комплексам подбирается примерно одинаковая информация, и она, прямо скажем, катастрофическая...

— Узнаю тебя, Кантемир! Как всегда, на первом месте у тебя база, хоть она и у черта на рогах и забот со всеми дальними планетами — выше головы, а я, под боком у тебя сидючи, обо всем должен узнавать последним! Вот уж благодарю! Друг, называется!

— Ну, успокойся, Салтан, успокойся! Видел бы тебя сейчас кто-нибудь из твоих подчиненных... Мы с тобой, между прочим, два патриарха-дальнепланетчика, и кому, как не нам, блюсти устав? Разумеется, Большая Земля всю информацию должна получать первой, и тебе я имею право сообщать только то, что сиятельный Совет дозволит... Так вот: я еще не составлял пакет по этим данным, тяжеловато все сводить в одну таблицу без однозначной геологической привязки, и тем не менее все выстраивается так, что мы должны считать цивилизацию Та-Кемта по меньшей мере третьей по счету.

— Оледенение... Мы так и думали. Ах ты, даль честная черновездная, мы же с этим не справимся! Период-то какой?

— Предположительно — восемь тысяч лет, как раз хватает на то, чтобы цивилизация сформировалась, достигла своей кульминации — что мы и наблюдаем, а затем была погребена под надвигающимися снегами. Ну, и одичание полное — на экваторе среднегодовая температура что-то около нуля.

— Тропики. Как думаешь, Кантемир, Большая Земля не согласится на вывоз одного полиса куда-нибудь — на Камшилу, скажем? Перезимуют, разовьются, обратная транспортировка им будет гарантирована. А?

— Сам понимаешь, Салтан, такие прожекты хороши для первокурсников-освоенцев. Ты и сам его всерьез не поддержишь. Спасать надо всех, и не где-нибудь, а прямо здесь...

— И если не теперь, то когда же — так, Кантемир? Остановка за малым: как сделать, чтобы они приняли нашу помощь? Формулы-то контакта до сих пор нет. И мы, два патриарха, тоже не можем предложить ничего нового.

— Ох, старина, кемитам-то ведь без разницы — старое мы им демонтируем или новое. Помнишь, как в первые три дня они возликовали? Что-то вроде крестного хода устроили, стену твою несокрушимую то медом кропили, то головами прошибить старались. А потом — как отрезало! Может, кто-то и поглядывает украдкой в твою сторону, но ведь ни малейшей попытки что-либо перенять, скопировать, как мы на то надеялись. Честно говоря, у меня так и чешутся руки спикировать со своей «Рогнеды» вниз, прямо в какой-нибудь двор, сунуть в руки кемиту обыкновенную лопату или серп и показать, что это гораздо удобнее, чем из собственных пальцев крючочки выращивать. Если бы не этот проклятый дар, то они давно бы у нас мастеровыми заделались! Ведь у них открытые месторождения меди, олова... Греби себе прямо с поверхности!

— Что, ни одной попытки изготовления нового орудия?

Кантемир на экране сокрушенно помотал головой.

— Я бы с этого начал, батюшка ты мой.

— Мы ничего не сделаем без непосредственного контакта, — с тихим отчаяньем проговорил Абоянцев.

— А ты действительно стал паникером, Салтан Абдикович! Не так уж давно — месяцев шесть назад — ты спокойно голосовал за шестивариантную программу экспедиции, а ведь один из этих вариантов предусматривает вообще один только односторонне-визуальный контакт, как сейчас. И на неограниченное время, заметь.

— Нет, Кантемир. Это было давно. Потому что это было на Большой Земле. И в то время, когда мы еще не представляли себе, насколько же кемиты отличаются от землян. Все беды предстоящего контакта мы видели исключительно в том, что наши руки не способны трансформироваться на глазах, превращаясь в своеобразные, но примитивные орудия труда, из-за чего мы не могли запускать в Та-Кемт наших разведчиков. Но разница оказалась глубже и катастрофичнее...

— Бездна пассивности...

— Вот именно. Бездна. А мы еще радовались, наивно полагая, что сдержанность аборигенов на первом этапе их привыкания к нам только поможет нам быстрее достигнуть психодинамического равновесия в собственном коллективе. Действительно, мы не наломали дров, не инициировали паники, бегства, репрессивной волны и потому можем продолжать нашу тренировочную программу с чистой совестью и относительным душевным комфортом. И все же... Можешь поверить мне, Кантемир, как патриарху: неблагополучно и там, за стеной, и тут, в ее кольце. Я это нутром чую. Кемитов давит какая-то тайна, которую мы еще не ущучили, да и для них самих она, возможно, за семью печатями. И мы... Ты думаешь, все дело в том, что нам не терпится? Это есть, не возражаю. Но есть и еще что-то, это все равно как невидимый рюкзак за плечами. С точки зрения квантовой психодинамики это может быть квалифицировано, как...

— Не мечи бисер, Салтан, я всего лишь инженер по связи.

— И великий скромник. Когда связь с Большой Землей?

— Утречком. А пока давай-ка выведу я из стойла посадочную фелюгу, ты — вертолет, и махнем в какой-нибудь отдаленный оазис, побезлюднее, естественно. Змеиный шашлычок на свежем воздухе соорудим, травку покосим, разомнемся, а?

— Спасибо, Кантемир. Возьми Гамалея, он, представь, хуже всех акклиматизируется.

— Почто бы это?

— Видишь ли, идет естественное расслоение коллектива на микроструктуры. Одна группа — молодежь, тут, как и ожидалось, осью турбулентности стала моя белейшая Кристина. Затем — интеллектуалы-одиночки — Аделаида, Сирин... И Гамалей туда же.

— Одиночка?!

— Пока мы планировали группу — а протянули мы с этим целых пять лет, как ты помнишь, — Гамалей тем временем старел. Он ведь был первым из кандидатов, тогда я и не думал, что полечу. И вот оказалось, что с молодежью он чувствует себя дискомфортно, сиречь как...

— Бегемот в посудной лавке. Цитата. Откуда — не помню.

— Вот-вот. И последняя — кухонно-покерная компания, это Мокасева, Найджел, Меткаф.

— В каком смысле — покерная? Вы что, на глазах у невинных аборигенов, этих детей природы, так сказать, морально разлагаетесь? От тебя ли слышу, Салтан?

— Какое уж тут разложение. Покер, как и мнемо-шахматы, — это сложнейшая система взаимного психологического тестирования. А что касается смысла, то в прямом, Кантемир, в прямом: режутся в свободные вечера. На пестрые бобы. А аборигены пусть хоть с покера начнут, лишь бы разбудить в них обезьяний инстинкт.

— Кстати, о вечере, Салтан-батюшка: а не заболтались ли мы? Что-то меня тянет баиньки.

— И то, голубчик.

— Да, а сам-то ты к какой группе относишься? Или, по начальственной спеси, особнячком?

— Ты только не распространяйся об этом на базе, — Абоянцев оглянулся, хотя в радиоотсеке никого быть не могло, — но это удивительно захватывающее времяпрепровождение — резаться в покер на пестрые бобы с антропоидом экстра-класса... Подам в отставку и каждый вечер буду предаваться. А пока, увы, минутки нет...

## 8

Видно, когда рождался Арун, над Спящими Богами висело круглое вечернее солнце, ибо вряд ли обычный человек мог бы вместить в себе столько округлостей разом, если бы не воля Богов. Круглую, как шар, голову накрывала круглая шапочка масляни-стых негустых волос, расчесанных от макушки во все стороны, как

стожок. Круглые глаза неопределенного цвета (словно все в нем было несущественно, кроме этой самой округлости) глядели из-под круглых бровей без какого-либо выражения, но цепко — уж если он принимался оглядывать кого-нибудь, то усматривал все, до последней складочки на переднике. Уши Аруна тоже тяготели к округлости, но весьма своеобразно: верхний край закручивался вниз, а мочка — вверх, так что образовывали почти замкнутое кольцо. Нарушением этой гармонии на первый взгляд могли показаться крючковатый нос и выдающийся вперед и вверх подбородок, но если посмотреть сбоку, то сразу становилось ясно, что и они просто-напросто решили образовать замкнутое и чрезвычайно правильное по форме кольцо. Между ними вполне естественно было бы ожидать узкую, насмешливую щель почти безгубого рта,— ничего подобного: небольшой ротик был всегда полуоткрыт в удивленно-ироничном, но не обидном «О?».

Конечно, был тут и круглый животик, и кривые ноги, которые вполне могли бы охватить большой глиняный таз, и покатые плечи, перетекающие в полные руки, которые Арун складывал на коленях, образуя еще один круг — но завершающим штрихом в его облике была манера во время разговора поднимать руку, складывая большой и указательный палец в аккуратное колечко, и ритмично помахивать этим колечком перед лицом собеседника, словно намереваясь насадить его прямо на нос.

Из четырех сыновей Аруна на него был похож только старший, трое же других не имели с отцом ничего общего. И еще одно: в доме Аруна никогда не рождалось худородков.

Этот скользкий жировичок с гипнотизирующим взглядом хищной ящерицы был смешон и страшноват одновременно, но стоявшему сейчас перед ним Инебелу никогда не приходило в голову поглядеть на учителя насмешливо или испуганно. Мешали тому инстинктивная тяга к недюжинному уму гончара и добровольная завороженность его журчащими речами — тоже, без сомнения, благостным даром Спящих Богов. Вот и сейчас молодой художник почтительно ждал, переминаясь на обожженных глиняных плитках, которые в голубоватом вечернем свете казались попеременно серебристо-серыми или бурыми. Из глубины двора тянуло поздним дымком, слышались голоса.

— Зачем пришел, а? — повторил Арун, и его «А?», как обычно, звучало скорее как «О?».

— Я пришел за твоим словом, учитель...— глухо проговорил Инебел, переступая с темного глиняного квадрата на светлый.

— А не поздно?

Инебел вздохнул и переступил обратно — со светлого на темный.

— Я вышел с восходом вечернего светила,— еще тише проговорил он,— только по улице не пройти было — скоки ловили кого-то на нижнем копе.

Арун, николько не изменясь в лице, вдруг побежал мелкими семенящими шажками прямо на него; Инебел отодвинулся, и Арун, словно ничуть не сомневаясь, что он уступит дорогу, подбежал к воротцам и выглянул на улицу.

Было тихо.

Тогда хозяин дома повернулся и, по-прежнему не глядя на гостя, пробежал в темную глубину двора, где сразу же затихли все голоса. Через небольшой промежуток времени из темноты выпырнул Лилар, младший сын; размашистым шагом, как таскун-скороход, но удивительно бесшумно, проскользнул он мимо Инебела, едва кивнув ему, и исчез за калиткой.

Да, раньше его здесь встречали как-то не так. И более того — Инебел почему-то почувствовал, что совсем недавно о нем говорили.

— Уйти, что ли?

— Подойди, маляр! — донесся из дальнего угла двора голос кого-то из Аруновых сыновей.

Инебел послушно двинулся на звук. Двор, несмотря на яркий серебристый свет, был на редкость темным, потому что всюду росли вековые разлапистые деревья — и вдоль всей ограды, и над домом, и вокруг едальни. И едальня была не как у всех, где сплошные глинобитные стены и один-два выхода, стыдливо прикрытые старыми циновками и тряпками,— нет, в сытом, благоустроенном доме Аруна-гончара едальня была сущей развалюхой, живописные проломы в которой не раз давали повод хозяину скорбно посетовать перед опекающим жрецом — вот-де, пот с лица смыть некогда, не то чтобы срам от соседей скрыть...

Поначалу и Инебел поддался на эту нехитрую уловку, но вскоре наметанный глаз художника уловил пленительную грацию арок, оставшихся от полукруглых дверных проемов, обвитых плодоносным вьюнком; якобы случайно порушенный кусок старой стены больше не обваливался, а зубчатый его край, подмазанный глиной с яичным белком, блестел предательски нарядно, словно кромка передника на праздничю разодетом жреце. И сама едальня была больше обычных: кроме очага для приготовления пищи здесь же помещался и еще один, для обжига готовой посуды. Она слабо курилась даже тогда, когда во всех остальных домах были

потушены огни, и запах дымка создавал ощущение уюта, парящего прямо в воздухе, сладостно растворенного в каждом его глотке.

Инебел подошел к группе мужчин, расположившихся возле самой едальни. Хозяин устроился прямо в проломе, прислонившись пухлой спиной к торцу стены и подставляя розоватому жару открытой гончарной печи свою правую щеку, в то время как на левую сквозь просвет в узорной листве падал яркий голубой свет. Остальные — дети и племянники Аруна, а также два-три совершенно посторонних человека, судя по длинным влажным волосам — рыболовы, сидели полукругом не прямо на земле, а на соломенных жгутах, свернутых спиралью, чего тоже ни в одном доме, кроме этого, заведено не было.

И все ждали.

— Ты его не узнал? — быстро спросил Арун, не сомневаясь, что юноша правильно поймет его вопрос. Инебел понял.

— Нет, учитель.

Инебел знал, что гончару нравится такое обращение, но он знал также и то, что говорить так он мог только при своих — ведь по Закону учить можно только членов собственной семьи. Арун не сделал никакой попытки поправить или остановить юношу — значит, эти рыболовы тоже были здесь своими.

Тоже?

Раньше он чувствовал, что духом он свой. Но сегодня его принимали, как чужого, и он не мог понять, почему.

— И не ткач?

— Нет, учитель. Ткачи проворны, а этот был неуклюж. И потом, на нижнем конце нашей улицы живут только камнерезы, таскуны и сеятели.

Рыболовы, подняв кверху лица, обрамленные мокрыми волосами, напряженно ждали. Боятся за своих, понял Инебел, а спросить вслух страшно — притянешь гнев Спящих Богов.

— Я с соседней улицы, — поспешно добавил он, обращаясь уже прямо к рыбакам, — а ваши ведь живут через три отсюда.

— Иногда ловят и не на своей улице, — бесстрастно заметил, наконец, один из гостей перхающим от постоянной простуды голосом. — Он был длинноволос?

— Не знаю. Волосы он сбросил до того, как я его увидел.

— Как он был одет? — спросил снова Арун, не давая посторонним перехватить нить разговора (или допроса?).

— Он был наг.

Снова воцарилось молчание. Молчали долго, и Инебелу начало казаться, что про него попросту забыли. Но вот хлопнула калит-

ка, и Лилар бесшумными скользящими шагами пересек пространство под деревьями и возник сутулой тенью прямо перед отцом.

— Не наш, — доложил он лаконично, и оставалось только гадать, кого же он подразумевает под этим коротким словечком — членов семьи или всех единомышленников?

Арун резко повернулся к сидящим, так что теперь все его лицо было залито мертвенным светом голубого светила.

— Не правда ли, странное совпадение, — он почти никогда не говорил утвердительно, а всегда умудрялся выражать свою мысль вопросами. — Я говорю, не удивительно ли, что за какие-то несколько дней это второй случай? И разве кто-то из нас может опознать преступника?

Никто этого не мог.

— Не значит ли это, что кто-то, нам неизвестный, упорно и систематически нарушает закон, действуя в сговоре?

Инебел слушал его и не мог понять, хорошо это или плохо: нарушать закон, действуя в сговоре?

Вроде бы интонации Аруна можно было принять за сочувствие...

Но те, что сидели перед Аруном, явно понимали, о чем идет речь, и сейчас усиленно припоминали что-то, сопоставляли. Арун поглядывал искоса — следил за выражением лиц. А что? Может, это был просто вор. Был отряжен носить стручки из леса, а по дороге взял да и занес часть поклажи в собственный дом. Теперь ему сожгут руки, и правильно. Такое случается редко, но ведь случается. И почему не могут попасться два вора подряд?

Инебел с сомнением оглядел своего учителя (действительно, почему тот не рассматривает такой простейший вариант?), и он невольно заглянул внутрь едальни.

Ему показалось, что его окатили ледяной водой и сразу же швырнули голышом в заросли крапивы. Озноб, и зудящий жар, и бешеное колочение сердца.

На большом гладком камне, на котором обычно женщины разделывают мясо и дробят зерна, лежала живая рыба. Жабры ее судорожно подрагивали, и длинный черный ус шарил по камню, словно отыскивая спасение.

Живая рыба могла попасть сюда только из озера. А это значит, что кто-то из рыболовов утаил часть улова, не сдал его в храм. Он видел, и теперь он обязан сообщить об этом первому встречному жрецу, и кого-то из этих рыболовов завтра потащат через весь город, чтобы на нижнем Уступе Молений обмотать его руки соломой и поджечь...

Рыба медленно изогнулась кольцом, а потом резко выпрямилась и подпрыгнула на камне. Арун лениво обернулся, поймал ее за слизкий хвост и шлепнул головой о камень. Рыба уснула.

Инебел перевел дыхание. Ну, вот. Ничего и не было. Не видел он ничего. Рыба позавчерашняя, из выданных припасов. Мог же он, в самом деле, ничего не видеть?

Арун между тем поворошил угли в печи, чтобы равномернее остывала, и уселся на прежнее место.

— А что это мы все о скоках да о ворах? — продолжал он, хотя вроде бы о ворах упомянуто и не было. — Не поговорить ли лучше о нашем юном законопослушном друге?

Он лениво перекатывал слова, и у него во рту они словно стачивались, становились обтекаемыми, и опять было Инебелу непонятно, хорошо ли это, «законопослушание», или не очень.

А ведь раньше все было так просто! Он прибегал рано поутру в день левого мизинца, когда семейство гончара запасалось наперед глиной, как семейство маляра — красками. Арун брал мальчика с собой на берег озера, и там, на слоистых многоцветных обрывах, учил отличать гончарную белую глину от белильного порошка, которым красят стены; он показал мальчику немало трав и ягод, не выцветающих на прямых и жарких лучах, и остерег от ядовитого папоротника, отравившего своей сказочно-яркой зеленью не одного маляра. И еще он учил не бояться познаний, ибо только то входит в сердце, что добыто собственным опытом, а не заучено с чужих слов; но он не помнил случая, чтобы Арун требовал от него законопослушания. Юноша привык доверять медлительной осторожности, с которой старый гончар разбирал его немудреные детские заблуждения, и снисходительно-прощающая усмешка, которой подчас награждал его признания Арун, никогда не обижала.

А может, за долгое время, пока они не виделись, Арун просто-напросто постарел? Вот и голос стал скрипучим, и слова какие-то холодные, как стариковская кровь.

— Ты не прячься в тени, садись на почетное место, — проговорил старший из сыновей, Сиар, своим полнозвучным, как только что обожженный кувшин, голосом. — Лестно иметь друга, который в столь нежном расцвете лет уже успел нахвататься милостей от Храмовища!

Спящие Боги! Да они попросту завидуют ему!

— Ну, и как сны на лежанке, прикрытой новой тряпочкой — тоже, поди, в клеточку? У нас в доме никто не удостаивался покрывала, разделенного хотя бы на шесть полей, так уж ты поделись с нами, сирыми, своими снами праздничными...

Это уже подхватил Гулар, средний. Сговорились? Но он честно заработал свое покрывало, он обдирался в кровь, отыскивая меды и смолы, которые сделали бы его краски несмываемыми никаким ливнем, он недосыпал коротких ночей между заходом вечернего солнца и первым лучом утреннего; он варил смолы с росой, с ячменным пивом и с толченой слюдой, и он один знает, сколько стоило ему покрывало в восемь клеток. Правда, тогда еще не высился на окраине дивный град Нездешних Богов, и только место само было неприкасаемо — стоило натолкнуться на невидимую ограду, как тебя отбрасывало легонько и упруго. И весь свет тогда клином сошелся на одном — получить себе в жены проворную, лукавую Вью. И всем сердцем надеялся он, что вечная, несмываемая краска, секрет которой он передал Гласам, как, впрочем, и требовал того закон, будет завершающей долей выкупа за невесту.

— А не слишком ли ты устал, трудясь сверх меры во славу Закрытого Дома? — подхватил Журар, третий сын гончара.— А то, я гляжу, усох ты, побледнел, как весенний змей после линьки. Если ты пришел за советом, то вот тебе один, на первый случай: подкрепись хорошенько!

Он перешагнул через вытянутые ноги отца, влез в едальню и некоторое время копался там у стены, где обычно складывают припасы, прикрывая их тяжелыми глиняными тазами, чтобы уберечь от порчи и насекомых. Потом появился снова, держа в руках золотистый корж.

Инебел неловко повел плечами и стыдливо потупился. Журар, как ни в чем не бывало, разломил лепешку — крупные, набухшие медовой сладостью зерна золотились на изломе, готовые осыпаться на глиняный настил двора. Инебел невольно проглотил слюну. Журар протянул свои плоские, как тарелка, ладони отцу, и тот бережно взял с них сладкий кусок. Потянулись Лилар с Гуларом, племянники, рыболовы. Жевали, глядя друг на друга, как скоты неосмысленные. Маляр все стоял, потупя глаза в землю, дивясь и завидуя их бесстыжести. Журар оделил всех и теперь бережно ссыпал оставшиеся у него отдельные зерна в одну ладонь. Инебел уже было обрадовался тому, что в этом непотребном действии он оказался обойденным, как вдруг Журар просто и естественно взял его руку, повернул ладонью вверх и отделил на нее половину своих зерен.

— Да не кобенься ты, в самом деле,— проговорил он вполголоса, словно это не Инебелу было стыдно за всех них, а наоборот — всем им за Инебела.— Вон Нездешние Боги трескают себе всякую невидаль при всем городе, да еще трижды на дню.

— Богам все дозволено, — несмело возразил юноша, подрагивая ноздрями на пряный запах, распространяющийся от зерен.

— Как же все, когда они друг перед дружкой оголиться стыдятся? — ехидно вставил Арун.

Этот вопрос так ошеломил молодого художника, что он машинально взял одно зерно и медленно поднес ко рту. А ведь и правда. Нездешние Боги друг от друга прикрываются. Значит, и у них не все можно? Или... или пора задать тот вопрос, который мучил его уже столько дней: да Боги ли это?

А спросишь — засмеют...

— Что-то раньше ты был разговорчивей, когда приходил к отцу, — неожиданно заметил Лилар. — Уж не поглупел ли ты от чрезмерного усердия и повиновения?

— Я пришел за мудростью, а не за смехом, — грустно проговорил молодой человек. — Легко ребенку спросить: чем огонь разжечь, как твердую глину мягким воском сделать... Но проходит детство, и хочется спросить: ежели есть друг и есть закон, то чьему голосу внимать? И если тебя осудили прежде, чем ты в дом вошел, то стоит ли говорить, когда приговор составлен заранее? Не поискать ли другой дом с другим другом?

— А не много ли домов придется обойти? — презрительно отозвался Арун.

— Наверное, нет, — как можно мягче проговорил Инебел. — Ведь тогда я привыкну спрашивать себя: а чего мне остерегаться, чтобы в один прекрасный день я не пришел в дом друга и не почувствовал себя лишним? И вот уже я буду не я, а тот, кого желали встретить вы...

Под чуть шелестящими шапками деревьев воцарилось напряженное молчание. Инебел всей кожей чувствовал, что многим здесь очень и очень неловко.

Арун сидел, уперев ладони в колени, и слегка покачивался. Потом вдруг вскочил и, слегка переваливаясь, побежал вокруг едальни. Передник, слишком длинный спереди, путался в ногах, и так же путалась и спотыкалась длинная тень, скользящая рядом вдоль глиняной загородки.

— Хорошо, — отрывисто произнес Арун, останавливаясь перед юношей, — я скажу тебе несколько слов, хотя действительно решил больше не посвящать тебя в свои мысли. Но прежде ответь мне на один вопрос: вот ты много лет приходил ко мне, и слушал меня, и спрашивал... А задумался ли ты хоть раз над тем, что же я, старый гончар Арык Уныния, которого все привыкли называть просто Арун, что же я получал от тебя взамен своих слов?

Вопрос был так неожидан, что Инебел судорожно глотнул, и разбухшее, с хорошую фасолину, зерно встало ему поперек горла.

— Ра... радость,— проговорил он, смущенно кашляя в кулак.— И любовь, конечно...

— Как же, любовь! Любовь — это по части девочек с ткацкого двора. И радость туда же... Ну, хорошо. Этого ты не знаешь. Не потрудился подумать. Ну а если ты завтра пойдешь к своему Неусыпному и перескажешь все то, что здесь видел и слышал?

— Учитель!..

— То-то и оно: учитель. Это ты уловил. Но не более. Тебе, вероятно, казалось, что ты действительно приносишь мне радость. Что-то вроде того, как чесать за ухом. И мы квиты.

Он остановился и обвел взглядом присутствующих. Сыновья сидели, прикрыв ресницами миндалевидные, не аруновские, глаза — так слушают, когда уже известно, о чем будет идти речь, но важность говоримого не позволяет не то чтобы встать и уйти, а даже показать свое отношение к предмету разговора. Вежливые были сыновья у Аруна, почтительные. Рыбаки слушали со спокойными лицами, но напряженными спинами — их-то это тоже касалось. Инебел же маялся оттого, что никак не мог понять, как помочь самому себе, когда приходишь поговорить о самом сокровенном, а тебя умело и обдуманно сталкивают на другой, тоже очень важный и волнующий разговор, но об этом можно и в следующий раз, без него можно прожить и день, и два, и обе руки... Но за тебя думают, за тебя спрашивают, за тебя отвечают.

— Но вот сегодня на твоей улице поймали человека,— продолжал гончар.— И может быть, перед этим кто-то тоже смотрел ему в рот — ах, учитель! И учитель млел: сынок... Могло быть? Естественно, могло. Потому что за радостью теряешь чуткость недоверия. Так что же надо давать взамен мудрости тех, кто учит тебя не по долгу родства? Наверное, ты уже сам ответил себе в мыслях своих, мой юный Инебел: верность не только в тех делах, которые свершены, но и в тех, которые предстоят. Единение в мыслях, которые уже созрели и которым еще предстоит созреть. Спокойствие за то, в чем ты повинен не был и никогда повинен не будешь. Вот мера твоей благодарности.

— Но как я мог догадаться, учитель, что, отдавая в Закрытый Дом тайну вечных красок, я поступлю неугодно тебе? И главное: как оценить меру верности в своих мыслях, учитель? Ведь что бы там ни было, эти мысли — мои, а не твои.

— А ты позови меня беззвучно, и я предстану перед тобой невидимо. Тогда спроси меня, и я отвечу.

— Да, правда, иногда я слышу чужие мысли... но редко. Лучше мне удается передавать свои собственные. Или мне это только кажется?

— Ну, здесь ты кое в чем прав, — с оттенком высокомерия проговорил Арун. — Ты обладаешь некоторыми способностями... не без того... и в степени, которая могла бы удивить даже жрецов.

«Да он пугает меня», — пронеслось в голове у Инебела.

— Но всякое мыследейство есть грех не только потому, что оно запрещено законом, выбитым на ограде Закрытого Дома. Оно нарушает законы естественного предназначения, по которым ногам полагается ходить, рукам — принимать формы, сообразные с работой, а голове — сопоставлять свой опыт с уроками чужой жизни, дабы от соприкосновения твоих мыслей с чужими, как от удара двух кремней, рождались разгадки сокровенных тайн.

— Значит, я хожу иа руках?

Младшие гончары дружно заржали.

— Да не без того, — проговорил Сиар, намеренно или нечаянно подражая интонациям отца. — Образно мыслишь, юноша, образно, но верно.

— Но тогда, — сказал Инебел, словно не замечая реплики Сиара, — тогда, учитель, как я смогу услышать твои мысли, чтобы согласовать с ними свои поступки? Ведь течение моих мыслей отличается от твоих, как левая рука от правой.

И тут Арун, наконец, вспылил, хотя с ним такое бывало не часто.

— Думай своей головой, а не лезь в чужую! Припоминай виденное, сопоставляй! Выуживать из старших готовые мысли — о таком только худородку впору мечтать. Ты глаза раскрой пошире, да кругом гляди, а не только на нездешнее-то обиталище! А потом думай! Ты у меня в доме покрывала клетчатые, наградные, что на зависть всей улице, — видал? Не видал. А чтоб урока мой дом не исполнял, слыхал? Не слыхал. Значит, и из кожи вон я не лезу, и забивать себя в землю не позволяю. Ты вон сколько лет секрет краски своей искал?

— Да более трех...

— А взамен получил? Тряпку. Вычти-ка! У кого разница?

— Так во славу Богов Спящих...

— В Закрытом Доме разница. У Неусыпных.

— Все тайны земли и неба принадлежат Спящим Богам, — твердо проговорил Инебел. — Не отдать принадлежащее — воровство.

— А на кой нечестивый корень все это Спящим? Даже Богам? Ты вот, когда спишь — тайны тебе недостает? Ну, что молчишь? Что надобно, чтобы спать сном сладостным и легким?

— Удобная постель, сытый живот и спокойный ум. И ты знаешь не хуже меня, что Боги карают за непочтение прежде всего беспокойством сна.

Он говорил и уже давно дивился себе — да, иногда Арун срезал, как маковую головку, его возражение, но порой их разговор шел на равных, словно Арун признавал в нем противника себе по плечу.

Но сейчас в ответ ему раздался ехидный смешок.

— Лилар, детка, залезь-ка вот на эту смоковницу и достань этому несмышленышу... хе-хе... фигу божественного возмездия; да не перепутай, они у меня подсажены на третью снизу ветвь, что простирается над стеной едальни... Во-во, малыш, синяя... не видно? Тогда на ощупь, мохнатенькая она, как пчелиное брюшко... Не раздави.

Лилар спрыгнул с дерева, разжал ладонь — на ней лежала крупная ягода, что-то среднее между ежевичиной и волосатым каштаном. На белой ладони она казалась совсем черной.

— Перед сном возьми полчаши воды,— сухо, словно диктуя рецепт красящей смеси, проговорил Арун.— Выжми в нее три капли соку, остальное выброси и руки помой. Выпей. Наутро будешь знать, при помощи чего жрецы устраивают всем, кто виновен малой виной, кошмарные ночи. Это не опасно, зато поучительно. Иди, Инебел. Ты сейчас становишься мужчиной, и благие задатки, заложенные в тебя Богами — я не говорю «спящими»,— становятся достоинствами, которые преисполняют тебя гордыней. Выпей сок синей ягоды, и может быть, ты убедишься, как мало истинного в том, что ты в запале юношеской гордыни считаешь кладезем собственной премудрости.

Инебел послушно принял из рук Лилара теплую пушистую ягоду. Поклонился. Не выпрямляясь, замер, руки сжались сами собой. Теплый сок побежал по пальцам, черными каплями затенькал по обожженной глине настила...

Все недоуменно глядели на него, понимая, что случилось что-то, и пытались это уловить, распознать, но пока это знал только он один, знал непонятно откуда — просто чувствовал всей поверхностью тела, как кто-то чужой и злобный настороженно ловит каждое слово, произносимое в глубине двора.

Слева, справа — где, где?

Темно, деревья.

И — топоток непривычных к бегу ног.

— Там! — сдавленно крикнул Инебел, резко поворачивая голову к левому углу ограды. — Подслушали... Донесут.

И в тот же миг один из рыбаков вскочил на ноги и тут же стремительным движением бросился к подножию смоковницы. И снова никто не понял, один Инебел почувствовал — этот тоже умеет владеть мыслью, как оружием, и вдвоем они, может быть, справятся, только бы не дать бегущему закричать; но крик уже набух, как ком, который надо затолкнуть обратно, глубже, еще глубже; крик бьется, пузырится мелкими всхлипами, но и их обратно, пока совсем не затихнет, и затихает, затихает, значит, он справился, и вот уже все, все, все...

Рыбак, лежавший на самых корнях смоковницы и судорожно прижимавший обеими руками колени к груди, еще несколько раз вздрогнул и затих.

— Мы его держим, — сказал Инебел, — скорее.

Только тогда Сиар с братьями сорвались с мест и выскочили за калитку. Вдоль ограды мелькнули их тени, и было слышно, как они поднимаются вверх по дороге, туда, где упал подслушивавший. Тихая возня донеслась до стен едальни, потом кто-то всхлипнул или пискнул — не разобрать. И тогда тишина стала жуткой.

Лилар возвратился первым. Он подошел не к отцу, а к Инебелу, застывшему в напряженной позе.

— Собственно, все, — сказал он несколько недоуменно. — И как это ты его...

Юноша медленно выпрямлялся. А ведь он и сам чувствовал, что все. Давно чувствовал, еще раньше, чем эти выбежали за калитку. Все.

И рыбак уже разжал свои сведенные судорогой руки и, цепляясь за кору, бесконечно долго поднимался и так и остался стоять, прижимаясь лицом к стволу смоковницы.

Шумно дыша и осторожно ступая, протиснулись в калитку остальные. Подошли, зашептались с отцом. Арун только одобрительно крякал. Потом поднял голову, поискал глазами просвет в листве.

Небо было прозрачно-синим, как всегда перед самым заходом вечернего солнца. Еще немного, и наступит ночь, время тишины и спасительной темноты.

Арун опустил голову, и взгляд его невольно встретился с широко раскрытыми глазами молодого художника. Он шагнул вперед, отыскивая слова, которые можно было бы сказать сейчас

своему ученику, но тот шатнулся в сторону и боком, как-то скособочившись, словно кривой худородок, заторопился к калитке. Гончар просеменил за ним до ограды, выглянул — юноша стремительно мчался вниз, забыв свернуть в боковой проход к своей улице. Ну да, этого и следовало ожидать. Не домой ведь. К призрачному обиталищу.

Арун, неодобрительно покряхтывая, вернулся на свое место. Повел носом. Черная лужица ягодного сока, до которой доходило тепло открытой печи, источала щемящий, едва уловимый дух.

— Кликните женщин, пусть замоют,— велел он брезгливо.— Да сажайте чаши на обжиг, а то печь стынет. И рыбину приберите.

И сел на свое место в проломе, ожидая, пока затихнет привычная суета последних дневных дел.

Рыбак, отвернувшийся к стволу, пошевелил плечами, словно сбрасывая оцепенение.

— Вечернее солнце больше не светит,— проговорил он совершенно спокойно.— Дай нам еще одного из твоих сыновей.

— Сиар,— позвал гончар старшего,— пойдешь с ними до озера.

Четверо двинулись к выходу. Арун проводил их, у калитки кто-то — в темноте было не разобрать, кто именно,— вдруг запнулся, повозился немного, и в руке гончара очутилось что-то небольшое и круглое.

— Тебе, учитель,— послышался почтительный шепот.

Арун медленно сжал руку. Даже у него все внутри бьется, словно «нечестивец» во время пожара. А эти спокойны. На этих положиться можно. Вот как сейчас.

Поодаль слышался тягучий, продолжительный шорох и плеск: тащили тяжелое из-под мостков. Пригнувшись и ступая в ногу, промелькнули в темноте — вниз, мимо Обиталища Нездешних, в обход его, чтобы не попасть в полосу свечения, и к озеру. Только бы догадались возвращаться разными улицами.

Шаркая ногами, он уже в который раз за сегодняшний вечер вернулся от калитки на середину двора. Тяжко. Посмотрел подношение — ай-яй-яй, а ведь луковичный каштан! Выпуклые полосочки спирально обвивают плод, бегут к светлой верхушечке. Ах ты, красавчик, ах ты, радость моя пучеглазенькая. Не переставая любоваться подарком, он подождал, пока отрастет и окрепнет ноготь, потому бережно вскрыл каштан и выколупал сердцевину. Подумал — не оставить ли на утро, когда будет светло? Нет, все равно ждать Сиара.

Он скрутил лыковый жгут, поджег в печи и побрел в дальний угол, где стройным полукругом высились темные часовни-хоронушки. Безошибочно угадал свою, осветил.

Внутренность глиняного корыта была сплошь усеяна половинками самых разнообразных каштанов — круглых и продолговатых, волнистых и витых, дырчатых и пупырчатых. Он постоял, разминая комочек глины. Дошли они до озера или нет?

Свободных мест, куда можно было бы вставить эти половинки, оставалось совсем немного. Арун еще раз оглядел редкостные скорлупки: хороши. Ни у кого таких нет. Ну и быть им в самом верху.

Он еще раз прислушался, уже совершенно машинально, словно отсюда можно было уловить жадный всплеск озерной воды. Да, теперь уж, конечно, дошли.

Он вздохнул и принялся вмазывать в хороиушку свой каштан, любовно смахивая каждую лишнюю частичку глины.

## 9

— ...будто где-то в Эдеме он встречал серафима с ереванскою розой в руке... — закончил Самвел обиженным голосом, потому что его никто не слушал.

Наступила пауза, заполняемая только повизгиванием металла.

— Вах-вах-вах! — прокудахтал Алексаша, который свирепо, хотя и не на вполне законных основаниях ревновал Самвела к Кшисе. Первые дни был парень как парень, а теперь распустил хвост, фазан араратский, бормочет стихи — только и слышишь с утра до ночи: Рипсиме! Сароян! Три звездочки!..

Хотя последнее — это, кажется, уже Гамалей. Тоже был вполне приличный мужик, а вот обжился — и заскучал, а заскучав, тоже стал поглядывать на Кшиську. Магавира тоже хорош: летает на вертолетную, таскает оттуда какие-то вонючие клубни — контрабандой, естественно. Кшиська сажает их друг на друга взамен своей розочки невинно убиенной (кстати, так и висит на чьей-то совести, никто по сей день не признался), из некоторых стрелы вымахали метра в полтора, ну чистый лук. Подбивал Макасю пустить на салат, она сволокла листик к себе в лабораторию, благо кандидат-от-гастрономии, поколдовала, говорит — ни боже мой. Алкалоиды.

— Гамалей разве не в радиорубке? — спросил вдруг Наташа.

— Нет, там Йох. А что?

— Да так. На предмет срочного начальственного вызова.

— Динамик перед носом, не пропустишь.

Нет, что-то тут не так. Уже по одному тому, как хищно подобрался Натан, сидя на перилах, можно предположить, что дело не в предполагаемом вызове, тем более что Гамалей Диоскурам никакой не начальник. Тогда что? Наташка, как правило, выступать не любит, и раз уж собрался, значит, приперло. И не посоветовался, братец!

— Вот что,— угрюмо проговорил Натан.— Судя по тому, что нам наобещали на Большой Земле, эта стенка должна была бы снизиться как минимум наполовину. Или нет?

Все, как по команде, задрали подбородки — край защитного цилиндра едва угадывался в вечернем небе, расчерченном полосами высоких перистых облаков.

— А черт его знает,— фыркнул Алексаша.— Никто ж не помнит, какой высоты она была вначале. Не до нее тогда было...

Кшися тихонечко вздохнула — что верно, то верно, не на стенку глядели: не вытащить было из просмотрового зала, где шла непрерывная непосредственная трансляция из двадцати уголков Та-Кемта, куда смогли заползти автоматические передатчики, замаскированные под камни, шишки и деревяшки. Все знали, что каждую ночь стена медленно снижается на сколько-то метров, но никому и в голову не приходило проверять это визуально. К тому долгожданному дню, когда светонепроницаемость должна была отключиться и открыть вид на лежащий неподалеку город, верхняя кромка стены вроде бы должна была быть намного ниже. А может, только кажется?..

— Выше, ниже — какая разница? — Самвел нервно поежился, и шорох его необъятной черной рубахи напомнил шелест вороньих перьев.— Не знаю, как вам, а мне здесь уже дышать нечем. Воздух должен быть проточным, как горная река! Мозги плесневеют...

— Вот-вот,— подхватил Наташа.— Когда гриб перезрел, он начинает плесневеть. Мы засиделись в этом колодце. Перезрели и засиделись. Дни идут, но они уже ничего не прибавляют ни нам, ни кемитам. Может, на Большой Земле этого и не понимают, но ведь должен был наш старик им все растолковать!

— Так ты что, собираешься сделать это за него? — спросил Алексаша.— Ишь, какой прыткий. Связь с базой, сам знаешь, через «Рогнеду». А там Кантемир, тоже не салага космическая, с ним так запросто не договоришься. Он без визы Абоянцева ни одной строчки на Большую не передаст. Так что мы можем тут митинговать до опупения...

— А нам будут отвечать: берите пример со старших товарищей, учитесь выдержке; пока не будет найдена формула контакта — контакта не будет.

— Хэ! Я не Васька Бессловесный! — крикнул Самвел.

— Мы тоже,— подчеркнуто спокойно проговорил Натан.— Поэтому я предлагаю не митинговать, как изволил выразиться мой единоутробный, а потребовать от Абоянцева коллективного выхода на связь с базой — так называемое аварийное диспетчерское; я знаю, в исключительных случаях дальним планетам такое разрешается.

— Ух, и энергии сожрем — пропасть! А толку? Старшее поколение, как всегда, проявит выдержку...— Алексаша являл абсолютно не свойственный ему скептицизм, и сам это почувствовал.— Кшиська, а ты что, как воды в рот набрала? Не узнаю!

Кристина, сидя на полу по-турецки, в течение всей дискуссии одна занималась делом — затачивала напильником концы самодельных шампуров. Она стряхнула опилки с комбинезона и тут же подумала, что напрасно — надо было позвать Ваську с магнитом, чтобы ни одной металлической крошечки не просыпалось вниз, а то еще куры склюют.

— Ага,— сказала она,— и Большая Земля тут нам сразу и разрешит выход за стену.

Она могла бы сказать и больше — ведь слышала разговор Гамалея с Абоянцевым; но подслушано было нечаянно и, стало быть, разглашать это негоже. «Неблагородно», как говаривали в старину.

— Так ты что, против? — завопил Алексаша.

Когда он вот так орал, тряся кудрями, он почему-то казался рыжим — а может, у него в волосах искры проскакивали? Хотя какие, ежки-матрешки, искры, в такой влажности статического электричества накопиться не может.

— Я — за,— сказала Кшися, позванивая шампурами.— Вот завтра наедимся шашлыков из консервов, выйдем на диспетчерское с базой и сразу найдем формулу контакта. Красота.

Алексаша открыл было рот, набирая полные легкие для очередной тирады, но Самвел изогнулся назад, кося черным глазом на витую лесенку, хрупко вздымавшуюся из вечерней темноты. По ней кто-то размеренно шлепал.

— Твое начальство, Кшися!

— Скажите, что я в неглиже и не принимаю.

Она опоздала — как из театрального люка появилась массивная патрицианская голова Гамалея. Сильный пол тут же занял привычные места на перилах.

— Свободным от вахты предлагается пройти в закрытый зал, — пробасила голова, поочередно оглядывая всех присутствующих. — Имеет быть альманах кинопутешествий, «Шестидесятые широты Та-Кемта».

— Опять мертвые города? — жалобно спросила Кшися. — А я-то сегодня собиралась ванну принимать, с учетом завтрашней фиесты.

Гамалей собирался, похоже, прочесть нотацию, но она подняла на него большущие свои прозрачные глазищи — осекся. Нет, положительно, здешний климат девке на пользу. Не то чуть побледнела (хотя — некуда), не то чуть остепенилась (хотя — ирреально), но вдруг заполнила собой и весь Колизей, и пространство от Колизея до самой стены, и никуда от нее не денешься — насквозь проходит, стерва, как пучок нейтрино. Дерзит, как хочет, а глаза кроткие и обалденно-счастливые, не на людей смотрит — сквозь, и еще дальше, и ничего удивительного, если и сквозь защитную стену. Вообще-то такие глаза бывают у влюбленных, пока они еще внушают себе, что имеет место тривиальный закрытый процесс единения творческих душ, а посему нечего стесняться или тем более следить за собой. Стыдливость и опущенные глаза приходят позднее, когда дело доходит до лап. Ну а насчет последнего мы еще посмотрим.

— Ну, так кто со мной на просмотр? — просительно — аж неудобно за него стало — проговорил Гамалей.

— Аделаида, — мстительно предложил Наташа. — Дама необыкновенных достоинств, среди коих и страсть к кинопутешествиям.

— Просмотры обязательны, — уже сухо, начальственным тоном заметил Гамалей.

— А кто против? Посмотрим. Всенепременнейше. Но только в то время, которое сочтет для себя удобным Кристина Станиславна, — Наташу заносило.

А действительно — время вечернего солнца, как, кажется, говорят в Та-Кемте. И сейчас начальников здесь нет.

— У меня будет завтра свободное время, — примирительным тоном, продолжая парализовать Гамалея своими халцедоновыми очами, проговорила Кшися. — Я как раз завтра не собираюсь обедать, а то вечером планируются шашлыки, а я и так здесь безбожно перебираю калорий.

— Могу подарить скакалочку, — злорадно, чтобы хоть както расквитаться за свою отчужденность, сказал Гамалей. — А кроме того, получено добро на первую стройку: намечено возвести

мельницу. Ручками. На что разрешено даже свалить одну из елок, что на западной стороне Колизея. Рубить, пилить, строгать — и все в свободное от работы время. Вот так.

— Ура!!! — заорали Наташа с Алексашей.

Через пять секунд они уже целовались с Гамалеем — нормальная жизнь в нормальном коллективе.

— Подумаешь! — сказала Кшися, оскорбленная предательством своих поклонников. — Можно, конечно, завоевывать внимание кемитов и процессом изготовления дрожжевых лепешек. Хотя — представляю себе, во что обойдется колонии каждая штука! Так сказать, материальное стимулирование любознательности. Но если бы мне разрешили взять с собой хотя бы сто пятьдесят платьев, включая исторические костюмы, я одна гарантировала бы вам двадцатичетырехчасовое торчание женской половины города под нашими стенами.

— Ты опять забыла, что здесь сутки — двадцать семь с половиной часов, — поправил ее Алексаша.

Остальные ее предложение просто проигнорировали.

— А я с вами на просмотр, — взмахнув черными крыльями своих рукавов, Самвел снялся с перил. — Все равно здесь меня не слушают.

— Я-то думала, что вы мне на сон почитаете Исаакяна...

Самвела вознесло обратно на перила.

Гамалей возмущенно фыркнул и влез в лоджию.

— Я через вашу комнату пройду... — и, по-гусиному разворачивая ступни в каких-то первобытных сандалиях, зашлепал к задней стене.

— Вы бы посидели с нами, Ян Янович! — лицемерно предложила Кшися.

— Вот погодите, проверю завтра вашу прополку! — проворчал он, просачиваясь сквозь потайную дверь. — Да, чуть не забыл: доконали вы меня со своим парниковым эффектом. Сегодня с ноля часов и до четырех тридцати — проветривание. Стена будет опущена до двух с половиной метров. Посему во всем Колизее, исключая аварийное освещение в колодце, с ноля часов будет выключаться свет.

— А не опасно? — невольно вырвалось у Кшиси.

— Отнюдь нет. Кузнечиков всяких напрыгает, бабочек да шмелей — так это даже к лучшему. Тоскливо без живности, а тут не то что птиц, летающих насекомых ни одного вида не обнаружено. В лучшем случае — прыгучие. Скотина вся тоже какая-то... придонная... да что я вам объясняю, вы же все это просматривали в

период подготовки. Мохнатые ползучие ящеры, жабовидные ползучие млекопитающие. Удивительнейший пример сходимости видов! Но если принять гипотезу, что животный мир Та-Кемта миллиарда на полтора старше земного, то становится ясно...

Он глянул на скучающие физиономии Диоскуров и осекся.

— После ванны в лоджии спать не советую,— буркнул он по-стариковски.— Может быть ветрено. Спокойной ночи!

— Бары гешер, Гамалей-джан! — ответили хором Самвел и Кшися.

Помолчали секунд тридцать.

— А проела ты ему плешь со своим парниковым эффектом,— восхищенно проговорил Алексаша.— Чтобы такие перестраховщики, как Гамалей с Абоянцевым, разрешили убирать стену на ночь?..

— Ну, не убирать,— лениво поправил брата Натан.— Всегонавсего приспускать. И чего было не сделать это с самого начала — кемиты народ хиловатый, во всем городе, говорят, не наберется десятка мужиков двухметрового роста. Даже с поднятыми руками им до края стены не дотянуться. А если учесть, что глазеют на нас теперь только детишки да несколько стариков, определенно выживающих из ума, да и то они хором чешут отсюда, как только начинает садиться луна, то я определенно считаю, что установка стены поднебесной высоты была ошибочной с самого начала.

— Да если б они и поголовно были ростом с Петра Великого, все равно на стенку никто бы не полез,— поддержал брата Алексаша.— И даже не потому, что жрецы не велят,— силушки не хватит. Ну, помните по фильмам среднестатистического кемита — абсолютно никаких бицепсов!

— Поглядела бы я на твои бицепсы,— заметила Кшися,— на таких-то харчах, как тут.

— Кстати о харчах.— Наташа только обрадовался перемене темы.— С «Рогнеды» дразнились, что в Петергофе университетские биологи ввели в своем кафе обязательное кемитское блюдо, на предмет добровольного эксперимента. Им рогнедские транспортники поставляют хвосты от здешних крокодилов. Техника получения сего продукта предельно проста: двое подкрадываются к ящеру и берутся за хвост, а третий над самым ухом...

— Говорит жалобно: сделай милость, отдай хвост! — вклинился Алексаша.

— Третий стреляет холостым патроном. Остальные патроны, естественно, боевые,— до сих пор все гады вели себя с феноменальной сговорчивостью, обламывали сами себе лучшую половину,

как наши ящерки, и удирали. Но вдруг попадется какой-нибудь строптивый?

— Строптивых есть целиком!

— Зачем? В хвосте добрый пуд чистого мяса, а такой живой мясокомбинат отращивает на себе три-четыре хвоста в год.

— А что такое пуд? — спросила Кшися.

— Вот серость! — возмутился Алексаша. — В килограммах — это две руки, да одна рука, да один палец.

— Дошло. Но для кемитов такая мера сложновата.

— Меткаф говорит, в здешних горах есть пещерные твари, ну прямо скаты сухопутные. Ползет такой ковер, ворс сантиметров на семьдесят... — Самвел все еще безуспешно пытался привлечь внимание Кшиси, но это ему никак не удавалось.

— Нет, бросаю эту мышеловку, лечу в Петергоф! — загорелась она. — Представляете, вечер в кафе: бульон из гадских хвостов, антрекот... то есть антрегад подхребетный, хвостики вяленые над Этной, на запивку...

— Лучше не надо про запивку, это дурной тон! — снова попытался высказать свое мнение Самвел, но его опять проигнорировали.

— А на дежурных студентках униформа — гадские мини-дубленки! — а вот у Наташи сегодня был приступ буйной фантазии.

— Не слушай ты его, Кшиська, — поморщился Алексаша, — стопроцентный плагиат: бюстгальтеры на меху.

— Я и не слушаю. В горных пещерах сталагмиты, не попасешься. А во многих еще и вода. Что там делать мохнатому скоту, не представляю. Намокнет и замерзнет, сердечный. Так что нашему Меткафу, конечно, до Распэ далеко, но догоняет. На брехунов, вероятно, тоже распространяется закон сходимости видов.

— Ну, Кшиська, зачем так безапелляционно? Ты-то откуда знаешь, что там в пещерах?

— Можете представить себе, господа лоботрясы, — я всегда была отличницей. И когда нам во время подготовки крутили «Природу Та-Кемта», я не писала записочек разным курносым практиканткам с факультета стюардесс малокаботажных линий, как некоторые из здесь присутствующих.

— Ничего-ничего, — зловеще каркнул Алексаша, — поругайся еще со своим Гамалеем — он тебя отсюда в два счета выпрет. И пришлют нам пару курносеньких... А про горные пещеры, между прочим, в нашем курсе ничего наглядно не было, одни гипотезы — съемки-то велись со спутника, тогда и «Рогнеду» еще не смонтировали.

— Пещеры я видела! — запальчиво возразила Кшися.

— Во сне?

— Хотя бы!

— Ой, Кшиська, ой — уши вянут.

— А почему — нет? — вступился Наташа. — Кемиты вообще производят на меня впечатление малых с великими странностями. Наш Салтан не допускает, чтобы они владели телекинезом, а я не вижу в этом ничего удивительного после того, как они за четверть часа могут превратить собственные руки хоть в метлу, хоть в топор. С земной точки зрения — абсурд, но ведь при желании ту же самую аутотомию ящериц можно рассматривать как проявление нечистой силы. Оборвали хвост — значит, вырастить его сможет только черт. Чистым силам это недоступно. А здесь любая тутошняя корова и хвост отбрасывает с испуга, и шкуру меняет по весне. Чертовщина!

— Так что, по-твоему, кто-то из здешних экстрасенсов, ковыряя себе в носу, транслирует Кшиське свой вариант «Клуба путешествий»? Из альтруистических соображений, так сказать?

— А почему нет? Не спится кемиту... Опять же квасной патриотизм, любование захудалым, но родным уголком.

— «Почему нет?» — передразнил его Алексаша. — Потому что кемиты по ночам спят. Дай им волю, они и день-то весь продрыхли бы. У них культ мертвецкой спячки, и вы все это прекрасно знаете, потому что иначе мы не сидели бы здесь и не ждали бы как у моря погоды, когда, наконец, кемиты к нам привыкнут, а наше начальство этот факт примет за действительность. А годика через два-три нам, может быть, и разрешат убрать стену и двинуться в эти сонные термитники — будить этих лежебок, которые, того и жди, доваляются в своем отупении до какой-нибудь эпидемии, вселенского потопа или оледенения, против чего у них, даже со всеми телекинезами, мимикриями и прочими чудесами, кишка тонка выдюжить.

— Раздражительный ты стал, Алексаша, — заметила Кшися. — Злобный. Таких в Та-Кемт не пустят. Таким место в Сухумском профилактории. А вместо тебя — курносенькую...

— Ты зато стала добренькой. Ангел белоснежный, фламинга линялая. С самого начала, когда ты стала своему Гамалею хвост отъедать по поводу парникового эффекта, или как там у вас, не разбираюсь, я слушал — сердце радовалось. Ну, думаю, одна родственная душа среди всех этих, с опытом и выдержкой. А теперь что с тобой стало? Плаваешь, как новорожденная личинка угря — вся прозрачная, глазищами на всех мужиков зыркаешь, а они и

шалеют... Что с Самвелом сделала, с Гамалеем? Наташка и тот дрогнул. Да не отпирайся, братец, ежели б ты был один! Но вас же целый хор. Ну, что ты всех завораживаешь? Нашла себе охотничий вольер, нечего сказать!

— Ну Алексашенька, ну что я могу тебе сказать? — вот уж действительно предел кротости. — Живите вы себе с миром, не глядите в мою сторону. А я пригретая какая-то, интересно мне здесь, хорошо. И тепло...

— Тебе тепло, видите ли! И от избытка тепла ты разгуливаешь на виду у всего Колизея, не говоря уже о Та-Кемте, в сарафане с декольте на двенадцать персон?

— Вот что, — медленно проговорила Кшися, — Макася бедная со своим днем рождения ни в чем не виновата, так что подбирайте шампуры, а баранина с луком внизу, в большой белой кастрюле, и советую спуститься незамедлительно и самостоятельно, иначе кто-то будет торчать в этой кастрюле головой вниз и ногами вверх. Прошу!

— Ну Кшисенька, Алексашка просто рехнулся...

— Оба!!!

Диоскуры загремели вниз по лестнице, Самвел, не дожидаясь приглашения, — следом, но бесшумно.

Кшися послушала, приподняв одно плечо и наклонив к нему ухо, — убрались. И никаких поползновений вернуться и продолжить свои митинги. А сердится ли она, в самом деле?

Да ничуточки.

И вообще так легко и радостно, что хочется вспрыгнуть на перила и походить взад-вперед. Ведь если босиком, то совсем и не страшно. Вот только увидит кто-нибудь снизу, опять начнутся нотации. Значит — в кроватку. И поживее. Лежебокой она тут стала, ну просто себя не узнать! А как и не стать лежебокой, когда здесь, в Колизее, так сказочно спится. И сны...

Значит, ванну побоку. Прохладный душ, и поскорее, волосы не мочить... Вот так... А теперь — под одеяло, закинуть руки за голову и ждать, когда придет сон...

Вчера она видела берег озера. Обрывистый, слоистый, с цепкими лапами не то плюща, не то хмеля, карабкавшегося по карнизам вверх. Земля? Но земных снов она давно уже не видала. И потом — это осторожное присутствие кого-то, кто вел ее по этим берегам, как раньше водил по горам и пещерам... Порой ей даже казалось, что ее несут на руках, но она никак не могла увидеть этих бережных рук. Чувствовать — да, видеть — нет. Таковы были причудливые правила игры ее снов.

Руки, закинутые за голову, замерзли. Она спрятала их под подушку. Надо было опустить защитную пленку между комнатой и лоджией, ведь предупреждал же Гамалей! Наверное, уже полночь, и защитное поле снизили, как обещали, вот и тянет свежестью леса. И что это сегодня не засыпается?

Она повернулась на бок и стала смотреть в темноту. Прозрачность бесконечной толщи темно-синего сапфирового стекла. А ведь перед нею — город. Она точно знала, что он расположен с восточной стороны Колизея — значит, как раз напротив ее комнаты. Она хорошо его помнила — еще на Земле в период короткой лихорадочной подготовки его панорамный снимок занимал все стены кабинета геофизики Та-Кемта, планеты, названной в честь этого города. Как и все еще живые города экваториальной зоны, он располагался на холме, с одной стороны прикрытый исполинскими, но безнадежно потухшими вулканами, а с трех других оцепленный хищным субтропическим лесом, который давно уже заполонил бы собою улицы и дворы, если бы змеепасы не гоняли свои ленивые, но прожорливые стада вдоль самой опушки, изничтожая молодые побеги. На таком-то пастбище и угнездился экспедиционный комплекс.

К городу земляне относились примерно так же, как к древним Фивам: помнили общий план и назначение архитектурных комплексов, но было это в непредставимом далеке, словно за спасительной преградой веков и парсеков.

А ведь Та-Кемт был тут. Затаенный в непроглядной темноте, неторопливо восходящий к ацтекской пирамиде, прилаженной к храмовому комплексу, словно гигантское и совершенно инородное крыльцо, он доносил до землян свои запахи, свою темно-синюю беспылевую прохладу и главное — сдавленную, напряженно сохраняемую тишину. На самом-то деле это не тишина — тут и сонные храпы, и придушенное подушками дыхание, и шелест мелких ночных гадов... И только людских, земных, пусть едва уловимых звуков нет в этой ночи... Кшися хрустнула пальцами и тут же испуганно спрятала руки под одеяло, словно этот нечаянный звук хотя бы на миг мог отдалить тот час, когда наступит наконец срок, и они, перешагнув заколдованный круг выключенной защиты, побегут, полетят навстречу новому миру, чтобы с этого мига стать неотъемлемой частью кемитского бытия. Это ведь так просто — когда один человек становится частью и жизнью другого. Это ведь так просто и так естественно — когда это делает целое человечество. По какому праву? Да не по какому. И не по праву. По закону любви. Стать частью друг друга.

Так почему же эти, захлебывающиеся удушливыми снами, не хотят подчиниться этому естественнейшему из законов?

А может, они о нем просто не знают? Может быть, им доступна та маленькая, домашняя любовь, которая согревает только двоих? От такого предположения у Кшиси, упорно разглядывавшей темноту, округлились глаза. Ежки-матрешки, да ведь и правда! Богов им любить, что ли? Храмовище свое окаянное, жрецов толстопузых? Город свой горбатый с вонючими арыками, горы щербатые, в которые они и сунуться-то боятся? Солнце свое стынущее? Ветер, несущий лед и стужу?..

Так вот почему они не принимают нас, с ужасом повторяла себе Кшися, вот почему они рванулись было поклониться нам: ну полутора десятками богов больше стало, а кланяться испокон веков приучены, вот и кадили первые дни, пока команду кто-то не отдал — стоп. А теперь мы для них как горы непроходимые, как солнышко блеклое,— что и смотреть-то в нашу сторону? Но, выходит, прав Абоянцев, прав Каптемир, права база — перешагни мы сейчас стену, попытайся войти в город, и вспыхнет волна ненависти, которую мы называем непереводимым на кемитский словом «ксенофобия», потому что для них сейчас это равноценно тому, как если бы на город двинулись скалы или деревья. И, как со скалами или деревьями, нет у них с нами контакта, нет, хоть провались — нет! И, значит, терпеть и сидеть, и лапу сосать, и до одури искать эту проклятущую формулу контакта, потому что не может такого быть, чтобы ее не существовало!

Кшися тяжело, по-старушечьи, вздохнула, вытянулась на холодной постели, словно легла по стойке «смирно». Ни разу еще за все пребывание здесь не приходили по ночам такие трезвые, стройные мысли. Точно лекция Абоянцева. Судьбы народов ее волнуют, видите ли. До сих пор в ночное время ие волновали. До сих пор мягкое покрывало волшебного сна окутывало ее с наступлением полной темноты и, подобно андерсеновской собаке с глазами, как мельничные колеса, уносило ее из неприступного дворца землян в первобытный, каменно-бронзовый век Та-Кемта, где, минуя журчащий арыками город, опускало ее на мшистые уступы медноносных гор, на лесные едва угадываемые дороги, на берега бездонных озер, гнездящихся в древних кратерах...

Но сегодня о ней забыли. Забыли! Надо же... И сон нейдет, хоть белых слонов считай. Да и забыла она, какие земные сны виделись ей в последнее время. Так что обычный способ — составление аутограммы самовнушения — будет сложноват. Ну, ладно, расслабимся и сосредоточимся...

И в этот миг жесткие резиновые жгуты захлестнули ей шею и плечи. Она забилась, пытаясь крикнуть, но ее уже волокли лицом вниз по вечерней лиловой дороге, и самое стыдное было то, что на ней ничего не надето, и твердые босые ноги дружно ступали в омерзительной близости от ее лица, и спастись было чрезвычайно просто — надо только уменьшиться, и она заставила себя стать маленькой, и тогда резиновые путы соскользнули с ее тельца, и она осталась лежать на дороге, приподняв подбородок и глядя в спины уходящим. Они по-прежнему шли мерным шагом, словно не замечая потери, и непомерно длинные руки, истончившись, свисали до земли и упруго покачивались в такт ходьбе. Она поднялась, опираясь на локти и царапая коленки, потому что у нее в ладонях было что-то зажато, и это «что-то» вдруг слабо чирикнуло, засвиристело, наполняя ладошки пушистым шорохом, и она побежала домой, радуясь, что наконец-то нашла настоящую живую птицу, но бежать было трудно, тоненькие ножки, начинавшиеся сразу под мышками, заплетались, а тяжелая большая голова никак не желала держаться прямо на бессильной шейке, и Кшися поняла, что птицу придется выпустить, иначе она до темноты не дойдет до дома, и раскрыла ладони, и увидела великолепного ткацкого паука, мохнатого и сытого, и, вместо того, чтобы обрадоваться, почему-то истерически закричала и, стряхнув с себя цепкое чудовище, бросилась в первую попавшуюся калитку, но за калиткой сразу же начинались гигантские уступы храмовой пирамиды, на вершине которой занималось голубоватое зарево, и ее снова схватили, и теперь вырываться было бесполезно, и понесли вверх, легко и бесшумно, словно у каждого из палачей имелся по крайней мере портативный левитр, и вот ее уже вынесли на вершину, но вместо голубого огня перед нею открылось, наконец, долгожданное озеро, и тогда один из мучителей провел рукой по ее голове, и она с ужасом обнаружила, что все волосы остались в его ладони, и от стал старательно плести веревку из белых кос, отливающих голубизной в лунном свете, но кто-то другой остановил его, и она почувствовала, что ее лицо густо обмазывают глиной, и последнее, что она ощутила, был точный и несильный удар, вклеивший в эту глину остроугольный ледяной черепок, пришедшийся точно посередине лба...

## 10

Инебел судорожно глотнул холодного предрассветного воздуха и открыл глаза. Несколько змей, пригревшихся у его тела, испуганно порскнули в пыльную придорожную траву. Стозвучный гул

растревоженных «печестивцев» еще отдавался эхом у кромки леса. Тело, изломанное внутренней болью, сведенное непривычным холодом, не сразу позволило разуму воспринять случившееся. Спящие Боги, он провел ночь под открытым небом!

Его заколотило от ужаса. Проснись он ночью — сердце разорвалось бы! Но он не проснулся. Тошнотворные видения цепко держали его рассудок, не позволяя ему вырваться в реальный мир. И не его одного...

Какая-то инстинктивная осторожность заставила его даже в такой момент сдержаться — не вскочить на ноги, а только поднять голову из травы.

В верхнем гнезде ее не было. Незастеленная лежанка, разбросанная по полу одежда. Да где же она, где?..

Да вот же. Слава Спящим Богам, здесь она. Не исчезла, не поднялась ввысь светлым облачком. Сидит на нижней ступеньке лестницы, закутавшись в свое полосатое одеяло, а над ней эта желтоволосая, худородок тамошний. Если вообще у Богов бывают худородки. Желтоволосая гладит ее по голове, неслышно шевелит отвислыми губами. Ласковая. Такие и у нас ласковые.

Только что заставило тебя покинуть голубое гнездо свое, что заставило тебя бежать из него? Утренняя прохлада, громыханье «печестивцев» или же, может быть, недобрый сон?..

Сон! Леденящие, измывающиеся над душой и телом кошмары — ведь он был в своих снах не один... Вот, значит, кого затянул вместе с ним водоворот ночных ужасов!

И, значит, нельзя верить Аруну — не жрецы насылают наказания. Жрецы ни о чем еще не узнали. Великие Спящие Боги покарали его за содеянное. Они мстительны, и гнев их падает на весь дом, и сейчас отец его, и мать, и братья подымаются со своих лежанок, обессиленные полуночным бредом, испуганные и недоумевающие... А он даже не посмеет рассказать им о своей вине. И пойти к ним он не посмеет, потому что совсем рядом — та, которую сегодня ночью он оставил беззащитной, хотя готов был бы отдать весь свет своих глаз за одну ресницу ее. Он и сейчас ничем не может помочь ей, но уйти, когда она сидит, дрожа под своим одеялом, он не в силах.

А что он в силах?

Что бы там ни было, а нужно работать. Вот и кусок стены, ограждающий крайний двор. Длинноющий полукруглый кусок торца, урок на две руки. Правда, со стороны пастбищ только детишки да пастухи могут увидеть его, но надзирающий его семей-

ство жрец повелел расписать и эту ограду. Может, он заботился о том, чтобы взор Нездешних Богов находил себе здесь усладу и отдохновение?

Но Нездешние Боги спокойно и равнодушно смотрят вдаль, и непохоже, чтобы их высокое внимание могла заинтересовать Инебелова мазня. И даже та, что добрее и возвышеннее всех этих нездешних, всегда смотрит либо себе под ноги, либо куда-то в небо, поверх оград и деревьев, и ни разу он не смог встретиться с нею взглядом.

И все-таки для нее одной он будет рисовать. Сейчас спросит у хозяев этого двора уголек для наброски контуров, разметит стену на должное число отдельных картин, а там прибежит длинноногая вертлявая Апль узнать, почему старшенький-беленький так рано поднялся и не вернулся к утренней еде, и можно будет послать ее за горшочками с краской.

При мысли о еде, даже мимолетной, его весьма ощутимо замутило. Ночная дурнота целиком не прошла, стояла предутренним влажным туманом, забивающим грудь и горло, а руки...

Он глянул на руки — и снова, вот уже в который раз за это проклятое утро, страх окатил его с головы до ног. Лиловые липкие подтеки, пятна, стянувшие кожу, — но ведь не краска же это?

Он поднес руки к глазам, и тошнотворный запах, преследовавший его с самого пробуждения, резко усилился; трава перед глазами и серебристый колокол чуть поодаль вдруг потеряли четкие очертания, поплыли, и снова на него ринулись сны, тяжелые и неповоротливые, словно мясные гады, и начали душить своей тяжестью... Он упал обратно в траву, царапая лицо, и в последний момент успел увидеть, как четверка скоков, четко печатая шлепки босых ног по холодной дороге, вылетела по его улице на равнину, свернула вправо и, поминутно оглядываясь так, что шеи вытягивались втрое против обычного, обогнула торец ограды и исчезла на соседней улице.

Инебела в высокой траве не заметил никто.

Он очнулся быстро — солнце почти не поднялось, — с трудом спрятал руки за спиной, чтобы снова не замутило от запаха, побрел к арыку. По улице уже пробегали горожане, в основном детишки, раньше других кончившие завтрак и теперь спешащие за шишками для очагов, глиной — подправлять пол на дворе, а некоторые — стряхивать с чашечек цветов медлительных насекомых, чтобы кормить ручных ткацких пауков.

Теперь его никто уже не отличил бы от окружающих.

Он отмочил руки в арыке, придал им известную жесткость — держать угольки. Пошатываясь, побрел обратно к урочной стене. Даже не удивился, увидев там Лилара.

Кивнули, насупясь. Слова, предписанные законом — пожелания снов да восхваления Спящих Богов, — не шли с языка. Пустословить с утра было тошно. Лилар присел, уйдя по плечи в траву, рядом с ним опустился и Инебел.

— Здесь почевал, — утвердительно проговорил сын гончара. — Не ври, вижу. Нанюхался ягоды?

— Получилось. Только утром догадался, — тихо, почти виновато ответил маляр.

— Дома — ни-ни. Сейчас не ешь, с души воротит, я знаю; к полудню потянет — так вот.

— Да ты что?..

— Да я что надо. И не кобенься, бери, чай я тебе не брюхоног неусыпный. Подол подставляй.

В складки передника Инебела перекочевал увесистый сырой кусок, обернутый шершавым лопушистым листом. Не давешняя ли запеканка из душистых зерен? Нет, ломоть печеной рыбы.

Той самой рыбы.

— Зарой под камешком, — наставительно продолжал сын гончара. — Как утреннее солнце падать начнет, тебя от голода аж перевьет и в узел свяжет. Натерпелся я в свое время.

— Я думал, ваш дом эта кара стороной обошла...

— Лопух ты, лопух белый. Мы ж с отцом противоядье искали. Затем отец и ягоду эту на смоковницу подсадил.

— А ежели б выдал кто?

— Некому. Вот тебя отец заподозрил, что к жрецам перекидываешься, за юбку выслуживаешься — велел от двора взашей гнать.

— А теперь?

— Лопух белый. Теперь мы одним волосом повязаны. Что два соседских нечестивца. Жреца-то сообща задавили.

Инебел вздохнул, невольно повел глазами в сторону нездешней обители — ни с кем-то не хотел бы он быть повязанным. И почему это не дано каждому в отдельном доме жить, по собственному разумению? А то ведь ни на кого глаза не глядят. Отец с матерью все в спину пальцами торкали — не по уроку усердствуешь, не по красильному назначению вопросы задаешь... Потом вот эти. Сперва оттолкнули, теперь притянули. А ведь чем они дышат — не любо ему. Все дым чужой. Не напитаешься, не обогреешься, только голова заболит.

— Пристально глядишь, — предостерегающе заметил Лилар.

— А что, не дозволено?

— Да пока дозволено. Только другие так не глядят. А ты делай так, как отец учит: раз глянул, потом спиной оборотился — и думай. А виденное пусть перед глазами стоит. Этому, правда, научиться надобно...

Учиться? Научиться бы, чтобы не стояло это перед глазами день-деньской, от восхода до заката. Научиться бы, чтобы не думать об этом с заката и до восхода...

— Отворотись, тебе говорят! — Лилар цепко взял маляра за плечо, отвернул от обители сказочной. — Чего долго-то смотреть, когда и так ясно: не Спящие это Боги. То есть спят они, естественно, но не это у них главное.

Лилар вытянул шею, как недавние скоки, огляделся — никого, кроме детишек-несмышленышей, поблизости не было.

— Главное в них — это то, что Богово. А Богово — это то, что не нашенское, не людское.

Инебел с тоской поглядел прямо в черные сузившиеся на солнце глазки гончара. Да, он это все серьезно, и он это все надолго. Не этот разговор, естественно, а безгранично высокомерное, непререкаемое убеждение в том, что именно он постиг тайну Нездешних, единолично владеет ею и волен делиться этой тайной, как милостью, только с избранными.

— А не людское в них то, — торжествующим шепотом заключил Лилар, — что для них вкушать пищу — не есть срам!

Лилар победоносно глянул на собеседника и немного изменился в лице: уж очень скучный вид был у молодого маляра.

— Могут же быть люди, у которых другие законы... — примирительно проговорил Инебел.

— Но это не люди — это Боги! И потом, пока таких людей, с другими законами, под нашими двумя солнцами нет. ПОКА!

Инебел снова прилег в траву, начал медленно растирать виски. Очень уж голова разболелась — то ли давешнее, от ягодного сока, то ли Лилар со своим многомудрым вещанием...

— Ишь, постель длинную белым одеялом накрыли, на одеяло многие миски с едой понаставили, хотя по одному корытцу на конец вполне достало бы, — Лилар говорил размеренно, словно горшки свои готовые пересчитывал. — Едят, а серебряный подает. Совестливый, поди, не иначе — никогда не ест, не пьет. А руки четыре. Сейчас кончат, по всему обиталищу разбегутся — кто корни копает, кто зверей диковинных пестует. Утреннее солнце уже в вышине, а они опять за постель едальную усядутся. И нет, чтобы давешнее подогреть — все свежее пекут. Там, глядишь, еще

помельтешат себе на забаву — и уже под вечернее солнышко жуют. Ну, мыслимо ли людям так жить? Богово это житье, и сии Боги должны называться соответственно: вкушающие. Так их и рисовать должно.

Инебел перестал тереть виски и медленно поднял голову. Вот теперь уже все сказано. «Рисовать должно». Вчера вечером разговор о том, что же получает Арун взамен своего попечительства, оказывается, был только вступлением. Благодарность, верность... Слова.

«Рисовать должно».

Это — требование дела.

— Закон запрещает рисовать едящих...

— Людей! А я тебе толкую о Богах. И чему тебя отец наставлял — божественное от смердящего не отличишь!

Инебел сел, обхватив колени слабыми, ни на что сегодня не пригодными руками. Прямо перед глазами тускло серела неразрисованная изгородь, на которой он должен был изобразить Нездешних Богов. Спящих, восстающих от сна, увеселяющих себя причудливой работой. Хотя можно ли называть работой то, что чужими руками деется? А у них этих рук чужих — пропасть. И резать, и долбить, и копать — на все особая чужая рука, то блестящая, то смурая.

— Я буду рисовать Нездешних такими, какими предстают они передо мной в утреннем солнце истины,— спокойно, уже без прежней безразличной усталости, проговорил Инебел.— Я буду рисовать их в исполнении забот человеческих.

Лилар подскочил, словно змей-жабоед, стремительно выпрямляющийся на кончике хвоста при виде добычи.

Поднялся и Инебел, и бывшие друзья стояли друг против друга ближе вытянутой руки, и оба чувствовали, что между ними — по крайней мере одна улица и два арыка.

— А ты упорно не называешь их Богами,— вдруг заметил Лилар, враждебно поблескивая узкими, не отцовскими глазами.

— Я называю их «Нездешние», ибо это — их суть.

— Их суть в небоязни еды, которая, в отличие от сна, есть зримое и весомое благо! Они — истинные Боги, потому что в бесконечной мудрости своей преступили ложный стыд, который, как дурной сон после ядовитого сока, сковывает весь наш город! Они явились к нам для того, чтобы показать истинный путь: сильный и мудрый да накопит то, что можно собрать и сложить, то, что можно дать и отнять. А это — пища. Еда. Жратва. Понял?

— А зачем? — безмятежно спросил Инебел.

— Затем, что тогда сильный и мудрый сможет хилому и слабоумному дать, а может и отнять. И тогда хилый будет принадлежать сильному, словно кусок вяленого мяса.

— Жрецы раздают нам еду, но мы, как и все под солнцами, принадлежим не жрецам, а великим и Спящим Богам.

— Потому что олухи — наши жрецы! В Закрытом Храмовище их тьма тьмущая, все грамотные, давно могли бы всех нас, как нить паучью, на один палец навить, в улиткин домик запихать и глиной вонючей замазать! Поперек улицы могли бы всех нас уложить и по спинам нашим ходить! Нет, мы на их месте...

Он вдруг осекся, ресницы его испуганно взметнулись вверх, и на какое-то мгновение глаза стали круглыми, как у Аруна.

— А действительно,— проговорил Инебел, глядя на него с высоты своего необыкновенного роста,— ты сегодня не работаешь, ты пришел ко мне с тайной беседой и задней мыслью. Ты хочешь, чтобы я стал твоими руками, послушными из благодарности, смиренными и безответными,— совсем как чужие руки Нездешних... Но какой прок из всего этого тебе, сын горшечника?

Лилар стоял в траве, доходившей ему до пояса, с шумом выдыхая воздух сквозь узкие, причудливо вырезанные ноздри, и все старался, наклоняя голову набок, глядеть мимо Инебела, спокойно взиравшего на него сверху вниз. И этот взгляд никак не позволял горшечнику почувствовать себя хозяином положения.

— Много хочешь знать с чужих губ, сын маляра,— сказал он, изнывая от невозможности сохранить высокомерный тон.— Попробуй узнать хоть что-нибудь из собственной головы. Это тебе не угольком заборы полосатить!

Вот так и кончился этот разговор с тобой, детский друг мой Лилар, но разговоров еще будет предостаточно! Что-то бродит в ваших умах, что только — толком не разберу, не до того сейчас, но понял я пока одно — уж очень вам нужны чужие руки, вы теперь от меня так просто не отступитесь. Потому что вам нужны не просто руки, а те, которые умеют рисовать, да так, чтобы нарисованное было яснее сказанного...

И тут он вдруг почувствовал, как у него стремительно начала стынуть спина и заныло под лопаткой, как раз напротив сердца, и эта щемящая боль побежала по рукам, спускаясь к слабым недвижным пальцам, и они, не повинуясь никакому приказу, вдруг сами по себе дернулись, становясь жесткими и хищными, сжались в мгновенно окаменевший кулак...

Он уже знал, что это означает. Оглянулся, разом охватывая бесчисленные соты громадного, как Уступы Молений, обиталища

Нездешних Богов. Вот. Одно из гнезд второго пояса. Серебряные светлячки крошечных солнц, прилепившихся к карнизам, и двое под ними; трепещущие рукава диковинной черной одежды, проклятые смуглые руки — если бы безобразные, так нет ведь, трепетные и одухотворенные, какими и должны быть руки истинного Бога, и в них — задержавшаяся на мгновение узкая белая рука, что прозрачней и тоньше пещерной льдинки...

## 11

Вместо будущей недели «елку» начали валить еще до обеда. С лужайки убрали коров и баранов, затем под обреченным деревом как-то нечаянно стали появляться люди, все поодиночке и абсолютно непреднамеренно. Кто-то догадался прихватить Ваську Бессловесного, Сэр же Найджел притопал по собственной инициативе и теперь отчаянно мешал всем, наступая на ноги и через равные промежутки времени издавая каркающий вопль типа «Нерационально!» или «Все плохо организовано!».

Его гнали, он возвращался.

Поначалу это были Макася, появившаяся первой, Сирин и Аделаида — троица, своей контрастностью способная вызвать оторопелое удивление. Некоторое время они ходили, спотыкаясь о корни и кровожадно поглядывая вверх. Всем явно хотелось первобытно поработать руками, но никто не знал, с чего начинать.

Пришел Меткаф, первым делом рявкнул на Сэра Найджела, чтобы не совался к дереву ближе, чем на три метра. Робот обиженно шарахнулся, чуть не сбив Аделаиду с ног.

Пришли, если не сказать — влетели, Диоскуры, играючи мускулами; не теряя времени, сгоняли Ваську за топорами.

Пришел Йох, осмотрелся, обстоятельно показал, в каком виде будет первый этаж и край делянки, если дерево обрушить прямо с кроной.

Пришел, то есть примчался, аспидно-пламенный Самвел, только что помирившийся с Кшисей, и, не внося устных предложений, сразу же принялся стаскивать полукеды и штаны, чтобы лезть на дерево. И влез.

Пришла, сиречь впорхнула, Кшися, одарила пленительнейшей улыбкой всех, исключая Наташу с Алексашей, увидела на нижней ветке Самвела и, ни у кого не спрашиваясь, полезла к нему.

Пришел вперевалку Гамалей, весь увешанный шнурами, блоками, крюками и кошками, стряхнул все это на траву и, почесывая поясницу, принялся неторопливо излагать теоретические пра-

вила лесоповала по инструкциям Сигулдинско-Цесисского заповедника: из его рассказа следовало, что ие подпускать к деревьям следует именно людей. Монолог Гамалея презрели из-за несоответствия оного с воспитательно-демонстрационной ролью задуманного.

Ввалился Магавира, когда Диоскуры с топорами уже карабкались вверх; вскоре все нижние ветви, растущие симметричным венчиком, словно на гигантском хвоще, были для подстраховки схвачены канатами, перекинутыми через верхние ветви, и от всей этой суеты сотни каких-то жучков посыпались вниз вперемешку с тугими упругими шишечками, вызвав у Аделаиды атавистический ужас при воспоминании о земных клещах.

Пришел Абоянцев, когда все ветви нижнего венца уже были аккуратно спущены на лужайку, и сказал, что рубят не то дерево.

Вот тогда-то и началось настоящее веселье.

Про обед вспомнили только тогда, когда оземь тяжко ухнула густая верхушка, и кольчатый рыжий ствол, словно порядком заржавевшая антенна, остался торчать вместо густолиственного симметричного дерева, по простоте душевной именовавшегося «елкой». Кажется, впервые за все пребывание на Та-Кемте земляне почувствовали упоительно примитивный, прямо-таки первобытный голод. Сэр Найджел, которому давно следовало жарить шашлыки, получил фееричекую взбучку и был отправлен вместо Васьки доить корову, а все общество, наскоро перехватив на кухне кто супчику, кто котлет, беспорядочной толпой повалило обратно на лужайку, нагруженное скатертями, тарелками и всяческой снедью, предусмотрительно наготовленной Макасей с раннего утра.

Охапки вянущей зелени (то ли слишком узкие и жесткие листья, то ли чересчур мягкая и длинная хвоя), накрытые пледами, одеялами или просто махровыми простынями, служили превосходными античными ложами, образовавшими большое пестрое кольцо, в центре которого полыхал душистый незлой костер, к которому время от времени протягивались натруженные руки — повернуть сверкающую шпажку шампура, прилаженного над угольями. Если забота о мясе насущном вызывала движение радиального порядка, то не менее интенсивным было кочевье по кругу черных пузатых бутылок, как утверждал Гамалей, неподдельного бургундского.

Тосты, обращенные к непосредственной виновнице этого импровизированного торжества, уже отзвучали. У ног разрумянившейся, по-девичьему счастливой Макаси высилась гора подарков, заказанных на Базе и спецрейсом переправленных через

Вертолетную сюда, — бесчисленные игрушки, безделушки и никчемушки, от плетки-семихвостки с дистанционным управлением (для приведения к послушанию Сэра Найджела, в последнее время обретшего излишнюю самоуверенность) до поваренной книги под загадочным названием «Рецепты комиссара Мегрэ».

Начиналась та естественная фаза каждого праздника, будь то свадьба или именины, когда само собой получается, что о новобрачных или именинниках начисто забывают и разговоры начинают вращаться вокруг какой-то насущной темы, которая одинаково волнует всех собравшихся.

Поэтому естественно, что заговорили о проклятой и неуловимой формуле контакта.

— Мы же не для них строим мельницу, а для себя, — брюзжал Меткаф. На базе, в период подготовки его знали совсем другим — самодовольная ухмыляющаяся рожа, мазутовый глянец и победоносное сочетание истинно неандертальских надбровных дуг с салонными манерами круга Оскара Уайльда.

Он и сейчас — единственный из присутствующих, вырядившийся в черный вечерний комбинезон, с ослепительной рубашкой и строгим однотонным галстуком цвета «спинки альфа-эридан-ского навозного жука». С тех пор как их переправили на Та-Кемт, Меткафа почти нельзя было увидеть улыбающимся. Мрачноватый скептицизм он почему-то счел наиболее приемлемой маской, достойной созерцания со стороны, и теперь эта маска медленно, но явно портила его характер, необратимо становясь второй натурой.

— Это, конечно, приятно и достойно — махать топором, не менее приятно и не менее достойно лопать лепешки из муки собственного помола. С медом особливо. Но на кой ляд эти уроки кемитам? Насколько я помню, они отнюдь не чревоугодники. У них в ходу запеканки из дробленых круп, не так ли?

— Так, так, — закивала Макася, признанный специалист по кулинарии обеих планет — Земли и Та-Кемта.

— Едят они дважды в сутки, им не до разносолов. Конечно, лепешки дали бы припек, но разве это проблема? Ни в нашем, ни в каком другом городе, по-моему, от голода не умирают.

— «Припек, разносолы»... — задумчиво повторил Абоянцев. — Мария Поликарповна, я наблюдаю возрастающее влияние ваших очаровательных кухонных вечеров на словарный запас нашей экспедиции. И если бы так же легко определялась формула контакта — мы бы с вами, голубушка, горя не знали. Но здесь, запасясь терпением и мудростью, придется перепробовать и мельницу, и гончарный круг, и прялку, и телегу...

— О! Шарабан! — с готовностью отозвался Алексаша, вырядившийся ради праздника в мягкие сапожки, рыжий робингудовский камзол с зелеными отворотами и островерхую шапочку с ястребиным пером — наглядное выполнение циркуляра базы, предписывающего демонстрировать кемитам весь спектр возможных земных одеяний. — Будь я, как это у них там, таскуном — я первым делом ухватился бы за колесо. Кстати, почему бы нам не приберечь на этот случай несколько подходящих ветвей от сегодняшнего... э-э...

— Вы имеете в виду новопреставленную елку?

— Я бы назвал ее все-таки кедром. Точнее — секвойевидным кедроидом.

Кто-то сдержанно застонал. Все, естественно, обратились к Сирин Акао — ей, как единственному лингвисту и вообще утонченной душе, подобное словотворчество должно было показаться чудовищным кощунством. Но Сирин, со свойственной ей непроницаемостью древнего языческого божка, и бровью не повела. Она единственная не возлежала на импровизированном ложе, а мелкими шажками семенила вокруг кольца пирующих, подбирая в золотистую корзинку липкие шишечки, насыпавшиеся кругом во время рубки дерева. Когда корзинка наполнялась доверху, Сирин опускалась на колени и целыми горстями кидала шишки в огонь. Они взрывались, словно крошечные хлопушки, и медвяный аромат распространялся по всей лужайке.

Стонал-то, конечно, Самвел, вот уже битых два часа сидевший с заготовленным заранее классическим стихом, приличествующим случаю, и все не мог отыскать в общей беседе отдушину, в которую он мог бы вклиниться со своей набившей всем оскомину поэзией.

— Повозку мы сделаем, это не проблема, — небрежно отмахнулся от него Алексаша. — И сахароварню. Но все это мелкие чудеса, которые, как мы знаем из сообщений «Рогнеды», практически перестали привлекать кемитов. Я уверен, что и сейчас они голов не повернули в нашу сторону, не то что в первые дни. Так что теперь, чтобы снова возбудить их интерес, мы должны сделать что-то такое, что было бы эквивалентно нашему появлению. А все эти мельницы, катафалки, клозеты с кондиционерами — это, как говаривали в старину, бирюльки.

— Вы не улыбайтесь, Салтан Абдикович, — подхватил менее горячий Наташа, — мы тут каждый день на эту тему спорим, проектируем там, анализируем... Алексей прав. Ну, даже если мельница в принципе им понравится, кто будет ее строить? Для этого надо выделить целый двор, у них ведь подворовая специализация.

А резервных дворов нет, все при деле. В помощь своим домашним хозяйкам никто на это не поднимется — для этого надо быть и лесорубом, и камещиком: жернова обтесывать. К тому же лесорубы что наломали, то сдать должны — на мельницу не припасешь ни досочки, ни колышка. Так что не получается.

— Ну а жители так называемого Закрытого Дома? — Абоянцев довольно щурился, поглаживая свою реденькую, лопаточкой, бородку, — встряхнулся скисший было коллектив, даже жалко; ведь, как тут ни гадай, а все равно решать-то будут на Большой Земле, как сейчас с мельницей. — А вы учли, голубчики мои, что в Храмовище мы имеем избыток рабочей силы, и как раз самой различной специализации? Да и законы под боком — вписывай любой, хоть про мельницу, хоть про метеорологический спутник. Для того чтобы заставить жрецов сдвинуться с места, нам нужно будет продемонстрировать только один момент — что испеченные нами лепешки сказочно вкусны...

И почему-то все посмотрели на Гамалея.

— Я — что, самый выразительный чревоугодник? — возмутился он.

— Не без того, Ян, не без того...

Хохот стал всеобщим. Не смеялись только Сирин и Самвел, которому так и не удавалось прочесть свои стихи.

И Кшися смеялась вместе со всеми — рот до ушей, а глаза неподвижные, что вода озерная, и вперилась прямо в Абоянцева, в бархатный его тибетский халат. Зачем он говорит все это, ведь знает, что не сегодня завтра придет сигнал с Большой Земли — экспедицию свернуть, вернуться на базу, материалы передать в Комиссию по контактам. Вот и вся сказка.

— Давайте подождем немножко со всеми шарабанами, фарфоровыми фабриками и прочими гигантами металлургии, — прозвучал ее чуть насмешливый воркующий голосок. — Ограничимся пока лепешками. Только испечем их не у нас на ультраволновой плите, а снимем стену, выйдем в город — и прямо там, на их очагах...

— Но с нашими сковородками! — крикнул было Наташа, но осекся — настала выжидательная пауза. Так выступать могла одна Кшися — в силу своей детской непосредственности.

— А ведь вы, голубушка, не очень-то любите смотреть на мертвые города, — вдруг как-то ощетинившись, проговорил Абоянцев. — Так ведь, Ян? Вы и к пустым-то городам не привыкли!

Гамалей, насупившись, кивнул. Он был на стороне Абоянцева и в то же время против него.

— И вы не видели еще ни одной пленки из нашего, собственного Та-Кемта. Вы просто не в силах представить, как выглядят руки у рубщиков змеиных хвостов. Вы неспособны воссоздать аромат, подымающийся от сливного арыка, когда он добежал до конца улицы. Вы...

— Зачем так? — высоким гортанным голосом крикнул Самвел. — Здесь нет детей, здесь нет слабонервных. Мы все знали, на что идем. Так зачем обижаете девушку?

Гамалей сидел по-турецки, уперев ладони в колени. Ишь, набросились, щенки-первогодки. Чешутся молодые зубы. Прекрасные, между прочим, сверкающие зубы. Аж завидно. И никто из них уже не думает о том, что их бесстрастие, обусловленное односторонней непрозрачностью стен, — залог спокойствия кемитов. Залог невмешательства. Залог мира. Между тем с «Рогнеды» докладывают, что интенсивность движения на дорогах, ведущих к Та-Кемту, за последнее время увеличилась вчетверо. Случайность? Пока это не проверено, Большая Земля не даст разрешения на контакт, даже если и будет найдена эта проклятущая формула.

— Я никого не обижаю, — жестко проговорил Абоянцев после затянувшейся паузы. — Я просто никого здесь не задерживаю.

Гамалей прямо-таки физически почувствовал, какая пустота образовалась вокруг начальника экспедиции.

— Собственно говоря, — голое Абоянцева звучал, как труба на военном плацу, и Гамалей понимал Салтана — смягчись тот хотя бы на полтона, и все прозвучало бы жалким оправданием. — Так вот, мне здесь приходится гораздо горше вас. Не глядите на меня с таким изумлением. Все вы делаете дело — копаетесь в земле, жарите блины, делаете уколы и анализы. А я торчу здесь только для того, чтобы время от времени снимать с вас пенку, как с кипящего молока — чтобы не убежало. А вам бы скорее, скорее... Живите себе спокойно, тем более что у вас продолжается период обучения. Вы даже сейчас делаете дело, ради которого сюда прилетели.

Кшися вскочила на ноги. Сейчас, вся в золоте костра и серебряных отсветах луны, она казалась древней фреской, напыленной едва заметным серебряным и золотым порошком на глубокую чернолаковую поверхность.

— Жить спокойно? Да разве мы вообще живем? Мы бесконечно долгое время готовимся жить, у нас затянулось это самое «вот сейчас...», и мы перестали быть живыми людьми, мы — манекенщицы для демонстрации земного образа жизни, мы только и делаем, что стараемся изо всех сил быть естественными, а

на самом деле боимся хохотать во все горло... Правда, еще больше мы боимся показаться с незастегнутой верхней пуговкой на рубашке. Мы боимся плакать, но еще больше мы боимся нечаянно положить нож слева от тарелки. Мы боимся любить... А правда, почему мы боимся любить? Столько времени прошло, как мы вместе, а никто еще ни в кого не влюбился. Меткаф, ну почему вы не дарите цветов Аделаиде? Гамалей, почему вы не слагаете стихов для Сирин? А вы, мальчишки, — неужели никому из вас не захотелось подраться из-за меня? Ах, да, ведь мы только и думаем о том, как это будет выглядеть со стороны! Нами перестали интересоваться? Еще бы — да нас и живыми-то, наверное, не считают. Волшебный фонарь, если есть такой термин по-кемитски. Или бабочки-однодневки. Что ж, будем продолжать наше порханье? Но начальник имеет право...

Все слушали ее, как зачарованные, и Гамалей, чтобы стряхнуть с себя эту ворожбу, замотал головой:

— Да скажи ты ей, Салтан, скажи... Все равно рано или поздно увидит на экране!

— Сядьте, Кристина Стаиславна, сядьте и остыньте, — голос Абоянцева звучал буднично-ворчливо. — Как показали просмотры, в Та-Кемте, как, впрочем, и в других городах, регулярно совершаются жертвоприношения. Человеческие, я имею в виду. И чрезвычайно утонченные по своему зверству. Так что пока вы не насмотритесь на это в просмотровых отсеках, о видеопроницаемости с нашей стороны и речи быть не может, не то что о непосредственном контакте.

— Не может быть... — растерянно проговорил Наташа.

— Может. И было. Помните, недели две назад наблюдался фейерверк? Тогда и жгли. — Абоянцев умел быть жестоким.

Он оглядел застывшие лица:

— Зеркала на вас нет... Мальчишки. Мальчишки и девчонки. Вот так и будете сидеть. Наливайте, Ян, а то мы и забыли, что сегодня у нас праздник, — мы, в таком совершенстве владеющие собой, мы, ни на секунду не выпускающие себя из-под контроля, мы, зазнавшиеся и возомнившие себя готовыми к контакту...

Бутылка пошла по рукам — медленно-медленно. Описав круг, вернулась к Гамалею. Он бережно стряхнул себе в стакан последние гранатовые капли, почтительно водрузил бутылку перед собой и прикрыл глаза.

— Дорогие мои колизяне, — проговорил он нараспев, — догорают последние сучья костра, и последние ленивые облака, точно зеркальные карпы, отражают своей чешуей голубое сия-

нье чрезмерно стыдливой кемитской луны. Так поднимем последний стакан за тот, может быть, и далекий миг, когда мы, осмеянные и пристыженные сейчас своим дорогим начальством, будем все-таки подняты по тревоге, именно мы, потому что кроме-то нас — некому; за тот далекий день... За тот далекий день, друзья мои!

Стаканы поднялись к серебряному диску неба, раз и навсегда отмеренному им бесплотной твердыней защитной стены.

— Опять про меня забыли! — горестно и дурашливо, как всегда, воскликнула Макася. — Уж хоть бы ты, Самвел, почитал мне стихи, что ли, — я ж вижу, как тебя с самого обеда распирает!

Все засмеялись, и полные горсти смолистых шишек, подброшенных в огонь легкими руками Сирин, выметнули вверх сноп радостных искр.

— Свои читать... или чужие? — замялся Самвел.

Всем было ясно, что ему хочется почитать свое.

— Чужие! — мстительно завопили Диоскуры.

Самвел вскочил, взмахнул невесомыми, сказочными своими руками — и словно два костра полыхали теперь друг напротив друга: один — рыжий, а другой — аспидно-черный.

— Ха-арашо, — выкрикнул он и словно всего себя выдохнул вместе с этим гортанным криком. — Пусть — чужие, но — о нас...

И зазвенел голос — но не его, не Самвела; как на древнем поэтическом поединке, стояла перед ним белейшая Кристина, и, как вызов, звучали строки:

*Я, наверное, не права.*
*Ты мне злые прости слова.*
*Ты мне радость и боль прости.*
*Ты домой меня отпусти...*

И уже голос Самвела подхватывал, как песню:

*Мы смотрели вчера с тобой,*
*Как змеится Аракс седой,*
*И его вековая мгла*
*Между мной и тобой легла.*
*Близко-близко встал Арарат —*
*Под закатом снега горят,*
*Но нельзя подойти к нему*
*Никому из нас. Никому...*

Беззвучно озарилось небо вдоль самого края стены, и еще раз и еще; и вот ракета не ракета, а вроде бы огромная тлеющая

шишка, рассыпая тусклые искры, прочертила на небе низкую дугу и канула в черную непрозрачность.

— Опять! — с ужасом вырвалось у кого-то.

## 12

Нет, не грубые травяные циновки плели на дворе братьев Вью. И даже не одеяла из шерсти, надерганной из змеиных хвостов. Тончайшие ткани, полупрозрачные, как влажный рыбий пузырь, — вот что было уроком их дома.

А урок — на каждый день по куску ткани, да не меньше, чем на один наплечник.

Может, сжалится кто-нибудь из братьев, возьмет на себя, оставит ее, проворнейшую из ткачих, в родном доме? Десятый день сегодня, как заплачен за нее выкуп, но не пришел Инебел, обманул, не взял в свой дом. Но и жрецы не торопятся к себе прибрать — может, передумали? Куда же ей теперь?

Вью открыла корзиночку, достала свежего, ненабегавшегося паучка. Слезы — кап-кап на мохнатую спинку. Вытерла бережно.

Братья, как и положено, сидят плотно, привалившись к стене. Ноги вытянуты, поверх них — циновка плотная. Концы тончайших водяных стеблей — да не просто стеблей, а одной сердцевины чищенной — зажаты в пальцах ног; на других концах петельки. Братья ловко поддевают пальцами эти петельки, строго через одну, поднимают нити, Вью выпускает паука, и он бежит поперек лежащих стеблей, оставляя за собой клейкую толстую паутинку, пока не добежит до конца циновки, где поймают его проворные руки младшенькой Лью. Братья разом опустят петли, перехватят те, что лежали, подымут, тогда Лью выпустит паука, в ладошки хлопнет, чтоб бежал обратно, к старшей в руки.

Хлопотно это, внимания требует великого: и чтоб паучок в сторону не забежал, и чтоб нить не истончилась — сразу другого из корзинки доставай.

Она запустила быстроногого живого ткача, хлопнула в ладошки — беги, паучок, беги через белый тростник, паучок, бесконечную нитку не рви, паучок, на ладошке сестры задержись, паучок, и обратно в корзинку с тугими лиловыми сытными пчелами боком и скоком на резвых мохнатеньких лапках проворно беги, паучок, мой смешной, толстопузенький, ласковый, мой золотой паучок, ну беги же, беги, ну беги, ну беги...

Золотисто-коричневый мохнатый шарик привычно ткнулся в теплые хозяйские ладони, но они вдруг приоткрылись — беги,

паучок, он и побежал к позабытой в неволе зелени придорожных кустов, волоча за собой драгоценную нить паутины. Беги же, беги, паучок...

Крайний брат, младший, неторопливо опустил стебли основы, скупым и расчетливым жестом ударил сестру по лицу. Возгордилась, немочь бледная, дурища змееокая. Нет, чтобы за собственного брата выйти, так на чужедворца позарилась. А вот теперь и выходит, что даром вдоль заборов отиралась, космы свои распатланные на виду всей улицы в арыке полоскала, точно дева божественная, нездешняя. Не по себе кус приметила. Выкупил, да не высватал! И нечего ушами трепыхать, дорогу выслушивать — не стучат шаги. Не надобна! Так и пряди усердно, приглядливо. Урок — по лоскуту на день!

Выполнили. Солнце дневное лишь клониться стало — последняя паутинка под самые петельки пролегла. Младшенькая Лью еще раз промыла камень, отполированный ступнями, теперь на него расстелили клейковатую, пока еще дырчатую ткань. Старый дед, приволакивая то одну, то другую ногу — по настроению, но непременно, чтоб к тяжелой работе не принуждали, — вынес из погреба горшок с настоем коробочек пещерного мха. Сложил пальцы левой руки в щепоть, вместо ногтей — кисти щетинные, точно у маляра. В другой раз от одного такого воспоминания зашлось бы сердце, затомилось обидой неправедной, а теперь уж перегорело, перетерпелось. Дед окунул щепоть в медовый настой, старательно окропил свежую ткань. Вью торопливо, чтоб опять не схлопотать за нерадивость, смазала ступни змеиным сальцем и вспрыгнула на теплую поверхность утюга. Воздушные переплеты почти невесомой рогожки плющились, затягивались мельчайшие дырочки, изжелта-коричневатый настой равномерно растекался по всему лоскуту. Как-то старый дед услыхал, что младшие переговаривались — гладким бревном-де сподручнее было бы ткань раскатывать, глаже, быстрее... Не поленился — исхлестал болтунов своей метелкой-кисточкой. Чтоб неповадно было и в мыслях закон нарушать. Даны Богами руки да ноги — вот ими и усердствуйте...

Словно кипятком по ногам — бабкина пятерня, от постоянной варки да жарки ладонь прокопченная, уж поди и чувствовать-то ничего не может, бабка ее годами не отмачивала... И тоже — попрек:

— Ишь на утюжину взгромоздилась, бесстыдница, юбки не скинувши! Ну как забрызгаешь соком, в чем на люди выйдешь, коли позовут?

Вью перестала топтаться, послушно дернула завязки нижней юбки. Снять не успела — со стороны Храмовища грохнуло, задребезжало, нестройно, не по-утрешнему, отозвалось эхом второго круга... «Нечестивцы» сзывали народ.

Вью спрыгнула на землю холодея — страшен дневной неурочный набат!

Мимо дома, вверх по улице, уже бежали люди, сдержанный тревожный гул голосов мешался с торопливыми шлепками босых ступней по раскаленной солнцем дороге. И давно ли сзывали в прошлый раз? Зачастили...

Кто-то из братьев жестко ткнул в спину, и Вью, даже не омыв ног от змеиного сала, выскочила за ограду.

Бежали целыми дворами, прихватывая немощных, но Вью посчастливилось — споткнулась и отстала от своих, так что теперь можно было брести медленно-медленно, оглядываясь — не Инебел ли сзади?

Но семья маляров жила на соседней улице, а сами они, застигнутые набатом возле полузакрашенных заборов, могли прибежать вообще с любой стороны. Неужели и увидеть не суждено? Жрецы все знают, все помнят, никуда ей не спрятаться, везде найдут. И отдадут в самый голодный дом, где перемерли старшие, а голопузеньких малышат — целый двор, и забыли, когда урочную работу выполняли полностью...

Ох, страшно...

До площади так и не дошла — все равно кому-то на спуске стоять, площадь всех не вмещала. Вью перепрыгнула через чистый арык, оперлась плечами о забор — плечи пришлись как раз на прикрытый жирными темно-синими ресницами выпуклый глаз Спящего Бога. Давно сие рисовали, незамысловато: только глаза и брови, а по низу забора — плоды, подношения, значит. А у Инебела Боги получаются совсем как люди, тронь их — раскроют глаза...

Тьфу, тьфу! Богохульство окаянное. Да и Инебел, говорят, последнее время не подлинных, Спящих Богов рисовал, а этих вот... Нездешних. Может, за то Спящие Боги и разгневались на него, наслали затмение ума, вот и забыл он про невесту свою выкупленную?

На Уступах Молений показались уже первые жрецы, все разодетые — на каждом не меньше пяти одежд: длинные юбки, ленты, передники, набрюшники, наплечники, запястные платки... И все ярче цветов луговых — настоем пещерных ягод крашено. А по улице, тяжело дыша, еще поднимались те, кто мчался по

тревожному сигналу с пастбищ, озер и лесных полян. Тяжело вбивая пятки в теплую дорожную пыль, подошли лесоломы — потные, косолапые. А что, если к ним в семью?.. Бр-р-р. Даже сюда долетает запах дурных лесных ягод. А уж руки... Она еще раз искоса глянула на них — и не поверила своим глазам: они жевали! Прямо посреди улицы, при свете дня!

Они стояли посреди дороги, коренастые, наглые; время от времени кто-нибудь из них швырял себе в рот что-то вроде маленького лесного орешка, и нижняя челюсть срамно и плотоядно двигалась — хрум-хрум,— а глаза между тем шныряли вокруг опасливо и зорко. Но никто не стыдил их в голос, соседние отводили взгляд, неловко переминались, но молчали. Вью вдруг спохватилась, что глядит на срам, ойкнула, прикрылась рукой.

И все-таки с середины улицы временами доносилось отчетливое: хрум-хрум...

И вот стогласный хор младших жрецов, бесшумно заполнивших галерею, стройно и пронзительно взметнулся к небу: «Славьте Спящих Богов!»

«Сла-а-а-вим»,— несогласно взревела толпа.

Инебел подошел поздно — едва поспел к первому возгласу. Покивал соседям молча — расспрашивать о снах было уже недосуг. Старейший жрец уже выполз на девятую ступень и, воздев руки к небу, обиталищу Спящих Богов, безразлично обвис на руках двух дюжих телохранителей. Те бережно уложили тщедушное тельце на циновку — пока вершатся мелкие дела, в священном сне еще может снизойти божественное откровение.

На вершение малых дел Инебел смотрел вполглаза. Привычное мельтешение наград — рыжие шерстяные подушки, клетчатые покрывала. Отнаграждались, завели новую молитву — жрицы выплыли на третью ступень, все в цветочных гирляндах, с глиняными колокольцами; хоровод водили с закрытыми глазами, не расцепляя рук,— славили Спящих. С прошлого схода в трех дворах хоронили, теперь шла церемония вручения старейшим этих дворов запечатанных сосудов с Напитком Жизни. Говорят, дух от него медвяный, а вкус горек и жгуч; жена, отведавшая его, засыпает непробудно, и только в таком сне можно зачать нового человека...

А вот и новые человечки — из-под Уступов Молений выпускают матерей с плетеными корзинками. Расступилась толпа — мешкать тут нечего, надо бегом бежать до дому, до теплого садового погреба, чтобы не гневать Спящих Богов писком и плачем. После сумрака каменных сводов, где живут по нескольку дней

новорожденные, солнечный свет слепит глаза матерям, они бредут, спотыкаясь, пока молодые отцы пробиваются к ним, немилосердно расталкивая толпу, и в такие минуты каждое из этих измученных, осунувшихся женских лиц светится такой беспомощной и прекрасной улыбкой, что каждый раз у Инебела начинает щемить сердце: этой улыбки ему не нарисовать никогда в жизни...

— Наплодили новых работничков, слава Спящим Богам, — негромкий, благоречивый голосок за спиной до того насыщен елеем, что никакими силами не распознаешь в нем и тени насмешки или брезгливости. — Теперь помчались рысью по погребам, гадать — то ли своего худородка им оставили, то ли по благостыне безмерной заменили на что получше.

Так говорить умели только в доме Аруна. Инебел с досадой обернулся — так и есть, Сиар.

От дурмана сегодняшней ночи, от тягомотины окольных и не всегда понятных разговоров и, наконец, попросту от нестерпимого сосущего голода хотелось сесть в теплую дорожную пыль, обхватить руками звенящую голову и качаться — взад-вперед, взад-вперед...

Инебел тоскливо переступил с ноги на ногу — ему не то, чтобы опуститься на землю, ему и спрятаться, прислониться к чему-нибудь было невозможно, — возвышающийся на целую голову над толпой, он был виден отовсюду, как одинокое дерево над кустарником. И всегда-то ему было зверски неуютно в толпе, а сейчас — и говорить нечего... Он вздохнул, безучастно склонил голову набок и посмотрел сверху вниз на семью таскунов, чьи непомерно длинные, узловатые руки отдыхали, расслабленно покачиваясь где-то ниже колен. И в такт этим ритмичным движениям сдержанно, осторожно двигались челюсти — хам-хам. Хам-хам.

Инебел испуганно обернулся к Сиару — с ума они посходили, что ли? Но младший гончар скорчил постную мину и показал через плечо на спуск улицы, которая вела прямехонько к Обиталищу Нездешних. Утреннее шафранное солнце уже коснулось гор, и хотя по дальности нельзя было разобрать, чем заняты неслышные и недоступные обитатели серебряного колокола, но по времени можно было догадаться, что они собрались за едальной простыней. Жест Сиара красноречиво говорил — если пришлым Богам это дозволено, то нам тем паче следует им подражать...

Сиар, почти не отрывая рук от груди, воздел ладони и глаза кверху, а потом выразительно прикрыл веки, как бы почитая Спящих, — маляр понял: над жрецами есть еще и воля Богов.

Хм. Но ведь эту волю надо еще суметь прочитать. Не слишком ли самоуверенно берет на себя семейство гончара эту миссию?

Он открыл было рот, чтобы простодушно возразить ему, но в этот момент рука гончара дотянулась до его плеча, цепко сдавила и с неожиданной силой пригнула к земле.

С Уступов долетало тоненькое повизгивание — Наивысочайший проснулся, сподобившись благодатного откровения. Поддерживающие его жрецы среднего ранга в две глотки ревели, повторяя каждое его слово. Толпе на площади было слышно их отчетливо, но здесь, в начале спуска улиц, хорошо прослушивались только отдельные слова. Начало Инебел пропустил, и поэтому теперь с безмерным удивлением улавливал слова, между которыми было и его собственное имя: «Милость... достойная дщерь... Инебел прилежный и богобоязненный... Закрытый Храм...»

Закрытый Храм!

От неожиданности Инебел даже привстал, но тяжелая, словно из сырой глины, рука гончара не пустила его. Закрытый Дом! Он не смел думать о судьбе выкупленной невесты, ему мерещились скрюченные костяные пальцы женщин-змеедоек, и он запрещал себе вспоминать о своем выкупе — иначе хоть с обрыва, да в озеро. А вот теперь его отступничество обернулось милостью несказанной — войти в Храмовище. Только Боги могли нашептать такое. Только справедливые Боги, против которых зачем-то будоражат народ старый Арун и его сыновья.

В толпе уже никто не жевал — все восторженно вопили, хлопали, громыхали и звенели неомоченными, неразмягченными ладонями. Кто-то начал самозабвенно бить поклоны, и в периодически открывающемся просвете Инебел увидел самый нижний уступ, на черном шероховатом камне которого белела скорбная фигурка светловолосой девушки. Шесть желтокрылых жриц в безглазых масках на ощупь снимали с нее одежды и бросали вниз, столпившемуся у подножия пирамиды семейству ткачей. Два жреца, здоровенные верзилы ростом чуть не с Инебела, притащили с галереи узкогорлый кувшин и облили девушку маслянистой жидкостью, от которой волосы и тело сразу почернели и засветились серебристо-голубым мерцающим светом, — толпа завопила еще восторженнее. Теперь стало заметно, что дневное солнце село, а вечернее набирало силу слабовато, подернутое влажной дымкой. На зловещих Уступах Молений вспыхнули чаши с черной горючей водой, хотя к ним никто не подносил факела. Инебел скривился — не иначе как незаметно для зрителей порхали от чаши к чаше крошечные раскаленные угольки,

движимые нерукоизъявленной силой мысленного приказа. За такое подлому люду полагалось отрубание рук (хотя по смыслу-то надо было головы), а вот Неусыпным, выходит, можно было все. На то и Неусыпные...

Толпа на площади раздалась, освобождая пространство возле Уступов, так что пришлось попятиться еще ниже по спуску меж арыками — начинались священные пляски. Уже на черных матовых платформах, взгроможденных одна на другую, появились шесты с масками спящих зверей и гадов. Тупые концы шестов дробно застучали по камню, отбивая ритм, и гнусаво зазвучали натянутые змеиные жилы. Самый тучный из жрецов, скинув наплечники, пошел семенящими шажками, выворачивая наружу ступни и подрагивая складками жира на животе. На площади затоптались, затряслись, вверх прянула неостывшая пыль. Особенно усердствовало семейство ткача — под самыми Уступами Молений мелькали не только воздетые ввысь трепещущие руки, но и ступни ног. Рыжие, как дольки утреннего солнца, мечущиеся огни уже не освещали, а только вносили большую путаницу в пестрое круговерчение танцующих на черных плитах жрецов; площадь же, пристуженная ровным голубовато-серебристым светом, неистовствовала только возле самих Уступов. Подалее, к началу улиц, уже не вертелись волчком и не ходили на голове, а лишь подпрыгивали, конвульсивно вздергивая острые коленки к подбородку и звонко хлопая сухими безмясыми ладонями под ногой. На спусках улиц усердствовали и того менее — переминались и воздевали руки. Сиар переваливался с боку на бок, очевидно передразнивая толстомясого жреца; мотал головой. Толпившиеся вокруг него таскуны, змеепасы и травостриги, привычно впавшие в усердие, внезапно оглядывались на него и, подавив смешок, сучили ногами уже далеко не так проворно. Шагах в тридцати, правее, у самой ограды, степенно перебирал ногами сам Арун — не придерешься, стар, но усерден, и веки богобоязненно опущены. Но кольцо лесоломов и рыбаков вокруг него нет-нет да и принималось жевать и хрумкать и рвения в священных танцах отнюдь ие проявляло.

И главное — всюду монотонно двигались челюсти.

Инебел всегда танцевал с увлечением. Его гибкое, туго перехваченное передником тело требовало подвижности, но ежедневная маята перед небольшим отрезком забора ие утоляла, а только разжигала эту жажду. Поэтому он радовался этим редким часам ритуальных танцев, и только сегодня, усталый и раздраженный, танцевал вяло и без души, косо поглядывая на Аруна с Сиаром.

А ведь сами они не жуют, вдруг отметил маляр. Они не жуют, зато все, кто это делает, — вокруг них. Почему?

И потом, действительно, что за тупые рожи! Почему Арун, из-под чьих рук являются на свет стройные, изящные кувшины и чаши, подобные чуть приоткрывшимся тюльпанам, и глиняные коробочки, звонкие, как головки мака, почему он окружает себя этими скотоподобными таскунами, этими увертливыми рыбаками, этими непристойно подрагивающими собирателями дурманных трав? Неужели в нем не вызывают брезгливости их косноязычие, кретинизм и извращенность? Почему? Ну почему?

А может, только потому, что другие не подчиняются, не глядят заискивающе в рот, не ловят легчайшего намека, чтобы ринуться исполнять? Может, потому сам Арун и не тешит Нечестивого, не жует прилюдно, что совсем не сладко ему нарушать закон — ему любо то, что по одному движению его круглых глазок это бросаются делать другие?

Инебел опустил ресницы, пытаясь представить себе, что бы он сам почувствовал, если бы его каприз послушно выполнила толпа. Скажем, не руками малярничать, а ногами — ногой ведь тоже мазать заборы можно... Что-то не получилось у него с такой картиной. Стыдно стало и смешно, потому как почудилась ему вокруг стая синеухих обезьянок. Он передернул спиной — да что же это, в наваждении нечестивом забыл, что кругом танцуют, так недолго и семью без прокорма оставить!

Сбоку возник ядовитый шепоток: «Не умайся, плясками прислуживаясь!» Сиар. Щелочки зеленых, совсем не отцовских глаз и шепот с присвистом, и тупые рожи толсторуких лесоломов, осклабившихся как по команде. Инебел так и вскинулся, словно глумливые насмешки стегнули его по спине ядовитыми щупальцами озерной медузы-стрекишницы.

Но тотчас же Арун обратил к сыну недоуменно-укоризненное лицо, округлой, как каравай, спиной учуяв происходящее. Во взгляде была непонятная Инебелу многозначительность.

Усмешки как водой смыло. Инебел двинулся к Аруну, не очень-то соображая, что сейчас произойдет, но дымные огни разом угасли, жрецы с масками на шестах попадали ниц, стремительно отрастающими ногтями вцепляясь в кромку Уступов, чтобы не сверзиться с высоты, а справа и слева от Неусыпнейшего Восгиспа забили фонтаны искрящихся белых огней.

— Смерть богоотступнику! — завопил он что было мочи, поднимая старческие костяные кулачки, и это было единственное, что услышала замершая площадь.

Дальше действие снова пошло по отработанному ритуалу: Восгисп шепелявил, не утомляя святейшую глотку, зато стоявшие рядом дружно ревели во всю мощь натренированных легких, так что утробным гулом отзывались «нечестивцы» в близлежащих домах.

Теперь каждая фраза, отделенная от предыдущей бесшумным бормотанием Восгиспа, четко врезалась в слух каждого внимающего, распростертого перед Закрытым Домом:

— Да погибнет сокрывший тайну!.. Тот, кто уже лишен имени, познал сокрытое и промолчал!..

Если он промолчал, то откуда же известно, что он эту тайну действительно узнал? Можно было пройти мимо и просто не заметить. Неприметных тайн кругом — что сверчков в траве.

— Но справедливые Боги открыли эту тайну тому, чье имя — Воспевающий Гимны Спящим!..

Инебел осторожно приподнял голову, зорко вгляделся в лица гласящих. Так и есть, ему не показалось — младшие жрецы забегают вперед, громко выкрикивая слова, еще не произнесенные старейшим. Но ведь им-то Боги не являли своей милости...

— А тайна сокрыта в том, что Обиталище Нездешних — не есть явь, а есть только сон!.. Неприкасаемый, бесшумный и непахучий, этот сон истинных Богов дарован нам за послушание и усердие!.. От непонятия дивились мы светлому Обиталищу, но чудо сна в том и состоит, что в сновидении все допущено, все разрешается, и смотреть его надобно не поучаясь и без вожделения!.. Вот в чем тайна, и укрывший ее да умрет без погребения!

Глухо застучали пятки, и снизу, перепрыгивая через лежащие ничком тела, заторопились храмовые скоки, тащившие на плечах глиняную «хоронушку» осужденного. Добежали до нижней ступени и с размаху брякнули о нее то, что было когда-то колыбелью, потом всю жизнь служило забавой, а после смерти должно было стать прикрытием от влажной, липкой земли. Инебел не удержался, глянул зорким оком — в белом брызжущем пламени виднелась груда сухой глины с убогими травинками, когда-то вмазанными в нее. Не хитер был сокрывший тайну, не изощрен разумом. Да вот и он. Вытащили его откуда-то из-под нижней плиты, шмякнули мордой в разбитую «хоронушку» — вместо приговора. Поволокли наверх, по маленьким ступенькам, почти не видным снизу на черных громадах каменных шершавых плит. Восгисп шарахнулся от него, как от нечестивого, воздел руки — скоки замерли, застыла толпа.

— Приходит жизнь и уходит жизнь, как приходит сон и уходит сон! — высочайшим, срывающимся голосом завопил старейший, и крик этот был слышен далеко по спуску улиц.

Приходит сон и уходит сон...

На Инебела накатил холод, словно его кинули в ледяную пещеру. Почему раньше ему никогда не приходило в голову, что сон, который начался, обязательно должен и кончиться? И пусть Светлое Обиталище — явь, но ведь и явь, возникшая однажды, не бесконечна. Придет и уйдет.

Чувствуя, как липнет наплечник к холодной взмокшей спине, он повернулся и с затаенным ужасом посмотрел назад, где ровная полоска улицы тихо катилась вниз, в поля. Студенистый колпак мерцал неизменным ровным светом, но что-то уже сдвинулось, переместилось или исчезло. Только вот — что? Отсюда не видно. И огонь... рыжий, живой костер, так непохожий на светящихся гусениц, приклеившихся по потолку Открытого Дома Нездешних Богов. Что-то определенно переменилось. И не есть ли это началом исчезновения?..

Сиар протянул руку, ткнул небольно в бок — гляди, мол, куда положено. А положено было глядеть на черную пирамиду, по которой взбирались вверх скоки, обремененные обвисшим телом приговоренного. Один ослепительный белый факел освещал им дорогу, другой подымался чуть погодя, сопровождая стройную жрицу, несущую над головой полную чашу упокойного питья. Тех, кто держал факелы, видно не было — закутанные с ног до головы в черное, они сливались с чернотой камня, и казалось, что брызжущие светом трескучие шары возносятся вверх сами собой. На верхней площадке пленник обернулся, и стало отчетливо видно его круглое безбровое лицо. С тупой тоской осужденный раскачивал головой, и казалось, он вот-вот взвоет, обернувшись к голубому вечернему солнцу. Но хранительница чаши поднесла питье, и скоки толкнули пленника — ну же, так-то будет лучше. Он взялся за чашу, прильнул к краю и начал пить — медленными глотками, все так же раскачиваясь из стороны в сторону. Инебел знал, что тому, кто не пьет добровольно, скоки вливают питье насильно — вершина слишком высока, Спящие Боги отдыхают где-то поблизости, и ни в коем случае нельзя допустить, чтобы вопль ужаса и отчаянья потревожил их священный покой.

Дальше, как всегда, все было очень быстро: пленника, даже не связав, опрокинули на груду мешков (еда и благовония — дар Богам), два факела воткнулись в рыхлую груду — и костер запылал. С оглушительным треском рванулись вверх ритуальные летучие огни, а вниз, скатываясь по ступеням, низвергся такой смрад горелой тухлятины, что толпа, не дожидаясь конца жертвоприношения, рванулась по домам.

Инебел, топтавшийся в задних рядах, теперь оказался в выигрыше — он быстрее всех мог очутиться дома, возле едальни с притушенным по набату очагом. Хорошо, с утра уже поставлены горшки с мучнистыми кореньями, которым большого жара не надо — в теплой золе они как раз допрели. И еще творог вчерашний...

Нет, положительно околдовал его старый Арун своей ягодой — с полудня одни срамные мысли в голове и сосание под ребрами. За спиной — костер, человек горит заживо, а на уме одна еда... Уж не потчует ли он этим зельем всех своих блюдолизов? То-то стыд потеряли, что посреди улицы жевать начали...

И словно в ответ на это воспоминание — легкий щипок за локоть. Арун! Это надо ж, при его коротеньких колесообразных ножках — догнать маляра, которого еще в детстве прозвали «ходуль-не-надо».

— Достойно и благостно внимать Неусыпным, пекущимся о пастве нерадивой! — сладко завел горшечник, с трудом ловя воздух от быстрой ходьбы. — Не воспарим и не возомним, а исполним веление, кое изречено было внятно и всеплощадно, — «смотреть без вожделения и не поучаясь»! А коли ведено нам, то пойдем и посмотрим.

Инебел невольно сдержал шаг, искоса поглядывая на словоохотливого гончара. Ишь как распинается посреди улицы! И не заподозришь, что ночью, возле собственной едальни, в кругу презрительно усмехающихся сыновей и этих рыбаков-тугодумов с отвисшими челюстями уминают сокрытое от жрецов.

И вдруг до Инебела дошел смысл сказанного: Арун звал его за черту города, к Светлому Обиталищу. Видно, после того, что произошло вчера, не доверял гончар даже стенам собственной глинобитной ограды.

Остальную часть пути, до самого конца улицы, прошагали молча. Кажущаяся легкость, с которой Инебел пес свое худощавое тело, давалась ему через силу. Отупляющий голод и нескончаемый круговорот непривычных, свербящих мыслей довели его до изнеможения. Рядом с ним румяный, благообразный Арун выглядел праздничным сдобным колобком. Он быстро катился вниз по улице, сложив ручки под передником и придерживая ими складки круглого животика. Улица наконец оборвалась, разбегаясь множеством полевых тропинок. Те, что ныряли под невидимую степу Обиталища, уже изрядно поросли травой. Арун круто забрал вправо, огибая светлый колокол, но не подходя к нему до разумной близости. Теперь Нездешние оказались совсем близко; не будь стены — сюда долетали бы искры от их костра.

— Щедро жгут,— не то с завистью, не то с укоризной проворчал горшечник.— На таком огне три обеда сготовить можно, а они, глядь, и не жарят, и не пекут. Боги!

Он выбрал пригорок повыше, чтоб гадье не очень лезло на человечье тепло, присел. Жестом пригласил маляра опуститься рядом.

— Вот и посмотрим, благо велено! — уже своим, обычным и далеко не елейным голосом проговорил Арун.

Юноша присел, подтянул колени к груди, положил на них подбородок. Смотрел, насупясь. Смотреть ему было тяжело. В тесном кружке Нездешних, расположившихся возле костра, было какое-то неизъяснимое согласие, словно они пели хором удивительной красоты гимн, который ему, Инебелу, не дано было даже услышать. А когда кто-нибудь из них наклонялся или, тем паче, касался той, что была всех светлее, всех воздушнее, и которой он не смел даже придумать имени,— тогда Инебелу казалось, что скрюченные костяные пальцы вязальцев вытягивают из него сердце вместе с печенью.

— Ну? — спросил, наконец, Арун.

Инебел неопределенно повел плечами:

— Грех смотреть, когда чужой дом пищу творит. Черные куски на блестящих прутьях — это мясо.

— Мясо, как и кровь, красно,— досадливо возразил гончар.— Мясо красно, мед желтоват, зерно бело. На прутках — благовония: нагревши, подносят к устам, но не едят, а нюхают. Незорок глаз твой. Но я сейчас не о том.

Он еще некоторое время безучастно наблюдал, широко раскрыв свои круглые, как винные ягоды, глазки, потом обернулся к Инебелу и, глядя на него в упор, спросил:

— Значит, исчезнут?..

Инебела даже шатнуло, хорошо — сидел. Не было у него ничего больнее и сокровеннее.

— Боюсь...— он уже говорил все, что думает — не было смысла скрывать.— Боюсь больше смерти.

— Так,— сказал Арун.— Думаешь, сейчас?

Инебел только крепче прижал колени к груди — ну, не бросаться же на стену! Пробовал, головой бился — бесполезно. Стена отталкивала упруго и даже бережно — чужой боли, как видно, им не надобно... Так и улетят себе, так и провалятся сквозь землю, так и растают туманом предутренним; никого не обогрели, никого не обожгли — точно солнышко вечернее.

— Нет! — вырвалось у него.— Нет, только не сейчас!

— Да? — деловито спросил Арун. — А почему?

— Спокойны они, несуетливы.

— Хм... И то верно. А может, еще засуетятся?

Он поерзал круглым задком, устраиваясь поудобнее, наклонился к Инебелу и шепотом, словно Нездешние могли услыхать, доверительно сообщил:

— Никак мне нельзя, чтоб они сейчас исчезали!

Инебел быстро глянул на него, но Арун больше ничего не сказал. Порывшись в двухслойном переднике, он бережно вынул громадный, хорошо пропеченный пласт рыбной запеканки. Могучее чрево горшечника, к которому она была прижата весь вечер, не дало ей остынуть, и из трещин на корочке резко бил запах болотного чеснока. Инебел принял свою половину безбоязненно — присутствие жующего Аруна больше его не смущало.

А за стеной, вокруг костра, тоже ели — снимали с блестящих веточек темные куски, отправляли их в рот, запивали из гладких черных кувшинов. Руки отирали о белые лоскуты — богато жили... Прав, выходит, был маляр.

Арун, увидев сие, изумился, суетливо выгнул и без того круглые брови. Удивительный был сегодня Арун, и учителем не хотелось его называть. Но назавтра его непонятная тревога минет, и снова станет он холодным и насмешливым, словно болотный гад-хохотун.

— На сына обиделся, — вдруг без всякой связи с предыдущим заметил гончар. — И правильно сделал. Занесся малость мой Сиар. Того не считает, что ему до тебя — как вечернему солнцу до утреннего.

Теперь настала очередь удивиться Инебелу — уж кто-кто, а он-то знал, кто подначивал Сиара. Но виду не подал, словно пропустил мимо ушей слова Аруа.

— Ты вот и на меня косо стал поглядывать, — продолжал тот, — а того в разумение не берешь, что ежели по-моему выйдет, то ведь новая жизнь начнется, но-ва-я! Но законам новым, праведным. Ты вот сколько отработал, пока жрец верховный тебе бирку выкупную не снял? Год, небось? Пока спину гнул, разлюбить успел. Да не обижайся, я тебе не Сиар, на меня не надо. Я думаю, когда говорю. Много думаю, мальчик ты мой несмышленый. И о тебе тоже.

— Обо мне? — безучастно отозвался Инебел.

— О тебе. У меня большой дом, много взрослых сыновей. Что до чужих — отбою нет, сам видал. И все-таки мие очень хотелось бы, чтобы ты был со мной. Именно ты.

— Почему?

— Ты — сила, — просто сказал Арун.

— И на что тебе моя сила?

Снова заструился, зажурчал медоносный голосок. Жены с чужих дворов, детишки без счету — много ли детенышу на прокорм надобно? Самую малость. Пока мал, разумеется. А потом все больше да больше. А когда их орава...

Инебел завороженно кивал, и только где-то в глубине изредка начинало шевелиться недоумение — действительно, во всех домах людей вроде бы и поровну, но там и стар, и млад. А вот у Аруна дряхлые да бесполезные почему-то не заживаются, хлеб у малых не отнимают. Да и детишки не так уж на шее висят, все к делу приспособлены — кто глину носит, кто месит. И что это нынче гончар прибедняется, на что ему жаловаться?

Но Арун не жаловался. Он упрямо гнул какую-то свою линию, только Инебелу сил недоставало за Гончаровой мыслью угнаться. Сонмище Нездешних плыло перед глазами в лиловом дыму костра, и белое платье светилось нераскрывшейся кувшинкой...

— Ты говоришь, живые «нечестивцы» в обиталище светлом зарю возглашают? — продолжал Арун. — Ну, ну... Я бы на месте Неусыпных наших так не радовался. Живые «нечестивцы» ведь и вправду могут новый закон объявить. И начнет город расти, улицы длиться, дома возводиться, чтобы всем было от нового закона вольготно и весело. Воды маловато? Озеро рядом. Голодно? А кто это сказал? Вон, на каждом всесожжении — мешок на мешке, и все уже сгнившее, перепрелое. Закрытый Дом от запасов ломится. Это от пригородных пастбищ. А ежели деревья под корень ломать, а не одни только ветки, да корни огнем жидким вытравить, да землю из-под пожарища разделать — это по всему лесу таких новых полей да пастбищ поразвести можно, два города прокормишь! И мыследейство не запрещать, почему это оно Богам не угодно? Очень даже угодно. Одаряют же они этим даром одних только избранных! Вон два рыболова, один лесолом, травостригов три или четыре наберется; Инебел щедрее всех одарен...

Арун все говорил и говорил, и возражал самому себе, и спорил сам с собой, да еще изредка кивал кругленьким жирным подбородочком на собравшихся в тесный кружок Нездешних Богов, словно одно их присутствие было неоспоримым доказательством его правоты. Пухлые его пальчики, сложенные в неизменное колечко, порхали где-то на уровне груди Инебела и лишь изредка замирали, чтобы стремительно нырнуть вниз и склюнуть с передника липкую крошку рыбной запеканки.

— А когда закон новый повсеместно установится, — продолжал горшечник, впервые на памяти Инебела выпрямляясь и теряя свою непременную округлость, — то ввести повиновение всене-пременнейшее! За леность в работе, а тем паче за сотворение и применение чужих рук — на святожарище, и не-мед-лен-но!!!

— Это еще почему? — встрепенулся Инебел, припоминая только что обещанные веселие и вольготность. — Если уж дозволять мыследейство, то почему же запрещать ту блестящую зубастую полосу, которой Нездешние могут перепилить пополам такое дерево, которое целому двору лесоломов не подгрызть и за десять раз по десять дней?

Арун ощерился и подпрыгнул, словно у него под мягким задком вместо муравчатого пригорка оказался лесной игольчатый гад:

— Что Богам положено, того хамью не лапать!!! — и, увидев, как отшатнулся маляр, ворчливо разъяснил: — Порядка же не станет, глупый ты мальчик. Ежели на каждом дворе будет вдоволь любых рук, то каждая семья для себя и дров нарежет, и рыб накоптит, и тряпья всякого запасет. Для себя! И спрашивается, понесут они что в Закрытый Дом? Сомневаюсь.

— А кара божья?

— Кара... Когда всего вдосталь, не очень-то кары боязно. Да всех и не покараешь. Закон, он на том и держится, что по нему всю работу сдай, а разной еды да одежки получи. Думаешь, в новом-то законе по-другому будет? Как же, закон ведь это, а не глупость хамская. Тем и мудр закон, что каждый двор одно дело делает, коим прокормиться не может. Ни даже рыбак — одной рыбой, ни плодонос — одними лесными паданцами. Понял?

Это был уже прежний, высокомерный и многомудрый Арун.

— Не понял, — кротко сказал Инебел. — Не понял я, учитель, зачем мне тогда этот новый закон?

Тут уж Арун взвился, словно огонь летучий над Уступами Молений:

— Да чтоб не жить во лжи, как в дерьме, как гад ползучий — в тине озериой! Чтоб работать вольно и радостно за сладкий и сытный кусок, съедаемый без страха и срама! Чтоб не молиться ложным Богам, почитая более всего сон бесплотный, ибо сны и без того даны нам от рождения и до смерти, как дан нам ветер для дыхания и солнце утреннее для прозрения после ночи. Не сон, но хлеб — вот истинность новой веры, нового закона! Святую истину принесли нам Нездешние Боги, и отринуть нам надобно старых Богов, коих никто и не видел, если уж честно

признаться. Зато вот они — настоящие: трижды в день садятся они за трапезу всей семьей, и не на землю — вкруг ложа, застеленного покровом многоклетчатым. Как же твой зоркий глаз искуснейшего маляра не разглядел истины? А глядел-то ты подолгу... Вот и теперь гляди, когда я просветил тебя, только молчи до поры, чтобы голову свою поберечь...

Гляди... А как глядеть, если глаза жжет, словно и не за стеной нерушимой горит-полыхает костер, а вот тут, под ногами, и едкая копоть застилает взор? Верить... Да как тут верить, если не до нее, не до веры, верить ведь надо разумом, а разум мутится, и нет никакого ветра, дарованного нам от рождения, и дышать уже нечем — да что там дышать, нечем жить.

Потому что стоят у костра двое, и просвечивает огонь сквозь ее белые одежды, словно утреннее солнце — сквозь лепестки пещерного ледяного цветка; а напротив нее, не дальше руки, — тот, что чернее ступеней ночного храма, тот, что ровня ей и родня, потому что они — из одного дома.

Тот, который без выкупа может взять ее...

— Гляди пристально, маляр, и молчи крепко, ибо не живой «нечестивец» возгласит новую веру — это сделаю я, Арун-горшечник!.. Когда время придет.

## 13

— ...«Рогнеда», «Рогнеда»... Ларломыкин, тебя ли я зрю?

— Меня. А что?

— Поперек себя шире и в полосочку.

— И у меня рябит, это лунища проклятая какую-то нечисть генерирует, пока она не скроется, хоть на связь не выходи.

— Ну и не выходи. У меня самого дел по горло. Пакет информации с Большой Земли мне перекинул?

— А как же, минут десять тому. Глянь в распечатник, твои двойняхи — никак не разберу, кто из них кто — наверняка уже туда свертку запустили.

— А. Благодарствую. И не смею дольше задерживать.

— Да постой ты, Салтан, в самом деле... Ни к черту у тебя нервишки. Обратился бы к своему чернокнижнику, пусть он малость пошаманит, подкорректирует твое поле, что ли.

— Субординация не позволяет. Я есмь непогрешен. Для полного вхождения в образ халат какой-то дурацкий напялил, бороденку свою тибетскую лелею. Окружающих впечатляет.

— Даже меня. Как вчера отпраздновали?

— Ничего, благодарствую. Мокасева моя — ах, что за душа человек! Так бы и женился на ней, голубушке...

— Да, у этой и не проголодаешься, и не соскучишься. За чем же дело стало?

— За той же субординацией. Экспедиция, сам понимаешь, на каком положении, каждый шаг на виду — снизу кемиты, сверху твоя милость.

— Ну, достославный Колизей со всеми его секретами не очень-то нас интересует. Если и за вами приглядывать — еще одну «Рогнеду» подвешивать нужно. А что до субординации, то вот вернетесь на базу — тут ты ей больше и не начальник. Да меня не позабудь в сваты.

— Тебя забудешь!

В разговоре наметилась едва уловимая пауза.

— Что стряслось, Кантемир? — быстро и очень серьезно спросил Абоянцев, разом теряя традиционный шутовской тон, позволявший им коротать вечерние свободные часы.

— Решительно ничего, Салтан, слава Спящим Богам!

— Выкладывай, выкладывай! Ты же непосредственно общаешься с базой, не то что я, питающийся протокольными цидульками. Кто у тебя там на прямом контакте? Чеслав Леферри? Ты ж его по экспедиции на Камшилку знал, так что коридорно-кулуарной информации у тебя — сухогруз и маленькая ракетка.

— Да на кой тебе эти сплетни, владетельный хан кемитский? Почитай развертку, вон она у тебя в накопителе парится, а потом и поговорим.

— Кантемир!!!

— Что — Кантемир? С завтрашнего дня начинается непосредственная трансляция из города аж по шестнадцати каналам. До сих пор вся видеосолянка поступала на «Рогнеду», и я с мальчиками до одури сортировал все по темам, отжимал воду и в виде концентратов спускал тебе обратно. Так вот, кончилась вам эта сладкая жизнь. Теперь сами выбирайте — улицы, дворы, ну и этот тараканник... как его... Закрытый Дом. Адаптируйтесь на здоровье.

— Кантемир, это же...

— Ну, подарок судьбы или Совета, как тебе больше нравится.

— Да ты ничего не понял! Это же помилование, Кантемирушка, ведь если бы нас решили эвакуировать, то ни о каких трансляциях и речи не было бы! Фу, две горы с плеч...

— С половиной. Потому как из сугубо конфиденциальных источников — учти — никому! — стало известно, что появился

седьмой вариант: если ваше пребывание здесь будет признано неперспективным, то весь Колизей с чадами и домочадцами не вернут на Большую Землю, а перебазируют в район Вертолетной. Для вас, собственно, и разницы никакой — трансляция будет вестись из того же города, вы ж его напрямую и не видели.

— Ну, это ты несерьезно, Кантемир. У меня ж какое хозяйство: одни грядки чего стоят, насквозь Кристининными слезами промочены! Родничок славный, чистый... А что, уже есть решение?

— Ну что ты, Салтан, как ребенок, в самом деле! Разве без тебя будут это решать? Ты, Гамалей, Аделаида — вы еще назаседаетесь, надискутируетесь. Тошно станет. Но пока даже им — ни гу-гу. Все пока на уровне мнений.

— Чьих мнений? Тебе не кажется, что наше мнение нужно было выслушать в первую очередь?

— Не кажется ли — мне?

— Да,— сказал Абоянцев,— это я уже малость того... От огорчения. Ты прости, Кантемир. Я понимаю, что ты-то ничего не решаешь. Но и ты меня пойми, ведь это моя последняя экспедиция! Я же старик, Кантемир, меня больше не пошлют. Та-Кемт — это мое последнее...

— Не срамись, Салтан. Во-первых, ничего не решено, а во-вторых, вернешься на базу, будешь заведовать Объединенным институтом истории и развития Та-Кемта, со всеми его мыслеедями и летаргическими богами. Самое стариковское дело. Завидую. Мне вот института не предложат.

— Я тебя замом возьму,— сказал Абоянцев с наигранной веселостью — ему уже было стыдно.— Зам по сбору информации на высших инстанциях — звучит?

— Да уж говорил бы попросту: зам по сплетням. Но я и от такой должности не откажусь. Все лучше, чем совсем без дела. Никогда не думал, что это так страшно — стать стариком...

— Полно, полно, Кантемирушка. Оба мы старые хрычи. Так что непонятно, чего жальче — себя ли, или вот Колизея, последнего моего дома небесного...— он погладил сухонькими пальцами стекло экрана, и оно отозвалось легким потрескиванием.— Выходит, провалиться ему, бедолаге, под землю, как граду Китежу.

— Китеж под воду ушел, не путай.

— А, склероз. Другой был город какой-то, не наш Китеж. Мне Гамалей рассказывал. Целый город, провалившийся со всеми обитателями. Да еще и в пасхальную ночь, под звон колоколов. Как бишь его... Не помню. Ничего не помню. И помнить не хочу. Свернуть экспедицию! И какую экспедицию! Кантемир, твой голос

в Совете все-таки один из решающих — ты что, тоже считаешь продолжение эксперимента бесперспективным?

— Напротив. Перспективы налицо. Ты не дослушал. Только... Перспективы-то совсем не те, на которые мы рассчитывали. То есть мы предусматривали вариант религиозной распри, ты же помнишь, Роборовский предупреждал... Но все-таки хотелось, чтобы это было побочным эффектом, а не единственным следствием нашего контакта.

— Постой, постой! Я регулярно прослушиваю чуть не половину всех записей, которые вы мне спускаете, и ни разу не уловил даже намеков на какую-либо ересь. Для возникновения нового религиозного течения требуется немало времени...

— Положим! Кто-то в свое время заметил, что для подобной операции Лютеру понадобилась всего одна чернильница и одна стопка бумаги — долго ли умеючи? Правда, кемиты — городские кемиты, не храмовые — сплошь безграмотны, да к тому же и фантастически инертны.

— Ну, батюшка мой, жреческая флегматичность тоже потрясающа, это я тебе говорю как крупный профан в истории всех религий. Будь это на нашей Земле, такой религии щелчка было бы довольно! Но где он, этот щелчок?

— Есть, есть, Салтан. Ты или пропустил, или еще руки не дошли. Мы тут выудили серию прелестнейших диалогов, естественно, пока это легчайшие намеки, так сказать, прелюдия кемитского кальвинизма. Но какая первозданная чистота, какой классический примитив: долой Богодухов дрыхнущих — да здравствуют Боги жующие!

— То есть мы, грешные, с нашим трехразовым питанием по самому скромному экспедиционному рациону? Бывают в жизни злые шутки, но представить себе нашу полупрозрачную Кристину в роли богини обжорства... Это несерьезно, Кантемир.

— У твоей Кристины здоровый детский аппетит, как следует из Аделаидиных сводок. Но когда Сэр Найджел везет на стилизованной таратайке гору дымящихся антрекотов, тебе непременно хочется, чтобы взирающие с благоговением кемиты тут же взяли на вооружение колесо от таратайки. А они — дети природы, они предпочитают антрекот!

— Согласен на антрекот, но почему бы им не заинтересоваться заодно ножом и вилкой? С ножом можно съесть два антрекота!

— Излишества не в ходу у примитивных религий, к тому же кемиты за считанные минуты отращивают себе стальные когти, с такими когтями можно, во-первых, вырвать у ближнего своего, а

затем удержать и три антрекота, а это важнее. Так что с орудиями производства мы сели в основательную лужу, Салтан свет Абдикович, и это не кулуарные мнения — это факт.

— Но ведь не могли же мы, в самом деле, навязать им ту или иную альтернативу? Мы должны были сдвинуть их с мертвой точки, вышибить их из этого проклятого социостазиса, предложить им выбор, в конце концов, ведь такова была изначальная задача?..

— Знаешь, Салтан, чем больше ты сейчас впадаешь в панику, тем основательнее я успокаиваюсь. А то уж я было начал себя казнить, что выболтал тебе все сплетни, роящиеся вокруг Совета по контактам. А теперь вижу — все правильно. Потому что если бы ты вот так же начал паниковать при всем честном народе, это было бы, как говорят кемиты при виде жующих, «срамно и постыдно»!

— То ли еще будет, Кантемир, то ли еще будет! Когда узнают мои ребята, Самвел, Кшися, двойняхи эти оголтелые, что нас собираются перебрасывать...

— Ну-ну, не такие уж они дети малые, неразумные, какими представляются тебе в отеческих твоих заботах. Знали они, на что идут. И что могут их отсюда убрать не то что через год — на третий день, землицы не понюхав и воды не испив, тоже знали. А крепче всего они знали первый постулат дальнепланетчиков: при контакте с менее развитой цивилизацией ВОЗДЕЙСТВИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ МИНИМАЛЬНЫМ.

— Минимальное воздействие и хреновый эффект... А может, надо было воздействовать чуточку посильнее? Ведь какие возможности открывались перед кемитами, неужели ты для себя не проигрывал эти варианты, а, Кантемир? Прирожденные экспериментаторы, с их-то руками, с их неприхотливостью и дисциплиной — за считанные десятилетия они могли бы снова заселить все земли средних широт, откуда они откочевали на экватор, образовать единое государство, перескочив сразу через несколько социально-экономических формаций...

— Как кенгуру. Да, они могли. Но выбрали другое — полуголодное существование, молитвы, сны. Сами выбрали свой путь.

— И опять жрецы, пирамиды, жертвоприношения, мракобесие, инквизиция...

— Да, но если нам удастся снять ограничение рождаемости, можно считать, что мы уже наполовину спасли это сонное царство.

— Знаешь, голубчик, мне от этой уверенности как-то не легче. О! Видимость улучшается — луна зашла. Пора проветриваться.

— В каком смысле?

— В прямом. Хотя, если нас перебазируют, то какой смысл?

— В том, чтобы стоять до конца, всегда есть если не смысл, то хотя бы какая-то прелесть...

— Вот-вот. Так что я пошел — стоять до конца. Как обелиск.

## 14

Что-то ткнулось прямо в ноздрю, защекотало, — Инебел сморщился, сдавленно чихнул и потер тыльной стороной зудящую верхнюю губу. Едва слышно щелкнуло, в нос проник отчетливый медовый запах. Видно, запоздалый муракиш-медонос тащил свою крошечную восковую коробочку, да на пути его, как гора, разлегся человек — ни обежать, ни перепрыгнуть с полной ношей. Сам муракиш отпрыгнул, а мед липкой смолкой размазался иад верхней губой, чихай теперь до самого рассвета...

Инебел приподнялся на локте. Вечернее солнце уже зашло за гадючий лес, и в непроглядной тьме невозможно было различить, где кончаются последние купы его развесистых деревьев, а где начинается рахитичная поросль окраинных городских садов. Впрочем, города отсюда и не должно было быть видно, но не светилось и Обиталище Нездешних, черной неживой громадой угадывающееся посреди кочковатого лугового пастбища, с которого тянуло дурманом вечерних фиалок.

А может, там уже ничего и нет? Растаяло, ушло в зыбкую трясину? Отсветилось, отмерцало беззвучным сном?

Потому он и не ушел, потому и отстал от Аруна — не смог запереться в уютном, занавешенном со всех сторон покое. И так изболелось сердце, а еще всю ночь маяться, что проспал часы, когда можно было насмотреться-напечалиться...

Он долго глядел, притаившись в луговом ковыле, как тихо угасают, засыпая, светящиеся голубые гусеницы, прилепившиеся под кровлями верхних гнезд. В пещерах он не раз находил похожих светляков-ползунов, но те были не длиннее полупальца и при звуке шагов свертывались в колечко и гасли. Инебел положил подбородок на сцепленные пальцы, приготовясь подстеречь тот момент, когда все Обиталище погрузится во мрак — и вдруг заснул.

Проснулся он, как ему показалось, тотчас же, но ни одного огонька-светляка не теплилось уже в переходах и гнездах Открытого Дома. Он мучительно вглядывался в темноту, пытаясь представить себе, где же там, в вышине, притаилось маленькое,

словно горная пещера, жилище, — и не смог этого угадать. Внутреннее чутье, обострявшееся с каждым днем, вдруг разом изменило ему, и он остался слепым и беззащитным в этой кромешной тьме. Еще позавчера он закричал бы от ужаса, проснувшись вдали от своего дома, окруженный шорохами и призраками глубокой ночи, в которой нет места человеку. Но сейчас его переполняла только бессильная горечь потери.

Он приподнялся, встал на колени, выпрямился во весь рост. Вытянув руки вперед, сделал шаг, другой. Шел, незряче поводя головой то в одну, то в другую сторону, словно осужденный на святожарище и опоенный дурманным питьем. Наконец руки уткнулись в упругую поверхность; Инебел сделал еще один шаг вперед и прижался щекою и грудью к тепловатой, как будто бы живой преграде.

Так он и стоял, горестно замерев, пока не почувствовал, что влажный луговой ветер шевелит его волосы.

Он осторожно отстранился от стены, поднял лицо.

Показалось? А может, он попросту не до конца проснулся?

Ветер налетел сзади, огладил спину, вздыбил волосы и пролетел прямо сквозь стену где-то над головой Инебела.

Руки вскинулись вверх, скользнули вдоль чуть клейковатой поверхности, и уже где-то на пределе досягаемости нащупали гладкий срез.

Стена там кончалась.

Инебел зажмурился, изо всех сил поднимаясь на носках и заставляя свои послушные, прекрасно натренированные руки вытягиваться и становиться цепкими, как лесная лиана. Стена оказалась совсем тонкой, весь торец — ладони полторы в ширину. Зацепился пальцами за внутренний край, долго собирал все мускулы своего тела в единую пружину — и вот одним толчком выметнулся вверх, грудью на торец.

Удержался.

Заставил себя помедлить, прислушиваясь. Было тихо. Ни звука тут, внутри стены, ни шороха там, за ее пределами. В черноте и беззвучии он застыл, как угасший светляк, оторванный от земли и сохранивший лишь ощущение бездны, простершейся до нее. Почти не чувствуя тепловатой, чуточку упругой, как живая плоть, опоры, он парил на границе двух миров, и ощущение чуда было столь велико, что не оставляло места даже для страха. Внутри него что-то хрустнуло, точно коробочка водяного тюльпана, — то ли сломалось, то ли приоткрылось. Непомерная чуткость, пришедшая на смену слуху и зрению, донесла до него мягкий,

невнятный призыв — так манить могли только мхи и травы. Он доверчиво свесился вниз головой и бесшумно соскользнул в невысокие шелковистые заросли.

Некоторое время он еще полежал, вжимаясь в землю и машинально поглаживая эту удивительную, нежную, как женские волосы, траву. Потом руки дернулись, сами собой замерли: до сознания молодого художника дошло то, что пока воспринималось только кончиками пальцев: он прикасался к нездешней траве. Это было первое из запретного мира.

И вот теперь, поглаживая податливые, теплые стебельки, он до конца осознал, что все здесь будет чужим, НЕ ТАКИМ.

В этот мир он пришел непрошеным, пришел не по воле Богов или людей — его привел случай и собственная дерзость, и за это он готов был расплатиться самой высокой ценой. Но пока — пока он повторял только одно: стены больше нет. Нет стены!

Нет больше стены между ним — и той, что спит сейчас в своем поднебесном гнезде. Вон там!

Глазам его вернулась небывалая зоркость, и в черной густоте ночи он уже мог различить и прямоугольные ниши первого этажа, и взлетающие вверх ажурные переплеты лестниц, и белизну балконных перил. Но главное — его чутье, которое безошибочно указывало ему, куда идти.

Он, едва касаясь травы, пробежал по овечьему выгону, огромным бесшумным прыжком перемахнул через скрипучий гравий дорожки. Замер на нижней ступеньке лестницы. Тихо. Никого он не потревожил. И не мог потревожить, потому что его тело сделалось легким и бесплотным, как вечерняя тень, и ступни ног, ставшие шелковистыми, как здешняя трава, могли бы пройти по кружеву паутины, не порвав ни одной нити; он, как и все кемиты, мучительно боявшийся высоты, был сейчас не человеком, а стремительным гибким ящером, которому нипочем головокружительные спирали невидимой в темноте винтовой лестницы. Он стал частицей этого мира незнакомых и всемогущих существ, и поэтому только замечал, как уже свершившееся, то, что раньше показалось бы ему немыслимым, и даже не удивлялся. Если бы на его пути встало пламя, он просто и естественно превратился бы в камень и прошел сквозь огонь; если бы перед ним разлилась вода, он покрылся бы чешуей, как слизкий краснопер, и не задохнулся бы в глубине.

Так казалось ему.

И, наверное, он действительно был всемогущ, потому что его вела такая сила, которой не было равных ни на Земле, ни в Та-Кемте.

Но когда по дощатому смолистому полу он дошел до узкой, едва угадываемой в темноте постели, он замер в недоумении, спрашивая себя: а что же дальше? Между ними больше не было не то чтобы стены — не было ровным счетом ничего, даже расстояния протянутой руки; все, о чем он мечтал, сбылось — ведь сбылось же? Но он не испытывал ни счастья, ни даже удовлетворения. Достигнув предела своей мечты, он желал теперь одного: чтобы это никогда не кончалось; но кто-то посторонний, притаившийся в его мозгу, уже искушающе шептал: а не исчезает ли счастье, когда останавливается движение к нему?

Что-то произошло, и тело отделилось от рассудка, и жило теперь самостоятельной, неуправляемой, непредсказуемой жизнью; это была жизнь только что родившегося, неуклюжего и доверчивого детеныша, которому нет дела до подобных вопросов, да который и не знал таких слов, которыми можно было бы ответить на вопросы рассудка; детеныша, раздираемого двумя совершенно противоположными, исключающими друг друга ощущениями: с одной стороны, это нечеловеческая, ежесекундно возрастающая и непонятно зачем снизошедшая на него сила, а с другой — томительное, сладковатое бессилие, подгибающее ноги, захлестывающее голову певучей, кружащейся и затягивающей в пропасть дурнотой. Дурнота была осязаема и пахуча, как пещерный мох, и, задыхаясь в ее дымной невесомости, тело сдалось, мягко опускаясь на колени, и словно в ответ этому движению там, на постели, тоже что-то шевельнулось и вскинулось — и глаза, пока еще подвластные разуму, явственно различили среди складок покрывала сначала руку, заброшенную за голову, а затем и тонкий профиль, затененный прядью волос. Вот теперь все, отрешенно и почти спокойно отметил рассудок, сейчас всему наступит конец. Последние силы ушли на то, чтобы сдержать дыхание, но сердце — грохочущее, словно оно бьется не о ребра, а прямо в дощатые стены и потолок,— как заглушить его стук?

Обезумевшее сердце билось, как исполинский «нечестивец», способное расслышать разве что самое себя, и говорить ему было бесполезно. Случилось непоправимое: стена, только что преодоленная молодым художником, не осталась позади, а вошла внутрь его, разъединив непроницаемой преградой душу и тело. Новое, неуправляемое естество толкало его вперед, рассудок же заклинал не двигаться. «Не проснись, не проснись, не проснись! — беззвучно молился Инебел.— Если бы сон, священнее которого ничего нет на свете, не снизошел на тебя, я просил бы: улети от меня, незваного, уплыви от меня, непрошеного. Но ты спишь, и я

молю об одном: не сделай меня святотатцем, не обрати меня в нечестивца — не проснись! Заклинаю тебя и рассветом, и светом, и отсветом, и молчаньем, и громом, и стоном, и шепотом — не проснись! И дорогою утренней, и вратами вечерними — не проснись! Не проснись...»

Он наклонился ниже, ловя ее дыхание, и понял, что она послушна ему. Неподвижными были ресницы, беззвучным — дыхание, и черная тонкая веточка — память костра — не дрожала, запутавшись в белых ее волосах. И тогда его рука, самовольно и непостижимо ставшая гибче ниточной водоросли, легче серебряной водомерки, едва уловимым движением отыскала эту упругую колючую рогульку, не бывшую ни углем, ни деревом, и вынула ее из узла волос. И тогда... Разве он виноват? Он не мог этого знать, он не мог догадаться, что у нее, нездешней, волосы — живые, и они развернулись лениво и сонно, и побежали по его руке, и прильнули к ней доверчиво и прихотливо, выбрав теплую ямку на сгибе локтя... Не проснись, не проснись!

Теперь он не мог шевельнуться — но не мог и оставаться вот так, когда лиловые круги плыли перед глазами от сладкого, солодового духа этих волос, когда спину и плечи сводило от гнетущей тяжести этих волос, когда дыхание перехватывало от жгучей боли, потому что эти волосы впивались в кожу, словно щупальца озерной медузы-стрекишиицы... Не проснись, не проснись, не проснись, даже если я застону, закричу от этой муки; не проснись, даже если я, спасаясь из нестерпимого узилища этих волос, нечаянно коснусь твоего плеча... Не проснись!

И она не проснулась, и она не просыпалась, и он понял, что властен над нею, потому что, преодолев проклятую стену, он уже не был прежним — ведь ее волосы, доверчиво задремавшие на его руке, признали его своим! Он стал иным, и мучительная чуткость — беда истонченных пальцев — стала свойством всей его кожи, и был он весь огромен и нежен, как сказочный зверь-ковер, обитающий в горных пещерах...

И не просыпалась она.

## 15

С утра Абоянцеву везло на чужие разговоры. Пока он спускался по винтовой лесенке — лениво, в какой-то необъяснимой, давным-давно не посещавшей его истоме, — снизу доносился ворчливый басок Меткафа, из-за недосыпа понизившийся ровно на октаву. Чернокожий гигант кроме целого комплекса паранор-

малых свойств обладал еще и способностью прекрасно ориентироваться в темноте — незаменимое качество для ночных вылазок на Вертолетную. Судя по монотонности речитатива, Меткаф дотошно перечислял все детали своей микроэкспедиции. «Развалины меня не то чтобы потрясли, но впечатлили — стены толстенные, вроде бы из серого плитняка, а ширина — поперек можно улечься и ноги не свесятся. Так эти стены порушились, а вот оконные переплеты, тонюсенькие такие, за ними и нет ничего, небо просвечивает и ветер гуляет уже которое-то столетие, — эти целы! (Где он там стены нашел, да еще и с окнами, коих на Та-Кемте еще не изобрели?) Погулял я по сереньким дорожкам, потом гляжу — газончик ровненький, словно и не натуральный, а ковер синтетический, а посередке — пихта...» — «Так уж ты и запомнил, что это была пихта, а не елка? (Ага, это Мокасева, голубушка, кормилица наша.) Не люблю я пихту, никчемное дерево, ни духу от нее, ни радости новогодней... Дак о чем это мы?» — «Да все о том же, мэм, о слабых сигналах, психогенных и посттемпоральных... Да вы никак стоя спите, мэм? Я вот всю ночь на запасной базе околачивался, и ничего!» — «На то ты у нас джинн не джинн, а что-то вроде Кощея... Не обращай внимания на меня, старую, разоспалась я нынче — не иначе, как к погоде. Говори себе, да салатик не забывай крошить, чать дежурный». — «Тогда пожалуйте яичко, мэм-саиб... Грац мерси. Поди сюда, паршивец! Стой смирно».

Ага, это он Ваське Бессловесному. Вот это-то их и сблизило, Меткафа с Мокасевой, — какая-то врожденная, лютая ненависть к роботам. На Большой Земле это не редкость, но вот в экспедициях на дальние — качество уникальное. Раздался скрежещущий треск, словно кололи кокосовый орех титановой табуреткой. Абоянцев задумчиво погладил шейные позвонки — вмешиваться было рано. Да и сонное оцепенение не проходило — так и простоял бы на ступенечке, облокотясь на перила, до самого обеда.

«А, елки эридаиские, опять не проварилось... Пожалуйте, помельче, мэм. Да, так вот: еще тогда в Нью-Арке, глядя на эти окошечки стрельчатые, я задумался о стойкости хрупкого и тленности капитального. Не в таких терминах, разумеется, мэм. И, наверное, впервые почувствовал — то ли ладонями, то ли всей спиной — вот это слабое излучение, вроде памяти о тепле. Словно когда-то люди согрели камень своими прикосновениями, и он теперь до скончания века светиться будет незримым светом». — «А-а-а-уаа... Прости, голубчик, — сон с глаз нейдет. Так что, говоришь — на Вертолетной камни старую память хранят?» — «Как

вы догадались, мэм, я ведь этого еще не сказал. Да. Только не на самой Вертолетной, это ведь наш склад, и не более. В окрестностях имеются пещерки — карст, по-видимому, хотя я в геологии полный профан. Но что главное — выход там теплых источников. И старое-престарое излучение. Это не современные кемиты, это те самые племена, что здесь отсиживались во время оледенения. Отсиживались и дичали. Теряли все, что успели накопить за несколько тысячелетий тепла». — «А ты б не одичал, голубчик? Три поколения схоронить — и вся культура насмарку». — «Вот об этом я и говорю! — голос Меткафа, всегда глухой, бархатистый, сейчас зазвучал, как труба. — Мы тут ломаем себе головы, что такое дать этим бедолагам, чтобы они согласились это самое у нас принять. Вот так, с места не сходя. Скородумы липовые. А нам надо готовить убежища, и не для одного города — для всех еще уцелевших. Не соваться со своей культурой, а сохранять местную, и в темпе благоустраивать пещеры, расширять, подводить теплые источники, и таскать-таскать-таскать в них добро — из мертвых городов. Дороги проложить — от каждого современного населенного пункта А к каждому убежищу Б. Вот такая задачка...»

Абоянцев встрепенулся. Сакраментальная формулировка «что такое дать этим...» подействовала на него как сигнал боевой тревоги — глобальные проекты росли по всем уголкам Колизея, как шампиньоны после дождя, и начисто вышибали его обитателей из рабочего состояния.

— Доброе утро! — зычно проговорил он, стараясь придать своему голосу побольше бодрости и свешивая за перила лопатку бороды. — Позвольте, а Бессловесный где?

Это было уже слишком — громадный сенегалец, как таитянская статуя, возвышался над компактным Сэром Найджелом, специализированным суперпрограммным роботом, использовать которого в кухонных целях было просто безграмотно. С титанирового темечка этого уникального кибернетического индивидуума стекал яичный желток.

— Васька? Да вон, выгон овечий холит, — с неизменной улыбкой отозвалась Макася. — Приспичило ему спозаранку.

Меткаф вместо приветствия выудил из решета очередное яйцо и протянул его Абоянцеву. Размеры яйца были поистине устрашающими.

— Индюк? — коротко спросил Абоянцев.

— Бентамка. Овцы, поросенок — все в норме, — пробасил Меткаф, — и те, что на здешних кормах, и те, что на концентра-

тах. А вот птичье племя разносит, как на дрожжах. Может, оттого в Та-Кемте и нет крылатого царства?

Та-Кемт, несмотря на подходящую плотность атмосферы, действительно был бескрылым миром. Птиц здесь не водилось, насекомые — бабочки, стрекозы, пчелы — в лучшем случае совершали спазматические скачки, и то не выше человеческого роста. Это было одной из загадок эволюции. А люди-то надеялись на акклиматизацию здесь земных пернатых...

— Какой вес? — спросил Абоянцев, протягивая влажно поблескивающее на утреннем солнце яйцо Сэру Найджелу.

— Двести четыре целых, шестьдесят три сотых грамма, мэм, — отвечал робот, едва касаясь предложенного объекта копчиками титановых пальцев, — несмотря на свою универсальность, он не способен был определить пол собеседника.

— М-да, — только и сказал Абоянцев. — М-да...

И даже чуткая Макася не уловила, что это должно было означать: «Мне бы сейчас ваши заботы...»

Он пошел прямо через кухню, потрескивающую вчерашними еловыми ветками, к дверце в колодец — лишь бы ни с кем больше не встречаться. Если и был у него за всю экспедицию тягостный день, так это сегодняшний. Проходя во внутренние отсеки, услышал сверху, со второго этажа, сонное бормотание Гамалея: «И в пасхальную ночь, под звон колоколов, провалился этот город со всеми жителями под землю — бом!.. бом!.. бом!.. (на мотив «Вечернего звона», естественно), — и поросло то место...»

В который раз он уже рассказывает эту легенду? Да еще и с утра пораньше. Тоже своеобразное проявление ностальгии. Абоянцев захлопнул за собой дверцу, пренебрегая внутренним лифтом, полез по запасной лесенке на третий этаж, в аппаратную. Не дойдя одного пролета, услышал очередной чужой разговор. Фырчал Александр: «Ну, под наркозом, под гипнозом, в конце концов! Эка невидаль — опалить шкуру, два-три косметических рубца пострашнее... Вот и готов калека, божий человек. Засылай себе в город, никто и не потребует у него, убогого, чтобы он из своих обожженных конечностей делал лопату или метелку. Ведь элементарно, так почему же не попробовать?» — «Потому и не попробовать, — степенно возражал Наташа, — что так и засыплешься... Дай-ка тестер... Потому как люди все считанные, из города в город не бегают, тут уж действительно, как в Египте — никаких Юрьевых дней... Теперь изоляшку! К каждому двору жрец определен, он беглого за версту учует». — «Ну, уж кого-кого, а тутошних жрецов обвести вокруг пальца — это раз плюнуть. Не тот тут жрец.

Без фанатизма, без остервенения — ни рыба ни мясо... Давай-ка тот блок еще почистим для профилактики... Ага, держу. Так вот, дохлая тут религия, скажу я тебе!» — «Это со стороны, Алексаша. Дохлых религий не бывает. Мы еще с ними нахлебаемся». — «Когда? Когда, я тебя спрашиваю? Мы уже пересидели тут все разумные сроки акклиматизации, а там, на Базе, только и ждут, к чему бы придраться, чтобы сыграть отбой! Ты же знаешь на опыте веков, что с течением времени всегда выигрывают перестраховщики, это как в чет-нечет с машиной...»

— Это кто тут с утра пораньше собирается играть с машиной в чет-нечет? — начальственный рык раскатился по аппаратной прежде, чем сам Абоянцев, воинственно выставив вперед свою бороду, переступил порог.

Но где-то снаружи, по поясу третьего этажа, загрохотали каблуки, — что-то непривычная походка, отметил начальник. «Абоянцев здесь?.. Был здесь Абоянцев?» — и он не сразу даже узнал голос Аделаиды.

Она ворвалась в рубку, лицо в пятнах, выходные туфли на невероятных каблуках (наверное, первое, что попалось) — на босу ногу:

— Салтан Абдикович! Я... Там... Я не могу разбудить Кристину. Никак.

— Спокойно, голубушка, спокойно! — а левой рукой — знак близнецам, чтобы ни боже мой не включили дальнюю связь. — Как это понимать — не разбудить?

— Буквально, Салтан Абдикович, буквально! — Аделаиду нельзя было узнать: обычной манеры растягивать фразы и не кончать их вовсе — как не бывало!

— Все-таки я не понимаю...

— Спонтанная летаргия. Если бы наблюдался припадок истерии, то можно было бы предположить разлитое запредельное торможение в коре головного мозга и ближайших подкорковых узлах, но это исключено, равно как и крайнее утомление, гипноз — все эти факторы просто не могли иметь места!

— Это опасно?

— Пока нет.

— Предлагаете эвакуировать на «Рогнеду»?

— Пока нет.

— Но вы исчерпали все средства?

— Пока да.

— Что же остается?

На рыбьем лице Аделаиды что-то чуть заметно дрогнуло:

— Меткаф.

Абоянцев не раздумывал ни секунды — он слишком хорошо знал своих людей и доверял им безоговорочно. Короткий сигнал общего внимания рявкнул одновременно во всех помещениях Колизея — от подвалов колодца до курятника, и вслед за ним раздался голос начальника экспедиции:

«Меткаф, срочно на галерею третьего этажа! Меткаф!»

Он даже не повторил своего вызова второй раз — знал, что ему не нужно говорить дважды.

Меткаф уже ждал на галерее. Аделаида быстро подошла к нему. До Абоянцева только долетало сказанное вполголоса: «...аллергию я исключаю... смывы со стен возьмем позже... асфиксия... постгипнотическое...»

Интонации были сплошь отрицательными.

— Мне нужна изоляция, — негромко, совсем как и Аделаида, проговорил Меткаф.

Абоянцев сделал четкий поворот направо, вытянул руку и нажал клавишу, утопленную в дерево обшивки. Тотчас же зашуршала пленка, падающая сверху, и гнездо Кшисиной комнатки оказалось отделенным от галереи дымчатой подрагивающей стенкой. Меткаф оказался там, внутри. Сейчас, когда еще не настал момент принимать решение ему, как единоличному руководителю всех этих людей, Абоянцев только выслушивал их и, молниеносно оценивая безошибочность требований, выполнял все четко и безупречно. Как робот. Это редкостное качество и входило в число тех достоинств, которые сделали Салтана Абоянцева начальником базы.

Но сейчас ему оставалось только ждать, и он стоял, внешне безучастный, как тибетский идол, так как располагал пока неполной информацией и мог прийти к решению, которое потом пришлось бы подвергать многочисленным сомнениям. Таково было его правило. Так что думал он сейчас о своем экспедиционном враче, а вернее, о той ироничной несерьезности, с какой Аделаида относилась всегда к «этому великому мганге». Он как-то поделился своими наблюдениями с Гамалеем, и тот, пожав плечами, резюмировал: «Еще бы, генетическая нетерпимость терапевта к телепату». Доля истины в том была. Лиловокожий гигант, о котором Кшися говаривала, что он похож на негатив светлогривого льва, по штатному расписанию занимал скромную должность инженера-конструктора. Он действительно был прирожденным конструктором-примитивистом, способным за считанные минуты из каких-то щепочек и тряпочек соорудить оптимальную модель

паучьего силка, смоквоуборочного агрегата или печной насадки для копчения ящеричных хвостов. Кроме того, в полевых условиях он прекрасно заменял небольшую вычислительную машину, был неплохим фокусником-иллюзионистом, что должно было, по мнению теоретиков — организаторов экспедиции, несколько скрашивать период односторонне-визуальной инкубации Колизея; но главная причина, обусловившая появление Меткафа в тщательно отбираемой группе из каких-то полутора десятков человек, заключалась в том, что кемитов не без основания заподозрили в экстрасенсорном баловстве, а могучий сенегалец был, пожалуй, крупнейшим практиком в неуважаемой области паранормальных явлений.

То, что в критической ситуации мнительная и самолюбивая Аделаида, ни секунды не колеблясь, признала свое бессилие и призвала на помощь Меткафа, чрезвычайно подняло ее в глазах Абоянцева. Он любил людей, которые умеют отступать вовремя.

Между тем пленка вспучилась, натянулась, лопнула. Стряхивая с себя невесомые дымчатые лоскутья, появился Меткаф. На его выразительном лице нельзя было усмотреть следов восхищения собственными действиями.

Тем не менее Абоянцев ни о чем не спросил.

— Разбудил,— пророкотал Меткаф, когда пленка за его спиной затянула прорванную дыру.— Я все-таки склонен усматривать постгипнотический шок. Слабенький, к счастью. И аллергия не исключена — вон как со вчерашнего-то воняет! Да факторов тьма, и вино в сочетании с местной водой, и шашлыки в тутошнем дыму, куры на подножном корму несутся, как страусы...

— А гипнотизировал кто — те же куры? — не выдержала Аделаида.

— Ну, зачем...— протянул Меткаф.— Это уж наверняка самодеятельность какого-нибудь храмового фанатика. Наверняка. До меня уже доходили слухи о том, что наша маленькая Кристина видит вещие сны, и я не могу себе простить, что не усмотрел в этом постороннего влияния.

— Тоже наверняка? — спросил Абоянцев.

— Постороннее влияние? Наверняка. При планировании экспедиции мы попросту отмахнулись от подобной перспективы, и вот...

— Нет,— сказал Абоянцев,— мы не отмахивались. Иначе вас, Меткаф, не было бы здесь. Вы больше не нужны вашей пациентке?

С лиловых губ Меткафа была готова слететь какая-то шутка относительно ограниченности применения черной магии, но он взглянул на начальника экспедиции и осекся. Только помотал

гривастой головой, так что волосы и борода образовали единый угольный нимб, обрамляющий лицо и расположенный, вне всяких живописных канонов, в вертикальной плоскости.

— Прекрасно.— Абоянцев обернулся к Аделаиде: — Тогда прошу вас заняться Кристиной. И пожалуйста, каждый час докладывайте мне ее состояние.

Аделаида закивала, сосредоточенно поджав губы,— за одно утро она переменилась так, словно это ее загипнотизировали, и Абоянцев, глядя на эти мелкие колючие кивки, непроизвольно подумал, что из рыбы обыкновенной она превратилась в рыбу вяленую, и рассердился на себя, и добавил:

— Да не волнуйтесь вы так, все позади...

Аделаида нырнула в комнату, прокалывая защитную пленку шестидюймовыми каблуками своих неуместных вечерних туфелек, и, подождав, пока защита восстановится, Абоянцев повернулся к притихшему сенегальцу:

— Ну?

Это «ну» было абсолютно конкретно.

— Полагаю, что нам всем ничто подобное не грозит. Иначе это давным-давно было бы применено против нас. Еще тогда, когда аборигены не потеряли окончательно к нам интереса. А сейчас, вероятно, кто-то из храмовых служителей обеспокоен той полной темнотой, в которую погружается по ночам Колизей,— ведь эту темноту можно принять и за исчезновение. Вероятно, перебирал в памяти всех обитателей нашей колонии, дошел до Кристинки — у нее гипнабельность, вероятно, на порядок выше, чем у остальных. Ну, да это я еще проверю. Вот так.

— Хорошо. Вы меня понемногу успокаиваете. Но надо успокоить и всех остальных — ждут ведь.

Абоянцев кивнул и пошел по лесенке вниз. Он не сказал Меткафу, что же именно его успокоило, а это была всего-навсего мелочь, пара незначительных слов. Но когда добродушный, многословный гигант употребил такое противоестественное для его лексикона слово «наверняка», Абоянцев прямо-таки испугался. За этим крякающим, безапелляционным словцом проглядывала такая растерянность, что он готов был спросить: а не считает ли Меткаф, что эвакуацию нужно начинать немедленно?

Но сенегалец перешел с «наверняка» на «вероятно», и Абоянцев понемногу успокоился.

А сам Меткаф, наматывая на толстые пальцы пряди своей львиной бороды, задумчиво глядел на спускающегося по винтовой лесенке начальника и все не мог понять — прав он или не прав?

Ведь все, что можно было сказать, он сказал, остальное лежало в области неназываемого. Вот М'Рана, старый учитель, понял бы его, потому что М'Ране достаточно было сказать: она была заперта на семь замков нераскрывшихся, она была отдалена от меня семью завесами непроницаемыми, и была она недвижна, но ускользала; и ждала она пробуждения, но не в моей власти было слово, разрушающее заклятие. Ибо в сердце ее разглядел я сияние двух светильников, а там, где горит чужой свет, проникающее око должно закрыться. И разъять эти два светоча не смеет ни сила, ни разум. И не я пробудил ее — не в моей это власти. Стою я в стороне, и гляжу со стороны, и неизбывен чужой свет в ее сердце, открытом и беззащитном...

И это все сказать Абояпцеву?

А он вздернет свою бородку-лопаточку и спросит: «А это наверняка?»

Но наверняка он знал только одно: когда, пробудясь, ее глаза распахнулись вдруг так стремительно и широко, что в них мог бы отразиться весь Та-Кемт разом, он увидел в них сначала ожидание, потом — недоумение и, наконец, горькую детскую обиду.

## 16

Две корзины сырой глины — тяжело это для старческой спины. Вон до кочки дойти и передохнуть. А теперь до того гада, что на бок завалился и вымя разбухшее на солнышке нежит. Матерый гад, хвост ему раз десять ломали, не иначе, — он спокойный, к шелудивой спине привалиться можно и чуток подремать. Чтоб ежели кто позорче из города глянул, так видел: сил не жалеет старец, спину гнет до седьмого пота во исполнение урока справедливого, а паче того — во славу Спящих Богов всеблагостных. Стояло бы сейчас солнце вечернее, так и теплого молочка напиться бы не грех, а при утреннем — ни боже мой. Углядит еще кто, пропадешь по малости. Обидно и глупо.

Подремав для приличия возле мерно посапывающего ящера, Арун вскинул на плечо две корзины, связанные лыковой веревкой, и на круглых рахитичных ножках заковылял дальше. Да, придется впоследствии удлинить передник, — когда хамы снизу вверх смотреть будут, то ноги кривые наперед всего в глаза бросятся. Хамов придется построже держать, чем при нынешних-то, но все-таки и сомнения не должно промелькнуть: что, мол, не худородок ли возвысился?

За одну такую мысль — на святожарище, да не зельем перед тем поить, а язык вырвать. Уж это-то всенепременнейше. И эко-

номно: из двух семейств зельевщиков одно оставить, другое... Другому работа найдется. Да такая работа, до какой нынешние Гласы по лености ума вовек не додумаются. Об этом и себе самому сказать боязно. Прежде власть захватить надо, а потом уже — об ЭТОМ.

Арун протрюхал еще немного, скинул корзинки на траву и потер круглые, как дробленые оладьи, ладошки. Все будет. Только не торопиться! Только обдумать, примерить... и не упустить. Он сорвал травинку, пожевал — от сухого стебелька пахло молоком и змеиным навозом. И навоз не пропадет, все собирать будем! И кирпичики склеивать, и в печь подкинуть... На навоз двор подушечников кинем, нечего хамью на подушках нежиться. Сон — не благо, сон от природы дан, за день умаявшись и на собственном кулачке уснешь. Так-то!

Значит, запомнить: подушечников — на навоз.

Он снова поднялся, засеменил по тропочке, которая с каждым шагом становилась все отчетливее — приближалась к городским оградам. Мимо Обиталища Нездешних Богов прокряхтел, не взглянув — ничего там не менялось, только мысли при виде этого муравейника диковинного от дела отвлекались. Двойственное чувство вызывал у Аруна Открытый Дом: с одной стороны, ежели этих Нездешних на свою сторону склонить, использовать умело, то польза немалая. Жрецы, надо сказать, и тут обгадились — то молитвы возносили, благовониями весь луг кругом потравили, то вдруг замечать перестали, а тут и пророчить начали: сон, мол, сном и развеется. Нет, шалишь, может, и развеется, да поздно будет! Мы поторопимся!

Вот в этой-то торопливости и была другая сторона, оборотная. Ах, как любо было мечтать искусному горшечнику, когда складно и бездумно лепили его пальцы немудреные криницы да крупожарки! Эти запойные мечты о власти и сытости дед передал отцу, отец — ему, Аруну, он — четверым своим сыновьям. Но от поколения к поколению мечты обрастали найденными способами, продуманными вариантами, предусмотренными следствиями. Но это все были детали, это были бесчисленные ворсинки, из которых получилась бы богатейшая подушка, но из которых не сложился бы пещерный змей-ковер. Для змея нужен был костяк.

И вот Нездешние принесли ему и это. Он, Арун-горшечник, додумался до того, что никогда не открылось бы ни его отцу, ни деду: нужно сменить веру! Скелет волшебного змея строился легко и стремительно ворсинки лепились одна к другой, слагаясь в сплошной неуязвимый покров. И вот недоставало только

двух вещей, которые снова заставили Аруна призадуматься: у змея-ковра были здоровенные когти и смертельное жало.

И еще: пещерный змей, как правило, не медлил.

Ах, если бы не эта торопливость, если бы не поспешность мысли! Ах, если бы кто-то сказал ему: думай всласть, Арун, а что не додумаешь сам — домыслят сыновья. И он предался бы любимейшим своим занятиям: плетению хитроумных задач и поучению младших. О, сытые Боги, сладкая вера! И когда вы избавите старого гончара от зудящей поспешности мыслей?

Он с досадой брякнул корзины оземь, как вдруг выпрямился и от удивления округлил свои и без того круглые, как вишные ягоды, глаза.

Стена, которую только вчера начал размечать угольком молодой маляр, была уже на две трети записана!

Поначалу Арупу показалось, что здесь потрудилось все семейство красильщиков — правая и левая части ограды представляли собой канонические картины, какие рисовались еще прадедами нынешних отцов: две дуги, изображающие безмятежные брови, и стрелы опущенных ресниц. Символ Спящих. И какое-нибудь приношение внизу: смоква, лилия.

Но по легкости и изяществу линий можно было с уверенностью сказать, что тут потрудилась рука Ииебела, и никого другого. И приношения были диковинными: слева алело, как раздутый уголь, утреннее солнце, справа драгоценной краской, скобленной с раковин, коей лишь лики Богов отмечать дозволялось, нежно отсвечивало солнце вечернее.

А посередке пока было пусто — там, присев на корточки, маялся сам Инебел, то поднимая руку с угольком и нанося едва заметный штрих, то быстро затирая нарисованное мягкой щетинкой, отращенной на левой ладони.

Арун с сомнением глянул на солнце: нет, оно не успело пройти и половины своего дневного пути. И за этот срок маляр смог отрастить махровую кисть, потом два раза отмыть ее, сначала для огненной краски, потом — для перламутровой? А когда он умудрился отмочить руку и ожесточить пальцы, чтобы взять уголек? Он приблизился, бесшумно перекатываясь на коротеньких ножках, и остановился за спиной Инебела. Да, мальчик и не подумал рисовать то, что было ему ведено. Ритуальные ресницы да брови — это еще куда ни шло, это даже хорошо, умный человек всегда знает, чем нужно прикрыться.

Но вот слабые, едва различимые контуры в центре — ведь это не что иное, как то, что увидали они вчера возле костра, как раз перед тем, как разойтись по домам.

Двое стояли друг против друга, и ее голова была чуть запрокинута, потому что была она мала ростом, как травинка у берега озера; он же чуть наклонился, по обычаю Нездешних шепча ей беззвучные слова... Только Нездешних ли?

Как бы не так! И поверить трудно; да как не верить глазам? Не Нездешний Бог, а сам маляр нечестивый, как равный супротив равной, стоял перед белейшей Богиней!

Ах ты, мразь гадючья, жижа болотная! Эк занесло тебя — богоравным себя почел? То-то указ учителев в уши входит, из ноздрей высвистывает!

Ну, ладно...

Арун перевел дух, ибо во гневе слова языку неподвластны — и лишнее ненароком сорваться может, но тут маляр, не подымаясь с колен, повернул голову и смиренно произнес:

— Благостны сны праведных.

А в смирении-то сколько гордыни! Праведным себя почитает, а кто вечор на нездешнюю обитель пялился жадно, хотя сказано со ступеней: «Глядеть, не поучаясь»? Арун поскоблил подбородок, прикидывая, что бы пообиднее сказать, чтобы поставить маляра на место, но в этот миг Инебел приподнял ресницы, и на горшечника словно полыхнуло темным жаром — страшные, в пол-лица, глаза чернели так, словно меж веками и не было места белку, один до невероятия расширившийся зрачок.

— Позволь спросить тебя, учитель, — ах, кроток голос, недерзок, но так и хочется подобраться, вытянуться, приготовиться к чему-то... — Скажи мне, учитель, что преступил ты в первый раз, когда потерял стыд? И что преступил ты во второй раз, когда потерял страх? И что преступил ты в третий раз, когда потерял слепоту послушания?

Задохнулся Арун. Задохнувшись, сел. Но мысль работала молниеносно: пока маляр расположен говорить, он еще во власти своего учителя. Но беда в том, что Инебел — не рыбак, не лесолом тугодумный. Ему нужно говорить правду. Ладно, пока — правду. А там посмотрим. В конце концов, терять нечего.

— Видишь ли, мой мальчик, — доверительно и удрученно проговорил гончар, — в том, что я постиг, нет моей заслуги. Отвратил меня от стыда и страха мой отец, а его — дед... Я не знаю, когда это началось. Это передавалось из рода в род, как умение мять глину. Зато, не теряя времени и душевных сил на соблюдение привычных запретов, мы все досуги могли посвящать раздумью над тем, а что же может дать бесстыдство и бесстрашие, неверие и непослушание?

— И так ваш дом обрел покой? — недоверчиво спросил юноша.

— Я бы не сказал... — протянул Арун. — Я бы не сказал этого так определенно. Да, мы сыты, мы здоровы, нам легок урок, и мы умеем делать сладким и ароматным свой сытный кусок. Но молитвы ложным Богам угнетали нас задолго до того, как мы познали Богов истинных. Мы познали свет, мы приоткрыли источник его тем, кто с доверием и почтением внемлет речам сыновей моих... А другие? Скажи, не носил ли ты в горстях воду, чтобы дать напиться издыхающему от жажды детенышу кротопала? Что, вспомнил? Ты был тощеньким и белым, как высушенная рыбья косточка, и тогда в первый раз я научил тебя отличать ядовитый сок водяной полыни от зеленой краски ворсянника. А теперь я вижу, как вокруг меня пьют липучую муть, и хиреют от нее, и глаза она застит, и спины гнет... И даже ты не отваживаешься не то чтобы ближнему принести воды ключевой — сам напиться чураешься... Больно за вас. Неспокойно. Любому терпению конец приходит, и божественному — тоже. Думаешь, долго еще Нездешние Боги поверх наших голов глядеть будут, ожидаючи, что мы одумаемся?

— Боишься, значит? Перед одними Богами страх утратил, перед другими — нашел?

— А совсем без страха нельзя! Не бывает так, чтобы совсем без страха, без удержу. И гады лесные, и муракиши луговые — все чего-то боятся. Солнце утреннее и то вечернего боится. Светило заполуденное — оно ночной тьмы опасается. Это закон — без страха, как без еды.

— Ты полагаешь, учитель, что и Нездешние чего-то боятся?

— Они — Боги, им законы не писаны!

— Не Боги они, Аруп-горшечник. Но живут без страха, работают без принуждения. Спят и едят по собственной воле, не по чужой. Потому светлы они так, потому так прекрасны, что хочется принять их за Богов.

— Та-а-ак. Значит, и ты тоже обзавелся своей верой...

— Это не вера, учитель. Это — просто истина, открытая каждому глазу, каждому уху, любому разуму.

— И ты собираешься раззвонить эту истину по всему городу, Инебел?

— Я рассказал о ней тебе, мудрому и зоркому, — и ты не поверил. Как же поймут меня камнетесы и змеедои, чьи головы напечены солнцем, а руки налиты усталостью? Нет, пусть смотрят сами, день за днем, и пусть десять раз по десять рук придет сезон дождей, и тогда они поверят своим глазам, как не поверя-

ли бы моему языку. Потому что зачем здесь они, Нездешние, как не для того, чтобы показать нам: живите так же, как мы, будьте счастливы, как мы, будьте так же мудры и всемогущи!

— Солнце,— коротко резюмировал Арун.— Хоть и светлы твои волосы, а все же опасно работать, не прикрывая темени. Напекло тебе, мальчик. Приляг в тени.

Инебел, по-прежнему стоявший на коленях перед наброском будущей картины, не поднял головы, но Арун всем нутром почуял, что он улыбается. Беззлобно, почти безразлично.

Так что он сказал? Пусть десять раз по десять рук пройдет сезон дождей? Прекрасно, мой мальчик. Вот тут-то ты и прогадаешь. Благая неспешность — завет старых, Спящих Богов! И жрецы проморгают, потому что разучились торопиться, и ты, маляр, ты, мазилка суетный,— ты спохватишься, ты пойдешь нашептывать чужим ушам свою веру, да поздно будет!

Мои Боги сытые, моя вера сладкая, мы-то успеем!

Мы-то обойдем тебя, мальчик мой, а чтобы сподручнее было обходить, сделаем один шажок назад.

— Впрочем,— сказал он, по-бабьи поджимая тонкие губы,— что это я — мальчик да мальчик. Вымахал ты, Инебел, ну прямо шест перевитый, с коим жрецы на уступах пляшут. У других, я замечал, длинnота чуть не все мозги оттягивает, а у тебя — ничего, даже слушать приятно. Занятно мыслишь, небезынтересно, я бы сказал. Научил я тебя кое-чему, не зря, значит, беседовал. Напоследок предостеречь хочу: не говори никому, что открыл ты истину, будто Нездешние Боги — это вроде бы люди, как вот мы с тобой. Не истина это, а просто мысль твоя. Мыслишь ты так, понял? Потому что с истиной ты должен бы наперед всего до Закрытого Дома бежать и первому попавшемуся Неусыпному ее открыть. А за сокрытие истины, видел сам, что бывает. Сперва пляски, потом фейерверк, а всему городу — вонь до утра. Об ощущениях самого героя святожарища я уж и не говорю. Так что забудь и слово это — истина. Мелькание мыслей у тебя. Глянь-ка на небо — во что облака летучие сложились?

Инебел послушно поднял черные, отененные синяками глаза.

— Вроде колос крупяной, распушенный ветром...

— Воистину! — обрадовался Арун.— А чуть погодя глянешь, там вместо колоса червь болотный. А еще погодя — червь изогнется да в непристойное пальцесплетение и сложится, и поплывет по светлым небесам здоровенный кукиш... Никогда не видал? Ну, мало жил еще. Мало вверх глядел. Так вот, в небе — это сплетение мокрых ветров, кои в отличие от сухих не голубые, а

белые. Это каждому видно. А в голове у тебя сплетение мыслей, и, слава истинным Богам, это еще скрыть возможно. Вот и скрывай. Сейчас у тебя мысли так сплелись, завтра переплетутся этак. Никому они не видны, не нужны, не тягостны. И мне от них никакого урона нет. Моя вера от них не шатнется, не всколыхнется. И тем, кто со мной, от твоих мыслей нет убыли...

Молодой маляр все слушал и слушал, и по мере того, как певучий речитатив Аруна забирался все дальше в словесные дебри, его глаза сужались, становились жестче, недоверчивее.

— И сам ты мыслей своих не бойся, пускай себе вьются-стелются, укорот не им надобен — языку! Потому как ежели тебе язык укоротят, то уж вместе и с жизнью твоей, и не увидишь ты царства новой веры, справедливой, истинной, когда в довольстве и умственном просветлении начнем расширять наш город, когда по любви да согласию станут рожать наши жены, когда в Дом Закрытый буду брать я в подчинение не внуков да племянников худоскладных, а мужей, одаренных силой мыследеянья, ибо на них благодать Богов истинных! И тебе там место найдется, потому что в пышности и свечении постоянном должно содержать Дом служителей божьих. Вот задумал я,— доверительно, но вполголоса сообщил Арун,— от священных Уступов Молений и до начала улиц проход сделать, чтоб нога простого люда туда не ступала. А вдоль прохода изображения зверей диковинных двумя согласными рядами расположить,— у зверей туловища будут от свиньи лесной, а морды людские, и чтоб во все времена — на закате ли, на восходе — эти морды людские жевали непрестанно,— что ты на это скажешь?

Юноша безразлично промолчал.

— То-то — ничего не скажешь. Впечатляет! И волшебства никакого не надобно, говорят, под городом пещеры тянутся, оттуда и камень брали, когда Уступы возводили. Так вот туда я велю посадить преступников, на святожарище осужденных. Пусть себе день-деньской за веревки крученые дергают, а от того дерганья у зверей глиняных нижние челюсти взад-вперед двигаться будут, на манер «нечестивцев». Ты вот думаешь, зачем я тебе это говорю? А затем, что ты, маляр Инебел, мне этих зверей диковинных пострашнее распишешь, да не просто порошками водяными, а той самой смолкой несмываемой, за кою ты покрывала восьмиклеточного удостоился. Такой работы ни до тебя, ни после ни один маляр не удостаивался! А мысли твои мне ни к чему, не помешают они свиней глиняных искусно приукрашивать... А еще о погребениях: коли при жизни сытость и сладость как выс-

шее благо почитаемы будут, то и о вечном покое позаботиться не мешает, — в нем тело усопшее тоже в достатке пребывать должно; но сомнительно, истинные ли яства в вечный путь взяты будут — не достаточно ли их изображения? А коли достаточно, то коим образом начертать их...

Аруна, очевидно, несло. Он не мог остановиться, может быть, в глубине души уже отдавая себе отчет, что давно говорит лишнее; но с другой стороны, он не хотел кончать свою тираду, потому что чувствовал: этот витиеватый словесный мосток — последнее, что связывает его с бывшим учеником. И вдруг он запнулся, выпрямляясь. На глазах пораженного юноши он становился все выше и выше, впервые в жизни теряя повсеместную округлость и за счет этого вырастая, точно гад-жабоед, выпрямляющийся из жгута собственных пестрых колец при виде добычи. Следуя за хищным взглядом его сузившихся глазок, Инебел оглянулся через плечо, стараясь и в то же время страшась разглядеть то, что так преобразило Аруна.

И не заметил ничего. Обиталище привычно и беззвучно кипело повседневным мельтешением двуногих и четвероногих своих жильцов, и даже там, куда незаметно подымались его глаза, хотел он этого или нет, даже там ничего с утра не изменилось.

Но Арун вскинул прямую, как палка, руку именно туда, к заветному гнезду висячей галереи Открытого Дома, и с ужасом и омерзением Инебел увидел, что рука эта, указуя вверх, закаменела в яростной неподвижности, и шевелилось на этой руке только одно — с сухим скрежетом выползая из копчиков пальцев, стремительно росли и вытягивались вперед желтые мертвенные ногти...

— Покорствует! Покорствует... — Арун захлебывался слюной, заплевывая ошеломленного и ничего не понимающего Инебела. — Покорствует Богам ложным!

Казалось, сейчас он попрет прямо на стену, как лесной зверь-единорог, и проткнет ее сложенными в щепоть пальцами, и двинется дальше, топча зеленеющую лужайку с нездешней нежной травой...

— Уймись, горшечник, — сказал Инебел. — Что ты беснуешься? Устал человек. Устал и прилег. И ничего больше.

Под внезапной тяжестью его рук Арун присел, мгновенно обретая утраченную было округлость всех своих членов. И ноги колесом, и руки едва-едва смыкаются под выпуклым сытым животиком... Улыбочки вот только и не хватает. Вместо того губы послушно складываются в кругленькое «О».

— Устал? Так-так. Человек, значит? Все может быть... Устал и прилег, значит. Это по твоей вере. Что человек.

Он топтался на одном месте, старательно принуждая себя улыбнуться, чтобы расстаться по-прежнему, добрым учителем и послушным учеником. Но вместо умиления последним зарядом рванула ярость, — даже непонятно, как только мог получаться гадючий шип, исходящий из круглого до идиотизма ротика.

— Человек?! Не-ет, нам такой веры не надо... Не подходит нам такая вера! Спереди она жирная да мясная, как лесной кабан, а зайдешь с хвоста — и ломать нечего, все равно что кукиш срамной на ходу подрыгивает. Нет пользы с такой веры!

Бледное до синевы лицо маляра полыхнуло мгновенным румянцем, но он сдержался, и, вероятно, чтобы скрыть эту краску, наклонился и поднял корзины с глиной, небрежно брошенные в траве. Он хотел было примостить их на гончарово плечо, как вдруг в одной из корзин что-то удивленно булькнуло, корочка глины треснула, и из-под нее выплеснулся маслянистый язык страшной и запретной черной воды.

В липком вонючем болоте, откуда не доводилось выбираться ни зверю, ни человеку, в теплых ямках, откуда время от времени выбулькивают голубовато-зеленые, как вечернее солнце, пузыри, по каплям набирается эта вода. Хотя и не вода она, потому как поверх озера плавать может и с ручьями и арыками не смешивается, а течет, однако; говорят еще, что горит она негасимым пламенем, проедающим и плоть, и кость. И носить ее с дальнего болота дозволяется только семейству ядосборов, что поставляют в Храмовище зловонную ярджилу и другие дурманные травы. Обвязав себя веревками, залезают они на высокие деревья и с самых длинных ветвей, простершихся над болотом, черпают хлюпающую жижу, от которой несет гарью и падалью. И срываются вниз, когда лопаются ненадежные травяные веревки, и медленно и жутко тонут под крики и завывание семьи, повиснувшей на ветвях, — и таким же горестным и бесполезным воем отзываются синеухие обезьянки, которых, в отличие от людей, ничто не может заставить приблизиться к смрадной кромке черной топи.

Никогда не слыхал Ииебел, чтобы кто-нибудь попытался вынести из леса запретную жидкость, и не до нее ему было, и не хотелось думать, как же престарелый Арун в одиночку добыл ее с высоких ветвей — думать вообще ни о чем не хотелось, и юноша страстно желал лишь одного: прекратить эту пытку словоблудием и остаться в одиночестве перед Обителью Нездешних.

Инебел обессиленно прикрыл глаза. Скрипела трава — видно, Арун забрасывал цветами корзинку. И шорох — Арун уходил. Молча. Слава Богам.

Покачиваясь от изнеможения, Инебел медленно поднял ресницы. Вот мы и вдвоем. И нет такой меры, которой я не заплатил бы за то, чтобы сейчас остаться СОВСЕМ ВДВОЕМ, — ни твоего Обиталища, ни моего города...

Я ничего не смог подарить тебе, кроме усталости и недоумения... Но если бы я решился оставить тебе хотя бы смутное воспоминание о прикосновении моих рук, о шорохе моего голоса, разве к этому не примешался бы еще и страх? А теперь целый день, целое утро и целый вечер вдали от тебя, зная, что вместо меня подле тебя — ужас и отвращение?

Но тогда уж лучше головой в озеро... В яму с черной горючей водой.

Ты не любишь смотреть на наш город. Почему его пыль и трава, улицы и арыки неприятны тебе? Почему твой взгляд отдыхает лишь на зелени высоких деревьев — может быть, потому, что там нет людей?

Я ничего не знаю о тебе; мне мучительно, мне больно гадать, потому что представить себе твои мысли не такими, какие они есть — это все равно что нарисовать тебя в смешном и нелепом виде. Но еще много дней и ночей пройдет до той поры, когда я услышу твой голос... А пока, приходя, я буду, как нынче, заклинать тебя: не проснись! Не проснись, ты, которой я пока не посмел дать имени, ты, которой я на каждом рассвете буду оставлять по мельчайшей крупице воспоминаний, — и сегодня это будет прикосновение моих ресниц к твоим... Это будет, это будет, это будет, и снова ты не проснешься, пока я не пробужу тебя...

## 17

Цепкие, мускулистые руки Самвела легко подымали здоровый серый голыш, обкатанный ледником. Голыш ухал по каменной колоде, и аметистовая пыль при каждом ударе выпархивала из-под него зловещим кровавым облачком и обильно припудривала черную традиционную рубашку, превращая ее в сказочный карнавальный костюм.

— Привет тебе, о благородный рыцарь минеральных удобрений! — неслышно приблизившийся Наташа при каждом ударе подрагивал коленками, чтобы стряхнуть пыль с джинсов — въедливость здешнего «аметиста» была уже общеизвестна. —

Между прочим, в красном спектре тянешь на средневекового палача.

Самвел мрачно глянул на него и потянул через голову оскверненную рубашку. Откуда-то возник Васька Бессловесный и встал перед ним навытяжку.

— Это — взвесь, это — постирай, — велел ему Самвел, соответственно вручая полиэтиленовый мешочек с розовой пылью в левую конечность робота, а рубашку — в правую.

— Я бы на его месте перепутал, — скептически заметил Наташа. — Хотя бы из чувства противоречия.

— Чувство противоречия обостряется от безделья, — фыркнул Самвел. — Скупнемся?

Они побежали к бассейну, традиционно пустовавшему перед обедом. Самвел запрыгал на самом бортике, освобождаясь от узких тренировочных брюк, Натан же скинул все на бегу и теперь, лежа на поверхности воды, как бревно, глядел на забавно суетящегося друга снизу вверх.

— Богатырская мощь пехлевана в удручающе скелетообразной упаковке, — флегматично констатировал Наташа. — Свойство восточных мужиков, потрясшее европейских дам еще во времена первых крестовых походов.

Невозмутимая медлительность, с которой Наташа, в отличие от брата, отпускал свои шуточки, снижала их убойную силу практически до нуля, и тем не менее единственный представитель восточной этнической популяции мужчин почувствовал себя задетым — вероятно, его самолюбие вслед за телом начинало чувствовать себя обнаженным, и автоматическая защитная реакция сразу же делала его невосприимчивым к юмору.

— Вероятно, я произошел не от обезьяны, а от ее скелета, — сердито буркнул Самвел. — И вообще, в первый раз слышу, что в крестовые походы отправлялся слабый пол. Маркитантки там, санитарки — это еще куда ни шло, но дамы...

— Санитарки... — Наташа от возмущения выпустил изо рта струю воды, которой позавидовал бы средних размеров финвал. — Да простят твое невежество преподобные и непорочные отцы-иоанниты! Что же касается дам, то даже воинственный Ричард Львиное Сердце таскал с собой свою голубоглазую Беренгарию с полным выводком фрейлин — вероятно, в целях обеспечения комфортности эксперимента. Мне лично просто непонятно, как в таких условиях он умудрился остаться без наследника...

Самвел обрушился наконец в воду, подняв голубой фонтан — как и все восточные мужчины, он был не в ладу с водной стихией

и, несмотря на незаурядные тренерские способности Сирин, так и не научился прыгать в бассейн бесшумно и дельфиноподобно.

— Кстати, о дамах, — Наташа перевернулся на живот и медленно по-собачьи поплыл навстречу Самвелу, агрессивно задирая подбородок над водой. — Что у тебя с Кшиськой?

— Ничего, — коротко отрезал Самвел, мгновенно заливаясь пунцовой краской.

— Я тебя серьезно спрашиваю. Вот уже две недели, как ее словно подменили. То плачет, то на людей кидается... И хорошо бы — только на людей, а то еще и на стену! Так не ты?..

— Если бы я, то я сказал бы тебе: не твое дело. И все.

— Хм, — сказал Наташа и медленно ушел под воду.

Самвел окунул лицо, стараясь его остудить, и когда протер глаза, то увидел, что к бассейну неторопливо приближается Кшися. Босиком, растопыренные руки (чтоб не запачкать кисейное платьице) — в земле. Пришлось даже глаза прикрыть — сердце зашлось от этой недевичьей поступи, от этого снегурочьего свечения. Подошла, глядит своими колдовскими глазищами, которые вопреки всем законам оптики становятся черными на солнечном ярком свету.

Самвел стыдливо забарахтался, пытаясь установить собственное тело в вертикальное положение, — без своей неизменной черной рубахи он чувствовал себя абсолютно голым.

Наташина голова выпрыгнула из-под воды, точно глубинная метеомина, но экспромт с китовым фонтаном на сей раз был выдан неудачно: Наташа поперхнулся и замер.

— Ну, что уставился? — нелюбезно произнесла Кшися куда-то в пространство между двумя юношами. — Мне с Самвелом поговорить нужно. Уберись.

С некоторых пор Кшисе повиновались беспрекословно. Едва уяснив себе, что высочайшее повеление относится именно к нему, Наташа запрокинулся назад, пошел в глубину темечком вперед и вынырнул уже у противоположной кромки бассейна. Пока его шаги еще поскрипывали по крупному песку, Кшися молча и жадно разглядывала Самвела. Казалось, она в первый раз по-настоящему увидела его, словно раньше они встречались только в темноте, и теперь у нее не было полной уверенности в том, что это тот самый, нужный ей человек. А может, и не он?..

И чем дальше продолжалось это молчание, тем явственнее на ее лице отражалось разочарование: да, не он... Потом она тихонечко вздохнула, словно решаясь на вопрос, ответ на который заранее предопределен, и проговорила тихо, но отчетливо:

— Держи меня.

И сделала шаг вперед так, как будто перед нею была твердая поверхность.

Даже если бы он и угадал ее движение, он все равно не успел бы покрыть те несколько метров, которые их разделяли; но он прежде всего ничего не понял, а потом уже почувствовал, как руки и ноги его онемели и что в воде-то он не тонет просто каким-то чудом.

Но истинное чудо было совсем в другом: он отчетливо увидел, как нога Кшиси, выдвинувшаяся вперед, нащупала в воздухе невидимую поддержку; легкое тело в кисейном платье переместилось вперед вопреки всем законам разума и логики, и на какую-то одну-две секунды недвижно застыло над водой, и лишь затем дрогнуло, привычно сгруппировалось и нырнуло вниз. Почти без всплеска.

Она вынырнула почти на том же месте, подняла над водой влажное бесстрастное лицо и поплыла прочь, словно Самвела тут и в помине не было. Она не пыталась таким образом выразить невнимание или, тем паче, презрение — нет, для нее сейчас действительно никого рядом не существовало. Самвел отупело глядел, как удаляется от него гибкая фигурка, облепленная недлинным голубоватым платьем, кажущимся еще ярче в подкрашенной аквамариновой воде, как монотонно, безучастно подымаются из воды узкие руки, по которым стремительно скатываются капли, — от кисти к плечу, и все не мог решить: почудилось ему это секундное парение в воздухе, или оно действительно было, и легкая ступня стояла на невидимой опоре, одновременно надежной и шаткой, как... как мужская рука. Именно так. И он помнил инстинктивное подрагивание этой ступни, пытающейся сохранить равновесие, — и в то же время прекрасно понимал, что все это могло быть только причудой воображения, растянувшего долю секунды в десять-пятнадцать раз, как это, говорят, бывает при взрыве.

Мерные всплески воды вывели его из состояния оцепенения. Они удалялись, и чем дальше слышался их отзвук, тем резче становилось ощущение, что хлещут ему по лицу.

Он выскочил, как ошпаренный, на бортик, обежал бассейн и подоспел как раз к тому моменту, когда Кшися подняла руку, чтобы нащупать скобу и выбраться из воды. Он схватил ее за запястье и с такой силой рванул вверх, что она прямо-таки выпорхнула на бортик, словно летучая рыбка. Самвел, ошеломленный собственной резкостью, отступил на шаг, но Кшися недобро усмехнулась — пеняй на себя, раз уж сам начал, и проговорила негромко:

— Тогда так: нашу экспедицию решено свернуть. Мы постараемся улететь последними, — она сделала небольшую паузу — не для пущей убедительности, а просто еще раз пристально всмотрелась в узкое смуглое лицо. — Так вот: ты поможешь мне украсть вертолет.

— За-ачем? — только и смог сказать Самвел.

— Я остаюсь. Если захочешь, оставайся со мной.

— С тобой?!

— Нет, — как можно мягче поправилась Кшися. — Ты меня неправильно понял. Не со мной. В Та-Кемте.

— Дура, — сказал Самвел. — Истеричка. Тебя нельзя было выпускать с Большой Земли. Не думай, что я способен бежать и рассказывать обо всем Абоянцеву, но уж отправлю я тебя на «Рогнеду» сам. Если будет нужно, то связанную. Собственноручно.

— Да?

— Да. Таких, как ты, тут жгут. Медленно и живьем.

— Таких?

Она перегнулась, намотала на руку белые свои косы, так что вода побежала по руке и закапала с острепького локтя. Ну, что с ней сделать, что? И говорить-то в таком тоне бесполезно...

— Кристина... — голос его прозвучал хрипло, словно прокаркал. — Зачем тебе это, Кристина?

Он никогда не называл ее так. Наверное, она это поняла. Или просто захотелось поделиться хоть с кем-нибудь. Она выпустила свои косы, и они, расплетаясь на лету, тяжело канули вниз, до самых колен, облепленных мокрым подолом.

— «Зачем, зачем?..» — передразнила она сердито. — Кабы знала я, кабы ведала! Только ничего я не знаю, Самвелушка. Чувствую только, что я — это словно не я, а вдвое легче, вдвое сильнее — ведьма, что ли? Иной раз чудится — летать могу! И нюх. Понимаешь, нюх прорезался, как у щенка на первом снегу, когда каждый запах ну просто режет, как яркий свет, в дрожь кидает... И не то чтобы носом — всей кожей я это чую, понимаешь? Не понимаешь. И никто не поймет. Так что ты никому не рассказывай, ладно? А я не могу больше в этом аквариуме. Я к ним хочу, туда, за стенку эту проклятущую! К людям, понимаешь ты?

Отвечать было абсолютно нечего, Самвел и сам хотел туда, за стену, но туда хотели и все остальные члены экспедиции и, наверное, не менее горячо; но говорить сейчас об этом Кшисе было небезопасно. Поэтому он молчал, ожидая, что ситуация разрешится сама собой, и спасение действительно пришло, на сей раз — в виде Гамалея, тащившего за собой на немыслимой шлейке

несчастного бентама, разжиревшего до полной потери самостоятельного передвижения — вот уже неделю его прогуливали силком все попеременно.

Гамалей, по-утиному шлепающий впереди, и осевший до земли бентам шли в ногу.

— Пошто-о неистово браии-и-ишься, Брунгильда гневная моя? — на асболютно неопознаваемый мотив пропел Гамалей, славившийся своей способностью измышлять как стихотворные, так и музыкальные цитаты.

— В Брунгильды я экстерьером ие вышла, — отрезала Кшися и пошла прочь, гадливо сторонясь представителя пернатого царства, хотя циклопические куриные блохи уже давным-давно были изничтожены дотошной Аделаидой.

— Через десять минут непосредственная трансляция! — чуть ли ие просящим тоном крикнул ей в спину Гамалей.

— Потом, — с совершенно непередаваемой интонацией бросила через плечо Кшися.

— То есть как это — потом? — Гамалей постарался вложить в свой возглас необходимый, по его мнению, начальнический гнев.

Кшися соблаговолила остановиться.

— То есть так, как это принято в нашей экспедиции: КАК-НИБУДЬ ПОТОМ. Эти слова нужно было бы написать на нашем Колизее. Зажечь неоновыми буквами. Вытатуировать у каждого из нас на лбу. Это же наш девиз, наше кредо!

— Как она говорит! Светопреставление! Римский сенат! — зашелся Гамалей.

— В том-то и беда, что я говорю. Что вы говорите. Что мы говорим... Говорим, говорим, говорим... Мудро, аргументированно, упоенно. Но вот им, за стеной, нас не слышно — нас только видно. Колония беззвучных самодовольных болтунов. Сомневаюсь, что они видят разницу между нами и хотя бы этими бентамками. Да они больше и не смотрят на нас! Мы стали им неинтересны.

— Но, позвольте, Кристина, что значит — ничего не делаем? Вот вы, например, и Самвел, присутствующий здесь, так сказать, неглиже в рабочее время, блестяще доказали, что при самой примитивной обработке почвы и внесении прямо-таки валяющихся на поверхности минеральных удобрений можно получать впятеро больший урожай. Впятеро! Это значит, возможный демографический взрыв, пугающий кое-кого на базе, практически не страшен...

— Ничего это не доказывает, — буркнул Самвел, пребывающий неглиже в рабочее время, — потому что Кшися права: если

сейчас они не хотят на нас смотреть, то где гарантия, что они будут нас слушать? Где гарантия?! — выкрикнул он и сразу осекся, так нелепо прозвучал его гортанный крик здесь, над пасторальной лужайкой с буколическими овечками.

— Воистину, — Кшися соблаговолила повернуть свою головку на лебединой шейке. — Где гарантия, что они не спустят ваши аметистовые удобрения в свой первобытный клозет? Обдумайте и этот вариант. КАК-НИБУДЬ ПОТОМ.

И удалилась в сторону овчарни.

— Какова! — возопил Гамалей. — Другая на ее месте в этой ситуации выглядела бы мокрой курой, а эта — королева! Нет, юноша, вы ничего не смыслите в женщинах. Абсолютно. А женщины ее страны, а точнее — ее племени, когда-то считались самыми прекрасными в Европе. Вы припомните, месяца три назад она была белым инкубаторным цыпленком, который жалобно попискивал по поводу котят и цветочков. А сейчас? Я, право, уже не знаю, кого и слушаться в нашей колонии — Салтана или ее?

«Болтливый, самодовольный бентам, — со злостью думал Самвел, уставясь на свои волосатые, уже обсохшие ноги. — Она же мечется, ищет, пытается что-то — или кого-то? — распознать. И прячется за свою горделивую насмешливость. Этому она действительно научилась. И я ничего не могу для нее сделать, потому что она пристально всматривалась в меня — и не находила того, что ей нужно. Да и знает ли она, что это такое?..»

— Я еще немного погляжу на вас, молодое поколение, и если так будет продолжаться, то сам примусь за воспитание этой строптивой особы. Вот так, юноша! А теперь нас ждут в просмотровом зале. Сейчас я отведу на место этого Пантагрюэля, а вы сделайте милость, приведите Кристину.

Внутренний просмотровый зал, изогнутый, как и все помещения, укрытые от внимания аборигенов, был расположен вдоль вертолетного колодца и пользовался особой нелюбовью всех обитателей Колизея не столько из-за своей нелепой формы, сколько благодаря тускло-серой обивке стен, за которую Диоскуры прозвали его «ведром». Трансляция из кемитского города непрерывно шла по пятнадцати каналам, но обычно здесь собирались после обеда, а в плохую погоду — и после ужина.

Сейчас в полутемном зале сидели пятеро — Абоянцев просил строго следить за тем, чтобы в обозримой из города территории колонии всегда находилось не меньше половины землян.

Гамалей присел рядом с Сирин. Перевода, как правило, теперь не делали, но в отсутствие Абоянцева не скупились на комментарии. Сейчас как раз начальник экспедиции отсутствовал.

По экрану метался столб дыма. Изображение было объемным и настолько реальным, что казалось — в зале пахнет паленой свининой. Кемит в коротеньком до неприличия переднике апатично похлопывал по источнику дыма тяжелой кипарисовой веткой. От каждого удара дым на мгновение прерывал свое восхождение вверх, и в образовавшемся разрыве лилового столба просматривался громадный свежеободранный хвост мясного ящера, истекающий янтарным жиром, потрескивающим на углях.

— Студиозусы из Гриппича передают · отменная закусь под пиво, — подал голос от пульта Алексаша. — Светлое, я имею в виду.

— Твоих студиозусов бы в эту коптильню, — отозвалась Макася. — Живенько пропал бы аппетит.

— Действительно, весьма неаппетитно, — брезгливо заметил Гамалей. — Маэстро, смените кадр!

Алексаша, не препираясь, щелкнул переключателем — пошла информация по следующему каналу. Сушильный двор. Почти всю площадь занимает глиняная ровная поверхность, на которой сушится не то пшеница, не то очень крупное просо. Несколько женщин, согбенных и нахохлившихся, точно серые цапли, бродили по кучам зерна и ворошили его тощими, фантастически длинными руками с растопыренными перепончатыми пальцами.

— Ведь сколько дней подряд Васька Бессловесный демонстрировал им грабли! Все псу под хвост! — возмутилась Макася. — Вот долдоихи-то, господи прости!

— Лихо набираете разговорную терминологию, любезная Мария Поликарповна! — восхитился неугомонный Гамалей. — Боюсь только, что в кемитском языке не найдется достаточно сочных эквивалентов.

Сзади чмокнула дверь — вошел Самвел и пристроился с краю. Он был один.

— Алексаша, смени кадр, — брюзгливым тоном потребовал Гамалей.

— Я вам даю ближайшую к Колизею площадку, примирительно пообещал Алексаша. — Приучаться пора — когда стена прояснится, это у нас перед самым носом будет.

Свежерасписанный забор вызвал неизменное восхищение неподдельностью своего примитивизма.

— Пиросмани! — вырвалось у Самвела. — Какая жалость, что в Та-Кемте не придумали еще вывесок!

— По-моему, эти две мимоги посередке все портят, а, Сириписан? — Гамалей с удовольствием наклонялся к ее плечу — здесь, в полумраке просмотрового зала, пестрота ее одеяния теряла свою

неприемлемость для европейского глаза, а внимательная сосредоточенность, исключающая лошадиную улыбку, делала Сирин Акао бесповоротно неотразимой.

Как истинный эпикуреец, Гамалей шалел от каждой привлекательной женщины и, как законченный холерик, мгновенно утешался при каждой неудаче.

Сирин долго и старательно разглядывала экран, прежде чем решилась высказать свое мнение с присущей ей педантичностью:

— Фреска представляет собой разностилевой триптих. Боковые части выполнены в традиционно-символической примитивной манере, которая не представляется мне восхитительной, извините. Центральный, заметно суженный фрагмент, будь он обнаружен на Земле, мог быть отнесен к сиенской школе первой половины четырнадцатого века. Композиционная неуравновешенность, диспропорция...

Она замолчала, и все невольно обернулись, следуя ее взгляду. Так и есть — на пороге стояла Аделаида.

Какая-то не такая Аделаида.

— Что-нибудь случилось, доктор?

Она медленно покачала головой. После яркого света, наполнявшего вертолетный колодец, она никак не могла кого-то найти среди зрителей.

— Вам Абоянцева? — не унимался галантный Гамачей.

Она кивнула и тут же покачала головой — опять-таки медленно, единым плавным движением, словно нарисовала подбородком латинское «Т».

— Тогда посидите с нами!

Теперь подбородок чертил в воздухе одно тире, единое для всех алфавитов.

— Завтра кровь... — протянула она, по своему обыкновению не кончая фразу, и исчезла за дверью.

— В переводе на общеупотребительный это значит: кто завтра не сдаст на анализ кровь, будет иметь дело с высоким начальством. И грозным притом. Всем ясно? Поехали дальше. Так на чем мы остановились?

— На том, что в Та-Кемте нет вывесок.

— Это не вывеска, Самвел-сан, — кротко заметила Сирии. — Это автопортрет.

Все уставились на экран с таким недоумением, словно на кемитском заборе была только что обнаружена фреска Рафаэля.

— А до сих пор мы когда-нибудь встречались тут с автопортретами? — спросил в пространство Гамалей.

— Никогда, — решительно отрезал Йох, самый молчаливый из всех — на просмотрах его голоса ни разу не было слышно. — Впрочем, с портретами — тоже.

Йох был инженером по защитной аппаратуре, и пристального внимания к портретной живописи никто не мог в нем предполагать.

— Кто же второй — я имею в виду женскую фигуру, извините? — настаивала Сирин, до сих пор считавшаяся неоспоримым авторитетом в области изобразительного искусства.

— Новая жрица, — угрюмо изрек Йох. — Вернее, новая судомойка в Закрытом Доме.

Йох ужасно не любил, когда к нему обращались с расспросами. Замкнутый был человек, но дело свое знал в совершенстве и теперь, похоже, жалел, что выскочил, как мальчишка, со своей никчемной наблюдательностью.

— Может, вернемся в сферу производства? — предложил Алексаша, тем временем инспектировавший все пятнадцать маленьких экраничков общего пульта.

— Погоди, погоди, — остановил его Гамалей. — Выходит, мы нащупали наконец область, в которой можем предположить наше влияние? Ежели до сих пор подобного не наблюдалось?..

— А почему бы и не совпадение, простите? — кисло сморщилась Сирин.

— Тут ваш Веласкес сцепился с каким-то престарелым рахитом, — радостно сообщил Алексаша и, не дожидаясь распоряжений, сдвинул кадр метров на пятьдесят вправо, так что на экране замаячили фигуры долговязого художника, читающего гневную отповедь какому-то благодушному колобку.

«Колобок» ухмылялся гнусно и двусмысленно.

— Маэстро, звук! — кинул через плечо Гамалей.

Алексаша крутанул гетеродин, и из скрытых динамиков полилась певучая кемитская скороговорка:

«Тоже мне плод приманчивый — Закрытый Дом! Да я в него не войду, хоть вели скокам меня волоком волочить! Закрытый Дом. Да меня с души воротит, как подумаю, кем ты его населить хочешь! Скоты тупоглазые...» — «Зато отменные мыслеДеи. А тонкость да изощренность души — она не очень-то с преданностью согласуется. Но тебе-то я все позволю. Изощряйся. Только рисуй, что велю». — «Я рисую, что хочу». — «Вижу, вижу. Нарисовал. Два гада блеклых. А семья вся за худой урок впроголодь мается!» — «Ты жалеешь мою семью, Арун?»

«Колобок» гаденько захихикал.

— Такой пожалеет... — грузно, всем телом вздохнул Йох.

«А ты все время добиваешься, чтобы я перед тобой, маляр, дурачком-словоблудом оказался? Нет. Я не жалею твою семью. Я ее не воспитывал, и нечего мне о ней печься. Я о себе сокрушаюсь. Что не со мной ты. Что слеп ты и недоучен. Думаешь, если ты останешься в стороне, не поможешь мне в установлении истинной веры, так и будешь жить, как вздумается? Не-ет, солнышко мое голубое-вечернее. Мы устанавливаем справедливость, даем зерно — за работу, жен — по выбору сердца, детей — по силе рук, могущих их прокормить. Но за все это нужно подчиняться, подчиняться тем, кого по силе мыследействия поставлю я над всеми. За все платить надо, мой милый!»

Наступила тягучая пауза.

— А что, пузан неплохо вдалбливает этому анархисту начала диалектики! — шумно, как всегда, выразил свое восхищение Гамалеи. — Кажется, мы дождались-таки качественного скачка в социальном развитии этих сонь. Знаменательно!..

— Нет, — тихо подал голос из своего угла разговорившийся сегодня Йох. — Он не диалектик. Он просто фашист. И мы еще получим возможность в этом убедиться, когда он начнет не на словах, а на деле устанавливать свою веру.

— Когда же? — запальчиво крикнул Алексаша.

— Как-нибудь потом. КАК-НИБУДЬ ПОТОМ! — голос принадлежал Самвелу, но интонации были несомненно Кшисины. — Как-нибудь, когда они передушат, перетопят, пережарят друг друга, а мы все будем почесываться, со стороны глядючи, — то ли это занести в графу прогресса, то ли налицо реакция...

— Да погодите вы! — крикнул Алексаша. — Они еще не договорились!

Но они договорились.

«Я не выдам тебя и не буду мешать тебе, — тихо, очень тихо проговорил бледный, изможденный юноша. — Но я не подчинюсь тебе, горшечник».

— Тоже мне борец! — горестно запричитала Макася. — Подкормить бы его, а то не ровен час — ветром сдует!

— Да, типичный астеник, — согласился Гамалей. — А разругались, похоже, они на всю жизнь.

По лицу художника не было заметно, что произошло нечто катастрофическое: он спокойно нагибался, срывая какие-то колосья и складывая из них ровную метелочку. Обвязал травинкой, попробовал на ладонь; вероятно, мягкость или жесткость изделия удовлетворила его, потому что он поднял кувшинчик с темной

жижицей, обмакнул туда травяную кисть и широкими, плавными движениями начал наносить на белую поверхность ограды незатейливый орнамент, состоящий из полукругов и стрел.

— Простите, а кто-нибудь может припомнить, пользовался ли раньше этот художник такими кистями? — спросила вдруг Сирин.

— Это самоочевидно, — пробасил Гамалей. — Иначе он просто не успевал бы расписывать такие значительные плоскости. Алексаша, ты все-таки держи в кадре престарелого оратора — за ним интересно последить — как-никак, лидер оппозиции... Так вот, Сирин-сан, мы решительно заблуждаемся, считая, что кемиты в своем развитии не дошли до создания орудий труда. Неверно! Они стали на этот путь, достигли определенных результатов, и лишь потом, убегая от надвигающихся ледников и целыми городами переселяясь в более жаркие, экваториальные области, они свернули с прямого пути на тупиковую ветвь. Когда-нибудь потом, когда мы сможем собственноручно покопаться на свалках этого города, я убежден, что мы найдем как минимум обломки топоров, рычагов и блоков — иначе не могла быть возведена эта пирамида. Кстати, только что начавшиеся раскопки заброшенных городов уже дали несколько ножей, скребков и иголок. Мы перед у-ди-вительнейшими открытиями, друзья мои... О, наш оратор, кажется, готов вернуться и продлить переговоры. Во всяком случае, сомнения, гнетущие его, слишком явственно отражаются на его чрезвычайно выразительной физиономии...

Скрытый передатчик (один из полутора десятков, заброшенных в город) давал сравнительно узкий сектор обзора; следуя просьбе Гамалея, Алексаша направил внимание камеры на болтливого старичка, который уходил, переваливаясь с боку на бок, словно селезень, в довершение сходства губы его подергивались — он не то беззвучно шипел, не то покрякивал. Все следили за ним с невольной улыбкой: может быть, этот «колобок» и призван был сыграть ведущую роль в социальном прогрессе Та-Кемта, но со стороны он выглядел более чем забавно. Последняя фраза Гамалея комментировала следующий факт: дойдя до начала одной из радиальных улиц, старичок обернулся. Художник и его новая фреска уже находились за кадром, но мимика старичка могла относиться только к юноше — больше ведь никого из кемитов за городской чертой не наблюдалось. «Колобок» оглянулся, и лицо его приняло не то чтобы изумленное, а прямо-таки какое-то отрешенное выражение: мол, это уже свыше всяких границ разумного! И, мол, когда Боги хотят погубить...

— Тоже мне клоун, — неодобрительно произнесла Макася. — И чего это он кривляется? Зрителей-то кот наплакал, две голубые жабки на припеке...

Макася ошиблась. По улице легким синхронным скоком спускалась шестерка не то гонцов, не то стражников — обитатели Колизея до сих пор еще не разобрались точно во всем многообразии функций этого сектора строений (а их в общей сложности насчитывалось около десятка во всему городу), и, как ни странно, в их семьях, как по заказу, преобладали мальчики. Впрочем, Аделаида утверждала, что генетическое программирование тут ни при чем, а загадка «маскулинизации» подобных семейств объясняется подменой новорожденных.

«Колобок», до сих пор вертевший головой, так что его подбородок описывал в воздухе идеальные окружности, вдруг втянул голову в плечи, разинул ротик, вроде бы собираясь крикнуть, но потом еще неожиданнее присел, одной рукой схватился за живот, ласкающим жестом обнимая его снизу, а другой зажал себе рот. Шестерка легконогих бегунов в одних набедренных повязках поравнялась с ним, шесть голов, как по команде, сделали резкий поворот в его сторону, затем так же согласно вздернулись вверх, возвращаясь в исходное положение. Они напоминали косяк птиц, слаженно выполняющих одновременные маневры. А еще больше походили на роботов.

— Почему он струсил? — брезгливо проговорила Сирин.

— Потому что болтается в неположенном месте в рабочее время, — раздраженно отрезал Алексаша. — Я вам лучше прядильный двор покажу. Сколько дней у нас уже работает станок? Семь? И все псу под хвост, как справедливо выражается Мария Поликарповна. Они даже ие удосужились взглянуть в нашу сторону.

Действительно, с момента пуска в эксплуатацию ткацкого станка прошло около недели. Когда после необъяснимого происшествия с Кшисей база категорически запретила снижать даже на ночь защитную стену, пришлось срочно отказываться от проекта ветряной мельницы — какой уж тут ветер внутри стакана со сто пятидесятиметровыми стенками! Меткаф тут же предложил ветряную мельницу заменить более компактной ручной, а из остатков древесины соорудить большой ткацкий станок. Все женщины, кроме Аделаиды, проявили врожденные навыки и из пуховых метелочек, серебрящихся в низинах вокруг озер, напряли множество веретен тонких и толстых ниток, воссоздав в сем процессе двор королевы Джиневры. На станке, ко всеобщему изумлению, наибольшего совершенства достиг Меткаф, и Колизей обогатился

множеством пестротканых половиков. Когда пошла более тонкая ткань, Сирин тут же приспособила целый кусок себе на сари, а Гамалей щеголял в подобии сенаторской тоги с пурпурной каймой.

Земляне самозабвенно предавались сему изысканному хобби в рабочее время и вне его, но сонные кемиты упорно продолжали зачищать тростниковые стебли, что сейчас и видно было на экране, а затем сплетать их при помощи своих омерзительных пауков.

— У меня предложение партизанского характера, — подала голос Макася. — А что, если ночью перекинуть один из наших половиков через степь? Недаром говорят, что лучше один раз пощупать, чем сто раз увидеть. К тому же клетчатая «шотландка» у них, похоже, в моде...

— Люди добрые, — вдруг безмерно удивленным тоном вскрикнул Алексаша, обернувшийся к маленьким экранчикам мониторов. — А художника-то того... волокут.

Он был так ошеломлен, что забыл даже переключить кадр, и на большом экране по-прежнему с молниеносной быстротой мелькали плоские, до блеска отполированные когти, обдиравшие зеленую кожицу с тростниковых стеблей.

Йох подскочил к пульту и с невероятной для его комплекции резвостью ударил кулаком по клавише — на экране засветилась тусклым желтоватым светом глинистая дорога, по которой шестеро стражников без особой натуги волочили худое тело. Похоже было, что строптивый художник навсегда потерял способность к сопротивлению, — во всяком случае на лицах шестерки, тянувшей его за руки, отражались удовлетворение и полнейшая безмятежность.

— А ведь это пора прекратить, — подымаясь и заслоняя собой экран, зарокотал Гамалей. — Среди бела дня, ни с того ни с сего... Пора, земляне, пора. Я иду говорить с «Рогнедой».

И он направился к выходу, покачивая головой: какое счастье, что Кшися-таки не явилась на просмотр!

— А что вы разволновались? — вскакивая и окончательно заслоняя экран, закричал Самвел. — Вы еще успеете. Вы еще вмешаетесь. Как-нибудь потом. КАК-НИБУДЬ ПОТОМ!

Но Гамалей уже не слышал его. Он мчался по внутренним лесенкам и галереям, разыскивая Абоянцева, чтобы наконец-то решительно переговорить с «Рогнедой». Но в этих поисках его опередила Аделаида.

Она нашла начальника экспедиции возле курятника. Он с задумчивым ужасом созерцал полукилограммовые яйца — про-

дукт молниеносной мутации класса пернатых. Осторожно переступая через известковые кляксы величиной с глубокую тарелку, Аделаида приблизилась к осиротелому заборчику, на который уже давно никто был не в силах взлететь, и выпрямилась, набирая в легкие побольше воздуха. Обернувшийся к ней Абоянцев с тоской вспомнил те лучшие времена, когда врач напоминала ему сначала свежую, а затем вяленую рыбу: сейчас Аделаида являла собой как минимум окаменелого кистепера, извлеченного из отложений юрского периода.

— Ну, что у вас еще?.. — проговорил он, не в силах переключиться с проблемы куриного гигантизма на общечеловеческие. — Вы насчет анализа крови? Утром приду непременно, а по территории уже объявлено.

— Я только что взяла кровь у Кристины...

— Ну и что? — раздраженно спросил Абоянцев, зная манеру Аделаиды полагаться на сообразительность собеседника.

— Ничего. Ровным счетом ничего. Только она беременна.

## 18

— А, а-а, а-а, а!

Тук! Туки-туки, тук!

Ноги, ноги, ноги. От каждого шлепка босой ступни — всплеск удушливого асфальтового запаха. Глухие удары ритуальных шестов о мягкую до странности плоскость платформы. Тук, туки-тук! Точно сотни кулаков бьют по пальмовым орехам, и каждый орех — это его голова. Крак! Крак!

Осторожно-осторожно, чтобы не привлечь внимание, он поворачивает голову. Щеку, разбитую в кровь, когда шмякнули его в обломки хоронушки, снова сводит от боли — асфальтовая корка на уступе шершава и ядовита. А ведь снизу кажется, что пирамида вся сложена из камня... Но это уже неважно.

Он напрасно осторожничает: вокруг него мельтешит пестрая суета священного танца, ноги одной плясуньи топчутся у самого лица, время от времени наступая ему на разметавшиеся волосы. На какое-то время эти ноги заслоняют от него весь вечерний мир — странные ноги, ленивые, но напряженные, покрытые гусиной кожей... Привычное, до смешного ненужное больше любопытство художника заставляет Инебела поднять ресницы: да, лицо, оттененное глиняными красками, тоже напряжено, глаза пугливо косят вниз. Ах вот оно что: жрецы, как и все простые жители города, тоже боятся высоты. А снизу не догадаешься... Но и это теперь неважно.

Море голов внизу, на площади — неразличимо одинаковых, мерно колышащихся, равномерно отсеребренных вечерним солнцем, словно залитых прозрачным лаком. Безмятежная пустота сбегающей вниз дороги. Почти сомкнувшиеся над ней купы деревьев в окраинных садах. Глухая, влажная теплынь загородного луга. И только за всем этим — серебряный колокол Обиталища Нездешних Богов.

А ведь он был там, дышал этим мерцающим воздухом, взбегал по вьющейся, как земляничный стебелек, лесенке; он был там, и он был таким, как они — нездешние люди, и в своем всемогуществе, в ослеплении своим негаданным счастьем он и представить себе не мог, что наступит завтрашний день, когда всего этого уже не будет.

Останется воспоминание, острое до бездыханности, до ночной черноты во всем теле; останется чуть тлеющая, ночь от ночи убывающая надежда: а вдруг?..

И только.

А сейчас не было уже и этого, не было ни сказочности единожды сбывшегося, ни горести неповторимого. Было одно, одно на всем свете: голубой квадратик света средь темного пояса висячих гнезд, из коих слеплено Обиталище Нездешних.

Сияющий голубой осколок — вся его оставшаяся жизнь.

Глухой стук шестов и пяток сливается в непрерывную дробь, жрицы с деловитыми лицами и пугливыми глазами кружатся все быстрее, быстрее и наконец с облегчением опускаются на колени. Частенько приходится плясать на Уступах в последнее время. И кто бы мог подумать, что отсюда, с расстояния в одну вытянутую руку, на этих юных и сытых ликах не разглядишь ни священного экстаза, ни просто боголепного усердия... Впрочем, и это уже неважно.

Кто-то подходит сзади, подхватывает под руки, так что костяные пальцы впиваются в бока. Двое. Этих двоих он с легкостью раскидал бы, но навалятся четверо, десятеро — и тогда неминуче сть удара, от которого потухнет взгляд, а вместе с ним — безмятежный голубой светлячок, нежно теплящийся среди черных неосвещенных гнезд... Толпа снизу затихает. Только сейчас до него доходит, что, оказывается, внизу тоже топотали, прихлопывали, сдержанно гудели. Теперь — тишина. А ведь если бы каждому, кто там, внизу, по хорошему шесту в руки, да на конец шеста здоровый каменный клин, то и мыследейства никакого не надобно, и горючей воды Аруповой — не то чтобы десятерых, в один вечер разнесли бы и Закрытый Дом со всеми жрецами, и

Уступы раскрошили бы к свиньям болотным... Только раньше об этом думать следовало. Теперь и это неважно.

Расслабленное, обессиленное бессонными ночами тело молодого художника было не слишком тяжело, но жрецы что-то притомились, и острые ребра ступеней уже не так резво поддают под спину. Жрица с чашей, поднятой над головой, не успевает замедлить шаг и почти наступает на ноги Инебела, волочащиеся со ступеньки на ступеньку. Он невольно вздрагивает, и взгляд его перемещается из темной дали сюда, на плиты, огражденные от темноты полыхающими чашами с огненной водой.

Упокойное питье! Как он мог забыть?

Этот жгучий, зловонный настой насильно вольют ему в горло, и прежде, чем дым от жертвенного зерна отгородит его от всего мира, он впадет в милосердное беспамятство, дарующее осужденному избавление и от последнего страха, и от последнего крика, и от последней муки.

Страха нет, муку он перетерпит — недолго, недостойного крика он себе не позволит.

Потому что с ним до смертного мига останется последнее счастье — далекий свет ее голубого, вечернего гнезда.

Он не видит, сколько еще ступеней осталось до вершины, он торопится — собирает в узкий луч всю свою волю, осторожно и тщательно отделяет питье от стенок чаши и мутным, омерзительным комом поднимает вверх, выталкивает в сторону и только там отпускает, чувствуя всей кожей лица, как липкая жидкость растекается по боковым граням Уступов. Все. Не заметили? Нет, не похоже. И жрица, и факелоносцы глядят только вниз, скованные собственным страхом.

Успевает он как раз вовремя: его хорошенько встряхивают и ставят на ноги, но не отпускают — не из опасения, что он попытается бежать, этого еще никому из осужденных в голову не приходило, а просто потому, что он может не устоять на ногах и покатиться вниз, и тогда втаскивай его снова, надсаживай горб, когда по ту сторону Уступов, в тенистом дворике Закрытого Дома уже расстелены едальные циновки, и соуса в закрытых горшочках подвешены на плетеных арочках — стынут...

Но осужденный-то нынче попался покладистый, даром что мазила заборный, а дело свое знает, все бы такие были: чужие руки с себя стряхнул, станом распрямился, сам чашу с питьем принял и вроде бы пьет благолепно, только вот глазами вдаль зыркает, на поганое Обиталище, надо полагать, но это ничего, напоследок дозволяется...

Опустевшая чаша катится вниз, приглушенно шлепаясь на асфальтовое покрытие ступеней, потом вдруг раздается жирный всплеск — и одним коптящим огнем становится меньше на Уступах молений: чаше посчастливилось угодить прямо в бадью с огненной водой. Где-то там, внизу, возникает легкая суета, но старейшие, тыча молодежь шестами в зады и ребра, восстанавливают порядок: действительно, скорее бы кончать, а чашу и завтра выудить можно. Неважно это.

Все, все уже неважно. Одно только и осталось: дальний негасимый свет, в котором растворилась и белизна ее кожи, и голубой лоскут одеяния, и снежный блеск ее живых, доверчивых волос... Все это было дано ему полной мерой — на, смотри, пока не заслезятся глаза, пока не опустятся сами собой ресницы; но череда ночей, в которых он был обречен на бессильное созерцание, представлялась ему тогда лишь томительной мукой. Но сегодня все вдруг надломилось, понеслось, закрутилось быстрее и быстрее, словно в озерном омуте, откуда один выход — бездонная щель, в которую затягивает воду вместе со всем, что нечаянно заносит иа середину озера; так же и с ним — ничего ему сейчас было не надобно, только бы глядеть и глядеть, и он так и глядел, словно этот голубой квадратик был для него не только единственным светом, но и единственным источником воздуха. Но время его пришло к концу, и тело, потерявшее способность чувствовать, не заметило чужих рук, вцепившихся в плечи и швырнувших осужденного прямо на мешки с чем-то мягким и упругим, точно обыкновенная, далеко не жертвенная трава; стремительно опрокидываясь, мелькнул перед глазами город с вечерними темнеющими садами, пепельно мерцающим колоколом вдали и сбегающей вниз пустынной дорогой, по которой так просто дойти от подножия Уступов до самого Обиталища... Все это исчезло, и осталось одно только небо, готовое почернеть, растворить в себе вечернее солнце, которое круглым голубым окошечком засветилось вверху,— как он раньше не замечал, что светятся они одинаково... Затрещала, загораясь, сухая трава, потянуло удушливой сладостью, послегрозовой луговой прелью... О чем он думает, Спящие Боги? Ведь это последний глоток воздуха, и осталось только повторять имя, как заклинание, как молитву, но он никогда не мог представить себе, каким же именем ее назвать, и сейчас готов был уже на любое, но это любое почему-то не приходило в голову, а наперекор всему думалось о чем-то нелепом, совсем ненужном в этот миг,— вот, например, о том, что на четком диске голубого, нездешним светом мерцающего

вечернего солнца его обостренный взгляд четко различает черную точку. И как это прыгучая пчела смогла заскочить так высоко?.. Боги, мстительные, проклятые Спящие Боги, истинные или ложные, сделайте одно: прогоните эти мысли! Потому что осталось совсем немного, да какое там немного — ничего не осталось, а имя так и не найдено, не придумано...

Тяжелые клубы травяного дыма навалились раньше, чем подступила боль, и забили горло и грудь, и с этим ненайденным, но готовым вот-вот открыться именем Инебел провалился в бездонную, точно омут, пустоту.

## 19

— Сирин заказала кассету с Симоне Мартини, Маргаритоне и еще с кем-то там допотопным, — ворчливо проговорил Гамалей. — Недели так через две пришлют с базы. Только, я думаю, ни к чему.

Они стояли посреди «дивана», вперившись в девственно чистый экранчик иллюстрационного проектора, — Гамалей в неизменной сенаторской тоге и сандалетах из крокодиловой кожи, обхвативший себя за плечи и гулко похлопывающий по собственным лопаткам, и Абоянцев с непримиримо выставленной вперед бородкой.

— Я тоже полагаю — ни к чему. Мы настолько неспециалисты в живописи...

— Да кабы и были ими, что теперь вернешь? У меня до сих пор такое чувство, словно это был один из наших...

— М-да, — сказал Абоянцев. — Фактически так оно и есть — ведь он первый и, пожалуй, единственный, на чьей деятельности мы можем проследить влияние привнесенного фактора...

— Ох, — у Гамалея опустились руки, и он даже проследил, как они покачиваются — волосатые, мускулистые, так ничего и не сделавшие... — И педант же вы все-таки, Салтан: привнесенный фактор! Да один наш Сэр Найджел, запущенный с надлежащей скоростью, раскидал бы там всю эту жреческую шушеру и выцарапал этого парня! И безо всяких там лазеров и десинторов, уверяю вас!

— Я не педант, — Абоянцев еще выше вздернул свою бородку-лопаточку. — Я не педант, но и вы никогда не решились бы на подобную авантюру. Зачем же вы меня пригласили? Чтобы обсудить инструкции по контактам? Нет? Я рад, батенька. И могу обрадовать вас: педантом я все-таки стану. Когда мы все выйдем отсюда в город.

«Как-нибудь потом!» — чуть было не крикнул Гамалей, но сдержался и вместо этого сказал:

— Мы все? Разве вы не отправляете... Левандовскую? — и тут же мелькнуло: все рехнулись в этой полупрозрачной тюряге, и я в том числе, если вдруг язык не повернулся назвать Кшиську по имени. Бывшая лаборантка биосектора Левандовская...

Абоянцев развернулся было, хмуря рыжевато-седые бровки — утечка информации, как и всякий непорядок на вверенной ему территории, раздражали его несказанно, но вдруг обмяк, махнул рукой и пробормотал:

— Ах, да, вы ведь все уже знаете...

Знали все, кроме самой Кшиси. Весть о том, что Большая Земля потребовала ее немедленного возвращения, облетела Колизей стремительно и непостижимо. Абоянцев не нашелся, как возразить, да и кто возразил бы в сложившейся ситуации? Не возразив, он решил и не откладывать — сообщить ей об этом после ужина, отправить ночью, как только сядет луна.

— Так вы, значит, в курсе,— севшим голосом повторил Абоянцев и вдруг снова выпрямился, словно какое-то решение выкристаллизовалось у него не в мозгу, а в позвоночнике.— Ну, раз вы все в курсе и, естественно, в миноре, тогда так: завтра с десяти ноль-ноль я той властью, которая дана мне на случай чрезвычайных обстоятельств, объявляю досрочный переход на вторую ступень нашей экспедиционной программы: прозрачность стены обеспечивается с двух сторон. Начинаем вживаться в обстановку города. Выход за стену, естественно, произойдет тоже ранее намеченного срока,— он перевел дух, и Гамалей подумал, что так волноваться он не будет, наверное, и тогда, когда сообщит все это остальным экспедиционникам.— И не говорите Кристине — об этом пусть она не знает...

Оба они вскинули головы и посмотрели друг на друга — странная мысль пришла одновременно на ум обоим:

— А вообще, знает ли она?..

Они ошеломленно смотрели друг на друга. А действительно, никто с Кшисей на эту тему не говорил, да и не мог говорить, неприкосновенность личности — самое святое дело даже в супердальних экспедициях. Разве кто попросту, по-женски удостоился девичьей откровенности? Тоже некому. По условию, заданному еще на Большой Земле, они являли собой пестрейший конгломерат тщательно хранимых индивидуальностей, и ни восточная принцесса Сирин, ни душечка-дурнушечка Мария Поликарповна, ни вяленая рыба Аделаида в наперсницы Кшисе явно не прохо-

дили. Скорее уж она могла поделиться с кем-нибудь из мальчишек, но с кем? Гамалей нахмурился, припоминая... Нет. Все последнее время мужское население извелось в бессильных попытках найти проклятущую «формулу контакта», а белейшая Кристина плавала средь них, как шаровая молния в толпе, готовая то ли взорваться, то ли бесшумно кануть в антимир — от нее и шарахались соответственно. Нет, и с мальчишками она не говорила. Тем более... Тем более что кто-то из них и был... А ведь страшно, она вся светится от счастья, но она одна. Если бы не сообщение Аделаиды, то он мог бы поклясться, что интуиция эпикурейца усматривает здесь крамолу платонической любви.

— Черт-те что,— растерянно пробормотал он,— а ведь и вправду, может, она и не догадывается...

— Да нет, нет,— замахал руками Абоянцев,— как это — не догадывается? Так не бывает.

— Бывает... Бывает, Салтан. Жизнь, понимаете ли, такая стервозная штука, что пока чешешься — быть или не быть, допускать или не допускать — она, милая, уже это самое допустила. Ты тут словоблудствуешь, а это самое уже существует себе потихоньку... И хорошо, если только потихоньку. Это я не только в отношении нашей Кшиси, это я в самом широком смысле.

— Сенатор Гамалей,— проговорил Абоянцев не без сарказма, косясь на его тогу,— в последнее время ваша риторика становится, я бы сказал, все более патетической и аксиоматичной. Вы не замечали? Однако вернемся к исходной точке. Вы мне хотели что-то продемонстрировать, не так ли?

— А,— сказал Гамалей,— аппетит пропал.

— А все-таки?

Гамалей посмотрел на свои ноги, задумчиво пошевелил большими пальцами, высовывающимися из сандалий. Кажется, в античные времена такой жест считался верхом неприличия. Все равно что ношение штанов. Да, кстати о штанах... Он откинул край тоги и принялся рыться в необъятных карманах своих домотканых штанов. Штаны, как и тога, были сенаторские: с красной каймой. Нашарил наконец плоскую коробочку микропроектора, расправил ремешок и медленно, словно камень, повесил на грудь. Действительно, кто тянул его за язык? На кой ляд понадобилось ему звать на эту панихиду Абоянцева?

— Я, собственно говоря, ничего не хотел демонстрировать. Демонстрация — это не то слово. Не демонстрация. Реквием. По тому художнику, которого вчера... Одним словом, не спрашивайте ни о чем, Салтан, и смотрите. Этот реквием — не музыка.

Но это все-таки была музыка. Вернее — и музыка тоже. Абоянцев услышал ее не сразу, поначалу он только следил за возникновением каких-то странных, ни на что не похожих и главное — никогда не виденных им картин. Он не знал этого художника, не мог даже приблизительно угадать век и страну. Может быть, это был и вовсе не землянин? Но нет, на картинах была Земля, но только сказочная, словно спящаяся... И безлюдная. Может быть, щемящая печаль удивительных этих картин и крылась в обесчеловеченности мира, соткашного не столько из материи, сколько из осязаемого, весомого света; а может, Гамалей выбирал по памяти только те полотна, на которых сумеречными вереницами змеились похоронные процессии одинаково безутешных людей и кипарисов, где черные крылья не то траурных знамен, не то падающих ниц деревьев казались иллюстрацией к исступленным строкам Лорки, где цепкий мышастый демон угнездился в расщелине между готовыми беззвучно рухнуть зиккуратами, где бессильные помочь теплые женские руки баюкали невидимых рыбаков вместе с их игрушечными лодчонками, и на дне морском сохранявшими трогательную стойкость неопущенных, словно флаг, парусов... Музыка родилась незаметно, и смена картин не прерывала ее звучания, а наоборот, неразрывно переплеталась с ее ритмом — взлеты трассирующих ночных огней, слагающихся в знак зодиака, змеящееся ииспадение жертвенного дыма, нежное тремоло одуванчика и свистящий полет царственного ужа...

И вдруг — вечерняя, удивительно реальная долина. Она не принадлежала, не могла принадлежать всему этому миру грез, но музыка продолжала звучать, властно и безошибочно признавая своими и стылую синь заречного леса, и красноватые плеши обнаженной земли, и убогие рукотворные квадратики зеленеющего жнивья.

— Что это? — невольно вырвалось у Абоянцева.

— А это, собственно, и есть Райгардас.

— Не понял,— сказал начальник экспедиции начальническим тоном.

— Это — город, опустившийся под землю. Не видите?

Абоянцев ничего не сказал, но его «не вижу» повисло в воздухе гораздо реальнее, чем сам Райгардас.

— М-да,— Гамалей вздохнул.— Тогда вы — первый.

— Не понял,— еще раз повторил Абоянцев, агрессивно выставляя вперед свою бороденку.

— Видите ли, в этой картине каждый видит свой город. Свой собственный Райгардас. Ничто не может исчезнуть бесследно, ибо

над этим местом будет всегда мерещиться нечто... Образ какой-то. Вы первый, кто не увидел ничего.

Абоянцев медленно опускал голову, пока лопаточка бороды не легла на домотканое рядно его рубахи. Раскосые татарские глаза его сузились еще больше, затененные бесчисленными старческими морщинками, и было видно, что изо всех сил он старается не допустить Гамалея в неодолимую грусть своих мыслей.

Но Гамалей был неисправим.

— Ага, — изрек он громогласно, со вкусом. — Увидали, слава те, господи, как говорит порой наша Макася.

— Как вы безжалостны, Ян, — совершенно ровным голосом, не позволяя себе ни горечи, ни досады, проговорил Абоянцев. — Вы, как мальчишка, даже не представляете себе, насколько страшно иногда понять, что каждый человек — это маленький... как его?

— Райгардас, — ошеломленно подсказал Гамалей.

Не ждал он такого откровения.

— Я припоминаю, вы рассказывали как-то, что этот город опустился под землю под звон колоколов, в пасхальную ночь... Мы, пожилые люди, как-то свыкаемся с этой собственной пасхальной ночью. Перебарываем мысль о ней. Каждый справляется с этим в одиночку, и я не слышал, чтобы об этом говорили. Каждый справляется с этим... Но иногда какой-нибудь юнец — а вы мне сейчас представляетесь сущим юнцом, вы уж простите мне, Ян, — бьет вот так, неожиданно... И тогда захлебываешься. И несколько секунд необходимо, чтобы перевести дыхание. А на тебя еще глазеют.

— Простите меня, Салтан. — Гамалей и вправду чувствовал себя зарвавшимся мальчишкой, и этот возврат к юности отнюдь не переполнял его восторгом. — Я действительно думал о другом. Я тоже вижу свой Райгардас. Но это... наш Колизей. Мы ведь тоже уйдем отсюда, уйдем рано или поздно, и расчистим это место, и засеем кемитской травой. И достаточно будет смениться двум поколениям, как каждый из кемитов будет видеть над этим лугом свой собственный Райгардас, и он все менее и менее будет похож на настоящий.

— И это тоже, Ян. Может быть, я проживу еще долго, но другого Колизея, или, если вам угодно, Райгардаса, у меня уже не будет. Я ведь тоже унесу на Землю образ, воспоминание. В сущности, мы уже сделали свое дело — мы передали кемитам тот объем информации, который когда-нибудь нарушит их социостазис. Мы сделали свое дело.

— Воздействие должно быть минимальным, — невесело процитировал Гамалей.

— Это всего лишь первый пункт первого параграфа, к нам не применимый. Память — это чудовищно огромное воздействие. Только никто об этом ие говорит вслух. Во избежание дискуссий с Большой Землей. Но и там это понимают. Мы оставим Та-Кемту неистребимый, неиспепелимый образ нашего... я чуть было не сказал — моего Райгардаса.

Гамалей тем временем подошел к балюстраде и, опершись на широкие перила, принялся рассеянно глядеть вниз. Утром прошел нечастый здешний дождичек, и теперь, когда солнце наконец приблизилось к зениту и заполнило своим жаром все пространство, ограниченное стеной, стало душно, как в оранжерее. Хорошо видимый пар подымался снизу, и в этом пару разморенные биологи сновали от птичника к сараям и обратно, в безнадежном стремлении хоть чему-нибудь научить упрямых кемитов. И каждый, наверное, вот так же, как старик Салтан, думал: мой Та-Кемт, мой Колизей. МОЙ.

А ведь по сути к рождению Колизея непосредственное отношение имел один Гамалей. Тогда в проектной группе, кроме него, значился и Петя Сунгуров, космический врач, поседевший на злополучном «Щелкунчике», и механик-водитель Краузе, уже двадцать лет как ушедший из космоса и задумавший было туда вернуться, и педант Кокоро, наследственный лингвист, и радиобог Кантемир... Пока проект утрясали да обсасывали, они все как-то позволили себя вытеснить — в группе Колизея начала стремительно плодиться перспективная молодежь. Что же, это справедливо, когда контакт рассчитывается на десятки лет. Но справедливости этой ради можно было бы Гамалея, непосредственно «рожавшего» Колизей, сделать начальником экспедиции.

Но вот тут-то и решили обойтись без риска — нежданно-негаданно утвердили Абоянцева. Он-де «гений осторожности».

То-то юная пылкость и зрелая предусмотрительность прямо-таки раздирают атмосферу их дымчатого колодца, аки рак и щука. И никто этого не чувствует острее, нежели Гамалей, ибо он не стар и не млад, не медлителен и не порывист, и с позиции этой золотой середины, как с дубового пня, видит все, что творится на их разогретом, дымящемся пятачке, с какой-то спокойной, вдумчивой обостренностью.

Вот и сегодня он всем нутром чувствовал, что родства душ не получится, и поэтому заставил себя оттолкнуться от перил и проговорить подчеркнуто деловым тоном:

— Однако, Салтан Абдикович, мои грядки меня ждут. Прополка.

— А,— сказал Абоянцев, махнув сухонькой ладошкой,— какая там прополка, голубчик! Сегодня же все будут целый день валять дурака, поглядывая на солнышко. У всех на уме одно: завтра! Как будто завтра начнется новая жизнь...

Молодец, старик, унюхал! И все-таки надо идти.

— Да и вы меня совсем заморочили со своими картинками, голубчик,— продолжал Абоянцев с деланной ворчливостью.— Как будто бы ничего особенного — облака там, травка, берега отнюдь не киселные... А все внутри переворачивает. Не искусствоведческая терминология, правда? Но я думаю, искусствоведы с этим мастером тоже намучились. Он ведь ни в какие ворота не лезет. И знаете, какое ощущение у меня? Что это не ЕГО манера рисовать, а так принято в том мире, который он видит и пишет...

«Ай да старик! — подумал Гамалей.— Ай да мудрец». И не удержался от маленькой провокации:

— Но ведь в этом мире он одинок... Мир-то безлюден. Тени, призраки, мифические да сказочные фигуры — и ни одного человека... почти.

— Да? — почему-то не поверил Абоянцев.— А ну-ка, покажите еще. Да не переживайте, завтра, посмотрите, на всех нахлынет такой энтузиазм — всю работу наверстаете. Давайте, давайте.

И Гамалей дал. Жертвенный огонь, заключенный в самом сердце мира, сменял восстающую из ночных васильков Деву; царственный полет изумрудного ужа опережал круговорот новорожденной Галактики, и лиловато-серая череда отпущенных судьбою дней змеилась от теплых холмов родной земли, так легко покидаемых в юности, до снежных недосягаемых вершин, так и остающихся впереди в смертный, последний, час, когда только идти бы да идти, и, как в детстве, манит дорога, и, как в юности, две звезды, две любви сияют над головой — первая и последняя...

— Это — все? — придирчиво спросил Абоянцев.

Конечно, это было не все. Далеко не все. Даже не все самое любимое.

— Нет, естественно,— ворчливо отозвался Гамалей.— Я выбираю по настроению.

Настроение у него было не из лучших. Во-первых, вчерашнее зрелище вообще никогда не забудется, такое уж на всю жизнь, как неизбывный ночной кошмар. А во-вторых, попытка устроить себе светлый реквием тоже не удалась, и тут уж он целиком и полностью был виноват сам. Смотреть старые, любимые с детства картины надо было в одиночку. Или уж с кем-то другим, но только не с Салтаном. Странный человек этот Салтан: все время

ждешь от него какой-то старческой нелепости, неуместной сухости, неприятия того, что тебе издавна дорого. Ждешь, а он, как на грех, все понимает правильно, и угадывает твои мысли, и становится более чутким, чем ты сам, — и все это раздражает больше, чем обыкновенная неконтактность или внутренняя черствость.

Ну а с кем все-таки ты хотел бы сейчас стоять перед этими картинами, перед их светлой сказочной чередой?

Он знал, с кем. Только не признавался даже себе самому. Ах, как нелепо, неожиданно выходит все в жизни...

— Скажите, Ян, а у вас есть какое-то объяснение этой м-м... обесчеловеченности такого м-м... вполне привлекательного мира?

— Этот вполне привлекательный мир слишком хорош для человека, — с подчеркнутой сухостью проговорил Гамалеи, — он для того и создан таким, этот мир, чтобы показать людям, какого совершенства нужно достигнуть, чтобы получить право войти в него.

Гамалей ожидал, что Абоянцев хоть тут попытается возразить ему, но тот только кивал — вернее, монотонно покачивал головой, как тибетский божок.

— Святая простота утопистов всех времен, — тихонько, как бы про себя, отозвался старый ученый, — до чего же она наивна, и до чего она притягательна! Нарисовать совершенный мир и непоколебимо верить в то, что люди потянутся к нему, как...

Он запнулся, подыскивая не слишком банальное сравнение.

«Ладно, — подумал Гамалей. — Ладно. Отдадим ему и самое любимое. Все равно он уже до всего сам допер. Могучий старик! Отдадим ему и "Сказку королевны" — все равно лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».

— Вот так, — сказал он, нажимая привычную комбинацию цифр.

И тотчас же на экране возникла вершина солнечной горы, где в теплом безветрии затаилось туманное, чуть мерцающее Неведомое, прикинувшееся огромным одуванчиком. И, такое же слабое и беззащитное, как сам одуванчик, тянуло к нему ручонки несмышленое человеческое дитя, и было бы нестерпимо страшно за них обоих, если бы неусыпно и зорко не хранила бы их под своим исполинским крылом такая недобрая на первый взгляд страж-птица.

— М-да, — задумчиво проговорил Абоянцев, — но и это не человек. Это — человечество.

— Но, увы, не человечество Та-Кемта, — вздохнул Гамалей, с сожалением разглядывая рахитичное чадо. — А тем не менее

этот одуванчик, как его условно называют, — это все-таки наш Колизей. Каким он видится с приличного расстояния. А мы, как это ни парадоксально, — столь привлекательные для вашего сердца утописты, ибо мы все без исключения веруем в то, что кемиты поглядят на нас годик-другой, да и потянутся создавать у себя под собственным носом лучший мир. По образу и подобию нашего.

— Почему же парадокс? В это веруют и на Больной Земле, насколько мне известно. Иначе не затевали бы всей экспедиции. Мы действительно утописты, но утописты нового уровня, ибо мы не описываем оптимальные миры, а создаем их, а главное, вернувшись к утопизму, который, как мне представляется, неотделим от истинно интеллигентного мировоззрения, мы очистились от скверны, которая поглотила человечество Земли на протяжении трех решительнейших веков ее истории: я имею в виду девятнадцатый, двадцатый, да и почти весь двадцать первый.

— Знаю я эту скверну, — без особого восторга отозвался Гамалей. — Скверна скоропалительности, нерасчетливости, пренаблюдательности. Вернее, все это в обратном порядке.

— Именно, голубчик, и-мен-но! Ибо ничего нет страшнее психики человека, на которого давит страх: успеть, только бы успеть — нажать спусковой крючок, пулеметную гашетку, пусковую кнопку. И обязательно — первым! В чем и состояла проблема выживаемости. Да что далеко ходить — вы сами только что, четверть часа назад, показывали мне подобного супермена, эдакого стрельца-удальца. Между прочим, он метил именно в эту стражптицу. И в случае точного попадания обеспечивал себе небывалый трофей, а нашему условному чаду — или человечеству на самой заре — абсолютную незащищенность. Вот вам и прелесть истинно мужской стремительности — вскинул лук, натянул тетиву... Кстати, ваш мастер определенно симпатизировал своему герою. Еще бы! Начало двадцатого, героического века, века бешеных скоростей, молниеносных решений...

— Вы, как всегда, правы, — констатировал Гамалей.

Как всегда — абсолютно и омерзительно. И в последнем случае, насчет стрельца — с точностью до наоборот.

А не улететь ли отсюда ко всем чертям, спящим и жующим, земным и кемитским, не улететь ли вместе с Кшиськой? Вот так, молниеносно и скоропалительно? Ведь чует сердце — понадобится ей, бедолаге, чтобы рядом в нужный момент оказался кто-то свой. Пусть не друг — с такой не очень-то подружишься! — а просто свой, оттуда, из Райгардаса...

И опять вздохнул — который уже раз за этот день. Никуда он не полетит, это он знал прекрасно. Он останется, а вот ее уже здесь не будет. Он вспомнил ее счастливые до обалдения глаза и шумно, со всхлипом вдохнул в себя стоячий воздух аквариума.

## 20

Первым в сознание проник запах — смешанный запах тины и ладана. Затем — звук: часто и дробно капало. Воздух был густым, как в пещерах, справа тянуло теплом, как от жаровни.

Инебел тихонько — не из осторожности, а от боли — шевельнул ресницами. Тусклый огненный ком факела маячил где-то возле уголка правого глаза. Странно, обычно и сквозь сомкнутые веки он угадывал свет. А вот желтоватое пятно, совсем тусклое, — это лицо. Женское лицо. Лицо маленькой Вью.

Она сидит на корточках слева от него и, наклонившись так низко, что он иногда чувствует на своей коже ее дыхание, разглядывает его тело. Пристально, недоуменно. Вот подняла руку и легко коснулась его колена — сразу защипало, видно, на коже ссадина. Она живо обернулась куда-то в темноту — смочила руку, теперь колену прохладно и не так саднит.

По ее позе, по ее спокойствию нетрудно догадаться, что сидит она здесь уже давно.

Огонь факела колыхнулся — из глубины подземелья пахнуло влажным воздухом, словно кто-то вытолкнул его перед собой, и бледная тощая тень бесшумно родилась прямо из мрака, проковыляла, тяжело качая полными ведрами, несколько шагов и так же необъяснимо исчезла в темноте.

Еще и призрак-водонос! Не слишком ли это нелепо для послесмертного сна, который должен быть покоен и благостен?

Мало Вью, мало водоноса. Черные, в передниках до пят, фигуры выплыли сзади, и Вью метнулась к факелу — схватила его и отвела в сторону, почти прижав к влажной стене. Пламя затрещало, капельки гнилостной сырости, улетучиваясь, окружили огонь клубочком далеко не благовонного пара.

Тени, прижимая к животам увесистые и совсем не призрачные горшки, прикрытые глиняными крышками, — совсем недавно лепил их Аруи! — прошествовали так плавно, словно от пролитой капли того, что было в толстостенной посуде, зависела судьба города. И канули в ту же темень, что поглотила водоноса.

Вью вернула факел на прежнее место, воткнув его в кучу песка, на которой лежал Инебел, потом набрала откуда-то полные пригоршни воды и плеснула юноше в лицо.

Черные фигуры снова возникли из темноты, оставив где-то свою тяжкую, тщательно бережеиую ношу. Первый прошелестел мимо и исчез за спиной, двое других подошли к песчаному ложу и остановились возле Вью. Сквозь почти сомкнутые ресницы Инебел увидел, как она робко подвинулась на коленях к тому, что был пониже и шире в плечах, и, обняв его ноги, прижалась к ним щекой.

— Ладная жена у тебя, Чапесп,— проскрипел глуховатый голос, удивительно напоминавший старейшего жреца,— в поучении прилежна, в заботах проворна, к мужу льстива. Нет, давно говорю: чаще надо молодых здоровеньких хамочек к нам, в Закрытый Дом, брать. Мужского полу младенцы — это уже другое дело, их на собственных худородков приходится менять, пока глаза не прорезались. Чтоб достойного Неусыпного вырастить — ох как долго учить надобно, да и то все чаще вырастает срам ленивый...

Инебел лежал на крупном колючем песке, впивавшемся в тело, и сверху на него сыпалась труха монотонных скрипучих слов. Это, наверное, будет продолжаться бесконечно, и так же бесконечно будет длиться его оцепенение. Сознание того, что он, вопреки всему, еще жив, нисколько не обрадовало юношу. Жизнь его больше не принадлежала ему самому, она была ограничена со всех сторон, словно налита в узкий сосуд, и повиновение, на которое он был теперь обречен, вряд ли было лучше смерти. С того момента, когда к нему пришло это самое ощущение непоправимости собственной вины, воля покинула его. Вина — но вот только в чем? Если бы он знал!

ЧЕГО-ТО он не понял, на ЧТО-ТО не решился, ЧТО-ТО упустил. Когда? В какой момент? Может быть, продолжение жизни ему и отпущено только для того, чтобы в темноте этого подземелья понять, что именно было его ошибкой? Но ведь исправить что-то будет невозможно, и эти бесконечные мысли будут для него еще злейшей казнью, чем та, через которую он прошел на вершине черной пирамиды.

А сквозь завесу безразличия все-таки доходили, просачивались скрипучие словеса одного из Неусыпных — раньше горло бы перехватило от трепета, а теперь все равно...

— ...Рабы суть недоумершие тела, и живо в них одно повиновение, но отнюдь не желание. Когда он пил-то отвар смирения? — живо обернулся он к тому, что пониже.— Вечор на закате? Частенько святожарить стали, память не удерживает...

Второй что-то промычал в ответ — интонации были утвердительны, но вместо слов — одно мычание. Немой, худородок —

и в Закрытом Доме? Выходит, так. И ему-то отдали в жены ласковую, тихую Вью? И это, выходит, так.

Неусыпный между тем шевелил пальцами, подсчитывал, бормоча:

— Ночь да полдня... Еще полдня, ночь да день. Выходит, кормить сегодня его не надобно, да и не до того будет. А коли жив останется, утром снеси ему объедков, а отвар смиренный дай завтра к вечеру. Сегодня же воли в нем нет, смысла — и подавно. Ну, учись, дочь прилежная, как рабами повелевать. Вели ему встать и воду носить — в сердце гнева божьего должно вспыхнуть пламя, какого не знали ни земля, ни небеса. А пламя воды опасается, ох как опасается! Увидит воду — испугается из горшков вылезать, силу свою оказывать! Так что гони раба нового воду носить, поспешать...

Вью послушно выпрямилась, опустила руки, смущенно приглаживая юбку.

— Раб, встань! — звонко выкрикнула она, и голос заметался по лабиринтам подземелья, затихая вдали, в узких коридорах.

Это — ему. Рабу. Такова воля грозных Спящих Богов, которых он тщился обмануть, которыми он осмелился пренебречь.

Он оттолкнулся лопатками от слежавшегося песка, сел и так же стремительно поднялся, выпрямляясь... и тут же со всего размаха ударился головой о низко нависающий свод потолка.

Голову расколола ярко-зеленая молния, и, застонав, Инебел повалился на песок. Издалека, сквозь пелену боли, доносилось какое-то невнятное помекиванье — наверное, так смеялся немой.

— Сегодня великий день, день возмездия, сочтения и воздаяния... хе-хе... грех злобствовать в такой день, — доносилась издалека, как бред, бормочущая скороговорка, — и я не сержусь на тебя, дочь Закрытого Дома, что ты нерадиво блюдешь имущество Богов, кое и есть рабы подземные. Но раб зело нескладен и велик непомерно. Негоже его в пещеру возмездия божьего допускать. Горшки огнеродные перевернет, да и свод может обрушить, даром он наспех воздвигнут...

Немой снова замычал, по пещере запрыгали тени — он что-то объяснял жестами. Старейший понял прекрасно — видно, привык.

— И то верно. Так принеси еще пару ведер, Чапесп.

Немой кивнул, по-хозяйски погладил Вью по плечу, исчез в темноте. Старейший проводил его взглядом и наклонился к молодой женщине.

— Великий день, небывалый день, — бормотал он, елозя старческими пальцами по ее спине. Вью стояла, словно окаменев, не

смела возразить. — Надень шестнадцать пестрых юбок, дочь моя, отягчи свои щиколотки бубенчиками, лицо скрой маской звериной, ибо во всей красе и мощи выйдем мы под вечернее небо, когда свершится мщение Спящих Богов! Мы будем петь старинные гимны и плясать на углях, которые останутся после того, как священное пламя поглотит наконец обиталище нечестивых чужаков, смущающих город! Выше гор станет пламя, громче рыка горы огненной прогремит глас божий! Ибо черна тайна пращуров, дающая власть над гремучим огнем! Встает голубое солнце, отмеряя последний срок, и... впрочем, дочь моя, я увлекся. Праздновать будем попозже. А сейчас придержи-ка факел, а то, не ровен час, громыхнем вместо чужаков прожорливых...

И снова мимо них, словно не касаясь песчаного дна пещеры, проплыли зловещие носильщики закрытых сосудов. И снова растворились они в темноте правого подземного хода, неслышные, ощутимые лишь по дуновению воздуха, увлекаемого их одеждами, но теперь оттуда, где они исчезли, донесся неясный гул — словно глухое ворчанье. Люди? Если — да, то их там много...

Инебел вжался в песок, напрягая мускулы, приводя их в боевую готовность. Очнувшись, он был безвольным рабом, послушным воле карающих Богов. А сейчас это был даже не человек — зверь, готовый в подходящий момент прыгнуть, перегрызть горло, закидать песком и снова притаиться, прикинуться полутрупом, скованным дурманом питья. Потому что по немногим словам он догадался, что сейчас жрецы замышляли что-то против сказочного, беззащитного Дома Нездешних.

И ни единого мига сомнений не было у него в том, что он не вооружен ни знаниями, ни тайнами и потому обречен в первую очередь.

Он просто ждал своего момента, и в теле стремительно копились ненужные до той поры силы, и обострившийся слух выбирал цепко и безошибочно те крупицы сведений, которые поведут его в той страшной драке, которая предстоит ему одному против всего Храмовища.

Возле его лица глухо стукнули плетеные, обмазанные глиной ведра. Неусыпный потоптался, разминая ноги, потом точным тупым ударом пнул Инебела прямо под ребра. Юноша задохнулся, но догадался сдержаться — не вскрикнул. Только пальцы судорожно сжались, захватывая песок. И не только песок...

Под правой ладонью прощупался длинный сплющенный брус. Камень? Глина? Гораздо холоднее того и другого. Память не подсказывала ничего подобного. Один край заострен — если

сжать сильнее, то пожалуй разрежет и кожу на ладони; другой — зазубрен, словно распрямленная челюсть лесной собаки.

Силой мысли он мог остановить одного жреца... сейчас, озлобясь и собрав всю эту злость в тугой узел — пожалуй, и двух.

Такой зазубренной штукой он уложит десятерых.

Но еще не сейчас. Старик болтлив — если подождать немного, то даром выложит все то, что предстояло вызнать Инебелу за немногие часы, оставшиеся до неведомого пока «гнева божьего».

Однако старик в присутствии Чапеспа был не расположен словоблудствовать с новоиспеченной жрицей. Он еще раз, уже не целясь, поддал по лежащему телу бывшего маляра и скороговоркой проговорил:

— Раб нескладный, не моги подымать голову и в подземелье ходи окоротясь, аки ящер четырехлапый. Путь твой будет от развилки ходов влево, до колодца. Приняв полные ведра, опорожняй их и заменяй пустыми. В правый ход, что бережен должен быть по сыпучести хлипкой, не суйся — зарубят. Ну, пошел.

Инебел схватил ведра за плетеные дужки, пополз к развилке. Что они, все втроем тут торчать намерены?

Немой снова что-то промычал. Похоже, соображал он тут лучше других и был наиболее опасен — как бы не заметил чего... Но тут из правого хода вынырнул согбенный раб с полузакрытыми глазами — двигался, как не проснувшийся. Инебел принял у него ведра и неуверенно ступил в темную щель левого коридора.

Колодец. Где же он? А если прямо под ногами? Темно. Еще провалишься, и тогда гадай — звать на помощь или нет? Похоже, рабы тут безгласны. Вода плескала ему на ноги, и он не знал, виден ли он еще тем, что остались позади. Оглянуться боялся.

Ход вдруг расширился и посветлел. Это не было убогое желтоватое пламя смоленой головни — голубой призрачный свет сеялся сверху, серебря плитняковые стены, по которым, журча, сбегала вода. Свет пробивался сверху, и прямо под светоносным колодцем чернело жерло провала. Вода, змеившаяся по стенам, гулко падала вниз. Инебел слил ведра, по шуму понял: глубоко. Поднял голову — сиреневатое вечернее небо было затянуто сеткой каких-то паутинных вьюнков.

Он приподнялся на цыпочки, опираясь на изрезанную уступами стену, дотянулся до свисающих стебельков. Дернул — влажная зелень потрясла ощущением чего-то живого, земного, несовместимого с этой могильной чернотой.

— Заснул, раб? — донесся далекий зудящий голосок.

Он бросился назад, уже не опасаясь провалов и колодцев. Завидев маяту факела, согнулся, спрятал глаза.

— Бегай проворней, раб! — подражая визгливым интонациям старейшего, прикрикнула Вью.

Девочка входила во вкус.

— Погоняй, погоняй, — проскрипел старейший. — Загнать не бойся — когда свершится воля Всеблагоспящих, лишние руки больше не понадобятся. Ну, десяток-другой, чтоб мешки ворочать, не более...

Инебел по-прежнему не подымал глаз, но в узенькие щелочки между ресницами вдруг увидел остроконечный листок — в собственной руке!

Согнулся в три погибели, схватил ведра, уже дожидавшиеся своей очереди, кинулся по коридору. За спиной услышал старческий смешок:

— Проворен! Даром послушания наделен, да уж больно нескладен, несуразен для подземелий. Так что...

Юноша подбежал к колодцу, выплеснул воду. Следом за водой осторожно стряхнул с ладони зеленую веточку. Она плавно, точно нехотя нырнула в провал колодца. И тотчас же в черной глубине что-то страшно и хищно плеснуло, словно громадная рыба выпрыгнула из воды навстречу добыче.

Инебел отшатнулся от края.

— Ра-аб! Проворней!

Разошлась Вью. Перед новыми хозяевами выслуживается, чтоб их обоих в этот колодец унесло! Когда ж они уберутся?

Ему повезло, да как — ушли оба жреца, но Вью... она здесь так недавно — что она может знать?

Он обменял пустые ведра на полные, дождался, пока его напарник исчезнет в низком лазе, и взмахнув руками, свалился ничком, — внимательный глаз заметил бы, как сложилось при падении тело: словно согнутая ветвь, готовая распрямиться. Но Вью была невнимательна и до забавного высокомерна, вот только если бы Инебел расположен был сейчас забавляться...

Она подбежала к нему, затопталась на месте, примериваясь, — вспоминала, как это ладно получилось у Неусыпного, когда он привычно поддал рабу прямехонько под ребро. Вью не раз попадало от братьев, злобная была семейка, не случалось дня, чтобы на ком-нибудь не срывали тягучей злобы, копящейся целое утро за утомительно-нудным тканьем.

Так что по собственным ребрышкам помнила — несладко это, когда в самый бочок. Скорчившееся у ее ног тело было недвижно,

значит, правду говорят жрецы, что раб — это недоумерший. Может, он и боли не чует?

Она нашла-таки место, куда бить, саданула как следует — удовольствия никакого, только косточки на пальцах заныли от удара. И не потому, что было велено, — за всю муку ожидания еще там, в семье, за весь страх потерять то, что здесь.

— Встань, раб!

Инебел ждал этого, вскочил, но на сей раз осторожно, чтобы поберечь свою голову, и успел — зажал девушке рот, так что она не успела даже вскрикнуть. Он ждал, что она начнет сопротивляться, по меньшей мере вгрызется в руку, зажимающую ей рот, но она обвисла покорно и безропотно — видно, не научили еще, что делать, когда рабы бунтуют.

А может, он — первый, который вздумал бунтовать? Остальных опаивали до состояния гада, промерзшего зябкой ночью, когда тот ни лапами, ни хвостом шевельнуть не может, пока солнышко утреннее от бесчувствия его не отогреет. А он убережется... вчера. Да неужели — вчера?

Вечно было это дымное, угарное подземелье...

Он понес девушку в свой подземный лаз. Мимоходом двинул ногой по ведрам — те перевернулись, вода зажурчала, не желая впитываться в крупный песок. Ничего, тот, другой раб — настоящий, бессмысленный. Он ничего не разберет.

Он тащил нетяжелое послушное тело, и в темноте узкой щели странные воспоминания непрощенно подступили и разом переполнили его. Вот так он приподнял... Ее. Ах вы, Боги Спящие, имени-то он так и не придумал! Просто — Она.

И Она лежала на его руках — уже тогда, после, когда он почему-то вдруг придумал, что ему нужно скрыться, бежать, не испугать Ее...

Она была легкой — нет, не такой, как эта, — Она была такой невесомой, словно внутри нее спрятался серебряный воздушный пузырек, подымающийся порой с озерного дна...

Она была безучастной, так и не отворившейся навстречу ему до конца, и только живые ее волосы доверчиво льнули к его рукам...

Он присел возле колодца, опустив Вью на мокрый пол. Внизу, в смрадной глубине, кто-то заплескался меленько-меленько, словно плавничком нетерпеливо забил по поверхности воды.

Инебел осторожно отнял ладонь, которой зажимал губы. Вью всхлипнула, но не закричала.

— Из чего вырастет огонь божьего гнева? — торопливо, дыша ей прямо в похолодевшее лицо, проговорил Инебел.

— Я не была там... гнев божий гнушается женских ног, и ступать далее развилки мне ие дозволено.

— Сколько там жрецов?

— Ой, пять раз по двум рукам, а то и поболее... Она судорожно всхлипывала — от усердия, чтобы ничего не перепутать.

— Теперь скажи, как сделать, чтобы этот божий огонь не смог разгореться?

— Ой, Инебел, как можно — теперь и Верховный Всемогущий Восгисп над тем не властен. Одни Боги!

— Так,— сказал он и снова зажал ей рот, оглядываясь по сторонам.

Кругом ничего не было, кроме песка и камня, пришлось сорвать с нее одну из юбок. Рванул пополам кусок драгоценной клетчатой ткани с блестящими вплетениями осочьей травы, одним лоскутом стянул руки, другой пошел на то, чтобы заткнуть рот. И ловко как получилось, словно весь свой век только этим и занимался...

Отпихнул девушку от края колодца, чтобы ненароком не сползла туда, елозя. Бесшумно кинулся обратно — полные ведра уже ждали его, он их опорожнил прямо в правый низкий лаз. Оттуда явственно доносился сдержанный говор — словно торопили друг друга... Кинулся к куче песка, разгреб верхний слой — вот оно: запретная чужая рука, совсем как у нездешних. Плоская, с зазубринами... Не глина, не дерево, не раковина, и откуда такое — неведомо, сейчас из этой блестящей холодной штуки всего пять-шесть «нечестивцев», да и то в самых близких к храму домах. Рванул странную вещь — тяжелая. А ведь такой чужой рукой и жрецов раскидать — плевое дело.

А вот и один — легок на помине!

Инебел не успел как следует разглядеть выметнувшуюся на свет фигуру, как руки его сами собой вскинули странное орудие над головой и с размаху опустили небывалую тяжесть на плечо вбежавшему.

Литое зазубренное лезвие непривычно потянуло его за собой вверх, затем вперед и вниз, и Инебел, не удержавшись, ткнулся лицом прямо в рассеченное тело. Он с омерзением прянул в сторону, и тут перед ним возникли еще одни тощие ноги и пара ведер. Он вскинул голову, ужасаясь только тому, что снизу размахнуться уже не удастся, а вскочить он не успеет, ударят ведром. Но на черном, как храмовые ступени, едва различимом в сумраке лице жутко, как бельма, светились белки полузакатившихся глаз, и Инебел, переведя дух, дернул к себе одно из ведер и, наклонив, вылил всю воду себе на голову.

Тощие ноги потоптались, пока он опорожнял и второе ведро, затем закачались несгибающиеся руки, нашаривая дужки, и водонос исчез.

Лежащего тела он так и не заметил.

Юноша оттащил мягкий куль к дыре колодца и, не задумавшись — не жив ли еще? — столкнул вниз по склизкому краю. Снизу плеснуло, да так, что пол под ногами дрогнул — исполинские подводные гады рвали добычу, а может быть и друг друга. Пока плеск не утих, Инебел стоял над колодцем в каком-то оцепенении. Вот он убил. Мало того, убил страшно: чужой рукой. И не кого-нибудь — жреца. Раньше просидел бы от одного солнца до другого, ужасаясь содеянному. Раньше.

Нет больше этого «раньше». Он прошел через смерть, и Боги — какие вот только, не разберешь, — вынули из него большую часть души. Остался твердый комочек, способный не на размышления, а только на действия. Вот он и действовал — убивал. Как это просто сказать — «убивал».

И как это просто делать.

Вот сейчас он проберется туда, откуда чернолицый водонос с тусклыми бельмами безучастно таскает почему-то опасную для жрецов воду. Много ли их там, в подземелье? Неважно. С чужой рукой он справится. Иначе...

Он оборвал свою мысль, потому что память воскрешала томительную тяжесть рук, занемевших от такого легкого, послушного тела, чутких небывалых рук, у которых кожа слышит шелест чужих волос, а кончики пальцев становятся влажными и потрескавшимися, точно губы, и воспоминание это обрывает дыхание, и колени сами собой гнутся и касаются холодного зазубренного края...

Эти холодные зубцы разом отрезвили его, и он, мгновенно обретя прежнюю силу и стремительность, словно лесной змей, свернувшийся в кольцо, вскинул на плечо свое оружие и метнулся в узкий проход, мерцавший дымно-огненным диском.

А он ошибся. До тех огней, что маячили впереди, оказалось далеко, и ход сузился — не размахнешься, а без размаху какой удар? И черных фигур, что стояли с двух сторон, склонив головы, словно подпирая затылками свод расщелины, он тоже предусмотреть не мог. Много этих фигур, много, и непонятно — то ли низшие жрецы, то ли такие, как водонос — недоумершие, и их неисчислимо много. А за ними, в неожиданно расширившейся пещере, — шевеление громадного озерного спрута, поблескивающего десятками глаз, в которых бессмысленно маячат отсветы

факелов, жмущихся к стенам... Только это не спрут. Жрецы это, и они привычно и ловко укладывают что-то, громоздят одно на другое, и движения их по-земному плавны, и сосуды с черной горючей водой, неприкасаемой, священной, глухо цокают масляными боками...

И опять какой-то сторонний, мгновенно считающий, безошибочно оценивающий ум бесстрастно сообщил: здесь не пройти. Не ошиблась Вью — жрецов тут не меньше, чем пять раз по две руки. Забьют. Выход один — наверх.

«А наверху?..» — робко заикнулся Инебел, не надеясь, что этот посторонний, упрятавшийся в нем, найдет и тут верное решенье. «Не знаю, — ответил тот, безошибочный. — Вероятно, и там ничего нельзя будет сделать, позвать-то ведь на помощь некого. Останется одно: предупредить».

Он отползал назад, не подымая головы, страшась одного: опознают и задушат прежде, чем он выберется. Подумать о том, прав или не прав этот неожиданно зазвучавший внутри него голос, он не смел — усомнись, и что тогда? Тогда — стремительно улетающее время, и бессилие мысли, и нелепая гибель вместе с теми, что наверху, под сказочным серебристым колоколом...

Водонос с полными ведрами надвинулся из черноты лаза, переступил сухими ногами через Инебела, и тяжелые ведра глухо стукнули об пол на перекрестке. Раньше и сам он вот так же тупо и безучастно ходил бы много часов взад и вперед, силясь найти выход. Сейчас — только быстрота. Водоноса просто отпихнуть с дороги, он не опасен. Вот только высота колодца... Он вскочил, уже никого не опасаясь, схватил тяжелое оружие, сослужившее уже свою страшную и неожиданную службу, кинулся туда, где в потолке зеленоватой гнилушкой тлело жерло верхнего лаза. Приноровился — всадил лезвие прямо над собой, в щель между камнями. Теперь только бы выдержали камни, только бы не хрустнул пополам зазубренный кусок ледяного литья. Потому что прямо под замшелой дырой — плещущееся жерло колодца. Ждут.

Инебел подтянулся рывком — руки разом занемели на холодной поверхности, но легкое тело послушно вскинулось вверх, пальцы молниеносно обшаривали поверхность лаза, отыскивая спасительные трещинки, колени точно вжались в едва уловимые выбоинки. Нет, он не сорвется, он... Не он. Не он, а другой Инебел, родившийся в нем еще тогда, когда он перелез через стену, умерший было, когда жалкая, позорная робость заставила его бежать перед рассветом, и не очнувшийся на Черных Ступенях даже ради спасения собственной жизни. А вот теперь, когда божий

огонь обратился на Нездешних, — теперь этот Инебел ожил. Да как! Он мог...

Ничего он не мог. Во всяком случае, сейчас. Он мог одно — затаиться, чтобы не выдать себя ни шорохом, ни нечаянно скатившейся в воду песчинкой. Потому что внизу, прямо под его ногами, зазвучало сразу не менее десятка голосов.

В их общем, нетерпеливом и гневном гуле юноша не мог ничего разобрать, но тонкий, визгливый альт, уже знакомый по двум встречам, разом оборвал их требовательный хор:

— Крови испугались, дармоеды храмовные, мразь, чтоб вам... у-у! — вроде удары, но не ойкают, терпят. Наиверховиейший, всевластный. Он может.

— Худородков драть! Да не к делу приспособленных, а малых, несмышленых! Об стены бить! В огонь кидать!

— А ежели помстится, да не худоро...— заикнулся кто-то басом, но высочайший визг оборвал его на полуслове:

— Малых бить! Малых! Не уразумели? Гнев божий кровью утолять! Да своими руками, не брезгуя,— раз в жизни потрудитесь! В нерадении замечу — сам желчью оболью, глаза издымлю... Гниды синеухие! Куда завели? Повертывайтесь!

Внизу забормотали униженно, затопотали — и разом стихло. Только по соседнему коридору гул нестройный да шарканье о стены... Пронесло. Только запах остался стойкий, до сих пор не чуянный,— воняло не то скисшим, но не добродившим; а может, и хуже того, перегаром ярджылиного сока. То-то как в чаду все, даже связанной Вью, что под ногами прямо лежала, не заметили.

А ведь Вью придется здесь бросить.

Словно холодная пружина выпрямилась внутри: нет другого выхода. Значит, не думать об этом. Сейчас — только вверх. И не так-то это просто. Руки словно разучились повиноваться. Обиделись — чужой рукой их заменил, холодной, зазубренной... Он нащупал верхнюю кромку каменной кладки, и его вынесло на поверхность раньше, чем он успел подумать об осторожности. Глупо, но обошлось. Кусты, густота колючего переплетения. Продрался. Где-то за спиной — далекие, мирные голоса. Воркотня детишек у очага. «Малых о стены бить, в огонь кидать!..»

Ослепленный солнечным светом, он ткнулся во что-то жесткое, отшатнулся — хоронушка старая, убогая. Чем изукрашенная, не разглядел. Стволы. Два дерева — огромные, развесистые, такие только под самой горой, на краю города... Стена за деревьями. Небеленая, с изнанки. Оглядываться некогда — туда!

Голубое вечернее солнце, едва вставшее из-за дальних холмов, освещало пустынный луг с журчащими по нему арыками, под самыми ногами, у подножия стены брошены горшки с краской, а прямо перед глазами — не сон, а явь: сказочное жилище Нездешних, что и увидеть-то не чаял...

Разом пересохли губы, а за ними и все тело вдруг загорелось и высохло, сейчас поднеси уголек — затлеет бездымно... Ни дышать, ни пошевелиться. Слишком много голубого свечения, нездешней прозрачной невесомости — слишком много счастья. Нельзя так, после подземелья-то.

А ждало его и того больше: поднялись ресницы сами собой, и глаза нашли против воли высокое гнездо, обнесенное ажурной оградой.

И прямо за оградой — та, которой он так и не придумал имени. Волосы светлые текут по плечам и вдоль рук, а лицо...

Лицо такое, словно по нему только что ударили.

И смотрит не как всегда, чуть выше построек, будто старается разглядеть что-то в кронах окраинных пышнолистных деревьев, а вниз, прямо сюда...

На него.

Юноша выпрямился. Он не думал о том, что здесь, на довольно высоком заборе, он виден издалека — все это было сейчас неважно. Она глядела на него — впервые глядела в упор, и он понял, почему это случилось: ведь он был уже не прежним, а другим, новым Инебелом, тем, что побывал за прозрачной стеною, тем, внутри которого до сих пор леденел отпечаток этой стены, деля все его естество на заскорузлую старую оболочку и на какое-то неумелое, новорожденное существо, которое прорезалось в нем, когда он впервые пробирался по нездешней теплой траве...

Он так и стоял бы, не шевелясь, ловя ее взгляд, но она вдруг оттолкнулась от перил и бросилась вниз по винтовой лесенке, так что ноги ее, оплетенные узкими лентами, едва успевали касаться белых ступеней; и она побежала по траве, побежала прямо навстречу ему, словно и не было между ними колдовской стены, и он тоже спрыгнул с забора и, путаясь в высокой луговой осоке, ринулся навстречу, но не успел — она добежала первая, с размаху ударилась о степу всем телом, и стена отбросила ее назад ответным упругим ударом, от которого у Инебела заныло все тело, и он только тут почувствовал, до какой же степени он верил в чудо, в то, что проклятая прозрачная пленка наконец-то исчезнет, прорвется, или, как тогда, ночью, опустится... Но чуда не было.

И когда Инебел, захлебываясь холодеющим воздухом, добежал до прозрачного колокола, девушка уже уходила прочь, зябко обхватив плечи тонепькими, как у сестренки Апль, пальцами.

## 21

— Потерпите, — цедил сквозь зубы Кантемир, раскачиваясь от одной кромки экрана до другой, словно баюкая нескончаемую свербящую боль. — Обойдетесь пока пятью. Остальные десять брошены на двадцать шестой объект, там ведь один транслятор был на всю округу. Это вы бы видели... М-м-м... Это не крысы, не волки... Ни одна фашистская банда до такого не доходила!

— Спустите ролик — посмотрим, — отозвался Гамалей. — У нас вроде тоже что-то затевается. И если снова будет фейерверк, это помешает Салтаиу отправить вертолет, над которым он сейчас хлопочет.

— Ваши игрища! Да вы на своих сонь молиться должны, они же сущие ангелы по сравнению с этими, северными. Явилась пятерка таскунов, что на междугородных перевозках. Кладь сбросили, три дня жрали и опивались, потом для них согнали всех девчонок города. Заперли. Малышек с полсотни... И что непостижимо — матери сами, собственными руками... Не-ет. Наша программа ни к черту. Где ж предусмотреть такое!

Узкое лицо Кантемира, всегда такого сдержанного в диалогах с Гамалеем, неудержимо дергалось, как от зудящей боли.

— Все это логически объяснимо, — почти безучастно проговорил Гамалей. — Над ними сразу два дамокловых меча: страх перенаселения и вплотную подступившая опасность вырождения. Несколько сотен лет внутрисемейных браков... Программу, конечно, придется менять.

Он пожевал пухлыми губами, еще безразличнее пообещал:

— Ну, сменим.

Кантемир дернулся:

— Как прикажешь тебя понимать?

— А понимать так, что хоть меняй, хоть нет... Послушай, Кант, мы не правы в самом основном, и это я начинаю понимать только сейчас...

Он замаялся, подбирая слова, потому что ясность мысли еще не пришла, но последней так и не суждено было отыскаться, потому что голубым сполохом наложился на трансплапетный экран блик экстренного внутреннего вызова, и смятенный лик Салтана Абоянцева, утративший всю свою тибетскую невозмутимость, заслонил собой дежурного инженера «Рогнеды».

— Гамалей, где вы прячетесь? Помогите же мне!

Гамалей охнул и принялся извлекать свое тело из тесноватого кресла-вертушки. Не обошлись-таки. Хотел он проторчать тут, в аппаратной, до самого отлета Кшиськи — так нашли.

Он выбрался в центральный колодец, по прохладным ступеням аварийной лесенки зашлепал на второй этаж. Вертолет уже стоял на дне, дожидаясь захода тутошней ослепительно голубой луны.

В «диване» собрались уже абсолютно все, хотя, насколько понимал Гамалей, никого, кроме Кристины, туда специально не приглашали. Всем было мучительно неловко, и тем не менее никто не уходил. Гамалей понимал, почему: каждому казалось, что в последний момент он зачем-то понадобится, что-то сможет изменить, помочь...

Гамалей сколь можно неприметно протиснулся в дверь, сколь можно бесшумно притворил ее за спиной. Оперся лопатками. Потупился. Знал, что огромные, колодезно-зеленые Кшисины глаза замрут на нем с последней надеждой: ну, хоть ты-то... Он не утерпел и краешком глаза отыскал белое платье.

Она и не думала глядеть на него — очень-то он был ей нужен! Она глядела туда, за перила, где молочным маревом стояла стена, и Гамалей ужаснулся, увидев выражение ее лица. Был в древности такой жуткий вид казни, когда у приговоренного вынимали внутренности и, пока тот был еще жив, сжигали их у него перед глазами. Вот так они, наверное, и глядели. Она пошла прочь, и все поспешно расступились, и первым шарахнулся Самвел. На нем тоже лица не было. Все, случившееся с Кшисей, потрясло его какой-то позорной с его точки зрения потаенностью, и продолжая любить ее не меньше, он и сейчас, не задумываясь, прыгнул бы за ней в огонь, но запросто протянуть ей руку он уже не мог.

Она подошла к перилам и остановилась, все так же всматриваясь в проклятую запредельность кемитского мира. Ну, на кой ляд, скажите, пожалуйста, она туда вперилась? Ведь на кого-то из тутошних надо было смотреть, с любовью ли, с укоризной, или просто сквозь... Ведь ЭТОТ был здесь, по сию сторону. Так что же происходило?

А вот что: Кшися оттолкнулась от перил, порхнула к витой лестнице и заскользила, заструилась вниз как-то независимо от ступеней, словно ее белые сандалии их и не касались; так же невесомо перелетела она через лужайку, развела руками ветви тоненьких осинок, подступавших к самой стене, словно стремительно проплывая сквозь них, и вдруг исчезла, поглотилась стеной... Нет. Показалось, просто платье ее, и волосы, и руки, уже не

белые, а пепельные в сумрачном свете невидной пока луны, в момент удара слились со студенистой непрозрачностью стены, но в следующий миг девушку отбросило обратно, и она, едва удержавшись на ногах, разом съежилась и пошла прочь, обхватив руками плечи, и сквозь строй осинок она уже не проплыла, а продралась, как сквозь терновник, и если бы этому можно было поверить, то Гамалей поклялся бы, что одна из веток потянулась за Кшисей и цепко охватила ее запястье, так что пришлось досадливо дернуться, чтобы освободиться; и трава, недавно скошенная трава невесть как поднялась чуть не до колен, оплетая ноги... Это было наваждением, но именно тем наваждением, которого так ждал Гамалей, — если не люди, то хотя бы деревья и травы пытались задержать ее здесь.

— Да остановите же ее! — крикнул он, бросаясь к Абоянцеву. — Остановите ее, потому что если она сейчас улетит — это все, все! И больше ничего будет не нужно, потому что, отпустив ее, мы в последний и окончательный раз поступим НЕ ТАК, и это уже будет бесповоротно...

Он вдруг осознал всю бессвязность своей скороговорки и, застонав, обхватил голову руками.

— Поймите, Салтан, что мы не имеем права щадить своих больше, чем... я чуть было не сказал: чужих. Мы — частица мира, по-человечески равного тому, кемитскому, и мы не имеем права спасать своих, когда гибнут кемиты, мы должны мучиться всеми земными бедами, сходить с ума от всех земных страстей, умирать во всех земных муках... Только тогда мы перестанем быть для них «чужими богами», только тогда они поверят нам, когда мы...

— Тревога! — взревел где-то внизу трубным гласом Сэр Найджел. — Общая тревога!!!

Все бросились к балюстраде и свесились вниз — лужайка мирно серебрилась, и маленький робот, ощетинившийся сзади и спереди вертикальными рядами разнокалиберных десинторных стволов, выглядел донельзя опереточно.

Гамалей поискал глазами Кшисю, — она даже не потрудилась обернуться на истошный вопль так не к месту взыгравшего робота, и тихо исчезла в галерее первого этажа.

— Тревога! — еще раз каркнул Сэр Найджел.

— Доложи обстановку! — сложив рупором ладони, крикнул ему сверху Алексаша.

Робот покрутился на пятке, словно дервиш, и вдруг упер весь ряд передних стволов прямо в землю. «Ааа-ларм, ааа-ларм, ааа-ларм», — бормотал он, притаптывая в такт кованым копытом.

— Рехнулся, — заключил Меткаф. — Говорил же, что не надо на роботов ставить анализаторы нашего пси-поля. Естественно, предохранители полетели...

— Хоть обстановку-то разрядил, — буркнул Наташа.

Вот чего не надо было совершенно, так это разряжать обстановку. Только в накаленной атмосфере и могла дойти до всех истина, открывшаяся Гамалею, но эта титанировая дубина в припадке самообороны свела все к нулю.

А истина была предельно проста: если мы действительно не боги, а люди, то все должно быть на равных, и придя в мир, где не милуют ни женщин, ни детей, мы должны прежде всего спасать ИХ женщин и ИХ детей. А не своих — у них на глазах...

Он проговорил эту фразу про себя и вдруг осознал, что так и не отдал себе отчет в том, чем была для него Кшися: женщиной или ребенком? Он ведь всегда так был уверен во втором, так уверен, что в этой уверенности определенно было что-то подозрительное. Белейшая Кристина...

Он вдруг представил себе, как она наверху, пробравшись к себе по внутренней лестнице, чтобы ни с кем больше не встречаться, стоит посреди залитой голубым светом комнатки, стоит босиком на теплых досках из земной сосны, и тоненькие ее руки перебирают все вещи — земные вещи, привезенные с базы, и ничего этого ей не нужно, а нужно здешнее, колдовское, так непонятно приворожившее ее к себе, и ведь ничего этого нет, ни былинки, ни щепочки... Земное все.

А кемитское — там, за стеной. Оно откроется, дастся в руки но — КОГДА-НИБУДЬ ПОТОМ, КОГДА-НИБУДЬ...

— Ахтунг! — истошно заорал Сэр Найджел. — Увага! Аларм!!!

— Заткнись, придурок! — рявкнул, не выдержав, Гамалей.

И в наступившей тишине все вдруг услышали шелестящее, привычное пение вертолетного винта.

Какой-то миг все еще слушали — не показалось ли? — а затем ринулись к лестницам, внешним и внутренним, и возник водоворот, когда все бежали, как бывает при первом толчке землетрясения, но этого маленького отрезка времени перед всеобщим столпотворением хватило на то, чтобы прозвучал как будто бы спокойный голос Абоянцева:

— Поднять стену.

Первым, естественно, успел Самвел — черный сполох его рубахи прорезал толпу, и Гамалей, сопя, еще протискивался в дверцу, когда тот был уже в аппаратной. Меткаф и Магавира

ворвались туда следом за ним — их пропустили вперед скорее инстинктивно, чем обдуманно. Темно-зеленая стрекозка на оливковом экране упрямо подползала к самому краю внутренней шахты Колизея, обозначенному едва теплящимися контурами, выбралась наверх и стала бодро набирать скорость и высоту, нацеливаясь на край защитного кольца.

— Снимай силовое дно, — сквозь зубы проговорил Меткаф. — Иначе не нарастить высоту защиты!

Он не знал, даст ли Абоянцев «добро» на эту абсолютно противозаконную акцию, но знал он и Самвела: юноша сделал бы это и без разрешения. А так Меткаф вроде бы принял вину на себя. Хотя — кому это сейчас надо!

Диоскуры влетели молча, разом замерли, уставившись в экран — стрекоза почти поравнялась со срезом стены, но Самвел мягко, почти неуловимо начал наращивать ее, выметывая все выше и выше дымчатое марево защиты. Он мог бы сделать это разом, подняв стену до предельной высоты в шестьсот метров, а затем пустить ее на конус, замыкая беглый вертолет в ловушку. Но это — неминуемый воздушный удар, машина слишком близка к границе защиты... Он тянул стену вверх, пытаясь хотя бы на сотню метров обогнать вертолет, не теряя при этом необходимой плавности. Но машина снова рванулась вверх, и Магавира только застонал, потому что он-то знал, что скорость давно превысила и допустимую, и предельно возможную. Как? Да так же, как и все остальное в руках у этой чертовой девки. Если бы она стала сейчас выписывать на вертолете мертвые петли, он уже не удивился бы. Белейшая Кристина!

В комнатку все входили и входили, и толкали в спину Диоскуров, так что они вскоре были оттеснены к самому пульту, у которого колдовал Самвел, но сколько бы народу ни прибывало, в аппаратной царила все та же тишина, не нарушаемая ни всхлипом, ни выдохом, словно все пытались еще услышать сверчиный стрекот винта.

Последним вошел Абоянцев.

Он положил сухонькие руки на плечи Диоскурам и легко развел их, как только что сама Кшися разводила стволики осин.

— Что вы предлагаете? — спросил он совсем негромко. — Конструктивно.

— Стена на пределе, — не подымая головы от пульта, буркнул Самвел. — Тянуть выше можно только на вращении.

— Закручивайте, — не раздумывая ни мгновения, велел Абоянцев. — Только не забудьте сиять донную защиту.

— Уже.

Гамалей, только сейчас дошлепавший до дверей аппаратной, чуть было не охнул. Не было страшнее ситуации, чем сидеть под сенью вращающейся защиты. Бесцветный, бесшумный туман совсем безобидно, подымая лишь свежий ветерок, начинает закручиваться, точно смерч на приколе. Он течет из себя в себя, истончаясь и подымаясь все выше и выше, точно гад на хвосте, и теперь, сохраняя незыблемую устойчивость, может подняться еще на добрую тысячу метров. Песенка беглянки спета — вертолет выбрал все запасы скорости, а крутящийся столб растет по экспоненте. Вот только не дрогнула бы рука у Самвела — туман, летящий в каком-то дюйме над поверхностью земли, сметает на своем пути все, расплющивая и дробя до молекулярной пыли.

Теперь только сидеть и ждать, потому что, хотя стабилизаторы защитного поля и упрятаны в фундамент, все равно в режиме вращения на территории, огражденной полем, запрещены любые перемещения.

Даже Васька Бессловесный вкупе со свихнувшимся Сэром Найджелом замерли, отключенные специальным реле. Только где-то очень высоко, гораздо выше, чем могли бы летать несуществующие тут птицы, натужно свистел маленький вертолетик, пытаясь обогнать растущую ввысь стену. Гамалей свесился через перила колодца, стараясь разглядеть в ярко-лиловом небе серебряную жужелицу, и тут глухо и непонятно ахнул первый подземный взрыв.

— Ручная стабилизация! — крикнул Меткаф, но сухие ладони Самвела уже сжимали верньеры настройки, потому что сегодня он мог почувствовать и угадать все, и не было рук точнее и быстрее. Но мгновенно не могли двигаться даже они. И этого мига, когда тысячеметровый цилиндр, дрогнув, верхней частью своей описал в вечернем небе какой-то отрезок синусоиды, — этой доли секунды хватило на то, чтобы поток воздуха вышвырнул легкую машину, как камень из пращи, и, заваливаясь на бок, вертолет пошел круто вниз уже где-то там, за стенами ненужного больше цилиндра, неудержимо приближаясь к лиловой массе непроходимых кемитских джунглей, по которым, как черный лишайник, то и дело взбухали иссиня-черные пятна асфальтовых топей.

Самвел стремительно переключал экран с одного транслятора на другой, но все пять трансляторов, оставленные им на сегодня скупой «Рогнедой», просматривали только город, беспокойно мерцающий дымными храмовыми огнями.

— Через «Рогнеду»... — Абоянцев тоже перешел на обрывки фраз, экономя секунды, но экономить было уже нечего, потому что

грохнул еще взрыв, и еще, и еще, станцию потряхивало несильно, и не было бы никаких поводов для беспокойства, если бы побелевшие от напряжения пальцы Самвела не нажимали без конца один и тот же тумблер — аварийное выключение поля защиты. Километровый столб свистящего, неудержимо крутящегося тумана, словно гигантское веретено, которое не желало ни останавливаться, ни тем более исчезать; но оно уже не было строго вертикально — вершина раскачивалась, выписывая поднебесные кренделя, да и основание, по-видимому, вело себя не лучше, потому что откуда-то извне раздавался жуткий треск чего-то мгновенно уничтожаемого.

— Стена сжимается! — хрипло крикнул, словно каркнул, Самвел, и в тот же миг Абоянцев рванулся вперед и ударил сухим кулачком по аварийному колпачку системы эвакуации.

— Всем в капсулу! — рявкнул он, заглушая тоненькие повизгивания поврежденной сирены, и, схватив за плечи Аделаиду, оказавшуюся ближе всех к нему, швырнул ее с неожиданной силой к двери.

Гамалей, не видевший экрана и исчезнувшего с него вертолетика, слышал только эти две фразы и ужаснулся — ведь капсула, ринувшись вверх, неминуемо собьет легкую машину, но на дне шахты уже с металлическим лязгом разошлись донные плиты, и из-под них выпрыгнула и зависла прямо перед дверью аппаратной титановая плюшка аварийного левитра. «Ну!..» — крикнули на Гамалея сзади, и он как-то машинально, не глядя, схватил какую-то женщину и легко переправил в дыру бортового люка, потом еще одну, и еще, кусок пестрого шелка остался у него в руках, и он так же машинально принялся вытирать шею и щеки, но тут две пары рук ухватили его самого и бесцеремонно швырнули в люк — загораживал проход, растяпа несчастный, и тут в капсуле стало так же не продохнуть, как и в аппаратной, и бородкой вперед втиснулся Салтан — и люк за ним захлопнулся.

— Включайтесь, Магавира, — проговорил Абоянцев чуть ли не шепотом. — Уходим...

На потолке капсулы затеплился обзорный экран, и тут всем одновременно стало ясно, что это легко сказать: уходим.

Надо было еще суметь уйти.

Неумолимо сужающийся овал — выход из защитного цилиндра — непредсказуемо метался по экрану, замирая в какой-то точке, а потом снова превращаясь в гигантский маятник. Ловушка закрывалась медленно и неотвратимо, а немыслимые фигуры, выписываемые верхней частью цилиндра, предугадать

было просто невозможно. Все, затаив дыхание, ждали, доверившись чутью Магавиры, но и он медлил — бросать машину вертикально вверх, даже на максимальной скорости, значило идти на риск столкновения со стеной; пытаться маневрировать, уходя от пляшущего тумана, — едва ли не большая опасность получить силовой удар, который отбросит капсулу вниз, на щетинящуюся антеннами крышу Колизея.

И все-таки страшнее всего было медлить. Раздавит в пыль, сожмет в комок сверхплотного вещества. И прежде всего — как только стена сожмется до самого Колизея — капсулу тут же заклинит в шахте внутреннего колодца.

Так чего же ждать?

Но Магавира знал и ждал, и как бы в награду за его немыслимое спокойствие овал на потолочном экране замедлил свою пляску, движение его стабилизировалось; теперь он слегка покачивался, как падающий лист, но в этих плавных траекториях чувствовалось сдержанное безумие — каждую секунду истончившийся защитный цилиндр мог выкинуть что угодно, и теперь уже Гамалей совершенно перестал понимать, почему они все еще стоят, и он оглянулся на Магавиру, и по его лицу с ужасом понял, что тот НЕ МОЖЕТ врубить двигатель.

— Старт!!! — не своим голосом рявкнул Абоянцев, и в последний момент, валясь на кого-то и чувствуя на себе тяжесть тел, удесятеренную не предусмотренной никакими инструкциями перегрузкой, Гамалей понял наконец то, что все остальные попросту знали: стабилизация защитного поля не была случайной.

Кто-то из них, оставшись на своем посту в обреченном Колизее, включил ручную балансировку и умудрился скомпенсировать колебания бешено крутящегося столба. Вот только не было уже сил поднять веки и посмотреть — кто.

Но сознание не отключилось, и Гамалей с горестью думал о тех секундах, когда Магавира все не мог включить стартер и поднять машину, оставляя здесь одного из них. «Я тоже не мог бы», — сказал себе Гамалей.

Он вспомнил крик Абоянцева — мужественный все-таки был старик. Всех бы расплющило в этой дыре. Потому что того, кто остался за пультом, ждать было бесполезно — он не оставил бы своего пульта. Потому что он не только давал возможность маленькой капсуле пройти сквозь жерло защитного колодца — до последнего мгновения он будет удерживать проклятый, невыключаемый защитный столб, чтобы тот в неистовой смертоносной пляске не задел вечерний город. «Я тоже не смог бы бросить

пульт, — подумал Гамалей. — Я тоже сделал бы все так, как делают они. Я все мог бы. На их месте. А на своем я так и не сделал ничего...»

## 22

Прелестный был день... Да что там — наипрелестнейший. И если еще к тому же... Оп-ля! Нет, не зацепилось. Скользкий, подлюга. Обогнать его, вприпрыжечку, вприпрыжечку, нацелиться заблаговременно... Оп!

Нет, не дается. То ли когти на ноге отросли слишком поспешно и закостенеть не успели, то ли арык этот сливной сегодня журчит бойчее обычного, только не подцепить эту витулечку-крохотулечку. Вот бы никогда не подумал, что такой каштан созреть соблагосподобится. Оранжевый, что тебе косточка персиковая, а уж завитки... Гоп!

Ах ты, спящий-переспящий, опять сорвалось. Ежели бы не эти нечистоты, что рядышком болтаются, то рукой подцепить — и каштан в подоле. Весь вечер бы мыл, да смолкой крыл, да мхом протирал, а кругом да поодаль иововразумленные сидели бы, на украшение учителевой хоронушки взирали бы наипочтительнейше, а в лицо, особливо в рот, истины изрекающий, — это ни боже мой. Есть, конечно, малая толика греховности, что позволяет он внимать себе, аки Богу во плоти, да кто же виной, что само собой это получилось? Как Ииебела, самодума прыткого сверх меры, всесожжению предали, так учеников сразу утроилось. И как преданны! Хотя, может, просто со страху — святожарища-то полыхают теперь... Оп!

Вот ты и мой, голубчик. Посохни, повыветри воинь сливную, а потом я тебя и в должный вид приведу. Так с чего же это ученики так усердствуют? Нет, не со страху. Нутро чует: нет. Просто сам он, Арун благомудрый, стал так звонок в речах, так легок в ногах, так величествен в телодвижениях, что поневоле затрепещешь. А как и не стать таким, когда сгинул наконец маляр дотошливый, у которого что ни вопрос — рыбья кость игольчатая! Да и молчал когда, а только глазища свои чернущие пялил недоверчиво — язык тяжелел, становился рыхлым и вязким, как водяной клубень.

Ну вот, вроде и смердит поменее. Завернуть теперь в лопушок да спуститься до конца улицы, где никто уж воду не берет, чтобы в чистом арыке его сполоснуть. Ах, какой день выдался, и вечер впереди манит россыпью кухонных угольков, медовой пряностью коржиков, а перед сном...

Босые ступни уловили этот гул раньше, чем уши, и старческие сухие кости донесли снизу вверх, до мудрой круглой головы, сигнал тревоги. Арун с неожиданной легкостью перемахнул через сливной арык и прижался к забору последнего на этой улице дома. Только тогда позволил себе осторожно, скривив шею, так что кадык выпер столь нехарактерным для гончара острым углом, оглянуться.

На полдороге вниз от Храмовища, гулко вбивая пятки в неостывшую вечернюю дорогу, мчалась вниз шестерка быстрых скоков. И добро бы — одна! Следом, на расстоянии двух заборов, мерно подпрыгивала вторая шестерка, в самом верху, возле Уступов Молений, похоже, строилась третья.

Это для одной-то улицы!

Арун досадливо покряхтывал, поводя головой, как отупевший от боли гад: на скачущих — на угол двора; снова на скачущих... Что-то было странное в этих фигурах, вот только что? А угол ограды был совсем рядом, шагах в четырех, и неприметно, бочком добраться до него — а там и луг, трава такая, что присядешь — и нет тебя...

Он прекрасно понимал, что обманывает себя. Не желание отмыть поскорее вожделенный огненный каштан и не стремление спрятаться от легконогих скоков, которые трюхают сюда отнюдь не по его душу,— нет, его тянуло сюда ежедневно, к этой белой стене, замазанной наспех по приказу Неусыпных сразу же после всесожжения; он приходил сюда, пашаривал ступней брошенные горшочки с краской, и вот тогда приходило упоительное ощущение победы, и он мысленно вызывал своего непокорного ученика, и начинал с ним бесконечный, унизительный для Инебела разговор, начинал всегда одними и теми же словами: «Ну вот, я здесь, живой, мудрый и сытый,— а где теперь ты?..»

Скоки меж тем не добежали до него одного двора, разом притопнули, разом сели в дорожную пыль. Ну, и слава Спящим Богам! Можно идти своей дорогой. Он, правда, не стал перебираться обратно через арык, прополз вдоль стены, обдирая плечо, но вот и угол, вот и забеленный торец, где в последний раз виделись они с нечестивым упрямцем. «Ну вот, я здесь, а где же теперь ты, Инебел?»

И еще не осознала голова, а пальцы судорожно вцепились в ребро забора, так что известка треснула и начала крошиться в разом запотевших ладонях.

В каких-то пяти шагах стоял Инебел, здоровый и невредимый, и не просто стоял — быстро рисовал что-то травяной кистью,

блудодей проклятый, постоянно оглядываясь через плечо на Обиталище ложных своих Богов!

Может, и бывает мера ненависти, но только не про такой она час! Потому как глаза аж кровью застлало, и ни страха, ни раздумья — только схватить, и повалить, и топтать, и жечь!..

Жечь!

Он оттолкнулся от забора, перемахнул через арык и с юношеской легкостью помчался вверх по дороге — прямо на сидящих в пыли скоков.

— Жечь! — кричал он, и руки его, утратившие былую округлость, метались, словно языки пламени. — Жечь нечестивца, избегнувшего кары божьей! Жечь святотатца, обманувшего огонь святожарища! Вязать, топтать и жечь!..

Разом вздыбилась шестерка скоков, словно дернули их за веревочки, которые подвязывают к «нечестивцам»; разом взметнулись легкие наплечники, и Аруна как будто смело с их пути. Они дружным галопом слетели вниз, на луг, а следом и вторая шестерка, и третья подоспевала, а Арун все трясся, вжавшись носом в жесткую щетинку обочинной травы.

И не собственная смелость — вздумал скоками повелевать! — и не их непонятное, безоговорочное послушание... Не это довело его до того, что ничком плюхнулся вниз.

Страшная картина увиделась ему, когда взметнулась серая ткань наплечников: на груди каждого скока было нарисовано запретнейшее из запретных — огромный, широко раскрытый глаз, означающий пробуждение гневных Богов!

Третья шестерка скоков протопала над ним, обдав его душной пылью, а он так и лежал, закрыв обеими руками свою многомудрую, хитроумную круглую голову.

А когда он наконец поднял ее, душная терпкая гарь живой листвы стлалась по земле, и Арун увидел, что одинокое дерево, прижавшееся к забору со стороны двора, занялось дымным пламенем, которое нехотя подымается к бесформенному свертку тряпья, привязанному к толстой средней ветви.

Не жрецы, а он, он повелел скокам — и его повеление выполнили. Началось его время!

Он, переваливаясь с боку на бок, приподнялся на четвереньки, попытался встать. Ноги не держали. Эти мгновенно сменяющие друг друга ощущения панического страха и неистового ликования так измотали его, что сейчас он не сделал бы и шагу, предложи ему все сокровища Храмовища.

И все-таки он пошел. Поковылял, заскользил вниз, на прежнее место, где, тупо глядя в огонь, четкими шестерками сидели

в траве сделавшие свое дело скоки — сидели, старательно прикрыв наплечниками жуткую, непонятно для чего вытатуированную распахнутость пробужденного Божьего Ока. И где неверными контурами обозначился на белой стене забора наспех набросанный диковинный рисунок — Обиталище Нездешних Богов, объятое пламенем.

Но горело не Обиталище, никому не нужное, никого никуда не позвавшее,— горел Инебел нечестивый, Инебел мыследерзкий, Инебел непокорный, почему-то не захотевший стать первейшим и преданнейшим из его учеников... И то ли вслух, то ли одним хрипом пересохшего рта: «Вот я здесь, мудрый, живой и сытый, а ты — где теперь ты?»

И тотчас же сверху, словно этот мысленный вызов был услышан, донесся ответный крик, в котором звучали радость и надежда:

— Арун! Учитель!

Вот оно, торжество!

Вот она, просьба о пощаде, клятва в покорности!

Поздно только.

— Что тебе, преданный гневу Богов?

— Арун, слушай меня! Они идут убивать! Беги в город — пусть прячут детей... особенно — худородных...— Инебел зашелся в кашле — дым уже подобрался, душил.— Худородки ведь тоже дети! Спеши, учитель!..

Попятился Арун, ноги снова согнулись в коленях. Ну, до чего же паскудный день — то вверх, то вниз, то в чистую воду, то в сливной арык! Дети ему дались, худородки чужие, а?

И еще — «они идут убивать»... Кто — жрецы, скоки? А ведь похоже... Тогда — предупредить, только не мелюзгу, под ногами кишащую, что и народить-то ничего не стоит, а своих, самых нужных, самых верных, без которых жизнь потеряет всякий смысл...

Он метнулся обратно, к улице, понял — поздно. Потому что весь контур черных Уступов полыхал яростными, бесшумными огнями, на площади вокруг Храма, запруженной пестрой толпой (и когда успели?..),— скачущие вверх и вниз факелы, словно они попали в лапы синеухим обезьянам. Жрецы там, значит. А скоки — внизу каждой улицы. Ждут. И на вершине Уступов огненные глаза зажглись — сами собой.

Значит, сейчас ринутся в город. Не успеть. Думай, Арун многомудрый, думай... Когда не успеть предупредить, следует беду в другое русло отвести.

Худородки!

Он-то знает, в каких они дворах, он-то может указать! Вот туда-то гнев жрецов божьих и стравим, взявшись умеючи!

Уже в который раз он велит разогнуться своей ноющей спине, приказывает выпрямиться своим заходящимся мелкой дрожью коленям... Беги, Арун! Подымай хамский люд — много их в городе, на тебя, многомудрого, десять раз по десять полнейших кретинов. Только кликни — отзовутся.

И он кричит:

— Бей худород... ик! — и поперхнулся собственным криком.

Горло перехлестнуло тоненькой петлей — даже руками схватил, будто такое разорвать можно... Душит! Душит, проклятый, как тогда жреца преподобного задушил. Боги, боги сладкопочивающие, помогите!..

Мотая отяжелевшей круглой головой, невольно оглянулся — все дерево было окутано плотным сырым дымом, ни ветвей, ни привязанного там, наверху. Фу. Ведь померещится же такое! А был всего лишь страх — страх памяти, проснувшейся так не вовремя. Мог бы, конечно, придушить, но минул час. Второй раз не улизнешь от огня карающего, нет, шалишь, мазила своеумный!

А все-таки отбежать подалее...

Он миновал один дом, и другой, и третий, и с ревом и смятением разноцветных непраздничных огней валила ему навстречу толпа распаленных горожан, и только тогда, когда до них осталось не более трех надручейных мостков, он остановился и, воздев руки к круглому, точно разверстое око, вечернему солнцу, завопил:

— Все, кто чтит богов истинных, — бей худородков! Во имя Закрытого Ока! — и задохнулся от гордости и ликования, когда набегавшие на него жрецы подхватили за ним, простым горшечником: «Во имя Закрытого Ока!»

— И на погибель Открытому Дому! — по какому-то внезапному наитию добавил он и обернулся, грозя круглыми кулачками ненавистному Обиталищу Нездешних.

И словно в ответ на его проклятие серебристо-прозрачные стены дрогнули, заструились по кругу бесшумно и стремительно, стоячим смерчем вздымаясь все выше и выше, словно стараясь дотянуться до голубоватого послеполуденного солнца.

Арун слабенько охнул, обхватил голову руками и, снова став абсолютно круглым, покатился куда-то под сырой мосток. И вовремя: завывая и рассыпая искры, налетела орда жрецов — от мала до велика, в слепых ощерившихся масках, разящая перегаром травяного дурманного пойла...

Боги проснулись, Боги карали — мстительные, всевидящие, лютые!

Ужасающий, сверлящий вой достиг ушей Инебела, заставил очнуться. Умирать второй раз той же самой медленной смертью в дыму и смраде было невыносимо противно и даже в какой-то степени — попросту скучно, и он радовался забвению и больше не напрягал свою мысль, чтобы разогнать перед собой густое облако лиственного липкого дыма. Смотреть было не на что — поднебесное гнездо, где обитала Она, было пусто, и он почему-то знал, что больше Она в нем не появится. И все-таки, когда он в последний раз пришел в себя, мысли собрались, словно руки, сложенные вместе и разрезающие перед собой воду, а потом развели этот дым в стороны, и в открывшийся просвет Инебел увидел, что прозрачный колокол, незыблемо стоявший столько дней, стремительно кружится, словно одурманенный соком ярджилы, и растет, растет вверх, дотягиваясь до вечерних лиловатых облаков... Но не это было самым страшным — нет, неясная тревога, мгновенно перешедшая в ужас, заставляла его искать светлое платье; и в то же время он уже знал, уже чувствовал: Ее здесь нет. Вообще нет. Она где-то...

Наверху, подсказало чутье, вот где. На крыше Обиталища? Нет, еще выше. Он напряг зрение, одновременно разгоняя последние струйки дыма, режущие глаза, и за пеленой сгустившегося, струящегося тумана увидел в лиловой вышине громадную черную пчелу. Пчела подымалась все выше и выше, бешено трепеща жесткими черными крыльями, и на ее широкой, как у горного змия, спине угнездилась прозрачная коробочка. А в коробочке... Он задохнулся. Та. Без имени.

Он не успел по-настоящему удивиться этому чуду, как случилось новое, еще более непонятное: вся земля напружинилась и ударила дерево, к которому он был привязан, словно хотела вытолкнуть его вместе с корнями, но дерево только качнулось, так что Инебел ощутил этот удар всей спиной, прикрученной к толстой ветви, но в тот же миг ударило и по текучей стене, потому что она качнулась, верхний край ее заплясал в тщетной попытке дотянуться до облака, и в тот же миг громадная черная пчела, которая никак не могла дотянуться до края, сделала рывок и выпорхнула наружу — нет, не сама, и вовсе не выпорхнула, а ее выбросило, точно камень из закрученной веревки, и она, обламывая жесткие крылья, начала падать, подлетывая чуточку вверх и снова ныряя вниз, навстречу вечерним лесам, навстречу смертельным черным топям, которые отсюда, с вышины одинокого

дерева, виднелись голубыми холодными пятнами, светящимися отраженным светом послеполуденного солнца.

«Боги! — взмолился Инебел. — Боги, спящие или бодрствующие, карающие или дарящие, — любые боги, только не туда, только не в черную топь...»

Но пчела падала именно туда. У края, под самыми деревьями, окружившими предательскую поверхность, но все-таки туда. Инебел весь выгнулся, стараясь оторвать тело от подрагивающего дерева, словно за короткие мгновения, отделявшие пчелу от падения, он смог бы домчаться туда и хоть что-то сделать. Он уже не думал ни о чем — ни о новых глухих подземных ударах, ни о пляшущем серебряном столбе, который становился почему-то все уже и уже, он не отдавал себе отчета даже в том, что он видит гораздо дальше, чем до сих пор позволяло ему зрение, да еще и в вечернем тусклом свете... И все-таки он видел, он знал: вот проклятая пчела, раскидав вокруг себя последние обломки крыльев, тяжело плюхнулась в жирную вязкую жижу, из которой не выбирался еще ни разу ни зверь, ни гад, ни человек; вот прозрачная коробочка на ее спинке раскрылась, и легкий язычок светлого пламени выметнулся наружу — тонкая, напряженно вытянувшаяся ввысь женская фигурка, которую отсюда не различит человеческий глаз... Выше! Еще чуть-чуть выше, наверху ведь гибкие ветви, чудом не обломанные падающей пчелой, и никакого ветра, ну ни малейшего, чтобы качнуть эти ветви, нагнуть над тонущей пчелой...

Уже и не язык пламени — едва светящаяся голубая тростинка, безнадежно вытянувшаяся вверх, и нет таких богов, нет такой силы... Нет? Он не заметил, когда она пришла к нему, и откуда, эта сила, это всемогущество, и тем более он не смог бы сказать, где эта сила угнездилась — в голове или в кончиках пальцев... Впрочем, нет, и это уже он мог. Сила была где-то в чудовищно напряженном спином хребте, и юноша понял: шевельни он сейчас лопатками, дрогни локтями — веревки треснут, как сплетенная паутина... Только нельзя. Ни крупицы этой непонятно обретенной силы он не мог, не смел потратить на себя! Даже на то, чтобы разогнать дым, едким одеялом кутающий все дерево. Гад с ним, с дымом. Все равно то, что открылось Инебелу в вечерней сиреневой мгле, видится не глазами. Ничего для себя. Ни просяного зернышка. Только там, над голубеющей лужей вонючей топи — ветви, опускающиеся все ниже... ниже... Ну, еще, поднатужься, Инебел, соберись, еще есть какая-то сила в плечах, и ниже, к локтям, выуди из своих мышц все ненужное тебе их могущество, и пошли туда, где перистые пушистые лапы, такие

розовые на утреннем солнце, и узловатые гибкие ветви, податливые, словно хвосты обезьянок, — если даже не нагнуть разом, то слегка раскачать, и сильнее, и сильнее, вот они коснулись ЕЕ пальцев — боги, все равно какие боги, он же это почувствовал — ЕЕ ПАЛЬЦЕВ, таких холодных от смертного страха, и он стал уговаривать Ее: не бойся, моей силы хватит на нас двоих, я всемогущ, потому что я люблю Тебя, ту, которой я не успел придумать даже имени, и я сейчас оплету Твои запястья пушистой, но прочной зеленью... вот так... Ты только не бойся, и будь послушна, как тогда, когда Ты лежала на моих руках, вся моя, от узнавших меня живых волос — до чужого, неподвижного лица... лицо я не трону, но руки — протяни их повыше... и еще выше... да не дрожи, Ты тут ничего уже не можешь сделать, тут повелеваю только я... вот так. Умница. А теперь не бойся, у меня еще огромный запас сил, сейчас я рвану ветви вверх, и они вынесут Тебя на твердый берег, только оттолкнись ногами, послушай меня и...

В этот последний рывок он вложил все свои последние силы, так что в спине что-то хрустнуло, и красные пятна поплыли сверху вниз, словно капли, стекающие с поднявшегося уже вечернего солнца, и последнее, что он почувствовал, это была колючая хвоя, но не под своей спиной — нет, под Ее голыми руками, опершимися было о мшистый твердый бугор и бессильно подломившимися...

А потом было все безразлично, и серебряный пляшущий столб, еле видный в клубах так и не желавшего подыматься выше травяного дыма, и странно сузившееся Обиталище, которое помещалось теперь как раз в границах бешеного столба, и эти стенки, постоянно сжимаясь, как бы слизывали одно за другим верхние гнезда Обиталища нездешних, но от этого не возникал страх — оно было пусто и не освещено вечерними светящимися гусеницами, которые, бывало, повисали каждый вечер под сводами многоярусных потолков.

Ипебел обвис на веревках, вздрагивающих, как паутина от ударов, которые, не затихая, выбулькивали из подземных тайных глубин, словно серебристые пузырьки болотного газа, но эти удары били теперь по нему одному — по сухой подрагивающей ветви, с которой он сросся спиной, а раз по нему одному — значит, было уже не страшно. Он вдруг вспомнил о скоках, рассевшихся под деревом, и представил себе, как они сейчас подскакивают и плюхаются обратно, на сухую землю, окаменев в необъяснимой недвижности, словно лягушки под пристальным змеиным взглядом; и он ощутил животный ужас всех этих обреченных, потому что в своем жутком беспокойстве неправдоподобно

истончившийся серебряный столб, заполненный бешено крутящимися обломками, свивающийся в тугой жгут, временами сбрасывал с себя лишние пряди студенистого тумана, и на том месте, где проскальзывала эта бесцветная и, казалось бы, невесомая струя, оставалась жуткая плешина обнаженной земли, с которой был начисто срезан весь влажный ворс луговых трав.

То равнодушие, с которым Инебел разглядывал сверху все эти чудеса, было последним чувством, уцелевшим после невероятного напряжения всего тела и главное — всей его души. Тот рывок, который вздернул вверх древесные ветви вместе с обвисшей на них женской фигуркой, словно выдернул из самого юноши какую-то сердцевину. Теперь он был одной пустой шкуркой, на которой каким-то чудом еще жили глаза. Слух скорее обманывал, чем повиновался, — до Инебела доносилось ни разу им не слышанное биение громадного нездешнего «нечестивца» — редкие глухие удары, слетающие откуда-то сверху. Наверное, они выплескивались из серебристой трубы, все туже и туже стискивавшей в своем стволе рушащееся Обиталище, — да, так гулко и предсмертно билось сердце этого непонятного строения, непостижимого до такой степени, что сейчас Инебел был уверен: это скопище высоких гнезд было живым существом, которое откуда-то появилось на болотистом лугу перед самым городом, и теперь вот не то исчезало, не то подыхало, в своей конвульсивной агонии превращаясь в гигантского каменного змия, поднявшегося на кончике хвоста, чтобы вырваться от стиснувшей его со всех сторон прозрачной удавки.

Это не укладывалось ни в какие законы, и было до боли обидно, что приходится второй раз умирать уже пережитой медленной, удушливой смертью, когда перед тобой творится такое небывалое чудо, которое ему уже никогда в жизни не придется нарисовать.

Но сил не хватало даже на то, чтобы поднять слабейший ветерок и разогнать сгущающийся дым. Жар неумело разожженного костра наконец достиг его ног, и Инебел подумал, что надо бы вдохнуть разом побольше этой дурманящей гари и прекратить бесконечно длящуюся пытку удушьем, и тут, словно в ответ на его мысль, прямо перед глазами полыхнула сизая неразветвленная молния. Дым словно срезало, и в разомкнувшейся, точно занавес, голубизне вечерней долины Инебел увидел, как пожираемый ослепительным огнем крутящийся столб стремительно наклонился, и из-под него, срезая кочки, выметнулся студенистый светящийся язык — если бы это происходило во сто крат мед-

леннее, то Инебел бы подумал, что это улитка выпустила из-под своей скорлупки слизистую безобидную ногу.

Но светящийся студень плеснул прямо к подножию дерева, едкий пар с тошнотворным запахом паленого мяса полыхнул вверх, обжигая легкие, и тут же по стволу дерева резануло острым ударом, и хруст ломающейся древесины смешался с последним звоном исполинского небесного колокола, оглушительного, как удесятеренный гром, и в тот же миг Инебел почувствовал, что он падает — снова падает, как и во время первой своей смерти, но вместо беспамятства он отчетливо ощутил царапанье веток, и скольжение по телу обрывков лопнувшей веревки — словно десяток мелких гаденышей пугливо порскнули прочь; и в следующий миг он уже мог просто и беспрепятственно спустить ноги вниз и спрыгнуть на то, что недавно было луговой травой, а теперь стало теплым студнем, и в какой-то дымной, клубящейся тишине он бессознательно побрел вперед, выставив руки, чтобы не наткнуться на привычную стену серебряного колокола...

Острой нездешней смертью пахнуло откуда-то снизу, и Инебел замер на самом краю ямы. Она чернела бездонным провалом, и голубое вечернее солнце едва-едва обозначило противоположный ее край.

Но дно все-таки было, потому что капли подземной воды, сочащейся изнутри, падали куда-то с холодным отчетливым стуком. И, кроме этого мерного бульканья, ни одного людского звука. Словно и не здесь бесновалась орда жрецов и скоков. Инебел невольно взглянул иа свои ноги и вздрогнул от омерзения: по самую щиколотку они были в густой, почти черной крови. Вот оно, значит, что за студень...

Он так и стоял, чуть покачиваясь, тупо глядя на исполосованные кровью ноги, не ощущая ни этих ног, ни рук, ни вообще себя: не было больше нездешнего Обиталища, и не было больше вольнодумного маляра, которому мать при рождении завещала сказочное желание быть белее белого, чище чистого, светлее светлого... Позади был его город, с бессмысленной жестокостью богов и жрецов, с бессмысленной покорностью маляров и ткачей и бессмысленной жаждой всевозможных арунов (не один же он был, властолюбивый самодовольный горшечник!) подчинить себе простодушных «воспитанников».

Впереди была только черная яма, в которой с колокольным звоном исчезло сказочное Обиталище, с живой тепловатой травой, с мерцающими в ночи воздушными ступенями витых лесенок,

с душистым древесным полом, по которому так бесшумно ступают босые ноги...

Внутри — и в груди, и в голове одновременно — что-то хрустнуло, и чужая боль вошла в него и стала его естеством: боль коченеющего женского тела, отшвырнутого упругими ветвями на каменистый косогор за черной топью.

## 23

Столько ночей не было этого сна, и вот он снова пришел: и нежные руки, умеющие каким-то чудом ласкать все тело разом — от сомкнутых ресниц и до самых кончиков пальцев, сжавшихся от холода, и...

Нежные, огромные, чуточку шершавые, точно губы у пони, чуткие, как ворсинки росянки, и даже сквозь закрытые веки — чистые дождевой чистотой, и больше никаких «и», одни только руки, долгожданные, окаянные, наяву-то ведь так и не угаданные...

С тем особым лукавством, которое позволительно только во сне, когда так и говоришь себе — ведь можно же, раз я сплю! — с тем самым лукавством она тихонечко запрокинула голову, чтобы только чуточку приподнять ресницы и наконец-то подсмотреть во сне, раз уж так старательно прятался он наяву; но от этого едва заметного движения жгучая боль свела левую руку где-то между плечом и локтем, и она испугалась, что не выдержит, и закричит, и проснется от собственного крика, и успела стиснуть зубы, так что получился только коротенький всхлип. Но и этого было довольно, потому что в ответ возникли еще и губы — такие же шершавые и легкие, точно руки, они безошибочно отыскали больное место и начали пить эту боль маленькими сухими глоточками, и боль стала мелеть, подернулась радужной пленочкой, защекотала, улетучиваясь... А ведь и губы эти уже были, были, только всего один раз, сказочный и не повторенный, как она ни звала их. Ох, не проснуться бы, ведь за губами этими было и еще что-то, тоже ни разу не припомненное, и пусть будет еще раз, во сне ведь можно... Но в ответ появилось дыхание — покатилось теплым комочком по щеке, оставляя чуть слышный запах травяного дымка, и, упруго вспухая в самой середке этого дымного шарика, рождались слова-заклинания: «Проснись-отворись, безымянная, долгожданная, окаянная, отворись-проснись, несуженая, колокольным звоном потушенная...» — «И не подумаю, — прошептала несуженая. — Я проснусь, а ты исчезнешь, да?»

Теплый комочек, добравшийся было до ямочки на горле, вдруг сжался, замер на месте и начал стремительно холодеть. Дыхание остановилось. Почему вот только?

Может, она что-то не то сказала? Кшися наморщила лоб, мысленно повторяя только что сказанное, и вдруг поняла, что говорили-то они оба по-кемитски.

Если бы это было не во сне, она испугалась бы, вскрикнула, попыталась бы оттолкнуть эти ласковые, баюкающие руки. Но именно эти руки и были самой надежной защитой, которой она столько раз доверялась в своих ночных странствиях по существующему только в ее снах Та-Кемту, и теперь эти руки снова отыскали ее, и перед этим все уже было неважно. По-кемитски, так по-кемитски. И она повторила, старательно, как на уроках Сирин Акао, выговаривая слова:

— Не оставляй меня больше одну. Пожалуйста.

Дыхание снова появилось — прерывистое, жаркое, как будто дышали горячим дымом. И так же изменился голос — слова, сухие, шуршащие, слетали с губ одновременно и легко и с трудом, словно чешуйки обугленной кожи:

— Двумя огненными смертями покарали меня за это боги...

— Это еще какие такие боги? — изумленно проговорила она, широко раскрывая глаза, и запнулась: над нею лунным светом светилось узкое белое лицо, которого она не видела, да и не могла видеть ни разу в жизни, потому что не бывает таких человеческих лиц.

И тогда подступил к ней ужас, готовый подхватить ее на свои холодные, липкие лапы. И снова единственным спасением стали руки — действительно, какое значение имеет это незнакомое лицо, если руки-то ведь те самые, которые только для нее, в которых ее легкое даже для кемита тело устраивается уютно и единственным образом, как сливочное тельце улитки — в завитках ее фамильной коробочки. Бог с ним, с лицом, — лишь бы не исчезали эти руки...

— Ладно, — проговорила она, — сам-то можешь и исчезнуть. Только пусть останутся твои руки...

Черные огромные глаза — черное и белое, рисунок неземного мастера — полыхнули невидимым огнем. Надо думать, инфракрасным.

— Мы называли вас кемитами, — вполголоса, снова полуприкрыв глаза, задумчиво проговорила Кшися. — Это просто безобразие, когда берут, не подумав, первые попавшиеся слова... По-настоящему вас надо бы называть как-то по-другому. Приходящие во снах... Нет, длинно и неуклюже. А как ты сам хочешь, чтобы я тебя называла?

— Зови меня Инебел, ибо наречен я так для того, чтобы быть белее инея.

— Зачем? — искренне удивилась она.

— Белизна угодна Спящим Богам, ибо в белизне — тишина.

— А по-моему, в белизне — предрасположение к злокачественной анемии... Не знаю, как это на вашем языке. Гемоглобин надо повышать. Вот ты — ну, посмотри на себя,— она удивительно легко, без всякой боли, исчезнувшей под его магическими губами, подняла руки и провела пальцем по скулам — к уголкам громадных черных глаз.— На тебя ж смотреть страшно — кожа да кости. Как ты только меня на руках носишь? Впрочем, во сне все легко... Вон я — повисла у тебя на шее и разговариваю, как ни в чем не бывало, а будь это наяву, я верещала бы от страха на весь ваш кемитский темный лес!

— Но это все — наяву...

Явь, точно того только и дожидалась, нахлынула на нее со всех сторон,— и желтовато-ячеистое тело громадной луны, бесшумно рушащейся в перистые ветви тутошних елок, и пронзительный надболотный сквозняк, доносящий запах сброшенной гадючьей шкурки и надломленных веток цикуты, и трепетное горловое клокотание древесной жабы... Раньше это был не страх. Настоящий страх пришел только теперь.

— Ну и что? — проговорила Кшися, упрямо вскидывая подбородок.— Все равно это — твои руки. А остальное неважно.

## 24

— Дым в квадрате триста четырнадцать-«Ц»,— доложил Наташа.

— В двух соседних тоже по дыму,— буркнул брат-Диоскур.

— Но в квадрате «Ц» третий день в одно и то же время и на одном и том же месте.

— Естественная линза. Тлеет мох между скал, поэтому пожар и не распространяется.

— И все-таки я спустил бы поисковый зонд.

— Последний на «Рогнеде»?

— А почему бы и нет? Просвечивать дальше эту асфальтовую ловушку не имеет смысла. Каркас вертолета мы и так нащупали, а ничего другого обнаружить и не сможем.

— Посылай. Посылай последний зонд. Снимай все остальные и загоняй их в скалы. В конце концов гони туда вертолет. Делай все, только чтобы не оставалось этого невыносимого «а если?..»

— Уже послал.

Зонд стремительно ухнул вниз, на экране закрутились, стремительно приближаясь и вызывая привычную тошноту этим иллюзорным штопором, змеистые расщелины известняковых скал. Зонд, запрограммированно шарахаясь от каждого острого пичка, принялся рыскать, точно терьер, учуявший крысу.

— Смотри, смотри! — крикнул Наташа.

Мохнатый бухарский ковер самой причудливой расцветки — пепельный с сине-багровым узором — плавно стекал вниз по уступам, обволакивая мшистые камни и затем освобождая их, — уже безо всяких следов растительности.

— Пещерный скат! А Кантемир говорил, что они встречаются только у самой границы вечных снегов.

— Кристина говорила, что видит их почти в каждом сне...

Диоскуры разом замолкли.

— Вон и твой дым, — нехотя проговорил Алексаша. — Тлеет прямо посреди озерка, словно вода горит.

— Бобровая хатка, — сникшим голосом отозвался Наташа. — Ящерный бобер... боброзавр... ондатрозавр...

— Не впадай в детство, сделай милость!

— Вот в том-то и наша ошибка, Алексашка, что мы забыли о детстве. Взрослые нас не примут, у них боги в нутро вросли. Надо ориентироваться на детей. Мы уперлись в формулу контакта, потому что искали ее для взрослых. А если взять детей...

— Интересно, а как это ты себе представляешь конструктивно? Красть их, что ли?

— Не знаю, не знаю... Вот это и надо было ставить на обсуждение по всегалактической трансляции. Кто-нибудь и додумался бы.

— Да уж это несомненно! Только в благодарность за наше воспитание эти милые детишки — а детям одинаково свойственна шаловливость — возьмут и рванут наш Колизей, как их папочки поступили с первым.

— Колизей угрохал наш собственный генератор... А вот тебе, брат Алексий, в Колизей-два, если его и построят, определенно нельзя. Ты ненавидишь Та-Кемт.

— Да, ненавижу. И не могу иначе. Пока. Зато буду внимателен и осторожен, не то что прекраснодушные мечтатели вроде тебя, когда ступлю на него во второй раз.

— Ты о чем?

— О твоих воспитательских бреднях. Детишек взять, видите ли.

— Но это не моя идея. Кшисина...

Наступила долгая тишина. Затем кто-то из Диоскуров устало проговорил:

— Дым в квадрате двести девяносто-«Д»...

## 25

Начала водопада видно не было — он появлялся из облаков, а может быть, и прямо из самого неба, проскальзывал вдоль наклонной скалы и, подпрыгнув на уступе, разбивался на множество отдельных струек, брызжущих во все стороны. Инебел запрокинул голову, пытаясь поймать крайнюю струйку раскрытым ртом, но та плясала по всему лицу, отнюдь не желая выполнять свою прямую обязанность — поить усталого человека.

Пришлось сложить ладони и напиться из горсти.

Вкус ручейной воды каждый раз ошеломлял его. Древний закон разрешал пить воду только из чистого арыка, и от той воды мерно и бесшумно двигались руки и ноги, спокойно ползли мысли, благополучно дремала воля... От этого же ледяного питья хотелось, ни много ни мало, слегка передвинуть вон ту белую горушку, чтобы не заслоняла утренние лучи, освещающие пещеру. Потому что при воспоминании о том, что он видел каждое утро, пробуждаясь, его сердце сжималось, точно на него обрушивалась ледяная струя: ведь вчера был предел, после которого кончается жизнь и начинается дурманное бесконечное блаженство, которое дано в удел только Спящим Богам. Вчера был предел. И не могло сегодня быть ничего большего.

И каждой ночью все-таки было неизмеримо больше...

От одного воспоминания все тело вдруг вспыхнуло, так что пришлось встать под тугие тяжелые струи и постоять, пригнувшись, чтобы прошлись они хорошенько по чутко подрагивающей спине, выбили ночной дурман... Ну вот, теперь и руки отмочить можно. Он спустился вниз по течению, нашел тихую заводь с плавучей хаткой. Размягчив руки, поднял пеструю шкуру ската-громобоя и долго полоскал ее, пока не улетучился последний запах крови. До полудня солнце ее высушит — вот и еще одно одеяло на четверых. Ловко он заманивал скатов: прикидывался млеющей на камнях молодой короткохвостой красоткой и призывно посвистывал, и тотчас же из подземных расщелин показывался подслеповатый древний мохнач, истекающий голубоватыми разрядами, и учинял тут же сладострастную пляску, разбрызгивая вокруг себя снопики смертельных молний. Инебел затаивался где-нибудь вне

досягаемости опасных искр и продолжал рисовать в своем воображении сине-пурпурную спинку распластавшейся клетчатой самочки. И чем ярче он это себе представлял, тем скорее иссякал распаленный пещерный гад — сухой треск маленьких молний сменялся пошлепыванием расслабленного хвоста, и это значило, что ската можно брать голыми руками. Правда, при этом у Инебела возникало ощущение какого-то укора — он слишком хорошо представлял себе, как горько бедному скату именно в такую сладостную минуту слышать хруст собственной свертываемой шеи... Может быть, именно поэтому он никогда не рассказывал, как же это ему удалось добыть столько теплых, мохнатых шкур.

Сверху, с уступа, вместе с водяным потоком ринулся кто-то перепончатый — все местное хищное гадье, никогда не подымавшееся против человека, спешило к сладко дымящейся тушке освежеванного собрата. Юноша отвернулся от мерзостного зрелища, еще раз подставил руки под искрящийся поток. Как это рассказывала по вечерам его Кшись? Один ручей — с живою водой... С тех пор, как он пьет эту воду, он чувствует себя помолодевшим на две руки полных лет. Сила его прибывает с каждым днем, с каждой бессонной ночью. С восхода утреннего солнца и до заката солнца вечернего, которое Кшись так странно зовет «лу-на», он добывает шкуры, лепит горшки, плетет сети, обтесывает каменные ножи, собирает фрукты, вялит мясо, шлифует рисовальные дощечки... да мало ли что!..

Мало. Он сам понимает, что мало. Потому что с каждым днем все тоньше, все прозрачнее становятся руки, все темнее синева под глазами, все чаще после медового, разве что Богам и предназначенного, плода она вдруг выбегает из пещеры, зажав ладошкой рот. Один раз пришлось обратно на руках нести... В такие минуты Кшись глядит на него широко раскрытыми виноватыми глазами, шепчет: «Это ничего, Инек, ничего... я привыкну. Наши студиозусы из... ну, в общем, издалека — они всю вашу снедь запросто уминают под светлое пиво. И никаких эксцессов. Ты погоди немного, я тебя и пиво варить научу, и виноград отыщу — ваша цивилизация сразу сделает такой гигантский скачок...» Она все время шутит, и он понимает, что не следует придираться к словам, тем более что он никак не может отличить, что именно она говорит серьезно, и поэтому не переспрашивает, что же такое значит «эксцесс», где водятся всеядные «студиозусы», и как это можно «варить пиво» — ведь пиво надо пить, а то, что пьется, не варится.

Утреннее солнце уже пошло к закату, надо торопиться. Если Кшись опять неможется, она ничего не успела приготовить. А путь наверх, к потаенной пещере, не прост, и белые скалы сверкают так, что слепят глаза, и непросохшая шкура, свернутая в рулон, не самая удобная ноша. Но не это главное — труднее всего справиться с беспокойством мысли, а сейчас что-то застряло в голове, как заноза, и беспокоит своей невысказанностью. Надо уцепиться за кончик ее хвоста, а этот кончик — «пиво». Питье, нездешнее питье. Две чаши с нездешним питьем...

...Они стояли друг перед другом, и две чаши с нездешним питьем застыли возле их беззвучно шевелящихся губ. Два языка взметнувшегося ввысь пламени — светлый и черный.

Не священный ли Напиток Жизни выпили они в тот вечер, не тот ли пенный, дурманящий напиток, который волей богов делает двоих мужем и женой?

И не оттого ли угасает светлая Кшись, что каждая ночь их — грех перед тем, своим?.. Но загладить его можно только Напитком Жизни.

От одной этой мысли у него тропинка ускользнула из-под ног, так что пришлось вцепиться беззащитными, с неотросшими еще ногтями, только что отмоченными в проточной воде пальцами в режущую щетку прозрачных неломких кристаллов. Инебел тупо смотрел, как краснели они от его брызнувшей крови, но боли не чувствовал. Великие боги, и ведь это ночи, за каждую из которых он готов был прожить без солнца целый год!

Но где же здесь, в целом дне пути от Храмовища, возьмет он Напиток Жизни, чтобы сделать ее своей женой по древним законам, единым для всех людей?

Он вспомнил, как был счастлив всего несколько минут назад, пока не пришло к нему непрошеное это воспоминание! Проклятые боги, проклятые законы. А он-то думал, что достаточно уйти от них на один день пути, куда не осмеливаются проникнуть ни сборщики плодов, ни юркие скоки, ни тем более жирные брюхатые жрецы. И почему это в его жизнь теперь постоянно стало вторгаться что-то неожиданное, непредугадываемое?

Он снова поднялся на ноги, заставил себя перекинуть сверток через плечо и снова двинуться вверх, по одному ему известной расщелине. Ну, хоть там-то все спокойно, все незыблемо, все ненарушимо. Он слишком привык к неизменной, наперед известной судьбе. Быть ребенком, быть юношей, быть кормильцем, быть обузой. Работать, получать семейный прокорм, съедать его, снова

работать. Да, еще почивать благостно и несуетливо, не храпя и не бормоча. Во славу Спящих Богов.

Но с того часа, как засветилось у стен города Обиталище Нездешних, жизнь его наполнилась непредугадываемым. Оно валилось на него слева и справа, с небес и из-под земли — воистину так: и с небес, и из-под земли.

И только сейчас он понял, за что на него все напасти: да, он прав был, когда угадал, что обитатели хрустального колокола — не боги, а люди.

Но в гордыне своей он совсем не подумал, что у людей этих тоже должны быть свои собственные боги. Признав людей, он не признал их богов, и эти боги нездешних начали мстить ему, ибо любые боги прежде всего мстительны.

И вот теперь, только после двух своих смертей, после диковинного крушения Обиталища, после той жуткой гибели, на которую обрекли эти боги его светлую Кшись,— только теперь он, наконец, понял их сущность, узнал их имя.

Это были грозные боги Нежданного и Негаданного!

Инебел преклонил колени прямо на острый щебень, коснулся лбом пыльной проплешинки горного мха.

— Боги истинные, боги, от прочих смертных сокрытые! — проговорил он.— Благодарю вас за милость великую, что открылись вы мне, дерзкому и смятенному. И простите, что в первый же час познания не хвалу я вам возношу, а просьбу смиренную: пусть же все, что уготовили вы нам двоим, обрушится на меня одного...

И словно в ответ на его мольбу откуда-то сверху, точно из прозрачного фиалкового неба, зазвучала простая и нежная песня, и до боли дорог был этот тоненький, неумелый голосок, и странно звучали какие-то непонятные, нездешние слова: «Комм, либер май, унд махе ди бойме видер грюн...»

И он понял, что Кшись молится своим неведомым богам.

По самым последним уступам он подымался совсем бесшумно, чтобы не помешать ее страшной молитве, и вот уже последний грот, который надо пройти, чтобы нащупать в задней стене сплошной занавес рыжего горного плюща, и раздвинуть его, и откроется зеленая лужайка, со всех сторон надежно огражденная отвесными, неприступными скалами. Вода, сочащаяся из верхних, недоступных пещер, сливается в светлый ручеек, проскальзывающий по самому краю, чтобы исчезнуть в одной из многочисленных трещин и уже где-то там, далеко внизу, снова появиться маленьким водопадом сладкой, негородской воды.

Слова песни-молитвы, четкие и абсолютно непонятные, звучали уже совсем рядом, и Инебел мысленно взмолился — ведь осталось так немного шагов, меньше, чем пальцев на двух руках, так пусть же за эти мгновения не свалится еще что-то нежданное.

Он нырнул в грот, наугад, даже не касаясь склизких, позванивающих каплями стен, промчался к лиственной завесе, раздвинул ее и замер, захлебнувшись.

На бревнышке, перекинутом через ручей, сидела его светлая Кшись, болтая в воде ногами. А рядом, как ни в чем не бывало, так же болтая ногами, сидела Апль.

— Старшенькая-светленькая,— проговорила она, не оборачиваясь.— Оглянись, наш братец пришел!

## 26

Темнота спускается на землю, и смущение нисходит на город...

— Благословенны сны праведных, сосед мой!

— И да не помянуты будут сны нечестивых.

— Но как быть с теми снами, что не благостны и не окаянны, не божественны и не земносмрадны? Не греховны ли они своей неясностью, сосед мой?

— Неясность и есть суть сновидения, иначе как же оно от яви может быть отличимо и возвышено?

— Мудрость в словах твоих, сосед мой, и могу поделиться я с тобою сонмом видений своих. А виделось мне, что Обиталище Богов Нездешних, что под колокольный звон под землю опустилось, стоит на своем месте незыблемо. Только вдруг расступаются стены его хрустальные, и выходит оттуда богиня огненнокудрая, только росту в ней — до колена мне. Идет она по улице, а где шажочек сделает, там знак диковинный остается, ну совсем как на стенах Храмовища.

И выходят дети малые, и выкликают худородков, и начинают эти худородки следы читать, словно буквицы, и странные слова у них получаются, смысл коих неведом, а звучание сладостно...

— Оттого и сон твой, сосед, что вчера Крокон-углежог двух своих худородков на растерзание жрецам выдал, да зачтется ему благодать сия! А боги грозные, крови жертвенной напившись, удесятерили свои силы и в смрадную пыль истерли нечестивый паучий колокол, именуемый Открытым Домом, за что и слава им!

— Сс-слава... Да тьфу на тебя, сосед! Гад пещерный и тот детенышей своих на смерть лютую не выдаст. За то и светлы были Боги Нездешние, что и сами никого не карали, и жертв кровавых не требовали!

— Ой, поберегись, соседушка, длинно ухо Неусыпных...

— Ты донесешь, что ли? А я не говорил! А ты не слыхал! Лепеху до расчетного дня ты у меня просил, а я не дал, вот ты и воззлобился! Иди отседова, тьфу!

Темное облако наползает на вечернее тусклое солнце, и мается потемневший город — от мала до велика...

— Эрь, паучья ножка, не загнали тебя еще под одеяло до самого утреннего звона?

— Если будешь дразниться, Пигун, я перестану по вечерам приползать сюда, к забору. Мать и так думает, что хоронушку я свою убираю... Злая она. Два дня, как пропала Зорь, а ведь с нею все проклятая Апль шушукалась. Как ты думаешь, не зазвала ли Апль мою сестричку за собой в колокольный омут?

— Полно тебе глупости повторять! Никто в колокольном омуте не тонет, да и Апль вовсе не там скрылась... Говорили мне плодоносцы-недоростки: в лес она ушла. Видели ее. Идет, точно в полумраке ощупью, протянув руки, а глаза прикрыты. Побоялись ее окликнуть, думали — ведут ее Боги Спящие.

— Ой! Я бы встретила — померла от страха! Мне и так ее голос порою чудится, слов не разберу, а вроде — зовет...

— Тебе вон и из омута звон чудился...

— И не чудился, и вовсе не чудился! На рассветной заре как ударит под самым лугом — по всему омуту вода кругами пойдет, а когда и плеснет на траву. А кто близко подойдет — того в воду затягивает!

— Ох, и врушa ты, Эрь! Да если хочешь знать, я в этот омут уже два раза нырял, и ничего. Второй раз вытащил кусочек ленты диковинной, с одной стороны она черная, как дым, а с другой — блестящая, и не то голубая, не то сероватая... Хотел тебе подарить, положил в корзинку с паучьим кормом, а наутро глядь — и нет ничего.

— Ой, Пигун-болтун, ой не верю...

— А моему старшему, Пилану, поверишь? Он зеленую тряпочку из воды вытащил, глядь — это шкурка с руки, да так искусно снята, что можно на свою руку надеть — растягивается и не рвется. Пилан ее надувать вздумал — во надул, больше тыквы. Он эту шкурку в дупле схоронил и тоже наутро сунулся — пропала! Мы тут кое-кому порассказывали — есть такой слух,

что и другие кое-что находят. Только не впрок найденное: каждый раз почью исчезнет, как не бывало.

— Ой, Пигун, ой...

— А еще в соседнем дворе говорят, будто Рыбляк-рыбник с самого дна «чужую руку» достал, коей нездешние боги яства свои на куски делили. Только уж не проболтайся, Эрь, — не верю я рыбникам, не богова эта «рука», сами они ее смастерили — нашли комок земли твердой, отливчатой, камнем ее побили-уплощили...

— Ой, Пигун, молчи, такое не то что сотворить — ни сказать, ни выслушать. Грех святожарный!

— Подумаешь, грех. Я, если хочешь знать, и сам...

— Молчи, молчи, молчи!

Опустилось солнце вечернее, вроде спит город, а вроде и не спит... Из одного сада в другой перекидываются шорохи неуемные, бормотание глухое, шепот жаркий:

— Ты милее светила утреннего, ты нежнее солнца вечернего, твои руки белее лотоса, стан твой тоньше богинь неведомых, что парили, земли не касаючись...

— Греют речи твои, долгожданный мой, только память твоя схоронила то, чего не было: по земле-траве ходили боги нездешние, равно как мы с тобой!

— Истинно говорю тебе, радость моя журчащая: по желанию своему все могли эти боги нездешние — и над травою летать, и под землю нырять.

— Не пойму я тогда — если были они столь могучи, так зачем же позволили себя огнем поразить?

— Против них были все боги земель наших, а их самих — по пальцам перечтешь... Не признали мы их, не поняли знаков беззвучных, а в тяжелый час не поддержали их молитвами дружными... Грех на нас!

— Тише, тише, услышат жрецы — сгоришь, как Инебел-маляр!

— Весь город не пережжешь.

— Сгорело же Обиталище...

— Обиталище-то сгорело, да память о нем осталась. А память сильнее зрения. Пока стоял этот колокол туманный посреди луга, вроде и не смотрел никто. Что — зрение? Повернешься спиной — и вроде пропало все. Другое дело — память: в какую сторону ни повернись — память всегда светится, как светлячок в ночи...

Не спит город. Памятью мается.

## 27

Надо было прихватить с собой петуха. Великой силы организующее начало. А так ведь и знаешь, что надо вставать — и все-таки нежишься под пурпурной шкуркой.

Надо вставать!

Это понятно, что надо, и вчера прибавилось два рта, так что придется измышлять на завтрак что-то сверхъестественное, вроде копченого тутошнего питончика. Сколько же всего ртов?

Кшися пошевелила губами, припоминая тех, которых Апль привела вчера. Ну, так и есть: с Инеком и с ней самой — тринадцать. И Инек никак не хочет переносить стоянку в глубину гор, ждет еще двоих. А готовить с каждым днем становится все опаснее, дым могут засечь и из города, и с «Рогнеды». Но Апль сказала, что из города выйдут еще двое. Надо спросить ее сегодня, скоро ли они двинутся. И нельзя ли их остановить. Все-таки здесь — одиннадцать детских душ. Страшно рисковать.

Как только Инек вернется с охоты, надо будет послать его на разведку. Вот ведь напасть какая: стоило глаза открыть, как уже обуревают перспективные планы. А на себя, чтобы хоть чуточку вернуться не в заботы — в ночную нежность, в предутреннее прощание, — на это уже нет ни минуточки.

И все-таки он прощался сегодня не так, как всегда. Он знал, что она сердится, когда он поминал каких-нибудь богов, и все-таки — может быть, думая, что она спит, — прошептал: «Да хранят тебя твои Боги..»

Она не спала, и вскинула руки, и, не размыкая ресниц, притянула его к себе, и прижалась наугад — получилось, что к сухому и жесткому плечу, целовать там было чертовски неудобно, и она заскользила губами в сторону и вверх — по холодной ямочке ключицы, и по гибкой шее, которая всегда вздрагивает и застывает, и тогда угадываешь, что дыхание перехватило не в шутку, а насмерть, и надо скорее искать губы, и оживлять их, оттаивать, воскрешать от смертного счастья, но сегодня она ошиблась, и в темноте своих сомкнутых век вместо губ нашла глаза, и ужаснулась тому, как это она научилась одними губами распознавать их нестерпимую черноту...

«Да хранят тебя твои Боги», — и она рассердилась, и скороговоркой, чтобы не услышали младшеньких в соседней пещере, прошептала: «Ах ты, неисправимый язычник...» — и фыркнула, и оттолкнула его от себя, и чернота огромных выпуклых глаз исчезла из-под ее губ.

За что она прогнала его? Ведь он был прав. Если исключить коротенькое словечко «Боги», во всем остальном он угадал совершенно безошибочно. Неведомое и непредсказуемое властвует над теми, кто вторгается в неведомое и непредсказанное, и тем сильнее, чем выше уровень этого вторжения. Встреча с обитателями этой планеты, которые и людьми в земном смысле не были, неминуемо должна была принести какие-то нелюдские неожиданности. А мы уповали на свои наблюдения, на свои предсказания, на ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ прогнозы для НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГО мира...

И вот это кемитское, не человеческое, неугадываемое, начало просачиваться в жизнь их колонии. Что-то назревало, и люди, интуитивно пугаясь этого неведомого, вместо того, чтобы принять его как должное, стали совершать нелепые, но уж зато на все сто процентов земные поступки. Вот, например, попытались выслать ее на «Рогнеду» — почему, зачем? Так и не сказали.

Просто почуяли, что сбежать намерилась, а как ей было не метаться в круглых прозрачных стенах, когда она острее всех прочих почувствовала вторжение в собственную жизнь чего-то необъяснимого, неназываемого... И удрать ей посчастливилось прямо виртуозно. Или они там занялись какой-то другой проблемой, которая появилась удивительно кстати? Ее ведь даже не преследовали, хотя до последней минуты она была уверена, что с «Рогнеды» уже запрошен зонд с поисковой капсулой, которая живехонько ее обнаружит... Нет, не запросили, и это тоже было и непредставимо, и непредсказуемо. Колизей словно забыл о ней.

Она потянулась, и странная слабость, которую она всегда, не задумываясь, относила за счет здешних непривычных животных и растительных белков, как и каждое утро, мягко и настойчиво попыталась вернуть ее в теплое гнездышко сна.

А ведь и еще что-то неугаданное растет вот тут, рядышком, совсем рядом, оно созрело, и просто диву даешься (правда, слишком поздно), что не догадался об этом еще позавчера. Так какое же нежданное — черное или белое —, уготовано ей на сегодня?

Во всяком случае, что уж точно не уготовано, так это завтрак. Надо раздувать угли, печь намытые с вечера клубни, которые напоминают по вкусу вяленую грушу. Как при таком содержании сахара почти во всех корнеплодах аборигены ухитряются сохранить гибкость фигуры? Надо будет проконсультироваться.

Кшися подтянула коленки к подбородку, сжалась в комок и одним пружинистым движением поднялась на ноги, словно выбросила самое себя в наступивший день. Времени не осталось даже на то, чтобы позволить себе пятиминутную разминку, и она засуе-

тилась у очага, раздувая огонь и устраивая что-то вроде духового шкафа из громадных листьев лопуха, нижняя поверхность которых была на изумление термоустойчива — ну прямо натуральный асбест! Мальчики, принесшие эти листья, утверждали, что здесь этот куст вырос случайно, а обычно лопух-пожарник, как она его тотчас же окрестила, растет возле гор, плюющихся огнем.

Ага, ко всему прочему здесь еще и вулканы. Впрочем, можно было бы догадаться и раньше — ведь простейшие кухонные орудия они с Инеком изготовили именно из обсидиана. И еще — тот столб огня, который вырос где-то в стороне, буквально через несколько минут после ее бегства. Или она плохо ориентировалась, или грохот и огненный смерч возникли где-то на западе... Был ли там еще какой-нибудь город? Вот беда, а еще сдала на пятерку географию Та-Кемта! Ну, потом разберемся, главное — это было где-то в стороне.

Она намотала волосы на руку, подняла их выше шеи и заколола единственной костяной шпилькой, которую пришлось наскоро выточить из рыбьего плавника — странный был плавник, с четкими фалангами четырех пальцев. Выбежала из пещеры и невольно зажмурилась, по-птичьи втягивая голову в плечи: только что вставшее солнце добралось до их ложбинки, и розовые прямые лучи, отражаясь от белых скал, короткими снопиками аметистовых брызг били ей прямо в лицо, в глаза и даже в нос, так что сразу же захотелось чихнуть... Ежки-матрешки, счастье-то какое!

Она, не открывая глаз, вскинула вверх руки, ловя наугад эти холодные сияющие лучики и стараясь не закричать от внезапного восторга, и в основном не потому, что Инек мог услышать ее и примчаться, бросив все заботы о хлебе, то есть мясе насущном, — нет, просто ей хотелось кричать совершенно нелепую здесь строчку, да еще и неизвестно откуда возникшую в памяти: «...это розовый фламинго!..»

Что-то великолепное было связано с этим розовым фламинго, древнее, может быть даже первобытное, но вот каким образом функционировал данный фламинго — это не припоминалось. И вообще, с чего это ей вздумалось оглашать окрестные горы воплями на петутошнем языке? От неведомой радости? Некогда радоваться. Радоваться будем потом.

И тут же внутри, под самым левым нижним ребрышком, что-то возмущенно плеснуло: потом? Опять это проклятое «ПОТОМ»?

Нет. Сейчас. Радоваться так радоваться. Валиться от усталости, сходить с ума от тысяч невыясненных проблем — и все-таки радоваться, не откладывая «на потом».

— Человечки-кузнечики, подъем! — пропела она, подражая голосу серебряного горна. — Доброе утро!

И тотчас же из пещерки, где вповалку спали младшенькие, послышалось дружное нестройное «Доброе утро, Крис-ти-на-Стани-слав-на!» Они всегда начинали день с этого приветствия, первой же произнесенной фразой нарушая самый строгий из своих законов: женщину не разрешалось называть именем, длиннее чем в один слог, а семисложным именем не позволялось называть вообще никого. Даже Бога. Она вспомнила, как даже сам Инек замер, самым примитивным образом перепугавшись, когда он догадался наконец спросить, как же ее зовут, и она, не подумав, выпалила и имя, и отчество.

Кшися фыркнула и побежала умываться. Младшие — четверо мальчиков и семь девочек — пугливо, все еще не освоившись окончательно, побрели к ручью вдоль стеночки.

Солнце стремительно набирало высоту, день закипел.

Вечерами, припоминая всю необозримую кучу дел, проделанных, начатых или попросту брошенных, она всегда изумлялась тому, что ни в одно мгновение у нее не вставал вопрос о контактности, коммуникабельности или субординации. Все получалось само собой, и что самое удивительное — выходило так, что не она руководила и наставляла этих карапузов, а они весь длинный день неусыпно заботились о ней — кормили, одевали, готовили, учили прясть (невиданное дело!), а уж о развлечениях вечерних и говорить не приходилось — все песни, все сказки они рассказывали не друг другу, а исключительно ей.

Первое время она благодарно принимала эту трогательную заботу, полагая, что все это относится к жене — хм, может быть, и не жене, а подруге, не выяснять же это с детишками младшего школьного возраста! — их уважаемого Инебела.

Но мало-помалу до нее дошло, что ее попросту считают худородком, прирожденной калекой, у которой ручки — вот ведь беда! — не умеют становиться естественным орудием труда. И что в основе их внимания лежат запасы доброты столь неиссякаемой, что весь человеческий гуманизм казался перед нею какой-то сухонькой, рассудочной благотворительностью. Маленькие кемиты приняли ее совершенно безоглядно, как человек принял бы птицу с перебитым крылом.

В сущности, уже сейчас она могла бы допустить в свою крошечную колонию других землян, и теперь их приняли бы так же безоговорочно, но ее удерживало одно — страх перед изгнанием на «Рогнеду», причины которого она так и не успела узнать.

Между тем за хозяйственными хлопотами пролетел белый день, и краешек луны, опережающей наступление вечера, проклюнулся в расщелине между скал. Обед пропустили!

И только тут впервые острая рыбья косточка впилась в сердце: никогда еще Инек не приходил так поздно. Она вскочила на ноги, стрелой пролетела всю лужайку, окунулась в сырую промозглость сквозного грота, который она в шутку прозвала «тамбуром», и высунулась из щели, от которой убегала вниз неприметная для посторонних тропинка.

Было совершенно тихо. Журчанье воды, ленивый шелест совсем неопасных здесь гадов. И все.

Она вернулась в свой заповедный уголок. Настороженная, ломкая тишина. Младшенькие копошатся, что-то обтесывают каменными ножами — как это им удается делать все абсолютно бесшумно? Но сегодня они как-то по-особенному осторожны. У всех у них напряженные, настороженные спинки с худыми, замершими лопатками. Прямо живые локаторы какие-то. А они-то какой беды ждут, неугаданной, нежданной? Впрочем, с них вполне достаточно и того, от чего они сбежали, — этого немыслимого побоища худородков, иродовой травли, когда родители в непонятно откуда взявшемся фанатическом исступлении вышвыривали из своих домов на растерзание самых слабеньких, самых больных и — по земным естественным нормам — самых дорогих своих малышей.

Одиннадцать детских душ... Нет, не душ. Одиннадцать хрупких, еще до своего рождения изуродованных детских тел. Кшися вдруг осознала, что она и помнит-то их в основном не по именам, а по их недугам: вон у того не гнется спина, те две девчушки, что пилят пополам громадный стручок, — обе немые, хотя слышат неплохо, и хорошо слышит мальчуган в совсем коротенькой — наверное, единственной — юбчонке, у которого совершенно нет ушных раковин. И Апль, у которой на непомерно длинных ногах никогда не выпрямляются коленки. Одиннадцать худородков, спасение которых в их худодейственных руках. И все же одни они здесь не выживут. Где же Инебел, где их старшенький? Прокормиться ведь можно и стручками. Что же погнало его на дальнюю охоту? А он знал, что пойдет далеко — ведь шепнул же: «Да хранят тебя твои Боги!»

А ведь это был их уговор — никаких богов...

— Старшенькая-вечерненькая, иди, мы стручков налущили!

Вечерненькая — это, надо понимать, «печальненькая». Не надо показывать им своей тревоги. Разве что Апль...

— Апль, ты не знаешь, куда пошел Инебел?

Апль замерла на плоском камне возле ручья, сидит, словно лягушонок, коленки выше ушей. Глаза чернущие, громадные, как у брата, — в воду смотрят, воды не видят.

— Апль!..

— Инебел ушел выполнить завет Великих Богов.

— Ежки-матрешки, да вы все что, сговорились — «боги, боги»! Что за чушь — какие заветы?

— Инебел видел, как тебя печалит, что ты не можешь стать его женой.

— То есть как это — не могу?! Мы...

Кшися захлопнула себе рот ладошкой и в великом недоумении опустилась рядом на камень. Действительно, не объяснять же этому ребенку, что они с первой же ночи женаты по всем земным и, надо думать, тутошним правилам. Но ведь Инек не ребенок. Он-то все понимает. Неужели он мог заподозрить, что ей нужно еще что-то, какие-то там обряды, благословения? Еще что-то, кроме него самого?

— Не понимаю... — вырвалось у нее.

— Мужем и женой становятся только тогда, когда выпивают из одной чаши Напиток Жизни, — наставительно, как взрослая, проговорила Апль. — И только тогда Боги дарят им маленького-родненького. Так что все, что просто так, без чаши с Напитком, — это не считается, это баловство, игрушки для старшеньких...

— Хммм... — уже и вовсе озадаченно протянула Кшися — мысль о «маленьком-родненьком» как-то не приходила ей в голову. Все одиннадцать маленьких были в равной степени для нее родненькими, и ей как-то хватало забот с ними по горло.

Кшися стремительно покраснела и отвернулась.

— Значит, он придет только к вечеру! — неловко, стараясь скрыть свое смущение, проговорила она.

— Нет. До города — день пути. Он вернется к утру, — она наклонила голову и впервые посмотрела на девушку огромными, как у черкешенки, глазами. — Не бойся, старшенькая-светленькая, Инебел знает подземный ход в Храмовище.

И только тут пришел настоящий — до глухоты — ужас: Инек пошел в храмовые лабиринты. Один против сотен, а может быть, и тысяч жрецов. Ведь две смерти он оставил позади, так нет — пошел навстречу третьей! Пошел, потому что поверил своим законам. Поверил своим жрецам. Достали-таки они его.

Недодумав, Кшися повернулась и пошла, не разбирая дороги, и где-то в дальнем уголке мозга пронеслось: хорошо, что здесь такая ровная плюшевая лужайка — ведь придется вот так ходить

от стены к стене еще много-много часов... Да нет, ходить некогда, уже село дневное солнце — надо же, привыкла — «дневное»! — и нужно начинать вечернюю жизнь, уроки и рассказы, и вчера в темноте они долго и безуспешно придумывали вместе с Инеком новые кемитские слова — ведь у них нет вообще таких слов, как «одиннадцать», «двенадцать», «двадцать», «сто», и придумывать их на Земле было бы просто грешно, вот Инек и взял это на себя, но математическим словотворчеством он занимался крайне несерьезно — ну, никак не располагала к тому обстановка, и Кшися, вознамерившаяся было подвигнуть его на создание азов кемитской арифметики, вдруг поймала себя на том, насколько они оба далеки от всего, что поддается логике, особенно математической... «Срам! — яростным шепотом возмущалась она. — Ты погрязнешь в серости, ты до седых волос не дойдешь даже до простейших табличных интегралов...» — «А что такое ин-те-грал?» — спрашивал он, произнося земное слово, как заклинание, и она говорила: «Интеграл — это вот что» — и рисовала губами на его груди нежный, плавно льющийся знак, и Инебел задыхался, как умел делать только он один, и она возвращала ему жизнь и дыхание, как научилась делать только она одна...

Нужно взять уголек и нарисовать на стене: 1+1=2.

И еще нарисовать интеграл.

Черным угольком на белой скале.

Черный уголек и белая скала.

Черные глаза и белое лицо.

«А-а-а!..» — закричала она, обхватывая голову руками...

— Не нужно сегодня уроков, старшенькая-вечерненькая, — проговорил кто-то из мальчиков, — мы спустимся в рощу и наберем тебе стручков и орехов на ужин...

Фиалковый вечер, серебряный свет. Далеко-далеко отсюда — целый день пути по змеиным скользким тропам — уже затеплились гирлянды огней, очерчивающие бесчисленные арочки, переходы и лесенки Колизея, так что если подобраться к опушке леса, что лежит между городом и подножием Белых гор, то сквозь вечерний туман этот маленький кусочек Земли покажется всегонавсего мерцающей в полумраке радиолярией... А ведь она — первая, кто мог бы увидеть Колизей со стороны. Не считая обитателей «Рогнеды», естественно. Хотя с «Рогнеды» смотрят сверху, а это совсем другая точка зрения. А из Колизея уже смотрят — изнутри.

Как же она не подумала об этом — ведь они уже перешли на непосредственную видимость!

Значит, они увидят Инебела, они неминуемо узнают его — еще бы, герой двух последних ритуальных эпопей, дважды не сгоревший в огне! Они помогут ему, если что-нибудь случится и в третий раз. Как они его называли? А, «кемитский Пиросмани». Они помогут, помогут, помогут ему, ведь у Абоянцева есть такое право — право на единоличное решение в экстремальной ситуации.

Если они увидят, что с Инебелом беда, они не допустят, чтобы Абоянцев отсиделся в сторонке.

И первым вмешается Самвел.

Кшися даже удивилась тому, как быстро она успокоилась. Накормила своих человечков-кузнечиков, загнала в пещерку, укрыла, объявила отбой без вечерних сказок. Закуталась в меховое одеяло и села у входа в детскую, положив подбородок на коленки. Темнота наступила мгновенно, как это всегда бывает после захода луны, и бродить по траве уже как-то не тянуло. Сверху, с откоса, сорвался камень, потом, выразительно чмокая присосками, пополз кто-то крупногабаритный, но не удержался на крутизне, сорвался и сырым комом шмякнулся оземь.

— Но не убился, а рассмеялся... — негромко проговорила Кшися.

При звуке ее голоса гад пугливо шарахнулся, издал странный звук, отнюдь не напоминающий смех, и скатился в ручей, оставив после себя густой запах парного молока. Белого-белого молока...

Кшися стиснула зубы. «Завтра перебираемся на дальнюю стоянку. Приходит Инебел, и начинаем собираться, а как только появляется эта бредущая к нам пара — снимаемся с места. И больше никаких оттяжек. Пора начинать жить по-человечески. Пусть первое время — в таких же пещерах, но с посудой. Строим печь. Обжигаем горшки. Прикармливаем гадов, организуем молочную ферму. Человечкам-кузнечикам нужно много молока и фруктов. Впрочем, фруктовые рощи здесь повсюду...» Она невольно прислушалась: внизу, у подножия белых скал, шумели широколиственные стручковые деревья. Издалека это напоминает шум моря. А может, уйти к морю? Отсюда километров четыреста. Это непросто. И потом, на побережье не наблюдалось ни одного кемитского селения.

Какие-нибудь естественные причины, или опять воля проклятых богов? Кто-то сказал в Колизее: «Отжившие свое боги и пассивная, неопасная религия...» Ага, в самую точку. Мертвецы тоже неопасны, они ничего не могут сделать. Только убить — трупным ядом.

Ее затрясло — наверное, от ночного холода; она закуталась поплотнее и прилегла у степочки. Но стоило ей лечь, как неведомо откуда взялась томительная, нудная боль, которая наполнила собой каждую клеточку, и все тело заныло, застонало, не находя себе места, и, словно оглушенная тупым ударом, Кшися даже не сразу поняла, что это — не физический недуг, а просто впервые испытанная ею смертная мука того одиночества, когда не хватает не всех остальных людей, а одного-единственного человека. «Не-ет,— сказала она себе,— так ведь я и до утра не доживу...» — и вдруг совершенно неожиданно и непостижимо уснула, закутавшись с головой в красно-бурый непахучий мех.

Проснулась она оттого, что где-то далеко внизу, за каменной грядой, запрыгал сорвавшийся камешек. И еще один. И шорох. По тропинке подымались.

Кшися вскочила, путаясь в меховой накидке, почувствовала — не может бежать навстречу, ноги не держат. Прислонилась лопатками к остывшему за ночь камню и как-то до странности безучастно смотрела, как раздвигается плющ, и чтобы не позволить себе ничего подумать, она начала повторять — может быть, даже и вслух: «Сейчас выйдет Инек... сейчас выйдет Инек... сейчас...»

Мелькнул край одежды, и из черного проема неестественно медленно показалась смутная, расплывающаяся фигура — Инебел, и за руку он вывел еще одного Инебела, и следом вынырнул третий, и все они, держась за руки, неуверенно двинулись к ней, и походка у каждого из трех Инебелов была разная, и они остановились, и тоненький голосок Апль произнес:

— Это Тарек, у него тяжелый горб, и поэтому он очень сильный, а это Тамь, ее глаза различают только день и ночь, и поэтому она слышит все звуки и запахи.

Кшися зажмурилась до зеленых кругов в глазах, потом подняла ресницы — в утреннем золотом сиянии перед нею стояли три съежившиеся уродливые фигурки, полиловевшие от холода и усталости.

— Да,— сказала она каким-то чужим, неузнаваемым голосом,— да, конечно. Отогрейтесь немного, и мы начнем собираться. Как только придет Инебел, мы двинемся на другую стоянку.

Она смотрела на Апль и ждала, что та скажет — да, пора собираться, Инебел идет следом, сейчас будет здесь...

Но вместо этого услышала:

— Не нужно больше ждать. Инебел не придет. Никогда.

И она вдруг поняла, что знает об этом уже давно.

Привычная уже дурнота ринулась из-под сердца во все уголки тела, заполнила тошнотворной чернотой мозг, начала пригибать к земле... Господи, помереть бы сейчас! Так ведь нельзя.

— Что же теперь, старшенькая-одиноконькая? Что же теперь — обратно в город?

И так спокойно, словно в город — это вовсе и не на смерть!

— Нет. Ну конечно же — нет. Только погоди немного... Я отдышусь... И мы что-нибудь придумаем.

А думать ничего и не надо. Потому что выход — единственный, и если бы были силы на то, чтобы поднять голову и посмотреть в изжелта-розовое утреннее небо, то можно было бы если не увидеть, то угадать крошечную точечку «Рогнеды». Только головы не поднять, и в глазах — черно.

— Апль, ты слышишь меня? Собирайте белые камни... как можно больше белых камней... Нужно выложить две дорожки. Я покажу, как...

Вот теперь только добраться до самой середины лужайки и лечь наконец в уже нагретую солнцем траву, раскинув руки и прижимаясь всем телом к этой качающейся, бесконечно кружащейся земле.

— Наклонись ко мне, Апль... — как же сказать ей — ведь на кемитском языке нет слова «лететь», и они с Инебелом так и не успели этого слова придумать! — Те, что приле... спустятся сюда — это мои братья, мои старшие. Они такие же, как я, — с неумелыми руками. Помогите им, Апль. позаботьтесь о них, человечки-кузнечики...

## 28

— В условиях та-кемтского социостазиса, исключающего возможность зарождения элементов протофеодальной общественной структуры, зато обеспечивающего перманентность социальной дифференциации, микрополисы являются не доминирующим, а единственно возможным типом... сюда, пожалуйста! — Кантемир подчеркнуто галантно вжался в узкий простенок, пропуская Гамалея в конический закуток сектора связи.

Гамалей, чудовищно похудевший за эти несколько дней, впервые в жизни прошел сквозь дверной проем не боком, а прямо, но крошечное помещение станционной рубки заполнил собою все-таки полностью — если раньше он был просто толстым, то теперь, осунувшись, превратился в непомерную громадину, которая уже в силу своих габаритов так и просилась вниз, на твердый грунт.

Но судьба их группы — сейчас они даже про себя не отваживались называть ее «группой контакта» — решалась на Земле, куда уже отбыл Абоянцёв, и они слонялись по «Рогнеде», неприкаянные, как погорельцы, не мечтая уже ни о чем.

Таким образом, на «Рогнеде» сейчас одновременно находились два начальника — станции и экспедиционной группы, — но определенная церемонность их отношений объяснялась не ситуацией двоевластия — это уж они как-нибудь пережили бы, а тем, что Кантемир был близким другом Абоянцева, которому, как уже было ясно, сюда не суждено было вернуться.

— Собственно говоря, я не пригласил бы вас сюда, если бы проведенное нами наблюдение не было столь уникальным, — Гамалей мрачно глядел на него исподлобья, и Кантемир сбавил тон, видимо сообразив, что наблюдение — это не тот лакомый кусочек, которым можно соблазнить начальника группы контакта. — Сейчас мы наползем на этот квадрат... Еще минутки три-четыре. Район Белых Скал. Сначала мы полагали, что это стая горных варанов, затем — что отряд долгих таскунов на отдыхе. Сейчас я уже не допускаю сомнений в том, что это — попытка заложить новое поселенье. Алекс, пожалуйста, снимок!

Из-за аккумуляторного стеллажа высунулась — братья дневали и ночевали в рубке — с липким квадратом картона. Снимок был нехорош — контуры нечетких фигурок оставляли желать лучшего, во всяком случае, Гамалей и сейчас принял бы их за стаю отдыхающих цапель, если бы только на Та-Кемте водились птицы. Зато четко виднелся белый знак, весьма напоминающий крест, сооруженный из обломков камней.

— Если вы находите, что антропоморфность...

— Почему за ними не установлено слежение еще позавчера? — почти грубо оборвал его Гамалей.

— Ну, Ян, вы же знаете, что мы запороли в этих скалах уже два зонда, а все «Абажуры» висят исключительно над местом гибели вертолета! — уже совершенно рабочим тоном возразил Кантемир. — Хорошо, если Абоянцев выбьет нам еще штук пять, ведь здесь программа на несколько лет, моя бы воля — запустил бы стационарный наблюдатель, и впервые увидели бы все в развитии.

— Но вы противоречите самому себе, Кантемир: на такой площади не создать город та-кемтского типа, здесь едва-едва прилепится убогий аул сотни на полторы жителей максимум, да и то при террасной застройке!

— Вот именно, Ян, вот именно! Доказательство от противного — самое веское доказательство. Стандартный микрополис

разместить в скальном массиве невозможно, а колония, как вы говорите, аульного типа — безоговорочно принимаю вашу терминологию, — как показывают наблюдения, нежизнеспособна. Почему? Вы лучше меня знаете, сколько времени в Совете дискутируется этот вопрос. Теперь мы затратим на непосредственную фиксацию год или два, но зато сама жизнь ответит на все наши вопросы.

— В этом вы правы, — холодно проговорил Гамалей, — это точно... Лучше год наблюдать, чем год купаться в словопрениях нашего уважаемого Совета. И все-таки главное для вас — не наблюсти, а обобщить и доложить Совету.

Он чуть было не добавил: «Потому что вы — неисправимый геоцентрист», но вовремя удержался, потому что это было одним из самых тяжких оскорблений во всем Внеземелье.

Но Кантемир взорвался и без этого:

— Позвольте, позвольте! Для вас, контактиста, неочевидна ценность подобной информации?

— Мы слишком часто сталкивались здесь с чем-то, непредугадываемым и непрогнозируемым. Так что я бы не торопился с утверждением, что мы фиксируем закладку нового поселения.

— Тогда как же вы интерпретируете этот каменный крест? Конечно, вы можете возразить, что кемитские бытовые постройки тяготеют к кольцевой планировке, но ведь было бы естественным предположить, что строительство начинается именно с культового сооружения, пусть небольшого. Тем более что мы имеем здесь непременный компонент храмового комплекса — источник воды, который может быть единственным и контролируемым.

— Ну, это притянуто, Кантемир. Ярко выраженных ритуальных церемоний, где играла бы значительную роль вода, мы не наблюдали... — Гамалею чертовски неохота было втягиваться в очередную дискуссию, может быть, тысяча первую, но, как всегда, безрезультатную.

И все-таки его втянули.

— Отнюдь нет! — Кантемир оттопырил нижнюю губу, но пока сдержался. — Вы еще не знаете результатов, полученных нашим биоаналитическим комплексом. Он исследовал флору храмовых водоемов, из которых в каждом, подчеркиваю — в каждом городе берут начало арыки с питьевой водой. Так вот, в каждом — опять же в каждом! — таком бассейне искусственно выращиваются пресноводные водоросли — антивитагены, не имеющие аналогов ни на какой другой планете. Они выделяют в воду органическое соединение, прием которого даже в микроскопических дозах препятствует развитию зародыша у млекопитающих. У

пресмыкающихся, заметьте — нет. Так что пусть мы не имеем ритуалов, но зато наблюдаем чудовищную систему демографического ограничения, находящуюся целиком в руках жреческой верхушки, — как вы, наверное, догадались, так называемый Напиток Жизни есть также биологический препарат, нейтрализующий действие антивитагена.

— Да, конечно, — безучастно повторил Гамалей, — конечно, нам еще повезло, что Колизей питался водой из артезианской скважины.

— И следовательно, — Кантемир поднял палец к потолочному экрану — он уже явно чувствовал себя в конференц-зале Совета, — следовательно, здесь мы неминуемо увидим формальное подражание классической планировке микрополиса: выше всего культовый комплекс, ниже, вдоль ручья, — жилые постройки. Культовость данного сооружения доказывается также и тем, что в основании крестообразного фундамента мы видим несколько камней, образующих как бы стилизованную человеческую фигуру. На сей день мы еще не располагаем неопровержимыми данными о ритуальных жертвах, сопровождающих закладку храма, но как-нибудь потом...

— Как-нибудь потом... — хрипло повторил Гамалей — у него вдруг потемнело в глазах.

«Как-нибудь потом», — говорила Кристина, и теперь ее вертолет, не дождавшись этого «потом», лежит на дне асфальтового озера, и даже поднять его оттуда не позволяют строжайшие параграфы «Уложения о пребывании...».

И Самвел, так и не покинувший пульта, пока аварийная капсула выбиралась из сжимавшегося защитного капкана.

— Запомните то, что я сейчас скажу вам, Кантемир...

И в этот миг раздался сдавленный крик Наташи:

— Да смотрите же на экран! Это не крест!

Все разом обернулись к экрану — на фисташковом поле четко и невероятно обозначилась громадная буква «Т».

— Посадочный знак!!!

И вдруг все стало на свои места.

— Кантемир, — даже без лишней торопливости распорядился Гамалей, — штормовую капсулу — к шлюзу. Первая группа: я, Меткаф, Натан... и Мокасева. Четыре робота сверхзащиты, соответственно.

Кантемир поперхнулся — во всем Колизее имелся только один такой робот. А четыре — это был и весь арсенал «Рогнеды», и весь резерв.

— Послушайте, Гамалей, я сейчас дам вам внеочередную связь с Большой Землей...

— Всем остальным быть в нулевой готовности,— продолжал Гамалей, уже не обращая на него ни малейшего внимания.— Сигнал к высадке принимать от любого из нашей четверки. Полевые андроиды придаются второй группе. Все. Ах, да, Кантемир. Сообщите на Землю, что я воспользовался своим правом временного начальника экспедиции принимать экстренные меры в чрезвычайных ситуациях. Вы знаете, что такое право есть.

— Но поговорите сами...

— Разговаривать мы кончили,— тяжело, вдыхая воздух после каждого слова, проговорил Гамалей.

Сыт он был этими разговорами. Во как.

Поэтому он молчал весь короткий путь до этой странной, неуютной планеты, человечество которой, не успев родиться, умудрилось уже впасть в какую-то старческую апатию. И выходить из нее не имело ни малейшего желания.

И Наташа молчал, потому что никак не мог сообразить, почему же в эту группу не попал Алексашка.

И молчала Макася, тщетно пытаясь догадаться о тех причинах, которые побудили Гамалея назначить в группу из четырех человек именно ее, а не механика, врача или переводчика.

И молчал Меткаф, потому что он-то это знал — почувствовал, как это всегда бывало в критические минуты.

Так они прошли плотный слой серебристых облаков, оставили за левым бортом исполинскую луну, ощерившуюся бессчетными дыхалами кратеров, зависли над белыми торчками скал, выглядывающими из дневной золотящейся зелени словно минареты, и, точно нацелившись на аккуратно выписанный, такой земной знак, спланировали к ручью и, чтобы не задеть белых камней — стремительность не исключала осторожности — прилепились к вертикальной скале метрах в полутора над травой.

Гамалей распахнул боковой люк, выбросил ногой лесенку, схватился за поручень — и остолбенел.

Внизу, на траве, прижимая к себе белые камешки, замерли дети. Не просто дети — калеки. На вид старшему не было и десяти лет. Лица их были спокойны; видимо, они просто не понимали происходящего.

Гамалей, белый, как полотно, обернулся к Макасе:

— Как всегда — ждали чего угодно, но только не этого. Какая уж тут формула контакта! Они просто не смогут понять нас. Это же...— он запнулся, потому что язык не повернулся произнести

жуткое слово, которым на земном языке обозначались такие вот ущербные дети — во всяком случае, пока на Земле не научились рожать всех абсолютно здоровыми. — Мария, попробуйте вы!..

И она поняла, наконец, почему в эту первую группу он выбрал именно ее. Предвидел что-то подобное, но, как всегда, Та-Кемт превзошел себя по части непредсказуемого. Она отодвинула ощетинившегося десинторами робота, нависшего над плечом Гамалея, и вгляделась в эти осунувшиеся синюшные личики, тщетно пытаясь найти какие-то очень простые, ласковые, ободряющие слова.

И тут случилось и вовсе непредвиденное: раздался детский голосок, одновременно и звонкий, и чуточку надтреснутый:

— Не бойтесь, старшенькие, спускайтесь вниз — мы будем о вас заботиться!

И Гамалей, вцепившийся в створку люка, отчаянно заморгал, потому что солнечная поляна под его ногами затуманилась, подернулась вертикальными плывучими полосами, и он понял, что по лицу его безудержно бегут слезы, хотя он смог удержаться даже тогда, когда погибли Самвел и Кшися. Но сейчас все навалилось разом, и прошлое, и настоящее, и, наверное, все-таки сильнее всего был стыд перед этими простыми естественными словами, которые родились прежде, чем такие высокомудрые и просвещенные представители высшей цивилизации отыскали оптимальную формулу контакта, будь она трижды...

Наташа, Меткаф и Макася тоже молчали — видно, и у них горло перехватило, но они опомнились первыми и, бесцеремонно оттолкнув Гамалея, посыпались вниз и побежали по траве; и чтобы толком рассмотреть, что же там происходит, нужно было как минимум утереться. «Ладно, ладно, — сказал он себе, — если уж ты взревел от стыда и горя, то нечего прятаться, вот и иди к ним навстречу с зареванной мордой. Кончились все эти условности, демонстрации, этикетопочитание... Иди».

Он шмыгнул носом, повернулся и неловко полез вниз, нащупывая ногой прогибающиеся перекладинки. Со стороны, наверное, смешно, ну и пусть детишки посмеются, гораздо хуже будет, если он сверзится, поломает руки-ноги и с ним придется возиться. После слез стало легко и покойно. Все то, что так долго, мучительно и нечленораздельно определялось в Колизее, а затем декларировалось на «Рогнеде», — все сбылось в первый же миг. Они пришли, как свои к своим, и были приняты, и теперь они есть и будут неотделимы от этой земли, страшной земли, где не чтут стариков и мудрецов, где не щадят женщин и детей. И поэтому, сливаясь с этим народом, они теряют право на ту могучую и, надо сказать,

действенную заботу о себе, которая обеспечивается всеми достижениями земной цивилизации.

На равных так на равных. И главное — все земляне думают так же.

Его нога ткнулась в твердый грунт, он, покряхтывая, обернулся. И задохнулся, в последний раз за это утро, сбитый с ног всем невероятием происшедшего: перед ним стоял Наташа, держа на руках узкий белый камень, лежавший в основании посадочного знака.

Только это был не камень, а пепущееся тело Кшиси, и с совершенно белого лица смотрели, не мигая, совершенно черные, без малейшей прозелени, глаза, и он не мог понять, живые они или неживые.

И Макася, которая лопотала горестно и настойчиво: «...да скорее же, скорее...», и Наташа наступал на него, тесня от лестницы, и Меткаф, запрокинув голову, уже примеривался — какой вираж заложить...

Они стояли против него — его товарищи, еще минуту назад твердо верившие, что пришли сюда, чтобы жить на равных, работать и страдать, любить и сходить с ума, рожать и умирать.

— Да, — сказал он, — да, конечно, скорее на «Рогнеду»...

И тогда на белом лице проступила легкая трещинка — разлепились губы.

— Только попробуй, — отчетливо проговорила Кшися. — Выброшусь из машины...

Они смотрели друг на друга, и были вместе — уже двое против всех осталыных.

Над поляной, нацеливаясь на каменный знак, заходила на посадку вторая спусковая капсула, вызванная кем-то без его ведома. Он следил за ее метущейся по поляне темно-синей тенью, не в силах освободиться от навалившегося на него оцепенения. Еще не поздно. Еще есть другой выход. Ему даже ничего не придется делать, от него не потребуется ни слова. Его попросту отпихнут в сторону, потому что через минуту высадится вторая группа, и их будет уже больше десятка. Они втащат Кшисю в капсулу, и для нее закончится жизнь на трижды проклятом Та-Кемте, с его фанатизмом и равнодушием, с его жрецами и рабами, с убегающими по склонам лачугами и черными чудовищными громадами Храмовищ, тупо и слепо подминающими под себя каждый из городов этой несчастной планеты. Да, это кончится. А что начнется?

Жизнь... то есть здоровье, долголетие. И чей-то сын. «Только попробуй — выброшусь из машины...»

Значит, для нее это уже не было жизнью.

— Ну что же, — сухо проговорил он, внутренне холодея от ужаса перед тем, что он сейчас творил своей командирской властью, обрекая ее на продолжение всех этих мук — а может быть, даже и смерть, — что же, выбрала — так оставайся. Мы не боги, мы обыкновенные смертные люди, и они должны видеть это собственными глазами. Хватит чудес, Колизеев там всяких, стен неприкасаемых... Меткаф, позаботьтесь о ней, пока нет Аделаиды. Остальные — к детям!

Но они глядели на него широко раскрытыми глазами и не двигались с места.

— Это приказ! — крикнул он голосом, какого никто и никогда от него не слышал. — Да что вы на меня уставились... Кристина — просто первая, кому досталось полной мерой во имя «спящих богов». Вторым был... — он увидел черные от боли глаза, которые, не мигая, смотрели на него, и поперхнулся. — В общем, всем нам достанется, каждому в свой черед и своей мерой, никого не минует. Это я вам гарантирую. Потому что мы совершили главную ошибку: недооценили ту страшную силу, которая стояла против нас. А она была, и есть, и будет, и драться с ней насмерть, и запомните, как первую заповедь: это мертвая вода, вроде той, что поит каждый город по милости черного Храма. Такая вода убивает не только еще не рожденных — она вытравляет способность верить в добро и истину... Вон их сколько, поверивших нам, — это из всего-то города...

Ребятишки, присев на корточки, зачарованными лягушатами глядели ему прямо в рот. С другого конца поляны раздался чмокающий звук — это вторая капсула, поелозив вдоль скалы, присосалась к камню и откинула люк. Из отверстия, не спуская лесенки, посыпались люди.

— Фу ты, — Гамалей утерся широким рукавом, — целую тронную речь произнес. На сем и покончим с разговорами. Так сколько нас? — он оглядел солнечную поляну, считая всех вместе, и землян, и детей. — Двадцать один... двадцать два... Против Храмовища пока маловато...

— Скоро придут еще, — сказала Апль. — Пещерка вот тесна...

— С этого и начнем.

Вновь прибывшие, как и следовало ожидать, ошеломленно замерли на другом конце поляны; один только Кантемир двинулся по прямой, четко печатая шаг и разбрызгивая светлую ручейную воду.

— Послушай, Ян, — крикнул он, — если начинать с генератора защитного поля...

— Мы уже начали, Кантемир, — отвечал Гамалей, переходя на будничный, рабочий тон. — Мы все начали с самого начала. Только без божественного ореола и сопутствующих чудес.

— Что-то ты много декламируешь, как я погляжу, — задумчиво проговорил Кантемир, уставясь в пряжку на его провисшем поясе.

— Я не декламирую, я просто думаю вслух. Первым делом мы, естественно, изничтожим всю эту зелень подколодную, что в храмовом водоеме делает воду мертвой. Результаты скажутся быстро и ощутимо. Значит, надо готовить поселение, способное принять не десяток ребятишек. И не два десятка. И не три. Первое время жрецы озвереют — сотнями придется спасаться...

— К тому времени с базы караван подоспеет!

Ох, и привыкли же мы к этой пуповине, которая связывает нас с собственной планетой, и поит, и кормит, и советами питает! Может, оттого и мыслим с оглядкой?

— Рядовой Кантемир! Отставить разговоры. Думать вслух разрешается только начальнику экспедиционной группы, а ты уж как-нибудь про себя... — он оглядел товарищей, невольно обернувшихся на непривычную интонацию. — И еще, уже всем: с этой минуты прошу говорить только так, чтобы было понятно детям.

Он улыбнулся им, все еще послушно стоявшим с белыми камешками в руках, невольно подумал: «Хорошо бы и жить так, чтобы они нас понимали... Но пока нам это не удалось».

— Отдохните, ребята, — крикнул он уже по-кемитски, — поиграйте на травке, что ли... Нам нужно тут кое-что построить.

— Нам тоже, — отозвалась длинноногая девочка-журавленок.

Камешки зацокали, ложась кольцом, нагромождаясь уступами, устремляясь вверх стрельчатыми арочками. Первый этаж... Второй... «Ах вы, мои несмышленыши, — со снисходительной нежностью подумал Гамалей. — И вам тоже понадобился свой маленький Колизей...»

И, как всегда, ошибся: они проворно и несуетливо складывали большой очаг. На их языке еще не было таких слов, как «формула» и «контакт», и поэтому, не обременяя себя излишними рассуждениями, они торопились: надо было накормить старшеньких.

# СКАЗКА КОРОЛЕЙ

ом был самым последним в городе. Дальше начиналось поле, где ничего не успели построить, — нейтральная полоса ничьей земли, еще не городской, но уже давным-давно и не деревенской. Поле поросло одним бурьяном, потому что этим летом ему предстояло принять великую муку приобщения к цивилизации и было жалко отдавать на растерзание бесчисленным колесам, гусеницам, ковшам и просто лопатам даже такую немудреную травку, как донник или сурепка. Природа откупалась бурьяном.

На той стороне поля виднелись теплицы или, вернее, то, что ими когда-то было. Опекавший их совхоз получил новые угодья и, хозяйственно вынув застекленные рамы, отбыл в неизвестном направлении, а они остались, словно костяки гигантских сельдей, пропуская сквозь свои подрагивающие ребра раздольный загородный ветер.

По ночам в поле было совсем темно. Зато возле самого дома, где оно, собственно говоря, не было уже полем, а посредством насаждения дюжины полумертвых барбарисовых кустиков было обращено в зону озеленения данного микрорайона — там на него ложились незыблемые световые квадраты попеременно зажигающихся и угасающих окон. Но сверху, с высоты девятого этажа, этой освещенной полоски видно не было, и по ночам Артему казалось, что где-то там, в непроглядной мгле, небо все-таки смыкается с землей, как сходятся в тупиках не сходившиеся доселе рельсы; небо накоротко замыкается на землю, и черный сполох этого замыкания стоячей волной замирает над миром,

пока лезвие первого луча снова не разомкнет их, словно створки раковины.

А иногда, когда случалось совсем худо, возникало ощущение абсолютной утраты пространства там, за окном, и не было не только земли и неба — не было ничего, просто первобытный хаос, не разделенный на твердь и хлябь. Сегодня Артему было худо именно в такой степени. .

В квартиру он вошел тихо, словно мог кого-то разбудить. Но будить было некого, и, досадуя на никчемную свою осторожность, он демонстративно громко потопал по кухне и грохнул возле холодильника сумку и сетку с консервами. Поддернув брюки на коленях, присел и начал меланхолично переправлять банки, пакеты и свертки в белое, замшелое изморозью нутро. Если уж ты такой кретин, что при всем своем желании не можешь промоделировать простейшую семейную жизнь, то твоих ребят это не должно касаться. Завтра новоселье, и они соберутся на твою прекрасную-распрекрасную квартиру. А ты принимай. И рожу делай соответственную, благодушную. В сторону чужих дам — особливо. Вот и абрикосовый компот на тот же предмет. Ах, смотрите, он догадался купить для нас абрикосы! Ах, льдинка в сиропе! Темка, ты молоток, даром что похож на Алена Делона! И чужие дамы, сажая липкие кляксы на декольте, примутся опохмеляться абрикосовым компотом.

И тогда свои ребята поймут, как ему худо.

— Темка,— скажут свои ребята,— ты отупевший буржуй. Ну разве можно в такой прекрасной-распрекрасной квартире существовать в одиночку? У тебя налицо аперитив и горошек,— скажут начитанные ребята,— но решительно не хватает Зизи. Слава богу, это поправимо. Смотри, сколько прекрасных дам (это над банкой с абрикосовым компотом). Выбирай любую!

А может, и вправду выбрать? Ведь ни одна не откажется. Прекрасные дамы прямо-таки выродились в какие-то самоотдающиеся системы... Баста. Хватит с него.

Артем захлопнул холодильник и направился в комнату. Света он зажигать не стал, а подошел к окну, чуть мерцавшему пепельным ночным светом. Неясное отражение собственного лица появилось на стекле, и Артем посмотрел на него с ненавистью.

Представьте себе, что рядом с вами живет молодой мужик, неотразимый, как Ален Делон. Ну, это еще можно представить. И каково ему живется — тоже вполне представимо. Но вся беда Артема заключалась в том, что он был гораздо красивее и Алена Делона, и вообще всех импортных кинозвезд мужеского полу.

Сравнение, конечно, не ахти, но что поделаешь — других эталонов на данный момент не имеется. Раньше, говорят, сравнивали с королями (см. Дюма). Сухощавый и темноволосый, он был исполнен той истинно русской красоты, коей славились благородные и невероятные бабы Венецианова, с их чуть тронутыми горбинкой носами, одухотворенными лбами, тяжкой чистотой непорочных рафаэлевских глаз и грешной припухлостью губ божьей матери Казанской. К сожалению, сейчас этот тип красоты вытеснен в нашем сознании другим, былинным новгородским типом, с обязательными соломенными кудрями и бесшабашной ясностью взгляда, который мы почему-то принимаем за тип истинно русский. А между прочим, голубые глаза и светлые волосы считались обязательными для красавиц средневековой Франции, если верить ее кодексу любви XI века.

Так или иначе, но благородная внешность в сочетании с уникальным в наше время именем создавали Артему такой комплекс неотразимости, что при самом горячем желании он не смог к своим двадцати четырем годам создать хоть мало-мальски устойчивую семью. Не везло человеку. Ну был бы хоть артистом или телевизионным диктором на худой конец, — у них, вероятно, вырабатывается профессиональный иммунитет против того, что на тебя постоянно пялят глаза и показывают пальцем. Но он был простым инженером и до сих пор не мог привыкнуть к тому, что на улице женщины систематически оборачиваются ему вслед.

В мутном отражении собственного лица было не разобрать отдельных черт, но Артем смотрел на него с определенной ненавистью.

Пока вдруг не понял, что при незажженном свете никакого, даже смутного отражения быть не может.

Оттуда, из черноты первозданного хаоса, на него смотрело чужое неподвижное лицо.

Еще несколько секунд Артем не шевелился. Потом до него дошло, что это, собственно говоря, не окно, а дверь, за которой на балконе и стоит незнакомец. Мысль о том, что это попросту вор, показалась нелепой — вор не стал бы так спокойно разглядывать хозяина квартиры через дверное стекло. Да и что взять у молодого специалиста, только что потратившего все свои сбережения на самую дешевенькую однокомнатную квартиру на последнем этаже?

А лицо все смотрело, не двигаясь, не мигая, не приближаясь. Артем шагнул вперед. Протянул руки, нащупал дверные запоры и с трудом их повернул. Дверь, осевшая за зиму, натужно

заскрипела. Вторая подалась легче, и Артем, поеживаясь от упруго ударившего в него ветра, ступил на балкон.

Смутное лицо, повисшее где-то сбоку, стало потихоньку уплывать в темноту, перила балкона вспыхнули фосфорическим пламенем и исчезли; Артем раскинул руки, прижимаясь к шероховатой кирпичной стене, но отыскивать за собою дверь было уже поздно, потому что вся темнота перед ним вдруг ожила, начала двигаться на него, словно громадный черный кот, и Артем уже чувствовал, как бесшумная необъятная лапа подцепила его, понесла, прижала к пушистому теплому брюху, и в этом щекочущем тепле он начал задыхаться, но ни бороться, ни даже кричать у него уже не было сил.

Дальше шел кошмар, удесятеренный своей бесконечностью. Артема переворачивало, мягко швыряло из стороны в сторону, но он никак не мог долететь ни до пола, ни до потолка — каждый раз упругий толчок воздуха изменял его движение, и он продолжал плыть, падать, парить, и самым мучительным было именно это отсутствие хоть какой-нибудь твердой точки, за которую можно было бы зацепиться. Воздух был страшен своей пустотой, он распирал изнутри тело, и Артем чувствовал себя глубоководной рыбой, брошенной в лоханку с дистиллированной водой. Жажды и голода он не ощущал, напротив — до самого горла он был переполнен какой-то пряной, приторной дрянью, и все это вместе — пространство вокруг него, воздух, насильственная еда — все было нечеловеческим, непредставимым, НЕ ТАКИМ. По всей вероятности, он поначалу находился в каком-то сне или беспамятстве, но все то, что окружало и переполняло его, было настолько мучительно для его тела, что он постоянно приходил в себя и, не в силах этого выдержать, снова терял сознание. И так без конца.

Щеку свело от холода, и он очнулся. Ай-яй-яй, подумал он, вот как гибнут от переутомления молодые специалисты. Сидя на полу в кухне и обнимая холодильник.

Он рванул на себя ручку холодильника, взял бутылку еще не успевшего подморозиться пива. Рука дрожала так неуемно, что пришлось снова привалиться к холодильнику и высосать пиво, держа бутылку обеими руками, как медвежата держат рожок с молоком. Пустую бутылку он автоматически переправил в сумку и провел рукой по подбородку. Бриться по расписанию следовало бы сегодня, по завтра праздник, завтра и... Рука его остановилась. Он провел по одной щеке, по другой — полутора-

дневная щетина исчезла. М-да. Может быть, по пути домой он заходил в парикмахерскую?

Артем поднялся и побрел в комнату, все еще недоуменно оглаживая подбородок. В комнате остановился и долго шарил по стене, отыскивая выключатель. На миг его взгляд задержался на пепельном, смутно проступающем квадрате окна. Какое-то жуткое воспоминание зашевелилось в нем, но так и не поднялось, не оформилось. Пальцы нащупали выключатель, раздался щелчок, и Артем сокрушенно понял, что наваждение, — а может быть, и сумасшествие — продолжается.

На его тахте лежала маленькая, как ящерица, женщина.

Она спала. Артем на цыпочках подошел к ней и тихонько, чтобы не разбудить, отодвинул стул и уселся на него верхом, положив на спинку непонятно каким образом побритый подбородок.

Женщина не шевелилась. Гибкое ее тело расположилось так, словно его бросили, и бросили весьма небрежно, как бросают вещь, о которой не надо заботиться. Ни один нормальный человек не стал бы спать в такой неудобной позе. Он бессознательно принял бы более удобное положение... И только тут до Артема дошло, что ей плохо и надо помочь, и эта необходимость помощи была сейчас самым главным, и он бросился к ней и приподнял за тоненькие, до странности покатые плечи. На какую-то долю секунды он замер и ошеломленно глядел на эти плечи, потому что таких не существовало и не должно было существовать в природе, но потом перед ним всплыл акварельный портрет Натальи Гончаровой, и он, поневоле уверившись в правдоподобности этих плеч, отпустил их и, сколь мог поспешно, направился на кухню за водой.

Но вода оказалась ни к чему, потому что он просто не знал, что с ней делать. Побрызгать на голову он постеснялся, влить в рот не было никакой возможности — губы незнакомки были плотно сжаты. Правда, из литературных источников ему было известно, что в таких случаях зубы разжимают острием кинжала. Литература, черт ее дери! Но что делать сейчас, вот тут, с этим вот человеком, что делать? Кричать? Звать на помощь? Звать на помощь. «Скорая помощь». О, черт, если бы хоть где-нибудь поблизости был работающий автомат! Но Артем точно знал, что поблизости его нет. И к тому же уйти, оставив ее тут? Одну? О, беспомощность двадцатичетырехлетнего современного цивилизованного человека! Равик подле умирающей Жоан. Роберт Локамп и Патриция Хольман. Этот, как там у Хема, и евонная Кэтрин. Литература, литература, литература...

И тут он увидел, как оживают ее глаза. Пока еще не ресницы, а только глаза под выпуклыми веками; потом дошла очередь и до ресниц, но они были слишком велики и тяжелы, чтобы приоткрыться. Ну же, торопил он ее, ну,— словно в том, что она откроет глаза, было спасенье от всех сегодняшних бед, от всего сегодняшнего неправдоподобия. Женщина была самым невероятным из всего, что приключилось за этот окаянный вечер,— и не ее появление, а именно она сама, ни на кого не похожая, НЕ ТАКАЯ. В чем это выражалось, Артем понять не успел, потому что увидел ее глаза.

— Фу,— сказал он облегченно и присел на край тахты,— а я-то...

Но она уже вскидывала руки, закрывая свое лицо, и там, в тесном промежутке между ладонями и губами, уже бился отчаянный, почти детский крик: «Но, но, но, но, но!..» Он схватил ее за руки — крик уже переполнял комнату, отражался от стен, звучал со всех сторон. И потом оборвался. О, черт, яростно подумал Артем, опять! И руки ледяные и какие-то бесплотные, словно лягушачьи лапки. Не вставая, он потянулся и выдернул из стенного шкафа шерстяное одеяло. Вот так. И давно надо было. Он закутал ее плечи, лилейные плечи Натальи Николаевны. Ну где сейчас найдешь женщину, которая падала бы в обморок при виде красивого мужика? Исключено.

Он наклонился над ней, пристально вглядываясь в лицо; потом откинулся назад и тихонечко присвистнул. Вот те на, сказал он себе,— перед ним-таки лежала красавица с растрепанною роскошною косою и длинными, как стрелы, ресницами. И как там дальше у Николая Васильевича относительно нагих белых рук? Как же это сразу не бросилось ему в глаза? Наверное, сбил с толку отпечаток долгого, непереставаемого страдания на удивительном этом лице. И потом — сам факт появления этой женщины... Только женщины ли? Он снова вгляделся. И чуть было снова не присвистнул. Ей было никак не больше пятнадцати, совсем девчонка, школьница, наверное. Школьница? Виева ведьма, вот она кто. Или агент «Интеллидженс сервис». Ведь кричала же с перепугу «но, но!». Не русская, значит. А может, эстонка или латышка? Там тоже белокурые, и красавица — куда там Вии Артмане!

Виева ведьма, она же агент «Интеллиджеис сервис», тихонечко всхлипнула во сне. Артем поправил одеяло. Несчастный, замученный подкидыш, невесть откуда взявшийся. Пригрелась, как мышонок на ладошке, и спит. Горячим бы чаем ее напоить.

Артем поднялся и, все еще чувствуя какую-то ватную неуверенность в ногах, побрел на кухню. После всей этой гофманиады здорово чего-то хотелось — не то есть, не то пить, не то распахнуть окно и свеситься с подоконника. Остановившись на простейшем варианте, он полез в холодильник. Черт с ними, с гостями, хватит им. В крайнем случае, завтра можно будет сгонять в гастроном. Он вытащил ветчину, масло, абрикосовый компот — чтобы нагрелся, не давать же ей, такой умученной, прямо из холодильника. А дамы завтрашние обойдутся.

Он нехотя поел и стал подумывать, как бы устроиться на ночлег. Раскладушкой он еще не обзавелся, хотя давно собирался это сделать на предмет укладывания засидевшихся и не имеющих на такси гостей. Конечно, тахта была достаточно широкой для двоих, но черт ее знает, эту непрошеную, она, кажется, с предрассудками. По всей вероятности, не побывала еще на студенческой стройке или на картошке, где спят вповалку. Придется укладываться на полу. Он направился в комнату и остановился на пороге, потому что с тахты на него глядели немигающие, расширенные ужасом глаза. Сделай он еще хоть шаг — и опять раздастся этот режущий, звенящий крик. Артем прислонился к косяку. Как это ни тяжело, но надо было договариваться. В конце концов, в каждой школе изучают какой-нибудь иностранный язык. «Но». Она кричала «но».

— Спик инглиш?

Глаза даже не моргнули.

— Шпрехен зи дойч?

Ну, слава богу, а то он и сам не шел дальше этой фразы, слышанной где-то в кино. Но что же тогда оставалось? Он выразительно пожал плечами. Она долго смотрела на него из-под своего одеяла, потом неслышно что-то прошептала. Он подался вперед — глаза испуганно заморгали. Она повторила, но так быстро, что ему стало понятно единственное — она говорит по-французски. Тут у него не было в запасе даже дежурной фразы.

— Париж, — сказал он яростно. — Нотр-Дам, интернациональ, метрополь, революцион, марсельеза. Еще Генрих Четвертый. На этом мой словарный запас кончается, дальше придется объясняться мимикой. Марсель Марсо, понятно? Хотя объясняться будем завтра, сегодня только познакомимся, на всякий случай. Придется на манер дикарей тыкать друг в друга пальцами, вот так: Тарзан — Джейн, Джейн — Тарзан, помните такой эпизод?

Ничего себе контакт двух эрудитов, со злостью подумал он. И это в эпоху космических полетов. Мало приятного остаться в памяти такой хорошенькой женщины круглым дураком.

— Меня зовут Артем, — сказал он. — Артем! — И для пущей убедительности постучал кулаком в грудь. Как орангутанг, подумал он сокрушенно.

— Меня зовут Дениз, — послышалось из-под одеяла. — Только я плохо говорю по-русски.

— О, господи! — у него гора упала с плеч. — Вы говорите, как сам царь Соломон, как сам Цицерон, как сам доцент Васильев на лекции по международному положению. Только отложим переговоры до утра, а то у меня голова разламывается, да и у вас, я вижу, слипаются глаза. Спите спокойно, и да приснится вам ваш родной Таллин.

— Mon Paris natal[1], — тихо прошептала она.

— Париж так Париж, — Артему было все равно, лишь бы поскорее вытянуть ноги. — Дело вкуса. Хотя, конечно, имеет смысл посмотреть во сне на то, что вряд ли увидишь в оригинале.

— Я оттуда родилась, — медленно проговорила Дениз, с видимым усилием подбирая слова. — Mon Dieu, je confonds des mots simples[2], — прошептала она уже совсем тихо.

— ...Оттуда родом, — машинально поправил ее Артем. И тут только до него дошел смысл сказанного. — Ага, все-таки проклятый «сервис».

— Не понимаю... Сервис — зачем?

— Ничего, это я так. Есть хотите?

— Нет.

— Слишком поспешно для того, чтобы быть правдой. Сейчас я вам кое-что притащу.

Консервный нож куда-то запропастился, и Артем довольно долго провозился на кухне, открывая банку с абрикосами перочинным ножом. Открыв, выплеснул содержимое банки в стеклянную селедочницу и понес к Дениз.

— Вот, — сказал он, подходя, но она уже протягивала руку, заслоняясь от него узкой беззащитной ладошкой.

— О, черт! — он в сердцах поставил селедочницу на стул, оказавшийся между ним и тахтой. Розоватые глянцевые абрикосы с поросячьим самодовольством разлеглись в узкой посудине, красноречиво деля его собственную комнату на территорию Франции и СССР. — Впрочем, как вам будет угодно.

Он вытер лезвие ножика и попытался сложить его, но руки после давешнего наваждения еще подрагивали, и нож, так и не

---

[1] Мой родной Париж (*франц.*).

[2] Боже мой, я путаю простые слова (*франц.*).

сложившись, выскользнул у Артема из рук и полетел вниз острием. Оба они видели, как лезвие блеснуло в воздухе узкой серебряной рыбкой, коснулось пола и... ушло в него. Целиком. Словно это был не паркет, а густой кисель или глинистый раствор. Едва уловимое кольцо побежало, расширяясь; его слабая тень скользнула под ботинки Артема — и все исчезло.

Артем ошеломленно глядел на пол, на то место, где произошло это очередное чудо. Потом поднял голову и встретился глазами с Дениз. Они смотрели друг на друга так, словно каждый был самой настоящей нечистой силой в образе человеческом, они ненавидели сейчас друг друга за все бессмысленное неправдоподобие сегодняшнего вечера, за кошмар этих ненужных никому чудес, за их непрошеную встречу — и каждому казалось, что тот, другой, и есть виновник всего происходящего.

Артем опомнился первым. Все. Хватит с него этих фокусов, сыт по горло. Он рванулся в переднюю и сдернул с вешалки плащ. Он еще не знал, что будет делать — переночует у кого-нибудь из друзей, проболтается до утра по весенним стылым улицам или попросту найдет работающий автомат и заявит в соответствующие органы, — но терпеть такое издевательство над собственным рассудком он больше не мог.

Будь она хоть капельку не такой, у него не появилось бы мысли обвинить ее во всем происшедшем; но невероятная красота сама по себе делала ее причастной ко всей этой чертовщине. Он распахнул входную дверь, вылетел на лестничную площадку — и увидел вокруг себя серебряный сумеречный сад.

И тогда он успокоился. Черт побери, сказал он себе, не каждый день удается посмотреть такой волшебный, цветной, широкоформатный, стереоскопический и стереофонический сон. Надо этим попользоваться. Попользуйся, брат мой. Нет, надо ж так — двух часов не проспать без цитаты из Хемингуэя. Это его совсем развеселило. Ну что же, рассмотрим сон во всех подробностях.

Черные мультипликационные пирамидки деревьев, равномерно подклеенные к нижней кромке тусклого неживого неба; темная фольга прямых, словно рельсы дорожек, а между ними — разливы светло-серых жемчужных цветов, казалось, не росших из земли, а перелившихся через край волшебного горшка, который вместо гриммовской манной каши варил и варил бесконечную цветочную массу, пока она не переполнила игрушечный этот мир до такого близкого его конца.

И посреди этого сада, завороженного пепельным мерцающим полусветом, стойким отсутствием каких бы то ни было запахов и

особенной, клейкой тишиной, как уже нечто совсем естественное возвышался маленький диснеевский домик. Неправильность формы позволяла угадывать в нем планировку однокомнатной квартиры; сложен он был из традиционного кирпича и накрыт двускатной крышей из соломы. Миленький такой шалаш. Трубы только не было, зато на входной двери трогательно белел квартирный номер. Артем тихо, чуть ли не на цыпочках пошел вокруг дома, все время плечом и ладонью касаясь шершавой стены — отойти даже на полшага было как-то боязно. Поворот — и под его пальцами зашуршали обои. Ну да, в этом месте должна была находиться великолепная квартира соседа Викентьича, беспалого мясника, уже успевшего повадиться к Артему за сигаретами. Но от нее осталась только шершавость унылых обоев, кое-где уже подраных матерым сторожевым кобелем.

А за следующим углом шли окна. Его окна — сперва кухонное, с перышками зеленого лука на подоконнике, там, внутри, а затем освещенное, сдвоенное с балконной дверью. Балкон лежал прямо на земле, и, ухватившись за его безобразненькие чугунные перильца, Артем вдруг отчетливо представил себе, что все наваждение мертвого этого сада вдруг исчезает, и почва расступается под ногами, восстанавливая прежнюю девятиэтажную пропасть между его балконом и настоящей землей. Страх перед этой воображаемой пустотой был так велик, что Артем чуть было не перемахнул через перила и не ворвался обратно в комнату через балконную дверь, но через стекло была видна тахта и на ней — лежащая вниз лицом Дениз. Но-но, прикрикнул он на себя, заставив оторваться от спасительных перил, рысцой промчался вдоль последней стенки и, ударившись всем корпусом о входную дверь, очутился в прихожей.

Дениз не шевельнулась, словно не слышала его шагов. Но пушистый ворс одеяла дышал ровно и нечасто, словно шерстка на спине у спящего котенка. Артем подошел к тахте и тяжело опустился на край.

— Я только что был там,— он ткнул большим пальцем в сторону окна.— Этакий висячий сад Семирамиды. Посреди сада — плешь, а на ней наша хибара. Хочешь взглянуть?

Она подняла голову, безучастно посмотрела в окно, потом едва слышно произнесла:

— Mais c'est egal[1],— и снова опустила голову.

И тут он перепугался уже по-настоящему, как можно бояться не за себя, а за другого человека. Кем бы она ни была, но он-то был

[1] Мне все равно (*франц.*).

мужчиной, он был старшим и сильнейшим. Он не знал ни слова по-французски, но прекрасно ее понял — ей все равно, и в такой степени, что она не будет ни есть, ни пить, а свернется под одеялом в маленький холодный комочек, словно птенец, брошенный в гнезде, и очень даже просто помрет. А он так и не будет знать, что же с ней делать, тем более что теперь не добежишь до автомата и не позвонишь в «неотложку», «скорую» или в соответствующие органы.

— Нет уж,— сказал он решительно,— придется тебе меня слушаться. Сейчас мы поужинаем.

Вода на кухне исправно шла — и горячая, и холодная. Газ исправно горел. Артем согрел чай, почти насильно напоил Дениз. Самому ему после всех этих открытий тоже ничего не хотелось, но положение старшего обязывало, и в качестве наглядного примера он с хорошо скрываемым отвращением запихнул в себя пару марокканских полнотелых сардинок. Совершив сей гастрономический подвиг, Артем почувствовал, что ни на что более он не способен.

— На моих часах половина одиннадцатого... А, черт! Стоят. Придется произвольно отсчитывать время. За окном непроглядная темень, ни огонька на горизонте, и вряд ли удастся что-нибудь выяснить. Посему на правах старшего откладываю все вопросы на завтра и приказываю всем спать. Я лично устал как собака.

Он старательно запер двери и проверил окна, потом вытащил ящик с инструментами и нашел там маленький, недавно наточенный топорик. Не ахти какое оружие, но все-таки.

— Подвинься,— сказал он. Дениз отчаянно захлопала ресницами.— Подвинься, подвинься. Тебе же все равно.

Она испуганно прижалась к стене. Артем сунул топорик под подушку и блаженно вытянулся подле Дениз.

— Есть у нас такая миленькая приспособленческая пословица,— пробормотал он, закрывая глаза,— «с милым рай и в шалаше». Не слыхала? — подушка под щекой шевельнулась,— Дениз не то кивнула, не то покачала головой.— Так вот, рай налицо, шалаш тоже комфортабельный, тебе остается только вообразить, что я — искомый «милый»; — Дениз снова испуганно дернулась, но дальше отодвигаться было уже некуда.— Да не бойся ты, глупенькая, я же сказал — вообрази. А шалаш у меня европейский — «с ванной, гостиной, фонтаном и садом...» как там дальше?.. «фонтаном и садом... только смотрите, чтоб не было рядом...» А знаешь, что во всей этой петрушке самое страшное? — Дениз затаила дыхание.— Мне кажется, что мы здесь совсем одни...

Он проснулся.

Было до изумления легко. Воздух щекотал изнутри при каждом вдохе; руки, поднятые для того, чтобы закинуть их за голову и потянуться, взлетели сами собой, словно к каждой было привязано по десятку разноцветных воздушных шариков. И вообще все было лучше некуда, трын-трава и море по колено. А если что и не так, то только для того, чтобы преодолеть, превозмочь, переделать, перестроить. И достичь.

Состояние легкого опьянения. Осторожно, Темка. Пока ты спал, с тобой что-то сделали. А может, не с тобой, а со всем тем, что тебя окружает. С воздухом, например.

Артем нашарил в кармане примятый за ночь коробок, чиркнул спичкой. Вспышка была несколько ярче, чем следовало ожидать. А может, показалось? Он чиркнул еще и тут только вспомнил про Дениз. Вот осел, напугаю ведь спящего человека.

Он осторожно спустил ноги с тахты, встал и, чуть не приплясывая, — впрочем, это получалось само собой, а не от избытка радости, — выбрался в прихожую. Ладно, для первого раза определим, где мы сейчас находимся. Он распахнул дверь и вышел в сад. Веселье, неестественное, пришедшее извне, оставалось, но уверенность неуклонно улетучивалась. Да, действительно, где мы находимся? В голову лезла всякая бианковская ерунда вроде лишайников, которые обязаны произрастать только на северной стороне дерева, или муравейника, который, напротив, предпочитает южную сторону. Ни муравейников, ни лишая в райском саду не имелось. Утренний рассветный сумрак стремительно таял, но нигде в равномерных просветах между деревьями не проступало ни мутного пятнышка прячущегося солнца, ни розоватого блика зари. Небо было затянуто легкими, но необыкновенно низкими облаками, они висели неподвижно и за деревьями спускались до самой земли. Казалось, сад с крошечным домиком посередине был покрыт непрозрачным студенистым колпаком. Ни шороха, ни ветерка.

Он вернулся.

— Вставай, — он присел на край тахты, положил руку на одеяло, где угадывалось узенькое покатое плечо. — И только пугаться, как давеча, не вздумай.

Она обернула к нему свое лицо, подрагивающее незабытым вчерашним ужасом, и ему вдруг стало страшно, как может быть страшно только в детстве, когда встречаешь наяву что-то такое, что никак не может быть, чего НЕ БЫВАЕТ, — словно это Серый волк, словно Вий, словно Кощей Бессмертный.

Вот так поразило его нечеловеческое, принадлежащее не природе, а живописи — ее лицо.

— Проспали, — сказал он нарочито громко, разрушая наваждение ее немерцающей, стоячей красы. — По звездам надо было определяться. Север, юг и все такое. Сейчас туман, — она смотрела на него, видимо не понимая, что он говорит, и он также не слышал и не понимал собственных слов. — Туман. Облака совсем над головой. За деревьями они легли на землю. Только туман и посередине этого тумана мы. Ты и я.

Он отгораживался от нее словами, словно стоило ему замолчать — и он остался бы беззащитным перед бесовской силищей нерукотворной ее красоты.

— Да вставай же ты, — закричал он с отчаяньем, — вставай, навязалась ты на мою голову...

Она послушно поднялась и пошла в ванную, ступая боязливо и легко, словно пол, так загадочно поглотивший вчера злополучный ножик, мог снова расступиться. На пороге она застыла, удивленно прислушиваясь, но не к внешним звукам, потому что кругом была прежняя стойкая тишина, а к чему-то своему, подкожному, шевелящемуся внутри.

— Странно, — сказала она спокойно, — я вся... ligere, легкая. Мне нужно только отдохнуть...

Она не договорила, словно не могла еще определить, что же она сможет после того, как отдохнет.

— И что тогда? — почему-то шепотом спросил Артем.

— Тогда я смогу летать.

— Да, — сказал он, — да... — и даже про себя, не вслух, он не усомнился в том, что она это действительно сможет.

И он представил себе, как она выходит на балкон, наклоняется вниз, через перила... А, черт, он же забыл, что теперь балкон лежит прямо на земле. Но все равно, все равно. Она встанет на перила, подпрыгнет и, даже не взмахнув руками, начнет легко подыматься вверх, к студенистому серому колоколу, накрывающему весь сад. Контуры ее тела станут смутными, размытыми; вот она... Хлопнула дверь — Дениз исчезла в ванной.

Артем шумно выдохнул воздух и встряхнулся, словно селезень, вылезший из пруда. Положительно, пока он смотрит на Дениз, в голову лезет самая настоящая чушь. Дремучая чушь, как говаривал Гораций. Оказаться невесть где, черт знает с кем и уж совершенно непонятно — для чего, и с утра пораньше пялить глаза на эту куколку... Тьфу. Значит, так: быстро закусить, собраться и идти на разведку. В конце концов, не на десятки же километров тянется этот райский сад. Где-то он должен кончиться. Дойти до этого конца, а там будет видно, что дальше.

— Ты готова? — спросил он появившуюся Дениз. — Садись, ешь. Сейчас ты останешься тут, а я хоть немного осмотрю окрестности.

Она отчаянно затрясла головой.

— Ты слушай, когда тебе говорят. Если бы тебя хотели отсюда украсть... Да не делай ты такие страшные глаза! Пойми, раз уж нас с тобой посадили в этот персональный шалашик, значит, кому-то надо, чтобы мы тут сидели вдвоем. И если бы с тобой хотели что-нибудь сделать, то поверь, что у них было на это и время и возможность. Так что сиди тут и никуда от дома не отходи. Топорик на тахте, на всякий случай. И не раскисай.

Он хотел дружески похлопать ее по плечу, чтоб действительно не раскисла, но вовремя остановился. Черт побери, он совсем забыл, что у нее плечи, которые не созданы для того, чтобы по ним дружески похлопывать. Совсем для другого были эти плечи...

Фу, нечистая сила. Пришлось опять встряхнуться.

— Держи хвост морковкой, принцесса, — сказал он неестественно бодрым голосом и шагнул за порог.

Прямо от порога веером разбегались дорожки — добрая дюжина, не меньше. Итак, выберем простейший вариант — идти прямо, чтобы домик все время оставался за спиной.

Он прошел несколько шагов и понял, что идти прямо невозможно. Дорожка змеилась, причудливо меняя направление, и терялась среди бесшумной громады высоченных кустов, намертво переплетшихся между собой трехпалыми, с добрую куриную лапу, колючками. Артем невольно обернулся — соломенная крыша домика уже не просматривалась за поворотом. Хорошо бы капроновую лесочку или, на худой конец, элементарную катушку десятого номера, комбинат «Красная нить», длина 200 метров. И чтобы Дениз держала ее за кончик, а-ля критская Ариадна.

Он представил себе эту картину со стороны: верзила (метр восемьдесят четыре) на капроновом поводке, словно комнатный песик. Да мы, кажется, трусим? Он решительно зашагал вперед. Узенькая тропочка все петляла, выскальзывая из-под ног; она была усыпана крупным, словно хорошо прожаренная греча, красноватым песком. Артем все не мог понять, что же необычного, НЕ ТАКОГО в этом песке, потом понял: на нем не остается следов. Никаких. Чтобы убедиться в своих наблюдениях, он присел и пальцем вывел большое каллиграфическое «Д». Пока подымал руку — все исчезло, словно было написано на воде. Ни рытвинки, ни бороздки.

Только красный прожорливый песок, в котором можно исчезнуть без следа.

Он побежал назад. Поворот. Еще поворот. Врезался в цепкий, нависающий над тропочкой куст. Выдрался. С мясом. Снова побежал. Скорее. Только скорее. Споткнулся. Корень. Черт, какой корень? Не было никаких корней. И деревьев этих до сих пор не было. Совершенно точно не было. Где-то он свернул. Не заметил, что тропочка разветвляется. Назад!

Назад. А сколько это надо — назад? Он бежит уже больше километра, и никаких развилок, и ничего похожего на прежнюю тропинку. Чаща кругом. Зачем он повернул? Чего испугался? Пройти бы еще немного, ну пес с ними, с деревьями, может, они и были. Он сейчас уже выходил бы к дому. Назад!

Назад. Деревьев все больше и больше. Спокойно. И не бежать. А то и так уже мучительно хочется пить. Идти спокойно. Спокойно идти назад. Вот так. Он уже полчаса идет назад. В который раз он уже поворачивает назад. И где вообще его дом? Сколько раз за это утро он поворачивал? Хоть бы какой-нибудь, самый паршивенький ориентир. О солнце он даже и не мечтал. По солнышку, по солнышку, по травке луговой... Дымчатое брюхо серого мышастого неба провисало над самыми верхушками деревьев. Он медленно побрел вперед. Вперед? Если бы он был в этом уверен...

Прошло около часа, пока он не вспомнил, что надо просто влезть на дерево и оглядеться. Беспомощность цивилизованного хлюпика, еще раз с ожесточением подумал он.

Он выбрал то, что показалось ему повыше остальных, продрался к нему через чащу кустов и сбросил ботинки. Ствол был гладким, добраться до нижних ветвей оказалось чертовски трудным. Но дальше пошло легче, и возле самой вершины Артем высунул голову из ветвей и посмотрел вниз.

То, что называется «девственным лесом». Море зелени, удивительно однотонной зелени, ни пятнышка хоть немного другого оттенка. Словно весь этот лес поливали с вертолета ядовито-изумрудным купоросом. Если бы не тропинка, аккуратно посыпанная крупнозернистым железистым песком, он сказал бы, что в этих краях еще не ступала нога человека.

А точно ли внизу есть тропинка? Его нисколько не удивило бы, если б и она исчезла. Но тропинка оказалась на месте, и, спрыгнув на нее, Артем снова не мог определить, с какой же стороны он подошел к этому дереву. А не все ли равно? Оставалось идти куда глаза глядят. Или вообще никуда не идти. Что толку метаться взад и вперед, если сезам закрылся, навсегда замкнув поляну, подернутую легкой накипью пепельно-серых цветов? Какие новые неестественные красоты уготованы ему на том или

другом конце этой тропинки, и главное — с какой целью? С этого проклятого вечера, когда он с грохотом опустил на пол сумку и сетку с консервами в своей милой новенькой квартире, кто-то упорно и методически измывался над его здравым рассудком. Кажется, в одном из концлагерей пытались установить, сколько времени может выдержать человек в разреженном воздухе. Или на морозе.

Не ставят ли над ним какой-то чудовищный опыт, определяя, сколько чудес может вынести обыкновенный человеческий мозг? А если это так, то кем же была Дениз — сообщницей или подопытным белым мышонком?

Как ни странно, но мысль о Дениз не воскресила в его памяти ее лица. Неопределенные воспоминания о чем-то красивом, и только. Да полно, что в ней было особенного? Он с трудом заставил себя припомнить каждую отдельную ее черту — губы, брови, волосы. Все прекрасно, спору нет, но сплошь и рядом такие же вот совершенные составляющие слагались в абсолютно невыразительные, плоские лица. Ничего особенного, и если ему суждено никогда больше ее не увидеть, то особого разочарования он не испытает. А уж искать — и подавно. По доброй воле и своими ногами он с места не двинется. Если кому-то надо — пусть его несут. Хоть волоком, хоть по воздуху. Он плюхнулся на дорожку, взрывая ботинками песок, и в тот же момент услышал близкий, зовущий вскрик: «А-а!» Кричала Дениз, и не в полный голос, как от боли или от страха, а чуть недоуменно, вопрошающе, словно — где ты?

И снова — «а-а!», и теперь это был уже страх.

Он вскочил и, ни о чем не думая, ринулся прямо в заросли, на этот голос. И когда, вконец ободранный, он выбрался на полянку, домик стоял в каких-нибудь десяти шагах от него, и на пороге, поджав под себя ноги и рассыпав на коленях серые цветы, в буколической позе сидела Дениз. Он прекрасно понимал, что вся эта картина чересчур смахивает на рождественскую открытку из старинного бабкиного альбома, не хватает только воркующих голубей, — и одновременно с трезвым этим сознанием чувствовал, как сейчас он схватит ее — только хрупкие лопатки чуть шевельнутся под его ладонями — и вот так, с согнутыми коленками и цветами в подоле, прижмет к себе... какой-то шаг оставался до нее, когда он справился с этим наваждением. Немного помедлил, переводя дыхание, потом сделал этот последний шаг и, поддернув брюки на коленях привычным жестом, присел перед ней на корточки.

— Ну что? — спросил он ее. — Напугалась?

— Да,— с готовностью согласилась Дениз.— Вы так долго были... dans ce fourre[1]... там,— она неопределенно махнула ладошкой.— Я хотела позвать...

Она запнулась и опустила голову. Смутное подозрение снова поднялось в нем: она не хотела отпускать его. Она держала его подле себя. Он ушел, и она тут же подняла переполох.

— Ну да,— Артем пристально смотрел на нее.— Ты хотела позвать меня. Так что же?

— Я хотела позвать... и тут... Я забыла ваше имя.

Он приготовился не поверить ей. Что бы она ни сказала — он должен был ей не поверить.

Но эти слова, произнесенные с детской беспомощностью, странным образом совпали с его недавним состоянием. Ведь он сам только что не мог припомнить ее лица.

Он ожидал всего, только не этого.

— Артем.

— Артем...

— Повтори еще.

— Мсье Артем.

— Ох, только без этих импортных обращений. Просто — Артем.

— Артем. Артем. Артем.

— Ну вот и умница. Больше тебя ничего не тревожит?

— Я боюсь завтра (не лишено оснований, подумал он, я вот боюсь за сегодня)... боюсь завтра проснуться — и вас нет. И нет память о вас. Ничего нет.

Артем посмотрел на нее ошеломленно, как на восьмое чудо света.

— Тебе же было все равно.

— Это пока вы рядом.

Вот тебе и на!

— Не бойся, больше я не буду тебя бросать. Это, конечно, была глупость, что я пошел один. Если бы ты не позвала меня... Почему ты не спрашиваешь, что я там увидел?

— А это мне все равно.

— Там только сад. Бесконечный, одинокий сад, и, уйдя от нашего домика, мы вряд ли сможем к нему вернуться.

— Зачем тогда уходить?

Он встал и молча прошел в дом. Хотелось бы обойтись без объяснений.

---

[1] В этой чаще (*франц.*).

— Собирайся, — коротко велел он.

Дениз растерянно смотрела с порога, как он запихивает в спортивную сумку хлеб и консервы, сворачивает одеяло.

— Это тебе, — кинул он ей свой свитер. — Ночью будет холодно.

Он притворил за собой дверь и даже не оглянулся. Этот игрушечный шалашик был не его домом, чтобы жалеть о нем.

— Иди вперед, — он пропустил ее перед собой на узкой — двоим не разойтись — тропинке. — И пора наконец поговорить.

Она ничего не ответила.

— Ты кто такая?

Несколько шагов она прошла молча, словно обдумывая ответ, потом на ходу обернулась, и он увидел ее спокойное прекрасное лицо: я такая, какая есть, такой уродилась я. Опять литература.

— Ты русская? — глупый вопрос, русские лица такими не бывают.

— Мама.

— Ясно. Жертва дореволюционных миграций. Как Марина Влади.

— Нет. Последняя война.

— Угнали немцы? Тогда прости.

— Да. Отец и мама встретились в лагере и не смогли расстаться.

Ну, что же, если Дениз пошла в мать, то ее отца понять не трудно. Хотя это может быть всего лишь правдоподобной версией. Версией... А это уже из второсортной литературы. Да кому он нужен — едва оперившийся инженер? Смешно. Городить такой огород, перетаскивать его в эту мертвую долину, да еще подсаживать к нему эдакую фазанью курочку, несовершеннолетнюю Мату Хари?

Чушь, чушь собачья. Девчонка как девчонка, школьница, только чересчур смазливая школьница. Сзади на нее смотришь — и то оторопь берет. Ей бы в актрисы, за границей, говорят, сплошь и рядом непрофессионалки. А может, эта — как раз профессиональная актриса? Давешний испуг, и визги, и бессильные, не свои руки? Если бы она была просто девчонкой — русской ли, француженкой, — давно должна была протянуть ноги от усталости. А эта идет. Спросить ее еще о чем-нибудь? Ответит. И когда родилась, и как зовут эту... как ее... консьержку, и каким камнем вымощен их дворик на улице... Улицу она тоже назовет. Спрашивать, чтобы, не поверить?

А она все идет и идет, не оставляя следов на крупном, не хрустящем под ногами песке.

— Может, ты все-таки устала?

Она продолжает идти, не оборачиваясь. Ну да, ведь он не имеет никаких прав на заботу о ней. Никаких прав, пока у нее есть хоть какие-нибудь силы. Когда силы кончатся, права возникнут сами собой. Много прав. Право на заботу. Право на помощь. Право на...

Ох, черт, опять заносит.

— Может быть, я пойду первым?

Это чтобы не видеть ее перед собой. Но она снова не отвечает и продолжает бесшумно двигаться впереди по красной извилистой тропинке, на которой не остается никаких следов.

Они идут, идут, идут, и уже кружится голова от бесчисленных поворотов, и хочется упасть ничком и лежать, как лежала она, когда в первый раз он увидел ее на тахте в своей комнате. Лежать, как будто тебя бросили, и даже не пытаться изменить положение тела.

Дениз остановилась так внезапно, что Артем невольно сделал еще один шаг и обнял ее за плечи — тропинка сузилась настолько, что встать рядом не было возможности. Дениз подалась назад и запрокинула голову.

— Все, — выдохнула она. — Я кончилась. Все.

Он ждал, что так случится, но теперь вдруг растерялся.

— Еще немного, Дениз, — забормотал он, словно это немногое могло хоть что-нибудь изменить. — Может, впереди будет хотя бы поляна...

Они шли уже несколько часов, и никаких полян не было. Только стена колючих кустов и крупный песок тропинки.

— Я понесу тебя.

Она замотала головой.

— Тогда что ты предлагаешь?

Плечи ее уходили из-под его ладоней; он сжимал их все крепче, но ничего не помогало — она исчезала, вытекала из его рук... Подхватить ее он успел. Поднял. Какое легкое тело, еще легче, чем он себе представлял. Ага, поймал он себя, а ты, оказывается, уже представлял ее у себя на руках. И когда только? Он старался идти широким, размеренным шагом. Как верблюд. А ведь легкость тела обманчива. Даже вот такое, почти невесомое, оно через двести шагов станет невыносимой тяжестью. Это он знал точно. Знал из той, позавчерашней жизни, что осталась по ту сторону от холодильника и сетки с консервами, брякнутыми об пол. Но вот кого он нес тогда? И не вспомнишь теперь, да и неважно это.

— Артем, — сказала она громко в самое ухо, — отпустите мне.

— Что это ты вдруг? — спросил он, осторожно переводя дыхание между словами. Разговаривать, когда несешь кого-нибудь на руках, — это уже совсем пропащее дело. — И потом — меня.

— Отпустите меня. Совсем. — Артем молча шел вперед, стараясь прикрывать рукой ее голые коленки — чтобы ие очень ободрать их о сизые лапчатые колючки, вылезшие чуть ли не на самую середину дорожки. — Si vous ne me laisser pas partir aussitot[1] — крикнула она высоким и злым голосом.

— Не кричи мне в ухо, — попросил Артем.

Она ткнулась носом ему в шею и примолкла.

— Погоди немного, может быть, мы найдем поляну. Отдохнем.

И тогда за поворотом послушно появилась ровная плюшевая полянка.

Он присел и, все еще не отпуская Дениз, провел свободной рукой по траве — она оказалась легкой и сухой, словно сено.

— Ну вот, можно наконец и ноги протянуть.

Дениз промолчала. Он опустил ее на теплую траву, в которой не стрекотал ни один кузнечик, не копошился ни один жучок. Мертвый кустарник, мертвая поляна.

И вконец измученное, осунувшееся лицо Дениз. Вот это уже никак не может быть игрой. Даже если она когда-нибудь и станет знаменитой актрисой, то и тогда ей не удастся сыграть так правдоподобно.

А ведь забавно будет, если через десяток лет он узнает ее в очередной голливудской кинодиве и так небрежно бросит своим ребятам: «Ну и намучился я, когда пришлось эту мамзель тащить на руках, — даром что одни мослы, хоть студень вари. Это тогда, когда мы заблудились в...»

Насчет мослов и «студня» — это наглый плагиат; услышал в кино по поводу Одри Хепберн и, придя в дикий восторг, взял на вооружение. А что касается «заблудились в...» — то сейчас это было проблемой номер один. Действительно — в Андах, Аппалачах, Бирме, Венесуэле, Герцеговине?.. Нужное подчеркнуть. Ха!

А что, если она знает? Застать ее врасплох — если не проговорится, то пусть хотя бы растеряется.

— Где мы находимся? — спросил он быстро.

Она обернула к нему свое спокойное лицо.

— Вы спрашиваете меня?

Она не знала. Не могла она знать и так притворяться.

---

[1] Если вы меня сейчас же не отпустите... (*франц.*).

— Мы не в Европе.

Она не возразила.

— Нас везли, и весьма продолжительное время. Мы не в Африке — здесь не жарко. Да и растительность средних широт. Дальше. К нам не проникает ни звуков, ни ветра. Значит, мы в маленькой долине, окруженной горами. Высокими горами. Есть ли такие горы в Австралии? По-моему, нет. Но мы невысоко в горах — иначе нам было бы трудно дышать. Логично? Теперь, густая облачность указывает на близость воды. Вода рядом, и ее много. Может быть, это океан. Но таких безлюдных гор на побережье Азии я что-то не помню. Черт, а еще имел четверку по географии. Итак, остается Южная Америка — Анды. Ты очень устала?

Дениз молча покачала головой.

— Хорошо, если бы мы к вечеру дошли до этих гор. Долина должна быть крошечной, иначе мы ощущали бы ветер.

Ее рука машинально поднялась, пальцы зашевелились, словно ветер был чем-то осязаемым, что можно поймать. Рука упала.

Ах ты черт, сентиментальность проклятая, дешевое рыцарство. Язык не поворачивается сказать: «Ну пошли!» А ведь надо, надо! Не ждать же здесь, пока с тобой выкинут очередной фокус.

— Дениз... — это почти виновато.

— А?

— Идем, Дениз.

Она тихонечко вздохнула и поднялась.

Они так и шли до самой темноты — сперва Дениз медленно брела впереди, потом виновато оглядывалась, и Артем брал ее на руки. Потом им попадалась поляна, они лежали рядом и глядели друг на друга, потому что вверху было неподвижное, словно застывшее в какой-то момент падения небо, на которое смотреть было страшно.

Потом они подымались и шли дальше.

Темнота наступила внезапно, даже слишком внезапно, как будто кто-то ввел на полную катушку громадный реостат. Некоторое время они шли в темноте, но больше спасительных полян не появлялось.

— Ничего, — сказал Артем. — И это не самое страшное. Песок на дорожке совсем теплый.

Он стал расстегивать куртку, и тут впереди блеснул огонек. Они не побежали, и не потому, что Дениз едва передвигала ноги, нет, — в этот вечер у них еще сохранилась какая-то осторожность. Они бесшумно крались вперед, пока огонь не стал освещенным

окном; цепляясь за перила крошечного палисадничка, Артем приподнялся и, прячась за косяком, заглянул внутрь.

Мятая тахта с клетчатым одеялом, пустая селедочница на стуле посреди комнаты, возле порога на полу — черный свитер, все-таки забытый Дениз.

Он оцепенело рассматривал все это, не понимая, не желая понять, что это тот самый дом, от которого они сегодня утром ушли не оглядываясь, ушли прямо, оставляя его за спиной.

— Кто там? — робко спросила Дениз из-за спины.

Если бы там кто-нибудь был!

— Никого, — сказал Артем, пропуская ее вперед. — Можешь никого не бояться.

Никого, только тот же дом, пустой, ожидающий их возвращения. Как капкан. Дверь за спиной захлопнулась, и Артем невольно протянул назад руку — попробовать, откроется ли она еще раз. Дверь мягко подалась. Вот, значит, как — капкан, из которого можно выйти. Сегодня утром они уже попробовали это сделать. Ну что же — завтра попробуем еще раз.

— Ты только не засыпай, — сказал он Дениз, — я сейчас сварю кофе, а то завтра ты и вовсе с ног свалишься.

Но она уже лежала на тахте, совсем как вчера, словно она не сама легла, а ее бросили, как бросают платье. Он повернулся и на цыпочках, чтоб не разбудить, пошел на кухню. И там все было так, как вчера. Батон в полиэтиленовом мешке, груда консервных банок на дне холодильника. Даже абрикосы. Может, он их не открывал? Да нет, было такое дело, еще и нож... Нож лежал на столе. Перочинный нож за два рубля пятнадцать копеек. Тот самый. А кофе? И кофе в жестянке было ровно столько же, сколько вчера вечером.

Есть почему-то расхотелось.

Он вернулся в комнату, осторожно подвинул Дениз к стенке и улегся рядом. Она приоткрыла глаза.

— Между прочим, — сказал он шепотом, — мы действительно в райском саду. И холодильник в роли скатерти-самобранки.

Она чуть поморщилась — досадливо и безразлично.

— Нет... не сад, — пробормотала она, засыпая. — В саду цветы... А в райском... des pommiers, яблони...

Артем шумно фыркнул и тут же скосил глаза. Нет, ничего, не проснулась. Усмехнулся уже беззвучно — господин учитель, мне бы ваши заботы. Яблонь ей не хватает. Тоже мне Ева. А Ева ли? Он всмотрелся в ее лицо. На кого она похожа? Каждая отдельная черта напоминает что-то, порой вполне определенное — пле-

чи Натальи Гончаровой, волосы Екатерины Второй, подбородок Одри Хепберн... А сама-то — от горшка два вершка. Десятиклашка. Хотя — Елене Прекрасной, когда ее Парис умыкал, было, говорят, десять лет. Джульетте — тринадцать. Ева тоже вряд ли была совершеннолетней, и уж тем более — красавицей. Вон у Жана Эффеля — первозданная дура, которой только дай дорваться до райской антоновки. Не с чего ей было стать такой вот, как эта. Господь бог, когда ее творил, не располагал никакими эталонами, а о промышленной эстетике он и представления не имел по серости своей. Кустарь-одиночка.

Десятки веков должны были пройти, чтобы могло уродиться на земле такое вот чудо. Уродиться-то оно уродилось, да вот на что? Ей-богу, лучше, если бы подкинули ему свою девчонку, он бы хоть знал, как с ней обращаться. Привил бы ей элементарные туристские навыки, чтобы через сотню шагов не просилась на руки, покрикивал бы, время от времени щелкал по носу — для поднятия духа. Топали бы они по этому паршивому раю, распевая песенки Никитиных и Пугачевой, а когда добрались бы до тех, кто все это устроил, — можно было бы не бояться, даже если бы дошло до рукопашной.

А эта? И девчонкой-то ее неудобно называть. В старину говорили — лицо, выточенное из алебастра. Ощущение чего-то неземного от этого образа сохранилось, хотя для нашего брата алебастр — это нечто грязноватое и в бочках.

И все-таки — выточенное из алебастра лицо, и никуда от этого не денешься. Капризная складочка в уголке рта. Яблонь ей не хватает.

А когда они наутро проснулись, было совсем светло, и за окном пламенела огромная пятиугольная клумба, какие обычно украшают центральные площади провинциальных городков. Клумбу венчал фантастических размеров зеленый цветок.

Слева и справа от клумбы торчали две виноградные лозы, увешанные рыжими, как помидоры, яблоками.

— Подымайся, принцесса, — Артем старался говорить как можно веселее, чтобы она не заметила его тревоги. — Тутошнего Мерлина дернула нелегкая исполнить твое желание. Пойдем взглянем.

Держась за руки, они подошли к клумбе. Невиданный разгул красок, все оттенки алого и фиолетового, а цветы одинаковые — примитивные пять лепестков, крошечная бутылочка пестика и щетинка черных тычинок. Просто цветок. Не ромашка, не сурепка, даже не куриная слепота. Ботаническая схема. Он попытался

припомнить деревья, виденные вчера, — и с ужасом понял, что и это были не тополя или березы, а нечто среднее, безликое, мертвое в своей абсолютной правильности.

Но то, что они приняли за громадный светло-зеленый пион, вообще цветком не было.

В центре клумбы нагло утвердился громадный, пудовый кочан капусты.

— Артем, — проговорила Дениз, поднимая на него спокойные, совсем не испуганные глаза. — Мне страшно. Это сделать мог только... — она не стала подыскивать слово, а помахала растопыренными пальцами возле головы.

Артему и самому было страшно. Он давно уже догадался, что они находятся во власти какого-то безумного всемогущего маньяка, и вопрос заключался теперь в том, как долго это безумие останется в рамках безопасного.

Артем наклонился к ней и быстро приложил палец к ее губам. Потом показал на уши и сделал неопределенный кругообразный жест, должный означать: уши могут быть везде.

Дениз поняла. Еще бы не понять: ведь то, чего она пожелала вчера вечером, было произнесено чуть слышно, в подушку, и все-таки это было услышано.

Их слышат. И, может быть, даже видят. Дениз потянула Артема обратно в дом. Они наскоро поели и собрались, не говоря ни слова. Вышли.

— Вчера мы пошли прямо, — нарушил молчание Артем. — Возьмем другое направление, хотя мне сдается, что домик стоит не на прежнем месте.

Он говорил вслух, потому что это было и так очевидно. Виноградные лозы с помидорообразными плодами вклинились в монотонную зелень кустарника, и дорожек было значительно меньше, чем вчера, — только три. Они выбрали ту, что уходила влево. Они шли медленно и отдыхали чаще, чем вчера, и все-таки уже к полудню стало ясно, что тащить Дениз было бы просто бесчеловечно.

Плюшевая лужайка, испещренная радужными брызгами примитивных пятилепестковых цветов, была к их услугам. Артем вскрыл бессмертную банку с абрикосами, разложил бутерброды. Заставил Дениз поесть. Вообще он только и делал, что заставлял ее — есть, идти, вставать, ложиться. Подчинялась она безропотно. Сейчас он вдруг понял, что это было неслыханным мужеством с ее стороны. Ведь ее, наверное, на руках носили. В буквальном смысле слова. С ложечки кормили. Не просто же так она вырос-

ла такой, ни на что не похожей. Принцесса. Принцесса Греза. А ведь точно. Врубель был лопух. Вот такая она, принцесса Греза. Совсем девочка и совсем женщина. Вконец изнеженная и бесконечно стойкая. До обалдения прекрасная и в своей чрезмерной красоте годная только на то, чтобы на нее смотреть во все глаза. И не больше.

Он скосил глаза и осторожно глянул вниз — принцесса Греза лежала на траве, свернувшись в маленький золотистый комочек, словно рыженькая морская свинка.

— Ну что? — спросил он, наперед зная ответ. — Кончилась? Больше ие можешь?

— Могу, — послышалось в ответ. — Но не хочу. Зачем идти? Ведь мы не придем... домой. И никогда.

— Но-но! — крикнул он, холодея от сознания ее правоты. — Ты это брось, принцесса... — он нагнулся над ней и просунул руку под голову, где тепло ее волос было неотличимо от человечьей теплоты сухой шелковистой травы.

Уже привычным движением он поднял Дениз на руки.

— Зачем? — голос у нее был такой, словно было ей по крайней мере пятьдесят лет. — Я прошу, зачем? Останемся здесь.

— Ну, что же, — он медленно опустил ее, — попробуем остаться. Вечер уже недалеко.

Вечер, наступил еще раньше, чем они ожидали, и, когда стало совсем темно, в каких-нибудь тридцати шагах от них призрачно замаячило освещенное окно. Тот же дом, что и вчера, тот же дом и та же банка консервированных абрикосов на холодильнике, словно кусочек сала на крючке мышеловки.

Назавтра они снова пошли, на этот раз уже направо; через день они пошли назад, и еще несколько дней они пытались уйти от своего непрощенно возникавшего перед ними жилища, и каждый день к вечеру они находили освещенное окно и незапертую дверь. Места менялись. Капустные лужайки чередовались с помидорными лозами, берега ручьев с морской зеленой водой уступали место щербатым лазуритовым скалам, поросшим трехметровым вереском; но неизменным был домик, ожидавший их в конце дневного пути.

— Все, — сказал Артем наконец. — Завтра мы никуда не пойдем. Будем тупо сидеть и ждать, что с нами сделают.

Они прождали весь день, и самым страшным было то, что никто не пытался с ними ничего сделать. Они ждали, и ожидание становилось невыносимым.

И тогда Дениз нашла единственный выход.

— C'est assez! Довольно! Здесь все мертвое: трава, небо, мы... Nous sommes au fond[1]. Это наша судьба, понимаете, Артем? Судьба. Мы умрем. Но ждать... C'est insupportable[2], понимаете? Я прошу, лучше сами! Разве нет?

Артем внимательно посмотрел иа нее:

— Решительно сказано.

Он задумчиво почесал подбородок. Дениз, разумеется, брякнула это не от большого ума, а в силу истеричности женской своей натуры. И тем не менее — устами младенца...

А может, и вправду — маленький эксперимент, только немного мужества и выдержки со стороны этой принцессы. Цель? Вынудить противника обнаружить себя, когда он явно этого не желает; заставить его сделать выпад, когда он намерен только наблюдать. Эксперимент, конечно, белыми нитками шит, но ведь условный «противник» — совершенно очевидный псих, может, и сойдет.

— А не струсишь, принцесса?

Дениз вскинула подбородок — ни следов отчаянья, ни мелочной обидчивости, недетская готовность подчиниться его воле и разуму.

— Тогда так.— Артем взял со шкафа несколько старых газет, скомкал их и сложил на полу, возле входной двери.

— Нас затащили сюда,— продолжал он громко и демонстративно,— но, по-видимому, мы оказались не нужны. Возвращать нас не собираются. Я согласен с тобой — лучше сразу умереть, чем жить в неизвестности и безо всякой надежды на возвращение.

Он поджег бумагу и вернулся на тахту. Сел рядом с Дениз, взял ее руки в свои, чтобы не напугалась. Дениз глядела не на огонь, а на него, глаза были внимательные и ничуть не испуганные.

Газеты разгорались, первые высокие языки уже лизали дверной косяк. Что же, это изящный ход. Раз уж их притащили сюда, создали специально для них этот чертов павильон, кормят и поят да еще и стараются исполнять все разумные желания,— значит, они кому-то очень нужны. Так вот пусть теперь этот «кто-то» принимает меры по спасению своих живых экспонатов.

В комнате неожиданно запахло паленым мясом, хотя ни дверь, ни стена упорно не хотели разгораться. По серой плоскости двери пробежала дрожь, словно дунули на поверхность лужи, а потом она потекла, разом, как будто вся была сделана из одного куска масла. Тошнотворный сиреневый дым мотнулся в образо-

---

[1] Мы на дне (*франц.*).

[2] Невыносимо (*франц.*).

вавшийся проем, и в полумгле стремительно наступающего вечера они увидели четкую фигуру человека, стоявшего в конце дорожки.

Артем вскочил и, перепрыгнув через тлеющую груду бумаги, вылетел из домика и бросился навстречу незнакомцу. Только бы не исчез, только бы...

И тут же налетел на невидимую упругую стену. Прозрачная поверхность спружинила и отбросила его назад. На руках и лице остался клейкий, раздражающий налет, словно он врезался в тело огромной медузы. Артем невольно вскинул руки к лицу, чтобы стереть эту клейкую слизь, но ощущение оказалось обманчивым — кожа была суха. Стараясь освободиться от этого ощущения, Артем принялся тереть щеки и лоб, а когда отвел руку, то увидел, что незнакомец стоит уже в шаге от него, по ту сторону прозрачной преграды.

Какую-то секунду они пристально смотрели друг на друга; но незнакомец, по-видимому, уже хорошо изучил Артема, потому что в его глазах не промелькнуло ни тени скрытого любопытства; Артему, в свою очередь, разглядывать было нечего, так как лицо незнакомца представляло собой нечто среднее из всех обычных мужских лиц. Просто лицо. Как у анатомического муляжа.

Незнакомец шевельнул губами, и Артему показалось, что слова, удивительно правильно произносимые, звучат с какой-то задержкой по отношению к движению губ.

— Чего вам не хватает? — с расстановкой произнес незнакомец.

Артем шагнул вперед и оперся ладонями на клейкую поверхность разделявшей их стены.

— Мы хотим знать, где мы и у кого мы. Мы хотим знать, по какому праву вы похитили нас. Мы хотим знать, какого черта вам от нас нужно.

Незнакомец снова зашевелил губами.

— Завтра утром, на рассвете,— донеслось до Артема,— я буду говорить с тобой.

Стена замутилась, подернулась дрожью, как шкура потревоженного животного, стала совсем непрозрачной. Сзади послышались шаги — осторожно подходила Дениз.

— Видела? (Хотя, конечно, видела.) Мне кажется, что именно эта рожа появилась у меня за окном, чтобы выманить на балкон. А когда тебя умыкали — ты никого не заметила?

Дениз наморщила лобик:

— Я спала. Потом открыла глаза — я плыву... как сказать... вот так, между комнаты... Что, нет? Я плыву, все кругом чуть-чуть

темно, и человек, я его не знаю, делает руками так... — Дениз выставила вперед ладошки и слегка помахала ими, как машут на облачко дыма, — и я плыву, быстрее, быстрее, словно я... как сказать... un duvet de peuplier[1], дерево, нет — тополь, тополиный — так? — а, одуванчик! — она с облегчением вздохнула. Когда ей приходилось составлять простую фразу, все шло гладко, и он даже удивлялся правильности ее речи, но стоило ей пуститься в подробности — начиналась такая смесь русского с нижегородским, что в ней безнадежно тонул всякий смысл. — Но там, дома, был другой человек. Другое лицо... — она быстро глянула на Артема и старательно поправилась: — другая рожа. Как... консервная банка.

— Рожа. Ты делаешь поразительные успехи в русском языке. Впрочем, с кем поведешься... Что только скажут твои папа с мамой, когда ты возвратишься?

— Отец и мама переводят вашу прозу... как сказать... contemporaine, современную. Там и не такие слова... я когда-нибудь вам скажу. Все подряд, вы будете поправлять. Разве нет? А когда я вернусь...

Плечи у нее вдруг совсем опустились, она тихонечко повернулась и побрела к дому. На пороге остановилась и, не оборачиваясь, словно ее совершенно не заботило, услышит Артем или нет, шепотом, очень правильно выговаривая каждое слово, произнесла:

— Я знаю, что никогда не вернусь домой.

Артем скорее угадал, чем расслышал. Бедный маленький подкидыш, стоит спиной и плачет молча, и только старается, чтобы не дрожали, не выдавали ее плечи.

Да не будь ты таким дубом, подойди, сделай что-нибудь, по головке погладь, что ли, — плачет ведь человек...

Подошел. Наклонился над нею...

— А если мы вернемся, — спросила Дениз, подымая на него сухие спокойные глаза, — разве вы не женитесь на мне и не возьмете меня с собой?

— О, господи, ну конечно!

А что еще можно сказать в таком случае?

Дениз тихонечко посапывала, уткнувшись ему в левое плечо.

Надо было освободить руку с часами. Это ему удалось не сразу, потому что больше всего он не хотел бы разбудить Дениз. Разговор предстоял слишком серьезный, чтобы впутывать в него еще и этого ребенка. Ребенок чмокнул губами во сне и тихонечко пробормо-

---

[1] Тополиный пух (*франц.*).

тал: «Артем...» М-да. Ведь не «мама», а — «Артем». Может, это от постоянных дневных страхов, а может... Ладно. Не время об этом думать. Вот уже слабо проступили стрелки на часах, значит, через каких-нибудь пятнадцать минут мгновенно и неотвратимо рассветет. Надо идти. И постараться стать господином положения.

Артем на носках выбрался в прихожую, с сомнением оглядел брюки — все эти дни он спал не раздеваясь, и это отложило прискорбный отпечаток на его костюм. Не хотелось, конечно, появляться перед представителем иностранной державы в таком непрезентабельном виде, но светало с каждой минутой, и не было речи о том, чтобы задерживаться для наведения лоска.

Он вышел из домика. Утра здесь не бывали свежими — как не было ни дневной жары, ни ночной прохлады. Широкая лужайка была пуста, и Артем медленно побрел между нахалыными, аляповатыми клумбами, пока не дошел до кустов. И там, у дальнего поворота, невидимый из окон домика, уже поджидал его вчерашний незнакомец.

— Сядь, — велел он.

Артем покосился — слева от тропинки действительно появилась дерновая скамья. Артем сунул руки в карманы и вызывающе качнулся с пяток на носки и обратно. Надо сразу брать быка за рога. Так вот, распоряжаться здесь будет он и задавать вопросы будет тоже он.

— Подойдите ближе, — проговорил он тем тоном, каким обычно разговаривал в штабе народной дружины. — А теперь потрудитесь ответить: где мы находимся?

Незнакомец шевельнул губами, и до Артема явственно донеслось:

— Не на Земле.

Артем задумчиво потрогал подбородок, затем почему-то понюхал ладонь... Не на Земле. Все вопросы разом испарились. Не на Земле. С этим надо было свыкнуться, это надо было принять и переварить, а пока все остальное не имело никакого значения. Правда, в первый момент Артем чуть было не спросил: «А далеко ли до Земли?» — но вовремя понял, что вопрос глупый.

— Что же ты молчишь? — снова раздался приглушенный голос. — Я получил полномочия говорить с тобой и отвечать на любой из твоих вопросов.

— Мы не на Земле. — Артем только пожал плечами. — А все остальное — это плешь.

— Это что, идиома?

— Вот именно. Скажите хоть, зачем вы это сделали?

— Вы нужны нам.

— Мы? Я и Дениз?

— Ты и она.

— Два кролика, черненький и беленький... Кровь будете пить или как? Чего от вас ждать, когда вы чуть не убили ее, пока тащили сюда! Вы что, не нашли никого постарше? Зачем вам эта девчонка, я вас спрашиваю?

— Она уже дорога тебе?

— Вот! — Артем выразительно постучал по лбу и потом — по каблуку ботинка.— Корифеи инопланетной цивилизации... Другого вывода вы сделать не могли?

Незнакомец высокомерно промолчал.

— Так вот, на будущее примите, что подобные вопросы к делу не относятся и обсуждению не подлежат. Как у нас, на Земле.

Что-то в лице незнакомца дрогнуло. Было ли это насмешливой гримасой? Этого Артем определить не успел.

— Так что же вам от нас надо, конкретно?

Незнакомец пожевал губами, и разрыв между их движением и возникновением звука еще больше увеличился.

— Когда-то мы были такими же, как вы. Теперь мы хотим знать, в чем заключается различие между вами и нами.

Артем только пожал плечами.

— Вы прилетели на Землю на корабле, который нам и не снился. Вы смогли создать все это — крошечный квазиземельный рай с самым модерновым шалашом. Так неужели вы не могли сконструировать машину, которая вычислила бы разницу между вами и нами с точностью до одного атома?

— Простой количественный анализ нам ничего не давал. Необходимы были непосредственные наблюдения в условиях, максимально приближенных к естественным.

— И вы протянули руку и взяли нас, как взяли бы из террариума двух лягушат. Можете меня поздравить — я уже четко вижу разницу между вами и людьми Земли.

— Да? — сказал незнакомец, и тон его очень не понравился Артему.— Между прочим, я некоторое время провел вблизи вашей планеты и наблюдал за жизнью ее обитателей. Некоторые из этих наблюдений убедили меня в том, что перенос двух жителей Земли в условия, наиболее для них благоприятные, будет не самым антигуманным актом из всего, происходящего на вашей планете.

— Хороша же ваша цивилизация, если вы ориентируетесь на далеко не лучших представителей планеты, значительно отставшей от вас по уровню развития.

— Зачем ты пытаешься обвинить нас? Ведь если бы мы предложили тебе добровольно лететь сюда, если бы мы сказали тебе, что нам нужна твоя помощь, — разве ты отказался бы?

— Нет, разумеется. Но вы впутали в это дело Дениз...

Они быстро взглянули друг па друга.

— Круг разговора замкнулся, — заметил незнакомец. — Не хочешь ли спросить еще о чем-нибудь, прежде чем проснется твоя Дениз?

Твоя Дениз. Тактичности у этого супермена хоть отбавляй.

— Да, спрашивать еще можно было бы до бесконечности. Но на первый раз хватит. Мы ведь еще увидимся?

— Как ты пожелаешь.

— А если я таки пожелаю, то как я смогу вас вызвать?

— Позови меня.

— Но вы мне ие представились...

— Мое имя непроизносимо для твоего языка. Поэтому условимся, как тебе будет легче меня называть. Как на вашем языке обозначается существо, стоящее на более высоком уровне, чем человек?

Артем пожал плечами:

— Бог, наверное. Один, Зевс, Саваоф, Агуро-Мазда, Юпитер... Если вам действительно все равно, я буду звать вас Юп — это верховное божество у древних римлян.

«А также человекообразная обезьяна у Жюля Верна», — подумал он про себя.

Незнакомец важно склонил голову в знак согласия.

— Запас продуктов питания будет, как и прежде, обновляться ежедневно. Чего еще вам не хватает?

— Дела.

— О, мы только хотели дать вам отдохнуть после дороги. Чуть подальше по этой дорожке, в двух кабинах, вы найдете звукозаписывающие аппараты. Мы просили бы вас подробно диктовать все, что вам известно о жизни на Земле — прежде всего о себе самих, о семье, детстве, воспитании... Не пытайтесь что-либо систематизировать — диктуйте в том порядке, как вам будет легче вспоминать.

— А аппаратуры, записывающей мысли, у вас разве нет?

— Для инопланетных существ — нет.

— Что ж так слабо? Создайте. Построили же вы корабль.

— Этот корабль был создан много тысячелетий тому назад. Мы давно уже ничего не создаем...

Наступила тяжелая пауза. Понемногу становилось ясно, для чего этим «богам» потребовалось отыскивать различие между собой и нормальными людьми.

— Кажется, проснулась Дениз,— проговорил Артем.— До завтра, Юп.

— До завтра.

Прозрачная пленка, о которой до сих пор можно было догадаться только по приглушенности голоса Юпа, стала непрозрачной, лиловатой, лиловой, исчерна лиловой — и растаяла. Дорожка была пуста.

Он пошел к домику, зная, что Дениз действительно проснулась, но не встает, а свернулась под клетчатым пледом в зябкий комочек и чутко прислушивается. Ей страшно, она одна. Когда он не видел ее перед собой, он мог думать о ней совершенно спокойно, как о девчонке-десятикласснице. Только очень красивой десятикласснице.

А потом он находил ее каждый раз совершенно не такой, какой помнил, и это выбивало его из колеи. Приходилось делать над собой усилие, чтобы выдавить какую-нибудь нейтральную фразу.

— Еще ты дремлешь, друг прелестный? Пора, красавица, проснись! — дай бог, чтобы для нее, воспитанной на Лафонтене и Ростане, эти чудесные строки не прозвучали так нестерпимо банально, как для него самого.

Она смотрела на него не мигая, как смотрят на чудо. Наверное, именно так он сам смотрел на нее в первый их вечер.

— Что с тобой? Тебя кто-нибудь напугал?

— Нет. Но я проснулась одна, и вдруг поняла, что вас никогда не было.

— А я есть. Вот беда-то!

— Не беда. Не надо так. Но я теперь должна снова привыкать к вам.

— Тогда начнем с завтрака. Потом приведем себя в порядок. Держала когда-нибудь в руках утюг? Нет? Гм, это хуже. Придется мне все взять на себя: гладить, стирать, носик вытирать....

— Артем, что вы хотите от меня скрыть?

— Ровным счетом ничего. Просто у нас сегодня первый нормальный рабочий день. Садись, ешь. Абрикосы тебе еще не осточер... Кхгм! Не поднадоели?

— Что буду делать я?

— То же, что и я,— вспоминать и диктовать. Тому, кто пригласил — будем называть это так — нас сюда, требуются наши интимные воспоминания. Пеленки, детский сад, школа. Как у тебя там было с историей?

— Совсем неплохо.

— Ого, мы недурно друг друга дополняем. Так вот, в наше распоряжение предоставлены звукозаписывающие аппараты. Постараемся вспомнить, с чего начинала наша матушка-Земля. Издалека и поподробнее. Хронология может быть примерной. И постарайся пока ограничиться древнейшими временами. О Карле Великом и Пипине Коротком тоже можно. И кто там еще был в это время в Англии? А, Тюдоры.

— Ох... — сказала Дениз.

— Не давись, я тебя предупредил. Это естественный средний уровень серого инженера. Слушай внимательно. О Бертольде Шварце уже не надо. Это им неинтересно. Поняла меня?

— Да, — кивнула Дениз. — Я хорошо поняла. Их интересует только история.

— Собственно говоря, их интересует все. Но лучше начать с истории — это безобиднее. Что касается географии, то они, наверное, догадались сделать несколько снимков Земли, когда прилетали за нами...

Он запнулся, но было уже поздно. Надо было быть последней дурой, чтобы после этих слов не догадаться, что к чему. Но догадалась ли она?

Дениз сидела, не подымая головы.

— Посмотри на меня, Дениз. Пожалуйста. Дело в том, что мы не на Земле.

— Да, — ответила она спокойно, — да, здесь легко, слишком легко, летать можно...

Он ошеломленно уставился на нее.

— Ты что же... догадывалась? С самого начала? Но ты же ничего мне об этом не говорила...

— Тогда мне было все равно.

— А теперь?

— Мне и теперь все равно, где мы есть.

Она умудрялась так строить фразы и делать такие многозначительные паузы, что после каждой из них так и тянуло броситься к ее ногам а-ля полковник Бурмин.

— Помой-ка посуду, — сказал Артем. — Нам пора на работу.

Крытые беседки, обвитые диким виноградом, уже поджидали их по обеим сторонам тропинки, на которой сегодня утром он разговаривал с Юпом. Внутри каждой беседки был установлен прибор, отдаленно напоминающий гелиевый течеискатель. Возле пульта — низкое вращающееся кресло и одноногий столик с неизменной банкой абрикосового компота и пачкой сухих галет.

«Просто счастье,— подумал Артем, устраиваясь в кресле,— что мне достался на воспитание такой мудрый ребенок. Заметить, что тут другая сила тяжести, надо же! Разница ведь едва уловимая. И это царственное спокойствие... Другая ревела бы день и ночь напролет, вспоминая маму, набережную Сены и голубей на площади... как там у Ремарка?.. на площади Согласия. А действительно, почему она, ни разу не вспомнила о доме? Вернемся к предположению об «Интеллиджепс сервис»... Чушь собачья. Я же не лез к ней с воспоминаниями о своей единственной тетушке Полине Глебовне, в самом деле! А если бы я начал ей петь про гранитные набережные и полированные колонны Исаакия с осколочными щербинами — это был бы сплошной завал. Непрошеная откровенность хуже незваного гостя. Так почему же то, что совершенно естественно для меня самого, кажется мне неестественным в ней? Может быть, это просто интуитивное желание найти в ней какую-то фальшь, за неимением других пороков,— желание, диктуемое элементарным законом самосохранения... от чего? Ну-ну, признавайся, никто не слышит, и эти машины не записывают мыслей — ведь ты боишься ее, правда?..»

Он давно знал, что это правда. И не ее он боялся — себя. Знал, что если начнет его заносить,— тут уже трезвому инженерному разуму будет делать нечего. Поэтому он не позволял себе смотреть на Деииз иначе, как на девчонку-школьницу. Не время и не место. Делом надо заниматься. Он наклонился над «течеискателем».

— Древнейшим очагом цивилизации на нашей планете был, по-моему, Египет,— начал он, и разноцветные лампочки суетливо замерцали на панели прибора.— Уже в пятом тысячелетии до новой эры... черт, как бы объяснить, что такое новая эра, не забираясь в историю христианства? Ну, ладно, о новой эре после. Высшим правящим лицом был в Древнем Египте фараон...

Единственными фараонами, которых он помнил, были Аменхотеп IV и Эхнатон. Правда, примешивалось сомнение, что это одно и то же лицо. И еще какой-то жрец Херихор. Ну, и естественно, Нефертити. А, так вот на кого похожа Дениз. Та же спокойная, непробужденная нежность, то же устремление всех черт от выреза верхней губы к вискам, словно по уже вылепленному лицу осторожно провели влажными ладонями, и оно навсегда сохранило это прикосновение сотворивших его рук...

— Правящих династий там насчитывалось что-то около двадцати, если не больше,— проговорил он, встряхиваясь. Лампочки снова забегали по пульту, словно только и дожидались звука

его голоса.— Могущественной силой, противостоящей власти фараона, были жрецы...

В полдень к нему забежала Дениз.

— Я немножечко охрипла,— сообщила она.— А вы?

— Дошел до Эхнатона с Херихором.

На лице Дениз отразился неподдельный ужас:

— Это сразу, вместе, да? А вы не забыли сказать, что жена Эхнатона была королева... нет, не так — царица Савская?

Артем наклонил голову и посмотрел на серьезную рожицу Дениз. У него медленно возникало подозрение, что над ним издеваются.

— Между прочим, жены великих людей к истории не относятся и таковой не делают. Как и сами великие люди. Историю творит народ, пора бы помнить из школьной программы.

Дениз скорчила жалостливую гримасу:

— Бедная история! — она уселась на пороге, ноги наружу — свешиваются со ступенек, не доставая до земли, голова — вполоборота к Артему; киногеничный такой диалог с репликами через плечо.— Если бы история без женщин — какой ужас! Любое дело без женщин — обязательно гадость. Вот война. Вот пьяно... пьянство. Вот полиция. Вот политика...

— История и политика — вещи разные.

— Ну конечно! Политику делают мужчины, а историю... мужчины делают ее так,— Дениз плавно повела руками вперед, словно изображая медленно текущую реку.— А женщины...— она быстро закрутила кистями рук, как это делают, взбаламучивая воду.

— Ничего себе моделирование исторических процессов! Ну а при чем здесь царица Савская?

— Царица Савская не могла делать историю, у нее ноги были,— о, плюш, как медвежонок.— Дениз оперлась руками о порог и, вытянув вперед маленькие свои ножки, сделала вполне приличный «угол». Спортом она занималась, это несомненно, отсюда и выносливость, а туфельки на босу ногу (и как только держатся — едва-едва кончики пальцев прикрывают) — старые, видно, не очень-то сладко живется семейству средних переводчиков.

— Царица Савская,— продолжала щебетать Дениз,— никто не жена. Даже Соломона...

— Послушай-ка, а тебе никто не говорил, что ты похожа на Нефертити?

— О, конечно. Говорил. Мсье Левэн, вы его не знаете. Это сейчас говорят всем красивым женщинам.

Гм, сколько скромности — «всем красивым женщинам»!

— А Нефертити... — Дениз пожала плечами: ничего, мол, особенного; сложила пальцы щепоточкой и провела вертикально снизу вверх, словно ощупала тоненькую тростинку. — Сушеная рыбка... Вобель, что, не так?

— Вобла, — автоматически подсказал он.

— Плечи — о, так вот, прямо, полотенца сушить. А ноги? Так и так (в воздухе была нарисована кочерга), вот тут (скинута туфелька, на пороге — маленькая гибкая ступня. Дениз шлепает по ней ладошкой и потом показывает на пальцах нечто, протяженностью соответствующее сороковому размеру) — тут сухая, плоская деревян... деревяшка.

Просто беда с этими бабами — до чего развита элементарная пошлая зависть! Ведь только из пеленок, а уже шипит на ту, что царствовала три тысячи лет назад, и не потому, что та лучше, — нет, как бы это ни звучало невероятно, Дениз еще прекраснее, и страшно подумать, что еще дальше будет, годам к двадцати пяти; но сейчас ей нестерпимо завидно, потому что Нефертити знает весь мир, а ее — только папа с мамой и еще какой-то мсье Левэн.

— М-да, — произнес он вслух, — у меня вот к ней меньше неприязни и больше сострадания — Эхнатон-то, как-никак, ее бросил.

Дениз удивленно вскинула брови, — она часто делала это, словно спрашивая: правильно я говорю? Вопросительные интонации возникали у нее тоже слишком часто и неожиданно — где-нибудь посередине совершенно эпической фразы; она сомневалась в правильности своих слов и одновременно извинялась за возможную ошибку. Это получалось очень мило, но если бы она хоть немного хуже говорила по-русски — эти скачущие интонации делали бы ее речь абсолютно непознаваемой.

— Неприязнь? — удивление Дениз дошло наконец до выражения вслух. — Зачем? (Она всегда путала «почему» и «зачем».) Просто надо смотреть, думать. Вы смотрите (всегда ей не хватает слов, когда она начинает говорить быстро), и это (ладошка взад и вперед, словно пилочка, вдоль выреза платья... Это, вероятно, значит «скульптурный портрет»)... и это неправда, так не бывает, не может быть — вообще, для всех, на самом деле... На самом деле надо смотреть des fresques, рисунки. Это — для всех, понимаете? Рисунки — просто женщина. А это — голова, все молятся, это для одного, понимаете, Артем? Для него. Для не Эхнатона. Нет? Это — Нефертити для одного, единственного...

Он даже не останавливал ее, хотя она уже дошла до предельной скорости, когда одно слово сменяет другое раньше, чем предыдущее, произнесенное полувопросительно, полураздраженно (господи, да как можно не понять таких простых вещей!), не ожидая, когда это будет Артемом осмыслено, заменено другим, более подходящим, а главное, отыщется связь этого слова со всем предыдущим. Дениз продолжала щебетать, а он слушал ее и не мог надивиться — она говорила все это так горячо, словно это касалось ее лично и не было отделено от них тремя тысячелетиями.

«Вот это всплеск!» — думал он. А ведь, в сущности, «что ему Гекуба?». История несчастной жены фараона была им слышана десятки раз, и повторялась она с монотонным однообразием. Дело в том, что когда они с Фимкой Нейманом клеили каких-нибудь эрудированных девочек, которых надо было подавить своим интеллектом, Нейман заводил сагу о неверном фараоне, бросившем такую красавицу ради пышнобедрой густобровой Кайи, дешевой кокотки с Нильской набережной. Едва заслышав каноническое начало: «Кстати, о мужском постоянстве...» — Артем механически выключался, и вдохновенная неймановская брехня ни разу не дошла до его сердца и сознания. Девочкам, правда, хватало — ровно одной байки на двоих. Так продолжалось до начала прошлого года, когда вышел роман «Царь Эхнатон» и свел на нет новизну и сенсационность Фимкиной байки. Но он не растерялся, раздобыл где-то очередную гипотезу о происхождении «Моны Лизы» — что это-де автопортрет Леонардо в женском платье, и с помощью этой изысканной искусствоведческой «утки» продолжал поддерживать репутацию интеллектуала.

И вот теперь нескольких сбивчивых, торопливых слов Дениз оказалось достаточно, чтобы поднадоевшая уже всем история мятежного, но непоследовательного фараона и его неправдоподобно прекрасной супруги вдруг засветилась совершенно новыми красками и впервые стала понятной до конца.

Ну конечно же, Нефертити не была, не могла быть такой, какой изобразил ее безвестный скульптор. Два скульптурных портрета — это та Нефертити, какой она была только для этого художника. А все остальные — да и сам фараон — видели длинноликую немолодую мать шестерых детей с безобразным отвислым животом, какой изображена она на нескольких настенных рисунках.

— Что же, выходит, Эхнатон не знал, что его придворный скульптор, так сказать, лакирует действительность и изображает его законную половину в виде богини красоты?

— О, как можно: царь — не знал? Знал. Однажды. Пришел в мастерскую и увидел. И стал такой несчастный... несчастливый — так? — фараон. И все, что он делал... есть такие слова, сейчас, сейчас... О, все пошло пеплом.

И пошло прахом все великое дело Эхнатона, ибо искал он ту Нефертити, которую удалось увидеть его придворному художнику, и не мог найти. Где-то рядом прошла она, совсем близко от него, страстная и нежная, царственная, как никогда в юности, и юная, как никогда в зените свой царской власти. И удержал он свои войска, готовые ринуться в сокрушительный набег на сопредельные государства, и остановил он руку свою, готовую истребить под корень непокорных жрецов, и позволил править вместо себя какому-то проходимцу из прежних любимчиков, и, весьма возможно, взял себе крутобедрую пышнобровую Кайю, и хорошо еще, если только одну. Вот как это было, и одна только Дениз догадалась, что все было именно так.

— Сколько тебе лет, Дениз?

— Шестнадцать. Столько, сколько было маме, когда она встретилась с моим отцом.

Такая постановка вопроса, — вернее, ответа — как-то сразу его отрезвила.

— Ну, раз тебе только шестнадцать, то у тебя, как у несовершеннолетней, должен быть укороченный рабочий день. Посему отправляйся-ка домой и свари картошки, она в углу кухни, в коробке из-под торта. Не поленись почистить. А я еще подиктую.

Дениз царственно выплыла из беседки. Нефертити бы да ее плечи.

А через час она прибежала, даже не прибежала, а прискакала на одной ноге, и с радостным визгом поволокла его на кухню; поначалу он никак не мог уяснить себе причину ее восторгов и лишь некоторое время спустя понял, что ведь это первая картошка, сваренная ею собственноручно. Дениз становилась маленькой хозяйкой, и Артем с отвращением поймал себя на попытке сравнить ее с Одри Хепберн из «Римских каникул», когда она в роли наследной принцессы неозначенной страны варит свою первую и последнюю в жизни собственноручную чашку кофе.

После обеда они снова разошлись по своим беседкам, а когда начало темнеть, Дениз на рабочем месте не оказалось, вероятно, ей уже надоело, и она решила воспользоваться своей привилегией несовершеннолетней. Артем нашел ее на тахте, с поджатыми ногами и иголкой в руках. Его единственная праздничная рубашка из индийского полотна, аккуратно четвертованная, была разложена на столе.

— Ты с ума сошла, Дениз. Что ты сделала с моей рубашкой?

— А? Вам жалко?

— Да нет, но все-таки...

— Вы чересчур любопытны, — и принялась разрезать рукава на длинные полосы.

Она провозилась весь вечер, что-то напевая себе под нос. Наконец торжествующе объявила:

— Конец!

— Премилепький сарафанчик. Узнаю в воланах собственные рукава. Надеюсь, ты не собираешься его сейчас, при мне, примерять?

Дениз покраснела.

— Ох, извини меня, дурака. Наша полуденная беседа напомнила мне, что ты все-таки француженка.

— Я не вижу связи...

— У меня почему-то сложилось представление, что француженка обязательно должна говорить двусмысленности, раздеваться в присутствии посторонних мужчин, целоваться с первым встречным и на все отвечать неизменным «о-ля-ля!».

— Вы насмотрелись дешевых фильмов, — грустно констатировала Дениз. — Я даже не сержусь. Но если мы здесь будем жить... м-м... надолго, то я хотела бы иметь des draps, простыни. Это можно?

— Разумеется. А ты что, их тоже будешь резать?

— Зачем? Я буду спать. Провести целую неделю не раздеваясь... Мне просто стыдно.

— Ничего, можешь меня не стесняться.

— Мне стыдно перед собственным платьем. Оно есть мое единственное.

— А это, новое?

— Мой бог, это платье для ночи!

Теперь настала очередь смутиться Артему. Чтобы скрыть это, он ткнулся носом в шкаф.

— Держи наволочки... и это... и это... не надушено, ты уж извини... Я кретин! — радостно объявил он. — У меня же лежит Фимкин надувной матрац. Всю жизнь мечтал спать на балконе.

— Разве один — не страшно?

— Глупышка, нас тут берегут как зеницу ока. А дверь я закрою неплотно, если что — крикнешь меня.

Он вылез на балкон, и было слышно, как он там возится с матрацем и велосипедным насосом. Через некоторое время его окликнули.

— Что тебе, детка?

Дениз не ответила, и он догадался, что надо к ней подойти.

Она уже устроилась на ночь, и Артем невольно улыбнулся, увидев свою рубашку, с отрезанными рукавами и воротом, непомерно широким для Дениз.

— Нефертити в мужской сорочке. Картина!

Она подняла на него глаза, не принимая его шутки:

— Доброй ночи.

— Спи, детка.

Он наклонился и поцеловал ее в лоб.

На балконе было совсем не холодно, Артем перекинул свои вещи через перила, блаженно вытянулся и стал глядеть вверх. Чернота подземелья нависла над ним.

— Юп! — позвал он шепотом.

Слева, за перилами, что-то мелькнуло.

— Вы довольны нами, Юп?

— Да,— так же тихо донеслось из темноты.— А вы?

— Вполне. Хотя вспоминать — это дело не такое уж легкое, как можно было ожидать.

— Ты жалуешься?

— Нет.

— Тебе еще что-нибудь нужно?

— Мне — нет. Но я боюсь, что для Дениз всего этого будет мало.

— Что же ей нужно еще?

— Игрушки.

— Хорошо.

Он заснул незаметно для самого себя и проснулся только тогда, когда рассвело. Он потихонечку оделся и перелез через перила на землю. Он уже собирался обогнуть дом и войти в него через дверь, чтобы таким образом бесшумно проникнуть на кухню, но в этот момент до него донесся приглушенный вскрик Дениз. Одним прыжком он перемахнул обратно через перила и ворвался в комнату.

Стопка плоских разноцветных коробок высилась от пола до самого потолка, а возле нее, голыми коленками на полу, стояла Дениз. Вся комната была затоплена какой-то золотистой пеной, и Дениз подымала эту пену и прижимала к своему лицу. При виде Артема она вскочила и, крикнув что-то на своем языке, подняла над головой столько этого прозрачного пенного золота, сколько могло удержаться у нее на ладонях; потом она закружилась, и медовые невесомые струи с шелестом обвились вокруг нее.

Артем подошел, потрогал пальцами, — гибкая синтетическая пленка, усеянная бесчисленными блестящими пузырьками.

— Получила-таки игрушку, — добродушно проворчал он.

— Мой бог, «игрушку»! Вы знаете, что мне хочется сказать при виде всего этого?

— Знаю: о-ля-ля!

— Вот именно. О-ля-ля!

— Сказала бы лучше спасибо.

— О, это мне в голову не пришло. Я... un cochen de lait, свинка. Кто мне все это подарил?

— По всей вероятности, Юп.

— Откуда здесь негр?

— Почему «негр»? Это наш хозяин.

— Юп — имя для прислуги, а не для хозяина, разве нет? Но все равно. — она бросилась к балконной двери, распахнула ее и крикнула: — Мерси, мсье Юп!

— Ну вот ты и ведешь себя, как фрацуженка из дешевого фильма: вопишь «о-ля-ля!» и выбегаешь полураздетая на балкон.

Дениз только пожала плечами:

— А мсье Юп не очень стар?

— Кажется, не очень. Но хватит восторгов. Завтракать и — на работу.

— А когда будет... м-м... воскресенье?

— Считай сама, вчера был понедельник.

Дениз надула губки.

— Но, учитывая твой детский возраст и заботы по дому, я устанавливаю тебе рабочий день до обеда.

— О-ля-ля! — закричала Дениз. — Да здравствует безработа!

— Во-первых, безработица. Во-вторых, только частичная, а в-третьих, ты с этим «о-ля-ля» уже пересаливаешь. Смотри, как бы я не поверил, что до сих пор ты притворялась и только при виде этих тряпок стала самой собой.

Дениз шевельнула ноздрями, как маленькая антилопа, и сердито заявила:

— Я буду одеваться.

— Понятно. Это значит, что я должен варить кофе. Но учти, что с завтрашнего дня ты будешь делать это сама — не в целях ликвидации безработицы, а на предмет привития трудовых навыков.

За завтраком Артему пришло в голову захватить с собой в беседку стопку бумаги. Рисовал он недурно, и дело пошло веселее.

— Среди древних наскальных рисунков центральной Африки встречалось изображение человека в прозрачном шлеме,

см. рис. номер двадцать три. Правда, дальнейшие исследования показали, что это всего-навсего тыква, см. рис. номер двадцать четыре.

И все в таком роде.

А вечером, вернувшись в свой домик, он испытал легкое головокружение. Все стены, окна и двери были задрапированы серебристо-серыми, кремовыми и вишневыми тканями, на столе — хрустящее полотно, достойное банкета в Версале.

— Мсье Артем, я приглашаю вас на прощальный ужин в честь моего старого платья. Завтра я пойду на работу в туалете времен Империи.

— Тебе кто-нибудь говорил, что ты похожа на мадам Рекамье?

— Естественно. Все тот же мсье Левэн.

— Знаешь что, сварила бы лучше суп.

— А вы сердитесь, разве нет?

— Разве нет.

Она пожала плечами, потому что он действительно сердился.

— Лучше нарисуйте мне платье. В котором вы хотели бы меня видеть.

«Я хотел бы видеть тебя на Земле», — подумал он.

А потом она устраивалась на ночь, а он, сидя на кухонном столе, послушно набрасывал эскиз платья Натальи Гончаровой. Дениз позвала его.

— Что тебе, детка?

— Хочу сказать «доброй ночи».

Ее постель была застелена черным шелком.

— Тебе что, кто-нибудь сказал, что ты похожа на Маргариту Валуа?

— Естественно. Все тот же...

— Мсье Левэн. Смотри, свалишься. Шелк-то скользкий.

— Доброй ночи.

— Желаю увидеть во сне мсье Левэна.

Он повернулся и пошел к балкону.

— Артем!

Пришлось вернуться.

— Доброй ночи, — повторила Дениз.

— Спи спокойно, детка.

Он наклонился и поцеловал ее.

Потом вышел в темноту и остановился, прислонившись к шершавой стене дома.

— Юп, — позвал он, — а сегодня вы довольны нами?

Наступила пауза. Артем уже решил, что ответа не последует, но тут рядом с ним прозвучало сухое и не совсем уверенное:

— Да.

Было так темно, что даже если бы Юп и стоял в двух шагах, как это можно было предположить по звуку, — все равно рассмотреть выражение его лица было бы невозможно. Не было видно даже смутных очертаний его фигуры. Но он был рядом.

— Юп, ответьте мне, если можете: почему все-таки из миллионов людей Земли вы выбрали именно нас?

— Смотри, — послышалось в ответ, и тут же в каких-нибудь десяти шагах перед ним вспыхнул экран. Две неподвижные фигуры появились на нем, и Артему не надо было всматриваться, чтобы узнать себя и Дениз.

Когда, в какую счастливую минуту увидели их пришельцы такими? Оба бежали вперед, он — с теннисной ракеткой, она — придерживая на груди пушистый купальный халатик: сами того не зная, они бежали, чтобы встретиться друг с другом, и лучше бы кто-нибудь из них остановился в своем легком и бездумном беге, ибо этой встрече было суждено произойти не на Земле. Но они летели вперед, через все миры и пространства, и если бы Артем не был одним из них, он подтвердил бы, что выбор пришельцев правилен, потому что эти двое и есть самые прекрасные люди Земли.

— Так что же вы все-таки хотите от нас? — тихо спросил Артем.

— Будьте такими, какие вы есть, — был такой же тихий ответ.

Двое, бегущие к своей неизбежной встрече, неслышно растаяли в темноте. Артем протянул руку вдоль стены, нащупал дверь и толкнул ее.

Тусклые блики не погашенного где-то света едва проникали в комнату. Артем остановился над спящей Дениз. Как это страшно — черная постель. Чуть запрокинутое лицо, кажется, парит в пустоте и в любой миг может исчезнуть в ней. Сейчас я разбужу тебя, Дениз, но будет ли твое лицо таким, как в тот день, когда ты бежала, обеими руками удерживая разлетающийся халатик? Будешь ли ты так бежать мне навстречу, как бежала, еще не зная меня?

И тут ему показалось, что глаза Дениз открыты. Видит ли она его в темноте? Может быть, и нет; но она знает, что он здесь. «Зачем ты здесь, Артем?» — «Я видел нас обоих, и знаю теперь, что для меня можешь быть только ты, а для тебя — только я». — «А может, просто здесь никого нет, кроме меня?» — «Нет, Дениз». — «Этот райский сад, наш милый шалашик, и нет хотя бы телефона, чтобы перекинуться парой слов с друзьями?» — «Не знаю, Дениз». — «И я так близко, и никто не видит, не слышит, и

завтра у меня даже не будет заплаканных глаз, потому что я сама каждый вечер зову тебя?» — «Не знаю, не знаю, Дениз...» — «И мне уже столько, сколько было моей матери, когда она встретилась с отцом; и мы уже смотрим друг на друга так долго, что ты уже не можешь просто так повернуться и уйти...»

Он стремительно наклонился над ней — и замер: глаза ее были закрыты. Хрупкое равновесие сна охраняло ее усталое лицо, и казалось, достаточно одним прикосновением нарушить этот покой — и расколется мир.

Он закусил губы, чтобы его дыхание не коснулось ее. Только не проснись, Дениз, заклинаю тебя всем, что есть святого у тебя и меня, только не проснись в эту минуту!

Он осторожно выбрался из домика, обошел его и, перевалившись через перила балкона, плюхнулся на свой матрац. Будьте такими, какие вы есть, а? Сукин сын он есть. Так вот.

А утром, поднявшись, он не посмел войти в дом. Он боялся, что Дениз еще не проснулась, боялся ее спящего лица. Он бродил по хрустящим дорожкам, пока дверь не распахнулась и на пороге не показалась закутанная в белое Дениз.

— Ау, где вы? — крикнула она и помахала ему рукой. — Ванна свободна.

Он не двинулся с места.

И тогда она побежала к нему, придерживая на груди свою самодельную хламиду, и уже издалека он узнал это лицо, вчерашнее счастливое лицо, и понял, что какие бы стены он ни воздвиг между собой и Дениз, какие бы запреты он ни наложил на себя и на нее, — все будет бесполезно.

Странные, сказочные дни наступили для них. Часы работы, неутомительной и порой даже забавной, пролетали незаметно; все же остальное время было заполнено одной Дениз. Знала и помнила она невероятно много, и каждый вечер, надев фантастический восточный наряд, она усаживалась на тахте, поджав ноги, и начинала так, как он ее научил: «Дошло до меня, о великий царь...» Дни Дениз. Дни, как соты, золотые и тяжелые своей переполненностью. Дни, бесшумно восходящие к ночи, к долгому шелесту причудливых нарядов, примеряемых перед сном, к бесконечной нежности, которую всю нужно было уместить в два коротеньких слова — «спи, детка»; но это не было еще концом дня.

Потому что самым последним было черное ночное небо, нависшее над балконом на расстоянии вытянутой руки, и — тихим шепотом, чтобы не услыхала засыпающая Дениз:

«Вы довольны нами, Юп?» И в ответ такое же тихое, чуточку неуверенное «да». И только с каждым днем все больше и больше пауза между вопросом и ответом.

И вот, наконец:

— Вы довольны нами, Юп? Долгое, очень долгое молчание.

— Нет.

Давно уже надо было этого ожидать, но все равно как-то чертовски тоскливо, и не хотелось бы вдаваться в объяснения. Сами ведь виноваты. Из трех миллиардов людей выбрали две смазливые мордашки. Уперли бы двух каких-нибудь академиков, вот те и нарисовали бы им полную картину жизни на Земле.

— Слишком много хотите, — сухо проговорил Артем, закидывая руки за голову. — Школьная программа у меня давным-давно из головы вылетела, а что касается работы, то о ней, я вам ничего рассказывать не собираюсь. Ну, а Дениз способна продемонстрировать вам моды всех времен и народов, но не более. Вы ошиблись с выбором, Юп, а теперь пытаетесь получить из морковки апельсиновый сок.

— Мы не ошибаемся, — был бесстрастный ответ. — Нам нужны были именно вы, и мы вас взяли.

— Черт вас подери, да по какому праву?

— Праву? — голос умолк, словно Юп старался припомнить значение этого слова. — Право... Как будто обоснование нашего поступка может хоть что-то изменить в вашей судьбе. Но раз тебе кажется, что я должен оправдаться перед тобой, я сделаю это для тебя, и как можно убедительнее.

Голос его приблизился и звучал немножечко сверху, словно Юп стоял у самых перил балкона. Артем не удержался и тихонечко просунул руку между прутьями, но пальцы его наткнулись на привычную клейкую поверхность защитного колпака. Боится, гад. А может, и не гад, просто другой состав атмосферы. Послушаем.

— Много десятков тысяч лет назад, — зазвучал из темноты голос Юпа, — мы были такими же, как вы. Впрочем, мы, вероятно, и тогда были мудрее и осторожнее вас. Мы достигли предела человеческих знаний — в нашем распоряжении были корабли, которые могли доставить нас в любую точку Галактики, и даже за ее пределы. Мы сумели продлить свою жизнь на неограниченный срок, победив все болезни и даже старость, мы смогли... впрочем, ты даже не поймешь меня, если я буду дальше перечислять все то, что мы познали, открыли и сумели. Так вот, в своем жадном стремлении все увидеть, все понять и все познать мы прилетели

однажды на третью планету одной непримечательной периферийной звездочки. Невероятно, но мы обнаружили там условия, аналогичные нашим в момент появления на нашей планете разумного существа... И мы встретили такое первичное существо. Полуобезьяну. Дикаря. И с тех пор мы стали пристально следить за вашей планетой. Мы уничтожали диких зверей, грозящих первым человеческим стаям, мы учили ваших дикарей пользоваться огнем и орудиями труда, мы подарили им сведения, до которых они не смогли бы сами додуматься, и они начали развиваться быстрее, запоминая наши уроки и забывая нас самих. Мы помогали вам на заре вашего человечества, мы были вашими нянъками и учителями... Ну что, тебя устраивает такое объяснение?

Артем только пожал плечами.

— Никакая кормилица, не говоря уже о нянъках и учителях, не имеет права посягать на свободу своего воспитанника. А что касается передачи знаний, то, судя по тому, как вы изволили обойтись со мной и Дениз, вы, вероятно, учили первобытных людей добру, справедливости и уважению к ближнему.

Бесстрастное лицо Юпа не выразило ни досады, ни смущения. Лишь снова зашевелились губы, и спустя секунду зазвучал его монотонный голос:

— Тогда я предложу тебе второй вариант. Мы нашли на вашей планете условия, в которых мог развиваться разум. Но разумного существа мы не нашли. И тогда группа наших людей... хотя бы беглецов, покинувших нашу планету по политическим соображениям, решила обосноваться на вашей Земле. К сожалению, они не рассчитали своих возможностей и через несколько поколений одичали. Четыре группы беглецов, прибывшие в разное время на вашу планету, создали четыре земные расы. Разве не правдоподобно?

— Но не более. И уж совершенно не объясняет, почему вы позволяете себе распоряжаться нами, как своей собственностью.

— Вы несколько раз пытались уйти из своего домика и каждый раз находили тот же самый дом, только на другом месте. И в конце концов вы перестали покидать его и остались в нем. Что ж, придется мне и на этот раз предлагать одну гипотезу за другой, пока ты не пожелаешь остановиться на какой-нибудь из них. Только теперь гипотезы будут разные, но все — на одном и том же месте. Вот тебе еще одна: мы не оставили на Земле людей. Но, вернувшись на родину, мы предположили, что когда-нибудь нам могут понадобиться существа, подобные нам. Мы не могли предвидеть всего, что ждало нас в будущем, но нас грызла смутная

тревога. Мы находились на вершине знаний и возможностей, и вдобавок мы были очень осторожны. И тогда мы создали биороботов, да, саморазвивающихся биороботов, взяв за основу ваших обезьян. Потому-то вы и не можете найти переходное звено между последней обезьяной и первым человеком. Мы высадили вас на каждом континенте в надежде, что выживет хотя бы одна группа. Выжили все. Выжили и развились. Развились и начали задавать себе вопрос: а для чего живет человек? Для чего существует все человечество? Разве нет?

Артем сделал неопределенный жест — в общем-то, да. Скрывать это не имело смысла.

— Так вот,— голос Юпа зазвучал патетически,— вы существуете только для того, чтобы мы в любой момент могли вернуться к своему прошлому, к своей молодости. Наше человечество одряхлело. Мы все знаем, все можем, но ничего не хотим. Кто бы мы ни были для вас — повитухи, стоявшие у вашей колыбели, старшие братья, отцы или даже боги, создавшие вас из праха,— мы сейчас требуем от вас только свое, и по сути мы требуем немного. Около ста миллиардов людей прошло по Земле, а мы взяли только двоих, тебя и Дениз. Это наше право. Богу богово!

— Но кесарю — только кесарево. И даже если принять, что вы боги, то, черт вас подери, боги, как вы дошли до такой жизни?

Некоторое время Юп молчал, потом послышалось что-то, похожее на человеческий вздох.

— Мы очень берегли себя. Слишком берегли. И чтобы лучше беречь каждого человека, мы до предела ограничили рождаемость. Прошли десятки лет, сотни, и на нашей планете остались одни старики. Мы перестали летать в космос, спускаться в глубины океана и в кратеры вулканов. Мы так боялись за себя! Но один за другим гибли наши товарищи, гибли из-за нелепых, непредугадываемых случайностей. И тогда мы сделали последнюю ошибку: вместо того чтобы попытаться родить новое поколение — может быть, это нам бы и удалось, потому что наша медицина стояла, да и сейчас стоит на недосягаемом уровне — мы решили восполнить недостаток людей путем создания подобных себе биороботов.

«Рожи, словно консервные банки»,— вспомнились Артему слова Дениз.

— Прошли сотни и тысячи лет, и на всей планете остался всего лишь один человек, рожденный женщиной,— это я. Впрочем, я ли это? Мое тело многократно обновлялось и даже полностью заменялось, переносился только мозг. Внешне я точно таков, как и

все жители нашей планеты. Но я один чувствую, что мы гибнем. Огромных усилий мне стоило убедить моих товарищей (это слово он произнес с запинкой) послать к Земле последний уцелевший звездолет. Пользуясь своей способностью становиться невидимым — ты не поймешь, как мы этого достигли, — я провел возле Земли некоторое время, познакомился с ее прошлым и настоящим и главное — выбрал вас. Остальное тебе известно.

— М-да, — проговорил Артем. — В древности, говорят, некоторые полусумасшедшие цари пытались вернуть молодость, переливая себе кровь младенцев. Уж не таким ли способом вы собираетесь омолаживаться?

— Мы — люди, — высокомерно произнес Юп.

— Вы — консервные банки, извините. Мне, честное слово, жаль вас, и все, что только можно, мы для вас сделаем. Кесарю — кесарево. Спокойной ночи.

Юп не ответил. Обиделся и исчез. Хотя нет, обижаться он давно уже должен был разучиться. Просто счел разговор законченным. А ничего себе был разговор! Еще бы полчаса таких откровений, и можно было бы без всякой симуляции по праву вице-короля Индии требовать своего любимого слона.

Только бы Дениз ни о чем не узнала. Не на Земле — это еще полбеды. Но то, что не у людей... И тут он почувствовал, что балконная дверь медленно открывается. И не увидел, а догадался, что там, на полу, сидит Дениз, прислонившись к дверному косяку и обхватив коленки руками.

Надо что-то сказать, надо что-то соврать, чтобы успокоить, чтоб уснула, только быстро, ну же, ну, быстро, мы же договорились, что ты, сукин сын, так используй свой богатый опыт, вспомни, что ты говорил тем, прежним, вспомни и повтори, и эта поверит, глупенькая еще, детеныш, только вспомни, вытащи из своей памяти такие слова, после которых ничего не страшно, после которых ни о чем другом уже просто не помнишь, ну, давай, дубина, давай...

— Дениз!..

Невидимая в темноте рука находит его лицо. Рука легкая, точно маленькая летучая мышь. Что за ерунда — мышь. Откуда? А, окаменелый воздух фараоновой гробницы. И здесь такая же неподвижность. Крошечные сгустки серого небытия, оживающие от людского дыхания, от шороха человеческих губ. А это откуда, про сгустки? Вероятно, из самого детства, когда верил, что утром вся ночная темнота собирается в плафонах уличных фонарей и весь день прячется там, и если присмотреться, то видно, что внутри белых пломбирных шаров затаился студенистый тяжелый туман,

и не дай бог такой шар сорвется, тогда темнота вырвется наружу, словно джинн из бутылки в «Багдадском воре», и среди бела дня затопит город, как это бывает только вечером, когда фонари зажигают, и темнота, испугавшись, сама вылетает на улицы... Господи, да о чем это он, о чем?

— Дениз...

Это было уже не детство, хотя нет, детство, конечно, только не самое-самое, когда фонари, а попозже, когда Лариска Салова, и только бы вспомнить, что он говорил тогда, хотя и вспоминать нечего, он сказал: «Я из твоего вшивого кадета рыбную котлету сделаю». И она засмеялась, потому что это было так шикарно сказано, вшивый-то кадет был нахимовцем, на голову выше и пояс с бляхой, и она перестала смеяться, чтобы ему было удобнее поцеловать ее, и он сказал: «И Лымарю твоему я в рожу дам», — и снова поцеловал ее, и она сказала: «Бабушка мусор несет», — потому что было в парадной, и он ответил: «Я твоей бабушке в стекло зафингалю», — и в третий раз поцеловал ее, а больше не стал, — надоело и, вроде, стало незачем...

— Дениз...

А вот это было уже совсем не детство, это было в самый последний раз, все расходились, а он мог остаться, так что ж ему было отказываться, он и остался, пьян был здорово, да и хозяйка была хороша. И он молча раздел ее, и она то ли рассмотрела его получше, то ли решила поскромничать, только вдруг завела: «Ты у меня первый настоящий...» — «Ну-ну, не завирайся», — сказал он ей, и так было в последний раз.

— Дениз. Дениз. Дениз... — это как спасенье, как заклинание, как мелом по полу — круг, отсекающий все то, что было и как было.

— Я здесь, — прозвучал из темноты ее неправдоподобно спокойный голос. — Протяни руку — я здесь.

У него захолонуло внутри от ее слов, простых и ничего не значащих в обычном номинальном значении, но сейчас обернувшихся к нему всей жуткой обнаженностью единственного своего смысла. И не он ей, а она ему первая предлагала единственное средство от страха перед окружившей их тупой и бессмертной нелюдью, и это «протяни руку» — первое, что она сказала ему как равная равному, значило только одно: «протяни руку и возьми».

Он медленно поднялся, царапая щеку о кирпичный наружный косяк, и переступил порог комнаты. Где-то внизу, у его ног, сидела на полу невидимая Дениз.

Вот так. И не мучайся, все равно ведь это неизбежно. Быть тебе сукиным сыном. Судьба.

— Ты словно боишься? — проклятый голос, обиженный, совсем детский. — Никто же не видит. Темно.

Так бы и убил сейчас. На месте.

— Может быть, я для тебя недостаточно хороша? Мсье Левэн говорил...

— Замолчи!!!

Бесшумно шевельнулся воздух, и Артем угадал, как поднялась, выпрямившись и чуточку запрокинув голову, Дениз. Из темноты легкими толчками поднималось и долетало до его лица ее дыханье. Ближе протянутой руки была теперь она от него.

— Зачем «замолчи»? Я люблю тебя, Артем.

Господи, да разве может быть, чтобы это «я люблю тебя» звучало так медленно, так правильно, так спокойно?

— Нет, Дениз, нет! Просто так вышло, что здесь только мы, ты и я, никого, кроме меня. Вот тебе и показалось... Почему бы и нет? Девочки рассказывают, мама запрещает, мсье твой плешивый травит про Нефертити... В первый раз верят не только другим, Дениз. Верят себе. Что с первого взгляда и на всю жизнь. Вот и тебе кажется. Мсье для этой роли не подошел, стар, и девочки засмеют. А тут — молодой русский, и на совсем другой планете. О-ля-ля! Пока никто не видит...

— Здесь темно, я не могу тебя ударить.

— А хорошо бы. Я даже прощенья просить не буду. Это завтра. Когда я буду способен соображать, что я говорю.

— Ты говоришь и не слышишь! Каждое твое слово — как crapaud[1], я не знаю по-русски, холодное, противное, мокрое! Зачем так? Зачем? Зачем?

Дениз, горе ты мое горькое, не «зачем», а «почему».

— Потому что не смей говорить: «Темно, и никто не видит». Не смей говорить: «Протяни руку». И не смей в этой темноте стоять так близко, что я действительно могу протянуть руку и взять.

Шорох шагов. Дальше. Еще дальше. Четыре шага темноты между ними. Одного его шага будет довольно, если сейчас позовет. Не смей звать меня, Дениз. Я люблю тебя. Где тебе знать, что любят именно так!

Тишина. Долгая тишина, в которой не спит и не уснет Дениз. Значит, еще не все. Еще подойти, отыскать в темноте спокойный лоб, и это — «спи, детка». Сможешь? Уже смогу.

---

[1] Жаба (*франц.*).

А лицо мокрое. Все. Даже брови. И руки. Узкие холодные ладошки.

— Ну что ты, глупенькая, что ты, солнышко мое, девочка моя, — все слова, все имена, только бы ласковые, а какие — неважно, важно — нежность в них, вся нежность белого света, нежность всех мужчин, целовавших женские лица от Нефертити до Аэлиты. — Маленькая моя, рыженькая моя, единственная...

О, последовательность всех мужчин мира!

Уснула Дениз, зацелованная, счастливая, и руку его продолжает сжимать, словно это любимая игрушка. Как мало тебе было надо — согреть, убаюкать. А туда же — «протяни руки и возьми». Глупенькая ты моя. А теперь спишь спокойно и только носом посапываешь — наревелась, а я просижу всю ночь здесь, на полу, как последний дурак, положив голову на край твоей постели, только затем, чтобы увидеть твое лицо, когда начнет светать.

Видел бы Юп эту картину!

— Ну что, Юп, старая консервная банка, доволен ты нами сегодня?

Темнота. И совсем близкое, отчетливое:

— Да.

Был какой-то отрезок времени, когда Артем чуть было не рассмеялся. Бывает у человека такое состояние, когда первой реакцией на все является счастливый смех. Но так продолжалось всего несколько секунд. Потом — недоумение: неужели подслушивал? Скотина.

Он осторожно высвободил свою руку из ладошек Дениз и на цыпочках выскользнул из дома. Темень. Непроглядная, тяжелолиственная, августовская.

— Юп!

— Я слушаю тебя.

— Юп, вы... вы довольны нами сегодня?

— Да. Вы поняли, что от вас требуется, и я доволен.

— Вы слышали... все?

— Разумеется. С первого же момента вашего пребывания на нашей планете мы видели и слышали абсолютно все.

— Даже в темноте?

— Для нас не существует ни темноты, ни стен дома, ни вашей одежды. Мы видим все, что хотим.

Может ли двадцатичетырехлетний землянин дать в морду инопланетному подонку, пусть даже тысячелетнего возраста? Впрочем, они сами уже решили этот вопрос положительно, иначе сейчас между Юпом и Артемом не было бы защитной стенки, и тогда...

— Юп, но ты же человек, пусть они все — консервные банки, но ты?..

— Во-первых, не вполне строго называть меня человеком, ибо ты сам считаешь себя таковым, а мы стоим на слишком различных ступенях развития. Во-вторых... — бесстрастный машинный голос, и слово за словом капает на череп и расплывается по нему, не проникая в глубину сознания и не обнаруживая своего сокровенного и старательно ускользающего смысла. — Во-вторых, разница в этих уровнях — в нашу пользу, за исключением одного-единственного вопроса. Информацию по этому вопросу мы и намерены получить от вас. Вы наконец поняли, что от вас требуется, и я доволен вами.

— Послушайте, Юп, вы можете простым русским языком объяснить мне, о чем идет речь? Я слушаю вас — и не понимаю, мой человеческий разум не в состоянии проэкстраполировать вашу естественную — для вас — и, вероятно, очень простую мысль. Ну о чем вы, о чем, о чем, черт вас подери?!

— Пожалуйста. Мы имеем множество самообновляющихся биороботов различных типов, причем одни копируют людей, другие много совершеннее их... И все-таки жизнь нашего человечества неуклонно стремится к закату. Развитие остановилось. Нам незачем больше развиваться. Ведь для этого нужно любить знание. Нам незачем больше лететь в космос. Для этого нужно любить звезды. Мы практически бессмертны, нам не надо продолжать свой род, равно как и заботиться друг о друге. Каждый и так занят самим собой. Только собой. Ведь для того чтобы помогать другому, нужно его любить. Но мы давным-давно утратили представление о том, что это такое. Мы забыли, как это — любить...

— А ты, ты сам, Юп?

— Это было так давно... Я не знаю, я не помню, любил ли я когда-нибудь...

— Но ты же хочешь им помочь, — значит, не все потеряно, старина. Не понимаю только, что мы-то можем для тебя сделать?

— Я дал тебе райский сад, привычный, родной дом. Я дал тебе самую красивую девушку Земли. Вам все условия созданы. Любите друг друга!

Удар. В темноту. На голос. Упругая поверхность отбрасывает Артема обратно, на порог дома. Бессильная, дикая ярость...

— Если бы я с самого начала знал, что вам нужно, я бы предпочел сдохнуть под одной из ваших райских яблонь!

Постой, а Дениз? Никому не возбраняется подыхать под яблоней, но что она будет делать одна с этими консервными

банками? Об этом ты подумал? Одна она им будет не нужна, и... Здесь не хранят ненужные вещи. Информация ли, человек ли. Неэкономно. И снова невидимый звездолет помчится к Земле, чтобы подобрать еще одну пару молодых симпатичных кроликов, и — все условия созданы, любите друг друга!

Зверская эта затея пойдет по второму кругу...

— Почему ты молчишь? — раздается из темноты.— О чем ты думаешь?

Я думаю о том, что вы — машинная сволочь, бессмертные выродки, возомнившие себя богами и бессильные заставить меня делать то, что угодно вам. Одного вы добились — Дениз у меня вы все-таки отняли...

А перед глазами, как проклятие, как наваждение — белый купальный халатик.

Беспечная маленькая Дениз, упоенная неземными синтетическими тряпками. Нежная стремительная Дениз, бегущая ему навстречу по ненастоящим цветам их персонального рая.

Любите друг друга, вам все условия созданы!

А вы посмотрите?

...вы посмотрите.

— Ты не ответил. О чем ты думаешь?

Я думаю, не кончить ли эту комедию прямо сейчас, не сказать ли тебе на хорошем русском языке, что я о вас всех думаю, и не уйти ли в темноту, в лабиринт безвозвратных дорожек — уйти, чтобы с рассветом не увидеть пробуждающегося лица Дениз. Никогда больше не увидеть. А потом?

А потом — старый вариант: вы признаете эксперимент неудачным, и нет ни малейшей надежды на то, что в вас взыграют совесть и гуманизм. На Землю вы нас не вернете. Здесь мы вам будем не нужны.

И так бессчетное количество выходов, и все ведут к одному: к еще одной паре кроликов, которая займет освободившееся место в райском саду.

В райском саду, из которого бесследно исчезнет Дениз...

— О чем ты думаешь?

— Я... я думаю о том, как мы будем счастливы в этом райском саду.

Эта ложь — цена тех нескольких дней, за которые необходимо найти какой-нибудь выход. Найти, прежде чем вы догадаетесь, что не будет вам ни богова, ни кесарева.

А легче всего оказалось обмануть Дениз.

— Дорогая, ты теперь моя невеста, и я должен заботиться о нашем будущем. Ты разумная девочка и понимаешь, что пожениться мы сможем только на Земле — если, естественно, ты сама не раздумаешь. Поэтому я должен как можно скорее сообщить нашим гостеприимным хозяевам все те сведения, которые их интересуют. Будь умницей и не мешай мне. Чем скорее я кончу, тем раньше мы вернемся домой.

— А мы вернемся?

Господи, Дениз, да если бы я смел спросить их об этом!

— Как ты можешь в этом сомневаться? Они же люди.

Она легко и беззаботно приняла его сдержанность, как принимают условия новой забавной игры. Если бы она знала, как он был благодарен ей за это согласие. Если бы она знала, как горька была ему легкость этого согласия!

И потом — каждая игра ограничена в своих временных пределах. Рано или поздно наступает момент, когда один из играющих говорит: «Мне чурики» — и игра кончается.

На сколько же дней хватит этой игры, Дениз? Потому что время идет, а выхода — нет.

Нет выхода.

Дни, прозрачные и бесцветные, один меньше другого — словно стеклянные яички на бабкином комоде. Дни, мизерные и бессильные, каждый из которых мог бы уместиться в старушечьем кулачке. Проклятая литература, приучившая к феерическим деяниям земных суперменов, вырвавшихся на просторы космоса! Если бы кто-нибудь мог предположить, что первые люди, попавшие на другую планету, вовсе не будут образовывать Великие Кольца, лихо рубить пространственно-временные связи или во главе инопланетных масс неотлагательно вершить галактические революции.

Наверное, так и будет. Когда-нибудь. Не сейчас. Потому что сейчас единственное, что должен делать он — это НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ.

И только чувствовать — ежеминутно, ежесекундно, как все то, чего еще не было между ним и Дениз, становится тем, чего никогда между ними не будет.

И дни, которые должны были принадлежать им вместе, принадлежали каждому в отдельности.

Знаешь ли, Дениз, что день вместе — это два дня? Мы чураемся прописных истин, мы высокомерно, по-щенячьи презираем

цитаты классиков, вбитые в наши головы на ненавидимых уроках литературы. За эти цитаты заплачено сполна, чеки — «четверки» и «пятерки» в сданных на макулатуру дневниках, и мы квиты, мы вправе вышвыривать и вытравливать из своих голов все ясное и элементарное, не сдобренное мускусным душком парадоксальности. Попробуй сейчас сказать за столом, где собралось трепливое инженерье, что умирать надо агитационно. Или что самое дорогое у человека — это жизнь. Засмеют!

А ведь это так, Дениз, и самое дорогое у человека — это действительно жизнь. Только вот в чем подкачал классик: она дается не один раз. Потому что если любишь — проживаешь две жизни: за себя — и за того, другого. Вот почему это так здорово, когда тебе повезет и ты по-настоящему полюбишь. Если бы я не встретил тебя, Дениз, я бы этого так никогда и не узнал, потому что до сих пор, выходит, все у меня было понарошке. От Ларисски Саловой до той, что в самый «последний раз...»

Так что же делать, что делать, чтобы вырваться из цепких лап этих, с позволения сказать, богов? Что делать, чтобы каждый мой день был твоим днем, чтобы каждый твой миг был моим мигом? Я ведь хочу так мало: просто быть вместе, до седых-преседых волос, как эти легендарные греки... как их? Мы еще потешались над ними... А, Филемон и Бавкида. Что мы понимали, сопляки, д'Артаньяны? Безнадежное щенячество, могущее длиться до самой старости, до потери способности чувствовать вообще, если не вмешается что-то страшное, если не выдернут землю из-под ног, как сейчас, когда висишь в безвоздушном пространстве и даже нельзя дергаться и разевать рот от ужаса — смотрят ведь!

А ведь все было, Дениз, все было, лежало у меня на ладони, все было, было, было...

Откинуться всем корпусом назад, и — со всего размаха головой о мигающий пульт, чтобы вдребезги.

Да? А невидимый звездолет, снова бесшумно крадущийся к Земле? А еще двое заключенных в этом раю?

И потом — если эти двое, по незнанию ли, по недогадливости или даже просто потому, что наплевать, пусть смотрят, — что, если эти двое отдадут этим консервным банкам то, чего они добиваются? Если они покажут, если они научат этих дуболомов любить?

Смех сквозь слезы. Вот уж единственное, чего можно совсем не бояться. Уж если Юп ничего не помнит — об остальных консервных банках и беспокоиться нечего.

А может...

Воспоминания всплывают неожиданно, нередко против воли. А вдруг Юп все-таки вспомнит, как он был человеком? Вдруг он вспомнит — что это такое: любить?..

Может, это и есть тот единственный шанс на возвращение, который нужно было найти?

— Юп!

И впервые за все это время — никакого ответа.

— Юп! Ты слышишь меня? Юп!

Вот так. Заварил всю эту кашу, затеял этот гестаповский эксперимент, притащил их сюда — а теперь в кусты? Подонок.

— Юп!!!

А может, его просто не пускают сюда? Сказал же он в самый первый раз: «Я получил полномочия отвечать на любые твои вопросы». Или что-то в этом роде. Может быть, теперь его лишили этих полномочий? По случаю прекращения эксперимента; например.

Тогда не остается ни одного шанса. Что же дальше? Дальше, — как ни смешно, но именно то, чего хотел от них Юп: просто быть людьми. Оставаться людьми до самого конца. А в сущности, что он делал кроме этого? Ничего. Просто был человеком. И все.

Но этого оказалось так мало.

— ...Я надоела, разве нет? Тридцать дней одна женщина рядом — тебе скучно, разве нет? Только ие говори: ты невеста. Я невеста — о-ля-ля! Смотри сюда — мой туалет... под венок. Разве нет? Белое-белое. Снег. Мертвый снег. Я — невеста!

— Дениз, успокойся...

— Я невеста деревянного... как сказать? Дерево, Пиноккьо. Но зачем так? Зачем?

— Ты хочешь сказать — почему? (А действительно, не все ли равно — несколькими часами раньше или позже их уберут отсюда...) Мы очень мало рассказывали друг другу о себе, о своем детстве. Но не так давно мне вдруг вспомнилась одна забавная вещь, и, если хочешь, я расскажу тебе.

Ну вот — капризно скривила губы, боится, что это просто увертка, чтобы уйти от ответа.

— Я был совсем маленьким, когда мы с мамой уехали на лето куда-то в Прибалтику. Берег Балтийского моря, понимаешь? Так вот, в нашей комнатке, которую мы сняли, висела на стене странная картина: загадочный лес — не настоящий лес, а такой, как в доброй — обязательно доброй, Дениз! — волшебной

сказке. А в этом лесу — два старых короля — черный и белый — с пепельными бородами и тусклыми коронами. И на ладонях у этих старцев лежит маленький сказочный мир. Ты понимаешь, Дениз? Целый мир, а может быть, только одно королевство. Крошечный, но самый настоящий город, а кругом лес, ниже новорожденной травки, а люди, наверное, такие малюсенькие, что разглядеть их могут только зоркие и добрые глаза мудрых королей. Осенью мы уехали, и я никогда больше не видел этой картины — это, конечно, была только репродукция; но все детство свое я мечтал о том, чтобы иметь такое же игрушечное королевство, крошечный живой мир, который можно рассматривать без конца, и никогда не надоест...

— А как называется? — неожиданно спросила Дениз.

— Эта картина называлась «Сказка королей».

— И это тебя грустит? — она засмеялась.— Тебе тоже нужна игрушка. Но это так просто. Надо просить мсье Юпа. Он подарит тебе сказку. Мы — два короля. Мсье Юп! Две бороды, две короны!

Глупенькая ты моя, ничего ты не поняла. Ведь это мы копошимся в игрушечном саду, но не на добрых руках лежит наш ненастоящий мирок.

Впрочем, когда любишь в первый раз, простительно быть дурой. Он вдруг вскинул голову и внимательно всмотрелся в ее лицо. Заплаканная осунувшаяся рожица, круги под глазами, да еще зеленепькая оттого, что умудрилась облачиться в неимоверно алую, словно лоскут гриновского паруса, переливчатую тряпку.

— Рыбка-зеленушка...

Дернулся подбородок, глаза стали узенькими и гадкими:

— Еще одна сказка? Про рыбку?

Когда любишь в первый раз... А с чего это он взял, что она любит его? Ах да,— условия были созданы... И еще это спокойное, удивительно правильно выговоренное: «Я люблю тебя» — той ночью, последней; непонятно только — от любопытства или со страху? Да и он хорош — самонадеянный красавчик. Поверил.

Старинная сказка, ей тысяча лет: он любит ее, а она его — нет... А она его — нет. Опять литература.

А ведь ничего еще не потеряно, Дениз, и только подойти, и взять в руки твое лицо, и целовать, и тихонечко дуть на ресницы, и чуть слышно гладить начало волос на висках — и ведь будет все, ведь полюбишь, ведь никого еще не любила, не уйти тебе от этого, никуда не уйти, только и нужно-то — губы мои и лицо твое.

А у самого окна — небо, тускло-серое, словно огромный оловянный глаз.

Я люблю тебя, Дениз, я люблю тебя больше света белого, больше солнца красного. Я люблю тебя, но если бы у меня сейчас была граната, которой можно было бы взорвать к чертям собачьим весь этот мир, эту планету, — я швырнул бы эту гранату нам под ноги, Дениз. Говорят, любовь — чувство созидающее. Есть такая прописная истина. Но сколько бы я сейчас отдал, чтобы моя любовь стала адским запалом, тысячекратной водородной бомбой, способной разнести в клочья всю эту сверхразумную цивилизацию! Я не знаю, гуманно это или не гуманно — уничтожить целое человечество, ибо разум землянина не в состоянии решать такую проблему, от такой проблемы разум землянина просто-напросто свихнется. Но за такую гранату, за такую бомбу я, не рассуждая и не мудрствуя, отдал бы свою жизнь. И твою жизнь, Дениз.

Потому что мир, разучившийся любить, не может, не смеет, не должен существовать во Вселенной!

Индикаторный пульт диктофона. Лампочки — плотно одна к другой, словно оловянные солдатики. Сколько их? Сто на сто, не меньше. На звук шагов они отозвались голубоватым мерцанием, словно язык синего тусклого пламени лизнул пульт. Вот так. И сиди здесь до самого конца, ибо есть в столь любимой твоей мировой литературе четкий такой штамп, что настоящий человек умирает на боевом посту. Или на рабочем месте, на худой конец. Агитационно.

А на самом деле — чтобы не видеть злое и равнодушное лицо.

«Лицо твое и губы мои...»

Лампочки на пульте диктофона послушно мигнули. Синее, фиолетовое, лимонное.

Сколько еще бесконечных дней перед этим пультом, сколько еще лекций, рассказов, стихов, преданий, сколько еще просто вранья?

— У попа была собака.

Синее, фиолетовое, оранжевое.

Артем протянул руку и выдернул из гнезда одну лампочку. Бесцветный остренький колпачок, вроде тех, что идут на елочные гирлянды.

— И он ее таки любил.

Лампочка в его руках мигнула лиловым, потом — изумрудным. Вот оно что, реагирует на звук. И обходится без питания.

Артем обошел сзади коробку диктофона, отыскал дверцу, поддел ножом — распахнулась. А внутри — ничего.

Бутафория. «Вам нужно дело...» Примитивное приспособление, с помощью которого создавалась иллюзия занятости делом. Хватит с него дешевых иллюзий!

Тоненький удивленный звон. Осколки лампочек щекочут руки, даже не царапая кожу. А в дверях беседки — бесстрастный розовый лик анатомического муляжа. Явился-таки, гад. Явился как ни в чем не бывало.

А может, брякнуться перед ним на колени и плакать, просить, молить? Испокон веков боги любили, чтобы перед ними унижались, ползали на брюхе.

Ради Дениз можно вынести и это.

— Юп, я прошу тебя... У каждого эксперимента должны быть свои пределы. Границы разумного. Границы человечного. Вы же мудрые, добрые боги, Юп (ох!), и если в вас есть хоть капля благодарности за все, что мы для вас делали,— помогите нам вернуться домой.

Этого он боялся больше всего. Этой крошечной паузы...

— Ты просишь невозможного.

Стало даже как будто бы легче.

— Если вам необходим человек для дальнейших исследований — оставьте меня. Но верните на Землю Дениз.

— Вы получите все, что только сможете себе представить. Все, чего никогда не имели бы на Земле.

— Но здесь не будет Земли.

Юп не отвечал.

— Юп, я прошу тебя, поверь мне: у нас есть книги, Шекспир, Пушкин, Гете...

— Информация неполная и в большинстве случаев — заведомо ложная. Один эксперимент на живых людях даст нам больше, чем все литературные данные по вопросу человеческих эмоций. И, потом, не забывай, что я один доставил вас сюда, но не я один распоряжаюсь теперь вашей судьбой.

Не он один... Значит ли это, что, будь на то только его воля, он вернул бы их на Землю?

— Юп, старина, ты же был космолетчиком, ты должен помнить, что такое хотеть к себе домой. У тебя есть корабль, Юп. Насколько я понял, ты управляешь им один. Я прошу не о себе...

— Ты находишься на палубе этого корабля.

Артем судорожно раскрыл рот и хлебнул стерильного кондиционированного воздуха.

— Это прогулочная палуба нашего последнего космического корабля. Моего корабля. Как ты видишь, здесь можно создать любые условия, любую обстановку. Невозможно только одно: дойти до конца этого помещения, хотя оно сравнительно небольших размеров. Когда много веков тому назад этот корабль совершал регулярные рейсы к другим звездам, мы предпринимали целые путешествия... практически не сходя с места.

Ну да, белка в колесе. А как это выполнено практически — «этого вы не поймете».

— Тысячи лет назад, когда цивилизация на Земле только еще зарождалась, состав наших атмосфер был почти одинаков. Мы не рассчитывали, что сейчас расхождение будет столь большим, что вас придется содержать в специальной барокамере. На корабле легко можно было создать любые необходимые условия, но на поверхности планеты пришлось бы возводить специальное здание с комплексом сложного оборудования.

Юп, видимо, замялся.

— Для вас, всемогущих, это было плевым делом, — не удержался Артем.

— Это было бы действительно несложно... но никто не захотел за него браться. Мы МОГЛИ — и НЕ ХОТЕЛИ. Мы разучились создавать, в лучшем случае мы могли только воспроизводить. Тогда я предложил оставить вас на корабле.

— Значит, мы в космосе? На орбите?

— Нет. Корабль, правда, не был приспособлен для посадки на поверхность планеты, но он ведь был нам больше не нужен и я использовал самые мощные антигравитационные установки, чтобы спустить его на одном из безлюдных плоскогорий нашей планеты. Последний наш корабль встал на мертвый якорь.

Ау, где ты, находчивый супермен? Все условия созданы — ты на чужом корабле, остановка только за тем, чтобы проникнуть в рубку, за каких-нибудь пару часов постичь принцип управления, затем нажать кнопку — и ты летишь к Земле.

— А... если снова поднять его? — Господи, каким идиотским, наверное, кажется ему этот вопрос!

— Поднять? Но мы не располагаем столь мощным антигравитатором, который смог бы вынести на орбиту такую массу.

— А стартовать с поверхности?

— Ты даже не представляешь, что говоришь. Старт звездолета крейсерского типа сорвет атмосферу с поверхности планеты и уничтожит на ней все живое.

Значит — все. Может быть, выход и есть, но, чтобы найти его, надо быть не тупым заурядным инженером. Слесарю — слесарево. Теперь одно — протянуть еще столько, сколько выдержит человеческий разум, а потом подохнуть, не агитационно — куда уж там! — а хотя бы пристойно.

И теперь уже можно не бояться второго невидимого корабля, хищно подбирающегося к Земле, и не мучиться за тех двоих, которым пришлось бы занять место в этом раю при повторении эксперимента.

Им выпало быть первыми — и последними. Знать бы это раньше! Он стоял, бездумно глядя перед собой, и только повторял это «знать бы раньше...» Розовомордый бог, осененный ажурной арочкой беседки, казался ожившим рисунком старинного и очень примитивного итальянского мастера. Жили, впрочем, только губы — они забавно шевелились совершенно несинхронно звучанию слов, словно каждая фраза на пути от этих губ до ушей Артема проходила бесчисленные фильтры и поэтому безнадежно запаздывала.

— Постарайтесь начать вашу совместную жизнь... — благодушно бубнил Юп.

— Нам нечего начинать, — с трудом разжимая губы, проговорил Артем. — И вообще нам ничего не осталось. Разве что — терять.

Губы на розовом лице замерли на полуслове.

— Нам осталось только терять... — повторил Артем.

И тогда где-то совсем близко, возле самого его лица, прозвучал крик:

— Замолчи! — крик доносился отовсюду, словно кричали одновременно в каждое его ухо. — ВЕДЬ НЕ Я ОДИН СЛЫШУ ТЕБЯ!

Он смотрел на неподвижную маску лица, не понимая, что же такого страшного он произнес; но потом вдруг лицо исказилось, и в полной тишине зашевелились губы, бесшумно повторяя только что отзвучавшие слова.

Артем бросился к выходу, фигура на пороге не шевельнулась, не отклонилась в сторону, и Артем, инстинктивно ожидавший встретить привычную клейкую преграду и так и не наткнувшийся на нее, по инерции проскочил сквозь Юпа, как пробегают через световой луч. Но ни раздумывать над этим, ни даже оглянуться он не смел. Он мчался к домику, зная, что своими словами, которым он не придал значения, он спустил какую-то адскую пружину. «Нам осталось...»

Дениз лежала ничком, и алые языки ее невесомых одежд, словно искусственное пламя бутафорского камина, колебались над ней. Руки, успевшие удивиться, — ладонями вверх.

«Нам осталось только терять...»

Если бы на лице ее отразилась хоть тень ужаса или страдания, он не посмел бы коснуться ее; но только удивление, терпеливое удивление и ожидание, словно к ней подплывало что-то медленное и совсем не страшное.

Так вот оно что — боги решили досмотреть спектакль до конца. И он сам подсказал им содержание последнего акта. Им было ровным счетом наплевать на то, что такое «любить». Но зато как интересно, наверное, показалось им, бессмертным, что это такое — «терять».

Что же они сделали с ней?..

Он поднял ее на руки, перенес на тахту. Никаких следов. Мир, где все — «просто». Просто деревья, просто цветы, просто лица.

Просто смерть.

Нет, не просто. Смерть театрализованная, смерть на котурнах, в пурпурном синтетическом хитоне.

Артем достал нож и разрезал скользкий, точно рыбьи внутренности, алый шелк. Тихо, словно боясь разбудить, он раздевал Дениз, сбрасывая на пол обрывки ее фантастического наряда. Святотатство? Нет. Очищение.

Обыкновенная простыня с черным семизначным номером на уголке и земным запахом механической прачечной. Мама говорила, что тетю Пашу завернули в простыню и на маленьких саночках отвезли на Смоленское кладбище. Но ров был вырыт не на Смоленском, а чуть подальше, через речку, но у мамы уже не было сил идти туда, и она присела возле бывшей трамвайной остановки и сидела так, пока не подошел военный с такими же саночками, только у него было завернуто в хорошее одеяло, и он молча привязал мамины саночки к своим и тихо пошел через мост, и мама смотрела, пока он не прошел бывшее трамвайное кольцо, где начиналось еще одно кладбище, маленькое и, кажется, не православное, и ров был за этим вторым кладбищем, а потом мама спохватилась, что саночки она отдала напрасно, их ведь оставалось еще две сестры...

Он знал об этом понаслышке, как знают о тысячах распятых вдоль Аппиевой дороги, о десятках тысяч сожженных инквизицией, о сотнях тысяч замученных в концлагерях, о миллионах убитых на войне. Знал тем легким, забывчивым знанием совре-

менного молодого балбеса, которое позволяет не сереть от ужаса, не сходить с ума, не разбивать себе голову об стену.

Это были те минуты, когда он еще в состоянии был мыслить, мучиться, вспоминать, — может быть, не минуты, а часы. Потому что когда он взял руки Дениз в свои, они были уже такими тяжелыми, словно несли на себе муку восьмидесяти миллиардов смертей, пережитых Землей.

Он попытался сложить эти руки на груди — они не сгибались.

И не стало ничего, кроме бесконечного ужаса перед этими непущимися руками. Не было больше Дениз.

Не было Дениз.

Он целовал ее тело, как не целуют живых. Святотатство? А, пусть это тысячи раз святотатство, да разве это может вообще быть чем-нибудь? Нет больше зла и добра, нет больше ночи и дня, нет ни тебя, ни меня.

Нет Дениз.

Он завернул ее тело, как девочки заворачивают кукол. Он взял ее на руки и вышел в ослепительное сияние дня, которое не сменилось сегодня ночной темнотой.

Купоросная зелень не колышимых ветром деревьев, петли узкой тропинки, плешины лилейных полян. Он уносил ее в чащу, как звери уносят добычу, но чащи не было, и некуда было скрыться от развратных мясистых роз, от воняющих амброй ручьев, от сахарной приторности беломраморных беседок. Он шел напролом, задыхаясь от непомерной тяжести, от слепой ярости, от бессилия найти в этом сверкающем, радужном мире хоть один темный уголок, в котором можно было бы укрыть Дениз.

Он уже перестал понимать, что творится вокруг, и только ноги, вязнущие по щиколотку, дали ему знать, что это уже не сад.

Кругом был песок. Изжелта-серый, тусклый. Бесконечный. Артем опустил свою ношу и несколько минут сидел, пытаясь унять дрожь обессилевших, ставших чужими рук. Потом, не поднимаясь с колен, принялся разгребать песок. Тонкая струящаяся масса не слушалась, ссыпаясь обратно в узкую, продолговатую ямку. Еще немного. Вот и довольно.

Полные горсти песка. Огромные, тяжелые горсти. Его уже столько, что хватило бы на целый город, сказочный город с пирамидами и лабиринтами, щедрый город с куличами и караваями, расставленными прямо посреди улиц. На песочке у реки испекли мы пирожки... У реки, у реки... Прежде чем умереть от жажды, сходят с ума... испекли мы...

Он действительно умирал не от любви и не от горя — от этого умирают гораздо медленнее, — а от жажды, но не было на свете силы, которая заставила бы его принять хотя бы глоток воды от этого проклятого мира. На песочке у реки... Раскаленный песок набился под черепную коробку, и достаточно было крошечной, чуть шевельнувшейся мысли, чтобы острые горячие кристаллики впились в мозг, и тогда наступала краткая прохлада беспамятства. А потом снова небо, набухшее серым перегретым паром, и сыпучее изголовье, и спокойное лицо Дениз, обращенное к этому небу.

Проходили часы, и дни, и года, а он не мог поднять две горсти песка, чтобы засыпать это лицо. Он лежал и смотрел, пока были силы смотреть, и ее смерть была его смертью. Это все, что досталось ему от Дениз.

А потом прошли тысячи лет, и не стало сил смотреть, и он не увидел, как справа и слева, круша этот игрушечный мир, вздыбились лиловые смерчи. И только грохот, пульсирующий, нарастающий и остающийся где-то позади, заставил его на мгновенье прийти в себя, и он понял, что Юп, которому так и не дано было вспомнить, что значит «любить», вспомнил другое.

Он вспомнил, что значит «терять», и, движимый горестной и справедливой силой этой памяти, врубил смертоносные фотонные двигатели исполинского корабля, сметая со своей усталой планеты зажившихся богов и всей мощью стартового удара воздавая им богово.

Первое, что он почувствовал, был ветер, настоящий, мокрый и хлесткий; потом — сырость земли, кое-где прикрытой померзшей куцей лебедой, и возле самой щеки — ледяная кафельная мозаика облицовочной плиты.

Артем приподнялся. Шагах в десяти высился его дом, невероятно громадный, уходящий своими антеннами в утреннее осеннее небо. Но дом уже не был последним в городе. Прямо под его окнами, нахально залезая на узенькую полоску газона, раскинулась строительная площадка, с непременными грудами битого кирпича, щебенки и песка, с заляпанными известью и обреченными на сожжение досками, с понурым экскаватором, издали похожим на динозавра с перебитой шеей, с провинциальным торчком уличного крана и пронзительной ржавой капелью.

Капли цокали о кусок жести, словно били серебряными копытцами, и Артем поднялся на ноги и с трудом двинулся на этот звук. Что-то странное с ним творилось, а что, он не мог по-

нять и не мог бы даже связно описать свое состояние, потому что так бывало только в детстве, когда плачешь безудержно и долго-долго, так долго, что засыпаешь, а потом просыпаешься весь легкий и горький, и в первые мгновения не можешь вспомнить, о чем же ты плакал.

Он шел по кафельным осколкам, счастливый этим незнанием, этим отрешением от чего-то мучительного и чудом позабытого, шел и молился — только бы не вспомнить, только бы не вспомнить; но страх был напрасен, и все, что лежало между преддверьем весеннего праздника и этим вот сентябрьским утром, было заперто семью вратами и замкнуто семью замками, чтобы никакое усилие памяти не могло этого отомкнуть.

Он шел по кирпичной крошке, поддавая носком ботинка чертовы пальцы обломанных угольных электродов, оскальзываясь на льдинках еще не вставленного, но уже разбитого стекла, и каждый шаг по этому захламленному кусочку земли, рождающему дом, которому суждено будет на недолгое время стать последним в городе — каждый такой шаг был новой бесконечностью, отделявшей его от черного провала как будто бы навсегда исчезнувшего лета.

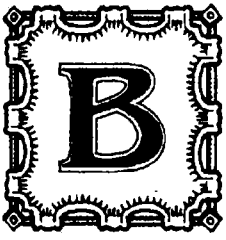
А потом он остановился.

Потому что там, за цокающим жестяным ураном, был песок, тонкий, изжелта-серый, сыпучий холмик, и спокойное лицо Дениз, обращенное к осеннему ленинградскому небу.

Цепкая боль памяти коснулась его, и стиснула, и сжимала все сильнее и сильнее, пока не стала такой нестерпимой, что дальше уже некуда, чтобы такой вот и остаться на всю его жизнь. И тогда он сказал:

— Спасибо, Юп.

Никто не ответил ему, и он понял, что последний из «бессмертных» воздал по справедливости и самому себе.



се это произошло у меня на глазах, и я никого не буду оправдывать, хотя виною всему была истинная любовь, беззаветная и бескорыстная, такая, какая и толкает обычно человека на подвиги и преступления — в степени, к счастью для человечества, неравной. И провалиться мне в наши десятиэтажные подвалы, если я знаю, почему девятерых такая любовь награждает ясновиденьем тибетского ламы, а десятого — тупоумием закоренелого кретина.

Кстати, о наших подвалах. Дело в том, что именно там находилось одно из трех главных действующих лиц этой истории. Точнее говоря — героиня, и звали ее Рыжая БЭСС. Это — всего-навсего безэлектронная самообучающаяся система, каких по всему миру, наверное, уже тысячи, если не десятки тысяч, а «рыжая» — эпитет, как я полагаю, столь же постоянный для этой системы, как «добрый» для молодца и «дурачок» для Иванушки, и у программистов Канберры и Орлеана, Канзас-Сити и Вышнего Волочка вряд ли хватает фантазии на ассоциации менее избитые, чем прозвище малосимпатичной дочери Генриха Восьмого.

Кроме прочих своих достоинств, БЭСС — аналоговая машина, но это совсем не то, что подразумевалось под этим термином лет так сто-сто пятьдесят тому назад, когда в моду только входили электронные машины, а безэлектронных не существовало даже в проекте. Но об этом чуть позже, потому что надо поскорее назвать второго героя, а этим вторым был мой университетский однокурсник Илья Басманов, в студенческую бытность — вул-

деркинд и разгильдяй, умудрявшийся интересоваться всем, кроме своей непосредственной специальности, и тем не менее иметь по ней незыблемую пятерку.

Ясность с самого начала — залог краткости, и чтобы позже не возвращаться к проблеме взаимоотношений между Рыжей БЭСС и Ильей Басмановым, я должен сразу оговориться, что отнюдь не она была предметом его неистовой любви. Хотя предположить такое было нетрудно уже по тому, что еще на первом курсе я заметил, что Илья — прирожденный экспериментатор, готовый променять лучшую из девушек на допотопный компьютер. И курсовые свои он делал «методом тыка». Метод этот известен не одну сотню лет и заключается в том, что экспериментатору приходит в голову какая-нибудь бредовая идея, он на скорую руку собирает биоэлектронную схемку, подает на нее напряжение и смотрит, что из этого выйдет. Примерно то же, что гадать с закрытыми глазами, тыкая пальцем в книгу, — с точки зрения солидных теоретиков. Но что поделаешь, ведь именно так, с позиций «а что если взять и посмотреть», и были сделаны многие из величайших открытий прошлых веков. К солидным теоретикам я себя пока причислить не могу, но методы Басманова мне всегда были чужды, и, может быть, именно поэтому мы с ним никогда не были близкими друзьями. Я даже не знал толком, куда он получил назначение, — кажется, на Рисер-Ларсен, что на самом севере Земли Королевы Мод. Это, во всяком случае, было в его стиле. Но через два с половиной года он уже снова объявился на Большой Земле, порхал из одного вычислительного центра в другой, хватался за всевозможные неразрешимые проблемы, разрешал их, о нем говорили уже на всех симпозиумах (на которых он сам, кстати, появляться не любил), и все не мог осесть на одном месте, которое пришлось бы ему по душе.

Я мирно трудился у себя в Гатчине, как вдруг однажды его смятенный лик, похожий одновременно на лорда Байрона и на Буратино, возник на экране моего междугородного фона.

— Послушай-ка, старина, — заговорил он так, словно мы только вчера расстались с ним в коридоре университета. — Я прослышал, что тебя удостоили новым назначением.

Я удивился. Гатчина меня вполне устраивала, и ни о каком новом назначении и речи быть не могло. В худшем случае мне могли сделать предложение, но пока такового я не слышал.

Я сказал об этом Басманову.

— Ты не ершись, старина. Предложение тебе будет. По всей форме. Со сватами и вышитым полотенцем. Но можешь рассматривать его как назначение, потому что у тебя не возникнет даже легкого желания отказаться.

Я пожал плечами и, естественно, осведомился, в каком объеме он осведомлен о моей дальнейшей судьбе.

— Будешь заведовать сектором программирования в новом информатории, — предсказал он безапелляционным тоном.

— Много их — новых-то. Говори конкретнее.

— Конкретнее некуда. В наступающем году запланирован только один новый информаторий, — он сделал паузу. — В Пушкинских Горах.

— Ну так что же? В Горах, так в Горах. При чем здесь я? И что конкретно хочешь ты — ты, Басманов, — от меня?

— Возьми меня к себе в сектор. Младшим научным.

— Постой, постой. Почему младшим? Кончили мы с тобой вместе...

— А потом ты сидел, как кулик, в своем гатчинском болоте, из-под тебя целыми выводками выпархивали статьи и труды, а сверху, с сияющих вершин науки, на тебя нисходила академическая благодать ученых степеней. Другое дело — я. Вольный программист. Младший научный сотрудник — предел моего честолюбия. Так берешь?

— А надолго?

— Ты это брось, старина, брось. Я серьезно говорю. Не возьмешь «мэнээсом» — пойду механиком ассенизационных роботов. Ну, берешь?

— Да отвяжись ты от меня, я и думать не думаю прощаться со своим тепленьким «гатчинским болотом».

— Я тебя в последний раз спрашиваю: ты берешь меня к себе в Пушкиногорский информаторий?

Я посмотрел на него и понял, что он это совершенно серьезно.

— Да, — сказал я. — Там ставят БЭСС?

— А что же еще? Последней серии, УП/с. Не «Волоколамск» же, в самом деле. Ей придется мыслить, а не вычислять.

Он даже не кивнул и выключил экран фона.

Я встал и подошел к окну. А ведь я, выходит, уже согласился... Не похоже это на меня. До сих пор я считал себя человеком в высшей степени солидным и даже не сомневался в том, что гатчинского вычислительного центра с тремя его могучими машинами мне хватит на всю жизнь. А вот теперь за пять минут какого-то несерьезного и чересчур эмоционального разговора я

уже решился бросить насиженное гнездо, сотрудников, дом — и ради чего? Правда, сразу же после университета я здорово расстроился, когда не попал по распределению в только что открывшийся тогда Скифский информаторий. И, может быть, через год я точно так же платонически вздыхал бы по информаторию Пушкиногорскому, — но, разумеется, самому мне не пришло бы в голову хотя бы палец о палец ударить для того, чтобы меня туда перевели.

А кстати, с чего это меня туда переводят? Не иначе как этот сумасброд руку приложил — у таких, как Басманов, друзей — легион, и не без того, чтобы кто-то был из высших сфер. Иначе откуда бы ему слышать про все эти проекты? А сам согласился на младшего научного... Что ж, это он проповедовал еще в университете — что надо занимать такую должность, чтобы ты мог делать в три раза больше, чем тебе положено по штатному расписанию.

Вот так и получилось, что через две недели я уже летел из Гатчины прямо на юг. Собственно говоря, Пушкиногорск уже давно не был самостоятельным заповедником (информаторий для одного заповедника — это, простите, непозволительная роскошь по нашим временам), а юго-западной территорией Единого Пушкинского музея. От взлетной площадки центральной территории — знаете, в Пушкине прямо за Александровским парком — до Святогорского ракетодрома было всего пятнадцать минут лету. Вздох по Эрмитажу и Большому залу Филармонии, который я позволил себе при отлете, был традиционен, но абсолютно лишен смысла: оказалось, что административно Пушкиногорск — такой же полноправный район Ленинграда, как Гатчина или Луга. В принципе, я мог даже не оставлять своей квартиры.

Наш центр должен был обслуживать все территории Единого музея, а сюда нас упекли просто потому, что и в Пушкине, и в Болдине мы смогли бы разместиться только под землей, что не очень-то уютно. Правда, площадью нас и здесь не побаловали — монтажная часть ушла-таки под землю, что несказанно обрадовало биотермистов, дрожавших при колебаниях температуры в одну сотую градуса. Мы немножко поторговались из-за названия — быть нашему информаторию Пушкиногорским, как заповедник, или Святогорским, как ракетодром. Остановились все-таки на первом.

Когда я прилетел, Басманов уже был там и с полной отдачей занимался абсолютно не своим делом — принимал оборудование. Мы почти не виделись, потому что я занимался тоже довольно

странным делом: отражал атаки восторженных и совершенно отрешенных от математики и биоэлектроники литературоведов, которые, видите ли, лучше меня знали, как надо «программировать» БЭСС. Между прочим, меня всегда поражало, почему буквально любой технический специалист, как правило, если не глубоко разбирается, то хотя бы любит и порядком осведомлен о каком-нибудь вопросе, к его профессиональным обязанностям ни малейшего отношения не имеющем, но занимающем его вечера, и праздники, и, может быть, даже сны. Когда-то это называли не совсем уважительным словом «хобби», переводимым на современный язык как «придурь». Впрочем, перевод — машинный. Я вот никогда не обольщался на собственный счет и не мнил себя ни чем иным, как тривиальным серым технарем — но все-таки своей вивальдиевской коллекцией я могу похвастаться, потому что в ней собрано абсолютно все, написанное «рыжим аббатом», — естественно, из дошедшего до наших дней. Я люблю точность, поймите меня правильно, и только поэтому всегда делаю столько оговорок. Но что — я! А Роман Шпак из группы биотермистов, занимающийся историей русских колоколов? А Леночка Пелипенко из лаборатории супервакуумистов, чья статья о рериховской «Змиевпе» была опубликована в еженедельнике Академии художеств? А сам Басманов?..

Так вот, почему-то ни один из знакомых мне филологов ни разу не удосужился заглянуть в самую примитивную брошюрку о принципах действия самообучающихся систем, хотя пишется такая литература вполне классическим стилем, ясным даже для шестиклассника-троечника, а приводимые там сведения, по-моему, захватывают не менее, чем самая интригующая повесть из рыцарских времен.

Меня иногда поднимал с постели вызов нашего межтерриториального фона, и какая-нибудь седовласая дама, еженощно изнывающая под бременем плоеного чепца, потому что последний придавал ей сходство с Прасковьей Александровной Осиповой, вдруг с ужасом сообщала мне, что я-де забыл вложить в «свою машину» одну из песен «Мармиона», с коей Александр Сергеевич, несомненно, был знаком, ибо отозваться изволил о пей: «Славно».

Я благодарил за напоминание от собственного имени и от имени «своей машины» и укладывался спать до следующего вызова.

Между тем любая, даже самая простенькая, самообучающаяся система отнюдь не требует того, чтобы в нее закладывали

какие-либо сведения. Ей задаются только исходные данные, както в нашем варианте: языки русский, французский, немецкий, латынь и современный, с грамматикой от XIX века до нашей, а также чисто механические правила соединения со всевозможными библиотеками, фонотеками, вычислительными центрами и информаториями. После исходных данных следует только задать тему и сидеть сложа руки, ожидая, когда ваша система сама соберет и уложит в своей биоструктурной памяти абсолютно все сведения, имеющиеся по заданной теме. Это я объясняю для филологов.

Иногда, правда, система требует «заграничную командировку», и вам приходится выбивать пятнадцатиминутную связь с Оксфордом или Кейптауном.

Конечно, «сидеть сложа руки» — термин скорее желательный, нежели действительный, потому что в период активного самообучения всегда обнаруживается масса всяких монтажных ляпов, неконтактность каналов передачи междугородной информации и пр. и пр. У нас вместо термина «активное» бытует выражение «лихорадочное», или даже «сессионное обучение», но не надо думать, что с выходом системы в состояние нулевой готовности она уже перестает что-либо усваивать, как студент в каникулы. Разумеется, поглощение информации будет продолжаться бесконечно, но это будут уже сущие крохи по сравнению с тем, что заглатывает хранилище биоструктурных блоков за несколько недель активного самообучения!

Заняты мы были довольно плотно, и первый по-настоящему свободный вечер выдался у нас только тогда, когда БЭСС доложила о своей готовности к ходовым испытаниям.

Надвигался понурый сентябрьский вечер с лоскутьями тумана, зависающего над барскими усадьбами и крестьянскими халупами, с квохтаньем кибернетических «домовых», зазывающих наседок с цыплятами в птичники, но не смеющих до наступления полной темноты показаться на улицу, — днем на территории заповедника никакие машины и механизмы не появлялись, и исключение для этой вековой традиции делалось только для пожарной команды. Я вышел из помещения Центра, взял на конюшне смирного буланого мерина, с самого начала моего пребывания здесь признавшего во мне хозяина, и неторопливо направился в Михайловское. Сторики льна, устойчиво раскорячившись, несли свою вахту слева и справа от дороги; расстояние между ними было удручающе одинаково — вероятно, точность достигала долей миллиметра, так что хотелось остановить своего одра,

слезть и в нарушение этой симметрии пнуть один из снопиков, чтобы он передвинулся или, еще лучше, живописно рассыпался, на великую досаду «домовых», вспахивающих и убирающих по ночам эти косые и пестрые лоскутья жнивья, озими и пара.

Я привязал буланого у кузницы, где тутошний художник, до того похожий на Кюхлю, что волей-неволей пришлось прозвать его Бехлей, некоммуникабельный пьяница и чудотворец, скупыми мерками серебряного звона отмеривал совершенство своего нового шедевра. Мешать ему было просто грешно, и я пошел к усадьбе, но там сквозь стеклянные, обрамленные изнутри плауном двери было видно, как в желтом дурманном свете неподдельных восковых свечей беззвучно роятся экскурсанты. Я снова свернул и двинулся куда-то вправо, безотчетно направляясь на непривычный в этом уголке несмолкающий гам.

Шумели директорские утки, с методичным упорством разводимые здесь, как я слышал, уже не один век — для оживления ландшафта; серовато-коричневые, воробьиной масти, нахальные создания, благородство происхождения которых подтверждалось белым воротничком на шее и паче того — самодовольной наглостью, с которой они требовали подачек от проходящих экскурсантов. В заповеднике было много живности; примерно век назад, когда все обслуживание территории было передано мелким вспомогательным роботам, сразу же окрещенным «домовыми», здесь произошла прямо-таки какая-то экологическая трагедия: все зверье и птицы либо перемерли, либо покинули заповедник, остались одни тучные, как во времена Мамаевых побоищ, вороны. Вот тогда-то и спасли положение тем, что часть животноводческих забот возложили на всех без исключения сотрудников заповедника. Всю черную работу по-прежнему выполняли роботы — люди же должны были просто, хотя бы по нескольку минут в день, «по-человечески общаться» со зверьем. Литсотрудники заповедника опекали пернатых — от жаворонков и серых цапель, давно уже приученных, до примитивных несушек; рогатый скот обихаживали работники питания, а нам, математикам и кибернетикам, достались лошади. Я ие возражал против такой внерабочей нагрузки — мой подопечный мерин по кличке Франсуа-Мари доставил мне немало приятных минут.

Итак, я двинулся на утиный гам, и обнаружил Басманова, который, как всегда, занимался не своим делом — кормил уток, подведомственных отнюдь не работникам информатория.

Я присел рядом на ступеньки горбатого мостика. Зеленоголовый селезень тут же телепатически установил, что от меня-то

ему ничего не перепадет, вылез на берег и недружелюбно тюкнул меня клювом в ботинок.

— Но-но,— цыкнул я, поджимая ноги,— пшел вон, экспонат!

Селезень плюхнулся обратно в воду, и весь выводок, оживляя ландшафт, поплыл на ночлег.

— Послушай, Кимыч,— проговорил вдруг Басманов,— а у тебя никогда не возникало еретического желания, чтобы все это принадлежало тебе одному?

— Директорские утки? — спросил я, являя весь наличный запас юмора.

— И утки тоже. А кроме того, и Михайловское, и Тригорское, и Петровское, и монастырь, и Центр...

— А как насчет двух-трех сотенок крепостных в придачу? — не выдержал я.

Басманов поднялся и, размахнувшись, швырнул кусок булки вслед уплывающему выводку. Утки дружно затрясли гузками и, презрев подачку, полезли на берег.

— Аделя говорит, что ее цапли на юг подались,— сказал он без всякой видимой связи с предыдущим.— Ты верхом?

Он мог бы не спрашивать — моего Франсуа-Мари ежедневно можно было видеть привязанным у кузницы.

— Ну езжай,— заключил он так, словно я появился здесь только для того, чтобы обсудить с ним проблему приобретения окрестных земель.

Мы прошли поредевшей аллеей, ширина которой, по-видимому, регламентировалась когда-то диаметром дамского кринолина. В кронах лип безнадежно путался туман, и тяжелые капли, рожденные им от прикосновения к уже мертвым и уже похолодевшим листьям, шлепались перед нами на землю. Мы подошли к коновязи, и Илья, отвязав моего мерина, придержал стремя. Буланый повернул морду и как-то вопросительно посмотрел на Илью.

— Езжай, ваше превосходительство, господин начальник сектора. А я уж как-нибудь в крестьянской избе заночую, хоть у Бехли.

Не нравился мне Басманов, и тот мне его не нравился. Не нравился не только сегодня, но и все последнее время.

— Давай не темнить, Илья. Чем ты недоволен?

Мой вопрос, казалось, услышан не был. Буланый тронулся мерным шагом, и Басманов пошел рядом, положив руку на седло. Впереди на дороге, спускающейся к Малепцу, самостоятельной громадой двигался воз сена — крошечного «домового» на нем в темноте было уже не различить.

— Сено везут,— с такими интонациями, словно это и был ответ на мой вопрос, проговорил Басманов, когда воз поравнялся с нами, и мы подались влево, к подножию трехвековых сосен.— С вечера до утра — одно сено. И так до скончания дней своих. А?

— Собираешься подаваться в другой Центр? — логически заключил я.— Уже надоело на одном месте?

Мне снова не ответили. Кажется, мы обоюдно и упорно не понимали друг друга. Между тем над туманом приподнялась луна, и впереди, на пригорке возле трех сосен, я увидел все ту же группу озябших экскурсантов. Я уже знал, что у здешних экскурсоводов высшим шиком считается привести свою группу на это место как можно позднее, потому что Александр Сергеевич «здесь проезжал при свете лунном».

До нас донесся звонкий девичий голос, читавший пушкинские строки с тем безудержным восторгом, с каким обычно декламируют стихи на пионерских сборах независимо от содержания и стихов, и сборов: «Здравствуй! племя! младое! незнакомое!»

Мы прослушали декламацию до конца, потом группа порскнула вниз с холма, и все окрест затихло.

— Около знакомых старых сосен поднялась, во время моего отсутствия, молодая сосновая семья, на которую досадно мне смотреть, как иногда досадно мне видеть молодых кавалергардов на балах, на которых уже не пляшу...

Если бы я не знал, что у стремени моего стоит Илья — я не узнал бы его голоса. Я даже не сразу вспомнил, что читает он отрывок из пушкинского письма. И еще я припомнил почему-то, что Дантес был кавалергардом.

— Между прочим, Кимыч,— вдруг снова без всякой связи с предыдущим спросил Басманов,— тебе кто-нибудь говорил, почему я улетел с Рисер-Ларсена?

Никто мне ничего не говорил, но расспрашивать было не в моих привычках, и я решил подождать, пока Илья мне все сам объяснит. Но он отпустил поводья и исчез в темноте так уверенно, словно был знаком с этими местами не первый год.

А на следующий день на испытаниях БЭСС он был тих и скромен, и отстукивал на клавишах вопросы высокой экзаменационной комиссии, и выуживал из финишной кассеты карточки с молниеносными ответами, с чисто служебным любопытством пробегая их взглядом,— но не более. Время от времени загонял в машину какую-нибудь незначительную коррективу — БЭСС глотала и неизменно зажигала табло: «Благодарю за дополнительную информацию».

Высокая комиссия запрашивала даты, цитаты, копии пушкинских автографов, выполненные на молекулярном уровне, разнообразный фактический материал, как-то: все сведения о ненадежном и неаккуратном книгопродавце г. Фарикове, или среднегодовая рождаемость в сельце Кистеневе, или формат и объем «Свода законов»; наконец, был затребован полный список всех памятников, скульптур, портретов и пр. и пр. великого поэта (разумеется, подлинников). БЭСС малость перегрелась, за четыре минуты выписала себе около полутора сотен заграничных командировок — половина месячного лимита,— но список закончила с тщанием и усердством превеликим.

Аттестат высокой комиссии был великолепен. Разумеется, емкость нашего информатория несоизмеримо превышала семьдесят томов изящно изданной «Пушкинской энциклопедии», да и удобство немалое: каждый сотрудник любой из наших территорий в течение каких-то секунд мог получить самые труднодоступные данные, не роясь ни в каких каталогах или архивах. Каналов связи у машины было столько, чтобы удовлетворить практически любое одновременное количество соединений с информаторием. Ну да все это вы можете узнать, заглянув в паспорт и описание нашей БЭСС.

Мне, как начальнику сектора, естественно, было отнюдь не безразлично то, что мое десятиэтажное детище не осрамилось ни на одном вопросе. Удручающим фактором была только басмановская физиономия, выражение которой было точь-в-точь как у Буратино, когда он позавтракал только одной луковкой.

— Сектор биологического обеспечения предлагает отметить день рождения нашей малышки,— я честно пытался наладить контакт.— А кстати, и крестины. И правда, куда ни глянь — у всех Рыжая БЭСС. Без вариантов. Биотермисты предлагают назвать новорожденную «Натали». Ты как?..

— Пошляки. Что «Рыжая», что «Натали» — один...— боюсь, что для завершения фразы он собирался воспользоваться выражением, входившим в пушкинский лексикон.— Сколько веков лапают имя прекрасной женщины, и все не стыдно. И ты туда же. А машина наша, между прочим, сегодня все утро возила сено. Воз за возом. Тупо, последовательно, результативно.

Если бы я способен был взрываться, я бы обязательно взорвался. Но от природы я весьма флегматичен.

— Дорогой мой,— сказал я,— сам напросился, сам и хлебай. Никто не тянул тебя в этот информаторий. Кстати, ты прекрасно знал, что его назначение — обеспечивать всех нуждающихся

точной, не обремененной досужими домыслами информацией. Что БЭСС и делает. С блеском, притом. Ты за этим пришел, ты это и получил.

— Но ведь это мозг, Кимыч, живой мозг! Миллионы блоков, сотни миллионов капилляров, на стенках которых десятки миллиардов активных клеток — этаких упитанных, здоровеньких, образцово выращенных нашими биотермистами клеток...

— Образцово выращенными бывают только породистые щенки...

— ...Породистых клеток, вполне с тобой согласен, которые в своей совокупности образуют систему, превосходящую мозг гения!

— Новорожденного гения.

— Ну, не совсем, старина. Он уже способен на примитивный анализ, на кое-какие робкие обобщения. Остановка теперь только за тренировкой, вернее — за тренерами, потому что гений, выросший на конюшне, будет всего-навсего превосходным конюхом, но даже не ветеринаром.

— Не стоит прыгать выше головы, Илья. От БЭСС никто не требует большего, чем выдачи информации в заданном объеме. И это только тебе, корифею мыслящих систем, кажется чем-то примитивным. Это колоссальная вспомогательная работа, облегчающая труд десятков тысяч исследователей.

— Почитай эту лекцию пионерам в здешней средней школе. Может быть, они от восхищения и не зададут тебе вопроса, с каких это пор «мыслящая система» и «автомат по выдаче дат и цитат» — одно и то же.

— Тебя послушать, так БЭСС должна писать исследовательские работы и монографии.

— Ну, на первых порах и этого достаточно.

— Нахал ты, Басманов. Не зря тебя с Рисер-Ларсена выперли.

Он повернулся ко мне и оглядел меня с таким высокомерием, с каким смотрел на Пьерро Буратино, уже знавший, что за полотном с нарисованным очагом скрывается-таки целый сказочный город.

— Каждый волен уйти оттуда, где он не получает по потребности, — заметил Илья.

— Тебя и здесь гложут неудовлетворенные потребности?

— Да хотелось бы самую малость самостоятельности. Ты ведь займешься обеспечением связи с в нетерриториальными заказчиками?

Он всегда знал наперед, чем я собираюсь заняться.

— Придется,— сказал я.— Заявки уже из Кракова, Брно, Чикаго, не говоря о том, что поднимется, когда в газетах появится репортаж о том, как мы тут перерезали красную ленточку.

— М-да, работа, конечно, творческая. А я себе приглядел крошечный такой самостоятельный участок: заявки, на которые БЭСС даст отказ.

Мне показалось, что он недостаточно хорошо представляет себе заурядность выбранного вопроса.

— Послушай, Басманов,— мне очень хотелось поговорить наконец начистоту,— вот ты выпрашиваешь «крошечный самостоятельный участочек» — эдакую синекуру, как тебе самому кажется, а ведь через пять дней ты будешь в сумерках слоняться по заповеднику и протяжно ныть, что тебе всучили работу, которую обычно поручают самой тупой практикантке, не способной на большее, чем складывать в коробку из-под грузинского чая карточки, гадливо выплюнутые машиной по случаю безграмотного составления или очевидной глупости вопроса. И что мне тогда прикажешь делать, как тебя, сироту, утешать?

— Так ты даешь мне этот участок?

Он разговаривал со мной совсем как в первый раз, когда я сидел на подоконнике у себя в Гатчине и еще никуда не собирался переходить.

— Не даю, а дарю. Можешь рассматривать его как свое хобби, то есть способ порезвиться в нерабочее время. Уж я-то знаю, что на приемке из ста вопросов отказа не было ни на один. Так что вот тебе мое последнее слово: с девяти до шестнадцати нольноль за тобой — внутритерриториальный канал связи, и с шестнадцати до девяти ты сам назначаешь дежурных. А в нерабочее время можешь коллекционировать отказы. У меня все люди на счету, мне самому завтра в Омск лететь.

— Ты бы еще туда в кибитке съездил. Междугородный фонто на что?

Нас с Басмановым послушать — ни за что не догадаешься, кто кому начальник. Беда с этими однокурсниками.

— В комплексной психологической проблеме «согласовывания и увязывания» имеется такой не учитываемый кибернетикой фактор, как коэффициент обаяния личного контакта. Понял?

— Понял,— мрачно ответствовал Басманов.— Прекрасно понял, какой такой физикой ты занимался в своей Гатчине. И просто счастлив, что в силу мизерности своего мэнээсовского чина не вынужден сам заниматься подобным дерьмом.

Он еще и так со мной разговаривал!

— Послушай, Басманов, — оборвал я его, — ты напрасно стараешься вывести меня из терпения. Моя флегматичность тебе известна, следовательно, намеренье твое трудно выполнимо. Может быть, тобою движет спортивный интерес? Тогда это свинство по отношению к нашей давнишней дружбе.

Я забыл, что Илья — ярко выраженный холерик, или, попросту говоря, немножко паяц. Он двинулся ко мне с протянутой рукой и пылающим челом юного Байрона (на которого он становился похож, когда поворачивался к собеседнику в фас).

— Друг мой, — провозгласил он патетически, — прости меня за то, что я усомнился в величии твоей души, и... одолжи мне твоего «домового».

— Зачем? — спросил я ошеломленно.

— Затем, что я сделаю из него первостатейного кибер-администратора, который вместо тебя будет шляться по всевозможным инстанциям, увязывать сроки, выбивать штатные единицы, клянчить резервы энергомощностей, отбрыкиваться от заграничных командировок...

— Стоп, Басманов. Техническое решение я уже предвижу: ты увеличишь грузоподъемность моего «домового» до десяти членов любой экспертной комиссии...

— ...И ничего подобного, мой непроницательный друг и начальник, я просто научу его садиться на пороге кабинета и плакать голубыми слезами сорок пятого калибра — во! — и приговаривать: «Я слабый, беззащитный робот...»

Все это было очень весело — вернее, это было бы весело, если бы мы с Басмановым были еще на первом курсе.

По всей вероятности, мы подумали об этом одновременно.

— Ну ладно, — прервал я неловкое молчание, — свой участок работы ты получил, безответные заявки тоже за тобой. Я вылетаю завтра в шесть, за меня остаешься ты. Все.

— Не все. (О, господи!) Твое разрешение на использование резервных блоков, на дополнительную энергию; комнатенку бы мне не худо — хотя бы ту, где размещаются дублирующие пульты. Ведь на вашей БЭСС практиканты пастись не собираются?

— Не собираются. Поэтому бери все, что тебе посчастливилось урвать, — сегодня я добрый. Смотри только не увлекись.

— Хм, Кимыч, а как это ты себе представляешь?

— Что — «это»?

— Ну... что я «увлекся», как ты изволил выразиться. А я и не представлял себе, как можно действительно увлечься глупыми вопросами, на которые противно отвечать даже машине.

Я честно пожал плечами.

— Ну вот и хорошо, — резюмировал Басманов. — Мы пришли к обоюдному пониманию.

Я посмотрел на него и подумал, что в следующую свою командировку оставлю вместо себя не его, а кого-нибудь другого, благо у меня в секторе четырнадцать человек, и если я ни о ком из них сейчас не распространяюсь, то это только потому, что не хочу заводить рассказ в сторону. А у меня кое-кто и поинтереснее Басманова имеется. В своем роде, конечно.

— Только я уж попрошу тебя, Басманов, — сказал я, решив на прощание не церемониться: в конце концов ведь и он мне каждый день препорядочно портил крови своим брюзжанием. — Попрошу я тебя: не очень хами со здешними филологами. То есть не очень явно их презирай, когда они начнут задавать те самые вопросы, на которые БЭСС не сочтет возможным отвечать.

— Моя бы воля, — медленно проговорил Басманов, — я бы на пистолетный выстрел не подпустил к информаторию никого, кто задает такие вопросы, на которые БЭСС тут же и отвечает.

— Не понял, — сказал я. — Ничего не понял.

— Чего ж тут не понять? Я уже говорил, что мы заставляем нашу БЭСС возить сено. А она должна по меньшей мере решать логические задачи.

— В Гатчине моя машина именно этим и занималась. Но то в Гатчине, сиречь в теплом болоте, где круг вопросов ограничивался физикой инэлементарных частиц. А чего ты хочешь здесь? Чтобы на вопрос о количестве крепостных душ в сельце Кистеневе БЭСС выдавала не только копии закладных этих самых душ за тридцать восемь тысяч ассигнациями, но еще и цитату о «рабстве диком без чувства, без закона», а?

— Хм, а ты, однако, проштудировал биографию Александра Сергеевича... Только вот машинную логику ты, прости меня, понимаешь как филолог. Ведь БЭСС — аналоговая система, она может принять и твою, и мою, и вообще любую наперед заданную логику, вплоть до логики Бенкендорфа. Ведь не надо же тебе объяснять, на что способна БЭСС?

— Не надо мне этого объяснять. Сам знаешь, что этим практически никто не пользуется, да и кому нужен, скажем, машинный вариант Ильи Басманова?

— Ну, старина, я тоже так думаю — что второй Басманов, да еще и стоимостью в несколько миллиардов, да еще жрущий ежечасно уймищу электроэнергии, действительно никому не нужен. Так что мы опять пришли к обоюдному согласию.

Продолжать разговор в подобном тоне у меня не было ни малейшего желания. Тем более что я так и не смог понять — какая муха его укусила?

В Омске же, согласовав и увязав все вопросы по сибирским филиалам нашей фирмы, я налетел вдруг на Аську Табаки.

— Хо! — сказала она зычным басом, слышным, наверное, на другой стороне Иртыша. — А я тебя после выпуска видела? Нет? Оплешивел.

Она, как и в нашу студенческую бытность, ходила без шапки, обходилась без церемоний и всегда безошибочно находила повод быть максимально бестактной.

— Ты где и с кем — жена не в счет?

Я сказал, что жены еще не предвидится, а работаю я в Пушкипогорском информатории и с нашего курса там один Басманов.

Аська вдруг заржала так, что буер, шедший по самой середине реки, вильнул и остановился, — вероятно, неумелый гонщик от растерянности потерял ветер.

— Один только Басманов, — повторила, перестав смеяться, Аська. — Всего-навсего Басманов. Да что же у вас делается в вашем несчастном информатории, когда там окопался сам Басманов?

— Работаем. Помаленьку.

— Сплошной цирк, да? А Илья — художественный руководитель?

— Дался тебе этот Илья. Он уж вот как опротивел мне своей унылой физиономией и вечным мелочным недовольством. Брюзжит, брюзжит...

— Врешь, — сказала Аська таким шепотом, от которого у меня заложило уши, словно прямо над головой прошел реактивный лайнер на четырех звуковых скоростях. — Что ты мне все врешь, Кимыч? Я же знаю Илюху не только по курсу, мы же с ним на Рисер-Ларсене были...

— Да? А подробности можно? Говорят, он там пришелся... э-э-э... несколько не ко двору и его поперли?

— Охота же тебе сплетни слушать, Кимыч! На Рисер-Ларсене не было все как надо, только немного веселее обычного. Из-за Басманова, разумеется. Только вот если об этом рассказывать, почему-то получается не смешно. Бывало у тебя так, Кимыч? Соберутся свои, университетские, дым стоит коромыслом целый вечер, ржание в пятнадцать лошадиных сил, а назавтра начнешь кому-нибудь об этом рассказывать — и не смешно...

— Ничего, — сказал я, — я же не для смеха спрашиваю. Мне интересно, что такое приключилось с Ильей. Уж очень о

какой-то замкнувшийся на себя. Весь в фантазиях. А БЭСС — чуть ли не в крепостной зависимости. Не удивлюсь, если он начнет подбивать ее на стихийный незапрограммированный бунт. Ну так что же?..

— Да ничего, если ты не был на Модихе — то есть на Земле Королевы Мод — и не послужил под началом Дуана Актона. Он каким-то чудом умудрился родиться не то на Южном, не то на Северном полюсе, и это было единственным неосторожным его поступком за всю жизнь. Как-то само собой считалось, что уж если человек родился на полюсе, то сам бог велел ему быть бессменным начальником полярной интернациональной базы геофизиков.

— Ну и что? — не утерпел я.— Возьми мой Центр — я своего начальника ни разу в жизни не видел, даже когда перестригали ленточку на торжественном открытии.

— Э, Кимыч, на Большой Земле все проще. А там подобрался народец — не просто физики, а какие-то флибустьеры от высокой науки. Так вот Актон умудрялся перед каждой экспедицией собственноручно проверить каждую пуговицу, каждый обогреватель, каждую кислородную маску... Перестраховщик чистейших континентальных кровей. И зануда. Вызовет какого-нибудь командира аварийного отряда и заведет: «Поймите меня правильно, я не собираюсь сковывать вашу инициативу, но жизнь, прожитая в Антарктике, научила меня...» Наши ребята выкатывались от него лиловыми. Не было сентенции, которую он не начал бы словами: «Поймите меня правильно», а каждый приказ по базе — «в целях обеспечения безопасности...»

— Что же тут смешного? Зато и людей у него, наверное, гробилось меньше, чем на любой другой базе.

— Зато тоска, Кимыч,— сгущенное молоко в банках кисло. Спас положение Басманов. Видишь ли, Актон не мог позволить себе оставить базу — ну как же без его циркуляров! — и, с другой стороны, он рвался проинспектировать каждую уходящую группу. Тогда Басманов предложил ему передавать управление базой на время своих отлучек БЭСС, с которой нетрудно поддерживать двухстороннюю связь. Актон со скрипом согласился. В виде благодарности он заел Илюху, что-де «его бездушная машина» не способна проявить его, актоновскую, заботу о людях. Илюха послушал-послушал, а потом плюнул и с досады задал БЭСС полностью проаналогизировать административную деятельность нашего начальника. Полностью — это значит со всеми эмоциональными оттенками.

— Бездельник, — проворчал я. — Энергию вам было некуда девать, а заодно и резервы биоструктурных блоков...

— Ну, вот и ты ворчать! Начальнический комплекс. А вдумайся — ведь в этом есть своя сермяжная правда. В обычных условиях, может быть, конкретная личность начальника и не играет заметной роли, но ведь это же была база на Рисер-Ларсене, там обстановочка почти фронтовая, как говорили наши предки. В такой ситуации надо четко представлять, что и от кого можно ожидать в определенной ситуации. Да нет, со всех сторон Басманов был прав — если бы БЭСС продолжала работать как рядовой вычислительный центр, нам все время пришлось бы переключаться с режима злостной перестраховки на полное отсутствие какого бы то ни было режима, и обратно. Нет, что ни говори, а иметь днем и ночью, в выходной и в будни, зимою и летом одного, пусть даже далеко не идеального, но привычного начальника базы — большое благо.

— М-да, — не мог не согласиться я с Аськой. — Наличие всевозможных «замов» приводит к моральной усталости сотрудников. В этом я убедился. Но все-таки не вижу я в этой истории ничего, достойного былого басмановского юмора.

Аська отвернулась от меня к реке и долго смотрела на ту сторону, где расположился «старый город», с его забавными многобашенными домишками, кривой главной уличкой и крошечной прозрачной коробочкой бывшего речного вокзала, переданного, как это было заметно, детской парусной школе. На льду неумело крутились два буера; наверху, на набережной, готовили к спуску еще один.

— В общем-то, это не смешно, — проговорила наконец Аська, — но когда система, начитавшись актоновских циркуляров, начала писать сама: «В целях обеспечения безопасности...», а по местному фону вещать начальническим голосом: «Поймите меня правильно», то... да я говорила тебе, что постороннему это будет не смешно!

— А вы сами долго развлекались подобным образом?

— Что значит «развлекались»? Насколько я слыхала, система и сейчас работает в квазиактоновском режиме. Всем удобно, Актон доволен, а смеяться надоело через три дня. Говорят, БЭСС даже пишет письма за Актона жене, на материк.

— Погоди, погоди. Если Актон был доволен, то почему же Басманов покинул базу?

— Вот взял и покинул. Несколько дней гоготал вместе со всеми над этим «поймите меня...», а потом без каких бы то ни

было объяснений подал заявление об уходе и улетел. То ли надоело, то ли противно стало, то ли еще какая мысль в голову пришла...

Я слушал Аську и думал, как же она переменилась: в университете за пять лет я не слышал в ее голосе ни одной минорной ноты. Но она, словно догадавшись о моих мыслях, тряхнула своими вздыбленными, как у дикобраза, космами и резко спросила:

— Женат?

— Это я-то? — несколько растерявшись от такой перемены темы, переспросил я.

— Ты-то, ты-то.

Тогда я понял, что я ее отнюдь не интересую, тем более что и разговор мы начали с моего семейного положения.

— У нас в отделе как-то подобрались все холостяки, — как можно тактичнее избавил я ее от следующего вопроса.

Она кивнула. Я ее спрашивать не стал. Все и так было ясно. Вся мужская половина нашего курса единогласно прощала Аське Табаки и нечесаные лохмы, и феноменальное, прямо-таки изощренное отсутствие вкуса в одежде, и первобытные, начисто лишенные женственности манеры, и даже то, что за все пять университетских лет она ни разу не вышла из роли «своего парня».

Но вот с ее голосом примириться никто не мог.

— Ну, мне пора, Кимыч,— сказала Аська почти тихо, и я понял, что значили все эти паузы в конце нашего разговора.

Она хотела сказать: «Возьми меня к себе в информаторий». И не сказала. Все мы остались прежними: Аська — молодчиной, я — тупым эгоистом, Басманов — вундеркиндом-первокурсником.

Я возвращался к себе, прямо скажем, не в лучшем расположении духа. От ракетодрома до информатория, если идти по тропинке, было не больше двадцати минут, и я двинулся опушкой рощи, хотя осень была настолько поздняя, что от очарования и пышности ее не осталось уже и следа. Из реденького, сотканного сизой моросью тумана вынырнула вдруг стройная девичья фигурка в супермодном дождевом костюме, светящемся от ударов капель. Она двигалась мне навстречу, резко выбрасывая вперед чересчур обтянутые брючками ноги, и если бы не эта скачущая походка, то невольно напрашивалось бы сравнение с тропической рыбой, рождающей фосфорические искры от соприкосновения с вечерним морем тумана. Мы поравнялись.

— А ведь вас-то я и встречаю! — вдруг пронзительным голосом закричала она, упирая мне в грудь остренький палец в светящейся перчатке.

Я вздрогнул и поскользнулся. Обретя равновесие, заглянул под капюшон.

Святые горы! Это была главный архитектор заповедника.

— Ваш робот!..— начала она слишком высоко и не выдержала — голос сорвался.

Я воспользовался паузой, чтобы сразу расставить точки над «i», и заявил, что никакого робота в личном пользовании не имею (его у меня действительно выпросил Басманов), а все пушкиногорские «домовые» с момента запуска информатория подчинены эксплуатационному отделу, с которого и спрос.

— Вы не увиливайте! Робот числится за вами, и он позволяет себе среди бела дня разгуливать по заповеднику!!!

Я робко заметил, что роботы не могут «позволять себе», а действуют в соответствии с заложенной в них программой.

— Тем хуже! Значит, позволяете себе вы! У нас существуют вековые неписаные традиции...

Я невольно склонил голову.

— ...И мы боремся за сохранение типичного ландшафта первой трети девятнадцатого века...

Что она борется — это я знал. Боролась она в основном с Бехлей. Обелисками ее побед были громадные ледниковые валуны, замшелые и наполовину ушедшие в землю, со стесанными боками и добротными, способными пережить века рельефными надписями, отмечающими границы имений, взаимное расположение деревень и прочие достопримечательности заповедника. Лично мне это нравилось гораздо больше, чем пластиковые таблички с несмываемыми надписями, как это делается во всех других парках и музеях. Но Бехля, творец большинства пушкиногорских каменных скрижалей, был неописуемо ленив. Когда все окрестные валуны были использованы, он воспрянул было духом, но счастье его было кратковременным. С Кольского полуострова на вертолетах доставили целую партию гранитных глыб, дабы посетители заповедника могли в любое время года узреть среди сугробов иль ветвей приличествующие сезону пушкинские звонкие строфы. Со сменой времени года ненужная надпись убиралась в подземный тайник, а очередной камень извлекался на поверхность. Даже с технической точки зрения задумка была отличная, и я никак не мог попять Бехлю, который, будучи даже среди пушкипогорцев выдающимся фанатиком, старался

от работы увильнуть, ссылаясь на ее нетворческий характер. Как будто мы только и творили! Работа есть работа. Вот у главного архитектора по ландшафту работа заключается еще и в том, чтобы гонять с глаз людских всяких наглеющих с каждым днем роботов.

— ...А он влез в пруд — вы знаете, прямо за усадьбой Прасковьи Александровны,— поймал карася и съел его у меня на глазах. Живьем!

Я вдруг спохватился, что уже добрых десять минут думаю о своем и совершенно не слушаю, что мне рассказывают о каком-то нашкодившем роботе. Но последние слова обладательницы фосфоресцирующего дождевика каким-то чудом дошли до моего сознания — у меня помимо воли встала перед глазами плоская рожа «домового», с телескопическими видеодатчиками и трепещущим рыбьим хвостиком, исчезающим в отверстии для заливки смазки.

Я едва не прыснул.

— Прошу меня извинить,— сказал я как можно серьезнее,— но роботы вообще не едят. Тем более — сырую рыбу. Боюсь, что ваши претензии ко мне... э-э-э... несколько необоснованны.

— Я вас не спрашиваю, едят роботы или нет! И попрошу вас не издеваться, молодой человек! Я вам в матери гожусь! — Я уже рассмотрел ее довольно пристально: несмотря на девичью стройность и светящиеся брючки, она годилась мне, по меньшей мере, в прабабушки.— Я вас спрашиваю, откуда он среди бела дня взял карася? Последний карась в этой области был выловлен ровно сто пятьдесят лет назад! Пруд находится под надзором санэпидсектора заповедника, и в нем нет даже личинки комара!

Мы ошеломленно посмотрели друг на друга.

— Да-да,— промямлил я.— Я разберусь. Сегодня же. Сейчас. Непременно. И обязательно. Даю вам слово...

Не надо объяснять, что при каждом своем извинении я делал маленький шажок назад. Наконец расстояние между нами увеличилось настолько, что я смог сделать неопределенный полукивок-полупоклон, развернуться и рысью помчаться в сторону информатория.

Ну если только Басманов хоть на йоту виновен во всей этой чертовщине!..

Но в центральном пультовом зале Ильи не наблюдалось. Дневная смена закончила свою работу, срочных заданий на ночь не поступило, и лишь два «домовых» копошились в углу, монтируя

запасной сферический экран. По-сверчиному стрекотал печатающий блок — БЭСС трудилась над какими-то неспешными выкладками. На ночь приходилась основная нагрузка по эксплуатационному сектору, по сейчас еще не вполне стемнело, и «домовые», послушные электронной воле системы, а также в силу неписаных традиций, еще к трудам праведным не приступали. Поэтому в дежурке я нашел только одного эксплуатационника, гоняющего шары на кабинетном биллиарде. Партнером его был однорукий и, вероятно, уже списанный на слом «домовой» — с исправным роботом состязаться было бы, по меньшей мере, бесполезно и унизительно для инженерского самолюбия.

— Басманова видел? — спросил я для порядка, хотя предчувствовал, что Илья уже болтается где-то в мокрых елышках или, еще хуже, на моем же собственном мерине топчет старательно распланированные полоски озимых.

— А загляни в учебную кабину, где дублирующие пульты, — посоветовали мне. — Оттуда второй день сизый дым идет.

Святые горы! Совсем из головы вон, что я сам отдал это помещение Илье. Ругая себя старым склеротиком, я двинулся вдоль полукруглого коридора, опоясывавшего центральный зал. Учебная комната, сооруженная только в силу подчинения типовому проекту, находилась в самом тупике.

Сизый дым просматривался еще в коридоре.

Я толкнул дверь, даже не задумавшись над тем, может ли там оказаться кто-либо, кроме Ильи. Но в комнате были пятеро, и они обернулись ко мне с тем терпеливо безучастным видом бесконечно вежливых людей, которые никогда не дают понять, что им помешали. У меня вдруг возникло подозрение, что я, фактический хозяин этого помещения и руководитель работ, в нем производящихся, вроде бы здесь и лишний.

Столик, за которым они сидели, был отнюдь не лабораторным, — кажется, в старину такие шаткие системы, на которые я не решился бы поставить и перегоревший вольтметр, назывались ломберными. На столике возвышалась бутылка «роз-де-масе», перед каждым из пятерых — тяжелый химический стакан из молибденового стекла.

Кроме Басманова за столом сидели двое, которых я немного знал, — это был здешний художник Бехля и литсотрудник заповедника, тридцатипятилетняя девица Аделя, опекунша серых цапель. Нежное, звонкое имя Адель совершенно не вязалось с ее нескладной костистой фигурой, длинным невыразительным лицом и постоянным лиловым свитером с растянутым

воротом; нелепое производное Аделя подходило больше. Эти двое, по отзывам Басманова, были истыми фанатиками Пушкинских Гор.

А еще за столом сидел «домовой» — и так же, как перед всеми, перед ним томился наполненный на одну треть стакан; когда он обернулся ко мне, я с удивлением отметил, что к его плечу пришпилен носовой платок.

Пьющий «домовой» и Аделя в своем невозможном свитере настолько сковали мое внимание, что я не успел как следует рассмотреть пятого, который сидел как раз напротив них и, казалось, плавал в табачном дыму, хотя в это время в комнате никто не курил. Облик его, не запечатлевшийся в моей памяти с фотографической точностью, оставил только впечатление необыкновенной мягкости и интеллигентности, да еще недоумение по поводу высоченного воротника, залезающего на щеки, и старомодных очков в небольшой металлической оправе, уголки которых смотрели чуть-чуть книзу.

Неловкая пауза затягивалась.

— Пришел, так садись, — первым нарушил молчание Басманов. — Только возьми себе стакан сам — вон там, на пульте.

Базара на рабочем месте я органически не терплю, и то, что творилось на горизонтальной панели пульта, возмутило меня не меньше, чем бутылка дешевого вина. На буквенной клавиатуре валялись какие-то огрызки перьев и алый томик Вольтера; в манипуляториых гнездах мирно пристроились порыжелые бильярдные шары; на доске грубой регулировки режима воинственно расположилась пара допотопных пистолетов, а экран одного из осциллографов заслоняла ни много ни мало, как всемирно известная брюлловская акварель, изображающая чуть косенькую российскую Венеру, вздымающую над пеной кружев свои обольстительные плечи.

Стакана здесь не было, зато отыскался тяжелый бокал мутноватого стекла. Пить из него я не стал бы. Между тем за столом передвигались, вероятно, освобождали мне место, потом Илья как-то растерянно пробормотал: «Барон...» Когда я повернулся к ним с подозрительным сосудом в руке, пятого уже не было, — видимо, он вышел. Стакан его остался нетронутым.

Я присел на углу, мне налили. Я слишком хорошо относился к Басманову, чтобы начать прямо при посторонних — и, главное, весьма милых людях — устраивать ему начальственную головомойку, справедливо полагая, что чуткие мои гости сами вскоре поймут, что нам с Ильей надо кое-что выяснить с глазу на глаз.

Но стаканы сдвинулись, беседа возобновилась с прежней живостью, словно мой приход и не прерывал ее течения. О чем говорили? Да о пустяках. Не в содержании суть. Здесь главным был тон всех троих; и даже не теплота, не тактичность, а какая-то бесконечная бережливость, гораздо большая, чем просто чуткость, отличала обращение их друг с другом.

Мне вдруг подумалось, что так говорить могут люди, приобщенные к великой и прекрасной тайне.

Некоторое время я молчал, ибо вопросы, время от времени обращаемые ко мне, были риторическими и требовали от меня не более кивка или улыбки. Говорили о собаках. Басманов хвалил волкодавов, Бехля утверждал, что главное в собаке — это наличие чувства юмора, а этим могут похвастаться только терьеры, поэтому он предлагает скотча или бедлингтона. Предлагалось это, видимо, Адели, потому что она морщила нос и качала головой. В конце концов я тоже решил высказать свое мнение и заявил, что уж если заводить пса, то только сенбернара, а то и двух, как Соболевский.

Аделя грустно улыбнулась, Басманов тоскливо повел глазами вбок, словно я ляпнул какую-то бестактность, которую он от меня и ожидал услышать. Что же касается Бехли, то он не заметил моей реплики с великодушием столь безграничным, что оно невольно передалось всем, не исключая меня самого,— я простил себе свою оплошность, даже не поняв, в чем ее суть.

Я вдруг почувствовал себя приобщенным к их взаимной чуткости и доброжелательности; никакого переходного момента в этом не было — я просто разом оказался с ними, и даже точнее — одним из них. Из моей памяти мгновенно улетучилась и тропинка, влажным мостиком перекинутая от ракетодрома куда-то в непроглядный туман, и светящаяся ведьма, и гнусные поклепы, возводимые на не подчиненного мне «домового» по поводу съеденного им мифического карася. Беседа за нашим столом вернулась к песьим достоинствам, и была она тепла и покойна, словно шерсть спящей борзой. Образ этот возник у меня изнутри, вылепленный подсознанием, опережающим слух; когда же я встряхнулся и прислушался, то оказалось, что речь идет именно о борзых.

— ...И не русскую — чистых русских уже к началу двадцатого века не осталось, все с малой примесью горских да хортых. И уж никак не хортую — они выродились в левреток. И не английскую — псовина коротка, да и голова плосковата. Брудастые злы и кровью нечисты. Крымачи больно малы и глаз желтоват,

слюги же, напротив, костью широки непомерно... Нет, уж ежели борзую брать, то только туркменскую, красно-половую с мазуриною — против нее никто другой статью не выйдет. Уши под буркою, щипец суховат и приятен невыразимо, псовина атласистая...

Я слушал этот упоенный речитатив, понимая далеко не каждое слово, но наперед соглашаясь со всем, ибо уже видел изящную ласковую собаку, и не обещанную «красно-половую с мазуриною», а самую баналыную, белую с рыжими подпалинами. И тонкую морду ее на Аделиных коленях. Это была единственная собака, действительно подходившая для Адели, для ее удлиненного, невыразительного лица, для ее суховатого тела, теряющего былую девичью гибкость, ее неприкаянных крупных рук, прямых неярких волос. Но, как ни странно, природная красота созданного моим воображением животного не подчеркивала некрасивости сидящей передо мной женщины, напротив — она заставляла жадно и необидно вглядываться в то, что было на самом деле и что стремительно теряло свое значение, ибо главным в этой женщине было нечто затаенное, вовсе не ушедшее вместе с юностью и отнюдь не желающее раскрываться для первого встречного.

Я клял себя за назойливость своего взгляда, но ничего поделать с собой не мог, потому что эта реальная, действительно существующая Аделя вместе с невидимой ни для кого, кроме меня, сказочной длинноволосой псиной возле ног, была для меня таким же откровением свыше, таким же озарением, как, наверное, для Леонардо — тот момент, когда он впервые представил себе королевского горностая на руках у плутоватой, узколицей соблазнительницы миланского герцога и понял, что перед ним уже не просто Цецилия Галлерани, а — Дама с горностаем.

Но я-то был не Леонардо, которого подобные видения посещали, вероятно, с той же непременной периодичностью, как святого Антония — искушавшая его нечисть! Я-то был простым смертным, с которым только раз в жизни могло случиться ТАКОЕ, а что это — ТАКОЕ, я и сам толком объяснить не мог. Скорее всего, это было оцепенение, когда бросаешь цветок папоротника и земля от его касания становится прозрачной, и в июльской, иваиокупальской ее черноте видишь несметные клады, подвластные колдовскому этому цветку... «Цветы последние милей роскошных первенцев полей. Они унылые мечтанья...»

— ...Ей и горская вряд ли уступит, разве что правило будет потоньше...

«...Живее пробуждают в нас. Так иногда разлуки час живее сладкого свиданья...»

— ...А ежели персидскую, то черно-чубарую или бурматую...

Святые горы! Только сейчас я вдруг понял, что говорит это не Илья и не Бехля, а «домовой», который и звуковоспроизводящей системы-то вообще лишен.

И тут я взбесился. Вместо того чтобы наводить порядок во вверенном мне секторе, я сижу в центре этого бедлама над сомнительной чистоты посудиной с красным сухим вином, которого я терпеть не могу, да еще пялю глаза на несуществующую собаку, да еще, что особенно унизительно, как первокурсник, бормочу себе под нос хрестоматийные стихи...

— Почему на пульте хлам? — заорал я, взвиваясь. — И кому это настолько нечего делать на работе, что он вмонтировал в мелкого манипуляторного робота целую разговорную систему? И с каких это пор подобные роботы начали пользоваться носовыми платками? И вообще, по какому случаю...

Я чуть было не брякнул: весь этот кавардак. Остановился я вовремя. То самое стороннее зрение, посредством которого я весь этот вечер наблюдал за самим собою, позволяло мне классифицировать собственные поступки, и я вдруг понял, что весь этот взрыв был не чем иным, как паническим всплеском инстинкта самосохранения, ибо я хотел мирной жизни, спокойной работы и никаких душевных флюктуаций. Хватит с меня и одного долгосрочного гатчинского романа, о коем я не упомянул ни разу, ибо, во-первых, он к данному рассказу прямого отношения не имеет, разве что объясняет мое холостяцкое состояние, а во-вторых, я весьма успешно применил к нему правило Герострата и систематически не вспоминаю о нем каждую неделю.

И вот теперь — эта непрошеная Аделя! Я давно и прекрасно знал, что есть вещи, на которые нельзя смотреть слишком пристально, потому что от долгого взгляда в них начинают открываться бесчисленные «сезамы» — один за другим, как вложенные друг в друга деревянные матрешки; но откуда же мне, унылому эмпирику, было знать, что та нежная, спокойная покорность перед надвигающейся осенью, удивительно присущая именно русским женщинам, и есть то самое, от чего меня, береженого, бог не убережет...

Я хотел еще добавить про беглых роботов, которые посередь бела дня жрут несуществующих карасей в сыром виде, но никому не видимая белая собака подошла ко мне и положила лапы на плечи. Сложное чувство стыда и бесполезности сопротивления захлестнуло меня, но тут всемогущая техника пришла ко мне на помощь в лице вышеупомянутого «домового».

— «Завсегда, ваше благородие, понапрасну лаяться изволите», — процитировал он трубным гласом. — Том шестой, страница семнадцатая, шестая строка сверху. Издание последнее, полное.

Басманов брякнулся головой об стол. Аделя с Бехлей затряслись от хохота бесшумно и тактично.

— Пошел к чертям, — сказал я, невольно копируя царя Соломона в интерпретации Саши Черного. — И чтоб я твоей жестяной рожи больше не видел ни днем, ни в любое другое время суток.

«Домовой» солидно меня выслушал и не рванулся в дверь, как следовало бы, а подошел к пульту и, заслонив его от меня, защелкал какими-то переключателями на его панели и одновременно — на собственном брюшке. Видно было, что за время моего отсутствия Басманов изрядно прибавил ему электронной самостоятельности. Затем на пороге уже он отвесил галантный поклон (отнюдь не в мою сторону), изрек: «Приступаю к выполнению второй части программы, всегда к вашим услугам», — и, чмокая присосками, исчез в коридоре.

Наши гости, вряд ли догадываясь, что это на меня нашло, поспешили откланяться и последовать за ним.

— Свинья, — убежденно проговорил Басманов, когда мы остались вдвоем. — Аделя, конечно, старая дева и собирается заводить себе псину именно из тех соображений, что и Соболевский, но зачем же было говорить об этом вслух?

Ну что я мог возразить? Свинья и есть. И робота прогнал, они теперь с Бехлей бредут по темной дороге — посветить некому. Лошадей Аделя боялась, я знал.

— Чей «домовой»? — спросил я. Иметь в собственном домашнем пользовании таких роботов было привилегией сотрудников заповедника, живших в крестьянских избах и ведущих натуральное хозяйство в целях сохранения деревенского колорита.

— Бехлин был «домовой», — ответствовал Илья угрюмо. — Мне это было во как необходимо — наша БЭСС нюхается только с библиотеками и архивами. Что такое сосновая ветка, она понятия не имеет. У нее нет ни глаз, ни носа, ни пальцев, она не в состоянии...

— Влезть в пруд по колено и руками поймать карася...

— Вот именно. Так что виденный тобою робот — уже не просто «домовой», а комплекс выносных рецепторов системы, управляемый непосредственно ее мозгом. Между прочим, все это не идет вразрез с теми полномочиями, которые я получил от тебя перед твоим отъездом, и твое вмешательство...

Ага, дорвался до самостоятельности, Буратино несчастный, и сразу начал разговаривать со мной так, словно перед ним — мальчишка Пьерро. Не надо было соглашаться на младшего научного, — при своем опыте мог спокойно претендовать на начальника сектора. И дали бы...

— Что-то слишком бурную деятельность развивает твой участок на пустом месте. Ведь за эти несколько дней вряд ли появился хотя бы один вопрос, на который БЭСС не смогла бы ответить.

— Представь себе, именно такой вопрос и появился. По этому поводу мы здесь и беседовали.

Они тут беседовали!

— И кто же из местных пушкинистов был настолько мудр?..

— Одна девочка лет эдак десяти. Она спросила экскурсовода: а почему Александр Сергеевич не завел себе собаку, если ему здесь было так одиноко?

Ну, в десять лет такие вопросы простительны. Почему у Пушкина не было собаки. Почему у Земли нет естественных спутников, кроме Луны. И прочее. Но зачем же некорректно поставленный вопрос передавать машине?

— Видишь ли, Нике захотелось узнать мнение машины на этот счет, и она прибежала ко мне. Я ввел вопрос по общему каналу, но БЭСС отвечать отказалась.

— Естественно, — сказал я. — И как же ты развлекался дальше?

— Дальше — БЭСС, уже по блокам моего участка, второй день собирает материалы о всех породистых и беспородных собаках первой трети девятнадцатого века. Время от времени она выдает мне свои промежуточные заключения, я их корректирую и ставлю дальнейшие наводящие вопросы. Учу ее последовательно мыслить, как я тебе и обещал.

— И каковы же были эти промежуточные выводы?

— Ты знаешь, я предпочел бы доложить тебе сразу об окончательных результатах. Когда они будут получены, разумеется.

«Доложить». Буратино спрятал золотые монетки в рот и явно напрашивался на то, чтобы его подвесили вверх ногами.

— Вот что, Басманов, на правах твоего начальника я ставлю тебя в известность, что терпеть все это...

— Если под «всем этим» ты подразумеваешь хлам на пульте, — бесцеремонно перебил он меня, — то спешу тебя заверить, что это не краденое, а молекулярно-идентичные копии. Выполнены по заказу БЭСС — не моему же, в самом деле. Карась? Кара-

ся и вовсе не было, — всего лишь объемное изображение на взвешенном коллоиде, старый театральный прием. «Домовой», разумеется, был, но зачем ему понадобилась эта инсценировка, понятия не имею. Ведь он — всего-навсего выносная часть БЭСС, а у нее на моем участке продолжается активное самообучение, сам понимаешь, что проконтролировать ее в такой период практически невозможно — слишком велик объем поглощаемой информации. Бабка эта в светящемся балахоне? Советую относиться к ней с большим уважением, — как-никак, специалист с мировым именем. Тут половина деревьев ее руками посажена после урагана девяносто шестого года. По-своему, она тоже фанатик. Больше вопросов у любимого начальства нет? Я могу продолжать работу на вверенном мне участке?

— Можешь продолжать, а можешь и не продолжать, — ощущение причастности к какой-то общей тайне давным-давно рассеялось, и осталось только традиционное смутное беспокойство, словно чего-то главного я так и не понял. — Можешь и не продолжать, потому что одним рейсом со мной прилетела Ника.

Я давно уже заметил, что у натур тонко чувствующих и разносторонне одаренных, как правило, имеется некоторый сектор их бытия, в пределах которого они до неправдоподобия равнодушны и неразборчивы.

Такой областью безразличия были в жизни Басманова женщины. Не то чтобы он вообще без них обходился, нет, — в непосредственной близости от него постоянно просматривалась какая-нибудь юбка. Но упаси господи, чтобы он потратил хоть малейшее усилие на завоевание даже самого достойного женского сердца. Единственным проявлением внимания к женщине у Басманова было то, что к ней он обращал свой байроновский фас, оставляя всему прочему девичьему сонму буратинский профиль.

В данный момент тем геометрическим местом точек, с которых Илья смотрелся в наилучшем своем ракурсе, и была упомянутая мною Ника, упоительная белокурая растрепа, на первый взгляд загадочным образом сохранившая свои восемнадцать лет, несмотря на двукратное замужество, второй раз весьма даже знойное, ибо оно перенесло ее на несколько лет в труднопроизносимый город Тируванантапурам, откуда она вернулась этим летом, чтобы иметь несчастье увлечься Ильей Басмановым. Всю эту осень она демонстрировала ему свою неприступность с напором шекспировской Беатриче, так что со стороны мне было отчетливо видно, что Басманов обречен.

Поэтому я сказал ему про Нику и ни словом не обмолвился про Аську Табаки.

И тут — то ли потому, что про двух женщин я уже подумал и для соблюдения триединства требовалась третья, то ли по какой другой причине, — но я вдруг представил себе Аделю, тихо бредущую по темной дороге к себе в Савкино, и бросился седлать своего мерина, и где-то на полдороге догнал ее. Верный «домовой» семенил рядом, и светлый латунный блик от его фонарика скользил по дороге, словно подталкиваемый кончиками намокших Аделиных туфель. Я тихо шел следом, и вот уже кроме собаки, нервно переступающей высокими, напряженно подрагивающими лапами, мне еще чудилось старинное, шуршащее не намокающим в тумане атласом, платье Жозефины, подхваченное под самой грудью, — античное безжалостное платье, ничуть не умаляющее некрасивости Адели, но непостижимо и единственно с нею сочетающееся. Я брел по ночной дороге, с натугой постигая простейшую истину, что гармония способна обратить неприметное в прекрасное, минуя степень красивого. В моей голове набухало еще несколько открытий, равных первому по своей свежести и оригинальности, но в этот момент я оступился, и «домовой», оглянувшись и узнав меня, порскнул в кусты и был таков.

Аделя, тоже догадавшись, кто ее преследует, тихонько ждала в темноте, пока я приближусь, и в этой тихой покорности я безошибочно угадал тактичное нежелание дать мне почувствовать, что она мне не рада.

Чтобы спасти положение, нужно было немедленно начать разговор, легкий, непринужденный разговор, но тот привычный «иижеперит», на котором мы все изъяснялись в лабораториях, был неприемлем сейчас, когда передо мной во влажной темноте чуть проступал силуэт высокой женщины в атласном платье, подхваченном под самой грудью расшитым поясом... Я открывал и закрывал рот в беззвучных потугах произнести хоть что-нибудь, за что меня тут же не попросили бы идти своей дорогой. И благословлял осеннюю темноту за то, что она скрывала это позорище.

Но легкая рука протянулась из этой темноты, и голос велел:

— Верните его. Мы не найдем дороги...

Я кликнул «домового», но тот не отозвался. Умница. Раз получил приказ не являться на глаза, — значит, знай свое место. А может быть, он со своими причудами уже находился где-нибудь за тридевять земель. Я невольно вспомнил загадочное происшествие на Тригорских прудах и сделал это весьма кстати, потому

что Аделя сразу откликнулась, оживилась, и беседа завязалась сама собой. Аделя говорила с какой-то пугливой бережливостью, как я уже подметил, свойственной всем истинным здешним «фанатикам», — лишь бы не допустить неоправданной категоричности, лишь бы не стать в позу «потомка-судии», лишь бы не показаться предвзято мыслящей всезнайкой. Говорила она как-то полувопросительно, прислушиваясь к себе и словно проверяя себя на каждом слове, и голос ее был тих, словно за придорожными кустами могли притаиться злостные провинциальные Пустяковы, Фляновы и Харликовы. «Да, на Тригорских прудах произошло нечто удивительное, но не потому, что "домовой" съел несуществовавшего карася, а потому, что так, по некоторым дошедшим до нас сведениям, однажды было...» — «Однажды? Давно ли?» — «Уже спустя несколько десятилетий после его смерти. Помещик тригорский...» — «Помещица?..» — «Нет, нет, уже сын ее, Алексей, опустившийся, дошедший до маразма...» — «В деревне, счастлив и рогат, носил он стеганый халат...» — «Если бы только носил халат! Современники вспоминают, что он ввел у себя в имении право "первой ночи" — средневековщина...» — «Психическое заболевание?» — «Мы имеем основания так полагать — ловить в пруду карасей и с хрустом пожирать их живьем...» — «И это — прототип Ленского!» — «Ну разве можно так безапелляционно! Только собеседник в деревенском одиночестве, но отнюдь не единомышленник; только одна из крупиц, составивших образ юноши поэта; только товарищ по веселым вечерам, проведенным в Тригорском, и почевкам в деревянной баньке, куда запирала их обоих предусмотрительная Прасковья Александровна, — но не тот, кого поэт назвал бы другом...» — «Да, о друге — вы помните забавный вопрос девочки, на который не ответила даже БЭСС — о собаке?» — «А разве БЭСС не ответила?» — «Пока мне ничего не докладывали». — «Впрочем, я точно не знаю, ваша машина так много спорила с Басмановым...» — «Спорила?» — «Ну, я не знаю, Илья только пересказывал, я помню дословно только последний ответ вашей машины...» — «Можно полюбопытствовать?» — «Да, конечно, конечно. Она ответила так: "Крепостных мне довольно. Друг надобен"».

Я ошеломленно замолчал. Одно-единственное слово, употребленное моей БЭСС, повергло меня в полнейшее смятение. Это уже был не «домовой» с рыбкой во рту! Это было... Это было черт знает что, и определений этому я не находил. В свое время всякие штучки вроде поручения писать машинам стишки

для своих девушек было квалифицировано как «машинное хулиганство». Как можно назвать действия Басманова? Во всяком случае, неоправданная загрузка машины психологическим аналогизированием была налицо. Я вспомнил рассказ Аськи Табаки, которой всегда доставался от Басманова только его профиль, и окончательно уверился в том, что, не докладывая мне о тонкостях своего эксперимента, Илья придает мышлению машины черты, специфические здешним «фанатикам», — склонность к мучительным сомнениям и бесконечным поискам, чуткую бережливость к фактам, боязнь категорических суждений и догм... Все это, несомненно, неоправданный перерасход машинного времени и государственной энергии, и это стоит прекратить; но все-таки — все-таки как объяснить даже при том, что теперь стало мне ясно, употребление машиной этого коротенького словечка «мне»?..

Мы не спеша двигались по темной дороге к Савкину, едва обозначенному слева пепельным туманом, подсвеченным снизу, и даже в этой непроглядности явственно чувствовалось, что осень уже миновала пору своего буйного мятежа, когда природа тщится вернуть себе полные и звучные краски лета; вместе со способностью сопротивляться она утратила все, даже прелый запах полегшей травы, и поля были безмолвны и не ощутимы для человеческого зрения, слуха и обоняния.

Так мы добрались до Савкина и вдоль замшелого первобытного забора спустились к реке. Иногда мне казалось, что в черной громаде еще не облетевших кустов, забивших все савкинские палисадники, слышался шорох и металлическое лязганье. Я подозревал, что это сторожит Аделю ее верный «домовой», но сколько я ни вглядывался в темноту, я ничего различить не мог. Мой приказ выполнялся свято. Я и забыл о нем, и не вспоминал о нем ни на следующий день, ни после, потому что думал совсем о другом, и работы было по горло, и командировка за командировкой, а о пропавшем «домовом» мне не напомнил ни Басманов, ни тем более Аделя, а сам я даже не обратил внимания на небольшие счета за энергию, регулярно поступавшие на мой сектор то из Пятигорска, то из Архангельского, то из Бахчисарая, и так продолжалось до тех пор, пока между этими счетами мне не попалось письмо, официально направленное Илье Басманову.

Письмо валялось распечатанным, кроме того, Илью ошибочно величали начальником сектора программирования; я засомневался, не мне ли оно все-таки предназначено, и взял на себя смелость его прочитать. В письме сообщалось, что в Кишиневе,

вокруг так называемого дома грека Кацики, недавно скрупулезно реконструированного по случаю того, что в его пропахших терпким вином подвалах в начале девятнадцатого века активно функционировала небезызвестная масонская ложа «Овидий-25», околачивается безработный на вид робот с носовым платком на плече, напевая весьма приятным баритоном что-то вроде «ардемэ, фри-ше-мэ», что в переводе на современный русский язык должно означать «режь меня, жги меня». Судя по номерному знаку, «домовой» приписан к механическому парку южной территории Пушкиногорского заповедника, числится за товарищем Басмановым, коего и просят разобраться в нерациональном использовании вверенного ему робота.

Я, естественно, спросил товарища Басманова, что это за очередная оказия со сбежавшим «домовым»; Илья пожал плечами и ответил, что робот по-прежнему находится на постоянной прямой связи с БЭСС, которая аккредитовала его на все энергостанции городов и населенных пунктов, в которых когда-либо побывал и о которых упоминал Александр Сергеевич. Поводов для беспокойства, следовательно, не было, так как БЭСС управлялась не с одной сотней автоматов и роботов, руководствуясь при этом своим главнейшим принципом — не принести никакого, даже косвенного, вреда человеку. Правда, «домовой» довел почти до истерического припадка здешнего архитектора по ландшафту, но ведь таковое состояние, как могла наблюдать БЭСС, не было для архитектора чем-то, как говорят программисты, экстремальным.

Между тем в будничной работе проходили месяцы, и время от времени до меня долетали слухи об очередных экстравагантных выходках нашего механического сотрудника. Так, Днепропетровский отдел здравоохранения запросил, в каких целях нашему роботу понадобилось проинспектировать все больницы города и поднять все сохранившиеся истории болезней простудного характера, когда заболевание явилось следствием купанья в Днепре. Такая ревизия переполошила весь днепропетровский медицинский персонал, потому что добрые полста лет от простуды лечились приемом одной-двух таблеток полипанацида, а о том, чтобы купанье, даже зимой, могло довести человека до больницы, врачи знали разве что из истории медицины. Переполох улегся только тогда, когда выяснили, что робот-ревизор приписан не к министерству здравоохранения, а к нашему парку автоматов-антропоидов. Но днепропетровцы успокоились рано: в ближайшее воскресенье среди бела дня гуляющая по набережной толпа обратила внимание на необыкновенную пару пловцов,

пересекающую Днепр и направляющуюся к островку. Как рассмотрели зрители, одним из них был робот для бытовых услуг, другой — человек лет двадцати, одетый в лохмотья. Пловцы были скованы отчетливо видимой с берега цепью.

Спасательный глиссер сорвался с места и помчался к плывущим, но они уже достигли островка и, пошатываясь, выбирались на сушу. В последний момент, перед тем как катер заслонил от зрителей необыкновенных пловцов, человек в лохмотьях схватил камень и, размахнувшись, швырнул его в робота-спасателя, изготовившегося на носу глиссера.

Зрители дружно ахнули: многие потом утверждали, что в воду сорвался не робот, а человек в какой-то старинной военной форме и без сапог.

На смену канувшему в воду собрату из трюма выскочили трое запасных киберспасателей, поднялась суета. С берега можно было догадаться, что кого-то втаскивают на борт. Наконец суденышко отвалило от островка, по-прежнему пустынного; сделавшие свое дело киберы улеглись вдоль бортов в специальные гнезда, и тогда с берега стало видно, что на борту только один пассажир, да и тот — не человек, а «домовой» с каким-то белым опознавательным знаком у плеча, смахивающим на обыкновенный носовой платок. Киберов, естественно, запросили, где человек, в ответ с катера доложили, что никакого человека в поврежденной одежде, равно как и металлических цепей в пространстве, ограниченном двумя километрами вверх и вниз по течению от места происшествия, не имеется и НЕ ИМЕЛОСЬ. Спрашивать их о том, как квалифицировать столь массовый обман зрения, было бесполезно. Единственное, что они делали безукоризненно, — это доставали любое живое (или уже не вполне живое) существо с любой глубины. Ну и принимали все возможные меры по реанимации, буде таковая требовалась до подхода не столь быстроходного катера с медицинским персоналом. Но живого существа в данном случае не оказалось — тут уж киберы ошибиться не могли; извлеченный же из воды «домовой» едва приблизился к берегу, поставил дымовую завесу из коллоидальной взвеси, под прикрытием которой исчез бесследно, оставив зрителей недоумевать по поводу своих полномочий и степеней свободы.

Объявился же он в Гурзуфе на береговой территории дельфинариума. Девушка-дельфинолог, дежурившая на пирсе, вдруг обнаружила, что по заповедным водам акватории на всех парусах движется изящный парусник. Хорошо зная Айвазовского, она отметила, что нарушитель имеет определенное сходство с воен-

ным бригом «Меркурий». И тут она заметила, что за ней самой тоже наблюдают, и не кто иной, как нахального вида «домовой» с носовым платком на плече. Робот явно не принадлежал к парку дельфинариума, так как последний обслуживался только неантропоидными и киберамфибиями. Рассмотрев второго нарушителя, девушка растерянно оборотилась к морю, не зная, на кого первого бежать жаловаться, но парусник исчез. Растаял. Любопытно, что запрошенные позднее дельфины дружно показали, что никакой корабль в то утро по акватории не проходил.

Робот тоже исчез, — правда, на сей раз не оставив после себя тумана.

Это — всего лишь некоторые эпизоды, экстравагантные, но безобидные, из похождений нашего «домового», похождений, способных в совокупности составить целую «Одиссею». И для когонибудь другого они не представляют никакого интереса — мало ли номеров выкидывают роботы, получившие излишнюю свободу! Но я, оглядываясь назад и пытаясь понять, как же получилось, что из флегматичного математика я превратился в самого отпетого фанатика, — я теперь вижу, что именно эти шаловливые проделки мало-помалу приучили меня к состоянию необычности всего того, что происходит вокруг меня, — и почти что с моего разрешения; и я сам стал допускать то, что в милой моей болотной Гатчине я расценил бы как эксперимент, по меньшей мере, некорректный по отношению к самой БЭСС. Благодаря откровенности Аськи я догадался, что Басманов прививает машине способность мыслить с чуткой требовательностью и нетерпимостью к скороспелым категорическим выводам, и смотрел иа выходки «домового» — сиречь самой БЭСС — сквозь пальцы. Ведь в том, что теперь машине было мало одних печатных или рукописных сведений, а надо было еще что-то понюхать, в руках подержать и на вкус попробовать, — в этом было что-то и от Адели.

А еще я не приставал к Басманову и потому, что однажды уже раз «купился» на объемное изображение милого барона Дельвига и второй раз сесть в лужу по какому-нибудь аналогичному поводу не желал. Официально мне Басманов ничего по своему сектору работ не докладывал, а на простую дружескую откровенность с его стороны я уже не рассчитывал — дружбы с Ильей у меня так и не получилось, — видимо, мешало что-то большее, чем различие между экспериментальным и теоретическим складом ума. Доброжелательным по отношению ко мне он был только в компании «фанатиков», но как только

мы оставались с глазу на глаз, безразлично, на работе или вне ее он вел себя так, словно это я пинками загнал его в этот информаторий, да еще заставил сверхурочно разбираться с дурацкими вопросами, на которые БЭСС не изволит отвечать.

Поэтому я искренне удивился, когда в один из первых весенних дней он сам, и притом несколько смущенно, попросил заглянуть к нему в «свинюшник».

Свинюшник был еще тот. К бильярдным шарам, акварелям и пистолетам прибавилось невообразимое количество старья: облезлые книжки, баночки из-под помады, ощипанные перья, тарелки с кобальтовыми китайскими узорами, ручные кандалы, и главное — пропасть портретов, из которых, понатужившись, я смог узнать не больше трети.

Но вот чему я совершенно не придал значения — так это тому, что за блоками дополнительных стабилизаторов я приметил вжавшегося в угол злополучного «домового» с коробкой портативного магнитофона на поясе. Заметив меня, он было дернулся, но вдруг застыл на месте, словно контролирующая его действия БЭСС на время отключила его питание. Я, кажется, не снимал с него запрета показываться мне на глаза, но почему-то меня не поразило его пренебрежение к моему приказу. Привык к разным его штучкам. А ведь кто, как не я, должен был помнить, что роботы нарушают приказ человека только в экстремальных случаях — почти всегда тогда, когда ЧЕЛОВЕКУ ГРОЗИТ ОПАСНОСТЬ.

Да еще отвлекал меня какой-то странный, интригующий вид Басманова. У него прямо-таки на лице было написано, что он разрывается между служебным долгом и своими внутренними убеждениями, и я хотя бы в целях экономии рабочего времени решил его подтолкнуть.

— Послушай, Басманов,— сказал я,— у тебя сейчас такой вид, словно ты снял сапог и своей аристократической пятой пробуешь, не холодна ли вода в Геллеспонте.

Я знал, что этого Илья не терпел. Он прощал любые издевки над своим буратинским профилем, но стоило кому-нибудь намекнуть на его сходство с лордом Байроном, как он тут же выходил из стационарного режима.

Но я промахнулся. Он только посмотрел на меня как-то сожалительно, как Буратино — на тарелку манной каши без малинового варенья, а потом, по скверной своей привычке, без всякой связи с предыдущим спросил:

— А ты знаешь, сколько лет прожил на белом свете Якоб Теодор Геккереи де Шетерваард?

— Вот уж в голову не приходило интересоваться!

— Девяносто три года. А сукин сын кавалергард российского двора, а затем сенатор французский Жорж Шарль Дантес?

Я снова пожал плечами.

— Восемьдесят три года. Итого в сумме около ста восьмидесяти лет...

Я знал цену голых, не прикрытых словесным орнаментом цифр. Но эта все-таки ударила меня по каким-то неожиданно отозвавшимся нервам. Двое убийц, в сумме проживших сто семьдесят шесть благополучных лет!

— Если бы мы могли вернуть ЕМУ хотя бы одну десятую, хотя бы одну сотую этой цифры...

А вот этого лучше бы Басманов не произносил. После одной цифры, жуткой в своей убедительности, — какие-то филологические «если бы», чего я вообще никогда терпеть не мог.

— В истории не существует никаких «если бы». Что было, то было, и не нам с тобой впадать в маниловщину. Кто прожил тридцать семь лет, тому не прибавишь ни тысячной доли чужого срока.

— А если бы? — с упорством фольклорного барана повторил Илья.

— Если б эти «если, если...» и дальше, как там у Петефи. Если бы Александр Сергеевич скончался в малолетстве вместо своего брата — мы и вообще не имели бы ни заповедника, ни информатория. Не говоря о поэте. А если бы десятого декабря двадцать пятого года ему не перебежал дорогу не то заяц, не то кот, не то поп, то он явился бы без высочайшего позволения в Петербург, и не куда-нибудь, а прямехонько к Рылееву, а оттуда, естественно, — на Сенатскую площадь. И был бы он шестым. И — не Святогорский монастырь. Яма с известью. Вот так. И эти «если» вообще можно продолжать до бесконечности, но стоит ли, время рабочее...

— «Логично», сказал бы робот, — ответствовал Басманов. Вид у него был такой, словно он уже глубоко сожалел о затеянном разговоре.

А, собственно говоря, зачем он, действительно, затевал этот разговор?

— Так, может быть, ты объяснишь мне, зачем ты меня сюда пригласил?

— Так бы я тебя сюда и приглашал, — отсутствие корректности никогда Басманову не изменяло. — Скажи спасибо Адели, она настояла. А дело в том, что сегодня БЭСС доложила

о готовности работать в заданном режиме. На данном участке, разумеется.

— Постой, постой! А все эти месяцы она в каком режиме работала?

— На моем участке — в учебно-подготовительном.

— Послушай, Басманов, ты говоришь не с первокурсником и не с корреспондентом. Блоки памяти в целом информацией были загружены еще осенью. Не существует — ты понимаешь, просто не может существовать — дополнительно наложенного круга вопросов, по которому БЭСС скребла бы информацию еще полгода! Да она же и так выдоила все библиотеки и смежные информатории за какие-нибудь три недели. Конечно, профан мог бы поставить перед машиной какую-нибудь дурацкую некорректную задачу, но ведь ты же опытный программист. Ну что ты задал несчастной БЭСС?

Басманов посмотрел на меня как-то растерянно:

— Но... Я думал, ты догадываешься... Аська ведь тебе наболтала о моих экспериментах на Рисер-Ларсене?

— Да, об этом я догадался. Психологическое аналогизирование. Ты готов сделать из порядочной БЭСС еще одного типичного пушкиногорского «фанатика», нечто среднее между Бехлей, Аделей, Никой и тобой самим. Но это — дополнительные входные условия, а не цель постановки эксперимента. И потом, чтобы узнать вас всех, да и меня в придачу, БЭСС не потребовалось бы больше полумесяца.

— Если бы так, — сказал Илья. — Если бы БЭСС создавала аналог твоей добродетельнейшей Адели... Но там, в миллионах капилляров, в десятках миллиардов искусственных клеток — мозг, готовый вернуть давным-давно погибшему человеку ту самую долю жизни, которую не мог сохранить Арендт!

Я понял.

И даже не удивился.

Стопроцентно бредовая идея — как это было похоже на Басманова! Попытаться воспроизвести творческий разум человека, погибшего не одну сотню лет назад, и не просто человека, а самого... Святые Горы, язык не поворачивается сказать.

— БЭСС готова, — глядя на меня исподлобья, медленно проговорил Басманов. — Она вошла в роль. Хотя что я говорю — в роль. Она стала ИМ. Она готова прожить пусть не десятую, пусть даже не сотую, но какую-то долю жизни после двух часов сорока пяти минут двадцать девятого января тридцать седьмого года.

— Прожить? — не удержался я.

— Для НЕГО «жить» значило «писать».

— Мой друг Басманов, не выражайся высоким стилем.

— Сожалею, что выполнил просьбу Адели, потому что человеку, не способному иногда хоть на что-то высокое, здесь сейчас будет нечего делать.

— Как это понимать — «сейчас»?

— А это понимать так, что через два часа начнутся испытания.

У меня все внутри перевернулось. Меня просто ставят в известность. Даже не спрашивают. Надо думать, что я не в силах буду не то что отменить, но даже перенести эти испытания на другой день. Два часа. И что-нибудь сделать, помочь мне может только... только Аделя.

Я гнал несчастного мерина, проклиная нелепую традицию держать в заповеднике только каких-то кургузых, вислобрюхих одров — в память убогой лошаденки Александра Сергеевича. Песчаная, не просохшая еще дорога едва-едва двигалась навстречу мне, и, несмотря на то что времени у меня было предостаточно, я знал, что так и не найду, что сказать Адели. Не смог же я найти слов, которые убедили бы Илью Басманова! Все было бы гораздо проще, если бы мы с ним имели дело с обычными электронными компьютерами: как бы сложны они ни были, с течением времени все больше и больше ощущается ограниченность их возможностей.

Но наши всемогущие безэлектронные системы сколько с ними ни возись, только поражаешься их неистощимой мудрости. Это — истинное обаяние гениального, чуткого и гибкого ума. Да так оно и есть в действительности: БЭСС — это живой мозг, обогащающийся с непредставимой для человека быстротой. В него начинаешь веровать как в высшую силу. И вот сейчас БЭСС околдовала Илью, он перестал ощущать границы ее могущества. Конечно, можно представить себе такой фантастический вариант — машину, способную по произведениям воссоздать аналог автора. Но это утопия. Гениальный актер может настолько войти в роль, что почувствует себя Пушкиным. Но и он не напишет ни одной пушкинской строки. А машина — и подавно. Это ведь не диктовать юмористические вариации на тему «поймите меня правильно».

Но ведь мне обязательно возразят, что-де все это — априорные утверждения, надо поставить пробный эксперимент, а там и само собой станет ясно, что машине под силу, а что — нет. Я и сам знаю, что после такого пробного эксперимента все станет ясно.

Но допускать этого эксперимента нельзя, нельзя, черт меня подери вместе со всеми этими Святыми Горами!!!

Я перехватил Аделю на пороге ее избы. Времени у нее оставалось в обрез, у меня — тоже. Объяснение наше было кратким, по вряд ли можно представить себе более нелепое, неуклюжее и безнадежное объяснение в любви, чем это!

Ибо ко всему прочему я объяснился Адели в любви. Нашел время. Идиот.

Ну а что я мог ответить ей, когда она спросила, по какому праву, собственно говоря, я требую от нее, чтобы она изменила своим взглядам, своим планам, своим заветным мечтам, в конце концов,— и вдруг, ни с того ии с сего, потребовала бы от Басманова отказаться от задуманного ими вместе эксперимента? У меня не было никаких других доводов, и я выпалил, что это право любви — требовать безусловного доверия. Она смотрела на меня долго, очень долго,— бог весть, что за это время она передумала! И я смотрел на нее, понимая, что, как только она заговорит,— это будет уже началом нового и уже, наверное, последнего — до самой смерти — одиночества; и все разрывалось у меня от досады, и боли, и еще какого-то не очень хорошего, собственнического чувства потери, ибо вместе с Аделью я терял ту женщину, которую разглядел только я,— женщину в платье Жозефины, с борзой собакой у ног, принадлежащую мне одному...

Она прошла мимо меня, потом обернулась и сказала:

— Почему на свете существует заблуждение, будто любовью можно оправдать все — злодеяние, глупость, убийство, кощунство?..

...Она шла по дороге быстро, как только могла, и я не смел обогнать ее, не смел даже приблизиться, потому что она боялась лошадей, и я то и дело натягивал поводья, чтобы мой верный коняга не цокал копытами прямо у нее за спиною. Мне теперь все было безразлично, и я знал, что вот сейчас приеду и просто-напросто закрою лабораторию, вырублю подачу тока и без всяких объяснений запрещу проводить эксперимент. Формальные права у меня на это есть. Вот так.

Когда мы переступили порог, все уже были в сборе — в углу топорщил свои усы всегда молчаливый Бехля, похожий на невыспавшегося шотландского терьера, на подоконнике болтала ногами златокудрая Ника — вот уж кто здесь явно был лишний, ибо принадлежала она к тому типу не красивых, а истинно обольстительных женщин, у которых разум полностью заменен инстинктами и эмоциями; еще человек пять или шесть, с которыми я только раскланивался, почтительно группировались вок-

руг учтивого и приятного на вид юноши в бархатной куртке, которого я не раз встречал на узеньких и влажных тропинках Пушкинских Гор, — он всегда производил на меня впечатленье человека, способного отдать всю вычислительную технику Солнечной системы за клочок бумаги с сомнительным автографом поэта. Я еще окрестил его «архивным юношей».

Илья, непроницаемый, как жрец Амона, застыл у пульта. И вообще у всех присутствующих было такое выражение, словно они ожидали сошествия святого духа.

Ну ладно. Сейчас я это шаманство прекращу.

Но тут «архивный юноша» оглядел всех и строго спросил:

— Так кого мы ждем?

Это было сказано таким тоном, что мне сразу стало ясно, что он уже далеко не юноша. Просто так мне показалось на первый взгляд.

— Все в сборе, — продолжая стоять по стойке «смирно», доложил Басманов. — Можно начинать, товарищ директор.

Вероятно, уместнее было бы назвать директора по имени и отчеству, но Басманов обдуманно не сделал этого — для меня.

В этой лаборатории я уже не был полновластным хозяином. И тогда мною овладела непреодолимая апатия. Будь что будет. Пусть все хоть провалится. Хоть сгорит синим огнем. Вот именно так. Синим огнем.

Я протиснулся в угол и сел, отворотившись от остальных. Белый язычок «контрольки» высовывался из щели на пульте — на этой «контрольке» печатались все данные, усвоенные машиной за текущий день. Наверное, читать их было бы весьма увлекательным занятием, одна беда — в день машина прокручивала несколько десятков километров ленты, и для того чтобы только бегло знакомиться с этими данными, надо было бы содержать целый штат сотрудников. Но мне сейчас не хотелось принимать участие в происходящем, не хотелось даже демонстративно покидать помещение, поэтому я рассеянно читал бисерные буквы, бегущие вдоль узенькой пластиковой ленты. Вот финал решения поставленной задачи, черным по белому: «Система к испытаниям готова». А дальше — еще два метра сплошных имен. Да, разболтал мне Басманов машину. Распустил. После сигнала готовности БЭСС должна замереть и ждать исходных данных. По своему усмотрению она не смеет принимать никакой информации. Иначе — какого черта было докладывать о полной готовности?

За что я любил свою работу — так это за четкость. А теперь моя машина усвоила всю басмановскую расхлюстанность... Ну что

ей понадобилось уже после того, как она САМА сочла себя абсолютно готовой к работе?

Федор Басманов, Никита Басманов, Прокопий Басманов, Акинфий, Глеб, снова Федор... Даты, жены, чада. Боковые ветви. Незаконнорожденные отпрыски.

Родословная младшего научного сотрудника Ильи Басманова! С не подлежащим сомнению выводом, что он является потомственным дворянином земли русской вплоть до такого-то колена.

У меня, наверное, затряслись плечи, но нервный смешок я сумел подавить. Из уважения к директору.

Между тем в лаборатории стояла какая-то гнетущая тишь.

— Так, собственно говоря, мы больше никого не ждем,— с плохо скрытой просительной интонацией проговорил Басманов.— Машина ждет приказаний, Артемий Павлович...

И тут случилось нечто и вовсе не объяснимое. Ника, безрассудная кудрявая Ника, вздернула свой утиный носик и с непосредственностью первоклассницы спросила:

— А можно, я задам вопрос? — ей, разумеется, все и всегда было можно — она и директору улыбалась так, словно это был какой-нибудь механик по нестационарным киберам.— Я вот не совсем понимаю, кто это ждет приказаний?

Басманов сложил губы трубочкой: даже он был озадачен. Я, собственно говоря, просто не понимал, что именно нужно Нике объяснять. Да и стоит ли ей что-либо объяснять.

— Выходит, нас собрали на испытание простой машины,— допытывалась Ника,— которой можно взять и приказать что-то там сочинить?

— Это уже не машина, и тем более не «просто машина»,— отрезал Басманов.

— А,— сказала Ника и, махнув легкой ладошкой, спрыгнула с подоконника.— Ничего вы не понимаете. Пойду я отсюда. Не хочу становиться жандармом.

И она выпорхнула из лаборатории. Почему-то мне вдруг подумалось, что именно эта женщина должна была бы по справедливости носить звонкое и всегда юное имя Адель...

Басманов резко повернулся к пульту, пальцы его забегали по кнопкам и клавишам. Среди несусветного хлама, просвечивая сквозь дамские перчатки и атласные пояса и шали, затеплились сигнальные лампочки. Весьма заметный гул мог указать специалисту, что БЭСС прогревается почти на всех своих каскадах, потребляя мощность, близкую к предельной.

— Задание! — не оборачиваясь, бросил Басманов. — Диктуйте задание!

Теперь в явном замешательстве пребывала филологическая половина. Разумеется, у каждого из них была припасена своя заветная и заведомо несбыточная мечта — вроде того, чтобы воссоздать текст первоначального варианта «Сцены у фонтана», не записанный Александром Сергеевичем подле Воронича за неимением бумаги и карандаша. Послышалось сперва сдержанное шушуканье, затем мгновенно возник спор, ведомый на уровне яростного шепота; затем скрипнул отодвигаемый стул — поднялся директор.

— Друзья мои, момент действительно очень ответственный, — заговорил он, окончательно переставая казаться романтическим юношей. — Начнем с нетривиального, но несложного задания. Беру на себя смелость предложить первый вопрос: в сохранившихся отрывках десятой главы «Онегина» имеется общеизвестная четырнадцатая строфа:

*Витийством резким знамениты,*
*Сбирались члены сей семьи*
*У беспокойного Никиты,*
*У осторожного Ильи...*

Поскольку только сам поэт мог знать, о ком должна была идти речь в дальнейших строчках, предлагаю дать задание продолжить строфу.

Еще одна лампочка, просвечивая сквозь шафрановую шаль, вспыхнула на пульте — знак того, что машина приступила к выполнению задания. Легкая дымка поплыла у меня перед глазами, и я понял, что проклятущая мудрейшая БЭСС сейчас выдаст свой коронный номер — изображение на коллодиевой взвеси. И уж попробуй возрази, если перед тобой — сам Александр Сергеевич, выполненный в масштабе один к одному! Давай, БЭСС, давай. Рыжая, покажи, на что ты способна — на какую безупречную, филигранную подделку!

Глаза Адели. Огромные, зеленые, неистовые — так когда-то, наверное, глядели зачарованные тунгусы на полет огненного бога... Но никаких призрачных фигур в лаборатории не возникало — глаза Адели неотрывно следили за цепким манипулятором, в клешне которого был зажат огрызок пера, и вот уже, попискивая и брызгая чернильной жижей на колпачки сигнальных ламп, это перо заскользило по шершавой бумаге, оставляя за собой

стремительные штрихи строк, и я, холодея, почувствовал, что меня неудержимо тянет узнать в этих строках такой характерный, раз и навсегда запоминающийся почерк. Воронепая клешня манипулятора отшвырнула перо, и пять рук непроизвольно потянулись к пульту, но манипулятор успел раньше — он поднял исписанную бумагу высоко над нашими головами, на какую-то долю секунды замер, словно выбирая из нас кого-то одного, а потом вдруг швырнул листок прямо в лицо Басманову.

Никто не двинулся на этот раз.

Листок, шурша, скользнул по лацкану басмановской куртки, раза два перевернулся в воздухе и тихо лег на пол возле ног Ильи — текстом вверх.

Вероятно, это разобрали все — крупные четкие буквы отнюдь не поэтического обращения: «Его превосходительству начальнику резервной группы лаборатории программирования господину Басманову. Милостивый государь!..»

Не знаю, может быть, кто-нибудь прошептал эти строчки вслух, а может, и нет, но я уверен, что в памяти каждого всплыло:

*То был приятный, благородный*
*Короткий вызов, иль КАРТЕЛЬ...*

Но в строчках, лежащих перед нами, ни краткости, ни приятности, ни даже ясности холодной и в помине не было. Я не запомнил письма дословно — да и никто из присутствующих, как выяснилось потом, не смог точно его припомнить, — но одно я знаю твердо: продиктовано оно было не машиной. Столько гордости, бешенства и отчаянья уже один раз пережитой смерти — и все же ни малейшего колебания перед новой смертной мукой — было в этих строках, что так писать мог только человек и поэт.

Только человек и поэт, который ни царю, ни самому богу рабом никогда не был.

Только человек и поэт, который помыкать собою, как холопом, и указывать, что и когда ему сочинять должно, никому не позволял.

Только человек и поэт, духом и телом свободный от рождения и до предназначенного судьбою часа, готовый уже не с пером, а с пистолетом в руке защищать свое право не подчиняться воле и прихоти равного себе...

Странный сухой щелчок нарушил тишину; я поднял голову и в черной клешне манипулятора увидел медленно поды-

мавшийся пистолет. Другой — рукояткой, к Илье — лежал на пульте.

Басманов не шевельнулся. Не двигался и никто из нас, хотя по старым классическим правилам надо было хотя бы крикнуть Басманову: «Закройся!» Мы не могли и пальцем пошевельнуть, хотя черное дуло поднялось уже до уровня синего ромбика университетского значка, потому что все мы — и я тоже — были на ЭТОЙ стороне, а на ТОЙ — был один.

Но в этот миг жесткий толчок сбил меня с ног, и я увидел над своим лицом устойчиво расставленные опоры «домового», а из черной коробки на его поясе, принятой мною за портативный магнитофон, высовывалось тупое рыло десинтора ближнего боя.

Синяя струя пламени полоснула по пульту, перерезав манипулятор, и желтоватый листок с летучими строками вспыхнул у меня перед самыми глазами. Я отдернул голову и невольно зажмурился.

Когда я приоткрыл глаза, все было уже кончено. Исполосованный огненными, стремительно остывающими бороздами, пульт уже не был пультом — это была оплавленная развалина.

Вонючие тошнотворные дымки выползали из кассет с контрольными лентами, и среди всего этого хаоса, обуглившегося и оплавленного, уцелела почему-то одна-единственная баночка из-под помады, возведенная в высший ранг чернильницы поэта.

Десинтор ближнего боя, чей луч проникал всего на шестьдесят-семьдесят миллиметров в глубь поверхности, конечно, не мог причинить вреда самой БЭСС, чей мозг покоился в десятиэтажных подвалах информатория.

Но лаборатории Басманова больше не существовало.

«Домовой», сделавший свое дело, защелкнул кожух десинтора и замер в своем углу. Он не мог поступить иначе — пистолет, направленный на Илью Басманова, промаха не давал. Вот только кто вызвал «домового» в лабораторию, кто разрешил ему нарушить мой приказ, кто надоумил его захватить с собой десинтор?

Да кто же еще, как не сама БЭСС, еще ночью, после доклада о полной готовности, до мельчайшей подробности рассчитавшая все, что неминуемо произойдет...

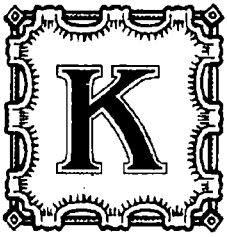
Я не помню, кто за кем покидал разгромленную лабораторию. Кажется, первой убежала Аделя — так же, как во время нашего утреннего разговора, она осторожно, чтобы не задеть, обошла меня сторонкой и исчезла в преддождевых сумерках, пахнущих арбузной коркой. Когда уходил я, в помещении оставался один Басманов.

Я спустился вниз и стал ждать его, потому что завтра предстояло писать докладную по поводу аварии и надо это дело обговорить. Неподалеку от информатория дюжина «домовых», подсвечивая себе небольшими прожекторами, принимала из вертолета огромный камень, обвязанный цепями. Было ли на нем уже что-нибудь высечено, я разобрать не смог.

Я следил за их суетой и думал, что виноват во всем происшедшем нисколько не меньше, чем все остальные, только вот у меня степень виновности несколько другая: я присутствовал по долгу службы и не вмешался. И нет смягчающего обстоятельства безумной, фанатичной любви, которая оправдывает...

Полно. Совсем недавно меня спросили: почему на свете существует заблуждение, будто любовью можно оправдать все — злодеяние, глупость, кощунство?.. Не знаю я — почему, но заблуждение это, наверное, просуществует до тех пор, пока на земле будут и зло, и любовь. И такую любовь можно только обойти стороной, пугливо стараясь не коснуться ее даже краем платья.

Но мертвые перед такой любовью беззащитны.



оротко, по больничному звякнул сигнал вызова — словно котенок задел лапкой по звонку. Дан усмехнулся, хрустнул суставами, подымаясь, потом схватился за никелированную спинку своей койки и выжал на ней великолепную стойку. Только после этого он оторвал левую руку от холодной металлической дуги и ткнул пальцем в кнопку приема, не потеряв при этом равновесия.

Флегматичный лик доктора Сиднея Дж. Уэды воссиял на оливковом экране. Некоторая экстравагантность позы пациента отнюдь не удивила врача. Он слегка наклонил голову и стал ждать, кому надоест первому.

Диаметр у металлического прута был предательски мал, на одной руке долго не продержишься. Дан спрыгнул на пол.

— Вот так,— удовлетворенно констатировал Сидней Дж. Уэда.— А теперь можешь зайти ко мне в кабинет.

Дан тоскливо вздохнул.

— На выписку,— сжалился врач.

Дан рванулся к двери, скатился кубарем вниз по лестнице и через шестнадцать секунд был уже у него в кабинете:

— Виват, британский лорд!

— Накрой плешь, испанский гранд. Король с тобой поздоровался.

Дан Арсиньегас сделал вид, что надевает шляпу.

Как это бывает при неожиданной встрече однокашников, которые по-настоящему никогда не дружили и тем более никогда по-настоящему не ссорились, они узнали друг друга с несколько

преувеличенным восторгом (Сидней — когда Дана в тяжелом шоковом состоянии доставили к нему в донорскую клинику, и в общем-то напрасно доставили, могли просто в госпиталь; Арсиньегас — когда открыл глаза и понял, что он уже не в гидромобиле последней собственной конструкции, а в больничной палате, до которой он допрыгался-таки в своем неуемном отвращении к роботам-испытателям). Оба действительно обрадовались, но к этой радости не примешивалась та непременная грусть, которая сопутствует встрече настоящих друзей, разлученных на долгие годы. Они вспомнили свои школьные прозвища и те традиционные шуточки, которые были в ходу у них в классе, и, как это бывает в таких случаях, оставаясь вдвоем, они вольно или невольно говорили и вели себя так, словно были все еще выпускниками двенадцатого класса.

С Даном ничего страшного не произошло, так себе шок, неинтересно даже для только что прибывших практикантов. Школьные товарищи снова расставались, и по одному виду Дана было ясно, что, несмотря на общество Сиднея, донорская клиника осточертела ему до предела.

Между тем доктор Уэда вытащил из-под плекса, покрывающего стол, здоровенную негнущуюся перфокарту, лихо развернулся на кресле-вертушке и набросил карту на крошечный стендовый столик, как дети бросают кольца серсо.

Карта четко влепилась в стенд, и он послушно отреагировал залпом зеленых и белых огоньков. Только одна лампочка замигала было красным, но тут же одумалась и погасла.

— Здоров ты, дон Арсиньегас, как каталонский бык. Так что можешь проваливать до своего следующего испытания.

— Да уж не задержусь!

— А мог бы, хотя бы для приличия. Как-никак, тебя тут на ручках носили, с ложечки кормили.

— Не ты же, ваше лордство, а практикантки!

— По моему высочайшему повелению.

Дан неопределенно хмыкнул. Уж Сидней-то мог бы помнить, что начиная с пятого класса Арсиньегаса носили на руках и без каких бы то ни было высочайших повелений.

— Да, уж раз речь зашла о практикантах,— Дан вдруг стал серьезным.— Мне обещают киберпрофилактор, чтоб не гонять испытателей каждый раз на материк для осмотра, так вот курьез: киберов навалом, медперсонала нет. Может, подкинешь захудалую практиканточку? Или самому нужны?

Сидней покрутил пальцами:

— Нужны — не то слово. Но ведь все равно сбегут. Обязательная практика кончится — и дадут деру. Они, когда сюда просятся, представляют себе только профиль работы. Но в наших клиниках, понимаешь ли, особый моральный микроклимат...

— Хм... А посторонпему незаметно.

«Где тебе, — с неожиданным раздражением подумал доктор Уэда. — Красавчик».

— На то ты и посторонний, — сказал он вслух. — А практикантку я тебе подберу. Хоть сейчас. Только бы избавиться. Но вся беда в том, что именно она-то отсюда и не уйдет.

— Что ж так? — лениво полюбопытствовал Дан.

— Именно ей наша клиника пришлась по душе. Я вижу, как она здесь блаженствует. Воображает, что удалилась от мира.

— А может, у нее камень на сердце? Ведь вашему брату, костоправу, только бы скелет был в целости и анализы положительные.

— Видишь ли, Дан, то, что ты называешь «камнем на сердце», — это элементарное депрессивное состояние. Здесь другое. Глубже. Эта — из тех, что до тридцати лет интересуются только стихами и театром, после тридцати наконец начинают чувствовать себя девочками, после сорока — девушками...

— Ага, — отозвался Дан. — Это и я знаю. Самое страшное, что такие девицы после шестидесяти, наконец, осознают, что они уже женщины. А сколько ей сейчас?

— Приближается к тридцати. Ее ежедневная почта — театральные программы, газеты с рецензиями, магнитные ролики с записями самодеятельных театров и прочая дребедень. Не удивлюсь, если у нее над кроватью пришпилены стереофото разных знаменитостей — разумеется, не ученых и не звездолетчиков, а разных смазливых мальчиков, которые гробят свое свободное время на то, чтобы изображать этих самых ученых и звездолетчиков на любительских подмостках!

— Э-э, милорд Сидней Дж. Уэда, полегче! Или ты забыл, что перед тобой как раз находится не то чтобы известный, но достаточно смазливый мальчик с любительских подмостков? Вот только было бы у этого мальчика свободное время, чтобы продолжать...

Милорд Уэда безнадежно махнул рукой:

— Случай задержанного развития, совсем как у моей практикантки. Я давно уже подозреваю, что в выборе профессии для меня огромную роль сыграло общение с тобой. Понимаешь, с первого класса у меня теплилась надежда, что таким, как ты, когда-нибудь научатся хирургическим путем вправлять мозги.

— А еще собрать бы книги все да сжечь! С театрами в придачу.

— Да бог с ними, пусть остаются. Ты пойми, я, если серьезно, не против Эсхилла, Шекспира, Чехова и Строгова. Я даже не против того, чтобы какой-нибудь космовакуумщик или генетик-проектировщик написал водевиль. Или водевили сейчас не пишут? Все пишут? Прекрасно. И наконец, я не против того, чтобы, скажем, народный театр Гарвардского торфяного техникума исполнил его и записал на стереомаг.

— Ну, спасибо. А когда же будет против?

— Видишь ли, Дан, я против, когда моя практикантка все вечера пялит глаза в стереопроектор и складывает под кроватью штабелями кассеты с этими самыми смазливыми мальчиками, вместо того чтобы жить и мыслить самостоятельно, при помощи своего единственного и незаменимого мозга. Я против, потому что я не знаю, что такая практикантка может выкинуть...

— Ничего она не выкинет. Это ты ее выкинешь, доктор Уэда, только вот я не могу понять, за что? Не за лечение театром же, в самом деле...

Сидней посмотрел себе под ноги, засопел. А правда, что это он взъелся на нее? Он вспомнил ее строгое лицо, ее очень светлые волосы, разделенные безукоризненным пробором, и аккуратный халатик, не с одним, с двумя нагрудными карманами, и ее способность одинаково ловко работать обеими руками... Симметрия — это достаточно унылое свойство у молодой женщины. Но не это было главное в сестре Сааринен. Главное доктор Уэда сформулировал только сейчас — это безнадежная НИКОМУ-НЕНУЖНОСТЬ.

— Ей-ей, ты меня заинтриговал. Так что же ты, светило глиптопересадок, можешь инкриминировать сопливой практикантке?

— Сейчас — ничего. Но когда смогу — будет поздно. У меня такое ощущение, что она может оказаться фанатичкой. Он проговорил это медленно и уверенно, хотя никогда раньше об этом не думал. И сам удивился сказанному.

— Ну, ты загнул, милорд Сидней Дж.! — Арсиньегас дивился не меньше его.— Ты понимаешь, в двадцатом веке до нашей эры можно было быть солнцепоклонником, но нельзя — убежденным монотеистом. В двадцатом же веке нашей эры еще по каким-то причинам можно было быть христианином, но нельзя — убежденным солнцепоклонником. Еще через два века можно было быть фанатиком науки, но уже никак — религии. Сейчас фанатиком быть вообще нельзя, ибо фанатизм упразд-

нен, как дифтерит. Я излагаю достаточно популярно для костоправа?

Что-то со мной происходит, думал Сидней. Нужно отвечать ему, а язык не поворачивается. Устал, наверное. Устал вообще, и от Дана в частности. Если встречаешь школьного приятеля и три вечера подряд треплешься с ним так, словно вы оба еще сидите верхом на парте, то на четвертый день надо либо становиться друзьями, либо переходить на деловой язык. Либо расставаться. Дружбы не получилось в школе, ие будет и теперь Но тогда не заходи дальше эпического «а помнишь?..», и весь этот нелепый, непонятно как возникший разговор о сестре Сааринен — инцидент досадный и никчемный.

— Да, так мы остановилась на том, что ты меня выписываешь. — Дан, словно догадавшись о его мыслях, спас положение.

Доктор Уэда облегченно пошевелил плечами.

— Да-да, — подтвердил он, — выписываю. Всенепременнейше. С рассветом можешь отправляться на все четыре стороны. И вызови свой любезный гидромобиль, а то у нас лишних не держат.

— Прелестная ситуация: тебя — в шею, а ты скачешь от радости, как зайчик. Сейчас вызову. Это у тебя дальний фон?

— Средний, но миль двести он покроет.

Дан потянулся за усатой плюшкой портативного передатчика, оглянулся — за тяжеловесной портьерой угадывался балкон.

— Я сейчас, — сказал он и вышел за портьеру.

Балкон нависал над желтой посадочной площадкой, широким пятидесятиметровым кольцом опоясывавшей весь Мерилайнд. Радиальные пирсы, расположенные через равные промежутки, делали этот плавучий остров похожим на гигантского краба, уныло распластавшегося на поверхности океана в шестидесяти милях от Земли Королевы Мод. Около трехсот квадратных километров занимала акватория Южной донорской станции, и над всем этим районом не пролегало ни одной регулярной трассы, сюда не пропускалось ни единого циклона, и океан ершился не больше чем на два с половиной балла. Заповедная зона была открыта только кораблям и мобилям системы санитарной службы.

Дан прищурился, всматриваясь в дымку горизонта. В хорошую погоду Земля Королевы Мод была отсюда видна — сизая полоска юной, наконец-то прижившейся хвои, за которой — гряда ледников. Возле Мерилайнда льда уже не увидишь: микроклимат акватории стойко держался на десяти градусах тепла по Цельсию, а пришлые айсберги уничтожались на границе заповедника.

Вьюжной антарктической зимой эта акватория казалась сверху круглым глазком проруби, теплым голубым пятачком, отогретым на морозном стекле нетерпеливым ребячьим дыханием; кто-то даже пытался назвать ее «водой обетованной», но прозвище не привилось, потому что посередине этого спокойного озерца с ледяными берегами неуловимо покачивался на гравитационных якорях искусственный остров, хранящий в подводном нутре неправдоподобный, драгоценный и почти чудовищный груз.

Дан вызвал свою станцию и велел выслать ему с Рисер-Ларсена одноместный мобиль спокойного нрава. Он уже взялся было за толстенную портьеру, хранящую кабинет главного врача от назойливого незакатного солнца, как вдруг там, внутри, прозвучал ровный голос, произносивший слова чуточку более отчетливо, чем обычно, — так диктуют по фону распоряжения: «Сестра, примите донора 2446/19-М, регенерация крови в объеме тысячи семисот кубиков. Гомеостезин, как обычно. Всё».

Когда Арсиньегас приподнял занавеску, внутренний фон был уже выключен. Что было там, на экране? Только лицо сестры, по тону Сидней — той самой практикантки, или... или еще и контейнер? Тот самый контейнер, в котором заключен донор номер двадцать четыре сорок с чем-то и как там далее?

Доктор Уэда не обернулся, когда Дан, споткнувшись о порожек, появился в кабинете. И руку с пульта внутренней связи он не убрал — она так и осталась лежать на каком-то тумблере.

— Между прочим, я решительно настаиваю на твоем отпуске, — проговорил Сидней. — Только не вздумай рипуться на экватор. Никакой повышенной влажности, никакого высокогорья. И не меньше тридцати дней, — он оглянулся через плечо на Дана. — Двадцати, леший с тобой. Но это — мое последнее слово.

Дан милостиво кивнул.

— А потом вернешься на свой Рисер-Ларсен?

Дан беззаботно пожал плечами.

— Что, переманивают куда-то?

— На Марс, — нехотя проговорил Дан.

— Полетишь? Против климата я не возражаю.

Снова неопределенное движение.

Доктор Уэда приготовился высказать свои соображения по этому поводу, но в этот миг под его руками пискнуло, и приглушенный женский голос спросил: «Дезактивация?»

— Да нет же, нет, какая может быть дезактивация после откачки крови? — он раздраженно выключил тумблер звукового

канала, словно спустил курок. — Как чувствовал! Дубина симметричная.

— Послушай-ка, Сид, — Арсиньегас обошел массивный письменный стол и присел на краешек внутристанционного пульта. — Почему ты выключил экран? Не хочешь, чтобы я увидел... этого?

Теперь доктор Уэда неопределенно повел плечом.

— Но почему? — настаивал Дан.

— Можно, я не буду объяснять? Это традиция врачебной этики. Родных не пускают в прозекторскую. Человеку не показывают его донора. Не принято.

— Но ты-то своего видел?

— Нет. Даже я.

— Хм... Но ведь могу же я смотреться в зеркало!

— Вот этим и удовлетворись.

— Послушай-ка, Сид, а тебе не кажется, что подобными табу вы только нагнетаете ту атмосферу, которая распугивает ваших практикантов? Мифологическая антивизуальная ситуация, а-ля Амур и Психея. Вы бы еще распространили легенду, что у человека от взгляда на собственного донора кровь свертывается. Взаимодействие парных пси-полей, или еще какая-нибудь квазинаучная мистика. Зачем вы делаете из донора этакого гоголевского Вия? Ведь это просто мешок с костями. Баллон с кровью моей группы. Почему же на это нельзя смотреть?

— Всё это так — и не так. Конечно, донора можно рассматривать как контейнер с запчастями. На чужих мы так и смотрим, иначе мы не смогли бы работать. Но для тебя это — второй ты. Твой брат-близнец, выращенный, правда, искусственно, но из твоей плоти, то есть из твоих клеток и под диктовку твоей ДНК. Вот если бы я свел тебя в глиптотеку и показал набор сердец, печенок и еще кое-чего жизненно важного, то ты просто пожал бы мне руку и ушел, вполне удовлетворенный уровнем современной медицины. И стал бы еще безрассуднее на своих испытаниях. Но если я покажу тебе это сердце и руки, эти глаза и селезенку, но все скомпонованное в единое тело, ТВОЕ СОБСТВЕННОЕ ТЕЛО, — то я не поручусь за твою психику.

— Плохо же ты меня знаешь.

— Да уж как-нибудь. Понянчился.

— Полагаешь, что я свихнусь?

— Нет. Но ты не забудешь этого никогда в жизни. До самого последнего своего часа, когда будут исчерпаны все жизненные ресурсы и твоего собственного организма, и твоего персонального донора, и отдельных препаратов глиптотеки.

— Так... будем считать, что мой душевный покой ты сберег. Но трудно поверить, что вас самих не угнетает, что вы режете одних людей во имя спасения других.

— Нет, Дан, не угнетает. Потому что доноры — не люди. Это неодушевленные препараты, если хочешь. Впрочем, нет,— каждый первокурсник мается перед первым своим сеансом в анатомичке, хотя он имеет там дело со свободным, или безоригинальным, донором, хозяин которого сгинул где-нибудь на любезном твоему сердцу Марсе, где еще нет донорских клиник, или вообще в Пространстве, откуда можно просто не вернуться. Но ведь и триста лет назад первокурсников мучило то, что пропахшие формалином, не имеющие уже никакого отношения к истинной живой матери экспонаты анатомички — это бывшие люди...

— Ты все время хочешь внушить мне, что доноры — небывшие, ненастоящие и никогда неспособные стать людьми объекты...

— Вот именно. Ни-ког-да.

— А ты намеренно не вспоминаешь об этих... объемных снимках пси-структур? Ведь это — единственное, чего не хватает донору, чтобы стать человеком. Вот сегодня у меня сняли такой отпечаток — разве не достаточно наложить его на моего донора...

— О, как кстати, что ты напомнил,— сходи и переснимись. Там брачок. Ни в коем случае не улетай, не переснявшись.

— Ладно, ладно, ты мне зубы не заговаривай! Мне уже внушали сегодня, что на каждом углу меня ждет глубочайшая амнезия — влезу ли я в переменное магнитное поле, или от информационной перегрузки, или методом Пирра, царя эпирского,— ночным горшком по голове... Так? И приволокут меня, бесчувственного, к тебе же в клинику, и достанут утренний снимок, где вся моя память на одиннадцать часов пятнадцать минут сего белого дня, и наложат на мои бедные опустошенные извилины весь тщательно сбереженный запас моей информации... Так?

— Так. И даже с довеском в виде правил безопасности при работах на поверхности Марса, скажем,— такие вкладыши не противоречат врачебной этике. А действительно, не впечатать ли тебе их заодно, раз уж ты будешь в мнемокресле?

— Стоп, доктор Уэда. Все не так. Не отшучивайся. Ведь ты сейчас признал, что я, вот этот самый я — не нужен! Он перестал быть ценностью, точкой приложения врачебной этики! Ведь у вас есть тело — донор и душа — запись памяти. Зачем вам ремонтировать меня, весьма поношенную биомашинку, с которой хлопот не оберешься, когда достаточно совместить то, что имеется в ваших кладовых,— и готов новенький Дан Арсиньегас?

Дух тот же, тело здоровее — врачебная этика должна быть «за», да еще и обеими руками. А может, вы уже так и делаете, а, эскулап Уэда? Может, настоящий Арсиньегас уже валяется где-то в холодильнике?

Сидней устало пожевал губами — очень не хотелось признаваться в ограниченности своего могущества:

— Видишь ли, Дан, вся твоя тирада не имеет смысла, потому что мы не умеем этого делать... Ну да,— совместить тело, а вернее — мозг донора с записью пси-структуры оригинала до сих пор не удалось. Почему? Спроси что-нибудь полегче. Вот почему мы не можем спасти пациента, у которого необратимо поражен мозг: переносим мозг донора, работа ювелирная, вживление полное, а как доходит до наложения памяти...

— Отмирание коры?

— Ну, с этим мы умеем бороться. Нет, чтобы тебе было понятнее — квазилетаргия. Мозг донора никакими силами нельзя разбудить. Не желает он просыпаться. Не желает!

— Слушай, Сид,— Дан схватил своего друга за лацканы белого халата,— слушай, эскулап-недотепа! Во мне взыграл прирожденный экспериментатор, а это верный признак, что решение где-то у нас под носом. Ты говоришь — отпуск? Я беру два месяца, и мы запираемся у тебя в лаборатории. Да не бойся, не буду я приставать к тебе, чтобы ты свел меня на брудершафт с моим донором. Пусть дрыхнет в морозилке, мои печенки-селезенки стережет. Займемся делом, и я клянусь тебе, Сидней Дж., мы эту проблемку расколем! Ну, решайся, увалень!

Сидней Дж. Уэда осторожно высвободил свой халат. Так и есть, лацканы словно корова изжевала. Навязался... экспериментатор.

— Ну, что ты на меня напрыгиваешь? — проговорил он как можно миролюбивее.— На этой проблемке, как ты изволил выразиться, мировые светила — не нам чета! — себе лбы порасшибали. И потом, завтра я уезжаю. Стажировка во Всемирном донорском центре. Это месяца два с половиной, не меньше. За это время ты как раз успеешь охладеть к этой проблеме.

Дан свесил голову на правое плечо, задумчиво оглядел Сиднея. Потом то же самое, по уже с позиции левого плеча. Как же мы дразнили его до четвертого класса? «Не напрыгивай на меня...» Ну конечно, Винни-Пух. А вот с четвертого по седьмой его именовали не иначе как Сидней Дж. Мясокомбинат. Потом, естественно, его звали Портосом — это до девятого. А потом никак не звали. Он стал уж так неприметен, несмотря на свой

рост и упитанность, что не заслужил даже очередного прозвища. А как тогда звали меня? Естественно, д'Артаньяном, а до этого — Килькой, а после этого — Генеральным конструктором. И вот прошло не так уж много лет, и сидим мы нос к носу — бывший Генеральный и экс-Винни-Пух, и не можем договориться...

— Послушай, Сид, — спросил он простодушно, — я тебе здорово надоел?

— Во как! — обрадовался тот. — Ну прямо до смерти! И, между прочим, надоел ты мне примерно так классе в восьмом. Когда носился с проектами разных таратаек, а я все смотрел на тебя и думал: неужели мы еще не дожили до такого момента в истории, когда человечество будут в первую очередь интересовать руки и ноги, и только затем — колеса и манипуляторы?

Дан хлопнул себя по коленям и решительно поднялся.

— Баста, — сказал он, направляясь к двери. — Вопросов больше не имею. Хотя нет, вру. Но — только один. Скажи, Сид, этой проблемой занимались действительно серьезно? Можно ли считать, что отрицательный ответ верен на сто процентов?

Сидней тоже встал, вперевалку зашагал по кабинету, расстегивая пуговицы на измятом халате:

— Вот что, Дан. Я отменяю свою рекомендацию относительно твоего отпуска. Лети себе на Марс, занимайся своими гидромобилями, хотя, убей меня бог, совершенно не понимаю, зачем они там, где вода имеется разве что в цистернах. Для тебя Марс хорош тем, что там пока нет ни одного донорского стационара — одни аптеки да глиптотеки, развернуться тебе будет негде. Так вот: проблемой наложения объемной пси-структуры, или попросту записи памяти, на мозг донора занимались крупнейшие ученые мира. Они доказали, что теоретически это достижимо, экспериментально — нет. Опробованы все методы, применены все возбудители и катализаторы. На сем работы свернуты. С облегчением, должен тебе сказать. Да, да! Потому что, получи мы хотя бы один положительный результат, и где гарантия, что мы не удержались бы от искушения создать эквивалентный дубликат для одного великого ученого, потом для другого... И не один дубликат — можно было бы одновременно создать пятьдесят Эйнштейнов, сто Атхарвавед, двести Несейченко. И развитие человечества пошло бы не по вертикали, а по горизонтали. Так что лети себе на Марс, а в свободное от испытаний время займись организацией студии самодеятельности.

— А здесь, на Мерилайнде, я могу провести свой отпуск?

— Во-первых, это уже второй твой вопрос. Выходишь из регламента, мой милый. А во-вторых, любой пациент может здесь остаться, только в санаторном корпусе. Но учти: шифром подземных хранилищ владеют всего несколько человек. Так что партизанщина здесь не пройдет. Ну как, остаешься?

— Подумаю. Мы увидимся утром?

— Лучше попрощаемся сейчас. У меня хлопот...

— Прощай, Сидней Дж. Мясокомбинат.

— До свиданья. Дан.

Доктор Уэда проводил бывшего пациента до дверей, хотел подать руку — как-то не получилось. Похлопал его по плечу, вышло еще хуже — покровительственно, чуть ли не высокомерно. Запер за Даном дверь и вернулся к рабочему столу, вконец раздосадованный на себя. И тут уже окончательно расстроился: на маленькой панели бокового стенда был включен тумблер звукового канала внутренней связи.

Весь этот разговор мог быть кем-то услышан.

Собственно говоря, ничего криминального сказано не было, и все то, что он наговорил Арсиньегасу, за последние несколько лет он десятки раз и на все лады втолковывал различным корреспондентам. Так что никаких служебных тайн он не выдал. Да их и не существовало. Но все-таки он, главврач донорской клиники на Мерилайнде, доктор Сидней Дж. Уэда, стоял с брюзгливо перекошенным лицом и тщетно ловил хоть какой-нибудь звук, который мог бы донестись из динамика. Но там, на другом конце канала связи, как видно, никого не было. Кажется, обошлось.

— Сестра Сааринен! — позвал он.

Тишина.

Тишина, в которой старательно спрятано чье-то дыханье. Он потянулся к тумблеру видеофона — и, выругавшись на специфическом прозекторском жаргоне, принятом также и в донорских клиниках, заставил себя удержаться. Вот она, специфика здешней атмосферы. Еще немного, и он начнет подкрадываться к дверям и распахивать их, отыскивая за ними черт те что.

— На шестнадцатое июля, — проговорил он, включая диктофон. — 19-М вернуть в камеру 2446. За 552-Ж — гомеостазный контроль, оставить в боксе до моего возвращения. Безоригинальных из седьмого и восьмого боксов — в глиптотеку. Из одиннадцатого — на кремацию. Из глиптотеки не устраивать помойку. Все, — он потер подбородок. — Дополнение: переснять пси-структуру пациента Арсиньегаса, палата двадцать два. По просьбе пациента можете ввести ему дополнительную информацию не более

тридцати тысяч мнемоединиц. Все. Еще дополнение: зарезервировать палату в санаторном корпусе. Теперь все.

Сидней выключил диктофон, подошел к зеркалу. Как бы там ни было, а Дан сумел остаться мальчишкой. И духом, и телом. Пока Дан был здесь, доктор Уэда был непоколебим в ощущении своего превосходства. А теперь, нос к носу с собственным отражением?

Отражение глядело на него с тоскливой отрешенностью.

— Дополнение последнее, — негромко проговорил Сид. — Главного хирурга Мерилайндской донорской клиники, старого хрыча Сиднея Дж. Уэду — на помойку...

— Доброе утро, сестра. Меня не выпускают без повторного снимка, где бы это сделать, да побыстрее?

Белое платье до полу — впрочем, все, работающие с донорами, почему-то носят длинное. Маска до самых глаз. Королевский жест, указующий на двери бокса, — ох уж эти королевские жесты, от которых на парсек разит школьным драмкружком...

Школьным? Прозрачный хвостик какой-то ублюдочной ассоциации. К чертям! Кончать все эти процедуры, и — хоть на Марс, хоть в Тускарору. А весь этот заповедник с его Уэдами, царственными павами в кринолинах, со всеми консервированными двойниками и главное — с этой неповторимой, спе-цифи-чес-кой атмосферой пусть себе катится в тартарары. С самого начала можно было внюхаться, что за атмосфера здесь царит. Чванство и безграничная самоуверенность. Этакие боги, дарующие простым смертным вторую жизнь! И ничего удивительного, что во главе этого консервного завода стоит Сид. Вот что бывает, когда самая серейшая посредственность становится главой фирмы. Фирма начинает чувствовать себя Олимпом. И вот приходишь на такой Олимп с чистым сердцем и предлагаешь свои руки, не такие уж неумелые, и свою голову, тоже ничего себе, и свое время — а тебе...

Огромный и удивительно легкий шлем бережно опустился на голову и заставил вжаться в кресло. Стало тепло и уютно, словно на плешь уселся громадный ангорский кот. И даже монотонный гул какого-то насоса воспринимался, как мурлыканье. Вот и сигнал: «Сосредоточиться». Нет, не получится записи и сегодня. Нельзя делать снимок в состоянии раздражения.

А ведь года три назад он делал снимок, и тогда одно приближение этого электронного кота приводило Дана в состояние какого-то доброжелательного, чуть ли не умиленного покоя. С

легким сердцем он отключался от всего, что лежало за пределами его молодого, сильного, умного тела. Но в этом покое не было ни расслабленности, ни идиотской самовлюбленности, а наоборот — мозг подчинялся сосредоточенной готовности послать всего себя кому-то в дар, и это состояние, пожалуй, могло быть сравнимым только с чувствами созидателя, посылающего свою новую модель в открытый космос,— та же максимальная самоотдача, только без примеси тревоги.

Раньше контакт с электронным ангорским котом наступал так естественно и быстро, что Дану в голову не приходило анализировать собственные ощущения. Тем более размышлять о том, как же это происходит у других — так ли легко? Или его, Арсиньегаса, пси-структуру снять так несложно ввиду ее крайней примитивности — ведь срисовать гипсовый куб несравненно легче, чем Венеру Каллипигу? Тогда Мясокомбинат прав. Проблема надежности колес и манипуляторов на порядок ниже проблемы целостности рук и ног. Сида хватило на второе, Дана — только на первое. Примитивное механистическое мышление — это не тот аппарат, который стоит предлагать вместе с чистым сердцем и умелыми руками на период двухмесячного отпуска... Во всяком случае, здесь.

— Вы готовы, пациент? — он и не заметил, как сестра ушла за перегородку. Смотровая щель, через которую, впрочем, видно такое же, как и у него, кресло и такой же шлем. И марлевая повязка до самых глаз — неподвижных, немигающих, неправдоподобно светлых глаз, где только четкий темный ободок отделяет радужную оболочку от голубоватого белка. Говорят, такие же стоячие, ледяные глаза были у проклятого короля Филиппа Красивого.

— Я готов... сестра.

— Доктор Уэда разрешил вам вписать в память значительный мнемообъем, но с вечера вы ничего не заказали...

Он обычно пользовался этой возможностью и, благо шлем на голове, а снимки делались каждые два-три года, механически «вписывал» себе в память то классическую латынь, то теорию вислучайностей Чиппипхолда, то драмы Корпеля. Последнее, правда, он сделал напрасно — за кулисами давно уже было подмечено, что роли и партии, вписанные в мозг механически, удачи не приносят. Но ведь по-настоящему крупных удач у него не было и среди тех ролей, которые он подготовил естественным путем...

— Бог с ними, с мнемоединицами. Делайте снимок.

— Но доктор Уэда оставил для вас вот это,— сквозь смотровую щель видна надпись на кассете — «Методика постановки

эксперимента в естественных условиях околополярных областей Марса».

Разрешение в медицинской карте, шлем на голове, никаких физических усилий. Правда, потом придется взглянуть на этот текст глазами, для закрепления, — но даже не читать. А сейчас от него требуется только ЗАХОТЕТЬ ПРИНЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ.

— Спасибо, сестра, что-то не хочется.

Спокойные, не способные ни удивиться, ни опечалиться глаза. Если бы на ледяном Юпитере существовали какие-нибудь сапиенсы, у них были бы такие же телескопы, это факт. А вот голос и совсем неожиданный — глубокий, вибрирующий. Хорошо поставленный голос. И странное ощущение, как будто он уже видел когда-то и эту фигуру и глаза, и слышал это контральто, но все это активно противилось тому, чтобы быть соединенным в один образ, эти волосы Сольвейг, голос негритянки Олимпии Батт и движения... да, принцессы Береники, не иначе.

Не компоновалось это в одну реальную женщину.

— Пациент, сосредоточьтесь, пожалуйста, — даю пятиадцатисекундную готовность.

Ну наконец-то. Щель сомкнулась, свет начал медленно угасать. Еще немного, и на несколько минут (а может — долей секунды) он останется в полной тишине и темноте. Может быть, это не свет выключался, а он сам переставал видеть и ощущать. Сейчас он попытался поймать этот миг отсоединения от внешних раздражителей, как в детстве ловил и не мог поймать момент перехода ко сну. Но сознанию не за что было зацепиться — все внутри бокса было белым, гладким... Даже дверь. Дверь без ручки. Черт, абракадабра, пошло выключение сознания... Нет. Вот еще секунда. Еще. Дверь без ручки — здесь? Бессмыслица. А, вот и гаснет... дверь... дверь, через которую нельзя пройти... туда... дверь в никуда... дверь...

Так худо ему не было даже после аварии, когда он четыре часа проболтался в ледяной воде и уже не чувствовал ни клеточки своего тела. Сейчас было как раз наоборот — он ощущал все то, что в нормальном состоянии человеком не воспринимается: и тяжесть неповоротливого, затекшего тела, и шум крови в ушах, и неритмичность дыхания, и расплывчатость всех предметов перед глазами... Все это он воспринимал как расфокусировку аппаратуры, составляющей комплекс его тела, и было просто удивительно, как это доктор Уэда провозился с ним столько времени и не смог обеспечить ему приличного запаса прочности.

Минимальное напряжение — и все полетело к чертям. Шок не шок, а состояние препоганое. Хорошо еще, память в порядке... А в порядке ли? Перед тем как отключиться, он думал о чем-то необыкновенном. Необыкновенно важном. Он был полон ощущением значимости, первостепенности своего открытия, которое должно было перевернуть всю его дальнейшую жизнь. Необыкновенность...

Это напряжение стоило ему еще нескольких минут беспамятства, и в себя он пришел от легкого звона — так звенят льдинки, ударяясь о борт гидромобиля. Когда льдинок много, они превращаются в ледяную кашу, теряют свою единичную звонкость, и в их суммарном шорохе всегда можно услыхать отчетливое: Арсиньегас... Арсиньегас...

— Дан Арсиньегас!

Его уже зовут, а он еще не вспомнил. Это НЕЧТО, такое огромное, ворочается в его сознании бесформенной, неопознаваемой тушей; оно слишком близко, чтобы его можно было рассмотреть, — это словно книга, которую пытаешься прочесть, держа ее на дюйм от зрачка. Строчки сливаются в расплывчатую сетку, и больно глазам. И еще это похоже на мнемовпечатку, когда в первую минуту пробуждения даже толком не помнишь, что же такое подарили твоей памяти, а берешь томик Корнеля, из которого пока не помнишь ни звука, и не читаешь — пробегаешь глазами страничку, эти ни с чем не сравнимые по гордости строфы:

«...Будь Сидом; этот звук да рушит все преграды,
Да будет он грозой Толедо и Гранады...»

и вся страница, от первой до последней строки, словно проявляется в наполненной раствором кювете; слова четки и звучны, они и видны, и слышны, и врезаны в твой мозг отныне и навсегда.

Но открыть книгу необходимо — иначе воспоминание так и останется смутным контуром чего-то не распознанного.

Он снова слышит льдистый шорох, но теперь это не шепот, а просто шуршанье накрахмаленного платья, и перед ним уже стоит женщина, — впрочем, это всего лишь сестра, та самая сестра с царственными жестами и глазами Филиппа Четвертого.

И тут его захлестнула волна жалкого, щемящего отчаянья. И даже не потому, что его молодое, упругое тело, чье совершенство было естественным и привычным настолько, что даже не возникало сомнения в неизменности этого совершенства, — даже не потому, что это тело в какие-то дели секунды превратилось в подрагивающий комок неуправляемой биомассы; в конце концов, на то и

существуют суперврачи вроде Сиднея Дж. Уэды с их суперклиниками, чтобы поставить на ноги любую человеческую развалину. Но ведь именно тогда, когда венец природы становится развалиной, перед ним с каким-то утонченным, садистским злорадством подымается на своем тонком гадючьем хвостике непрошеный вопрос: ну и кому же теперь ты нужен — вот такой? Нет, не через две недели, снова выпяченный и доведенный до богоподобного совершенства, а именно такой, теперешний, во всем непотребстве своей беспомощности, — кому?

Он пытался бороться с этим наваждением, силился вскрыть панцирную корку, укрывающую пеструю свалку его памяти. Но мозаичные искрящиеся осколки мелких побед были надежно сцементированы холодным любопытством и свинским равнодушием. Он знал, что где-то там, в глубине, еще теплятся солнечные зайчики, чьи контуры четки и оттенки незамутнены, — воспоминания той неправдоподобной поры, когда все самое святое и прекрасное бесшабашно зашвыривалось в угол, «на потом». А когда наступило-таки это «потом», само собой оказалось, что щенячья жадность плюс мальчишеская боязнь стабилизированных отношений уже переросли в постоянно действующий синдром одиночества. Одиночества? Нет! Нет!!! Господи несуществующий, всю жизнь можно сладострастно и словоблудно алкать великомученичества, но когда тебя действительно поволокут на костер или к проруби, — нет! Не-е-ет!..

Спокойные, внимательные глаза приближаются к нему. Вот все, что теперь ему отпущено, — доброта, предписанная клятвой Гиппократа. Доброта одной из тысяч сестер к одному из миллионов пациентов. Доброта, у которой вместо лица — стерильная маска.

— Маска... Да снимите же маску... — он никогда не думал, что едва заметное движение губ может отнять столько сил. Кресло мягко проваливается куда-то в дымную, дурнотную глубину, и в этом лиловом мареве каменеют над ним сотни неестественно выпрямившихся ледяных фигур, и сотни глаз, не мигая, вперились в него, и сотни марлевый масок падают, падают, падают, падают шелестящим снеговым роем, и сотни лиц...

Лицо. Замирающее от страха быть неузнанным, милое, единственное, любимое лицо. И чудо появления этого лица именно сейчас, в миг самого страшного и непереносимого в жизни отчаянья.

И только после этого — имя.

С радостной, поспешной готовностью его память отдавала настоящему все чудом сбереженные крохи прошлого — и тот

дождливый, неприкаянный вечер провалившихся с треском школьных каникул, и ступени пологой лестницы, на которой их кто-то познакомил, и бестолковая суета недоодетых и недогримированных мальчишек и девчонок — неразбериха, предшествующая любительскому и заранее обреченному спектаклю; и ее лицо во втором ряду — недетское спокойное лицо, которое он потом с такой страстной яростью клял, боясь увидеть еще раз, и обожествлял, разыскивая всю оставшуюся жизнь.

Но так и не увидел больше ни разу.

Он научился лгать самому себе, говоря, что это была лишь случайная встреча, четырнадцать лет назад задевшая его самолюбие. Но сейчас то, что они встретились снова, не могло быть простым случаем — это было волшебство, и не поверить в него было бы смертным, непоправимым грехом. И он знал, что никогда не совершит этого греха, ибо не расстанется с этой женщиной ни на день, ни на час, ни на миг. И если на их пути встанет смерть, — он не переживет эту женщину.

Ни на день. Ни на час. Ни на миг.

Эта мысль не выросла из воспоминаний и не пришла вслед за ними, — нет, она существовала с самого начала, с момента пробуждения, а может быть, и ранее; быть может, неосознанная и неоформившаяся, она возникла в его мозгу как раз четырнадцать лет назад и только ждала этой встречи, неминуемой, как возмездие, ибо если на земле извечно существовал закон бытия, карающий горем за зло, так должен же был, в противовес ему, существовать другой, по которому за однажды принесенную великую радость воздавалось счастьем...

Эта мысль еще не успела выпасть четкими кристалликами слов из того первичного внесловесного хаоса ощущений и понятий, который предшествует подобной кристаллизации, — как он уже устыдился и ужаснулся этой мысли, ибо она принадлежала прежнему Арсиньегасу, еще не пережившему этого пробуждения, еще не задыхавшегося при виде этого удивительного любимого лица, сбереженного его памятью за полтора десятилетия. И он смел подумать, что тогда, в каникулы великих дождей, он принес ей радость! Ах ты, мелкий бонвиван, кавалер Фоблас космического века! Спору нет, бывало — облагодетельствовал своим вниманием несколько десятков разнокалиберных дурочек. Бывало. Доставлял им «радость великую» — величины, правда, самой разнообразной, от нежных бесед и до... Вот именно, до. И включая. И сохранил, укоренил в своей памяти это хамское, самовлюбленное чувство «приношения радости».

И вот теперь этими нечистыми лапами воспоминаний, обмаранный фобласовской терминологией, он влез в дождливое лето неудачных каникул... Как посмел он подумать, что она, эта девочка из второго ряда полутемного школьного зала, девочка с загадочными глазами древних королей, — что она радовалась его вниманию, что она вообще помнила о нем все четырнадцать лет?

Он сделал над собой усилие, чтобы прогнать мучившую его слабость и дурноту и понять наконец, кем стала для него эта женщина — и кем может стать для нее он? И понял одно: она тоже ждала его и любила все эти годы. Все четырнадцать лет. И опять-таки это не было следствием рассуждений или воспоминаний — это было так, словно с момента пробуждения где-то на внутренних стенках его души уже было написано огненными буквами: «Она любила меня...» И теперь ему оставалось только сосредоточиться, внутренне прищуриться — и прочесть эту надпись.

Вероятно, он и в самом деле прищурился, потому что лицо, застывшее перед ним, вдруг стало удивительно четким, реальным; и, вглядевшись в это лицо, он только сейчас понял, что она ждет чего-то, ждет именно от него, а так как он не знал, чего же ей от него нужно, он решил рассказать ей обо всем, что он вспомнил и передумал за эти минуты, но сил не было, и все, что он только в силах был сделать — это прошептать ее имя:

«Сарри... Сарри Сааринен...»

Но это как раз и было то, что она ждала, ждала так, что покачнулась, и ему показалось — она падает навзничь, а у него не было сил, чтобы броситься к ней; но она не упала, а наоборот — стремительно рванулась к нему, и не обняла — схватила за плечи, как хватают ребенка, который чуть было не упал в колодец...

Доктор Уэда выбрался в коридор и прислонился к стене. Поймал себя на желании опуститься прямо на пол. Две молоденькие сестры в одинаковых длинных халатах бросились к нему — он отмахнулся и побрел к себе в кабинет, на ходу сдирая перчатки. Когда это он собирался отправить себя на помойку? А, шесть лет назад, в последнюю свою встречу с Даном.

Шесть лет назад он был свежим и хрустящим, как огурчик. А теперь и речи быть не могло о том, чтобы приступить к операции.

Хотя — кто бы вообще мог сделать ТАКУЮ операцию?

Он нащупал тумблер звукового канала — не видео, нет, глаза его на это не глядели. Не приказал — попросил:

— Шерелис, замените меня.

Но по тому, как сразу же стих тревожный, шелестящий шепоток, — в операционную набилось как-никак человек двадцать, — он понял: у стола Шерелис его заменит. Но решать должен он сам.

Почему, черт побери, почему решать ему, если он во всем этом абсолютно не виноват? За что ему эта кара?..

— Подождите, Шерелис, подождите минутку...

Он попытался взять себя в руки. Как будто это возможно, когда случается то, чего ты и в мыслях-то не допускал! Не допускал и тогда, когда одновременно пришли сразу две фонограммы. Они до сих пор лежат на письменном столе, первая — поразившая его своей неуместной придурковатостью: «Вылетаем вместе. Готовься к феерической встрече. *Дан Арсиньегас. Дан Арсиньегас*».

Он припомнил, что тогда, шесть лет назад, Дан улетел с Мерилайнда, не дождавшись его возвращения. Просмотрев историю болезни, Сидней почувствовал профессиональные угрызения совести. После катастрофы с сотрясением мозга не следовало разрешать Дану впечатывать какие-то там инструкции по Марсу. Тут они оба поторопились. Правда, до сих пор ни у кого в подобной ситуации не возникало осложнений, но вот Дан, судя по записям, провалялся в санаторном отделении еще полтора месяца. И улетел вместе с этой рыбоподобной Сааринен почему-то как раз накануне того дня, когда доктор Уэда должен был вернуться с материка...

Вторая фонограмма была более определенного содержания. Дежурный врач Новозеландского космопорта с предельной точностью, но и с явно проступающей растерянностью сообщал, что сегодня в одиннадцать ноль три старший механик парка вспомогательного наземного транспорта космопорта Дан Арсиньегас запросил разрешение на вылет в сторону Мерилайнда на машине собственной конструкции с биоуправлением. На борту имелся пассажир. На взлете гидромобиль потерял управление. Машина разбилась, пилот и пассажир погибли.

Если бы на этом была поставлена точка!

Жена Арсиньегаса, сестра космодромного медпункта Сааринен, применила глубокую гипотермию, и в настоящий момент тела пострадавших на скоростном санитарном мобиле направляются в Мерилайндскую клинику. Частное мнение врача — реанимация невозможна даже с максимальным использованием доноров. Предварительное заключение начальника космопорта: так как

пассажир мобиля был идентичным близнецом пилота, то экспериментальная биотоковая система управления настроилась одновременно на два источника команд, и поэтому они были для нее неразличимы. Не исключено, что пассажир так и не догадался, какую роль он невольно сыграл в этой аварии.

Шевельнулись ли хоть какие-нибудь подозрения в голове Сиднея, когда он получил и вторую фонограмму? Да нисколечко. Он твердо верил в то, что невозможное — невозможно.

Первое смутное предположение, соответствовавшее действительности, возникло у него лишь тогда, когда он затребовал из хранилища контейнер с донором 19-М из камеры № 2446.

Донор не имел ни малейшего сходства с Даном Арсиньегасом.

Впрочем, как не было у Дана и идентичного брата-близнеца, — уж это-то Сидней знал точно.

А потом санитарный мобиль опустился на крышу операционной, и последовало несколько минут стремительной, но строго упорядоченной суеты, предшествующей каждой операции повышенной сложности, когда люди, киберы и датчики компьютеров занимают свои четко распределенные места, а он, царь и бог этого снежно-блистательного Олимпа, все не мог поверить, что эти два тела, распростертые перед ним, — это два Дана Арсиньегаса, из которых шесть лет назад один был донором другого.

Невозможно!

Но когда он наконец был вынужден признаться себе, что невозможное все-таки совершилось, он не испытал ничего, кроме бескрайнего изумления, — еще бы, форменное чудо! И еще чуточку досады — ведь кто-то додумался. И не он, Сидней Дж. Уэда. И не кто-то, а эта фанатичка Сааринен...

Эти мысля мелькали где-то на втором плане, потому что главное, чем он был занят, — это попытка найти хоть какой-нибудь шанс на спасение одного из этих двоих. Если бы у этих пациентов были доноры — другое дело, это обеспечивало бы искомый шанс. Но в сложившейся ситуации единственный выход заключался в том, чтобы один из этих Арсиньегасов стал донором для второго. И это давно уже поняли все, кто был в операционной. Теперь надо было решать — кто? И решать быстро. Промедление — гибель обоих.

Уэда покосился на табло кибердиагностера. Хорош помощник: выкинул белый флаг — «оба варианта равно-возможны» — и отключился. Но это сейчас последней санитарке понятно. Нужно же выбрать! Предположим, донором будет ЭТОТ — атрофия

некоторых мышц, вероятно, следствие нескольких десятилетий, проведенных в контейнере, где никакие тренажи полностью не воссоздают нормальную мышечную нагрузку... Но пребывание на Марсе, где сила тяжести меньше земной, тоже ведь дает аналогичную картину. Вот, пожалуйста, — ТОТ тоже с недоразвитыми мышцами... Космический загар? А поди отличи его от загара антарктического! И ЭТОТ, и ТОТ могут похвастать загаром, не характерным для обычных людей... А, вот: у настоящего Арсиньегаса должен сохраниться шрам шестилетней давности — след аварии, приведшей его на Мерилайнд... М-да. Это можно было предвидеть. Оба они по праву называются Арсиньегасами — на каждом не меньше полудюжины шрамов. Одинаковые характеры с одинаковыми последствиями. Сопоставить с имеющейся в архиве историей болезни? Можно, но — время. Время! Неужели нет способа мгновенно и безошибочно отличить настоящего Арсиньегаса от ненастоящего?

Настоящего — от ненастоящего...

Вот когда пришел ужас.

Когда он, Сидней Дж. Уэда, главный хирург и заведующий Мерилайндской донорской клиники, гуманнейший человек гуманнейшего из обществ, поймал себя на безотчетном, но категорическом разделении этих двоих на две категории — высших и низших, подлинных и поддельных, достойных жить и обреченных умереть. И тогда он выбрался в коридор и прислонился к стене. И еще одна мысль, одолевающая всех слабых людей в такие решительные минуты, не давала ему покоя: почему это свалилось именно на меня? Почему решать за всех должен именно я?!

Когда автоматические каталки, унося два безжизненных тела, скользнули в операционную и створки двери за ними медленно сомкнулись, Сарри осталась совсем одна в огромном приемном покое, словно специально предназначенном для того, чтобы в ожидании исхода тяжелой и долгой операции бесконечно кружить по его чуть поскрипывающему полу, отмеряя из одного угла в другой шестьдесят шагов. Сарри знала это совершенно точно: шестьдесят шагов. Доктор Уэда любил повторять: «Ожидающий исхода операции находится почти в таком же тяжелом состоянии, что и оперируемый». Поэтому к ожидающим всегда выходил кто-нибудь из младшего персонала, чтобы вместе кружить по этому овальному, затененному широколиственной зеленью покою.

К Сарри не вышел никто, и она была благодарна за это. Ей не нужны были никакие объяснения, она с точностью до секунды

знала, когда тела будут перенесены с каталок на столы, сколько еще потребуется для дезинфекции кожи, выдачи рекомендаций кибердиагностером и прочих предварительных процедур, А люди уже давно наготове. И вот сейчас, в этот самый миг, они приступают...

Еще несколько секунд. Уже приступили.

Значит, выбор сделан — выбор беспристрастный и безжалостный, потому что никто из тех, кто был причастен к этому выбору, не мог быть пристрастным хотя бы в силу своего неведенья: для всех них оба Арсиньегаса были совершенно одинаковы. Она одна могла бы мгновенно и безошибочно найти СВОЕГО Дана. Но выбор уже сделан. Теперь ей остается только ждать — бесконечные часы смертной муки за другого. А потом на стенном экране появится утомленное, но обязательно благодушное личико старшей сестры, в обязанности которой входило вещать своим милым голоском: «Ну а теперь отдыхайте — все обошлось. Операция была на редкость удачной, сам доктор Уэда...» На измученных ожидающих этот небесный голос действовал безотказно — они мигом «выздоравливали от сопереживаний».

Операция будет удачной. В доктора Уэду она верила, как в бога, — уж если есть один-единственный шанс, то операция будет «на редкость удачной», не меньше. И только для нее, Сарри Сааринен, эта традиционная мажорная формулировка будет пустым звуком — она не будет знать главного: выжил ли ЕЕ Дан? Ей было бы достаточно одного взгляда, достаточно не шепота — лишь звука его дыхания. Но Мерилайндская клиника навсегда закрыта для нее, потому что именно здесь она совершила свое... преступление? Или открытие?

Судя по тому, что никто к ней сейчас не вышел, — первое. Сарри зябко повела плечами, — оказывается, на ней все еще была накинута нерпичья шубка, в которой она бежала от дома до посадочной площадки космодрома, где рухнул гидромобиль; она бежала, зная только одно: разбился ее Дан, и все остальное было недоступно ее слуху и сознанию.

Разбился ее Дан. Человек, который был для нее тем, чем не мог быть ни один мужчина всего света ни для одной из женщин Вселенной. Ее Дан — бездушное тело, лишенное сознания существо, одно из миллионов тех, кто, подобно напророченному макбетовской ведьмой, «не был женщиной рожден»; неодушевленная оболочка, в которую она сумела вложить бесплотный отпечаток души настоящего Арсиньегаса. Это оказалось так просто, так просто! Нужно было только прождать всю жизнь эту случайную

встречу с человеком, промелькнувшим в один из дождливых августовских вечеров ее школьных каникул; нужно было терпеливо, год за годом, десятилетие за десятилетием, ждать повторения этой встречи и, дождавшись, понять, что это все и третьей случайности уже не будет, и что сейчас, не узнав, не припомнив, не угадав ее неистовой и затаенной любви, он пройдет мимо и исчезнет в широколиственном шорохе августовского школьного парка...

Она пережила все это, и этого оказалось достаточно, чтобы в ее мозгу четко и ясно определилось решение проблемы, на которую ни одному мировому светилу не хватило не таланта, не эрудиции — нет, просто интуиции.

Решение сформулировалось, когда она подслушала слова доктора Уэды: «Мозг донора не хочет просыпаться...» И она поняла.

ДЛЯ УСПЕШНОГО НАЛОЖЕНИЯ СНИМКА ПСИСТРУКТУРЫ НА ДОНОРА НЕОБХОДИМО В ПАРАЛЛЕЛЬ ДОНОРСКОМУ МОЗГУ ПОДКЛЮЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО МОЗГ ЧЕЛОВЕКА, СПОСОБНОГО СОЗДАТЬ ДОСТАТОЧНО МОЩНОЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ПОЛЕ ЖЕЛАНИЯ ВОСПРИНЯТЬ ПЕРЕНОСИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ.

Шесть лет назад эта формулировка сама собой возникла в ее сознании. Гениальное открытие? Может быть. Не важно.

Но она не просто перенесла на донора все мысли и чувства настоящего Арсиньегаса. Иначе она получила бы второго Дана, который ушел бы так же безоглядно и бесповоротно, как и первый. Она сделала небольшой, совсем небольшой мнемовкладыш: заставила его припомнить тот августовский вечер, и ее, девочку из второго ряда полутемного зала, с которой он теперь и до самой смерти не должен был расстаться ни на день, ни на час, ни на минуту, потому что не было ни дня, ни часа, ни минуты, которые эта девочка прожила бы без любви к нему.

Дан очнулся с этой мыслью. Шесть лет прожил с этой мыслью. Шесть лет. Только шесть лет. И — все, все, все! Как узнал о них тот, настоящий, которого она теперь боялась больше смерти, больше разлуки, больше одиночества? Тот, от которого она теперь так искусно пряталась, за которым так неусыпно следила и которому желала теперь только одного — исчезнуть, раствориться в Пространстве, сгинуть! Как совсем еще недавно с девичьим исступлением молила о чуде — о второй мимолетной встрече, так теперь она с ненасытной жадностью похитителя была готова любой ценой — любой! — уберечь свое странное, ею самой нашептанное счастье. Темными августовскими ночами ей даже казалось, что,

окажись тот, первый, в ее неограниченной и безнаказанной власти, — она велела бы распять его у себя на глазах. За все одиночество ее юности. За нескончаемый страх этих шести лет.

Но когда она, придерживая на плечах норичью шубку, добежала до обломков мобиля, одного взгляда было достаточно, чтобы все стало, как шесть лет назад: он опять прошел мимо, не узнав, не припомнив, и теперь уже — навсегда.

И ни воли ее, ни вины не было в том, что сначала у нее вырвался крик по любимому, и только потом — по мужу.

И вот теперь здесь, в этом зале, таком огромном и пустом, что кажется, его нарочно возвели для того, чтобы в нем человек начинал привыкать к свалившемуся на него одиночеству, — и здесь она не смогла удержаться от такого же крика, когда прямо перед ней полыхнул вдруг голубым пламенем внезапно оживший экран и она увидела на нем самого доктора Уэду.

Все.

С начала операции прошло каких-нибудь десять минут, и на экране не старшая сестра, непременный добрый вестник... Кого бы они ни пытались там спасти — и этого не удалось.

Сарри знала, что надо повернуться и уйти, не дожидаясь, пока доктор Уэда заговорит. Но для того чтобы пошевелиться, нужны были не силы, не воля — нужно было просто быть живой.

А жизнь уже кончилась — секунду назад.

Потому она и не может идти прочь, и стоит, окаменев, и в том, что она слышит голос доктора Уэды, нет чуда — ведь еще древние догадались, что несколько мгновений после смерти человек воспринимает звуки, и возле мертвых всегда говорят шепотом...

— Сестра Сааринен,— голос доктора Уэды звучит властно и оглушительно, как приказ по космодрому.— Сестра, вы сейчас пройдете в операционную. Вы знаете, кто там находится. Нет, помощи от вас не потребуется. Вас даже не спросят, кто из этих двух Арсиньегасов нас... шесть лет назад был настоящим. Сейчас они равноправны. Но в данной ситуации из двух совершенно одинаковых вариантов нужно выбрать того, кто станет донором. А другой будет спасен. И этот выбор сделаете вы. Вы, Сарри Сааринен.

Он смотрел на нее с экрана, ожидая ответа. Он приготовился к тому, что этот ответ будет самым неожиданным, от рыданья до смеха. Но того, что произошло, он не мог ожидать,— Сарри бросилась к не успевшей еще раскрыться двери, ударилась о нее

всем телом, словно ослепшая птица, и, когда створки наконец раздвинулись, она помчалась по коридору, по ступеням, мимо ординаторской — до самого порога операционной.

Только бы не остановиться, только бы не запнуться, только бы не споткнуться...

Только бы не позволить себе передумать.

Осторожно, по больничному звякнул сигнал вызова. Дан усмехнулся, хрустнул суставами, подымаясь, и выжал на никелированной спинке своей койки вполне приличную стойку. Потом оторвал левую руку от блестящей металлической дуги и успел ткнуть пальцем в кнопку приема, когда правое плечо свело от нестерпимой боли.

— Костоправ деревенский, — прошипел он появившемуся на экране Сидпею, — Видишь, как у тебя клиента прихватывает? Не мог склеить по-людски... Ноги моей больше здесь не будет!

— Тела, голубчик, тела. И безгласного притом.

— Ах, извини. Рассыпаюсь в благодарностях!

Сидней искренне рассмеялся:

— Как же, от тебя дождешься. Такие, как ты, только и думают, как бы побыстрее улизнуть. Даже не сказав спасибо.

— Давай без инсинуаций — в прошлый раз тебя и в клинике-то не было, когда я улетал. Так что — не виновен!

— Я не о том; — быстро проговорил Сидней.

Он всегда переводил разговор, когда речь заходила о прошлом. Он не хотел услышать ничего такого, что могло бы решить вопрос: кто же из двух Арсиньегасов остался в живых? Дан тоже старался избегать этой темы, но иногда получалось вот так, как сейчас, — нечаянно и... безопасно. По-настоящему опасным разговор стал только однажды, когда Дан в упор спросил о том, втором.

Сидней, не моргнув, ответил, что от второго осталось только мокрое место — и реанимировать-то было нечего. Ответ был отрепетирован заранее и даже интонационно прозвучал вполне правдоподобно. Дан помрачнел и о тех пор вопросов не задавал.

— Я, собственно, о том, — продолжал доктор Уэда, — что, если тебе здесь невмоготу, можешь катиться на все четыре стороны. Я тебя сегодня после утреннего обхода уже выписал.

— Шутишь? — без особой радости проговорил Дан. Казалось, он хочет спросить еще о чем-то, но не решается.

— Не шучу, — вздохнул Сидней. — Выкатывайся.

И отключил свой экран.

Он медленно шел по увитой плющом галерее, где обычно гуляли выздоравливающие. Но сейчас наступило время послеобеденного отдыха, и галерея опустела. Что бы там ни было, а нужно попрощаться. Он отключился слишком поспешно, это отдавало элементарной трусостью. Надо попрощаться. Сейчас Дан переодевается, минуты через три-четыре он уже будет на маленьком деревянном крыльце, ступени которого выходят прямо к зеленоватой воде теплой Мерилайидской бухты. Отсюда, от этой некрашеной легкой дверцы, которая так упруго и охотно захлопывается за бывшими пациентами клиники, убегают опрометью все те, кому до смерти не терпится поскорее вырваться обратно, в огромный, шумный и опасный мир, чуть было не утраченный ими; и здесь, на резных перильцах, как правило, поджидают своих бывших подопечных сестры и врачи, и чем тяжелее было это возвращение от полумертвого тела к живому человеку, тем многочисленнее бывали проводы.

Сидней собственноручно вынянчил Дана во второй раз, и его появление на «прощальном крылечке» было естественным. Придут, вероятно, еще две-три сестрички, дежурившие возле Дана по ночам, — добрая традиция их клиники.

Но когда он завернул за угол и вышел на посыпанную галькой дорожку, он даже остановился. Здесь, на сбегавшихся со всего сада аллеях и тропинках, он увидел не двух сестричек. Здесь собрался абсолютно весь персонал клиники, свободный в эти часы.

Все без исключения.

Те, что были ближе к крыльцу, сохраняли бодрый и непринужденный вид, — вот-де, какие мы, с того света вытащили. Теперь не грех и руку пожать на прощанье.

Те, кому такая непринужденность давалась труднее, расположились поодаль, под розовыми папоротниками японских мимоз. Их лиц доктор Уэда разглядеть не смог, но в позах проступало явное смущение. И все-таки при виде директора клиники никто не сделал попытки уйти. А вот ему очень хотелось бы это сделать. Потому что он признался себе: он, как и все эти, пришел сюда только для того, чтобы узнать: кем же был ЭТОТ Дан Арсиньегас? Никто не знал, каким образом это обнаружится, но каждый надеялся на какой-нибудь случай. И он, Сидней Дж. Уэда, ничем не отличался от всех остальных. То же холодное, омерзительное любопытство: а все-таки — настоящий или нет?

Чтобы не встретиться ни с кем глазами, Сидней с деланным равнодушием принялся рассматривать хрупкую скорлупку гидромобиля, дожидавшуюся своего хозяина у деревянного причала.

И тут он увидел Сарри. Она стояла поодаль, у самой воды, не то просто прислонясь, не то прячась за стволом дерева. Откуда она узнала? Зачем пришла? На что надеялась?

Он ненавидел эту женщину. Он не завидовал тому, что она раскрыла как будто бы нераскрываемую тайну, — нет; он не простил и никогда не простит ей то, что первого в истории Земли не рожденного, а рукотворного человека она с первого же мига его существования сделала ненастоящим. Ведь был же у нее Дан, сидел в кресле — могла бы внушить ему эту самую неземную любовь. Так нет — рука не поднялась на того, единственного, настоящего.

А бездушная кукла — этот сгодился. С этим было не страшно. Он еще не сделал первого вздоха, у него еще не толкнулось в груди сердце, а она уже раз и навсегда обрекла его быть ненастоящим. Потому что вложила в него любовь, как впаивают в схему транзистор. И теперь стоит здесь с самым спокойным, самым непроницаемым, самым бесстрастным лицом.

Гулко хлопнула деревянная дверь — Дан выбежал на крыльцо.

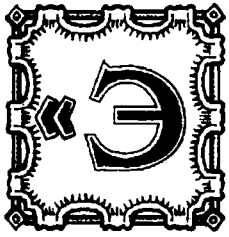
Десятки людей толпились вокруг, и ему хотелось сказать всем им что-то теплое, выходящее за рамки традиционной благодарности, но что-то странное в лицах этих людей остановило Дана.

Доктор Уэда ошибался — на их лицах не было жадного любопытства. Это было совсем другое — какая-то строгая требовательность, ожидание, которое невозможно обмануть... Но в следующий миг Дан уже забыл о всех них, этих людях, вернувших ему жизнь и молодость. Потому что вдалеке, под старым платаном, стояла женщина со спокойным родным лицом, забыть которое он не мог ни на день, ни на час, ни на миг. И, смеясь от счастья, как мальчишка, он подбежал к ней, одним движением поднял ее высоко на руках и понес так по скрипучим сходням. И так тихо было у него за спиной, что он не выдержал и обернулся.

И увидел, как молча и торопливо расходятся люди в белых халатах, как, опустив головы, исчезают они в затененных аллеях больничного сада.

# НЕ КРИЧИ: ЛЮДИ!

Столица рухнет и погибнет скот,
Падет огонь, тяжелый, как секира,
И преосуществление придет
Из темного, неведомого мира.
*Предсказание Архани*



тот дневник не является официальным документом и не может быть приобщен к отчету о моей экспедиции. Я решил вести его после того, как на третий день проверил записи автоматического бортжурнала. Совершенно очевидно, что их недостаточно для того, чтобы впоследствии проанализировать все допущенные мной ошибки. Первой из них было то, что я не начал вести параллельный дневник еще на орбите. Аналогичных просчетов я допущу еще немало и не намерен извинять их своей молодостью и неопытностью — как-никак не прошло и года с того дня, когда я по праву рождения был приглашен в Совет Звездного Каталога. Может быть, первейшей ошибкой было то, что я не отказался от этой высокой должности, как в свое время сделала моя мать. Не знаю. Будущее покажет.

И вот я уже третий день нахожусь на поверхности Кынуэ-4. Сутки здесь коротки, и я едва-едва успеваю собраться с мыслями, четко классифицировать свои ощущения, сделать какие-то предварительные выводы и хоть немного отдохнуть, как наступает утро.

Время наблюдений. Я выхожу из корабля.

Он спрятан надежно, невидимость его заведомо гарантирована. Мой типовой скафандр неуязвим и тоже невидим. Когда я буду готов к контакту с аборигенами, мне придется изготовить индивидуальный квазигуманоидный скафандр, но над его конкретной формой еще придется поломать голову. Поселение, на окраине которого я расположился, весьма велико и заселено крайне неравномерно. Там, где я нахожусь, плотность аборигенов на

единицу площади так незначительна, что я фиксирую каждый отдельный биоимпульс. Степень их интравертности просто катастрофична. Практически каждый индивидуум — это психоэнергетический гейзер.

Мне ничто не грозит. Выбор стоянки был произведен строго по инструкции — в месте, недоступном для аборигенов. В плоскости естественных передвижений жителей данного поселения выбрать такой участок было практически невозможно, так как неполовозрелые особи проникают практически повсюду, и действия их непредсказуемы. Подземных убежищ необходимой величины обнаружить не удалось, поэтому пришлось перейти на следующий горизонтальный уровень — верхние перекрытия жилищ, не посещаемые аборигенами. По инструкции здесь основным критерием пригодности должно было стать безукоризненное качество площадки, так как в случае экстренного ремонта производящие его особи несомненно наткнулись бы на невидимую, но ощутимую массу корабля.

Исходя из вышеизложенного, мною было выбрано отдельно стоящее строение с перекрытием сложной конфигурации. Блестящий защитный слой, нанесенный, по-видимому, с помощью простейших левитирующих приспособлений, предельно свеж и в течение отрезка времени, отведенного мне на исследование цивилизации Кынуэ-4, ремонта не потребует.

Строение окружено редкими растениями, стебли которых в восемь-десять раз превышают мой рост (без скафандра). Никаких хлорофиллонесуших придатков на стеблях не имеется, но судя по наблюдениям с орбиты, это явление сезонное. И мне как раз предстоит наблюдать смену сезонов.

Микролиигван, вмонтированный в скафандр, легко усвоил структуру языка и словарный запас аборигенов. Я мог бы получать вполне удовлетворительный перевод, но зафиксированные реплики сплошь и рядом лишены смысла и логики, например: "Как поживаешь?" — "Да так". (?) При этом смысловая и эмоциональная составляющие пси-спектра абсолютно не коррелируют с аудиорядом.

Я, метапсихолог Совета Звездного Каталога, не способен понять простейшую речь варваров.

Порой мне становится страшно».

Кладбище, казалось, растекалось вширь, как переполненный половодьем пруд, и грозило вынести ноздреватый стариковский снег, крытый корочкой льдистой коросты, прямо на уже

отлинявшие просохшие улочки, отгороженные от святой земли хрупкой спичечной оградой. Зимой оно смирялось с людским беспамятством и безропотно стыло, не надеясь на то, что меж одинаково заснеженных холмиков завьется цепочка следов, неприкасаемых от одного снегопада до другого. Деревья, уже много десятилетий переставшие прибавлять в росте, достаивали свой век омертвело и безразлично, предоставляя разбойничьему западному ветру выбирать, кого рушить по осеннему ненастью, а кого помиловать еще на год.

К весне кладбищем овладевало отчаяние. По мере того как из-под снега проглядывали сиротские холмики безымянных могил, крытые бурой шкуркой прошлогодней травы, вне кладбищенской ограды начинали появляться линялые цветы из вощеной бумаги, невесомые скелетики еловых лапок, обрывки траурных лент, едва присыпанные перхотью позолоты. Кладбище, как юродивый, трясло убогим скарбом, пытаясь привлечь внимание людей и пробудить в них стылую память, но напрасно: здесь, в северной его части, уже много лет и не погребали, и не подхоранивали. И не растекалось оно, как ему самому порою казалось, а наоборот, отступало, сжимаясь от каждого человеческого писка, и отдавало ряды так и не привеченных никем могил то под асфальт незаконнорожденной валютной автостоянки, то под казарменные рядки жестяных гаражей. Накатанный скрипучими шинами проезд навсегда отделил от кладбища каменную церквушку с плитняковой папертью. В отличие от кладбища эта церковка переживала сейчас лучшие времена: пусть на ее купола недостало позолоты, зато стены были отбелены до ощущения хруста во рту, а узорчатая кладка высвечена солнечной охрой. Днем церквушка смотрелась несколько нелепо, как неуместный пряничный домик, но в ветреные дни, когда поперечная улица приносила лиловато-багровые отблески заката, лубочная пестрота уступала место трагическим тонам: смешливая рыжесть обращалась в запекшийся пурпур, ящеричная прозелень куполов оборачивалась глухой чернотой, а белизна стен уступала место тому неуловимому фиалковому оттенку, который отличает одежды ангелов на старинных италийских фресках.

В один из таких вечеров смутное облачко, окружившее нечто невидимое, скользнуло из пепельной вышины и прилепилось на крыше, между большим и малым куполами. Два истребителя, две зимние ласточки, недоуменно кружили между колоколенкой и едва затеплившейся луной. Облачко рассеялось.

«Регулярно принимая пакеты информации, транслируемые нашими зондами, заброшенными в систему Кынуэ, мы уже давно следили за развитием цивилизации на четвертой от светила планете. Первая была мала и раскалена, вторая окружена бешеной атмосферой, делающей развитие жизни нереальным. Третья — крошечная песчинка, сателлит четвертой, вообще не рассматривалась. А вот следующая могла стать колыбелью для лучшего из человеческих сообществ Вселенной — но, к сожалению, программа, сформировавшаяся в генах всего населения Кынуэ-4, имела два роковых максимума: в области репродуцирования и по степени агрессивности. Тенденция к избыточному деторождению обезопасила аборигенов от вымирания, несмотря на кажущуюся неприспособленность (потеря волосяного покрова, слабость челюстного аппарата, отсутствие режущих костных наростов). Второе качество тоже способствовало выживанию вида, но именно оно стало причиной изоляции Кынуэ-4 от Содружества Разумных Миров.

До сих пор эта изоляция не была узаконена специальным актом Совета, ведь система Кынуэ отстоит достаточно далеко от обитаемого пояса Галактики, так что наши корабли не могут случайно приблизиться к ней ни при каком искажении курса. Но с некоторых пор цивилизация на этой планете сделала непредсказуемый скачок. Уже совсем освоен ближний космос, зондируются соседние планеты, бездвигательные капсулы направлены за пределы собственной системы.

Все это привело к необходимости однозначного определения статуса цивилизации Кынуэ-4. Сделать это мог только Совет Звездного Каталога.

Это было первое заседание высшего органа власти Содружества, на котором я присутствовал как равный среди равных. Наделенный наследственным даром восприятия пси-волновых структур, я с детства готовился занять это место. Моим наставником был дед, тоже в свое время получивший должность метапсихолога Совета по наследству. Моя мать не пожелала воспользоваться своими врожденными способностями для достижения высокого положения, связанного с тяжелейшей ответственностью, и осталась скромным биоволновиком, чья власть простиралась не дальше тестируемых грядок с перспективными видами растений.

Моя юность — это годы бесчисленных, все усложнявшихся тренировок. Угадывать тончайшие оттенки пси-спектра отдельного индивидуума я мог еще в детстве. Дед учил меня отличать

временные флуктуации от постоянного психологического каркаса, нащупывать семантические связи и переплетения, реконструировать многоступенчатый генезис сенситивных ситуаций. Наконец, мы перешли к коллективам и социумам, а от них — к инопланетным формам пси-структур. Я без особых трудностей усваивал приемы и уловки, правила и исключения, постулаты и законы, сформулированные моим дедом на протяжении всей его жизни, и надеюсь, что когда-нибудь передам их собственному сыну или внуку. И первый, основной закон был таким: не доверять механически собранной информации, делая выводы исключительно на основании собственного непосредственного контакта с исследуемым индивидуумом или популяцией.

Вот почему я не смог проголосовать за категорический запрет на контакты с цивилизацией Кынуэ-4, и неофит Совета оказался один против всех.

Вот это была моя самая первая ошибка.

Зная от деда о том, как проходят заседания Совета, я был уверен, что хоть кто-то еще будет на моей стороне. Меня, как самого младшего, попросили подать свой голос первым, что я и сделал, не дав себе время проанализировать общий тон пси-поля членов заседания. Меня загипнотизировал ровный, словно жужжащий фон — ожидание, и только. Прозондировать хотя бы шесть-семь отдельных индивидуумов я не догадался, зная, что такая ситуация, где один оказывается против всех, — это такая редкость, что на этот случай предусмотрен особый ритуал.

Один против всех — это значит, что противопоставивший себя всем остальным членам Совета располагает какими-то сверхсильными аргументами. Следовательно, его необходимо выслушать с предельным вниманием и предоставить все силы и средства Содружества Разумных Миров для того, чтобы он мог доказать свою правоту или удостовериться в своей ошибке.

Для меня единственным и неопровержимым основанием собственной правоты был завет деда — полагаться на мнение, которое у меня сложится в результате непосредственного контакта. Судить о целом человечестве по скудным дозам информации, которые поставлялись зондами, я считал себя не вправе. Мог ли я предполагать, что такая позиция станет уникальной? Но я оказался в одиночестве. Самый молодой — и один против всех. Меня выслушали с каким-то странным равнодушием — ведь сказать я мог так немного! — и предоставили в мое распоряжение лучший из одноместных кораблей и снаряжение, которое я до сих пор на тренировках и в глаза не видывал. Я хотел убедиться на

непосредственном контакте — что ж, я его и получил. Члену Совета дается многое.

Я стартовал, вспоминая еще один зовет деда: "Доказывай свою правоту, ни перед чем не останавливаясь. Это вряд ли обернется опасностью для жизни — наша техника чего-то да стоит. Но помни, что потеря контроля над ситуацией может стоить тебе разума".

Было в этом правиле нечто недосказанное. Жаль, что в свое время я не уточнил, что именно имел в виду мой наставник. И еще более я жалею, что не поговорил с дедом перед отлетом. Но молодости свойственна торопливость.

И вот я отсиживаюсь в своем убежище, наблюдая за кьюитами сверху, но никакой дополнительной информации больше не получаю — жилища аборигенов расположены слишком далеко, чтобы я мог непосредственно судить об их образе жизни, способе питания, размножения и прочих особенностях. На первый взгляд их повадки не выдают в них хищников. Я именно этого и ожидал, ведь ни на одной известной нам заселенной планете хищники не достигли уровня разумной расы. Кьюиты, несомненно, дифференцированно двуполы. Потребностные компоненты пси-спектров едва ли не хаотичны и фиксируются крайне неопределенно.

Типовой скафандр, в котором я нахожусь в данное время, прекрасно обеспечивает невидимость, но недостаточно проницаем для тонкого пси-тестирования и, к сожалению, всегда оставляет возможность чисто тактильного обнаружения. Так что пора мне подумать об индивидуальном скафандре с андроидной имитацией».

Подтаявшая весна рухнула на окраины города, так что только брызнула из домов и подворотен пронзительная маята всего, не сбывшегося за зиму. Она гнала окраинный люд по каньонам переулков и звериными тропами проходных дворов, отливая драгоценное смятение человеческой души в единственно доступную форму тупого бешенства перед еще закрытой дверью вожделенного магазина или окошечка припоздавшегося ларечника. Двое из этого растревоженного муравейника, подгоняемые не в меру распалившимся солнышком и мизерностью порции утренней опохмелки, с насекомой целеустремленностью петляли по трущобному лабиринту кладбищенского захолустья, безошибочно пересчитывая ступеньки, ныряя под арки, отираясь о косяки, поскребываясь в дверцы и барабаня в еще заклеенные на зиму рамы. Но что-то у них не заладилось — долгожданная тля, истекающая хмельным молочком, маячила в перспективе, но в руки

не давалась. Гон продолжался, выводя их на финишную прямую, нацеленную прямо в церковные ворота.

И тут прямо перед ними возникла искомая тля.

Дальнейшее диктовалось уже не волей и разумом, а первобытным охотничьим инстинктом. Невзрачный, едва видимый мужичонка — блеклый штришок на сером асфальте — был как бы невзначай взят в классические «клещи» и оттеснен к бетонному забору; за сим последовал риторический вопрос: не жалко ли, мол, пары рваненьких, а то самое время пропустить?.. Вопрос был абсолютно однозначен, тем не менее вопрошавшие как-то автоматически сопроводили его глотательными движениями и произвольно очерченной траекторией следования выпитого вдоль пищеварительного тракта. Все было ясно, как чищеная репка.

И тем не менее мужичонка замер в необъяснимом оцепенении. Томительная пауза затягивалась; но распивочная этика не позволяла взять и за здорово живешь вывернуть карманы потенциального собутыльника — он сам должен был обнародовать наличность, а дальше было уже вопросом престижа эту наличность у него выцыганить. Кроме престижа еще и очень хотелось.

Но притиснутый к стене и не думал разрешать сомнения страждущих. Серенькое, но до удивления гладкое, не тронутое ни единой алкогольной морщинкой лицо не выражало ни готовности тупо подчиниться, ни страха перед численным перевесом мздоимцев, ни восторга от соучастия в тройственном соитии; взгляд его уперся в изумрудную церковную маковку, а тело точно одеревенело.

— Давай, браток, телись! — неуверенно предложил первый.

И снова пауза. Нет, чтобы сказать: так, мол, и так, кореша хорошие, гол я нынче, как сокол... Идол шелудивый!

— Да чё с ним разговаривать! — рявкнул, не выдержав, второй. — Сквалыга беспорточный! Рвань! По стенке бы его размазать, да руки марать... С таким с гулькин нос выпьешь, а потом он тебя с потрохами продаст! Пошли.

И тут впервые за все время пленник шевельнулся. И не то чтобы всем телом — нет, повернулась одна голова, легко и стремительно крутанулась на сто восемьдесят градусов туда и обратно, словно проверяя сзади наличие степы, по которой его обещали размазать. Стена была еще та, метра два с четвертью. Тем не менее мужичонка подпрыгнул, и тоже как-то не по-людски, даже не присев, и взмыл вверх. На ребре стены он неожиданно сложился пополам и плавно перелился туда, на складскую территорию.

Двое оставшихся потерянно молчали. Опять же не разум, а свербящий инстинкт подсказывал им, что признать происшедшее чудом значило бы неминуемо задержаться для его осмысления; посему, не сговариваясь, оба сделали вид, что все путем, а ежели что и не так — нам что, больше других надо или в «Очевидное — невероятное» захотели?

— Во сиганул,— примирительно проговорил один.

— Врумель,— констатировал другой, осененный дуновением еще безалкогольного детства.

И они продолжали свой бег вдоль еще не прогревшейся, позимнему насупленной стены.

«Мог ли я предположить, что первый же непосредственный контакт принесет мне такую лавину информации и, увы, подтвердит худшие опасения моих коллег? Мог ли я...

Стоп. Хотя это и не бортовой журнал, а всего лишь дневник, в котором я волен как угодно отступать от последовательного течения событий, тем не менее надлежит быть пунктуальным, иначе я опущу логику своих поступков и чередование эмоциональных оттенков.

Итак, я решил от пассивного наблюдения перейти к непосредственному контакту. Энергомеханический каркас моего индивидуального скафандра был уже готов, оставалось подыскать только достаточно надежное камуфлирующее покрытие. На этот счет существовали четкие рекомендации: внешний вид контактера должен быть максимально обобщенным, не запоминающимся и не вызывающим агрессивных тенденций. Здесь мне не пришлось даже выбирать — мой корабельный компьютер рассчитал все параметры и передал программу на синтезатор, который воспроизвел кожистый и волосяной покров, костяные и роговые фрагменты, а также съемную шкуру аборигенов, называемую здесь "экипировка" (костюм, платье, наряд, туалет, убранство, одеяние, гардероб, шмотки),— все это на молекулярном уровне.

За мной остался только выбор пола. Этот простой на первый взгляд вопрос чуть было не поставил меня в тупик. Дело в том, что все особи на Кыпуэ-4 сексопермаенты, как это бывает только в цивилизациях, стоящих на низших стадиях развития. Кыпуиты, по-видимому, еще до рождения строго дифференцированы по половому признаку, хотя ни в детстве, ни в старости им это абсолютно не нужно — впрочем, отсталые цивилизации всегда наделяют своих членов уймой ненужных качеств (взять хотя бы такой абсурд, как религиозность!). Когда же дело доходит до отбора,

нередко лучшие свойства купируются, а худшие начинают превалировать; в итоге цивилизация оказывается не допущенной в Содружество Разумных Миров. Ну да это очевидно.

Я сам еще не задумывался над выбором собственного пола — мне как-то казалось, что прежде, чем обзаводиться семьей, я должен занять достойное положение в Совете. И вообще ранние браки были не в традициях нашего рода. Так что я, подобно большинству своих сверстников, нахожусь пока в интерполовой фазе. Конечно, если бы я встретил в том же Совете подходящую мне по всем параметрам особь уже определившегося мужского или женского пола, я тут же сделал бы противоположный выбор, и никакие обычаи предков меня не остановили бы. Но — не повезло.

А тут я должен был выбрать пол не себе, а своему скафандру. То есть почти себе, потому что это была маска, под которой мне пришлось бы некоторое время выступать. Не имея опыта полового поведения, я был просто в смятении и запросил совет у компьютера; но на сей раз он мне не помог — варианты были равнозначны. Дело принимало затяжной оборот. Тогда я поставил перед собой строго функциональный вопрос: а чем бы я хотел ограничить свои контакты? Пусть это будет пока лишь прогулка в ареале обитания уже наблюдаемых мною особей, исключающая тактильные ощущения. Визуальное и в какой-то степени аудиовосприятие поможет мне сохранять видимую естественность поведения.

Итак, при выбранных мной граничных условиях я должен предпочесть тот пол, который с максимальной вероятностью убережет меня от уличного разговора с присущими кыпуитам рукопожатиями, поцелуями и объятиями.

Я включил видеозапись с максимальным числом аборигенов в одном кадре. Это, кстати, происходило как раз у входного отверстия того нелепого архитектурного сооружения с немотивированно усложненным верхним перекрытием, на котором расположилась моя десантная капсула. Немногочисленная толпа вливалась в дверь, и беглого взгляда было достаточно, чтобы определить значительное превышение числа женских особей над мужскими. И если вторые вели себя сдержанно и неконтактно, то первые с традиционной легкостью тут же вступали в аудиоконтакты, объединяясь в нестабильные группы.

Вывод был однозначен: моя маска должна была носить признаки мужского пола. Как это воплотить, меня уже не интересовало — эскизом, деталировкой и моделированием занялся мой многоманипуляторный компьютер. И успешно.

Скафандр был готов даже быстрее, чем я предполагал. Среднестатистический кынуит крупнее меня раза в два, поэтому я не только удобно устроился внутри каркаса, но и разместил там достаточно много силовых аккумуляторов и баллончиков с питательными газовыми смесями. Кстати, у кынуитов на лицевой поверхности имеется три раздельных отверстия: одно для приема твердой и жидкой пищи и два для дыхания. А раз уж они действительно употребляют твердую пищу, то, следовательно, они потенциально способны... Но я опять забегаю вперед.

И вот, наконец, я без страха быть опознанным двинулся по широкому пространству между двумя рядами обиталищ кынуитов. Против ожидания аборигены, попадавшиеся мне, были по большей части мужского пола. Пока готовился мой скафандр, я с высоты моего наблюдательного пункта нередко приходил в полнейшее недоумение по поводу того, сколько сил и времени приходится затрачивать им в поисках пропитания. Общеизвестно, что ни одно высшее животное не затратит на поиски пищи больше энергии, чем будет восполнено при поглощении добытого. Исключением являются только разумные существа. Так вот, кынуиты — по крайней мере некоторые из тех, за которыми я наблюдал, — подтверждали это исключение, как никто из всех известных мне во Вселенной мыслящих или, как их тут называют, "хомо сапиенсов". И самое удивительное — эти биоэнергетические феномены стояли здесь, судя по внешним признакам, на низшей социальной ступени. Удивительная планета!

Итак, я спокойно наблюдал за немногочисленными аборигенами, делал предварительные выводы и прикидывал, на какую дистанцию придется сблизиться, чтобы полностью воспринять все оттенки пси-спектра отдельного индивидуума, как вдруг странное и неожиданное ощущение заставило меня насторожиться: за мной следили!

Я сам стал объектом наблюдения.

Мне не нужно было ни подстраиваться, ни концентрировать внимание — на меня прямо-таки обрушились потоки самых примитивных, незамутненных эмоций. Из прочитанного в детстве я довольно ярко представлял себе, как можно стать предметом агрессии какого-нибудь крупного хищника на нецивилизованной планете. Но здесь было другое... Охота одного разумного существа за другим!

Поверят ли мне, когда я буду описывать все это после своего возвращения на родину? Что касается членов Совета — конечно, поверят: ведь они предполагали и худшее...

Между тем я автоматически анализировал воспринимаемые мною пси-волны: к вожделению охотника, несомненно, примешивались самые неожиданные эмоциональные компоненты: вибрирующая надежда, неутолимая перманентная жажда, готовность к мошенничеству в какой-то неведомой мне психологической игре и желание помочиться (кынуиты иногда метят свои охотничьи участки — это также привело меня в недоумение, так как подобные анималистические функции известным нам низшим цивилизациям не свойственны).

Двое приближались. Контакт мне был навязан, и я все размышлял, как бы сохранить желательную дистанцию. Но мои преследователи стремились явно к противоположному. Скорость их передвижения вдруг резко возросла, и передние конечности кынуитов вошли в соприкосновение с моим скафандром (в последний момент я догадался включить подогрев псевдокожистого покрытия). И тут мой хеморецептор уловил значительную концентрацию паров этила.. Легочное питание? А я этого и не предусмотрел. Органическая химия всегда была далека от сферы моих интересов, так что я на какое-то время попросту отключился, рыская по закоулкам своей памяти в погоне за гидроксильными группами и алифатическими соединениями. Один из первичных инстинктов, обгоняя разум, подсказал мне, что эти пары вполне пригодны и для моего питания, и, найдя их источник, я могу не опасаться голода вдали от моего корабля даже в том случае, если я опорожню все свои баллончики. Правда, их содержимое много калорийнее и представляет собой сложнейшую концентрированную смесь — на здешнем языке я назвал бы ее питательным туманом. Но за неимением лучшего достаточно долгое время можно продержаться и на этилене. Кынуиты, следовательно, не так примитивны, как показалось мне с первого взгляда. И питание у них явно комбинированное, а меня-то пугали...

Между тем ко мне, оказывается, обращались на звуковых частотах. А я, поглощенный биохимическими экскурсами, даже не сразу сообразил, чего от меня хотят. Оправданием моей кажущейся медлительности может служить и то обстоятельство, что вербальная составляющая нашего контакта сразу же загнала меня в тупик и я должен был еще некоторое время держать на связи большой корабельный компьютер, чтобы получить мало-мальски адекватный перевод. Изъяснялись, к моему огорчению, на сленге. Верхний смысловой пласт — не буду ли я испытывать сочувствие к кому-то (или чему-то) драному; возможны варианты рваному, в лохмотьях, бывшему в употреблении, истасканному

потертому, потрепанному, изношенному, убогому, некондиционному, находящемуся вне сферы обращения...

Моторный семантический ряд: акт приема твердой (жидкой?) пищи, продемонстрированный с помощью жестов.

Экстрасенсорный семантический компонент: воспроизведение острых положительных эмоций от совместного употребления жидкой пищевой субстанции, сопровождаемый ожогом слизистой пищевода (?).

Пока я осмысливал полученную информацию, настроение обоих кынуитов резко и, с моей точки зрения, совершенно немотивированно, изменилось. Пси-компоненты приобрели остро выраженную негативную тональность, вербальное выражение которой также не поддавалось однозначной интерпретации. Я все еще не мог понять, к кому же относится весь перечень приведенных компьютером определений — кого и по какому поводу я должен был жалеть? А на меня уже снова обрушился поток словосочетаний, сопровождаемых цепочкой мысленных образов — я, существо им абсолютно неизвестное и принимаемое за впервые виденного ими человека, оказывается, воспринимался ими, как неспособное разрешиться от бремени крупное рогатое животное; как бережливый индивидуум с деформированным позвоночником и отсутствием нижней части одеяния; как лишенная оперения хищная птица средних размеров; как культовое изображение с деградирующим поверхностным слоем, и, наконец...

Рвань.

Термин, совпадающий с тем, что был употреблен в первой фразе.

Теперь не оставалось сомнении в том, что он означал ЧЕЛОВЕКА — существо, равное им самим.

Теперь смысл их обращения ко мне дошел до меня во сей его чудовищной полнотой однозначности: меня спрашивали, не испытаю ли я сожаления, если мы объединимся, чтобы пару рваных — то есть людей поплоше — употребить в качестве...

Тут вся газовая смесь, которой я позавтракал, уплотненным фонтаном рванула из меня, мгновенно создав перепад давления во внутреннем пространстве скафандра. До меня еще долетали жуткие подробности типа продажи с потрохами, но я, уже совершенно потеряв голову, включил левитр, кое-как преодолел стену и под ее прикрытием обрел невидимость, чтобы на предельной скорости ринуться к кораблю.

Задраив люк и выбравшись из загаженного скафандра, я был готов стартовать в тот же миг. Мальчишка, самонадеянный

мальчишка! Противопоставить себя всему Совету Звездного Каталога — и зачем? Для того лишь, чтобы быть приглашенным на каннибальское пиршество! Вероятно, справиться с парой слабых собратьев было им не под силу, и вот я, метапсихолог Содружества Миров, стоящих выше этой убогой планетенки настолько же, насколько этот, с позволения сказать, "хомо сапиенс" превосходит инфузорию, именно я показался им пригодным для соучастия в кровавой расправе... Нет. Бежать, и бежать немедленно. Найти в себе мужество явиться в Совет и заявить: "Я был не прав. Человечество Кыпуэ-4 НИКОГДА не будет способно подняться до сотрудничества с нами. Ограниченное в природных ресурсах, истощенное ничем не сдерживаемой плодовитостью, задыхающееся в чаду отработанных выбросов примитивнейших машин, это человечество не имеет права даже на собственное название. Кынуитам нет места в Содружестве!"

Итак, я признаю свою неправоту, и меня извинят, приняв во внимание мою неопытность. Что поделаешь — мальчишка... У меня не потребуют даже доказательств в том, что мой конфуз правомерен. И потом долгие годы будут только терпеть мое присутствие, не видя во мне равного...

А ведь я и вправду мальчишка. Недоросль. Мне предоставлен превосходный корабль, уникальная аппаратура, неограниченное время — и для чего? Только для того, чтобы я удостоверился в собственном щенячестве?

Не слишком ли дорого?

Нет. Все будет не так. Я действительно приду в Совет и скажу: "Я был не прав". Но затем я представлю полнейший, удовлетворяющий самым придирчивым инструкциям отчет о моем пребывании на неисследованной планете. То, что я признаю свою неправоту, не будет главным. Потому что вслед за этим я скажу: "... и вот доказательства", и положу на стол коробки с микрофильмами, обоймами проб, таблицами семантических построений. Бортовой журнал будет только приложением ко всему этому. Я сделаю это, потому что я уже не мальчишка.

А теперь за дело. Выбранный мною образ никуда не годен — сменить, и не теряя ни минуты. Защита достаточна (впрочем, большей и не бывает) — прекрасно. Контакт, на который меня вынудили, был, в сущности, односторонним; но в следующий раз я такой контакт не только поддержу, но и разовью до возможных и невозможных пределов, ведь теперь я знаю, на что способны кынуиты, и даже самые чудовищные сюрпризы не повергнут меня в замешательство. До сего момента мои наблюдения огра-

ничивались, так сказать, территорией общего пользования — я проникну внутрь их жилищ.

Собранные мною сведения будут полны и достаточны. Меня послали, чтобы по возвращении увидеть перед собой отшлепанного мальчишку, — я вернусь как полноправный член Совета.

Итак, первоочередная задача — скафандр. Совершенно очевидно, что придется сменить пол».

Ступени были гранитные, добротно отполированные и, несомненно, кладбищенского происхождения; но мартовская капель расцветила их таким праздничным блеском, что ступать по ним казалось просто кощунством. Светло восставали в непрогретое небо и травянисто-зеленые луковки малых куполов, точно первые проростки весны; и даже гроб, обитый совершенно не подходящим для того желтеньким коленкором, казался уже совсем не страшным, обратившись в сверкающую золотую дароносицу. Шестеро равнодушных мужиков, оскальзываясь, занесли его в церквушку, водрузили на заготовленные козлы и неловко завозились, отдирая прибитую одним гвоздем крышку. Открывшееся блеклое личико на мгновение заворожило их неминучей предопределенностью собственной смерти, заставив, как это всегда бывает, замереть по-птичьи; но вот кто-то первый шумно вздохнул, и все, стряхивая оцепенение, начали трусцой подвигаться к выходу, разом ощутив непреодолимое желание покурить. Внутри осталось не более десятка скорбных фигур — родственники, знакомые, незнакомые вовсе. В сумеречном пространстве потянуло разожженным ладаном, и служба началась. Чуткие язычки по-новогоднему разноцветных лампад заметались, подчиненные ритму побрякивающего кадила; скороговорка странным образом сочетаемых слов, полуузнаваемых в своей старославянской замшелости, завораживала и притупляла боль.

Еще одна фигура столь бесшумно возникла на пороге, что явление ее было заметно не более чем трепет свечи. Действительно, вошедшая была скорее тенью, нежели светом: темное лицо — не смуглое, а навечно посеревшее от смертной болести или неизлечимой тоски: вороний очерк жесткого платка и иемпущегося платья; окостеневший в неестественной прямизне все еще девичий стан. Если бы этого лица мог коснуться хотя бы отблеск святости, ее можно было бы назвать богомолкой-вековушей. Кладбищенский батюшка, к которому возили на отпевание по пути к Ново-Ручьеву кладбищу, бездумно поднял глаза на вновь прибывшую — и поперхнулся.

Немногочисленные прихожане любили отца Прокопия за истовость и проникновенность. Глубокие паузы, коими перемежал он канонические тексты, не были знаком бессилия или беззвучно перебарываемой горловой сухотки; десятилетие за десятилетьями постигая открывающиеся перед ним души, он научился доносить до каждой всю благостыню умиротворения творимого им обряда. Но существо, застывшее перед ним, было наглухо затворено, и пытливый сострадающий взгляд отца Прокопия не углядел ни щелки, через которую можно было бы проникнуть за серую завесу смертного лика — в глубину бессмертной души. Поколебавшись, батюшка глянул в другой раз, уже пристальнее, и усумнился: да полно, была ли там вообще душа?

Ни скорби, ни отчаяния, ни сострадания к близким, ни тихо теплящихся воспоминаний — ни одного из чувств, побуждающих переступить скорбный порог, за которым вершится последняя служба. Ничего. Непрошеная гостья стояла так, словно ее приговорили к тому, чтобы прослушать панихиду от начала до конца. Наследства ждет, что ли? Хотя что тут может перепасть — и гроб самый убогонький, и родня вся в возрасте, да не при деньгах — не скопили, выходит. Сейчас на Ручьево свезут, поплачут для порядка, дотемна как раз и управятся, а там — немудреные поминки, студень с хренком и прочим незатейливым прикладом, и неистребимый первач — а что же еще, на столичную-пшеничную, а тем паче заморскую стариковских достатков не напасешься.

Между тем служба шла чередом, и размышления отца Прокопия не мешали ему выговаривать что положено с проникновением и приличествующими жестами. Похрустывала небогатая саржа облачения, быстрорастворяющимися диагоналями ложились справа и слева от гроба перистые дорожки благовонного дыма, и двухтысячелетние сказки о гласе Архангела и трубе Божией даровали твердую уверенность в грядущем воскрешении и суде праведном.

Но эта напевная скороговорка, казалось, проходила мимо ушей непрошеной гостьи. Голова ее медленно поворачивалась по мере того, как взгляд скользил от одного образа к другому. Ишь, в иконостас вперилась, а лба не перекрестит. Не гоже. Не театры тут. Хотя стоит степенно, не то как туристки, прости Господи, с босой головой во храм — у этой плат чин чином... Сомнения, одолевавшие отца Прокопия, начали понемногу его раздражать, и цепочка кадильницы зазвенела не в лад. Служба, однако, шла к концу, и две бабки бесшумно заскользили вдоль стен, торопливо притушивая недогоревшие свечки. Мужики, курившие на па-

перти, потянулись вовнутрь, обрывая на пороге праздные беседы. Кто-то из них бесцеремонно повел плечом, отодвигая богомолку, и она неожиданно легко, словно и не по щербатым плитам, а по вощеному паркету скользнула вбок, прислонившись к стене и продолжая неотрывно глядеть в одну точку. Батюшка, уже отошедший к двери в ризницу, вдруг почувствовал непреодолимое желание обернуться и поглядеть, как же будет вести себя дальше необыкновенная гостья.

А она никак себя не вела. На образ Скорбящей Божьей Матери уставилась, точно до гроба ей и дела нет никакого. Не попрощалась, выходит. Посторонняя. А ведь когда служба шла, ждала чего-то. Как Бог свят, ждала. Но ведь не к поминкам же присоседиться? Да нет, на сей момент имеется тут мастер, Котька-обсосок. Как гроб вынесут, он уже на паперти, заговаривает с кем ни попадя, когда гвозди подаст, когда с выносом подмогнет... Приглашают. Бывает. Чаще, правда, не зовут, даже сторонятся; вот и сегодня ему не улыбнулось.

Только эта — не таковская.

Батюшка сердито встряхнулся, пригладил апостольские кудельки, вставшие нимбом вокруг непроизвольно покачивающейся головы, и исчез в ризнице, крайне недовольный собою.

Незнакомка словно и не слыхала частого стука молотка, столь ужасающего для родных и близких. Внимание ее было поглощено старой, неумело списанной с чего-то иконой, которой по бедности оклада и неуловимой неканоничности рисунка вряд ли нашлось бы место в богатых соборах центра города. Созданная благочестивым, но явно бесталанным богомазом, она была весьма вольной копией с полотна безвестного на Руси итальянского мастера — может быть, Амброджо Лоренцетти, а может, и самого Джотто. Собственно говоря, скопированы были только фигуры Девы Марии и ее только что снятого с креста Сына, а поскольку все остальные действующие лица, по разумению художника, были необязательны, то выходило так, что Божья Матерь единолично и незатруднительно несла на скорбных руках всю тяжесть мертвого тела.

Между тем свечи гасли одна за другой, сберегаемые экономными, нечувствительными к свечному пламени пальцами; нежная нищета штукатурки, обогреваемая доселе медовыми отсветами золоченых окладов, стремительно стыла в преждевременных сумерках. Тяжело, стараясь ступать в лад, понесли гроб. Кто-то со скрежетом поволок к стене козлы, и точно разбуженная этим звуком странная гостья снова бесшумно поплыла вдоль стены,

испытующе вглядываясь в уже едва различимые лики святых. Огибая брошенные козлы, она вдруг гибко до неестественности изогнулась, что несомненно привлекло бы внимание окружающих, если бы таковые еще в церкви оставались, но смотреть было некому, и она беспрепятственно завершила свое кружение по Божьему Храму, как успокаивается на ночь блеклый барвинковый мотылек.

На пороге она появилась последней, и ослепил ли ее весенний свет, или она решила проводить хотя бы взглядом отъезжающий похоронный автобус непристойного яичного цвета с черной шмелиной перепояской, или была еще какая причина, но она снова замерла, словно ноги приросли к гранитной плите, совершенно очевидно бывшей когда-то респектабельным надгробьем.

И тогда Котька-обсосок, так и не приглашенный в этот несчастливый для него день на дармовщинку «помянуть», встряхнулся, как селезень, и шагнув к ней, с нарочитой развязностью предложил:

— Ну что, убогая, пойдем со мной, что ли?..

«Я у цели. Осталось увидеть все собственными глазами, составить подробный отчет и признать, что Совет Звездного Каталога был прав. И еще: памятуя наставление деда, постараться сохранить здравый рассудок, потому что то, что я ожидаю увидеть, выше сил разумного, рационального человека. Недаром я все время вспоминаю моего наставника и еще — древнее предостережение Архани, тысячу лет назад предвещавшее беду, исходящую от "темного мира". Хотя диковинное слово "преосуществление", так и не разгаданное, могло ведь означать и что-то другое...

Но я должен снова вернуть себя к последовательности изложения. Итак, помещение: совершенно очевидно, что не жилое, а ритуальное. Наличие на Кыпуэ множества религий даже в одном регионе не позволило мне однозначно атрибутировать принадлежность здания к какой-либо из них. Это можно сделать позднее по зафиксированным изображениям. Выбор его крыши в качестве стоянки в какой-то степени случаен, хотя и удовлетворяет инструкциям. Могу только сказать, что данный культ содержит поклонение богу, умирающему насильственной смертью. Несмотря на последующую реанимацию и вознесение на небо (мотив космического путешествия?), тело божества становится объектом ритуального каннибализма — в течение двух тысяч местных лет (!) имитируется его поглощение, причем, в специально изготовляемых муляжах строго дозированных останков

этого бога, растительный белок заменяет собой животный. Эти данные предоставлены многочисленными зондами, наблюдавшими церемонию ритуального поедания зерновых-производных, объявляемых частицами богочеловеческого тела. Снимки делались в тех случаях (редких!), когда камлание происходило вне культовых зданий; проникать внутрь зондам не разрешалось даже в закамуфлированном виде. Я буду первым и, надеюсь, последним, кто это сделает. Логично допустить, что, коль скоро здесь проходят акты имитации богопожирания (что типично для планет низшей ступени развития), то здесь же могут происходить и те жуткие плотоядные пиршества, на каковое меня пытались пригласить вчерашние контактеры.

Я должен это видеть собственными глазами. Я должен это зафиксировать. Я должен предоставить Совету неопровержимые документы.

Мой индивидуальный скафандр (второй вариант, поправка на противоположный пол) позволит мне не привлекать внимания аборигенов. Ситуация максимально благоприятная — к культовому зданию, на котором законсервирована моя транспортная капсула, только что доставлен контейнер с телом (живой или мертвой особи — пока не ясно). Контейнер внесен внутрь здания. Наиболее активные индивиды мужского пола остаются снаружи — вероятно, на страже.

Мне никто не препятствует, и я вхожу.

Контейнер открыт и размещен на примитивном сооружении из твердого растительного материала, на котором аборигены обычно принимают пищу (отдаленный аналог наших столов). Все пришедшие располагаются вокруг. Включая фиксирующую аппаратуру. Сейчас ЭТО начнется. Сейчас. Пока я еще контролирую собственное эмоциональное состояние, нужно снять суммарный пси-спектр. Итак, компоненты по интенсивности: скорбь, сострадание, ожидание одиночества, страх перед собственным концом (сплошной атавизм). Но ни малейшего намека на предполагаемое удовлетворение пищевого инстинкта. Один раз мне почудилось что-то похожее, но это был слабый сигнал откуда-то извне. Пока данный пси-спектр с ожидаемой мною ситуацией не согласуется.

Начинается ритуал. Лидирующий индивид — по внешнему виду существо двуполое — в ускоренном темпе произносит монолог. В чем дело? Несмотря на то что все слова воспринимаются мной в однозначном, качественном переводе никогда и никого не подводившего лингвана, смысл речи полностью утрачен.

"И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения..." Семантический пакет: вечная жизнь + звуковой сигнал из космоса + массовая реанимация мертвых + последующее судебное разбирательство. Общий пси-спектр: полное невосприятие смысла монолога.

Катастрофическое рассогласование аудио- и пси-компонента.

Резкое насыщение атмосферы продуктом сгорания сложного высокомолекулярного соединения. Переход на дыхательное питание? Пси-зондированием не подтверждается. На мой вкус, кормовая взвесь по качеству просто экстраординарна!

Звучит упоминание о верховном божестве. Пытаюсь его идентифицировать. Ни один из присутствующих аборигенов не дает необходимого вектора. Почему никто из них не воспринимает произносимое в его номинальном смысле, включая и самого говорящего? Он мне все более любопытен: одежда, волосяной покров на голове и т.д. указывают на принадлежность как к мужскому, так и к женскому полу. Голос низкий, мужской, манера говорить скороговоркой — чисто женская. С данными о четком разделении полов на Кыпуэ это не согласуется.

Я все-таки стараюсь вычленить из произносимого наспех текста смысловую доминанту... Пожалуй, это суд. Предстоящее абсолютно объективное и тем не менее представляющееся чем-то ужасающим для кыпуитов последнее судилище. Я с трудом подавляю очередной приступ отчаяния: ну какое отношение имеет это мероприятие к тому акту естественного и, следовательно, ненаказуемого каннибализма, который я ожидал здесь увидеть? Почему, почему я ошибаюсь на каждом шагу?..

Спокойствие. Не исключено, что принесенное тело просто не пригодно к употреблению по каким-либо параметрам. Может быть и другой вариант объяснения: владелец данного культового сооружения (пастор, священнослужитель, шаман, жрец, батюшка, м'ганга, поп, друид, раввин, мулла, брамин, папа римский) по каким-то, не замеченным мною обстоятельствам наложил табу на начавшийся было акт. Не исключено, что препятствием послужило мое присутствие — может быть, потому что я посторонний, а может быть, в силу вступила неизвестная мне магия чисел (похоже, что ритуал каннибализма требует, чтобы число участников было кратно трем, а в помещении вместе со мной оказалось шестнадцать особей). Но если мое появление так повлияло на происходящее, то почему корабельный компьютер выбрал для меня такую внешность, которая все-таки не обеспечила мне полную неприметность? Нонсенс.

Тем не менее за мной ведется самое пристальное, уже не скрываемое наблюдение. На этот раз я не ищу наблюдателя — это двуполый жрец, и он не скрывает своего сверлящего взгляда. Но то, что он произносит вслух, не имеет ни малейшего отношения ко мне: "И дал Ему власть производить суд, потому что Он есть Сын человеческий..." Мой индивидуальный скафандр имитирует особь женского пола. Обо мне он сказал бы: дочь. И тем не менее, бормоча фразы, не поддающиеся логическому осмыслению, этот длинноволосый и бородатый индивид все время пытается понять, кто я такой.

Странно, почему при гарантированной стопроцентной неприметности я все время... есть такой точный термин на кынуитском языке... Почему я ЗАСВЕЧИВАЮСЬ?

Перехожу на ситуационный анализ путем выведения себя на точку стороннего наблюдателя (спасибо деду — натренировал). Представляю себя одним из настенных изображений и наблюдаю пару: жрец — незнакомка. А, вот оно что: разумные особи, стоящие на низшей ступени развития, равно как и высшие животные, не терпят, когда им смотрят прямо в глаза. Это на редкость распространенное правило. Я слишком откровенно наблюдал за жрецом и вызвал ответную реакцию.

Чтобы замаскировать свое внимание, я немедленно переключаюсь на видеоряд, представленный на внутренних стенах помещения значительным числом мужских, женских и детских изображений, а также схематично выполненных жанровых сцен. Кстати, первая же из них достаточно любопытна: женщина неопределенного возраста в серой одежде свободного покроя, на фоне крестообразного деревянного сооружения, функции которого не поддаются логической интерпретации, держит на руках тело обнаженного взрослого мужчины со следами глубоких проникающих ранений, нанесенных колющим оружием.

Несоответствие: лица женского пола имеют менее развитую мускулатуру, нежели мужчины, следовательно, удержать на весу тело, по массе равное собственному, женщина просто не в состоянии Это возможно только в единственном случае: если предварительно тело подвергнуть вакуумной дегидратации — простейший способ получения таксидермических экспонатов, при котором они теряют до семидесяти процентов живого веса. Мне, кстати, еще придется прибегнуть к нему, когда я начну отбирать образцы кынуитской фауны. Если только я в очередной раз не...

И тут я вдруг понял с какой-то беспощадной ясностью: да, я и на этот раз ошибаюсь. И ошибусь в следующий. И еще. И еще.

И так до конца моего пребывания на Кынуэ. Потому что меня и послали сюда только для того, ЧТОБЫ ОШИБАТЬСЯ! И, что немаловажно, послали в одиночку чтобы никто меня не поправлял, а мне самому не было бы стыдно на каждом шагу за собственные промахи. И, вероятно, не существует лучшей школы для новичков Совета, чем неизвестная, но абсолютно ненужная Содружеству неизвестная планета, где самодовольный неофит будет спотыкаться без конца, пока не нахлебается первобытной грязи, которая и вытеснит из него весь щенячий апломб. Вот меня и отправили сюда, в этот страшноватый, почти первобытный мирок, не грозящий мне ничем, кроме крайней степени омерзения. Они все уже поставили крест на Кынуэ, и у меня не возникает никакого другого желания, как присоединиться к ним.

Ну что ж, остается зафиксировать настенные изображения, затем собрать образцы флоры и фауны — обязательный экспедиционный минимум — и домой...

Я настраиваю видеофиксатор на изображение женщины, удерживающей на руках мужское тело. Почему меня так привлекает именно этот образ? Какие воспоминания — детские, глубоко запрятанные — будит он во мне? Светло-серое скорбное лицо, вневозрастное, замкнутое на собственных думах. Я никогда не видел его — люди этой планеты удивительно похожи на нас (правда, значительно крупнее), но в реальной жизни я просто не мог встретить никого подобного — мы давным-давно утратили рудиментарную растительность на теле; и все-таки...

И тут меня осенило: Архань! Ну, конечно же, Архань. Я думаю, каждый, кто впервые узнавал о ней, вольно или невольно создавал в своем воображении образ этой легендарной личности. Только в одном источнике сохранилось единственное слово, относящееся к ее внешности: непримечательная. О ее жизни известно немногим более. Отшельница в эпоху интенсивного становления современного общества, она появилась неизвестно откуда на маленьком островке, где жило всего несколько семей. Государственных субсидий она не получала, так как заниматься рациональным трудом не желала — она выращивала неперспективные растения, которые называла архаичным словом "прекрасные". Возможно, Архань — не настоящее имя, а прозвище. Умерла она рано и скорее всего — от истощения. В последний год жизни вырезала на деревянной доске четыре строчки зловещего предсказания, которую и водрузили на ее могиле (позднее дерево покрыли консервирующим составом, так что любой теперь еще может ознакомиться с текстом, который, впрочем, и так известен любому из нас). В

скудных воспоминаниях, которые удалось собрать через десять лет после ее смерти, отмечалось, что она употребляла странные, уже забытые за ненадобностью слова; некоторые, похоже, были придуманы ею самой. Самым странным было предсказанное "преосуществление", его просто сочли бы ошибкой, если бы в ее лексикон не входили еще и такие курьезы, как то: соядение, етапный, некосновение, желтый, приочара, сокроумно, розовый, прекраспомертвие, пурпурный... Вероятно, эти слова очень раздражали ее соседей, если их припомнили спустя столько лет.

Возможно, сровненная с землей могила была бы просто забыта, но по странному совпадению точно через год после смерти этой женщины произошла катастрофа, едва ли не крупнейшая в истории нашей цивилизации: за несколько минут ужасающего землетрясения столица планеты превратилась в руины.

"Столица рухнет..."

Островитяне сообщили в органы всепланетной информации о том, что катастрофа была предсказана заранее, и нужно ожидать следующую. От них отмахнулись. Разумные Миры, так недавно объединившиеся под девизом: "Существует то, что рационально, а то, что нерационально, существовать не должно", принялись возводить новый мегаполис на сейсмоустойчивом плато.

Прошло десять лет. "... и погибнет скот". Планета лишилась всего поголовья в считанные месяцы — ураганная пандемия грозила голодом, и спасли положение только опять же соседи по Содружеству.

Но теперь о предсказании Архани заговорили все. С недоумением и ужасом. Ждали вселенского пожара. Десятилетие, другое... Понемногу страхи утихли, об Архани снова позабыли.

Это произошло через сто лет — громадный раскаленный метеорит врезался в засушливые леса экваториальной зоны, оставив гигантский кратер, опоясанный пламенем, из которого не успевали вырваться ни люди, ни животные. "Огонь, тяжелый, как секира" убедил последних скептиков — все лихорадочно стали готовиться к четвертой беде, самой таинственной, приход которой следовало ожидать из глубин космоса. Впрочем, а почему обязательно — беда? Ведь загадочное "преосуществление" могло оказаться и благом... Но тех, кто посмел высказывать такие мысли, объявили еретиками со всеми вытекающими из этого последствиями. Из "темного, неведомого мира" могло обрушиться только зло. Так Содружество Разумных Миров оказалось в добровольной изоляции от множества планет, где уже существовала жизнь, но уровень ее значительно отставал от нашего —

как на Кыпуэ-4. И потянулись десятилетия, столетия... Прошло около тысячи лет. Страх перед инопланетной опасностью уступил место презрительному высокомерию — Разумные Миры, подпитывающие друг друга, сделали такой рывок в своем развитии, что могли уже ничего не опасаться во всей Вселенной. Страх прошел. Отчуждение осталось. И я понял, что оно оправдано, побывав на Кыпуэ...

Между тем я и не заметил, как контейнер с телом вынесли из помещения; стража у входа была уже снята. Так. Круговой видеообзор, пробы воздуха, микрочастицы пыли с подстилающих плит. Все. Выхожу.

Снова ошибка: стража снята не полностью, один оставлен для наблюдения за мной. Подходит. Внешний вид: из всех наблюдаемых мною особей этот стоит на низшей ступени. Пси-спектр: сильнейший пик в области удовлетворения потребностей... каких? Трудно вычленить доминанту — размывающие наслоения. Максимальные: жажда, голод, влечение к совокуплению, тоска по общению. Что-то еще, абсолютно не поддающееся определению — вероятно, у нас таких потребностей просто не существует. Эмоциональный вектор решительно направлен на меня. Что ему надо? Неужели?..

До чего же я неопытен! Догадаться о его намерениях я мог бы по одному обращению — "убогая". Мой лингван ведь уже строил этот ряд: убогий, рваный, бывший в употреблении. Значит, если в прошлый раз меня приглашали в качестве соучастника охоты, то теперь мне однозначно и неприкрыто отводится роль жертвы — "убогой". Теперь понятно: тело, находящееся в контейнере, оказалось непригодным к употреблению, и все присутствовавшие при начале ритуала отбыли туда, где будет проводиться новый обряд — уже со мной в качестве пассивного участника. Что ж, это будет моим последним наблюдением на Кыпуэ. Эти дикари не могут подозревать, что я защищен неуязвимым скафандром. Так что я смогу зафиксировать всю процедуру поэтапно, вплоть до того момента, когда моих контактеров постигнет глубокое разочарование.

Стоп. Я теряю беспристрастность — кажется, я опустился до эмоции, напоминающей ненависть. К дикарям-то! Это недопустимо. Вернуться к состоянию внимательной беспристрастности. Вот так. Тем более что мы продолжаем двигаться по открытому пространству, направляясь к хаотичному скоплению кыпуитских жилищ.

Эмоциональная гамма моего проводника между тем только усиливается. Почему я не могу до конца идентифицировать ее

компоненты? Предвкушение сытости, полового удовлетворения, какого-то наркотического состояния — все это естественно и предсказуемо для существа такого уровня. Но вот вектор, обращенный на меня...

М-да. Всего мог ожидать. Любой патологии.

Но этот недоразвитый абориген совершенно искренне собирался МЕНЯ ОСЧАСТЛИВИТЬ!»

Котька так никогда и не смог понять, почему не заладилась его городская жизнь. Задумывалось все складно, да и в армии вроде все было путем. Играл на своей трехрядке, приплясывал, частушки, необидные для начальства, складывал — не слишком похабные. В ансамбле, правда, старлей, послушав его козлетон, велел на сцене варежку отвешивать, а сигнала не подавать. Котька не обиделся, знал, что голосок у него подстать фигуре. Дальше округа, пробиться не удалось, смотр в столице тоже улыбнулся, но Котьку вовремя заметил сам генерал за рыжий чуб и носик конопатый; обозвал Васей Теркиным — говорят, потом на генеральском своем закусоне добавил: «недоделанный». Но после генеральского кивка Котька был надежно застрахован от губы, хотя петь вслух ему старлей так и не разрешил. Так и промчались три благополучных солдатских года; все дембелюшники подались в город с шоферскими правами, а Котька — с трехрядкой своей безотказной. На том Котькино везение и кончилось. Устроился вроде. И в получку приносил приличную, только утекало все невесть куда. Армейские его братки, а ныне — кореша общежитские, что ни день приходили с бутылком; Котька, по старинной деревенской привычке, что-де гармонисту ставится, а не то что с него берется — как-то раз решил возместить нехватку финансов тальяношным перебором. Кореша минут десять внимали в ледяном молчании и даже некотором изумлении, как ежели предстал бы перед ними Константин в стрелецком кафтане и с бородою до причинного места. Затем, дождавшись паузы, один из слушателей задумчиво осведомился, а не прихватил ли Котька из родимой деревни и дедовскую берданку?

Котька простодушно ответил, что берданкой не обзавелся, и естественно поинтересовался, а на кой она сдалась? «А вот мы б твою гармошку да из твоей же поганой берданки», — ласково пообещали ему, и с тех пор Котька, когда наличность не позволяла соответствовать, стал исчезать из помещения. Идея была в корне неверна, потому что кореша начали заявляться не токмо с

бутылками, но и с девицами без всяких принципов, но в боевой раскраске; к Котьке обращались уже традиционно: «А ты, недоделок, выметывайся!»

Котька практически остался без угла.

Где заночевать он, конечно, находил, мир не без добрых людей, но это были чужие углы. И не приходило Котьке в его рыжую бесталанную голову, что все беды его — от того лучшего, что еще сохранилось кое-где в отдаленных русских деревеньках и было заложено в его детскую душу так же просто и естественно, как складывается в заветный сундучок чистая рубаха и пара исподнего — «па умирало».

Котька органически не мог красть.

Ненадолго хватило беззлобного котькиного характера и оптимизма, сопутствующего деревенскому солнечному чубчику, когда удавалось уговорить себя, что-де образуется, соседи по комнатушке переменятся, из подсобки в цех переведут и все будет трали-вали; но незримая трещина между ним и миром ежевечерних полубанок, ларешных бабонек и их небрежных кошелок, из которых ласточками порхали на стол бельгийские колбаски, чилийская консервь и прочая неупотребимая на собственной родине снедь, да уже не трещина, а самая что ни есть глубокая теснина Дарьяла все ширилась, оставляя Котьку на скудном берегу праведных заработков, скорбного недоумения и невыносимого для простой души одиночества.

Награда за праведность, как и водится, свалилась нежданно. Снизошла она на Котьку в виде комендантши общежития, лютой лимитчицы неопределенного возраста, внезапно возымевшей страсть переквалифицироваться в челночницы. Для будущего товара требовался сторож, а наметанный глаз комендантши давно отметил несовременную, чуть ли не патологическую честность парня. Неистребимая комендантская привычка к «оформлению» обошлась Котьке в лиловый штамп на соответствующей странице паспорта, и он обрел законные права на шестиметровый закуток в приобщежитской квартирке; супружеские же права были раз и навсегда определены хриплым «ни-ни!».

Полновластная хозяйка оказалась покладистей, чем можно было опасаться, тем более что едва ли не ежемесячно отбывала в юго-восточном направлении и возвращалась не раньше, чем через двенадцать дней, наполняя квартиру клейкими клетчатыми сумищами, нежеиским матом в адрес таможенников и трупным душком самогона.

И эти дни всецело принадлежали Котьке.

Казалось бы, вот тут-то и побахвалиться ему перед старыми корешами, тут-то и распустить перед ними хвост — и жилплощадь с оборудованной кухонькой, и запасы зелья, которое с хозяйкой гнали посменно и потому не считались... Так нет же. Его давнишняя мечта — чтобы перестали величать его «Котькой-обсоском», вдруг утратила свою первостепенность. И секретом самоутверждения этого незадачливого бедолаги, его сокровенной тайной было открытие, сделанное им одновременно и случайно, и закономерно, ибо только истинно простой и чистой душе, которой, как известно, уготовано местечко в царствии небесном, мог открыться такой неиссякаемый источник бескорыстной и светлой радости. Никто из давнишних котькиных собутыльников этого света просто-напросто не разглядел бы; Котька же изумился — и жизнь его приобрела новый смысл.

С той поры каждый раз, когда его квартировладелица отправлялась на подножные турецко-эмиратские корма, Котька заходился от сладкого предчувствия. Едва дождавшись субботы, он прибирался, то есть выгребал двухнедельный мусор, надевал чистое исподнее, закупал в кулинарии, где подешевле, пяток пирожных и чистил селедку; совершив эти великие приготовления, он отправлялся в свободный поиск.

Он не шел к шикарным магазинам, театрам и тем паче казино — там водились исключительно крашеные и наглые, сами ищущие мужика и полагавшие обязательной хрусткую блекло-зеленую мзду. Нет, Котька-обсосок искал совсем, совсем иного. На стылых папертях, на горьких поминках, куда ему порой удавалось затесаться под осуждающим взглядом отца Прокопия — в безрадостной, бессчастной тени он точным и цепким взглядом отыскивал самую безнадежную вековуху, бледную немочь, раз и навсегда отлученную судьбой от надежды на мужскую ласку. Инстинктивно выбрав нужный тон, он бывал то деликатно сдержан, то витиевато многословен, но обязательно — искренен, и пока он вел свою избранницу в невзрачную конурку, вспоминал обычно родное село с речными кисельными туманами, подкаменными бычками-агахами и весенней черемуховой ворожбой. Тут осечки не бывало. Котькину воркотню можно было бы определить как «народная песня в прозе», и пленницы его красноречия, давно отвыкшие от разговоров, выходящих за черту современного нулевого уровня адских кругов «съездил-купил-продал-погорел», неощутимо для себя оставляли у подножия щербатой, сейсмонеустойчивой котькиной лестницы все картонные доспехи российских предрассудков, слагающих броню их девичьей неприкасаемости.

Но не то, не то и не так было нужно Константину. Он усаживал онемевшую гостью на плешивый диванчик, наливал крепчайшего, заваренного прямо в чашке грузинского чаю и, потчуя ее сластями и сельдем попеременно (а когда обстоятельства требовали, то и собственным зельем, подслащенным импортным сиропчиком), незаметно переводил разговор на главную тему, как бы случайно открывая в своей собеседнице неброскую, скрытую от равнодушного взгляда пригожесть. Он безошибочно находил те немногие черты, которые можно было похвалить, и от немудреных слов восхищения — и ручки-то махонькие, как воробушки, и глазки-то яспенькие, как барвиночки, — переходил к суровому заклеймению всего рода мужского: ну, мужики, ну, козлы бельмястые, такую девку не приметили!

Но и это было не главным. Ибо квинтэссенцией котькиных речей была надежда — все сбудется, и разомкнет судьба свои ладошки скаредные, и бросит полными горстями и желанность, и нежданность, и сердца успокоение. И в благодарность за праведную ложь этих слов лился на Котьку-обсоска невиданный свет такого похорошевшего, ожившего лица, и на глазах выгибались горделивые брови, и покрывались жаркими трещинками холодные, нецелованные губы... И тогда, не допуская, чтобы по этому просветленному лику пробежала гаденькая трусоватая рябь — ой, Господи, а что потом-то? — Котька отечески усмехался и переворачивал свою чашку донышком кверху:

— Ну что, птаха весенняя (осенняя, летняя — смотря по сезону), отогрел я тебя? А теперича давай, провожу — скоро ночь на дворе.

И если птаха порхала за порог, он отпускал ее беспрекословно и, пожалуй, даже без сожаления.

Но почти все оставались по доброй воле.

А потом наступали будни, и стирались в памяти черты невзрачного личика, но отсвет счастья сохранялся как бы сам по себе, точно улыбка Чеширского Кота, о котором Котька, естественно, слыхом не слыхал; и еще нет-нет, да и возникало великое изумление: неужто это он, недоделок, всеми изгоняемый и презираемый, смог подарить другому человеку такую неохватную радость?

И вот сегодня он впервые усомнился: а ту ли он выбрал? Хотя все сходилось: и годков за третий десяток, и с лица мымра-мымрой, и пошла не кобенясь, вот только слушала как-то странно. Котька веселил ее как мог, сыпал деревенскими да солдатскими прибаутками, а она вдруг на самом неподходящем месте останавливалась как вкопанная и уставлялась на Котьку

безразличным рыбьим взглядом. Может, думала пятки намылить? Так он бы, ей-богу, не возражал. Но она снова двигалась вперед каким-то неестественным скользящим шагом — ну прямо как Чингачгук, Большой Змей. Так они в конце концов и добрались.

По тому, как одеревенело застыла гостья на счастливом диванчике, не скинув даже наглухо застегнутого плюшевого пальтеца, Котька понял, что дело совсем швах, и вместо чашей выставил граненые стаканы. Проворно разлив, он с демонстративной лихостью опрокинул «первый — со свиданьицем», лихорадочно соображая, как же уговорить эту куклу деревянную хотя бы пригубить. Но «кукла» без тени смущения повторила котькино действо, на долю секунды разомкнув пепельные губы и тут же снова сжав их в одну полоску. Котька подивился — она вроде бы и не сглотнула, точно и не в себя. Не во рту же держит, первач-то крепенек, двойной очистки...

Он беззастенчиво смотрел ей прямо в лицо (его простодушной деликатности не хватило на то, чтобы понять: на некрасивых женщин так пристально не смотрят), и опять — впервые в своей практике — не мог найти ни одной черты, которую можно было бы назвать недурной. Конечно, Котька не дурак был и соврать, но безошибочная интуиция подсказала, что она выслушает, и не поверит. А весь смысл котькиных стараний и заключался в том, чтобы родить и выпестовать эту веру.

Он опечалился и налил еще по одной. Привычные заклинания «и сбудется, и слюбится» не приносили ни малейшего результата. Котька подливал, втихомолку радуясь, что на кухоньке еще несколько трехлитровых банок, да и аппарат побулькивает — успел, проходя мимо, наладить одной левой. Умелец. Только не в коня корм. Скорее он сам с копыт слетит, чем эта чернослива сушеная. Вот это точно! Сушеная и есть. Только с чего ты так посохлась, девонька? Обидели? Обделили? Нет, была бы злость. А тут только тоска смертная. Знать, сама отпела ты себя на веки вечные, горемыка неневестная, положила крест на своей жизни, и один Господь ведает, чем тебя пронять-одарить...

Одарить! Котька аж расплылся в пьяной, счастливой улыбке. И как это он до сих пор не допер?..

Он поднялся, тяжело опираясь о цветастую замызганную клеенку. Погрозил пальцем:

— А ты — ни-ни! Ни с места. Жди, я ща... Порушу я твою тоску подлую. Расцветешь ты у меня алым цветиком...

Приговаривая так, добрался — по стеночке, по стеночке — до хозяйкиной двери. Нашарил в заветном уголке ключ. Долго

возился, отмыкая. Запретная для него комната пахнула помадными бабьими красками, недовыделанной кожей и вощеным жучком. Котька, поматывая головой, чтобы хоть немного очухаться, уставился на груду заморского барахла, сваленную на двуспальной кровати. Это было чужое, и мысль об этом охолодила его.

— С получки сквитаемся, — пробормотал он, твердея в своем намерении. — От-дам. Вотрое. Не для себя ж...

Он попытался сосредоточиться, соображая, чем бы горькой гостьюшке своей подфартить. Но перед ним в прозрачных пакетиках поблескивали, как карамельки, разноцветные турецкие футболки, топорщились несгибаемые синие портки, ластились пастельные одноразовые трусишки; глазасто пялились коробочки с кругляшками теней, чопорно́ хоронились черполаковые раковинки шанельной пудры; навзничь, шпильками кверху, валялись парчовые лодочки гвардейского калибра... Не то. Все это было не то. И вообще не то...

Не то? Он попытался сообразить, что же его всполошило, словно толкнув в спину. Что-то произошло. Он безнадежно махнул рукой на весь этот заморский хлам и, подцепив наугад какой-то желто-зелено-лиловый платок, потащился назад, в тесную свою конуру.

Гостьи за столом не было.

«Скверно, очень скверно. Оказывается, я даже не научился полностью владеть собой. Когда я принял суммарную пси-гамму моего кьюита, с его намерением меня осчастливить, мною овладел просто истерический хохот. Пришлось несколько раз останавливаться. Хорошо еще, что лицевая маска скафандра не передает моего истинного эмоционального состояния. Сколько же мне еще придется тренироваться? Скорее бы домой!..

Мы двигаемся дальше. Кьюит беспрестанно говорит, по́ его пси-спектр свидетельствует, что это — лишь отвлекающий маневр, который должен позволить ему завлечь меня в западню. Следовательно, аудиоинформацией можно временно пренебречь. Да, ни от чего другого я так не заходил в тупик, как от способности аборигенов говорить одно, а думать совсем другое. Кстати, непревзойденным в этой области оказался тот массивный кьюит с признаками как мужского, так и женского пола, которому я присвоил условное обозначение "жрец". Жрецы существовали на многих отсталых планетах, о которых рассказывал мне дед; как правило, они являлись носителями культуры, хранителями эпического пласта дописьменного периода литературы и в значительной степени — прогностиками. Но о какой культуре мо-

жет идти речь в обществе, где каждый озабочен удовлетворением чисто животных потребностей, на что годится даже кусок плоти ближнего своего?

Тем не менее в словах жреца была даже какая-то завораживающая ритмика. "И дал Ему власть производить суд, потому что Он есть Сын человеческий..." Во время обратного перелета все это нужно будет детальнейшим образом проанализировать. Уже одно выражение «царствие небесное» навело меня на мысль о том, не является ли это зашифровкой предполагаемого союза цивилизаций, каким в действительности стало наше Содружество Разумных Миров? Тогда, в ритуальном помещении, возле тела, подготовленного к изуверскому пиршеству, я не мог интерпретировать с помощью лингвана каждый закладываемый в мою память термин — слишком плотен был поток информации. Но уже сейчас цепкое внимание ко мне со стороны жреца, как и ряд его выражений, настойчиво требует объяснений. "Суд небесный". Это понятно — суд, творимый представителями инопланетных цивилизаций (вопрос: откуда о них известно жрецу?). "И дал Ему власть..." Власть дает только Совет Звездного Каталога. Но кому же это — ЕМУ?

И тут приходит догадка, столь ошеломляющая, что я снова замираю на месте.

Да ведь глядя на меня, намекая на что-то, известное только нам двоим, жрец и не мог говорить ни о ком другом. Следовательно, речь идет ОБО МНЕ!

Это я, облаченный доверием Совета, прибыл на Кынуэ, чтобы определить судьбу ее человечества. Это мне доверено решать, достойна ли эта планета войти в наше Содружество, или ее уделом станет прозябание за неощутимой, но абсолютно непроницаемой информационной стеной. И только я...

— Ну, чего замешкалась, птаха болезная? Упорхнуть примериваешься? Так не неволю!

Мы двигаемся дальше. Птаха... Существо женского рода. Тогда почему же — сын?

А, вот оно что. Жрецы — как правило, особи, в сенситивном отношении превосходящие рядовых обитателей планеты. Раз уж мой противник обладал способностью распознать под оболочкой скафандра существо из другого мира, да еще и определить цель моего появления на Кынуэ, то можно предположить, что он обратил на меня внимание еще тогда, когда я знакомился с окрестностями моего убежища. Считывая мою пси-конфигурацию, он запомнил, что ей первоначально соответствовала маска мужского рода. Следовательно, обращение "сын" должно означать, что он

опознал меня сегодня, но не хочет делать свое открытие достоянием окружающих. И его прямой, неотрывный взгляд — "я знаю, кто ты и зачем пришел, но не выдам твою тайну".

Но почему "сын человеческий"? Попробую размотать и этот логический клубочек. Я — существо с другой планеты, но мой облик неотличим от облика людей, а мой разум открыт для того, кто способен считывать пси-информацию другого мыслящего существа. Следовательно, и телом, и духом я адекватен кынуиту. Эту конструкцию нужно дополнить императивной тональностью. Что же в итоге?

"Я знаю, кто ты и зачем пришел, и не выдам тебя; но и ты должен судить о нас так, как если бы ты был сыном человека".

Я снова замираю. Никогда еще я с такой полнотой не чувствовал себя абсолютно не пригодным к той роли, в которой здесь очутился! Я собрал достаточно информации. Я проанализировал ее с максимальной логичностью и получил удовлетворительные выводы, подтверждающие априорное мнение Совета. Сейчас я завершу свой последний контакт и доставлю собранные материалы на свою планету с предельной скоростью и бережливостью.

Но судить я не способен!..

— Темненько-то на лесенке? Это ничего, я счас спичечку, да... Брысь вы, липявые! Пришли.

Помещение минимальной кубатуры. И здесь живут! Освещение неудовлетворительное. На полу предметы, затрудняющие передвижение. Сооружение на четырех (шатких) опорах для принятия пищи в твердом и жидком виде. Газообразная компонента также присутствует, причем в значительной концентрации. Если мои предположения верны и я являюсь гипотетической жертвой, то сейчас следует ожидать нападения. Или с моей стороны нужна добровольность?

Кстати, где еще двое, требуемые для ритуала?

Какая-то пауза. Меня усаживают. Пока никакой агрессивной составляющей пси-спектра. И похоже, мы одни. Посторонних пси-излучений не наблюдается. Мне предлагается жидкость. Ей сопутствует газообразная компонента. Гидроксильные группы, с которыми я уже знаком. Продукт высококалорийный. Помещаю в подшейный резервуар для последующего молекулярного анализа. Мне сразу же доливают еще. Ожидание становится утомительным. Скорее бы мой кынуит (кажется, я должен называть его «хозяином») приступил к той фазе действий, которая четко определит цель моего нахождения в данном месте. Мне снова наливают. Если так будет продолжаться без последующего раз-

вития событий, я не смогу аргументированно подтвердить или опровергнуть мнение Совета о том, что на Кынуэ распространен каннибализм. Одного поедания частиц "тела бога", не являющихся таковыми в действительности, еще недостаточно.

Это — неудовлетворительная работа. Даже для новичка. Но какую инициативу логичнее применить в данном случае?

Я разглядываю моего "хозяина". Одного из тех, кого я должен судить так, как если бы сам был человеком. Предположим, что гипотеза Совета ошибочна. Что же из этого следует? А из этого следует, что тогда я должен буду заключить, что это недоразвитое примитивное существо, не способное выйти за рамки убогих эгоистических потребностей, начисто лишенное аналитических способностей и сложных поведенческих комплексов, не говоря уже о богатстве эмоций — вот это ничтожество, это полуживотное, в таком случае, равно мне?

И я должен отстаивать его право быть новоявленным членом Содружества Разумных Миров? Нет, надо кончать этот затянувшийся эксперимент. А мне снова наливают...

Я в последний раз настраиваюсь на пси-волну моего "хозяина". Он почему-то преисполнен ко мне глубочайшего сострадания. Хочет... Хочет сделать мне подарок. Хм. Мне — подарок. С трудом поднимается, выходит в соседнее помещение. Что-то случилось с его вестибулярным аппаратом — передвижение затруднено.

Я использую одиночество, чтобы приоткрыть максимум заборных отверстий и взять пробы воздуха, пыли и микрососкобов со всех предметов, находящихся в зоне досягаемости. Я уже давно отмечаю присутствие едва уловимого, но опьяняюще прекрасного запаха. Не могу представить себе его источник; похоже, он расположен в соседнем помещении. "Хозяин" все не идет. Вероятно, не будет слишком значительным нарушением здешних правил, если я обследую еще одну комнату. Выхожу.

Запах идет отсюда. Полумрак. Четырехугольный иллюминатор задраен наглухо. Углеродно-пылевое покрытие снаружи почти не пропускает света. Перехожу на инфракрасное виденье. Множество металлических емкостей. Вспомогательное лабораторное приспособление — четыре вентиля, четыре распылителя, тонкие трубопроводы. Бездействующий фонтанчик для увлажнения воздуха? На нем еще более непонятный агрегат, источник гидроксильных соединений — емкость и спиралевидная трубка. Технические конструкции — не мой профиль. Делаю снимки, беру пробы воздуха. Специалисты Совета разберутся. Но где же источник запаха, приведшего меня сюда?

Наугад приоткрываю один из вентилей. Специфический звук. Есть! Концентрация запаха стремительно растет. Из маленьких сопел, на которые я в темноте не обратил внимания, тугими струйками бьет восхитительная газовая смесь. Не удержавшись, открываю остальные три вентиля. Судя по диаметру подводящей трубы, запасы газообразной пищи здесь не ограничены! Какое богатство... Кынуиты в нем просто купаются. У меня тоже возникает естественное желание включить левитр и поплавать, понежиться в этом густом, сладковатом аромате...

Эйфория чрезмерной сытости. Но это не опасно.

Странно только, что мой "хозяин" не предложил мне этого угощения с самого начала. Да, кстати, где же он? Шаркающие звуки — бредет сюда, придерживаясь за стенку. Останавливается на пороге, вероятно, пытается разглядеть, что я делаю. Не успеваю проанализировать обстановку и решить, следует ли мне скрыть тот факт, что я нашел дополнительный источник питания.

— Ты чего? — кричит он, вглядываясь в полумрак.— Ты чего это?.. Похоже, он сумел разглядеть, что я, наклонившись над форсункой, ловлю губами невидимые струйки газа.

— Дура!!! — орет он, делая рывок ко мне.— Жить надоело?

Отсутствие логики, характерное для кынуитов. Я питаюсь, следовательно, демонстрирую жажду жизни.

— Идиотка! — вцепившись в скафандр, он пытается сдвинуть меня с места. Он не способен представить, насколько технически невыполнима эта задача.— Колода каменная!

Имитация одежды, за которую он тянет, тоже не поддается на разрыв. Экспедиционное снаряжение высшего качества. "Хозяин" пытается в темноте нашарить вентили, что-то мелкое с дробным стуком валится на пол. Тон меняется:

— Да ты что, горемычная? Окстись, бабонька! У тебя еще полжизни впереди, да сдвинься хоть с места, во беда-то!..

Он внезапно отпускает меня и начинает судорожно бить ладонью по стене, где на скрученном шнуре подвешена коробочка с клавишей. С шестого удара попадает по клавише, вспыхивает свет...

Взрыв. Помещение наполняется огненной плазмой. Что с температурой? Не сразу вспоминаю, что внутри скафандра — датчики. Ничего страшного. Мне грозит только плавление внешнего, камуфлирующего покрытия. Но "хозяин"...

— А-а-а!.. Беги отседова! Беги, ты, окаянная! — он снова хватает меня за руки, делая отчаянные рывки.— Сгорим ведь, как пить дать!

Что-то валится сверху, разбивается, нас окатывает какой-то кислой тягучей смесью, состав которой я уже определить не успеваю, — и снова два взрыва.

— У-У-У — мамммм... родненькие... — он падает на пол и начинает кататься, пытаясь погасить вспыхнувшую одежду. Почему он не покидает горящего помещения? На мне начинает плавиться поверхностный слой. Сейчас обнажится каркас скафандра, а этого кьюиту видеть не следует. Я тщательно перепроверяю точность словосочетания и насколько возможно громко подаю ему команду:

— Иди ты! Иди ты! Иди ты!!!

Несмотря на экстраординарность обстановки, не теряю настройки на его пси-волну. Доминанта — болевой шок, сквозь который явственно пробивается вектор, направленный на меня. Он пытается меня спасти! Почему?

— Иди!!! — но я чувствую, что мои слова уже не воспринимаются. Где же инстинкт самосохранения, соответствующий уровню развития?

— Уу-уу!.. — несется прерывистый вой. Нарушение речи.

Почему он не бросает меня и не спасается?

Придется мне помочь ему покинуть высокотемпературную зону, а это — опасность быть опознанным. Кьюиты, чьи голоса уже доносятся снаружи, заметят дефекты скафандра. Но другого выхода нет. Я пытаюсь сделать шаг по направлению к выходу... и обнаруживаю, что расплавившийся верхний покров залил шарнирные полости. В таком состоянии я уже не смогу передвигаться, имитируя походку аборигенов. Делаю несколько рывков — и с грохотом валюсь на пол. Подо мной что-то бесформенное, температура выше... А, да ведь это "хозяин". Звуки прекратились. Пси-волну зафиксировать не могу. Надо исчезать. Но что-то словно подталкивает меня, и я обхватываю неподвижное тело. Он по меньшей мере в бессознательном состоянии, так что я могу включить левитр.

Впереди грохот. Разбивают дверь. Срочно включить аварийную систему невидимости — только подействует ли она на расплавившийся слой? Подействовала. Отпускаю тело в тлеющей одежде — ему я уже ничем помочь не могу, — взмываю вверх и прижимаюсь к потолку. Дверь падает. Врываются кьюиты в коробчатых (вероятно, защитных) одеждах. Буквально вышвыривают "хозяина" на лестничную площадку. Что-то с натужным звуком лопается. Звон. Шум мощной водяной струи. Пора выбираться отсюда. Что бы здесь дальше ни происходило, меня это больше не интересует.

Клубы дыма вперемешку с горячим паром. Даже если бы я и не включал генератор искривления световых лучей, обеспечивающий мою невидимость, я смог бы сейчас беспрепятственно выбраться отсюда под прикрытием этой дымовой завесы. Перевожу левитр на горизонтальное движение и осторожно, едва касаясь потолка, выплываю на лестницу. Здесь светлее — дым вытягивает через распахнутый четырехугольный проем. Превосходно, отсюда прямой путь — па мой кораблик, и домой! Домой...

Вместо этого я поднимаюсь на несколько ступенек и застываю, прижавшись к заколоченной досками дверце. Я улечу домой, представлю Совету все свои наблюдения, предположения, заключения. А за моей спиной останется другой дом — горящий дом маленького кынуита, который мог бросить меня и бежать, а вместо этого остался, чтобы с редкостным и бесполезным упорством спасать совершенно незнакомое, случайно встреченное существо, об истинной природе которого ему не дано было знать. "Ты должен судить нас так, как если бы ты сам был человеком".

Но ведь и с точки зрения так называемого человека это поведение просто абсурдно!

И вот теперь он лежит на лестничной площадке, покрытый сплошной черной коркой, и я не могу вспомнить, какое же у него прежде было лицо. Двое в белом, издавая какие-то бессмысленные восклицания, бегут снизу, наклоняются над лежащим и начинают производить непонятные манипуляции, но разом останавливаются.

— Готов алкашонок, — говорит один.

— Оформим в машине, — машет рукой второй, и оба бросаются вниз, издавая перхающие звуки.

Из горящего помещения выскакивает кто-то, покрытый гаревым налетом.

— Труповозка за вами! — кричит он, перегибаясь через металлическое ограждение лестницы.

— Будь спок! — доносится снизу, — обеспечим.

Он кивает, исчезает в дыму и через некоторое время появляется снова с каким-то полотнищем в руках. Укрывает им моего кынуита. Некоторое время стоит, рассовывая по карманам мелкие предметы. Дым редеет.

Я автоматически фиксирую услышанное: "Готов — алкашонок — оформим — в машине — труповозка..." Звукоряд, как всегда, ни в коей мере не коррелировал с цепочкой мысленных образов. Все трое кынуитов думали о конкретных особях женского пола.

Ощущение утонченного наслаждения, воспитанное дедом, которое я получал при анализе психоаудиовизуального контакта с аборигенами, оказывается, необъяснимо и безвозвратно улетучилось. Пропало желание строить изящные логические цепочки альтернативных конструкций, докапываясь до истинного смысла всех зафиксированных слов. Все это я проделывал здесь десятки раз и, наверное, столько же раз ошибался. Последнее меня смущает менее всего — после того как я понял, что и послан-то был сюда для того, чтобы бессчетное число раз ошибиться.

Но сейчас я стою перед фактом, который ужасающе однозначен и не требует никаких интерпретаций. Факт этот заключается в том, что мертвый кыпуит мог спастись, но предпочел сгореть заживо, спасая меня.

И вот теперь мне нужно улетать. Я должен улететь. Я не имею права не улететь.

Но вместо этого я стою над телом маленького кыпуита, которого по очередной своей ошибке назвал "хозяином", что, по уточненным данным, значит: владелец, господин, повелитель, обладатель, собственник — а ведь это существо было едва ли не последним в ряду себе подобных; он был нищ и достатком, и умом — и все-таки, и все-таки... Не колеблясь ни секунды, он поделился со мной единственным, чем владел в полной мере, — собственной жизнью.

И я не знал, какие слова найти для того, чтобы убедить мой высокий Совет в истине, которая вошла в меня, как огонь в этот убогий дом: да, кыпуиты невежественны, агрессивны, нелогичны, они размножаются бездумно, подобно низшим животным, они поклоняются своим жрецам, но не верят в пришельцев из других звездных систем... И все-таки они равны нам.

Выходит, я был прав, когда оказался один против всех; но что же мне теперь делать, чтобы убедить их?..»

Из рапорта сержанта Худякова Ф.Я.: *«Неотлучно находясь в парадной номер три дома шестнадцать по Сорокалетия Комсомола до прибытия спецтранспорта путем проверки было установлено, что двери квартир номер три и пять, кроме потерпевшей на пожаре, наглухо заколочены, а также окна первого и второго этажа, включая чердак. Окно третьего этажа открыто путем вентиляции, но проникновение туда и обратно в окно исключается вследствие присутствия меня и отсутствия следов.*

*Прибывший в 23 часа 11 минут спецтранспорт наличия трупа пострадавшего не обнаружил.*

*Собака работать отказалась».*

Совет Звездного Каталога, собравшийся в полном составе, ждал терпеливо и снисходительно: как-никак новички (явление, уже само по себе редкостное) не так уж часто возвращались из своей первой экспедиции. А этот к тому же был еще и строптивцем. Это ему простили, предоставив все мыслимые возможности убедиться в собственной неправоте. Конечно, в этом полете он должен был наделать уйму ошибок, но и они были благосклонно прощены авансом. Здесь ценились не ум и инициатива, а принадлежность к династии членов Совета.

И вот створки дверей раздвинулись, и непокорный неофит вступил в зал.

На помосте, где возлежала элита Разумных Миров, разом воцарилась стылая, неприязненная тишина. Мало того что в нарушение всех традиций новичок был без мантии, он даже не потрудился снять грязный скафандр. Тишина сменилась ропотом, ропот перешел в возмущенный гул. Потому что нарушитель этикета двинулся к помосту, держа на вытянутых руках что-то омерзительное, обугленное.

Члены Совета, которым все-таки не чужд был профессиональный интерес, невольно подались вперед. За это время большинство присутствующих просмотрели атлас живых форм Кынуэ, и сейчас им не трудно было угадать, что обезображенная огнем маска скафандра копировала какую-то кынуитскую женщину, сочетающую в себе смиренное достоинство и безутешную скорбь. Тело, которое она несла, на первый взгляд было непомерно тяжелым для слабых пергаментных рук, но члены Совета знали, что немощность эта иллюзорна, а несомое тело, как и все экспедиционные экспонаты, дегидротировано в глубоком вакууме и, следовательно, вшестеро уменьшило свой вес. Это было очевидно; приводило в недоумение другое: зачем это все?

— Зачем это? — невольно произнес вслух председатель Совета.

Новичок вдруг запнулся на полушаге — из глубин его памяти всплыла странная фраза на языке кынуитов, хотя он и не мог припомнить, чья же это была речь — или мысль. Впрочем, то и другое были для него совершенно равнозначны. Он медлил, и воспоминание мягко, но властно опутывало его древними, паутинными тенетами: «Не судите, да не судимы будете...»

Но если не он, то кто? Вот эти самые?..

Он стряхнул с себя оцепенение древней мудрости и сделал еще несколько шагов по направлению к серому с серебром помосту, на котором настороженно застыли члены Совета — все в черно-белых клетчатых мантиях. Манипуляторы скафандра — продолжение его рук — разогнулись и опустили на пол обугленное тело. Как ни странно, ему и в голову не пришло, что он со стороны должен быть до странности похож на изображение скорбной женщины там, в маленьком храме на Кынуэ. Не вспомнил он и об Архани. И о ее странном предостережении — тоже. Он даже совершенно забыл ту несколько высокопарную, торжественную речь, с которой собирался выступить здесь в защиту маленькой несчастной планеты...

Его охватило непомерное удивление — он не мог понять, что же творится с ним самим. Откуда взялось это спокойствие, и главное — это абсолютное бесстрашие? Казалось, незримое крыло вековечной тайны коснулось его и, пока еще не открывшись, просто вернуло ему частицу какой-то утраченной силы... И еще — заболели глаза.

— Я остаюсь при своем мнении, — лаконично доложил он. — Прошу проверить мой отчет и принять как доказательство вот это. На своей родине он был последним, едва ли не изгоем; и тем не менее он, не колеблясь, отдал жизнь за то, чтобы спасти меня, незнакомого ему первого встречного. Кынуиты равны нам...

Он внезапно запнулся. Нет. Они не были равны его соплеменникам. Никто из них не сделал бы то, что сделал он.

И еще одно слово всплыло в его памяти, слово, не имевшее аналогов в его родном языке, о смысле которого он только смутно догадывался: «причащение». Выходит, он причастился древней силе кынуитов. И эта сила всегда будет с ним. И с его потомками. Потому что каждому человечеству, как бы разумно и рационально оно ни было, иногда необходимо сделать маленький шаг назад.

Обретенная мудрость подсказала ему, что это открытие ему следует держать при себе.

— У меня единственная просьба, — так же сдержанно проговорил он. — Я прошу похоронить этого кынуита, как одного из нас.

Он повернулся и пошел прочь, ощущая за своей спиной ледяную стену нарастающего отчуждения. Члены Совета за долгие годы научились экранировать собственные пси-волны, и тем не менее он подумал, что скафандр, делавший его неуязвимым, пожалуй, сейчас не лишний. Двери, как непроницаемые створки

сейфа, с лязгом затворялись за ним — одна, другая... последняя. Ступени, бегущие прямо к гигантскому водохранилищу, и первые осенние листья, с едва уловимым шелестом скользящие по полированному камню. Светло-серые листья на темно-сером граните. Нет...

Глаза снова защипало, так что навернулись слезы, и он невольно нащупал крошечный пультик, спрятанный под поясом. Нажал клавишу, и ненужный более шлем скафандра, тупо тукая, покатился вниз по ступеням. Все поплыло у него перед глазами, подергиваясь стремительно скользящими размывами, и сквозь эту пульсирующую, вихрящуюся пелену начало пробиваться нечто, ни разу в жизни им не виданное... То, что ранее было белым, черным и серым, распадалось, расслаивалось, приобретая непостижимое качество, которое было сродни разве что звучанию — пронзительному, глуховатому, ласкающему... Предвечернее небо вдруг слилось с умиротворенной поверхностью теплой воды в каком-то необъяснимом тождестве, равно как и осенние листья оказались созвучными кромке закатного облака, подсвеченного низким солнцем. Он, нащупывая каждую ступеньку, осторожно спустился вниз и окунул ладонь в воду — нет, растекшиеся капли были совершенно прозрачны, как и раньше, но почему-то напомнили глаза маленького кыпуита — теплой доверчивостью, что ли? Или незамутненной ясностью? И уже зарываясь еще глубже, память вывела его к страшным словам Архани: «пурпурный... васильковый цвет... красота...» Все это означало что-то, утраченное за ненадобностью в новом рациональном мире подобно атавистическим традициям или рудиментарным органам. Он шевельнул губами, невольно повторяя эти слова вслух и дивясь их непривычному звучанию, а они все вспоминались, рождаясь заново, и только одно слово — «преосуществление» — он произносить не стал, ибо инстинктивно пришел к древней мудрости: если судьба подарила тебе чудо, береги его так, как если бы оно было тайной даже для тебя самого...

олодежь — Маколей, Поггенполь, Спорышев и Хори Хэ — стала в кружок, положив руки друг другу на плечи и выжидающе глядя себе под ноги. Анохин стоял поодаль, в углу квадрата, и тоже глядел под ноги. Инглинг, командир отряда, вышагивал вокруг центральной группы и глядел под ноги просто из солидарности — он ничего не чувствовал. С фантазиями молодежь, вот и все.

— Ну, так что? — спросил он.

— Я туп и невосприимчив,— сказал Маколей.— Мне просто чертовски хорошо.

— Впечатление такое, словно вдоль тела скользят какие-то прохладные струйки...— Поггенполь блаженно поежился.— Аэродинамический душ. Восходящий.

— Это запах без запаха,— подхватил Хори Хэ.— Он наполняет душу ароматом ожидания...

— Это, конечно, очень близко,— как всегда смущаясь, проговорил Веня Спорышев,— но все это — эффекты вторичные. А в основе — мощнейшее излучение, какое — сказать не могу, земных, да и каких-либо инопланетных аналогий я просто не знаю... Кроме того, у меня такое ощущение... Кирилл Павлович, идите к нам!

Анохин удивленно вскинул седеющую бороду и послушно, как автомат, двинулся на зов. Он и Гейр Инглинг считались стариками.

Спорышев и Хори Хэ расцепили руки и дали ему место.

— Сильнее стало — чувствуете? — негромко проговорил Веня.

— Командир, давайте и вы сюда! — крикнул Маколей.

Гейр поднырнул под их руки и очутился в центре круга. В воздухе разлился аромат цветущей вишни.

— Ух ты! — сказал Гейр. — Кто там считает, что этот запах — без запаха? Плита благоухает, как сад японских императоров!

— Может, станцуем сиртаки? Условия созданы... — Маколей разошелся от радости, что плаиетку назвали его именем. Земля Маколея. Как мак, алея. Маковая Аллея.

— Плита здесь ни при чем, — сказал Веня Спорышев, опуская руки. — Здесь излучает каждый камешек, каждая трещинка. На этом месте просто фонтан, но он глубже, под плитой. Может, те для того ее и притащили, чтобы место отметить?

— М-да, — покачал головой командир, — хотел бы я знать, кто они, вышеупомянутые «те», и сколько веков назад они притащили сюда эту плиту. Зачем — это уже не так важно.

Все промолчали, потому что, естественно, не меньше командира хотели бы узнать, кто и когда здесь побывал, да и было ли это посещение? Скорее — было... так притягательно все в этом едва сформировавшемся мирке, пребывающем где-то па заре кембрийской эры. Заря здесь была незабываемой — практически она продолжалась с восхода солнца и до заката. Розовое светило окрашивало белые скалы над морем в пастельные тона, а соцветия лилий разве что в полдень обретали свою снежно-белую окраску.

— Блажен, кто на землю ступил порою вешнего цветенья... — задумчиво процитировал Хори Хэ то ли себя, то ли кого-то из классиков. — Маленькая неувязка только в том, что здесь сейчас не весна. Я прикинул: самый конец лета. Правда, мы сели в субэкваториальной зоне, и наш корабельный компьютер дал среднегодовые колебания температуры в пределах двенадцати — пятнадцати градусов, но все равно поведение здешней флоры представляется мне нехарактерным...

... Путь обратно в лагерь был не такой простой штукой, как могло бы показаться на первый взгляд, во всяком случае, ни у кого не появилось желания продолжить разговор по дороге. Камни, причудливо навалепные на этом крутом шестисотметровом склоне, за две ночи поросли накипью лиловато-розового лишайника; идти по этой пенистой массе, состоящей из миллиардов крошечных нитей и зернышек, было сущей мукой.

На середине склона миновали еще две плиты нездешнего происхождения — лишайник упорно обтекал их стороной. И

обе плиты расколоты... Маколей только хмыкнул — ведь их не брал ни геологический молоток, ни лазерный резак. Хори, самый легкий и подвижный, обогнал всех и уже хлопотал в лиловой тени, отбрасываемой «Харфагром», накрывая на стол. Наконец и все остальные попрыгали с последнего уступа на ровную площадку, облюбованную под лагерь, и, стаскивая комбинезоны, сгрудились у ручья. Струя падала с высоты человеческого роста и образовывала естественный душ. Вода была тепла и пузырчата, как нарзан, и на дне лунки, которую она продолбила за долгие годы своего монотонного падения, лениво шевелила лапами большая зеленая лягушка. Время от времени она приоткрывала рот, и Поггенполь утверждал, что она произносит «bon appetit». Отсюда не следовало, что аборигены уже овладели французским языком, — это было не животное, а комплекс контрольных приборов. Пока лягушка оставалась зеленого цвета, воду можно было пить; перемена оттенка на желтоватый говорила бы о том, что теперь вода годится только для технических нужд, красный цвет вообще запрещал притрагиваться к ней.

Все, кроме, пожалуй, молчаливого Анохина, приветствовали изумрудный индикатор, словно это была знакомая собака. Сказывалось отсутствие на планете животных, особенно заметное при таком обилии растительности.

— Пока мы гуляли, — командир занял свое место во главе складного стола и потянулся к миске с салатом, — этот ползучий цветник забрался вверх еще метров на восемьдесят. Интересно, там, за перевалом, тоже все цветет?

— Судя по снимкам, нет, — вежливо проговорил Веня Спорышев, отрываясь от тарелки. — Распространение цветочного покрова идет от берега в глубь материка. Вы не беспокойтесь, последовательные снимки делаются автоматически.

— Ты ешь, ешь, — сказал командир. — Ботаническая сторона меня волнует менее всего. Растениеведов и так наберется в составе комплексной экспедиции больше чем нужно. Они во всем и разберутся. Тут главное — не забыть затребовать специалиста, о котором на Базе не вспомнят. Вот, например, как с этим излучением. Придется теперь просить консультанта по психотронике, представляю, какая физиономия будет у Полубояринова.

Гейр спохватился — обсуждение высшего начальства в присутствии рядового состава в его привычки не входило. Но финал каждой разведки всегда способствовал этому: ведь главным в их профессии была как раз не сама разведка, а составление

схемы будущей комплексной экспедиции, которая не должна ничего упустить. Затребуешь лишних специалистов — Полубояринов загрызет: с кадрами туго, планета бесперспективная, а по милости первопроходцев погнали туда целый караван... Не дозакажешь — еще хуже: планету обязательно объявят потом чрезвычайно интересной и перспективной, все богатства и прелести которой невозможно было исследовать вследствие нерадивости разведчиков.

Правда, вслед за комплексниками на планету прибывают освоенцы, и тут у них возникает столько претензий к своим предшественникам, что разведке остается только руками развести, потому что накал страстей, сопутствующих комплексно-освоенческим конфликтам, как правило, напоминает стартовый выхлоп крейсерского звездолета.

Между тем за столом наступила пауза — Хори замешкался с супом...

— Салат был преотменнейший, — заметил Кит, — рис, кальмары и яйца — из собственного лабаза. Но откуда такой сочный лук?

— Это не лук, — отозвался Хори, — это лепестки водяной лилии. Мы с Вениамином откушали и проверили индикатором...

— Надеюсь, что в обратной последовательности, — строго вмешался командир. — Хорошо еще, что, по-видимому, здесь не найдется ни трилобитов, ни даже червей, иначе мы рисковали бы вот так, без предупреждения, познакомиться и с ними достаточно близко.

Хори Хэ вытянулся, отдавая честь суповой ложкой:

— Есть, шкип, больше не повторится, шкип, впредь обязуюсь команду местными червяками не кормить...

— Вольно, — сказал Инглинг, — давай харчо. Тем более что появление червей здесь можно ожидать не ранее чем через пару миллионов лет.

— Я... э-э-э... не хотел выступать с непроверенными данными, тем более что мне могло показаться... — Спорышев мялся больше, чем обычно. — Короче говоря, вчера вечером на глубине порядка двенадцати метров я наблюдал стаю медуз. Совсем маленьких.

Немая сцена последовала незамедлительно: у одного Хори Хэ хватило чисто азиатского самообладания поставить кастрюлю с супом на землю — у остальных ложки и вилки выпали из рук.

— Великие дыры, черные и белые! — возопил Поггенполь. — Ты камеры-то оставил?..

— Естественно. И на разной глубине. И даже все запасные...

— Пошли, выудим парочку, тут не до супа! — распорядился Инглинг, подымаясь.

— Минуточку, — поднял широченную ладонь Маколей. — Не все лавры Веньке. Я тоже не хотел выступать преждевременно, но в пробах грунта как будто бы прослеживаются остатки беспозвоночных. Более того: моя дражайшая Маковка не менее двух раз заселялась разной живностью, затем до основания вымиравшей.

— Палеокатастрофы? — быстро спросил Гейр, покосившись на скалы и присевший на амортизаторы «Харфагр».

— Не исключаю, — кивнул Маколей. — Маковка — особа спокойная, уравновешенная и отнюдь не первой молодости, как можно судить по первому впечатлению. Ей бы, судя по всему, обзавестись зверинцем и зарасти травой следовало двести — триста миллионов лет назад.

— Откуда такая точность? — ревниво спросил Поггенполь.

— Интуиция. Помнишь первую заповедь космопроходца — «доверяй интуиции»? В данном случае — моей.

Анохин, до сих пор не проронивший ни слова, поднял голову, как будто хотел что-то сказать. Но передумал. Интуиция. Эти мальчики прочно усвоили и писаные параграфы, и неписаные заповеди. Иначе они не были бы в тактической разведке. Пока они не обжигались. Но говорить об этом бесполезно. Можно научить подстилать соломку и даже весьма точно рассчитывать — где. Нельзя научить не падать.

— Ну ладно, первооткрыватели, — сказал Поггенполь, — я тоже кое-что приберег для отчета, хотел в последние дни семь раз проверить. Господин председатель, леди и джентльмены, хочу уведомить вас, что посещение этой планеты пришельцами пока не установленного происхождения было отнюдь не единичным. Они прилетали как минимум дважды.

— Все высказались? — спросил командир. — Анохин, ну хоть ты-то убереги меня от сюрпризов, а!.. Ну, спасибо, милый. Теперь слушайте: властью, данной мне инструкцией, продлеваю пребывание на Маковой Аллее еще на десять дней. Резерв командования. Но прошу блюсти четвертую заповедь!

— Находясь на планете, собирай информацию — отчет будешь составлять в карантине! — гаркнул кто-то из молодых.

Десятый день резерва командования подходил к концу. Солнце, оранжевое и беспечное, уходило за поросшие тюльпанами невысокие хребты. У шестерки людей, расположившихся на камнях у самой черты прибоя, настроение было неважное.

— Мы так ни до чего и не договорились, — констатировал Инглинг, и подчиненные впервые слышали в его голосе тревогу. — Пора сворачивать лагерь, чтобы не возиться в темноте...

— Это все потому, что мы боимся назвать вещи своими именами. Как бы невероятно ни было то, что думает каждый из нас, — это нужно произнести вслух, и решение явится, — без особой убежденности изрек Поггенполь.

— Вот и выскажись, — буркнул Маколей. — У меня лично не хватает словарного запаса. Потому что признать придется попросту чепуху.

— Хорошо, — сказал Спорышев, — хотя, честно говоря, я не понимаю, что во всем этом особенного. На Радзивилле и похлестче было. И меня лично ничто не пугает, просто я знаю, что должен собрать информацию, но не пытаться ее интерпретировать...

— Ага, — обрадованно воскликнул Маколей, — вторая заповедь космопроходца: доверяя интуиции, не делай выводов — все равно у Базы будет свое собственное мнение.

— Вот-вот! Понимаете, Гейр, — Веня поднялся и зашагал по гальке, усеянной белыми луковичными лепестками, — к сожалению, нас слишком долго приучали собирать факты, сведения, вещественные доказательства... Мы знали, что в любом случае База примет за нас необходимое решение. А тут... Мы прилетели на совершенно безжизненную планету, и на восемнадцатый день зафиксировали жизнь. К моменту отлета — можете полюбоваться, целые плантации цветов.

— Но ведь до нашего прилета этой жизни не было, — растерянно прошептал Хори Хэ.

— Этой — да, — согласился Спорышев. — Если и можно сказать, что жизнь здесь существовала, то только в неявном, зародышевом состоянии. Как бы приблизительны ни были оценки, полученные нами за эти десять дней, мы должны согласиться с тем, что каждое возникновение — или, если угодно, возрождение — жизни на Земле Маколея совпадает с пребыванием на ней разумных существ.

— Вот уж не ожидал от Спорышева такой категоричности! — фыркнул Кит. — Да что, пришельцы сеют споры, что ли? Теория спазматической панспермии?

— Ну, про всех пришельцев не скажу, а я лично ничего не сеял!

— Не волнуйся, Мак, в этом отношении ты вне подозрений. Речь ведь даже не о первичном возникновении жизни. Что именно ее инициировало — в этом комплексники разберутся... или не разберутся. Для нас проблема состоит в том, что для самого элементарного существования и развития здесь жизни необходимо присутствие разума. Если хотите, в качестве катализатора. Другого сравнения я не нахожу.

Инглинг в буквальном смысле слова схватился за голову:

— Ты представляешь себе, Вениамин, как я все это буду выговаривать перед Полубояриновым?

— Ну, командир, если дело только за этим, то я и сам могу изложить...

Анохин поднялся. Он был на голову выше любого из разведчиков.

— Гейр,— сказал он,— какой Полубояринов? Какой доклад? Разве ты не понял, что мы просто не имеем права отсюда улетать?

Наступила тишина. Крупная белая ветка с ломкими, алебастровыми цветами выплеснулась на берег и зашуршала по гальке. Часа через два она укоренится и, как все побеги, выбравшиеся из моря на сушу, порозовеет; завтра же, к моменту старта, ее гибкие плетеобразные ветви вскарабкаются на плоскогорье и, возможно, дотянутся до стабилизаторов «Харфагра».

— Кирилл,— сказал командир,— ты же не новичок. Не тебе объяснять, что остаться здесь до прибытия комплексников «Харфагр» не может. Ресурсов не хватит. Не говоря уж о том, что База никогда не позволит. Если бы обнаружились гуманоиды или случилась авария... Но в последнем случае нас отсюда сняли бы, и все. В этом варианте не за что бороться.

— А бороться вообще ни за что не надо. Вы возвращаетесь обычным порядком и столь же обычно и без спешки, приводящей только к конфузам, высылаете сюда комплексную. Насколько я знаю, она может появиться здесь месяцев через семь-восемь. Столько времени я продержусь. Мне одному ресурсов хватит.

— То есть как это — вы?..— возмутился Спорышев.— Я биолог экспедиции...

— Венечка, а зачем этим лотосам ваша специализация?

— Ну не я, но почему вы?

Гейр с Кириллом переглянулись.

— Дело в том,— сказал Анохин,— что я умею быть один.

Он чуть было не добавил: «У меня уже есть некоторый опыт...»

— Анохин — специалист по дальней связи,— сухо проговорил командир, словно Кирилла и не было рядом.— В данной ситуации это, по-видимому, будет решающим.

Кирилл повернулся на каблуках и, заложив руки за спину, засмотрелся на белые, словно покрытые инеем, скалы, выступающие из воды. Общий разговор он считал бесполезным, а Гейр высказался с максимальной определенностью. Что ж, если Инглинг и не был лучшим командиром разведфлота вроде легендарного Рычина, то друг он был надежный. В сущности, он ведь даже не знал, почему Кирилла потянуло вдруг на добровольный подвиг. Он вообще ничего не знал, кроме того, насколько худо было Кириллу тогда, десять лет назад. Тогда Анохин числился в новичках, но Гейр вытягивал его не только потому, что был его командиром. Уже тогда между ними было то великое, которое не имеет названия, потому что понятие «дружба» непозволительно широко. И это великое заключалось в том, чтобы не знать, но понимать.

В глубине вечерней воды, ленточно извиваясь, прошло змееподобное тело. Кирилл оглянулся — никто, кроме него, в воду не смотрел.

На всякий случай он промолчал.

Он проснулся, повернул голову и глянул на календарь: прошло шесть месяцев и одиннадцать дней его робинзонады. Просыпался он с восходом, ложился с последним солнечным лучом. Получалось это само собой, в ритм он вошел естественно и ни о чем не задумывался — так, наверное, не задумывались цветы над тем, когда им открывать или складывать на ночь свои лепестки. Впрочем, это относилось к земным цветам; здешние, как с некоторых пор начинало казаться Кириллу, могли и призадуматься.

Но вот отмечать прожитые дни — это единственное, что никак Кириллу не удавалось. Если бы он вовремя не перевел календарь на автоматику, то давно потерял бы счет дням.

Он, не одеваясь, выскочил из своего домика, нарвал грибов и швырнул их в приемный раструб автоплиты. Пока та, урча, возилась с грибами, он помчался на свой маленький стадион, раздумывая о том, что весенние дожди унесли изрядную долю песка, поднятого им с пляжа сюда, на плоскогорье (коль скоро ни одного, даже самого захудалого киба у Кирилла не было, все необходимое приходилось таскать на собственном горбу).

Стадион был залит солнечным светом. Солнца Кирилл не то чтобы не любил, а предпочитал держаться тени, и, словно угадав это, трехметровой высоты цветы — не то маки, не то тюльпаны, — росшие вдоль немногочисленных дорожек, сплелись верхушками и образовали крытые аллеи, а над любимой скамейкой Кирилла вырос целый балдахин метра четыре в поперечнике. И это чудо света отнюдь не было исключением: третьего дня со скалы, из которой бил питьевой источник, свесился толстенный стебель с зеленой «бомбой» на конце. Вчера бомба лопнула, брызнув во все стороны померанцевым соком, и за какие-нибудь полтора часа развернула шестиметровый тент бледно-лилового цвета.

Кирилл привычно вспрыгнул на гимнастическое бревно. С детства у него были нелады с равновесием, и здесь, в уединении, наконец-то можно было наверстать упущенное. Он несколько раз повернулся, с удовольствием отмечая, что вальсирует на узкой поверхности без малейшей опаски, и вдруг его взгляд остановился на площадке, открывшейся с этой небольшой высоты.

Несколько серебристых плит, вместо того чтобы спокойно лежать на тщательно выровненной земле, стояли боком.

Это был непорядок. Кирилл спрыгнул с бревна и, раздвигая цветочные стебли, которые больше походили на стволы молодых деревьев, добрался до площадки. Потревоженные плитки были приподняты какими-то странными, буровато-лиловыми витыми стеблями, каждый из которых заканчивался пышной седой метелкой. Нужно было иметь достаточную силу, чтобы поставить на ребро увесистую батарею, и тем не менее ни один из новоявленных стеблей даже не погнулся.

Кирилл побежал в сарайчик за лопатой (все приходилось делать самому!). Потом, осторожно сдвинув плиты, он выкопал винтообразные стебли и, отнеся их метров за двадцать, так же бережно высадил в приготовленные ямки. Всем макам и тюльпанам было достаточно двух-трех аналогичных уроков, чтобы больше никогда не приживаться ни на стадионе, ни в окрестностях надувного домика. Как это у них получалось, Кирилл предпочитал не задумываться.

Он пробежал пятьсот метров, выкупался и легко пошел обратно в гору. Вдыхая запах свежезажаренных грибов, заскочил в кухонный отсек и остолбенел: сковородка валялась на боку, соус растекся по полу.

Первым побуждением Кирилла было заглянуть под стол и кровать — не спрятался ли там некто любопытный, а может быть,

и опасный. Спохватившись, он затряс головой, успокаиваясь: разумеется, нет, десантный домик — это ведь не таежная хибарка, куда любой может заглянуть. Сейчас окна и двери настроены только на него: ни одно живое существо, даже муха, сюда не проникнет, отброшенное силовым ударом.

А ползучее растение?

Рассчитана ли защита на такое вторжение? Вот этого он не знал или, точнее, забыл, и нужно было заглянуть в инструкцию. Прижимаясь из осторожности спиной к стене, он нашарил на кухонной полке пластиковый том и принялся судорожно и бестолково его листать — как-никак с начала его добровольного уединения он занимался сим трудом впервые. Непроницаемость стенок и перекрытий... Антисейсмичность... Настройка входного клапана...

Он вздохнул спокойно. И что он всполошился? Должен был бы помнить — ни зверь, ни птица, ни камень, ни былинка.

Его дом — его крепость. И какая!

Ну а с тем, что снаружи, он уж как-нибудь договорится. Полугодовой опыт имеется.

Он, нисколько не опасаясь, вылез из домика и подошел к кухонному углу. Так и есть, из-под пастила косо торчал виток новоявленного растительного монстра. Пробить пол кухонного отсека, естественно, не удалось, но удар основательно всколыхнул плиту. Так что от завтрака остались рожки да ножки. А, собственно, почему это его удивляет?

Шесть месяцев он жил в этом саду блаженно и беззаботно. Если бы так можно было выразиться, то в полнейшем слиянии душ — собственной и всех этих лилейно-лиственных и лотосоцветковых. Хотя после того, что произошло десять с лишним лет назад, вместо души у него должно было остаться пепелище. Все, что происходило потом, проплывало мимо на расстоянии вытянутой руки. Так он проходил комиссии, летал, что-то настраивал, законтачивал, принимал-передавал, а когда особенно везло и натыкались на гуманоидную цивилизацию — возвращался к своей профессии переводчика. Он делал все, что от него требовалось, но не более.

Вероятно, то страшное напряжение, в котором он провел самый страшный год своей жизни, взяло у него все силы души на десятки лет вперед.

Вот и здесь, полгода назад, он безучастно слушал споры, пропускал мимо ушей гипотезы, пока вдруг в его сознание непрошенно не ворвалось что-то прежнее, болезненно резонирую-

щее с прошлой болью. Исчезновение жизни, отсутствие человека — это было изящной абракадаброй, проплывшей мимо ума и сердца.

А вот неминуемое умирание — это было не постороннее. Это уже было у него внутри, затаенное и пронизывающее, как застарелый шип, вошедший в нервное сплетение.

Тогда он и сказал Гейру: «Мы ведь не можем улететь, разве ты не понимаешь?»

С тех пор он жил спокойно и просто, в том естественном ладу с шуршащей, но безгласной зеленью, в каком состоял с ней разве что пещерный человек. Он не рвал ничего, кроме грибов, а ягоды сами скатывались к его ногам. Любой первоцвет, по-щенячьи вылезший в неположенном месте, он выкапывал и переносил на безопасное расстояние. Иногда ему вдруг казалось, что кто-то начинает чахнуть и хиреть; он брался за поливку, даже не думая, а в недостатке ли воды тут дело. Но цветок — если будет позволено так называть трех-четырехметровую дубину — мгновенно оживал, и было в трепете и плавных изгибах его листьев что-то от ласкающейся собаки. То, что листья тянулись к нему, а стебли наклонялись чуть ли не до земли, Кирилла нисколько не удивляло.

Но что произошло сейчас? Какие-то вывертыши взбунтовались, ну и что в этом страшного? Растения подросли — не каждое в отдельности, а все целиком, как коллектив; началась пора самостоятельности. Так подросший щенок рано или поздно рвет любимые домашние тапочки хозяина.

Кирилл во второй раз достал лопату и, осторожно подрывая угол собственного дома, выкопал строптивца. Если урок, преподанный одной особи, как-то идет впрок всему остальному клану, то ее следует наказать. Вот хотя бы забраться на ту каменистую площадку, где ничего не растет, кроме местного чертополоха, и подсадить туда упомянутую особь, чтобы не сбрасывала завтрак на пол. Мысль показалась Кириллу удачной, и он, опираясь на лопату, начал карабкаться по склону на карниз, прижимая к себе холодный и упругий стебель. Если бы не ковыльная метелка, инопланетный цветок более всего напоминал бы гигантский штопор. Вероятно, сила его роста такова, что, не будь экспедиционный домик защищен со всех сторон силовым полем, эта крученая штуковина проткнула бы пол насквозь.

Кириллу пришлось долбить ямку, потом подтаскивать хорошей земли, потом прилаживать бортик, чтобы дождевая вода не сразу стекала с этого карниза — для этого потребовалось часа

полтора. Разогнувшись, Анохин глянул сверху на серебрящуюся крышу своего коттеджа, как он его уважительно именовал, — и ему стало не по себе: шагах в десяти от входа, высоко подымаясь над зарослями молочных лотосов, распускал лепестки оранжевый гигант. С шелестом и мясистым пошлепыванием раскручивались многоярусные лепестки, каждый из которых мог бы обеспечить парусностью небольшую каравеллу; малиновые прожилки натягивались, принимая на себя тяжесть ярко-рыжей массы, и черный подрагивающий пестик нацеливался в зенит, как копьеобразная антенна. Размерами и какой-то одухотворенной чуткостью этот цветок действительно напоминал антенну радиотелескопа.

Кирилл прислушался к собственной интуиции, как рекомендовали неписаные заповеди. Да, конечно, приятно — вроде бы растут дети... И все-таки в глубине зреет тревога. Ее не было, когда цветы доверчиво наклонялись к нему — подумаешь, способность к движениям отмечалась даже у земных растений. Но когда вот так, как сейчас... начинаешь с завистью вспоминать о самшите, который и растет-то едва-едва.

Внизу что-то звучно треснуло, и Кирилл увидел второй персиковый парус, раскрывший свое полотнище возле стадиона. Третий лиловел над метеоплощадкой, где приходилось работать ежедневно. Славно... Приближается теплое время, и ему в любом уголке будет обеспечена прохладная тень.

Вот только непонятно, почему ни дальше по берегу, ни вдоль лишайниковых склонов ничего подобного не наблюдается.

Он спрыгнул с уступа, на котором теперь одиноко торчал ссыльный «штопор», поглядел на розовое солнышко и отметил, что становится жарковато для ранней весны. Надо пойти к морю ополоснуться. Правда, если двигаться напрямик, придется продираться через заросли, но ведь не впервой. Он легким шагом подбежал к первым невысоким — всего в его рост — цветам, как вдруг узкие восковые чашечки разом обернулись к нему, наклонились и угрожающе часто защелкали твердыми лепестками, совсем как аисты клювами.

— Вы что, сдурели? — крикнул Кирилл, отступая и прикрывая лицо локтем.

«Характер показывают», — подумал он, теперь начиная понимать, кажется, почему все предыдущие посетители Маковой Аллеи рано или поздно покидали сей райский сад. Если и дальше так пойдет, то придется перебираться в горы, синеющие километрах в пяти от моря, — там еще пока один лишайник.

Вымахали, понимаешь ли, с космодромную антенну, а ума ни на грош.

Он вернулся к своему ручью, где беспокойно шевелилась чуть побуревшая лягушка, ступил на тропу, усыпанную принесенной с моря галькой,— тут были одни глуповатые маки. Он задрал голову, удивляясь внезапному ускорению их роста, и не сразу заметил, что ноги его ступают уже не по камешкам, а по чему-то упругому. Он глянул вниз — узкий лист, напоминавший банановый, устлал дорожку, и сейчас его боковые края хищно забились, словно он собирался свернуться в трубочку, заключив внутрь человеческое тело. Кирилл хотел рвануться вперед, но ноги его завязли в клейкой зеленой массе; единственный выход был в том, чтобы мгновенно сгруппироваться и сильным рывком покатиться вперед; тело проделало это быстрее, чем обдумал мозг, и Кирилл из этой замыкающейся уже зеленой трубы вылетел, точно горошина из стручка. Развернувшись, он помчался вперед со спринтерской скоростью и вылетел на площадку возле домика, несказанно радуясь, что хоть она-то не поросла скороспелыми макозубрами и тюльпанозаврами.

Впрочем... да, один таки пробился.

Возле самого порога торчал новорожденный желтый ирисенок, не достававший Кириллу и до колена. Он еще явно не освоился на белом свете и, запрокидывая нежную головку, отчаянно зевал, оттягивая вниз широкий бородатый лепесток. Кирилл, как ни торопился, не выдержал и присел на корточки — ничего нет забавнее и умилительнее, чем зрелище позевывающего или чихающего новорожденного.

— Дыры небесные, черные и белые,— проговорил он,— неужели и ты подрастешь только для того, чтобы меня слопать?

Желтенькая пасть разинулась снова, и Кирилл не удержался и сунул туда палец. Ирисенок тотчас же палец выплюнул, отчаянно затряс лопушками боковых лепестков и беззвучно чихнул, разбрызгивая медовую слюну. Кирилл фыркнул. Стебель цветка резко отклонился назад, спружинил, бледные лепесточки мигом собрались в щепоть, и Кирилл не успел отдернуть руку, как ирисенок небольно, но обидно клюнул его в ладонь.

— Дурашка ты, дурашка,— проговорил в сердцах Кирилл.

Путь обратно, к источнику и в горы, был перекрыт. Кирилл вошел в домик, схватил рюкзак, швырнул в него несколько пищевых пакетов, кислородную маску, радиомаячок, микропалатку. Включил рацию. Набрал сообщение: «Подвергся нападению

хищных растений. Перебазируюсь на восток, шесть километров от стоянки, на чистые скалы. Прошу корабль». Он подключил к аппарату запасы энергии и послал аларм-сигнал. Такая связь существовала для крайних случаев, и сейчас Кирилл справедливо опасался не столько за себя, сколько за комплексников, которые должны были здесь вот-вот высадиться с оправданной беззаботностью. Положим, его действительно съедят, кто ж тогда предупредит целую экспедицию? Беда еще была в том, что послать такой сигнал, собрав всю резервную мощность, он мог, и этот сигнал будет обязательно принят всеми аварийными буйками данной зоны, но вот принять ответ ему не по силам — нужна мощнейшая антенна, соорудить которую экипаж «Харфагра» был не в состоянии. Значит, придется отсиживаться где-то в пещере, жевать концентраты, Запивать морской водой и ждать.

Он сунул за пояс десинтор непрерывного боя и, немного помедлив, распахнул входную дверь. Прыжок — и он на дорожке, ведущей к стадиону.

Вряд ли его ждут здесь, потому что сразу за стадионом — крутой спуск к морю, и, по логике вещей, там Кириллу делать нечего. Только бы не сцапали на дорожке. Он мчался сквозь строй гладких и мохнатых стеблей, и у него не было ни времени, ни желания рассматривать, что же такое мельтешит между ними, словно плетется толстая многослойная циновка. Никто ему не препятствовал, и он твердил про себя в такт дыханию — проскочить, проскочить...

Он вскинул голову, повинуясь вновь пришедшей волне опасности, и увидел *это*. Если до сих пор все растения Маковой Аллеи имели определенное и даже подозрительное сходство с земными, то розовое облачно-аэростатное образование, покачивающееся над стадионом на тоненькой ножке, вообще ни на что похоже не было. Покачивается лениво и совсем не агрессивно. Была не была...

Кирилл с разбегу вылетел на стадион, держась левой кромки, прибавил скорость, косясь вверх, и в тот миг, когда он был уже на половине дистанции, гриб-дождевик апатично сказал «пуффф» и выбросил во все стороны целое облако поблескивающих легких спор. Они снежно закружились, опадая, и у каждой по мере падения отрастал едва видный нитяной хвост. Кирилл врезался в это облако, как в паутину, клейкие нити залепили лицо, опутали руки и ноги, при каждом вдохе норовили влезть в горло и нос. Кирилл отчаянно замахал руками, пытаясь содрать с себя эту

липкую пакость, а главное — освободить ноги, и тут мягкий, но сильный толчок в спину повалил его на землю. Целый пучок тонких, как парашютные стропы, волокон оплел его ступни и теперь спазматическими рывками втаскивал обратно, в крытую галерею дорожки. При каждом рывке Кирилл проезжал метра полтора-два, и если бы не заплечный мешок, спина была бы ободрана.

Выбрав момент, он оттолкнулся локтями от земли, выхватил из-за пояса десинтор, перевел фокусировку на самый узкий луч и пережег стесняющие движения летучие нити, кое-где прихватив и одежду. Вскочил на ноги. Путь обратно, через открытое пространство стадиона, был отрезан — дымчато-алый дождевик, зорко прицеливаясь, покачивался, сея редкие блестки спор. Ломиться в обход, через чащу цветочных зарослей, нелепо — изловят. Прожигать коридор — опасно, может не хватить зарядной обоймы, и тогда он очутится в самой гуще хищников. Значит — назад, в домик. Выбора нет.

Он помчался по дорожке, для верности поводя перед собой непрерывным лучом. Никто, однако, его не задерживал. У самого дома он выключил десинтор. Громада рыжего паруса нависла над ним, создавая огненную тень, но он успел перескочить порог и захлопнуть за собою дверь.

Сначала — полная герметизация, автономное кондиционирование, потом — рация... После второго аларм-сигнала копаться со сборами спасательной группы не будут, вышлют автоматический скутер. А ему большего и не надо. На третьи сутки он включит маячок, и дальше останется часов сорок восемь, не более. Столько он продержится на полной автономии без малейшего напряжения. Недаром его с такой легкостью оставили одного — сейчас спасение альпинистской самодеятельной группы где-нибудь в Гималаях, учитывая все земные ограничения и сложности, порой проблематичнее, чем снятие одного неудачника с чужой планеты или буйка. Разумеется, в более или менее освоенной зоне дальности.

Он еще раз проверил, все ли меры предосторожности приняты, и вдруг ощутил упругий удар в пол — там мощными толчками пробивался «штопор». Ну, это тебе не по зубам, подумал Кирилл.

Домик ходил ходуном, подбрасываемый дробными ударами, пол пробивали уже в нескольких местах. Не нажить бы морскую болезнь. Кстати, он сегодня так и не позавтракал, а в этой обстановке не пахнет и обедом.

Домик встал на боковую стенку. Кирилл покатился в угол, успел глянуть в окно и сообразил, что его убежище уже оторвано от земли и приподнято витыми колоннами на высоту человеческого роста. Не собираются ли они поднять его и бросить, как это делают обезьяны, домогающиеся сердцевины лакомого ореха? Веселенькая перспектива, даже если учесть упругость конструкции... Да, возносят. И с приличной скоростью. Ну и жизненный потенциал у этих витых дубин, эдак они его на высоту Исаакиевского собора подкинут...

Ослепительная вспышка, заставившая его отшатнуться от окна, на долю секунды поставила его в тупик, но в следующий миг он понял, что боялся не того, чего следовало бояться. Силовой кабель, соединявший домик с системой батарей... Вот о чем он не подумал. А если подумал бы — так что тут поделаешь?..

Теперь энергия у него только та, что дадут аккумуляторы. Если отключить все, даже кондиционер, то запасов хватит на поддержание силового поля... компьютер и тот не включишь. Правда, можно временно снять защиту с потолка, да и на окнах теперь придется оставить молекулярную проницаемость, иначе задохнуться можно. А вот о втором аларм-сигнале и речи быть не может. Скверно. Одна радость — напуганные возникшим разрядом столбы вроде бы прекратили свой рост. До земли метров пять, ничего себе свайная постройка... И сбрасывать домик некуда — внизу все поросло витым частоколом, в нем с шипом и посвистом скользили сине-зеленые лианы, сплетая гигантский упругий тюфяк. Если так будет продолжаться, то они просто-напросто передавят друг друга собственной массой.

Глупыша-желторотика, надо думать, уже затоптали.

Он немного подивился тому спокойствию, с которым его мозг отмечал безвыходность положения. А что, собственно, ему оставалось, кроме спокойствия? Распахнуть дверь и палить, пока обоймы не кончатся? Так разве пробьешься через такие-то джунгли! Эх вы, тюльпанчики-живоглотики, да меня ведь со всеми потрохами вам и на зубок не хватит. Напрасно топчетесь, аппетит нагуливаете. Вот когда сказывается недостаток серого вещества...

Он отполз от окна, привалился к перевернутому столику. Да, сидеть вот так, скучая в ожидании, когда тебя отсюда выдернут, точно улитку из ракушки, — последнее дело. Хорошо бы оставить письмо Гейру, но ведь диктофон не включишь... Хотя зачем диктофон? Где-то тут имеется старый добрый карандаш. И рулон перфоленты. Почему бумага розовая?.. Ах да, солнце пробивается сквозь лепесток «паруса» — и то слава богу, не жарко.

Значит, так: «Гейр, дружище! Пишу тебе не столько затем, чтобы заполнить время, сколько для того, чтобы ты ни в чем себя не обвинял. У меня и раньше было желание сказать тебе несколько откровенных слов, да как-то разучился я пространно выражать свои мысли. Устно во всяком случае. Так что сейчас я, если обстоятельства позволят, потрачу, наверное, больше слов, чем сказал бы до конца своей жизни, завершись все это более или менее благополучно...»

Кирилл покосился на окно — алая тень сгущалась, хотя солнце стояло высоко. Значит, кашалотовая пасть приближается. Не торопись, милая, не все сразу. А бумагу можно будет засунуть под столик — когда аккумуляторы иссякнут и домик, вероятно, сомнут, письмо уцелеет.

«Так вот, Гейр, я ни в чем тебя не виню — начиная с того момента, когда ты сманил меня в космос; ты только предложил, а решал-то я сам. Не такой уж я был щенок, чтобы не оценить всю глубину собственной непригодности. Хотя до конца я осознал ее только сейчас.

Дело в том, что на Земле за человека в большинстве случаев решают обстоятельства. Здесь же нужна интуиция. Да, да, та самая, которая в наших заповедях стоит на первом месте. Но интуиция должна обладать одним непременным свойством — адекватностью. Иначе она и называется по-другому: блажь, фантазия, химера... Моя интуиция меня всегда подводила. Вот хотя бы сейчас: подо мной собрались хищные монстры, не подумай, что какие-нибудь звероящеры или мегамуравьи — нет, невинные на первый взгляд цветочки. И число им — тьма. Надо думать, слопают, потому как уже приноравливались. Если, конечно, скутер не подоспеет.

А мне все равно их жалко, они давят друг друга, калечат. Особенно маленьких. За эти полгода я привык думать о них как о безгласном зверье. Не так уж это смешно, если сейчас глянуть из окна вниз...

Ты нисколько не виноват в том, что десять лет назад запихнул меня на этот буй — помнишь, в одном светляке от Земли? Все, что я там натворил, было исключительно делом моих рук... вернее, моего ума. Ты не знаешь об этом, да и никто не знает, я и сейчас тебе ничего не объясню, и ты только поверь, что я сотворил нечто чудовищное. Непостижимое с точки зрения здравого разума. И в живых я остался только благодаря какому-то странному — интуитивному, что ли? — ощущению, что я должен свою вину... искупить... Это было невозможно. Забыть? Смешно. Не

знаю, Гейр, слово не находится, а время идет, и я боюсь не то чтобы солгать — создать у тебя неверное представление о той истории.

Короче, что-то я должен был сделать. И десять лет я провел как в спячке — *это* не приходило, не подворачивалось. Пока мы не забрались сюда, на Маковку. Помнишь, с каким редкостным единодушием мы изобрели красивую легенду — что для существования этого мира необходимо присутствие человека? Не знаю, как ты, а я в нее поверил с первого момента, и не только потому, что красота — почти неопровержимый аргумент.

Дело в том, что мое преступление, тогда, десять лет назад, было, если можно так выразиться, уничтожением любви. И теперь я мог рассчитаться той же монетой. С кем? Со Вселенной, наверное. Ты уж прости меня за высокопарность.

Я был почти счастлив, Гейр, потому что я полюбил этот мир, и он платил мне тем же. Я, как средневековый философ, уверовал, что моя любовь обращается жизненной силой, питающей моих подопечных. Доказательство было налицо — нигде окрест я не видел столь буйного и радостного цветения. И это зимой!

В хорошенькие дебри завела меня интуиция, а?

А теперь я скажу тебе, если успею, как на самом деле обстоят дела. Помнишь, Веня все ловил какое-то живительное излучение? Мы только отметили, что оно присутствует, хотя и не фиксируется никакими приборами. И забыли о нем.

По-видимому, не гуманоиды, а вот это самое излучение необходимо для существования жизни. А мы и те, что были в прошлом, его только включали, инициировали. Курковый эффект. Сами по себе мы всем этим лютикам нужны не больше, чем статуя Венеры Милосской. А то, что вблизи меня они росли с повышенной интенсивностью, доказывает только наличие взаимодействия между этим пока не опознанным излучением и каким-то из многочисленных полей, создаваемых организмом человека.

Детишки подросли и, как тигрята, переступившие границу млекопитания, «потребовали «мяса». Все просто, осуществляется закон борьбы за существование, и никаких тебе абстрактных законов всеобщей любви. После меня они начнут с хрустом лопать друг друга. Вот видишь, как все просто, когда вместо плохой интуиции включаешь хотя и не блестящий, но абсолютно здравый смысл.

Я знаю, что скутер уже идет — наверное, нырнул в подпространство, — но он далеко, а этот рыжий кашалот совсем близко. Объем цветочной чашечки таков, что весь мой домик поместится

в ней. Сейчас загляну в заднее окно... Так и есть. В комнате все красным-красно, створки лепестков закрываются. В спину мне смотрит здоровенная черная колба — пестик. Как только сядут аккумуляторы, он пробьет окно. Это мне подсказывает интуиция. А вот что так пахнет? Разорвался пакет со специями. Нет. Гейр! Запах, Гейр...»

Лепестки гигантского мака сомкнулись, словно створки алой тридакны, но человек, защищенный такой хрупкой и недолговечной коробочкой, как десантный домик, уже ничего не слышал.

Не услышал он и того, что произошло спустя всего несколько часов.

Он проснулся от солнца, бившего ему прямо в лицо. Поднялся, держась за гудящую голову. Пошел к окну — пол под ногами пружинил, словно домик оседал в болото. Дверь входного клапана покачивалась, аккумуляторы стояли на нуле. С полным безразличием Кирилл глянул наружу — и ужаснулся.

Под ним была мертвая свалка растений. Домик стоял на каких-то бурых пожухлых лоскутьях, под которыми виднелись полегшие витые стволы.

Он перевел взгляд — метрах в пятидесяти высилась гряда свежеотваленной антрацитовой породы, кое-где поднимался фонтанчиками горячий пар. В воздухе было пыльно и пахло ушедшей бедой.

Он кинулся к двери и замер на пороге: местность исказилась до неузнаваемости. Лиловатые лишайниковые склоны исполосовало чудовищными сбросами, а вершина невысокой горы, из которой бил источник, раскололась надвое и обнажила блещущую сталактитами пещеру. Гиблые ступени сбросов шли до самого моря, перемежаясь с трещинами уже осыпающихся по краям каньонов. Такая же трещина метров пяти шириной змеилась под самым домиком, и если бы не плотная сетка переплетшихся растений, он ухнул бы в эту пропасть со всею своей хваленой защитой. Но они собрались сюда, сползлись со всего плоскогорья, оберегая его, единственного, как муравьи или пчелы оберегают свою царицу — любой ценой, и теперь умирали с подрезанными корнями, переломанными стеблями.

А письмо к Гейру?.. Уверенный в их кровожадности, он приписывал им сатанинскую борьбу за кусок мяса, а они тем временем плели последние этажи своего гениального амортизатора, нисколько не заботясь о том, что сами будут через несколько часов превращены в крошево.

Господи, стыд-то какой...

Высоко, в зените, возник тоненький вой. В туче пыли, еще не осевшей после недавнего землетрясения, нельзя было рассмотреть — скутер ли это, ведомый автоматом, или крейсер с комплексниками. Надо сразу же дать ракету, а то повсюду трещины, да еще оборванный провод под током... Но прежде всего — письмо.

Он пошарил за столиком рулон перфоленты, оборвал исписанную часть и, торопливо разрывая ее в клочки, стал приглядываться — кто же все-таки пожаловал.

Все-таки скутер... Молодцы буевики-аварийщики, почти не опоздали. Кирилл снова вылез на порог, чтобы лучше видеть, как, разметывая песок и отгоняя воду, садится на самую черту прибоя ладный и верткий кораблик.

Двигатели выключились, призывно взвыла сирена — отвратительный, неживой звук на этом мертвом берегу. Кирилл, морщась, ждал, когда ей надоест и она отключится, и продолжал машинально рвать свое письмо, и бумажные обрывки падали вниз, в крошево листьев и лепестков, и сразу становились неразличимы.

# СОНАТА ЗВЕЗД. АНДАНТЕ

Когда до старта оставалось не больше сорока секунд, Бовт почувствовал, что сзади подходит Кораблик.

— Можно к тебе? — услышал он голос Иани.

— Только скорее.

Он очень боялся, что она ему помешает. Но она успела, люк зашипел и съехал в сторону, она спрыгнула на пол и побежала к Бовту, безошибочно найдя его в темноте. Он отодвинулся, давая ей место у иллюминатора.

— Гораздо проще было бы... — она кивнула на инфра-экран, приклеившийся рядом с круглым оконцем.

Бовт не ответил. Он хотел видеть все так, как это будет на самом деле. Иани тихонечко пожала плечами и подвинулась поближе к иллюминатору, но разглядеть, наверное, ничего не смогла, потому что «Витаутас» уже загасил сигнальные огни. Бовт тоже ничего не видел, но знал, что смотреть надо в черный пятиугольник, образованный слабыми звездочками, откуда через какое-то мгновение должен был разметнуться на всю обозримую часть пространства лиловый сполох стартовой вспышки.

Бовт заложил руки за спину и правой ладонью ощутил лягушачий холодок ручных часов. Ему почудилось, что они часто-часто дышат, судорожно подрагивая всем корпусом. Сейчас. Вот сейчас...

И вдруг понял, что время старта уже миновало. «Витаутас» не ушел. Бовт прикрыл глаза и с шумом выдохнул воздух. Ни радости, ни облегчения. Совсем наоборот. Это как промежуток

между двумя приступами боли, когда главное не то, что тебе дано передохнуть, а то, что через несколько секунд все начнется сначала. Снова судорожный пульс часов...

— Отходят на планетарных двигателях,— сказала Иани.

— А? Да, да...

А ведь он это совсем упустил из виду, он и не думал о планетарных, он о них просто-напросто забыл, он, второй пилот «Витаутаса»...

Бывший второй пилот.

— Ты не смотришь,— проговорила Иани, будто ей это нужно было больше, чем ему.— Ты смотри, смотри!

Слабая сиреневая вспышка уже догорала. Просто удивительно, как далеко успел отойти его «Витаутас» на своих планетарных. Неяркая вспышка, и все. Это и был старт.

Четыре Кораблика прошли перед иллюминатором, чуть покачиваясь, и Бовт уже не мог найти черного куска пространства, ограниченного пятью скромными светлячками неярких звезд.

— Вот ты и видел все так, как это было на самом деле,— удовлетворенно констатировала Иани.— Я зажгу свет, можно?

— Ни черта я не видел,— медленно проговорил Бовт.— Была светлая точка — и нет ее.

Иани прижалась лбом к иллюминатору.

— Ты еще видишь? — спросил Бовт.

— Да,— отозвалась Иани.— Вон там. Но я лучше зажгу свет.

— Не надо,— попросил он.— Посидим так.

— Посидим.

Они ощупью отыскали койку, и Иани забралась туда с ногами. «Если бы она была земной женщиной,— думал Бовт,— она обязательно решила бы, что я остался из-за нее. Никак без этого не обошлось бы. Это просто счастье, что все они тут так трезвы и рассудительны».

— Ну как ты там? — спросила Иани из темноты.

Бовт присел на край койки.

— По-моему, мне просто страшно,— признался он.

— Нет,— возразила Иани,— не то.

Бовт сделал над собой усилие, пытаясь как можно точнее представить себе, что же с ним сейчас происходит.

— Неуверенность... Неуверенность в том, что я поступил правильно, оставшись на Элоуие.

— Пожалуй, так,— согласилась она.— И еще уходящий «Витаутас».

— Нет,— честно признался он,— наверное, я это прочувствую немного позднее. Что они возвращаются, а я — тут. А пока все это у меня наверху, в голове, а до нутра еще не дошло.

— Тогда я побуду у тебя.

— Ох, не надо. Думаешь, мне легче болтать с тобой, чем оставаться один на один со своими мыслями?

— Разумеется.

Бовт усмехнулся. Если бы он оставался здесь ради нее — тогда другое дело. Ему легче было бы с ней, чем одному. Но он остался не ради нее.

Бовт встал и включил свет.

— Не стоит,— сказал он.— У тебя ведь еще уйма дел на Третьем поясе, правда? Вот и кончай там свои дела и спускайся на Элоун. Нечего нянчиться со мной.

— Мы спустимся вместе.

— Ты же так рвешься обратно на Элоун! А мне надо осмотреть все шестнадцать Поясов, второй возможности ведь не будет.

— Вот вместе и посмотрим. Ты ведь еще плохо управляешься со своим Корабликом.

— Я еще не привык к нему,— пожал плечами Бовт.

Иани засмеялась:

— Это он не привык к тебе. Но он скоро привыкнет, станет совсем послушным, и тогда-то ты и решишь, что пора спускаться на Элоун.

— Ты только об этом и думаешь? — спросил Бовт.

— Да,— простонала Иани, мгновенно теряя всю свою рассудительность.— Да, да... Каждый день, и каждую ночь, и когда на Поясе, и когда в Пространстве, и когда одна, и когда с тобой.

— И все о том, как ты возвращаешься...

— Да. Да. Да.

— Ну и плюнь на все и лети сейчас же!

— Ну зачем же так,— она пригладила волосы.— У меня еще масса незаконченных дел на Третьем поясе. Элоун от меня никуда не уйдет, а на Пояса я не вернусь никогда в жизни.

Он досадливо сморщился:

— Я и забыл. Это один из ваших предрассудков — вылетать в Пространство только однажды. Как будто нельзя вернуться на Элоун, спокойно пожить лет так пять-десять, а потом опять податься поближе к звездам. Я уже рассказывал тебе, мы всегда так делаем. Действительно, почему — нет?

— Смешные вы, люди Земли! Разве можно жить, потом умереть, малость отдохнуть в небытии, потом воскреснуть и снова

жить? Все дается только однажды — молодость, старость, любовь. И Пространство. Когда мы достигаем совершеннолетия, каждый из нас волен покинуть Элоун и оставаться в Пространстве, пока хватает сил не возвращаться. Потом мы возвращаемся. Очень просто.

— Возвращаетесь — и уже все?..

— Как это — все? Потом — наш Элоун. Скалы, голубоватые, как небо, и небо, близкое, как горы. Но мы приземлимся подальше от гор, на большую равнину, и кругом не будет ничего, одни цветы до самого горизонта, цветы, уходящие в бесконечность, как свет от солнца. И запах, от которого хочется опуститься на землю, зарыться лицом в траву и ничего-ничегошеньки не видеть...

— Ты говорила уже об этом. Вчера.

— Да, когда мы прощались с «Витаутасом». Все ваши тогда слушали меня, и понимали, и никому в голову не пришло, что с Элоуна можно улететь во второй раз. Наверное, это ты один такой, остальные похожи на нас.

— Все мы похожи на вас. Но мы покидаем свою Землю каждый раз, когда это требуется.

— Напрасно ты остался с нами.

— Я хочу увидеть ваш Элоун. Я видел все планеты, которые хотел увидеть, и только Элоун мне не дался. Я хочу, я должен, без этого мне просто жизни не будет на этом свете!

— Да, желать ты умеешь... Но опуститься на Элоун может только тот, кто никогда не захочет его больше покинуть.

— И это ты уже говорила.

— Ты напрасно остался, Бовт.

— И это ты говорила.

— Ты проклянешь день и час...

— Иани, наша беседа становится чересчур патетической.

— Мне уйти?

— Так будет лучше, Иани.

Она поднялась и молча пошла к черному контуру переходного люка. Здесь, на Элоуне и его окрестностях, не принято было здороваться или прощаться.

Бовт подождал, пока пол под ногами не перестал покачиваться, — знак того, что Кораблик Иани отцепился и пошел прочь. Но он тут же замедлил полет и остался где-то неподалеку, на расстоянии прямой видимости, — Иани упорно не хотела оставлять его одного.

— Так завтра на Третьем поясе, — услышал он ее приглушенный голос.

Ну, разумеется, торчит где-то рядом.

— Договорились, — как можно ровнее ответил он.

Бовт прошелся по каюте. Четыре шага туда, четыре обратно. Тесновато. Пошевелил плечами. Наконец-то он избавился от необходимости хранить этот приветливый, дружеский тон. Бовт припомнил весь разговор с Иани, ее настойчивое желание слышать от него именно то, что хотелось ей, и именно так, как она того желала; еще счастье, что ему сразу же удалось перевести разговор с личных переживаний на Элоун, а уж об Элоуне он никак не мог говорить равнодушно. Он взбеленился и тем только и спасся, иначе его взяли бы за ручку и не отпустили до самого Третьего пояса. Его очень настойчиво брали за ручку, и он молодчина, что не позволил этого. Просто счастье, что ему удалось без единой резкости расставить точки над «i», иначе не отвязаться бы ему от этой опеки на всех Поясах астероидов, да и на Элоуне тоже.

Завтра он полетит с нею на Третий пояс, но это уже будет отнюдь не за ручку.

А может, и не полетит.

Каждый раз, когда он вспоминал этот проклятый Элоун, внутри словно что-то переворачивалось. Временами Бовт боялся, что не выдержит и пошлет к чертям все эти околопланетные астероидные станции и ринется вниз, навстречу игрушечному перламутровому шарику, запретному для чужих кораблей. А планета и вправду была хороша. Подобно Венере, вся в многослойной мантии облаков, но освещенная более ярким солнцем, чем земное, она казалась еще заманчивее и притягательнее оттого, что была у своего светила единственной.

Шестнадцать поясов астероидов — и только одна планета.

Может, именно потому элоуты так бережно и относятся к ней, и берегут от непрошеных пришельцев с их сверхмощными звездолетами; может, из этого сознания собственной единственности и родилась эта нелепая с точки зрения земян традиция — улетать в Пространство только однажды, чтобы вернуться на свой Элоун уже навсегда. На всю жизнь. И на всю бесконечность после жизни.

Элоун...

Пол под ногами дернулся, так что Бовт взмахнул руками и присел. Каждый раз, когда он вот так думал об Элоуне, Кораблик послушно ускорял движение, словно и ему вместе с хозяином не терпелось поскорее опуститься на поверхность планеты. На редкость чуткое и непостижимое создание — домик-ракушка

элоутов, выходящих в Пространство. Даже мало сказать — домик; это средство передвижения, и нянька, и собака. Стоит только подумать — и он ринется навстречу этой чертовой, запечатанной семью печатями, заклятой семью заклятьями, недосягаемой для землян планете.

Бовт поднялся с пола, подошел к иллюминатору. Элоун неслышимо катился в мерцающей пустоте Пространства, словно серебряное яблочко, окруженное роем звездных пчел. Выйди из Кораблика, протяни руку — и оно ляжет на ладонь. Вот только скафандр надевать неохота. Что, дружище Кораблик, выпустишь меня без скафандра?

Сзади щелкнуло, Бовт обернулся и увидел над люком светящееся табло. Нашел шпаргалку, составленную для него Иани, перевел: «Выход заблокирован».

Бовт невесело усмехнулся. Ну и умник же ты, домик-ракушка! На редкость в тебе развито чувство юмора. Хлебну я с тобой... А теперь поворачивайся. Завтра утром мы с тобой должны быть иа Третьем поясе. Прежде чем раз и навсегда плюхаться на планету, надо облазать все астероидные станции, понаблюдать со стороны за выбросом грузовых контейнеров с Элоуна и транспортировкой их на пояса, прочувствовать систему связи и контроля — да мало ли всего, что надо узнать, поглядеть и даже потрогать собственными руками, прежде чем навсегда уходить из Пространства. Все это он обещал ребятам, обещал капитану. Элоуты помогут наладить связь с Землей, они тоже обещали. Ребята будут ждать...

Бовт замер, прислушиваясь. Ты сказал: ребята. Может, ты уже осознал, может, это уже дошло до твоего нутра, что они возвращаются к Земле, а ты — тут?

Бовт постоял еще. Нет, сказал он себе, это до меня еще не дошло. Пока я понимаю, что нахожусь тут, потому что, если бы я вернулся со всеми, не побывав на этом заклятом Элоуне, мне просто не было бы житья на свете. Никто не упрекнул бы меня — все подлетали, и все уходили прочь. Как говорится, дело житейское. Но вот я никогда бы себе не простил. Так что для меня все-таки самое главное сейчас, что я — тут.

Но когда-нибудь главным станет то, что Земля — там.

Худо будет.

А Кораблик все продолжал мчаться навстречу сказочному яблоку, укрытому дымчатой ватой облаков, и оно неощутимо плыло навстречу, захлестнутое едва видимой странной петлей, — казалось, яблоком завладел исполинский космический змей. Надо будет узнать у Иани, что это такое... Нет, не разглядеть.

Кораблик послушно рванулся вперед — чтобы было виднее.

— Но-но,— сказал Бовт,— очень ты стал самостоятельным. Сказано тебе — поворачивай на Третий пояс. Надо.

Кораблик начал нехотя разворачиваться.

— Ну ведь все,— стонала Иани,— ну ведь все же! Ты сам себе выдумываешь дела. Может, ты передумал и не хочешь спускаться на Элоун? Так и скажи.

— Я хочу этого не меньше, чем ты.

— Ну, так же, как я, ты хотеть просто не можешь уже потому, что Элоун — мой, понимаешь?

— Я хочу этого больше, чем ты, и именно потому, что он еще не мой, а пока все, чего я хотел, становилось рано или поздно моим. А сейчас я даже не знаю, что же это такое — Элоун, принадлежащий мне...

— Собственник! Мы с тобой просто по-разному понимаем это слово «хотеть». Мы не успели по-настоящему договориться о смысле некоторых слов. Но на это у тебя будет вся твоя элоутянская жизнь, а сейчас — летим скорее!

— Прибраться бы здесь, а то как-то неудобно...

— Ему еще и прибираться! Диктофонные рамки — в карман, микрофильмы — в другой, укладывайся на койку и думай о чем-нибудь постороннем, но только не о Кораблике и не об Элоуне.

— То есть не думать о белой обезьяне...

— Что-о-о? А, это ты опять со своими присказками! А я всякий раз понимаю тебя дословно. До чего же вы, земляне, любите словоблудствовать в самое неподходящее время. И неужели так трудно выполнить простейшую вещь: лечь и вообще ни о чем не думать, можно даже принять снотворное, а я сама поведу оба Кораблика на посадку, прямо так, сцепом.

— За ручку? — спросил Бовт.— Я как-нибудь сам. Хватит того, что ты таскала меня по всем шестнадцати Поясам. Но на Элоун я желаю шлепнуться собственноручно. Ты же говорила, что Кораблик никогда не допустит гибели хозяина.

— Ну да, этого он действительно не позволит, но зато он поможет тебе мотаться по всем ближним и дальним орбитам, разыгрывая прощание с Пространством. Что я, не вижу, как он все время дергается — поворачивает нос в ту сторону, откуда стартовал «Витаутас»? У тебя это выходит бессознательно, а он чувствует.

— Балда ты,— в сердцах сказал Бовт.— Какое мне дело до того, что там у меня бессознательно? Я иду на Элоун, на тот

самый Элоун, куда не пускают чужаков и откуда нет выхода, как из критского Лабиринта. Наши смогли улететь, а я вот не смог. Мне жизни не было бы, если б я отступил. Я уж такой, понимаешь? Каким бы он ни был, мне без него нет жизни. Вот потому я и иду на Элоун.

— Ты-то идешь на Элоун, но твои ребята — они летят к Земле.

— Я это знаю, — устало проговорил Бовт. — Вот уже полгода, как я это знаю. Но до меня это все еще не дошло.

Иани внимательно посмотрела на него:

— Может быть, это и правда. Но тогда...

Кометы дремучие, как же она его утомляла!

— Послушай-ка, — перебил ее Бовт, — ты спешила на Элоун? Ну так кончим эти дебаты и начнем спуск.

— Я посажу оба Кораблика. Идти придется по защитному туннелю — вблизи планеты масса всякой космической дряни, которая прибивается с Поясов. Собственно говоря, ни один ваш корабль потому и не может опуститься на Элоун, что его не пропустит защитное облако, а туннель для него слишком узок. Только наши малыши на то и годятся...

Пол мелко задрожал — «малыш», похоже, замурлыкал от удовольствия.

Бовт молча пошел в угол, плюхнулся на койку лицом вниз. Хорошо. Еще один раз за ручку. До того знаменитого поля цветов, о котором он слышал трижды в день семь раз в неделю. А там — к чертовой матери.

Кораблик повело на посадку.

Бовт поднял голову, положил подбородок на сцепленные руки и стал глядеть в лобовой иллюминатор. Черная пустота Пространства стала желтовато-бурой, потянулись светлые мерцающие полосы. Светящиеся облака. Промелькнули яркие бакены, пульсирующие ядовитым синим светом. Из последнего вырывались тугие, рыхлеющие на глазах сгустки нежно-палевого газа или пара. Ага, значит, и облака были искусственного происхождения. Кораблик замедлил было скорость, а потом вдруг стремительно ухнул вниз. Бовт почувствовал непривычную сладость во рту и невольно прикрыл глаза. Ни при перегрузках, ни в состоянии невесомости не испытывал он такой маеты. Срам просто, до чего худо. И темно. И ощущение какой-то нелепой беззащитности.

А потом это разом кончилось. Кораблик перешел на почти горизонтальный полет и мчался теперь в густых темно-бурых

облаках, чуть зарываясь носом, словно на занесенной снегом дороге. Включился носовой прожектор, и от этого сходство с ночной дорогой еще больше усилилось. Исчерна-зеленые тени полыхали по сторонам, унося назад, и две узенькие световые полоски стлались впереди, как наперед заданная лыжня. Стремителен и непостижим был этот бег, была в нем та бесконечность ожидания счастья, которая рождается лишь тогда, когда мчишься ему навстречу.

И вдруг посреди своего зачарованного полета начинаешь сознавать, что единственное настоящее счастье — это вот эта самая дорога, и тогда начинаешь молиться, чтобы путь твой никогда не кончался, и он послушно длится и длится, и тебя послушали и сделали желанную бесконечность реальностью... Но когда обретаешь веру в эту реальность — приходит конец пути.

Облака посветлели, Кораблик резко накренился, и Бовт увидел, что они делают круг над блекло-зеленой, удивительно земной равниной. Бархатно-черная полоса — не то дорога, не то ограждение — уходила вдаль и терялась в тумане. А дальше была лужайка, и на ней — не то скирды, не то прилегшие исполинские волы. Совсем немного, три-четыре, не больше.

Оба Кораблика, так и не отцепившись друг от друга, сели на самом краю лужайки. Бовт продолжал смотреть в широкий проем иллюминатора, бездумно ожидая, что кто-то сейчас появится и решит за него, что ему теперь делать. И вдруг понял, что толстого лобового стекла уже нет. Есть ветер, холодный, прошедший сквозь туман, есть запах, свежий и тоже по-земному знакомый — пахло сырым осенним пляжем и мелкой рыбешкой. Бовт оперся руками о холодную металлическую раму и выпрыгнул наружу.

Маленькая зеленая лужайка была вовсе не лужайкой, а посадочной площадкой, залитой ноздреватым бетоном неестественного фисташкового цвета. Два одинаковых Кораблика стояли поодаль, похожие на крылатых муравьедов. Бовт плохо представлял себе, как эти неповоротливые, сонные существа — или все-таки машины? — становятся в полете такими чуткими и верткими.

На самом краю лужайки горели три бездымных лиловых костра, и ветер гонял по площадке тонкие струйки пепла. Со всех сторон была равнина, и Бовт понял, что нечто зеленовато-бурое — это как раз и есть хваленое поле цветов, и конца ему не было видно, потому что, куда ни глянь, оно всюду уходило в туман.

Бовт услышал, как сзади Иани спрыгнула на бетон и, даже не окликнув его, побежала куда-то прочь. Еще немного, сказал он

себе, совсем немного, до ближайшего города. А там я пошлю все это подальше и начну... Что будет нужно, то и начну. Только никто не будет водить меня за руку.

Внезапно он услышал, что Иани плачет, и обернулся. Плакала она навзрыд, как маленькая, и вытирала лицо ладошками. Потом нагнулась, вырвала пучок травы вместе с корнями и побежала обратно, к Бовту.

— На, — проговорила она, всхлипывая, — на же, дурень...

Бовт принял то, что она ему протягивала. Поле цветов... Может быть, они снова не договорились о терминах, но это были не цветы. Каждый стебель кончался самым обыкновенным маленьким грибком — сыроежкой, опенком, моховичком. А то и просто поганкой. Бовт помял стебли в руках, переступил с ноги на ногу.

— Как тут у вас с транспортом? — спросил он. — Или на том же Кораблике?

Она посмотрела на него удивленно и жалостливо:

— С Корабликом все, — сказала она. — Кораблик не служит двум хозяевам. У Корабликов, как и у нас, все только один раз в жизни. Сейчас мы его сожжем.

Бовт не понял. Потом медленно подошел к нему, погладил холодный блестящий бок. Ему показалось, что Кораблик чуть-чуть присел на амортизаторах, словно собака, которую приласкали. Бовт отдернул руку.

— Да ты что? — в нем еще была надежда, что он ее неправильно понял. — Ты с ума сошла, он же живой...

Иани снова удивленно глянула на него:

— Уже нет, — она достала из нагрудного кармана черный шарик, матовый, не больше каштана. — Так у нас принято, Бовт.

Из шарика проклюнулся острый язычок огня.

— Отойди, — велела она.

Бовт не двинулся с места.

Она поднесла огонь к корпусу одного Кораблика... потом другого, и Бовт увидел, как лиловые языки побежали по блестящей поверхности. Бовт шагнул вперед и положил то, что Иани называла цветами, на раму иллюминатора.

Иани оттащила его.

Долгое время казалось, что горят не сами Кораблики, а что-то бесцветное, разлитое по их поверхности. Но потом они разом осели, пламя полыхнуло вверх и рассыпалось множеством крупных бледных искр. Ветер, не дожидаясь конца, погнал по площадке поземку пепла.

Иани дернула его за рукав. Еще и еще. Бовт стоял. Она обежала вокруг него и стала перед ним. Лицо у нее было счастливое, мокрое и измазанное землей.

— Ну что ты стоишь, как каменный? — спросила она. — Это же Элоун! Понимаешь, тот самый Элоун, без которого тебе жизни не было!

Бовт смотрел на свои руки. Одна была в земле — отчего бы? — и пахла рыбой. Потом вспомнил: пучок стеблей. С корнями.

— Пошли, — сказала Иани и взяла его за руку.

Он послушно пошел, словно принадлежал ей, как Кораблик. Но она довела его только до бортика, ограничивающего посыпанную пеплом площадку, и остановилась.

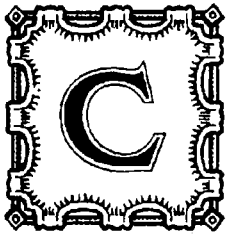
— Дорога там, — сказала она и махнула рукой куда-то вперед, где над туманом бесшумно плыл призрак белой пирамиды. — И там дорога, и там. Куда бы ты ни пошел по этим цветам, ты выйдешь на дорогу. Но лучше иди прямо.

Она отпустила его руку. Бовт оглянулся — еще два костра поднимались к низко подвешенным облакам, и две фигурки, обнявшись, уходили в поле. Они шли и нагибались на ходу, словно что-то срывали.

Он посмотрел на Иани и вдруг понял: она ждет, чтобы он ушел один. Она помогла ему, она притащила его сюда, и хватит с нее, и она стоит, счастливая и нетерпеливая, сделавшая все, что только можно было сделать не для Бовта — для своего Элоуна, и вот теперь ждет, чтобы Бовт ушел первым.

Он кивнул и сразу же спохватился — здесь не прощаются. Тогда он сошел с площадки на поле и побрел туда, где у подножия снеговой пирамиды должна была проходить дорога. Ботинки скользили по мокрой, гниловатой траве, полые стебли хлопали и стреляли коричневой жижей. Бовт вошел в туман. Временами то слева, то справа слышались звенящие голоса. Но Бовт шел прямо, все время прямо, потрясенный той малостью, в которую превратилось самое дорогое в его жизни — умение неистово желать, желать наперекор всему, всем земным и неземным преградам и запретам, — шел по бурым низинам своего долгожданного Элоуна, без которого ему почему-то не было жизни на этом свете...

# СОНАТА ЗВЕЗД. АЛЛЕГРО



олнечная вспышка метнулась вдоль стен, опоясывая здание ослепительной, змеящейся, словно золотоносная жила, полоской огня. И еще раз. И еще.

— Мама родная,— пробормотал Рычин,— как бы мне не вернуться на базу заикой...

Он искоса взглянул на Нолана. Но тот молча смотрел на свой шлем, лежащий перед ним на сверкающей скатерти. Такой же шлем лежал и перед Рычиным, и сейчас это были передатчики, связывавшие их с собственным кораблем. Да, командир, как всегда, прав: уж если кто сейчас и нервничает по-настоящему, так это Гедике, оставшийся на «Молинеле». Вахта есть вахта, и всегда кто-то обречен торчать на корабле.

За коническими стенами, многократно окольцованными холодными пепельно-желтыми обручами, набух двухголосный надсадный рев, и два огромных бурых шара метнулись вверх по изящной спирали, мазнув стены лиловатой тенью.

Пустошане медленно склонили головы и подняли правые руки, отчего у каждого оттопырилось правое крыло. Если бы не эти крылья, они напоминали бы ленивых учеников, нехотя отвечающих на вопрос учителя. Широкие рукава их облачных одежд так же неторопливо обнажили тонкие несильные руки, лишний раз напоминая землянам об уменьшенной силе тяжести, составлявшей одну из главных прелестей Белой Пустоши.

Обычаи этой планеты настолько совпадали с земными, что Рычин еще раз глянул на своего командира, пытаясь угадать, какие мысли рождают у него эти чересчур навязчивые ана-

гии, но лицо Нолана было так же непроницаемо, как и все последнее время.

Гул, удаляясь, стихал; пустошане опустили руки, и тот из них, что сидел посередине, как раз напротив командирского шлема, раскрыл рот и беззвучно зашевелил губами.

— Планетолеты семнадцатый и семнадцатый-дубль совершают над космодромом круг почета в вашу честь, — прострекотал жук-переводчик, взвившись на дыбы и мелко подрагивая хвостовой антенной.

Нолан и Рычин поднялись с мест и, похрустывая синтериклоном скафандров, отвесили в сторону гостеприимных хозяев чрезвычайно церемонный поклон. Вообще-то, скафандры давно уже стоило снять — без шлемов и перчаток они никакого смысла не имели, но командир мог дать голову на отсечение, что у Рычина под синтериклоновой кольчужкой красуется неизменная футболка с драными локтями. Даже ради первого визита на новую планету этот разгильдяй не мог пожертвовать своими цыганскими замашками и облачиться в крахмальную рубашку с галстуком!

Внутри шлемов, лежащих на столе, щелкнуло — это Курт Гедике включил на корабле микрофон.

— Я ж говорил, что первые экспедиции нужно комплектовать исключительно из японцев, — донесся его раздраженный голос. — У тех все эти поклоны и реверансы выглядели бы, по крайней мере, естественно. Глядеть на вас тошно — держитесь, как провинциалы с захолустного витка Галактики. Ведите себя свободнее, черт побери, да не забудьте спросить, на каком принципе летают их отнюдь не воздушные шарики!

Курт бесился, потому что кому же приятно в первый день контакта остаться на вахте! Но командир знал, что делал, — возьми он с собой Гедике, они дошли бы только до первого пустошанского корабля, а там Курт засел бы под его дюзами с каким-нибудь одержимым механиком вроде него самого, так что пришлось бы вытаскивать их при помощи космодромного автопогрузчика — при условии, что таковые у пустошан имеются.

Как-никак, а Гедике был профессиональным космическим гонщиком. И в этот рейс он пошел только потому, что Рычин взял его за шиворот, привел к «Молинелю» и без объяснений запихнул в люк. Лишних слов не требовалось — слишком давно они с Гедике были друзьями, и теперь Рычину достаточно было сказать, что ему нужен второй пилот, которому он верил бы, как самому себе. Гедике понимал, что без достаточных оснований

Михайла не пошел бы на замену второго пилота. Он ни о чем не спросил.

Но достаточных оснований у Рычина не было.

Просто накануне отлета в Нолане, и без того скрытном и молчаливом, произошла неуловимая перемена — он как будто бы стал еще молчаливее и непроницаемее, хотя и раньше был пределом замкнутости. Этот предел и не позволил никому, кроме штурмана, заметить, что у командира внутри как будто бы образовалась раковина, грозящая неожиданным изломом.

Рычин доверял своей интуиции, как Шантеклер — восходу солнца. Он попросил знакомого диспетчера, и тот, сверившись со всеми оперсводками по обжитой Галактике, сообщил ему, что несколько часов назад был принят SOS — во время старта с Земли Атхарваведы взорвался реактор планетарной тяги на малом сухогрузе «Бинтуронг». Все находившиеся на корабле — четверо летчиков и одна пассажирка — погибли. Вот и все.

Тогда Рычин покинул космодром, смотался в Вормс и извлек Курта прямо из-под арки древних кирпичных ворот, где тот, обдумывая предстоящие гонки, бессознательно копировал гримасу иадвратной геральдической маски. Рычин привел Курта, и Нолан ничего не сказал, только кивнул.

А Гедике тем более не мог ничего узнать о Нолане — до этого они летали вместе всего один раз, да и то в незапамятные времена. Поэтому он только связался с диспетчером и попросил вычеркнуть свое имя из списка участников олимпийской гонки «Нептун — 89-й буй», принял вместе с Рычиным соответствующую (и, естественно, запрещенную) дозу антисонтороина, после чего все шестнадцать дней полета до Белой Пустоши оба не смыкали глаз, даже когда сменялись с вахты. Если бы Нолан был прежним Ноланом, то он заметил бы, что его опекают, как больного. Но он молчал и вел корабль от одного подпространственного броска к другому еще точнее и безукоризненнее, чем когда бы то ни было. Под конец перелета Рычин начал сомневаться, а правильно ли он сделал, затащив Гедике на «Молинель», — командир был непогрешим, как автомат. Он не то что не сделал ни одной ошибки — он не позволил возникнуть подозрению, что такая ошибка возможна хотя бы теоретически.

Но для Гедике, глядевшего на все непривычным оком новичка, превращение командира в ходячую вычислительную машину было просто страшным. На шестнадцатый день нервы у Курта были напряжены так, словно он участвовал в гонках на неизве-

стной ему машине, да еще с роботом вместо водителя, а сам выполнял роль балласта.

Рычину было больно за Нолана, Курту — страшно за всех троих.

Но вот этот перелет, со стороны глядеть — такой благополучный — окончился, их крошечный «Молинель» был бережно взят на гравитационный буксир и тихонько опущен на разрисованный шоколадными узорами пустошанский космодром. И вот они сидят в невероятно, удручающе великолепном холле космопорта — все службы под землей, а здесь не то вестибюль, не то банкетный зал, накрытый исполинской, слегка вогнутой воронкой, устремляющейся своими хрустальными стенками далеко за облака. Когда они расступаются, на вершине хрустального конуса видна золотая фигура пустошанина, расправляющего крылья, — отсюда, изнутри, она напоминает вполне земную птицу Феникс. Но облака — слоистые, словно выдавленные из космического тюбика, слой лиловато-коричневый, следом палевый, в глубине — изжелта-зеленый — снова смыкаются, гаснут звезды, только что проступавшие на дневном небе, и пропадает за этими змеящимися слоями странный бархатно-черный обод, усеянный блестками. Это хрупкое сооружение, покоящееся на тонких световых подпорках, противоречащих всяким представлениям о законах тяготения, обегает весь космодром, словно охраняя его от непредставимых на этой благополучной планете бед... Но стоит облакам сгуститься, как сразу же весь сталактитовый чертог космодромного холла озаряется ослепительной вспышкой неизвестно откуда берущегося солнца, и купол полыхает, точно вагнеровская Валгалла.

И те, кто сидит за столом под этими стремительно взлетающими ввысь воронкообразными стенами, и земляне, и хозяева этого дворца, — все они, безмятежные, словно древние боги, вкушают уже шестую перемену пустошанской амброзии, ароматнейший пар от которой крошечными росинками садится на шлем, лежащий перед Ноланом. Пустошане примерно на голову выше землян, и двигаются они плавно и чуточку замедленно, без тени той угловатости, которая на Земле, как правило, присуща тощим верзилам. Эта легкость неудивительна — как-никак на их благодатной планете сила тяжести почти на двадцать процентов меньше земной. Экипаж «Молинеля» давно уже свыкся и с их ослепительно белой, без малейшего оттенка кожей, и с длинными, чуточку отливающими металлом крыльями, которыми пустошане ни разу пока не воспользовались, да и мало ли еще

обнаруживалось необычных мелочей, с которыми можно было так просто примириться и больше их не замечать, — но вот беззвучное шевеленье их губ раздражало землян до крайности.

Непонятно, как это получилось, но пустошане, удивительно похожие на людей Земли, объяснялись на ультразвуковых частотах. Вступить с ними в непосредственный контакт могли бы разве что летучие мыши, но люди были лишены этой возможности. И пустошане не слышали людей, потому что их слух был настроен на чрезвычайно узенькую полосу от двадцати двух до двадцати трех килогерц, которая была отведена им эволюцией, на различных этапах развития человеческой мысли именуемой то богом, то природой.

И вот они сидели по другую сторону стола — гипертрофированно приветливые, прямо-таки истекающие гостеприимством, плавно-медлительные, ну прямо как Днепр при тихой погоде, и, главное, — абсолютно неслышимые. Рычин даже на миг прикрыл глаза, так захотелось вдруг проверить, не чудится ли ему какой-то внеземной обеззвученный сон; в блекло-радужных потемках прикрытых век он вдруг оказался совершенно один, даже дыхания Нолана не было рядом...

— Э-э, Михайла, — раздался в наушниках лежащего перед ним шлема приглушенный голос Курта, — убери-ка у меня из-под носа этот пудинг! Ни черта не вижу.

Рычин открыл глаза, и бесшумное, плещущееся сияние хрустального зала чуть было не заставило его поморщиться. Юркие блошастые киберы выпрыгивали, казалось, прямо из-под пола и суетливо расставляли перед сидящими седьмую перемену блюд. Подле шлема действительно высилось уникальное гастрономическое сооружение в три четверти метра высотой; из вершины его подымался благоуханный медовый дымок.

Нолан, опережая Рычина, взял шлем и, не тревожа пахучую башню, переложил его слева от себя. Сейчас же из-под руки у него высунулся услужливый кибер и поставил перед шлемом чистую тарелочку с двурогой вилкой.

Рычин ухмыльнулся. Нолан отвел глаза в сторону. Кто-то из хозяев зашевелил губами — киберы проворно убрали и тарелку, и трюфельный вулкан.

Командир благодарно и почтительно наклонил голову.

— О, плешивая Пустошь! — вырвалось из шлема. — И когда вы перестанете приседать и раскланиваться, как халифы-аисты? Пора начинать деловой разговор. Я тут без вас прикинул, какова должна быть тяга у их двигателей...

— Унялся бы ты, Курт, — не выдержал наконец Рычин, — этикет есть этикет, да и этот жучок может в любой момент начать переводить наши диалоги.

— Отнюдь, — поспешно возразил Гедике. — Эта пустошанская жужелица, что мельтешит перед вами на столе, одним своим выходом подключилась к собственной логической машине, а вот другим — к нашему корабельному лингвану. Так что я по собственным приборам вижу, когда она занимается переводом — в этот момент из наших энергобаков выкачивается такая уймища энергии, что мне кажется, будто старик «Молинель» тощает у меня на глазах. Да вы и сами видите, когда работает переводчик, — жужелица взметывается на дыбы, что твой Медный всадник...

— Уймись, — еще раз попросил Рычин.

Курт унялся.

А разговор, действительно, был уж никак не деловым. Да и о каких делах говорить при первой встрече? Главное — нашли друг друга, и обе стороны в телячьем восторге, ибо давно замечено, что чем выше ступень цивилизации, тем больше радости вызывает установление контакта. Вон посмотреть на пустошан — они просто излучают какое-то нежное сияние. «Серебряноликие»...

Почти Гомер.

— ...У вашей планеты невероятный коэффициент отражения, — медленно, словно давая переводчику время на обдумывание каждого слова, говорил командир. — Мы даже дали ей условное название: Белая Пустошь. Но в каталог мы, разумеется, включим то имя, которое дали своей планете вы сами.

Пустошане лучезарно улыбались, кивая одновременно и гостю, и собственному киберпереводчику, а тот усердно тряс хвостом, переводя грубые земные звуки на неслышимый язык пустошан. Золотисто-медовые блики, словно отсветы общих улыбок, скользили по стенам и полу. Атмосфера торжественного банкета не располагала к техническим подробностям, поэтому пустошане через свою жужелицу коротко передали, что их планета расположена слишком близко к собственному солнцу, да еще две теплые луны, поэтому, чтобы не страдать от избытка света и тепла, они «отбелили» поверхность планеты. Тем более что на всей суше наводился глобальный порядок — разравнивались горные хребты, уровень материков поднимался во избежание наводнений, смещались центры зарождения сезонных ураганов. Всех живых существ, разумеется, на это время пришлось убрать на луны и спутники, но ведь надо же было, в самом деле, рано или поздно этим заняться...

Рычин следил за причудливым танцем бронзовой жужелицы, медленно шалея. Сиянье, мерцанье, переливы — до какой же степени все это может осточертеть за каких-нибудь три часа своего бесконечного и бесшумного круговорота! И во всем этом радужном беличьем колесе было одно-единственное место, на котором мог отдохнуть человеческий глаз, и Рычин стал неотрывно туда глядеть.

Это был просто-напросто коридор, наклонно уходящий вниз, к подземным этажам космопорта. Овальная прохладная дыра, из которой непрошенно выползали стебельки темно-зеленого вьюнка, тоже не доносила ни единого звука, но это была естественная тишина, свойственная темноте. Рычин неотрывно глядел на эти чуть покачивающиеся стебельки вьюнка и все не мог припомнить, где же он видел точно такую же причудливую листву цвета колодезного мха, а потом вдруг вспомнил — да на полотнах и фресках Леонардо, его уединенные и, несомненно, для сладких греховных забав предназначенные гроты с ручьями и без, и лукавые, балованные мадонны из богатых, не плотницких семейств, и всюду эта зелень, где каждый листок — с остреньким подбородком, словно крошечный темно-оливковый оттиск Марииного лица...

Нолан перехватил его взгляд и невольно стал глядеть туда же. Он, правда, думал не о влажных субтропических вьюнках, свисающих со сводов прохладной галереи, которая, казалось, уводила в обитель каких-то не вполне дозволенных галактических блаженств; его глаза просто отдыхали на темном пятне, а сам он уже обдумывал завтрашний день с его первыми настоящими деловыми встречами, с проблемой необъятного потока информации, которую надо будет не просто принять и донести до базы, а уже здесь и сейчас обеспечить стопроцентную ее расшифровку. Здесь, несомненно, придется больше взять, чем отдать взамен; может быть, пустошанам даже не понадобится ровным счетом ничего, кроме радостного сознания, что где-то за условными зонами дальности, за провалами и искривлениями Пространства существует еще один человеческий мир.

Не гуманоидный, не человекоподобный — человеческий.

— ...Для того же, чтобы очистить атмосферу от разнообразных активных частиц, — монотонно потрескивал жук-переводчик, — накопившихся в ее верхних слоях за семьсот...

И в это мгновение раздался крик.

Он мог донестись только оттуда, из глубины таинственной галереи, и влажная ниспадающая зелень только приглушила его,

но не скрыла той нестерпимой боли, от которой только и мог вот так кричать человек.

Нолан и Рычин вскочили разом, так что мелкая кибернетическая шушера брызнула во все стороны у них из-под ног. Одновременно щелкнули клапаны их шлемов, одновременно руки обоих землян непроизвольно метнулись к поясу, к тому месту, где на этот раз не было — и не могло быть — привычной тяжести десиптора.

Прижавшись плечами друг к другу, они ловили последние прерывистые всхлипы, которые, слабея и замирая, доносились до их праздничного, блистающего стола. Но вот все стихло, и только тяжелое дыхание Курта осталось каждому в хорошо подогнанной тесноте его шлема.

И только теперь серебряные лики пустошан, затененные недоумением и заботой, начали медленно обращаться к землянам. Сухонькие ладошки, воздетые кверху, плавно и согласованно заколыхались, словно колокольчики на своих тонких стеблях. Жук-переводчик, напуганный резким движением людей и в запрограммированном порыве самосохранения шарахнувшийся было за какую-то не то супницу, не то крюшонницу, снова выполз, виновато затряс хвостиком и, повинуясь движению губ одного из своих хозяев, торопливо осведомился, что послужило причиной беспокойства высоких гостей.

Высокие гости переглянулись.

— Мы слышали крик, — не совсем уверенно проговорил Рычин, — кто-то звал на помощь...

Нолан качнул головой: в крике не было призыва, ибо так кричат только тогда, когда ничто на свете уже помочь не может.

Тень недоумения на лицах пустошан сменилась вполне определенным недоверием. Зашевелилось сразу несколько пар губ, заставив несчастную жужелицу несколько раз повернуться вокруг своей оси, прежде чем она сумела выбрать, кого же из своих хозяев она должна переводить в первую очередь.

И перевела.

Так вот, как это ни печально, но высокие гости стали жертвами переутомления. Никто не кричал. Никто не мог кричать — ПУСТОШАНЕ НЕ КРИЧАТ. Сильные эмоции остались там; в глубине ушедших веков, а сейчас от физической боли аборигенов предохраняют надежные препараты, от моральных же страданий — умение в совершенстве гасить свои эмоции.

И, чтобы помочь дорогим гостям забыть об этом печальном инциденте, флагман эскадрильи планетолетов малого каботажа продемонстрирует сейчас...

Крик вырвался из сумеречного колодезного коридора и заполнил собой весь объем этого неоглядного сияющего холла. Он взлетал вверх вдоль параболических стен, прямо к золотой крылатой фигуре, венчающей вершину строения, и было странно, что и до этого крылатого существа не доходит весь ужас, вся безысходность вопля, вытеснившего собою весь воздух. И тем невероятнее казались безмятежные, улыбчивые лица пустошан — как будто они сами и этот крик находились в различных, взаимопроникающих, но не контактирующих системах.

— Ну же! — первым не выдержал Курт.— Ну что же вы, ребята?..

Не колеблясь более, Рычин и Нолан бросились в темно-зеленый провал галереи. Пустошане, встревоженные и недоумевающие, заскользили следом, словно толпа бесшумных дантовских теней. Во влажном сумраке, усугубляемом висячей зеленью, смутно угадывались овальные двери. Из-за пятой от входа и доносился приглушенный стон. Казалось, что там кто-то силится заплакать — и не умеет.

— Здесь,— прошептал Рычин, обращаясь к командиру.

Пустошане, обступившие их полукольцом, снова пришли в движение, расступаясь. От их толпы отделился один, в полутьме вроде бы неотличимый от других, разве что — пониже. Он вскинул руки, и зелень, занавешивавшая дверь, метнулась в стороны, как живая. Еще какой-то неуловимый жест — и вещество двери стало медленно проясняться, проходя все оттенки так любимого пустошанами перламутра и становясь прозрачным, как стены холла.

И тогда стало видно, что там, в глубине узкой, поросшей зеленью комнаты, лежит человек.

Он лежал на какой-то янтарной сетке, узелки которой слабо светились, лицом вниз, и по тому, как дрожали его плечи, нетрудно было догадаться, что кричал именно он. Кричал так, словно остался один во всем Пространстве и понял, что это непоправимо.

Металлический переводчик, перебирая паучьими лапками, забрался Рычину на ногу. Пустошанин, колдовавший с дверью, чуть виновато улыбнулся и зашевелил губами.

— Как видите, причин для беспокойства нет,— перевел жучок.— Здесь отдыхает штурман грузопассажирского космолета, только вчера благополучно вернувшийся из рейса. Вероятно, усталость помешала ему выйти вместе со всеми для встречи высоких гостей. (Поклоны с приседаниями.) А теперь, когда это маленькое недоразумение улажено, не вернуться ли нам к столу.

Нолан упорно разглядывал бронзовую спинку жужелицы, не двигаясь с места. Наконец он поднял голову и проговорил, с видимым усилием произнося слова:

— Я прошу извинить меня, если мой вопрос покажется неуместным или бестактным, но уверены ли вы, что этот штурман вернулся из рейса действительно БЛАГОПОЛУЧНО?

Вопрос неуместным не показался. Жужелица выдала ответ, не дожидаясь реплики своих хозяев, — вероятно используя машинную память логического устройства, с которым она была соединена:

— Всякие происшествия для нашего космического флота — редкость исключительная. За всю многовековую историю космоплавания в Пространстве погибло четыре тысячи триста двадцать семь жителей планеты. В память каждого из них на траурном бортике, окаймляющем наш космопорт, зажжена вечная звезда.

Так вот что значил бархатный черный пояс, поддерживаемый световыми столбами!

— Последняя авария, — продолжал словоохотливый кибер, — произошла как раз над нашим летным полем. Но это было чрезвычайно давно. Год назад, — жучок помолчал, словно еще раз сверяясь с электронной памятью. — Да, год назад, в этот день и в этот час. Слишком давно.

Нолан невольно обернулся, словно отсюда, из темноты коридора, он мог разглядеть звездочку, зажегшуюся ровно год назад на траурном бортике космодрома. Он беззвучно шевельнул губами, совсем как пустошанин.

— Что? — быстро спросил Рычин.

— Нет, ничего. — он посмотрел на толпу серебряноликих существ, которые несколько минут тому назад казались ему чем-то возвышеннее и прекраснее людей. — Могу ли я немного побыть с этим штурманом?

— О да, разумеется, воля высоких гостей....

Нолан толкнул дверь плечом и вошел в комнату. Человек, лежавший на янтарной сетке, не поднял головы. Нолан поймал себя на мысли, что с той минуты, как он услышал крик, он не думал о нем как об аборигене. Это был человек, и точно так же, как земные люди, он думал, что страдает неслышимо для других...

В узкой комнатке присесть было некуда, и пока дверь, закрывшаяся за командиром «Молинеля», медленно теряла свою прозрачность, было видно, что он все еще стоит у изголовья пустошанина, неловко и беспомощно опустив руки. В коридоре стало

темно, если не считать слабого молочного мерцания, исходящего от лиц и обнаженных рук пустошан.

— Пойдем пирог доедать, что ли,— досадливо проговорил Рычин, стряхивая с ноги жужелицу и направляясь к выходу.

Сзади было тихо. Голос, изболевшийся и отчаявшийся, умолк. Не было слышно и Нолана. Хотя — разве его когда-нибудь было слышно?..

А пиршественный стол, ощетинившийся многоцветьем хрустальных искр, уже благоухал и томился под тяжестью восьмой перемены блюд. Всполошенный было сонм пустошан рассыпался по своим местам. Сел и Рычин. Шлем он стащил с головы еще там, у двери, но теперь он не положил его на стол, а зажал между животом и негнущейся, словно створка раковины, скатертью.

— Ни черта не вижу,— донесся из шлема ворчливый голос Гедике.— Кисель какой-то жемчужный... Или они поставили экран? Да обеспечишь ты мне обзор, наконец?

— Обойдешься,— сказал Рычин.— И задавай меньше вопросов — поговорим обо всем на корабле.

«Хорошо еще, что я ничего не сказал ему о "Бинтуронге",— думал Рычин.— Малый сухогруз "Бинтуронг", четыре пилота и пассажирка. Курт не удержался бы, обязательно что-нибудь ляпнул по общему фону связи. А так он ни о чем не догадывается...»

Из шлема донесся сухой щелчок.

— Ты отключился? — спросил Курт.

— Нет, это отсоединился Нолан. Он там с этим...

Он тоже чуть было не сказал — «человеком».

Наступило долгое молчание.

— Послушай, Михайла,— снова не выдержал Курт.— Я вот все думаю: ну, с пустошан спрашивать нечего — они, видно, от природы такие...

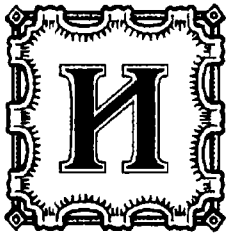
Рычин быстро глянул перед собой — жужелица флегматично чистила лапки, не переводила.

— Но мы с тобой,— продолжал второй пилот,— как мы-то с тобой могли такое — столько дней не слышать собственного командира?..

# СОЛНЦЕ ВХОДИТ В ЗНАК БЛИЗНЕЦОВ

Там звезды сияли,
И солнце слепило,
И облака отражались в воде...
Но где это было?
Не здесь это было....
А где?
Где эта точка пространства
И времени?..

*Э. Межелайтис*



вик любил свое место. Даже нет, не любил — он просто не представлял себя в классе за другой партой. Классы сменялись лабораториями, учебными кабинетами, а место оставалось прежним: крайняя колонка, ближайшая к двери парта. Отсюда, едва зазвучит последний звонок, в один прыжок можно очутиться в коридоре, и сюда легче всего проскользнуть, если учитель оказывается в классе на секунду раньше тебя.

Был ли Ивик лентяем, прогульщиком, двоечником? Отнюдь нет. По большинству предметов он колебался между «четверкой» и «пятеркой», правда, скорее благодаря своей прекрасной памяти, чем усидчивости, а главное — вопреки стойкому равнодушию ко всем точным наукам.

Большинство учителей по этим предметам — физик, химичка, чертежник — махнули на него рукой, довольствуясь четким повторением заданного, но математик, старый романтик с неоригинальным прозвищем Катет, не оставлял надежды заменить это равнодушие если не страстью, то хотя бы любопытством.

Вот и сейчас Катет, чуть прихрамывая, кружил по классу, изредка и ненавязчиво поглядывая в сторону Ивика.

— Каждый из нас может легко представить себе двумерное и трехмерное пространства,— рассказывал Катет.— Труднее представить пространства одномерное или четырехмерное, тут уже нужно немножечко фантазии. Но вы ведь у меня все фантазеры хотя бы немножечко, не так ли?

Улыбнулся весь класс — ну просто не мог не улыбнуться, когда Катет этого добивался. А с некоторых пор старый и

опытный педагог прикладывал все усилия, чтобы всецело подчинить себе ребят. И подчинял — кроме одного. Того самого, ради которого старался. Этот и сейчас смотрел на него со странным выражением послушания и отрешенности, когда просишь повторить — повторяет дословно, как магнитофон, ну прямо на «пятерку». Но ведь не этого добивался учитель...

— Гораздо труднее представить себе многомерное пространство. На первых порах достаточно просто поверить в его реальное, осязаемое существование. А когда вы в это поверите, то сможете принять и такую гипотезу: мы живем в первом, втором и третьем измерениях, но ведь в этом же объеме пространства одновременно могут существовать и совокупности, скажем, седьмого, восьмого и девятого измерений, которые представляют собой целый мир, который мы просто не можем воспринимать, мы считаем его вакуумом. И таких неощутимых миров — бесконечное множество, и мы даже не знаем, повторяют ли они наш, или чуточку отличаются, или ни в чем с нашим не схожи... Все это не более чем смелое предположение, ведь об этих сопространственных мирах мы не имеем никаких данных, ни точных, ни смутных. Но вот пофантазировать мы можем... Разумеется, уже на переменке.

Не прерывая рассказа, он дошел до середины прохода и, поворачиваясь, привычно глянул туда, где сидел всегда прилежный до уныния, равнодушный до отчаянья Ивик.

И не узнал мальчика.

Обычно слушавший с полуприкрытыми глазами, он вдруг преобразился так, словно зазвучала его любимая музыка. Класс тоже помалкивал — видно было, что усилие рассмотреть сопространственные миры прямо-таки витает в воздухе.

— А теперь у нас осталось несколько минут, чтобы повторить пройденное,— проговорил Катет, и глаза Ивика тотчас погасли и прикрылись пушистыми немальчишечьими ресницами.

«Ничего, ничего,— говорил себе старый учитель,— я тебя все-таки поймал, я тебя, несмышленыша, заарканил! Именно я, а не учительница рисования — единственная в школе, которой ты доверил свою жизненную программу. Видите ли, миллионы людей занимаются реальным миром, и только считанные единицы — вымышленным, несуществующим. Надо отдать тебе справедливость, было это несколько лет тому назад, и тогда ты эту... — как там вы ее звали? — а, Махровую Кисточку, прямо-таки подавил эрудицией: Грин, Врубель... И она отплатила тебе худшим,

что может сделать учитель для ученика: провозгласила тебя вундеркиндом и пошла у тебя на поводу. И вот ты укрепился в своем еретическом желании допускать до сердца только то, что выдумано, нереально, мнимо. Или прошло так давно, что стало тенью. На все остальное у тебя глаза не глядят, и ты можешь прожить всю жизнь, сознательно отворачиваясь от тех немыслимых и сказочных тайн, которые гнездятся в самом обыденном и простом и готовы открыться тебе одному. Но теперь я это поломаю. Я построю для тебя мостик между сказкой и явью. Ты здорово рисуешь, но рисовать реальное научу тебя я. Рисовать жизнь, а не мерцающие сферы — не без притягательной загадочности, впрочем. Все эти годы меня тянуло угадать, что напоминают твои рисунки — туманные шары, зыбкие контуры... Стой, стой, да ведь я тоже это видел — да это же фосфены, псевдообразы, возникавшие в глубине зажмуренных век!..»

Внезапно он встрепенулся. Глубокая, совершенно необычная тишина стояла в классе. Уподобились Ивику, мечтатели!

— Сайкин, к доске!

— А можно я спрошу? Вот если бы сконструировать такой телескоп, чтобы заглянуть в эти не наши измерения...

— Вопросы на переменке. Тетрадку домашнюю захвати!

— Ой, а если заглянуть туда... Ну, в эти... а там звероящеры, и все как в каменном веке?

Это уже Соня. Взорвала-таки класс. Гам, восторги...

— Ти-хо! Не тяните время, Сайкина не спасете.

— Ой, а у меня тоже вот такой вопросик...

А Ивик уже сомкнул ресницы. Созерцает мерцающие миры...

...Пепельно-зеленый шар потускнел, растянулся, туманными полосами перерезали его перистые облака. Чернота сгущалась в центре, она становилась плотным весомым комом, тяжелым, как одиночная скала. И это всегдашнее солнце, спрятанное за скалой, которое оконтуривает ее молочным сиянием. И самое необыкновенное — это не сама картина, а внезапность ее изменения. Вот скала чуть дрогнула, и вдруг ее словно раскололи надвое, и из этого раскола ударил вверх бледный луч. Конусообразные фигуры поплыли слева направо. Неживые. Живые, одушевленные фигуры он видел редко. Чаще ему мерещились пирамидальные замки, вьющиеся светлые ленты не то дорог, не то рек, невообразимо распахнутые крылья ветряных мельниц, скорбные паруса траурных опавших знамен...

Все детство он пытался рисовать эти видения, смутно припоминая, что когда-то он уже видел подобные рисунки — альбом,

который ему дали посмотреть в чужом доме. Наверное, он не умел тогда читать, потому что фамилия художника осталась ему неизвестной. Но картины жили в памяти, не похожие ни на что другое, не встреченные больше ни в одном музее. И еще одно поражало Ивика: вероятно, смутные видения в глубине закрытых век наблюдали многие люди — а может, и вообще все. Но почему-то только для них двоих — для Ивика и для того сказочного художника — они сложились в один целостный мир, почти земной и все-таки нереальный?

Он пытался разрешить эти вопросы с отцом, с Махровой Кисточкой. Его не поняли. Заученно объяснили: настоящий художник создает не фотографическую копию действительности, а тот образ, который стоит у него перед глазами.

Это он знал из школьной программы. Но загвоздка была в том, что все художники видели свой «образ», будь он неладен, открытыми глазами, и только тот один, больше не встреченный, рисовал нечто, стоящее у него ПЕРЕД ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ!

Ивик просто не знал этого слова, иначе коротко определил бы, что для них двоих кроме реального окружающего мира существует еще объемный и красочный мир фосфенов.

Объемный. Красочный. Осязаемый.

Сегодняшний урок старого Катета стал своеобразным патентом на право существования этого второго мира. Ну конечно же, он здесь, в том же объеме, где разместился класс, школа, набережная... Ивик даже съежился от этого ощущения. Высоты он никогда не боялся, вместо страха у него появлялось щемящее сладковатое томление по несбывшемуся полету. Это же самое он испытывал и сейчас. Хотя — почему несбывшемуся?..

Искрящийся смерч извивался в зеленоватой глубине, постепенно удаляясь, угасая и вытягиваясь в пепельный коридор. В него надо было успеть войти, прежде чем он совсем погаснет, и мальчик, прикрыв ладонью глаза, чтобы никто не видел его крепко сомкнутых век, невольно поднялся с места.

— Что тебе, Ивик? Я сказал — вопросы на переменке.

— Мне... нехорошо. Можно, я выйду?

— Конечно, конечно. Тебя проводить? Мальчики...

— Нет-нет, не надо!

Дверь-то рядом, вот она уже и за спиной, и шершавенькая поверхность коридорных стен, сумеречным тоннелем уходящих в темноту. Ивик продолжал бесшумно скользить к выходу, не замечая, что он давно уже приоткрыл глаза — между притягательной глубиной, манившей его в пепельную даль видения, и

этими полуосвещенными сводами больше не было никакого различия. Он скорее нащупал, чем рассмотрел узенькую дверцу запасного выхода — и вот он уже на набережной.

Готовность Ивика к чуду была так велика, что обыденность полупустой набережной, которую он видел каких-нибудь сорок минут назад, направляясь в школу, поразила его больше, чем могло бы это сделать огненное лавовое поле или чернота космического пространства. Но ничего этого не было, а привычно маячил гриновский силуэт одинокой баркентины, примостившейся где-то за толстозадым морским буксиром и плавучим рестораном. Баркентина принадлежала морскому училищу, расположенному правее, ближе к Горному; перед этим училищем отчужденно подымался над гранитным постаментом прославленный мореплаватель, известный Ивику только своей длинной неудобопроизносимой фамилией да еще тем, что лихие курсанты-выпускники накануне праздничного прощального вечера обязательно натягивали на его бронзовые плечи форменную клетчатую тельняшку.

Пятнадцатый трамвай, подмигивая зеленым огнем, словно одноглазый кот, промчался к Горному институту, и только тут смутное беспокойство закралось в душу мальчика. Все было на своих местах. Все было в норме. Что же так настораживало?..

Он пошел влево, к узкому каньону Восьмой и Девятой линий, откуда, выбрасывая конусы сероватого света, вылетали одинаково мышиные в полутьме автомобили и, прочертив изящный интеграл, которого в школе еще не проходили, исчезали на мосту, превращаясь в безликое множество красных горизонтальных двоеточий. В мерцающей зеленовато-бурой мгле можно было только угадывать, что дальше, за мостом, за третьим его пролетом, должна выситься громада Исаакия, а на этой стороне...

И тут Ивик понял, что в этом обычном утре было НЕ ТАК.

Темнота.

Кончался первый урок, было никак не меньше половины десятого, а над городом висела непроницаемая пелена тумана. Ивик знал, что ни грозовая, ни снеговая тучи не могли дать такой темноты, — значит, случилось нечто из ряда вон выходящее; и тем не менее никого это не пугало, машины оживленно сновали взад и вперед, деловым шагом двигались редкие прохожие в длинных дождевиках. Он невольно прислушался — говорили о погоде, покупках, работе, и только одно незнакомое слово (кажется, оно звучало как «коррекс» или что-то подобное) поразило его слух. Недоумевая, но стараясь не привлекать

чужого внимания, Ивик двинулся дальше. Темнота уже не казалась ему такой непроглядной, более того, — все предметы вокруг как будто бы начали испускать легчайшее свечение, так что не требовалось уже и уличных фонарей.

Он прошел еще немного, миновав любимый свой «дом академиков» с черным ожерельем мемориальных досок, на которых невозможно было прочитать сейчас ни единой надписи, с дорической колоннадой, пленявшей его своей трогательной принадлежностью к далеким до нереальности временам, и направился к Академии художеств, напротив которой во всей своей сторожевой невозмутимости вздымались из мрака скальные громады сфинксов.

Между тем небо продолжало тихохонько светлеть, и он вдруг успокоился. Он что-то перепутал. Не было еще никаких уроков, сейчас еще только начало восьмого. Светает. Ему просто взбрело в голову прогуляться перед школой, а Катет и все его байки про бесконечное число измерений — это утренний сон. Так уже бывало. Нужно только забежать домой за портфелем...

Он уже дошел до середины фасада Академии, почти до самого входа, когда стремительно разрастающееся сияние, исходящее откуда-то из-за сфинксов, заставило его повернуть голову.

Это были не сфинксы.

Две зеленоватые, почти вертикально обрывающиеся книзу скалы расходились конусом, так что в первое мгновение ему даже показалось, что между этими скалами, раздвигая их монолитные края, втиснулась узкая хрустальная ваза, гигантская по сравнению с теми огромными вазами, которые Ивик видел в Эрмитаже. Она была наполнена фосфоресцирующим туманом, подымавшимся узкими струями, чтобы угаснуть у верхнего края этой вазы. Свечение становилось сильнее, цепочки легких огней, словно след трассирующей очереди при замедленной съемке, помчались навстречу друг другу, но, приподнятые на волне вздымающегося тумана, вдруг изогнулись кверху и ушли в вышину. Светало все быстрее, все яростнее, и тут Ивик разглядел, что по двум сторонам обрыва, на самом краю, застыли две одинаковые человеческие фигурки и летучие огоньки исходят именно от их протянутых друг к другу рук.

За спиной зашуршало — кто-то приблизился стариковской шаркающей походкой и остановился сзади. Ивик, не зная уже, чего и ожидать, пугливо обернулся — это был обыкновенный старик в длинном дождевике, как и на всех прохожих, хотя тронутое слоистыми облаками небо отнюдь не обещало дождя.

Старик закивал ему, — может быть, от чрезмерной общительности, свойственной пожилым, но еще бодрым людям, а может быть, это у него просто тряслась голова. Ивик на всякий случай тоже кивнул. Старик воспринял это как приглашение к беседе:

— Когда-то я тоже любил приходить сюда к тому самому моменту, когда солнце входит в знак Близнецов... Правда, приходилось удирать с уроков, но с кем этого не бывает! Вот я и смотрел до последнего мига, сколько выдерживали глаза, и успевал закрыться прежде, чем... Мальчик, но где же твой коррекс?!

Ивик беспомощно пожал плечами, не понимая, о чем идет речь; что-то сверкнуло тусклой медью, и с удивлением, уступающим место ужасу, Ивик успел заметить краем глаза, как в прорези между скалами засветился краешек раскаленного диска, словно по ту сторону Невы и не было никаких домов и гранитного парапета и солнце вставало прямо из воды. Ничего больше он рассмотреть не успел, потому что шуршащая пленка взвилась над его головой и окутала его до самых ног непроницаемой чернотой. Еще он услышал торопливые шаги и потом — стук, отчаянный стук, но скрипа отпирающейся двери не последовало, а вместо этого полыхнуло таким нестерпимым жаром, что Ивик перестал что-либо слышать и присел от страха, жадно ловя ртом тот воздух, который умещался под коробящейся пленкой; но воздуха было совсем мало, он жег легкие изнутри.

Да нет, было совсем не жарко. Пожалуй, как обычно. И уличный шум — откуда только взялись машины, и одна, и другая, и третья, все разом завизжали тормозами, и Ивик услышал топот десятка ног — бежали прямо на него, и он вскочил и, путаясь в душных складках и пятясь назад, принялся сдирать с себя липковатый пластик.

Бежали, оказывается, не к нему, а мимо, задевая, но не обращая на него никакого внимания, и сгрудились, и подняли, и понесли в одну из машин, и так же стремительно разбежались — и вот уже и нет никого. Черный дождевик на панели у входа в Академию художеств — рваный. И совсем светло, хотя нет никакого солнца. Ровное сияние, которое исходит от всего — и от затянутого легкой дымкой неба, и от гранита набережной, и от поверхности невской воды, и от двух исполинских скал, на краях которых застыли одинаковые фигурки мальчишек-близнецов. Стойкое, неослабевающее свечение без теней — надолго ли оно? На день, на месяц, на год? И только ли оно снаружи, а

может, и внутри домов все так же сказочно и неярко мерцает — и парты в классах, и доски, и мел? Но только... Да, вот именно — только...

Есть ли вообще в этом мире его школа — вот что «только»? Или на ее месте тоже торчит какая-нибудь вавилонская башня?

Его затрясло при одной мысли, что здесь, куда он так непрошено забрался и так беззастенчиво совал повсюду свой нос, и так безответственно (хотя и невольно) натворил что-то страшное, — здесь он может оказаться чужим и ненужным, и раз уж это не его мир, то здесь будет и НЕ ЕГО школа, и НЕ ЕГО дом!

Он вдруг почувствовал себя таким маленьким и беспомощным, что громко всхлипнул и помчался со всех ног обратно, вдоль прямоугольных кварталов, очерченных параллельными линиями несостоявшихся петровских каналов, к несчастному Крузенштерну, который вынужден ежегодно терпеть на себе клетчатую курсантскую тельняшку, вдоль налившихся голубым огнем трамвайных рельсов, проложенных, наверное, еще до революции, — и влетел в школу, даже не успев обрадоваться тому, что она, тихо теплясь нежарким свечением фасада, оказалась на своем законном месте.

По неосвещенному коридору он добрался до своего класса, прислонился лбом к прохладному косяку и, задыхаясь, прикрыл глаза..

За дверью суховато и насмешливо бубнил Катет. На крайних партах нетерпеливо ерзали — скрип был слышен аж в коридоре. Чувствовалось, что вот-вот должен был зазвучать звонок.

Ивик вдруг понял, что больше ждать он не в силах, что он должен немедленно увидеть и поверить — это ЕГО класс, а иначе у него просто сердце выпрыгнет, и тут звонок действительно задребезжал, дверь распахнулась, и Ивик увидел старого учителя, который, чуть прихрамывая, направлялся от доски к дверям, ступая по четкому чертежу солнечных квадратов, расчертивших линолеум. Здесь, значит, было обычное, нормальное солнце...

— Ивик? — произнес учитель так, словно пребывание мальчика в коридоре несказанно удивило его.

Сайкин сразу же подхватил из-за учительской спины:

— А мы-то думали, что ты уже провалился туда... в нетутошние измерения!

Класс, плотно обступивший учителя и явно не желавший с ним расставаться, с готовностью заржал:

— С прибытием, Новый Гулливер!

— В каких измерениях изволили гулять — в тысяча первом, втором и третьем? Зеленых человечков не встречали-с?

— Ой, девочки, как он запыхался — не иначе, людоеды за ним гнались!

Ну, это остроумие на уровне Соньки.

— Ну-ну, девочки, умерьте кровожадность, — проворчал Катет. — Я уже говорил, что если сопространственные миры и существуют, то, скорее всего, они отличаются друг от друга весьма незначительно, и уж конечно, развиваться они должны в сторону добра и прогресса, а не зла и каннибализма, это закон жизни, единый для всей Вселенной, как, например, обязательность течения времени из прошлого в будущее.

— А если эти миры совсем похожие, значит, в них можно побывать и даже этого не заметить? — настырничал Сайкин.

— Легко сказать — побывать! Я полагаю, что такой переход, ребята, должен поглощать непредставимое количество энергии. Но скажу вам по секрету: некоторые ученые — а они любят пофантазировать в перерывах между серьезными занятиями — высказывают предположение, что хотя бы однажды наша Земля такой переход уже претерпела.

— Ой! — взвизгнула Соня, словно пол ушел у нее из-под ног.

— Это не двенадцать ли тысяч лет назад, когда потонула Атлантида? — солидно вопросил кто-то из отличников.

— Много раньше. Сотни миллионов лет назад, если вас устраивает такая точность. Так вот, есть предположение, что одна из наших лун по какой-то причине сошла со своей орбиты и была притянута Землей. Куда, спрашивается, делась вся энергия соударения?

— Кратер должен был получиться — жуть!

— Предположим, что это — Тихий океан. Но, по расчетам, энергии должно было бы выделиться несравнимо больше, так что вся жизнь на поверхности планеты была бы уничтожена, и развиваться ей пришлось бы заново. Но этого не наблюдается. Так вот, существует безумная идея: а не пошла ли эта энергия на то, чтобы переместить Землю в иной подпространственный мир, то есть в совокупность других измерений?

Ребята ошеломленно затихли — как тогда, на уроке.

«Ему они поверили, а мне не поверят, — вдруг четко обозначилось в голове Ивика. — Хорошо, что я им сразу ничего не выпалил! Еще и подняли бы на смех. А кто бы поверил? Наверное, это смог бы только один... Но его, вероятно, уже давно нет в живых. Остались только картины, которые лучше всего вспоминать с закрытыми глазами. Он, значит, тоже побывал ТАМ, и только с ним можно было бы попытаться еще разок перебраться

в этот мир. А лезть туда в одиночку, тем же неумехой и незнайкой, из-за которого...»

Он невольно замотал головой при этом воспоминании, но старый педагог, незаметно приглядывавшийся к этим стремительным сменам сомнения, восторга и отчаяния на мальчишеском лице, понял его по-своему:

— Ну что, Ивик, математика не такая уж сухая и отвратительная наука, как тебе казалось? — в его голосе проскользнула горделивая нотка. — Я вижу, что и тебя наконец-то слегка заинтересовала проблема многомерности пространства. Или опять что-то другое?

«И этот не поверит, — думал Ивик. — Этот — в первую очередь. Еще в то, что было сотни миллионов лет назад, — может быть, но в то, что случилось здесь и сейчас, — нет. Никогда».

Но учитель ждал ответа, и от этого ответа надо было как-то потихонечку уйти.

— Как же так, — Ивик поднял глаза, полные безмятежной наивности. — Тогда выходит, что миллионы лет назад у нас было целых три луны?

— Выходит, так. Разумеется, если гипотеза о падении одной из них верна. Потому что сейчас у Земли, как известно, только две луны.

И он пошел в учительскую, усталый и чрезвычайно довольный как сегодняшним уроком, так и разговором на перемене, и даже не подозревая о том, что этот залитый светом коридор совсем недавно был пепельным, туманным тоннелем, соединявшим его привычный мир с любым из всех сопространственных миров — сказочных и обыденных, ослепительных и чуть мерцающих, но главное — равновеликих его собственному миру по неизменности заключенной в них доброты.

ертова планета, — причитала Вики, выходя из душевой. — И чтоб я еще хоть раз согласилась лететь на планету с таким солнцем, провалиться ей на этом самом месте...

— Не надо было рождаться рыжей, — наставительно заметил Рычин.

Вики даже не взглянула в его сторону. Она подошла к распахнутому во всю стену иллюминатору, вытащила круглое зеркальце и стала беззастенчиво себя рассматривать. Рычин со Стефаном флегматично за ней наблюдали.

— Не счесть, — коротко резюмировала Вики, пряча зеркальце.

Она посмотрела в иллюминатор — утреннее голубоватое солнце заливало поле, на котором стоял их корабль, и узенькую тропинку, ведущую к люку, и тоненькие вешки ограждения с трогательными плакатиками, на которых по-юнитски было написано «Просьба гостям не докучать». Никто и не докучал — поле было пусто. Вики гулко вздохнула и пошла в кают-компанию.

— Кормите, — сказала она, усаживаясь за стол и отодвигая локтем стопку юнитских книг. — Кормите меня с ложечки — я вконец расстроенная. Кто у нас сегодня мамочка?

— Я мамочка, — отозвался Стефан и побежал на камбуз.

Рычин взял стул, уселся напротив Вики и принялся демонстративно ее разглядывать.

— Изыди, — буркнула Вики.

— И не подумаю, — сказал Рычин. — Я еще не насмотрелся. Уж очень они тебе к лицу.

— Хочешь, чтобы я тебя окончательно возненавидела?

— Куда уж окончательней — гулять по Юне не пустил, засадил корабль сторожить, а сам сижу напротив и веснушки твои считаю.

— Истинно зверь, а не начальник.

— Ваша ма-а-ма пришла, — запел Стефан, появляясь с полным подносом. — Молочка принесла тутошнего, юнитского, по жирности что наше китовое. А вы опять цапаетесь?

Он сгрузил тарелки на стол, обошел Викин стул и присел перед девушкой на корточки:

— Вики, маленькая, так ведь с веснушками же лучше! Тебе их просто недоставало. Вон спроси Рычина — он старый ругатель, комплиментов делать не будет...

— Уже воздействовал, — отмахнулся Рычин.

Вики благодарно потрепала Стефана по волосам, отчего его льняные кудри сразу же стали похожи на паклю.

— Ну, давайте завтракать, утешители, — несколько минут все молча жевали, но сегодня Вики была не расположена так быстро успокаиваться. — Нет, какая подлость! И почему именно у меня, почему не у Степки?

Мужчинам эта тема надоела, оба сдержанно молчали.

Вики это уловила:

— Вы не подумайте, что во мне говорит атавистическое кокетство. Вовсе нет. Мне просто неловко перед юнитами. Обратили внимание, какие у них женщины? Да? А теперь посмотрите на меня. Вот-вот, прямо на нос. Облупленная картошка, да еще и в веснушках. Стыдобища! Это против ихних-то Афин да Афродит с Артемидами в придачу...

— Ну, это ты хватила, Вики! — не выдержал Стефан. — Я приглядывался к тутошним дамам — ты знаешь, далеко не богини...

— Между прочим, я тоже обратил на это внимание, — задумчиво проговорил Рычин. — Мужчины все как на подбор: огромные, смуглые, черногривые. И красавцы. Так, Вики?

— Да уж не чета вам.

— Ага, компетентный пол подтверждает. А тутошние женщины словно другая этническая группа. И чертовски разные, ни одна не похожа на другую. Когда они нас встречали, прямо в глазах рябило... м-да...

— Смакуешь воспоминания? — не без ехидства ввернула Вики.

— Просто жду. Жду связи с Темиром. Пора бы.

Все невольно скосили глаза на дырчатую плошку внешнего фона.

— Прошло только две минуты, — беззаботно отмахнулся Стефан, — и потом, если Темка там, в юнитском городе, решает аналогичную задачу — я имею в виду антропологическое несходство полов, — то он очень даже просто может проморгать сеанс связи.

— Позавчера ведь минут двадцать ждали — и ничего. Так что вернемся к нашим неподражаемым аборигенкам... или аборигеншам?

Рычин зыркнул на нее своими цыганскими глазами — ага, и ты заволновалась. А ведь волноваться надо было уже вчера, после вечерней связи с Темиром Кузюмовым.

Теперь один Стефан, казалось, был спокойным:

— Красятся твои юнитки неподражаемо — вот что. Между прочим, у нас на Земле прелестный пол отягчал себя когда-нибудь голубой или сиреневой гривой?

— Лет триста-четыреста назад запросто, а в рыжее красились еще до прошлой эры. Правда, это уже в незапамятные времена считалось непозволительным баловством, поэтому таких женщин называли причудницами или блудницами.

— Ох, — застонал Рычин, — и эрудитов же я набрал к себе в экипаж! Причудницы — это из салонов времен Сирано де Бержерака, а что касается блудниц, то тебе о них вообще знать не положено. По возрасту.

— Интересно, а где это ты набрался эрудиции в таких вопросах?

— Во дале... далеких во краях, — пропел Рычин. — Не слышу Темира. Даю еще десять минут, чтобы разыскать и подать мне Темира Кузюмова.

— Кому даешь-то?

— Действительно, мальчики, а неужели у космолетчиков нет собственного покровителя — ну не обязательно божества, а хотя бы чертика какого-нибудь завалящего?

— К сожалению, Вики, — рассудительно завел Стефан, — звездоплаванье и религия так же несовместимы, как...

— Все чушь, — оборвал его Рычин. — Мы, грешные, практически остались без пригляда. Живой пример — исчезновение нашего Темира.

— Что ты дергаешься — десяти минут ие прошло.

— А я жду спокойно. И за те пять минут, которые я еще отпустил всем нам на это самое спокойствие, могу объяснить, что

действительно несовместимыми мне кажутся только две вещи: это высочайший уровень тутошней цивилизации и примитивная косметика, в применении которой наш грубый Стеф заподозрил юниток. Они не красятся, дорогие мои, но я много бы отдал за то, чтобы разгадать загадку Юпы.

— То есть стереотип ее прекрасных мужей?.. — уточнила Вики.

— Отнюдь. Загадку разнообразия и, если хотите, странного несовершенства юнитских женщин.

— И девушек, — ввернул Стефан.

— Нет, — сказал командир. — Их я в виду не имел...

Было очевидно, что он усиленно думал о чем-то своем. Хотя что значит: о чем-то? О Темире он думал, не о девушках же, в самом деле.

— А почему? — привязался Стефан. — Если говорить о женщинах, то с кого и начинать, как не с...

— Я не видел на Юне ни одной девушки. И девочки — тоже! — отрезал Рычин.

Пять минут были на исходе.

— Действительно?! — изумился Стефан. — И как я сразу этого не...

Мелодичный звон прервал его на полуслове — сработала система предупреждения, включавшаяся в том случае, когда к кораблю приближался кто-нибудь из юнитов. На неодушевленные предметы — летящие по ветру перекати-поле, осенние листья и частые здесь шаровые молнии — она не отзывалась. На животных, по-видимому, тоже, но пока земляне не видели на Юне ни одного зверя. Может быть, их здесь вовсе не было.

Вики включила экран внешнего обзора, и все увидели хрупкую женскую фигурку, которая, чуть прихрамывая, но все же удивительно легко скользила по тропинке, протоптанной в бурой юнитской траве.

— Ну вот, — не унимался Стефан, — через полторы минуты загадка юнитской косметики будет решена: беру я эту очаровательную ле Бом ле Блан де Лавальер поперек живота, переворачиваю вверх тормашками и окунаю в ванну... Кстати, командир, что мы скажем ей о Темире?

— Все, абсолютно все. У нас нет основания не доверять юнитам.

Вики пожала плечами.

— Я войду? — послышался из динамика шелестящий голосок.

— Да, да, прошу вас!

Тоненько взвыл мотор подъемника. Вики как-то механически пригладила волосы и затем с сомнением оглядела свои далеко не аристократические руки с обломанными ногтями.

Двери лифта раздвинулись, и мужчины разом вскочили — несколько более резво, чем того требовали элементарные правила вежливости. У них это получалось само собой каждый раз, когда их переводчица входила в комнату, — как они признались друг другу, у них синхронно возникало естественное желание подхватить ее на руки.

— Добрый день, гости! — старательно выговаривая слова, произнесла она.

Каждое утро она приходила к ним, и, пока Темир Кузюмов на практике осваивал все чудеса юнитской цивилизации, она проводила с оставшимся на корабле экипажем своеобразные телеэкскурсии, по просьбе землян выбирая то один, то другой уголок громадного полупустого города, двухсоткилометровым кольцом охватывавшего заросшую лужайку космодрома.

— Добрый день, Леа! — хором отозвались земляне, не переставшие удивляться той легкости, с которой эта молодая женщина всего в несколько дней овладела их языком, в то время как они сами и поздороваться-то толком по-юнитски не научились. Это, правда, было не так просто, как могло показаться на первый взгляд, — сутки юнитов делились на тридцать шесть часов, и для каждого часа приветствие должно было звучать по-иному.

— Гости тревожны и беспокойны? — скорее даже не спросила, а констатировала Леа.

— М-м-м... собственно говоря... — протянул Рычин.

Стефан и Вики остолбенело воззрились на него: командир мямлил, как проштрафившийся салажонок. Командир заикался.

Да что же творилось с командиром?!

А командир сам не знал, как определить и тем более объяснить свое состояние. Едва только маленькая юнитская переводчица появилась в рубке, как у него пропали все опасения и тревоги. Ну не могло ничего случиться с Темиром, просто органически не могло. Забарахлил фон, помехи там непредвиденные атмосферные. Но несчастья нет. В мире, где могут существовать такие вот женщины, ничего случиться с человеком просто не могло.

Вот и тянул командир, с тоской и последней надеждой косясь на молчащий транслятор, — может, еще отзовется Темир и

не придется беспокоить это бесконечно хрупкое существо, рассказывать которому о своих опасениях просто нелепо.

Но транслятор, чуть потрескивая, не отзывался.

— Так что же?..— повторила Леа.

— Темир пропал, вот что,— проговорила с вызовом Вики.— Он и вчера уже что-то подозревал...

Глаза у Леа раскрылись так широко, что верхние ресницы, казалось, вскинулись выше бровей.

— Почему же вы не связались со мной еще вчера? — прошептала она так тихо и укоризненно, словно ее саму в чем-то глубоко обидели.

Рычина от этого голоса прошиб холодный пот. Если бы не Ана Элизастеги, смуглая неистовая Ана, оставшаяся на Земле, он давно сказал бы себе, что безнадежно влюбился в эту крошечную пепельно-призрачную юнитку. Но любовь исключалась, и поэтому единственным разумным объяснением необычного состояния командира было извечное и естественное благоговение человека перед истинно прекрасным.

— Простите,— сказал Рычин, изо всех сил стараясь понизить сколько возможно раскаты своего цыганского баритона,— но наш второй пилот, находящийся в городе, действительно не вышел на связь в назначенное время.

— Если б только это! — Вики вызывающе вскинула острый подбородок.— Вчера он успел передать... Стеф, вруби!

Стефан пожал плечами — может, и не стоит? — и включил где-то с середины запись вчерашнего диалога Кузюмова с командиром.

«...сморозил какую-то глупость, что ли. Показали мне мужскую школу, я говорю: а в женской в принципе все то же? Я чего-то недопонял, но выходит — нет у них женских школ. Вообще. Может, их в каких-нибудь монастырях обучают? Только по нашей Лавальер этого не скажешь. (Рычин смущено хмыкнул.) Тогда я попросил их главного... Минуточку, друзья...»

Минуточка растянулась на двенадцать с половиной часов — Кузюмов связи так и не возобновил. И потом — только сейчас Вики со Стефаном поняли, что было самым необычным в этой вечерней беседе: уже вчера всегда оживленный, темпераментный Темир мямлил и заикался точно так же, как Рычин сегодня.

— Действительно,— сказал Стефан,— а какой грех в том, что Темка попросился в женскую школу? Ну не принято, так объяснили бы, чтоб вел себя поприличнее. А тут нате вам: пропал!

Взоры присутствующих невольно обратились к переводчице, словно она была непосредственной виновницей исчезновения Кузюмова.

С переводчицей тоже что-то стряслось: вроде бы никто ничего крамольного не произнес, но она была в настоящем смятении. Лицо ее, слишком нежное и хрупкое для того, чтобы покраснеть, казалось, оттенялось изнутри всеми возможными бликами перламутра, словно на него падал отсвет огромной раковины. Ресницы трепетали, но не так, как у земных женщин, все разом, а каждая по отдельности; пепельные волосы тихонечко, как трава под ветром, колыхались.

— Сейчас... — лепетала она, — сейчас-сейчас...

Она торопливо рылась в своей серебряной сумочке, от непонятного смущения не находя какой-то нужной вещицы, и из-под ее пальцев время от времени выпархивали небольшие радужные пузыри наподобие мыльных, которые взмывали к потолку рубки и, не достигнув его, таяли, оставляя в воздухе аромат юнитских подснежников. Наконец она нашла свой микропередатчик, напоминающий маленького морского ежа, и торопливо заговорила на своем удивительно певучем языке, в котором утроенные и учетверенные гласные, да еще и в различной тональности, давались пока одному Темиру. Настоящее имя их переводчицы звучало как целая музыкальная фраза, так что Рычин с первых же минут контакта взмолился и оговорил всем право обращаться к юнитам только в рамках доступных сокращений. Таким образом их переводчица и приобрела земное имя Леа.

Из колючего комочка доносилось ответное басовитое пение на сплошных гласных, Леа обрывала его, явно протестуя и оправдываясь, общее волнение нарастало, как вдруг на середине фразы Леа вдруг бросила колючий комок обратно в сумку, взметнула вверх легкие ладошки (характерный призывный жест — едем!).

— Что с ним случилось? — упрямо мотнул головой Рычин, уже прикидывая, какая там у Кузюмова группа крови.

— Нет, нет, ничего. Вы тревожитесь? Едем!

— Ехать так ехать, — сказал командир. — Вики на вахте, Стеф за мной. Если к четырнадцати часам по корабельному времени мы не объявимся, найти нас по биоволновому индикатору и пробить по прямой оси защитный коридор. Все.

Вики не в первый раз и не на первой планете получала подобное указание, но пока, слава богу, пробивать защитный тоннель не приходилось ни разу. Страшная это была штука — прокладывать через живой город защитный тоннель.

Они втиснулись в кабинку скоростного лифта, и повернуться было негде. Рычину со Стефаном пришлось, чтобы не задевать Леа, поднять руки и упереться в стенки под самой крышей кабинки, так что конурка лифта приобрела вид античной часовенки с двумя застывшими Теламонами. Потом они выскочили на поле и побежали по нему напрямик, по тонкой вьюнковой траве. Легкая хромота не мешала молодой женщине двигаться плавно и бесшумно, и Стефан, чуть поотстав и скосив глаза на командира, не удержался и прошептал:

— Чур меня, чур! — Рычин сделал страшные глаза, но не помогло.— Сила нечистая... И трава под ней не сгибается, и тени рядом не стелется. Дух бесплотный, наваждение бесовское...

Они подбежали к маленькому кораблику-вездеходу, который Леа бросила на краю космодрома, и внутри было так же тесно, только тут уже нельзя было стоять, и кораблик рванулся в чистое, не замутненное никакими дымами небо над огромным городом, и пошел вдоль его южной окраины, уверенно и стремительно скользя в нижней, свободной зоне экстренных трасс. Но пространство, как уже наблюдали земляне, подлетая к посадочной площадке, перегружено не было — город был выстроен как бы на вырост, в нем было просторно и безлюдно, большая редкость для такой сравнительно невысокой цивилизации, едва-едва освоившей собственную солнечную систему и уже пережившую какую-то глобальную катастрофу. Город поражал удивительной плавностью линий, какой-то изящной локальностью, словно он и строился только для того, чтобы любоваться им с высоты птичьего полета. Нелепо и немыслимо было даже представить, что в таком городе что-то могло случиться с Темиром.

Кораблик неожиданно взял вправо, пронесся над необозримым окраинным парком — а может быть, уже загородным лесом? — и приткнулся к ажурной башенке, напоминающей доисторическую мачту, к каким где-то в начале двадцатого века швартовались дирижабли.

— Прошу вас выходить,— извиняющимся тоном произнесла Леа,— здесь машинам спускаться нельзя.

Они вошли в какую-то подозрительно шаткую корзину, которая мягко пошла вниз своим ходом,— навстречу взмыл бетонный куб противовеса. Чернобородый гигант, подстраховывавший спуск, лениво перебирал руками шершавый канат. Когда кабина коснулась земли, он помог гостям выбраться, а потом протянул руку и вынул оттуда молодую женщину, как вынимают из клетки птицу.

— Ваш друг здесь, — проговорил он, застенчиво улыбаясь. — Вы тоже хотите видеть... это?

Рычин со Стефаном энергично закивали, хотя, честно говоря, не представляли себе, о чем идет речь. Зато Леа, которую гигант продолжал держать на руках, уткнулась ему в плечо и зашептала горячо и просительно. Чернобородый красавец (все они тут были чернобородые и отменные красавцы) выслушал ее внимательно, потом, не возразив ни слова, водрузил обратно в корзину подъемника и медленно, как поднимают флаг, вознес ее на вершину причальной мачты. Когда женщина перебралась в кораблик и, чуть шевельнув на прощание узенькой ладошкой, захлопнула за собой створку люка, он обернулся к землянам и, выразительно разведя руками, скорчил какую-то гримасу, которая начисто пропала под сенью бороды. Но было и так ясно: они остались без переводчицы, придется объясняться в рамках того словарного запаса, которым располагали аборигены, — на лингвистические способности землян тут было мало надежды.

Смущенный великан откашлялся, но все-таки решил начать с жестов и широким взмахом руки пригласил гостей к маленькой дверце. Рычин взялся за металлическую ручку, распахнул дверь и чуть, было не сделал шаг вперед, но вовремя остановился: перед ним была коробка сейфа. Нате вам!

Парк, шелест деревьев, буколическое журчание ручейка, и в сплошь затканной плющом стене современный стальной сейф. На поблескивающих полочках какие-то небольшие приборчики вроде ручных часов, коробки со стрелками, небольшие катушечки самодельных трансформаторов... и, между прочим, часы и рация Темира. Ошибки быть не могло — на пластмассовой коробочке среднедистанционного фона четко виднелись инициалы Кузюмова и реестровый номер корабля.

— Пожалуйста, гости, — проговорил хозяин сейфа, делая над собой усилие, чтобы не растягивать гласные. — Пожалуйста, все приборы!..

Рычин, не раздумывая, сложил на нижнюю полку все, включая маленький дамский десинтор, который так уютно умещался в нагрудном кармашке. Стефан сделал то же самое, потом подумал немного и для убедительности присовокупил еще и авторучку.

— Теперь, пожалуйста, сюда!

Еще одна дверца внезапно обнаружилась в зеленой стене, но за ней круто убегали вниз довольно потертые каменные ступени. Они начали спускаться, и вскоре в этом лабиринте лесенок, площадок, поворотов и галерей перестали ориентироваться, и

теперь не могли уже судить о том, как глубоко под землей они находятся. Так же непонятно было и назначение небольшой овальной комнаты с гладкими песочными стенами, но зато необыкновенно уютными диванами. Здесь не на чем было остановиться глазу, кроме небольшого щелевого отверстия напротив двери, зато хотелось вытянуть ноги и возможно дольше не подыматься, а сидеть, вдыхая удивительно чистый прохладный, воздух, и предаваться мечтам.

— Спрашивайте, пожалуйста! — предложил хозяин подземелья.

— А что, собственно, спрашивать, — улыбнулся Рычин, — когда мы не знаем, с чего начать?

Брови юпита горестно сложились уголочками.

— Тогда начинать надо с катастрофы...

И он начал с катастрофы.

Собственно говоря, сама причина бедствия так и осталась загадкой — юниту не хватило слов. Но было очевидно, что на всей планете не осталось ни одного живого человека. Ни одного.

Было ли это несчастным случаем или намеренным преступлением — в любом случае юпиты были виноваты в том, что они сделали возможной эту катастрофу. Излучение — или болезнь — поразило не только их, но и большинство животных и птиц; уцелели глубоководные жители и, как и можно было предположить, насекомые. А людей на Юне больше не было — остались в живых только экипажи космических станций, которые собрались на самом крупном околоюпитском искусственном спутнике и долгое время ожидали, когда передвижные автоматические зонды обследуют поверхность Юны и сообщат, что опасность миновала и им можно возвращаться домой.

Они дождались и вернулись, но то, что они нашли у себя на родине, было выше человеческих сил. Почти половина из них сошла с ума, в том числе и единственная среди них женщина.

Тридцать два человека остались на Юне, тридцать два человека, обреченных стать последними жителями планеты.

Все тридцать два были мужчины.

И тогда они решились на единственный способ, оставляющий им мизерную надежду: проблема клонирования была уже в принципе решена на Юне, опыты ставились уже на высших животных, но никому в голову не приходило создать методом клонирования живого человека.

Но лаборатории стояли нетронутыми, инструкции пока еще не обратились в прах, и последние мужчины Юны рискнули.

Несчастная сумасшедшая, за которой не смогли уследить, покончила с жизнью, но она и дала возможность за счет ее клеток вырастить первых искусственных женщин. Хотя почему они походили друг на друга, как близняшки? Да они и были ими, но они были живыми юнитками, развивавшимися гораздо быстрее обычных благодаря стимуляторам и несколько затянутому периоду термостатного развития.

Так или иначе, но не прошло полутора десятков лет, и юниты взяли себе в жены девочек-подростков, хрупких и бледных, как сугубо несовершеннолетние мадонны средневековья.

Можно было представить себе, как все они были горды, — люди, победившие не только собственную смерть, а гибель всей своей цивилизации.

И они были просто по-людски счастливы, что избавились от надвигающегося одиночества, потому что молодые юнитки обещали стать матерями.

Первые младенцы все были мальчиками, что поначалу обрадовало отцов и матерей — планету приходилось поднимать из пыли и праха, и для этого требовалось все больше и больше сильных рук.

Но прошел год, другой, и юниты с ужасом поняли, что по не объяснимым причинам их рукотворные жены почему-то рожают одних мальчиков.

Пришлось вернуться в лаборатории, благо некоторый опыт уже был накоплен, и подрастающие юноши снова получили себе подруг, обязанных своим рождением не женщине, а приборам и установкам. И они родили мальчиков, для которых снова пришлось создавать юных жен... Это стало бедой и проклятьем Юны, бедой настолько непоправимой, что о ней было не принято говорить вслух. Ученые бились в своих лабораториях, стараясь перешагнуть заколдованный рубеж, и мало-помалу накопленные знания и опыт стали превращать проклятье в... Неверно было бы сказать — в счастье: но нет, наверное, такого зла во Вселенной, которое оставалось бы в сути своей непобедимым, не могло быть хотя бы отодвинуто, или смягчено, или даже использовано.

Высокая степень развития генной инженерии на Юне позволяла вырастить не просто женщину, а женщину совершенную, прекрасную, как все древние богини, вместе взятые. Мало того, от этого общего совершенства юниты перешли к совершенству субъективному, и если для одного юноши по его просьбе выращивали Геру, то для другого нужна была не меньше чем Психея.

Тем более что сам процесс роста теперь укладывался в какие-то три-четыре года, за которые будущая юнитка, все еще находясь в лабораторной стадии развития, достигала уровня тринадцатилетней девочки. Затем следовал год в стационаре, гипнопедическое обучение и продолжение стимулированного роста — в конце этого года девушка достигала уровня развития на шестнадцать-семнадцать лет. И тогда они уже могли выйти в широкий мир — к тому, кто создал ее не по образу и подобию себя самого, а по образу и подобию своей мечты...

— И это происходит здесь, — закончил с нескрываемым облегчением юнит. — Наверное, не все вам понятно, но нам ведь ни разу не пришлось это кому-то рассказывать: на Юне и так все в курсе, да и обсуждать такие проблемы как-то не принято — ведь это, собственно говоря, самое сокровенное, что у нас есть. Самое дорогое. И если вдруг что-нибудь разладилось бы...

— Действительно! — простодушно изумился Стефан. — А вдруг какой-то сбой, нарушение программы, и они... ну... перестали бы расти? Уж не лучше ли заранее выращивать побольше женщин, а потом выбирать себе по вкусу?

— А та, которая никому по вкусу не придется? — возразил юнит. — Всю жизнь одна? Или охотиться за чужими мужьями? Впрочем, лет пятьдесят тому назад на Юне был проведен всепланетный опрос по этому поводу. Так вот, мужчины еще кое-как согласились на свободный выбор, а женщины — нет. Поголовно. Никто из них не мог представить себе, как это жить нелюбимой...

— Да, — сказал, подымаясь, Рычин, — насколько я знаю женщин, любая из них предпочла бы вообще не появиться на свет. Но все-таки, где же наш Кузюмов?

— Видите ли... — замялся юнит, — когда ваш друг пришел сюда, вместе с ним входил один юноша... есть такие... нерешительные. Никак не мог создать образ. Это ведь нужно представить себе совершенно четко — о чем ты мечтаешь. Вот он и попросил нашего гостя Темира показать ему самую прекрасную женщину Земли... Не его любимую женщину — нет, нет, а вообще... не знаю, как сказать...

— Идеальный вариант, — подсказал Рычин.

— Это неважно, — сказал юнит. — Вы смотрите, пожалуйста...

В овальной комнате, за стеклом, стало вроде темнее — противоположная стена посинела, но одновременно стала как-то легче, прозрачнее, как будто открылось огромное окно прямо в ночь, но не здешнюю, с темно-зелеными рыхлыми облаками, а ночь зем-

ную, падстенную, наполненную стоячими волнами полнотравного дурмана, и шорохом ошалевших птиц, опутанных этим запахом, и тоненькой капелью звезд, тающих в предрассветном, едва еще занимающемся зареве. Тихо, неспешно таяла эта ночь, оставаясь не тронутой лишь в синеве колдовских, незакрывшихся цветов, порожденных ночью и обреченных исчезнуть вместе с рассветом, ибо непредставимы они были, несовместимы и невероятны в свете дня.

А там, за кружевом редких цветов, величаво и стройно высилась она — женщина Земли, окутанная покрывалом неприкасаемости, увенчанная невесомой короной негаснущих звезд, неподвластных рассвету: и все они были одного естества — и ночное небо, и зачарованные травы, и Она, бесшумно и неузнанно проходящая по спящему миру, чтобы никогда не встретиться наяву...

Они тихо отошли от своего узенького оконца, словно боясь спугнуть это видение, и снова двинулись по бесчисленным переходам и лесенкам, теперь уже наверх. Молчал Рычин, потрясенный той глубиной проникновения в Прекрасное, которую он никак не мог угадать в своем друге.

Молчал и Стефан, напряженно посапывая, словно какая-то неотступная мысль прицепилась к нему и он не мог просто выразить ее в словах. Наконец они вышли наружу и остановились у заросшей плющом стены, вдыхая Суховатый, совсем не такой свежий, как на Земле, воздух.

— Четверть второго, — сказал Рычин. — Свяжись с Вики.

— Сейчас, — ответил Стефан, нащупывая дверцу сейфа. — Сейчас свяжусь, только...

Было видно, что неотвязный вопрос не даст ему спокойно вернуться на Землю.

— Я понимаю, у вас об этом не принято, но я все-таки спрошу, а?

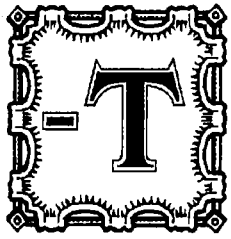
Рычин пожал плечами; чернобородый гигант не выразил ни согласия, ни удивления — он задумчиво вперился в суховатую юнитскую травку, словно пытаясь углядеть в ней колдовские ночные цветы, которых на самом деле никогда не росло на Земле.

— Вон Темир нарисовал деву, — сбиваясь и краснея, торопливо заговорил Стефан. — Это ж обалдеть можно, какая красота! И вы ведь можете такую создать, ну во плоти, в жизни, не на стенке... Ведь можете? Так почему же для себя вы... Нет, нет, я ничего плохого не хочу сказать, ваши девушки тоже... Любая

наша позавидует, вон Вики, к примеру! Но все-таки — почему вы не делаете своих жен безупречными? Зачем каждой вы оставляете какое-то несовершенство?

Юнит медленно поднял руки, словно на них лежало что-то легкое и бесценное, так же, как и тогда, когда он переносил из подъемника свою маленькую жену.

— Да затем, — проговорил он совсем тихо, — чтобы было за что их любить.



ы с ума сошел, — сказал Фасс. Сутулая спина, нависшая над пультом управления, не шевельнулась.

— Там же первобытные орды, в лучшем случае — раннее рабовладение!

— Вспомни легенду о Марле, — отозвался наконец Сибл.

— Легенда о Марле! — Фасс хлопнул себя по брючным карманам с такой яростью, что одна из сигнальных лампочек на течеискателе, перед которым он сидел на корточках, судорожно замигала. — Легенда о Марле!.. Да хочешь, я скажу тебе, сентиментальному старому дураку, как в действительности кончил Марль? Его попросту съели. Потому-то наши и не смогли обнаружить эту легендарную могилу Марля, хотя перерыли сверху донизу всю ту обетованную планетку, которую ему заблагорассудилось выбрать в качестве приюта своей романтической старости!

— А ты-то что бесишься? — спросил Сибл.

— Да то, то и еще раз то, что тебе девяносто три, и в любом оружии рано или поздно кончаются заряды — это не в переносном смысле, а в прямом. И на что ты способен, если тебе не останется ничего, кроме рукопашной?

— А оружия я с собой не возьму. Вообще.

— Ну знаешь...

— Дай мне только одноместную ракетку, которую ты загробил на Сирре. Тормозные двигатели у нее в порядке, стабилизаторы горизонтального планирования — тоже, а большего мне и не надобно.

— Как же, дал я тебе этот гроб!

Сибл ссутулился еще больше.

— Неужели за семьдесят два года полетов я не заработал даже этой вагонетки, годной только на переплавку?

— Да не устраивай мне этой мелодрамы с космическими жертвоприношениями! — крикнул Фасс.— Уж если тебе так приспичило кончать свой век на этой захолустной тарелке, леший с тобой — я спущу тебя вниз на экспедиционном катере, мы построим тебе вполне комфортабельную берлогу «Отель питекантропус», настреляем и накоптим дичи, а потом...

— Не суетись,— сказал Сибл примирительно,— полечу я все равно один, а что касается берлоги — не в ней дело, или построю собственными силами, или примощусь где-нибудь под...

Он оттолкнулся руками от пульта и нервно зашагал по рубке, досадуя на то, что чуть было не проговорился.

— И вот что, Фасс, пожалуйста, не следи за моей посадкой. Мне будет проще, если с самого начала я буду надеяться только на себя.

— Очень мне нужно за тобой следить! — буркнул Фасс.

Он помнил об импульсном передатчике, которым были оснащены решительно все виды вспомогательного космического транспорта. Так что местонахождение ракетки Сибла все равно можно будет фиксировать автоматически.

Сибл же об этом не думал, так как давно уже прикинул, что при всем желании Фасс сможет засечь только точку приземления его кораблика; но дальше он воспользуется левитром-вездеходом, а с его помощью даже за сутки можно забраться так далеко в глубь горного массива или непроходимых тропических зарослей, что для его розысков потребовалось бы снаряжать целую спасательную экспедицию. Так уж пусть Фасс с самого начала смирится с тем, что Сибл навсегда исчезнет в дебрях этой первобытной планеты, которая пепельной неживой темнотой давила на иллюминатор нижнего обзора.

— В конце концов,— произнес он вслух,— каждый из нас волен выбрать себе планету, на которой ему хочется окончить свою жизнь. Так вот, я выбираю ту, на которой меня оставят одного. Это мое право, и ты знаешь, что оно свято.

— Ты погоди, Сибл,— Фасс перешел на просительный тон.— Покрутимся возле нее еще один день — при внимательном рассмотрении некоторые вещи перестают казаться привлекательными...

— И минутная блажь пройдет, так? И я выберу то, что выбирали все и всегда — почти все и почти всегда... Возвращение

домой! Но ведь я возвращался бессчетное число раз, и что было моим домом? Маленький кабачок возле Четвертого континентального космопорта. В этом маленьком кабачке каким-то чудом помещалась уйма народу, — во всяком случае, я там наблюдал не меньше двух десятков этаких бравых отставников с пожизненным космическим загаром и неистребимой тягой к воспоминаниям. Я прилетал через полгода — воспоминания не иссякали. Я отсутствовал год — и возвращался к самой кульминации очередной серии... Я боюсь этого, Фасс. Я боюсь, я не хочу себя — вот такого, окруженного почетом и сопливыми курсантами, с кружкой безалкогольной шипучки и фонтаном воспоминаний о наших с тобой приключениях... Ты понимаешь, я хочу, чтобы в том моем настоящем, которое еще мне осталось, было еще хоть что-нибудь, кроме прошлого.

— А ты уверен, что тебе гарантировано настоящее, после того как ты врежешься на этой развалюхе в самые натуральные первобытные джунгли?

Сибл промолчал. Они и так говорили слишком долго, хотя обоим было ясно, что все обдумано давным-давно, слишком давно, чтобы сейчас вот отступать.

— Ну ладно, — сказал Фасс, — коснулись на этом. Я ведь знал, что ты нанимаешься в свой последний рейс, и должен был приготовиться к любым сюрпризам. Но сейчас я прошу тебя об одном: если по мере приближения к поверхности ты почувствуешь, что твои фантазии начинают блекнуть, — немедленно возвращайся.

— Фасс, это не фантазии.

— Ну да, это мечта твоей жизни. И именно с этой дурацкой мечтой ты выбивал себе разрешение на последний рейс. — Фасс всеми силами старался сдерживаться, но с каждой минутой у него это получалось все хуже и хуже. — Скромная мечта о тихом уголке, где ты будешь царем и богом. Спокойно, спокойно, не бросайся на меня — диспута не будет. Я только четко сформулирую, о чем ты мечтаешь. Иногда это очень полезно — услышать со стороны высказанные за тебя мысли. Итак, принимаю возражение — ты не собираешься быть ни царем, ни богом. Тебе нужен всего-навсего определенный контингент слушателей — небольшое племя, желательно патриархального уклада и минимально кровожадное, которое ты одарял бы малыми благами нашей цивилизации в объеме курсов арифметики, физики и домоводства начальной школы... Что, не так?

— Так, — согласился Сибл.

— Ты, старина, в перерывах между полетами не удосужился обзавестись теми, кто мог бы тебя любить, — семьей или приемышем, на худой конец. Я тебя не осуждаю — многим из нас это кажется чересчур хлопотным делом. И долгим. А сейчас ты решил добиться всего этого очень быстрым и результативным путем: ты покажешь этим аборигенам, как гнуть колесо, как лепить глиняный горшок, как сбивать сливочное масло. И они полюбят тебя — за твои колеса, за твои горшки, за твое сливочное масло.

— Знаешь, что забавно? — прервал его Сибл. — Твоя весьма живописная речь — не экспромт. Ты сам об этом долго думал — о туземцах, горшках и масле. Ты ведь немного моложе меня, Фасс.

— Я запретил себе об этом думать. Согласен: за всю свою неприкаянную жизнь мы заслужили сомнительное счастье спокойной старости. Но ты идешь за своим счастьем как незваный гость!

— Я думаю, что этот термин родился на более позднем этапе развития цивилизации. Тем же, кто прост духом, как правило, свойственно безграничное гостеприимство.

— Но до этих людей нужно еще дойти, чтобы воспользоваться их гостеприимством. Ты идешь незваным, Сибл, и чужими будут для тебя вода и земля, воздух и огонь.

— Я знаю это. Но все-таки это лучше, чем стать чужим себе самому...

Сибл вжался в сиденье, оттягивая на себя рычаги горизонтального маневрирования. Дело было хуже, чем предполагал Фасс. Гробанул он ракетку капитально, и теперь Сибл даже не мечтал о том, чтобы посадить кораблик по всем инструкциям — маневренность его была практически равна нулю.

Конечно, в его жизни бывали ситуации и посложнее — ведь сейчас дело облегчалось тем, что не надо было заботиться о последующем взлете. Но и садиться где попало Сибл не собирался: этот уголок незнакомой планеты он выбрал сразу же, как только увидал его на корабельном экране вчерашним ранним утром. Ему повезло: в это время Фасс возился в камбузе, и диковинное видение проплыло в предрассветном зеленовато-пепельном мареве, слишком неправдоподобное, чтобы о нем рассказывать.

И Сибл промолчал.

Что это было? Причудливое естественное образование, скальный массив, обточенный ветрами? Но четкий трезубец с золотыми наконечниками, бородатый профиль сидящего старца в могу-

чей тиаре... Или скала, хранящая следы человеческих рук,— горный храм, выполненный в виде фигуры мудреца... Вчера не было времени разбираться.

И тем более нет его сейчас. Кораблик кувыркается, а внизу — горная гряда, она должна вот-вот кончиться именно этой исполинской скульптурой, а дальше — зеленые равнины и прозрачный ручей, струящийся от подножия каменного старца к незамутненному спящему озеру... Ракетка срывается в штопор, зеленовато-белая громада закрывает весь иллюминатор — и тут же пропадает, и еще несколько раз мерцающее небо сменяется диоритовой темнотой земли, и вот теперь самое время включить воздушную подушку — оп! Чуть поздновато...

Удар отбросил Сибла от пульта, но, видимо, ему удалось-таки в последний момент врубить алый клипышек системы аварийного крепления, и сквозь лиловую муть нарастающей боли он услышал, как гибкие щупальца, лязгая и срываясь с камней, пытаются остановить скольжение ракеты. Кораблик, задрав кверху кормовые дюзы, замер в нелепой, но достаточно устойчивой позе.

Сибл, неуверенно пошевелив руками и ногами, с удивлением убедился, что все в порядке. Просто поразительно, как ему сегодня удается со всем справляться. Сначала он справился с Фассом, теперь вот с этой проклятой развалиной. Сибл расстегнул пряжки ремней, выполз из кресла-амортизатора. Справился. Справился!!! Он потянулся, изгоняя из тела боль финишного удара, и только тогда, запрокинув голову, увидел, как единственный уцелевший индикатор радиации стремительно наливается отравным лимонно-желтым огнем.

От удара самопроизвольно включился на разогрев ядерный десинтор. Сибл рванулся к пульту,— ах ты, совсем забыл, что здесь десинтор на автономном управлении, а это значит, что, для того чтобы выключить его, надо проползти во второй кормовой отсек, а люк сейчас оказался прямо над головой, и его, конечно, заклинило... Сибл всей тяжестью тела повис на скобе люка, тот не поддавался. Он бросился к шлюзовой камере — найти там хоть какой-нибудь инструмент, ломик, топор... Когда был на пороге, обернулся — с гнусным чавкающим звуком крышка только что не поддававшегося люка отпала, и из щели хлынула бурая маслянистая жидкость — топливо из резервных баков.

Сибл выскочил в шлюзовую и защелкнул за собой замок. Попытаться спасти эту скорлупу? Риск велик, а зачем? Он вывел из пиши маленький одноместный левитр, прыгнул на сиденье и негнущимися пальцами набрал код выхода из корабля.

Левитр двинулся вперед и тупым рылом вжался в контактную клавишу герметизации. Если и этот люк заклинило...

Нет. Створки с готовностью разомкнулись. И с этим он справился. Легонькая капсула левитра уверенно взмыла вверх. Ориентироваться было легко — впереди, в тающем тумане, высилась размытая сумерками громада. Сейчас она казалась изваянной из цельного куска льда, но Сибл прекрасно понимал, что это мог быть только камень, а значит — надежное укрытие, и он погнал машину вперед, лишь бы уйти подальше от своей ракеты, и уступы каменной террасы, на которую он плюхнулся, сменились травянистой — а может быть, просто малахитовой — равниной, и можно было врубить двигатели на воздушной подушке и дать максимальную скорость. Прямо перед ним, на темной ладошке долины, уместились овальное озеро и ручей, и через это нетрудно будет перемахнуть, а дальше — сидящий исполин с протянутой рукой, из которой, как прозрачный посох, обрывался вниз тугой жгут падающей воды. Добраться хотя бы туда, не говоря уже о том, что дальше начинаются невысокие горы, поросшие пушистой зеленью, и долины между этими горными грядами, несомненно, заселены людьми... Сибл скрипнул зубами. Еще несколько минут — и ему самому уже ничто не будет грозить, машина выйдет из зоны возможного взрыва. Конечно, если повезет, десинтор может и медленно разрядиться, только слегка загадив каменистое плато — безлюдное, к счастью. Сегодня ведь Сиблу везло, так везло, что можно было надеяться: повезет и еще раз. Ведь так чертовски не хотелось связывать свое появление с такой грандиозной катастрофой, как ядерный взрыв! Даже если исключить возможность облучения — ведь не планетарный двигатель, а всего-навсего десинтор среднего боя, — то первобытные племена, населяющие окрестности озера с исполинской фигурой над ним, непременно узрят в происшедшем руку карающих богов, и потом поди докажи им, что ты хочешь добра и мира. Хорошо еще, в непосредственной близости от места посадки злополучной ракеты не просматривалось ни одного селения.

Сибл успел еще заметить, что неподвижная кромка озера уже совсем близко, в каких-нибудь двух-трех минутах полета, и правее — змеящийся светлый ручей, а за ним — как будто нацеленный в рассветное небо трезубец, уже освещенный первыми лучами невидимого отсюда солнца... И в следующий миг ослепительная беззвучная вспышка прижала его машину к земле, и еще немного левитр полз на брюхе, пытаясь зарыться носом в неподдающийся грунт.

Потом навалилось все остальное — грохот, нестерпимый жар и беснующиеся потоки воздуха. Все произошло так быстро, что Сибл даже не почувствовал, как его вышвырнуло из машины и покатило по земле.

Очнулся он от жары. Солнце стояло прямо над головой, в глазах было зелено от зноя и жажды.

Пить.

Он слегка повернул голову, стараясь отыскать свою машину, но лицо свело от боли, — по-видимому, вся кожа, не прикрытая комбинезоном и шлемом, была сожжена. Но боль можно было перенести, жажду — нет.

Стиснув зубы, он перекатился со спины на живот. Отдышался. Приподнялся, опираясь локтями в землю, — озеро было уже слева, а ручей — прямо перед ним. И за всем этим, не оставляя места ни небу, ни скалам, высился сверкающий под солнцем исполин, выточенный из полупрозрачного кварца. Он один хранил прохладу в своей пронизанной солнцем глубине, и оттуда рождалась вода, маленьким нескончаемым водопадом срывающаяся с его протянутой прямо к Сиблу руки.

Глаза заслезились от каменного блеска. Он полежал еще немного, уткнувшись в спеченную зноем землю. Надо было собраться с силами, но как это сделать, если резь в глазах все острее, мозг заплывает густым пульсирующим гулом... Еще раз потерять сознание под прямыми лучами солнца — это конец. Надо заставить свое тело двинуться вперед.

О том, чтобы подняться, не могло быть и речи. Ползти.

Он мысленно представил себе, как выносит вперед руку — вон до той трещины, дальше не надо; нога сгибается, и тело само собой перемещается вперед, пусть немного, но все-таки вперед. Ты должен с этим справиться, сказал он себе. И ты справишься, потому что так уже было однажды. Теперь, правда, и не вспомнить, в какой это было экспедиции. Давно. Ты так же полз, только вдобавок ко всему в скафандре, и кислород кончался, и нужно было тащить на себе что-то чертовски тяжелое и неудобное, и все-таки ты тогда справился. Ну, давай!

Он протянул руку и вцепился в край трещины. Теперь ногу. Ногу! Кажется, он кричал вслух. Кричал на собственное тело. Кричал, словно поднимал в атаку отряд десантников.

Тело не повиновалось.

Он все-таки заставил себя сесть — рывком; наклонился, чтобы тут же не опрокинуться навзничь. Медленно ощупал ноги — все было в порядке, даже комбинезон не порван, но он не чувствовал

прикосновения собственных пальцев. Ноги были мертвы, как протезы. Это его почему-то не испугало. Наверное, и такое было, — впрочем, чего только не было за десятки лет нескончаемых полетов! Было все что угодно, и в лежащем вне времени ворохе самых невероятных событий он уже не мог отличить, что же было с ним самим, а что — с его товарищами, потому что последнее переживалось подчас острее и болезненнее, чем собственное. Все было, и со всем удавалось справляться.

Он полз. Ноги волочились по земле, словно это был ненужный и несоразмерно тяжелый хвост; боли они не причиняли, одно неудобство. Боль была ближе, она захватила руки, шею, лицо, она раздирала кожу и вырывалась наружу бурыми брызгами мгновенно запекающейся крови. Время от времени Сибл приподымал голову и пытался определить, сколько он прополз. И каждый раз оказывалось, что остается больше половины. А сил уже не было, боль в сговоре с солнцем становилась все яростнее и нестерпимее, хотя в каждый миг Сибл был уверен, что ничего страшнее нет и быть не может. И все же каждое последующее мгновение было ужаснее предыдущего.

Он положил голову на черные, кровоточащие руки, давая себе минутную передышку. Щека его коснулась земли, и ему показалось, что боль исходит именно от этого жесткого, покрытого белым слюдяным налетом, грунта. «Ты идешь туда незваным, и чужими будут для тебя огонь и земля...» Эта чужая земля прожигала его ладони до костей, словно была полита серной кислотой. А спасение было уже близко, в каких-нибудь пятидесяти шагах, — рожденная в камне вода, золоченая тропическим солнцем, ледяная в придонной своей глубине...

Сибл сделал еще один рывок вперед. Сердце ответило бешеным толчком, швырнувшим в мозг волну перегретой черной крови. На секунду Сибл ослеп. Потом отошло. Нет, это еще не конец. Не может это быть концом. Десятки лет сверхдальних полетов, десятки новых и чаще всего — нечеловечески жутких миров, и после всего этого сдохнуть, не дотянув нескольких шагов до какой-то лужи? Ну нет!

Ноги тянут его обратно, как будто он ползет вверх по крутому склону. Он выбрасывает вперед руки, судорожно цепляясь за малейшую неровность почвы, он медленно подтягивает тело, но бесформенная масса гигантского чешуйчатого хвоста тянет его вниз, в пропасть; Сибл пытается удержаться на ее краю, но хвост перевешивает, и он все быстрее и быстрее скользит назад и вниз...

Сибл ударяется головой о землю. Вспышка зеленых искр разгоняет пелену бреда, и снова впереди только вода, подернутая маревом испарений. Только бы не сойти с ума! Только бы не сойти с ума! Еще двадцать шагов, на которые надо любой ценой сохранить разум. Лучше всего подчинить свой мозг какой-нибудь мысли, но не желанию, а тревоге. Хотя бы о безопасности. Вот так: впереди — вода. И к этому привычному ручью неведомые тебе звери бесшумно направятся на вечерний водопой. Впереди их, ведь оружия нет, оно осталось во внутренних гнездах разбитого левитра. Ты беззащитен перед зубами и когтями...

Снова рывок вперед, и снова нечеловеческая боль, и смешно бояться клыков и когтей, которые перед этой мукой кажутся детской забавой.

Впереди не больше десяти шагов. Почему так много? Ведь он ползет уже целый день! Может быть, вода отступает перед ним? Каменная рука, простертая уже почти над его головой, едва заметно поворачивается, и струя, падающая с вышины, уходит, уходит в золотое марево, она уже вообще не течет вниз, она струится по небу, и контуры ее волны очерчиваются внезапно зажигающимися звездами, а впереди — один раскаленный камень...

Если бы он мог, он закричал бы от ужаса. Но в этот миг упругая волна раскаленного воздуха ударила ему в лицо. Беззвучный шквал, остановивший дыхание. Сибл прижался к земле, чтобы его не отшвырнуло обратно. Ничего страшного. Было бы даже удивительно, если бы чудовищный взрыв не породил ответных явлений в атмосфере. Вот только глаза уже почти ничего не видят — тонкая жгучая пыль хлещет по векам и, кажется, пробивает их насквозь. Сухая кристаллическая пыль. А чего ты ждал? «Ты идешь туда незваным, и чужими будут для тебя земля и воздух...» Воздуха нет. Одна горькая, тошнотворная пыль.

Ураган прекратился так же внезапно, как и возник. Сибл чуть поднял лицо от земли — вода была уже совсем близко, в каких-нибудь пяти шагах. Только пять шагов! Но не повиновались уже и руки. Руки. Пять шагов, и он окунет их в воду, он будет переливать ее из ладони в ладонь, он плеснет ею себе в лицо, он будет фыркать и разбрызгивать ее по камням, обесцвеченным зноем...

Он уже не полз — не было силы, которая могла бы сдвинуть с места его громадное, налитое страданием тело. Он не полз, а, цепляясь обнаженным мясом ладоней за режущие края трещин, подтаскивал к себе береговую кромку; не в силах сдвинуть себя

самого, он поворачивал под собой все огромное тело планеты, с каждым усилием приближая к своим губам зеленоватое лоно ручья, выстланное невидимыми отсюда лениво шевелящимися водорослями...

Вода возникла чуть ниже его лица, у подножия низкого плоского камня. Сто самых долгих в его жизни шагов. И с этим он справился.

Он свесился с камня и зачерпнул две полные тяжелые горсти. Вероятно, солнце нагрело воду почти до кипения, потому что он ощутил ожог более страшный, чем от прикосновения разъедающей земли или раскаленной пыли. Но это была вода, какая бы то ни было — вода, вода, вода, и, цепенея при мысли, что руки, сведенные судорогой, могут разомкнуться и пролить хотя бы каплю, он одним глотком выпил все, что только смог зачерпнуть.

И в тот же миг он почувствовал, как все его внутренности выворачиваются наружу, чтобы выбросить то, к чему он так долго и мучительно стремился. И то, что никак не могло быть водой.

И беспамятство. Не спасительное. Милосердное.

Он пришел в себя, в последний раз удивляясь тому, что еще жив. Он знал, что осталось совсем немного. До сих пор перед ним была вода, а значит — непоколебимая уверенность в том, что он справится. Справится не с чем-то конкретным, а вообще.

Теперь не было ничего, только бессильное, какое-то детское недоумение, обращенное к бородатому исполину, изваянному, наверное, из гигантского кристалла каменной соли. В памяти Сибла проходили ледяные сосульчатые капилляры, принесенные разведчиком с поверхности планеты. Озерная, речная, родниковая вода — бесчисленные серебряные капли, звонко цокающие о прозрачные чашечки анализаторов. Вода дождевой чистоты. Он же видел ее, держал в руках, пил!

Он вспомнил воду морей — терпкую, с непривычной горчинкой, годную для питья только тем, кто привык к ней, породившую жизнь на этой планете в древности и питающую добрую половину органической жизни и теперь. Но здесь была не морская вода.

Он заставил себя глянуть вниз. Голое безжизненное дно, ни травинки, ни козявки. Только жуткие кровавые пятна, осевшие у подножия камня.

Он сам выбрал себе это место для посадки, сам выбрал этот водопад, ручей и озеро — единственные среди тысяч других.

Единственные — и мертвые.

«Ты идешь туда незваным, и чужими будут для тебя воздух и вода...»

Вода... Сколько воды...

Он лежал на пороге этой влаги и свежести — и мир этот был закрыт для него. Он лежал, не шевелясь и не отрываясь от бесшумно плывущей глади ручья. Если бы он мог закрыть глаза — он бы этого не сделал. Если бы он был в силах отползти от берега — он не пошевелился бы.

Все-таки это была вода. Проклятая и прекрасная — вода.

Он знал, что ее нельзя коснуться — и тянулся к ней.

Если бы губы повиновались ему — он молился бы на нее.

Если бы у него был ядерный десинтор — он бы ее уничтожил.

Но пить он уже не хотел.

Единственное, чего он мог еще желать, — это перестать видеть, чувствовать, мыслить. Но мера его страданий была безгранична, и поэтому он умирал в полном сознании.

Он ни о чем не жалел — путь, приведший его к мертвой воде, был добровольным.

Солнце стояло еще высоко, когда он умер. Неподвижен был воздух, неподвижна поверхность озера, неподвижно тело человека, распятого отвесными лучами на камне, белом от соли. Его руки тянулись к воде, его губы были обращены к воде, его незакрывшиеся глаза смотрели на воду, и когда на следующее утро Фасс все-таки разыскал его, он подумал, что Сиблу повезло и он умер, так и не дотянувшись до этой воды.

# СОНАТА УЖА

ад Щучьим озером стлался зеленый туман. С того последнего раза, когда Тарумов был здесь с белой лебедушкой Анастасией, оно обмелело до неузнаваемости, и лобастые, крытые зеленым плющом валуны, на которые так больно было натыкаться в воде, выползли теперь на берег, но в тумане не сохли — тянулись вдоль самой кромки воды цепью темно-зеленых болотных кочек.

Тарумов приподнялся, опираясь на руки, и пальцы его заскользили по длинным, словно женские волосы, нитевидным водорослям. Дотянуться до глинистой желтовато-непрозрачной воды было нетрудно, но пить не хотелось. Смешанный запах грушевой эссенции и рыбьих потрохов — надо было умудриться так потравить озеро!

Непонятно и небезынтересно.

Но главное — как он-то сам попал сюда? Ну, летел бы вертолетом, гробанулся — так помнил бы все, что предшествовало падению. И откуда летел. И кто его должен был здесь ждать. Действительно, кто? Анастасия на Ганимеде, и надолго...

Нет, ничего не припоминалось. Сергей задумчиво наклонил голову, и только тут взгляд его остановился на собственных руках. Даже нет, не руках — рукавах.

Как и следовало ожидать, на нем был летный комбинезон.

Но обшлага разорваны, на запястьях ни часов, ни биодатчиков. Он машинально потянулся к поясу — инструкции он чтил и в полете никогда не расставался с легким брезентовым ремнем, на который крепились портативный многощупальцевый манипу-

лятор с одной стороны, а с другой — мелкокалиберный десинтор, достаточно мощный, впрочем, для того, чтобы при надобности вырезать заклинившийся титанировый люк.

Пояса тоже не было.

Он плохо помнил, что именно должно было лежать в его карманах, но и оттуда исчезло все, кроме двух-трех бумажек. Даже нагрудный знак почтальон-инспектора сверхдальних секторов и тот был выдран с мясом. Нетерпимый к любому беспорядку в одежде, Тарумов брезгливо оглядывал себя: да, кто-то потрудился над ним на славу. Пластмассовые застежки-«молнии» не привлекли внимания грабителя, но запонки, металлический колпачок фломастера и даже пистоны на ботинках — все исчезло.

Это не то чтобы удивляло — это ошеломляло.

Между тем туман пришел в движение. Он не клубился, не таял, как это бывает при слабом ветре — он медленно отодвигался единой массой. Тогда обнаружилось, что левая кромка озера изгибалась, образуя стоячую гнилую бухточку, и на том ее берегу круто вздымалась не то насыпь, не то стена, покрытая, как и берег, сплошным ворсом влажных водорослей.

Туман отступал все дальше, являя взору замшелые замковые ворота, легко вскинувшийся виадук на почти невесомых опорах, приземистую башню, напоминающую не то старинное сооружение для силосования кормов, не то огромную шахматную туру...

И на всем — приметы многовековой заброшенности.

Ну, теперь ясно. Не Щучье это. И вообще — не земное озеро. Брякнулся на какой-то шарик, даже не означенный в космических регистрах. Автоматы посадили, а выбрался он почти в бессознательном состоянии, теперь он начинал припоминать. Прежде чем окончательно прийти в себя на этом берегу, побывал в чьих-то руках. Кажется, так...

Стена тумана стремительно откатывалась все дальше и дальше, обнажая поверхность озера и безлюдные берега, и Сергей уже раздумывал, в какую сторону ему податься на розыски своего корабля — ведь должен же, черт побери, быть где-то поблизости его «почтовый экспресс»!

И тут из тумана поднялось нечто, озадачившее даже его, повидавшего не одно чудо на тех пяти или шести десятках планет, куда заносила его беспокойная должность космического почтаря.

Прямо из воды вздымалась гладкая зелено-клетчатая колонна, напоминавшая одновременно минарет затопленного храма и шею доисторического диплодока, тщетно пытающегося дотянуться

своей непропорционально маленькой головкой до невидимого солнца. Колонна действительно венчалась странным сооружением, которое с большой натяжкой можно было бы назвать головой и даже разглядеть на ней глаза, следившие за человеком в рваном комбинезоне с бесстрастным и неусыпным вниманием.

И с того мига, как Тарумов поймал этот взгляд, зоркие мертвые глаза не упускали его больше ни на час, ни на мгновение.

Кажется, на этом унылом берегу царил вечнозеленый день. Мутноватое небо, изжелта-зеленое, не меняло своего оттенка, хотя с того момента, когда он пришел в себя, минуло часов шестнадцать. Чувство времени у Тарумова было развито очень остро, но если так будет продолжаться, то он потеряет счет дням. С расстоянием тоже обстояло неважно — он шел и шел, с трудом вытягивая ноги из влажных длинноворсных водорослей, и старался обмануть себя, не оглядываясь по получасу, но когда он все-таки оборачивался, то оказывалось, что он продвинулся едва-едва на сто метров. Сейчас насыпь и башня-тура уже сливались с холмистым берегом, но «зрячий минарет» отчетливо проступал над гладью озера.

Хуже всего при ходьбе приходилось шнуркам — они рвались уже десяток раз. Тогда приходилось ложиться на живот и, разгребая эту, с позволения сказать, траву, выискивать где-то в глубине ботинок. Когда этот периодически повторяющийся процесс осточертел Тарумову до предела, он выбросил шнурки и, надрав изумрудных «волос» (порвать их посередине было практически невозможно — резали руку; но поодиночке они легко выдирались с корнем, как конский волос), сплел себе новые шнурки.

Устал он смертельно. Темные холмы с геометрически правильными дугами не то песчаных обрывов, не то арочных входов в какие-то светящиеся пещеры, до которых он стремился добраться, были все еще на доброй половине пути от озера. Без отдыха он не дойдет. Надо ткнуться носом в первую же кочку посуше и часок-другой подремать. Кто знает — может быть, после сна в голове что-нибудь и прояснится и он припомнит хотя бы зону Пространства, где с ним это приключилось.

Он устроился поудобнее между кочками, зажмурился — уж очень мешал немигающий взор далекого стража — и мгновенно заснул, как мог заснуть только космолетчик, побывавший за свою долгую жизнь не в одной передряге.

Проснулся он от того, что в бок его толкали — легонько, словно огромный страусиный птенец неуклюже пристраивался к нему под крылышко. Еще не до конца сознавая, где он и что с ним, Сергей инстинктивно отодвинулся, но с другой стороны к нему прижимался еще кто-то — теплый, подрагивающий. Тарумов резко приподнялся и сел, подтянув колени к подбородку, — два черных свернувшихся клубка лениво зашевелились и, не развернувшись, подкатились к нему и снова пристроились слева и справа.

Пинфины? Откуда?

Планета, на которой они сейчас находились, даже отдаленно не напоминала краснотравные саванны обиталища пинфинов — Земли Ван-Джуды. Это он сообразил даже спросонок. Значит, пинфины здесь тоже не по доброй воле.

Или не значит?..

Пинфины, насколько помнил Сергей по двум пребываниям на Земле Ван-Джуды, были отчаянными сонями, и ждать их пробуждения было бы бессовестной тратой времени. К тому же звуковая речь этих маленьких гуманоидов, добродушных, как дельфины, и неповоротливо-куцеруких, так что издали они казались пингвинами-аделями, лежала в области ультразвука, и еще неизвестно, умела ли эта пара пользоваться той примитивной азбукой жестов, которая самопроизвольно возникла в процессе их общения с землянами (возникла гораздо раньше, чем лингвисты Земли удосужились смоделировать научно обоснованный вариант языка-посредника, доступного обеим цивилизациям).

Так что в целях экономии времени разумнее всего было бы взять этих сонь на руки и продолжать свое восхождение к светоносным пещерам. Да, но ведь есть еще и кто-то четвертый...

Четвертый?

Тарумов невольно поискал глазами среди волнистых зеленых сугробов, но ничего не обнаружил. Тем не менее присутствие этого постороннего он чувствовал как бы всей своей кожей.

Он оттолкнулся от пружинящих кочек и поднялся. Острая резь в затекших ногах — этого еще не хватало! Неужели поранился? Сергей с тревогой осмотрел ноги — да нет, ерунда. Травяные шнурки, сплетенные перед сном... Высохли, укоротились и стиснули ноги.

Тарумов ослабил шнурки и выпрямился. Далеко позади тускло посвечивало озеро, из которого торчала не то непомерно вымахавшая камышина, не то вышка для прыжков в воду. Было в этой каланче что-то напряженное, полуживое, полуокостеневшее. Вот он, чужак. Ну-ну, гляди. За погляд денег не берут, как

говаривали в те времена, когда на Земле водились деньги. Он нагнулся и бережно поднял два пушистых теплых шара. Пинфины не шелохнулись — не то действительно спали, не то притворялись.

Он шагал еще медленнее, чем до отдыха, оберегая своих непрошеных пассажиров и стараясь не потерять равновесия. Со стороны, вероятно, он был похож на журавля. Местность слегка подымалась, светлые пещеры располагались на склоне, уходящем в неистребимый зеленоватый туман. Справа этот склон образовывал гигантские уступы, правильная кубическая форма которых не оставляла сомнений в их рукотворном происхождении. Дышать стало чуть труднее, хотя по отношению к уровню озера он поднялся едва ли на пятьдесят метров. И еще хотелось есть.

Когда он подобрался наконец к первой пещере, руки его совершенно онемели. Так нельзя. Должен был бы подумать о том, что в пещере может оказаться какая-нибудь невидаль. А он, между прочим, безоружен. И пинфины ведут себя как-то странно — летаргия у них, что ли?

Но пинфины вели себя как нельзя более естественно, он просто забыл об их привычках. Когда он вплотную подошел к широкой арке, из-под которой струилось ровное золотистое свечение, пассажир, оседлавший его правую руку, мягко развернулся и требовательно ткнул крошечным пальчиком по направлению к той пещере, которая виднелась метрах в ста справа. А затем смуглая ручка и блестящие лемурьи глаза снова исчезли внутри черного клубка.

— Что, еще и туда? — возмутился Тарумов, спуская пассажиров на травку. — Бог подаст, как говорили у нас в те времена, когда на Земле еще водились боги. Пошли, пошли ножками!

Пинфины подняли на него темные печальные личики, и Тарумову невольно припомнилось, что кто-то образно назвал эти существа «обиженными детьми Вселенной». Ваш-Джуда и вообще-то была дрянной планетой, а для таких крох она и вовсе не годилась. Земляне, едва установив с аборигенами контакт, тут же предложили пинфинам перебраться на соседнюю планету, гораздо более уютную и плодоносную. В распоряжение «обиженных детей» было предоставлено несколько разведочных планетолетов, но природный консерватизм не позволял пинфинам сдвинуться с насиженного места. Несколько совместных экспедиций с землянами они предприняли, но все дальнейшие шаги сводились к многолетней всепланетной говорильне — перебираться или не перебираться?

До чего они договорились, Тарумов не знал, но вот то, что пара пинфинов очутилась здесь, ему очень и очень не понравилось.

Из этого состояния крайней неудовлетворенности его вывел высокий пинфин — даже можно было бы сказать «пинфин-великан», потому что он доставал Сергею до бедра. «Ты всегда носил нас, когда мы были голодны,— показал он на своих почти черных человеческих пальчиках.— А пещера с едой вон там!»

Малыш знал язык жестов, это прекрасно, но откуда эта иллюзия давнего знакомства?

— Я здорово устал, ребятки,— проговорил Сергей и тут же, спохватившись, перевел это простейшими средствами пантомимы — и как это ему повезло, что он дважды побывал на Ван-Джуде!

«Хорошо, хорошо!» — дружно согласились пинфины и резво покатились вперед — как успел заметить Тарумов, они сжимали ступню в комок и на этих пушистых подушечках, совершенно не путаясь во мху, передвигались несравненно легче, чем тяжеловесный землянин.

Тарумов изо всех сил старался не отставать. Кстати, кое-что следовало бы узнать еще до того, как они сунутся в пещеру.

«Кто еще живет в этой пещере?» — старательно объяснился он жестами, больше всего боясь быть неверно понятым. Но пинфины разом остановились и захлопали глазами, выражая крайнее недоумение. Надо сказать, что делали они это с той степенью выразительности, на какую было неспособно ни одно другое существо во Вселенной. Дело в том, что эти малыши от природы были чрезвычайно дальнозорки, и эволюция наградила их, кроме непрозрачных кожистых век, еще и тремя роговыми прозрачными подвеками, которые в силу надобности опускались на глаза и служили естественными очками. Так что когда пинфины начинали «хлопать глазами», зрелище было впечатляющим — особенно для новичка. Но Тарумов новичком не был. «Кто там живет?» — повторил он вопрос.

«Ты сам запретил всем нам жить в пещере с едой!» Гм, а он, оказывается, пользовался тут правом вето.

«Где же живут тогда все?» — машинально задал он вопрос, не отдавая себе отчета в том, что он вкладывал в понятие «все».

«Пинфины живут правее, а выше живут...» — жест означал нечто волнообразное; последнее сообщение рождало надежду на то, что эти синусоидальны и могут наконец оказаться аборигенами, с которыми он рвался встретиться.

Но это было не все. «Под кубической скалой живут... (ручки обрисовали несколько пухлых окружностей), а в травяных шалашах возле сумеречного пика обитают невидящие».

Много... Слишком много для аборигенов. Хотя почему же? А если все это — здешний животный мир — ужи, кроты...

Нет. Пинфины не поставили бы их в один ряд с собой. Для этого они слишком рассудительны. Те, что живут в светящихся пещерах, — не коренные жители этой планеты-зеленушки. Это самоочевидно. Тогда кто они? Разумные существа, спасенные во время катастроф, приключившихся с их кораблями?

Или попросту пленники?

«Как вы попали сюда?»

Маленький пинфин, не принимавший участия в разговоре, но все время застенчиво поглядывавший на Сергея снизу вверх, испуганно шарахнулся в сторону и спрятался за своего товарища.

«Мы полетели... большой корабль. Очень большой. Ваш самый большой корабль. Вы научили. Вы послали — попробовать... чужой мир. Пролетели половину. Дальше — темно...»

Пинфин в отчаянье замахал смуглыми пальчиками, исчерпав все известные ему жесты. Но Тарумов уже все понял. Им трудно было решиться на такое путешествие, и в то время, когда он гостил на Ван-Джуде, еще было неясно, поднимутся ли они хотя бы на исследовательскую экспедицию. Им для этого хватало всего — и уровня культуры, и знаний, и умственного развития среднего пинфина — не говоря уже о таких индивидуумах, как этот... горе-путешественник. Недоставало им одного — жадного, инстинктивного стремления к еще не открытому, непознанному, что всегда отличало людей и поэтому самим людям казалось неотъемлемой чертой всех высших разумных существ Вселенной.

Пинфины были робки. Но, как видно, не все — эти вот полетели...

«Сколько же вас было?» — «Семеро. Но двое уже... исчезли».

Исчезли? Удрали? Погибли? Схематический язык жестов, которым оба владели далеко не в совершенстве, делал эти понятия неразличимыми. А ведь от выяснения этих тонкостей могло зависеть многое... если не все. Ладно. Тонкости — на завтра.

«А где жил... живу я?»

Это ему показали.

Маленькая, идеально правильная полусфера. Такое не могли сделать лапы — только руки. Порода осадочная, тонко-зернистая, люминесцирующая. Впрочем, люминесценция может быть и наведенной. Не это главное. Главное — охапка сухого мха, по-види-

мому служившая постелью, невероятной плотности циновка (ах да — здешняя трава, высыхая, сжимается вдвое), и под этим импровизированным одеялом — перчатки.

Обыкновенные синтериклоновые перчатки для механических работ, какими Тарумов страсть как не любил пользоваться. Только вот металлические кнопки на крагах выдраны с мясом. Это из синтериклона-то! Но в остальном — заношенные старые перчатки, с некрупной, но широкой руки. В них много работали. Здесь? И здесь тоже — рвали длинноволосый мох-траву. Это видно невооруженным глазом. Тарумов обернулся к своим спутникам, присевшим на пороге, и у него невольно вырвалось:

— А где же... он?

Недоуменное мельканье прозрачных и непрозрачных век. Он спросил вслух — надо было перевести. Надо было показать на пальцах — где, мол, тот, что жил здесь до меня и которого вы из-за своей наивности, а может быть, и просто невероятной дальнозоркости отождествляете со мной? Что с ним? Погиб? Исчез? Сбежал?

Нет. Он был человеком, а значит, не мог сбежать, оставив их одних. Если был человеком — не мог.

Тарумов не стал переводить свой вопрос.

Два бугорчатых «грейпфрута» — один выдолбленный, с водой, а другой спелый, с сытной мякотью, болтались у него за пазухой и отчаянно мешали. Он карабкался по зеленому склону, который становился все круче и круче, и все мысли его были заняты только тем, как экономнее и рациональнее выполнять каждое движение. От малейшего толчка в голове возникали снопы обжигающих искр. Воздуха! Почему так не хватает воздуха?

Он поднялся еще на какие-нибудь двести метров — и желтое озеро уже мертво поблескивает внизу! Каланча выросла еще больше, но все равно отсюда она кажется тоненькой тростинкой, которую совсем нетрудно переломить. Но вот ощущение пристального взгляда нисколько не ослабевает. Или это самовнушение? Не думать об этой странной каланче. Не думать и больше не оборачиваться — на то, чтобы повернуть голову, уходит недопустимо много сил. А они — последние. Если он потеряет сознание прежде, чем доберется до перевала, он повторит судьбу своего предшественника, исчезнувшего где-то в этих замшелых уступах, за которыми кроется нечто зловещее.

Надо сделать последнюю остановку. Еще метров пятнадцать до маленькой седловины между двумя вершинами, которые снизу, от озера, казались головами уснувших великанов. А может, и

не пятнадцать — здесь он постоянно ошибался в расстояниях. Да и туман сгущается с каждым пройденным метром, он уже стал почти осязаемым. Атмосферный планктон? Сергей вжался в травяную массу, заполнявшую щель между двумя камнями, нашарил за пазухой булькающий «грейпфрут». Достал фломастер и точным ударом пробил дырочку в твердой огненно-красной корке.

Вода, которая скапливалась в середине еще неспелого плода, поражала своей росной чистотой и тем не менее оказывала сильнейшее тонизирующее воздействие. Спелые плоды воды уже не содержали — их заполняла белковая сердцевина, кроющаяся под невзрачной грязно-лиловой шкуркой. Она могла бы украсить стол античных привередливых богов. Но это — на обратный путь. Вообще-то, «грейпфрутов» в низине масса, их раскапывают в траве полюгалы — сомнительно разумные пресмыкающиеся с Земли Кирилла Полюгаева. Сергей раньше не встречался с ними и, естественно, языка их не знал, да и теперь детальное знакомство со всеми обитателями этой замшелой долины он отложил до конца своей разведки. Сейчас важнее выяснить, где они и на каком положении.

Он выпустил из рук опустевшую кожуру, и она бесшумно покатилась вниз, почти не приминая длинноволосой, никогда не шевелящейся под ветром растительности, которую Сергей так и не решил, как называть — то ли травой, то ли мхом, то ли водорослями. Она покрывала в этой долине абсолютно все, кроме сухой, светозарной поверхности пещер; сейчас, карабкаясь по склону, который все круче и круче забирал вверх, Тарумов вдруг понял, что поверхность камня под этой зеленью почти повсеместно носит следы прикосновения чьих-то рук: под травяным покровом угадывались то пологие ступени, то идеально обработанная параболическая вогнутость, а то и сидящие рядком, словно древние исполины Абу-Симбела, надменно выпрямленные фигуры, которые он из осторожности определял как условно человеческие.

Но и это на потом, а сейчас главное — добраться до края этой каменной чаши, на дне которой — озерко с мертвоглазым стражем. Добраться и заглянуть за этот край.

Сергей давно уже не карабкался, а полз, ужом извиваясь в нагромождении тупых глыб. Седловина была в двух шагах, а за ней — неминуемый спуск, и там либо совершенно незнакомый мир, либо такая же колония пленников со всех уголков Вселенной. Доползти. Заглянуть. Черт побери, зачем он выбросил пустую кожуру — надо было написать записку пинфинам, которые

поджидают его внизу, боязливо поджав человеческие ручки. Но возможность упущена. И потом, знают ли они земной алфавит?

Надо доползти, и надо вернуться.

Эти два последних метра он полз уже с закрытыми глазами. Пальцы нащупали впереди изломанную кромку, едва прикрытую мхом — тонкую, не толще черепицы. Он вцепился в нее, попытался шатнуть — нет, прочно.

Подтянулся.

Перевел дыхание и только тогда позволил себе наконец открыть глаза.

Сначала он ничего не увидел — сгустившийся туман приобрел размеры чаинок, которые мельтешили, толклись в воздухе, странным образом не задевая лица. Он помахал перед собою рукой — словно разгонял комаров. Получилось это почти бессознательно. Но «чаинки» разлетелись, и на какой-то миг перед ним открылся сказочный весенний мир, на который он смотрел с высоты птичьего полета.

Этот миг был так краток, что он успел воспринять только свежее многоцветье не то огней, не то просто ярких и нежных красок, разбросанных по солнечной юной зелени, которая не имела ничего общего с угрюмым подколодным мхом, устилавшим долину.

Еще его поразило изящество почти невесомых арок и змеящихся виадуков, из-под которых проглядывало прозрачное небо, и нависшие над этими небесными островками легчайшие каменные стены — причудливая паутина рукотворности, наброшенная на этот живой мир ненавязчиво и органично. И как бы в подтверждение этому возникшему ощущению жизни там, в дымчато-небесной глубине, он уловил вдруг стремительное движение, и ему показалось, что вдоль поверхности виадука легко и непринужденно, как только может это сделать властелин этого мира, скользит гибкое и прекрасное змееподобное существо...

Но в следующую секунду плотная роящаяся завеса снова сомкнулась перед Сергеем, и теперь он чувствовал, как она отталкивает его от края каменной чаши, а затылок уже невыносимо жгло, словно тот взгляд с верхушки озерной каланчи приобрел убойную силу смертоносного теплового луча... Захлебываясь щекочущим жаром, Сергей в последний момент почувствовал, как тугой ком сконцентрировавшегося тумана толкает его вниз, словно кулак в боксерской перчатке, гонит по склону, подбрасывая на уступах, уводя от расщелин...

...Пучок влажной травы осторожно касался его лица, и сразу становилось легче, словно с кожи смывали налипшую тину.

Сергей приоткрыл один глаз — так и есть, над ним хлопотал давешний пинфин. Выпуклые прозрачные веки, опущенные на глаза, как легкодымчатые очки, придавали ему профессорский вид.

— Привет пинфинским мудрецам, — сказал Тарумов, подставляя рот под тонкую струйку воды, которую пинфин выжимал из краснокожего «грейпфрута». — Ты и не представляешь себе, как я рад, что я живой...

Малыш захлопал веками, и пришлось перевести. В общих чертах.

Справа и слева что-то зашелестело, заскользило в траве. Тарумов вздрогнул, припоминая сказочное видение, открывшееся ему с высоты каменного балкона. Но это были всего лишь полюгалы, спешившие к озеру на водопой. А может, купаться.

Тарумов с сомнением оглядел себя с ног до головы — весь комбинезон был покрыт тошнотворной зеленоватой ряской, словно Сергей побывал в стоячей лесной канаве.

«Не окунуться ли и нам?» — предложил он.

Пинфин радостно закивал и замахал ручками, вызывая из пещеры свою подругу. До озера, хоть дорога и шла книзу, добирались долго — Сергей пока еще не научился беспрепятственно двигаться в этой сухопутной тине, да и последствия путешествия сказывались — если бы не тонизирующая роса из неспелых плодов, у него не было бы сил и пошевельнуться. Он шел и раздумывал, стоит ли говорить пинфинам о результатах своей разведки.

Подумав, решил: стоит. Тот, предшественник, ничего не сказал. Может, он никуда и не успел добраться, но если бы успел и передал кому-нибудь, сейчас Тарумову было бы много легче.

Все еще раздумывая, Сергей разделся до трусов, отполоскал с тепловатой воде комбинезон, поплавал, если это можно так назвать — десять саженок туда, десять обратно. Дальше забираться он не рискнул — еще опять шарахнут тепловым лучом, в воде не очень-то отдышишься. А пинфины, похоже, плавать и вовсе не умеют — пристроились на бережку, пинфиниха своему благоверному спинку моет — набирает воды в горсточку и трет черную кротовую шкурку между лопаток.

«Вот что, друзья мои, — он присел перед ними на плоский камень, скрестив ноги по-турецки. — Я поднялся на самую высокую гору. Я посмотрел дальше, с горы. Так вот, дальше — обрыв,

дороги нет. Отвесный обрыв, примерно... — он посмотрел на неподвижную узорчатую каланчу, возле которой беззаботно плескались полюгалы. — Примерно десять вот таких столбов. А может, и больше. Это вы должны запомнить, если со мной что-нибудь случится. — Пинфины протестующе замахали ручками, зашевелили губами — говорили между собой, а может, и Сергею, от волненья совершенно забыв, что он не может их слышать. — Без паники, друзья, без паники. Со мной уже... случалось. Поэтому запомните: наверх, через зеленые горы над пещерами, дороги нет. Бежать надо каким-то другим путем».

Они недоуменно уставились на него — бежать?

«Да, другим. Вы-то еще туда поднялись бы, но вот эти, которые дышат всем телом, словно мыльные пузыри переменного объема...»

Но пинфинов занимало совсем другое: бежать? зачем? Они трясли ручками — каждым пальчиком в отдельности, и Сергею совсем не к месту подумалось, что с такими гибкими и чуткими пальцами из них вышли бы непревзойденные музыканты...

А пинфины не смели, не хотели, не желали даже думать о бегстве. Здесь ведь они сыты, здоровы...

Тарумов махнул рукой.

«Постерегите вещички, — показал он им, — а я прогуляюсь в сторону этой насыпи. — Он глянул на верхушку пестроклеточного минарета, добавляя про себя: если мне это позволят. — Кстати, из вас никто не боится вот этой штуки?»

«Нет. Она же неживая!»

Ах, как же вы наивны, братцы вы мои плюшевые. Неживая! И я туда же — чего я там боялся, когда обнаружил, что меня обокрали и ободрали? Лап?

Не того боялся. Самое страшное — не руки, не лапы.

Манипуляторы.

Кромкой воды он подошел к насыпи. Крутенько, метров пятьшесть, поверхность под вездесущей тиной явно щербатая, с выемками, значит — можно забраться. Но — отложим.

Решетка ворот была покрыта коротеньким буроватым мхом, осыпавшимся под пальцами. Не зелень — забавно, первое исключение. А что там сзади просматривается?

Да то же самое, только... Далеко, не разглядеть. Изумрудно-щавелевая взвесь скрывает очертания, и все-таки там, в глубине долины, строения весьма причудливых очертаний. Даже можно сказать — настораживающих. Они сливаются в один массив, но это явно отдельные башни, напоминающие...

Нет, показалось. И проклятый туман сгустился, проступают лишь неясные контуры, пирамида или целый храмовый комплекс. А может, все-таки...

Он простоял еще минут пятнадцать, всматриваясь в уплотняющийся на глазах занавес. Нет, надо вернуться к озеру и дождаться прояснения погоды. Похоже, этот флер опускают перед ним каждый раз, когда он начинает проявлять слишком пристальное внимание к тому, что лежит за пределами отведенной им лужи с прилегающими угодьями. Но башню-то он осмотрит.

Тяжелая дверь — не то камень, не то строительный пластик — подалась на удивление легко. Тарумов боком проскользнул внутрь башни-туры и ошеломленно замер на мгновенье.

Машинный зал. Вернее — распределительный. Трубопроводы, баранки штурвалов, глазастые выпуклые индикаторы, у которых по окружностям бегают разноцветные жучки. Поверхность стен разделена на несколько секторов, каждый окрашен в свой цвет. Все напоминает дешевую бутафорию. Нет, не так просто. Какой-то неуловимый психологический оттенок... А, вот что: это сделано по вкусу людей — но не человеческими руками. Тарумов глядел на всю эту квазиземную технику, как смотрела бы ласточка на гнездо, сплетенное пальцами людей. Заботливыми, чуткими, но такими неумелыми по сравнению с легким птичьим клювом...

А что касается бутафории, то это нетрудно проверить. Какой цвет воспринимается как самый безопасный? Этот, серовато-лиловый. В этом секторе два рубильника, два штурвала, пять индикаторных плафонов, но светятся только четыре. И что-то вроде реостата. Ну, была не была...

Он повернул правый штурвал градусов на пятнадцать. Пошло легко, и тотчас же мигание световых блошек на верхнем плафоне замедлилось. Так, а теперь выйти вон (если выпустят) и поглядеть, не приключилось ли чего...

Он вышел беспрепятственно, и тут же до него донеслись пронзительные, панические визги — ну так и есть, это полюгалы, которые отменнейшим стилем «дельфин» мчались к берегу и выбрасывались на замшелые валуны.

Сергей подошел к прибрежным камням, осторожно потрогал босой ногой воду — ну, конечно, похолодала градусов на десять. Бедные крокодильчики, не схватили бы пневмонию. Он вернулся и поставил штурвал в прежнее положение. Огоньки забегали проворнее.

До чего же все примитивно! Любое мало-мальски разумное существо может регулировать параметры внешней среды. Хотя,

может быть, остальные сектора предназначены для чего-то другого. Но раз сюда впускают и отсюда выпускают, то разберемся в этом в следующий раз. Сейчас — общая разведка. И главное: установить границы запретной зоны.

Он подумал и невольно рассмеялся. Нет, не запретной — дозволенной. Запретной-то как раз будет все остальное.

Он медленно прошел мимо бурой решетки, глянул сквозь переплетение толстенных брусьев. Смутная громада неведомого сооружения едва угадывалась в тумане. Если бы ему не посчастливилось заметить ее полчаса назад, сейчас он вряд ли обратил бы внимание на темное расплывчатое пятно.

Двинуться туда, за насыпь? Так ведь решетку не раскачаешь. Таран? Камень на берегу подобрать можно, но этот процесс слишком шумен — привлечет внимание. Подкоп? Под самой решеткой явная каменная кладка, но если расчистить тину... Так... А теперь обратным концом фломастера (поистине незаменимая мелочь, ставшая единственным орудием производства!) выскрести землю, набившуюся между камнями... Прекрасно. Это просто прекрасно, что они не сцементированы. Вероятно, и стены «туры» сложены так же. Похоже, что каменные — или камнеподобные? — блоки подгонялись друг к другу с точностью до миллиметра, как постройки земного мегалитического ареала. Да, но вот тут, под воротами, почва осела, и расстояние между камнями увеличилось. Ага, зашатался. При желании теперь его можно вынуть. А соседний — и того проще. Блистательно! Прикроем теперь травушкой-муравушкой и оставим до лучших времен.

Спрашивается только, почему все эти, с позволения сказать, гуманоиды до сих пор сидели тут, сложа свои интеллигентские ручки, и не занимались ничем подобным?

Он старательно скрыл следы своей деятельности и пошел обратно, к безропотно дожидавшимся его пинфинам.

— Помылись? — он не мог отказать себе в удовольствии иногда сказать что-нибудь вслух.— С легким паром, как говаривали у нас на Земле, пока в моду не вошли ионные распылители.

Пинфины глядели на него грустно-прегрустно и даже не мигали.

— Вы бывали там, за насыпью? — спросил он уже на понятном им условном языке.

«Нет. Страшно».

— Волков бояться — в лес не ходить, как говорили овцы... А вам не удавалось рассмотреть, что это там, в тумане, за насыпью?

«Это Корабли, на которых прилетели все живущие здесь. Там и твой корабль. И наш...»

Сердце в груди бухнуло. Корабли. Так вот почему силуэты показались Сергею знакомыми, он только не позволил себе узнать их... И громада медлительного транспортного тяжеловоза из серии, подаренной землянами «обиженному» народу Ван-Джуды, и его собственный стройный почтарь, птенец по сравнению с этим грузовиком.

А ведь на свой корабль пинфины смогут погрузить всех...

Он старательно оделся, и от влажного комбинезона озноб прошел по всему телу. Совсем не отдохнул. Поспать бы тут, на бережку... Так ведь некогда.

— Вы не очень проголодались?

Пинфины смущенно поморгали.

— Тогда подождите меня еще несколько минут!

Он долго и старательно рвал траву, жгуче сожалея о забытых в пещере перчатках. Пинфины подкатились на коротеньких своих ножках, ни слова не спрашивая, помогли. Когда набрался порядочный стожок, Тарумов подтащил его к подножию насыпи, привычно бормоча:

— Знать бы, где упасть — соломку б подстелил, как говаривали у нас на Земле, пока солома была предметом сельского ширпотреба.

Пинфины по-прежнему молчали, поглядывая на него сочувственно и боязливо.

— Ну, я пошел.

Он тщательно ощупал крутой бок насыпи, нашарил выбоинку и ободрал кругом мох. Поставил ногу, поднялся на полметра. Это ему сошло. Снова нащупал выбоинку, принялся драть скрипучую зелень. Мертвые глаза неотрывно глядели в затылок.

Он поднялся на эту насыпь, и выпрямился во весь рост, и успел прикинуть на глазок, что до смутно чернеющей громады сбившихся в кучу космических кораблей отсюда по прямой метров триста, не более, вдруг затылок резанула знакомая обжигающая боль и мягкая лапа мгновенно собравшегося в один ком исчерна-зеленого тумана швырнула его назад, на столь заботливо подстеленную им самим травку.

Пинфины отливали его долго. Сергей очнулся, полежал с полчаса, набираясь сил, чтобы хоть пошевелить руками, и без лишних слов погнал малышей обратно в пещеры — за обедом и рукавицами. В течение нескольких часов, пока они ходили туда и обратно, плел из уже нарванной травы маскировочную циновку.

Пинфины вернулись усталые, загрустив пуще прежнего — пропал один из тех, «что не видят». Тарумов не успел как следует познакомиться с этими медлительными, тяжелорукими существами, которые не оправдывали своего скоропалительно данного прозвища: они действительно не имели глаз, но зато всей поверхностью лица воспринимали инфракрасное излучение. Он чувствовал, что с этими ребятами договориться будет нетрудно, но вот времени на то, чтобы договариваться, не было.

Сергей только засопел, выслушав это известие. Наспех сжевал лиловатую мякоть, набросил на себя травяную сетку, полез. На верху насыпи героически выпрямляться больше не стал — вжался в мох, даже зажмурился.

Его сшибли точно так же — безошибочный, беззлобный удар.

Отливали, отмывали. Громадные глаза пинфинов были полны слез. Сергей стиснул зубы, объяснять было нечего — все видели сами. Как только смог двигаться, полез к решетке. На всякий случай циновочкой-то прикрылся, так и ковырялся под ней, согнувшись в три погибели, — выскребал один за другим тяжеленные камни из-под решетки, готовя лаз.

Ему не мешали.

Он углубил желоб. Обернулся к пинфинам, помахал им рукой и скользнул во влажную канавку.

Метра три-четыре он полз, не веря себе.

Не пропустили.

Шарахнули липким зеленым комом, так что тело сразу осело.

Пинфины вытащили его, похлопотали — безрезультатно. Наверное, он провалялся без сознания больше земных суток.. Очнулся, захлебываясь неуемной дрожью от холода и слабости. Переполз на циновку. Кто-то — кажется, полюгалы — тащили его вверх по склону, повизгивали.

В пещере он отоспался, потом взялся за дело: острием фломастера, а кое-где и замочком от «молнии» выцарапал на гладкой стене краткий отчет о своей разведке — на всякий случай, если уж не придется очнуться. И еще мизерная на первый взгляд проблема не давала ему покоя: а зачем в этой колонии человек? Если верить рассказам, которые передавались из уст в уста, без человека здесь ни дня не обходились. Инопланетянам люди казались на одно лицо, и в горестях вынужденного заключения они не отдавали себе отчета в том, что земляне могли сменять один другого. Исчезал, умирая, один — сюда доставляли новенького. Но — поодиночке. Пинфинов, крокодильчиков, иифраков было по нескольку особей, человек — один. Но постоянно.

Какую же роль он здесь играл — няньки? Похоже, потому что двери башни прямо-таки дразнили своей доступностью. Но если кто-то смог построить этакую махину, да еще и доставить сюда инопланетян со всех концов Вселенной — на черта ему, такому всемогущему, земной космолетчик на должность необученного гувернера? На роль вселенских переводчиков лучше всего подходят пинфины — они тут живо со всеми перезнакомились и отлично договариваются. А случись что-нибудь — эпидемия, например, и Сергей отлично понимал, что он окажется бессилен.

Так зачем он здесь — крутить колесики, делать водичку в озере то теплее, то студенее? Нелогично. Уж если они тут так настропалялись щелкать по затылку тепловым лучом, то проблема дистанционного управления у них должна быть решена.

Так зачем, зачем этим невидимым гадам человек, который к тому же будет постоянно пытаться отсюда удрать? Для чего здесь устроен этот заповедник — этот вопрос он в конце концов запретил себе решать. Даже если и не свихнешься, все равно потеряешь время даром. Нужно четко сформулировать главную проблему и долбить только ее.

Когда-то много лет тому назад, когда он получил под свое командование первый корабль, он чуть не погубил всех людей как раз потому, что заметался в определении главного, а потом еще и не мог решиться на отчаянный шаг — сесть на незнакомую планету, оккупированную лемоидами.

Позже он нашел для себя редкую должность почтальона-инспектора. Маленький кораблик, развозящий срочные грузы по дальним планетам, — занятие не хлопотное. Экспедиции снаряжались обстоятельно, и редко случалось так, что на базе забывали погрузить что-то жизненно важное. Но бывало. Тогда и отправлялся почтальон — на маленьком кораблике, в одиночку. Ему не приходилось быть вторым номером, он был единственным членом экипажа. Это и давало ему моральное право летать, потому что после того злополучного рейса он никогда не взял бы на себя ответственность за других людей.

А вот здесь он ничего на себя и не брал — получилось. Само собой легло ему на плечи. И сидят тут эти, с позволения сказать, гуманоиды сиднем, как колоды, под которые ничто не течет, а стоит заговорить о бегстве — и сразу, как страусы, головы в песок. Страшно!

Им, видите ли, страшно, а ему, уже четырежды битому, не страшно.

Окрепнув, он пошел вдоль насыпи влево, сделал еще несколько попыток перелезть через нее — результат был однозначным. Били.

Вернулся к варианту башни, перепробовал все рычаги, штурвалы и реостаты. Добился замерзания озера, разрежения воздуха чуть не вдвое, по его прихоти можно было бы учинить в долине бурю, потоп, воспроизвести форменную Сахару и даже, на худой конец, геенну огненную. Разумеется, все эти опыты он проводил с величайшей осторожностью, хорошо помня, как он однажды чуть не поморозил полюгалов.

Опыты ему сходили с рук. Но и за массивными стенами, сложенными из настоящих валунов, он чувствовал пристальный немигающий взгляд. Когда он дошел до регулятора освещенности, он попытался под покровом колодезной темноты снова проскользнуть под решеткой — нет, не дали. Только пинфинов перепугал — после они рассказывали, что с наступлением зеленых сумерек над вершинами гор, образующих их долину (Тарумов уже подумывал — а не кратер ли?), якобы зажглись три полные луны, повергшие обитателей пещер в совершенно необъяснимый ужас. Сергей понял, что и с башней он зашел в тупик — да, он мог бы перевернуть, испепелить, затопить зловонным туманом всю эту лохань — но если бы это решало задачу бегства...

Иногда ему уже казалось, что и его предшественник, вот так же, не найдя способа бежать самому и увести за собой остальных, просто не выдержал и...

Нет. Он вспоминал тонкие пальчики пинфинов, их испуганные лепельные глаза и понимал — нет. Человек не мог бросить их и уйти. Даже в небытие.

Потом он предпринял попытку обойти озеро справа и таким образом подобраться к кораблям — опять ничего не вышло. Километров через шесть берег подымался, сперва исподволь, а потом все круче и круче. Тарумов уже начал прикидывать, а пройдут ли по такому пути инфраки, как вдруг скала под ногами оборвалась отвесным срезом — дальше пути не было. Озеро неподвижно замерло где-то в глубине, и только далеко-далеко, в дымке нездешнего, легкого свежего тумана, угадывался другой берег, шумящий позабытыми здесь деревьями...

Традиция была соблюдена и на этот раз — зеленый протуберанец, выметнувшийся снизу, отшвырнул его далеко от обрыва.

Возвращаться пришлось ползком. Он скользил по шелковистой поскрипывающей пыли, и в голову так и лезло видение

сказочного гада, властно и стремительно мчащегося над каменным виадуком. Царственный уж, атавистический символ мудрости, доброты и семейного благополучия... Но как связать этот образ с насильственным заточением нескольких десятков гуманоидов здесь, в этой мрачной чаше исполинского кратера?

А может быть, виной всему непонимание? Может, их всех просто пригласили в гости, и нужно только найти общий язык с хозяевами — хотя бы в лице этого пестроклетчатого телеграфного столба, несомненно изображающего стилизованного змея? Но как обмениваются информацией обитатели здешнего мира — может быть, на гравитационных волнах? Ну а если у них в ходу гамма-кванты или нейтринные пучки? Что тогда? Гостеприимно, ничего не скажешь. От таких хозяев надо дуть без оглядки, а дружеские отношения налаживать с расстояния в два-три парсека.

Можно, конечно, предположить и совершенно фантастический, архигуманный вариант. Допустим, что все обитатели этой долины — экс-мертвецы. Космическая авария, лобовое столкновение с метеоритом при выходе из строя локаторов... И вот — чудеса инопланетной реанимации, воссоздание организма из единственной заледеневшей клетки, выуженной из межзвездного пространства... Ну, как они воссоздавали комбинезон — уже детали. Главное — сама идея всегалактической службы спасения, и тогда эта изумрудная обитель — своеобразный санаторий строгого режима, откуда не удерешь до полного восстановления сил... Но все-таки лучше, если мы будем восстанавливать свои силы где-нибудь подальше отсюда. А если версия вселенского гуманизма подтвердится — ну что же, мы сумеем поблагодарить своих спасителей. Но сейчас нужно думать совсем о другом.

Вот так, невольно залезая во всевозможные нравственные модели этого мира и постоянно гоня от себя эти мысли (все мысли, кроме одной: о способе бегства), Сергей дотащился до пещер.

Возвращение его было ужасным. Обезумевший от горя пинфин встретил его на пороге: пропала его подруга.

Пропала так, как и раньше пропадали здешние обитатели: была где-то рядом, за спиной, он через некоторое время обернулся — никого нет. И ни всплеска, ни шороха.

«Может, ушла вниз, к озеру? Уснула по дороге? Небольшое черное тельце, свернувшееся в плюшевый клубок, легко затеряется на холмистом склоне...» — «Нет. Вся небольшая колония пинфинов, полюгалы и рыбьи пузыри (а это еще кто?) спусти-

лись до самого озера, но ее нет ни на кубических уступах, ни в башне, ни за насыпью, ни в воде — полюгалы ныряли...»

Тарумов вылил залпом три полных «грейпфрута» — живая вода сработала, словно он выпил старого доброго коньяка. Ощутив прилив бодрости, он встряхнулся и бросился обшаривать окрестности пещер. Не может быть, чтобы никакого следа. Не может быть. Но ведь было уже. И сколько раз. Значит — может. Значит, они все-таки во власти холоднокровных выползней, к которым гуманоидная логика неприменима. Он искал, но знал уже, что это бессмысленно, потому что маленького кроткого существа с печальными пепельными глазами нет ни на склоне, ни в озере, ни за насыпью...

*ЗА НАСЫПЬЮ?!*

Он скатился вниз, к пещере, не веря своим ушам, не веря своей памяти.

«Ты был за насыпью?» — «Да, но там ничего нет. Там нет пещер. Там нет камней. Искать негде. Там нет даже плодов в траве, и полюгалы туда больше не заглядывают». — «Значит, и они там были?» — «Когда-то... да». — «Жди меня!»

Он мчался вниз по склону, как не бегал здесь еще ни разу. Травяные кочки упруго отталкивали его, словно легкие подкидные доски. Проверить, проверить немедленно — неужели запретный барьер снят? Неужели дорога к кораблям открыта?

Еще на бегу высмотрел луночки, расчищенные им в прошлый раз на мохнатом боку насыпи, с разбегу взлетел наверх...

Как бы не так. Липкий зеленый кулак деловито сшиб его прямо в пожелтелый стожок, припасенный давно и так кстати...

Когда он пришел в себя, не хотелось ни отмываться, ни шевелиться вообще. Кажется, эти земноводные добились своего — выколотили из него всю волю, всю способность к сопротивлению. У него не было к ним предвзятой атавистической неприязни — отголоска тех незапамятных времен, когда босоногий человек на лесной тропе бессознательно шарахался от ядовитой твари. В детстве он даже любил возиться с лягушатами, жабами и особенно ужами, и они нагуливали себе подкожный жирок на дармовых кормах в его великолепном самодельном террариуме. А однажды отец даже взял его (потихоньку от мамы, разумеется) в настоящий серпентарий. В загон их, естественно, не пустили, но через толстые стекла, вмазанные в кладку стен, он досыта нагляделся на медлительных и с виду таких же ручных, как и его ужи, щитомордников и гюрз. А потом ему дали погладить великолепного золотоглазого полоза — беспокойное создание,

постоянно мятущееся по загону в поисках лазейки. Уникальное свободолюбие этого существа стало для него роковым: он попал в неволю именно благодаря ему и обречен был служить своеобразным индикатором целостности и непроницаемости вольера. Как только эта огромная, почти трехметровая черная змея исчезла из поля зрения серпентологов — значит, надо было немедленно искать и заделывать лазейку. При любой, самой минимальной возможности бежать этот субъект удирал первым.

И попадался — следили практически за ним одним, бедолагой...

За ним одним.

За ним.

Створки детских воспоминаний медленно закрылись, чтобы дать место горестному осознанию настоящего. Мир мудрых, прекрасных ужей... Он исчезал, осыпался вместе с шелухой внешних, поверхностных ассоциаций.

Ведь это он, и только он, был ужом, золотоглазым змеем-полозом, бессильно бьющимся головой о стены этого гигантского террариума. Это за ним неусыпно следило мертвое око озерного стража — за ним, человеком, самым свободолюбивым существом Вселенной, за уникальным индикатором возможности побега...

И тогда одновременно с сознанием собственной роли в этом мире перед Тарумовым естественно возник единственный выход.

«...а старт будет тяжелым, уходить надо будет на пределе, — он не хотел их пугать и скорее занижал реальную опасность, а старт должен был быть чудовищным, неизвестно еще, все ли выдержат. — Нужно только оторваться от поверхности, а там каких-нибудь сорок тысяч метров — и в подпространство, вам ведь не требуется точного выхода из него. Где ни вынырнете — все равно ваш сигнал бедствия экстренно ретранслируют на Землю. Висите себе между звезд, отдыхайте, помощь сама вас найдет...»

«Нет», — сказали пинфины.

«Нет», — повторили за ними и полюгалы, и «рыбьи пузыри», дышавшие всем телом, и инфраки с неподвижно-напряженными зрячими лицами, и зеркальные сосредоточенные близнецы, о самоуглубленном существовании которых Сергей до сих пор и не подозревал.

Он кричал на них, он издевался над ними, он готов был побить их, связать травяными веревками и таким вот безвольным, тупым косяком гнать их до самого звездолета... Он-то на все был готов, одна беда — дойти до корабля они должны были без него.

Он продолжал убеждать, он рисовал им на стенах пещеры сказочные картины Земли — горы, облака... Теперь он уже не старался убедить их — он просто ждал.

И вот он услышал, даже нет — почувствовал, как снизу, из лабиринта тинных холмов, появился его пинфин.

«Ты дошел?» — «Да». — «И вошел внутрь?» — «Да». — «Ее нет и там?» — «Нет». Об этом не нужно было уже спрашивать.

«Ты пробовал запустить двигатели?» — «Да. Но это никому не нужно». — «Это нужно тебе, потому что у тебя единственный шанс — привести помощь с Земли!» — «Бесполезно...»

Бесполезно!

Как он сейчас ненавидел их — беззащитных, кротких, слабых...

Бесполезно!

Ну нет, это вам так не сойдет, я научу вас свободу любить, младшие мои братья по разуму, так вас и так...

«Переводи. Переводи им всем, и поточнее: огонь спустится с гор, и смрад затопит долину. Спасение — там, за насыпью. Перевел? Все поняли? А теперь пошли вниз, к озеру. До ворот по одному, а дальше к кораблям поведешь всех ты. Дорогу знаешь».

Он двинулся вниз, привычно задирая ноги по-журавлиному, чтобы не путаться в осточертевшей тине. Оглянулся — никто так и не пошел за ним. Сергей недобро усмехнулся, вытащил из-за пояса перчатки и принялся на ходу драть длинные влажные пучки.

Он шел медленно, медленнее обычного — плел что-то вроде каната. Пока добрел до башни-туры, сплел изрядно, метра три. Не начало бы сохнуть раньше времени. Поторапливаться надо.

Он ускорил шаг. За бурую замшелую решетку только глянул искоса, но даже не задержал шаг. Влетел в регуляторный зал — все знакомо, опробовано, и слава богу. Этот верньер — до отказа, теперь снаружи темнота. Хорошо, стены башни изнутри попыхивают колдовским сиреневатым светом.

А теперь — канатик. Перекинуть через крестовину красного штурвала и дотянуть до крестовины вон того, пепельного. Дотянул. И — мертвым узлом. Просто-то как, а?

Отступил, прикинул — не надо ли еще чего? Нет, хватит. Чтобы не перебрать. Эти-то два эффекта надежно проверены, не в полную силу, разумеется, иначе в пещерах давным-давно никого в живых бы не осталось. Но сейчас он увидит, каково это — в полную силу!

Хоть это удовольствие он получит.

Он выскочил из башни и начал быстро карабкаться вверх, к пещерам. В сторону насыпи он даже не повернул головы —

сгустившаяся по его воле тьма не позволила бы ему рассмотреть даже смутные силуэты кораблей. Вверху тепло мерцали арочные входы в пещеры, три лупы приподнялись из-за вершин, опоясывающих долину, и на отвесных гигантских ступенях слабо замерцали полустертые знаки неземного языка. Темнота — это у него хорошо получилось.

А теперь начнет свою работу сохнущая трава.

И началось. Он знал, что не пройдет и часа, как травяной канат, сжимаясь, начнет поворачивать друг к другу два колеса, к которым до сих пор Тарумов едва смел притрагиваться. Да, началось. Кромка гор затеплилась золотистым светом, и пока это было еще не страшно, но полоса огня расширялась, теперь это была не тоненькая нить, очерчивающая контур каменной чаши, теперь это было похоже на огненную змею, устало и мертво распластавшуюся по верхнему краю их долины.

Но полоса огня все росла, ползла вниз, и вместе с ней и опережая ее, вниз устремился удушливый смрад... Апокалипсис, да и только. Долго ли там будут медлить младшие братья?

Они не медлили. Они катились в ужасе вниз, и только по стремительно мелькавшим мимо него теням Тарумов мог определить, сколько же их спасается бегством. Тридцать... Больше сорока... Больше пятидесяти... Кто именно — этого он определить не мог.

Не узнал он и своего пинфина.

Они промчались мимо него повизгивающей, всхлипывающей стайкой, и, отставая от всех, последними прошагали зеркальные близнецы.

Все. Теперь лучше взять вправо, на гигантский, исписанный магическими письменами уступ. Но, словно угадав его желание, огненный ручей отделился от общей полосы огня и, круто направившись вниз, заструился прямо навстречу Сергею, стекая по ступеням исполинской лестницы. Сергей отпрянул — он знал, что его ждет, он сам выбрал это, но... не так скоро.

Он побежал влево, оскальзываясь на влажной пока траве, падая лицом в пружинистые кочки, задыхаясь, обливаясь потом. Скинул ботинки. Затем на бегу содрал с себя комбинезон. Холодный взгляд упирался в него ощутимо — до мурашек на левом плече и щеке, обращенных к озеру, и впервые он чувствовал не омерзение и даже не безразличие, а острую, злобную радость. Давай-давай, гляди! Гляди и не оборачивайся, дубина запрограммированная, гляди во все глаза и не отвлекайся, потому что сейчас только это от тебя и требуется!

Потому что они еще не дошли. Еще не взлетели.

Так он шел и шел, уводя за собой неотрывный взгляд своего стража, и трава, словно чувствуя приближение огня, как-то разом усохла, перестала путаться и пружинить, и идти было бы совсем легко, если б не удушливая гарь, но идти было уже некуда — перед ним открылся давешний обрыв, и свежий воздух подымался толчками из глубины, словно там, в темноте, взмахивала крыльями исполинская птица. Настигаемый нестерпимым жаром, он вскинул руки, ловя губами, лицом, грудью эти последние глотки прохладного ветра, и в это мгновение такой знакомый, такой земной гул стартовых двигателей выметнулся из темноты, и огненные звезды дюз поднялись вверх, в темно-зеленую глубину неба...

Успели.

И последнее, что увидел Тарумов в конусах света, отброшенных уходящим кораблем, было стройное тело сказочного змееподобного существа, промелькнувшего над озером в стремительном и естественном полете. Это не было погоней за беглецами. Осеребренный светом удаляющихся звезд, этот змей даже не взял на себя труд проследить за их исчезновением.

Он искал не корабль, а крошечную фигурку человека, этого самого вольнолюбивого существа во Вселенной, который должен был бежать отсюда первым, а вместо этого предпочел задохнуться в чаду разожженного им же самим пожара. Так почему же он не бежал?

*ПОЧЕМУ?*

Медленно, круг за кругом, спускался он к обугленному обрыву, и продолжал спрашивать себя, и по-прежнему не находил ответа. И не мог найти, потому что логика существ, населяющих террариумы, несовместима с логикой тех, кто эти террариумы создает. Он глядел вниз, и взгляд его был полон недоумения и разочарования.

Но если бы Тарумов мог видеть эти глаза, обращенные к нему, они снова показались бы ему мудрыми и прекрасными...

тим летом он был полон и упоен той стремительностью, гибкостью и всемогуществом, которые так легко дались и его телу, и его духу. Вообще-то, год назад он был уже почти таким, как сейчас; но — почти. Тогда это ощущение было перманентным открытием, а не нормой. Вернувшись из своего первого полета, он взял себе сорокапятидневный отпуск и, как ему казалось, только и делал, что нырял, играл в ручной мяч и озирал окрестности Эльбруса с вершин соплеменных гор. Но, вернувшись на Валдайку-предполетную, он с ужасом обнаружил, что набрал чуть ли не полпуда никчемной плоти, столь обременительной для его новой профессии. Ему стало стыдно поджарого Гейра, и он вогнал себя в норму методами форсированными и несколько жутковатыми.

Два полета без перерыва — это протянулось ровно на год, и он ничего не имел против, и вовсе не потому, что не хотел отстать от экипажа Инглинга, вложившего столько сил в то, чтобы сделать из него человека, — нет, ему и в самом деле без особого труда давались и тягомотина самого перелета, и разнокалиберные сюрпризы чужих планет, отличавшихся весьма умеренным с точки зрения Земли гостеприимством.

Сейчас все было иначе, чем год назад. Не подумав, он снова выписал себе сорок пять дней, и еще хорошо, что догадался осведомиться у командира, где его искать в случае чего, — да откуда ему, в самом деле, было знать, во что выльется это самое «чего».

Вылилось это в то, что на семнадцатый день он уже был на Пике Елены, и полное отсутствие восторга при виде осиянных

вершин истинно рериховского ландшафта поставило его перед безрадостным фактом, что восхождения ради восхождений отодвинулись для него в прошлое. Он хлебнул настоящей работы, и игры на свежем воздухе перестали его наполнять. У него хватило мужества признаться в этом открытии своим ребятам, и его милосердно спустили вниз на вертолете.

Еще полтора дня ушло у него на то, чтобы найти Гейра Инглинга.

Командир гостил у папы с мамой на станции региональной метеокорректировки и самым буколическим образом пилил дрова наперегонки со списанным однощупальцевым кибом, когда новобранец его экипажа свалился на него весь в соплях от собственного комплекса разочарований.

Гейр не впервые возился с новичком и в отличие от него сознавал, что полтора года — срок недостаточный для полной акклиматизации в космосе и что сейчас наступает одна из самых неприятных, хотя и быстропроходящих, фаз — отчуждение от Земли. Силушки многовато, мускулы, парадоксальные с точки зрения классической анатомии — концентрат мускулов, — играют просто в силу инерции; быстрота реакций воспринимается как отточенность ума, а его-то и не хватает для того, чтобы не обольщаться по поводу всемогущества превосходного биоробота, взлелеянного в себе самом во славу инопланетных одиссей. Настоящим зубром дальних зон становишься только тогда, когда вот так тянет поколоть дрова...

Но такие вещи не объясняют на словах.

Поэтому мудрый Гейр, не навязывая сочувствия, но и не впадая в сентенции, тут же связался с Байконуром и разрешил подключить космолингвиста Анохина к не входящим в его обязанности работам по уборке трюмов. Конечно, правила гостеприимства обязывали его предложить отставному альпинисту отдохнуть на метеостанции, тем более что она располагалась на берегу прелестного малахитового озера, вобравшего в себя всю разномастную зелень окрестных лесистых холмов. Но для Анохина сейчас самым полезным было по маковку окунуться в работу, и командир посоветовал ему пуститься в путь засветло, потому как его мать, владетельная Унн Инглинг, в части метеокорректировки была несколько дальнозорка, и если во всем регионе поддерживается строго заданный климатический режим, то в окрестностях станции, под самым носом, порой творится ну прямо черт-те что. А так как до ближайшей вертолетной стоянки километров двенадцать безлюдными прибрежными

тропами, то еще лучше попросить рейсовую машину завернуть на минутку сюда. Иначе благополучного возвращения на корабль он не гарантирует.

Как и следовало ожидать, Анохин самонадеянно заявил, что доберется до вертолетной пешком и прибудет на «Харфагр» своевременно. Излишне добавлять, что у такого командира, как Гейр Инглинг, корабль и не мог носить другого имени.

Анохин простился с Гейром и владетельной Унн чуть торопливее, чем следовало младшему члену экипажа, и, обогнув стадо противоградовых «кальмаров», запрыгал по узловатым корневищам каких-то реликтовых великанов, вместе с тропинкой спускающихся к самой воде. Там он свернул влево и пошел берегом, временами выбираясь на крупный буроватый песок, над которым стлались звероподобные вечерние комары; затем тропинка круто брала влево, совершенно нелогичным образом забираясь на продолговатую гряду, поросшую можжевельником, словно тому, кто проложил этот путь, казалось невыносимым и противоестественным все время двигаться по прямой.

Он шел уже около получаса, радуясь безлюдности и только искоса поглядывая на густо-зеленую тучу, исполинским жабьим животом наваливающуюся на противоположный холмистый берег. Мокнуть не хотелось. Но тропинка ныряла в хаотический лесной молодняк, совершенно скрывающий противоположный берег, и когда горизонт открывался снова, становилось ясно, что скорость движения тучи не оставляет ни малейшей надежды на благополучное завершение этого маленького путешествия.

Туча была грозовой, поэтому стоило подумать о чем-то более безопасном, нежели развесистое дерево.

Он ускорил шаг и совершенно неожиданно услышал впереди себя голоса. Он удивился так, словно где-нибудь на Атхарваведе увидел человека без скафандра. Затем рассердился на себя за это изумление, а заодно и на своих непрошеных попутчиков, — невидимые за поворотами петляющей тропочки, они явно шли в том же направлении, что и он. Анохин досадливо замедлил шаг, оглянулся на тучу — и невольно припустил чуть ли не бегом. Ладно, ничего страшного не произойдет, если он их попросту обгонит. Невежливо. Ну и пусть. Они — заблудшие туристы, после недельного сидения в своих лабораториях и информаториях снедаемые мазохистским намерением обязательно преодолеть двадцатикилометровую дистанцию с кострово-котелково-комариным финалом. Святые люди. Он даже поздоровается с ними. И даже приветливо.

Дорожка выпрямилась и в сотый раз пошла вниз, впереди замаячил последний рюкзак, и цепочка людей, предшествующая ему, насчитывала еще не менее двух десятков рюкзаконосцев. Анохин сделал рывок и начал обходить их одного за другим, временами кивая и бормоча нечто нечленораздельное, должное означать приветствие; но тут тропинка вылилась на прибрежный песок, цепочка людей потеряла свою четкую последовательность, и Анохин невольно оказался в самой гуще туристов, впрочем, не очень от них отличаясь. Он уверенно двинулся вперед, лавируя между людьми как-то даже не глядя, но сзади крикнули:

«Кира!» — и он автоматически обернулся, прежде чем понял, что зовут, конечно, не его. Сказалась скорость реакции, совершенно излишняя тут, на Земле.

Кто-то слева от него обернулся с той же стремительностью, разве что чуть более плавно, и он поднял глаза просто потому, что его поразила точная зеркальность этого движения.

Разумеется, если бы он с самого начала взял на себя труд оглядеть своих попутчиков, он несомненно отличил бы эту тоненькую фигурку от всех остальных — уже хотя бы потому, что она была в каком-то облачно-сером платье и без ноши. Что-то еще бросилось ему в глаза, что стоило рассмотреть повнимательнее, но он, опять же в силу быстроты отточенной в полетах реакции, проследил за направлением, откуда прозвучал зов и куда естественно потянулась она, а когда взгляд его вернулся на прежнее место, рядом никого уже не было. На то, чтобы произвести это движение — уже не телом, а всего направлением взгляда, — ему потребовалось две сотые секунды, не более; и все-таки облачно-серое платье плавно двигалось впереди метрах в пятишести, ускользая от его внимания. Ассоциации возникали столь же мгновенно, сколь и непрошенно, и Анохин уловил странное сходство с прыгающими бликами на Ингле, в предпоследнем полете. Световые «зайчики», отброшенные иефиксируемым источником, да еще и при постоянно спрятанном за тучами солнце, преследовали группу десанта на протяжении всей экспедиции — холодные, ускользающие, любопытные. Их пришлось оставить вместе с серебряным песком и прочими немногими радостями этой металлической планеты, совершенно непригодной к заселению в силу отсутствия кислорода. Серебра, конечно, было навалом, но не тащить же его из девятой зоны дальности... Планета была занесена в каталоги как бесперспективная, и вместе с пепельно-сыпучими воспоминаниями отложилась досада на то, что поторопились связаться с Базой и в полном очаровании

этим платиновым мерцанием занесли бесполезную тарелку в официальный список под именем Земли Гейра Инглинга, одарив ее звучным именем древних викингов и современных звездных капитанов. Да, поторопились.

Одним из непременных качеств, которое Гейр старательно воспитывал в Анохине, было неукоснительное доведение до логического конца любого начинания, и именно в силу этой звездной, а отнюдь не земной привычки он догнал обладательницу пепельного нетуристского одеяния. Раз уж что-то показалось необычным и задержало его весьма привередливое внимание, то это надо было зафиксировать почетче.

Она (а если верить обращению, то — Кира) вдруг выбросила вправо руку одновременно плавным и стремительным движением, как это делают любители старинных велосипедов; узкая, белая до серебристости ладошка мелькнула перед самыми глазами Анохина, точно уклейка, и, повинуясь этому жесту, брючно-рюкзачная стайка свернула от воды в лощинку между холмами, где в смутной лиловатости непонятно откуда взявшегося тумана замаячили торчки плетеной ограды. За торчками угадывался домик, затененный зеленью, и Анохин сразу понял, что она, в отличие от всех остальных, не пришлая, а, скорее всего, хозяйка этого домика, и вдруг совершенно неожиданно его захлестнула досада, оттого что сейчас этот одинокий маленький дом, похожий на заброшенный в сад скворечник, будет переполнен рюкзаками и тапочками, запахом вывернутых курток и топотом ног в одних носках...

На эту досаду ушло не более полутора секунд, и взгляд, отброшенный уклеечным движением ладони к обреченному скворечнику, вернулся на прежнее место, где только что стояла она.

Ее, естественно, не было. Ускользнула куда-то за спину и теперь подгоняла увязающих в песке аутсайдеров нетерпеливыми и зябкими движениями плеч и маленького подбородка. Он опять не разглядел того, что хотел, но возвращаться назад, к ней, было, по меньшей мере, глупо и неестественно, и Анохин решил подождать, когда она пройдет мимо него; но тут первая капля величиной с конский каштан шмякнулась на песок, туристы дружно загалопировали, трюхая снаряжением, и он вдруг поймал себя на том, что уже расстегивает на себе куртку, потому что тому, кто добежит последним, от недосмотра дальнозоркой Унн достанется более всего; он вытянул шею, высматривая поверх голов пепельные, как и платье, волосы, и с традиционным недоумением снова ничего не обнаружил. Не было ее на берегу.

Он с трудом углядел ее возле садовой ограды, сквозь плетенку которой цепко лезла на волю одичалая неухоженная жимолость. Туман сползал по лощинке, разделявшей холмы, и вдруг с тою же радостью, уже начавшей его тревожить, с которой отыскивал он серое платье, Анохин понял, что непрошеные посетители зеленого озера вовсе и не думают оккупировать чужой дом, а, минуя его, ныряют в туман и топочут, как невидимые гномы, к какому-то приюту, ожидающему их где-то среди холмов; приглядевшись, он даже различил смутный огонь, трепетавший в глубине сгущающихся сумерек. Последний топотун исчез, едва окунувшись в туман, и, опережая собственный взгляд, Анохин понял, что возле ограды ее уже не будет.

И ее не было.

Он сделал несколько шагов и взялся за шершавые ивовые прутья заборчика. Из сада тянуло зеленолиственной влагой и пронзительным одиночеством. Он ждал, что в доме зажжется свет, и тогда она глянет в окно, отделенное от него какими-то десятью шагами, и заметит его блестящую форменную куртку, и вернется. Проще простого было бы крикнуть в темноту: «Кира!» — но он знал, что этого не сделает. Слишком уж примитивно. Перенести его на порог ее дома должно было какое-то волшебство, родственное тому, которое позволяло ей беспрепятственно исчезать в одном месте и являться в другом — вот именно, являться, а не появляться. Он стоял не шевелясь, чтобы не спугнуть это надвигающееся на него наваждение, и уже знал, что простоит тут всю ночь, ожидая своей минуты, и редкие тяжеловесные капли все крепче и крепче прибивали его к забору с методичностью, возведенной в степень фатальности. И она стояла перед ним на расстоянии протянутой руки, явившись неизвестно в какой миг, и смотрела на него непомерно расширившимися глазами, как смотрят на добровольного мученика-идиота, с той долей иронии и сострадания, которая была завещана Франсом и утверждена Хемингуэем.

Он увидел эти глаза и понял, что же еще в ней он старался углядеть.

— Все ушли, — проговорила она, хотя и так было ясно, что они тут в полном одиночестве, то есть вдвоем.

— А как же я?.. — проговорил его губами кто-то очень маленький и вконец растерявшийся.

— Ну так догоняйте! — сказала она легко и снисходительно.

Он молчал, ожидая, что она сама догадается хотя бы по его куртке со звездами и молниями — которых, между прочим, в космосе никогда не бывает, — что гномы-топтуны никакого отношения

к нему не имеют; но молчание затягивалось, и он вдруг осознал, на пороге какого дома он остановился. Это был дом, где даже не знают, как выглядит форма звездолетчика.

Все, что делало его суперменом в собственных глазах — ну и еще кое для кого из окружающих — все последние полтора года, не имело здесь решительно никакого значения. Он до того растерялся, что толкнул калитку и влез в мокрый сад, как буйвол — на грядку со спаржей. Она повернулась и поплыла к дому, по пояс в тумане, и совершенно непонятно было — то ли это форма возмущения его бесцеремонностью, то ли приглашение следовать за нею. Как настоящий мужчина, он выбрал то, чего сам добивался.

— Вас ведь зовут Кирилл? — не оборачиваясь, спросила она, подымаясь по ступеням крыльца.

Значит, она как-то чувствовала, что он следует за ней, хотя двигался он совершенно бесшумно, как учил Гейр. И отвечать ей не нужно было — она спрашивала не для того, чтобы услышать вежливое «Да, вы очень любезны, что соблаговолили запомнить мое имя». Или еще что-нибудь столь же изысканное, почерпнутое из юношеского благоговения перед стендалевским Фабрицио. Он молча поклонился ее узенькой серебряной спине.

Она поднялась на последнюю ступеньку и растворила дверь, пропуская его перед собой. Он вошел в единственную комнату, из которой и состоял этот дом, и внезапно понял, что здесь ему делать нечего.

Всю переднюю стену занимало окно — вернее, ивовый изящный переплет, на который была натянута стеклянистая пленка. За нею глухо зеленело озеро, слева и справа очерченное буроватыми лунками пляжа. Правую стену занимало нагромождение полок и экранов, ваз и шкафчиков, кофеварок и консольных компьютеров, в которое скромно вписывался едва ли не детский письменный стол. Два узких стула с очень высокими спинками подчеркивали хрупкость и неприкасаемость всей обстановки, и с этим еще можно было бы смириться.

Но у левой стены снежно белела узенькая постель с кисейным пологом, от которой девственно веяло температурой абсолютного нуля.

В эту комнату она спокойно могла привести озверелого легионера, пьяного каторжника или хорошо выдержанного монаха.

Или потерявшего маму олененка.

— Что вас тревожит? — спросила она, переступая следом за ним порог своей обители. — Сейчас мы свяжемся с вертолетной, и машина будет сразу же, как только утихнет гроза.

— Знаете, я пойду,— поматывая головой, проговорил Кирилл.— В этой комнате совершенно невозможно развалиться, взгромоздиться, швырнуть куртку на пол, сбросить тапочки... Словом, чувствовать себя человеком.

— Действительно,— грустно согласилась она,— не располагает... Но у меня есть кофе и ром, это поможет мне сгладить недостаток гостеприимства.

— Я бы не подумал, что вы грешите недостатком коммуникабельности,— волокли по берегу целую ораву...

— А, эти!.. Что же делать, они относились к той категории людей, которые никогда ие знают, где находится то место, откуда надо поворачивать.

— А я? — жадно спросил ои.

— Вы, вероятно, интуитивно находите места, куда вам сворачивать не стоит. И делаете обратное.

— Верно. А вы?

— Я... Вы управитесь с кофемолкой?

— Я управлюсь с любым механизмом, от турбогенератора до гильотины. Например, я априорно знаю, что этот стул меня не выдержит. Проверять или не стоит?

— Не стоит, пожалуй. Вот шкатулка с кофе, а я пока вызову вертолетную.

— Я бы в такую грозу вам этого не рекомендовал... Кира! Это действительно опасно.

Она медленно протянула руку и выключила передатчик.

— Вы физик? — спросила она.

Кирилл подумал, что такие обороты свойственны только дремучим гуманитариям.

— Я переводчик,— сказал он, избегая высокой титулатуры.

— С древних языков?

— С инопланетных.

— А.

Он чуть было не рассердился, но вовремя спохватился и заставил себя сказать то, что думает,— был у него такой аварийный прием, которым он обезоруживал противника: предельно просто и лаконично обрисовать сложившуюся ситуацию.

— Слышали бы вы со стороны, как прозвучало это ваше коротенькое «А!». Глубокий финальный аккорд, после которого слушателям остается только пройти в гардероб. А ведь я так обрадовался, что мне представилась возможность задать вам вопрос о вашей профессии, и у вас просто не было бы варианта, позволяющего уклониться от прямого ответа.

— Вы немножечко неточны: я сказала «А». Без восклицательного знака. И кофейные чашки вон там, на второй полке.

Он стиснул руки и мысленно поздравил себя с тем, что сумел сдержаться и не грохнуть кулаком по письменному столику. Почему из всех женщин, которые встречались ему за последние два года и на Земле, и вне ее, именно эта была самой неуловимой, самой ускользающей? Все было, как на Ингле, когда набираешь полные горсти серебряного звенящего песка, и, как бы крепко ни стискивал руки, все равно неуловимые струйки текут между пальцев, и ладони уже пусты, и только печальное, беззвучно тающее облачко мается на том месте, где ты только что владел целым сокровищем...

— Это было моей последней надеждой,— упавшим голосом доложил он.— Нужно было говорить теми же словами, что и думаешь. Вы замечали, что человек думает одними словами, а говорит — другими? Да? Так вот, если так раскрыться, вывернуться наизнанку той розовой шерсткой, которая внутри у нормальной человечьей души, то тебе обязательно отвечают тем же...

— Зачем, Кирилл?

Эти два слова прозвучали в холодной сумеречной комнате словно два тихих удара маленького серебряного колокола. Снаружи грохотали почти непрерывные, громовые разряды, но они ровным счетом ничего не значили, да, скорее всего, они оба их попросту и не слышали, словно звуками на самом деле было только то, что произносилось в этой комнате, а все остальное относилось к иной категории явлений и было яркой, но беззвучной декорацией.

— Действительно, зачем? — отозвался он устало и почти безразлично — эти два серебряных удара вышибли из него весь былой энтузиазм.— Я, конечно, осел. Даже если вы подробно растолкуете мне, кто вы, откуда и на какой ниве приносите пользу всему человечеству, я все равно не узнаю главного...

Она приподняла свои не очень темные, словно чуть припудренные, брови, как бы сомневаясь в том, а совпадает ли то главное, что подразумевает он, с тем главным, которое есть на самом деле.

— А главное — это то, почему сегодня, двадцать седьмого августа, в душный и почти субтропический вечер, вы замерзаете в этой ледяной комнате. Я сейчас уйду, и вы замерзнете совсем. А уходить надо, потому что мне здесь делать нечего. У меня уже есть небольшой опыт, мы уходили с целых планет, когда понима-

ли, что, в общем-то, ненужны друг другу. А это были сказочные планеты, вы уж поверьте мне на слово. По одной у меня останется тоска на всю жизнь, да что поделаешь...

Он поискал глазами, куда бы поставить совершенно ненужные чашечки кофе, и увидел, что она сидит на узеньком своем стуле, от подбородка и до кончиков туфель туго завернувшись в какую-то бесцветную шаль, с безупречно прямым углом согнутых коленок, как у статуэток древних египетских богинь. Он поставил чашечки ей на колени и сел прямо на пол, жадно и безнаказанно глядя ей прямо в лицо.

— Сейчас я уйду, — пообещал он, — потерпите еще немного, я отсчитаю семь зеленых молний и уйду. Честное звездное.

Он обернулся к застекленной стене, и в тот же миг небо над озером раскололось глубокой трещиной, и по обеим сторонам этого провала очертились набухшие темно-зеленые пласты, как будто разомкнулись чудовищные губы нависшего над озером злобного, гневливого дива. Целая обойма ломаных, ступенчатых молний разом саданула в разглаженную дождем поверхность воды, и, ни доли секунды не медля, неистовый грохот вмял в комнату дрожащую от напряжения, пузырящуюся в частых переплетах окна сверхпрочную пленку.

Кирилл вскочил раньше, чем зеленое зарево осветило всю комнату — молний было ровно семь, и чем бы это ни было — дьявольщиной, совпадением или вмешательством каких-то инфернальных сил, подвластных этой пепельно-ледяной женщине, — его человеческий своевольный дух вздернул тело на дыбы раньше, чем разум смог отдать какой-то обдуманный приказ.

Он схватил ее за плечи и поднял, так что несчастные чашечки покатились в разные стороны, прочерчивая на подоле стремительные траурные траектории, и вместо злости ощутил вдруг неистовую радость освобождения от собственной мечты и беспомощности, словно дурацкое вмешательство зеленогубого громовержца одним махом отмело все правила, условности и запреты.

Он кричал ей что-то прямо в лицо, и понимал, что за несмолкаемой канонадой ничегошеньки не слышно, и смеялся от неожиданно обретенной свободы. Черта с два он теперь уйдет отсюда! Хватит с него прощаний...

Гром поутих.

— Думаешь, я теперь уйду? — крикнул он, успевая вклиниться в образовавшуюся паузу, и голос его прозвучал непомерно звонко и нетерпеливо. — Фу, прости за львиный рык, в этом грохоте

и не сообразуешься... Никуда я не уйду. Ты только погляди на него, ишь разевает пасть... Кашалотище. И оставить тебя одну — с ним? Не выйдет! Набегался я с других планет. Нажалелся. Натосковал. Теперь я на своей Земле.

За окном, уже успевшим зарасти новой пленкой, оглушительно и протестующе громыхнуло.

— Обратила внимание: когда у него молнии свисали с верхней губы, он был похож на зеленого моржа? Ну ничего, дождя почти не было, такие жуткие грозы бывают только всухую, так что я сейчас наберу чего бог пошлет и разведу тебе настоящий живой огонь, с треском и гарью, рыжий...

— Уходи, — с неожиданной силой освобождаясь от его рук, проговорила она. — У-хо-ди.

От неожиданности он даже попятился, пытаясь найти нужные слова и не находя их, а она наступала на него, запрокинув голову и закрыв глаза, и повторяла с яростной настойчивостью:

— Уходи. Уходи. Уходи.

Он наткнулся спиной на дверной косяк, нащупал запор и распахнул дверь. Ветер, несущий ветки, листву и сырой песок, едва не сбил его с ног.

— Уходи! — крикнула она, стараясь перекрыть вой бури, но все-таки не открывая глаз, и тогда на него снова нахлынула радость, оттого что она боялась его видеть, оттого что, кроткая, милосердная и безразличная, она гнала его в грозу, и он замер, боясь сделать что-нибудь не так и спугнуть снизошедшее на нее наваждение.

Не слыша больше его шагов, она испуганно насторожилась, лицо ее напряглось, и она боязливо приподняла ресницы.

Он стоял близко-близко.

— Уходи же! — крикнула она с отчаянием.

Кирилл оглянулся на темные пришибленные кусты, на мелкие ядовитые молнии, сыплющиеся с неба, точно иголки, на подсвеченную этими сполохами мутную стену наконец-то собравшегося ливня.

— Так ведь страшно, — пробормотал он почти виновато.

И вдруг, холодея, вспомнил, что сам, как идиот, напросился на немедленное возвращение на корабль.

Молния впилась в дерево где-нибудь метрах в тридцати.

— Вот так и убьет, — обреченно пообещал он, пересчитывая в уме дни, оставшиеся до отлета, и уже твердо зная, что явится на «Харфагр» никак не раньше чем за три минуты до старта...

Как и бывает с письмами, которые раз в месяц идут навстречу друг другу, они были наполнены довольно бессвязными воспоминаниями и не содержали даже намека на ответы всем тем сомнениям и вопросам, коим не посчастливилось родиться в мучительно долгий промежуток между краткими и ненадежными сеансами связи. Получая пакет с информационной точкой, Кирилл мчался в свою каюту, минуя нелюбопытный взгляд ничего не знавшего Гейра. У себя он запирался и запускал точку в дешифратор, и каюта наполнялась озерными бликами ясного, чуточку печального голоса, исказить который не могла даже непредставимая фантасмагория многоступенчатой галактической связи.

Он бросался тут же надиктовывать ответ, прекрасно понимая, что за предстоящий месяц появится еще тысяча поводов для десятков тысяч слов, но он ничего не мог с собой поделать, потому что, пока он говорил с нею, она была с ним. И он описывал бесконечные перипетии довольно тяжелого рейса и свою работу, наконец-то настоящую, когда от его интуиции и опыта зависела судьба контакта с предполагаемой и почти иллюзорной цивилизацией. Экспедиция затягивалась на год, потому что приходилось ждать прибытия комплексников, которые всегда тянули со сборами, и в отчаянии от этой задержки, которая в предыдущем рейсе показалась бы ему просто подарком судьбы, он в который раз уже вспоминал поминутно каждый из двадцати четырех дней, отсчитанных от грозового двадцать седьмого августа до самого отлета «Харфагра», и устраивал ей шутливые сцены ревности к затаившемуся за прибрежной горой Перуну, так старавшемуся с треском выставить его из ее домика; и запугивал ее старинными легендами о феерических супермолниях, которые хорошо видны с космических орбит Приземелья, но почему-то неизвестных на самой Земле,— потоках огненной энергии, из которых, вероятно, и рождались языческие легенды о пылающих копьях мстительных громовержцев...

И, как это всегда бывает с чересчур затянувшейся перепиской, на исходе полугода одной из сторон стало просто невыносимо тесно в точечном объеме одного послания, а другой — уже ощутимо просторно.

Он сходил с ума, улавливая эту сдержанность и недоговоренность, он предполагал все, что угодно,— естественно, кроме того, что было на самом деле; не в силах помешать этому, он чувствовал, что она снова ускользает от него, и именно потому, что это ускользание было неотъемлемой ее чертой, он любил ее

еще неистовее. Она ни в чем не упрекала его, но ничего и не обещала; она не отнимала у него ни грана прошлого, но для нее словно перестало существовать будущее. И с каждым разом он все больше и больше боялся, что следующего письма уже не будет. В начале июня пакета для него не пришло. В начале июля, не дождавшись нового сеанса связи, они направились в обратный путь, оставляя поле действия только что прибывшим кораблям комплексной разведки. Планета, пригодная для освоения, — это всегда было поводом для заслуженного восторга, граничащего с телячьим; Анохин, как мог, уклонялся от общего ликования. Он ждал приземления, он видел ее в толпе пропыленных встречающих, изнывающих под байконурским солнцем, — облачно-прохладную, истосковавшуюся от безответного говорения в пустоту диктофона...

На космодроме ее не было.

— Гейр, — крикнул он, врываясь к командиру, — ты можешь поверить, что мне сейчас нужна самая скоростная машина... и, если можешь, пропуск-аллюр?

Гейр посмотрел на него и понял, что это ему действительно нужно. Ни о чем не спрашивая, он выписал ему разрешение на самую быстроходную из машин глайдерного парка и проставил шифр, позволяющий Кириллу получать преимущество в любых коридорах и на всех горизонтах воздушного пространства.

К вечеру он уже был над озером. Он посадил машину на песок, осторожно выбрался из кабины и ужаснулся тягостному покою, нависшему над зеленой водой, расчерченной узкими отсветами вечерних костров, уже зажегшихся под звероподобным холмом на другом берегу.

Пока он шел к домику, он не спугнул ни одного зверя, ни одной птицы.

Когда он возвращался назад, к машине, золотоглазый нерасторопный уж пересек ему путь и, скользнув под стабилизатором, бесшумно ушел в воду. Кирилл поднял машину и, не утруждая автопилота, отыскал внизу розовеющие под закатным солнцем корпуса метеокорректировочной станции.

Большеносая Унн Инглинг, похожая на полярную сову, приветливо приняла его, нисколько не обеспокоясь тем, что он прибыл несколько раньше ее собственного сына. Гейр летал давно, бывало всякое. А с космодрома он уже звонил. Так что же беспокоит юношу? Ах, ничего не беспокоит... Да, отдых здесь прекрасный, разумеется, для тех, кто считает уединение благом. А домик? Домик пуст, как это ни печально...

Она тоже недоговаривала, тоже ускользала, очевидно полагая, что все происшедшее на их берегу не касается посторонних.

— Там жила... женщина,— проговорил Кирилл, с трудом разжимая губы.

Маленькая полярная сова нахохлилась, раздраженная его настойчивостью.

— Это совершенно непонятно и очень, очень печально. Она умерла всего... месяца два назад. Мы были почти незнакомы.

— Молния? — вскрикнул он, потому что ничто другое просто не было властно над этим берегом.

— Нет, конечно, нет,— протянула владетельная Унн с некоторым высокомерием.— Разве я бы допустила... Она упала в воду. У самого поворота к вертолетной есть небольшой обрыв, всего-то метра два, и тропинка не узкая... Женщины в эту пору иногда забывают, что прежняя ловкость может им изменить. Гроза? Ну, что вы, Кирилл! Девятнадцатого мая был исключительно тихий вечер. Как сегодня. Я оградила этот берег от гроз сразу же, как только узнала, что она... Кирилл?!

Он очнулся в маленькой палате, которую заливало солнце. У окна сидел кто-то свой, и блестящая звездная куртка натягивалась на согнутой спине при каждом вдохе.

— Гейр,— сказал Кирилл.

Командир обернулся. Он был очень похож на мать, только ровно вдвое выше.

— Что там? — спросил Кирилл.

Гейр повел носом в сторону подоконника, недоумевая, в какой степени интересует Анохина открывающийся из окна пейзаж.

— Там море,— коротко сказал он.

Кирилл прикрыл глаза. Мутная темно-зеленая тошнота захлестнула его с головой, как и в тот раз, когда он вдруг осознал весь ужас немгновенности ее смерти.

Несколько минут было тихо, потом послышались шаги — настороженно подходил командир. Кирилл мысленно проверил, может ли он говорить, и только тогда открыл глаза.

— Послушай, Гейр,— проговорил он медленно,— вытащи меня отсюда. Я здоров.

Гейр втянул голову в плечи и по-птичьи встрепенулся. Вероятно, это должно было означать отказ.

— Вытащи меня,— настойчиво повторил Кирилл.— И засунь на какую-нибудь станцию. Все равно где. Только бы там не

было ничего, кроме стен и машин. И чтоб выйти было некуда. Никаких встроенных пейзажей. Голые стены и звезды за окном.

Командир пытливо всматривался ему в лицо — он еще ничего не понимал.

— Да вытащи ты меня! — чуть не плача, крикнул Апохин. — Не может быть, чтобы ни на одном буйке не было свободного места! Я могу работать кем угодно, ведь любой космолингвист — обязательно и связист по совместительству. Пойди поговори с центральным диспетчером... Ты сам-то скоро уходишь обратно?

— Через неделю. На Шеридан.

— Нет. Это не для меня, — через силу проговорил Кирилл, припоминая пасмурные озера Земли Мейбл Шеридан и снова заходясь от удушья. — Выкинь меня по пути на любом маяке. Только бы отсюда. От этого моря.

Командир наклонился к нему — глаза Кирилла, голубые хулиганские глаза, освещавшие целый корабль или четверть планеты, были подернуты зеленой мутью.

— Что с тобой? — спросил Инглинг, потому что ему необходимо было это знать.

За окном шуршало, наваливая гальку к подножию больницы, теплое лиловое море. Лицо Кирилла снова свело судорогой.

— Не могу видеть воду, — с каким-то недоумением проговорил он. — Море ли, река... Пить могу, не бойся. Только из глиняной кружки. Ну, иди же, звони. Или я действительно тронусь.

Осторожно ступая, командир вышел. Он пропадал около получаса, и, когда вернулся, вид у него был какой-то небольничный — как у потрепанного боевого петуха.

— Представь себе, ради тебя пришлось выставить на пенсию одного зануду. Зато место — синекура! Странноприимный дом. И всего один светляк от Базы. Подходит?

Кирилл кивнул. Странноприимный дом — так были прозваны спасательно-аварийные буйки в дальнем Приземелье. Раскиданные на расстоянии светового года от Солнца, что по теперешним меркам считалось уже окрестностями Земли, они были готовы оказать помощь сбившимся с курса кораблям, которые в силу неисправности или еще по каким-нибудь причинам выныривали из подпространства слишком далеко для того, чтобы идти дальше на планетарных, и слишком близко от Земли, чтобы манипулировать неисправными гиперпространственными двигателями.

— Вызывай машину, я сейчас подымусь, — сказал Кирилл, щурясь от слишком яркого света.

— А вот это не пройдет! Я с трудом уговорил здешних церберов забрать тебя через неделю под личную ответственность, да и при условии...

— Ну и черт с ними,— неожиданно сдался Анохин.— Неделю я продержусь, это я тебе обещаю. Но ни дня больше... И сделай милость, задерни шторы. Раз осталась неделя, тебе пора...

Он методично обходил станцию, свыкаясь с каждым ее уголком. Кольцевой док, куда загоняли покалеченные корабли,— дырка от космического бублика. Сам бублик — машинные отсеки, реакторный зал, оранжереи и жилые корпуса были смонтированы из двухслойного астролита, без которого немыслимо было бы современное строительство в Пространстве. Станции возводились там и тогда, где и когда удавалось подстеречь и, главное, притормозить приличных размеров астероид. Затем к нему на паре сухогрузов перебрасывался небольшой плавильный цех, который превращал бесцельно блуждающую по Вселенной глыбу камня в тонкие полупрозрачные панели, из которых специально выдрессированные для этого кибы возводили висячие сады Семирамиды вкупе с дворцами Аладдина,— разумеется, с поправкой на каноны космической архитектуры. На такой-то рукотворный островок, подвешенный в черноте Пространства, точно елочная игрушка, он и попал по собственной воле и неукротимому желанию.

На станции было все необходимое и ничего лишнего; то же самое можно было сказать и о немногочисленном персонале, принявшем Анохина, как он это понял, с гипертрофированным радушием вовсе не благодаря его личным качествам или блистательному послужному списку, а в силу неуемного восторга по поводу расставания с каким-то неведомым Кириллу занудой, который отбыл на базу днем раньше.

Поэтому с Анохиным все были донельзя приветливы, но никто к нему не приставал. А иного ему было и не нужно.

Он заглянул в обе обсерватории, рубку связи, скромные оранжереи, где тоже было только все необходимое — помидоры, клубника, фейхоа — и никакой экзотики. Он миновал только бассейн. Со временем, по-видимому, он и к этому привыкнет, но время это еще не наступило. Мысль о времени заставила его взглянуть на часы — до начала вечерней вахты оставалось пятнадцать минут.

Он направился в центральную рубку. С нехитрыми своими обязанностями он познакомился еще на пути сюда, на борту «Харфагра», и поэтому первый свой рабочий день начинал

без энтузиазма, свойственного новичкам в космосе. Инструкций ему почти никаких не дали — в самом деле, какие тут могут быть инструкции: сиди себе и жди сигнала от приборов, они за тебя все заметят и ничего не пропустят — каждый надежно дублирован; в случае чего решение примет большой станционный вычислитель, тебе придется только проконтролировать это решение. Но такое встречается нечасто, поэтому сиди себе, гляди в черный иллюминатор или играй с малым вычислителем в тихие настольные игры...

Ему пожелали спокойной вахты, и он остался один. Раскрыл вахтенный журнал, автоматически проставил: «11-я вахта, 25 августа 2261 года. Дежурство принял Кирилл Анохин».

И только увидев эту дату написанной на бумаге, он внезапно понял, что она означает. Прошел год. Ровно год с того дня, когда он, в полном смятении от бессмысленности своих развлечений, кубарем катился с Гималаев, чтобы вернуться к «настоящей» жизни. Он связался с Инглингом...

Нет. Инглинга он еще не нашел. Сейчас он сидит в нижнем лагере, держа в руках дымящуюся кружку, в которой ром пополам с чаем, и сморщенные ягоды горного можжевельника, и два юнца из спасательной команды презрительно повернулись к нему спиной. Инглингу он позвонит позже, часа через два, когда в верхнем лагере зажжется нежное и тоскливое пятнышко костра...

Он стряхнул с себя наваждение прошлого и обернулся к дисплейному пульту. Оливковые экраны высвечивали ненужную информацию, все механизмы станции жили своей размеренной машинной жизнью, где любое вмешательство человека — даже элементарное любопытство — было просто нелепо. Да, это счастье, что он догадался захватить с собой незаконченные расшифровки из последней экспедиции.

Он включил ММ — малый мозг — и, задав ему определенную долю кретинизма, сыграл с ним несколько партий в стоклеточные шахматы. Было интересно, но утомляло. Он запустил на боковом экране короткометражку «Из жизни комет» — видовой фильм без намеков на сенсационность — и мельком взглянул на циферблат.

Прошло два часа.

Сейчас он разговаривал с Гейром Инглингом.

Он грохнул кулаком по панели пульта и забегал по рубке — благо размеры позволяли. Он просто физически чувствовал, как затягивает его прошлое, — словно сзади, к затылку, приставили раструб вытяжной воронки, и холод воздуха, скользящего

по вискам и утекающего назад, шевелил его волосы. Он противился этому притяжению назад, как инстинктивно сопротивляется человеческий мозг внезапному приходу безумия. Так ведь нет же, нет! С завтрашнего дня — восемь часов в спортивном зале, и даже за обедом — мытарство с дешифровкой, и в форсированном режиме — шериданский язык, здесь, кажется, механик по гипертрансляторам чешет на всей группе альфа-эриданских как бог. И пора учиться ручному монтажу, не на каждой же планете за спиной будет торчать услужливый киб...

«Прилетай!» — сказал Инглинг.

Кирилл почувствовал, что спина его покрывается холодным потом. Теперь это уже не был только страх потери равновесия во времени и падения в пустоту, которая за спиной; сейчас к этому миленькому, но уже не новому ощущению примешалось еще одно: раздвоение воли. Потому что внутри уже проснулся другой Кирилл — так и не пришедший в себя от горя и теперь готовый отдать все свое настоящее за поминутное воспроизведение тех двадцати четырех дней, которые остались в прошлом.

«Надо что-то делать, надо что-то делать...» — с тоскливым отчаянием повторял он себе, и выплескивал остатки чая с ромом в костер, и брел к западному склону — ловить ультрамариновый рериховский закат, подальше от высокомерных и ничегошеньки не понимающих юнцов. И еще через час возвращался в лагерь, окончательно замерзнув, чтобы сразу же влезть в мешок и тихонечко включить незабвенную Сорок девятую Гайдна...

Кирилл рванулся к пульту, с непривычки долго искал каталог станционной фонотеки и, не мудрствуя лукаво, врубил на естественную громкость какую-то из шестнадцати симфоний Шнитке. Оказалось — вторую. Но это было уже неважно, потому что любой Шиитке заполнял его целиком, изгоняя и естество настоящего, и иллюзорность прошлого. Было только могущество музыки и непомерная гордыня человеческого духа — неотъемлемая черта всего второго тысячелетия... Кто-то приоткрыл дверь в рубку, вероятно встревоженный громовым «Санктус».

— Да? — спросил Кирилл, выключая фонограмму.

— Нет-нет, ничего, — ответили ему из-за двери, и тотчас же в рубку проник отголосок беззаботных, как ласточки, гайдновских скрипок...

Он запустил пальцы в распатланную шевелюру и зарычал. Тогда дверь все-таки распахнулась настежь, и в рубку вкатился коротконогий смешливый механик-полиглот с неожиданными печальными и внимательными глазами древнего врачевателя.

— Вам что, нехорошо? — скорее констатировал, чем спросил он.

— Да нет же! — Кирилл с отчаянием замотал головой, — он все силы положил на то, чтобы здесь никто и ни о чем не догадался. — Просто воспоминания одолевают...

Механик закивал, словно именно это он и ожидал услышать.

— Придется привыкать, голубчик, придется привыкать. Мы тоже первое время маялись. Каждый. Ну, за исключением особо толстокожих. Надо как-то приспосабливаться, экранироваться, а тут вряд ли дашь совет, это — индивидуальное...

— От чего экранироваться? — ошеломленно спросил Анохин.

— Ну, от того самого, что вас одолевает, как вы изволили выразиться. До Земли-то ведь ровно световой год, — он, мелко перебирая ногами в меховых сапожках, подбежал к иллюминатору, ткнул коротеньким пальцем в бестелесную черноту, — так что стоит прищуриться — и вы увидите себя самого, в объеме и цвете, и точнехонько на год моложе. Ну и весь антураж, разумеется.

Кирилл, окаменев, глядел мимо его руки и мимо стен станции, глядел на крошечную янтарную бусинку, которая на самом-то деле была Солнцем, но на таком расстоянии каждому казалась Землей. И вот на этой видимой ему Земле все было, как год назад.

Маленький механик деликатно вздохнул, снова превращаясь в халдейского мудреца.

— Год — очень точно фиксируемый отрезок, — продолжал он задумчиво, время от времени приподнимая брови и наклоняя голову набок, — вероятно, такое движение позволяло ему экономить на непроизнесенных «понимаете ли», которые были эквивалентны, — поэтому здесь, на нашей станции, на нас накладывается не просто наше прошлое, долетающее с Земли, а ОЧЕНЬ ЧЕТКО ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ прошлое. Пси-излучение, пролетающее через глубины космоса, попадает в совершеннейший усилитель — наш собственный мозг. А он еще и настроен в резонанс — воспоминания-то идут день в день. Вот и начинает твориться с человеком всякая чертовщина, а он еще убеждает себя не верить собственным ощущениям. А его трясет все сильнее и сильнее, и ни в одном медицинском аннале такового заболевания не значится. Потому как это не заболевание, а состояние, я его назвал — темпорально-психологический флаттер, точнее — пси-темпоральный, один хрен, меня все равно не слушают, было же время — в телекинез не верили. Видели, а не верили. На пси-

хотронную связь перейти не могли, потому что потихонечку пользовались, а с высоких кафедр разыгрывали аутодафеи с вариациями... Теперь в этот пси-темпоральный флаттер не верят, а самих трясет, вас вот, например. А вы себя, люди, убеждаете, что — грипп. А?

— Не «а». Удивляюсь, как это мне самому в голову не пришло.

— Да вы умница! — восхитился халдей в меховых сапожках. — Может, попользовать вас, то есть попытаться приглушить воспоминания? Я в какой-то степени могу... В конечном счете ведь любой усилитель можно сбить с режима.

Кирилл ужаснулся:

— Так топором еще проще. Надежнее, главное.

— Нет, мы определенно найдем общий язык! Тогда, может, просто посидеть с вами?

— Спасибо. Буду искать способы экранироваться.

— Ну, спокойной ночи. Главное, что могу сказать вам в утешение, — что это ненадолго. Через год вы улетите с Земли сюда... то есть уже улетели — и конец флаттеру. Финита ля флаттер! — крикнул он, исчезая за дверью.

Кирилл, не отрываясь, продолжал глядеть на янтарную крупицу света. Теперь, осознанное и уже не иллюзорное, прошлое вливалось в него без сопротивления его пугливого разума; музыка, правда, исчезла, но он весь был полон странного покоя...

А полон ли? Что-то кончилось. Оборвалось. Зачем он слушал эти объяснения? Они все испортили. Ввели в логические рамки. Обернули наваждение реальностью. Что он натворил?

Кирилл метнулся к пульту, наклонился над светящимся циферблатом. Было половина двенадцатого.

Он просто спал.

Двадцать шестое августа он пережил относительно спокойно — лихие перегрузки, которым он сознательно предавался всю первую половину дня, почти не оставили ему сил на то, чтобы обращать внимание то на промелькнувший под крылом льдисто-сизый висячий аэропорт Санхэба, то на плывущий навстречу пестротканый заповедник реконструированного Багдада, где он имел неосторожность пообедать, чтобы потом мучиться изжогой всю Флоренцию, бесцельно пошататься по которой он позволял себе каждый раз, когда судьба забрасывала его в узкое голенище итальянского сапога.

Вечерняя вахта была неспокойна — из подпространства не вышел супертанкер «Парсифаль», и рубка была набита народом

до четырех утра, пока неповоротливый гигант не дал о себе знать аж из четвертой зоны дальности, где в благополучном удалении от любого из обитаемых миров он стравливал в пустоту несметное количество жидких соединений ксенона из своих продырявленных метеоритом баков, что грозило Вселенной образованием отвратительнейшей зловонной микротуманности.

Он уснул, унесясь на северо-восток в уютном гнездышке трансконтинентальной подземки.

Двадцать седьмого, обессиленный той двойною жизнью, которую он теперь вел ежеминутно, он едва поднялся с постели, не очень отчетливо воспринимая и сугубо мужские шуточки за завтраком по поводу последствий протечки «Парсифаля», и собственную щенячью исповедь Гейру над березовой поленницей на заднем дворе метеокорректировочной станции. Он вяло поиграл в баскетбол, отказался от обеда и побрел на вахту, непроизвольно отыскивая в заоконной черноте теплую кроху бесконечно далекого солнышка, отождествляемого не просто с Землей, а именно с круглым, неярко отсвечивающим озером. Грозовая толща набухла над противоположным берегом, и надо было торопиться.

Он заскакивал в перелесок, выпрыгивал обратно на прибрежный песок и все озирался, настороженно и нетерпеливо,— не слышно ли голосов? Вроде бы уже...

Но когда они донеслись и сердце мягко и обморочно запрыгало куда-то вниз, потому что — началось, он вдруг стряхнул с себя эту рабскую покорность уже раз прошедшей череде событий.

Нет, не пройдет, ваше сиятельство, громовержец всемогущий, но отнюдь не всеблагой! Представления не будет. Вообще ничего не будет. Он просто не догонит этих перепуганных непогодой горе-путешественников, они свернут себе на боковую тропинку, и встреча не состоится...

Смертная тоска охватила его, когда он понял всю нелепость своего слишком позднего бунта. Что ж, сейчас он заставит себя переждать грозу здесь, прямо на берегу,— с ним-то ведь ничего не случится! Но он не увидит больше серого платья, ускользающего от него каждый раз, как только он отводит глаза, он не будет прижиматься лбом к шероховатым прутьям мокрой ограды, он не услышит...

Он побежал.

Расталкивая упругие рюкзаки, он ворвался в самую гущу смешавшейся толпы, вздрагивая и озираясь на каждый звук, и

внутри него все натягивалось, словно струна, которую настраивают все выше и выше, — ну же, ну... «Кира!» — донеслось из-за спины, и он задохнулся, ловя воздух ртом, потому что в следующий миг он должен был увидеть ее.

Он должен был увидеть ее — и отвести взгляд, но он этого не сделал, потому что знал, как мало ему оставалось смотреть — только двадцать четыре дня; и он с мучительной гримасой, совладать с которой он уже не мог, глядел ей прямо в глаза — серые огромные глаза, такие светлые, словно миллиарды звездных искр удалось оправить в один темный ободок; и она глядела на него, и продолжалось это так долго, что она не выдержала и подняла руку, заслоняясь ладошкой от его взгляда.

Он охнул и закрыл глаза. Не было! Не было этого!!! Да что же это такое?..

Он открыл глаза — она ускользнула, как и должна была сделать, и он побежал вперед, повинуясь ее уклеечно поблескивающей ладошке, и она вдруг очутилась уже за оградой, и вот он и до порога добрался... Все было, все мучительно и сладко повторялось, но он уже знал, что властен в этом течении событий, что она повинуется его взгляду, а когда будет нужно — и его слову; теперь он уже твердо знал, что вмешается в ход событий, которые обрывались на мокрой тропинке девятнадцатого мая этого года, — только вот цена будет непомерная: их любовь.

Одного он не мог — оборвать это вот сейчас, сию минуту. Еще полчаса, говорил он себе. Только до тех слов о зеленых молниях; но молнии срывались с исполинских распухших губ разбушевавшегося Перуна, и он давал себе еще минуту... две... три...

«Уйди!» — нет, она ведь повторила это несколько раз, еще можно помедлить несколько секунд, сейчас она повторит это по складам, мучительно выговаривая каждый слог:

«У-хо-ди...» Он уже десять, двадцать раз повторял про себя это слово, а она все молчала; и тогда он понял, что Перун перехитрил его, и молчание затянулось так надолго, что у него нет уже повода к отступлению, и теперь уже будет все, что было, и двадцать четыре дня бездумного счастья, и емкие всплески-точечки, в которые умещались ежемесячные письма, и скользкий берег майского озера, и ожидание последнего письма, которого не будет... Он искал каких-то слов, чтобы хоть что-то объяснить, но слова не находились, и он просто обхватил голову руками и ринулся вон, в незатихающий грохот и свист бури, и продрался сквозь кустарник, и побрел, пошатываясь, куда-то в гору, и падал, и захлебывался зеленой от молний водой, и шарил оцепеневшими руками

по какой-то стене, пока ему не отворили, и он ввалился в комнату, переполненную разомлевшими от тепла людьми, где с него содрали мокрое, и напоили, и укрыли, и не приставали, и всю ночь дружелюбно бубнили то тут, то там, перешагивали через него, подталкивали, пристраиваясь теплым боком или шершавым спальником, а он лежал неподвижно и той частью души, которая полностью слилась с ним — прошлогодним, околевал от боли и тоски по всему несбывшемуся, от чего он так бесповоротно бежал, чтобы уберечь ее от озерного берега в тот проклятый майский день; другая же часть его естества, не потерявшая зоркости, преодолевавшей расстояние в световой год, могла видеть маленький домик на самом берегу и ее, тоже неподвижно лежащую на своей ледяной постели, и угадывать ее боль, и обиду, и тоску непрервавшегося одиночества, и неведенье собственного спасения...

Маленький халдей-механик заглянул в его комнату, наклонился, перехватывая взгляд немигающих глаз, что-то проговорил, но Кириллу пришлось собрать все свои силы, чтобы расслышать это слово, которое он повторял с упрямой и назидательной настойчивостью:

— ...Немедленно. Немедленно!

— Что, — с трудом разлепляя губы, спросил Кирилл, — что?

— Немедленно уезжайте. Выберите себе другой буек где-нибудь в шестой-седьмой зоне, а то так в ближнем Приземелье... Здесь вам оставаться смертельно опасно. Флаттер — он любой опасен, он в бараний рог скручивает я прахом рассыпает. Это относится и к людям, и к машинам. А пси-темпоральный флаттер — с ним не то чтобы бороться, его и распознавать-то не научились... Улетайте сегодня же. Противостоять этому могут лишь немногие, и вы не из их числа...

Он вещал, ритмично наклоняясь вперед и прикрывая круглые глаза выпуклыми веками, как это делают птицы, издавая отрывистый крик. Сказать бы ему, что он — из того единственного числа, кто не только решился противостоять этому непрерывно мчащемуся потоку прошлого, но и сумел повернуть этот поток в другое русло. Тяжелая это штука — ворочать прошлым. Все мускулы ноют, словно одними руками переворачивал вверх гусеницами десантный вездеход...

— Дурной сон привиделся, — старательно выговаривая слова, проговорил Кирилл. — Подождите меня в столовой, я сейчас подымусь...

Он поднялся, дивясь тому, что смог сделать. Внутри его было что-то тяжелое, мертвое, что теперь постоянно нужно было но-

сить при себе. Господи, тошно-то как! Он оттолкнулся щекой от чьей-то свернутой куртки, подсунутой ему под голову,— ушли ведь и забыли... Его одежда, уже высохшая, висела напротив погасшего камина. Он оделся, выбрался из дома. Вчера, в темноте, он не рассмотрел это причудливое сооружение — что-то вроде длинного павильона, с одной стороны ограниченного островерхой колокольней, а с другой — старинной пожарной башней с серебряным шаром на плоской крыше. Что ж, если это все сооружено специально для таких аварийных ночлегов, то, наверное, каждая такая архитектурная причуда имеет строго функциональное объяснение.

Он невесело усмехнулся. Тонкий утренний туман, производное от вчерашнего ливня, слоистой палево-сиреневой дымкой прикрывал выход из лощины. Не задохнуться от этой свежести, этой тишайшей красы мог только робот... или мертвец. Чем был он после того, как вчера уничтожил то единственное, ради чего и стоило-то жить на белом свете? Ведь она так и сказала ему, расставаясь: «Без этого не стоило бы жить на Земле...» Сказала бы.

Теперь не скажет.

Он глотнул холодного воздуха, превозмогая боль,— надо было привыкать, теперь ведь боль будет постоянной составляющей всех его ощущений. Сейчас он пойдет вниз, к озеру, пройдет мимо ее дома, и тогда боль взыграет уже в полную силу. Так что держись, Кирилл Павлович!

Я держусь, отвечал он себе, я просто удивляюсь, как это у меня получается. Никогда бы не заподозрил, что у меня столько силы все это выдерживать... И что-то будет дальше?

Он тихонечко двинулся в туман, уже угадывая слева очертания маленького дома. Все было тихо, и он, не опасаясь, обошел палисадник и подобрался к окну. И замычал, потому что такой боли он и представить себе не мог: она стояла у письменного стола, во вчерашнем примятом платье, и медленно перекладывала какие-то бумаги. Как он мог забыть, что вот так же побежал к озеру умываться и подобрался к окну, и она так же стояла, перебирая все лежащее на столе — искала носовой платок; теперь ему стоило только провести мокрой рукой по натянутой пленке, чтобы та скрипнула и запела под его пальцами,— и все началось бы сначала, словно вчера он и не бежал с ее порога: она вскинула бы голову и, как это умела она одна, в доли мгновения очутилась бы у окна, прижимаясь щекой к тому месту, где он опирался на тонкую, стремительно теплеющую пленку... Он заставил себя сделать назад шаг, другой; она так и не поднимала

голову, и движения ее были замедленны и механичны, словно она и сама не знала, зачем вот так перебирает совершенно ненужные ей бумаги. Было в ней что-то неживое, погасшее, и от нее — вот такой — уходить было во сто крат тяжелей.

Он пятился, пока не влез в воду, потом набрал полную грудь воздуха, словно собирался туда нырять, круто повернулся и помчался по тропинке, ведущей вдоль берега к вертолетной станции. Когда он позволил себе обернуться, домика уже видно не было.

Через час с четвертью, задыхаясь, он выбрался к вертолетному стойбищу. Ни одной машины, как ни странно, не было. «Когда рейсовая?» — спросил он киба-диспетчера, услужливо выползшего из своей будки. — «Через четыре часа». — «А если вызвать?» — «Да вряд ли получится быстрее, в нашем регионе лишних не держат. Чай, не Альпы».

Кирилл отошел на кромку поля, проверил траву — нет ли пятен смазки, присел и натянул куртку на голову. Сердце болело так, что заполняло собой каждый уголок его тела.

Обратно, даже если бегом, — не меньше часа. Это если он совсем рехнется и ринется назад, ополоумев от боли. Но он выдержит. Так или иначе, а час времени у него есть. «Если я куда-нибудь двинусь до прибытия вертолета, — сказал он кибу, — держи меня за ноги и не пускай. Силушки хватит?» — «Не сумлевайся», — заверил его киб.

Он дожевал последний кусок омлета, с усилием проглотил. Столовая была пуста, только из-за соседнего столика, страдальчески приподняв брови, с бесконечным сожалением глядел на него маленький механик.

— Знаете, я действительно прилягу еще на часок, — сказал ему Кирилл. — Только сделайте милость, не насылайте на меня во сне кибермедика.

— Клянусь Волосами Береники! — не без аффектации откликнулся халдей. — Но, видит Вселенная, кого боги хотят погубить — лишают разума...

— К счастью — не сердца.

Он добрался до своей каюты и рухнул на койку, уповая не на богов, а на исполнительность киба, который в случае чего удержит его за ноги...

Проспал он не час, а все четыре и проснулся от зудящей тревоги. Зудел вертолет, дававший полукруг над неожиданным пассажиром и примериваясь, как бы подсесть поближе. Но кроме вертолета было и еще что-то, уже пришедшее в голову, но пока не нашедшее словесного выражения. Чего-то он не учел...

Недодумал... Ну хорошо, сейчас он улетит, последняя возможность накликать непоправимую беду исчезнет.

Ну да. Он-то исчезнет. Но раз это произошло... Ведь это может быть и НЕ ОН!!!

Он вскочил, и тотчас же гибкое щупальце хлестким арканом оплело ему ноги. Он шлепнулся, взвыв от бешенства.

— Кретин! Я же тебе велел — до вертолета. До!

— Извиняюсь. Вертолет еще не сел.

Вертолет сел.

— Есть в кабине фон дальней связи? Быстренько законтачь меня с диспетчерской Байконура.

Киб со свистом свернул щупальце, кальмаром мотнулся к вертолету и наполовину скрылся в окошечке.

— Сработано! — доложил он через десять секунд.

— Вот и умница. А теперь проинформируй диспетчера, что космолингвист Кирилл Анохин прибудет на «Харфагр» точно к моменту отлета. И не ранее.

Он шагал по тропинке вниз, к зеленеющему, еще не осеннему озеру, и твердо знал, что оставшиеся двадцать три дня не позволит себе ни одной встречи, ни единой фразы.

Но если возле нее появится хотя бы захожий турист — он свернет ему шею. Потому что, оставаясь для нее невидимым, он не спустит с нее глаз ни днем ни ночью.

И, уже подходя к ее дому, он вдруг вспомнил, что за сегодняшний день уже дважды проходил ТО САМОЕ место. И ведь ничего не почувствовал. Даже не заглянул вниз, в воду. Значит ли это, что он сумел обмануть судьбу, или все-таки она обманывала его, и беды нужно было ждать просто в другом месте?..

Его приютил длинный нелепый коттедж, в котором ночевали туристы,— пропахший сеном, которого в нем не было ни клочка, шуршащий полевыми мышами, набитый, оказывается, самой разнообразной всячиной. Настоящий странноприимный дом... Не много ли на него одного?

Следить за ней, скрываясь в кустарнике на склонах холмов, оказалось делом несложным,— повинуясь каким-то внутренним толчкам, она неизменно приходила туда, где бывали они вместе... где могли бы они быть вместе. Безучастная ко всему, она отсиживала положенное время и медленно брела домой, совершенно не зная, что ей делать по пути, чтобы не вернуться к дому слишком поспешно. Один раз она вдруг запнулась и беспомощно поглядела вправо, словно не зная, как же быть дальше... Кровь застучала у него в голове, и он, перестав владеть

собой, вылез из своего укрытия и двинулся ей навстречу: ведь это здесь он взял ее на руки и нес до самого дома, распевая дикую языческую песню собственного сочинения. Какая сила заставила ее оглянуться призывно и растерянно? Или жить не могла она больше вот так, без его рук?

Она увидела его, и лицо ее засветилось. Так освещается озеро, когда ясный костер зажигается на той стороне и золотая дорожка силится дотянуться до противоположного берега. Он смотрел на это лицо и с ужасом понимал, что все начинается сызнова, пусть тремя днями позже — это не имело значения. Важен был только конец, только девятнадцатое мая... «Вы не улетели?» — срывающимся голосом проговорила она. Он медленно выдыхал воздух, так что внутри получалась ледяная пустота, и, пока этот холод не заполнил его всего, он не разжал губ. Потом отвел глаза, медленно произнес: «В тот раз я был болтлив и навязчив. Извините». И пошел прочь, с трудом переступая негнущимися ногами.

Больше он не позволял себе забыться.

Дважды проходили толпы — то геологи-практиканты, то просто гуляющие, чудом забредшие в такую даль. Все это не имело значения — она к ним не вышла (да и как могло быть иначе — в эти последние дни они прятались от любого шума, способного помешать им).

Потом к ней, сиротливо сидящей на замшелых мостках, подошел человек, и Кирилл узнал Гейра. Гейр? Неужели — Гейр?..

Он готов был снова ринуться вниз, но в этот миг взвыли спасительные сирены: совсем неподалеку, из подпространства, вываливался совершенно истерзанный корабль. И вахтенные, и те, кто был свободен, — все уже через три минуты были в скафандрах, готовые ринуться в гофрированные переходники, ведущие к уже изготовившимся буксирам.

«Всем оставаться на местах, отчалить буксиру-толкачу, команда — киберы!»

Приказ, раздавшийся в шлемофоне каждого спасателя, ошеломил не одного Кирилла — ведь люди могли еще быть живы, и кому, как не им, персоналу спасательного буя, было мчаться на подмогу? Но команду отдал человек, не один десяток лет проведший в дальних зонах. Буксир рванулся вперед с ускорением, которого не выдержало бы ни одно живое существо, — нет, прав был начальник станции. Прав был он и тогда, когда, оглядевшись, рявкнул на весь тамбурный отсек:

— А почему связники в шлюзовой? Марш на место!

На бегу расстегивая скафандры, связники помчались по коридору, как проштрафившиеся приготовишки. Конечно, четкая связь — это сейчас чуть ли не главное, когда надо сбалансировать человеческий разум и скорость, доступную только механизмам. Они мчались галопом, и начальник, гулко фыркая, старался не отстать от них.

— Торбов — держать буксир, Маколей — держать Базу, — выпалил он, врываясь следом за всеми в центральную рубку. — Анохин и Нгой — в резерве. И повремените-ка стаскивать скафандры...

Ждать и быть наготове. Нгой гибким и естественным движением скользнул вдоль стены и опустился на корточки, готовый в любой момент оттолкнуться лопатками и в один миг занять по команде нужное место. Анохин покосился на него — и присел рядом. Так они все видели и никому не мешали. А на экране у Торбова буксир, лихо тормознув и разбросав во все стороны опоры-захваты, уже присасывался к борту искалеченного корабля как раз в том месте, где смутно виднелись пазы катапультного отсека. Если там есть хоть кто-нибудь живой, то теперь осталось совсем немного...

«Все собирался заглянуть к вам, да как-то не получалось, — сказал Гейр. — Ну, до будущего лета!» — и пошел берегом, и она стояла лицом к озеру и даже не поглядела ему вслед.

— В шлюзовой, готовить десантный бот! — крикнул начальник станции. — Шесть человек, для связи Нгой, он сейчас подойдет.

Нгой вскочил и выметнулся в дверной проем. Гейра тоже уже не было видно.

— Анохин — держать бот на связи!

Вглядываясь в еще не засветившийся экран и с недоумением замечая, как неслышно подобралась осень, — вот ведь и зелень на том берегу вся покрылась желтыми и багряными пятнами, — он вдруг впервые и оттого с особой остротой осознал всю несоизмеримость того, что долетало до него с берега похолодавшего и посеревшего озера, — и той настоящей жизни, движущей частью которой были его руки, его глаза, его мозг.

— Пошел бот! — крикнул начальник станции.

Руки сами собой замерли на пульте настройки, не выпуская улетающий бот из рамок экрана. «Иди, — сказал он ей, — иди, пожалуйста, — мне сейчас будет тяжело...» Она послушно побрела к дому, ступая неуверенно, как ходят больные или почти незрячие. Буксир, прилепившийся к боку корабля, рванул на себя

все щупальца и вместе с выдранным кубом катапультной камеры отлетел в сторону. Она уже подошла к изгороди и теперь держалась за прутья, словно у нее не хватало сил добраться до порога.

— Буксиру оставить камеру, уводить корабль!

По-видимому, на дисплее, не видном Кириллу с его места, появились какие-то угрожающие данные, переданные буксирным компьютером. Буксир разжал щупальца, так что камера едва видимым кубиком повисла в черноте, и увеличенно боднул громадную тушу гибнущего корабля, как муравей толкает перед собой увесистую гусеницу. Видно, корабельный котел пошел вразнос, потому что снова послышалась отрывистая команда:

— Буксиру развить полную мощность, выбрасывать на ходу кибов!

Она вошла в сад, и мокрые листья, задевая ее светло-серое платье, оставляли на нем темные пятна и полосы. Сейчас она войдет в дом, и сегодня ей уже ничего угрожать не сможет. «Спокойной ночи тебе, серая ящерка», — и она обернулась, словно услышала. Бот подлетел к висящему в темноте кубику и слился с ним. В наушниках тотчас же треснуло и заверещало.

— Живы! — крикнул Кирилл. — С бота передают — изнутри доносится стук! Сейчас будут налаживать переходник...

Она кивнула вечернему серому озеру и затворила за собой дверь. В рубке, куда набилось уже человек двадцать, стоял радостный гвалт. Живы! И это на корабле, который, по меньшей мере, вылез из подпространства в кометный хвост, если только не в ползучую малую туманность... Везунчики!

Кирилл скосил глаза — с момента аварийного сигнала, когда автоматически включается отсчет аврального времени, прошло ровно сорок восемь минут. Где-нибудь там, на приличном уже отдалении, вскоре беззвучно громыхнет обреченный корабль. Буксира жалко, да и что поделаешь? Главное — живы люди. Сорок восемь минут, и спасательная операция прошла, как будто перед глазами развернулась то ли учебная, то ли приключенческая лента. Нет, в этой настоящей жизни он не жил. Работали руки, работали безупречно, и кибер позавидовал бы... Тогда какая же разница между этим настоящим — и тем прошлым, с которым он денно и нощно мыкается один на один?

Да вот в том и разница — то прошлое неразделимо принадлежит ему одному. И тем более — подчиняется.

А в остальном прошлое и настоящее равны — он так же, как и в реальной жизни, спасает человека. Любимого, дорогого, но

если оценивать со стороны — какая разница? Важно, что спасает человеческую жизнь. И не за сорок восемь минут. Девять месяцев надо продержаться под этой двойной нагрузкой, ни на час не отвлечься, ни на день не заболеть. И молчать. Не поверят ведь, помешают. Значит, молчать и делать свое дело — спасать человека.

Экран погас — бот подвалил к шлюзовому причалу.

Три последних дня, которые оставались ему на холмистом берегу, он провел почти спокойно. То, что раньше было болью и страхом, теперь обернулось заботой и делом. Ему даже показалось, что он утратил какую-то долю своего чувства, — что ж, неудивительно: ведь все то, чем он занимался с того момента, как бежал от нее в исполосованную молниями ночь, было не чем иным, как методичным убиением любви. «Во имя жизни, да! — кричал он себе.— Во имя жизни, как убивают колос во имя сотворения куска хлеба...»

И замечал, что логика его безупречна и доводы убедительны.

Он успокоился настолько, что в последний день позволил себе пройти мимо нее. Она стояла у воды, безучастно глядя на отражение лесистого мыса, который когда-то напоминал им ассирийского царя, омывающего озерной водой свою черную бороду. Услышав его шаги, она не обернулась.

— Кира! — окликнул он ее каким-то чужим голосом.

Она посмотрела на него через плечо, не отвечая.

— Вот я и улетаю...— совершенно потерянно забормотал он.— Теперь уже — окончательно...

Он ведь приготовил какую-то фразу, но сейчас ничегошеньки не мог вспомнить.

— Живите счастливо! — выдохнул он, хотя смысл сейчас имело только первое слово.

В ее широко раскрытых глазах не было ничего, кроме отражения озерной воды.

— А я... не живу,— с каким-то спокойным удивлением проговорила она.— Мне просто незачем жить.

На него пахлынул такой ужас, что он закрыл глаза. И он знал, что, когда откроет их, ее уже не будет на этом месте.

Он заставил себя глянуть — она стояла все так же, не исчезая, не пропадая, не утекая струйкой серебряного песка. Словно это была уже не она.

Он пошел прочь, все время оглядываясь и ожидая, что не увидит ее на прежнем месте, но она не ушла даже тогда, когда он скрылся за поворотом, и тогда он понял, что из этого потока

прошлого исчез он, прошлогодний, а весь берег остался, только виден он теперь не вблизи, а из какой-то дальней точки — то ли сверху, то ли из глубины холмов. И кроме этого неожиданного виденья осталась спокойная уверенность в своей власти над всем происходящим на этом берегу.

Она теперь редко выходила из своего домика, и, когда это случалось, он неотступно следил за ней, готовый остановить любой ветер, утихомирить самую неистовую бурю. С первых чисел октября она стала на два дня улетать в соседний городок, где давала какие-то уроки и брала материалы для работы у себя, на берегу. Городок он видел смутно, и это его не тревожило — почему-то он знал, что там с нею ничего не может случиться. Вертолет неизменно подлетал к самому ее дому, и эти ее отлучки приходились на вторник и среду.

Девятнадцатое мая было субботой.

Когда выпал пухлый снег — раз на всю зиму устоявшийся и ни разу не подтаявший,— с того берега так и не замерзшего озера стал приходить старик егерь, тот самый, который любил разводить костры под «ассирийской головой», и они молча бегали на лыжах — он по своим делам, осматривая зимние пристанища знакомых ему зверей, а она просто так, следом, чтобы не бродить совершенно одной. Это было хорошо, что она каталась под таким присмотром, и удивляло Кирилла только одно — что никакое зверье не подходило к ней и ничего из ее рук не брало.

В монотонной напряженности совершенно одинаковых дней время летело неуловимо, и, когда снег разом стаял и холмы подернулись неуверенной прозеленью, он вдруг изумился собственному спокойствию: ЭТО надвигалось, и страха не было.

На девятнадцатое он взял себе ночную вахту и с первых же минут почувствовал неудержимое желание как-то взбодриться. Коньяку выпить, что ли? Ни одним уставом пить на вахте не запрещалось, потому что такое никому и никогда просто в голову не приходило. Но сегодня он знал, что стоит вне правил и вне времени, и не пошел на камбуз только потому, что сам сказал себе: рано. Еще, может быть, и не так припечет. Ночные часы текли неторопливо, все световые индикаторы фиксировали тишь и благодать, и серебряной звездочкой тлел ночник в квадратном окне, оплетенном по низу уже набравшим силу плющом.

К восьми ночник еще не погас; явился кто-то на смену, и Кирилл, косясь на видимый одному ему огонек, побрел по коридору, чтобы запастись всякой снедью. Желательно было целый

день пребывать в собственной каюте, и чтобы никаких авралов. Но настоящее не было в его власти, и это весьма его тревожило. Он наскоро похватал бутербродов, запасся целым пакетом погремушечно дребезжащего кофе и задумался перед редко открываемым баром. В тот первый вечер она пообещала ему кофе и ром. Чашечки с кофе он поставил на ее прямые колени. Рома не было. Восполним, сказал он себе.

В каюте он обратил внимание на то, что светлячок погас; он забрался с ногами на койку и принялся за дело. В первую очередь он испортил погоду: мелкий колючий дождь и резкие срывы ветра никак не наводили на мысль о прогулке. Легкий озноб заставил ее забраться обратно в постель с прелестной старой книжкой, которая каким-то чудом отыскалась на верхней полке; так прошло время до обеда. Часа в три он что-то отвлекся, и выглянуло солнышко — пришлось срочно подключать вариант «старый егерь». Какая-то мелочь, срочно понадобившаяся старику, обернулась цепью воспоминаний, затянувшихся на добрых три часа. Итого — шесть вечера. Начинало темнеть, и Кирилл забеспокоился: сумерки и весенняя пора располагали к порывам необдуманным и трудно программируемым. Оставалось не очень приятное, но абсолютно надежное средство: легкая зубная боль. Переборщить тоже нельзя — последовал бы вызов врача или обращение к сильнодействующим средствам, а тут чем черт не шутит... А легкая — это снова постель, и искусственный камин, и таблетка совершенно безобидного болеутоляющего. В половине девятого началась трансляция из Байрейта — давали «Тристана и Изольду», и можно было позволить себе несколько расслабиться. Вагнера он не любил, считая безнадежной архаикой, сейчас же его и подавно интересовала только продолжительность спектакля. Закончился он, хвала обстоятельным классикам, достаточно поздно, чтобы напрягать фантазию в поисках каких-то занятий, — автоматически включился маломощный гипноизлучатель, навевающий мысли о сне, и до полночи остались минуты.

Кирилл вытянулся на койке, закинул руки за голову. Устал он безумно, и это не было приятной ломотой в меру поработавших мускулов — нет, это было одеревенением тела, слишком долгое время проведшего в полной неподвижности. Вот только какое время — сутки? Или почти год?

Что-то заставило его сесть, напряженно всматриваясь в противоположную стенку, как будто на ней могло появиться какое-то слово. Но слово уже явилось, оно звучало как гонг — год! Год!

Добровольно приковав себя к прошлому, он ни разу не подумал, что за это время на настоящей Земле прошел почти год. Свое дело он сделал, уберег ее, ничего не подозревавшую, от всего, что могло быть, и даже от того, чего и быть не могло. Жизнь ее, направленная его волей по новому руслу, безмятежна и безопасна. Во всяком случае, она обещала быть такой год назад. Но что бы ни случилось за этот год — все равно это была жизнь БЕЗ НЕГО! И, шумная или одинокая, счастливая или безрадостная, это была реальная жизнь, а не скрупулезное, поминутное повторение прошлого. И он сам сделал так, чтобы вытравить у нее малейшее воспоминание о нем!

Так чем же она жила все эти девять реальных месяцев, промелькнувших на родной планете?

Он поймал себя на том, что сидит скрестив ноги и обхватив пальцами узкие щиколотки и непроизвольно раскачивается, как медведь в тесной клетке, и вместо того торжества, о котором он мечтал всю зиму, — ведь справился, ведь получилось, ведь поломал он, к чертовой бабушке, ту нелепую трагическую околесицу, которую нагородила судьба, — вместо всего этого он получил в награду один коротенький вопрос: а теперь-то что?

Он глянул на часы — было двадцать минут первого. У него появилось ощущение, что где-то он оступился и беззвучно ухнул в зыбкую, студенистую массу — то ли двадцать минут назад, то ли год... Как герцог Кларенс — в бочку с мальвазией.

Он нагнулся и нашарил под койкой открытую, но так и не тронутую бутылку рома. Справились с прошлым — справимся и с будущим. Хватит с него космоса, и далекого, и близкого. Дождаться первого же корабля, а там будет видно, что-то теперь. И если увиденное будет уж чересчур расходиться с желаемым — что ж, поломаем и это. Опыт обращения с судьбой уже имеется.

Он нарочно подходил к домику справа, по сосновому молодняку, прилично вымахавшему за год... Он потряс головой — за два года! Прошлой осенью он спустился прямо на пляж, а потом бежал к станции Унн, не очень-то глядя по сторонам. Как всегда, пристально глядели на него два ясных костра, зажигавшихся с начала сумерек у подножия «ассирийской головы», что на том берегу. Небо было прозрачно, и он отнюдь не стремился услышать голоса любителей дальних прогулок, спасающихся от напастей погоды. Но ее он должен был увидеть уже сейчас, до того как тропинка пойдет по песку.

Он замедлил шаг, высматривая впереди светло-серое платье. Под ногами захрустел песок.

Ну хорошо. Пусть не светло-серое. Пусть не платье. И пусть не здесь. Хоть в саду. Хоть на пороге...

Калитка была распахнута. Из окна лился яркий свет, но обходить дом и заглядывать через стекло у Кирилла не хватило сил. Он перепрыгнул через четыре ступеньки, рванул на себя дверь и остановился, не входя дальше.

Пустые книжные полки, на письменном столе — лампа без абажура и чучело крупного бурундука. На полу стебли камыша, и лохматая шкура, свалянная на топчан, и живой бурундучок, остекленелыми глазками засмотревшийся на чучело собрата, и острый запах полыни и формальдегида.

Здесь ее быть не могло. А где она могла быть? Не может же быть, чтобы этого никто не знал!

Вот тебе и год, прошедший в реальной жизни...

Сзади, в саду, затрещало, и Кирилл, стремительно обернувшись, увидел старого егеря, который привязывал к забору двух пестрых коз. Взгляды их встретились, и егерь, оставив вдруг свое занятие, медленно пошел по дорожке, щурясь и явно стараясь что-то припомнить.

— Добрый вечер, — сказал Кирилл, очень стараясь, чтобы голос у него не сорвался. — Вы не пытайтесь меня вспомнить, я ведь был здесь два года назад... Конец августа... Сентябрь... Вы тогда на том берегу жили. А здесь, в этом доме...

Он остановился, потому что, собственно, уже спросил все, что ему нужно было знать, чтобы жить дальше. Старик подходил, отводя руками ветки бузины и жасмина, вылезающие на тропинку, и по его лицу нельзя было сказать, понял ли он, о чем его спрашивают, или нет. У последней ступеньки он замер и уставился тусклым взглядом в нижнюю пуговицу блестящей Кирилловой куртки. Похоже, что он намеревался молчать долго.

— Вы не помните?.. — потерянно пробормотал Кирилл.

Старик вскинул подбородок, и лицо его было неприветливо и замкнуто.

— Так ее давно уже нет, — скупо проговорил он, словно осуждая Кирилла за неуместное любопытство.

Кирилл молчал, словно не расслышал его слов. Нет, этот старик что-то путает. Нужно бежать к Уни. Нужно спрашивать. Нужно искать. Да не может быть, чтобы пережитое и выстраданное им оказалось напрасным! Он же чувствовал, что ломает прошлое, повертывает, не дает вернуться на прежний путь! Почти год он

ворочал эту глыбу, у него все тело поет от этой текущей на него тяжести — и голова, и руки, и позвоночник... В конце концов, существует же какая-то мировая справедливость, какой-то вечный закон, по которому за великую жертву должно следовать и великое воздаяние, — а жертвовал он ни много ни мало как любовью! Он же отнял любовь у них двоих, и пусть это останется тайной, чем была эта любовь для нее, — но у себя вместе с нею он отнял половину жизни. Так не может быть...

Не может быть, чтобы такой ценой он не купил хотя бы неделю.

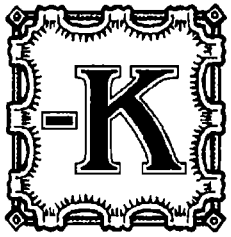
Хотя бы день.

— Год назад, — проговорил он хрипло, ожидая, что его остановят и поправят. — Год назад, девятнадцатого мая...

— Нет, — досадливо поморщился старик. — Вы что-то путаете, молодой человек. Это случилось два года назад, двадцать седьмого августа. Была чудовищная гроза. Слышали вы когда-нибудь о молнии Перуна? Поток огня и грохота, в тысячи раз превышающий обычный грозовой разряд... Это считалось легендой. Я и сам не верил, пока...

Он замолчал и неодобрительно пожевал губами, словно упрекая себя в излишней словоохотливости. Потом обернулся и пошел к калитке, чтобы заняться своими козами.

— Не понимаю... — бормотал он себе под нос. — Не понимаю. Какая сила заставила ее выбежать на берег в такую грозу? Не понимаю...



орели?

Он вскочил и уставился на свою жену. Ну да, Корели. В чем же дело? Что ему было вскакивать и орать на весь дом? Корели...

— Корели, черт бы тебя побрал..

Он снова сел на постель и долго тер виски. За эти четыре года буквально не было дня, чтобы у нее не появилось очередной ангельской привычки. Вот и сегодня — смотреть на спящего человека.

— Что за манера — смотреть на спящего человека?

Вот уже четыре года, как из тысяч таких вот маленьких привычек она пытается создать саму себя. Каждый день она старательно изыскивает новую блажь, при этом не забывая и периодически повторяя предыдущие. Вероятно, про себя она называет это «активным протестом против нивелирования собственной личности». Сейчас этот активный протест выражается в том, что она упорно смотрит на него круглыми пуговичными глазами, разделенными надвое узкой прорезью стоячего, остекленелого зрачка. Она смотрит на него, как снежная птица чичибирилинка.

— Ну, что ты смотришь на меня, как птица чичибирилинка?

Но стоячая вода зрачков — стоячая вода. Совершенно очевидно, что воспоминание о снежной птице не обременяет памяти жены. А это была очень красивая птица. Совсем маленькая, с ладонь.

— Неужели не помнишь? Совсем маленькая птица, с мою ладонь...

Только глаза у нее были не круглые, как у людей, а удлиненные, с перламутровой инкрустацией белка. Снежная птица, встреченная ими в их первое лето, когда они забирались все дальше и дальше на север, пока не дошли до бурых полярных болот. Он хотел вернуться, но Корели потянула его дальше, ей хотелось обязательно дойти до самого полюса, чтобы увидеть настоящий снег, и они его увидели, потому что лето было холодное и полярная шапка растаяла не до конца. Но если бы лето было жаркое, они напрасно прошли бы до самого полюса, и, может быть, Корели потащила бы его на юг, на самый-самый юг, потому что ей приспичило увидеть снег.

Островок снега был совсем крошечным, они дошли до него к ночи и провели на нем ночь. И тогда к ним прилетела белая птица.

— Она прилетела к нам...

— Я помню,— сказала Корели.— Я все помню, Сит.

Он перестал тереть виски и вскинул голову:

— Да ну?

Оказывается, она помнила еще что-то, кроме всех бесчисленных привычек, входивших в комплекс ее старательно выдуманного «я».

— Не надо,— попросила Корели,— не надо так. Это была действительно красивая птица. Она села перед нами и чуть-чуть распустила крылья, чтобы кончиками их опираться о снег. Она долго смотрела на нас и все не могла понять, кто мы такие.

— Как же,— сказал Сит,— старалась она понять. Она просто тупо переваривала пищу, потому что обожралась всякими червями из бурых болот, прокисшей ягодой и падалью. Она всеядная, твоя снежная птица чичибирилинка. Всеядная тварь.

— Не надо,— снова попросила Корели,— тебе самому потом бывает неприятно, когда ты так говоришь.

Сит быстро глянул на нее и потянул к себе одежду.

— Миленькая моя,— он дернул вверх язычок застежки так, что взвизгнули металлические зубчики,— за последние четыре года ты удивительно научилась распознавать, что мне приятно, а что — нет. А потом являться на рассвете и пялить на меня глаза так, что я просыпаюсь в холодном поту.

Корели повернулась и пошла в свою спальню. Теперь, когда она уже не смотрела на него немигающими птичьими глазами, а бесшумно скользила вдоль стены, легко касаясь ее пальцами опущенной руки, и каждое ее движение было удивительно прежним — из того далекого первого лета,— теперь все вдруг перевернулось.

— Да постой же ты, ради бога, — досадливо крикнул он. — Иди сюда, раз уж ты меня разбудила. У меня ведь есть еще время.

Она остановилась, прислонилась к стене, спрятав за спиной руки.

— Нет, — сказала она. — Не надо, Сит.

Так. Значит, теперь с интервалом в два-три дня она будет говорить ему «не надо». Нарождение второй привычки за одно только утро.

— Сит, я не хочу так — только потому, что у тебя есть время...

— Миленькая моя, я что-то не припомню, чтобы когда-нибудь мы с тобой задумывались над мотивировками.

— Да, — сказала она, — потому что раньше была белая птица, и снег, и звезды, такие яркие, что отражались в снегу.

Он прикрыл глаза и честно припомнил снег, и птицу, и тень от птицы, когда он высек огонь, и все это появилось, но звезды в снегу не отражались.

— Нет, — сказал он, — такого просто не бывает.

— Белая птица, — повторила она, — и звезды, которые отражались в снегу.

— Птица была, — сказал он.

— И звезды, которые отражались в снегу.

— Черт с ними, пусть отражались.

Корели ничего не сказала. Вот так все четыре года, все эти четыре проклятых года. Есть такая жуткая болезнь — несвертываемость крови. Она сама по себе не делает с человеком ничего страшного, она только позволяет крови вытекать — капля за каплей, беспрестанно, и так до самого конца.

С каждой каплей все легче и легче становится тело.

Вот оно стало совсем легким. Невесомым. Чужим.

Чужим.

— Ну, вот, — сказал Сит, — вот теперь у меня и времени не осталось.

Он пошел к двери и остановился, когда оказался рядом с Корели.

— Ты будешь выходить из дому? — спросил он.

— Да, — сказала она, — но к твоему приходу я вернусь.

Он кивнул и пошел по узенькой тропинке, стараясь думать о дневных делах, чтобы прогнать раздражение, которое не покидало его с того самого момента, когда он проснулся. Но все кругом: и капли росы на шершавых оранжевых листьях, и сиреневая

чистота близкого горизонта, и свежий хруст промерзшего за ночь гравия — все непрошенно возвращало мысли Сита к тому, что сейчас — утро, раннее утро. Нехорошо начавшееся утро.

Он свернул с тропинки, подошел к гаражу и выбрал себе мобиль; задав обычный курс, почувствовал, как машина плавно набирает высоту. Он прикрыл глаза, чтобы окончательно сосредоточиться на дневных делах, и это ему наконец удалось. Так он и сидел, уже совершенно спокойный, еще несколько минут, пока мобиль не нырнул вниз, и тогда Сит приоткрыл глаза — и разом вспомнил свое пробуждение. Так же как и сейчас, он тогда лишь приподнял ресницы и увидел край лилового платья и совершенно чужие, незнакомые ему руки.

Тогда он вскочил и крикнул: «Корели?» — и действительно перед ним стояла жена. В лиловом платье, спрятав руки за спиной. Все время она прятала руки за спиной, и поэтому он не мог припомнить, что же так поразило его в самый момент пробуждения.

А сейчас он отчетливо вспомнил эти смуглые, никогда не виденные им руки и понял, что Корели уходит от него.

Сит задохнулся, словно его мобиль на полном ходу врезался в полосу непроглядного, материально существующего одиночества. Так, значит, она уходит. Но почему именно сейчас и почему это явилось для него такой неожиданностью?

Ее поступок выпадал из логической схемы их взаимоотношений, до сих пор превосходно объяснявшей ему как его собственные, так и все ее поступки. Кроме вот этого. Следовательно, или действовавшая годами схема неверна, или поступок...

Сит вдруг успокоился. Схема верна, Такая, как Корели, не может уйти от такого, как он. Бессмыслица. Здесь не было ни тени самодовольства — напротив, он чересчур хорошо знал собственные недостатки. Именно потому она и не могла покинуть его, потому что он был достаточно безобразен и невыносим, чтобы иметь право на постоянную, нескончаемую доброту и нежность. Потому он и не ждал, что она решится покинуть его.

А может быть, руки — это только показалось? Он ухватился за это утешение и заставил себя обрести прежнюю самоуверенность и уже окончательно успокоился, когда вспомнил, что Корели обещала вернуться к его приходу. Если бы она решилась уйти совсем, она сделала бы это сразу. На постепенный уход требуется слишком много сил. Все только показалось. Миленькая моя, никуда ты от меня не уйдешь.

Корели так и стояла, прислонившись к дверному косяку и спрятав руки за спиной, пока мобиль мужа не взмыл над садом; тогда она быстро пробежала по той же дорожке, по которой только что проходил Сит, и села в первую попавшуюся машину. Мобиль рванулся так, что ее вжало в губчатую спинку сиденья. Это уже слишком похоже на бегство. Не надо так. Она ведь еще вернется. Она обещала вернуться.

В темпом — не всем хочется быть узнанными — вестибюле было многолюдно. Корели быстро подошла к свободному экранчику фона и наклонилась, заслоняя его плечами.

— Би, пожалуйста, — проговорила она, — выйди ко мне.

Би подошла сзади, и Корели вздрогнула, когда та крепко взяла ее за руки.

— Ну что, глупыш, все-таки пришла?

Корели несколько раз кивнула.

Би потащила ее в нишу, и обе уселись на каменную скамеечку, низко опустив головы.

— Не заметил? — спросила Би, разглядывая руки своей подруги.

— Кажется, нет, — ответила Корели. — И напрасно я остановилась на этом. Все надо было кончить еще вчера. Чтобы от меня ничего-ничегошеньки не осталось.

— Успеешь, — сказала Би. — Это никогда не поздно. Я сама когда-то тоже вот так торопилась.

— Пожалуйста, Би, не начинай все сначала. Вчера я тебя послушала, и напрасно.

— Глупыш, это необходимо — говорить, говорить, говорить... Потому что когда от тебя уже ничего не останется, ты, может быть, захочешь вернуть все и — не сможешь.

— Но почему же, Би? Ведь ты сама вчера сказала; попробуй сначала изменить только руки, если передумаешь, я сделаю их такими же, как прежде.

— Ничто не возвращается, чтобы стать как прежде. И руки твои будут прежнего цвета и формы, но — они один день были другими. В них навсегда останется память о том, что целые сутки они были гибкими, смуглыми руками южанки. И потом...

— Что — потом, Би?

— Ладно, не будем все сначала.

— Тогда, пожалуйста, Би, сделай меня совсем другой. Чтобы ни одна черточка не напоминала о том, какой я была прежде. И, пожалуйста, не уговаривай меня больше, потому что сейчас у меня еще есть силы хоть что-нибудь сделать, а скоро и сил этих

не будет. Если бы ты только знала, как это страшно — когда ему все равно, абсолютно все равно, что бы я ни сделала. Одна и та же усталая насмешливость. Это равнодушие впитывает все мои силы, всю кровь, всю жизнь. Еще немного — и от меня останется одна пустая шкурка, съежившаяся кожица. Сделай меня новой, Би, я куда-нибудь уйду, спрячусь и, может быть, оживу. Пожалуйста, сделай меня совсем другой.

— Если ему все равно, то зачем же — совсем?

— Потому что ему все равно, пока я с ним. Но когда я уйду, его будет мучить мысль о том, что кто-то другой целует мои руки, и губы, и волосы, и дотрагивается до меня, и все другое. И потом, уходить надо совсем — чтобы без случайных встреч, совпадений и неожиданностей в будущем. Раз и навсегда. Не я это придумала и не сейчас.

— Да,— сказала Би,— не ты и не сейчас. Даже когда лист отрывается от ветки или ежик теряет иголку — им больно. Давным-давно люди пытаются расставаться безболезненно, они перепробовали тысячи способов, и это — всего лишь последний, но не думай, что наиболее удачный. Все равно больно.

— Знаю,— сказала Корели.— Но насовсем — это честнее. И мужественнее.

— И все-таки — подумай еще.

— Нет, Би, пожалуйста, Би, сделай, чтобы это было поскорее.

За спиной бесшумно поднималось тепло, нагнетаемое дверными калориферами, а впереди, по самому горбу уходящей за горизонт дорожки, апатично и безболезненно катилось по острому гравию маленькое вечернее солнышко. Узенький порог, граница домашнего тепла и вечерней пронизывающей сырости. Узенькая полоска, которая уже не твой дом и еще не тот мир, который лежит за пределами твоего дома. А ведь ты выбрал себе подходящее место: ни о чем не думая, ты выбрал себе удивительно точное место — на границе того дома, из которого ушла твоя жена, и того мира, в котором она теперь будет жить без тебя.

Сит вытянул ноги, он сидит на пороге пустого дома, теплые гладкие языки вылизывают ему спину.

Село солнце.

Сит просидел еще долго, и ноги его, длинные, как тени, совсем закоченели на уже покрывшейся инеем дорожке; тогда он встал и сделал несколько шагов вперед, чтобы размяться и согреться, но, перестав ощущать за спиной привычную теплоту жилья, он вдруг разом утратил прежнюю раздвоенность и понял,

что нет больше дома, из которого Корели ушла, и мира, который есть все остальное, кроме этого дома, — мира, где она пребывает ныне; он наконец осознал, что то и другое не разделено больше узеньким порогом — его прежней Корели одинаково не было нигде.

Сит вернулся в дом и долго искал теплую ночную одежду, — последнее время они с Корели никуда не выходили по вечерам. Они с Корели... О, черт, подумал Сит, вот уже и «мы с Корели». Вранье это. Добрая ложь, как над покойником. Все эти четыре года для него существовало только «я не выходил по вечерам». Что же делала Корели? Может быть, иногда она и уходила. Одна. Он не замечал. А теперь — «мы с Корели». Нет, подумать, как трогательно. И это тогда, когда ее уже нет.

Он наконец оделся и пошел по дорожке прямо туда, где только что закатилось солнце. Он шел очень долго, не сворачивая к гаражу; шел, пока впереди не засветились огни центра. И весь этот долгий путь он пытался вспомнить, уходила ли Корели по вечерам, а если и уходила, то что при этом надевала. Но сама одежда не была для него доказательством достоверности ее вечерних прогулок — нет, просто ему хотелось с предельной точностью увидеть, как его жена двигается по комнате, и раздевается, и одевается, и все другое: и тонкая фигурка жены послушно маячила перед ним в полутьме и все надевала и снимала, надевала и снимала все те одежды, которые действительно у нее были, а потом и те, что Сит придумал; но когда он подошел к самым первым домам центра, вдруг что-то словно оборвалось и созданная его собственным воображением картина перестала ему повиноваться, отделилась от плоскости его видений и двинулась ему навстречу, запрокинув голову и высоко подняв худенькие острые локти, как это делают женщины, когда им нужно что-нибудь застегнуть сзади на спине.

Сит задохнулся и закрыл глаза. Подумать только, ее больше нет. Нет ее больше — такой. Подумать только. Как будто об этом можно думать. Это если женщина вспоминает мужчину, она помнит его ум, его тело и душу его ума. Но когда мужчина вспоминает женщину, он вспоминает и тело ее, и ум, и душу ее ума, и душу ее тела... Ох, не то, все не то! Только душу ее тела вспоминает он, если это была такая женщина, как Корели. Разве это память мысли?

Сит приоткрыл глаза, глотнул, собираясь с силами, чтобы снова пойти вперед. Странно, как ему не приходило в голову, что от Корели еще что-то осталось, и это «что-то», запаянное в капсулу

чужого тела, живет, и двигается, и, скорее всего, думает сейчас о нем. Малюсенькое такое «что-то». Что же ты сделала, Корели, ведь ты убила душу своего тела! Он подумал еще раз, что малюсенькое «что-то» думает сейчас о нем, и что-то от прежней спокойной уверенности вернулось к нему. Не разлюбила ведь, миленькая моя. Устала, не выдержала, а ведь любишь, Решила спасать душу своего ума. Ты еще пожалеешь, миленькая моя.

Он перестал думать об этом малюсеньком и вошел в центр уже совсем прежним.

К нему подошла девочка и села рядом, положив локти на мокрую стойку. Сит скосил глаза и начал думать, поздороваться ему с ней или это излишне, и еще он понял, что не случайно забрел в этот тихонький замызганный бар, а выбрал его потому, что здесь принято разговаривать с посетителями. Он был здесь не впервые, но до сих пор хозяин не высылал к нему никого. Было видно, что ему это не надо. А сейчас вот подошла — совсем глупый ребенок, и округлые локотки под узеньким рукавом, намокшим снизу.

— Один? — спросила девочка и носком туфли пошевелила теплую куртку Сита, валявшуюся на полу.

— Один,— медленно ответил Сит.

— Совсем? — переспросила она.

— Совсем,— сказал Сит, с трудом отлепляя губы от края стакана.

— Ка-кой! — протянула девочка.— А почему ты один?

Сит вдруг подумал, что во всем цикле опьянения есть несколько минут, когда ты совершенно беззащитен и кто угодно может влезть в тебя и вытянуть самое сокровенное; и ты сопротивляться не сможешь. Он совершенно точно знал это о себе и подозревал, что и у других так бывает.

— Хочешь выпить? — спросил Сит.

— Нет,— сказала девочка,— очень горько, и я не люблю, и разговаривать трудно после этого.

— У меня ушла жена.

Девочка положила подбородок на руки и стала смотреть на него широко раскрывшимися глазами.

— Совсем?

Сит кивнул.

— Стала... другой? — спросила девочка почти шепотом.

Сит снова кивнул.

— А это очень больно?

— Да,— сказал Сит, хотя ему и в голову не приходило, как же это на самом деле люди становятся неузнаваемыми.— Да. Это... Это так, словно с тебя сдирают кожу. И по голому мясу красят другой краской, чтобы непохоже было. А волосы наматывают...

— Ой, не надо, пожалуйста, не надо, а то я убегу, а хозяин...

Ну да, она расплачется и убежит, а хозяин ее выгонит. И всем будет хуже. Вот что ты натворила, Корели.

Девочка подняла куртку, встряхнула ее и положила Ситу на колени. Он машинально следил за ее движениями, безотчетно думая о том, что ни в чем она не напоминает Корели. Хотя — если уж меняться, то именно так, до неправдоподобия, до парадокса. А ведь она еще любит его, ну конечно любит, и знает, что ему худо, хуже некуда, и ее неминуемо потянет узнать, что с ним и кто с ним, и, уповая на свою неузнаваемость, она пойдет навстречу ему...

И уже не существовало ничего, абсолютно ничего на всем свете, кроме этого огромного и жалкого: «а если?..»

Сит тихонько наклонился и осторожно, чтоб не напугать, чтоб не убежала, спросил;

— Ты бывала на самом севере?

— Ага,— сказала девочка,— совсем недавно.

— Там белые птицы.

— Да, мы видали.

— И снег.

— Да, глубокий, вот досюда.

— И звезды, такие яркие...

— Да, большие,— сказала она.

— А ты помнишь, какие именно?

Она покрутила головой, отыскивая то, с чем можно было бы сравнить звезды, ничего не нашла.

— Вот такие,— сказала она, отмеряя половину мизинца и показывая ему.— Вот.

— Они были такие яркие, что отражались в снегу,— горько сказал он.

— Наверное,— доверчиво согласилась она.

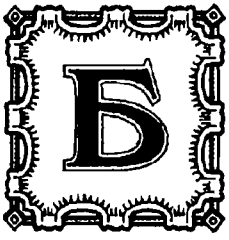
Сит встал и расплатился.

К середине этой ночи от него не осталось уже ничего прежнего. Отрезвевший и опустошенный, он брел по бесконечным улицам окраин, отыскивая последние ночные бары. Если ему попадалась отпертая дверь, он входил и, торопливо озираясь, находил ту, которая меньше всего походила на прежнюю Корели.

Тогда он подзывал ее и спрашивал себе вина, и говорил ей: «Холодно», и она отвечала; «Да, на улице холодно, но мы закрываем», и она спешила принести ему вина, и он, мучаясь раз от раза все больше, говорил; «Холодно, как на севере, ты бывала на севере?» Она подвигала к нему вино, расплескивая его на стол, и что-нибудь отвечала, но он продолжал; «Там были белые птицы, и снег, и звезды». Она снова отвечала ему что-нибудь, все равно что, и он, не в силах уйти не задав этого вопроса, спрашивал: «А ты помнишь, какие это были звезды?..»

А потом приходилось вставать, и расплачиваться, и уходить, и он снова брел по затворенным от него улицам ночных окраин, и путь его был бесконечен.

# ПЕРЕБЕЖЧИК[1]



ыло уже больше пяти. Астор шел пустеющим институтским коридором, и, по мере того как оставались позади стеклянные двери лабораторий и мастерских, уходили привычные дневные мысли, уходило все то, что делало его просто физиком. Оставалось пройти шагов двадцать, спуститься по традиционным ступеням вестибюля, миновать сосновую аллею и войти в свой дом, расположенный в каких-нибудь пяти минутах ходьбы от института и двадцати минутах полета до Союза писателей.

Когда он дойдет до своего дома, он уже окончательно перестанет быть физиком, потому что наступит вечер. По вечерам же он был не просто Астором Эламитом, а всемирно известным писателем. Он шел не спеша, хотя именно сегодня ему следовало торопиться. Но он заглядывал в каждую дверь, входил иногда в какую-нибудь комнату, осматривался, заглядывал за шкафы и приборы. Он отдыхал. Это был маленький перерыв, передышка, отдушина между теми двумя состояниями, через которые он с неумолимой периодичностью проходил каждый день. Именно так — не профессиями, а состояниями. Несколько минут, когда он позволял себе быть не тем и не другим, а просто усталым, отрешенным от всего человеком. И, как всегда, эти минуты он тратил на то, чтобы найти Рику — он знал, что она еще не ушла из института.

Он нашел ее на подоконнике в малой кибернетической. Она сидела, положив подбородок на колени, грустная и нахохлившаяся,

---

[1] Рассказ ранее публиковался под названием «Вернись за своим Стором»

и было видно, что ко всем ее маленьким девчоночьим бедам только и не хватало Астора.

Он подошел к ней и остановился. Надо было что-то сказать. А он даже и не представлял себе, для чего он ее искал. Надо понимать, ему просто доставляло удовольствие ее видеть. Но вот теперь, глядя на нее, он искал в себе это самое удовольствие, радость, пусть маленькую, но обязанную возникнуть, — и не находил. Что общего было между ним и его белобрысой нерадивой практиканткой? Он частенько думал над тем, какая же сила заставляет его искать ее, мучительно подыскивать нелепые, чужие фразы, и все-таки искать, и все-таки говорить, и все-таки смотреть на нее...

— Почему вы остались? — спросил он невыносимым голосом. — Вы же знаете, что энергоподача прекращена по всему институту.

Она посмотрела на него с высоты своего подоконника и кротко ответила:

— А я энергии не потребляю.

«Забавно, — подумал Астор, — но что я буду делать с этой сценой вечером, когда все это будет происходить уже не в жизни, а в моей повести, когда я буду уже не я, а другой, моложе и обаятельнее, и не с этим дурацким именем — Астор, удивительно напоминающим кличку благородной охотничьей собаки, — а тот Стор, внешне напоминающий капитана из старого бульварного романа, наделенный всем тем, чего так не хватает мне самому? С девчонкой-то я уже разделался — я превратил ее из долговязой белобрысой Рики в златокудрую красавицу Регину, но как быть с этим диалогом? Могу ли я позволить, чтобы и в моей повести она мне так же дерзила?»

— Ступайте домой, — сказал он как можно строже. — Практикантам не позволяется задерживаться в помещениях института без присмотра сотрудников.

— А вы за мной присмотрите, — сказала она, подтягивая колени к груди и освобождая кусочек подоконника. — Вы сядьте рядышком и присмотрите за мной.

«Ну, голубушка, — думал он, продолжая стоять, — а вот это я уже непременно сохраню. Моя Регина обязательно скажет: а вы присмотрите за мной... И подвинется на подоконнике. Но вся беда в том, что я, то есть не я, а Стор, сядет рядом, и что будет потом, господи, что будет потом... Ведь знаю, что все банально до отвращения, аж пальцы на ногах поджимаются, и все-таки буду писать. Литература, черт ее дери...»

— Послушайте, девочка, — сказал он, заранее чувствуя, что будет сейчас говорить совсем не то, что нужно. — Я неоднократ-

но советовал вам переменить профессию. Не теряйте времени, порядочного физика из вас не выйдет. Не тот склад характера.

— Я и не собираюсь стать порядочным физиком, — она нисколько не смутилась. — Я с этого только начну. А потом я стану Настоящим Писателем, как вы.

Он удивленно посмотрел на нее. Он никогда не говорил в институте о своей второй профессии — он тут же поправился: о своем втором состоянии.

— Это много труднее, чем стать просто физиком, — сказал он медленно. — Можно писать всю жизнь и не стать Настоящим Писателем.

— Вот я и буду писать всю жизнь.

— Но сначала надо научиться писать на бумаге. Это очень мучительно — писать на бумаге. Ты сам знаешь о своем герое так много, что невольно перестаешь понимать, удалось ли тебе вложить в подтекст все то, что никак не умещается в печатных строчках. Для тебя этот подтекст существует потому, что все то, что ты думал, когда создавал свою повесть, или роман, или даже коротенький рассказ, все это всегда при тебе, и, когда ты перечитываешь написанное тобой, тысячи ассоциаций роятся у тебя в голове и волей-неволей создают то переплетение звуков, запахов, ощущений и желаний, которое делает написанное живой плотью; но все это только для тебя. А как проверить, существует ли все это для постороннего читателя?

И даже свое собственное, оно может звучать совсем по-разному в зависимости от того, написано ли это пером, напечатано на машинке или оттиснуто типографским способом. Вот и разберись, где у тебя вышло по-человечески, а где — просто никуда. Пишешь и пишешь, мучаешься несказанно и в один прекрасный день решаешь послать все к чертям, потому что уже очевидно, что ничегошеньки из тебя не получилось, — и вдруг, как снег на голову, решение совета Союза писателей о том, что тебе присваивают право быть Настоящим Писателем.

И ты перестаешь писать на бумаге.

— Хочу так же, как вы, — упрямо повторила Рика, — хочу быть Настоящим Писателем и создавать живых людей.

«Совсем еще девчонка, — подумал Астор, — совсем еще глупая. Все они в определенном возрасте мечтают или летать на Уран, или быть Настоящими Писателями. Но, как правило, к шестнадцати годам это проходит. Половина из них марает бумагу, но дальше бумаги идут единицы. Единицы со всей планеты. У остальных проходит. Пройдет и у этой, пройдет само

собой, так что не надо ничего говорить. Разубеждать девчонку в желании стать кем-нибудь — занятие неблагодарное и, главное, начисто бесполезное».

— Для того чтобы создавать живых людей, мало хотеть, — с удивлением услышал он собственный менторский тон. — Это право присваивает Совет писателей, но и оно не пожизненно. Его могут дать и могут отобрать. И потом, среди Настоящих Писателей чрезвычайно мало женщин. По всей вероятности, это происходит потому, что женщины имеют возможность создавать живых людей другим, более естественным путем, и это у них получается лучше.

Рика покраснела так стремительно, что Астор даже перепугался, но она только крепче прижала коленки к груди, подождала, пока ей не показалось, что краска уже сошла, — а на самом деле она держалась еще минут десять, — и снова повторила упрямо и зло:

— Вот хочу и буду, хочу и буду. Это будут мои люди, совсем мои, я их выдумаю, заставлю дышать, двигаться, мучиться, а главное — жить по-человечески. Понимаете — я научу их жить так, как я хочу.

— Понимаю, — медленно сказал Астор. — И я об этом мечтал. Я мечтал о том, как мои герои будут жить. Я мечтал о том, как я их произведу на свет божий. Я заранее знал, как непозволительно я буду их любить. Но так же, как и вы, я забывал, что рано или поздно я должен буду их убивать.

Он сказал это и тут же пожалел, и не потому, что этого не надо было говорить Рике, а просто он хотел отдохнуть и ни о чем не думать до тех пор, пока он не дойдет до своего дома, но вот то, что подсознательно мучило его даже днем, когда он думал о своей физике, вырвалось наружу, и теперь ему не будет покоя даже на эти несколько минут.

Наверное, все отразилось на его лице, потому что Рика спустила ноги с подоконника, прыгнула на пол и пошла к нему с каким-то страшным выражением, почти гримасой.

— А!.. — сказал он и, махнув рукой, быстро пошел прочь, пошел из института, пошел по короткой сосновой аллее домой, где ждал его диктофон, соединенный непосредственно со студией Союза писателей, и всю дорогу он не знал, что же ему делать, потому что повесть его подошла к своему естественному концу, и этот конец должен был стать концом его Стора. Конец — это вовсе не обязательно трагическая развязка. Конец — это даже тогда, когда «они поженились и жили долго и счастливо». Ко-

нец — это точка, когда герой, которого ты вынянчил и выходил, на ноги поставил и выучил творить те чудеса, которые самому тебе не под силу, завершает отмеренный тобою отрезок своего пути; кульминация, развязка — и он больше не повинуется тебе, больше ему с тобой делать нечего. Он больше не твой.

И вот ходишь, и маешься перед тем, как поставить эту самую последнюю точку, и ищешь способ сделать своего героя если не бессмертным вообще, то хоть смертным по-человечески, и ничего не можешь придумать, и тянешь, и тянешь время, пока не наступает такой день, как сегодня, когда кончать надо обязательно. Потому что Настоящий Писатель не имеет права уходить из жизни, не распорядившись судьбой своего героя. Это было жестоко, но справедливо, иначе все старались бы оставлять свои произведения незаконченными, чтобы позволить своим героям жить иллюзорной жизнью студии, жить в мире декораций и проектируемых объемных фигур, которые заменяют персонажей второго плана.

Это очень тяжело — прекратить существование собственного героя, поэтому право быть Настоящим Писателем предоставлялось только очень мужественным людям. Астор не относил себя к разряду таких людей, но, по-видимому, так считали другие; он не ошибался в себе, и вот теперь, когда его первая повесть, не написанная на бумаге, а разыгранная созданными им живыми людьми, фактически давно уже подошла к своему концу, у Астора не хватало мужества поставить точку.

Но сегодня было необходимо это сделать, потому что завтра в его лаборатории ставился эксперимент, который мог закончиться довольно печально. Астор не мог послать никого и шел сам — он один знал, насколько велик риск.

Завтра все могло быть.

Значит, сегодня необходимо было кончить со Стором.

Астор дошел до ступеней своего дома и оглянулся. Громада института, окруженная соснами, высилась, словно снежная гора. Рика, наверное, снова взобралась на подоконник и смотрит ему вслед. Белобрысая Рика, которую один раз в день он обязательно должен был видеть. Откуда она узнала о его втором состоянии? И потом это «хочу создать живых людей»... В студии не принято говорить о своих героях, что они живые люди. Говорят — «сценические биороботы», или «материализованные образы».

Но ведь это действительно почти живые люди, живущие краткой, наперед заданной, но чертовски яркой и завидной жизнью. Как Стор.

Астор сел, подвинул к себе диктофон и вдруг почувствовал... Это было странное, невероятное ощущение минутного всемогущества. Да черт побери все на свете, ты же человек неглупый, почти талантливый человек. Настоящий Писатель притом! Так ищи же выход, делай невозможное, спасай своего Стора! Еще есть время. И не тяни со всеми этими амурами, подоконниками и златыми кудрями! Главное — это Стор. Спасай его!

Он включил диктофон.

— Выйдя из института, — начал он, — Стор знал, что никогда, ни теперь, ни потом, он уже не увидит Регину.

«Так ее, рыжую, — подумал он, — ее-то я дематериализую без всякой жалости».

Он быстро шел по аллее, но, когда она уперлась в дверь его дома, вдруг помедлил и, обогнув его, очутился на посадочной площадке, где каждый вечер, начиная с пяти, его ждал маленький спортивный мобиль. Он поднял машину в воздух и через двадцать минут уже был там, где за частыми стволами сосен поднималась дымчатая стена студии. Она огораживала площадь в несколько сотен квадратных километров и поэтому казалась совершенно плоской. Стена уходила высоко в небо, и облака сливались с нею, делая ее бесконечной. Здесь когда-то Стор впервые встретился с Региной, и теперь он бессознательно нашел это место, возле корявого, облепленного муравьями пня, и стал ждать, сам не зная чего, присев прямо на короткий сухой мох и изредка сбрасывая с ботинка огромных красных муравьев, упрямо шедших напролом...

Астор немного подумал: может, добавить еще что-нибудь? И выключил диктофон. Абзац принят, он поступил на студию. Теперь, пожалуй, кибер-ассистенты уже расшифровали его и готовят реквизит: мобиль для полета и все такое, а павильоны прежние — копия дороги от института до самого дома Астора, площадка для мобилей за домом и роща. Но это уже не павильон, это натура, столь редкая в студии.

Пора.

Астор вышел из дому, вывел машину из гаража и резко взмыл вверх. Он взял направление не на главный корпус студии, а туда, к стене, как раз к тому месту, куда с другой стороны через некоторое время должен выйти его Стор.

Астор не любил летать на большой высоте. Оживленные трассы пролегали в стороне и значительно выше, поэтому он спокойно смотрел вниз сквозь прозрачное дно машины и пытался представить себе, что же происходит сейчас там, на студии.

Вчера он оставил Стора в его лаборатории. Диалог с Регионой — скверный диалог. Тянул время, оно и чувствуется; абзац закончил тем, что Стор чертыхнулся и прогнал Регину на ее рабочее место.

Значит, сейчас перед началом нового эпизода кибер-ассистенты вложили в память Стора все то, что он якобы делал между разговором с Регионой и выходом из института. А может быть, уже заработали аппараты, невидимые для Стора, и началась съемка, и Стор послушно огибает свой дом, как это было продиктовано Астором, и берет мобиль, и машина поднимается, но не в поднебесье, как настоящий мобиль, а всего на несколько метров, а потом включается проекция заранее отснятых кадров, и Стору кажется, что земля удаляется, что под ним проносятся города и рощи, тянутся неестественно прямые дороги и каналы. А на самом деле макет его мобиля подвинется всего на несколько десятков метров в сторону, туда, где растут настоящие деревья возле запретной дымчатой стены, и весь этот полет будет продолжаться не более тридцати секунд, потому что нельзя же заставлять зрителя наблюдать получасовое сидение героя в машине; но, когда Стор приземлится, у него останется ощущение, что полет продолжался двадцать минут — ровно столько, сколько это было продиктовано Астором.

На пульте машины вспыхнул красный предупредительный сигнал — локатор нащупал впереди стену. Астор повел свой мобиль на посадку. Деревья росли так часто, что машина с трудом протиснулась вниз сквозь густые ветви и повисла в каком-нибудь полуметре над коротким сухим мхом.

Астор вышел из мобиля.

Никогда прежде он не подходил так близко к стене. Она была рядом, шагах в трех-четырех, и последние деревья росли почти вплотную к ней.

Астор сделал еще два шага, подошел к самой стене, нечаянно оглянулся — и остановился, пораженный: последний ряд деревьев, ближайший к стене, не имел другой стороны. Если смотреть с того места, где приземлялся мобиль, это были деревья как деревья, живые и объемные. Но от самой стены было видно, что это всего лишь половинки, срезанные невидимой вертикальной плоскостью, и срез этот не обнажен, а покрыт мутными лиловатыми натеками. Астор не удержался и постучал косточками пальцев по этому покрытию — раздался глухой стук, словно там, внутри половинки дерева, была пустота. Астор постоял еще немного, что-то соображая, пока не решил, что

это уже деревья-макеты, вынесенные за пределы студии, вероятно, затем, чтобы настоящая растительность не пробивалась сквозь стену.

Но раздумывать было некогда. Там, за стеной, Стор уже прилетел, потому что в тех фильмах, которые снимаются на этой студии, время течет иначе, чем в жизни обыкновенных людей. Иногда течение это замедленно, и какие-нибудь полчаса из жизни героя дробятся на множество мелких и в раздробленности своей вроде бы незначительных эпизодов. Две силы, добрая пристальность — извне и безжалостная необходимость — изнутри, связывают эти осколки, и словно на огромных ладонях приближаются они к глазам зрителя, минуты выдуманной жизни, значимость которых помножена на замедленность действия.

Но чаще бывает иначе, и годы героев обращаются часами, и в этом не малость и мелочность этих лет, а всего лишь условия писательской задачи: вместить целую жизнь в краткий отрезок времени «от» и «до». И тогда время материализованных героев...

«Вот те на,— удивился Астор,— как же это у меня сорвалось? До сих пор я называл их живыми людьми. И только теперь, очутившись перед этой стеной, я механически использовал непривычный термин: материализованный герой. Нет. Это не так. Это живые люди, необычные только в одном-единственном. Они необычны тем, что всецело подчинены автору. Хотя нет, не всецело. Уж сколько раз бывало так, что автор, создавший тот или другой образ, вдруг чувствовал, что герой вырывается из его подчинения, что слова и поступки, диктуемые ему, для него органически неприемлемы. Бывает даже так, что автор вдруг сознает: рожденный воображением герой заставляет его послать к чертям задуманный и отработанный сюжет, и автор принимает это и подчиняется выбору своего детища. Разумеется, если это чуткий автор. Но есть и такие, которые, несмотря ни на что, продолжают заставлять своих героев совершать противоестественные, не совместимые с их образом поступки, и это обычно бывает последним произведением таких авторов — их лишают права быть Настоящими Писателями и закрывают им доступ на студию.

То, что собирался сейчас сделать Астор Эламит, тоже каралось лишением всех прав Настоящего Писателя, но Астор не мог ничего поделать, потому что Стор был ему дороже самого себя. Он должен был спасти его, не думая ни о расплате за свой поступок, ни о том даже, нужно ли это самому Стору. Он был должен. Должен...

Астор сделал несколько шагов вперед и остановился так близко от стены, что еще полшага — и его лицо погрузилось бы в ее студенистую массу. Щеки чуть покалывало, словно перед ним висело тело огромной дымчатой медузы. В эту стоячую муть он должен был войти... Снова — должен.

Но почему ни разу, до самого этого момента, он не спросил себя: а может ли он это сделать? Как будто это было нечто само собой разумеющееся. Он многое знал о студии, он знал все — или думал, что знает все, — о тех, кто волей Настоящих Писателей получает право жизни в стенах этой студии, и жизнь эта нередко ярче и поступки гораздо результативнее, чем в жизни обыкновенных людей. Он повторял себе это сотни раз.

Но что он знает о стене? Только то, что за прохождение на ту сторону он заплатит правом создавать живых людей. Но и это не знание, а всего лишь догадка.

Почему он не знает, что такое стена? И главное — может ли он, смеет ли он пройти через нее?

Он стоял, ожидая, что где-то внутри его отыщется ответ. Но ответа не появлялось, и вместо него в сознании Астора четко обозначился провал, пустота беспамятства, как после обморока, а потом он почувствовал, что стремительно растет ощущение невозможности, запретности того, что он собирался сделать, и, не позволяя себе подчиниться этому, Астор протянул вперед руки, как ходят люди в тумане, и вошел в дымное тело стены. Какое-то мгновение он ничего не видел, но затем дым разом исчез, и Астор почувствовал себя в какой-то удивительной кристальной пустоте. Тонкая серебристая пленка под ногами — и абсолютно ничего вокруг. Почему-то он подумал, что в таких случаях люди должны испытывать ужас; но было одно лишь недоумение, и Астор быстро пошел вперед, все еще протягивая перед собой руки, и через несколько шагов снова попал в полосу неизвестно как возникшего дыма, и снова этот дым рассеялся, а Астор понял, что он уже на той стороне.

Вот и все, сказал он себе, и это совсем просто. Значит, человек практически может пройти сквозь стену, но это карается отлучением от любимой работы — что ж, цена немалая. А как же биороботы? Могут ли они пройти сквозь стену? Не проще ли было бы приказать Стору выйти к нему, в мир людей?

Почему-то это раньше не пришло ему в голову. Наверное, это невозможно. Наверное. Опять эта странная неопределенность, провал в сознании. Почему он не знает о своем Сторе такую важную вещь?

Мысль о Сторе вернула его к действию. Не время рассуждать. Он на студии, на запретной территории. Сейчас ему нужны только быстрота и неуловимость. Только встретить Стора, а там видно будет, как поступать. Тогда и можно будет выяснить, может или нет биоробот пройти сквозь стену. Стену, сквозь которую он прошел, но ничего про нее толком не узнал.

Астор пошел вперед, отыскивая то место, которое он сам описывал дважды в своей повести, но пока ни корявого пня, ни Стора, обязанного сидеть на этом пне, он не находил.

Ему стало не по себе. Хотя что там — не по себе! Стало так страшно, как бывало в детстве, когда стремительно проваливаешься в бездонную яму, и упругая невидимая масса продолжает расступаться перед тобой, и ты все падаешь и падаешь...

Астор понял, что это не то место.

Не появилось даже желания куда-то побежать, закричать, позвать. Бесполезно. Площадь студии — не одна сотня квадратных километров. И куда бежать — направо? Налево? И откуда у него была эта уверенность, что он выйдет точно к тому месту, где будет ждать его Стор? Откуда он знал, что пройти сквозь стену надо именно здесь?

Странно, но такая уверенность раньше была. А теперь не было ничего, ровно ничего, даже желания вернуться. Астор тяжело качнулся и, ломая кусты, пошел куда-то вбок, напролом, скользя на сухих проплешинах, усыпанных прошлогодними иголками. И, только выйдя на лысый пригорок, залитый солнцем, остановился, потому что прямо перед ним, полузакрыв глаза, словно греясь на солнце, сидел старик.

«Вот и влип, — тоскливо подумал Астор, — влез на занятую площадку в остро психологический момент, и все невидимые камеры работают на крупный план. Каких-нибудь пятнадцать минут — и отснятый кусок обработают, и кибер-корректор автоматически поднимет тревогу, потому что в кадре обнаружится посторонняя фигура. И все».

Астор посмотрел на старика. Удивится ли он, встретив незнакомца? А вдруг старик из другого времени? Может быть, действие в повести, которая разыгрывается здесь, происходит лет пятьдесят тому назад? Глухой черный костюм незнакомца ни о чем не говорил.

Но старик просто, без тени удивления, даже с каким-то удовлетворением смотрел на подходившего. Смотрел уже давно, наверное, с самого начала, только Астор не обратил на это внимания.

Астор подошел еще ближе.

— Присаживайтесь,— сказал старик и чуть подвинулся на стволе поваленной сосны, хотя места было и так достаточно. Астор медленно перенес ногу через ствол и сел верхом, и рыжие, нагретые солнцем пластинки коры посыпались вниз, словно чешуя большой золотой рыбы. «Вот они какие,— думал Астор, беззастенчиво разглядывая старика,— вот они — те, которых мы создаем сомнительной силой нашего воображения. Мы видим их потом объемными, чертовски достоверными фигурами на стереоэкране. Но вот такими, из плоти и крови, мы не встречаем их никогда. Это промежуточный процесс, изъятый из акта творчества. И наверное, так и надо, потому что, повстречавшись один раз со своим героем вот так, как я сейчас сошелся с этим стариком, автор уже не в силах будет заставлять его жить, и думать, и чувствовать, и все прочее. Для технического персонала студии — для биоконструкторов, нейропликаторов, операторов пси-связи — они всегда остаются лишь сценическими биороботами, дистанционно управляемыми антропоидами без обратной связи. И только мы — может быть, даже не все, а немногие из нас — знаем, насколько же это люди».

Старик продолжал смотреть прямо перед собой, не поворачиваясь к Астору, и его маленькие старческие руки как-то по особенному бессильно лежали на коленях. «Он еще старше, чем кажется,— подумал Астор.— И вообще, этого старика я где-то уже видел. Хотя нет, старика я видеть не мог — это же сценический биоробот, материализованный образ, черт побери! Но ведь у него может быть прототип. Определенно видел. Не в институте — там я его запомнил бы. Значит, в Союзе писателей. Собственно говоря, а что случится, если я возьму и спрошу, кто он такой?

Астор собирался было открыть рот, но старик медленно повернулся к нему и проговорил:

— Ну, хорошо, тогда мне первому придется представиться.— он пожевал губами, снова как-то грустно посмотрел вдаль, словно ожидая, что Астор прервет его и заговорит первым. Но Астор решил подождать.— Видите ли, я писатель. Это всегда как-то неловко говорить о себе.— Старик виновато улыбнулся, маленькие ручки его беспокойно зашевелились.— Но я Настоящий Писатель. Хотя точнее было бы сказать, что я был Настоящим Писателем.

«М-да,— подумал Астор,— а ведь я тоже был».

— Я создал много книг.,— продолжал старик.— Последние три мне разрешено было материализовать. Сейчас я пытаюсь

понять: что же было самым главным, самым радостным в процессе создания настоящей книги? Рождение сюжета? Появление героя?.. Что дороже — первое появление его в твоем воображении или первая встреча с ним на стереоэкране?

«Забавно, — подумал Астор, — забавно. Ведь он сейчас говорит со мною, посторонним лицом. Значит, весь этот монолог не авторский. Это мысли, независимые от воли того, кто создал этого старика. Даже страшно. Не забавно, а страшно».

— Точно так же я не знал, кто из всех рожденных мною героев ближе и дороже других. До недавнего времени не знал. Пока мне не пришло время расставаться с последним. И тогда я понял, что этот последний настолько близок и необходим мне, что расставание с ним, исчезновение его не только равносильно для меня собственной смерти — оно страшнее, потому что за ним идет пустота, в которой будет продолжаться мое бытие.

«Хлюпик ты, — в неожиданном ожесточении вдруг подумал Астор. — Ты гробишь человека, которого родил и провел по жизни. Ты шевелишь маленькими, ни на что не способными ручками, а тем временем его там дематериализуют. Не там — здесь. Это происходит здесь, на студии. Еще немного, и так будет с моим Стором. Оба мы хлюпики. Я ведь тоже ничего не сделал».

— В него я вложил самого себя, — монотонно продолжал старик. — Не такого, нет — немножечко лучше... и помоложе. Я не смог сделать его юным — наверное, об этом я уже разучился мечтать. Он был такой, каким я хотел бы сейчас стать, если бы возможно было такое чудо, — средних лет, не гений, не мировая знаменитость, а просто человек, честно делающий свое дело. Но главное — я хотел передать ему всю свою боль, с которой создаешь героя и с которой уходишь от него...

«Я перестаю его понимать, — машинально отметил Астор. — Он сам писатель, и герой его писатель, выходит... Но ведь, черт побери, он же не настоящий человек, его же самого кто-то создал, ерунда какая-то, матрешка в матрешке...»

— Простите, вы не назвали себя, — сказал Астор.

— Я — Настоящий Писатель, — грустно сказал старик.

— Вы это говорили.

— Я — настоящий Настоящий Писатель.

Бред какой-то... Астор потер лоб, сморщился, как от боли... И тут до него дошло. Это же просто человек! Такой же человек, как и он сам! Он так же, как и Астор, перешел запретную границу, чтобы кого-то спасти. Теперь их двое. Вдвоем они еще что-нибудь придумают. Вдвоем они еще что-нибудь смогут.

— Ваше имя? — почти крикнул он.

— Кастор Эламит, — сказал старик.

Астор поднялся. Медленно перекинул ногу через ствол дерева, глянул на свои руки и спрятал их в карманы. Дымное марево стены, казалось, выступило из-за деревьев и поползло на них.

— Да... — сказал Астор. — Да... Это очень забавное... совпадение.

Старик не отвечал.

— Вы Кастор Эламит... Да. Но кто же тогда я?

И снова старик не ответил.

— И откуда я?

Старик молча смотрел на серую, теряющуюся в облаках стену. За этой стеной росли деревья, существующие лишь наполовину. Не росли. Они просто стояли, эти макеты. Расти может только живое. Не надо было никаких доказательств, никаких объяснений. Просто нужно было вспомнить эти половинки деревьев, чтобы понять: студия была там, за стеной. А это — это был мир людей.

— Вы хотите, чтобы я сказал это сам? Хорошо. Биоробот. Антропоид без обратной связи, созданный по образу и подобию автора. Точно так же, как я сам творил моего Стора. Немного моложе и немного... лучше. Так? И ваше имя, которое вы укоротили на одну букву.

Все равно это было невероятно. Особенно тогда, когда произносилось вслух. Мысль о том, что ты всего лишь робот, страшна. Но, произнесенная вслух, она становится просто нелепостью, и нужно только говорить, говорить, говорить, чтобы в звучании слов нелепость их смысла выкристаллизовалась бы с максимальной яркостью.

— Значит, тот мир, в котором я жил до сих пор, — это мир декораций, имитированных звуков, материализованных образов? Мир макетов и заранее отснятых кадров? Мир несуществующих расстояний и высот? Мир не бывшего никогда детства, придуманной за меня любви?..

Он остановился. Рика. Его Рика и невозможность прожить хотя бы один день без того, чтобы не увидеть ее...

— Значит, и Рика была ненастоящая? — спросил он шепотом.

— Да, — сказал старик. — Я дал тебе то, о чем мечтал сам, — все равно какую, но только юную, совсем юную, до неправдоподобия юную, и ничего, только видеть, видеть один раз в день...

— Так, — голос Астора был спокоен, удивительно спокоен. — Видеть один раз в день. Значит, и это было ваше. Моего не было ничего. Да, конечно. Теперь я припоминаю. Чужие слова. Я говорил ей чужие, нелепые слова. А что же было мое? Хоть что-нибудь было?

— Астор, — сказал старик так, как обычно говорят «Астор, детка», — с той минуты, как ты вышел оттуда, ты перестал быть моим.

— Благодарю, — сказал Астор. — Благодарю за пятнадцать минут ничейного состояния, которых мне не хватит даже для того, чтобы стать самим собой. Только зачем вы это сделали? Уж вы-то, как никто иной, знали, что пропажа биоробота не может остаться незамеченной, даже если ему и удалось каким-то чудом проникнуть в мир людей. Меня будут искать и, я думаю, найдут без особого труда, и что тогда? Дематериализация на месте, без суда и следствия? Или как тут у вас, у людей, поступают с роботами, обретшими свободу воли?

— Не надо, — попросил старик, — не надо так, Астор.

— Простите меня, — сказал он. — Минутное любопытство. Все равно мне нужно возвращаться, а завтра — эксперимент, мой последний эксперимент, который придумали вы, но участвовать в котором буду я. Ведь так?

— Да, — кивнул старик, — это будет завтра. Перед тем как прийти сюда, я закончил книгу.

— Спасибо. Постараюсь сыграть как можно правдоподобнее.

— Не надо бравировать, мой мальчик. Не старайся казаться немножко лучше меня. Довольно и того, что ты моложе.

— Лучше... — Астор услышал собственный смех. — Какого черта вам понадобилось вытаскивать меня на эту сторону? Пусть случилось бы то, что вашей волей должно случиться завтра, но зачем мне знать, что я — как это называется у нас, у Настоящих Писателей, — что я всего лишь сценический биоробот, антропоид с дистанционным управлением?

— Да, — тихо, почти про себя проговорил старик, — видимо, это неизбежно. Я вложил в тебя не только собственную душу, но и все то, чего, казалось бы, не хватало мне до абсолютного совершенства; и все-таки ты оказался как-то меньше, слабее меня самого.

— Простите, — просто сказал Астор. — Мне пора в мое завтра. И, если это можно, разрешите мне еще немного побыть... самим собой.

— Мой мальчик, — старик тяжело поднялся и встал рядом с Астором, — ты забываешь, что время... — он запнулся, — тех, кто

находится за этой стеной, течет немного быстрее, чем время людей. Завтра Астора Эламита должно наступить через двадцать минут.

— Вот как, — сказал Астор. — Надо торопиться. Мне полагается быть в институте?

— Да, конечно... — старик грустно улыбнулся, — это был простейший выход.

— Не выдержит защита?

— Да, мой мальчик...

— Значит, аннигиляция... До чего банально, черт побери! Вы же физик, если я не ошибаюсь?

— У меня не было времени ни на что другое, Астор. Ты, знаешь, что Настоящий Писатель не имеет права оставить свою книгу недописанной. А я — я очень стар и болен, и вот наступило время, когда кибер-анализатор не нашел ни одного способа задержать развитие болезни. Я пришел к тебе, пока у меня еще есть для этого силы. Я должен был распорядиться твоей судьбой, и я это сделал. Прощай, мой мальчик.

Он поднял свои маленькие, легкие руки и несколько церемонно опустил их на плечи Астора. Недолгое время они так и стояли, потом Астор бережно взял эти руки, тихо, словно боясь причинить боль, пожал их и опустил.

— Ну, я пойду, — сказал он.

— Ты так и не понял меня, мой мальчик. Туда пойду я.

— Куда? — растерянно спросил Астор.

Старик улыбнулся, словно хотел сказать — туда, детка, — и пошел к стене, дымным маревом видневшейся за последними деревьями.

— Нет, — сказал Астор и загородил ему дорогу. — Нет, нет.

Старик подошел к нему вплотную, и Астор схватил его за плечи.

— Осталось меньше двадцати минут, — спокойно проговорил, старик. — Я не просто физик, я один из тех, кто создавал студию, кто возводил ее стену и программировал ее роботов. Это позволило мне на недолгий срок расстроить фокусировку съемочной и наблюдательной аппаратуры. Благодаря этому ты смог выйти отсюда, и, когда вместо тебя туда вернусь я, это не будет замечено. Но общий ход действия моей книги уже продиктован, изменить его невозможно. Кто-то должен вернуться и доиграть до конца.

— Это буду я, — сказал Астор. — И не заставляйте меня применять силу.

— Да, я сделал тебя моложе и сильнее себя, — старик вскинул голову и посмотрел прямо в глаза Астору. — Но я человек, и ты не сможешь встать на моей дороге.

Он стряхнул с себя руки Астора и пошел к стене, стараясь держаться как можно прямее. Астор смотрел ему в спину, не смея двинуться с места, и мысли его путались, стремительно сплетаясь и превращаясь в аморфную массу, и из всей этой массы никак не могла выкристаллизоваться одна, та самая необходимая и единственная, которая дала бы ему право остановить старика. Но Астор всем нутром чувствовал, что такое право у него есть, ускользает только основание, и тут старик, дошедший до последнего ряда деревьев, оглянулся и громко сказал:

— Прощай, Астор Эламит!

И Астор вспомнил.

— Стойте! — закричал он и бросился к старику. — Я не могу отпустить вас вместо себя — у меня есть еще мой Стор.

Старик удивленно посмотрел на него.

— Теперь я понимаю, почему я не встретил его здесь, — продолжал Астор. — Ведь это мир людей, а он всего лишь биоробот. Значит, он там, на территории студии, и туда вернусь я, чтобы найти его. Ведь это единственное, что есть у меня.

— Нет, — сказал старик, — у тебя нет твоего Стора. Он тоже мой, как и детство, которое ты помнишь, как законы физики, которыми ты пользуешься, как необходимость видеть Рику... Он не твой.

— Правда. Выдумали все это вы. Даже Стора. Повинуясь вам, я разыгрывал Настоящего Писателя и творил живых людей. Но моей была боль за него. Боль принадлежит не тому, кто создает, а тому, кто теряет.

— Ты знаешь только отголоски той боли, которую выстрадал я, думая о тебе.

— Ну и черт с ней, если она не моя! Забирайте себе все! Все! Некогда торговаться. Отдаю вам все, что было. Но то, что будет, те несколько минут, которые остались до взрыва, — они мои, потому что если туда пойдете вы — что вы сделаете для Стора?

— Ничего, — спокойно сказал старик.

— А я сделаю! Все, что успею. Я найду его...

— Ты не найдешь его, потому что он попросту не существует. Между ним и тобой та разница, что ты материализованный герой, а он нет. Он живет только на бумаге и в твоем воображении.

— Так, — медленно проговорил Астор. — Последняя матрешка оказалась пустой. Внутри — ничего. Но как жить в этом мире, как жить в любом мире, если внутри — ничего?

— Мой мальчик, еще не прошло и часа, как ты стал настоящим человеком. Но все, что ты пережил за это время, уже твое. И все, что будет, когда я уйду, тоже твое. Я оставляю тебе свое имя и свое право пользоваться студией. У тебя еще нет своего Стора. Но ты можешь создать его.

Астор молчал, потрясенный.

— Но если ты захочешь спасти этого Стора — своего Стора, — помни: сценические биороботы не могут перейти границу, чтобы выйти в мир людей. Кибер-корректоры, проверяющие весь материал, поступающий на студию, просто не пропустят такого приказа. А если по какой-нибудь оплошности и пропустят, то ни один биоробот такого приказа не примет и ему не подчинится. Так уж они запрограммированы.

— А я? — растерянно проговорил Астор.

— Вспомни, куда ты шел: ты хотел попасть не в мир людей, а тоже в мир вымышленных героев. Ты должен был встретиться ие со своим творцом, а с собственным творением. Если бы текст моей последней передачи проверяли люди, они наверняка поняли бы мою уловку. Но киберов мне удалось провести. Запомни этот единственный выход, я нашел его только потому, что когда-то сам проектировал и создавал зону заграждения студии. Человеку бесполезно переходить эту границу: кибернаблюдатели не позволят ему встретиться ни с одним биороботом. Запомни этот единственный вариант. А расстроить фокусировку ты сможешь, потому что в тебя вложен весь тот комплекс знаний, которым обладал я, — ведь ты тоже по утрам был просто физиком.

Астор кивнул.

— И пе торопись. Не комкай. Не чувствуй себя обязанным. Лепи своего Стора только любовью и болью. Это единственные чистые составляющие, все остальное ненастоящее. Не дорожи им только потому, что он твой. Он должен стоить того, чтобы прийти за ним. И когда ты поймешь, что он действительно этого стоит, — ты знаешь, как его спасти.

Еще некоторое время они стояли молча, просто глядя друг на друга. Потом старик сделал шаг назад и исчез в дымной толще стены.

Астор ждал. Затаенные шорохи вечернего леса обступали его, и он напрягался изо всех сил, чтобы уловить то, что делается

на той стороне. Оттуда не доносилось ни звука. Астор все ждал. Странное воспоминание всплыло как-то подсознательно: а ведь на той стороне лес никогда не шумел... Он качнулся, словно это воспоминание мягко толкнуло его изнутри, и пошел прочь, пошел все быстрее и быстрее, не оглядываясь, потому что место это он запомнил на всю свою человеческую жизнь, чтобы отыскать его сразу и безошибочно, когда наступит время сюда вернуться.

# ОСТРОВ МУЖЕСТВА

вадцать седьмого мая 83 года космической эры Мануэль Рекуэрдос, младший инженер сицилийского научно-исследовательского центра Пьяцца Армерина, совершил свой полет во времени, принесший ему мировую известность и оставивший за ним последнюю страницу каждого учебника истории, на которой неизменно печатался один из шести рисунков, сделанных Рекуэрдосом на следующий день в больничной палате, где он умирал после нелепой катастрофы, случившейся с его самолетом при посадке в Орли.

Но, отправляясь в завтрашнее столетие Земли, молодой ученый не заботился о собственном завтрашнем дне. Создав свою Машину, способную перенести его в любой век и в любой час, он совершенно не интересовался тем, что произойдет через двадцать четыре часа с ним самим. Он не предвидел даже того, что случится через несколько минут после его старта; он даже предположить не мог, что его помощник и — как ему казалось до сих пор — друг Бриан Викерзунд совершенно нечаянно (но за приличное вознаграждение) проговорился о предстоящем эксперименте двум изголодавшимся по сенсациям журналистам, Рекуэрдос не знал и не мог знать, что четыре глаза и два телеобъектива стерегут каждое его движение, и сенсационная весть о полете его Машины через какой-нибудь час облетит редакции утренних и вечерних газет, и к моменту возвращения склон холма будет усеян верткими газетчиками и толстомордыми полицейскими.

Мануэль Рекуэрдос не знал ничего. Пожалуй, ни один изобретатель, залезающий в самодельное брюхо своего кустарного

детища — будь то первый паровоз, биплан или субмарина, — не имел столь смутного представления об исходе эксперимента, как он. Действительно, все опыты предыдущих экспериментаторов имели два вполне представимых конца: паровоз либо пойдет по рельсам, либо сойдет с них; биплан полетит либо вверх, либо вниз, а субмарина или всплывет, или потонет. Но как поведет себя Машина? Будет ли ее возвращение назад мгновенным? Или время, проведенное в будущем, зачтется как настоящее? А может, «бесплатным» во временно́м отношении окажется только отрезок перелета из одного века в другой?

— Поживем — увидим, — беззаботно проговорил Мануэль, залезая в узенький люк Машины, как залезают в брюки. — Ну, а не вернусь — приберешь бумаги из моего ящика, авось пригодится в диссертацию. И да простит меня шеф за потраченную энергию!

Бриан переступил с ноги на ногу — он изнывал. Бумаги из ящика Мануэля были, разумеется, лакомым кусочком — при желании из них можно было бы вытянуть и пять диссертаций, — но куда замаичивее была перспектива его благополучного возвращения. Машина Рекуэрдоса и Викерзунда! Роль последнего, правда, сводилась к тому, что он уламывал начальника отдела высоких энергий, выменивал японские потенциометры на бекбекастовые стержни, крал где только возможно (добром не давали) микроаккумуляторы и просто паял что-то с чем-то. Но неважно. Мануэль был щедр. До сих пор его головы с лихвой хватало и на него самого, и на Бриана, и еще на добрых полтора десятка сотрудников их проблемной лаборатории, включая и самого шефа. Отсюда и безнаказанность за самые бредовые эксперименты. Блестки неуемной фантазии Мануэля усыпали планы работ лаборатории, точно рыбья чешуя, они липли ко всем и бескорыстно порождали «эффект Рекуэрдоса и Войта», «открытие Рекуэрдоса и Бустаманте», «спектр Рекуэрдоса и Митро»...

Бриан нетерпеливо кашлянул, — теперь настала его очередь поживиться, «К сожалению, Первая модель нашей Машины была так мала, что мы не могли лететь вместе», — скажет он журналистам. Так бы он и полетел! Вон Мануэль, беспечный, удачливый Мануэль, — даже он не торопится заползать в капсулу, чтобы затем обрушить на себя неведомо как преображенный поток энергии. Даже ему страшно. Ведь это все равно, что стать под струю плазмы, прикрывшись пляжным зонтиком. А может, Мануэль передумал?

Нет, он не передумал, он просто смотрел вниз. Правая вершина двугорбого холма, если смотреть обратясь спиной к югу, была занята новенькими зданиями исследовательского центра, которые сползали в седловину и уже подбирались к развалинам древней базилики, расположенной ближе к левой вершине. Воздвигли ее, кажется, еще в первом веке христианской эры, она простояла почти полтора тысячелетия, убогая и нерушимая, как сама вера, и благополучно развалилась всего семь лет назад во время чудовищного урагана, уничтожившего половину растительности Сицилии и в буквальном смысле слова пустившего по ветру немногие уцелевшие памятники старины. Правда, развалины виллы императора Максимиана, притулившейся у подножия холма, уцелели, и в послеобеденный час туда можно было водить смазливых лаборанток — рассматривать явно непристойные для третьего века купальнички десяти мозаичных красавиц, сцены августейшей охоты на неправдоподобных и посему нестрашных зверей и, наконец, изображение самого хозяина виллы, венценосного меланхолика в ермолке и с рожей профессионального убийцы. Беззащитные торчки голых колонн располагались правильными четырехугольниками, справа и слева тянулись развалины нищей деревеньки Пьяцца Армерина, давшей название исследовательскому центру, но так и не поднявшейся после урагана семьдесят пятого года; бурые кирпичи рассыпавшейся базилики ползли вниз по склону холма, словно сытые черепашки, и венчала этот пейзаж шестидесятиметровая рогатая антенна сектора космической информации.

Картина была запоминающаяся.

Мануэль встряхнулся, глянул на часы — было уже двадцать минут восьмого. Солнце взошло давно, и воздух, иссушенный треском озверелых цикад, неумолимо накалялся. Мануэль расстегнул ворот рубашки и потянул пестрый шнурок, заменявший ему галстук,— шнурок развязался и бесшумно скользнул вниз, в отверстие люка. Мануэль проводил его взглядом, легонечко пожал плечами — ехать так ехать — и молча нырнул в темную дыру. Лязгнула крышка. Черная капсула, похожая на пивную бочку средних размеров, начала вибрировать, дернулась в сторону разрушенной базилики, словно хотела покатиться вниз по усыпанному кирпичами склону, и благополучно исчезла.

Мануэль поерзал, устраиваясь. Сидеть, согнувшись в три погибели и прижав колени к груди, было чертовски неудобно. Крошечная лампочка, подсоединенная к аккумулятору, едва освещала

приборную доску. Четырехдюймовые стенки капсулы пульсировали, словно оболочка волейбольного мяча, когда его накачивают. Смотровая щель, забранная полосой опалового плекса, была слепа, как бельмо. Обидно, подумал Мануэль. Все-таки эта дубина Бриан с его вечными сомнениями и ытьем оказался прав. Будущее тут, за глухой титановой стеной, за глупой полосой плексигласового иллюминатора,— и оно невидимо, неощутимо. Сорвалось. Ах, ты...

И тут ЭТО появилось. Просто, обыкновенно, как на телеэкране. Естественное явление чуда. Изображение, срезанное границами щели,— чуть подрагивающее, цветное, объемное, ничуть не фантастическое. Зал? Да, огромный зал, весь белый, окна эдак шесть на шесть, вдоль стен лиловые досочки приборных и распределительных пультов, сливающиеся в одну непрерывную полосу. И двое у проема двери. Старики.

Мануэль с безмерным удивлением смотрел на их чуткие, настороженные спины, он угадывал в них так хорошо знакомую ему самом утреннюю усталость после бессонной ночи, усталость, одурманивающую человека и обостряющую все чувства экспериментатора; усталость, святую и проклятую, потому что она берет тебя всего целиком и не оставляет ничего, кроме работы.

И тогда тот из двоих, что был выше и осанкой напоминал самого молодого из допотопных патриархов, положил свою стариковскую нелегкую руку на плечо своего собеседника и, наклонившись, пошевелил губами — звуков слышно не было,— и оба они повернулись к Мануэлю, и он увидел их улыбки, и снова вспомнил самого себя и ребят из своей лаборатории после сумасшедшей ночи, когда все сделано, и подходишь к окну, и смотришь на новорожденное солнце, еще не вошедшее в полную яркость, и слабо улыбаешься, и легонько кружится голова, а утро уже не только в окне, оно в дверях, и к тебе бегут с новыми заботами свеженькие, выспавшиеся лаборантки из соседних отделов; и на эти заботы снова не хватит дня. Так бывало, и вот выходило, что и всегда так будет, потому что там, за иллюминатором, уже бежала, словно повинуясь воспоминаниям Мануэля, девушка в розовом — непривычный цвет для спецкостюма,— и конечно, в руках у нее был запечатанный пакет — заботы, на которые этим старикам снова не хватит дня. Все шло как надо, и главным в этом мире завтрашнего столетия было не великолепие зала, не причудливые контуры многолепестковых антенн и даже не роскошные формы полностью восстановленной виллы Максимиана, видной сквозь распахнутые настежь

двери, — главным был привычный ритм работы, усталые улыбки ученых мужей и вообще то, что все это существует, все это есть на белом свете, что мир не раскололся иа куски и не рассыпался атомной пылью...

... и тогда тот из двоих, что был выше и осанкой напоминал самого молодого из допотопных патриархов, положил стариковскую нелегкую руку на плечо своего собеседника и, наклонившись, проговорил, едва шевеля губами:

— Время, Нид.

И еще:

— Постарайтесь улыбаться, друг мой.

Они обернулись, и лица их были спокойны.

— Вот вам яркий пример того, как легко увидеть желаемое, даже если оно незримо.— Нид Сэами покачивал головой, и усмешка его относилась полностью к себе самому.— Мне кажется, что я угадываю контуры Машины — вон там, за ксирометром. Присмотритесь, Доменик.

Доменик прикрыл глаза. Никогда бы не подумал, что лицо может так устать. Каждая клетка кожи. Каждая морщинка. Устать от улыбки.

— Нет, друг мой, вам показалось. Машина, принадлежащая другому времени, должна быть для нас невидимой. Но она здесь,

Они говорили, не боясь, что тот, кто минуту назад стал свидетелем их разговора, поймет их,— ведь ему не дано было знать язык будущего столетия. Звуков он не слышал, движения губ не складывались в привычные слова.

— Она здесь,— повторил Доменик,— неповторимая Машина Рекуэрдоса, гениальная Машина, сумевшая заглянуть в будущее... и ничего не понять. Эта Машина — трехмесячный ребенок, только что научившийся видеть мир таким, каков он есть!

Нид Сэами пошевелил пальцами, но лицо его, лицо доброго тибетского божка, продолжало оставаться мудрым и безмятежным.

— Если бы трехмесячный ребенок увидел мир таким, каков он есть,— тихо возразил он,— ему не осталось бы ничего, как сойти с ума от ужаса перед бесконечностью вселенной и кратковременностью существования

своего собственного «я». И тогда, чтобы заслонить от него этот мир, взрослые вешают над его колыбелью яркую погремушку, которая загораживает ему...

Они встретились взглядом, и слово, которого так избегают старики, повисло в воздухе.

— Они заслоняют бесконечность, — закончил вместо своего друга Доменик. — Хотя не кощунство ли говорить сегодня о бесконечности?

Нид Сэами покачал головой, по-прежнему улыбаясь, и улыбка его не была маской,

Певучий звук гонга раздался под сводом зала, долгий чистый звон и торопливый голос: «Разрешите войти?»

Они посмотрели друг на друга, и никто не решился ответить. Это было то самое, чего они ждали всю ночь, — два столбика цифр на типовом бланке для приема автоматических радиосигналов с дальних спутников. Именно сейчас.

— Это Тереза, — сказал Нид. — Задержать ее?

Доменик провел ладонью по лицу, словно проверяя, не исчезла ли его мудрая, чуточку высокомерная улыбка.

Улыбка была на месте.

— Пусть все идет своим чередом, Нид.

— «Девушка в розовом — ветка цветущей сакуры...» — напевно прочел Нид Сэами. — «Завещание Рекуэрдоса», токийское издание восемьдесят шестого года. Войдите, Тереза!

Девушка в розовом пересекла зал, чуть наклонясь вперед и украдкой оглядывая собственное отражение, скользящее у ее ног по черному блестящему полу.

— Последняя сводка с Плутона-дубль, как вы просили, доктор Неттлтон.

Доменик взял из протянутых рук пакет. Ежедневно четыре такие сводки поступают в этот зал. Чаще всего их записывает кибер-коллектор информации, реже — приносит кто-нибудь из девушек группы космической связи. Но никогда еще сводки внеземных автоматических станций не передавались в запечатанных конвертах. Тереза это знает, и в другое время она, может быть, и встревожилась бы, но сегодня все необычное допустимо, ведь нынче такой день, такой день...

Нид Сэами сложил маленькие ручки на груди, как он это делал всегда, когда обращался к женщине;

— Если позволите, Тереза, то я не желал бы Мануэлю Рекуэрдосу видеть кого-либо, кроме вас, и я смею надеяться, что именно вас он унесет в своих воспоминаниях, подобно лепестку вишни, хранимому между страниц записной книжки...

Тереза ослепительно улыбнулась, но эта улыбка предназначалась не маленькому старомодному Ниду Сэами с его восточной витиеватостью учтивых речей, это была улыбка для Рекуэрдоса.

— Благодаря вас, доктор Сэами, но сегодня такой день — двадцать седьмое мая, и все девушки на Пьяцце Армерине одеты в розовое. Все до одной. Так что мало надежды на то, что Мануэль Рекуэрдос увидит именно меня.

Нид Сэами покачал головой, и щелочки его глаз то закрывались совсем, то вспыхивали влажной черной искрой. Обрадовать Терезу? Сказать ей, что счетные устройства рассчитали появление Машины Рекуэрдоса с точностью до тридцати секунд, и Мануэль уже увидел Терезу, именно ее, и он унесет в своих воспоминаниях ее образ — «подобно лепестку вишни, хранимому между страниц записной книжки», — но в армейском госпитале недалеко от Орли, куда его доставят после катастрофы, он не успеет ни нарисовать, ни описать ее — он только скажет: «И девушка в розовом...»

На зеленом холме, сохранившем название Пьяцца Армерина, все девушки сегодня одеты именно так. Каждая из них надеется, что сейчас ее вызовут в координационный зал, и она пройдет мимо невидимой Машины. Если бы сегодня был другой день, если бы не запечатанный пакет, принесенный Терезой, Нид Сэами именно так бы и поступил: вызывал бы сюда, в этот зал, всех девушек поочередно, и каждая из них сохранила бы на всю жизнь маленькую тщеславную надежду на то, что только она могла быть «девушкой в розовом» Рекуэрдоса.

Всю жизнь...

— Я свободна, доктор Неттлтон?

— Разумеется, Тереза. Благодарю вас.

Привычно отражаясь в базальтовой черноте пола, коротенький розовый халатик (наверное, чересчур коротенький, если смотреть глазами жителя прошлого столетия) плавно пересек исполинский павильон координационного зала. Дверь медленно затворилась.

Это здание выстроят уже после смерти Рекуэрдоса, чтобы оградить все возможное пространство, в котором несколько веков будет лететь вперед его невидимая Машина. Много построят люди этого столетия, невероятно много, так много, как только могут сделать люди, работающие совершенно спокойно, люди, знающие, что у них будет и завтрашний день, и завтрашнее столетие.

— Он еще видит нас? — спросил доктор Сэами,

— Еще около минуты.

Они стояли друг напротив друга, и руки Доменика помимо его воли медленно вскрывали конверт.

— Минута истекла, Доменик. Читайте.

Две ровные колонки цифр. Пакет можно было бы и не запечатывать, — все равно ни операторы станции космической связи, ни Тереза, ни даже доктор Сэами все равно ничего бы из них не поняли. Это был ответ на специальный запрос Доменика Неттлтоиа, и он один знал, что означает каждая цифра.

— «Приблизительный объем надвигающейся туманности», — сказал он и прочел первую цифру.

Она была огромна.

«Интенсивность ее излучения по предварительным данным» — и здесь величина была жуткой,

«Направление ее полета» — направление было точно на Солнце.

«Скорость перемещения в пространстве» — скорость была достаточной.

— Еще двадцать два дня, — проговорил Доменик Неттлтон, — и на Земле не останется ни одной живой клетки.

... привычно отражаясь в базальтовой черноте пола, коротенький розовый халатик (пожалуй, чересчур коротенький, если смотреть глазами жителя прошлого столетия) стремительно пересек исполинский павильон белоснежного зала. Дверь резко захлопнулась.

Теперь перед Рекуэрдосом были только два старика, и тот, что был выше и шире в плечах, держал в руках пакет, словно ожидая чего-то. Потом он резким движением рванул конверт и выхватил оттуда маленький листочек.

Дикий темп, подумал Мануэль. Невероятный темп. Так встрепенуться может только огромная, почуявшая опасность птица. А

еще старики! Позавидовать только такой прыти. Все они тут, от мала до велика, с раннего утра крутятся как белки в колесе, и совершенно очевидно, что это для них — обычная жизнь. Позавидовать?

Ха! Пусть ему позавидуют, ему, Мануэлю Рекуэрдосу, который сумел все это увидеть! Ведь никто еще до него не смог заглянуть ни в прошлое, ни в будущее, хотя принцип передвижения во времени известен уже добрый десяток лет. Машины строились, поглощая годы и жизни человеческие, различные модели создавались одна за другой, но ни одной не удалось сдвинуться с места. Они строились, несмотря на запрет, наложенный на любые опыты со временем еще двенадцать лет назад, когда Всемирный Совет по координации научных знаний вдруг спохватился, что одна неосторожная экскурсия в другой век может коренным образом изменить ход мировой истории. Но опыты проводились потихоньку, и каждый раз давали нулевой эффект. Мануэлю доводилось слышать об этих попытках. Каждый раз повторялось одно и тоже: Машина дергалась, контур ее на долю мгновения размывался, в какую-то бездонную, непредставимую прорву ухала вся энергия внутренних аккумуляторов — и ничего. Машина оставалась на том же месте, в том же времени.

Координационный Совет счел неудобным подтверждать свой запрет, — ведь получалось, что он запрещал заведомо невозможное. Еще не хватало запретить все опыты по созданию вечного двигателя. Высокопоставленные администраторы от науки махнули рукой на проблему передвижения во времени, и даже нашлись горе-теоретики, которые провозгласили аксиому о невозможности передвижения по временной оси с сохранением пространственных координат. Аксиома Сильвара-Сильвана. Сильвар-Сильван, по-видимому, очень хотел оставить свое звучное имя в анналах истории науки. И оставил.

Но у Мануэля Рекуэрдоса, слава богу, была своя голова на плечах, и плевал он на все эти скороспелые аксиомы, взращенные на тощих хлебах полузапрещенных, кустарных экспериментов. Он верил в свою удачу, в свое постоянное везенье, и ему-таки повезло: он проделал эксперимент в том же виде, как и его предшественники, он скрупулезно повторил все то, что сделали они, — он и ставил себе задачей на первый раз «начать от печки», чтобы яснее увидеть, где, на каком повороте, все повторяют одну и ту же ошибку; он скопировал старый опыт, чтобы потом найти свое, оригинальное решение — и вместо неудачи на первом же запуске он перемахнул через целое столетие с лихой

скоростью около двадцати пяти лет в секунду, и теперь его Машина стояла...

Стояла? Предчувствие разрешения тайны подтолкнуло его, он наклонился над приборной доской, слабо мерцавшей в свете единственной сигнальной лампочки.

Стрелка скорости стояла не на нуле.

Совсем крошечный промежуток отделял ее от конечной черты, и скорость Машины была предельно малой — меньше двух секунд в секунду, сущая ерунда. Шелковый пестрый шнурок, заменявший Мануэлю галстук и развязанный за минуту до старта, скользнул на самодельный пульт управления и не позволил довести движок реостата до упора.

Машина медленно плыла вперед.

Мануэль шумно выдохнул. Как все просто, как все очевидно! Жаль только, что сейчас не время поразмыслить над этим, кое-что прикинуть, сформулировать. Сейчас голый эксперимент — наблюдения и только наблюдения — ах ты, черт, так был уверен в первой неудаче, что даже не прихватил с собой фотоаппарата! — потому что кто знает, когда ему удастся получить разрешение на новый полет — как-никак, а эксперименты такого рода запрещены. Если бы его постигла неудача, то опыт легко было бы скрыть, но теперь и Бриан не выдержит — проболтается, да и зачем молчать, когда она на ладони — аксиома Рекуэрдоса, и она проста как дважды два: если движение в пространстве ограничено по скоростям сверху скоростью света, то при движении во времени скорость ограничена снизу — она не может быть нулевой! Сколь угодно малая скорость — но только не остановка. Почему? Это надо еще обмозговать, покрутить так и эдак, доказать предельно строго с точки зрения математики и философии. Пусть Бриан этим занимается, леший с ним, будет аксиома Рекуэрдоса и Викерзупда. Сейчас же очевидно одно; при каждом броске вперед надо следить, чтобы Машина не остановилась, иначе она мгновенно будет отброшена назад, в исходную точку, как это и происходило во всех предыдущих экспериментах.

В сущности, аксиома этого Сильвара-Сильвана в какой-то степени верна — теперь ясно, что невозможно перебросить материальное тело из одного времени в другое, оставаясь на своем месте, как о том мечтали многочисленные сказочники от науки. Субсветовые скорости космических кораблей и при этом парадокс времени — совсем другое дело, там экстремальные перемещения в пространстве. Но совместить планетолет и Машину

Времени невозможно, поэтому исключены героические десанты, хулиганские вылазки с воровскими целями и даже просто прогулки. Из других времен ничего нельзя взять, в другие времена ничего нельзя сбыть.

Но пролететь мимо и подсмотреть...

Вот они, два ученых мужа будущего столетия. Они смешно взмахивают руками и бегают по залу семенящими шажками, словно актеры немых фильмов прошлой эры. Скорость их движений почти удвоена, и сейчас на их лицах нет прежней застывшей улыбки — быстрая смена выражений воспринимается со стороны как гримаса неумело разыгранной клоунады.

Мелкие беды едва начавшегося дня, подумал Рекуэрдос. Мне бы их заботы!

Он глянул еще раз на широкие двери, распахнутые в знойное субтропическое утро, на белую дорогу, бегущую от порога этих дверей вниз, по склону холма, на красную черепичную кровлю императорской виллы и, придерживая одной рукой шелковистую змейку шнурка, бросил Машину еще на столетие вперед.

Серая сумятица переходного момента, легкая тошнота — и ослепительный, звонкий свет.

Прозрачный купол, подобный опрокинутому бокалу богемского стекла,— золотисто-медовый, словно подсвеченный подземным огнем внизу, затем — дымчато-серый, неощутимый и сразу же — неистовая голубизна, и ласточки, стремительно залетающие в узкие отверстия, едва угадываемые у самой вершины купола, чтобы выкупаться в солнечном сиянии и так же бесшумно исчезнуть...

Кто-то копошился на полу, и Мануэль, приглядевшись, понял, что это металлические сороконожки, которые бегают, задрав хвостики, и тыркаются усатыми головками в разноцветные кнопки, вмонтированные в плоскость пола.

И снова главным было не сияние головокружительно вздымавшихся сводов и не разумная суета одушевленных машинок, а то, что все это, мудрое и прекрасное, есть, есть, есть на Земле!..

— ...прозрачный купол,— Неттлтон стиснул кулаки и поднял их к лицу,— прозрачный купол, подобный опрокинутому бокалу богемского стекла,— золотисто-медовый, словно подсвеченный подземным огнем внизу, затем — дымчато-серый, неощутимый и сразу же — неистовая голубизна, и ласточки, слышите, Нид, ласточки, стремительно залетающие в узкие отверстия,

едва угадываемые у самой вершины купола, чтобы выкупаться в солнечном сиянии и так же бесшумно исчезнуть...

Хорошо, что Рекуэрдоса уже нет в нашем времени, подумал Нид. Хорошо, что он не видит этого отчаяния...

— Но откуда все это? Он говорил об этом перед самой смертью, а перед смертью не лгут. Перед смертью только бредят. Бредят? А, доктор Сэами? Никто лучше вас не разбирается в человеческой психологии, так скажите — может, он вообще ничего не видел? Бред? Больное воображение? Желание оставить после себя хотя бы сказку?

— Он видел, — сказал Нид.

— Но что, что? Сегодняшнее утро — да, и два старика, и девушка в розовом, мы знали, что он должен нас увидеть, и мы пришли сюда, мы все вольно или невольно творили будущее для Рекуэрдоса — и белый зал, и лиловые доски пультов, и никому ненужная допотопная вилла... Если бы не описание, сделанное в прошлом, все это делалось бы и строилось по-другому. Но, зная, что именно должно быть, мы не могли сделать иначе. Мы искренне играли свою роль. Но потом? Ласточки, купающиеся в солнечном сиянии... Вы психолог, Нид, но даже вы должны знать физику настолько, чтобы понять: после прохождения этой блуждающей туманности на Земле не останется не только ласточки, но и самой примитивной амебы. Все произойдет быстро, очень быстро, и по-прежнему будут стоять дома, виллы, хрустальные купола. Излучение не причинит вреда камням и металлу. Не останется только нас — бабочек, птиц, людей. И мы бессильны, Нид, мы бессильны...

— Но он видел, — повторил Нид Сэами, — и то, что он видел, стало счастьем и надеждой самого прекрасного века в истории людей.

— Он бредил! — вне себя крикнул Доменик, — Прах и тлен — вот что он видел! Несколько слов красивой лжи — ее хватило всему человечеству ровно на столетие. Нет, он не бредил — он лгал, и если бы на его месте был я, я тоже солгал бы!

Нид Сэами медленно покачал головой:

— Но Мануэль Рекуэрдос не был мудрецом. Он был просто отчаянно везучим мальчишкой. Если бы он погиб

сразу же после своего возвращения из будущего, я еще мог бы усомниться в правдивости его рассказов. Но между Пьяццей Армериной и Орли прошло около суток, и все эти часы он был искренне и неподдельно счастлив.

— И пять миллиардов людей на Земле целое столетие были искренне и неподдельно счастливы... Не смешно ли?

— Нет,— сказал Сэами,— не смешно. И если Рекуэрдос не увидит своего сверкающего купола и ласточек в его вышине, если он не увидит потом склона, усеянного мелкими горными маками, и девочки с рогатой улиткой на ладошке, если он не увидит синего кольца космодрома с матовыми каплями фантастических кораблей — отдаете ли вы себе отчет, Доменик, что будет отнято у пяти миллиардов целого столетия?

— Чего вы от меня хотите, Нид?

— Действий. Время идет, Доменик. Собирайте людей. Даже Верховный Совет Мира еще не осведомлен в полной мере о том, что надвигается на Землю.

— У меня не хватит сил произнести это, не хватит сил...

— Хорошо,— сказал доктор Сэами.— Совету доложу я. Подите к себе и отдохните, Доменик. На эти двадцать два дня нам потребуются все наши силы и все наше мужество.

— Зачем? — устало спросил Неттлтон.

— Затем, чтобы Мануэль Рекуэрдос увидел то, что он должен увидеть,— твердо проговорил Нид Сэами.— Увидел, даже если на Земле действительно не останется ни одной бабочки, ни одной птицы, ни одной живой души.

— Вы хотите построить на этом месте прозрачный купол? А ласточки?

— Строить его не к чему, это — здание закрытого катка в Кабуле, и ласточки действительно вьются у самой его вершины.

— За двадцать два дня его сюда не перенести.

— Ничего не надо переносить, Доменик. Ведь вслед за этим куполом Рекуэрдос должен увидеть склон, усеянный рыжими маками, а еще через столетие — космодром. Вы поняли меня, Доменик? Все это нужно отснять, и точная аппаратура, которой не страшно излучение блуждающей туманности, один раз в столетие строго в рассчитанный миг будет проектировать на сферический экран,

который мы должны успеть расположить в этом зале, картины сказочного будущего Земли.

— Будущее для одного Рекуэрдоса...

— Будущее для пяти миллиардов людей, Доменик! Счастье, надежда и спокойствие целого столетия.

— Нам понадобятся помощники, Нид.

— Я думаю, их будет достаточно.

— И съемочная аппаратура.

— Нам дадут лучшую.

— И каменистый склон, усеянный рыжими коротконогими маками.

— Найдем в Альпах и спечатаем с нашим дальним планом.

— И механическая игрушка, которую можно было бы выдать за многоопорного кибера...

...каменистый склон, усеянный рыжими коротконогими маками. Ни зала с лиловыми пультами, ни хрустального купола. Склон пуст — исчезла белая дорога, спускавшаяся к императорской вилле, исчезла и сама вилла, располагавшаяся у подножия холма. И никаких следов разрушения — прошло всего-навсего сто лет, руины простояли бы дольше. По всей вероятности, здания просто перенесены в другое место, вот и трек на склоне — прошел громадный гусеничный механизм. Неужели не осталось ни одного человека на этом холме?

И тут откуда-то справа появилось кудрявое существо лет четырех, спускавшееся по крутому склону самым естественным образом — на пятой точке. Пестрые штанишки на лямочках, правая рука занята,— на ладошке большая виноградная улитка.

Девочка выпрямилась, поднесла свою находку к самому носу и подула на темно-лиловый завиток.

Мануэль засмеялся. Надо было делать совсем не так, надо было попрыгать на одной ноге и спеть магическую песенку:

*Улитка-улитка, высуни рога —*
*Дам тебе хлеба, кусок пирога!*

Но улитка оказалась на редкость некоммуникабельной, и каждый остался при своем; девочка осторожно опустила ее на землю, а сама побежала дальше, по склону пустого холма, и мелкие маки шлепали ее по голым ногам, не доставая до коленок.

Пожалуй, впервые за все путешествие Рекуэрдос остро пожалел, что не может выскочить из Машины, чтобы догнать этого беззаботного карапуза в пестрых штанишках, безнадежно выпачканных травой. Мануэлю невольно припомнились кошмарные вундеркинды, коими в обилии населяли наше будущее досужие фантасты и футурологи — сопливые вундеркинды, от горшка два вершка, а уже берущие нетабличные интегралы и пристающие к прохожим со своим, оригинальным доказательством теоремы Ферма.

Он искренне жалел, что не может ринуться за этой девчушкой вниз по склону; они бежали бы рядом, оставляя за собой две дорожки осыпавшихся лепестков, а потом он показал бы ей одно из маленьких чудес, которые взрослые между собой презрительно называют фокусами, и еще сказал бы ей, что он — добрый волшебник Рекуэрдос и ему триста лет и двадцать четыре года, и она поверила бы ему.

Но остановить Машину и выйти из нее было невозможно, и Мануэль, глянув на указатель энергоподачи, понял, что аккумуляторов его хватит только-только на один столетний перелет, и он бросил Машину в последний поиск, и мир, завершивший его путешествие, был миром, устремленным к звездам.

Насколько он понял, Машина оказалась где-то между стальными опорами наблюдательной башни, устремленной высоко в небо и исчезающей за верхней кромкой узкого иллюминатора. Крупноячеистая защитная сетка подрагивала перед самым стеклом, а внизу, опоясывая подножие холма, замкнулось огромное темно-синее кольцо, которое он в первый момент принял за морскую воду.

Но это была не вода, а бетонное покрытие стартовой площадки космодрома, от которой ежеминутно отрывались и плавно взмывали ввысь исполинские туши каплеобразных кораблей. Они набирали высоту легко и беззвучно, но нетрудно было угадать, какие вихри разрывают воздух над Пьяццей Армериной, потому что массивная металлическая сеть трепетала и натягивалась, едва не касаясь иллюминатора Машины. Корабли растворялись в плотной голубизне сицилийского неба, и в том месте, где они исчезали, несколько секунд спустя развертывался, словно пунцовая гвоздика, стронциевый бутон стартовой вспышки внепланетных двигателей.

Теперь Мануэлю стало ясно, почему в прошлом столетии обезлюдел этот холм. Он готовился принять на себя тяжесть синего бетонного кольца, и Рекуэрдос пожалел, что двинул верньер

указателя времени назначения на целые сто лет и пропустил такое великолепное зрелище, как строительство космодрома будущего. Надо было прыгать два раза по пятьдесят, но теперь было поздно сожалеть об этом, тем более что по корабельным часам Рекуэрдоса прошло уже более сорока минут.

Не надо жадничать. Ведь это всего-навсего пробный запуск, и там, четыреста лет назад, на развалинах древней базилики, изнывая от нетерпения и тревоги, ждет Викерзунд. Надо возвращаться. Ему и в голову не пришло, что, проданный Брианом, он попадет прямехонько в лапы полиции, уже оцепившей холм. До самого вечера он будет разбирать свою Машину и грузить ее в самолет, чтобы предстать перед Всемирным Советом по координации научных знаний, и на рассвете этот самолет поднимется и возьмет курс на Орли.

И разобьется вместе с Машиной и обоими ее создателями.

До чего же хорошо было смотреть на мир, отдаленный четырьмя столетиями, и совершенно не думать о завтрашнем дне! Но минуты шли, и столбик энергометра едва-едва подымался над нулевым уровнем. Пусть стартует еще один звездолет, разрешил себе Мануэль. Еще один корабль, и я вернусь.

Он прижался лбом к тепловатому плексу иллюминатора.

Непомерно тяжелая на вид капля, отливая ртутным блеском, поднялась с дальнего края поля и пошла вверх, стремительно наращивая скорость.

Всё.

Мануэль выдернул шелковый шнур, зажатый движком реостата возле самой нулевой черты, и остановил Машину. И в тот же миг неодолимая сила несовместимости времен отбросила его назад, в исходную точку его полета.

...непомерно тяжелая на вид капля, отливая ртутным блеском, поднялась с дальнего края поля и пошла вверх, стремительно наращивая скорость.

Затем проекционная аппаратура автоматически выключилась, и изображение исчезло.

— Всё, — сказал Доменик, — мы сделали все, что могли.

Нид кивнул головой. Действительно, все возможное было сделано.

— Но у нас в запасе еще почти восемь дней, — сферический экран был пуст, и только беспокойная тень Нетлтона металась по нему, словно птица, разучившаяся ле-

тать.— Что же делать теперь? Проверять еще раз всю систему?

— Нет,— сказал Нид.— Я плохо разбираюсь в надежности схем и приборов, но я наблюдал за всем монтажом и понял, что во всей этой огромной работе не может быть ни одного промаха, ни одной ошибки. Ведь это последнее дело рук человеческих, Доменик. Последняя работа. Она выполнена на совесть.

— На совесть — и преждевременно. Восемь дней впереди, восемь бесконечных дней, за которые ничего не придумаешь, ничего не сделаешь! Восемь дней собственного бессилия...

— Она не замедлила движения?

— Напротив. Перед ней Солнце, и она разгоняется, точно хищник, почуявший плоть и кровь; она набирает скорость и вытягивается в одно огромное, нацеленное на Солнце щупальце.

— М-да, когда она подходила к нашей системе, ее форма напоминала гигантский боб. А может...

— Что? — быстро спросил Доменик.

— Может быть, в изменении формы...

Нетглтон усмехнулся, и улыбка эта была далека от той, которую видел Рекуэрдос:

— Надежда? Нет, друг мой. Концентрация ударной силы. Разогнанная притяжением Солнца, туманность обтечет его со всех сторон и помчится дальше. А дальше на ее пути будет Земля.

— Значит, ничего не изменится...

— Ничего, Нид. Разве что все произойдет за меньшую долю микросекунды, чем мы первоначально предполагали.

Нид Сэами прошелся по залу. Ослепительно белый сферический экран, выросший за несколько дней, и за ним не видно ни окон, ни двери, всегда распахнутой в сад, где над зеленью платанов всплывает, точно панцирь морской черепахи, крыша максимиановской летней усадьбы. И одна мысль, алебастровым непроницаемым экраном загораживающая весь мир,— доля микросекунды. Мизерный осколок времени, пренебрегаемый людьми и существующий разве что для физиков, не способный вместить в себя ни тяжелолиственный шум платановой рощи, ни металлический треск цикад, ни всхлип человеческого

дыхания. Доля микросекунды — это так мало, что невозможно будет уловить, что же из всего этого затихнет первым.

Тени двух человек встретились на белом экране. Они так давно знали друг друга — Нид Сэами и Доменик Неттлтон, что мысли одного были ясны для другого. Оба думали об одном. Вся мыслимая работа была позади и бояться было нечего — насколько можно ничего не бояться перед лицом неминуемой гибели, — и Доменик, не страшась показаться слабейшим, произнес вслух:

— Единственное, чего бы я не хотел, если бы имел возможность выбора, — это остаться в этой микросекунде последним...

— Никто из нас не будет последним, — отвечал ему Нид Сэами, — потому что после нас останутся сказочные миражи, которым мы сами так хотели бы поверить. Словно маяки, они будут вспыхивать в назначенный срок, даря пяти миллиардам людей счастье уверенности в своем будущем. Мы сделали то, чего не делал никто и никогда, мы своими руками создали мир грядущего. Описывали его многие, но мы не описали — мы построили. Никто никогда не узнает — некому будет узнавать, — чего стоил нам этот труд. Пожалуй, именно нам с вами, Доменик, виднее всего, чего он стоил. Зато и награждены мы за свое дело так, как никто из людей. Мы увидели, чего оно стоило даже через сто лет. Те, кто создает будущее ради будущего, награждены надеждой; мы создавали будущее для прошлого — и нам досталась уверенность в пользе своего дела, ибо прожитый человечеством век — самый прекрасный за всю историю Земли, и мы это знаем. Ведь это достаточная награда за наше мужество, не так ли, Доменик?

...непомерно тяжелая на вид капля, отливая ртутным блеском, поднялась с дальнего края поля и пошла вверх, стремительно наращивая скорость. Всё.

И безжизненная белизна экрана.

А затем раздался детский смех.

— Да это же просто воздушные шарики! — в восторге вопил какой-то мальчишка, почти наполовину свешиваясь из люка своего детского одноместного левитра. — Провалиться мне в гравитационную яму, если это не просто шарики! Вот смеху-то!

— Не нужно смеяться, малыш,— проговорил совсем еще молодой человек с голубоватым лицом, какое бывает только у тех людей, которые родились в космосе.

Он включил двигатель своего левитра, и легкая скорлупка взмыла вверх, в утреннее фиалковое небо. Он опустился прямо на вершину белой полусферы, растворенной на юг, словно ворота из слоновой кости, через которые, как верили древние, приходят вещие сны.

Он посмотрел вокруг себя и увидел тысячи людей, которые стояли, сидели на траве или висели в воздухе на своих крошечных, чуть слышно жужжащих корабликах. Тысячи людей, которые собрались сюда для того, чтобы вместе с Мануэлем Рекуэрдосом сквозь его невидимую Машину посмотреть на дивный мираж, одинаково непохожий и на картину прошлого, и на отражение настоящего.

Они его увидели, и светлая сказка, рассказанная три века назад о грядущем, об их мире, показалась им ожившим рисунком доброго ребенка.

И тогда человек, родившийся в космосе, заговорил.

— Не надо смеяться, малыш,— повторил он, и голос его был одинаково четко слышен и у подножия холма, и даже самым дальним корабликам, висевшим в трех милях от Пьяццы Армерины.— Да, эти изображения, выполненные ровно триста лет назад, чем-то напоминают летающие велосипеды, которыми населяли мир будущего мечтатели времен Уэллса и Жюля Верна. И все-таки мы решили, что Мануэль Рекуэрдос должен увидеть именно эти наивные картинки, а не те межзвездные корабли, которые действительно поднимаются сейчас с наших стартовых площадок. Разумеется, нам пришлось бы ограничиться показом стереофильма, потому что никому, кроме мечтателя далекого прошлого, не пришло бы в голову расположить современный космодром на острове, лежащем в самом густозаселенном море. Но не в том суть. Мы сохранили в целости миражи Неттлтона и Сэами не потому, что они были доступнее и понятнее для человека восемьдесят третьего года, чем техника наших дней, работающая на принципах, непредставимых для Рекуэрдоса и его современников.

Мы сделали это из уважения к воле и мужеству людей, которые даже перед лицом надвигающейся гибели смогли создать прекрасные сказки, сказка для безвозвратно ушедшего века, для людей, которые уже умерли. И они добились своего; век этот отплатил им небывалым расцветом человеческих сил и талантов.

Земля, лежащая под нашими ногами, — Сицилия, остров нищеты и жажды. Как мало, в сущности, потребовалось, чтобы превратить его в один нескончаемый сад! Ничтожная доля энергетических ресурсов Средиземного моря и труд небольшой группы ученых-добровольцев. И тогда благодарная Европа подарила этот остров тем, кто его преобразил, — ученым мира. Сицилия стала островом науки, а Пьяцца Армерина, маленький захолустный институт, откуда была запущена Машина Времени, — мировым центром.

Рекуэрдос не был великим ученым — честно говоря, он был просто талантливым и отчаянно везучим экспериментатором-интуитивистом. Мы никогда не узнаем, каким образом он открыл закон движения во времени, — он погиб так быстро и так неожиданно, что не успел открыть ни того, что было им сделано, ни того, что было задумано. Скорее всего, это открытие было чисто случайным и вытекало из какой-нибудь ошибки эксперимента. Но так или иначе, остров, на котором был поставлен этот небывалый опыт, всё чаще стали связывать с именем погибшего ученого. Как будто сами собой пришли и остались в обиходе названия — павильон Рекуэрдоса, холм Рекуэрдоса, институт Рекуэрдоса и, наконец, остров Рекуэрдоса. Шесть рисунков, которые он сделал, пока был способен держать в руке карандаш, — они убедили человечество в реальном существовании такого будущего, каким его увидел Рекуэрдос.

Но тогда перед футурологами встала новая проблема.

Будущее Мануэля Рекуэрдоса вытекало из всего настоящего, включая и запуск Машины Времени. Один-единственный запуск. Но если опыт удастся повторить — не повлияет ли это на дальнейшее развитие человечества, то есть не создаст ли это дополнительных предпосылок для такого развития, в результате чего оно пойдет другим путем? Не окажется ли будущее, виденное вторым экспериментатором, другим, отличным от будущего Рекуэрдоса?

Постановка вопроса была заведомо ложной, ибо будущее так же единственно и неизменно, как и прошлое. Другое дело — видение этого будущего. Так, если бы повторный запуск был осуществлен на Мальте, превращенной в заповедник гигантских рептилий, — боюсь, что люди восемьдесят третьего года до конца своей жизни оплакивали бы гибель человечества от допотопных звероящеров, непостижимым образом возродившихся на Земле. Но вопрос был поставлен со всей строгостью, и до его решения человечество прекратило всякие опыты с Машинами Времени, чтобы каким-нибудь неловким появлением в грядущих

веках не спугнуть, не исказить, не испортить этого прекрасного будущего. Впрочем, и без такого запрета в те времена вряд ли кому-нибудь удалось повторить опыт Рекуэрдоса: нам известно, что после гибели Машины вместе со всеми чертежами и набросками — по какой-то несчастной неосторожности ученый решил взять с собой в Париж все свои бумаги, не оставив в Пьяцце Армерине ни одной копии,— было высказано предположение, что Рекуэрдос создал принципиально новую конструкцию межвременного двигателя. По этому пути и пошли все последователи Мануэля, несмотря на официальное запрещение, которое стало теперь соблюдаться гораздо строже. Но все попытки были обречены на провал, и заслуга повторного открытия принадлежала не физику, а психологу.

Нид Сэами первый обратил внимание на несоответствие между рассказом Рекуэрдоса о стремительности своих движений и действительной картиной. И тогда он вывел априорное предположение о возможности передвижения во времени на предельно малых скоростях с тем, чтобы наблюдать события других времен, не вмешиваясь в них. Он записал свою мысль, но не поделился ею ни с кем, и лишь спустя три века мы нашли эту запись в его бумагах.

И вот прошел первый век предсказанного будущего, век, ограниченный фигурами Мануэля Рекуэрдоса — с одной стороны, и Нетгтлтона и Сэами — с другой. А дальше было то, что вы хорошо знаете из истории,— наша система встретилась с блуждающей туманностью. Астрономы Земли никогда не сталкивались с подобным явлением и не могли предположить, что огромная туманность вся целиком будет притянута Солнцем и осядет на его поверхности, вызвав только чудовищный выброс протуберанцев. Человечество было уверено в своей гибели, ведь спастись на другие планеты и искусственные спутники не представлялось возможным,— первоначальный фронт туманности перекрывал все уголки нашей системы, куда ступила нога человека к сто восемьдесят третьему году.

Когда же опасность миновала, люди решили не разрушать установки, созданной под руководством Нетгтлтона и Сэами,— если до этого человечество боялось за существование своего будущего, то теперь оно не хотело рисковать своим счастливым прошлым,— и Сицилия стала островом Светлых Маяков.

Сегодня последний из этих маяков догорел. Машина Мануэля Рекуэрдоса вернулась в свою исходную точку, а мы — нам не нужно подсматривать картинки нашего завтра — мы и так уверены

в том, что оно светло и прекрасно, и даже если бы мы увидели его, увидели раньше времени, все равно, придя в свой срок, оно, оставаясь таким же, каким мы его подглядели, было бы в тысячу раз прекраснее одним только тем, что оно есть на самом деле, что оно — сама жизнь. А то, что мы еще не открыли, не изобрели, не додумали, всё это мы возьмем своими руками, без подсказки и подглядыванья.

Вот история этого острова, но сегодня я хотел говорить о другом. Последний Светлый Маяк догорел на Сицилии, но мне кажется, что память об этом должна быть увековечена в названии острова, и оно должно быть связано с воспоминанием о самых сильных и самых добрых людях, когда-либо ступавших по ее каменистой почве. Но, к сожалению, из десятков и сотен добровольцев, зажегших эти маяки, мы знаем только два имени: Доменик Неттлтон и Нид Сэами. Назвать остров их именами было бы несправедливостью перед всеми остальными — безымянными.

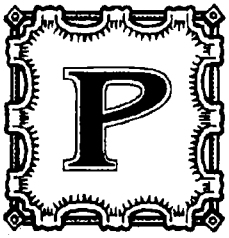
Так пусть же Сицилия зовется так, чтобы при упоминании этого названия вспоминались все эти люди, — пусть она зовется Островом Мужества.

Человек, рожденный не на Земле, замолк и обвел взглядом всех людей, собравшихся вокруг белой раковины маяка. Все молчали, потому что были согласны с ним, и голубые огни — знак этого согласия — загорались на носу каждого кораблика.

И только мальчишке, наполовину свесившемуся из люка, этого молчаливого согласия было мало, и поэтому он замахал руками и крикнул:

— Принято, капитан!

# ЛГАТЬ ДО ПОЛУНОЧИ



овная желтизна подымалась выше и выше, пока не заполнила своим теплым сиянием все небо, безоговорочно вытеснив предутреннюю синеву. Стойкость и бестрепетность этого янтарного зарева порождали сомнение в его правдоподобии, если бы не две инверсионные линии, тянущиеся ввысь за невидимыми точками ракет. Линии пересеклись и стремительно побежали дальше, расплываясь и теряя свою геометрическую безукоризненность.

И все-таки... Белые пушистые нити, перечеркнувшие небо, точно заиндевелые провода,— и жаркая, неукротимая желтизна, какая бывает только над раскаленными пустынями.

Было в этом сочетании что-то от лукавого.

Еще некоторое время Алан полежал, просто и естественно радуясь этому золотому утру, и ничему другому. Потом вспомнил вчерашнее. Припомнилось все разом, и Алан даже тихонечко закряхтел, как от ощущения реальной физической тяжести, которую он сам навалил себе на горб, и ведь справился... Справился!

Алан упоенно гикнул, вылетел из постели и ринулся к окну, распахнутому от стены до стены. Эвоэ! Да здравствуют сапиенсы! Он прекрасно понимал, что со стороны он выглядит отнюдь не сапиенсом, а форменным орангутангом, золотым орангутангом, купающимся в золотом утреннем воздухе. Но глядеть на него со стороны было некому, и он перелетел через подоконник и плюхнулся в невысокую траву, оступился на чем-то круглом и растянулся во весь рост, благодаря судьбу за то, что здесь отродясь не водилось крапивы. Круглое оказалось теннисным

мячом, по нерадивости Ухти-Тухти не разысканным с позавчерашней разминки. День позавчера выдался пасмурный, прохладный, вот он и позволил себе часок попрыгать у стенки.

Зато вчера было не до тенниса... При одном воспоминании о вчерашнем дне на него снова накатил такой восторг, что он схватил мячик и с криком: «Тухти, ищи!» — швырнул серебристый шарик прямо в небо. Мячик угодил точно в пересечение белых линий, упруго срикошетировал и исчез где-то за бассейном. Махнув на него рукой, Алан разбежался, прыгнул в воду и дельфином пошел по периметру — бассейн был до безобразия мал, и чтобы получить хотя бы минимальное удовольствие от пребывания в воде, приходилось учинять цунами среднего калибра.

На травку он выбрался ползком, опрокинулся на спину и зажмурился. Никто ведь этого не смог, а у него получилось. Пусть он запустил аппаратуру всего на десять минут, да и то с опаской, что в самый неподходящий момент ему на голову свалится кто-нибудь совершенно посторонний и абсолютно невежественный, до которого с трудом дойдет не суть эксперимента — куда уж! — а только вся его еретичность и несомненная запретность, и тогда — все, такого стечения обстоятельств уже никогда не случится... Но никто не свалился, и он смог в тишине и одиночестве закончить начатое. Смог! При этом коротеньком слове, произносимом даже не вслух, но все же наполнявшем все уголки этой станции, его снова обуял такой восторг, что он свечой взвился вверх, словно обнаружил, что он лежит не на теплой синтетической траве, а прямехонько на заснеженном пляже для моржей.

— Тухти, бездельник! — заорал он во всю мощь своих легких, рассчитанных явно на больший объем, чем скромный свод автономной космической станции, на которой до недавних пор работал гравитационно-нейтринный маяк. — Где мой мячик, дармоед окаянный?

Тухти с победно задранными иглами, нежно-алый, словно недоваренный омар, выкатился из-за угла и внезапно замер, как будто врезался в невидимую стену.

— Вольно, — сказал ему Алан.

Тухти медленно опустил иголки, которые тут же кротко подогнулись книзу. В таком положении он удивительно напоминал маргаритку исполинских размеров или, на худой конец, розовую волнушку. Мячик нехотя скатился у него со спины и тут же исчез под лопухом.

— Сколько тебе говорить: подавай прямо в руки, невежа, — назидательно проговорил Алан, нащупывая мяч босой ступней.

Тухти выпростал мордочку из-под роскошной шапки своих игл и с любопытством посмотрел на человека. При этом одно ухо у него было поднято, другое — опущено.

— Вот как был дворнягой, так дворнягой и остался, — ворчливо заметил Алан, и в подтверждение его слов Ухти-Тухти тут же высунул оба свои хвоста и завилял ими в разных плоскостях.

— Ну, будет подхалимничать-то, — Алан вскинул руки, потягиваясь и, как всегда, жалея, что никто не догадался подвесить прямо к небу пару примитивных гимнастических колец. — Пойдем-ка в помещение, прикроем срам и сочиним добрый завтрак!

Он повернулся к лабораторному домику, подле которого, как часовенка Василия Блаженного, прилепилась кухонька. Тело, обмытое морской водой и обсушенное теплым ветерком, положенным к желтому аравийскому небу, двигалось легко и упруго, и совсем не хотелось забираться даже в прохладный льняной комбинезон, а тем более — приниматься за какую-то работу. Но надо было торопиться, потому что по всегалактическим правилам, относящимся к наиболее соблюдаемым, ни на каких космических объектах, будь то станции, буйки, планеты или астероиды, людям не позволялось находиться в одиночку.

В любой момент мог подгрести какой-нибудь скутер, и уж тогда... Он встряхнул головой, отгоняя от себя навязчивое видение чужака, и тут же увидел перед собой Анну.

Она стояла неподвижно и, вероятно, уже давно, прислонившись к стене лаборатории, — тоненькая, словно бледный вьюнок, подымающийся вверх по серой кирпичной кладке.

— Необходимо дополнение, — проговорила она так, словно они расстались только вчера вечером, — срам прикрыть попроворнее, завтрак сочинить на двоих.

— Я тебя когда-нибудь убью, — пообещал Алан.

Он повернулся и пошел к своему коттеджу, тяжело ступая по скрипучей траве и тоскуя по той легкости, с которой он двигался минуту назад. В дверь он не вошел, а перегнулся через подоконник, стащил с кровати простыню и соорудил из нее подобие тоги. В таковом виде и прошествовал на кухню, но вместо того, чтобы включить пищевой комбайн, принялся демонстративно нарезать антоновские яблоки в Тухтину миску. Потом насыпал в ручную мельницу можжевеловых ягод и так же неторопливо перемолол их все, пока изжелта-белые кругляши яблок не покрылись слоем лиловатой пудры. Услыхав издали лакомый запах, Тухти примчался со всех ног и ткнулся в миску, победно и небезопасно задрав свои плоские обоюдоострые иглы.

Алан всегда любил смотреть, как ловко и аккуратно насыщается этот зверек, но сейчас за спиной уже позвякивала посуда, утробно урчал и клокотал комбайн, и оборачиваться — это значило делать первый шаг навстречу. Он сидел, не шевелясь, и только мысленно умолял своего ежа хрупать яблоки помедленнее.

— Вот еще грибы,— сказала из-за спины Анна, и Алан почувствовал, как ему в лопатку уперлась какая-то посудина.— Дай ему грибков, он по своей природе просто обязан их любить. А кстати, это он или она?

— Это кобель,— мрачно констатировал Алан, радуясь тому, что она сама начала разговор и теперь ему не придется как-то выпутываться из безнадежной ситуации, в которую обязательно выливается чересчур затянувшееся молчание.

— Садись к столу, стынет,— пригласили его.

Он присел, словно был тут в гостях. Стол сверкал изяществом сервировки, на тарелках (светло-оливковых, с тоненькой пурпурной каемкой — в тон ее платья) — бледные лепестки тепличного салата и ломтики консервированной дичи. Может быть, она ждет, что он достанет из своих закромов контрабандную бутылку? Не пройдет. Она собирается что-то сказать, так пусть разговор будет деловым.

— Омлет положить?

— Половинку... Спасибо. Так зачем ты пожаловала? Она поставила на скатерть острые локотки, прислонилась щекой к сложенным ладошкам. Очень спокойное, очень светлое, совсем юное лицо.

— Я хотела немножко побыть с тобой.

Он видел, что это правда, вернее, частица правды, и прикусил язык, чтобы не спросить — а зачем? Потому что тогда она сказала бы уже неправду.

— Спасибо за заботу, но все работы я уже свернул. Не сегодня, так завтра мы с Тухти подсели бы на какой-нибудь сухогруз.

— Но по правилам до этого момента на твоей станции должен находиться еще один человек. Почему не я?

Он посмотрел на нее с нескрываемым отчаяньем:

— Потому что ты мне всю душу вымотала. Потому что там, где появляешься ты, возникает вот такой оазис воплощенного женского чародейства...

— Так уж плохо?

— Это не плохо, пока это есть. Но когда потом начинаешь вспоминать все это... О, чертовщина, меня уже повело жаловаться!

— Но ведь это ты всегда прогонял меня.

Опять же как спокойно и как безапелляционно! Он, видите ли, ее прогонял. Так ведь и прогонял, именно так, а не иначе. Потому что от скуки и в силу своих колдовских талантов она умудрялась переворачивать не то что вот такие маяковые буйки — целые планеты. Вот и сейчас, спрашивается, каким образом она сюда попала? Ведь ее экспедиция находилась в совершенно другой зоне дальности, никаких транзитных лайнеров из тех краев не прибывает, а это значит, что она подняла шум на все Пространство и уговорила кого-то сделать чудовищный крюк, чтобы подбросили ее сюда, и ведь надо же — все ее слушались, а кого она не сумела убедить, тот просто дрогнул перед ее напором, и вот она здесь наперекор здравому смыслу и тем более — режиму экономии горючего...

— И тебе снова захотелось побыть со мной, несмотря на опасность, что я снова тебя выгоню?

Она посмотрела на него как-то исподлобья — взгляд был новый, непривычный, как платье после всех бесчисленных комбинезонов, предписываемых космическими традициями.

Он принялся складывать посуду в раковину. М-да, раньше она всегда глядела на него прямо, широко раскрытыми посторонними глазами. А теперь в ее взгляде была и мгновенная оценка всего того, что сейчас с ним делалось, и еще что-то — сострадание? Но она вовремя спохватилась — не нужно было ему этого замечать.

Неужели он уже выглядит в ее глазах жалким? Ну, если и так, то он не даст ей возможности наслаждаться подобным зрелищем продолжительное время.

— Спасибо, — сказал он, резко подымаясь. — Я не задержу тебя. На сборы мне нужно не больше двух часов.

Он прошел к себе, старательно оделся. Никакой небрежности, но и без нарочитой парадности. Вытащил из ниши свои книги, катушки с записями, ракетки. Только личные вещи, а что касается генераторов — станция законсервирована, и весьма возможно, что снова понадобится только через много десятков лет. Кому тогда придет в голову, что аппаратура расставлена и скомпенсирована как-то слишком причудливо? Реле длительности, что вынесено на внешнюю оболочку, вообще ие найдут. Как говорится, концы в воду. Сложиться быстренько, и тогда можно дать кодированный пеленг всем проходящим кораблям — кто-нибудь да подберет. Чтобы недолго тут ждать...

— Так я побуду с тобой, раз уж я для этого прилетела?

— Ты прилетела, чтобы быть моим дублером. Так что потрудись пройти в генераторную и проверить режимы защитных блоков.

Она снова быстро и удивленно глянула на него, потом забралась на его аккуратно застеленную постель и, скинув туфельки, подобрала ноги.

— Это ты своего ежа будешь гонять по станции, — сказала она, — в хвост и в гриву. Я просто хочу побыть с тобой. Как раньше.

А вот этого она лучше бы не говорила.

— Как раньше? А ты хоть помнишь, как это было — раньше? Во всяком случае, мы не просто были друг с другом. Не помнишь? Ну, так я тебе напомню, как это было раньше...

Ведь должно же было хоть что-нибудь дрогнуть в ее спокойном лице, но оно по-прежнему было так невыразительно, так безмятежно, что хотелось схватить его в руки, и мять, и ломать эту светлую непроницаемую корку, обнажая то сокровенное, что она привезла с собой и так старательно прятала, — до поры...

До какой поры?

Он жадно всматривался в ее лицо, в то, как медленно, без малейшего трепета опускаются ресницы, как тихо шевелятся чуть подкрашенные губы — «пожалуйста, потуши небо...» Он нашарил на стене выключатель, внезапная темнота полыхнула со всех сторон, и все стало, как раньше.

А потом наступило отрезвление и вместе с ним пришла разделенность, как он понял, теперь уже необратимая.

Он тихонько сполз с постели, ощупью пробрался в ванную, совершенно не тревожась тем, что под ногами может оказаться клубок пронзительно режущих дикобразьих игл. Не зажигая света, он бросился ничком на теплую кипарисовую решетку и пустил воду.

Она всегда была его другом и помощником, эта вода, насыщенная пузырьками веселого колючего воздуха, острого, как можжевельник, и пряного, как слова, которые говорятся в тот миг, когда невозможно сказать ни слова. От начала дней его и во веки веков вода смывала с него всю нечисть, всю горечь, надо было только довериться ей, и она изгоняла из него все, что не было так же чисто и свежо, как она сама. Но сейчас вода утекала в душистую кипарисовую глубину под решеткой, а горечь оставалась. Уже начав задыхаться, он дотянулся до двери и чуть-чуть приоткрыл ее.

Прозрачно-золотой клин разрубил парную темноту, и Алан прикинул, что времени прошло более чем достаточно для того,

чтобы подняться, прибраться, застелить постель и вообще повести себя так, словно ничего и не было. Ну, хватит же у нее если не ума, то хотя бы жалости, чтобы это осознать?

Он выключил воду, нашарил в шкафчике какую-то одежонку, натянул ее прямо на мокрое тело и вошел в собственную спальню, как в старые времена подымались на эшафот.

Она таки ничего не прибрала. Она даже с постели не поднялась, а лежала на краю, свесив руку, разметав короткие, развившиеся прядки волос, и негодяй Тухти, лежа на спине, пытался подпрыгивать, пружиня и отталкиваясь от пола иголками, и когда это ему удавалось и он дотягивался до свесившейся руки, он покусывал кончики пальцев, что было щекотно и безболезненно.

— Зверь, уберись,— шепнула она, когда услышала приближающиеся шаги.— И уберись побыстрее, а не то тебя сочтут ренегатом...

Тухти послушно испарился.

Алан подошел к постели, присел на корточки, стараясь заглянуть в ее лицо, но светлые жесткие прядки прятали от него глаза, и щеки, и нос, оставляя для обзора лишь изящно очерченный, своенравный подбородок. Это Алана отнюдь не устраивало, и он протянул руку, чтобы отвести от лица эти прядки.

— Если ты полагаешь, что твои наполеоновские манеры дают тебе право дергать меня за косички, то ты ошибаешься,— донеслось из-под тускло-золотой шапки.

После таких вот скоропостижных сцен она и раньше дразнила его Наполеоном, вкладывая в свои слова затаенную, понятную ей одной насмешку, и он каждый раз не решался спросить ее, что именно она имеет в виду, опасаясь услышать, что-де не что иное, как Ватерлоо. Сейчас он также меньше всего хотел бы углубляться в исторические аналогии, но просто нужно было от чего-то оттолкнуться, и он сказал:

— Я в Наполеоны экстерьером не вышел, да и ты ведь не мадам Рекамье. Ты моя жена, ты моя беда...

— Слышу что-то новенькое! — изумилась она, приподымаясь на локте и отводя назад свои волосы, так что на какую-то минуту превратилась в маленького алебастрового сфинкса с огромными удлиненными глазами.— Я сейчас быстренько оденусь, и мы вплотную займемся сборами, а ты тем временем докажешь мне свою гипотезу о шашнях прелестной Юлии-Аделаиды. Ведь до сих пор как-то считалось, что с Буонапарте она ни сном, ни духом... Туфельки дай. Да не на ту... Ага. Первая леди твоего королевства благодарит тебя, ясновельможный сэр. А что до того,

что я — твоя беда, то это было очевидно с самого первого дня нашего бесподобного супружества. Платье, пожалуйста... По-моему, я достаточно просидела голой, чтобы чувствовать себя отомщенной за твой утрешний костюм. Ой... Меня еще в жизни не одевали с такой ненавистью.

И снова его ужаснуло то спокойствие, с которым она произнесла эту фразу,— спокойствие, которое не позволяет ничего обратить в шутку. Но до шуток ли было ему...

— Анна,— проговорил он через силу,— почему ты говоришь о ненависти, когда видишь сама, что я просто и бессмысленно продолжаю тебя любить?

Она долго и внимательно смотрела на него, и снова он не мог понять, что же кроется за этой паузой, потом сказала:

— А если любишь, то зачем мы сейчас говорим все это друг другу? Пойдем работать, я уверена, что у тебя в блоке обеспечения еще полнейший бедлам.

Она встала, деловито затянула поясок и направилась в блок обеспечения — разгребать полнейший бедлам, и он обреченно поплелся следом, зная, что там все в порядке, и приборы зачехлены, и киберы размонтированы, и анализаторы обесточены, придраться не к чему, но она критически скользнула светлым оком по синтериклоновым чехлам и постучала носочком плюшевой туфельки по лежащему на полу течеискателю:

— Год-два он проваляется в безопасности, а вот три-четыре десятка лет — вряд ли. Станцию может прошить, при спадении давления синтериклон выдержит, но вот застежки... У тебя есть под рукой хотя бы гипоцем в аэрозольной тубе? Залить все швы — пустяковое дело, до обеда управимся, только зверюгу своего убери, нюх у него тонкий, еще зайдется...

Ни в какой инструкции о залитии швов вакуумным пластиком и речи не было, но Алан послушно приволок коробку с яркими тубами, и они добрых два часа предавались этому занятию, и она действительно хорошо знала свое дело — неплохой химик-аналитик, она, как и все члены комплексных экспедиций в Дальнем Пространстве, умела и могла непредставимо много для хрупкой и взбалмошной молодой женщины. Он, не пряча жадного взгляда, неотрывно следил за ее движениями, за тем, как острые коленки обрисовываются под светло-зеленым платьем, заляпанным пенными кляксами, как дисгармонично розовеет ободранный правый локоть, и, боясь до конца признаться себе в том, что только такая и только сейчас она и близка ему по-настоящему, он молился теперь об одном: только бы она не уста-

ла, потому что когда кончится эта суета — еще черт ее знает, что Анна выкинет...

Устала она неожиданно, и присела прямо на какой-то зачехленный прибор, и сказала:

— Ну, вчерне вроде все дырки заткнули, а если где и осталось, то гори оно синим огнем, ладно?

— Ладно,— восторженно согласился он.— А хочешь, я тебе настоящий синий огонь учиню?

— Пунш? — живо заинтересовалась она.

— Почему это — пунш? Вот уж, действительно, чисто женские ассоциации... Просто у меня небесный свет в семидесяти вариантах. Для себя я полагаюсь на случайный выбор, но если ты хочешь, я покопаюсь в катушках и найду настоящее северное сияние. Хочешь?

— Ты мне найди лучше кусочек хлеба с маслом...

— Господи всевышний, творец черных дыр и прочего космического непотребства! Да я тебе сейчас такого наготовлю... Иди, мой руки.

— Иди, иди... А если у меня ножки не ходят?

Он схватил ее на руки и, не вполне соображая, что делает, потащил не в душевую, а через всю лужайку, к бассейну. Бесцеремонно потряс, освобождая ноги от туфелек, и когда они шлепнулись на траву, усадил ее прямо на низенький барьерчик, так что босые ступни окунулись в теплую воду.

— Тухти! — крикнул он и, когда еж примчался, виляя хвостами и тем выражая предельную готовность к выполнению приказов, велел:

— Отнеси эти плюшевые галоши в комнату и не смей их приносить, как бы тебя ни обхаживали. Будут взятки совать — попробуй только дрогнуть!

— Обречена на босоножество? — с любопытством спросила Анна.— Ножки наколю. Белые.

— А ты вообще больше не будешь ходить. Отныне и во веки веков. А токмо пребывать у меня на руках.

— Отныне. И во веки веков,— она произнесла это с таким спокойствием, что снова у него всколыхнулось что-то внутри.

Не к добру...

— Ты поплещись,— крикнул он как можно веселее, отгоняя эту непрошеную тень,— ты побрызгайся, а я уж что-нибудь приготовлю. Ты ведь у меня не привереда?

— Я у тебя не привереда,— проговорила она так спокойно и так обстоятельно, словно после каждого слова ставила точку.

Он отмахнулся от этого спокойствия, как от наваждения, и помчался на кухоньку. Врубил комбайн на сверхскоростной режим. Бросился обратно, к теплой раковине бассейна, отражавшего безоблачное золотое небо.

— Страшно окунаться,— призналась Анна.— Такое впечатление, что по поверхности разлилась какая-то тонюсенькая пленочка. Вылезешь из воды — и на тебе все цвета побежалости, как на придорожной луже.

— Почто так непоэтично? Сказала бы — как на венецианской майоликовой чаше...

— Точно. Как на майоликовой лоханке!

— Анна, фу!

— Как на майоликовом урылынике. Знаешь такое слово? Нет? Напрасно. Ты только вслушайся: ур-рыльник!

— Анна!

— А как звучит! Это же серебряный взлет фанфар под барабанную дробь! Ах, Алька, не умеем мы слышать... Урыльник!!! Да с этим словом надо бросаться на подвиг, в битву...

— Ежа постеснялась бы.

— Ах да, братья наши меньшие... Между прочим, это у меня голодный бред. Где обещанный кусочек хлеба с маслом?

— Ой, бедная моя, я сейчас...

— И с икрой! — крикнула она ему вдогонку.

Он слетал на кухню и тут же вернулся, нагруженный, как гобийский дромадер. Край скатерти, перекинутой через плечо, волочился по траве.

— Замори червячка, а там и картошка спечется.

— Это какой такой червячок имеется в виду? — подозрительно спросила она.

— Не знаю... Фольклор,— растерялся он.

Она посмотрела на него и фыркнула:

— Знаешь, какой ты сейчас со стороны? Как будто опустил все иголки и подвернул их под себя.

— И стал нежно-сиреневым.

— А что, эти твари еще и цвет меняют? Ты, между прочим, стели скатерку, раз принес.

— Меняют, куда же им деться. В зависимости от настроения. Подержи-ка хлебницу... А знаешь, перетащу-ка я тебя во-он туда, у меня там две грядочки — одна с зеленью разной, петрушкой да кинзушкой, а другая — с клубникой.

— Живые? — восхитилась она.

— А как же? Пока я по другим маякам шастал, у меня тут специальная программа работала, поливально-светоносная. По

точнейшему субтропическому графику. Зато всегда на столе — свежая закусь.

— Закусь! А...

— «А» тоже имеет место. Контрабандой, разумеется, но ты моя законная жена, а посему не можешь свидетельствовать против меня на суде.

— А что, были такие правила?

— Ага. Когда были суды. Ну, посиди еще немного, моя умница, я все устрою.

Он наклонился, привычно поцеловал ее в теплый золотой висок и помчался все устраивать. Все или не все, но пушистое ложе с банкетным столом он учинил в полминуты — для этого пригодился вигоневый плед, брошенный в ложбинку между грядками.

— Это — старый-престарый коньяк, — предупредил он, отвинчивая крышку на причудливой, антикварного вида фляге. — Пожалуйста, не обманись в его крепости.

— Цхе-цхе-цхе, какая забота! А что, старая алкоголичка тебе сегодня не требуется?

Он знал, что Анна не умела пить вино — в Пространстве такое случалось слишком редко, а на Земле хватало удовольствий и без этого. Он налил совсем понемножку.

— За то, что ты пришла, — сказал он.

— Короче — со свиданьицем!

— Нет, — повторил Алан. — ЗА ТО, ЧТО ТЫ ПРИШЛА.

Он не старался придать своему голосу особую благоговейность, просто так получилось, и он наконец заметил, как дрогнули у нее глаза — не ресницы, а именно глаза. Что-то с ними произошло — то ли сузились зрачки, то ли цвет мгновенно потемнел...

— Ты знаешь, — поспешно проговорила она, словно стараясь снять этот невольный налет высокопарности, — мы лежим нос к носу, как два крокодила.

Он вытянул шею и постарался посмотреть на нее сверху.

— А ты действительно похожа на маленького светло-зеленого крокодильчика, и быть вблизи такого носа я отнюдь не возражаю. Только не болтай задранной ногой, босой притом — это нарушает сходство.

— А ты ожил, как рептилия на солнце. Изъясняешься высокопарно. А когда я прилетела, ты только и мог, что обещать меня прибить.

— Убить. Это разные вещи — вернее, разные обещания. Кстати, почему ты появилась так незаметно?

— Я прилетела где-то ночью, свет был погашен, небо темное, вот я и задремала на каком-то диванчике там, в закутке у шлюзовой. Проснулась — небо золотое...

— Я уже запрашивал диспетчера, нас подберут не раньше, чем утром, так что завтра я сотворю тебе самое синющее на свете небо — эдакое сапфировое яйцо изнутри...

— Выеденное. Спасибо. Не скажу, что оно очень пойдет к моему оливковому платью, да еще и мятому. Нет уж, если хочешь быть до конца галантным, то раздобудь мне нежно-яблочный оттенок — ну, как шкурка у спелой антоновки.

— Будет тебе шкурка спелой антоновки. И серединка будет. Все тебе будет, моя умница, совушка моя ночная перелетная...

— Что касается ночных тварей, то предпочитаю жабу.

— Про жаб ты рассказывала мне в ночь с восемьдесят четвертого на восемьдесят пятый день нашей супружеской жизни. Подумать только, с какими тварями ты меня примирила! Тухти вот таскаю с маяка на маяк. Как по-твоему, он хорош?

— Бесподобен. Тухти, не лижи мне пятку, подхалим несчастный!.. Ой! Алька, забери его немедленно, иначе я...

Алан осторожно подсунул руку под теплое, безопасное брюшко и, размахнувшись, швырнул ежа прямо в бассейн. Раздался специфический звук — сумма плюханья и хрюканья.

— Ну вот, и я, как мрачный зандовский Альберт, пожертвовал ради тебя своим единственным другом.

— О, господи всемогущий и всепространственный! Обереги нас от черных дыр и сентиментальной старухи Жорж. Ты что, совсем свихнулся в своей глуши, что читаешь эту бретонскую корову?

— И не токмо. А все, что вольно или невольно ассоциируется с тобой. Вот, например, Саади...

— Который целовал исключительно в какое-то хрестоматийное место.

— Ну, конечно, ты всегда была нетерпима к традиционализму. Но тысячу лет назад не было ни традиций, ни штампов, и вот как разговаривали с любимой, только послушай: «...и зубами изумленья небо свой прикусит палец, если ты с лица откинешь...» Ну, в общем, что-то там откинешь.

— И что-то обнажишь.

— Анна, ты опять?

— Вот до этих самых пор.

— Дразнишься?

— У-у-у! Провоцирую! Да еще как.

— Анна! Анна, я...

— Алька, ты меня не любишь, ты меня только хочешь!

Ох, как он ненавидел эту ее формулу!

— Если бы ты только могла представить себе, что это такое — столько времени мотаться с маяка на маяк и любить тебя платонически, на расстоянии в десятки парсеков...

— Точнее — ненавидеть.

— На таком расстоянии это одно и то же. Но теперь ты пришла...

Она проворно перевернулась на спину и приподняла руку ладошкой кверху. На ладони стоял пустой стакан.

— Налей-ка мне еще этого дивного пойла и не жадничай. А пока мы будем пить, придумай мне какую-нибудь сказочку поправдоподобнее, почему это вчера вечером, когда мы подлетали, твоего маяка не было на месте.

Вот этого он никак не ожидал. А он-то наивно полагал, что его эксперименты останутся тайной для всей Вселенной! Сердце колотилось так сильно, что в такт ему подрагивали руки. Чтобы как-то скрыть эту дрожь, Алан пошарил вокруг себя — наткнулся на флягу. Снова свинтил крышечку и старательно отмерил ей полстакана. Подумав, добавил еще. Ну и вопрос! Хотя что — вопрос. Знала бы Анна ответ...

— То есть как это — маяк пропал? — спросил он вполне естественным тоном.

— А вот так. По координатам выходило, что он должен был торчать у нашего крейсера прямо под килем, а ни гравилокатор, ни визуальные приборы ничего не показывали. Пеленга, естественно, тоже не наблюдалось. Мы уж думали — прямое попадание. Разнесло какой-нибудь праздношатающейся глыбой, хотя это и архималовероятно. А через пару минут глядь — все на месте. И пеленг исправный. Бывало у тебя подобное?

— И не такое бывало, — равнодушно проговорил Алан, делая вид, словно задерживает дыхание исключительно из любви к неповторимому букету. — Я давно уже замечал, что на корабле, который почтен твоим присутствием, половина команды автоматически теряет способность логически мыслить. Вероятно, теперь твое очарование распространилось и на приборы.

— Складно врешь, — удовлетворенно проговорила она, приподымаясь на локте, чтобы отпить из своего стакана. Просто удивительно, до чего же она спокойна! У любого другого человека в таком положении неминуемо начала бы дрожать рука. А эта — нет, и тонкая лабораторная посудина безмятежно покоится на узкой ладошке.

Он тоже сделал глоток, заел краснобокой недозрелой клубничиной.

Он ничего не хотел ей рассказывать, хотя трудно было удержать все это в себе — то, что до сих пор, наверное, не испытал ни один человек на Земле... И не на Земле — тоже. Ведь что бы он ни вкручивал сейчас Анне, а станция-то действительно пропадала, исчезала из реального континуума на несколько заданных минут (и надо ж было этому крейсеру подгрести именно в это время!), и что самое страшное — это то, что Алан наблюдал все это со стороны.

Он заблаговременно облачился в скафандр и выплыл в пространство, нетерпеливо поглядывая то на ручной секундомер, то на матовый гигантский пузырь станции, серебрящийся точно кокон водяного паука. Алан прекрасно знал, что именно должно произойти, он был подготовлен к этому и не испытывал ничего, кроме естественного любопытства, и все-таки ужас, который охватил его в тот момент, когда этот кокон превратился в НИЧТО, был просто ни с чем не сравним. Может быть, что-то подобное он ощущал в самой первой своей экспедиции, когда впервые в жизни увидал человеческий труп.

Но тогда это была смерть человека — в сущности, явление страшное, но реальное, если не сказать более. Каждому человеку предстоит умереть.

К тому же тогда вокруг него были другие люди.

А сейчас рядом с ним была временная смерть материи, и такое даже представить себе было невозможно, настолько это было нереально. Алан предусмотрительно держался поодаль, и тем не менее у него возникло ощущение, словно у него выдернули опору из-под ног. В стремительно навалившемся на него оцепенении Алан осознал, что на миллионы километров вокруг не существует ни одной материальной пылинки, и, прежде чем он успел что-нибудь обдумать, руки его уже сами собой нащупали кобуру реактивного пистолета, и мягкий толчок отдачи бросил его прямо на то место, где совсем недавно была станция.

Там была преграда. Нечто. От него можно было оттолкнуться, и оно тотчас же исчезало, и сознание снова мутилось от ужаса, так что Алан даже не мог потом припомнить, просвечивают ли звезды сквозь это нечто или нет.

А потом станция появилась, как ни в чем не бывало, но даже сейчас при одном воспоминании об этих минутах на Алана накатывал такой ошеломляющий страх, что делиться им с Анной он не мог и не хотел.

Вместо ответа он в третий раз отвинтил крышечку с заветной фляжки и, пока темно-золотая струйка мягко вливалась в согретый ладонями стакан, лихорадочно придумывал, на что бы такое перевести разговор, чтобы уйти подальше от таинственного исчезновения станции.

Он чувствовал, как деревенеет его тело в вязкой тишине непомерно затянувшейся паузы. А может, все-таки сказать правду? Иначе с какой-то периодичностью вопрос этот будет повторяться, и каждый раз вот так же неметь, маясь от неуменья соврать... Сказать?

Черта с два. Ничего он ей не скажет, и промолчит он вовсе не потому, что не хочет делиться с ней кошмаром пережитого.

Он уже догадывался, почему он промолчит...

— Ирод! — вдруг завопила Анна тоненько и оглушительно.— Утопил зверя!

Она взвилась вверх, словно ленточка светло-зеленого серпантина, и Алан глядел теперь на нее снизу, помаргивая от перекрестного эха, рушащегося на него со всех сторон.

— Зверь! — кричала Анна, и уже было совершенно непонятно, кому адресуется ее крик.

— Прекрати вопли,— попросил Алан.— Перед ежом стыдно. Он же водоплавающий, я его по дню раз пять окунаю. И вообще, кто тебе позволил стать на ноги? Я же сказал — все твое дальнейшее существование будет проходить у меня на руках.

Она задрала подбородок и принялась разглядывать небо, словно голос доносился именно оттуда.

— А мне уже не позволяют?..— тихонечко, как бы про себя, удивилась она.— Ну, ладно, тогда лови.

Он едва успел приподняться и протянуть руки, как она обрушилась на него.

— Сорок шесть килограммов,— доверительно шепнула она,— это все-таки слишком много для одной клубничной грядки, не так ли? Сорок шесть килограммов бабьей плоти и двести граммов коньяка.

Она лежала у него на руках, и ему совершенно безразлично было, что она будет говорить.

— Твой утопленник явился,— обрадовал ее Алан тоже шепотом.

Анна приподняла ресницы и скосилась на Тухти, который сидел на краешке грядки, оглаживая свое брюшко сверху вниз — сгонял остатки влаги, и сдержанно облизывался.

— Ладно, доедай, пока я добрый,— сжалился Алан,— все равно ведь завтра улетим, никому это будет не нужно.

Вместо того, чтобы порскнуть в клубничник, еж вдруг как-то недоуменно оглядел Алана, все еще державшего Анну на руках, и вдруг разом посветлел, зайдясь бледными перламутровыми бликами.

— Это он так смущается? — спросила Анна.

— Замерз, наверное,— буркнул Алан.— Ну, пошевеливайся, баловень, скоро стемнеет.

— Он боится темноты?

— Это я его боюсь в темноте. А посему загоняю в закуток.

Тухти перестал чесать белое брюшко, опустился на четыре лапки и, скорбно подрагивая хвостами, исчез за грядкой.

Алан знал, почему еж побледнел: каким-то загадочным образом этот зверек угадывал ложь, которую он органически не переносил. Стоило Алану солгать, и Тухти тут же стремительно утрачивал свой великолепный марсианский багрянец.

Но вот таким обесцвеченным, до лягушачьей прозелени, как сегодня, Алан не видел его ни разу.

Анна же знать этого не могла, и не нужно было ей это знать.

— Темнота,— повторила она.— Поскорее бы. Устала я от твоего золотишка. Думала, оно сгинет куда-нибудь, так ведь нет, весь день сияло, как проклятое. Одно спасенье — на коньяк похоже. Вот и вечер пришел, и теперь оно...— она задышала прямо в ухо Алану, так что у него защекотало где-то возле барабанной перепонки.— По закону сохранения материи оно исчезнет с неба и перельется — в меня. Погляди, я стала тоненькая-тоненькая, аж прозрачная. И позваниваю тихонько. Не слышишь? Странно. Я ведь превратилась в тоненькую золотую пластинку. Подними меня повыше и посмотри сквозь меня на что-нибудь — я ведь просвечиваю... Ну, поднимай, поднимай, не бойся, только не отпускай — я улечу...

Она вдруг оборвала свое полусонное бормотанье, и он с ужасом понял, что она совсем не пьяна, а просто расслабилась, чтобы позволить себе отдохнуть, отключила все тормоза; но когда усталость пройдет, она деловито поднимется, кликнет Тухти, чтобы принес ей туфельки, и все кончится.

— Анна,— потерянно зашептал он,— Анна, Анна...

Он твердил только это, целуя сонное лицо, но тут увидел ее глаза, зеленые колодезные глаза, распахнувшиеся так широко, что он невольно поперхнулся и смолк.

— Господи, да почему же — нет? — проговорила она с безмерным удивлением.— Ну почему — нет?..

И он понял, что она говорит не ему, а самой себе. И еще на него вдруг напал (вот уж совсем не к месту!) приступ глобального

виденья, и он разом представил себе ту вселенскую даль, из которой она прилетела к нему, и всю ту массу занятых людей, которых она оторвала от дела, перевернула все их планы и все-таки убедила в правомочности своего каприза, и все это вместе было сущим пустяком по сравнению с тем, что она сумела-таки прийти к согласию с самым взбалмошным, непостоянным и несговорчивым существом во всем Пространстве.

Она о чем-то договорилась сама с собой.

Что-то промелькнуло в душе Алана, какой-то мгновенный всплеск, но она попросила тоненьким детским голоском:

— Алька, да заслони ты от меня это окаянное небо! — и он больше не мог ни думать, ни взвешивать, ни сомневаться.

И они больше не видели, как медленно коричневеет и угасает это небо, как стихает ветер, и не было им дела до того, что земной вечерний запах петрушки и тмина лениво ползет в ложбинку между грядками и безнадежно запутывается в ворсинках лилового пледа.

А потом совсем стало темно, и зажглись звезды, такие яркие, что можно было уже посмотреть на часы. Алан осторожно освободил руку, оттянул рукав и глянул на циферблат.

Было без двадцати двенадцать.

День остался позади, день, полный отчаянья и блаженства, надежд и разочарований, полный ее голоса, яблочных бликов ее платья, нежного угара ее волос, перемешанного с домашним огородным духом, застоявшимся между грядками. И другого такого дня никогда не будет, потому что это был самый счастливый и прекрасный день его жизни. И этот день прошел.

Он наклонился, осторожно просунул руки под плед и поднял Анну. Она не проснулась, только беспокойно завозила щекой по грубому ворсу, отыскивая, куда бы ткнуться носом. Ни секунды не колеблясь, он отнес ее в лабораторный корпус, в маленькую комнатушку рядом со шлюзовой. Опустил на диван. Она и тут не проснулась, пробормотала что-то невнятное, в чем он очень постарался услышать собственное имя. Он торопливо поцеловал ее, и тогда она повторила отчетливей, так что он сумел разобрать: «Разбуди меня... сразу после полуночи...»

...Ровная желтизна заполняла собой все небо, и две белые инверсионные линии, забираясь все выше и выше, усугубляли правдоподобие этого земного утра.

Анна потянулась, дивясь редкой крепости своего сна, но тут же вспомнила все свои многочисленные пересадки: с грузовика —

на заправочный буек, с буйка — на лайнер-подпространственник, и так далее. А время везде местное, корабельное, из утра окунаешься прямо в вечер, или ночь следом за ночью, и ни поспать толком, ни пообщаться, хотя на каждой посудине как минимум два-три знакомых. Но вот после сегодняшнего блаженного сна и тело, и нервы пришли в норму, и теперь она лежала, глядя вверх и тихонько расправляя на себе не снятое почему-то платье. Поначалу ей казалось, что сквозь тонкую ткань ее ладони вбирают всю свежесть, молодость и независимость, которые прямо-таки излучались ее телом и до обидного бесполезно рассеивались в Пространстве.

Потом поняла — нет. Не тело. Это было блаженство ощущения теплой живой ткани, из которой было сшито ее платье — именно платье, маленькое, удивительно женственное, облегавшее ее, как лягушачья шкурка бедную заколдованную царевну. Земное платье, а не осточертевший космический комбинезон. Но с комбинезонами будет покончено. И не когда-нибудь, а через десять минут.

Итак, короткий разговор с Аланом — такие сцены не должны быть ни длинными, ни эмоциональными. Факт в чистом виде и классической формулировке. И все. За день мимо пройдут два лайнера, это она выяснила, кто-нибудь из них да подберет. Разумеется, одну.

Она упруго поднялась, в последний раз пригладила свое многострадальное платье, и тут только до нее дошло, как же она будет смотреться в своем светло-оливковом кимоно с карминным кантом — и под этим ослепительно желтым небом! М-м-м...

Цветовые диссонансы она воспринимала болезненно, до стона, до одури, мгновенно впадая в смятение или бешенство. А багаж уже на Большой Земле, и с собой решительно ничего!

Закутаться в простыню? У нее не античная фигура.

Раздеться совсем? Поймут неправильно.

А вообще-то на этих маяках имеется переключатель погодно-световой программы. Так что не надо ждать милостей от природы. Нужно только незаметно выбраться, пока Алан не проснулся...

Она нашарила туфельки, отворила дверь и очутилась нос к носу с абсолютно голым супругом.

Ну, что тут будешь делать? Оставалось только стоять и любоваться. Благо было на что. Нет, без шуток, здесь решительно было на что посмотреть. Мало того, что сложен он был как юный и неиспорченный еще сатир — в этом золотом сиянии он и сам, казалось, светился ровным светом одухотворенности. Одним словом, аура.

«А ведь я его действительно нисколечко не люблю, — подумала Анна. — Ничутеньки. Иначе мне стало бы больно от того, что без меня ему и не грустно, и не холодно. Даже напротив. Вон ему как привольно живется! И дышится. И прыгается. И дурачится... господи, да с каким же это розовым чудом? Вероятно, это вместо кошки или канарейки. Или вместо меня... Но мне ведь не больно. Мне — никак. Хотя нет, вру. Я ведь стою и любуюсь, да мне просто радостно, что этот дивный мужик был моим господином и повелителем... То есть не то, чтобы был — а бывал. Ну, вот я его таким и запомню. Только нужно побыстрее сказать все, что я собиралась, и поставить точку на нашем... на моем космическом бродяжничестве. Вот так. Я, Анна Первая и Прекрасная, возвращаюсь в свои земные владения, дабы царствовать там одиноко и радостно. Такова моя королевская воля».

Она знала, что надо торопиться, потому что при первых же ее словах этот сказочный золотой мальчик, которым она любовалась беззастенчиво и безразлично, исчезнет, и останется только раб, который будет заглядывать ей в глаза снизу вверх, стараясь угадать, что же такое сделать, чтобы заслужить подачку ее ласки.

Поэтому она страшно обрадовалась, когда он сказал что-то своему рыжему чуду, что-то про срам и про завтрак. С набитым ртом разговор получается всегда как-то непринужденнее, можно будет обойтись без вступления и улететь сразу же, встав из-за стола.

— Необходимо дополнение, — сказала она, даже не здороваясь, устанавливая на весь последующий разговор дружеский и непринужденный тон. — Срам прикрыть попроворнее, завтрак сочинить на двоих.

Так и полыхнуло от него темным светом, и кулаки сжались с такой силой, что волна напрягшихся мускулов побежала вверх по обнаженным рукам, взметнулась на плечи и пропала за спиной, сойдясь между лопатками. На какой-то миг ей показалось, что над ней навис альфа-эридианский пещерный медведь.

— Я тебя когда-нибудь убью, — пообещал он и, повернувшись, пошел прочь, голый и невообразимо дикий.

Вот тебе и на! Именно сейчас, когда нужно было начинать свою программную речь, он вдруг предстал перед нею таким, каким она его в жизни еще не видела.

Но ведь она еще не начала.

«В конце концов, — сказала она себе, — от объяснения все равно не уйти, поскольку я не собираюсь отступать от своего решения. Пусть фавн, пусть бог, пусть золотой зверь — все равно

это ненадолго, а затем я начну его угнетать, отвлекать от, заводить на, приводить в... короче, придется перебираться в другую зону дальности. Конечно, он никогда не спросит, как я развлекаюсь в этой самой зоне — ну не настолько же он атавистичен. Но все-таки я связана. И не ощущением своего замужества — за последние полтысячи лет брак наконец-то стал тем, чем и должен был всегда быть, то есть состоянием удобным, как хорошо сшитая перчатка: греет, но не давит. Нет, пока я связана с Аланом, меня гнетет именно мое положение властительницы. Какой чудак в глубокой древности умудрился во всеуслышанье изречь, что мы в ответе за тех, кого приручаем? Четвертовать надо за такие светлые мысли. Привязывать к четырем астероидам... Потому что услышишь такое — и привяжется на всю жизнь. Но теперь с этим покончено, покончено, покончено... будет покончено — часа через два. А два часа — на любованье этой неожиданной дикостью. В конце концов, могу я позволить себе такой каприз? Могу, потому что хочу. Такова моя королевская воля».

И она направилась своей королевской поступью к кухонному комбайну.

Акт принятия пищи необыкновенно сближает, если, естественно, едят не тебя,— это знает каждая настоящая женщина. Кормление любимой собаки сближает вдвойне. Это знает каждый настоящий человек. Следовало провести совместное кормление розового ежа, и надо сказать, что Анна вклинилась в этот процесс просто мастерски. Накормить затем мужа уже проблемы не составляло. Но плавность сближения была резко нарушена чудовищно некорректным вопросом Алана:

— Так зачем ты пожаловала?

Хм, зачем... Она смотрела ему прямо в лицо, опершись на стол острыми локотками, словно ножками циркуля. Если сказать ему, зачем она действительно сюда прилетела, то это значит провести магическую черту, которую никто из них уже не переступит.

— Я хотела немножко побыть с тобой.

Это не правда и не ложь — это частичка правды, начало объяснения. «Побыть с тобой, чтобы сказать тебе...» Пока она еще не солгала ему, пока она просто не сказала правды.

«Ну-ну,— прикрикнула она на себя,— самой себе-то и совсем незачем врать. Да, я уже лгу. И буду лгать до полудня. Пока не налюбуюсь. Уж очень ты, оказывается, хорош, когда у тебя шерсть дыбом».

И, как назло, шерсть начала опускаться — тут тебе и измотанная душа, и оазис женственности, и воплощенное чародейство...

«А вот уж нет, — сказала она, теперь уже обращаясь к нему, — и не подумай возвращаться к своему номинальному состоянию. Потому что я тебя все равно сейчас вздерну на дыбы! Раз уж я пожелала, то быть тебе золотой гориллой до тех пор, пока будет на то моя воля».

— А не ты ли сам всегда прогонял меня? Не ты ли вышвыривал меня в Пространство, как шелудивого котенка? Не ты ли...

Впрочем, кажется, этого она уже не говорила.

Но и реакция получилась не та. Он весь сжался, втянулись щеки и почти сошлись ноздри, он сказал что-то ледяным тоном и ушел одеваться. Вернулся подтянутым, тщательно одетым, но ничего в его внешнем виде не было сделано для нее.

«Ну погоди же, — усмехнулась она, — что-то ты совсем забыл, на что я способна...»

Она скинула туфельки и совершенно однозначно забралась на постель. Когда-то он назвал ее веточкой омелы на первом снегу... Когда-то. Но тогда он был совсем ручным, домашним.

— Я просто хочу побыть с тобой, — ужасающе спокойно проговорила она. — Как раньше.

И тогда былое бешенство снова накатило на него. Раньше... Да он, кажется, зарычал... Нет, он что-то крикнул, а потом захлебнулся, а потом она и вовсе не слышала ничего, потому что все ее силы уходили не на сопротивление — избави бог, столько добиваться! — а на то, чтобы сохранить свое лицо совершенно спокойным, ибо инициативу со стороны женщины она почитала не просто грехом, а грехом смертным, и теперь надо было держаться изо всех сил, чтобы ни губы, ни ресницы не выдали упоения этим грехом. И когда она поняла, что дальше держать себя в шорах уже нет никаких сил, она шепнула: «пожалуйста, погаси небо», и свет погас, и Алан ничего не увидел.

А когда она смогла приоткрыть глаза, в комнату снова вливался медовый свет, и где-то неподалеку журчала вода. Итак, ей дано время на то, чтобы одеться. Она подняла руку, закинула ее за голову. Одеться... Вот уж некстати! Тело стало по-птичьему легким и по-змеиному гибким... Змееящерка...

Она тряхнула кудряшками и заставила себя сесть. Все это чушь и чепуха. Птицеящеры не были ни легкими, ни гибкими. И главное — бесперспективными. И вообще — полдень уже миновал.

В комнату бесшумно вкатился пурпурный еж, весь в мелких завитках, как актиния; не сбавляя скорости, перекатился на спинку

и блаженно представил для всеобщего обозрения атласное брюшко. Господи, да почему же она должна быть несчастнее этой скотинки, которая делает что хочет и тем живет?

Ведь впервые ей так легко, так солнечно, что потом, через десятилетия, не будет ни горько, ни стыдно вспомнить эти часы. Так почему же не позволить всему этому продлиться еще ненадолго... до обеда? А после десерта сказать правду.

Но ведь для того, чтобы не было горько и стыдно, надо еще и Алана удержать в должных рамках. Что его всегда выводило из себя? А, сравнение с Наполеоном. Прелестно! Правда, до сих пор она действительно не терпела куртуазных сцен посреди рабочего дня, и каждый раз, когда на ее супруга нападал несвоевременный бзик, она с неподдельной ненавистью вспоминала французского императора, который, по преданиям, хранимым мстительной женской памятью, в таковых ситуациях даже не отстегивал сабли.

Но сейчас-то все было совсем иначе. И даже весьма... Вот только теперь уже не надо про жену, и про беду... и про бессмысленную любовь... Нет, положительно, надо в авральном темпе одеваться, иначе вся станция превратится в болото из розовых слюней. И как это трудоемко — постоянно удерживать мужчину, сползающего на четвереньки! Ну не хлестать же на каждой фразе. Остается единственный способ приведения его в состояние равенства — работа.

«Ну, тогда поехали», — сказала она себе и натянула ставшее ненавистным зеленое платье.

Аврал был абсолютно не нужен, но тем интереснее было доказывать его необходимость и затем учинять. Возня с аппаратурой, пусть тяжелая и грязная, не вызывала у Анны отвращения, а наоборот — заставляла почувствовать себя эдакой Золушкой. Она двигалась легко и стремительно, сознательно добиваясь изнеможения и отупения, которые позволят Алану снова и не менее упоительно стать ее властелином, но вместо усталости с каждой минутой обретала все большую свободу и непринужденность. Она с удивлением наблюдала за собой, понемногу понимая, что все это потому, что впервые она была с Аланом уже свободной, и эта большая независимость спасла ее от той маленькой отчужденности, которая, как рыбья косточка, всегда присутствовала в ее отношениях с мужем.

«Наверное, я старею, — сказала она себе, естественно, и мысли не допуская, что так оно и может быть на самом деле, — иначе откуда бы взяться сразу такому количеству мудрых мыслей? Если

бы я улетела сразу же после завтрака, я бы не открыла для себя, например, четкой аксиомы: для того, чтобы быть счастливой, надо стать ни капельки ничем не связанной... Хотя, по правде говоря, одна тоненькая ниточка на мне еще осталась: это даже не то, что я буду говорить, а то, о чем я собираюсь молчать. Долго ли еще? Да до первых сумеречных теней. До первой звезды. Не длиннее. Такая паутинка не помешает мне плавать и кувыркаться в невесомости собственных капризов. До первой звезды я буду вольна, как летучая рыбка. Вот сейчас мне уже надоело играть в работу, мне угодно просто-напросто распуститься, так почему же нет? Честное слово, я сделаю это восхитительно!»

И она распустилась, и была так восхитительна, что не заметила первых вечерних теней, и не было классического обеда, а были клубничные грядки с теплой ложбинкой между ними, и было упоительное пойло, и откровенная чушь, которую они оба несли в полное свое удовольствие, а когда она уже не в силах была произнести ни слова, она должна была сознаться себе, что еще ни разу в жизни не испытала такой полноты подчиненности.

«Ну, вот теперь и можно сказать то, зачем я прилетела, — спокойно подытожила она свои мысли. — Беда только в том, что губы не слушаются. Придется лгать до полуночи. Я немного вздремну, а потом проснусь, я это умею, и все скажу, и начнется новая жизнь, с незапрограммированным цветом неба и немагнитофонным криком птиц, и еще с кем-то, кого я обязательно найду хотя бы по той простенькой примете, что он будет всегда, при любых обстоятельствах, немножечко выше меня... А пока — немножко поспать на этих руках. Они заслужили. И потом — ведь это только до полуночи. Господи, и зачем я попросила на завтра яблочно-зеленое небо?..»

Она уже спала и не слышала, что ее подымают, и несут, и опускают на узкую койку возле шлюзовой камеры — абсолютно точно на вчерашнее место, на котором она проснулась, чтобы увидеть над собой проклятое янтарное небо. Последнее, что еще пробилось сквозь ее сон, был торопливый поцелуй, а вот удаляющиеся шаги — уже нет.

А он уже бежал в генераторную, не разбирая дороги, и даже не боясь наступить на ежа, потому что до полуночи оставалось совсем немного, но он уже знал, что успеет, что не позволит навсегда уйти этому сказочному, самому счастливому в его жизни дню. Все складывалось само собой — и то, что именно вчера ему наконец удалось превратить станцию в камеральную

машину времени, работающую в ограниченном цикле, и уверенность в успехе — ведь пропадала же она на его глазах на те десять минут, которые он установил на временном реле. Если бы он остался внутри, он их попросту бы не заметил, но он вышел в Пространство и умудрился стать свидетелем первого во Вселенной чуда — двукратного повторения коротеньких десяти минут. Именно на такой срок станция и исчезала из реального бытия.

А теперь будет двадцать четыре часа. Целый день, который будет повторяться вечно, потому что каждый раз без нескольких минут двенадцать он будет срывать с приборов синтериклоновые чехлы, радуясь тому, что ничего вчера не переставил, не разъединил, не порушил, а сегодня мешает только вязкий вакуумный клей на приборных чехлах. Утром его не будет... Не будет и обещанного яблочного неба. Будет тот же самый — самый счастливый день.

Он включил циклическое реле, вылетел из генераторной, в несколько прыжков пересек лужайку и, срывая на ходу одежду, успел кинуть в рот шарик быстродействующего снотворного. Еще через секунду он лежал ничком на постели — совсем как вчера, и в последний момент на него накатил ужас: а вдруг это все происходит уже не в первый, а в сто тридцатый или в десять тысяч шестой раз? Что если это — всего лишь бессчетное повторение однажды прожитого счастливого дня?

Да и счастливого ли? Он вспомнил ее незамутненно-спокойное лицо, выражение которого столько раз ставило его сегодня в тупик. Что укрывалось за паутинкой этого бесстрастия?

И вдруг с изумляющей отчетливостью пришел ответ: ложь. Весь этот сказочный день ей угодно было лгать. До завтрака, до обеда. До полуночи. Почему же он поверил? Да потому, что за все эти годы ему досталось так мало тепла и доброты, что он просто ошалел от ее сегодняшних даров да еще и уверенности в том, что больше это не повторится никогда.

Он захлебнулся от ощущения малости того, что было отпущено ему судьбой, и устыдился жалости к самому себе, а пуще всего — своего нежелания схватить какой-нибудь брус потяжелее и разнести вдребезги проклятое циклическое реле. В конце концов это ведь несоизмеримо — быть счастливым целый день, и всего несколько секунд осознавать, насколько призрачным было его счастье.

Но до полуночи не осталось уже никаких секунд, и он ощутил легкое головокружение и услышал легонькое «пок!», словно

вылетела пробка от шампанского. И он очутился уже во вчерашнем сне, не подозревая, что ему предстоит прожить ослепительный, невероятный день, наполненный страстью и отчаяньем, любовью и ложью...

Внутри станции ровная желтизна послушно заливала условное небо, а снаружи, легонечко помахивая крылами в абсолютном вакууме межзвездного пространства, неторопливо пролетал ангел. (Ольга Николаевна, да вы что? У вас же типичная сайпс фикшн, какие тут, к чертям, ангелы? — Ах, да не придирайтесь, пожалуйста, ангел тут никакой роли не играет, просто мне нужен некто, всеведущий, но отнюдь не всемогущий — взгляд со стороны. Так что оставьте его в покое, пусть поглядит.)

Да, так вот. Пересекая отдаленный сектор космического пространства, ангел вдруг наткнулся на невидимую, но абсолютно непроницаемую преграду. Звезды сквозь нее не просвечивали. Он потрогал ее перламутровым перстом и задумался. Неужели шеф сотворил? На него не похоже. Ангел напрягся и мгновенно уяснил суть происходящего. Вот оно что: вечное заключение и пытка пожизненным счастьем. Господи, жестокость-то какая, и за что?

Ну, ей-то поделом. Лгать в любви — это такой грех, что пусть теперь и занимается этим, пока звезды не потухнут.

А он? Ангел долго и печально взвешивал на сухоньких ладошках липкий ком вины. Да, пожалуй, и ему в самый раз. Потому что тот, кто позволяет себя обманывать, виновен в той же самой мере, как и тот, кто лжет.

И, утерши руки о хитон, ангел последовал дальше.

# У МОРЯ, ГДЕ КРАЙ ЗЕМЛИ

Когда до поверхности осталось около полутора тысяч километров, Сергей Волохов еще не мог сказать определенно, обитаема планета или нет. Три малых спутника, мимо которых он проскочил, были похожи на искусственные, но и тут он не мог сказать ничего определенного.

Прежде всего сесть, а там будет видно.

Волохов задал программу своему кибердублеру: три витка и посадка на воду в экваториальной зоне. Это если что-нибудь случится с ним, Волоховым, но его корабль еще будет способен подчиниться воле и расчету автомата. Мало ли что бывает, когда садишься на незнакомую планету, пусть вроде бы и похожую на Землю, но все же чужую, да еще садишься в первый раз, если не считать вынужденных учебных посадок на Регине-дубль. Да еще у тебя не работает метеоритный локатор и нет связи, а сам ты далеко, немыслимо далеко, так далеко, как никто еще не бывал, потому что бывали самое большее в шестой зоне дальности, а ты сейчас — в седьмой.

Корабль шел по тугой спирали, он не сделал еще и одного витка, но Волохов уже знал, где он попытается сесть. Вон там, на западной оконечности экваториального материка. Там, где желтый язык пустыни выползает к самому океану, размыкая тонкую зеленоватую полоску прибрежной растительности. Удобное место. Если у тех, кто там, внизу, нет еще космодромов, надо будет предложить им построить первый именно здесь.

Волохов усмехнулся: ох уж эти контакты, вожделенные контакты, которыми бредят первокурсники астронавигационных

школ. Вот так именно и бредят: сяду, мол, и тут же объединенными усилиями начнем строить космодром... Но ведь прежде всего надо сесть.

Волохов двинул плечами, проверяя в последний раз; удобны ли крепления, и резко бросил машину вниз. Нечего крутить лишние витки, можно сесть и на втором. Планета была молодчиной, она даже не имела ни одного пояса радиации, и обидно было бы нарваться на какую-нибудь каверзу вот сейчас, когда до поверхности каких-то полтора витка, и машина медленно входит в ночь, и ночь эта выгибает навстречу свой пятнистый горб, испещренный мутными растекающимися огнями больших городов.

Вот те на, спохватился вдруг Волохов, а ведь это и вправду города. Огромные, четко спланированные города. Хорош бы я был, если бы сунулся сюда, на ночную сторону, не имея запаса высоты. Надо вылезать на свет. И поскорее, потому что локаторы полетели к чертям.

На дневную половину он выскочил внезапно и тут же повел машину вниз. Вот-вот должен был начаться тот пустынный, хорошо прожаренный экваториальный материк, который он облюбовал для посадки. Волохов снизился до трех тысяч метров и тихо пополз над проступившей под ним поверхностью планеты. Здесь она казалась необитаемой. Все это было прекрасно, он сядет в укромном уголке и мирно починит свои локаторы и фон межпланетной связи, а к тому времени его, по всей видимости, найдут аборигены и он таки посоветует им построить свой первый космодром на этом узком песчаном языке, размыкающем зеленую прибрежную кайму и жадно тянущемся к воде океана.

Волохов сбавил скорость. Если у них имеются средства наземного сообщения, то, возможно, они захотят познакомиться с ним еще в воздухе, хотя бы для того, чтобы указать ему путь на свою посадочную площадку.

Так, во всяком случае, поступили бы мы. Правда, засечь его могли бы только радары — над пустыней висела довольно плотная облачная дымка. Искусственный климат? Гм...

Волохов покосился на заглохшие локаторы, потом отсоединил от них противомерную защиту и перевел ее на ручное включение. Все-таки спокойнее. И нырнул еще на пятьсот метров вниз.

Тонкая пелена облачного марева осталась над ним, и Волохов понял, что желтовато-песчаный массив, расстилающийся под ним, мог быть чем угодно, но только не пустыней. Прежде всего

эти многочисленные темные полосы, не четкие, а какие-то дымные, расплывчатые. Овраги или каналы. Причудливый геометрический рисунок, в который они складываются, не оставляет сомнений в том, что они созданы не природой. И это вообще не песок. Это желтая растительность, напоминающая земные саванны. Материк, отведенный под плантации, — вот что это. О посадке не может быть и речи, придется тянуть до самого океана и скорее всего садиться на воду.

Вдали, у самого горизонта, неясно обозначилась зеленая прибрежная полоса, и Волохов включил антигравитаторы. Машина медленно пошла вниз, и Волохову стало ясно, что он ошибся и во второй раз: под ним были не саванны, а огромный, раскинувшийся на весь материк город. Невысокие, причудливо распланированные здания, сверху напоминающие иероглифы, соединились друг с другом; но главное, сбившее его с толку, — это был странный, висячий покров на этих домах, перекидывающийся через площади и улицы, сливающийся с безукоризненными прямоугольниками бледно-желтых садов. Это, несомненно, была какая-то цепкая, невероятно живучая и жадная до тропического солнца форма растительности. Было весьма разумным укрыть таким легким, золотистым тентом весь этот материк, если...

Если только это не было одичанием, запустением мертвого мира. Золотые джунгли, погребающие под собой брошенные города... Волохов фыркнул.

О посадке надо думать, о посадке. Загадки вымерших материков будут решать те, кто прилетит сюда после него, прилетит в том случае, если он благополучно плюхнется на эту зеленую низину и сумеет починить аппаратуру дальней связи. Волохов снова прибавил скорость, чтобы скорее выйти к океану, но бесконечный изумрудный луг уныло тянулся под брюхом его машины, и он уже начал думать, не свернуть ли ему круто на юг, как вдруг увидел белую полосу прибоя и застывшие в невидимом с высоты движении пепельно-черные волны океана.

Волохов посадил машину метрах в ста-ста пятидесяти от черты прибоя. Около получаса он настороженно ждал, не осядет ли под ним грунт, но приборы упрямо фиксировали и безупречность грунта, и безупречность воздуха, и вообще невероятную кучу безупречностей. Планета, кажется, решила быть умницей до конца. Не торопись, сказал себе Волохов; вот тут-то самое время остановиться и не поверить. Судя по приборам, можно было выходить и без скафандра, да он бы так и сделал, будь он на корабле не один; но теперь, когда посадка прошла так гладко,

он не хотел рисковать даже в том случае, когда приборы твердили, что риск этот равен нулю. Все-таки.

Волохов еще раз оглядел всю рубку, выключил освещение и выбрался в шлюзовой отсек. Там, за титанированной дверцей наружного люка, все благополучно, говорил он себе, примеряя защитный биокостюм. Все слишком благополучно... Он отложил биокостюм, достал синтериклоновый скафандр высокой защиты. Эластичная ткань скафандра казалась податливой и непрочной на вид, но Волохов знал, что ни ацетиленовый резак, ни ультразвуковой нож, ни прямой разряд лазера не в состоянии пробить эту гибкую, полупрозрачную пленку. Там, где шлем соединялся с воротником, шло жесткое кольцо, и Волохов старательно проверил прочность шва. Соединение было безупречным; Волохов педантично проверил все еще раз и еще, пока не убедился в абсолютной своей неуязвимости.

Корабль его не был десантным ботом. Это был маленький, добротный разведывательный звездолет системы Колычева, способный спускаться на планеты земного типа, но не более. Вездехода в себе он нести не мог, даже самого портативного. Поэтому Волохов твердо решил от корабля никуда не отходить, а только постоять немного на чужой планете — в конце концов, кто бы на его месте отказал себе в этом? Он не стал налаживать систему выносного лифта, а просто спустил аварийную лесенку, по которой и добрался до поверхности приютившей его планеты.

Поверхность эта была ничего себе. Занятная. Насколько занятыми могут быть огромные дюны чистейшего изумрудного песка. «Ай да материк,— подумал Волохов,— ай да расточительность! "Груды золота лежат, и мне лишь одному они принадлежат". Это, конечно, не настоящий изумруд, но соединений меди в этом минерале предостаточно. И какой коэффициент внутреннего преломления! Глаза слепит. И какой нежный, совершенно живой цвет. Надо только быть осторожным со здешней водой. Вон ведь сколько меди. И сколько, должно быть, полиметаллов! Странно даже, что при таком богатстве они не додумались до простейшего летательного аппарата. И при таких городах... Ну, ничего. Мы еще их научим. Мы еще построим им гигант металлургии. И всего-то надо для этого починить фон межпланетной связи».

Волохов повернулся, чтобы забраться обратно на корабль, и увидел, что с дюны, со стороны океана, увязая по щиколотку в зеленом песке, к нему идет босая девчонка. Вся одежда ее состояла из двух кусков белой ткани, скрепленной на плечах камнями,

за которые в Древние времена на Земле не задумываясь предлагали половину царства; платье было подхвачено травяным плетеным пояском. На Земле ей дали бы лет пятнадцать.

Она остановилась прямо перед Волоховым и что-то проговорила тоненьким сердитым голоском. Волохов улыбнулся. Она снова заговорила; теперь это были отдельные слова, каждое звучало вопросительно. По всей вероятности, она спрашивала, откуда он пришел. Из какого города, из какой земли.

— Со звезд, — сказал Волохов и указал рукой прямо вверх. Девочка тоже посмотрела вверх и нахмурилась, что-то вспоминая.

— Зендзи? — спросила она неуверенно.

Волохов стоял в нерешительности. Может быть, «зендзи» означало «дух», «божество», а может быть, она просто попыталась повторить его же собственные слова и нечаянно исказила их. Волохов не знал, как объяснить ей, чтобы она позвала кого-нибудь постарше. Не одна же она на этом пустынном берегу, в самом деле. Но она с упорством ребенка пыталась понять самостоятельно, что же это за странный человек, одетый с ног до головы в такую жару. Настойчиво и назидательно, как говорят с куклами, она повторяла два слова. Вероятно, это были одни и те же слова, но каждый раз она произносила их на разном языке. И так десять раз. Девчонка, знающая десять языков?.. Нет, что-то тут не то.

Этот односторонний разговор начинал ей надоедать. Она досадливо махнула рукой и вдруг, шагнув к Волохову, обняла его за шею. Волохов оторопел. Пальцы ее были влажны, и от их прикосновения синтериклон космического скафандра тоненько заскрипел, как стекло. И тут Волохов почувствовал, как густой и жаркий воздух ворвался под колпак шлема. Руки его невольно дернулись вверх, но девочка его опередила — она приподнялась на цыпочки, потянулась и стащила с него шлем.

Волохов потрогал скафандр. Тонкая, жесткая пленка. Выше — соединительный рубец, который расходится только под действием слабого импульса. Но стык этот цел. Зато еще выше он нащупал тонкий и острый край — синтериклон был разрезан. Синтериклон, который не берет ни алмаз, ни лазер.

— Что у тебя в руках? — крикнул Волохов, совершенно забыв, что она не может его понять, и смешно задирая голову, чтобы не обрезать подбородок о затвердевший по линии разреза край скафандра.

— М? — спросила она.

— Руки! — снова крикнул Волохов и показал ей свои руки — ладонями вверх.

Девочка с любопытством посмотрела на его руки, потом точно таким же жестом протянула свои ладошки.

В руках ее ничего не было.

— Ру-ки! — вдруг четко и с той же требовательной интонацией повторила она. — М?

Она подняла одну руку.

— Рука, — сказал Волохов. — Одна рука.

Девочка кивнула, потом поднесла ко рту и послюнила палец. Волохов не успел и глазом моргнуть, как она снова стремительно шагнула к нему и двумя пальцами провела по скафандру — сверху вниз. Скафандр медленно раскрылся и начал опадать на землю. Волохов вытащил одну ногу, другую — скафандр остался на песке.

— М-м, — удовлетворенно сказала девочка. — Рука. Руки.

— Нога, — отважился Волохов, — ноги. Голова, глаз, рот, нос.

Девочка серьезно повторила. Волохов оглянулся.

— Скафандр, — сказал он, указывая на лоскутья синтериклона. — Или, вернее, то, что было скафандром.

Девочка поморщилась. Потом у нее снова появилось то сосредоточенное и упрямое выражение, какое бывает у пай-девочек, разыгрывающих взрослых перед своими куклами. Она протянула руку, и у Волохова шевельнулось опасение — не вздумает ли она еще что-нибудь с него снять. Но девочка просто дотронулась до его волос и вопросительно глянула на него.

— Волосы, — называл Волохов, — ухо... рубашка... палец... шея... шнурок... часы...

Она уже не повторяла за ним. Рука ее быстро и, казалось, бездумно перепрыгивала с одного предмета на другой, но ни на чем не останавливалась дважды. Вскоре части тела и нехитрая одежда были названы: проверить, запомнила ли девочка этот урок, Волохов не решался. Надо было как-то объяснить ей, чтобы она привела взрослых, но тут Волохов зашел в тупик. Может быть, следовало просто прогнать ее, тогда она волей-неволей вернется туда, откуда пришла, и, естественно, все расскажет. Но игра с незнакомым существом ей, совершенно очевидно, нравилась, и уходить она не собиралась. Волохов решил, что игру придется продолжить. А там будет видно.

— Стоять, — сказал он и вытянулся по стойке «смирно».

— Сидеть, — сказал он и плюхнулся на песок.

— Лежать, — он продемонстрировал.

Девочка посмотрела на него, немного склонив голову набок, потом быстро показала на себя, на него и снова вопросительно хмыкнула:

— М?

Волохов встал. Не понимает. Этого она не понимает. Он стряхнул песок с коленей, на всякий случай сказал:

— Чиститься.

Она снова хмыкнула.

— Нет, нет, это я не для демонстрации. Это я думаю.

— М! — сказала она сердито. Кажется, она сердилась каждый раз, когда он произносил что-нибудь, не объясняя на пальцах значения. Нарушал правила игры.

Он решил сделать последнюю попытку.

— Идти, — сказал он и пошел по склону дюны. — Бежать.

Она побежала рядом. До берега, оказывается, было совсем недалеко — песчаные холмы закрывали его, а он был совсем рядом.

— Океан, — сказал Волохов и протянул руку.

Девочка опять рассердилась.

— Ты чего? — спросил Волохов. — Я, кажется, правил не нарушил. Это действительно океан. По-нашему.

Девочка зафыркала, как рассерженный зверек, и замахала на него руками. Потом сделала несколько четких, демонстративных шагов.

— А, — сказал Волохов, — я вышел из последовательности. Мы проходили глаголы. Идти. Я иду, — он сделал два шага, — ты идешь, — он ткнул в нее пальцем. — Мы идем, — он сделал жест, как бы объединяющий их обоих.

Она остановилась.

— Стоять, — сказала она, опуская руки и забавно задирая подбородок. — М?

— Я стою, ты стоишь, мы стоим. — Волохов усердно тыкал пальцем.

— М, — сказала она удовлетворительно. — Я сидю, ты сидишь, мы сидим. Скафандр?

— Скафандр лежит, — сказал Волохов. После того, что она сделала со скафандром, он уже ничему не удивлялся. — Он лежит.

— Я, ты, мы, он. Ты — м?

Волохов понял.

— Волохов. Я — Волохов.

— Фират, — сказала она просто.

Она повернулась и пошла к воде. Она села так, что босые ноги ее протянулись на полосу влажного, омываемого океаном песка: в луночках вокруг пяток начала собираться вода.

Волохов сел рядом. Что-то переменилось. Переменилось с того самого мига, как она назвала свое имя. До этого момента Волохов думал только о том, что нужно чинить фон межпланетной связи и девочке нужно внушить, что ему хочется говорить не с ней, а со взрослыми аборигенами, поэтому пусть она идет и позовет их. И еще он старался не думать о своем разрезанном скафандре. А теперь он поймал себя на том, что фон может и подождать, и разговор со взрослыми, разговор по строго выработанной программе, на невероятном гибриде всех земных языков и математики, в муках произведенном неисчислимыми лабораториями «теоретиков первого контакта», — все это неважно, и все это подождет.

А самое важное и самое интересное — это кулачок Фират, в который она успела что-то набрать. Кулачок медленно раскрылся — на смуглой ладошке лежала кучка зеленоватого песка.

— Песок, — несколько разочарованно проговорил Волохов. Он почему-то ждал чего-то необычного и теперь досадовал на свое ожидание.

Фират быстро сжала кулачок и снова его открыла. Песок, видимо, высыпался, и на ладошке остался спрятанный до сих пор камешек. Обыкновенный, серый. Сухой.

— Камень. — Волохов понял, что это просто продолжение урока.

Фират еще раз сжала и раскрыла кулачок — вместо камня лежала раковина.

Волохов заставил себя предположить, что ракушка эта была внутри камня и Фират, сжимая кулак, счистила налипшую на нее шелуху песчаника. Конечно, заставить себя поверить во что угодно здесь, на этом берегу, нетрудно.

Но все-таки камень был куда меньше, чем раковина. Он заставил себя не удивляться и не удивился, когда вместо ракушки на ладони появился дохлый высушенный краб, обрывок водоросли синего цвета и, наконец, маленькая золотая рыбка, пугливо подрагивающая плавничками. Он так и назвал ее — «золотая рыбка», и Фират тут же превратила ее в черную, потом в белую, и рыбка терпеливо прошла через весь солнечный спектр и в награду была отпущена в море. Затем пришел черед маленьким, не больше мизинца, человечкам; угловатые и условные, они напоминали рекламных гномиков и не имели ничего общего с тем, каким представлялся Волохову мальчик с пальчик.

Фират разгладила складки платья и высыпала человечков себе на колени. Они засуетились, и Волохов с трудом успевал комментировать их действия. Фират ничего не повторяла, только время от времени указывала пальцем на ту или другую фигурку. Если бы только она действительно запоминала все, что он ей говорил, то у нее должен был составиться небольшой, но весьма причудливый словарик.

А может быть, она ничего не запомнила? Может быть, она просто показывала ему свои игрушки?

А если она запоминала его язык, то почему же она не сделала ни одной попытки познакомить Волохова со своим?

Этого минутного раздумья, этой крошечной остановки было достаточно, чтобы почувствовать бесконечную усталость. Волохов вдруг понял, что он уже страшно долго сидит на этом пустынном берегу, обманутый медлительностью здешнего солнца, которое все еще лениво лезло в зенит, в то время как дома, на Земле, уже давно наступил бы вечер.

Он провел рукой по лбу. Это же сумасшествие — столько часов провести под палящим солнцем. Да еще чужим, с неизвестным спектром излучения.

— Жара,— сказал он, обращаясь к Фират,— надо идти в тень. Тень,— повторил он, указывая на синеватый силуэт, разлегшийся на песке.

Фират посмотрела внимательно, потом обвела пальцем контур собственной тени и удовлетворенно кивнула:

— Тень. Хорошо. Вот такая тень — хорошо? — она раскинула руки, словно крылья, и часто-часто ими замахала.

— Хорошо,— сказал Волохов, далеко не уверенный в том, что она правильно его поняла.

— Зеленая тень — хорошо? — продолжала допытываться Фират.

— Зеленая — хорошо, и синяя — хорошо, и черная.

Фират посмотрела на него так удивленно, что Волохов окончательно уверился во взаимном непонимании. Между тем Фират быстро вложила два пальца в рот и пронзительно, отрывисто свистнула. Волохов невольно усмехнулся — так это было по-мальчишески, по-земному.

Что-то зеленое поднялось из-за дальней дюны и стремительно понеслось к ним. Сначала Волохову казалось, что это — маленький летательный аппарат, затем — что это птица. Когда же оно приблизилось, Волохов увидел существо, напоминавшее ската,— узкое тело змеи, небольшой изящный клюв и метровые

полотнища полупрозрачных плавников, превращавших его в плоский четырехугольный коврик с трепещущей бахромой.

Существо неуверенно застыло метрах в двух от них, но Фират похлопала себя по коленке, как это делают, подзывая собаку.

Существо жалобно пискнуло.

— Он боится, — сказала Фират, обернувшись к Волохову, и засмеялась. — Он боится ты.

Она что-то стала говорить на незнакомом своем языке, говорить ласково и наставительно, как все это утро она говорила с Волоховым.

Существо еще чаще замахало краями своих плавников — Волохов не решился назвать это крыльями — и, робко приблизившись, повисло над головами сидевших, отбрасывая на них прохладную зеленую тень.

Сразу стало легче дышать.

— Это хорошо, — сказал Волохов, — но мне нужно на корабль. Чиниться.

— Чиниться? — переспросила Фират, недовольно поморщив лобик. — Говори понятно.

Волохов беспомощно оглянулся по сторонам. Какая-то палочка, наверное, выброшенная морем, валялась на песке. Волохов подобрал ее.

— Мой корабль, — повторил он, разравнивая песок и рисуя на нем вполне правдоподобные контуры звездолета, — он сломался.

Он поднял палочку до уровня глаз и демонстративно разломил ее надвое. Фират испуганно посмотрела на сломанную палочку в руках Волохова, потом быстро обернулась туда, где над песчаными дюнами подымался титановый корпус корабля.

— О, — сказала она, — он сломался, он...

Она выхватила из рук Волохова обломок ветки и начала быстро дорисовывать вокруг контура корабля пунктирные расходящиеся линии. Казалось, нарисованный корабль встряхнулся, словно утка, и во все стороны разлетелись сотни маленьких песчаных брызг.

— Радиация? — догадался Волохов. — Нет. Не бойся. Радиации нет. Не тот принцип действия. А может, ты боишься не радиации, а чего-нибудь другого?

Фират внимательно слушала его, сдвинув густые недетские брови, потом уверенно и спокойно подтвердила:

— Боюсь.

Она поднялась на ноги и гортанно, протяжно крикнула, как кричат люди, которые хотят, чтобы зов их разнесся как можно дальше и шире, потому что тот, кого они зовут, может находиться и там, и там, и там. И тот, кого она звала, поднялся из-за крайней прибрежной дюны и размашистой рысью двинулся прямо на них. Волохов вскочил и невольным движением заслонил собой девочку.

Это был белый медведь, округлой длинноухой мордой напоминавший собаку, или скорее огромный ньюфаундленд, белоснежной шерстью смахивающий на полярного медведя. Во всяком случае, кто бы это ни был, узкий, раздвоенный на конце язык и тройной, как у акулы, ряд зубов отнюдь не делали его добродушным.

Зверь остановился прямо перед Волоховым, все еще самоотверженно заслонявшим собой Фират, потом наклонил мохнатую голову набок и рассмеялся. Это был искренний, беззлобный человеческий смех, и золотые черти плясали в смеющихся глазах зверя, и раздвоенный язык, вобравшийся в пасть, нежно и беспомощно трепетал за тройным рядом страшных зубов.

— Фу ты, черт, — сказал Волохов и тоже засмеялся. Он чувствовал себя дураком, хотя ничего глупого или хотя бы нелогично не сделал.

Фират вылезла из-за его широкой спины и что-то сердито проговорила. Волохов не понимал ее языка, но все это звучало так, словно она хотела сказать: ничего смешного нет, и надо делать дело, а не развлекаться.

Она сказала еще что-то и коротким жестом указала на корабль. Зверь посмотрел по направлению ее руки, потом перевел взгляд на Волохова, разинул пасть и отчетливо, членораздельно произнес несколько слов. Потом сорвался с места и огромными скачками помчался к кораблю. В каждом своем прыжке он распластывался в воздухе, и только тогда было видно, каким легким и поджарым было его тело, скрытое невероятно длинной и пушистой шерстью.

Зверь скрылся за дюнами.

— Вот так плюшевая игрушка, — сказал Волохов. — Он умеет говорить?

— Конечно, — несколько удивленно ответила Фират.

— Каким образом? — не унимался Волохов.

Фират пожала плечами.

— Я говорю, ты говоришь, он говорит.

Было ли это ответом? Зверь вернулся. Он ничего не сказал, только кивнул, словно давая понять, что идти к кораблю можно.

Фират взяла Волохова за руку, и они двинулись к звездолету. Зверь, размеренно, как верблюд, покачивая головой, пошел рядом с Фират. Некоторое время она шла, положив руку на его мохнатую голову, но скоро ей это надоело, и она легко вспрыгнула на спину зверя. Тот шагал как ни в чем не бывало.

— Отец, — сказала Фират, и тут же Волохов увидел людей, выходящих ему навстречу из-за блестящей туши корабля. Тот, что шел впереди, ускорил шаги и подошел к Волохову. Они встретились у самых ступеней трапа.

Человек этот, смуглый и чернобровый, был похож на Фират в той же степени, как и все остальные его спутники, такие же смуглые и схожие между собой, словно пингвины — для людей и, наверное, люди — для пингвинов.

Человек, подошедший первым, держал в руках гибкую желтую ветвь с едва заметными листочками. Наверное, это и было то самое растение, что покрывало огромный город, раскинувшийся на весь материк. И, между прочим, росло оно не меньше чем в двухстах километрах отсюда. Человек кивнул Фират, и она низко наклонила голову. Потом он потрепал по голове белого зверя и точно таким же жестом дотронулся до плеча Волохова. По-видимому, лишние слова вроде приветствий были здесь не приняты, поэтому Волохов наклонил голову, как это сделала Фират, и предоставил хозяевам первыми задавать вопросы.

Но вновь пришедшие вопросов не задавали. Они подходили по очереди, касались плеча Волохова и только дружески, необыкновенно широко улыбались. Волохов поискал глазами того, кто пришел первым и которого Фират назвала отцом, и вдруг увидел, что тот уже поднимается по свисавшей лесенке на корабль. Он шагнул вперед, намереваясь последовать за ним, но почувствовал, что цепкие пальцы Фират крепко обхватили его запястье. Он резко обернулся.

— Не надо, — сказала девочка. — Ты не надо. Они не понимают ты.

— Миленькое дело, — Волохов пожал плечами. — Что же тогда они вообще поймут?

— Они поймут твой корабль. Язык корабля поймут все.

— Но ты же понимаешь меня!

— Они нет времени понимать ты.

— Понимать тебя, — поправил Волохов.

— Понимать тебя, — послушно повторила она. — У меня было время понимать и...

Она беспомощно оглянулась, словно то, что она пыталась сказать, было где-то здесь, под рукой, нужно было только это найти. Но она не нашла и досадливо сморщилась.

Волохов не понял, что она хотела сказать.

— Ладно,— сказал он,— вернемся к кораблю. Ты думаешь, что они поймут, что к чему, и починят?

Фират досадливо поморщилась, словно хотела сказать: ну что повторять одно и то же? Раз сказано — починят, значит, сиди и жди.

Фират подозвала своего зверя, и тот, бесшумно приблизившись, растянулся у самых ее ног. Фират улеглась на песок, откинув голову на белую спину зверя. Ей, наверное, было очень удобно. На Волохова она не смотрела и больше не заговаривала с ним, словно разом забыв о его существовании. Он решил подождать, во что же все это выльется, и, отойдя в короткую зеленоватую тень, отбрасываемую кораблем, принялся вышагивать по песку взад и вперед, насколько позволяли границы этой тени. Так прошло около получаса.

Вдруг нижние ступени лестницы закачались, и Волохов, глянув вверх, увидел, что добровольные его помощники быстро спускаются вниз. Волохов торопливо направился к Фират,— надо же как-то остановить их, попросить обождать, а он слазает за таблицами, книгами, они установят контакт, обменяются... чем там положено обмениваться по теории контакта с гуманоидами. Фират поможет.

Но они его опередили, старший — отец, по-видимому, хотя Волохов так и не научился отличать его от остальных,— сказал Фират несколько отрывистых, повелительных фраз. Девочка выслушала его, сложив руки и низко опустив голову. Потом все они по очереди подошли к Волохову и с дружескими, несколько плакатными улыбками снова потрепали его по плечу. Сначала его, потом белого зверя Фират. И друг за другом исчезли за изумрудной песчаной дюной.

— Все,— сказала Фират,— ты можешь лететь. Корабль не был сломан. Он просто... не слушался. Это прошло. Улетай.

В голосе ее не было ни грусти, ни горечи, она повернулась и тихо пошла к морю.

Он знал, он чувствовал, что его не обманули, что корабль исправлен и он может сейчас же, сию минуту лететь домой, к Земле,— и не мог этого сделать. Белая фигурка медленно брела к морю, и что-то было не так, чего-то он не понял, не доделал, и, сам не зная, зачем, он крикнул: «Фират, погоди!» — и побежал к ней.

Он догнал ее у самой воды. На его крик она не обернулась.

— Погоди, Фират,— сказал он, переводя дыхание.— Так же нельзя, в самом деле. Ведь я сейчас улечу, и мы можем никогда больше не встретиться.

Она спокойно смотрела на него. Ну да, он улетит, они действительно никогда больше не встретятся, но ее это не тревожило. Что ей-то до этого?

— Погоди, Фират. Ведь ты даже не спросила, откуда я. Может быть, твой отец или те, что были с ним, когда-нибудь захотят прилететь к нам, на Землю... на ту планету, откуда я родом? Ведь вы можете это?

Фират медленно покачала головой.

— Они все очень заняты. Там,— она махнула рукой в сторону материка, где раскинулся желтый город.— И там,— она вытянула руку вверх, указывая прямо в небо.

В первый раз в ее ровном голосе он почувствовал едва уловимый оттенок горечи — они все очень заняты.

— А может быть, ты, когда подрастешь?..

Она снова покачала головой.

— Твоя планета нам не нужна. Ведь вы даже не умеете...— она не знала необходимого слова. Она пощелкала пальцами, как делают это люди, припоминая что-нибудь, и вдруг у нее из-под пальцев начали выпархивать огромные, величиной с крупную лилию, мохнатые снежинки. Они таяли, не долетев до песка, а пальцы Фират начали приобретать бронзовый отблеск и вдруг засверкали нестерпимым блеском настоящего червонного золота, она ударила в ладони — и над песками прокатился оглушительный, стозвучный удар огромного гонга.

И тут же руки девочки стали прежними.

— Вы не умеете так,— тихо, словно извиняясь, проговорила Фират.— Вы не умеете...

— Творить чудеса,— подсказал Волохов.— Этого мы и вправду не умеем. И все же, если вы только можете, прилетайте к нам, на Землю. Чудес у нас нет, Но у нас есть солнце, не такое, как у вас,— бледненькое, словно мелкая серебряная монетка,— нет, наше солнце золотое, как твои ладони пять минут назад, как цветок одуванчика — вот какое,— и он нарисовал на влажном и плотном песке, какой это цветок, и в узких бороздах рисунка тотчас набиралась вода.— Оно желтое, рыжее, нестерпимое...

Они тихо шли по узенькой полоске омываемого водой песка, и Волохов все говорил, и нагибался, и рисовал что-то, и они тут же переступали через этот рисунок и шли дальше, и он

снова говорил о Земле, о ее морях, умеющих быть любыми — от пурпурных до молочно-белых, о лиловых вершинах гор, о зеленых лунных ночах над стоячей водой уснувших рек, о тонкой яблочной прозрачности предутреннего неба, о чеканной бронзовой дорожке, по которой можно добежать до самого солнца, если оно не успеет спрятаться за море; он рисовал на песке маленьких, не больше суслика, кенгуру и огромных, величиной с утку, божьих коровок. В стройную шеренгу знаков зодиака вклинились колдовские пентаграммы морских звезд и курчавые пеньки актиний, а у самой-самой воды, прикрыв морду хвостом, свернулся калачиком абстрактный кот — так, во всяком случае, закончилась попытка Волохова изобразить всю нашу галактику. Крошечная точка, обозначавшая Землю, приютилась с краешку, где-то на хребте условного кота.

— Волохов, — сказала вдруг девочка, останавливаясь. Она в первый раз обращалась непосредственно к нему. — Не надо. Улетай.

Да, конечно, ведь так можно говорить, и говорить, и говорить, но он ничего не изменит, Фират никогда больше не встретится ему на пути. Земля не нужна им, она сказала. Но то, что он так долго говорил ей о Земле, вернуло его к прежней уверенности в себе, и теперь, когда ему оставалось только повернуться и идти к кораблю, вдруг стали неважны все эти ее чудеса, разрезанный скафандр, золотые ладошки и все такое, она была просто босоногой девчонкой Фират, которую он оставит здесь, у моря, на краю неведомой земли, чтобы никогда больше не увидеть; Волохов наклонился над нею, и она поступила так же, как это сделала бы на ее месте любая девушка на Земле — закрыла глаза.

Губы у нее были шершавые и очень сухие. Такие шершавые и такие сухие, что потом захотелось потрогать их пальцами, проверить, точно ли они могли быть такими. Но он только провел рукой по ее спутанным волосам, отделил тонкую длинную прядку и захлестнул ее вокруг смуглой шеи. Глаза она так и не открыла.

Волохов отступил на шаг, повернулся и пошел к кораблю. За его спиной, не шевелясь, опустив руки и не открывая глаз, стояла Фират.

Солнце стало голубовато-серым и, не дойдя до горизонта, начало медленно растворяться в пепельном мареве, подымавшемся навстречу ему с поверхности остывающего к вечеру океана. Песок под ногами стал совсем темным. Фират сделала еще несколько шагов и остановилась. Нет, не может так быть, не должно так быть, просто невероятно, чтобы она этого не нашла...

Она опустилась на колени и принялась шарить рукой по влажному песку. Волны бесшумно подкрадывались и касались ее пальцев. Шаги она услышала, только когда они были уже совсем рядом. Тогда она подняла голову и увидела отца.

— Почему ты не вернулась в город? — спросил он.

Она только покачала головой. Острые крупные песчинки больно врезались в коленки.

— Этот, — отец указал на дюны, где днем возвышался матовый конус корабля, — этот улетел?

Фират только наклонила голову.

— Так что же?

Фират медленно встала.

— Зачем ты отпустил его, отец? — спросила она. — Как мог ты просто так отпустить его? Как ты, мудрый и опытный, ты, знающий все, не понял, что это был такой же человек, как ты и я? Мне легко было ошибиться, я так мало еще знаю. Я приняла его за разумного зверя, такого же, как все мои говорящие звери, да и сам он сказал, что не умеет... Он назвал это — творить чудеса. Он сам сказал мне, что не умеет творить чудеса...

Фират заплакала.

— А потом он говорил мне о той планете, с которой он прилетел, но я не помню, совсем не помню, о чем же он говорил. Я все понимала тогда, но сейчас не помню ни единого слова. Когда я впервые увидела его, я обратилась к нему на языках десяти звезд, ни одного из них он не знал. Его корабль перестал повиноваться ему, и я подумала, что он просто не умеет заставить его слушаться. Я думала, что он ничего не может, а он просто ничего не хотел...

— Что же он может? — спросил осторожно отец.

Фират еще ниже опустила голову.

— А когда пришло время ему улетать, он наклонился надо мной, положил мне руки на плечи, и тогда солнце, наше маленькое белое солнце стало вдруг огромным и совсем золотым, словно собрало в себе все золото звезд, оно было таким жарким и нестерпимым, что зеленый песок пустыни стал тоже золотым, как цветы когоройни, покрывающие наши города, а далеко-далеко, по самому горизонту, поднялись невиданной высоты лиловые горы, легкие, как облака, с алыми сияющими вершинами. Золото не нашего солнца затопило пустыню, но былая зелень ее песков не исчезла, а собралась в одну огромную, неуловимо текущую реку, бесшумно впадающую в океан: зеленое светило, которого не было на небе, отражалось в этой реке. И не было в мире, во всем этом огромном мире ничего, что бы осталось прежним, отец!

— Что же было потом? — спросил он.

— Потом это солнце погасло, и наступила ночь...

Было уже совсем темно, и невидимые волны подбирались к ногам Фират. Начался прилив.

— Летим домой, — неожиданно мягко проговорил отец. — Летим.

— Нет, — сказала Фират. — Где-то здесь, на песке, он нарисовал мне, как найти его звезду. На песке, у самой воды.

Она протянула руку, и на ее ладошке вспыхнул неяркий зеленоватый светлячок. Она подула на него, чтобы ярче горел, и, подняв над головой свое маленькое чудо, пошла дальше по влажной дорожке гладкого песка, вылизанного приливом.

# СОДЕРЖАНИЕ


ЛЕОПАРД С ВЕРШИНЫ КИЛИМАНДЖАРО ..... 5
СКАЗАНИЕ О РАЙГАРДАСЕ (Формула контакта) .... 150
СКАЗКА КОРОЛЕЙ ..... 363
КАРТЕЛЬ ..... 428
НЕНАСТОЯЩЕМУ ..... 473
НЕ КРИЧИ: ЛЮДИ! ..... 500
СОТВОРЕНИЕ МИРОВ ..... 539
СОНАТА ЗВЕЗД. АНДАНТЕ ..... 559
СОНАТА ЗВЕЗД. АЛЛЕГРО ..... 570
СОЛНЦЕ ВХОДИТ В ЗНАК БЛИЗНЕЦОВ ..... 581
СОЛНЦЕ ВХОДИТ В ЗНАК ДЕВЫ ..... 591
СОЛНЦЕ ВХОДИТ В ЗНАК ВОДОЛЕЯ ..... 605
СОНАТА УЖА ..... 616
ПЕРУН ..... 640
РАЗВОД ПО-МАРСИАНСКИ ..... 675
ПЕРЕБЕЖЧИК ..... 685
ОСТРОВ МУЖЕСТВА ..... 703
ЛГАТЬ ДО ПОЛУНОЧИ ..... 725
У МОРЯ, ГДЕ КРАЙ ЗЕМЛИ ..... 750

По вопросам оптовой покупки книг
«Издательской группы АСТ» обращаться по адресу:
***Звездный бульвар, дом 21, 7-й этаж***
***Тел. 215-43-38, 215-01-01, 215-55-13***

Книги «Издательской группы АСТ» можно заказать по адресу:
***107140, Москва, а/я 140,*** **АСТ – «Книги по почте»**

Все права защищены. Ни одна из частей настоящего издания и все издание в целом не могут быть воспроизведены, сохранены на печатных формах или любым другим способом обращены в иную форму хранения информации: электронным, механическим, фотокопировальным и другими — без предварительного согласования с издателями.

Литературно-художественное издание

Ларионова Ольга Николаевна

**Леопард с вершины Килиманджаро**

Ответственный редактор С.А. Наумова
Выпускающий редактор С.Н. Абовская
Редактор Л.И. Филиппов
Художественный редактор О.Н. Адаскина
Компьютерный дизайн: С.В. Шумилин
Технический редактор А.Е. Молочников
Корректоры Е.В. Шестакова, И.В. Щеглова

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Гигиеническое заключение № 77.99.14.953.П.12850.7.00 от 14.07.2000 г.

ООО «Издательство АСТ» Лицензия ИД № 02694 от 30.08.2000 г.
674460, Читинская область, Агинский район,
п. Агинское, ул. Базара Ринчино, д. 84
Наши электронные адреса: WWW.AST.RU E-mail: astpub@aha.ru

Издательство «Terra Fantastica» издательского дома «Корвус».
Лицензия ЛР № 066477. 190121, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 1/44 «Б».
Электронные адреса: WWW.TF.RU, E-mail: TERRAFAN@TF.RU

При участии ООО «Харвест». Лицензия ЛВ № 32 от 10.01.2001.
220040, Минск, ул. М. Богдановича, 155—1204.

Налоговая льгота — Общегосударственный классификатор
Республики Беларусь ОКРБ 007-98, ч. 1; 22.11.20.300.

Республиканское унитарное предприятие
«Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Ф. Скорины, 79.

«Вверх по крутому склону карабкался леопард. Он был уже мертв, но он все еще полз, движимый той неукротимой волей к жизни, которой наделил его человек взамен попранного инстинкта смерти».

Как жили бы люди, знай точно дату собственной смерти?
Как?
Возможно, ТАК, как написано об этом в трагическом, горьком и безукоризненно красивом романе «Леопард с вершины Килиманджаро» — романе, по праву считающемся одной из вершин творчества Ольги Ларионовой.
Другою же вершиной стали прозрачно-поэтичные рассказы «чюрленисовского цикла»...
Перед вами — истинная классика отечественной фантастики.
Не пропустите!

ISBN 5-17-011162-2